АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА ТОМ 2

АНТОЛОГИЯ

САМИЗДАТА

ТОМ 2

воздуха. За меня бы дорого
дав, и то не удержали!
Эпоха против меня не ли...
Я ее ненавижу. Она м...

-2-

вкусов на лекциях. К сожалению, текстов у меня нет. На...
слушатели быстро вступили с ним в полемику. Стали расспр...
жизни. Кто-то догадался спросить, как жили в Союзе его родст...
Он ответил, что такого-то ~~переписали~~ и такого-то ...
ли в тюрьмах. Реакция: "Да чего его слушать? Разве вы не видите, что
это жертва? Конечно, мы должны его жалеть, но разве жертва может быть
объективной? Слушать нечего". У Аркадия при этих словах изумление
превзошло остроумие. Иногда умирают и от этого.

А зря. Тут надо иметь немного выдержки. На похоронах эти профессора
выразили скорбь в полной мере, только и речи было, что о невосполни-
мости утраты. "Как это мы не могли многого понять, а теперь поздно..."
Говорят и другое – именно после его смерти многие его коллеги успо-
коились. Ведь Аркадий явно знал их дело лучше их.

Не знаю, объявляли мне в Буффало бойкот или само так получилось.
Получилось бы, наверное и без бойкота, а возможно помог и бойкот. Я
читал им свою ультраинтуиционистскую программу. Лекции четыре дело шло
благополучно, но когда я предложил отбросить традиционное представ-
ление о том, что понятие тождества имеет какой-либо смысл независимо
от отождествлений, настало недоумение. "Не слишком ли далеко Вы захо-
дите с вашей критикой?" Я объяснил, почему это для меня не аргумент –
не стану здесь входить в детали, а то ведь не письмо, а книга полу-
чится. Возразить не смогли, но начали таять. Все меньше и меньше их у
меня становилось, а впрочем я лишь тогда (по возмутительной своей
человечности, в отсутствии которой меня хоть Шанин превзошел) не про-
должал лекций, когда в аудитории не было, кроме меня, ни одного чело-
века. В ноябре (а начал я 20 сентября) chairman (=декан) пришел ко
мне и стал говорить, что мои слушатели поставлены в тупик "оригиналь-
ностью и несуразностью моих лекций, я пока уже два месяца критикую
одно общепризнанное положение за другим, но еще не сказал, что же я
принимаю. Я ответил, что так и должно быть – я пока изложил свою кри-
тику неполностью, так что намерен продолжить, а интересно это кому-
-нибудь или нет – не мое дело. Я опубликовал свою программу у них,
в Буффало, до моего приезда, так что именно этого надо было ожидать
приглашая меня сюда. Надо иметь больше терпения, – тогда, может быть
смогут понять не только критику, и у меня терпения достаточно, но
такового у слушателей ничего не может получиться. "Я не знаю, де...
тельно Вы крупный математик или нет. Но люди есть люди. Ваш ме...
вызывает здесь недоумение". Он явно дал мне понять, что мне с...
следующий год поискать себе другое место. (Что я успел заме...
несколько раньше этой беседы, смысл которой на практике с...
следующему: "Кажется, кто-то Вам интересуется, но нам Вы...
те. Поэтому – вот Вам 10 тысяч долларов и начинайте иск...
получше"). Вскоре мои слушатели – известные профессора...
ляться тому, что я придаю серьезное значение различи...
и рекурсией, затем один и тот же профессор Гудман (...
знал еще в Москве, ожидая от него большего терпени...
мне, что усматривает у меня одну ошибку – я пытаю...
вывать, но не в этом задача математических логик...
совершать изящные построения и переживать связ...
вия, а если возникнет противоречие – ну, тогда ...
что-то должно перестать нравиться (заметь, име...
– у них это слово активное). Затем в перерыв...
затеял со мной полемику по вопросу, еще не...
Речь его начала становиться явно тенденци...
на меня – я всего лишь задавал вопросы э...
занное. Можно было бы и не описывать ...
зависел дальнейший ход моих лекций. Я...
тить слушанье (возможно, просто ум за...
но должен предварительно хотя бы и...
возражений. Я предложил ему упрост...

– 134 –

...ки. Вечером приходи десятник...
...еса в карцер. А карцер – три...
...кол. Печки нет. Бегал я бегал по...
...не обидно стало: других сажали, а я...
...толку, что написал? Всё осталось по...
...обидно стало, а Усатому – всё равно...
...дел бы сейчас с женой с детьми в...
...Как подумал я это...

ВАСИ...
Речь на У съезде ...
13 мая ...

Два года Комитет по ... ство гениал...
в области литературы. Не ... настолько, что два год...
дит на грустные размышлен... было бы удостоить государ...
наша литература, которая ... в чем так же дело, что наши...
ностью своих произведений, ...
не находится книги, которую можно было бы удостоить государ...
венной премии? В чем тут дело? В чем так же дело, что наши...
циональные (республиканские) премии то присуждаются, то о...
словно бы забывают, и месяцами не слышно, что выдвинуто...
будет присуждено?

Не углубляясь, однако, в эту тему, я не могу разд...
тимизма докладчиков в этой области и хочу подчеркнут...
ратура действительно стала хуже. На фоне известных...
...технических достижений, которые по всему мир...
...страны, наша литература находится дал...
...преувеличения, сказа...
...вает кризис.

...реабилитирова...
...лет...

Среда, 9 окт. 1968 г. Здание районного суда Пролетарского района. Серебренническая набережная, угол Серебреннического пер. Яуза. Третий этаж. Небольшой зал, человек 60–70, не больше. Заседание Моск. горсуда. Судья Лубенцова, седая женщина в сером костюме, подчеркнуто, но естественно вежлива, похожа на учительницу или завуча хорошей школы. Заседатели Попов и Булгаков, слесарь и инженер. Один помоложе, рослый, скуластый, вид боксера; второй – седой, носатый, часто вмешивается, придирчивый, скрипучий голос. Прокурор – Дрель (?) – в ведомственном темно-лиловом мундире. Коренастый, плоское лицо, педантичен, многословен, высокий голос, звучит словно обижено. Адвокаты – Каминская, Каллистратова, Монахов, Позднеев. На скамье подсудимых в первом ряду: Делоне, Дремлюга, Богораз; во втором ряду – Бабицкий, Литвинов.

Сначала обычный опрос подсудимых. Затем судья спрашивает, есть ли ходатайства.

Л.Богораз (Л.Б.) – Имею несколько ходатайств: 1) Прошу вызвать дополнительно свидетелей. Следствие включило только тех свидетелей, которое сочло нужным. Прошу вызвать Баеву, Русаковскую, Лемана, которые присутствовали на площади и видели, как это все действительно происходило. 2) Я уже заранее решила, что буду защищать себя сама. Мне нужна была консультация адвоката, которую я получила. Я вполне доверяю адвокату Каминской, но на предварительном следствии я ничего не говорила о мотивах моих действий и адвокат их не знает. Я прошу, чтобы суд предоставил мне возможность защищаться самой, поскольку это предусмотрено ст. 111-118УПК. 3) Знакомясь с делом, я прочла ходатайство Делоне о проведении дополнительного следствия и поддерживаю его, так как считаю необходимым выяснить личности и привлечь к ответственности тех,кто действительно нарушали порядок на площади и применяли к нам физическое насилие.

Делоне. Я хотел бы, чтобы дело было направлено на дополнительное следствие, так как на площади имели место хулиганские действия. Я имею ввиду тех лиц, которые избивали Файнберга, меня, Литвинова. Они были в гражданском, у них либо не было полномочий, либо они их не предъявили, ...
..., они их превысили...

...вана.
...этот час казался порогом в лучезарное буду-
...уть это камень и исчезнут в небытие чувство
...неполноценности, откроются великие возможнос-
...питированных прежде всего глубокое разочарова
... Спали оковы, нет замка на двери – а идти не
...ернет погибших двадцати лет лучшего возраста
...скресит умерших друзей. Никто не воссозда
...соединявших нас с близкими.

...просту задергал
...йденный этап,
...народном хозяй
...роизводствен
...твенностью
...сельское
...ней каку
...оптанно
...искусс
...ть,
...или

...чехословацки...
Пользуюсь случаем, что...
без меня; хочу добавить лишь...
В проекте решения, форму...
ких писателей говорится, что...
является осуществление реинтег...
человека, которому обеспечен ст...
Гражданин,– когда-то это бы...
Оно обозначало человека, над кото...
господствовать, над которым можно...
вать, чтобы у него создавалось впе...
над собой властвует. Добиться такого...
было целью политики. В действительно...
щий над самим собой – это идея, котор...
Марксистская критика власти вскры...
пор отношения между правящей властью и...
ства производства. Это открытие вместе...
человечества как истории классовой борьб...
ную революцию, от которой ожидалось такж...
ной проблемы власти. Социальная революци...
блема власти осталась нерешенной. И хотя м...
рога" и держим его, кто-то все время, не по...
в зад.
По-видимому, власть имеет свои нерушимы...
и поведения, кто бы ее ни осуществлял. Власт...
веческое явление, определяемое тем, что даже...
то должен приказывать и что в обществе самых б...
кто-то должен обобщать результаты дискуссий и ф...
что всем нужно.
...чески человеческая ситу...
...так и повелеваемых и под...
...летний опыт в вопросе о...
...но пыталось сформулироват...
...определенная система форм...
...контрольными выключателями...
...четко определенный механизм...
...представляющих грубую...
...а владении оружием...
...ельно, правиль...
...искажение...

...ПОМЕРАНЦ

...ЫЙ ОБРАЗ[x]

...НА НА ГУБАХ

...ебе добро и зло как две крепости...
...знаменами и барабанным боем, идущ...
...е, добро не воюет и не побеждает...
...женного врага, а ложится на сража...
... одно, то на оба. Оно может осветить...
...охотнее держится на стороне побежде...
...дает, причастно злу. И с чем большей...
...ьше погрязает во зле. И чем больше...
...редается ему.
...ельно абсолютного зла, дьявола. Мне...
...ы падение Люцифера началось с зависти...
...ости. Где-то, во времена, о которых ни...
...сящий ангел бросился в бой с инер...

АНТОЛОГИЯ
САМИЗДАТА

НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР

1950-е — 1980-е

ББК 63.3(2)6-7
УДК 94(47).084.9

Под общей редакцией *В.В. Игрунова*

Автор проекта и составитель *М. Ш. Барбакадзе*
Редактор *Е. С. Шварц*

Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е – 1980-е. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе. – М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – В 3-х томах, ил.

«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел.

В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 – 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции. В сборнике представлен широкий жанровый и идеологический спектр, наилучшим образом показывающий разноплановость неподцензурной культуры. Кроме того, «Антология» дает представление о возникновении независимых общественных движений в СССР.

Международный институт гуманитарно-политических исследований.

Почтовый адрес:
125009, Россия, Москва, Газетный пер., дом 5, офис 506, ИГПИ

Электронная почта:
antology@igpi.ru

Адрес в сети Интернет:
http://antology.igrunov.ru
http://www.igpi.ru

ISBN 5-89793-035-X
ISBN 5-89793-033-3 (Том 2)

АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА

НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР

1950-е — 1980-е

ТОМ 2

1966—1973 годы



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МОСКВА, 2005

...Самиздат — явление уникальное и уже не повторится никогда. Не потому, что у властей нынешних или будущих никогда не появится соблазна ограничить гражданам доступ к информации и идеям, властям не симпатичным, а потому, что в век Интернета это уже, слава Богу, сделать невозможно».

Людмила Алексеева,
Председатель Московской Хельсинкской группы

...Самиздат был явлением действительно свободной литературы, свободной мысли и настоящего гражданского мужества. Я думаю, эти три качества уже определяют значимость и важность этого многотомного цикла....

Ясен Засурский,
декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова

В 60-е годы появился знаменательный анекдот:
— Бабушка, ты зачем «Войну и мир» на машинке перепечатываешь?
— Для внука стараюсь. Он ничего кроме самиздата не читает.
Самиздат был импульсивной реакцией нашего поколения на тотальную несвободу.

Юлий Ким, писатель,
драматург, бард

Послевоенное семилетие — годы впервые за все советское время остановленной литературной эволюции: нового литературного качества не порождается, идет штамповка одних и тех же образцов. Именно литературный Самиздат запустил в середине 50-х годов маятник остановленного механизма. Часы литературы пошли.

Мариэтта Чудакова,
литературовед, культуролог

В 1960-80-е годы самиздат казался информационным протезом той части общественной жизни, души и тела, которую, по мнению начальства, следовало ампутировать и объявить несуществующей. Для авторов, издателей и читателей самиздата его существование было способом воссоздания этой усеченной реальности во всей ее полноте, мостом в запрещаемое духовное прошлое, в мир, находившийся за строго охраняемыми границами одной шестой и органическим, т.е. свободным способом рассуждений о будущем.

Теперь кажется уже общепризнано: этот культурный феномен — неотъемлемая часть советского прошлого, которое не может без него быть понятым и осмысленным.

Владимир Тольц,
сотрудник «Радио Свобода»

ПУБЛИЦИСТИКА,
ДОКУМЕНТЫ,
МЕМУАРЫ,
ЭССЕ

Лидия Чуковская

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 126)

Настоящий текст вошел в «Белую книгу» по делу А. Синявского и Ю. Даниэля (стр. 422)

В Правление Ростовского отделения Союза Писателей
В Правление Союза Писателей РСФСР
В Правление Союза Писателей СССР
В редакцию газеты «Правда»
В редакцию газеты «Известия»
В редакцию газеты «Молот»
В редакцию газеты «Литературная Россия»
В редакцию «Литературной газеты»

МИХАИЛУ ШОЛОХОВУ, АВТОРУ «ТИХОГО ДОНА»

Выступая на XXIII съезде партии, Вы, Михаил Александрович, поднялись на трибуну не как частное лицо, а как «представитель советской литературы».

Тем самым Вы дали право каждому литератору, в том числе и мне, произнести свое суждение о тех мыслях, которые были высказаны Вами будто бы от нашего общего имени.

Речь Вашу на съезде воистину можно назвать исторической.

За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок.

Но огорчил Вас не один лишь приговор: Вам пришлась не по душе самая судебная процедура, которой были подвергнуты писатели Даниэль и Синявский. Вы нашли ее слишком педантичной, слишком строго законной. Вам хотелось бы, чтобы судьи судили советских граждан, не стесняя себя кодексом, чтобы руководствовались они не законами, а «революционным правосознанием».

Этот призыв ошеломил меня, и я имею основание думать, не одну меня. Миллионами невинных жизней заплатил наш народ за сталинское попрание закона. Настойчивые попытки возвратиться к законности, к точному соблюдению духа и буквы советского законодательства, успешность этих попыток — самое драгоценное завоевание нашей страны, сделанное ею за последнее десятилетие. И именно это завоевание Вы хотите у народа отнять? Правда, в своей речи на съезде Вы поставили перед судьями в качестве образца не то сравнительно недавнее время, когда происходили массовые нарушения советских законов, а то, более далекое, когда и самый закон, самый кодекс еще не родился: «памятные двадцатые годы». Первый советский кодекс был введен в действие в 1922 году. Годы 1917—1922 памятны нам героизмом, величием, но законностью они не отличались, да и не могли отличаться: старый строй был разрушен, новый еще не окреп. Обычай, принятый тогда: судить на основе «право-

сознания» — был уместен и естественен в пору гражданской войны, на другой день после революции, но он ничем не может быть оправдан накануне 50-летия Советской власти. Кому и для чего это нужно — возвращаться к «правосознанию», т. е., по сути дела, к инстинкту, когда выработан закон?

И кого в первую очередь мечтаете Вы осудить этим особо суровым, не опирающимся на статьи кодекса, судом, который осуществлялся в «памятные 20-е годы»? Прежде всего, литераторов…

Давно уже в своих статьях и публичных речах Вы, Михаил Александрович, имеете обыкновение отзываться о писателях с пренебрежением и грубой насмешкой. Но на этот раз Вы превзошли самого себя. Приговор двум интеллигентным людям, двум литераторам, не отличающимся крепким здоровьем, к пяти и семи годам заключения в лагерях со строгим режимом, для принудительного, непосильного физического труда — т. е., в сущности, приговор к болезни, а может быть, и к смерти, представляется Вам недостаточно суровым. Суд, который осудил бы их не по статьям Уголовного кодекса, без этих самых статей — побыстрее, попроще — избрал бы, полагаете Вы, более тяжкое наказание, и Вы были бы этому рады.

Вот ваши подлинные слова:

«Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту меру получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости приговора».

Да, Михаил Александрович, вместе со многими коммунистами Италии, Франции, Англии, Норвегии, Швеции, Дании (которых в своей речи Вы почему-то именуете «буржуазными защитниками» осужденных), вместе с левыми общественными организациями Запада я, советская писательница, рассуждаю, осмеливаюсь рассуждать о неуместной, ничем не оправданной суровости приговора. Вы в своей речи сказали, что Вам стыдно за тех, кто хлопотал о помиловании, предлагая взять осужденных на поруки. А мне, признаться, стыдно не за них, не за себя, а за Вас. Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и досоветской русской литературы, а Вы своей речью навеки отлучили себя от этой традиции.

Именно в «памятные годы», т. е. с 1917 по 1922, когда бушевала гражданская война и судили по «правосознанию», Алексей Максимович Горький употреблял всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасать писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать их из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись, благодаря ему, к своим рабочим столам.

Традиция эта — традиция заступничества — существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться. Величайший из наших поэтов, Александр Пушкин, гордился тем, что «милость к падшим призывал». Чехов в письме в Суворину, который осмелился в своей газете чернить Золя, защищавшего Дрейфуса, объяснял ему: «Пусть Дрейфус виноват — и Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание… Обвинителей, прокуроров… и без них много».

Дело писателей не преследовать, а вступаться...

Вот чему нас учит великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, будто приговор суда был недостаточно суров.

Вдумайтесь в значение русской литературы.

Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко, во всеоружии социального и психологического анализа, вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется, главным образом, очеловечивающий смысл русской литературы.

Вспомните книгу Федора Достоевского о каторге — «Записки из Мертвого дома», книгу Льва Толстого о тюрьме — «Воскресение». Оба писателя страстно всматривались вглубь человеческих судеб, человеческих душ и социальных условий. Не для дополнительного осуждения осужденных совершил Чехов свою героическую поездку на Сахалин, и глубокой оказалась его книга. Вспомните, наконец, «Тихий Дон»: с какой осторожностью, с какой глубиной понимания огромных сдвигов, происходивших в стране, мельчайших движений потрясенной человеческой души относится автор к ошибкам, проступкам и даже преступлениям против революции, совершаемым его героями! От автора «Тихого Дона» удивительно было услышать грубо прямолинейный вопрос, превращающий сложную жизненную ситуацию в простую, элементарнейшую,— вопрос, с которым Вы обратились к делегатам Советской Армии: «Как бы они поступили, если бы в каком-нибудь подразделении появились предатели?» Это уже прямо призыв к военно-полевому суду в мирное время. Какой мог бы быть ответ воинов, кроме одного: расстреляли бы. Зачем, в самом деле, обдумывать, какую именно статью Уголовного кодекса нарушили Синявский и Даниэль, зачем пытаться представить себе, какие именно стороны нашей недавней социальной действительности подверглись сатирическому изображению в их книгах, какие события побудили их взяться за перо и какие свойства нашей теперешней современной действительности не позволили им напечатать свои книги дома? Зачем тут психологический и социальный анализ? К стенке! расстрелять в 24 часа!

Слушая Вас, можно было вообразить, будто осужденные распространяли антисоветские листовки или прокламации, будто они передавали за границу не свою беллетристику, а, по крайней мере, план крепости или завода... Этой подменой сложных понятий простыми, этой недостойной игрой словом «предательство», Вы, Михаил Александрович, еще раз изменили долгу писателя, чья обязанность — всегда и везде разъяснять, доводить до сознания каждого всю многосложность, противоречивость процессов, совершающихся в литературе и в истории, а не играть словами, злостно и намеренно упрощая, и, тем самым, искажая случившееся.

Суд над писателями Синявским и Даниэлем по внешности совершался с соблюдением всех формальностей, требуемых законом. С Вашей точки зрения, в этом его недостаток, с моей — достоинство. И однако, я возражаю против приговора, вынесенного судом.

Почему?

Потому, что сама отдача под уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной.

Потому, что книга — беллетристика, повесть, роман, рассказ — словом, литературное произведение, слабое или сильное, лживое или правдивое, талантливое или бездарное, есть явление общественной мысли и никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок — только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря.

Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы, в самом деле, поднялись на трибуну как представитель советской литературы.

Но Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей.

А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника,— к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы.

25 мая 1966 года

Источник: Л. Чуковская. «Процесс исключения»/ Международная ассоциация деятелей культуры «Новое время» и журнал «Горизонт», М., 1990.

Юрий Галансков

(Справку см. т. 1, кн. 1, стр 107)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕЛЕГАТУ XXIII СЪЕЗДА КПСС М. ШОЛОХОВУ

Копии: в Союз советских писателей
в редакцию журнала «Новый мир»
в редакцию «Литературной газеты»

В своей речи на XXIII съезде КПСС делегат М. Шолохов сказал:

«Хотелось бы сказать несколько слов о месте писателя в общественной жизни…» «И сегодня с прежней актуальностью звучит для художников всего мира вопрос Максима Горького: «С кем вы, мастера культуры?»

На вопрос «С кем вы, мастера культуры?» Сталин ответил: «Кто не с нами, тот против нас», а сам Горький, как пишет автор «Письма к старому другу», «оставил позорный след в истории России 30-х годов своим людоедским лозунгом: «Если враг не сдается — его уничтожают». Море человеческой крови было пролито на советской земле, а Горький освятил массовые убийства».

<...>

Лидия Чуковская в своем письме по поводу выступления Шолохова на XXIII съезде КПСС писала:

«Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря. Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы, и самом деле, поднялись на трибуну как представитель советской литературы.

Но Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей.

А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы».

Литература отомстит за себя. Ибо продавший душу дьяволу не может служить богам. А литература требует от писателя божественного откровения, искренности, истинности. И в какую бы бравую позу ни становился Шолохов, как бы ни изощрялся он в своих многократных попытках симулировать откровение — он никуда не уйдет от самого себя. В этом смысле — отмщение неотвратимо.

Выступая на съезде, М. Шолохов высказался в связи с делом Синявского и Даниэля следующим образом:

«Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о суровости приговора. Здесь я вижу делегатов от парторганизаций родной Советской Армии. Как бы они поступили, если бы в каком-либо из их подразделений появились пре-

датели?! Им-то, нашим воинам, хорошо известно, что гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство. (Продолжительные аплодисменты).

И еще я думаю об одном. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием» (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты). А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости приговора».

И все это — обратите внимание, читатель, — с восклицательными знаками и под сплошные аплодисменты. Не правда ли, весело.

Я надеюсь, что вместе с позорной речью Шолохова историей не будут забыты и эти позорные аплодисменты. Я очень на это надеюсь.

Очень может быть, что законы военного трибунала жестки, и, положим, что «нашим воинам» о гуманизме известно не больше, чем то, что «гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство». Пусть так. Но что тем самым хотел сказать оратор? Может быть, М. Шолохов не может представить себе советское государство иначе как в виде военной казармы, а Синявского и Даниэля он хотел бы, в свою очередь, выставить как предателей, вдруг появившихся в одном из подразделений этого государства-казармы, а именно — в Союзе советских писателей. Тогда все ясно. Тогда «нашим воинам», знающим о гуманизме только то, что «гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство», и поступить вполне мыслимо соответственно, руководствуясь не нормами какого-то там кодекса, пригодными разве что только в условиях демократического государства, а нормами военного законодательства, специально для казарм и писанными.

То ли дело в «памятные двадцатые годы»! Расстреляли бы, «руководствуясь революционным правосознанием», и весь разговор! А тут и судил-то не военный трибунал, а обыкновенный гражданский суд, и ведь даже не расстреляли (как это было в памятные двадцатые и в еще более памятные тридцатые годы), а получили-то всего лишь семь и пять лет лишения свободы за проявление творческой самостоятельности в литературной работе и за попытку напечатать свои произведения за границей, ибо в сегодняшней России свобода творчества и свобода печати гарантированы только на словах, а на деле гарантировано только административно-полицейское издевательство над всякой свободой.

<...>

То, что Шолохов мыслит Россию как единый всеобщий кантон, где люди с самого рождения принадлежат военному ведомству на основе крепостного права, и то, что, в представлении Шолохова, Союз советских писателей является одним из подразделений этого кантона, еще можно как-то понять. Однако совершенно непонятным является обвинение Синявского и Даниэля в предательстве, выдвинутое Шолоховым в его речи. Ведь Синявский и Даниэль в шолоховские кантоны никогда не записывались и никогда не давали присяги на верность военно-казарменным законам. Они никогда не клялись в верности военно-полицейской машине, которая по сей день занимается удушением свободы в России.

Но истина не интересует Шолохова. Ему просто нужно обвинить Синявского и Даниэля в предательстве. Почему? Вероятно, потому, что у государственного обвинителя не хватило для этого морального авторитета. И вот, бросив на чашу

весов всю массу своего авторитета, нобелевский лауреат произносит свою позорную прокурорскую речь.

Сначала он скромно объявляет себя «частицей народа великого и благородного», потом «сыном могучей и прекрасной Родины»-матери. Далее частица активизируется: нападает прежде всего на «омерзительных уродов» и, встав в позу потрясенного до глубины души благородства, патетически восклицает:

«Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью самое святое для нас. Они аморальны».

Дальше — больше. «Частица» стыдит всю передовую интеллигенцию, которая пытается «брать их под защиту». «Частица» стыдит «вдвойне» либеральных литераторов, предложивших «свои услуги», обратившихся «с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев».

Видите ли, «слишком дорогой ценой досталось нам то, что мы завоевали, слишком дорога нам Советская власть, чтобы мы позволили безнаказанно клеветать на нее и порочить ее». Да, да — именно так! Миллионы замученных и убитых людей в сталинских лагерях уничтожения — это слишком дорогая цена за шолоховские казармы, в которых свободно можно только пальцем в ботинке пошевелить, потому что этого-то уж фельдфебель не заметит. О чем, кстати, Синявский с Даниэлем и писали.

По Шолохову, Синявский с Даниэлем клеветники, которые оболгали Родину и облили грязью все святое для нас. Но вот что пишет один из русских писателей в своем «Письме старому другу»:

«Подумай, старый товарищ! В мужестве Синявского и Даниэля, в их благородстве, в их победе есть капля и нашей с тобой крови, наших страданий, нашей борьбы против унижений, лжи, против убийц и предателей всех мастей.

Ибо что такое клевета? И ты, и я — мы знаем оба сталинское время — лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей. Знаем растление, кровавое растление власти, которая, поклявшись, до сих пор не хочет сказать правду, хотя бы о деле Кирова. До каких пор? Может ли быть в правде прошлой нашей жизни граница, рубеж, после которой начинается клевета? Я утверждаю, что такой границы нет, утверждаю, что для сталинского времени понятие клеветы не может быть применено. Человеческий мозг не в силах вообразить тех преступлений, которые совершались...

... Повесть Аржака-Даниэля «Говорит Москва», с его исключительно удачным гоголевским сюжетом «дня открытых убийств», вряд ли в чисто реалистическом плане может быть поставлена рядом со стенограммами XXII съезда партии, с тем, что было рассказано там. Тут уже не «день, открытых убийств», а «двадцать лет открытых убийств».

Не правда ли, читатель, сильно сказано?! Но к этому надо бы добавить, что понятие клеветы не может быть применено также к политическому режиму, при котором полностью подавлены основные демократические и личные свободы.

Бессовестно оклеветав мужественных и благородных людей, пристыдив всех смелых и честных людей, которые встали на защиту справедливости, Шолохов на этом не успокоился. Чувствуя, вероятно, свою ничтожность в безнадежной борьбе с истиной, он обратился за помощью к делегатам от «парторга-

низаций родной Советской Армии», объявляя расправу с предателями по законам военного трибунала образцом, достойным подражания в случае расправы над литераторами. Но и этого оказалось мало, и «частица великого и благородного народа» восклицает: «Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни», «эти молодчики с черной совестью», если бы их судил не суд, а, скажем, ревком, «руководствуясь революционным правосознанием».

Вот уже поистине патологическое мышление! И я бы сказал, социально опасное.

Итак, военный трибунал не судил.

Ревком, «руководствуясь революционным правосознанием», не расстрелял. «А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора».

Видите ли, еще рассуждают! Смеют рассуждать! Ну не мракобесие ли это, читатель?

<...>

Ваша позорная речь на XXIII съезде КПСС не будет забыта историей. Это безусловно. Но эта ваша прокурорская речь не будет оставлена без внимания и современниками. Если бы вы просто говорили вздор, то об этом можно было бы только сожалеть. Однако ваша прокурорская речь не может быть оставлена без внимания современниками потому, что в ней вы как бы санкционировали расправу над двумя литераторами, выразителями стремительно развивающейся в настоящее время в России тенденции к творческой свободе и возрождению национальной культуры.

Процесс над Синявским и Даниэлем показал, что русская культурная интеллигенция разделилась на два лагеря и что в лагере сторонников свободы творчества оказалось абсолютное большинство интеллигенции. Если бы не гиря государственного насилия, то чаша весов перевесила бы мгновенно, и Синявского с Даниэлем просто на руках вынесли бы из зала суда.

События показали, что никакие клеветнические статейки в официозной прессе (между прочим, полностью зависимой от «денежного мешка») не в состоянии были дискредитировать обвиняемых. Письма в защиту Синявского и Даниэля непрерывно поступали в официальные организации и редакции газет. Каждый честный литератор и ученый считал своим долгом высказаться в защиту обвиняемых. Дело дошло до открытой студенческой демонстрации на площади Пушкина 5 декабря. А знаете ли вы, что все это означает? Это означает, прежде всего, то, что у людей вроде вас нет под ногами никакой социальной почвы, кроме аппарата насилия. Это означает также и то, что из-под ног аппарата насилия уплывает почва. Это означает, в свою очередь, что ни вам, ни аппарату насилия не на чем будет стоять, как только в России будут восстановлены свободы. Это означает, что аппарат насилия будет лишен силы и «денежного мешка», а вы — денег, почестей, медалей отечественных и международных тоже. Вот что все это означает. Вот в каком смысле ваша позорная речь не останется без внимания современников и не будет забыта историей.

Если в сфере социальной процесс над Синявским и Даниэлем способствовал поляризации сил, в результате чего на одном полюсе оказались ценности, а на другом — практически близкое к нулю их отсутствие, то в сфере литературной

процесс создал фокусирующий момент. Этот процесс мертвым узлом связал и сконцентрировал в одной точке натянутые нити противоречий нашей литературной жизни. И пусть никто не думает, что о деле Синявского и Даниэля поговорят-поговорят и забудут. Этот узел придется развязывать или разрубать. Это придется сделать, потому что придется или обеспечить в России свободу творчества, или Россия эту свободу творчества сама себе обеспечит. Это случится, потому что без свободы вообще и без свободы творчества в частности дальнейшее успешное развитие России невозможно. Это придется сделать или это сделается само, какие бы препятствия тому ни чинили, закатывая время от времени социальные истерики, те, у кого почва уходит из-под ног. Этот гордиев узел придется развязать или найдется Александр Македонский, который его разрубит.

Вы в своей речи на XXIII съезде КПСС сказали, что вам

«Вдвойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев».

Мне тоже стыдно. Пусть просьба о поруках всего лишь тактический шаг некоторой части либеральных литераторов. Пусть. Но как только язык мог повернуться просить взять на поруки людей, честность и благородство которых не подлежат никакому сомнению, творчество которых сделало бы честь отечественной литературе. Просить взять на поруки Синявского с Даниэлем — это все равно что просить взять на поруки справедливость и талант. Да ведь это же такое нищенство духа, такая затурканность и такая плебейская робость, мыслимая разве что для страны, в которой почти начисто умерщвлено человеческое достоинство. Вот уж поистине волосы встают дыбом от стыда! Во всякой другой стране, где на деле, а не на словах, были бы обеспечены элементарные демократические свободы, люди бы просто требовали освобождения обвиняемых и протестовали против произвола властей. Если бы дело происходило в демократическом государстве, известная часть литераторов в знак протеста просто вышла бы из Союза советских писателей и образовала другой Союз, скажем, Союз российских писателей. А у нас, видите ли, пишут жалостливые письма и спрашивают разрешения у насильников взять на поруки свободу и справедливость, как каких-нибудь мошенниц.

Это протест пока еще рабов, но уже протест. Это пока еще рабье, но уже движение защитить свободу и справедливость.

Правда, члены ССП — это далеко не показатель действительных возможностей русской творческой интеллигенции. ССП — это всего-навсего только шолоховское подразделение-казарма, посредством которой «денежный мешок» покупает и умерщвляет таланты прямо на корню. Таким образом, за несколько десятков лет удалось умертвить русскую литературу полностью. Только некоторых непокоренных пришлось затравить или физически уничтожить в двадцатые, тридцатые и пятидесятые годы.

Всякому понятно, что значит уничтожить литератора физически, но далеко не всякий понимает, как протекал в России процесс умерщвления литературы, Россия в этом отношении оказалась оригинальной страной. Своеобразие заключалось в следующем. Писатель находится под гипнозом всеобщего обаяния коммунистическими идеалами, с одной стороны, а с другой стороны, он совершенно не может принять отвратительную коммунистическую действитель-

ность с ее сталинскими концлагерями и всеобщей вздорностью. Коммунистические концлагеря мешают ему воспевать коммунистические идеалы, а коммунистические идеалы мешают критиковать коммунистические концлагеря. Наступает или состояние творческого паралича, или писатель начинает мошенничать; в том и другом случае он умирает как литератор. Все очень даже просто. И если, например, М. Шолохов сделает небольшой экскурс в собственное прошлое, то ему придется признать, что этот творческий паралич и его не миновал, чем, вероятно, и объясняется столь длительное писание второй части «Поднятой целины» со всеми ее мошенническими недостатками.

К сожалению, на Западе находятся люди, которые склонны думать, как например, всеми уважаемый секретарь Европейского сообщества писателей Вигорелли, что в СССР подпольная литература, если она и существует в виде случайных рукописей, листовок и т. д., никакого значения не имеет, что главное — это произведения, которые опубликованы, «литература, действующая при свете дня, с ее победами и поражениями».

Вигорелли должен знать и понимать предмет, о котором он говорит. Союз советских писателей и официальная публикация произведений в современной России умерщвляют литераторов и литературу, портят вкусы и оглупляют читателей.

Литература — это, в конце концов, специфический и, кстати, самый доступный и самый эффективный способ познания мира, способ воспитания чувств и формирования психологии. К счастью для России, современная Россия почти не читает современной отечественной политической и художественной литературы, или, если и читает, то с большой осторожностью. Иначе оглупление и притупление чувств было бы всеобщим. В России читается, в основном, классика, отечественная и зарубежная, переводная современная зарубежная литература, и только с начала шестидесятых годов мы массово начали читать Пастернака, Ахматову, Цветаеву, Хлебникова, Мандельштама, Булгакова, Платонова и т. д., но не благодаря, а наоборот, вопреки ССП и официальным публикациям, почти нелегально, почти под страхом административного и морального осуждения и часто даже под страхом прямой судебной расправы. Ведь и до сих пор большинство произведений этих писателей официально не опубликовано.

Если хотите знать, в России шестидесятых годов машинописная перепечатка лучших образцов современной отечественной литературы достигла, вероятно, беспрецедентных масштабов. Как раз подподпольная литература, т. е. официально не опубликованная, начиная от неопубликованных писателей двадцатых годов и кончая произведениями А. Синявского и Ю. Даниэля, имеет для нашей национальной культуры первостепенное и единственное значение. И, наоборот, вся опубликованная советская литература (исключая случайную публикацию некоторых единичных произведений) для пробуждения национального самосознания и национальной культуры никакого положительного значения не имеет. И если кто-то на Западе думает, что творчество литераторов вроде Евтушенко и ему подобных имеет хоть какое-то влияние на развитие новейшей русской литературы, то он глубоко ошибается. Все это настолько незначительные и настолько сомнительные ценности, что вполне допустимо поставить вопрос: а есть ли здесь ценности вообще и можно ли надеяться на их появление хотя бы в буду-

щем? Я лично думаю, что настоящие литературные ценности будут возникать, минуя организации вроде ССП и официальные публикации до тех пор, пока не будет восстановлена свобода творчества, свобода печати и организаций.

Процесс над Синявским и Даниэлем лишний раз убедительно доказывает это. Хотя бы уже потому Вигорелли неправ. Но всякому, кто думает так же, как Вигорелли, необходимо объяснить, что до тех пор, пока в России не будет обеспечена на деле свобода творчества, свобода слова и свобода печати, литература может развиваться, только минуя душегубки вроде ССП и официальные публикации, т. е. подпольно, ибо других возможностей у нее нет. А «при свете дня» в сегодняшней России может развиваться только мошенническая литература, начиная от примитивизма Михалкова (между прочим, он заявил: «Хорошо, что у нас есть органы госбезопасности, которые могут оградить нас от людей вроде Синявского и Даниэля») и кончая более утонченными, модными псевдописателями и псевдопоэтами, получившими наконец-то возможность говорить полуправду и, таким образом, более утонченно симулировать истину. Такая литература, которая во главе с Михалковым просит органы КГБ «оградить ее» от всяких проявлений творческой свободы, если она даже и имеет значение, то разве что только отрицательное.

Но если С. Михалкову перед натиском возвращающегося национального самосознания достаточно укрыться за спиной КГБ, то, например, С.В. Смирнову для этого непременно нужна диктатура. И вот он, с графоманской неуклюжестью, поспешно придумывает несколько строчек:

Я могу сказать определенно,
это стало видного видней,
что понятье «пятая колонна»
не сошло с повестки наших дней...
И когда смердят сии натуры
и зовут на помощь вражью рать,
дорогая наша диктатура,
не спеши слабеть и отмирать!

Для насильственного утверждения своей идеологической состоятельности фашизм непременно нуждается в фашистской диктатуре. Идеология марксизма (да будет вам известно, господин С.В. Смирнов) показала свою жизнеспособность даже в странах с антикоммунистическим режимом, а в условиях, например, итальянской, французской или японской демократий она даже пользуется широкой популярностью. Но, по Смирнову, для торжества марксистской идеологии, видите ли, непременно нужна диктаторская дубинка именно в стране, где эта идеология является официальной и единственной. Как странно все это, не правда ли?

Логика данного противоречия приводит нас к выводу, что С.В. Смирнову диктатура нужна не для того, чтобы защитить марксистскую идеологию, а чтобы средствами диктатуры защитить интересы людей, эксплуатирующих ценности этой идеологии, опошляющих и дискредитирующих ее, к числу которых, безусловно, принадлежит и он сам. Здесь, разумеется, без диктатуры никак нельзя, здесь «или пан, или пропал». Да это же просто страх за собственную шку-

ру. Это же визг литературной проститутки, насмерть перепуганном угрозой закрытия публичного дома. Это, в конце концов, страх респектабельной литературной шлюхи перед наступлением всеобщего торжества нравственности.

<...>

Сегодняшняя литературная Россия похожа на спящую красавицу, которая только-только очнулась от идеологического гипноза и даже не успела как следует протереть глаза, а секретарь Европейского сообщества писателей заявляет: не обращайте на нее никакого внимания, главное — это литературные мошенники и спекулянты с их пирровыми победами. Но сама жизнь опровергла Вигорелли. Подпольное творчество Синявского и Даниэля заставило его приехать в Москву и защищать это подпольное творчество.

Да, у нас правая рука еще в кандалах, а на левой еще не зажили кандальные раны! Творчество Синявского и Даниэля — это пока еще творчество одной левой руки. У России еще будет возможность с изумлением прочитать настоящие произведения литературы, включая будущие произведения Синявского и Даниэля, если их талант выживет в лагерях уже несталинского типа.

<...>

Источник: Юрий Галансков. Ростов-на-Дону: Приазовский край, 1994.

Материалы из сборника «Дело о демонстрации 22 января 1967 года»

(Справку об этом сборнике см. стр. 426)

Единственным упоминанием в советской печати о деле демонстрантов была следующая заметка в газете «Вечерняя Москва» от 4 сентября 1967 года:

В МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ

30 августа — 1 сентября Московский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Буковского В.К., Делоне В.Н. и Кушева Е.И. — лиц без определенных занятий, привлеченных за нарушение общественного порядка в Москве.

Все подсудимые, обвинявшиеся по ст. 1903 Уголовного кодекса РСФСР, признали себя виновными и рассказали суду о своих преступных действиях. Их вина подтверждена показаниями многих свидетелей.

Буковский в течение длительного времени нигде не работал, много раз предупреждался органами власти за совершение хулиганских антиобщественных действий. Он виновен также в том, что на скамье подсудимых рядом с ним оказались Делоне и Кушев.

Суд приговорил Буковского к 3 годам лишения свободы, Делоне и Кушева — каждого к 1 году условно.

После опубликования этой заметки редакция газеты получила несколько откликов на нее в виде писем. Вот одно из них:

Вольпин А. С.

В редакцию газеты «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» от гр-на ВОЛЬПИНА Александра Сергеевича, проживающего по адресу: Москва-А-445, Фестивальная ул., 17, кв. 1.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В вашей газете 4 сентября с. г. (№ 207, 3-я страница, внизу) помещена заметка «В Московском городском суде», в которой неправильно сообщается, что все подсудимые признали себя виновными. В оглашенном 1 сентября приговоре суда сказано, что Буковский себя виновным не признал. Эта ошибка (если ее можно так назвать) требует исправления в очередном номере газеты.

Если это исправление будет помещено в «Вечерней Москве», прошу известить меня об этом, по возможности предварительно.

Из последних слов подсудимых Делоне и Кушева было видно, что они при-

знают себя виновными не в юридическом, а в ином смысле, предлагая юридический вопрос о виновности решить суду. Я думаю, что читатели «Вечерней Москвы» вправе требовать от этой газеты аккуратности в подобных вопросах и что эта ошибка (со стороны газеты, быть может, непреднамеренная) также должна быть исправлена.

Многие читатели «Вечерней Москвы» слышали тоже неверные сообщения «Голоса Америки» об этом процессе. О лживости этой радиостанции часто пишет советская пресса, но это не дает ей никакого права вступать на путь состязания во лжи.

Вольпин

5 сентября 1967 г.

С протестом аналогичного содержания обратилась в редакцию «Вечерней Москвы» писательница Наталья Ильина. В конце своего письма она указывает на то, что подобные извращения фактов способствуют появлению у молодежи цинизма и неверия.

Разговоры о процессе внутри страны и за границей не утихали. В частности, газета «Морнинг Стар», орган Коммунистической партии Великобритании, писала об этом процессе, выражая сожаление по его поводу.

КГБ обеспокоился по поводу того, что правдивая информация о деле может стать достоянием общественности.

Литвинов П. М.

Главному редактору газеты «Известия»
Главному редактору «Литературной газеты»
Главному редактору газеты «Комсомольская Правда»
Главному редактору газеты «Московский комсомолец»
Главному редактору газеты «Морнинг Стар»
Главному редактору газеты «Юманите»
Главному редактору газеты «Унита»

Считаю своим долгом довести до сведения общественности следующее.

26 сентября 1967 года я был вызван в Комитет государственной безопасности к работнику Комитета Гостеву (пл. Дзержинского, 2, комн. 537). При нашем разговоре присутствовал еще один работник КГБ, не назвавший себя.

Сразу после этого разговора я записал его по памяти, поскольку, как я убежден, он наглядно обнаружил тенденции, которые должны стать предметом гласности и не могут не встревожить нашу и мировую прогрессивную общественность. Привожу текст разговора. За точность передачи основного содержания сказанного представителем КГБ и мною я ручаюсь.

Гостев: Павел Михайлович, у нас есть сведения, что вы с группой лиц собираетесь изготовить и распространить запись последнего уголовного процесса Буковского и других. Мы вас предупреждаем, что, если вы это сделаете, вы будете нести уголовную ответственность.

Я: Независимо от того, собираюсь я это сделать или нет, мне непонятно, в чем уголовная наказуемость такого действия.

Гостев: Это будет решать суд над вами, а мы вас только хотим предупредить, что, если такая запись получит распространение в Москве или других городах или попадет за границу, вы будете отвечать за это.

Я: Я хорошо знаю законы и не представляю себе, какой закон может быть нарушен при составлении такого документа.

Гостев: Есть такая статья: сто девяностая-первая. Возьмете Уголовный кодекс и прочитаете.

Я: Я отлично знаю эту статью (кстати, расследование по этой статье — не в компетенции КГБ) и могу прочитать ее на память. В ней идет речь о клеветнических измышлениях, порочащих советский общественный и государственный строй. Какая может быть клевета в записи дела, слушавшегося в советском суде?

Гостев: А ваша запись будет тенденциозно искажать факты и клеветать на действия суда. Это докажут те органы, в чьей компетенции такие дела.

Я: Как вы это можете знать заранее? И вообще, чем вести этот бессмысленный разговор и заводить новое дело, вы бы сами издали стенограмму этого судебного процесса и пресекли бы ходящие по Москве слухи. Я вчера встретил одну знакомую, и она мне столько ерунды наговорила об этом деле, что просто противно слушать.

Гостев: А зачем нам ее издавать? Это обычное уголовное дело с нарушением общественного порядка.

Я: Если это так, тогда тем более о нем стоит дать информацию, чтобы все увидели, что оно действительно обычное.

Гостев: Вся информация об этом деле есть в «Вечерней Москве» от 4 сентября. Там есть все, что нужно знать об этом процессе.

Я: Во-первых, информации там мало: читатель, ничего ранее не слышавший об этом деле, просто не поймет, о чем речь. Во-вторых, она лживая и клеветническая. Вот редактора «Вечерней Москвы» или того, кто дал эту информацию, следовало бы привлечь за клевету...

Гостев: Павел Михайлович, эта информация совершенно точная, запомните это.

Я: Там сказано, что Буковский признал себя виновным, а я интересовался этим делом и точно знаю, что он не признал себя виновным.

Гостев: Что значит: признал, не признал? Суд признал его виновным — значит, он виновен.

Я: Я говорю сейчас не о решении суда, да и в заметке имеется в виду не это, а признание своей вины самим обвиняемым — это совершенно самостоятельное юридическое понятие. Затем, в заметке говорится о том, что ранее Буковский совершал «хулиганские антиобщественные поступки». Как ни рассматривай его действия, хулиганскими назвать их нельзя.

Гостев: Хулиганство — это нарушение общественного порядка.

Я: Значит, любое нарушение общественного порядка — хулиганство? Например, улицу не в том месте перешел — уже хулиган?

Гостев: Павел Михайлович, вы же не маленький, отлично понимаете, о чем идет речь.

Я: А вообще о Буковском надо было бы рассказать побольше: например, как его задержали дружинники во время чтения стихов на площади Маяковского, отвели его в отделение и избили.

Гостев: Это неправда, этого не может быть!

Я: Это рассказала его мать.

Гостев: Мало ли чего она вам расскажет…

Я: Она это рассказала не мне (я с ней не знаком), а суду, и никто ее не перебил и не обвинил в клевете.

Гостев: Лучше бы она вам рассказала, как ее вызывали и предупреждали о поведении сына. Мы и ваших родителей можем вызвать. И вообще, Павел Михайлович, имейте в виду: в «Вечерней Москве» напечатано все, что полагается знать советским людям об этом деле, и она совершенно правдива, а вас мы предупреждаем, что если даже не вы, а ваши друзья или кто бы то ни было сделает эту запись, нести за это ответственность будете именно вы.

Я: Это интересно. Вы говорите об ответственности по закону, а закон предусматривает, что отвечает за действия человек, их совершивший.

Гостев: Вы можете это предотвратить.

Я: Но вы мне так и не объяснили, в чем опасность и наказуемость этих действий?

Гостев: Вы отлично понимаете, что такая запись может быть использована нашими идейными врагами, особенно накануне 50-летия Советской власти.

Я: Но я не знаю закона, предусматривающего ответственность за распространение несекретного документа, — только потому, что он может быть кем-то с какой-то целью использован. Многие критические материалы из советских газет тоже могут быть кем-то использованы.

Гостев: Вам ясно, о чем идет речь. Мы вас только предупреждаем, а вину докажет суд.

Я: Докажет, я не сомневаюсь, это ясно хотя бы из суда над Буковским. И мой друг Александр Гинзбург сидит в тюрьме за такие же действия, о каких вы говорите, предупреждая меня.

Гостев: Вот когда будут судить Гинзбурга, вы и узнаете, что он сделал. Если он невиновен, то его оправдают. Неужели вы думаете, что сейчас, на пятидесятом году Советской власти, советский суд может принять неправильное решение?

Я: Тогда зачем процесс Буковского сделали закрытым?

Гостев: Процесс был открытым.

Я: Но на него нельзя было попасть.

Гостев: Кому надо, те попали. Там были представители общественности, а больше в зале не было мест. Мы из-за этого дела клуб снимать не собирались.

Я: Значит, фактически нарушена гласность судопроизводства.

Гостев: Павел Михайлович, мы не собираемся с вами дискутировать, мы вас просто предупреждаем. Представляете себе, весь мир узнает, что внук великого дипломата Литвинова занимается такими делами, — это будет пятном на его памяти.

Я: Ну, я думаю, что он не был бы на меня в претензии. Я могу идти?

Гостев: Пожалуйста. Самое лучшее для вас сейчас: поехать домой и уничтожить все, что у вас есть.

Я знаю, что подобного рода беседа была проведена с Александром Гинзбургом за два месяца до его ареста.

Я протестую против подобных действий органов государственной безопасности, которые являются неприкрытым шантажом.

Я прошу вас опубликовать это письмо, чтобы в случае моего ареста общественность была информирована о предшествовавших ему обстоятельствах.

П. М. ЛИТВИНОВ, ассистент кафедры физики Московского Института тонкой химической технологии имени Ломоносова.

Москва К-1, ул. Алексея Толстого, 8, кв. 78. 3 октября 1967 г.

Ни одна из семи редакций, в которые Литвинов направил свое письмо, не только не опубликовала это письмо, но даже не сочла долгом ответить на него.

Исчерпывающая морально-юридическая характеристика всего дела содержится в письме бывшего генерал-майора Советской Армии П.Г. Григоренко.

Осужденные ХАУСТОВ и БУКОВСКИЙ отбывают наказание в исправительно-трудовых лагерях. Их адреса:

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ РАЙОН, СТАНЦИЯ ЧАТКАН, П/Я ЮК 25/7А, ХАУСТОВУ В. А.

Источник: Правосудие или расправа? Сборник документов. / Дело о демонстрации 22 января 1967 года. / Сборник документов под редакцией Павла Литвинова. Overseas Publications Interchange, Ltd. London, 1968.



Гинзбург Александр Ильич

(1936–2002)

Журналист, правозащитник, редактор.

Родился в Москве. В 1959-1960 гг., будучи студентом Историко-архивного института, основал один из первых самиздатских журналов «Синтаксис» (вышло 3 номера, *см. т. 1, кн. 2, стр. 349*). Вскоре был арестован и осужден на 2 года лагерей. В 1966 г. издал сборник материалов по делу А. Синявского и Ю. Даниэля под названием «Белая книга» *(см. стр. 422)*. За это был повторно арестован в 1967 г. вместе с тремя другими «издателями» сборника (процесс «четырех») и осужден на 5 лет лагерей. Процесс «четырех» в то время послужил символом единения правозащитников. Вскоре после своего освобождения в 1972 г. становится распорядителем Солженицынского «Русского фонда помощи политзаключенным» и вновь активно включается в разностороннюю правозащитную деятельность. В 1976 г. Гинзбург стал одним из основателей Московской Хельсинкской группы. В 1977 г. был вновь арестован и осужден на 10 лет лагерей и ссылку, но в 1979 г. был выслан из СССР в обмен на советских шпионов. Сначала жил в США, а с 1980 г. и до своей смерти – в Париже, где сотрудничал с газетой «Русская мысль».

После смерти Алика Гинзбурга Григорий Померанц написал о нем следующее:

«...Имя [Гинзбурга] неотделимо от истории демократического движения. В чем-то он его просто начал, как открытое неразрешенное дело. До 1960 года считалось обязательным для оппозиции прятаться в подполье. Один за другим возникали и раскрывались КГБ подпольные кружки. Я сам вел один из таких кружков. И вдруг оказалось, что можно, прямо напротив Кремля, начать что-то неразрешенное (хотя и не запрещенное законом). Что-то очень простое, почти незаметное: распечатывать по нескольку десятков экземпляров стихи, не прошедшие журнальную перестраховку и по большей части даже не дошедшие до цензуры. Это был новый стиль. КГБ нашел способ прекратить сборники Гинзбурга, но стиль остался...»

Последнее слово на суде 12 января 1968 г.

Я хочу начать свое последнее слово с выражения признательности за то, что с меня снято обвинение в личной нечестности — обвинение в том, что я, написав Косыгину письмо, в котором выражалась моя точка зрения на процесс Синявского и Даниэля, не отправил это письмо по адресу. Это обвинение было оскорбительным.

Затем, на суде много говорилось об НТС. Я думаю, что мнение государственного обвинителя по поводу этой антисоветской эмигрантской организации ни-

кем не оспаривается. Я только хочу поблагодарить государственного обвинителя за то, что он все же отделил нас от тех, кто во время войны убивал, резал, истреблял евреев, за то, что эти обвинения не были направлены прямо по нашему адресу. Теперь я перейду к делу.

На этом процессе 9 января я уже пытался рассказать о своих взглядах и о мотивах, побудивших меня к созданию сборника материалов по делу Синявского и Даниэля. Сейчас я не буду повторять всего этого. Я хочу только еще раз коротко рассказать об общественной реакции на суд над Синявским и Даниэлем, об обстановке, в какой я составлял свой сборник, положенный ныне в основу обвинения против меня.

Когда 9 января я попробовал говорить об этом и сравнил общественную реакцию во всем мире на процесс над Синявским и Даниэлем с реакцией на преследования греческих демократов, в зале раздался смех, больше похожий на рычание. Тем не менее, я снова буду говорить об этом. Прокурор здесь долго убеждал нас в том, что НТС не выступает против агрессии во Вьетнаме. Какое это имеет отношение к сборнику материалов по делу Синявского и Даниэля? Я могу сослаться на первые 90 страниц лежащего перед вами сборника. Там есть, например, протест, подписанный в числе других Норманом, который лежит сейчас со штыковыми ранениями, полученными у Пентагона во время демонстрации против американской агрессии во Вьетнаме. В этом же сборнике есть протесты, подписанные многими другими прогрессивными деятелями мира. Государственный обвинитель, быть может, и прав, когда говорит об отношении НТС к войне во Вьетнаме. Но это ни в какой степени не связано со сборником, в котором я собрал все доступные мне материалы по делу Синявского и Даниэля для того, чтобы объективно представить картину этого суда, реакцию мировой общественности и просить о пересмотре этого дела.

Меня обвиняют в том, что я включил в свой сборник материалы, которые суд считает антисоветскими. Я говорю о листовке, подписанной «Сопротивление», и о «Письме старому другу». Защитники не ставили своей целью опровергнуть эти доводы обвинения. Я вынужден говорить об этом, потому что если суд признает эти документы криминальными, то в дальнейшем они не могут быть никем защищены, как это получилось со статьей Синявского «Что такое социалистический реализм». Именно поэтому я как составитель этого сборника, считаю своей обязанностью говорить об этих двух документах.

Таким образом я считаю, что эта листовка, может быть, резка по форме, но не направлена против советской власти, а лишь против действий отдельных работников КГБ. Кроме того, в этой листовке не содержится никакой клеветы, нет искажения фактов, в ней лишь ставится упрек представителям власти за одно конкретное действие. Я прошу суд исключить этот документ из числа антисоветских.

Теперь о «Письме старому другу». Я уже говорил, что не знаю, кто его автор. Но думаю, что это человек, переживший ужасы сталинских концлагерей. Он пишет: «И ты, и я — мы знаем сталинское время». И об этом времени автор говорит в резкой форме. Но это недостаточное основание для объявления этого документа антисоветским. В речи председателя КГБ Андропова, посвященной 50-летию КГБ, говорится: «Мы не должны забывать то время, когда к руковод-

ству нашими органами пробрались политические авантюристы». К тому же призывает автор «Письма старому другу». Здесь приводилась и другая цитата из этого письма: «Горький выдвинул людоедский лозунг: если враг не сдается, его уничтожают». Во-первых, это относится к тому времени, о котором я только что говорил. Во-вторых, критика одного, даже крупного писателя не является критикой всей власти. Человек, переживший ужасы того страшного времени, не может не волноваться, когда ему вдруг кажется, что в теперешней жизни он видит рецидивы прошлого, и тогда выражение этого беспокойства в резкой форме вполне правомерно. Я утверждаю, что в «Письме старому другу» не содержится клеветы на советский строй и призыва к его свержению, и прошу суд не квалифицировать это произведение как антисоветское.

По поводу пункта обвинения, связанного с передачей мною Губанову нескольких газетных вырезок антисоветского содержания, моим адвокатом была приведена полная и основательная аргументация, и я не буду ее повторять.

По поводу того, что сборник материалов по делу Синявского и Даниэля, составленный мной, был с моего ведома передан Галансковым в НТС, тоже достаточно убедительно и аргументированно доказано, что эта версия не только не подтвердилась, но и противоречит фактам, выявленным в ходе судебного следствия.

Итак, меня обвиняют в том, что я составил тенденциозный сборник по делу Синявского и Даниэля. Я не признаю себя виновным. Я поступил так потому, что убежден в своей правоте. Мой адвокат просил для меня оправдательного приговора. Я знаю, что вы меня осудите, потому что ни один человек, обвинявшийся по статье 70, еще не был оправдан. Я спокойно отправлюсь в лагерь отбывать свой срок. Вы можете посадить меня в тюрьму, отправить в лагерь, но я уверен, что никто из честных людей меня не осудит. Я прошу суд об одном: дать мне срок не меньший, чем Галанскову. (В зале смех, крики: «Больше, больше!»)

Источник: Процесс четырех. Амстердам. Фонд им.Герцена. 1971.

ГОД ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, статья 19

30 апреля 1968 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

ГОД ИЗДАНИЯ ПЕРВЫЙ

1

10 декабря 1968 г. исполнится 20 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав человека.

* * *

10 декабря во всем мире начался Год прав человека.

* * *

11 декабря в Москве должен был начаться судебный процесс по делу ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА, АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА, АЛЕКСЕЯ ДОБРОВОЛЬСКОГО и ВЕРЫ ЛАШКОВОЙ. Однако процесс был отложен и начался только 8 января 1968 г. Всем четверым предъявлено обвинение по ст.70 УК РСФСР (антисоветская пропаганда и агитация), а ГАЛАНСКОВУ дополнительно по ст.88ч.1 УК РСФСР (незаконные валютные операции). Все четверо арестованы в январе 1967 г. и провели в Лефортовской тюрьме почти год в нарушение ст.97 УК РСФСР, по которой максимальный срок содержания под стражей не может превышать девяти месяцев. ЮРИЙ ГАЛАНСКОВ, 1939 г. рождения, перед арестом работал рабочим в Государственном литературном музее и учился на втором курсе вечернего отделения Историко-архивного института. Составил и выпустил машинописный литературный сборник «Феникс-66». Стихи ГАЛАНСКОВА печатались в первом «Фениксе» (1961 г.) и ходили отдельно в списках.

* * *

АЛЕКСАНДР ГИНЗБУРГ, 1936 г. рождения, также работал рабочим в Гослитмузее и учился на первом курсе вечернего отделения Историко-архивного института. Составил сборник по делу СИНЯВСКОГО и ДАНИЭЛЯ (так называемую «Белую книгу»), отправленный им в ноябре 1966 г. депутатам Верховного Совета СССР и в Комитет государственной безопасности при СМ СССР. В 1960 г. привлекался органами КГБ в связи с выпуском поэтических сборников «Синтаксис» (три номера), а осужден был по ст.196 ч.1 УК РСФСР (подделка документов), получил по этой статье два года исправительно-трудовых лагерей — максимальный срок, несмотря на незначительность преступления (подделка справки для сдачи экзамена за товарища) и полное отсутствие корыстных мотивов в его действиях. Отбывал наказание в лагерях Коми АССР.

* * *

В 1964 г. КГБ снова предпринял попытку возбудить против ГИНЗБУРГА дело по ст.70, инкриминируя ему хранение «антисоветской» литературы, но дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

* * *

АЛЕКСЕЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 1938 г. рождения, работал переплетчиком в Государственном литературном музее, учился на первом курсе Московского института культуры. В 1957 г. был осужден по ст.58(10) УК РСФСР (нынешняя ст.70) на 6 лет исправительно-трудовых работ. Отбывал наказание в Потьме Мордовской АССР. Освобожден из лагеря в 1961 г. В 1964 г. снова был привлечен к уголовной ответственности, судебно-психиатрической экспертизой был признан невменяемым (диагноз — шизофрения) и отправ-

лен в специальную психиатрическую больницу в Ленинграде. В сборнике «Феникс-66» опубликована статья ДОБРОВОЛЬСКОГО «Взаимоотношения знания и веры».

* * *

ВЕРА ЛАШКОВА, 1945 г. рождения, перед арестом работала машинисткой в МГУ и училась на втором курсе Института культуры.

* * *

Судебный процесс продолжался пять дней (8-12 января), было допрошено 25 свидетелей, суду были предъявлены вещественные доказательства, изъятые при обысках (книги и брошюры НТС, деньги и шапирограф, найденные у ДОБРОВОЛЬСКОГО, два экземпляра сборника «Феникс» — у ГАЛАНСКОВА и ГИНЗБУРГА, «Белая книга», выпущенная за границей в 1967 г. в марте, несколько машинок, на которых перепечатывались материалы «Белой книги» и «Феникса»).

* * *

Процесс формально был открытым, но вход на него был по пропускам. В ноябре 1967 г. в Мосгорсуд было направлено письмо со 116 подписями, авторы которого, ссылаясь на существующую практику закрытого доступа на открытые процессы, заранее просили обеспечить им возможность присутствовать на этом процессе. Ни одному из подписавших письмо такой возможности не было предоставлено — практика распределения пропусков на процесс до сих пор остается не совсем ясной. Известно только, что кроме большого числа работников КГБ и членов комсомольских оперотрядов, немногих представителей юридической общественности (так, на Московскую коллегию адвокатов было выдано всего два пропуска), остальная часть публики в основном получила пропуска в райкомах КПСС.

* * *

Ближайшие родственники (родители, сестра и жена ГАЛАНСКОВА, невеста ГИНЗБУРГА, мать ДОБРОВОЛЬСКОГО, мать ЛАШКОВОЙ, а также после дачи свидетельских показаний, т.е. к концу третьего дня процесса, — мать ГИНЗБУРГА и жена ДОБРОВОЛЬСКОГО) присутствовали в зале суда. Сестра ГАЛАНСКОВА на второй день суда не была допущена в зал, после того как вышла на несколько минут подышать свежим воздухом (ЕЛЕНА ГАЛАНСКОВА была беременна), — якобы за общение с недопрошенными свидетелями.

* * *

Большое число людей, несмотря на жестокие морозы, собиралось около здания суда, особенно к концу судебных заседаний. Наибольшее количество — человек 100 (не считая иностранных корреспондентов и огромного количества стукачей) — собралось в последний день, к объявлению приговора.

* * *

Суд (прокурор ТЕРЕХОВ, судья МИРОНОВ) приговорил ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в лагерях строгого режима, АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА — к 5 годам, АЛЕКСЕЯ ДОБРОВОЛЬСКОГО — к 2 годам, ВЕРУ ЛАШКОВУ — к 1 году.

* * *

Адвокаты всех четырех осужденных подали кассационные жалобы. Кассационное разбирательство в Верховном суде РСФСР состоялось 16 апреля 1968 г. (прокурор ТЕРЕХОВ, судья ОСТРОУХОВА). Приговор Мосгорсуда оставлен в силе.

* * *

ЛАШКОВА освобождена 17 января 1968 г., отбыв полный срок наказания. Остальные трое подсудимых до самого кассационного суда содержались под стражей в Лефортовской тюрьме (таким образом, ст.97 УК РСФСР продолжала нарушаться).

* * *

Московский процесс вызвал широкие отклики в кругах советской общественности. Первым из них было написанное еще во время процесса обращение ЛАРИСЫ БОГОРАЗ и ПАВЛА ЛИТВИНОВА «К мировой общественности», рисующее атмосферу беззакония на процессе и вокруг него и требующее публичного осуждения этого позорного процесса, наказания виновных, освобождения подсудимых из-под стражи и повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей. После вынесения приговора и окончания процесса в советские судебные, государственные и партийные инстанции, а также в органы печати (в основном в ответ на появившиеся в некоторых газетах) был направлен ряд коллективных и индивидуальных писем, к настоящему времени составляет около 700 человек.

2

а. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОЦЕССУ

1. Из зала суда. «Вечерняя Москва», 14 января 68 г.

2. Т. АЛЕКСАНДРОВ, В.КОНСТАНТИНОВ. Затянутые одним поясом. «Известия», 16 января 68 г.

3. Ф. ОВЧАРЕНКО. В лакеях. «Комсомольская правда», 18 января 68 г.

4. Без снисхождения! (обзор писем читателей). «Комсомольская правда», 28 февраля 68 г.

5. А. ЧАКОВСКИЙ. Ответ читателю, «Литературная газета», 10 марта 68г.

б. ОПИСАНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПИСЕМ

1. Письмо Генеральному прокурору СССР и в Верховный суд РСФСР об отсутствии гласности на процессе, о вмешательстве органов ГБ в обстановку суда и о том, не явилось ли обвинение в связи с НТС прикрытием расправы за легальные, но неугодные КГБ действия подсудимых. Письмо требует пересмотра дела при новом составе суда, при соблюдении всех норм судопроизводства, при полном обеспечении гласности, а также привлечения к ответственности официальных лиц, виновных в грубом нарушении законности. 80 подписей.

2. Письмо Генеральному прокурору СССР и в Верховный суд РСФСР с приложением обращения БОГОРАЗ и ЛИТВИНОВА, к которому подписавшие полностью присоединяются. В письме говорится о фактически закрытом характере суда, о тенденциозности суда и приговора, об усилении произвола на политических процессах. Письмо требует пересмотра дела с соблюдением подлинной гласности и всех правовых норм в присутствии представителей общественности из числа подписавшихся, а также наказания людей, виновных в организации процесса и дискредитации советского законодательства. 224 подписи. (По первоначально собранному количеству подписей известно как «письмо 170-ти».)

3. Письмо Л.И. БРЕЖНЕВУ, А.Н. КОСЫГИНУ, Н.В. ПОДГОРНОМУ, Генеральному прокурору СССР Р.А. РУДЕНКО об отсутствии гласности во время процесса и о туманных, противоречивых газетных статьях в «Известиях» и «Комсомольской правде», о том, что «открытые» процессы последних лет напоминают «открытые» процессы 30-х годов. Письмо требует нового гласного и объективного рассмотрения дела — в интересах истины и законности, в интересах престижа социалистического государства, во имя справедливости и гуманности. 24 подписи, в основном членов Союза писателей.

4. Письмо десяти ленинградцев в редакции газет «Правда», «Известия», «Морнинг стар», «Юманите» и «Унита», содержащее поддержку обращения БОГОРАЗ и ЛИТВИНОВА и требование пересмотра дела. Одновременно письмо обращает внимание на содержание в Ленинграде в тюрьме без суда около года группы интеллигентов и выражает опасения относительно соблюдения законности на предстоящем суде над ними.

5. Письмо Л.И. БРЕЖНЕВУ, А.Н. КОСЫГИНУ, Н.В. ПОДГОРНОМУ, Председателю Верховного Суда СССР А.Ф. ГОРКИНУ и Генеральному прокурору СССР Р.А. РУДЕНКО о несправедливости суда над ГИНЗБУРГОМ, дело которого воспринимается как прямое продолжение суда над СИНЯВСКИМ и ДАНИЭЛЕМ, а приговор и обвинение в связи с НТС — как попытка распра-

виться с составителем сборника материалов по их делу. Письмо требует немедленного пересмотра дела. 120 подписей.

6. Письмо Генеральному прокурору СССР и в Верховный суд РСФСР от группы научных работников, инженеров, аспирантов из Новосибирска. Письмо выражает тревогу по поводу нарушения принципа гласности и требует отмены приговора, пересмотра дела и привлечения к ответственности виновников нарушения гласности и законности. 46 подписей.

7. Письмо Л.И. БРЕЖНЕВУ, А.Н. КОСЫГИНУ, Н.В. ПОДГОРНОМУ от группы украинских интеллигентов и рабочих. В письме осуждается практика нарушений законности и гласности. 139 подписей.

8. Письмо родственников и друзей подсудимых главному редактору и в партком газеты «Комсомольская правда» о лживости статьи Ф. ОВЧАРЕНКО «В лакеях» с требованием открытого обсуждения статьи в редакции и в Союзе журналистов. 29 подписей.

9. Открытое письмо в редакцию газеты «Комсомольская правда» О. ТИМОФЕЕВОЙ (жены ГАЛАНСКОВА), подробно опровергающее лживую информацию Ф. ОВЧАРЕНКО.

10. Письмо Л.И. ГИНЗБУРГ (матери ГИНЗБУРГА) в «Комсомольскую правду» о клевете автора статьи «В лакеях» на А. ГИНЗБУРГА с требованием проверки и опровержения статьи.

11. Письмо десяти друзей и знакомых А. ГИНЗБУРГА главным редакторам газет «Правда», «Известия» и «Комсомольская правда» с опровержением статей в «Известиях» и «Комсомольской правде».

12. Письмо 13 свидетелей, выступавших на процессе, о нарушении ст.283 УПК РСФСР, которая требует присутствия свидетелей в зале заседания до конца судебного следствия, в то время как судья и «комендант суда» грубо удаляли свидетелей сразу после дачи показаний. Письмо адресовано председателю Мосгорсуда, председателю Верховного Суда РСФСР, председателю Верховного Суда СССР, прокурору РСФСР и Генеральному прокурору СССР.

13-14. Письмо Л.И. БРЕЖНЕВУ, А.Ф. ГОРКИНУ, Р.А. РУДЕНКО и президенту АМН СССР БЛОХИНУ, написанное Э.М. ГРИГОРЕНКО, в котором она протестует против отклонения вызова на суд свидетелем ее мужа П.Г. ГРИГОРЕНКО, которое мотивировалось фальшивой справкой о его психической невменяемости. Письмо самого П.Г. ГРИГОРЕНКО в Верховный суд РСФСР с изложением показаний, которые он не смог дать на суде, и содержанием которых было происхождение денег, найденных у ДОБРОВОЛЬСКОГО.

* * *

Здесь перечислены письма с наибольшим количеством подписей и письма людей, наиболее близких к суду и подсудимых и наиболее осведомленных в существе дела. Кроме них, существует большое количество индивидуальных и коллективных (до 8 подписей) писем-протестов.

В качестве наиболее содержательных можно назвать обращение И. ГАБАЯ, Ю. КИМА, П. ЯКИРА «К деятелям науки, культуры и искусства», в котором политические процессы последних лет ставятся в прямую связь с другими яв-

лениями ресталинизации в нашей стране, заявление председателю Верховного суда РСФСР А.Э. ЛЕВИТИНА (КРАСНОВА), выступавшего свидетелем на этом процессе и на процессе БУКОВСКОГО. Он указывает на ограничение свободы слова и совести как на причину действий ГАЛАНСКОВА и ГИНЗБУРГА и требует освободить обоих молодых людей; письмо в ЦК КПСС председателя колхоза «Яуна Гварде» Латвийской ССР члена КПСС И.А. ЯХИМОВИЧА об огромном вреде подобных судебных процессов и преследования инакомыслящих для нашей страны; письмо члена КПСС, члена Союза писателей Л.З. КОПЕЛЕВА в Секретариат ЦК КПСС о том, что прошедший процесс — новая попытка «укрепить» идеологическую борьбу и политико-воспитательную работу репрессиями, что наносит вред нашей культуре, престижу и, в конце концов, самой государственной безопасности. КОПЕЛЕВ требует пересмотреть враждебные решения, отстранить от работы лиц, ответственных за эти процессы, предать гласности материалы процессов, отстранить ведомства охраны общественного порядка, госбезопасности, прокуратуру и суд от вмешательства в культурную жизнь; письмо В.М. ВОРОНИНА из Арзамаса главному редактору газеты «Известия» о безнравственности и бездоказательности статьи Т. АЛЕКСАНДРОВА и В. КОНСТАНТИНОВА, об искажении в ней одних фактов и замалчивании других; письмо переводчика А. ЯКОБСОНА, который доказывает лживость статей «В лакеях» и «Затянутые одним поясом», не имея дополнительной информации, а только детально анализируя их собственный текст; письмо инженера-математика Л. ПЛЮЩА из Киева в редакцию газеты «Комсомольская правда», в котором он объясняет, почему он верит «самиздатовским» документам, а не официозным статьям о процессе.

Ни на одно из писем не последовало ответа.

3

Неслыханный размах движения протеста вызвал ряд мер репрессионного характера.

* * *

В начале февраля 1968 года Л.И. ГИНЗБУРГ, ИРИНА ЖОЛКОВСКАЯ (невеста А. ГИНЗБУРГА) и ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА (жена Ю. ГАЛАНСКОВА) были вызваны в Прокуратуру г.Москвы (так как по закону явка обязательна при вызове свидетеля, а повестки не указывали ни цели вызова, ни последствий неявки, О. ТИМОФЕЕВА на вызов не явилась). С Л.И. ГИНЗБУРГ и И. ЖОЛКОВСКОЙ была проведена «профилактическая беседа» о том, что они якобы распространяют ложные сведения о процессе. В конце беседы была высказана угроза применения статьи 190-1 УК РСФСР.

* * *

Вслед за этим для подобных же «профилактических бесед», но уже в КГБ были вызваны Л. БОГОРАЗ, П.Г. ГРИГОРЕНКО, П. ЛИТВИНОВ, П. ЯКИР

(ЛИТВИНОВ не явился ни по первому, ни по повторному вызову, после чего уже в марте был вызван в Прокуратуру г.Москвы). Содержание бесед было однозначным: всех вызванных предупреждали о том, чтобы они прекратили «свою антиобщественную деятельность». ПЕТРУ ЯКИРУ, сыну расстрелянного в 1937 г. командарма ИОНЫ ЯКИРА, заявили: «Не вы духовный наследник вашего отца! Мы — его духовные наследники». ЛАРИСЕ БОГОРАЗ, которая сказала, что она не будет разговаривать, пока ей не дадут сделать заявление о грубых беззаконных преследованиях по отношению к бывшему политзаключенному, АНАТОЛИЮ МАРЧЕНКО, сказали, что это заявление — еще одно проявление ее «антиобщественной деятельности». П.Г. ГРИГОРЕНКО изложил проведенную с ним длинную, полную угроз беседу в письме на имя председателя КГБ Ю.В. АНДРОПОВА — на это письмо он тоже не получил ответа.

* * *

14-15 февраля двое из активных участников протестов кандидат физико-математических наук АЛЕКСАНДР ВОЛЬПИН и переводчик НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ были подвергнуты принудительной госпитализации в психиатрическую больницу.

Н. ГОРБАНЕВСКАЯ, без предупреждения и без ведома родных, 15 февраля была перевезена из 27-го роддома, где она лежала на сохранении беременности, в 27-е отделение больницы им.Кащенко. Решение о переводе было принято с участием дежурного психиатра Тимирязевского района, а основанием перевода были названы просьбы больной о выписке. 23 февраля ГОРБАНЕВСКАЯ была выписана из больницы им.Кащенко, так как психиатры признали, что она не нуждается в лечении.

А.С. ВОЛЬПИН был взят 14 февраля из дома с помощью милиции при участии дежурного психиатра Ленинградского района АЛЬБЕРТА МАТЮКОВА. Основанием было названо то, что ВОЛЬПИН давно не был в психодиспансере, где он состоит на учете (и куда он за предыдущие 4 года ни разу не был вызван). Он был помещен в 3-е отделение больницы им.Кащенко, где подвергся грубому обращению со стороны зав. отделением А.А. КАЗАРНОВСКОЙ и лечащего врача ЛЕОНА ХРИСТОФОРОВИЧА (не назвавшего своей фамилии). 16 февраля по распоряжению, подписанному главным психиатром г.Москвы И.К. ЯНУШЕВСКИМ, ВОЛЬПИН был переведен в больницу №5 на ст. Столбовая в 70 км от Москвы (в этой больнице, в основном, находятся хроники, а также направленные на принудительное лечение мелкие уголовники). Обращение его родных к И.К. ЯНУШЕВСКОМУ осталось без ответа. Только после обращения к министру здравоохранения СССР академику Б.В. ПЕТРОВСКОМУ сначала академиков А.Н. КОЛМОГОРОВА и П.С. АЛЕКСАНДРОВА, а затем еще 99 ученых (в том числе крупнейших советских математиков — академиков, профессоров, лауреатов Ленинской премии) положение ВОЛЬПИНА было несколько улучшено — в настоящее время он снова в больнице им. Кащенко, но в 32-м отделении, более спокойном, чем 3-е.

* * *

Единственным официальным основанием подобных действий может являться инструкция «О неотложной госпитализации психически больных, представляющих общественную опасность» (сб. «Законодательство по здравоохранению», т.6, М., 1963). Но, во-первых, только официальным, а не законным, так как сам акт насильственной госпитализации противоречит ст.ст.58-60 УК РСФСР, по которым принудительные меры медицинского характера назначаются судом. Госпитализация же людей в качестве «общественно-опасных» прямо противоречит основному принципу законности — принципу презумпции невиновности, так как социально опасным признается лицо, совершившее преступление, что может быть установлено только приговором суда. Во-вторых, и эта достаточно жестокая и незаконная инструкция грубо нарушалась. По прибытии в больницу в течение 24 часов направленного должна осмотреть комиссия из трех человек, чего не было ни в случае ВОЛЬПИНА, ни в случае ГОРБАНЕВСКОЙ. Не были извещены родные, что тоже обязательно по инструкции. Наконец, комиссия, назначенная после писем математиков, установила только, что ВОЛЬПИН нуждается в лечении и частично улучшила ему условия содержания в больнице. По инструкции же комиссия и так обязана осматривать больного раз в месяц и при этом давать заключение не о том, болен ли он вообще, а в том, продолжает ли его заболевание носить «общественно-опасный характер», — если нет, больного выписывают на попечение родных. Очередная комиссия, состоявшаяся 17 апреля, также заявила о том, что ВОЛЬПИНУ еще месяца полтора надо «полечиться».

* * *

Следующая, пока что наиболее широкая волна репрессий, коснулась членов партии, подписавших те или иные письма. Во все райкомы партии г.Москвы были направлены копии или фотокопии писем (в том числе и таких, авторы которых адресовались в суд и прокуратуру, не направляя даже копии письма в ЦК КПСС). По спискам подписей райкомы выискивали «своих» членов партии. Мера почти ко всем применялась одна и та же — исключение из партии, вне зависимости от решения первичной организации и от того, рассматривалось ли вообще дело на собрании парторганизации. Исключены из партии следующие люди:

1. ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА, редактор издательства «Наука».
Подписала письмо 80-ти. По рекомендации райкома уволена с работы.
2. ЛЮДМИЛА БЕЛОВА, кандидат философских наук, участница Великой Отечественной войны, орденоносец, научный сотрудник Института истории искусств, подписала письмо 80-ти.
3. БОРИС БИРГЕР, художник, член МОСХ, подписал письмо 24-х («писательское»).
4. ПИАМА ГАЙДЕНКО, кандидат философских наук, научный сотрудник Института международного рабочего движения, подписала письмо 80-ти.

5. АЛЕКСАНДР ОГУРЦОВ, кандидат философских наук, научный сотрудник Института международного рабочего движения, подписал письмо 80-ти.

6. ЛЕОНИД ПАЖИТНОВ, кандидат философских наук, научный сотрудник Института истории искусств, подписал письмо 80-ти. По рекомендации райкома уволен с работы.

7. ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ, критик, член Союза журналистов, зав. отделом советской литературы в журнале «Вопросы литературы», подписал «писательское» письмо. Снят с должности зав.отделом.

8. В.М. РОДИОНОВ, доктор биологических наук (Институт биомедхимии), подписал письмо 120-ти.

9. ФЕДОТ СУЧКОВ, критик, член Союза писателей, был репрессирован в сталинские времена, подписал «писательское» письмо.

10. МОИСЕЙ ТУЛЬЧИНСКИЙ, кандидат исторических наук, участник Великой Отечественной войны, орденоносец, сотрудник издательства «Наука», подписал письмо 120-ти.

11. ИСААК ФИЛЬШТИНСКИЙ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института народов Азии, был репрессирован в сталинские времена, вместе со своей женой написал письмо, адресованное А.Н. КОСЫГИНУ, с просьбой о гуманном пересмотре дела.

12. СЕРГЕЙ ФОМИН, доктор физико-математических наук, профессор МГУ, подписал письмо 99-ти математиков по поводу ВОЛЬПИНА.

13. АРОН ХАНУКОВ, главный инженер домостроительного завода, подписал письмо 10 друзей ГИНЗБУРГА в «Комсомольскую правду». Снят с должности главного инженера.

14. БОРИС ШРАГИН, кандидат философских наук, научный сотрудник Института истории искусств, подписал письмо 80-ти и поставил свой адрес в качестве отправителя этого письма, а также подписал обращение к Будапештскому консультативному совещанию (об этом обращении речь будет позже). По рекомендации райкома уволен с работы.

15. ГРИГОРИЙ ЯБЛОНСКИЙ, химик (Новосибирск).

16. ИВАН ЯХИМОВИЧ, председатель колхоза «Яуна Гварде» Краславского района Латвийской ССР. Написал письмо в ЦК КПСС. Снят с должности председателя колхоза.

17. ВАЛЕРИЙ ПАВЛИНЧУК, физик (Обнинск), подписал письмо 170-ти. Лишен допуска и уволен «по сокращению штатов».

* * *

Одновременно с тем как начали исключать из партии участников кампании протестов, был исключен из партии и адвокат Б.А. ЗОЛОТУХИН, защитник А. ГИНЗБУРГА, — «за непартийную, несоветскую линию защиты». В своей защитительной речи адвокат убедительно опроверг все доводы обвинения и — впервые за многолетнюю практику политических процессов — потребовал полного оправдания своего подзащитного. После исключения из партии Б.А. ЗОЛОТУХИН снят с должности зав. юридической консультацией.

* * *

Одновременно с этой «чисткой» из партии, уже по другим поводам, было исключено еще два человека: ЮРИЙ КАРЯКИН, философ, литературовед — за антисталинистское выступление на вечере памяти АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА; ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ, писатель, член Союза писателей, за речь на собрании Московской писательской парторганизации, посвященную угрозе возрождения сталинизма и проблеме цензуры.

* * *

Все исключения сопровождались нарушениями Устава партии (вплоть до того, что некоторых исключили заочно).

* * *

Со многими людьми (не членами партии), подписавшими различные письма, проведены «беседы» по месту работы, нередко с предложениями уволиться «по собственному желанию». Некоторые лишены уже намеченных заграничных командировок. В редакциях и издательствах появились новые списки «нежелательных» авторов.

Отклонены некоторые рукописи, уже намеченные к публикации.

* * *

Уволены с работы учителя ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД и его жена ВАЛЕРИЯ ГЕРЛИН, подписавшие письмо 170-ти (оба в сталинские времена были репрессированы).

* * *

Уволен из Института народов Азии кандидат исторических наук ЮРИЙ ГЛАЗОВ, подписавший письмо 80-ти, 170-ти и обращение к Будапештскому совещанию. Уволены «по сокращению штатов» редакторы издательства «Искусство» АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ и ДМИТРИЙ МУРАВЬЕВ (письмо 120-ти), младший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики ИРИНА КРИСТИ (письма 170-ти и 99-ти) и зав. лабораторией того же института АЛЕКСАНДР КРОНРОД, доктор физико-математических наук (письмо 99-ти). Исключен из комсомола редактор издательства «Советская энциклопедия» СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ, выразивший на собрании свое недовольство методами обсуждения: осуждают людей, подписавших письма, а писем этих никто из присутствовавших не читал.

4

24 февраля 1968 г. Будапештскому совещанию коммунистов и рабочих партий было направлено обращение, текст которого приводим полностью.

ПРЕЗИДИУМУ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В БУДАПЕШТЕ

В последние годы в нашей стране проведен ряд политических процессов. Суть этих процессов в том, что людей в нарушение основных гражданских прав судили за убеждения. Именно поэтому процессы происходили с грубыми нарушениями законности, главное из которых — отсутствие гласности.

Общественность больше не желает мириться с подобным беззаконием, и это вызвало возмущение и протесты, нарастающие от процесса к процессу. В различные судебные, правительственные и партийные органы, вплоть до ЦК КПСС, было отправлено множество индивидуальных и коллективных писем. Письма остались без ответа. Ответом тем, кто наиболее активно протестовал, были увольнения с работы, вызовы в КГБ с угрозой ареста, и наконец, самая возмутительная форма расправы — насильственное заключение в психиатрическую больницу. Эти незаконные и антигуманные действия не могут принести никаких положительных результатов — они, наоборот, нагнетают напряженность и порождают новое возмущение.

Мы считаем своим долгом указать на то, что в лагерях и тюрьмах находятся несколько тысяч политзаключенных, о которых почти никто не знает. Они содержатся в бесчеловечных условиях принудительного труда, на полуголодном пайке, отданные на произвол администрации. Отбыв срок, они подвергаются внесудебным, а часто и противозаконным преследованиям: ограничениям в выборе места жительства, административному надзору, который ставит свободного человека в положение ссыльного.

Обращаем ваше внимание также на факты дискриминации малых наций и политическое преследование людей, борющихся за национальное равноправие, особенно ярко проявившееся в вопросе о крымских татарах.

Мы знаем, что многие коммунисты зарубежных стран и нашей страны неоднократно выражали свое неодобрение политическим репрессиям последних лет. Мы просим участников консультативной встречи взвесить ту опасность, которую порождает попрание прав человека в нашей стране.

Обращение подписали:

1. АЛЕКСЕЙ КОСТЕРИН, писатель, Москва, М.Грузинская 31,кв.70.
2. ЛАРИСА БОГОРАЗ, филолог, Москва, В-261 Ленинский проспект 85, кв.3.
3. ПАВЕЛ ЛИТВИНОВ, физик, Москва, К-1, ул. Алексея Толстого 8, кв. 78.
4. ЗАМПИРА АСАНОВА, врач, Янги-Курган, Ферганская область.
5. ПЕТР ЯКИР, историк, Москва, Ж-280, Автозаводская 5, кв. 75.
6. ВИКТОР КРАСИН, экономист, Москва, Беломорская ул. 24, кв.25.
7. ИЛЬЯ ГАБАЙ, учитель, Москва, А-55, Ново-Лесная ул. 18, кор.2, кв.83.

8. БОРИС ШРАГИН, философ, Москва, Г-117, Погодинка 2/3, кв.91.

9. ЛЕВИТИН-КРАСНОВ, церковный писатель, Москва, Ж-377, 3-я Ново-Кузьминская ул. 23.

10. ЮЛИЙ КИМ, учитель, Москва, Ж-377, Рязанский проспект73, кв.90.

11. ЮРИЙ ГЛАЗОВ, лингвист, Москва, В-421, Ленинский проспект 101/164, кв.4.

12. ПЕТР ГРИГОРЕНКО, инженер-строитель, бывший генерал-майор, Москва, Г-21, Комсомольский проспект 14/1, кв.96.

5

Политзаключенные.

1. На 17 лагпункте мордовских лагерей (Мордовская АССР,ст.Потьма, п/о Озерный, п/я 385-17а) в феврале проходила голодовка. В ней участвовали шесть человек: ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ, БОРИС ЗДОРОВЕЦ, ВИКТОР КАЛНЫНЬШ, СЕРГЕЙ МОШКОВ, ВАЛЕРИЙ РОНКИН, ЮРИЙ ШУХЕВИЧ. На восьмой-десятый день голодающим стали вводить искусственное питание. После десяти дней голодовка была прекращена. В ее результате были удовлетворены некоторые требования политзаключенных: теперь администрация не имеет права лишать свидания без санкции прокурора, изъятия бумаг отныне также будут происходить только с санкции прокурора и с обязательным составлением акта. Следует помнить, что раньше не только не удовлетворялись какие бы то ни было требования голодающих, но и сам факт голодовки нередко рассматривался как «нарушение режима» и мог послужить основанием для помещения в карцер, БУР или Владимирскую тюрьму.

2. АНДРЕЮ СИНЯВСКОМУ (Мордовская АССР, ст. Потьма, п/о Явас, п/я 385-11) недавно предлагали написать просьбу о помиловании. СИНЯВСКИЙ отказался.

3. В феврале бывший политзаключенный ЛЕОНИД РЕНДЕЛЬ (ст.58-10, дело КРАСНОПЕВЦЕВА и др., суть дела — «нелегальный марксистский кружок», срок 10 лет, отбыл наказания полностью в мордовских лагерях, освобожден 30 августа 1967 г.), проживающий в настоящее время в поселке Ново-Мелково Калининской обл., поставлен под административный надзор. Основанием для этого послужила рекомендация лагерной администрации поставить его под надзор «за неоднократное нарушение лагерного режима и за сохранение антисоветских убеждений» (нарушения выражались в протестах против произвола лагерной администрации). Надзор введен на шесть месяцев и может продлеваться до трех лет. По постановлению о надзоре ему запрещено покидать поселок без разрешения милиции (когда же он обратился за разрешением, ему отказали) и предписано два раза в месяц отмечаться в местном отделении милиции.

6

С 14 марта по 5 апреля в Ленинграде в Ленгорсуде судили 17 ленинградских интеллигентов. В процессе участвовали: прокурор ГУСЕВ, судья ИСАКОВА (зам. председателя Ленгорсуда).

Всем обвиняемым были предъявлены статьи 70 и 72 УК РСФСР.

Суть обвинения — участие во Всероссийском социал-христианском союзе освобождения народа.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЮЗА

Установление демократического строя. Глава государства избирается всенародно, подотчетен парламенту. Контрольный орган — Собор (представители духовенства) обладает правом «вето» по отношению к главе государства и парламенту. Земля — собственность государства, сдается в надел частным лицам или коллективам (эксплуатация запрещена), наемный труд только на паритетных началах. Предприятия — большинство в собственности рабочих коллективов, главные отрасли — транспорт, электроника и т.п. — государственные. Основной принцип экономики — персонализм.

УСТАВ СОЮЗА

Строгая конспирация с делением на «тройки», каждый знает своего старшего по тройке и второго ее члена. Кроме того, каждый вербует новых членов, создает новую тройку, где становится старшим. Главу организации члены ее не знают — если нужно, обращаются к нему письменно через старшего по тройке.

Организация практически занимается только: 1) вербовкой новых членов и 2) распространением литературы (при обысках изымались книги и копии книг ДЖИЛАСА, БЕРДЯЕВА, ВЛ. СОЛОВЬЕВА, РАУХА «История Советской России», ТИБОРА МЕРАИ «13 дней, которые потрясли Кремль» — о Венгрии 56 г., ГОРЬКОГО «Несвоевременные мысли» и т.д., в том числе даже «Крутой маршрут» ГИНЗБУРГ).

Организация сформировалась примерно в 1964 г. К середине 65 г. в ней было около десяти членов. В это время ленинградское УКГБ уже знало о ее существовании, но не пресекало ее деятельности, а дало ей развиваться и расширяться (на суде выступал свидетель АЛЕКСАНДР ГИДОНИ, который в 65 г. донес об организации в КГБ, и ему там посоветовали продолжать контакты с ее членами).

В феврале-марте 67 г. было арестовано или задержано около 60 человек (не только в Ленинграде, но и в Томске, Иркутске, Петрозаводске и др.).

В ноябре 67 г. Ленгорсуд судил четырех руководителей организации (ст.64,70 и 72) и приговорил:

ВЛАДИМИРА ОГУРЦОВА (переводчик с японского языка, 30 лет) — к 15 годам,

МИХАИЛА САДО (востоковед, 30 лет) — к 13 годам,

ЕВГЕНИЯ ВАГИНА (литературовед из Пушкинского дома, 30 лет) — к 10 годам,

АВЕРИЧКИНА (юрист, 28 лет) — к 8 годам лишения свободы с содержанием в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

* * *

С 14 марта по 5 апреля 68 г. проходил главный процесс.

Разница между людьми, привлеченными в качестве обвиняемых и в качестве свидетелей, в основном состояла в том, что судили тех, кто завербовал в организацию хоть одного человека. Все обвиняемые признали себя виновными (очевидно, в смысле признания фактов обвинения), но не все раскаялись (в частности, ИВОЙЛОВ, ИВАНОВ, ПЛАТОНОВ, БОРОДИН).

Список осужденных (в конце указан срок лишения свободы, в скобках срок, которого требовал прокурор).

1. ВЯЧЕСЛАВ ПЛАТОНОВ, 1941 г.р., востоковед — 7 (7).
2. НИКОЛАЙ ИВАНОВ, 1937 г.р., искусствовед, преподаватель ЛГУ — 6 (7).
3. ЛЕОНИД БОРОДИН, 1938 г.р., директор школы в Лужском р-не Ленинградской области — 6 (6).
4. ВЛАДИМИР ИВОЙЛОВ, экономист (Томск), окончил ЛГУ — 2 (2).
5. МИХАИЛ КОНОСОВ, 1937 г.р., слесарь Ленгаза, заочник Литературного института им.Горького — 4 (5).
6. СЕРГЕЙ УСТИНОВИЧ, 1938 г.р., окончил ЛГУ — 3 года 6 месяцев (4).
7. ЮРИЙ БУЗИН, 1936 г.р., инженер, окончил сельхозинститут — 3 (4).
8. ВАЛЕРИЙ НАГОРНЫЙ, 1943 г.р., инженер в ЛИТМО (Института точной механики и оптики) — 3 (4).
9. АЛЕКСАНДР МИКЛАШЕВИЧ, 1935 г.р., инженер, окончилсельхозинститут — 3 (3).
10. ЮРИЙ БАРАНОВ, 1938 г.р., инженер (окончил Институт киноинженеров) — 3 (4).
11. БОЧЕВАРОВ*, 1935 г.р., окончил ЛГУ — 2 года 6 месяцев (3).
12. АНАТОЛИЙ СУДАРЕВ, 1939 г.р., переводчик, окончил ЛГУ — 2 (2).
13. АНАТОЛИЙ ИВЛЕВ, 1937 г.р., химик, окончил ЛГУ — 2 (3).
14. ВЛАДИМИР ВЕРЕТЕНОВ, 1936 г.р., экономист, окончил ЛГУ — 2 (3).
15. ОЛЬГЕРТ ЗАБАК, 1941 г.р., механик ЛИТМО — 1 год 2 месяца по фактически отбытому сроку на предварительном следствии (1 год).
16. ОЛЕГ ШУВАЛОВ, 1938 г.р., ЛИТМО — 1 год 2 месяца по фактически отбытому (1 год).
17. СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ, работник библиотеки — 1 год 2 месяца по фактически отбытому (1 год).

Процесс проходил с нарушениями законности, подобными московскому процессу:

1. превышение сроков содержания под стражей для части обвиняемых,
2. вход по пропускам на «открытый процесс» (при полупустом зале),
3. удаление большинства свидетелей из зала сразу после дачи ими показаний.

Непонятно также, почему руководителей организации судили отдельно и почему их судили, кроме статьи 70 и 72, еще и по 64 статье («измена Родине»). Была ли квалифицирована составленная ими программа, как «заговор с целью захвата власти»? Если это так, то это явно незаконно. В условиях суда над первой четверкой могло произойти любое беззаконие, так как о суде стало известно только после его окончания и он, видимо, был вовсе закрытым.

Достоверно известно, что никто не обвинялся ни в связи с НТС, ни в валютных операциях, ни в хранении оружия.

7

В феврале 67 г. в Москве был арестован студент Института инженеров железнодорожного транспорта ВАЛЕНТИН ПРУССАКОВ. При обыске у него были изъяты в основном его стихи. Обвинение было предъявлено по ст.70 УК РСФСР. В феврале 68 г. был назначен суд, но он не состоялся, а в марте, пробыв 1 год 1 месяц под стражей (в Лефортовской тюрьме), ПРУССАКОВ был освобожден, и дело его было прекращено за отсутствием состава преступления.

Источник: сайт «Мемориала» (http://www.memo.ru)

Лариса Богораз-Даниэль*, Павел Литвинов

К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Судебный процесс над Галансковым, Гинзбургом, Добровольским и Лашковой, проходящий сейчас в Московском городском суде, совершается с нарушением важнейших советских правовых норм. Судья и прокурор при участии определенного сорта публики превратили судебные заседания в дикое, немыслимое в XX веке издевательство над тремя подсудимыми (Галансковым, Гинзбургом, Лашковой) и свидетелями.

Дело приняло характер известных «процессов над ведьмами» уже на второй день, когда Галансков и Гинзбург, несмотря на год предварительного заключения, несмотря на давление суда, отказались признать возведенные на них голословные обвинения Добровольского, доказывали свою невиновность. Свидетельские показания в пользу Галанскова и Гинзбурга еще более озлобили суд.

Судья и прокурор в течение всего процесса помогают Добровольскому возводить ложные обвинения на Галанскова и Гинзбурга. Адвокатам то и дело не разрешают задавать вопросы, свидетелям не дают давать показания, разоблачающие провокационную роль Добровольского в этом деле.

Судья Миронов ни разу не остановил прокурора — представителя обвинения. Лицам же, представляющим защиту, он позволяет говорить лишь то, что укладывается в заранее намеченную следствием КГБ программу. Когда кто-либо из участников процесса пытается нарушить отрепетированный спектакль, судья кричит: «Ваш вопрос снят!.. Это не имеет отношения к делу!.. Я не разрешаю вам говорить!..» Эти окрики обращены к подсудимым (кроме Добровольского), к их адвокатам, к свидетелям.

Свидетели выходят из зала после допроса — вернее, их выталкивают — в подавленном состоянии, чуть ли не в истерике.

Свидетельнице Е. Басиловой не дали сделать заявление суду — она хотела рассказать о том, как КГБ преследовал ее психически больного мужа, показания которого, данные на следствии в состоянии невменяемости, играют важную роль в обвинительном заключении. Басилову вытолкали из зала суда под окрики судьи и вой публики, заглушавшие ее слова.

П. Григоренко подал заявление о том, что он просит допустить его в качестве свидетеля, так как он может объяснить суду происхождение денег, найденных у Добровольского (по словам Добровольского, их дал ему Галансков). Заявление Григоренко отклонили под тем предлогом, что он якобы психически болен (это неправда).

Свидетельнице А. Топешкиной не дали сделать заявление суду — она хотела сообщить суду факты, обнаруживающие лживость показаний Добровольского. Топешкину, беременную женщину, пинками выгнали из зала под улюлюканье публики.

---

* Справку о Ларисе Богораз см. стр. 255

Свидетельницу Л. Кац «комендант суда» полковник КГБ Циркуненко не пустил в зал после перерыва, заявив ей: «Дали бы вы иные показания, вам разрешили бы остаться».

Никому из свидетелей не разрешают остаться в зале после дачи показаний, хотя советское законодательство даже обязывает их к этому. Ссылки свидетелей на статью 283 УПК РСФСР пропускались мимо ушей, а свидетелю В. Виноградову судья прямо заявил: «Вот по 283 статье и уходите из зала».

Зал наполнен специально отобранной публикой, сотрудниками КГБ, дружинниками, создающими видимость открытого, гласного судопроизводства. Эта публика шумит, гогочет, оскорбляет подсудимых, оскорбляет свидетелей.

Судья Миронов не пытается прекратить нарушения порядка. Ни один бесчинствующий нарушитель не удален из зала. В этой накаленной атмосфере не может быть и речи о какой-либо объективности суда, ни о какой справедливости и законности. Обвинительный приговор предрешен с самого начала. Мы обращаемся к мировой общественности и в первую очередь — к советской.

Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть и достаточно смелости.

Требуйте публичного осуждения этого позорного процесса и наказания виновных.

Требуйте освобождения подсудимых из-под стражи.

Требуйте повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей.

Граждане нашей страны! Этот процесс — пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас. Вы сами избрали этот суд и этих судей — требуйте лишения их полномочий, которыми они злоупотребили. Сегодня в опасности не только судьба трех подсудимых — процесс над ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов, обернувшихся для нас всех таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться.

Мы передаем это обращение в западную прогрессивную печать и просим как можно скорее опубликовать его и передать по радио — мы не обращаемся с этой просьбой в советские газеты, так как это безнадежно.

Лариса Богораз-Даниэль,
Москва В-261, Ленинский просп., 85, кв. 3
Павел Литвинов,
Москва К-1, ул. Алексея Толстого, 8, кв. 78
11 января 1968 г.

* * *

В тот же день обращение было передано на русском и английском языках радиостанцией Би-Би-Си из Лондона и встретило широкий отклик как у советских граждан, так и у прогрессивной общественности Запада.

12 января, когда ожидался приговор, возле суда с утра начала собираться толпа, которая к середине дня возросла примерно до 200 человек. По инициативе А. С. Есенина-Вольпина, была сделана еще одна попытка обратиться к председателю суда с просьбой пустить друзей подсудимых на слушание приговора. Под письмом было собрано около 50 подписей, и оно было передано в суд, однако никакого ответа на него не последовало. Поскольку письмо

было написано в одном экземпляре, который был передан в канцелярию суда, у составителя настоящего сборника нет его текста.

Когда стало известно, что суд приступил к чтению приговора, все ожидавшие собрались перед главным входом. После оглашения приговора сначала стала выходить публика, присутствовавшая в зале. На вопросы, какие сроки получили подсудимые, многие отвечали: «Мало! Мало!» — и с озлобленными лицами пробегали через толпу к машинам. Некоторые были в форме КГБ. Затем появились родственники и вслед за ними защитники подсудимых, которым были преподнесены букеты красных гвоздик. Часам к шести толпа разошлась.

Источник: Процесс четырех. Амстердам. Фонд им.Герцена. 1971.

Илья Габай, Юлий Ким*, Петр Якир**

К ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Мы, подписавшие это письмо, обращаемся к вам со словами глубокой тревоги за судьбу и честь страны.

В течение нескольких лет в нашей общественной жизни намечаются зловещие симптомы реставрации сталинизма. Наиболее ярко проявляется это в повторении самых страшных деяний той эпохи — в организации жестоких процессов над людьми, которые посмели отстаивать свое достоинство и внутреннюю свободу, дерзнули думать и протестовать.

Конечно, репрессии не достигли размаха тех лет, но у нас достаточно оснований опасаться, что среди государственных и партийных чиновников немало людей, которые хотели бы повернуть наше общественное развитие вспять. У нас нет никаких гарантий, что с нашего молчаливого попустительства исподволь не наступит снова 37 год.

Мы еще очень не скоро сможем увидеть Андрея Синявского и Юлия Даниэля — людей, осужденных на долгие годы мучений только за то, что они посмели излагать вещи, которые считали истиной.

На три года оторваны от жизни совсем молодые люди — Виктор Хаустов и Владимир Буковский. Все их «преступление» заключалось в том, что они публично выразили свое несогласие с драконскими законами и карательными мерами, пригвоздившими нашу страну в очередной раз к позорному столбу. Судебная расправа над ними — образец циничного беззакония и превратного толкования фактов.

Последний процесс над Галансковым, Гинзбургом, Добровольским и Лашковой вышел за всякие рамки в попрании человеческих прав. Организации этого процесса мог бы позавидовать и А. Вышинский: он хоть выбивал какие-то признания, свидетельские показания. Прокурору Терехову и судье Миронову не понадобились и пустые формальности сбора доказательств.

Юрий ГАЛАНСКОВ, физически очень больной человек, осужден на семь лет лагерей строгого режима. Единственное, менее чем косвенное доказательство его вины — показания подлого и малодушного Добровольского.

Александр ГИНЗБУРГ приговорен к пяти годам лагерей строгого режима вопреки всем показаниям свидетелей и вещественным доказательствам.

Искалечена жизнь и Алексея ДОБРОВОЛЬСКОГО, сыгравшего зловещую костомаровскую роль [1] на этом процессе. Если у него есть хоть капля совести, тридцать серебренников (всего двухлетний срок наказания) — слишком малая компенсация за презрение и отверженность, которые ожидают этого клеветника. Клеймо негодяя, погубившего своих товарищей, оболгавшего их из низмен-

---

* Справку о Юлии Киме и его стихи см. стр. 745

** Справку о Петре Якире и его мемуары см. стр. 174

ных интересов, за это нравственное уродство Добровольского в большой мере несут ответственность наши карательные органы.

Вся вина Веры ЛАШКОВОЙ в том, что она напечатала несколько материалов и дала почитать своим товарищам книги, которые, с точки зрения суда, являются криминальными. За это она расплатилась годом тюрьмы. Но этого мало. В нашей стране она, по всей вероятности, будет расплачиваться очень долго и дорого: отметкой в паспорте, невозможностью жить, учиться и работать в Москве [2]. Такова судьба подавляющего большинства политзаключенных, отбывших свой срок. (В такие невыносимые условия попал, например, Леонид РЕНДЕЛЬ, вернувшийся в августе 1967 г. после десяти лет мордовских лагерей. Ему не только не разрешено жить в Москве, но запрещено даже изредка навещать больную мать. Рендель поставлен под надзор местных властей: он обязан каждую неделю отмечаться в милиции, он не имеет права выходить из дома после девяти часов вечера, ему даже запрещено посещать столовую поселка, в котором он проживает, и, наконец, в любое время дня и ночи к нему могут ворваться, обыскать его, проверить книги, бумаги, имущество...).

Атмосфера вокруг недавнего процесса — еще одно звено в цепи беззаконий. Официальные органы нагло дезинформировали западную коммунистическую прессу: в день начала суда было заявлено, что сроки его еще не установлены. Заместитель председателя Мосгорсуда Миронов, назначенный судьей по этому делу, незадолго до процесса отвечал, что такое дело в Мосгорсуд вообще не поступало.

Люди, стремившиеся попасть в суд, подвергались откровенному шантажу и издевательскому унижению человеческого достоинства. Фотографирование, неусыпная слежка, проверка документов, подслушивание разговоров — это далеко не полный перечень того, что происходило в дни судебной расправы. Едва ли не самое страшное то, что среди филеров были совсем молодые люди — юноши и девушки. Вместо пытливого чтения, попыток задуматься над сложными вопросами современности им предложили подслушивание и донос. И это наушничанье, с точки зрения КГБ, вероятно, и есть тот самый нравственный идеал молодежи, который они противопоставляют «безнравственности» Гинзбурга, посмевшего вступиться за невинно осужденных людей.

Вы, наверное, хорошо знакомы с письмом Л. Богораз и П. Литвинова. С полной ответственностью мы заявляем: каждая строка в письме — не только правда, это лишь малая часть правды о неслыханных безобразиях и издевательствах над подсудимыми. Организация процесса, поведение судьи, в обязанности которого входит полная беспристрастность, по существу лишили подсудимых права на самозащиту, а зоологическое улюлюканье так называемой «общественности» создало вокруг них атмосферу моральной нетерпимости. На суде сидели люди, которые листали журналы или дремали и просыпались только для того, чтобы потребовать прибавления срока.

Власти в очередной раз организовали «гласность» с расчетом на самые низменные черты специально подобранных людей: хамское безразличие к чужой судьбе, бездумье, не нуждающееся ни в информации, ни в анализе фактов.

Пока в зале суда дремали или издавались над подсудимыми кликуши и черносотенцы, в фойе, а потом на морозе толпились люди, составляющие подлин-

ное общественное мнение: друзья и близкие подсудимых и люди, не знакомые с подсудимыми, но желающие знать истину, — писатели, художники, студенты, учителя.

Для людей неосведомленных центральные органы печати подготовили фальшивки, содержащие или прямую ложь, или тенденциозно выхваченные факты. Люди, претендующие на роль идеологических наставников, пренебрегли очень важным: «... Необходимо брать не отдельные факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов без единого исключения, ибо иначе неизбежно возникнет подозрение, и вполне законное подозрение в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости... предподносится субъективная стряпня для оправдания, может быть, грязного дела. Это ведь бывает... чаще, чем кажется». Это слова В.И. Ленина (т. 30, стр. 351).

Бесчеловечная расправа над интеллигентами — это логическое завершение атмосферы общественной жизни нескольких последних лет. Наивным надеждам на полное оздоровление общественной жизни, вселенным в нас решениями XX и XXII съездов, не удалось сбыться. Медленно, но неуклонно идет процесс реставрации сталинизма. Главный расчет при этом делается на нашу общественную инертность, короткую память, горькую нашу привычку к несвободе. Вот некоторые вехи возрождения сталинизма в последние годы:

1. С самых высоких трибун во вполне положительном контексте называлось имя И.В. Сталина. Газеты сообщали об аплодисментах, раздававшихся при упоминании этого имени. Но они, конечно, молчали о том, что аплодировали люди с лакейской жаждой сильной личности, люди, желающие оправдания за свое поведение в не столь отдаленную эпоху.

Как же долго нужно было извращать человеческую природу, если можно аплодировать убийце сотен тысяч людей, организатору пыток и мучительств!

2. Это можно было бы кое-как объяснить желанием объективно осветить историю. Хотя и объективное отношение к палачу — тоже факт нравственной паталогии, но это еще можно было бы понять.

Однако объективности почему-то не хватало на то, чтобы рассказать правду о ряде соратников В. И. Ленина, организаторов советского государства. Ведь можно же, оставаясь в рамках партийной дискуссии, честно сказать о них — о том, что они не устраивали террористических актов, не занимались шпионажем и не подсыпали битых стекол в продукты. Но до сих пор официальные историки говорят, например, о больших заслугах в годы гражданской войны И.В. Сталина, который в то время был рядовым членом Реввоенсовета, а деятельность организатора Красной армии, председателя Реввоенсовета Л.Д. Троцкого не только замалчивается, но и объясняется вредительской.

3. В результате термин «культ личности» стал чуть ли не запретным в нашей печати. Не пропускаются в печать или рассыпаются уже набранные художественные и научные работы, в которых подвергается критике Сталин и преступления сталинского периода (воспоминания Б. Ванникова, книга Л. Славина о маршале Егорове, фронтовые дневники К. Симонова, мемуары Е. Гинзбург и многое-многое другое). Дело дошло до того, что член ЦК КПСС директор Института марксизма-ленинизма Федосеев рекомендовал употреблять термин

«культ личности» только применительно к латиноамериканским диктаторам или к Мао Цзе-дуну.

4. «Ни одно из демократических начинаний не доведено до конца. До сих пор литературный или художественный вкус временщика — закон для писателя, художника, режиссера, читателя, артиста. В фильмотеках гниют фильмы, которые сделали бы высокую честь нашему искусству, в тесных мастерских или на чердаках залеживаются прекрасные произведения живописи. В литературе находится место для низкопробных произведений Кочетова и Смирнова, прославляющих в частности Сталина. И только немногие счастливчики смогли прочитать «Раковый корпус» Солженицына.

Попытка бороться с так называемым «самиздатом» — внецензурной литературой — обречена на провал. Если бы в русской литературе не было «самиздата», мы потеряли бы роман Радищева, «Горе от ума» Грибоедова и многие стихи Пушкина. И в наше время бережное отношение группы читателей к неизданному слову донесет до лучших времен подлинное творчество наших современников. Временщики не в силах что бы то ни было сделать: Ждановы уходят в небытие, а творчество Ахматовой завоевывает поколение за поколением.

Чувствуя это, карательные органы идут на прямые подлоги, как это и произошло в случае абсурдного приобщения создателя книги о деле Синявского и Даниэля Александра Гинзбурга и составителя литературно-публицистического сборника «Феникс-66» Юрия Галанскова к эмигрантской организации НТС.

В общественных науках продолжает навязываться губительный и необратимый диктат конъюнктуры. Отступление от истины — смерть для ученого, а наши историки новейшего времени, философы, политэкономы вынуждены делать это каждодневно. Если же случайно частица правды прорвется в печать, авторы подвергаются гонениям. Примеры этого хорошо известны.

5. Только недавно реабилитирован крымско-татарский народ. Но советские люди почти не знают об этом. Не знают они и о том, что народ, перед которым совершено громадное великодержавное преступление, до сих пор лишен права вернуться на свою родину. А тех, кто пытается это сделать, отправляют назад или подвергают репрессиям.

6. Многие советские люди регулярно испытывают на себе унизительную слежку.

Всё это — только некоторые примеры нашей общественной жизни.

Мы еще раз напоминаем: молчаливое потворство сталинистам и бюрократам, обманывающим народ и руководство, глушащим любой сигнал, любую жалобу, любой протест, логически приводит к самому страшному: беззаконной расправе над людьми.

В этих условиях мы обращаемся к вам, людям творческого труда, людям, которым наш народ бесконечно верит: поднимите свой голос против надвигающейся опасности новых сталиных и новых ежовых. На вашей совести — судьба будущих Вавиловых и Мандельштамов.

Вы — наследники великих гуманистических традиций русской интеллигенции.

Перед вами пример мужественного поведения современной прогрессивной западной интеллигенции.

Мы понимаем, вы поставлены в такие условия, что выполнение гражданского долга — каждый раз акт мужества. Но ведь и выбора тоже нет: или мужество — или трусливое соучастие в грязных делах; или риск — или присоединение к Васильевым и Кедриным; или поступиться каким-то благам — или встать в ряд с желтыми борзописцами из «Известий» и «Комсомольской Правды», посчитавшими для себя нравственно возможным публичный оговор людей, над которыми учинили расправу.

Мы хотим немногого: чтобы наша общественность имела моральное право требовать освобождения греческих политзаключенных.

Для этого нужно тоже немного: добиться того, чтобы из многолетнего заключения были возвращены наши несправедливо осужденные сограждане.

Помните: в тяжелых условиях лагерей строгого режима томятся люди, посмевшие думать. Каждый раз, когда вы молчите, возникает ступенька к новому судебному процессу. Исподволь, с вашего молчаливого согласия может наступить новый ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД.

Илья Габай, педагог, редактор.
Москва А-55, Новолесная ул., 18, корп. 2, кв. 83.
Юлий Ким, учитель.
Москва, Рязанский пр., 73, кв. 90
Петр Якир, историк.
Москва Ж-280, Автозаводская ул., 5, кв. 75

(Январь 1968)

---

[1] По-видимому, имеется в виду роль, сыгранная историком Н. И. Костомаровым (1817-85) во время следствия и суда по делу Кирилло-Методиевского братства (1849), членом которого он был.

[2] По негласной инструкции, осужденным по ст. 70 УК РСФСР, освобожденным из заключения, запрещено проживание в так называемых «режимных» городах (как Москва, Ленинград, Киев и т. д.). Однако, поскольку Вера Лашкова отбыла весь срок заключения не выезжая из Москвы, в июле 1968 г. городским отделом милиции ей была дана московская прописка сроком на 6 месяцев, по истечении которых разрешение может быть продлено или отменено.

Источник: Процесс четырех. Амстердам. фонд им.Герцена. 1971.

ПИСЬМО в ЦК КПСС от Яхимовича И.А., члена КПСС, пред. Колхоза «Яуна Гварце» Краспавского р-она Латв. ССР

Я не могу судить о степени виновности лиц, так или иначе подвергающихся репрессиям, ибо не располагаю достаточной информацией. Но в чем я твердо убежден и знаю — огромный вред причиняют партии и делу коммунизма в нашей стране, и не только в нашей, подобного рода процессом, какой состоялся в Московском гор. суде с 8 по 12 января с.г.

Мы отпраздновали славный юбилей, гордимся нашими достижениями и экономической и научной практике, и сами же, когда ООН 1968 год объявила годом защиты прав человека, даем врагам коммунизма сильнейшие козыри против нас. Абсурд!

Мы были голодными, полунищими, но мы побеждали, потому что на первый план ставили освобождение человека от бесправия, надругательства, беззакония и т.д. И мы можем все потерять, имея ракеты и водородные бомбы, если забудем, откуда есть пошла Великая Октябрьская социалистическая революция.

Со времени Радищева суд над писателями в глазах передовых мыслящих людей всегда был мерзостью. То думали наши доморощенные деятели, затыкая рот Солженицыну, придуриваясь над поэтом Вознесенским, «наказывая» каторгой Синявского и Даниэля, впутывая КГБ в спектакли с внутренними врагами?

Нельзя подрывать доверие масс к партии, нельзя спекулировать честью государства, даже если какому-нибудь деятелю хочется в течение шести месяцев покончить с «самиздатом». Уничтожить «самиздат» можно лишь одним путем: развертыванием демократических прав, практизацией Декларации прав человека, если от имени нашего государства под ней подписался Вышинский, а не замалчиванием ее. Кстати, кажется, статья 20 этой декларации гласит: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. И каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию любыми средствами и независимо от государственных границ».

Статью 125 нашей конституции вы отлично знаете — цитировать не стоит. Я только хотел бы напомнить мысль Ленина о том, что нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить (5 изд., т. 54, стр. 446).

Я считаю, что преследования молодежи (инакомыслящих) в стране, где свыше 50% населения моложе 30 лет, — крайне опасная линия, авантюризм.

Не шаркуны, не поддакивающая публика (о, господи, сколько ее развелось!), не маменькины сынки будут определять судьбу нашего будущего, а именно бунтари, как самый энергичный, мужественный и принципиальный материал молодого поколения. Глупо в них видеть противников советской власти, архиглупо гноить их в тюрьмах и издеваться над ними. Для партии такая линия равнозначна самоудушению. Горе нам, если мы не умеем договорится с этой молодежью. Она создаст, неизбежно создаст новую партию. Загляните немного в историю, и убедитесь в этом. Нельзя идеи убить пулями, ни тюрьмами, ни ссылками. Кто не понимает этого, тот не политик, не марксист.

Вы, конечно, помните «Памятную записку» Пальмиро Тольятти. Я имею в виду это место: «Создается общее впечатление медлительности и противодействия в деле возвращения к ленинским нормам, которые обеспечили как внутри партии, так и вне ее, большую свободу высказываний и дискуссий по вопросам культуры, искусства, также политики. Нам трудно объяснить себе эту медлительность и это противодействие, в особенности, учитывая современные условия, когда больше не существуют капиталистического окружения, а экономическое строительство достигло грандиозных успехов. Мы всегда исходили из мысли, что социализм — это такой строй, где существует самая широкая свобода для рабочих, которые участвуют на деле, организованным путем в руководстве всей общественной жизнью». («Правда», 10 сентября 1964).

Кому выгодна политика медлительности и противодействия? Только явным или скрытым сталинистам — политическим банкротам. Помните: ленинизм — да! Сталинизм — нет! XX съезд партии сделал свое дело. Волшебник джинн на свободе, его не загнать обратно, никакими силами и никому!

Мы — накануне 50-летия советской армии, мы — накануне — Консультативной встречи братских компартий. Не осложняйте сами себе работу, не омрачайте атмосферу в стране. Наоборот, товарищ Подгорный мог бы амнистировать Синявского, Даниэля, Буковского, заставить пересмотреть дело А. Гинзбурга и пр. (Московский горсуд в последнем деле допустил грубейшее нарушение процессуальной законности. Прокурора Терехова, судью Миронова, коменданта суда Циркуненко следует должным образом наказать — в основном за болванизм и злоупотребление властью. Нельзя добиться законности, нарушая законы. Мы никому не позволим проституировать наш советский суд, наши законы и наши права. Гнать таких судей в три шеи надо, ибо они причиняют советской власти больше вреда, чем разные НТО, Би-би-си, Свобода и прочие вместе взятые).

Пусть «Новый мир» снова напечатает произведения Солженицына, пусть Серебряков издаст в СССР свой «Смерч», а Е. Гинзбург «Крутой маршрут», все равно их знают и читают, чего греха таить. Я живу в провинции, где на один электрифицированный дом — десять неэлектрифицированных, где зимой-то и автобусы не могут пробраться, где почта опаздывает на целые недели, и если информация докатилась самым широким образом до нас, то можете себе представить, что мы наделали, какие семена посеяли по стране. Имейте мужество исправить допущенные ошибки, пока не впутались в это дело рабочие и крестьяне.

Я хотел бы, чтобы это письмо не обошли молчанием, ибо дело партии не может быть частным делом, личным делом и тем более второстепенным делом. Я считаю, своим долгом коммуниста предупредить ЦК своей партии и настаиваю, чтобы с содержанием этого письма были ознакомлены все члены ЦК КПСС. Письмо адресовано т. Суслову именно с этой целью.

С коммунистическим приветом
23 января 1968. И.Я. Яхимович

Источник: самиздатская рукопись.

По материалам «Хроники текущих событий»:

АРЕСТ ИВАНА ЯХИМОВИЧА

24 марта с.г. в г. Юрмала Латвийской ССР арестован ИВАН ЯХИМОВИЧ. ИВАНУ ЯХИМОВИЧУ 38 лет. Он родился в польской рабочей семье, окончил историко-филологический факультет Латвийского государственного университета. После университета работал учителем, инспектором РОНО. В 1960 году пошел работать председателем колхоза «Яуна Гварде» Краславского района. Работая в колхозе, поступил на заочное отделение Латвийской сельскохозяйственной академии. Несколько лет назад об ИВАНЕ ЯХИМОВИЧЕ в восторженных тонах писала «Комсомольская правда».

В январе 1968 г. ИВАН ЯХИМОВИЧ написал письмо в ЦК КПСС на имя М.А. СУСЛОВА, выражая протест против судебного процесса над ЮРИЕМ ГАЛАНСКОВЫМ, АЛЕКСАНДРОМ ГИНЗБУРГОМ и др. В марте 1968 г. ЯХИМОВИЧ был исключен из партии, а в мае 1968 г. снят с должности председателя колхоза — в нарушение устава сельхозартели, снят вышестоящими органами, без колхозного собрания. В последнее время работал кочегаром в санатории «Белоруссия» г. Юрмала.

В четвертом и шестом выпуске «Хроники» сообщалось об обыске, произведенном у ЯХИМОВИЧА в сентябре, и о начале следствия по его делу. ЯХИМОВИЧА трижды — 5 февраля, 19 и 24 марта с.г. — вызывали на допросы к следователю прокуратуры г. Риги Э. КАКИТИСУ, после третьего допроса он был арестован. Перед арестом ИВАН ЯХИМОВИЧ написал открытое письмо «Вместо последнего слова», в котором рассказывает о себе, о ходе следствия, построенного на отрицательных характеристиках и ложных показаниях, и обращается к ряду своих друзей, общественных деятелей, к рабочим и крестьянам, латышам и полякам, к коммунистам всех стран с призывом не мириться с несправедливостью. Окончание следствия по делу ИВАНА ЯХИМОВИЧА ожидается примерно в середине мая месяца с.г.

Семья ИВАНА ЯХИМОВИЧА: жена ИРИНА, окончившая историко-филологический факультет, долго работавшая учителем, а теперь вынужденная работать воспитателем в детском саду, и три дочери — 5, 6 и 7 лет. Рассказывают, что во время обыска, предшествовавшего аресту ИВАНА ЯХИМОВИЧА, его три дочери стояли в саду под окном и пели «Интернационал».

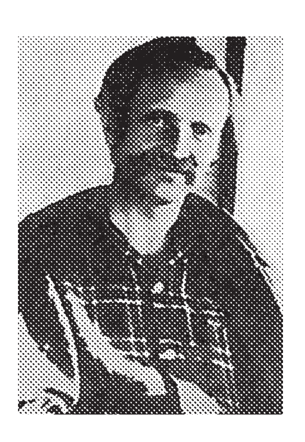
Группа друзей ЯХИМОВИЧА написала протест против его незаконного преследования. Вместе с письмами, написанными ИВАНОМ ЯХИМОВИЧЕМ самим или в соавторстве с единомышленниками, этот протест входит в подборку материалов, распространяемую в Самиздате. («Хроника», №7, 30 апреля 1969 г.)

* * *

По сообщениям «Хроники» № 13 (30 апреля 1970 г.) Иван Яхимович был помещен в рижскую республиканскую психиатрическую больницу (общего типа) по решению суда 15-18 апреля 1970 г.

* * *

По сообщениям «Хроники» № 20 (2 июля 1971 г.) Иван Яхимович был выпущен 27 апреля 1971 года из психиатрической больницы. Комиссия признала его инвалидом 2 группы.



Чорновил Вячеслав Максимович

(1937–1999)

Родился в селе Ерки Черкасской области в семье учителей. По образованию журналист (окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко). В советские времена – один из наиболее видных деятелей украинского национального движения. В 1965 г. за публичный протест против политических арестов был исключен из аспирантуры и уволен с работы. После этого Чорновил начал публиковаться в Самиздате. В 1966 и 1967 гг. выпустил два самиздатских сборника о политических преследованиях на Украине: «Правосудие или рецидив террора» («Правосуддя чи рецидиви терору») и «Горе от ума» («Лихо з розуму»). За эти два сборника в 1975 г. ему была присуждена международная премия по журналистике. За них же в 1967 г. он был арестован. После освобождения в 1969 г. был безработным, перебивался случайными заработками. С 1970 г. до своего следующего ареста в 1972 г. издавал журнал «Украинский Вестник» («Український вісник»), ставший, по сути, центром украинского национального движения. После ареста Чорновила журнал продолжала издавать его жена. В общей сложности в ссылках и лагерях пробыл 15 лет.

В 1988 г. стал инициатором создания Украинского Хельсинкского Союза, который был прообразом первой политической партии, много сделал для окончательного перехода Народного Руха Украины на государственные и антикоммунистические позиции.

В постсоветское время стал известным политиком: в 1990 г. избран депутатом Верховной Рады Украины и депутатом Львовского областного совета, был одним из инициаторов многих экономических и политических преобразований в Галиции. Был лидером Народного Руха, собирался баллотироваться на пост Президента Украины на выборах 1999 года. В том же году погиб в автокатастрофе.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К СБОРНИКУ «ГОРЕ ОТ УМА»

(Пер. с украинского выполнен составителями)

<…>

... Если бы можно было составить типичную биографию осужденных в 1966 году «за антисоветскую националистическую пропаганду и агитацию», она могла бы быть такой: осужденный Н. имел к моменту ареста 28-30 лет отроду, он — выходец из крестьянской (или рабочей) семьи, отлично окончил среднюю школу, поступил в институт (некоторые — после армии), где активно участво-

вал в научной жизни. Как хороший студент получил по окончании института хорошее назначение, написал диссертацию (или защитил ее), публиковался в периодических изданиях (или опубликовал книгу). Если даже имел техническую специальность, то интересовался литературой и искусством, принимал близко к сердцу положение с украинским языком на Украине. К моменту ареста его творческий потенциал и его карьера быстро шли в гору. Не женат (или женился незадолго до ареста, имеет маленького ребенка).

Почти все осужденные укладываются в эту схему. Заметно отклоняются от нее только П. Заливаха, Е. Кузнецова, Д.З. Тващенко, М.Н. Масютко и С. Караванский. Двое первых в детстве или в юности попали за пределы Украины, и возвращение на Родину было связано у них с ощутимой ломкой устоявшегося мировоззрения. Войну прошли М.Н. Тващенко и М.Н. Масютко. Последний успел испытать и террор 30-х годов, и «бдительность» начала 50-х. Самые тяжелые испытания приготовила судьба С. Караванскому, человеку незаурядного таланта, который платил за ошибку молодости 17-ю годами сталинских и послесталинских лагерей и которого после 5-ти лет активной литературной жизни без суда и следствия отправили досиживать бесчеловечный 25-летний срок.

Большинство из «призыва 1965 года» оказалось за решеткой, когда линия их творческой жизни круто шла вверх. Показательно в этом отношении письмо из лагеря Михаила Горыня, способного ученого-психолога: «И когда в голове появилось множество идей... снова обрыв и переквалификация на токаря по чугуну. Будто сама судьба отрывает меня от того места, где все готово к воплощению моих идей, будто не дает подождать хотя бы год для окончательного закрепления достигнутых успехов. Ведь если бы я был арестован в 1966 году, я сумел бы много сделать...» На горькие раздумья наводит эта мечта национально сознательного украинского интеллигента, чтобы его арестовали хотя бы на год позже... Еще меньше, чем М. Горыню, «не хватило времени» преподавателю Львовского университета Михаилу Осадчему. Несколько месяцев оставалось до утверждения Москвой кандидатского звания, несколько недель до появления в книжных магазинах первого сборника стихов, несколько дней до официального оформления бракосочетания...

Эту оборванную восходящую линию можно увидеть и у молодого прозаика Анатолия Шевчука, и у переводчика С. Караванского, и у историка Г. Мороза, особенно же у художника П. Заливахи.

<...>

Творчество Заливахи было прервано, когда художник дошел до зрелости мастера. Говорим «прервано», так как в лагере Заливаха смог написать только портрет И. Русина.

Потом у него отобрали краски и запретили рисовать, заявив: «Вы сюда исправляться приехали, а не рисовать». Как здесь не вспомнить Николая I с его знаменитым «запрещением писать и рисовать»? Во истину, все возвращается на круги своя...

<...>

Итак, все те, кого в 1966 году повезли в Мордовию плести «авоськи» и делать тумбочки, до ареста жили активной интеллектуальной жизнью: выступали в прессе, работали над диссертациями, считались хорошими специалистами.

Организаторы очередной кампании против украинской интеллигенции просчитались. На этот раз они имеют дело с людьми высокообразованными, воспитанными в советских условиях, которые суть марксизма-ленинизма в состоянии постичь из первоисточников, а не из удобно подобранных цитат; с людьми, умудренными горьким опытом 30-40-х годов. Именно поэтому, несмотря на тяжелые условия содержания в лагере, все осужденные продолжают интеллектуально развиваться, они обеспокоены теми же нерешенными проблемами, что и до ареста. И ничего, кроме карцеров и «буров» не могут противопоставить их убежденности не слишком грамотные «воспитатели», среди которых у иных грязные руки еще с «добрых сталинских времен».

Из приведенных ниже писем, как и из других материалов, становится очевидно, что даже те, кто под давлением следователей частично признал свою вину на суде, теперь ее не признают, считают себя наказанными несправедливо и незаконно.

Интерес общественности (и не только праздный) должны вызывать условия «перевоспитания» узников, сложившиеся в мордовских лагерях, про которые мы узнаем из писем, из рассказов тех, кто отбыл срок, из приведенных ниже ходатайств Караванского и переданного из лагеря № 17-а письма. Приведенные там факты не могут не встревожить каждого, кто не утратил элементарного представления о человечности. Или, быть может, узники нарочно сгущают краски, показывая, что их «воспитатели» в действительности используют изощренную систему издевательства над людьми? Тогда почему бы общественности не проверить правдивость их слов? Почему бы представителям творческих союзов Украины не посетить Мордовию, не поинтересоваться, как идет «перевоспитание» художника Заливахи, психолога М. Горыня, переводчика и языковеда Караванского, критика Б. Горыня, поэта, литературоведа и журналиста М. Осадчего? Ведь такие посещения лагерей представителями общественности допускаются лагерными правилами.

Со времени ареста прошло больше полутора лет. Что же изменилось? Как и прежде, украинская интеллигенция чувствует боль по поводу все тех же нерешенных проблем. Эта боль выливается при всякой возможности: с официальных трибун (как на съезде писателей Украины) и в кругу знакомых, в письмах в газеты и в государственные учреждения. Нет никаких гарантий, что по рукам не пойдут (а может, уже и ходят?) еще какие-нибудь подписанные или анонимные статьи, где речь идет о русификации государственных школ, вузов, культурных учреждений, об экономической отсталости большинства областей Украины и вынужденном переселении украинцев в Сибирь, об искусственно производимых изменениях этнического состава населения УССР, и т.д. и т.п. Так что же делать? Отдать все эти вопросы на решение КГБ и послать новую партию «буржуазных националистов» плести «авоськи»?

А, может быть, лучше избрать путь, о котором говорил в своем последнем слове на суде Михайло Горынь:

«Я убежден, что пройдет немного времени, и такие вопросы будут решаться не в залах судебных заседаний, а в дискуссионных клубах с большой пользою для дела».

20.IV. 1967 года.
Вячеслав Чорновил, город Львов, ул. Спокойная, 13.

Примечание:

В 1965 году были произведены массовые аресты среди украинской интеллигенции. Большинство их были молодыми участниками возникшего в 60-е годы в Украине национального движения, имевшего характер культурного возрождения (в отличие от прошлых времен).

Как писала Людмила Алексеева в «Истории инакомыслия...»: «В 60-х годах появилась группа талантливых и смелых публицистов-литературоведов, историков — Иван Дзюба, Иван Светличный, Валентин Мороз, Вячеслав Чорновил, Святослав Караванский, Евгений Сверстюк, Василь Стус, Михаил Брайчевский. Валентин Мороз, оценивая вклад шестидесятников, писал, что самая важная их заслуга — в возвращении весомости высоким словам и понятиям, обесцененным официальным словоблудием, вдохновляющий пример героического гражданского деяния, каким было в глазах большинства открытое выступление против официального курса, на словах поддерживающего, а на деле обессилевшего украинскую культуру.

Призыв шестидесятников нашел горячий отклик — и в интеллигентской, и в рабочей среде и даже среди части украинского истэблишмента. Книги со стихами поэтов-шестидесятников расхватывались мгновенно, стихи их заучивались наизусть. Выступления этих поэтов собирали полные аудитории, выставки украинского народного и современного искусства привлекали массу посетителей, как и концерты украинской музыки — все национальное принималось с энтузиазмом.

Местами встреч шестидесятников стали мастерские художников, работавших в национальной манере (скульптор Иван Гончар, Алла Горская и др.), музеи, квартиры знатоков украинского народного искусства, таких, как хирург Э. Биняшевский, коллекционировавший писанки (разрисованные пасхальные яйца)...»

Власти испугались нарастающего национального сознания в среде украинской интеллигенции и ее все большего влияния на украинский народ. Поэтому с 1965 года КГБ начало кампанию репрессий против участников украинского национального движения. Это привело к постепенному снижению открытых выступлений и протестов, но дало толчок к развитию собственно украинского Самиздата.

Сборник «Горе от ума» («Лихо з розуму») был составлен львовским журналистом Вячеславом Чорновилом (одной из ключевых фигур в украинском национальном движении) в 1967 году и включал биографические сведения, списки публикаций, выступления на суде, отрывки из лагерных писем осужденных украинских интеллигентов. В отличие от многих произведений Самиздата того времени, сборник не был анонимным — когда он вышел, имя его составителя было на обложке. «Горе от ума» стало одним из самых популярных произведений украинского Самиздата 60-х (наряду с книгой Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?» — *см. т. 1, кн. 2, стр. 281*). Эти две работы были изданы за границей как по-украински, так и в переводе на европейские языки. Властями работы рассматривались как антисоветские и обычно служили как дополнительные указания на «преступную деятельность» при обысках у задержанных.

Последнее слово на судебном процессе во Львове 15 августа 1967 года

Граждане судьи! Должен признаться, что как был я неисправимым оптимистом, так им, наверное, и помру. Сначала я слал в высокие инстанции заявления, наивно надеясь на какие-то положительные результаты. И даже совсем неожиданный результат — тюрьма — меня не до конца охладил. Остатки розового оптимизма у меня оставались еще сегодня утром, в начале судебного заседания. Очень уж очевидной казалась мне моя невиновность. Но постепенно в ходе судебного заседания мой розовый оптимизм начал перерастать в черный пессимизм. Я увидел явную предубежденность и понял, что остановить операцию и доказать, что я не верблюд, мне не удастся. Мое ходатайство о вызове свидетелей и включении документов отклонили без мотивированных объяснений; мои доказательства, высказанные в начале судебного заседания, оставили без обсуждения; существа дела старались не касаться, орудуя нешироким арсеналом ярлычных определений. Постепенно нагнеталась тяжелая атмосфера, увенчавшаяся обвинительным словом прокурора Садовского, от которого я даже узнал такое, чего раньше не знал ни от следователя, ни из обвинительного заключения.

Оказывается, я еще и националист. Вот только бы уточнить — буржуазный или, может, социалистический? Я в своих заявлениях не касался национального вопроса. Такое заключение делается только на основании того, что я писал о нарушениях законности, допущенных на Украине. А если бы я жил в Тамбове и написал что-нибудь подобное — каким бы я националистом был, тамбовским? Львовские прокуроры не могут без того, чтобы к «делам» такого типа, как мое, не привязать национализма. Они, наверное, в каждом втором буржуазного националиста видят.

Прокурор цитирует часто цитируемые слова Ленина о «едином взаимодействии пролетариев великорусских и украинских». Но нельзя обходиться все время одной цитатой, нужно брать ленинскую национальную теорию в целом. Должен напомнить государственному обвинителю, что В.И. Ленин уже в советское время, когда существовал СССР, настойчиво подчеркивал, что местный национализм сам по себе не возникает, что он всегда бывает реакцией на великодержавный шовинизм, что лучший способ борьбы с национализмом — искоренять его первопричину — шовинизм. Эти ленинские указания отражались в решениях партийных съездов до самого начала тридцатых годов, когда Сталин окончательно стал проводить свою национальную политику.

Еще одно открытие сделал прокурор: оказывается, я пою с чужого голоса. Источником моих мыслей он делает какого-то американца Эвенштейна. Может, государственный обвинитель подскажет мне, где бы я мог почитать цитированного ним Эвенштейна? Ведь у нас судят по 62 статье Уголовного кодекса /УССР/ только за чтение таких книг, независимо от того, разделяю ли я их мнение. Никак не может представить себе государственный обвинитель, что можно без помощи эвенштейнов или кого-нибудь другого сформировать свои собственные мысли, собственные убеждения. Я, видите ли, виновен еще и в том, что мое сопроводительное письмо к П.Е. Шелесту передала радиостанция «Свобода» и напечатал журнал «Современность». И этот факт смакуется, хотя к сегодняш-

нему обвинению он не имеет ни малейшего отношения. Государственный обвинитель высказывает даже предположение, что, может, я лично передал эти материалы, а перевранные данные о моей личности, приведенные там, — всего лишь хитрый прием. На чем строятся эти предположения? Исключительно на желании нагнести обстановку в суде.

Прокурор тут вспоминал выступление П.Е. Шелеста на XXIII съезде КПСС, в котором первый секретарь ЦК КПУ называл имена способной творческой молодежи. От этой молодежи государственный обвинитель меня отмежевывает. А известно ли уважаемому прокурору, что произведения названных Шелестом лиц, напечатанные и ненапечатанные, независимо от желания авторов также появляются в тех журналах и передаются теми радиостанциями? Но ведь их не судят за это и даже называют как лучших с трибуны партийного съезда.

В длинном и «пристрастном» слове прокурора мало чего-нибудь существенного, что требовало бы ответа. Ведь не назовешь же аргументами, например, выражения, не делающие чести юристу: «поднял исступленный шум», «распускает по свету божьему пасквили», «зубоскальство», «как пьяный хулиган» и т.п. Я не хочу оскорблять личность уважаемого прокурора, как он оскорбляет меня. Но все-таки должен выразить сожаление, что в свое время в одном из наших юридических вузов, немного обучаясь науке Демосфена, совсем не обращали внимания на формальную логику. Государственный обвинитель делает ту же логическую ошибку, что и в обвинительном заключении: частичное возводит в ранг всеобщего или вообще делает обобщающие выводы из ничего, из своих субъективных представлений. Прокурор несколько раз подчеркивает, что своими «клеветническими заявлениями я хотел повлиять и влиял на некоторые нестойкие группы населения». Но ведь следствие не установило ни одного факта распространения мною заявления «Горе от ума», кроме посылки ее в официальные республиканские органы. Итак, по логике прокурора, «нестойкие группы населения» — это первый секретарь ЦК КПУ П.Е. Шелест, председатель КГБ при Совете Министров Никитченко и другие руководители республиканского ранга. Строить же обвинение на субъективных предположениях прокурора с моих намерениях — юридически, жалкий прием.

Такой же спекулятивный прием — перенесение центра тяжести на Караванского. Я писал о двадцати осужденных, а но об одном Караванском. Но осужденные в основном молодежь, а на прошлом Караванского можно сыграть, сев на своего любимого конька — национализм. Но ведь я нигде не писал, что оправдываю прошлое Караванского, я только утверждал и утверждаю, что повторное заключение способного переводчика и языковеда Караванского через 5 лет после амнистии — юридически не обосновано, а 25-летний срок заключения — действительно каннибальский.

Речь прокурора могла бы быть вдвое короче, если бы он не адресовал мне претензий к произведению Валентина Мороза «Репортаж из заповедника имени Берия». Я нигде не писал и не заявлял, как я отношусь к содержанию заявления Мороза. Я сделал то, что сделал бы на моем месте каждый порядочный человек, — по просьбе Мороза переслал его заявление адресатам — депутатам Верховного Совета УССР.

Морально оправдывает меня и то обстоятельство, что, как мне известно, ад-

министрация мордовских лагерей не пропускает заявлений и жалоб заключенных на лагерный режим, и потому заключенные должны обращаться к внецензурным способам передачи жалоб в руководящие инстанции. Во время следствия по своему делу я узнал, что политзаключенный Валентин Мороз за написание «Репортажа из заповедника имени Берия» повторно привлечен к уголовной ответственности. Потому прокурор Садовский имеет возможность предложить свои услуги, выступить на суде Мороза и адресовать ему то, что адресовал тут мне.

Однако, с некоторыми пунктами обвинительной речи я целиком согласен. С тем, например, что автобусы с маркой «Львов» можно встретить во многих странах, что на Львовщине добывают немало нефти и газа, что в Казахстане нужно развивать хозяйство. Согласен с тем, что дружба народов — великое дело, и не только народов СССР. Если только это, конечно, дружба равноправных народов и если она духовно обогащает все народы. Согласен еще со многими известными истинами. Не понимаю только, какое-все это имеет отношение к выдвинутому против меня обвинению. Видно, государственного обвинителя и здесь подвела недоученная им в свое время формальная логика.

Не буду больше тратить времени с прокурором, потому что полемизировать можно с какими-то тезисами, подкрепляемыми аргументами. А на брань бранью я отвечать не умею. Не буду еще раз повторять доказательства своей невиновности. Слишком много я об этом сегодня говорил, к тому же я присоединяюсь к сказанному адвокатом Ветвинским.

Давайте лучше, граждане судьи, на минутку оторвемся от очень серьезных исследований, который из двух взятых мною эпиграфов более клеветнический и дописал их или не дописал я кому, перепечатывая лагерные стихи Осадчего. Давайте также не будем гадать, как прокурор, что я хотел сделать и что я мог бы сделать. Оставим эту софистику и посмотрим на то, что происходит в этом зале, со стороны.

Я считаю, что суд надо мной — далеко не рядовой суд, а даже в какой-то степени этапный. Потому что тут судят не только меня как личность, тут судят мысль. Потому и решение, которое вы примете, будет касаться не только Черновола как такового, а и определенных принципов нашей общественной жизни. Меня, кажется, едва ли не первым на Украине судят по статье 137-1 /УК УССР/. Я писал из тюрьмы в президиум Верховного Совета УССР, что, как показал мой арест, принятая им на пятидесятом году советской власти статья Уголовного кодекса не является дальнейшим развитием социалистической демократии. Напротив, она дает в руки следственным и судебным органам неправомерно широкие права, позволяет им вмешиваться в сферы идеологии, лежащие вне их компетенции, заставляет их становиться, как мы это сегодня видели, философами и литературными критиками, экономистами и социологами — и выносить окончательный приговор во всех этих вопросах, которые временами являются дискуссионными даже для специалистов. Статья 187-1, как показывает суд надо мной, открывает возможность прямого наступления на право человека иметь свою мысль, свои убеждения.

Действительно, вдумаемся, что же означает в сегодняшней интерпретации клевета на советский строй или на советскую действительность. Что такое клевета вообще — понятно. Если я говорю, что майор Гальский из Львовского КГБ

является новоявленным унтер-пришибеевым, потому что занимается рукоприкладством, а следователи того же управления КГБ Сергадеев и Клименко не останавливаются перед угрозами и матерщиной, чтобы получить показания, и эти факты при проверке не подтверждаются, — то это будет клевета, а если я все это выдумал, то заведомая клевета. Но клевета не на советскую действительность, а на личность майора и двух его коллег. На это есть статья в Уголовном кодексе. Если я на основании этих двух выдуманных фактов сделаю вывод, что матерщина и мордобой — это вообще стиль работы Львовского управления КГБ — это будет заведомая клевета на учреждение, но никак не на советский строй. Так что же считать клеветой на советский государственный и общественный строй?

Если бы я, например, в научной статье или в выступлении с трибуны начал утверждать, что централизм в условиях социализма — не наилучший принцип внутриполитической и хозяйственной жизни, что в рамках социализма и советской системы больший эффект даст децентрализация, широчайшее производственное и территориальное самоуправление, и если я бы обосновал это положение экономическими выкладками, сослался бы на пример других стран, например, Югославии, то, даже отвергнув мои положения, можно ли меня судить за них как за клевету на советскую действительность? Что это — клевета или мои убеждения? Если бы я, внимательно изучив произведения Ленина, начал утверждать, что теоретически мы придерживаемся правильных ленинских указаний в национальном вопросе, а на практике допускаем отклонения от них, и этот тезис обосновал бы ленинскими положениями и анализом конкретных данных по вопросам современного культурного строительства, экономики и т.п. — то что это с моей стороны — мировоззрение, мои убеждения или клевета на советскую действительность?

Если бы я, наконец, стоя обеими ногами на платформе XXIII съезда КПСС, начал утверждать вслед за Пальмиро Тольятти, что демократизация советской жизни, начавшаяся с XX съезда КПСС, идет слишком медленно, что у части граждан еще не целиком изжита психология времен культа, что у нас случаются достойные сожаления экскурсы в прошлое, если я вслед за поэтом Евтушенко «обращаюсь к правительству нашему с просьбою: удвоить, утроить у этой стены караул, чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое» (это стихотворение в свое время печаталось в «Правде») — то что это будет с моей стороны: мое конституционное право обращаться со своими соображениями к избранным мною руководителям или «распространение клеветнических измышлений»?

И если бы даже во всех трех случаях я ошибался (ибо, уважаемый прокурор, ошибаться может даже Верховный суд; не ошибаются только боги, а их, как известно, нет) и моим аргументам можно противопоставить другой ряд аргументов, которые сказываются более вескими, то значит ли это, что меня нужно отдавать под суд, чтобы и я, и все другие в будущем не отваживались думать?

А ведь я не делал в своих заявлениях таких широких сообщений, как приведенные выше. Мои выводы значительно уже и имеют конкретного адресата. И все же меня судят именно за две-три сообщающие фразы, не найдя нужным рассмотреть ни одного из десятка фактов, на основании которых я сделал эти выводы. Сразу после ареста я дни и ночи насквозь продумывал содержание сво-

их заявлений, вспоминая все факты, и думал: где я мог допустить клевету? Конечно, не заведомую, но где я дал обмануть себя? И на одном из первых допросов я сказал следователю примерно так: «Знаете, здесь у меня стоит неправильная фамилия, а в этом факте я не уверен, потому что получил его из третьих рук». Но следователь Крикливец отмахнулся: «А меня эти факты совсем не интересуют, даже если они все правдивы, а вот что именно вы думали, давая такое название своему заявлению?...». Так как же мне не сделать вывод, что меня судят за убеждения, что кому-то нужно препарировать мой мозг, вложить в заготовленную стандартную ферму?

Я говорю, что суд надо мной — не рядовой суд и может иметь громкий резонанс еще и потому, что не припоминаю случая за последние годы, чтобы человека так откровенно судили за убеждения. Этого не было даже на тех судах, о которых я писал в своих заявлениях. Когда в июне 1966 г. я спросил у капитана Клименко из Львовского КГБ: «Скажите, пожалуйста, за что все-таки дали кандидату наук Осадчему два года лагерей строго режима?! Неужели за то, что прочел те две статьи», — то капитан ответил мне: «Эге, если бы ты знал, что у него в дневнике было понаписано». Но в приговоре дневник все-таки не упоминался, а упоминались две крамольные статьи. Меня же даже формально судят за у б е ж д е н и я, только это слово стыдливо заменяют словом «клевета». Я уверен, что и прокурор, и судьи в глубине души понимают, насколько смехотворно обвинение в распространении клеветнических измышлений оригинальным путем направления их в ЦК партии и КГБ. И все-таки вы меня судите...

Наконец, последнее. Когда летом 1966 года я объяснял судье Ленинского района Львова, почему я считал закрытый суд по делу братьев Гориной незаконным, он прямо спросил: «Черновол, а кто вы такой, чтобы решать, законно что-то делается или незаконно? Ведь для этого есть соответствующие органы». Сегодня этот же аргумент выдвигали прямо и недвусмысленно и судья Назарук, и прокурор Садовский. Я — советский гражданин. Оказывается, этого мало. Если бы просчеты следственных и судебных органов, которые заметил я, захотел заметить такой же советский гражданин, как и я, но занимающий пост прокурора республики, то ошибки были бы исправлены, а виновные, возможно, наказаны. Меня же самого наказывают...

Когда победила революция и началось строительство государства нового типа, В.И. Ленин постоянно требовал, чтобы как можно больше граждан принимали участие в руководстве государством и обществом, в этом он видел единственную гарантию успешного развития социализма. Его известное высказывание о том, что кухарка должна уметь управлять государством, не следует конечно понимать вульгарно: что кухарку обязательно нужно сажать в кресло премьер-министра или что умение руководить государством — это умение поднимать руку на вопрос «Кто за?». Эти слова нужно понимать так, что при социализме каждый рядовой гражданин должен уметь думать по-государственному, должен уметь в каждом сложнейшем случае сформулировать свою точку зрения, а не ждать, пока ему запрограммируют очередную программу. Доказательством этого могут быть другие слова В.И. Ленина, сказанные им уже в первые месяцы советской власти: «Граждане должны участвовать поголовно в суде и в управлении страны. И для нас важно привлечение к управлению государ-

ством поголовно всех трудящихся. Это — гигантски трудная задача. Но социализм не может ввести меньшинство — партия. Его могут ввести десятки миллионов, когда они научатся это делать сами». Я попытался действовать в соответствии с этими ленинскими указаниями — и о результатах этой попытки вы мне сейчас сообщите.

Источник: Архив Самиздата (АС), оп. №149.

Буковский
Владимир Константинович
(Род. 1942)



Учёный-биолог, писатель, правозащитник.

Родился в 1942 г. в г. Белебей (Башкирская АССР).

Учился в Москве. После доклада Хрущева четырнадцатилетний Буковский стал убежденным противником коммунистической идеологии. Первый его конфликт с властью произошел в 1959 г. — за участие в издании рукописного журнала был исключен из школы. Образование он продолжил в вечерней школе.

В 1960 г. он вместе с Юрием Галансковым, Эдуардом Кузнецовым и др. становится одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника поэту Маяковскому в центре Москвы (т.н. «Маяковка»). После арестов нескольких активистов «Маяковки» у Буковского был проведен обыск и изъято его сочинение о необходимости демократизации ВЛКСМ (впоследствии этот документ был квалифицирован следователем как «тезисы о развале комсомола»).

В конце 1961 г. Буковского отчислили из Университета (он учился на биолого-почвенном факультете).

В 1963 г. он был признан невменяемым (из-за попытки размножения «Нового класса» Джиласа) и отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу (СПБ),

В начале декабря 1965 г. он принял активное участие в подготовке «митинга гласности» в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, за это снова был задержан и насильственно госпитализирован.

В третий раз был арестован в январе 1967 г. за организацию демонстрации протеста против «процесса четырех» *(стр. 424)*. Буковский не только отказался признать себя виновным, но произнес резкую обличительную речь — его последнее слово широко распространялось в Самиздате. Суд приговорил его к трем годам лагерей по ст. 1903 УК РСФСР (активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок). Отбыв срок в уголовном лагере, Буковский в январе 1970 г. вернулся в Москву и сразу же стал одним из лидеров сформировавшегося за годы его отсутствия диссидентского круга.

Буковский дал несколько интервью западным корреспондентам, в которых рассказал о политических заключенных, подвергающихся психиатрическим репрессиям, сделав проблему карательной медицины достоянием гласности. Ему было сделано официальное предостережение с угрозой, что если он не прекратит передавать на Запад информацию о нарушениях прав человека в СССР, то будет привлечен к уголовной ответственности. Несмотря на это он в начале 1971 г. обратился с открытым письмом к зарубежным врачам-психиатрам, и приложил к нему копии заключений судебно-психиатрических экспертиз известных

инакомыслящих, признанных в СССР невменяемыми: Петра Григоренко, Натальи Горбаневской, Валерии Новодворской и др.

В марте 1971 г. Буковского в четвертый и последний раз арестовали. Аресту предшествовала статья в газете «Правда», в которой он был назван злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью. Статья принесла Буковскому всесоюзную известность.

В январе 1972 г. Буковского приговорили к 7 годам заключения и 5 годам ссылки за «антисоветскую агитацию и пропаганду».

Находясь в заключении, в соавторстве со своим солагерником, психиатром Семеном Глузманом, написал «Пособие по психиатрии для инакомыслящих» — руководство, призванное помочь тем, кого власти пытаются объявить невменяемыми.

Международная кампания в защиту Буковского приобрела тем временем необычайный размах. В декабре 1976 г. его обменяли на самого известного политзаключенного Запада — лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

Вскоре после высылки из СССР Буковский был принят в Белом доме президентом США Джимми Картером. Он поселился в Великобритании, закончил Кембриджский университет по специальности «нейрофизиология». Написал книгу воспоминаний «И возвращается ветер», изданную на многих языках (первое издание — в 1978 г. в США в издательстве «Хроника»). До своей официальной публикации в России в 1990 г. книга ходила в Самиздате.

В настоящее время живет в Англии. Биолог. Активно занимается публицистикой.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НА СУДЕ
5 января 1972 года

Граждане судьи!

Я не буду касаться юридической стороны обвинения, потому что я в зале суда уже доказал полностью его несостоятельность. Адвокат в своей речи также доказал полную несостоятельность обвинения, и я согласен с ним по всем пунктам защиты.

Скажу другое: расправа надо мной готовилась уже давно, и я об этом знал. 9 июня меня вызвал прокурор Ванькович и угрожал расправой; потом появилась статья в газете «Правда» под заголовком «Нищета антикоммунизма», которую почти процитировала в своей речи прокурор. Статья содержала в себе обвинение, что я за мелкие подачки продаю в подворотнях иностранным корреспондентам клеветническую информацию.

И наконец, в журнале «Политическое самообразование» № 2 за 1971 г. была помещена статья зам. председателя КГБ С. Цвигуна, в которой также говорилось, что я занимаюсь антисоветской деятельностью. И совершенно понятно, что маленький следователь, проводя следствие по делу, не мог пойти против начальника и вынужден был во что бы то ни стало попытаться доказать мою вину. Перед арестом за мной была установлена настоящая слежка. Меня преследовали, мне грозили убийством, а один из тех, кто за мной следил, распоясался настолько, что угрожал мне своим служебном оружием. Уже будучи под следствием, я заявил ходатайство о том, чтобы против этих лиц было возбуждено уголовное дело. Я даже указал номер служебной машины, на которой эти

люди ездили за мной, и привел другие факты, которые давали полную возможность для их розыска. Однако на это ходатайство я не получил ответа от тех инстанций, куда его направлял. Зато от следователя был получен ответ весьма красноречивый: «Поведение Буковского на следствии дает основание для обследования его психического состояния».

Следствие велось с бесчисленными процессуальными нарушениями. Можно сказать, что не осталось ни одной статьи в УПК, которая не была бы нарушена. Следствие пошло даже на такую позорную меру, как помещение со мной в тюрьме камерного агента, некоего Трофимова, который сам признался мне, что ему было поручено вести со мной провокационные антисоветские разговоры с целью спровоцировать меня на аналогичные высказывания, за что ему было обещано досрочное освобождение. Как видите, то, что мне инкриминируется как преступление, некоторым людям прощается, если этого требуют «интересы дела».

Я посылал об этом жалобы в различные инстанции и требовал сейчас, на суде, приобщить их к делу, но суд «постеснялся» это сделать.

Что касается следователя, то он, вместо того чтобы рассмотреть эту жалобу и дать мне ответ, направил меня на стационарное медицинское обследование в Институт судебной психиатрии им. Сербского.

Следственному отделу УКГБ очень хотелось, чтобы я был признан невменяемым. Как удобно! Ведь дела за мной нет, обвинение строить не на чем, а тут не надо доказывать факта совершения преступления, просто человек — больной, сумасшедший...

И так бы оно все и произошло. И не было бы сейчас этого судебного разбирательства, и не было бы моего последнего слова: меня осудили бы заочно, в мое отсутствие... если бы не оказало влияние интенсивное вмешательство общественности. Ведь после первого срока экспертизы — в середине сентября — врачебная комиссия обнаружила у меня зловещую неясность психической картины, и по вопросам врачей, обращавшихся ко мне после этого, я понял, что меня собираются признать невменяемым. И только 5 ноября, после давления, оказанного общественностью, новая медицинская комиссия признала меня здоровым. Вот вам достоверное доказательство моих утверждений (которые здесь, в суде, называют клеветническими), как по указанию КГБ чинятся психиатрические расправы над инакомыслящими.

У меня есть и другое доказательство этого. В 1966 году меня восемь месяцев, без суда и следствия и вопреки медицинским показаниям о моем психическом здоровье, держали в психиатрических больницах, переводя по мере выписки врачами из одной больницы в другую.

Итак, 5 ноября я был признан вменяемым, и меня вновь водворили в тюрьму, и процессуальные нарушения продолжались. Грубо было нарушено окончание следствия с выполнением ст. 201 УПК РСФСР. Я требовал, чтобы мне был предоставлен избранный мною адвокат. Но следователь мне в этом отказал и подписал ст. 201 один, да еще написал при этом, что я отказался ознакомиться с делом.

В соответствии со своим правом на защиту, предусмотренным ст. 48 УПК РСФСР, я потребовал пригласить для своей защиты в суде адвоката Каминскую Дину Исаковну.

С этой просьбой я обратился к председателю Президиума Московской коллегии адвокатов и получил его отказ с резолюцией: «Адвокат Каминская не может быть выделена для защиты, так как она не имеет допуска к секретному делопроизводству». Спрашивается, о каком секретном делопроизводстве может идти речь, когда меня судят за антисоветскую агитацию и пропаганду? И все же, где, в каких советских законах упоминается об этом пресловутом «допуске»? Нигде.

Итак, адвокат мне предоставлен не был. Более того, вышеупомянутый ответ из коллегии адвокатов, с которым я был ознакомлен и на котором имеется моя подпись, был из дела изъят и возвращен в коллегию адвокатов, о чем в деле имеется справка. Взамен его был вложен другой, вполне невинный ответ председателя коллегии, с которым я ознакомлен не был. Как это можно расценивать? Только как служебный подлог.

Потребовалась моя 12-дневная голодовка, жалоба Генеральному прокурору СССР, в Министерство юстиции СССР и в ЦК КПСС, а также новое активное вмешательство общественности, чтобы мое законное право на защиту было, наконец, осуществлено и мне был предоставлен приглашенный моей матерью адвокат Швейский.

Сегодняшнее судебное разбирательство велось также с многочисленными процессуальными нарушениями. Обвинительное заключение, в котором 33 раза употребляется слово «клеветнический» и 18 раз слово «антисоветский», не содержит в себе конкретных указаний на то, какие же именно факты из сообщенных мною западным корреспондентам являются клеветническими и какие именно материалы из изъятых у меня при обыске и якобы распространяемых мною являются антисоветскими.

Из девяти ходатайств, заявленных мною в начале судебного разбирательства и поддержанных моим адвокатом, восемь было отклонено. Никто из заявленных мною свидетелей, которые могли бы опровергнуть различные пункты обвинения, судом вызван не был.

Мне инкриминирована, в частности, передача антисоветских материалов прилетевшему в Москву фламандцу — Гуго Себрехтсу. Эти материалы якобы передавались ему мною в присутствии Вольпина и Чалидзе. Однако мое требование о вызове этих двух людей в качестве свидетелей не было удовлетворено. В суд не был вызван, далее, ни один человек из 8 названных мною, которые могли подтвердить истинность моих утверждений относительно фактов помещения и условий содержания людей в специальных психиатрических больницах. Суд отклонил мое ходатайство о вызове этих свидетелей, мотивировав это тем, что они душевнобольные и не могут давать показаний. Между тем среди этих людей есть двое — З.М. Григоренко и А.А. Файнберг, которые никогда не помещались в спецпсихбольницы, а бывали в этих больницах только в качестве родственников и могли бы подтвердить мои показания об условиях содержания в этих больницах.

В суд были приглашены только те свидетели, которых представило обвинение. Но что же это были за свидетели? Так, ко мне подсылался перед моим арестом, по всей вероятности сотрудниками КГБ, военнослужащий войск госбезопасности, ныне работающий в отделе таможенного досмотра на Шереметь-

евском аэродроме, мой бывший школьный товарищ, некий Никитинский, которому было поручено спровоцировать меня на преступление — организацию ввоза из-за границы оборудования для подпольной типографии. Но незадачливому провокатору осуществить это не удалось. Тогда следствие, а затем и суд попытались сделать его свидетелем по этому пункту обвинения. Мы видели здесь, что Никитинский не справился и с этой задачей.

Для чего же потребовались все эти провокации и грубые процессуальные нарушения, этот поток клеветы и ложных бездоказательных обвинений? Для чего понадобился этот суд? Только для того, чтобы наказать одного человека?

Нет, тут «принцип», своего рода «философия». За предъявленным обвинением стоит другое, непредъявленное. Осуждая меня, власти преследуют здесь цель скрыть собственные преступления, психиатрические расправы над инакомыслящими.

Расправой надо мной они хотят запугать тех, кто пытается рассказать об их преступлениях всему миру. Не хотят «выносить сор из избы», чтобы выглядеть на мировой арене этакими безупречными защитниками угнетенных!

Наше общество еще больно. Оно больно страхом, пришедшим к нам со времен сталинщины. Но процесс духовного прозрения общества уже начался, остановить его невозможно. Общество уже понимает, что преступник не тот, кто выносит сор из избы, а тот, кто в избе сорит. И сколько бы мне ни пришлось пробыть в заключении, я никогда не откажусь от своих убеждений и буду высказывать их, пользуясь правом, предоставленным мне ст. 125 советской Конституции, всем, кто захочет меня слушать. Буду бороться за законность и справедливость.

И сожалею я только о том, что за этот короткий срок — 1 год 2 месяца и 3 дня, — которые я пробыл на свободе, я успел сделать для этого слишком мало.

Источник: «Самиздат века». Минск-М.: Полифакт, 1997.

Александр Есенин-Вольпин

(Справку см. т. 1, кн. 1, стр. 103)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Каждого могут неожиданно вызвать на допрос, а значит, надо быть к этому готовым. Допросы бывают разные: допрашивают обвиняемых, арестованных и неарестованных, допрашивают свидетелей, допрашивают и просто так, на всякий случай. Допрашивают по поводу действительных преступлений и по поводу поступков, совершенно не предусмотренных уголовным кодексом. Допрашивают следователи, но не только они. Полуофициальные и вовсе неофициальные беседы навязывают гражданину партсекретари или какие-либо незнакомцы, имеющие отношение к «органам» и не предъявляющие никаких документов. Такие беседы часто мало отличаются от допросов. Перед допрашиваемым возникает много сложных вопросов: как держать себя, чтобы не ухудшить положение; ведь если допрашивают — значит, уже плохо. Одни больше беспокоятся за себя и своих близких, другие на этот счет спокойны, но боятся повредить друзьям. Во время допроса поздно начинать определять свою позицию и вырабатывать линию поведения — тот, кто допрашивает, знает свое дело и сумеет переиграть неподготовленного. Поэтому, если вы опасаетесь допроса, если только можно его опасаться, готовьтесь к нему заранее. Готовьтесь прежде, чем совершить поступки, которые могут привести к вашему допросу, — иначе вы с самыми лучшими намерениями можете запутаться и предать тех, кого не хотите. Если вы все-таки и попали врасплох — лучше всего не торопиться с ответами, отказаться отвечать в тот день и выиграть время для подготовки. Ниже ряд советов, которыми можно воспользоваться во всех случаях, с небольшими оговорками. Прежде всего, есть разные причины допросов, возможны случаи, когда совершено преступление, раскрытия которого вы желаете, и сами идете в милицию или прокуратуру, чтобы рассказать об этом преступлении все, что вы знаете. Это может быть очень честным поступком с вашей стороны, но совет: готовьтесь и в этом случае к тому, что между делом вам начнут задавать вопросы не о том, о чем вы хотели рассказать. Всегда перед возможным вызовом на допрос постарайтесь оценить события, о которых вас будут допрашивать, с юридической точки зрения. Если вы не в тюрьме, возьмите уголовный кодекс и найдите в нем те статьи, которые относятся к рассматриваемому случаю. Особое внимание обратите на то, что не всякий, совершивший преступление, может быть привлечен к ответственности, а только виновный в этом; имеется лишь два вида вины: умысел и неосторожность. Обратите также внимание на основания к оправданию: ст. 13. Согласно ст. 18 и 19 УК недонесение и заранее не обещанное укрывательство влекут ответственность только в случаях, специально предусмотренных особенной частью. Невменяемость освобождает от уголовной ответственности, но не от помещения в психиатрическую больницу, опьянение не освобождает от ответственности. Вас могут расспрашивать о приготовлении к преступлению или покушению, подумайте о том, не отказался ли покушавшийся или готовившийся к преступлению от

ведения его до конца добровольно, в этом случае он отвечает за готовившееся преступление, если успел совершить другое преступление. Но особое значение для вас на допросе имеет не столько УК, сколько УПК, который устанавливает правила разбирательства дела на следствии и в суде и, в частности, права и обязанности обвиняемого и свидетеля и порядок проведения допросов. Вот что вам надлежит знать прежде всего.

1. УПК реализует лишь допросы, производимые на следствии и в суде. Все прочие допросы — это беседы, причем закон ни для кого не устанавливает никакой ответственности за отказ от ответов. Однако, если закон устанавливает ответственность за недонесение на преступление, о котором идет речь, такой отказ может усугубить эту ответственность. Закон, в частности, не предусматривает уголовной ответственности за недонесение на антисоветскую агитацию и пропаганду, организацию или участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок, и т. д. Закон предусматривает уголовную ответственность за недонесение на участие в антисоветской организации и другие государственные преступления, предусмотренные ст. 64-69.

2. Уголовная ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний — исправительные работы (вычеты из зарплаты 20 процентов). Ответственность за дачу заведомо ложных показаний установлена лишь для свидетелей и потерпевших. В частности, обвиняемый от нее свободен (право как угодно отвечать на вопросы или не отвечать на них вовсе).

3. Перед началом допроса следователь разъясняет свидетелю или потерпевшему его обязанности и предупреждает его об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля. Следовательно, до тех пор, пока свидетель не предупрежден об этой ответственности, допрос еще не начался, и он не обязан отвечать ни на какие вопросы.

4. В начале допроса следователь устанавливает отношение свидетеля к обвиняемому и потерпевшему и выясняет другие необходимые сведения о личности допрашиваемого. Допрос по существу дела начинается предложением свидетелю рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос; после рассказа свидетеля следователь может задать ему вопросы. Наводящие вопросы не допускаются. Вы должны запомнить этот порядок — если он как-либо будет нарушен, то это не допрос, и у вас могут появиться основания к отказу от ответов и от дальнейшего участия в этом «допросе».

5. Свидетель обязан явиться на допрос и дать правдивые показания, т.е. сообщить все известные ему по делу факты и ответить на поставленные вопросы. Но, хотя уклонение от этой обязанности является преступлением, такое уклонение или отказ не являются преступлением, если они совершаются в состоянии необходимости обороны или крайней необходимости.

6. Во время предварительного следствия лишь одна статья УПК устанавливает право следователя (прокурора) задавать вопросы свидетелю. Это ст. 74, согласно которой свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу. В суде пределы разбирательства устанавливаются ст. 254 УПК, согласно которой разбирательство производится только в отношении обвиняемых и лишь по тому обвинению, по которому

они преданы суду. Обстоятельства, не могущие очевидным образом способствовать совершению какого-либо преступления (например, политические или философские взгляды или литературные вкусы свидетеля или другого лица) или сопровождать его, не относятся к числу тех, о которых может быть допрошен свидетель. Не может быть по закону он допрошен и о лицах, не привлекаемых к ответственности и не участвовавших в совершении преступления, за исключением потерпевших; вопросы о присутствии такого-то лица на месте преступления или подготовки к нему и т. п., конечно, могут быть заданы. Если лицо, производящее допрос, выйдет своими вопросами за эти пределы, у вас могут появиться основания к уклонению от ответов.

7. Право собственноручного написания своих показаний принадлежит как обвиняемому, так и свидетелю. Это право предоставляется и обвиняемым и свидетелям по их просьбе после дачи ими показаний. Ясно, впрочем, что свидетель не будет наказан только за то, что с самого начала, отказавшись от дачи устных показаний, изъявит желание давать их в письменной форме. Следователь может, до просьбы допрашиваемого, задавать ему вопросы и вести протокол, но закон не обязывает свидетеля подписывать те слова, которые приписывает ему следователь. Поэтому если допрашиваемый — как обвиняемый, так и свидетель — проявит настойчивость, то ему будет предоставлена возможность собственноручной записи своих показаний, о чем будет сделана запись в протоколе, но вопросы следователь будет записывать сам. Это право (в УПК оно называется «возможностью») не входит в перечень тех прав, о которых следователь обязан сообщить обвиняемому или свидетелю. Оно имеет важное психологическое значение, прежде всего потому, что гораздо проще добиться того, что допрашиваемый в минуту слабости поставит свою подпись под ранее написанным текстом, чем того, чтобы он сам написал, а затем подписал этот текст. Записывая свои показания, вы постараетесь выбирать выражения, но вы лишены этой возможности, если за вас запись ведет следователь. Не надейтесь на то, что следователь запишет ваши слова дословно. Это трудно, и вам также трудно упрекать его, если где-нибудь ваши слова будут искажены, а если вы не хотели, чтобы вас допрашивали, надеетесь ли вы на то, что искажения будут для вас желательны? Следователь, даже работая вполне добросовестно, понимает свою задачу не так, как вы свою. Поэтому он может просто не обратить внимания на важные тонкости, которые вы употребили в своей речи. Могут исчезнуть ваши оговорки о том, что вы не вполне доверяете своей памяти, слова типа «пожалуй» и «может быть»; там, где вы говорили о чьих-нибудь злых речах, в записи другого лица эти речи могут быть названы «клеветническими», а если вы сказали о чьих-либо расхождениях с взглядами КПСС, в записи эти взгляды будут названы «антисоветскими». Вы можете быть достаточно развиты в юридическом и политическом отношении, чтобы возражать против этого, и сами бы вы так никогда не написали. Но если вы позволите следователю так записать ваши слова, ожидайте затем психологического нажима, а откуда вы знаете, что выдержите этот нажим, после того как уже совершили важную уступку, если, зная о своем праве составлять письменный текст своих рассказов и ответов, позволили сделать это за вас. Главное: редакция ваших показаний должна принадлежать вам, и этого гораздо легче добиться, если вы будете их писать сами. Чтобы добиться от вас подписи под готовым текстом, достаточно

добиться от вас всего лишь трех секунд слабости или невнимательности, заставить написать серьезный текст, с которым вы несогласны, надо надеяться, вообще невозможно. Собственноручная запись своих показаний — одно из важнейших условий того, что допрашиваемый будет держать себя в руках во все время допроса. Конечно, вам будут возражать, указывая на технические обстоятельства дела (расстановка мебели, препятствующая частой передаче протокола из рук в руки, и т. д.). Отвечайте, что это вас не касается. По этому поводу часто на допросах ведется борьба. Следователь любит, например, ловить свидетелей на стилистических ошибках, и, подсказав свидетелю действительно лучший текст, чем тот написал, затем старается добиться от него уступки и писать его ответы своей рукой. Не поддавайтесь. Но, конечно, если вы тверды и опытны, то можете разнообразить прием. В этом случае вы можете записывать показания на своей бумаге, а затем диктовать их следователю. На это уйдет много времени, скорее всего, это будет в ваших интересах. Во всяком случае, при малейшем отступлении записи следователя от вашей вы вправе не подписывать того, что записал следователь.

8. Во время допроса следователь вправе применять звукозапись. Если он это делает особенно тщательно, выбирайте свои выражения. Он вправе вести звукозапись лишь всего допроса, но не его отдельных частей. Магнитофонная лента затем должна быть прокручена перед вами. Она употребляется для уточнения протоколов и приобщается к делу.

9. После составления протокола допроса следователь обязан предоставить свидетелю возможность делать замечания, подлежащие внесению в протокол. По окончании допроса свидетель имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок. Эти поправки и дополнения подлежат обязательному занесению в протокол… Свидетель подписывает каждую страницу протокола отдельно. Последнее положение многие следователи используют для того, чтобы, получив подпись свидетеля под отдельной страницей, сразу же забрать ее себе и больше ее обвиняемому не предъявлять. Плохо помня, что было написано на предыдущей странице, свидетелю будет трудно при сопоставлении следующих. Поэтому возникает ошибка. Совет: в конце длинного допроса, как бы вы ни устали, требуйте предоставления вам возможности внесения дополнений и поправок, а для этого предъявления всего протокола допроса. Следователь, возможно, будет вам отказывать, ссылаясь на поздний час, и предложит зайти в другой раз. Но он может вас потом не вызвать и не принять. Поэтому вы поступите правильно, если, изложив это опасение при составлении первой страницы, потребуете, не подписывая ее сразу, чтобы на подпись вам были предъявлены сразу все страницы. Если вам откажут, тогда у вас будет основание отказаться подписывать что бы то ни было.

10. При отказе от подписания протокола вам должна быть предоставлена возможность дать объяснение о причине отказа, которое заносится в протокол. Обвиняемый имеет то преимущество, что он вообще не обязан давать показания.

Если начинают расспрашивать об образе жизни знакомых, он может оборвать следователя словами: «Я даю показания как обвиняемый, а не как осведомитель». Положение свидетеля труднее тем, что за отказ от дачи показаний он несет ответственность по суду по ст. 182 УК. Конечно, это гораздо лучше,

чем солгать, рискуя лишением свободы. У свидетеля могут найтись законные основания не отвечать на вопросы. Прежде всего он должен иметь в виду ст. 13 УК РСФСР. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите интересов личности или прав обороняющегося или другого лица. Конечно, если посягательство состоит в задании вопроса, то отказ от ответа будет способом защиты, вполне соответствующим характеру и опасности посягательства. Общественную опасность посягательства следует при этом усматривать в подрыве Конституции СССР, 111 статья которой обеспечивает право на защиту обвиняемого. Несущественно, что свидетель еще не стал обвиняемым: в ст. 13 говорится о правах «обороняющегося или другого лица». Свидетель может ссылаться на эту статью и тогда, когда ходом допроса следователь угрожает правам другого лица, которое привлечено или может быть привлечено в качестве обвиняемого. У свидетеля обычно нет законных прав уклониться от ответа на вопросы о личности обвиняемого или потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними. Конечно, такая возможность появляется, если допрос начинается с грубого нарушения закона, дающего свидетелю право прекратить его на основании ст. 13 или 14 УК, или если он знает, что следователь грубо нарушает законность в других случаях. Но выступая с такими заявлениями публично, свидетель берет на себя большую ответственность, чем в случае отказа от показаний, а потому должен располагать твердыми доказательствами их. Эти ссылки на ст. 13 и 14 не обязательно помогут свидетелю, если он будет привлечен к суду по ст. 182 УК. Но дела по этой статье редки, крайне невероятны основания к слушанию их при закрытых дверях, потому, если свидетель хорошо подготовлен к защите, он может надеяться, что против него просто не будет возбуждено никакого дела за отказ от показаний. Наказуем соответственно не отказ, наказуема недача показаний, уклонение от них, т. е. бездействие. Поэтому свидетелю рекомендуется не просто молчать вместо дачи показаний, а непрерывно делать заявления, например о мотивах своего отказа, что является действием до тех пор, пока следователь не перейдет к другим вопросам, на которые свидетель согласен отвечать, или не отпустит его из кабинета. Свидетель вправе в случае некорректного поведения следователя или угроз с его стороны, а также при искажении смысла статей УК воздержаться от дачи показаний и занести свои претензии в протокол. Одной из оплошностей следователя является задание свидетелю наводящего вопроса. Вы должны потребовать записи вашего воздержания в протокол под угрозой прекращения дачи показаний.

11. Свидетель и обвиняемый должны знать, что те данные, которые устанавливаются их показаниями, считаются доказательствами по уголовному делу. Не могут служить доказательствами фактические данные, сообщаемые свидетелем, если он не имеет возможности указать источник своей осведомленности. Итак, свидетель должен относиться к своим показаниям как к очень серьезным заявлениям. Если он что-либо знает, но не может указать источник своей осведомленности, от него не требуется говорить об этом, так как данные, которые он может сообщить, не могут служить доказательством по делу, а он вызван для получения от него доказательств. Если свидетель обещал кому-то не рассказывать что-то, значит, это обещание распространяется и на его ответы

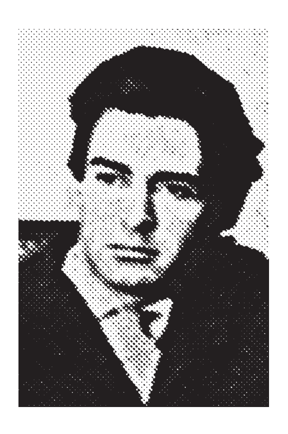
следователю. Тут возникает вопрос о моральном праве и долге. Но если аморально именно ведение данного уголовного дела, то сдержать обещания следует считать высоким нравственным основанием для отказа от ответа на вопросы следователя или судей. Следователь может знать о каких-либо событиях, но не иметь о них доказательств. Его сведения могут исходить от агентов КГБ или прокуратуры — но это агентурные данные, не подтвержденные показаниями, и они не относятся к числу доказательств. То же самое относится к магнитным записям, кроме случаев, когда они были выполнены и хранились в условиях, исключающих возможность подделки. Поэтому, как правило, они не являются доказательствами, хотя допустимо использование звукозаписи на допросах. Если вам предъявят запись разговора, можно сказать, что она ничего не означает, так как надо доказать, что она не смонтирована. Во всяком случае, если от него добиваются подписей под протоколом — значит, нужны именно его подписи, а не просто слова. Поэтому, если свидетель скажет то, чего он не должен был бы говорить, он еще многое может исправить, отказавшись подписать предложенный протокол. Единственный случай, когда он не может исправить ошибку, это то, что он сообщил сведения, которые следователь собирает через своих агентов. При моральной невозможности давать показания в пользу обвинения, свидетель, который уже дал письменные показания, но сделал это с сожалением, поступит благородно и разумно, если в последний момент разорвет протокол. В таком виде тот не имеет доказательной силы. Свидетель, обнаруживший ошибку в своих показаниях, может написать заявление в КГБ или прокуратуру и отказаться от них полностью на том основании, что следственные органы допустили ошибку или неточности. После этого возможен новый допрос, и готовность к таковому уместно указать в данном заявлении.

12. Суд. Если заседание происходит при закрытых дверях, или если установлены пропуска для входа в зал, то свидетель защиты должен помнить, что он один из немногих, кто имеет доступ на процесс, и он должен быть заинтересован в том, чтобы остаться в зале заседаний как можно дольше. Тут уместно не сразу высказывать свое мнение о допросе свидетеля, без чего председательствующий не вправе удалить свидетеля. Каждый подсудимый и защитник может заявить, что в ходе заседания может возникнуть вопрос к свидетелю. На практике эта статья нарушалась. На процессе Гинзбурга и Галанскова свидетелей выгоняли сразу же после допроса; в СССР свидетель предполагается незаинтересованным лицом. Поэтому он не может рассчитывать, что ему дадут произнести речь. Он может включить в свои показания заявления о невиновности подсудимого. Свидетель должен различать и юридическое значение некоторых слов, значение которых расходится с повседневным. Надо помнить, что КПСС, являясь исторически и политически основной руководящей силой советского общества, в юридическом отношении уступает блоку коммунистов и беспартийных. Депутаты в Верховный Совет СССР выдвигаются именно этим блоком. Под советским общественным строем подразумевается строй, соответствующий исторической руководящей роли КПСС. Это понятие не тождественно понятию «советского государственного строя», описанного Конституцией. Советский закон не содержит запрещения партий как таковых, и образование партии, не являющейся антисоветской, не есть преступление. Слово «клеветнический» соответствует определению кле-

веты, как заведомой лжи порочащего характера. Слово «беспорядок» не может означать демонстрацию как таковую, поскольку свобода демонстраций и митингов установлена Конституцией. 125-я статья Конституции устанавливает, что перечисленные в ней гражданские свободы гарантируются законом «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя». Это не может означать, что эти свободы признаются лишь в тех случаях, когда осуществляются в указанных целях. Но если они противоречат этим целям, то они не охраняются законом. Отвечать отрицательно на вопрос «понятны ли вам обвинения?» — весьма рискованно, так как у следствия возникнет прецедент направить вас на психиатрическое исследование. Лучше ответить уклончиво: «Не совсем, так как некоторые слова обвинения имеют различный смысл». И в заключение несколько советов на те случаи, когда свидетель не желает давать показания и делает это только в силу своей обязанности: а) явившись на допрос, не начинать давать показания до тех пор, пока следователь не скажет ему, по какому делу он вызван; б) не называть никаких фамилий и не давать никаких сведений о лицах, фамилии которых следователь не произнес; в) не писать и не подписывать ответов и других показаний, в которых встречаются фамилии и другие сведения о лицах, фамилии которых еще не встречались в вопросах, написанных следователем; г) отметить, по возможности, все упоминания лиц, против которых дело не возбуждено; д) помнить, что любое, даже самое невинное упоминание чьей-либо фамилии может неожиданно оказаться серьезным промахом. Этого может быть достаточно, чтобы вызвать упомянутое лицо на допрос; е) на всех беседах, где вас допрашивает не следователь, а другое лицо, отказывайтесь отвечать на вопросы.

Для тех, кто прочно уяснил себе всю тщетность юридической эквилибристики со следователем, лучшим во всех отношениях будет категорический отказ от дачи каких-либо показаний. Преимущество, которое вы при этом получаете, гораздо дороже 20 процентов зарплаты — максимум, что вы можете потерять.

Источник: «Самиздат века». Минск-М.: Полифакт, 1997.



Чалидзе Валерий Николаевич

(Род. 1938)

Издатель, редактор, журналист, правозащитник.

Родился в Москве. Учился в Московском и Тбилисском университетах. По специальности — физик, кандидат наук. Работал начальником отдела НИИ в Тбилиси. С середины 60-х годов активно участвовал в правозащитном Движении в СССР, будучи одной из самых заметных и весомых фигур Движения. Вместе с академиком А.Д. Сахаровым и рабочим А. Твердохлебовым основал Комитет по правам человека в СССР (1970). С 1968 г. издавал самиздатский журнал «Общественные проблемы» *(стр. 434).* В 1972 г. выехал по приглашению в США для чтения лекций и почти сразу же был лишен советского гражданства. Поселился в штате Вермонт.

В Соединенных Штатах Чалидзе основал собственное издательство («Издание Чалидзе»), в котором начал публикацию на русском языке документов и материалов из архива Троцкого, хранящегося с 1940 г. в библиотеке Гарвардского университета в США и включающего в себя материалы по истории Советской России и о деятелях революции. В 1989 г. вышли четыре тома документов «Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923-1927 гг.» (о борьбе «троцкистов» со «сталинцами»), в 1984 г. — не публиковавшиеся мемуарные работы Троцкого «Портреты», в 1986 г. — «Дневники и письма», в 1988 г. — «Портреты революционеров» и др. Именно в издательстве Чалидзе вышли мемуары Никиты Хрущева *(стр. 221).*

Чалидзе — автор исследований: «Победитель коммунизма: Мысли о Сталине, социализме и России» (Нью-Йорк, 1981), «Права человека и Советский Союз» (1974), «Уголовная Россия» (1978). В 1990 г. Чалидзе возвращено советское гражданство.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА

<...>

Будем считать, что, размышляя над тем, допустимо ли с точки зрения ваших представлений о нравственности отвечать на тот или иной вопрос, вы как бы просеиваете его через некоторое сито — **сито «Д» (от слова «допустимость»).** Есть еще три сита, которые позволят вам чувствовать себя уверенно. Сейчас мы их рассмотрим.

Как отвечать на трудный вопрос? (Про сито «П» и «Л»)

Не волнуйтесь. Есть очень много трудных вопросов, для которых годится один простой ответ. Его надо произнести вежливо и не торопясь: ***«Запишите***

ваш вопрос в протокол, и я на него отвечу». Если следователь не записывает свой вопрос в протокол, вы не обязаны на него отвечать. Эти рассуждения мы условно обозначим как **сито «П» («протокол»)**.

Сито **«П»** мешает следователю писать черновик протокола. Мешает, например, аннулировать заданный вопрос, если он после вашего ответа покажется следователю невыгодным. Это важно.

Однако, скорее всего, «трудным» для вас окажется вопрос, который касается лично вас. То есть, в этом случае, вы перестаете быть свидетелем и становитесь подозреваемым или обвиняемым. Но по закону подозреваемый или обвиняемый не несет ответственности за дачу ложных показаний и за отказ или уклонение от показаний. В Бюллетене Верховного Суда СССР (1974 г., № 4, стр. 245) сказано: «Допрос в качестве свидетеля подозреваемого в совершении преступления лишает его возможности осуществить свое право на защиту и потому не может быть признан соответствующим требованиям процессуального закона».

Представьте, некто К. заявил, что отобранную у него книгу он взял у вас. Конечно, вы расстроены. Безотносительно к тому, вредна ли эта книга для правительства или нет. Для К. она определенно вредна, и для вас также. В этом случае вы скажете, что, безусловно, рады были бы ответить, чья книга, но фактически не можете этого сделать, так как не беспристрастны. Вам, в сущности, нельзя верить как свидетелю, поскольку вы — заинтересованное лицо. Вы — подозреваемый в преступлении. Нет уж...

Выяснение истины, если это возможно, должно происходить без вашего участия. «Я заинтересован доказать свою невиновность», — ответите, допустим, вы. «Что же мешает ее доказать?» — спросит следователь. «Многое, — ответите вы. — Во-первых, отсутствие адвоката. Во-вторых, незнание законов. В-третьих, неизвестно, что именно надо доказывать, мне не предъявлено обвинение. И, наконец, сама необходимость доказывать. Существует мнение: ***доказывать должно следствие, не так ли»?***

Если следователь не унимается, полезно пройти с ним еще раз весь кусок, начиная со слов, «что рады бы ответить на вопрос...» Эти размышления назовем, условно, **ситом «Л», от слова «личное»**.

Надо отметить, что отказ от ответа на вопрос, который относится лично к вам, нередко психологически труден, особенно в щекотливых ситуациях, когда его можно расценить, как трусость. Например, с тем же К. Вам жаль, что он страдает из-за вашей книги. Вы готовы были бы его выручить, взяв «грех» на себя. Но можно ли считать такую позицию правильной? Разумеется, нет. Гораздо лучше просто объяснить нелепость вашего положения как свидетеля в этом деле. Ведь вы просто не можете им быть!

Другой пример не относится к практике следствия, но ситуация достаточно распространена, поэтому я позволю себе его привести. Предположим, человек 25 лет проработал на ответственной работе и всегда, вплоть до увольнения (в связи с желанием выехать в Израиль), получал большую зарплату. На вопрос милиционера: «Где вы работаете?» — он вряд ли откажется отвечать. Он скорее «сознается», что нигде не работает и предпочтет доказывать, что живет на средства, заработанные честным трудом, чем попросту откажется отвечать

на вопрос. Таким образом, он облегчит преследование самого себя за тунеядство, в то время как следовало бы заставить доказывать, что он тунеядец, тех, кто обязан доказывать.

Вопрос, который не имеет отношения к делу, или вопрос, который имеет «слишком близкое» отношение к делу (про сито «О»).

Однажды Валерий Чалидзе отказался отвечать на какой-то вопрос следователя. Тот спросил: «Почему?». Чалидзе ответил: «Ваш вопрос не имеет отношения к настоящему делу. Он имеет отношение к еще не возбужденному делу о моем отказе отвечать на предыдущий вопрос».

Итак, если вы уверены, что вопрос следователя не по делу, у вас есть повод на него не отвечать. Но интересно, что такой же повод возникает, если вопрос ***наводящий***, т. е. «слишком близкий» к делу, или, другими словами, ***подсказывающий*** свидетелю ответ «да» или «нет». Закон прямо запрещает задавать наводящие вопросы. Например, нельзя спрашивать: «Давал ли вам Рабинович читать «Архипелаг ГУЛАГ?» Следует спросить: «Давал ли вам Рабинович читать какие-либо книги?» Предположим далее, что вы говорите, вам непонятно, о каком Рабиновиче идет речь и хотелось бы увидеть его фотографию. В этом случае следователь не имеет права показать вам одну фотографию (это было бы наводящим вопросом). Он должен показать сразу несколько снимков, чтобы вы сами узнали Рабиновича на одном из них. Такую просьбу не так легко выполнить. Тем более, что вся процедура опознания должна совершаться в присутствии понятых и оформляться протоколом.

<…>

Источник: сайт «Права человека в России» (http://www.hro.org).

Александр Солженицын

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 190)

ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

(Вместо выступления)

Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей (16 мая 1967). — История написания изложена автором в книге «Бодался телёнок с дубом». Письмо было разослано по почте в 250 адресов в середине мая 1967, один экземпляр принесен лично автором в технический секретариат съезда 16 мая и сдан под расписку. Первая публикация — по-французски в газете «Monde» (Париж), 31.5.1967; позже — ряд газетных публикаций на разных языках; по-русски — множественно в эмигрантской печати. На родине Письмо впервые напечатано спустя 22 года — в журнале «Слово» (Москва), 1989, № 8; в журнале «Смена» (Москва), 1989, № 23, и др.

В президиум съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов
16 мая 1967

Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу Съезд обсудить:

1. То нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем Главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных.

За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, — запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным.

Отличные рукописи молодых авторов, ещё никому не известных имен, получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг,

заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали их блёклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется на свет в искажённом виде.

А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически вредный», «порочный» и т. д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархиствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилёв, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

> Они любить умеют только мёртвых!

Но позднее издание книг и «разрешение» имён не возмещают ни общественных, ни художественных потерь, которые несёт наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. В частности, были писатели 20-х годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа личности и на особые свойства Сталина, — однако их уничтожили и заглушили, вместо того чтобы к ним прислушаться. Литература не может развиваться в категориях «пропустят — не пропустят», «об этом можно — об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи её идут не в чтение, а в утильсырьё.

Наша литература утратила то ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого и в начале нынешнего века, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в 20-е годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется сегодня неизмеримо бедней, площе и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если б её не ограничивали и не замыкали. От этого проигрывает и наша страна в мировом общественномдд-движение. Напротив, ещё при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего

ведома, этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу. Добиться публичного чтения, открытого обсуждения романа, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах. Мой роман показывают литературным чиновникам, от большинства же писателей прячут.

2. Вместе с романом у меня отобран мой литературный архив 20- и 15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Закрыто «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами (когда, обречённые на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей никто не выступил против репрессий), давно покинутая, — эта пьеса теперь приписывается мне как самоновейшая моя работа.

3. Уже три года ведётся против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награждённого боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок как уголовник, или сдался в плен (я никогда там не был), «изменил Родине», «служил у немцев». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведётся на закрытых инструктажах и собраниях людьми, занимающими официальные посты. Тщетно я пытался остановить клевету обращением в Правление ССП РСФСР и в печать: Правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала моего ответа клеветникам. Напротив, в последний год клевета с трибун против меня усилилась, ожесточилась, использует искажённые материалы конфискованного архива — я же лишён возможности на неё ответить.

4. Моя повесть «Раковый корпус» (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнуты в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута «Новым миром», «Простором» и «Звездой»).

5. Пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1962 году, до сих пор не разрешена к постановке.

6. Киносценарий «Знают истину танки», пьеса «Свет, который в тебе», мелкие рассказы («Правая кисть», «Как жаль», серия крохотных) не могут найти себе ни постановщика, ни издателя.

7. Мои рассказы, печатавшиеся в журнале «Новый мир», не переизданы отдельною книгою ни разу, отвергаются всюду («Советский писатель», Гослитиздат, Библиотека «Огонька») и, таким образом, недоступны для широкого читателя.

8. При этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями: публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 г. из таких уже договоренных 11 выступлений было в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись «прочесть и переписать» у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана.

При таком грубом нарушении моих авторских и «других» прав — возьмется или не возьмется IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть. Но, может быть, многие уроки научат нас наконец не останавливать пера писателя при жизни?

Это ещё ни разу не украсило нашей истории.

А. Солженицын

Источник: библиотека А. Белоусенко (http://belousenkolib.narod.ru).

Георгий Владимов

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 134)

В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Копия — А.И. Солженицыну

Уважаемые товарищи!

Я, как и вы, получил письмо Александра Солженицина и хочу высказать свое суждение по всем пунктам этого письма.

Я осмелюсь напомнить съезду, что не рапорты о наших блистательных творческих победах, не выслушивание приветствий иностранных гостей и не единение с народами Африки и борющегося Вьетнама составляют главную задачу писательских съездов, но прежде всего — единение со своим народом, прежде всего — разрешение собственных наболевших проблем, без чего не может жить далее и развиваться советская литература. Она все-таки не может без свободы творчества, полной и безграничной свободы высказывать любое суждение в области социальной и нравственной жизни народа, — какими бы ругательствами мы не поносили это законное требование всякого мало-мальски честного, мыслящего художника. Без нее — он чиновник по ведомству изящной словесности, повторяющий зады газетных передовиц, с нею — он глашатай, пророк в своем отечестве, способный воздействовать духовно на своего читателя, развивать его общественное сознание, либо предупредить об опасности, пока она не надвинулась вплотную и не переросла в народную трагедию.

И я должен сказать — такая свобода существует. Она осуществляется, но только не в сфере официальных признаний, подцензурной литературы, в деятельности так называемого «самиздата», о которой вы все, вероятно, осведомлены. Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют в машинописных седьмых и восьмых копиях неизданные вещи — Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Пильняка, Платонова и других, ныне живущих, чьих имен я не называю по вполне понятным соображениям. Могу лишь сказать, что и моя вещь «усыновлена» самиздатом, не найдя пристанища в печати. Время от времени она возвращается ко мне, и я поражаюсь не тем изменениям, какие привнес в нее очередной переписчик, а той бережности и точности, с которым все-таки сохраняется ее главное содержание и смысл.

С этим ничего не поделаешь, как ничего нельзя поделать с распространением магнитофонных записей наших менестрелей, трубадуров и шансонье, не узаконенных Радиокомитетом, но зато полюбившихся миллионам. Устройте повальный обыск, изымите все пленки, все копии, арестуйте авторов и распространителей, — и все же хоть одна копия да уцелеет, а оставшись размножится, и еще того обильней, ибо запретный плод сладок. Помимо неподцензурных писем и литературы есть неподцензурная живопись и скульптура, и я даже предвижу появление неподцензурного кинематографа — как только кинолюбитель-

ская техника станет доступной многим. Этот процесс освобождения нашего искусства от всяческих пут и «руководящих указаний» развивается, ширится и противостоять этому так же глупо и бессмысленно, как пытаться запереть табак или спиртное.

Лучше подумайте вот о чем: явно обнаруживается два искусства. Одно свободное и непринужденное, каким ему и полагается быть, распространение и воздействие которого зависит лишь от его истинных достоинств, и другое — признанное и оплачиваемое, но только угнетенное в той или иной степени, но только стесненное, а подчас и изувеченное всяческими компрачикосами, среди которых первыми на пути автора становится его же собственный «внутренний редактор» — наверное, самый страшный, ибо он убивает дитя еще в утробе. Которое из этих двух искусств победит — предвидеть нетрудно. И волей-неволей, но приходится уже сейчас сделать выбор — на какую же сторону из них встанем, которое же из них мы поддержим и отстоим.

Я прочитал многие вещи «самиздата», и о девяти десятых их них могу сказать со всей ответственностью — их не только можно, их должно напечатать. И как можно скорее, пока они не стали достоянием зарубежных издательств, что было бы весьма прискорбно для нашего престижа. Ничего антинародного в них нет, но в них есть дыхание таланта и блеск раскрепощенной художественной формы, в них присутствует любовь к человеку и подлинное знание жизни, а подчас в них слышится и гнев и боль за свое отечество, горечь и ненависть к его врагам, прикидывающимся его ярыми друзьями и охранителями.

Разумеется все вышесказанное относится и к неизданным вещам Солженицына. Я имел счастье прочесть все им написанное — это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается Россия, кому суждено прославить ее в мире и ответить нам на все больные вопросы выстраданной нами трагедии. Не знаю иного автора, кто имел бы больше права и больше силы для такой задачи. Не в обиду будет сказано съезду, но, вероятно, девять десятых его делегатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. Александр же Солженицын, гордость русской литературы, донесет свое имя подалее. И если ему сейчас трудно физически выполнить свою задачу по причинам достаточно нам известным, изложенным в его письме, то не дело ли съезда, ни честь ли для него защитить и оберечь этого писателя от всех превратностей его индивидуальной судьбы?

Запрещение к печати и постановке, обыск и конфискация архива, «закрытое» издание вещей, к изданию самим автором не предназначенных, вдобавок еще гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну — читать об этом больно и мучительно стыдно. Это происходит в пролетарском государстве, на пятидесятом году революции. Это происходит, наконец, в цивилизованном обществе во второй половине XX века. Не хватило духу объявить писателя «врагом народа», в конце концов, это бы был честный бандитский прием, к которому нам ли привыкать? — Нет, воспользовались приемом сявок, недостойных находиться в приличном доме, подпустили слух исподтишка, дабы скомпрометировать писателя, хоть как-то объяснить его вынужденное молчание... Такого парадокса еще не ведала история демагогии — официальные общественные организации, пущающие анонимку на честного человека. Ведь даже Чаадаев был объявлен сумасшедшим «высочайше», то бишь открыто.

И вот я хочу спросить полномочный съезд — нация ли мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший народу плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я в это верю столь же твердо как и он сам, но мы то здесь причем? Мы его защитим от обысков и конфискаций? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от его лица липкую и зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно из наших редакция и правлений, когда он искал ответа?

Мы в это время заслушивали приветствие г-на Дюрренматта и г-жи Хелман. Что же, это тоже дело, как единение с борющимся Вьетнамом и страдающей Грецией. Но пройдут годы и нас спросят: что мы сделали для самих себя, для своих ближних, которым так трудно жить и работать.

Письмо Солженицына стало уже документом, который обойти молчанием нельзя, недостойно для честных людей. Я предлагаю съезду обсудить это письмо в открытом заседании, вынести по нему ясное и недвусмысленное решение и представить это решение правительству страны.

Извините всю резкость моего обращения — в конце концов я разговариваю с коллегами.

Уважающий вас

Г. Владимов
26 мая 1967 года. Москва.

Источник: самиздатская рукопись.



Белинков Аркадий Викторович
(1921–1970)

Писатель.

Родился в Москве, учился в Литературном институте. Роман «Черновик чувств», представленный в качестве дипломной работы послужил основанием для ареста (1944г.). Белинкова приговорили к расстрелу, но по ходатайству А. Толстого и В. Шкловского приговор был заменен сначала тюремным заключением, а затем легерем. В лагере продолжал тайно писать, за что получил второй срок. В 1956 г. Белинкова освободили. Писатель возвращается в Москву, читает лекции в Литературном институте, но по доносу студентов его увольняют. Начинает писать книгу о Ю. Тынянове. Книга вышла двумя изданиями (1960, 1965) и сразу принесла автору широкую известность.

ПИСЬМО В СП СССР

Уничтожению великой русской литературы способствовало много обстоятельств, исторических катаклизмов, учреждений и лиц, и в их списке вместе с Центральным комитетом Коммунистической партии Советского Союза и Комитетом государственной безопасности Совета министров СССР ответственная роль принадлежит Союзу писателей.

Возникновение литературной империи с огромным аппаратом законодателей, исполнителей, судей и палачей было неминуемо и произошло в то же время и по тем же причинам, по каким были организованы массовые уничтожения 30-х годов. Союз писателей СССР был создан в 1934 году, с которого начинается летопись советского самоистребления: она начинается с убийства Кирова, давшего возможность убивать всех. Нужно было уничтожить все, что носило блеск дара, ибо дар нетерпим ко злу. Стране навязывали тягчайшее зло: царствование бездарностей. Союз писателей был придуман для того, чтобы управлять литературой (ставшей наконец «частью общепролетарского дела»), то есть получать от нее то, что нужно безжалостной и нетерпимой, невежественной, всепожирающей власти. Власти нужно было воспитать злобных и преданных скотов, готовых развязывать войны, убивать инакомыслящих и единомышленников, дуть в торжественную фанфару славы замечательного человека, которому удалось истребить самое большое количество людей на земле.

Я никогда не написал и строки, какая требовалась от благонамеренного советского писателя, и никогда не считал себя верноподданным государ-

ства лжецов, тиранов, уголовных преступников и душителей свободы.

Союз писателей является институтом полицейского государства, таким же, как и все остальные его институты, не хуже и не лучше милиции или пожарной команды.

Я не разделяю взглядов советского полицейского государства, его милиции, пожарной команды и других институтов, в том числе и Союза писателей.

Я считаю, что мое пребывание в писательской организации совершенно противоестественно. Мне просто нечего там делать. Пить коньяк в ресторане Центрального дома литераторов (в обществе Кочетова и Федина)? Благодарю вас. Я непьющий.

Я никогда не предавался иллюзиям и надеждам на то, что советская власть может исправиться. Но со времени прихода последнего — самого тупого, самого ничтожного, самого неинтеллектуального правительства советской власти стало ясно, что наступила уверенная и неотвратимая реставрация сталинизма, что слегка прищемленные за чувствительные места сталинские деятели расправляют плечи, засучивают рукава и поплевывают на ладони, дождавшись своего часа. Началось возвращение сталинско-бериевско-ждановских идей; застоявшиеся реваншисты строятся в колонны и проверяют списки врагов. Я считаю, что наступило время, когда об этом нужно сказать громко.

Советская власть неисправима, неизлечима.

Ее смысл и цель — в безраздельном и безудержном господстве над людьми, и поэтому свое полное и совершенное выражение она получила в тиранах, из которых Ленин еще не все мог, потому что не успел уничтожить оппозицию, а Сталин мог все, потому что оппозицию уничтожил.

Сталин стал самым чистым, самым высоким и самым выразительным воплощением советской власти. Он — ее символ, портрет, знамя. И поэтому все, что происходит и будет происходить в России, всегда окажется связанным с большим или меньшим количеством выпущенного в общественную жизнь сталинизма. Ничего лучше Сталина советская власть не могла открыть в своих недрах, потому что в нем было исчерпывающее соединение потребности диктаторского государства и личных качеств злодея. Поэтому все, что произошло после него, было связано лишь с ослаблением или усилением магнитного поля, которое то отпускало немного, то снова тянуло к судам и расправам, пещерной цензуре, разнузданной лжи и замоскворецкому самодовольству. И потому самый тяжелый удар этой мощной и хищной власти пал на человека, который первым замахнулся на самое чистое воплощение советского идеала.

Мстительная ненависть к Хрущеву была настояна на обожании лучших образцов советской власти. Лучшим образцом был Сталин. Хрущев плюнул в душу Президиуму ЦК КПСС, милиции и толпы, показав, что их самоотверженная любовь, горячечная преданность и припадочное обожание были отданы мрачному марксисту, тупому маньяку, хитренькому интригану, тюремщику, отравителю и возможному сотруднику царской охранки — истинному и полному воплощению советской власти, ее символу, портрету и знамени.

Страна отлучена от политической жизни. Горстка политических заговорщиков, захватившая власть, решает судьбы задавленного, оглушенного пропагандистской трубой народа.

Только не продавшиеся, не соблазненные, не развращенные и не запуганные люди в этом классовом, иерархическом, сословном, полном субординационных предрассудков обществе, которое объявили «социалистическим», только люди, понявшие, что снова настало время уничтожения остатков физической и духовной свободы, оказывают сопротивление. Началась уже неостановимая война свободной интеллигенции с жестоким, не выбирающим средств государством, и государство, тяжело раненное разоблачениями 1956-1962 годов, поняло, что если оно не выиграет эту битву сразу, то потом может ее проиграть навсегда. И оно стало эту битву выигрывать. Способы были старые, проверенные на Шаляпине и Гумилеве, Булгакове и Платонове, Мейерхольде и Фальке, Бабеле, Мандельштаме, Заболоцком, Пастернаке, Зощенко и Ахматовой. Зная былую безошибочность способа, государство посадило в тюрьму профессиональных писателей и только что начавших работать молодых литераторов — Бродского, Синявского и Даниэля, Хаустова, Буковского, Гинзбурга, Галанскова и многих других, засадило в сумасшедший дом поэтессу Инну Лиснянскую, математика Есенина-Вольпина, генерала Григоренко, писателя Нарицу и многих других, запретило исполнять свои произведения композитору Андрею Волконскому, выгнало с работы Павла Литвинова, исключило из партии и выгнало с работы кинокритика Н. Зоркую, Карякина, Пажитнова, Шрагина, Золотухина и многих других, ссыпало наборы книг Кардина и Копелева и многих других, разослало по издательствам и редакциям черный список авторов, которым запрещено печататься, исключило из Союза художников Бориса Биргера, из Союза писателей Алексея Костерина, Г. Свирского, выпустило с очередной разбойничьей речью (на большее он не годится) «бывшего писателя, награжденного авторитетом и ставшего пугалом, вандейца, казака, драбанта, городового русской литературы» — Михаила Шолохова (я горжусь тем, что эти слова напечатаны в моей книге «Юрий Тынянов», изд. 2-е, «Советский Писатель», Москва, 1965, с. 56-57), издало трехтомник Кочетова, однотомник Грибачева, приготовило и аккуратно положило на склад дожидаться своего часа двухтомник избранных произведений своего корифея и учителя, лучшего друга советской художественной литературы Иосифа Виссарионовича Сталина.

Четыре года идет побоище из-за издания повести «Раковый корпус» и романа «В круге первом» великого русского писателя Александра Исаевича Солженицына. Эта схватка не выиграна, и я не уверен, что писатель выиграет ее на советском издательском поле. Но великие рукописи есть — и уничтожить их уже невозможно. Они бессмертны и неоспоримы в отличие от перепуганной тиранической власти, которую неумолимо ждет Нюрнбергский процесс.

Как много сделано для уничтожения русской культуры, человеческого достоинства, физической и духовной свободы! Но план еще не выполнен, битва не выиграна, свободная интеллигенция еще не уничтожена до конца. Сажают, исключают, снимают, выгоняют, издают, не издают. Не помогает. Почему так прекрасно помогло в прежние времена, при Сталине, и так плохо помогает при этом жалком, самом непопулярном даже в России правительстве, где с Ивана Грозного всегда обожали крутую власть? (Такого бездарного и безнадежного правительства не знала даже Россия, которая привыкла ко всяким правительствам, прости Господи. Разве что при Александ-

ре III. Только, говорят, в исторических источниках нашли, что картошки больше было. На душу населения.) Не помогает. Не помогает. А почему не помогает? Потому что мало. Сажают мало. А сажать сколько нужно боятся. Вот бывший председатель Комитета государственной безопасности Семичастный на заседании Идеологической комиссии при ЦК КПСС (ноябрь 1960 года), когда обсуждали, как советская держава (площадь 22,4 млн. кв. м., население 208.827.000 чел. в 1959 г.) должна организовать планомерную борьбу со стишками начинающего поэта, умолял, чтобы ему дали посадить 1200 (всего 1200!) отщепенцев, лакеев Запада и евреев, поганящих наше в основном здоровое общество и разлагающих его в основном здоровую молодежь. Но ему не дали. Ему «дали» несколько спустя: под нежное и разросшееся на ответственной советской службе место.

Боятся. Боятся умного юноши Хаустова, решившегося сказать драконоподобным и дикообразным советским судьям, что он отвергает советскую веру (марксизм-ленинизм), боятся замечательного художника России Александра Солженицына, боятся Америки, боятся Китая, боятся польских студентов и чехословацких неслухов, боятся югославских ревизионистов, албанских догматиков, румынских националистов, кубинских экстремистов, восточногерманских тупиц, северокорейских хитрецов, восставших и расстрелянных рабочих Новочеркасска, восставших и расстрелянных с самолетов воркутинских заключенных и раздавленных танками заключенных Экибастуза, крымских татар, согнанных со своих земель, и еврейских физиков, выгнанных из своих лабораторий, боятся голодных колхозников и разутых рабочих, боятся друг друга, самих себя, всех вместе, каждого в отдельности.

У секретарей ЦК дыбом встает шерсть на хребте. Председатели Советов министров союзных республик приседают на задние лапы. Страх трясет их. И уж если эти низкоорганизованные животные что-нибудь поняли и запомнили, так это то, как их выворачивало наизнанку от страха при Сталине. Они пытливо вглядываются друг в друга и с ужасом спрашивают себя: «А вдруг этот (Шелепин? Полянский? Шелест?) и есть Сталин?» Нужна сильная личность, чтобы обуздать наконец этих вечных врагов полицейского государства — этих мальчишек, художников, поэтов, евреев. И сильная личность действительно всегда начинает с обуздания их. И кончает убийствами всех. Их предшественники тоже хотели обуздать оппозицию и кликнули для этого сильную личность. Сильная личность пришла и обуздала. А обуздав, стала уничтожать все. И теперь они уже знают, что такое сильная личность. Но бывают такие тяжелые времена, когда лучше уж сильная личность, чем мальчишки, художники, поэты и евреи.

Все, что я пишу сейчас, мои уважаемые братья по Московскому отделению Союза писателей СССР и сестры по переделкинскому дому творчества, ничем не отличается от того, что я писал раньше. Впрочем, разница есть. Она заключается в том, что в своих работах, напечатанных в советских издательствах, я, когда уже не было никакой иной возможности, называл злодейство Иваном Грозным или Павлом I, а теперь называю его вашим именем. Из сотен писем я узнал, что мои читатели хорошо понимают, кто — Иван Грозный.

Но Павел I и Иван IV — это не только аллегории, аналогии, ассоциации и аллюзии. Они — ваш источник и корень, ваше происхождение, ваше про-

шлое, почва, на которой вы выросли, и кровь, которая течет в ваших сосудах. Я писал о них, потому что история и народ, которые породили и терпели злодеев, обладают врожденными свойствами, готовыми снова породить злодеев. И потому история этой страны и этого народа сделала то, что могла сделать: самую реакционную монархию в Европе она заменила самой реакционной диктатурой в мире.

Я так мало пишу о могучем Союзе писателей СССР и о чахоточной советской литературе, потому что зачем же писать о второстепенном зле, когда нужно писать о главном? Главное зло — это скотский фашизм советской социалистической идеологии.

Послехрущевское правительство, с нарастающим ожесточением реабилитирующее Сталина, неминуемо оказалось вынужденным с нарастающим ожесточением усиливать репрессии. И ренессанс Сталина в числе главных имел и эту цель. По рождению и профессии я принадлежу к кругу людей, подвергающихся постоянным нападкам советской власти, то есть к интеллигенции, не терпящей нарушения ее суверенитета. Как и многие другие интеллигенты, я слышу в различных вариациях один и тот же вопрос: «Зачем могущественнейшему государству преследовать людей, не согласных с его идеологией, государству, хорошо знающему, что эти преследования больше всего раздражают общественное мнение всего мира?» Это недоумение я никогда понять не мог.

Существа, стоящие во главе советского государства, душат свободу, растаптывают человеческое достоинство и истребляют национальную культуру не потому только, что они плохие политики, но и потому, что они обречены душить, растаптывать и уничтожать. И если они не будут душить, растаптывать и уничтожать, то даже в этой стране, с ее тягчайшей исторической наследственностью и постоянной склонностью к абсолютизму, могут возникнуть нормальные общественные отношения, то есть такие, когда люди, думающие по-одному, не смогут уничтожать людей, думающих по-другому. И тогда неминуемо окажется, что люди, думающие по-другому, безмерно выше и значительнее властителей, и это неминуемо приведет сначала к неистовой политической борьбе, а потом из-за трагических особенностей русского исторического развития, азиатской неприязни к демократии, традиционной привычки к жестокости и резко континентальных свойств национального характера — к гражданской войне. И поэтому катастрофично не только то, что во главе этого жестокого и надменного рабовладельческого государства стоят плохие политики, душащие свободу, растаптывающие человеческое достоинство и истребляющие национальную культуру, но и то, что в государстве, имеющем форму советской власти, другие стоять не могут. И это не историческая преходящая частность, это закономерность советской и всякой другой фашистской концепции. И то, что происходит в Китае или Испании, Албании или Египте, Польше или Южной Африке, отличается от советской нормы лишь национальным характером нелепости и количеством употребленной хищности.

* * *

Советская власть неисправима, неизлечима; она может быть только такой, какая она есть, — мстительной, нетерпимой, капризной, заносчивой и крикливой.

Я отвергаю господствующее средне-либеральное мнение: мы за советскую власть плюс электрификация всей страны, минус совершенно ненужная и даже вредная мелочная опека над творческой интеллигенцией. Я утверждаю: советская власть неисправима, и с ней необходимо бороться. С ее идеологией и политикой, методологией и характером мышления. Но самое опасное — это забыть ее собственный страшный опыт: прибегать к способам (во имя «высшей цели»), в которых есть хоть тень безнравственности и оттенок насилия.

Сейчас для советской интеллигенции, то есть того ее круга, который не служит разрушительной власти, после исключений, арестов, расправ и насилий, начавшихся по решению Центрального комитета КПСС сразу же за пятидесятилетним юбилеем Октябрьской революции, возможность сопротивления значительно ограничилась. Обожаемое правительство торжествует победу над своим вечным врагом — мыслящей частью человечества. Прищуренным глазом следит оно за историей гонений и снова убеждается в испытанной верности своего метода: сокрушать всякое сопротивление, пока оно еще не осознало свою силу.

Сокрушает оно сопротивление из государственных и личных побуждений, которые, как известно, у подлинно советского человека никогда разделить нельзя.

Так и случилось с двумя подлинно советскими людьми — Константином Александровичем Фединым, исполняющим обязанности классика советской литературы, и Леонидом Ильичом Брежневым, простым советским человеком и металлургом.

Простой советский человек и металлург, посажав, поубивав сколько успел в добрые сталинские времена (будь они прокляты), в либеральные денечки (будь они прокляты), после изнурительных тренировок на гуманное отношение к людям (тренировка проводилась на шести южнорусских овчарках), решил стать мудрым государственным деятелем. Поэтому в бешеных сварах на Президиуме ЦК (коллективное руководство и демократия!) после ареста Синявского и Даниэля он отстаивал преимущества тихого удушения всех антисоветчиков по сравнению с громким процессом только над двумя из них.

Для того чтобы укрепиться в решении и привести в доказательство народ, Леонид Ильич решил устроить историческую встречу.

Константин Александрович тоже придавал огромное значение исторической встрече. Но герой рассказа Синявского-Терца «Графоманы» Константин Александрович Федин стонал во сне от желания собственными вставными зубами выгрызать глаз (а потом и другой, а потом и другой!) у гнусного антисоветского клеветника и в безумном своем ослеплении не смекнул, зачем явился к нему человек с металлургической душой подлинно советского производства.

Поговорив о том, о сем — о западногерманском реваншизме да израильском экстремизме, о маоизме и подлом ревизионизме, Первый секретарь ЦК КПСС спросил у Первого секретаря Правления СП, что он думает том, о сем да о предстоящем процессе над паразитами, ползавшими девять лет по здоровому

и чистому телу советской литературы.

Константин Александрович, еще в какой-то мере сумевший сохранить спокойствие при обсуждении вопроса об империализме и даже нашедший в себе физические и моральные силы, чтобы сдержаться при обсуждении срочных мероприятий по резкому подъему народного антисемитизма, услышав имя отщепенца и клеветника, бывшего члена СП СССР, в ярости выскочил из собственных штанов и, со скрежетом выплевывая на Первого секретаря ЦК зубные протезы девичьего нежно-розово-белого цвета, стал кричать осатанелые слова, все больше повторяя такие, как «дыба», «костер», «колесование», «четвертование», «уксусная кислота» и «акулы империализма».

Потом он несколько пришел в себя, влез в штаны, воткнул протезы и сразу стал Председателем Общества Советско-Германской Дружбы и классиком.

Так и сидели друг против друга первые секретари в литературных сугробах станции Переделкино. И ничего не смекнувший секретарь долго, настойчиво и убедительно доказывал уже все смекнувшему секретарю острейшую необходимость в эпоху империализма как высшей стадии капитализма, конца колониализма и наступления ревизионизма, когда особенно нетерпима дискриминация в его лице советской литературы, в которой партией и народом ему поручен трудный, но почетный пост классика, как можно более скорой и как можно более строгой расправы над двумя подлыми антисоветчиками и отщепенцами. И доказал.

Отложенный накануне процесс был назначен на 10 февраля 1966 г. В этот день сто двадцать девять лет назад был убит Пушкин и семьдесят пять лет назад родился Пастернак.

Советское правительство всегда смертельно боялось каких-либо омрачающих осложнений в час своего торжества. Оно ненавидит тех, кто может испортить его праздник. Поэтому в сталинские времена оно в предпраздничные дни набивало до исступления тюрьмы, а в нынешние устроило в Ленинграде процессы, на которых судили людей, якобы замышлявших в юбилейные дни террористические акты против него.

Советское правительство, одержав победу (как оно полагает) над интеллигенцией, празднует час своего торжества. Я считаю, что как раз в это время лучше всего и испортить светлый советский праздник.

Я пишу это письмо в доказательство того, что интеллигенция России жива, борется, не продается, не сдается, что у нее есть силы.

Я не состою в вашей партии. Не пользуюсь большими привилегиями, нежели те, которыми пользуется всякий работающий человек в вашем государстве. У меня нет ваших чинов и нет ваших наград. Не стыдите меня высшим образованием, квартирой и поликлиникой, августейше дарованными вашей властью. Не попрекайте меня хлебом, который я ем, и салом, которое я не люблю. Я отработал ваш хлеб, ваш кров 13 годами тюрем и лагерей, номером 1-Б-860, которым вы меня наградили. Для того чтобы учиться, получить кров и хлеб, не обязательно иметь еще и советскую власть с тюрьмами и цензурой. Все это имеют даже народы, стонущие под игом империализма. Но вы не можете не хвастать, не попрекать, не судить, не уничтожать. Вы сожгли мои старые книги и не издаете новые. Но даже вы, даже сейчас, в статьях, которыми выпалили в первые строчки моей последней книги (одно название которой вызывает у вас судорогу — книга

называется «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша»), вы никогда не говорили, что я пишу плохо или несерьезно, или бездарно. Вы всегда говорили другое: «В ваших книгах, — говорили вы, — слишком много неуместного отвращения к насилию, нетерпимости к фанатизму». И еще вы спрашивали, тыча в страницу об инквизиции: «Это что — намек? да? это про нас? да?» Страна рабов, страна господ... Страшно жить с вами рядом, читать ваши книги, ходить по вашим улицам. К счастью, единственная связь, которая существует между вами и мной, это пребывание в бесстыжей организации — Союзе писателей СССР, которая вместе с вашими партийными архиереями, вашей охранкой, вашей армией, развязывающей войны и обращающей в рабство страны, отравляло нищий, несчастный, жалкий послушный народ. Эта связь, это единственное соприкосновение с вами вызывает у меня отвращение, и я оставляю вас восторгаться неслыханными победами, невиданными успехами, невидимыми урожаями, поразительными достижениями, разительными свершениями и умопомрачительными решениями — без меня, без меня. Ни вам, ни мне разлука не принесет горечи и печали. А расправиться со мной вы успеете этой ночью.

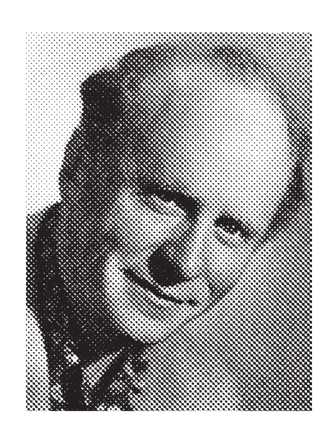
Я возвращаю вам билет члена Союза писателей СССР, потому что считаю недостойным честного человека пребывание в организации, с собачьей преданностью служащей самому жесткому, бесчеловечному и беспощадному политическому режиму всех веков человеческой истории.

Художники и ученые этой замученной, задерганной страны, все, кто сохранил достоинство и порядочность, придите в себя, вспомните, что вы писатели великой литературы, а не официанты сгнившего режима, бросьте в лицо им свои писательские билеты, возьмите свои рукописи из их издательств, перестаньте участвовать в планомерном и злонамеренном разрушении личности, презирайте их, презирайте их бездарное и шумное, бьющее в неумолкающий барабан побед и успехов бесплодное и беспощадное государство.

20.6.68, Таллин — Москва

Источник: «Самиздат века». Минск-М.: Полифакт, 1997.

Некрич
Александр Моисеевич
(1920–1993)



Историк.

Книга «1941, 22 июня» (1965), указывающая на слабую подготовленность Советского Союза ко второй мировой войне, обрекла ученого на гонения со стороны официальной науки. Эмигрировал в середине 70-х. В 1976-1993 гг. — сотрудник Русского исследовательского центра при Гарвардском университете (США). В 1982 г. вышла его (в соавторстве с М.Я. Геллером) книга «Утопия у власти. История Советского Союза до нашего времени», написанная с последовательно антикоммунистических позиций.

ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ А.М. НЕКРИЧА «1941, 22 июня» в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Москва, 16 февраля 1966 года
(Стенограмма дается с сокращениями)

Председательствует Е.А. Болтин

Председатель:

Товарищи, инициатива организации обсуждения книги А.М. Некрича «1941, 22 июня» принадлежит редакции первого тома «Истории Великой Отечественной войны». Коллектив сотрудников редакции во главе с доктором экономических наук, профессором Г.А. Дебориным обменялся мнениями об этой книге в своем узком кругу. И она вызвала настолько значительный интерес, что товарищи выразили пожелание вынести ее обсуждение на коллектив Отдела истории Великой Отечественной войны. При этом было высказано пожелание, чтобы в обсуждении принял участие автор, что и побудило меня обратиться к А.М. Некричу с просьбой присутствовать.

Откровенно говоря, мы не предполагали, что обсуждение примет такой широкий общественный характер. О намеченном обсуждении стало известно в Институте истории и в других научных учреждениях Москвы. Мы, разумеется, никому не препятствовали прийти к нам.

В зале присутствует, по-видимому, не менее 120 человек. [По оценке самого Некрича, присутствовало 200-250 чел. (См.: А.М. Некрич. Отрешись от страха. С. 233)] Это говорит о том, насколько широка читательская аудитория А.М. Некрича и какое значение его книга имеет для читателей. Ее оценка, очевидно, вытечет из сегодняшних прений.

Наше обсуждение носит абсолютно неофициальный характер. В разговорах перед началом собрания мне ставился вопрос — действительно ли мы задумали «разгромить» книгу? Уверяю вас, что такого намерения у организаторов обсуждения не было и нет. Это, товарищи, совершенно свободное обсуждение книги, которая, как мы считаем, заслуживает большого внимания и в то же время вызывает ряд критических замечаний.

Позвольте предложить такой порядок обсуждения: с кратким докладом от имени коллектива сотрудников редакции первого тома Истории Великой Отечественной войны выступит Г.А. Деборин, затем мы дадим слово всем желающим и, наконец, в заключение выступит автор.

Слово предоставляется Г.А. Деборину.

Г.А. Деборин:

Мы очень рады, что предстоящее обсуждение книги А.М. Некрича вызвало такой широкий интерес и, видимо, будет носить общественный характер, рады, что книжка, на титульном листе которой написано «научно-популярная серия», обсуждается так широко. Мне представляется, что у нас бывает и недостаточная оценка такого рода книг.

Три обстоятельства побудили редакцию первого тома принять участие в этом обсуждении. Обстоятельство первое — в текущем году исполняется 25 лет с начала Великой Отечественной войны.

Второе обстоятельство: мы начинаем подготовительную работу ко второму изданию «Истории Великой Отечественной войны».

Наконец, третье обстоятельство заключается в том, что сама книжка ставит много вопросов, часть из них решает, некоторые решает очень своеобразно, и желательно иметь какое-то суждение о том, как эти вопросы поставлены и как они решены.

Коллектив редакции первого тома «Истории Великой Отечественной войны» оценивает книжку тов. Некрича «1941, 22 июня» в основном положительно.

Основное критическое замечание, которое потом будет детализировано, заключается в том, что конечные выводы автора, продуманные и правильные, нередко находятся в противоречии с тем, что говорится ранее. В этом смысле в книжке имеются элементы внутренней противоречивости.

Я начну с того вопроса, который мы считаем в критике данной книжки основным.

Это вопрос о причинах неудач советских войск в начальный период войны. Если открыть книгу на странице 162-й, то здесь эти причины изложены подробно, обстоятельно, глубоко. Здесь сказано о внезапности нападения, о том, что Германия обладала огромной, полностью отмобилизованной армией, имевшей колоссальный опыт ведения современной войны, располагавшей возможностью опираться на экономику захваченных государств Европы. Советские же вооруженные силы не были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Говорится здесь и об отрицательном влиянии культа личности.

В результате всех этих причин, говорит автор, стали возможными первоначальные успехи немецко-фашистских войск в войне против Советского Союза. Соглашаясь со всем этим, мы не можем не выразить своего недоумения по поводу того, что говорится в разделе № 3 — «Предупреждения, кото-

рыми пренебрегли». Мы считаем, что установка автора в этом разделе «Предупреждения» и его наименование не те, какими их хотелось бы видеть.

Как автор ставит вопрос в этом разделе «Предупреждения, которыми пренебрегли»? Автор говорит, что по всем каналам поступали предупреждения о предстоящем нападении гитлеровской Германии. Все было правильно взвешено и обосновано и только непонятная и необъяснимая заносчивость и вера Сталина в себя привели к тому, что этими предупреждениями пренебрегли. Отсюда один шаг к тому, чтобы сказать: все дело только в личности Сталина, что личные качества Сталина — вот она причина!

Если бы слова, что советские разведчики сделали все от них зависящее, относились к разведчикам, к таким сильным личностям, как Зорге (к тому же Зорге был далеко не единственным), мы бы под этим полностью подписались. Но в данном случае имеются в виду не столько люди, подобные Зорге, сколько Разведывательное управление Генерального штаба и его начальник тов. Голиков. А факты свидетельствуют, что Голиков не только информировал, но и дезинформировал. Он представлял правительству не подлинные донесения, он представлял сводки. Эти сводки обычно состояли из двух разделов. Раздел первый — «достоверные сообщения», из которых следовало, что Германия не нападет на Советский Союз, что она готовится к нападению на Англию. (Я поэтому не могу согласиться и с тем местом в брошюре, где говорится, что когда Германия маскировала подготовку войны против СССР тем, что она намерена вторгнуться в Англию, то ей не удалось никого обмануть. Советская разведка разоблачила и т.д.)

А второй раздел сводок тов. Голикова носил заголовок: «Сообщения недостоверные и дезинформирующие». Сообщения людей, подобных Зорге, шли по второму разделу, как сообщения, которыми надо пренебречь.

В этой связи есть еще один вопрос — это оценка заявления ТАСС от 14 июня 1941 года. Здесь мы снова в книжке тов. Некрича наталкиваемся на определенное противоречие.

Страница 142-я: «Заявление ТАСС предоставляло Германии возможность предложить новые переговоры или присоединиться к опровержению ТАСС, или то, и другое». Это, а также многое, что сказано на странице 142-й, свидетельствует о том, что тов. Некрич правильно оценивает заявление ТАСС от 14 июня, как определенный дипломатический маневр Советского правительства.

Другой вопрос (оставляем его открытым) был ли этот маневр успешным или неуспешным, был ли он удачным или нет, — это другой вопрос.

<…>

Есть и еще одно странное противоречие во взглядах автора. Он пишет: «В последующие годы ненависть к Советскому Союзу и антикоммунизм стали отличительными особенностями немецкой политики, и потому в августе 1939 года, стремясь избавиться от опасности войны на два фронта, Гитлер предложил Советскому Союзу подписать пакт о ненападении. Но Гитлер рассматривал пакт лишь как ловкий дипломатический маневр». Опять-таки здесь какой-то нехороший привкус. Причина, почему Германия предложила СССР договор о ненападении, изложена так, что падает тень на последующее заключение этого договора Советским Союзом.

Автор утверждает, что «тем, кто давал распоряжение об их аресте и суде над ними, должно было быть известно, что обвинения беспочвенны, а документы сфабрикованы». В такой редакции содержится обвинение в нарочитом осуждении безвинных, адресованное судебной коллегии. В ее составе были самые чистые люди, известные своей твердостью и неподкупностью. Они были введены в заблуждение.

(С места: — Коллегия руководствовалась уже готовым приговором).

...Реплика, которая была здесь дана, неправильна. Нельзя считать, будто участники суда...

(С места: — Они знали, знали!!!)

...будто они знали, что обвинение беспочвенно, а документы сфабрикованы.

(С места: — Кто давал распоряжение?)

Я говорю об этом потому, что здесь затрагивается честь и Блюхера, и Буденного, входивших в судебную коллегию и других ее членов: тов. Шапошникова, Белова, Дыбенко, Каширина, Горячева.

<...>

Председатель:

Слово имеет тов. Василенко.

Тов. Василенко:

Буду говорить недолго по одной причине — многое из того, что хотелось сказать, уже сказано. Я внимательно читал книгу Некрича. Мне понравился в ней всесторонний, деловой, широкий подход к теме, исключающий сенсационность. Тема взята комплексно, и фактически это первая научно-популярная работа, подобно разбирающая данную проблему.

Кроме того, при чтении брошюры возникает принципиальный вопрос: правомерно ли относительно столь большое внимание уделено личности Сталина и его критике? Да, правомерно, потому что это вытекает из существа темы о причинах неподготовленности наших Вооруженных Сил к отпору внезапного нападения врага. Истина конкретна. Речь идет не о войне в целом, не о роли Сталина в Великой Отечественной войне, а только о боевой готовности к отпору фашистским захватчикам.

Наши войска имели все объективные возможности, чтобы дать организованный отпор гитлеровцам. В чем же тогда дело, где находится основная причина крупнейших первоначальных неудач? Тут есть что-то закономерное? Тогда давайте повторим положение Сталина: агрессивные нации всегда подготовлены к войне лучше, и в начале войны нам суждено терпеть поражение. Но это — приглашение американским империалистам тряхнуть нас ядерным ударом. Вот что это значит.

Если уже у нас были все объективные возможности для отпора (а они были), то, значит, центр тяжести переносится на субъективный фактор. Главным виновником неготовности страны к отпору является Сталин. И несмотря на это тов. Некрич хорошо сделал, что не гипертрофировал этой темы, он дал критику Сталина в меру. Надо было, как уже говорилось, указать также и на вину НКВД (Берия), НКО (Тимошенко), Генштаба (Жуков).

<...>

Председатель:

Товарищи, мы продолжаем работу. Слово имеет тов. Гнедин.

Тов. Гнедин:

Я постараюсь быть как можно можно более кратким. Я не буду повторять ораторов, хваливших книгу, я постараюсь сказать только то, ради чего я взял слово, а в частности, я это делаю для того, чтобы дать справку с точки зрения источниковедения. Эту справку я хочу дать в связи с рассуждением относительно материалов Голикова, представленных им Сталину. У тов. Деборина проскользнула мысль, что Голиков не отводил первое место достоверным сведениям, а помещал достоверные сведения в тот раздел, который не мог бы привлечь внимание Сталина. Это меня побудило выступить.

Мне пришлось в течение двух лет ежедневно подписывать секретную информационную сводку для Сталина и членов Политбюро. Я утверждаю, что источником информации для моих читателей являлось именно то, что отмечалось как сомнительное и недостоверное, потому что достоверная информация шла в общем русле. А информация, которую мы оценивали как сомнительную, с точки зрения той работы, которую мы делали, которую нам поручали, вот эта информация как раз и вызывала интерес.

Учитывая этот свой опыт, я решительно отвожу утверждения, будто указание на сомнительный характер информации равносильно попытке ее сокрытия. Я отнюдь не собираюсь обелять Голикова, когда речь идет об участии Голикова в уничтожении наших разведывательных кадров. Это страшно, это вспомнить тяжело. Но то обстоятельство, что в докладах Голикова или иных документах информация Зорге и других относилась ко второму разряду, отнюдь не означает, что она должна была ускользнуть от внимания руководства. Это значит недооценивать Сталина.

<...>

Председатель:

Слово имеет тов. Телегин.

Тов. Телегин:

Мы находимся в преддверии исполняющегося 25-летия со дня начала Великой Отечественной войны. К этому дню нам хотелось бы уже разобраться — в какой обстановке она возникла и на чью совесть надо отнести все, что нам пришлось пережить в первый, несчастный период войны.

Однако есть необходимость подсказать автору при подготовке второго издания, на что надо обратить внимание, устранить некоторые неясности, недоговоренности и противоречия, существующие в этой книге.

Прежде всего, мне кажется, что недостаточно критически все же автор относится ко многим источникам, которые он привлекает в подтверждение тех или иных своих выводов. В книге дается 266 ссылок на различного рода источники, из них — 129 на советские. Таким образом, половина источников привлекается иностранных.

Можно ли не критически относиться к иностранным источникам, так же как и к нашим советским? Мне думается, что ссылки на мемуарные труды наших военачальников, на разговоры с ними без критического рассмотрения, без

документальной проверки являются безусловно ошибочными.

Таких бездоказательных авторских выводов мы встречаем немало.

Председатель:

<...>

Слово имеет тов. Петровский:

Тов. Петровский:

Сегодня мы обсуждаем замечательную книгу товарища Некрича, но каждый выступающий здесь говорит о чистоте подхода историков к истории партии, партии великого Ленина. Но как можно выходить сюда, на эту трибуну и оправдывать того, кто совершил такие преступления, каких не знает история? Как можно воспитывать нашу молодежь на имени преступника, виновника гибели миллионов?

Председатель:

Мы ведем речь не о культе личности, а о книге тов. Некрича. Вероятно, и вы, член партии, и все мы руководствуемся ее определенным решением относительно культа личности и нам не следует здесь заниматься пересмотром этого решения. Мне не известно такое решение партии, где бы Сталин объявлялся преступником.

Петровский:

Постановление XVII съезда партии о выносе тела Сталина из Мавзолея Ленина за массовые преступления перед народом и партией еще не отменено.

Председатель:

Вы говорите о книге тов. Некрича.

Тов. Петровский:

Я начинаю говорить о книге. Мои замечания по книге тов. Некрича не будут повторением уже сказанного здесь. Все мы, к сожалению, забываем о том, когда появился фашизм и началась с ним борьба. Мы забываем о том, что Ленин был первым антифашистом, именно при нем и под его руководством началась борьба с наглым фашизмом. Уже в 1922 году Муссолини захватил власть в Италии, в Венгрии у власти уже был Хорти, в Польше фашиствовал Пилсудский, в 1923 году в Болгарии захватили власть фашистские банды Цанкова, а Гитлер в том же 1923 году захватил власть в Баварии, начал поход против Тюрингии и Саксонии и провозгласил поход на Берлин. Вот когда началась битва с фашизмом. Мы забываем о первых антифашистских восстаниях, именно при жизни Ленина в Болгарии под руководством Коларова и Димитрова было первое антифашистское восстание. Именно под руководством Ленина и с его участием на III и IV конгрессах Коминтерна были выработаны первые резолюции о едином фронте в борьбе с фашизмом. У самого Владимира Ильича есть прямые высказывания о фашизме и борьбе с ним. А что произошло после смерти Ленина? Сразу же в 1924 году Сталин выдвинул формулу-тезис о том, что нашим основным врагом являются промежуточные силы — социал-демократы. Он назвал их опорой, а затем пособниками фашизма. Тем самым миллионы рабочих, состоявших в социалистических партиях, и миллионы рабочих, состоявших в коммунистических партиях, были дезорганизованы, и их борьба направлена друг на друга. Именно при Сталине колоссальный ленинский опыт борьбы с

фашизмом был предан забвению. Лишь VII конгрессу Коминтерна в 1935 году пришлось восстанавливать ленинский единый фронт против фашизма.

Мы забываем о многом. Забываем о том, что было после смерти Ленина. Следует помнить о том, какую роль сыграл Сталин, когда ушел от нас В.И. Ленин. Об этом правильно написано в журнале «Юность» № 1 за 1966 год. Именно Сталин виновен в том, что раньше времени ушел от нас Ильич.

Нет ведь ни одного выдающегося деятеля партии, который не был бы репрессирован сам или у которого не были бы репрессированы члены семьи. И репрессии начались не в 1937 или в 1934, и даже не в 1932 годах. Об этом есть книги, написанные и выпущенные в Советском Союзе, об этом писалось и в журналах, в частности, в журнале «Вопросы истории КПСС» есть об этом. Репрессии начались в 1928 году, когда началась коллективизация.

Именно тогда Сталин направлял Молотова, Кагановича и Маленкова на Дон и Кубань и в другие районы, где они провели массовые репрессии. Я думаю, что те, кто обеляет Сталина, фактически ставят любого руководителя, как в центре, так и на местах, в том числе и за рубежом, таких как Мао Цзедун, в положение: «Делай все, что хочешь, — наследники тебя обелят». Такое не должно повториться. Нельзя забывать о том, что Ленин завещал нам «сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым крестьянством и начать двигаться вперед неизмеримо, бесконечно медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что действительно будет двигаться вся масса с нами. Тогда ускорение движения в свое время наступит такое, о котором мы сейчас и мечтать не можем». Сталин предал забвению ленинский кооперативный план и заявил, что действительность, мол, его опровергла. Было подвергнуто репрессиям 20% середняков, людей с богатейшим опытом работы. Сталин заявил о том, что «середняк всего-навсего наш союзник и мы будем с него брать дань». Ленин же призывал к прочному союзу с середняком. Я думаю, что письмо Шолохова Сталину о репрессиях к целым губерниям было написано кровью честного коммуниста. Вместо коллективизации, рассчитанной на 5-6 лет, Сталин с помощью полков солдат стремился провести ее в 2-3 месяца. Не была решена зерновая проблема, а животноводческая база СССР в результате неправильного метода обобществления уничтожена на 50%. И кулак нанес массу вреда, но основное здесь — нарушение ленинского кооперативного плана. Наша страна двигалась вперед не теми темпами и в результате к войне мы были подготовлены не так, как следовало.

Почему же сегодня надо закрывать рот тем, кто хочет сказать об этом? Я не понимаю таких установок.

Председатель:

Никто вам рта не закрывает. Нельзя же с этой трибуны говорить о чем угодно. Мы обсуждаем книгу.

<…>

Слово имеет тов. Снегов.

Тов. Снегов:

Вы поймете меня, что выступать последним трудно по такому вопросу. Но я все же попробую, не утомляя вас, в пределах регламента, сделать несколько замечаний.

Первое — о книге Некрича. Понимающие в книжных делах говорят, что

лучшая оценка книги — это оценка читателя. Попробуйте найти книгу Некрича в Москве. Да ее на второй день после выхода в свет нельзя было достать. Вы, конечно, можете сказать: вы все гонитесь за сенсацией... Однако же сколько залежей на книжных складах!

Книга Некрича не только интересная, не только полезная, но мне хочется еще одну оценку ей дать, — честная книга. И это ее главное достоинство.

Тут говорят: она поднимает сложные вопросы, но не на все дает ответы... Я слушаю стольких товарищей, убеленных сединой — и генеральской, и научной, но я не слышал ответа на все вопросы. Есть вопросы, на которые еще никто не ответил. Почему же вы предъявляете к книге Некрича такие требования: того нет, того нет, о системе не сказал, о родственных чувствах и пр.

Честная, подлинно научная работа. С этой точки зрения тов. Некрич совершил мужественный подвиг в специфической сложной научной области. Уже одно то, что он ряд вопросов поставил, которые заставляют думать, заставляют рыться в архивах, заставляют искать ответа, это — уже научный подвиг, это уже вклад в нашу историю.

Я этим ограничусь, общими замечаниями, потому что времени мало, я не собираюсь показывать, какие есть противоречия на одной странице, на другой, не в этом дело. Хуже, когда противоречия в делах. Если не сходится какой-то утренний и вечерний приказы, то надо обратиться не к Некричу, а к авторам приказа.

В связи с книгой Некрича тут, естественно, возникло много проблем и самая важная проблема — а кто же виноват? Одни говорят: командующие округами. Другие говорят, что командование не так было информировано. Третьи называют Шмидта; четвертые — Голикова.

Я прежде всего хочу выразить сочувствие сегодняшнему докладчику. На него выпала тяжелая, тягчайшая доля: с одной стороны, книга хорошая, говорит он, с другой стороны — выводы никуда не годятся.

Чем же книга хороша? Дело в том, что хотя бы для приличия надо ее похвалить. Надо сказать, что у нас выходит много книг и много выходит книг порочных, причем, кстати сказать, по вопросам истории. И мы никак не можем собраться — мне уже два года обещают — обсудить книгу знаменитого фальсификатора Ивана Петрова о VI съезде, — ее все собираются обсудить. А книгу Некрича, как она, по чьему-то мнению, ни плоха, сразу и обсудили.

<...>

Нет, не случайны ошибки Сталина, и об этом говорит лучше всего то, что деятельность Сталина, начиная с середины тридцатых годов, была переполнена отступничеством от интересов страны. Тут, конечно, есть щепетильный вопрос, вопрос о договоре с Гитлером. Я думаю, что в этой аудитории можно все сказать. Тут преподаватели, историки, пускай мне скажут: вот Ленин пошел бы на сговор с Гитлером, по сговору с ним стал бы делить и кроить Европу? Вы об этом подумайте! Совершать четвертый раздел Польши! Были случаи, когда наши войска заходили на ту территорию, которая по договору с Гитлером должна была отойти к нему, мы извинялись, отступали назад и отдавали территорию Гитлеру. Как же вы будете давать эту самую формулировку — «воссоединение»? Разве можно говорить, что это был результат воссоединения, револю-

ции в Западной Украине? Сидели за картой и делили: вот это тебе, вот это мне…

Вот я хочу напомнить историкам один очень ценный исторический факт, напомнить, как себя вел в таких случаях Ленин. Я присутствовал на экстренной сессии ЦИКа в июле 1918 г., когда немцы предъявили нам — немощным, голодным, безоружным, не имеющим армии, ультиматум после убийства Мирбаха: вы не можете… ввести батальон немецких войск для охраны посольства.

Положение было тяжелое, воевать нечем. И вот на экстренной сессии ВЦИК выступил Ленин, выступил об ультиматуме немцев после заключения Брестского мира. И Ленин сказал: нет, на это мы пойти не можем, до последних сил будем бороться, но на это унижение Советской страны мы пойти не сможем. А Сталин заключил дружеский договор, в котором делили Европу и определяли судьбы народов.

В это время деградируют, дезорганизуются силы революции в Польше. Польские партии распускаются, польское руководство расстреливается. А можно ли было лучше помогать Гитлеру, чем допускать удар по силам революции? Польская партия распускается, польские руководители расстреливаются, а мы — представители первой социалистической державы — договариваемся с Гитлером, делим: ты мне Ригу, а я тебе… Ведь не только мы получили известную территорию, но и Гитлер получил наше согласие на другую часть Польши. Вопрос щепетильный, но историки ни от чего отказываться не могут. Ленин мог сказать, когда говорил о причинах поражения под Варшавой: пусть историки займутся этим вопросом и выяснят причины. А сейчас историки говорят: нет, об этом можно, об этом нельзя.

В связи с этим я хотел бы сказать, что в последнее время нет-нет, да и раздаются голоса: ну что вы, Сталин… Как можно трогать его? Сталин — это индустриализация, Сталин — это коллективизация. Я недавно слушал выступление Кима. Он 30 лет возглавлял историю. Какую же характеристику для этих товарищей он дал? Ни в чем плохом не подозреваю, но вы еще не освободились от того страшного, вредного и опасного гипноза, что индустриализацию и коллективизацию проводил Сталин, а не партия, если бы не было Сталина, то ничего бы не было. Вы еще не освободились от этого гипноза, вы лишены возможности подойти объективно, четко определить, где есть отступничество от интересов революции…

<…>

Председатель:

Прошу соблюдать порядок и тишину. Заключительное слово имеет автор — тов. Некрич.

Тов. Некрич:

Прежде всего я считаю своим долгом сказать, что обсуждение, которое устроил Отдел истории Великой Отечественной войны Института марксизма-ленинизма, представляет собой подлинную научную дискуссию, когда каждый мог выступить со своей точкой зрения. И того накала страстей, к которому мы пришли в конце заседания, я думаю, могло бы и не быть.

<…>

Я в своей книге попытался представить ту картину положения перед нападением гитлеровской Германии, которая мне представлялась правильной. Я старался объективно подойти к материалам, которыми располагал. Правы те, кто говорил, что многих документов нет в книге, и нет их не потому, что я не знаю их или не привлекаю, — но выпуск книги не только личное дело автора. На пути ее выхода в свет есть много инстанций, которые просматривают книгу… Но эти документы я имел в виду, когда писал книгу, я старался помещать данные, соответствующие подлинным документам. Я бы мог зачитать часть этих документов, но пока шел к этой трибуне, передумал, потому что все уже очень устали и не стоит затягивать обсуждение.

Главный вопрос — это, очевидно, вопрос о том, почему мы оказались в таком тяжелом положении в июне 1941 года.

Я думаю, что там, где существует неограниченная власть, а неограниченная власть была сосредоточена в руках Сталина, такие ошибки, такие грубые просчеты возможны. Там, где неограниченная власть, там могут быть неограниченные ошибки.

Полагаю, что основную вину за этот урон, за тот ущерб, который понес наш народ, наша страна, нужно возложить на Сталина. Я в этом глубоко убежден, как бы меня не уверяли, что это не так, что виноваты и другие. А я признаю, что виноваты и другие, — и министр обороны, и Генштаб, и командующие округами несут свою долю ответственности, ибо воинский устав и от командующего округом, и от командира взвода требует быть всегда в состоянии боевой готовности и т.д.

<...>

Вопрос об информации. Здесь выступал тов. Гнедин, и он прекрасно показал, каково было отношение к информации. К сожалению, беседа с маршалом Голиковым опубликована в моей книге не полностью. Полностью она не могла быть опубликована. В дальнейших вопросах, которые были мной заданы маршалу Голикову, и в его ответах содержится, между прочим, и самокритика Голикова, критика своих поступков, как начальника Главного разведывательного управления, так же как и других управлений Красной Армии, так же как руководителей и других правительственных ведомств, которые были заворожены (Голиков употребляет это выражение) авторитетом Сталина и естественно набирали именно те материалы, которые он желал бы видеть: и это — факт. Так было. Так бывает и в нашей жизни — часто мы своим непосредственным начальникам даем ту информацию, которую, мы знаем, им желательно было бы слышать. И против этого надо бороться совершенно решительно. И в этом отношении ответственность возлагается на всех нас, потому что это начинается с самого низшего звена. Сначала дается информация, потом она просеивается одним, вторым, третьим, и приходит уже не информация, а дезинформация.

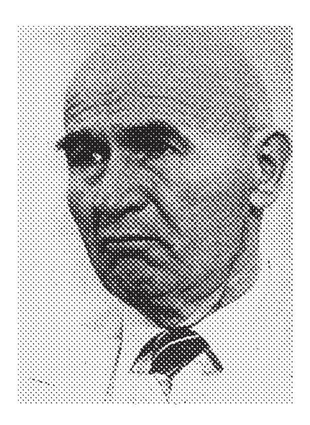
Информация эта рассматривалась, тщательно изучалась. И ведь Главное разведывательное управление не было единственным источником информации. В книге я пытался это показать. Шел непрерывный поток донесений из-за границы, через Народный комиссариат иностранных дел, через НКГБ. Это еще один канал информации. Таких каналов, помимо 4-5 основных, существовало еще

немало, через них также поступала информация. Я говорю об информации, которая шла помимо военной разведки, информации, которая проходила не через руки начальника Главного разведывательного управления. Так что недостатка в информации не было. Было совершенно иное. Было то, что я написал в своей книге, и написал, как мне кажется, правильно.

Сталин надеялся, Сталин считал, что ему удастся, попросту говоря, перехитрить Гитлера, а в конце концов он перехитрил самого себя в ущерб нашей стране, в ущерб партии. Конечно, он боялся войны. Еще бы ему не бояться — он-то знал лучше всех, что в 1937-м и в последующие годы наши основные кадры высшего комсостава были уничтожены. Это одна из важнейших причин нашей неподготовленности к войне. Это факт, это правда, об этом говорили на наших партийных съездах, в этом нет ничего нового. Об этом написано и в шеститомнике «История Великой Отечественной войны» (кстати сказать, в 6-м томе), об этом говорится и в однотомнике. Так полагают и все нынешние ответственные руководители нашей армии — и военные, и политические.

<...>

Источник: РЦХИДНИ. Ф. 71. Оп. 22. Д. 202. Стенограмма дана А.М. Некричем с незначительной стилистической правкой.



Григоренко Петр Григорьевич

(1907–1987)

Генерал, правозащитник, мемуарист.

Родился на Украине. Сын бедного крестьянина. Комсомолец, член продотрядов, реквизировавших хлеб у крестьян. Член ВКП (б) с начала 30-х годов. Во время войны командовал дивизией. После войны преподавал в Военной академии им. Фрунзе в Москве. Генерал-майор, начальник кафедры.

После речи на партийной конференции в 1961 г. с требованием демократизации внутрипартийной жизни был лишен депутатского мандата, отстранен от преподавания в Академии, получил строгий выговор и был переведен на службу в Дальневосточный военный округ.

Осенью 1963 г., находясь в отпуске в Москве, организовал подпольный «Союз борьбы за возрождение ленинизма» (в него вошли сыновья П. Григоренко и несколько их друзей — студентов и офицеров). Написал семь листовок, которые были распространены в Москве, Владимире, Калуге, в войсках Ленинградского и Среднеазиатского округов (некоторые тиражом до 100 экземпляров). Их темами были бюрократическое перерождение советского государства, его карательная политика по отношению к рабочим, причины продовольственного кризиса в стране.

В 1964 г. Григоренко был заключен в психиатрическую больницу. Находясь в Ленинградской спецпсихбольнице, он познакомился с Буковским, который впоследствии ввел его в круг диссидентов.

Григоренко был одним из наиболее активных защитников прав репрессированного крымско-татарского народа, став фактически лидером движения крымских татар за возвращение на родину. Выступал в защиту «Пражской весны», в защиту арестованных А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, А. Марченко, демонстрантов, вышедших 26 августа 1968 г. на Красную площадь и других инакомыслящих.

В 1970 г. вновь был направлен на принудительное лечение в Черняховскую спецпсихбольницу. С этого момента в СССР и за его пределами началась энергичная кампания за его освобождение. После того, как Буковский в 1971 г. передал на Запад истории болезни нескольких инакомыслящих, признанных невменяемыми, в том числе и Григоренко, международная медицинская общественность стала оказывать давление на советских психиатров. В 1973 г. на Западе вышел сборник публицистики Григоренко «Мысли сумасшедшего», куда вошли его тюремные дневники, в том же году по этой книге в Англии был снят фильм. В 1974 г., накануне визита президента США Никсона Григоренко освободили.

Петр Григоренко был одним из основателей Московской Хельсинкской группы,

участвовал в составлении и подписал большинство документов МХГ. Являлся также членом-учредителем Украинской Хельсинкской группы.

В 1977 г. выехал для лечения в США, после чего был лишен советского гражданства. В эмиграции продолжал борьбу за права человека в СССР, работал над мемуарной книгой «В подполье можно встретить только крыс», которая вышла на Западе в 1981 г.

Публикуемый ниже историко-публицистический памфлет «Сокрытие исторической правды – преступление перед народом» появился в Самиздате в конце 1967 г. и сразу же стал весьма популярным, принеся его автору известность и сделав его одной из центральных фигур Демократического Движения. Памфлет представляет собой открытое письмо Григоренко в журнал «Вопросы истории КПСС» в ответ на опубликованную в № 9 этого журнала за 1967 год статью «В идейном плену у фальсификатора истории», содержавшую безжалостную критику книги А.М. Некрича «1941. 22 июня» (стенограмму обсуждения этой книги в Институте марксизма-ленинизма *см. стр. 95*). В 1973 г. письмо было опубликовано на Западе (в Канаде).

СОКРЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАРОДОМ!

Письмо в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС»

<...>

5. Общая характеристика обороноспособности СССР к началу войны

Известно, что обороноспособность страны определяется силой общественного и государственного строя, могуществом экономики данного государства и его вооруженных сил.

За годы первых пятилеток наша страна создала мощную разветвленную промышленность, в том числе — оборонную индустрию, способную полностью удовлетворить потребности в современном вооружении, боеприпасах и боевой технике. В сельском хозяйстве господствующим стал общественный сектор, опиравшийся на мощную машинную базу.

Красная Армия, по свидетельству иностранных военных специалистов, была в смысле технического оснащения, самой передовой армией в мире. Не уступала она в этом отношении и фашистскому вермахту.

И количественный и качественный анализ соотношения сил сторон убедительнейшим образом свидетельствует, что ни о каких материальных преимуществах противника не может даже идти речь. Сил у нас было вполне достаточно не только для того, чтобы остановить врага, но и для полного его разгрома в первый же год войны. Легенда о подавляющем техническом превосходстве противника, которую создал Сталин для самооправдания, и, которую до сих пор культивируют некоторые горе-историки, не выдерживает проверки цифрами и качественными характеристиками боевой техники.

Нельзя не напомнить здесь также и о том, что невероятным напряжением всех народных сил, из года в год сжимая ради этого во всех остальных статьях

государственный бюджет, — мы за десятилетие в 30-х годах создали вдоль всей нашей старой западной границы — от Балтики до Черноморского побережья — сплошную полосу долговременных укреплений, превосходившую по своей мощности во много раз так называемую «линию Маннергейма» — ту самую линию, на прорыв которой советские войска затратили почти полгода и заплатили за это сотнями тысяч жизней. Объективные данные, за которые так горячо ратуют (на словах) почтенные «критики», целиком и полностью были на нашей стороне. И видимо, истинные причины поражений придется искать там, где очень не хочется авторам статьи — В СУБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ, в людях, которые руководили подготовкой страны к обороне и обязаны были управлять войсками, когда на нее неожиданно обрушился мощный удар.

Хорошо известно, что для победы нужны не только соответствующие силы и средства. Необходимо еще и умение их применять — нужна современная военная теория, надо, чтобы войска были обучены в духе этой теории, нужны командные кадры, способные управлять войсками по-современному. К сожалению, у нас к началу войны ничего этого не имелось. В этом и заключена главная причина наших поражений в начале войны.

6. Командные кадры и подготовка войск

Об избиении командных кадров во времена сталинского лихолетья писалось немало. Сейчас любому, кто интересуется данным вопросом, известно об уничтожении, как «врагов народа» и «агентов иностранных разведок» — М.Н. Тухачевского, В.К. Блюхера, А.И. Егорова, И.П. Уборевича, И.Э. Якира, а также командовавших военно-морским флотом В.И. Орлова и В.П. Викторова; — о гибели ВСЕХ командующих военными округами и многих крупных организаторов партийно-политической работы в армии и на флоте.

Известно о том, что из армии были устранены: — ВСЕ командиры корпусов; ПОЧТИ ВСЕ КОМАНДИРЫ ДИВИЗИЙ, БРИГАД И ПОЛКОВ; ПОЧТИ ВСЕ члены военных советов и Начальники политуправлений военных округов; БОЛЬШИНСТВО комиссаров корпусов, дивизий, бригад; около ОДНОЙ ТРЕТИ комиссаров полков; не поддающееся учету число нижестоящих командиров и политработников. Были также очень сильно прорежены ряды начальников штабов и штабных офицеров во всех перечисленных инстанциях — военных округах, соединениях и частях.

Массовые аресты производились, кроме того, в Генеральном Штабе, Наркомате обороны, Военных Академиях, в Разведке и Контрразведке. Арестовывали также средний и младший начсостав. При этом в ряде случаев по одной и той же должности было по несколько «заходов».

По самым скромным подсчетам, общие предвоенные потери в высших командных кадрах выражаются в громадных цифрах. И основная масса этих потерь приходится на наиболее опытные, занимавшие высокие должности, военные кадры.

Ни в одной войне, включая и Вторую мировую войну, ни одна армия в мире не несла таких потерь в высшем и старшем командном составе. Подобные потери не могут быть следствием даже полного военного разгрома. Во всяком слу-

чае, высший и старший командный состав капитулировавшей фашистской Германии и империалистической Японии понесли куда меньшие потери.

Но это — все факты известные. Их приводят многие авторы. Но при этом все они подчеркивают лишь моральную сторону — тот факт, что честных, ни в чем неповинных людей расстреливали, гноили в лагерях. Однако, здесь еще и другая сторона этого дела. И она не менее важна. Говорят же о ней очень мало и невнятно.

Эта, вторая сторона очень ярко выявляется на примере двух названных выше профессоров Академии Генерального Штаба. Ни один из них до середины 30-х годов не являлся на нашем военно-теоретическом небосводе звездой первой величины. А между тем в первую очередь были уничтожены такие выдающиеся военные теоретики и практики военного строительства страны социализма, как Тухачевский, Уборевич, Якир. За ними пошли другие, чьи имена были известны в военной теории или в практической военной деятельности.

Ценности типа Кулика не трогали, их продвигали по службе и повышали в воинских званиях, до маршальских включительно. Арестовывали же, в подавляющем большинстве, тех, кто проявил храбрость и незаурядные военные способности еще в первую мировую войну, участвовал в февральской и октябрьской революциях, проявил себя, как талантливый военачальник в гражданскую войну. Это были командиры, много и плодотворно учившиеся, глубоко осмысливавшие прошлый боевой опыт, изучавшие ход развития современной жизни, практику боевой учебы советских войск, иностранный военный опыт и исходя из этого всего, строившие наши вооруженные силы, создавшие стратегию и тактику вооруженной защиты страны социализма, находившейся в капиталистическом окружении. Это были люди, разработавшие самую передовую в мире военную науку, создавшие армию, которой не было равной на земле. Это были коммунисты, воспитанные Лениным и его лучшими учениками. ЭТО БЫЛ КОСТЯК, ОСНОВА АРМИИ НОВОГО ТИПА.

И именно по этому костяку был нанесен сокрушительный удар. При этом были ликвидированы не только люди, образовавшие этот костяк. Подвергалось уничтожению и дело, которому они отдали все свои силы и незаурядный военный талант. Была выкорчевана созданная ими военная наука, сломаны и выброшены те научные принципы, на которых зиждилось до этого строительство советских вооруженных сил.

Но не только в этом гибельность тех диких репрессий. Ни с чем несравнимы те вредные последствия, кои были вызваны массовым и почти одновременным освобождением высоких должностей. Обезглавленные полки, бригады, дивизии, корпуса, военные округа, надо было кем-то возглавить. И вот началось так называемое «смелое выдвижение». Были, разумеется, среди «выдвиженцев» и честные, умные, военно-одаренные люди, хотя и недостаточно подготовленные для занятия тех должностей, на которые их выдвигали. Но очень большое количество их вербовалось из подхалимствующих бездарностей и просто малограмотных в военном отношении (а нередко — и в умении читать и писать) людей. Вчерашний только-только начинающий комроты вдруг «вырастал» до комбата, а то и до комполка: комбат становился комдивом. В таких условиях в командной среде пышно расцвел подхалимаж, карьеризм: клеветники и «стукачи» становились «верными учениками» Сталина.

Именно такие «кадры», — преимущественно малограмотные в военном и политическом отношении, да и в части общей грамотности, ЗАПОЛНЯЛИ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ КОМАНДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, а офицеры, ОКАНЧИВАЮЩИЕ ВОЕННЫЕ АКАДЕМИИ, ОСЕДАЛИ в обезлюдевших высших штабах.

Приведу пример, достаточно наглядно характеризующий положение с военной подготовкой командиров. В ходе одного из инспектирований была проверена деловая квалификация 225 командиров полков. Оказалось, что только 25 из них окончили военные училища. У остальных за плечами имелись только курсы младших лейтенантов. Можно себе представить, что творилось ниже.

Чему же могли учить подчиненных подобные «кадры», тем более — в условиях, когда все, чему учили до тех пор, признавалось вредительским! Кругом шла импровизация, исходившая либо от военно неграмотных людей, либо от тех, кто боялся, как бы его не обвинили в проскакивании «вредительских» взглядов и установок. Импровизировали все. Даже Нарком Обороны не нашел ничего лучшего, как самолично заняться обучением пулеметчиков стрельбе из пулемета. И «Красная Звезда», без тени смущения, публиковала статьи и фотографии, прославлявшие подобную «деятельность» Наркома.

Солдаты, видя слабую подготовку своих начальников, отнюдь не проникались к ним доверием, а всячески раздуваемый психоз командирского «вредительства» порождал дополнительное недоверие к комсоставу, подрывая основу основ всякой армии — воинскую дисциплину. Таким образом, ВОЙСКА КРАСНОЙ АРМИИ, лишенные своих высокообразованных, опытных и авторитетных командиров, ВСТУПИЛИ В ВОЙНУ ВО ГЛАВЕ С ЛЮДЬМИ, СЛАБО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ К КОМАНДОВАНИЮ, а нередко и вовсе к нему неподготовленными. При этом войска представления не имели о ведении боевых действий по-современному. Хуже того, ОНИ НЕ СЛЫХАЛИ ДАЖЕ О НОВЫХ СПОСОБАХ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ.

Наш народ жестоко поплатился за то, что отдал на растерзание сталинско-бериевским заплечных дел мастерам свои ценнейшие кадры, своих лучших сынов. Колоссальные, ни с чем несравнимые потери, затронувшие каждую советскую семью, — результат, прежде всего, той страшной «чистки», которая была проведена Сталиным среди руководящих кадров во всех областях нашей государственной и общественной жизни. Если бы эти кадры к началу войны продолжали оставаться на своих постах, наши потери в войне были бы несравненно меньше. Их могло и вообще не быть, так как Гитлер мог и не решиться «скрестить шпагу» с плеядой наших блестящих известных всему миру, полководцев.

К сожалению, народ и партия слепо верили Сталину. У основной массы наших людей не возникало даже мысли о том, что с обороной, в которой было проявлено народом столько самоотверженной заботы, может быть что-то неладное. Давайте же хоть сейчас с открытыми глазами посмотрим, с чем и как мы встретили войну.

7. Как наши войска были подготовлены к отражению внезапного нападения врага

В военно-исторической литературе второй половины пятидесятых и первой половины шестидесятых годов неоднократно поднимался вопрос: были ли у руководства советской страны достаточные данные, свидетельствовавшие о подготовке гитлеровской Германии к нападению на нас. Некрич в своей книге убедительно показал, что были. «Критики» пытаются некоторые из этих доказательств опровергнуть. Пойдем им навстречу.

Предположим, — НИКАКИХ данных о подготовке Германии к нападению на СССР не было. Разве это хоть на йоту снижает ответственность руководства страны за неготовность к отражению внезапного нападения врага? Я не говорю, что в этом случае возникает ответственность также за отсутствие разведки. Но и без нее — разве имело право руководство не считаться с мировым опытом?

До нападения на нашу страну Германия совершила нападение на Польшу, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Грецию, Югославию. И везде она нападала внезапно, вероломно нарушая межгосударственные договоры. И везде приемы действий были одни и те же: внезапный авиационный удар по аэродромам с целью уничтожения авиации противной стороны на земле и удар танковыми клиньями на нескольких направлениях; затем стремительное развитие этих ударов при массированной поддержке авиации. К этому-то разве мы имели право не подготовиться, даже при всем нашем уважении к межгосударственным договорам?!

Вот давайте и посмотрим, как решались вопросы такой подготовки.

1. Аэродромная сеть в западных военных округах была развита очень слабо и не обеспечивала нормального размещения многочисленной авиации этих округов. Новое аэродромное строительство и реконструкция старых аэродромов, видимо, из боязни вызвать у Гитлера подозрение, что мы готовимся к нападению на него, велись не очень интенсивно, и к началу войны наша авиация продолжала размещаться весьма скученно на старых, давно и хорошо известных Германии аэродромах.

2. Зенитные средства в войсках имелись в мизерных количествах. Большая их часть была мало эффективной. В силу этих причин войсковой ПВО у нас фактически не было. Поэтому войска, при отсутствии надежного авиационного прикрытия, оказывались совершенно незащищенными от авиации противника.

Не организована была и ПВО аэродромов. Поэтому в случае внезапного нападения неприятельских эскадрилий, мы рисковали НАВЕРНЯКА остаться без авиации.

3. Перед самой войной была резко ослаблена способность войск к борьбе с танками: сняли с вооружения 45 мм противотанковую пушку и противотанковые ружья. Несколько раньше была снята с производства только что созданная нашими замечательными конструкторами многоцелевая 76 мм пушка «ЗИС». Эту пушку намечалось поставить, в частности, и на вооружение истребительно противотанковых частей. Но по прихоти Сталина, навеянной военно-неграмотными людьми, замечательная пушка была отвергнута, и конструкторам дали

задание разрабатывать другую — 107 мм противотанковую пушку. Эта последняя так никогда и не была создана, а 76 мм «ЗИС», принятая на вооружение в ходе войны, верно служила войскам вплоть да окончания войны и проявила себя с самой лучшей стороны. Короче говоря, у нас было все, чтобы достойным образом встретить танки врага. Встречать же их пришлось, благодаря «заботам» правительства и верховного командования, ручными противопехотными гранатами и бутылками с горючей смесью.

4. Наши танковые войска, в связи с затеянным перед войной их переформированием, встретили войну в небоеспособном и малоспособном состоянии.

5. Укрепленные районы вдоль старой границы, построенные в 30-е годы, были не только разоружены, но и уничтожены: огневые сооружения частично передали колхозам и совхозам под овощехранилища, а остальные взорвали. Вдоль новой границы стали строить новую полосу укреплений, но, видимо, не желая вызвать неудовольствие гитлеровцев, вели строительство столь неторопливо, что к началу войны ничего готово не было.

Таким образом, на пути вероятного наступления врага на нашей территории не имелось ни одного заблаговременно подготовленного оборонительного рубежа, хотя народных средств на их строительство было затрачено колоссально много.

6. Но шедевром всех недомыслий, равнозначных прямому предательству (но называемых почтеннейшими «критиками» почему-то снисходительно: «ошибками», «просчетами» и «недостатками»), является вопрос приведения войск в боевую готовность. Покойный министр обороны СССР маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский в «Военно-историческом журнале» № 6 за 1961 год пишет: «Войска продолжали учиться по-мирному, артиллерия стрелковых дивизий была в артиллерийских лагерях и на полигонах, зенитные средства — на зенитных полигонах, саперные части — в инженерных лагерях, а «голые» стрелковые полки дивизий — отдельно, в своих лагерях. При надвигавшейся угрозе войны эти грубейшие ошибки граничили с преступлением». ...

Как видим, одно то, что войска в условиях надвигавшейся угрозы войны, продолжали учиться и располагаться по-мирному, — граничит с преступлением. А как же назвать весь показанный выше «букет»? Но ведь и это еще не все. Что можно сказать, например, о том, что план прикрытия, разработанный на случай внезапного нападения врага, не был введен в действие, а группировка войск была столь несуразной, что развязавший войну противник мог громить эти войска по частям!

Маршал Советского Союза А.А. Гречко, анализируя то, что произошло в первые дни войны, пишет, что в результате слабости нашего первого эшелона и большого удаления второго эшелона от первого (300-400 км) противнику, имевшему в составе своего первого эшелона около 63% всех соединений «Восточного фронта» удалось «нанести мощный первоначальный удар значительно превосходящими силами, захватить инициативу и атаковать войска наших приграничных округов по мере подхода их из глубины, по частям». (Военно-исторический журнал, № 6, 1966 г.).

Перечисленным не исчерпываются все так называемые «просчеты» в подготовке страны к обороне. Это — лишь то, что можно отнести к самым круп-

ным из них. Но имеется еще много мелких. Чтобы вскрыть их все, надо провести ряд исследований. Здесь же можно лишь продемонстрировать, что мною отнесено к этим «более мелким просчетам».

Вот первый. Свыше половины войск Западного особого военного округа дислоцировалось в районе Белостока и западнее, то есть на территории, которая глубоко вклинивается в территорию вероятного противника. Такая дислокация была бы оправдана только в одном случае, если бы эти войска были предназначены к внезапному переходу в наступление. В противном случае они сразу оказывались в условиях полуокружения. Противнику стоило лишь нанести встречные удары у основания нашего вклинения, и окружение становилось полным. Получается, что мы сами загнали эти войска в мешок.

Второй пример. Созданные для войны запасы вооружения, боеприпасов и других материальных средств разместили вблизи от госграницы, даже впереди вторых эшелонов военных округов. С началом войны противник, естественно, захватил почти все эти запасы.

Примеров подобного рода можно привести сколько угодно. Таковы факты. Их можно только опровергнуть, если, под видом фактов я преподнес вымысел, или что-то извратил, но нельзя их замалчивать или отмахнуться от серьезного их рассмотрения такими заявлениями, какие делаются почтенными «критиками» Некрича: «Стремление односторонне и преувеличенно подчеркивать недостатки, ошибки, упущения и умалять, замалчивать большие свершения, самоотверженность и героизм советского народа — не новый прием его открытых врагов и мнимых друзей».

Да разве можно преувеличивать то, что описано выше?! Целой серией неразумных (или преступных — это без специального расследования еще не ясно) действий войска были поставлены в условия невозможности оказать врагу сколь бы то ни было эффективное сопротивление, а я должен писать о больших свершениях, происходивших в другое время и совсем по другому поводу! ШУТНИКИ!!!

Нет, уж лучше я возьму на себя еще и задачу показать, какие последствия имело все описанное в ходе событий первых дней войны.

8. Что произошло в первые дни войны?

На рассвете 22 июня все ТРИ воздушных флота Германии одновременно перелетели советскую государственную границу и обрушили мощный удар на все аэродромы наших западных приграничных военных округов. Ввиду нашей полной неготовности к отражению такого удара, потери в материальной части оказались потрясающими. Большая часть самолетов была уничтожена на земле. А так как аэродромы были тоже сильно повреждены, это серьезно затруднило действия и тех наших самолетов, которые уцелели. Стремительное же продвижение обеспечивало фашистским войскам быстрый выход в районы нашего аэродромного базирования. В результате все, что не могло взлететь, пришлось уничтожить нам самим. А взлетело, ой, как мало! В течение первых трех-пяти дней мы лишились до 90% своей авиации. В силу этого последняя не смогла оказать никакой помощи своим войскам, которые как раз тогда очень в этом нуждались.

Немецкие наземные войска, создав на направлении своих ударов подавляющее превосходство в силах и средствах, на рассвете того же дня перешли советскую государственную границу. На пути этих войск, благодаря «гениальному предвидению» «великого вождя и учителя», оказались лишь незначительные силы пехоты, «очищенные» не только от танков, отправленных на формирование мехкорпусов, но и от артиллерии, зенитных средств и саперов, находившихся в это время далеко в тылу в своих специальных лагерях и на полигонах. К тому же эта «голая» пехота не была приведена в боеготовность. Так что же она могла поделать с массой внезапно навалившихся на нее танков и пехоты врага, наступавших при поддержке мощного огня артиллерии и минометов.

Кто чуть-чуть представляет себе войну, тот должен понять, какой действительный героизм был нужен, чтобы быстро опомниться от потрясающей, не мелькавшей до этого даже в воображении, внезапности и разрушительности вражеского удара, и не разбежаться в панике, не поднять руки, а вступить в бой с танками, имея в руках трехлинейную винтовку и ручные противопехотные гранаты. При этом начать воевать приходилось без дозволения вождя, что само по себе в те времена требовало немалого мужества. Москва, как известно (но далеко не всем!) только через 6 часов после начала гитлеровской агрессии дала, наконец, разрешение на открытие огня, а войска (какая «недисциплинированность»), открыли его сразу, как только увидели врага.

С каждой минутой положение нашей пехоты становилось тяжелее. Она несла неисчислимые потери и расходовала боеприпасы, не имея нормального их пополнения. Подмога к ней не подходила, а противник все наращивал силы, вводя вторые эшелоны и резервы. С рассветом у наших войск появился новый, очень страшный враг — фашистская авиация, которая, выполнив задачу подавления наших ВВС на аэродромах, полностью переключилась на поддержку наземных войск. Отсутствие у нас войсковой ПВО позволило вражеской авиации действовать безнаказанно, нагло-издевательски снижаясь до бреющих полетов. ИМЕННО ТАК БЫЛО!!!

Но ретивые «критики» ничего этого и знать не хотят. Им подавай «героизм» и «великие свершения». Изложение действительных фактов — это для них «одностороннее» и «тенденциозное» подчеркивание «ошибок» и «недостатков», «просчетов» и «упущений». — Ну, что ж, пойдем, хотя бы частично, навстречу и расскажем… нет, не о великих свершениях — мы в начальном периоде войны их что-то не заметили. Если у критиков имеются на сей счет какие-либо данные, просим просветить и нас. Мы же расскажем здесь о героизме — героизме подлинном, примеров его в начальный период войны — бесчисленное множество.

Правда, это не тот казенно-напыщенный, так нравящийся ко всему равнодушным «критикам», героизм. Это — героизм непревзойденный, проявленный в те страшные дни бесчисленными героями, оставшимися в полной безвестности. Эти люди не бежали, со знаменем в руках, к поверженному рейхстагу, не кричали перед кинообъективом: «Вперед, за Сталина!». Они, будучи почти безоружными, грудью заслонили Родину и молча, без ложной патетики, отдали за нее свои молодые жизни. Об их-то героизме я и хочу рассказать.

Благодаря «мудрому» руководству, наша пехота осталась без артиллерийских противотанковых средств, и солдат открывал огонь по танкам из винтовки —

бронебойной пулей. Если не было бронебойной, использовал обычную, ведя огонь по смотровым щелям. Он подрывал танк связкой ручных гранат или поджигал его, бросая ему на желюзи бутылку с бензином и, чаще всего, платил за это жизнью. Именно из этой солдатской инициативы родилась идея ручной противотанковой гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Эта же инициатива указала на необходимость возвращения на вооружение противотанковых ружей.

Не мог смириться солдат (в это понятие я включаю и сержантов и офицеров-фронтовиков) и с безнаказанностью вражеской авиации. Он ведет по ней одиночный и групповой огонь из винтовок и ручных пулеметов. Он снимает колесо с повозки и пристраивает на него станковый пулемет, создавая таким образом, «зенитное сооружение» с круговым обстрелом.

Да, это был действительно героизм. Но рассказ о нем, полагаю, вызовет не только чувство гордости за наших людей, но и ненависть к тем, кто поставил их, этих людей в условия, в которых защита от врага родной земли, советского народа не могла быть обеспечена даже массовым самопожертвованием.

Героизм был действительно массовый. И не только в пехоте, но и во всех родах войск, в специальных войсках и тылах. Но, несмотря на это, оказанное врагу сопротивление было явно недостаточным. Это авторам безответственной и беспринципной статьи не мешало бы понять и запомнить.

Авиация, будучи подавлена на аэродромах, не смогла взлететь и потому не оказала противодействия немецкой авиации. Однако, в своей основной массе, летчики были готовы к свершению подвигов. А те, кому из них удалось подняться в воздух, доказали это всему миру. Подвиги Гастелло и Талалихина родились именно в те страшные дни. Но подавляющему числу подняться в воздух попросту не удалось. И, отходя на восток пешком, многие плакали от злости, глядя, как вражеские самолеты безнаказанно терроризируют войска и население. Они не знали, куда глаза девать от стыда. А им-то ведь стыдиться было нечего. Их поставили в условия бездействия. Как видим, не то что слабое, а почти полное отсутствие сопротивления уживается с героизмом.

Аналогичное произошло и с артиллерией. Ей, как и всем другим войскам, находившимся в специальных лагерях и на полигонах, Москва утром 22 июня подала команду немедленно возвращаться в свои соединения. Просьбы отложить начало движения до наступления темноты были отвергнуты. Нарком обороны еще раз, и при том — в самой категорической форме, приказал начать движение немедленно. Это, мягко говоря, преступное распоряжение особенно губительно отразилось на артиллерии. Большая часть ее была в то время на узкой дороге. Конечно, каждый может представить себе даже сейчас, что происходило, когда на растянувшуюся по узкой дороге малоподвижную колонну конной артиллерии, совершенно не имевшую в своем составе зенитных средств, налетели пикирующие бомбардировщики и штурмовики.

Нередкими были случаи, когда командиры артиллерийских полков, потерявшие в результате нескольких, следовавших друг за другом, воздушных налетов, весь свой полк, пускали себе пулю в лоб.

Таким образом, в результате «мудрых» руководящих указаний наша пехота и танки остались не только без воздушного прикрытия и поддержки, но вынуждены были действовать и без помощи артиллерии. И, опять-таки, слабая

артиллерийская поддержка войск, не противоречит тому, что артиллеристы действовали героически. Потеряв тяговую силу, они тащили уцелевшую материальную часть на себе, добывали тракторы и лошадей в колхозах, отбивали тягачами орудия и минометы у врага — и дрались до последнего снаряда, до последнего патрона, до последней гранаты. И уж не они, разумеется, виноваты в том, что в целом сопротивление врагу было слабым. Они сделали все, что могли, и даже — невозможное, но их поставили в условия, исключавшие возможность эффективного сопротивления.

А танкисты! Добровольно на костер шли во имя РОДИНЫ! Это не оговорка, и не литературный прием. Действительно, — на костер! Дело в том, что наши танки старых конструкций (как, впрочем, и германские того времени) очень легко загорались. Попадание в танк снаряда, как правило, вызывало немедленное его воспламенение. И огонь охватывал машину столь бурно, что экипаж, чаще всего не успевал ее покинуть.

Очевидно, что с такими танками, при отсутствии огневого сопровождения артиллерии, без поддержки авиации и без зенитного прикрытия, следовало придерживаться только одной тактики, пользуясь высокой подвижностью танков, в темное время суток, стремительно выходить на пути неприятельского наступления, занимать выгодные рубежи, и, окопав, и хорошо замаскировав свои машины, встречать открыто движущиеся танки и пехоту противника высоко эффективным огнем танков с места, из укрытия.

Многие на местах понимали это, но Москва требовала «танковых контрударов и контратак». И вот наши танковые лавы выходили в открытое поле — прямо навстречу шквалу огня ничем не подавленных танков и артиллерии противника, под удар его, не встречающей никакого противодействия, авиации. Несмотря на это, наши танки безостановочно шли вперед. И, вопреки здравому смыслу, некоторые все же дорывались до врага. И наносили ему большой урон. Но из таких атак редко кто возвращался. Только столбы черного дыма, пылающие машины и их обугленные остовы напоминали о разыгрывающейся трагедии, об атаках беспримерного мужества и героизма советских танкистов.

Иностранные исследователи опыта минувшей войны приходят к выводу, что при потерях, близких к 25% , танковая атака захлебывается, и уцелевшие танки отходят. Советские же танкисты продолжали атаковать, пока оставалась хоть одна машина. Это ли не героизм! В течение первых двух-трех недель войны западные военные округа потеряли до 90% танков и более половины танкистов.

Вот какие люди встретили внезапный удар враг. Этим бы людям да хоть немного разумного руководства! К чему бы это привело, можно видеть на примере Киевского особого военного округа. Командование и штаб этого округа сумели сохранить управление в своих руках и не потеряли чувства подлинной ответственности. Поэтому все тяжкие последствия преступной подготовки к войне и неразумного вмешательства главного командования в те дни, когда она только началась, были несколько смягчены. Привело это к тому, что противник на данном направлении понес громадные потери и смог подойти к Днепру только во второй половине августа, то есть продвигался намного медленнее, чем на других направлениях — со средним темпом всего около 8 км в сутки. Этот определенный успех мог явиться хорошей исходной базой для ликвидации опас-

нейшего продвижения противника в центре и на левом фланге его «Восточного фронта». Но для этого нужно было разумное руководство нашего главного командования или хотя бы его невмешательство. К сожалению, оно вмешалось в полной мере неразумно, если не преступно, и... произошла киевская трагедия. Достигнутый героизмом войск успех был обращен во вред общему делу сопротивления врагу, в гибель всей нашей военной группировки на Украине.

Сталинский режим, если у него и был когда-нибудь разум, под влиянием внезапного удара гитлеровцев полностью его утратил.

В первый день войны нарком обороны отдал войскам западных военных округов ТРИ, в корне противоречащих друг другу, директивы. К их выполнению никто даже и не приступал, так как они совершенно не соответствовали обстановке. Однако, сумятица, растерянность, отчаяние от безнадежности при таком командовании были только во много раз усилены в исключительно сложной и без того обстановке. Самим фактом своих директив главное командование лишило возможности командующих округов предпринимать что-либо по своей инициативе.

Гибельность положения возрастала тем более, что, потеряв разум, сталинский режим не утратил своей свирепости. За инициативу, которая не нравится «вождю» или ближайшему его окружению, можно было лишиться головы.

Свою свирепость этот режим не замедлил продемонстрировать как можно нагляднее. Объектом был избран штаб Западного особого военного округа. Скорый и бесспорно неправый суд приговорил командующего войсками, начальника штаба и начальника связи округа к расстрелу. Приговор немедленно привели в исполнение, о чем и было сразу же доведено до войск. В результате этого: — важнейшее направление, где развивался главный удар наступавшего врага, осталось без руководства. Пусть это руководство было слабым — об этом сказано выше. Но его, особенно в ходе уже идущих боевых действий, надо было спокойно и продуманно укреплять, а не громить, еще более раздувая недоверие всех ко всем.

Остальные командующие войсками фронтов были приведены этим процессом, естественно, в шоковое состояние. Кто же рискнет — после такого суда! — оспорить, пусть даже самое глупое, распоряжение Москвы или в чем бы то ни было проявить инициативу, не получив предварительного одобрения?

А положение можно было спасти только разумным проявлением инициативы снизу, в сочетании со спокойно продуманной корректировкой действий войск сверху. Ничего этого, к сожалению, не было. Москва, очнувшись от первого психического потрясения, продолжала свирепствовать. Войска, выдвигаемые из глубины страны, из тыла, на закрытие брешей, получали распоряжение «расстреливать предателей, открывших фронт врагу». И вот, героев, которых я только что описывал, людей, многие дни и ночи, беззаветно сопротивлявшихся врагу и с трудом прорвавшихся к своим — встречали расстрелами. Под расстрел попадали солдаты и офицеры службы тыла, пехотинцы, оставшиеся без материальной части летчики, чудом спасшиеся из горящих танков танкисты, артиллеристы, сотни километров тащившие на себе уже бесполезные — без снарядов! — орудия. А на следующий день, те, кто расстреливал, сами попадали в окружение, и в дальнейшем их могла ожидать судьба расстрелянных ими вчера.

Только отсутствие сплошного фронта, да полная дезорганизованность всей системы управления спасли от поголовного бессмысленного истребления сотни тысяч людей. Тех, кто уцелел, в покое не оставили. Для них была изобретена, как позорное пятно на всю жизнь, презрительная кличка «окруженец». Основная их масса прошла через лагеря и штрафные части.

Мы знаем, что после окончания войны все возвращавшиеся из плена попадали в сталинско-бериевские лагеря, и многие провели там годы. Даже возглавлявший героическую оборону Брестской крепости майор Гаврилов был освобожден из лагерей только после XX съезда партии. Если сопоставить эти факты со всем описанным выше, то выходит, что Сталин и его ближайшее окружение буквально с первых дней войны и до ее последних часов были озабочены больше всего отысканием «козлов отпущения» и уничтожением или приведением к молчанию живых свидетелей трагических событий начала войны.

Таковы героические дела советских воинов и «удивительные» поступки верховного руководства страны. Все изложенное невольно наталкивает на очень тревожный вопрос — а так ли уж полезна была для нашей страны предвоенная внешняя политика сталинского руководства?

<...>

11. Кто же виноват?

Ответить полностью на этот вопрос может только глубокое и всестороннее гласное расследование. Но то, что мне известно, считаю долгом сказать уже здесь.

ГЛАВНЫМ ВИНОВНИКОМ, бесспорно, являлся СТАЛИН и возглавлявшееся им ПРАВИТЕЛЬСТВО. В этом — как я уже упоминал — признался даже он сам, выступая в Кремле 24 мая 1945 года.

Персональную ответственность за все описанное выше, то есть за действия, равносильные прямому содействию фашистам, должны, кроме того, нести следующие лица:

К.Е. Ворошилов, который многие годы стоял во главе Красной Армии, а затем, вплоть до начала войны, был заместителем председателя Совнаркома по оборонным вопросам. Именно при его руководстве армией в ней было произведено описанное выше опустошение в кадрах. За несколько десятилетий ношения военной формы, а затем и маршальской звезды, он не удосужился всерьез заняться военным делом, поэтому так и не понял сути созданной в конце 20-х и начале 30-х годов передовой советской военной науки и возглавил ее уничтожение. Он же санкционировал все ошибочно преступные действия в области оснащения армии вооружением и боевой техникой. Он же соучаствовал в кровавой расправе над самыми крупными полководцами нашей страны.

С.К. Тимошенко, сменивший Ворошилова на посту наркома обороны и продолжавший его преступно-саботажническое отношение к вопросам подготовки страны к обороне, должен разделить вместе с ним и ответственность.

В числе первых фигур следует поставить и Ф. Голикова. Это он накануне войны возглавлял Разведывательное управление Генерального Штаба и преднамеренно поставлял правительству заведомую ложь и дезинформацию о про-

тивнике — лживые, но угодные Сталину сведения о составе и группировке войск фашистской Германии. Даже один из двух «критиков» книги Некрича, так боящийся правды о начале войны (Г.А. Деборин), выступая на упоминавшемся обсуждении в институте марксизма-ленинизма, назвал поведение этого дезинформатора преступным.

Совершенно особо стоит вопрос еще об одном человеке — из главных, ответственных за поражения начального периода войны. Я имею в виду маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Своей самоотверженной полководческой деятельностью в ходе войны и незаурядными военными дарованиями он снискал мировую известность и глубокое уважение советского народа. И все же мы не вправе замолчать тот факт, что накануне войны Георгий Константинович занимал пост начальника Генерального Штаба и был, следовательно, тем лицом, которое несло главную ответственность: за боеготовность войск, за отвечающее современным требованиям строительство вооруженных сил, за соответствие военно-теоретических взглядов достигнутой ступени развития военного дела и за правильность оценки боевой мощи противника.

По своим тогдашним знаниям и опыту он, бесспорно, не мог нести ответственности за все это. Должность начальника Генерального Штаба была ему в то время явно не по плечу. Чтобы убедиться в этом, достаточно напомнить, что: 1) это он санкционировал, в преддверии войны, уничтожение старых, но вполне современных и являвшихся преградой на путях вероятного наступления врага, укрепленных районов, 2) переформирование танковых войск было затеяно по его личному настоянию, 3) он не смог правильно оценить противника, величину нависшей над страной угрозы, определить, хотя бы приблизительно, сроки возможного нападения врага и доверял явно дезинформаторским сведениям начальника Разведупра Голикова.

Не подлежит сомнению, что Жуков, прошедший через горнило войны, не допустил бы не только таких грубых, но и менее существенных ошибок. Так почему же он не напишет об этом? Вряд ли можно поверить, будто человек с его умом станет рассчитывать на то, что происшедшее с ним удастся скрыть от истории. Думаю, он прекрасно понимает, что его имя будет сохранено в чистоте лишь при условии, что он самокритично проанализирует всю предвоенную обстановку и деятельность руководимого им Генерального Штаба. И, если он не сделал этого до сих пор, то, очевидно, есть причины, от него независящие. Будем надеяться, что у него достанет гражданской доблести, чтобы преодолеть все препятствия и помочь народу раскрыть тайны, до сих пор окутывающие ту трагедию, что творилась за кулисами.

<...>

6.12.67. Григоренко, Петр Григорьевич

Источник: библиотека М. Мошкова (http://www.lib.ru).

Якубович
Михаил Петрович

(1891–1969?)

Политический деятель.

Рано втянулся в революционную деятельность. Большевик до 1914 г. Позднее стал меньшевиком, но после Октябрьского переворота выступал за сотрудничество с большевиками. Отошел от меньшивизма в 1920 г. Занимал ответственные посты в советской администрации (Госплан СССР, ВСНХ). Арестован в 1930 г. по делу «Союзного Бюро меньшевиков», несуществующей организации «созданной» ОГПУ. Находился в ГУЛАГе с 1931 по 1953 г. Реабилитирован в 1956 г. Писал о своей лагерной жизни и биографии опальных революционных деятелей (Троцком, Каменеве и т.д.). Состоял в переписке с А. Солженицыным. Стал как бы связующим звеном между некоммунистическими социалистами революционного периода и диссидентами 60-70-х годов.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР О ПРОЦЕССЕ МЕНЬШЕВИКОВ В 1931 Г.

Генеральному прокурору СССР

В связи с проверкой, производящейся Прокуратурой СССР по делу, по которому я был осужден в 1931 г., я представляю следующие объяснения.

Никакого «Союзного бюро меньшевиков» в действительности никогда не существовало. Осужденные по этому делу не все знали друг друга и не все принадлежали когда-либо в прошлом к меньшевистской партии. Так, А.Ю. Финн-Енотаевский — в прошлом один из организаторов Московского Рабочего Союза в 1895 г. — со времени II съезда РСДРП в 1903 г. принадлежал к большевикам и, хотя отошел от партийной организации во время империалистической войны 1914-1917 гг., никогда никакой связи с меньшевиками не имел. А.Л. Соколовский в прошлом принадлежал к сионистам-социалистам, к так называемым «эс-эсовцам», но никогда не был меньшевиком. Большинство обвиняемых в той или иной степени имели, однако, в прошлом связь с меньшевистской партией. Некоторые — весьма слабую и случайную (напр. Н.Г. Петунин и Б.М. Берлацкий, другие принадлежали к ее основным и даже руководящим кадрам (И.И. Рубин, И.Г. Волков, А.М. Гинзбург, В.В. Шер, Якубович). Но и те и другие уже давно порвали с меньшевиками при разных обстоятельствах и по разным мотивам. Единственный участник процесса, действительно сохранивший связь с меньшевистским партийным центром за границей (как я узнал от него впос-

ледствии в Верхнеуральском политизоляторе) и даже являвшийся председателем или секретарем меньшевистского «Московского Бюро» — В.К. Иков — ни одним словом не обмолвился перед следствием и на суде о своих действительных партийных связях и о своей действительной партийной деятельности, и даже само существование «Московского Бюро» осталось невскрытым на суде и на следствии. Между прочим, В.К. Иков был единственным из осужденных по делу «Союзного Бюро», который, по отбытии назначенного ему судом 8-летнего срока заключения в 1939 году возвратился на жительство в Москву и оставался здесь до 1951 г., когда был вновь арестован по другому делу.

Следователи ОГПУ и не стремились ни в какой степени вскрыть действительные политические связи и действительную политическую позицию Икова или кого-либо из других обвиняемых. У них была готовая схема «вредительской» организации, которая могла быть сконструирована только при участии крупных и влиятельных работников государственного аппарата, а настоящие подпольные меньшевики такого положения не занимали и поэтому для такой схемы не годились. По-видимому, эта схема была подсказана работникам ОГПУ руководителями двух уже ранее намеченных вредительских процессов — Промпартии и ТКП — Рамзиным и Кондратьевым, которые впоследствии выступали свидетелями обвинения на процессе «Союзного Бюро». Им необходимо было для стройности политической композиции дополнить нарисованную ими схему наличием третьей политико-вредительской организации — социал-демократической. Так мне объяснил, между прочим, подсаженный ко мне на несколько дней в камеру — очевидно для разъяснения следственной ситуации — один из крупнейших участников ТКП профессор Л.Н. Юровский, признавший себя «министром финансов» в «теневом кабинете» Н.Д. Кондратьева.

Идея Кондратьева была с готовностью подхвачена его личным приятелем В.Г. Громаном, которого сотрудники ОГПУ, явившиеся арестовать Кондратьева, застали у него на квартире, что и явилось первоначальным поводом для возбуждения следствия против Громана. Громану было обещано следствием, что в случае содействия с его стороны в организации процесса вредителей-меньшевиков, ему будет гарантировано возвращение к работе с последующей полной амнистией. Впоследствии, когда осужденные по процессу «Союзного Бюро» были доставлены в Верхнеуральский политизолятор, Громан в помещении «вокзала» с отчаянием и негодованием восклицал: «Обманули! Обманули!». Готовность Громана взять на себя организацию процесса была подкреплена его алкоголизмом. Следователи подпаивали его и получали все желательные для них показания. Уже во время процесса, в ожидании отправки после судебного заседания во внутреннюю тюрьму ОГПУ, когда меня возили в одной легковой машине вместе с Громаном, я был свидетелем такого разговора с ним следователей: «Ну как, Владимир Густавович, сейчас подкрепимся коньячком?!» — «Хи-хи-хи, — посмеивался Громан,—уж как всегда!» Деятельным помощником в создании вредительской версии явился К.Г. Петунии—человек малоинтеллигентный, примкнувший к меньшевистской партии после февральской революции и вскоре после Октябрьской победы большевиков покинувший ее. По его рассказам в Верхнеуральске, он «скалькулировал», что наиболее выгодным в создавшихся для него после ареста условиях является действительное содействие следствию в кон-

струировании вредительского процесса, за что он получил от ОГПУ соответствующее вознаграждение в виде возвращения на свободу и предоставления работы... В противном случае он может попасть на длительный срок в заключение и даже погибнуть. Петунину принадлежала мысль составить «Союзное Бюро» по принципу ведомственного представительства — из числа руководящих работников соответствующих аппаратов, о которых он слышал, что они бывшие меньшевики. Не зная, однако, в точности политического прошлого названных лиц, он допустил такую неточность, как включение в составленный им список «эс-эсовца» Соколовского. Следователи были мало озабочены подобной «неточностью» — им надо было получить «признание» намеченных жертв, а были ли они в действительности меньшевиками, им было безразлично.

Тогда началось извлечение признаний. Некоторые, подобно Громану и Петунину, поддались на обещания будущих благ, так же быстро поддался Б.М. Берлацкий, который впоследствии в тюрьме сошел с ума. Других, пытавшихся сопротивляться, «вразумляли» методами физического воздействия — избивали (били по лицу, по голове, по половым органам, валили на пол и топтали ногами, душили за горло и т.п.), держали без сна на конвейере, сажали в карцер (полуодетыми и босиком на морозе или в нестерпимо жаркий без окон). Для некоторых было достаточно одной угрозы подобных воздействий, с соответствующей их демонстрацией. Для других они применялись в разной степени — строго индивидуально, в зависимости от сопротивляемости. Больше всего упорствовали А.М. Гинзбург и я.

Мы ничего не знали друг о друге и сидели в разных тюрьмах: я в северной башне Бутырской тюрьмы, Гинзбург во внутренней тюрьме ОГПУ. Но мы пришли к одинаковому выводу: мы не в силах выдержать применяемого воздействия и нам лучше умереть. Мы вскрыли себе вены. Но нам не удалось умереть. После покушения на самоубийство меня уже больше не били, но зато в течение долгого времени не давали спать. Я дошел до такого состояния мозгового переутомления, что мне стало все равно — какой угодно позор, какая угодно клевета на себя и на других — лишь бы заснуть. В таком психическом состоянии я дал согласие на любые показания. Меня еще удерживала мысль, что я один впал в такое малодушие, и мне было стыдно за свою слабость. Но мне дали очную ставку с моим старым товарищем В.В. Шером, которого я знал как человека, пришедшего в рабочее революционное движение задолго до победы революции из богатой семьи, то есть как человека безусловно идейного. Когда я услышал из уст Шера, что он признал себя участником вредительской меньшевистской организации и назвал меня как одного из ее членов, — я тут же на очной ставке окончательно сдался. Дальше я уже нисколько не сопротивлялся и писал любые показания, какие мне подсказывали следователи — Д.З. Апресян, А.А. Наседкин, Д.М. Дмитриев. В ходе следствия часть обвиняемых, в том числе и меня, вывозили для усиления средств физического воздействия в Суздаль, где содержали в старой монастырской тюрьме, предназначенной в царское время для заключения так называемых еретиков. Там, в ответ на требование написать какое-то неправдоподобное признание, я сказал следователю Наседкину: «Поймите, ведь этого никогда не было и быть не могло». Наседкин, человек очень нервный и лично в истязаниях участия не принимавший, ответил мне: «Я знаю, но Москва требует».

Было ли какое-нибудь вредительство в Наркомторге? В планировании использования товаров, в чем меня и Л.Б. Залкинда обвиняли? Не только не было, но и быть не могло. Ведь планы завоза промышленных товаров рассматривались с подробными обоснованиями на заседаниях коллегии Наркомторга. В заседаниях коллегии принимали участие ответственные и опытные партийные работники и эксперты от разных ведомств — ВСНХ, Наркомфина, крупнейших хозяйственных объединений, например, Текстильного Синдиката. Председательствовал на Коллегии А.И. Микоян, который критически, даже придирчиво просматривал каждую цифру, прежде чем согласиться на ее утверждение. О каком вредительстве в такой обстановке могла бы идти речь? Разве все, кроме меня, были слепцы? Да, я пользовался доверием Коллегии, Наркома и всех ответственных работников, меня знавших (включая Ф.Э. Дзержинского, с которым я непосредственно работал в комиссии СТО по государственным фондам, где он был председатель, а я при нем управляющим делами). Но это доверие было завоевано обоснованностью и убедительностью докладов, которые я делал, а также многими годами работы в советском государственном аппарате, начиная с его первоначальной организации, наконец, «советской политической линией», которую я проводил сперва в рядах меньшевистской партии, а затем, порвав с ней в 1920 г., когда убедился, что не смогу повернуть ее на советский путь.

В следственном деле есть показания, написанные моей рукой, в которых перечисляются вредительские акты с указанием номеров, «исходящих» из Наркомторга. Но ведь в тюрьме я ни одного документа не видел и их мне никто не показывал. Эти номера взяты «с потолка» и рассчитаны на то, что их никто не будет проверять. Но был один факт прямого нарушения мною правительственного постановления о забронировании товарных контингентов для Магнитостроя и Кузнецкстроя. И этот факт усиленно использовался следствием как центральный обвинительный материал против меня и доказательство раскрытого вредительства. Но как я совершил это нарушение? Народный комиссар торговли А.И. Микоян вызвал меня и передал устное распоряжение И.В. Сталина снять эти товарные контингенту с Магнитостроя и Кузнецкстроя и, вопреки постановлению СТО, передать их Москве. Я колебался. Но А.И. Микоян сказал: «Что? Вы не знаете, кто такой Сталин?». Нет, я знал. И, конечно, выполнил его распоряжение. А через нисколько дней в «Правде» появилась заметка о том, что Якубович не выполняет постановлений правительства и самовольно дает товарным фондам, предназначенным для Магнитостроя, другое направление. Я принес эту заметку т.Микояну. Он обещал поговорить со Сталиным. Не знаю, говорил ли. Когда меня спустя немного времени арестовали, то следователи обвинили меня во вредительстве, разоблаченном «Правдой». Я предлагал спросить Микояна, спросить Сталина. Но следователи надо мною хохотали. Вот в этом «вредительстве» я тоже «сознался». Когда «Союзное Бюро» уже было «сформировано» на междуведомственной основе, его пополняли по указанию следователей, дополнительными членами. В их числе, между прочим, оказался и В.К. Иков. Неожиданно для основных участников. Как происходило это пополнение, можно судить по примеру М.И. Тейтельбаума. Уже состав «Бюро» был определен и согласован следствием и обвиняемыми, когда меня вызвали из камеры к следователю Апресяну. В его кабинете я застал Тейтельбаума, которого никто из обвиняемых в своих по-

казаниях не называл. Я знал Тейтельбаума много лет как партийного работника социал-демократа. В прошлом он был большевиком, во время первой мировой войны перешел к меньшевикам, в 1917 г. состоял секретарем Московского комитета меньшевиков, после Октябрьской революции порвал с меньшевиками и работал в заграничном аппарате Наркомвнешторга. Когда я вошел, Апресян поднялся и вышел, оставив нас вдвоем. Тейтельбаум обратился ко мне: «Я уже давно сижу в тюрьме, меня били и требовали признания в том, что я брал взятки за границей с капиталистических фирм. Я не выдержал истязаний и «признался». Это ужасно — ужасно жить и умереть с таким позором. Но следователь Апресян вдруг сказал мне: «Может быть, вы хотите переменить показания, признаться, что участвовали в контрреволюционной организации, в меньшевистском «Союзном Бюро»? Тогда у вас будет не уголовное, а политическое преступление» — «Да, хочу», — ответил я.— «Как это сделать?» — Апресян говорит: «А я сейчас позову Якубовича, вы его знаете?» — «Знаю», — «Если он согласится принять вас в Союзное Бюро, я не возражаю. Вот он и позвал вас. Товарищ Якубович, умоляю вас, включите меня в это Союзное Бюро. Лучше я умру, как контрик, а не как меньшевик и негодяй». Тут в комнату вошел Апресян.

«Ну как, договорились?» — обратился он ко мне с усмешкой. Я молчал. На меня смотрели с мольбой глаза Тейтельбаума. «Я согласен, — сказал я, — я подтверждаю участие Тейтельбаума в Союзном Бюро». «Ну, вот и хорошо, — сказал Апресян, — пишите все показания, а старые я уничтожу». Вот так формировалось «Союзное Бюро».

Ни один из обвиняемых по делу «Союзного Бюро» не принадлежал к числу моих личных друзей и ни с кем из них я не поддерживал до возникновения этого дела дружеских отношений. В.В. Шера, в прошлом моего друга, я не встречал до этого в течение нескольких лет. Мои действительные друзья и товарищи этих лет не были названы мною и к делу «Союзного Бюро» не привлекались. Это были Ю.М. Двойлацкий, Л.Е. Гальперин, М.Л. Никифоров, И.В. Шостак. Никто из них никогда меньшевиком не был. Гальперин (по партийной кличке «Коняга») был членом ЦК большевиков во времена подполья, остальные были членами ВКП(б) в описываемое время.

За несколько дней до начала процесса состоялось первое «организационное» заседание «Союзного Бюро» в кабинете старшего следователя Д.М. Дмитриева и под его председательством. В этом «заседании» кроме 14 обвиняемых, принимали участие следователи Апресян, Наседкин, Радищев. На заседании обвиняемые знакомились друг с другом, согласовывали и репетировали свое поведение на суде. На первом «заседании» эта работа не была закончена, и оно было повторено.

Я был в смятении, как вести себя на суде? Отрицать данные на следствии показания? Попытаться сорвать процесс? Устроить мировой скандал? Кому он пойдет на пользу? Разве это не удар в спину Советской власти, коммунистической партии? Я не вступал в нее, уйдя от меньшевиков, но ведь я политически и морально был с нею и остаюсь с нею. Какие бы преступления ни совершал аппарат ОГПУ, я не должен изменять партии и государству. Не скрою, что я думал и о другом.

Если я откажусь от данных мной показаний, что со мною сделают палачи-следователи? Страшно об этом подумать. Если б только смерть! Я хочу смерти, я ее

искал и пытался умереть. Но ведь они умереть не дадут, они будут медленно пытать, пытать бесконечно долго. Не будут давать спать, пока не наступит смерть. А когда она наступит? Раньше, вероятно, придет безумие. Как на это решиться? Во имя чего? Если бы я был врагом коммунистической партии и советского государства, я нашел бы нравственную опору своему мужеству в ненависти к ним. Но ведь я не враг. Что же может побудить меня на такое отчаянное поведение на суде?

С такими мыслями и в таком душевном состоянии меня вызвали из камеры и привели в кабинет, где сидел Н.В. Крыленко, назначенный государственным обвинителем на наш процесс. Я знал Н.В. Крыленко давно, еще с дореволюционных времен. Знал близко. А в 1920 г., когда я был Смоленским губпродкомиссаром, он приезжал в Смоленск в качестве уполномоченного ЦК партии и ВЦИК Советов по наблюдению за хлебозаготовками. Некоторое время он жил в моей квартире, мы спали в одной комнате. Словом, я и Крыленко хорошо знали друг друга.

Предложив мне сесть, Крыленко сказал: «Я не сомневаюсь в том, что вы лично ни в чем не виноваты. Мы оба выполняем наш долг перед партией — я вас считал и считаю коммунистом — я буду обвинителем, вы будете подтверждать данные на следствии показания. Это наш с вами партийный долг. Но на процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Я буду рассчитывать на вас. Я попрошу председателя в случае необходимости дать вам слово. А вы найдете, что сказать». Я молчал. «Договорились?» — спросил Крыленко. Я пробормотал что-то непонятное, но в том смысле, что обещаю выполнить свой долг. Кажется, на глазах у меня были слезы. Крыленко приветственно помахал рукой. Я вышел.

На процессе действительно возникло осложнение, предвиденное Крыленко. Так называемая «Заграничная делегация» меньшевистской партии обратилась к суду с пространной телеграммой-протестом, опровергающей материалы происходящего процесса. Крыленко огласил эту телеграмму и, окончив чтение, попросил председательствующего Н.М. Шверника предоставить слово подсудимому Якубовичу. Мое положение было бы затруднительным, если бы «Заграничная делегация» в своей телеграмме, честно отвергая лживые измышления о якобы совершавшемся по ее указанию вредительстве, высказала бы сочувствие к обвиняемым, вынужденным насилием давать ложные показания. Что мог бы я противопоставить таким заявлениям? Но «Заграничная делегация» сама облегчила мою роль. Отвергая обвинительный материал, она вместе с тем заявила, что подсудимые не имеют и никогда не имели никакого отношения к социал-демократической меньшевистской партии, что это не более как провокаторы, подкупленные Советским правительством.

Тут уж я мог говорить правдиво и честно, изобличая «Заграничную делегацию» во лжи и лицемерии, напоминая о роли и заслугах в истории меньшевистской партии ряда подсудимых и обвиняя меньшевистское руководство в измене революции и предательстве интересов социализма и рабочего класса.

Я говорил с эмоциональным подъемом и силой убеждения. Это была одна из моих лучших политических речей. Она произвела большое впечатление на аудиторию переполненного Колонного зала (я это чувствовал по моему ораторскому опыту) и, пожалуй, была кульминационным пунктом процесса — обес-

печила его политический успех и значение. Мое обещание, данное Н.В. Крыленко, было выполнено.

На другой день, начиная свои показания перед судом, А.Ю. Финн-Енотаевский заявил, что он полностью присоединяется ко всему сказанному мною в адрес «Заграничной делегации» и добавил, что я выступал в данном случае от имени всех обвиняемых.

Процесс прошел гладко — с внешним правдоподобием, несмотря на допущенные следствием грубые ошибки в его монтировании. В особенности в эпизоде с якобы имевшим место нелегальным приездом в Советский Союз члена меньшевистского ЦК Р.А. Рейн-Абрамовича. Надо было знать Абрамовича, как знал его я, чтобы понять всю нелепость утверждения о возможности его нелегального приезда в СССР. Во всем составе «Заграничной делегации» не было человека, менее способного на подобный риск. Как на предварительном, так и на судебном следствии мне удалось уклониться от подтверждения моего свидания с ним. Но Громан и некоторые другие подсудимые наперебой рассказывали о своих с ним встречах. Я слышал впоследствии, что Абрамович опубликовал на Западе неопровержимые доказательства своего алиби.

В своей обвинительной речи Крыленко потребовал применения высшей меры наказания к пяти подсудимым, включая меня. Он не оскорблял меня в этой речи — сказал, что не сомневается в моей личной честности и бескорыстности, назвал меня «старым революционером», но характеризовал меня, как фанатика своей идеи, а идеи мои признал контрреволюционными. Поэтому и требовал моего расстрела. Я был ему благодарен за данную им мне характеристику, за то, что он не унижал меня перед смертью, не смешивал с грязью.

В своей защитительной речи я сказал, что преступления, в которых я сознался, заслуживают высшей меры наказания, что требования государственного обвинителя не являются преувеличенными, что я не прошу у Верховного Суда сохранения мне жизни. Я хотел умереть. После дачи мною ложных показаний на следствии и на суде я ничего не хотел кроме смерти — не хотел жить, покрытый позором. Когда после выступления я садился на место на скамье подсудимых, Громан, сидевший рядом со мной, схватил меня за руку и в гневе и отчаянии проговорил полушепотом: «Вы с ума сошли! Вы нас всех губите! Вы не имели права перед товарищами так говорить!»

Но нас не приговорили к смерти.

Когда после приговора нас выводили из зала, я столкнулся в дверях с А.Ю. Финн-Енотаевским. Он был старше по возрасту всех подсудимых и старше меня на двадцать лет. Он мне сказал: «Я не доживу до того времени, когда можно будет сказать правду о нашем процессе. Вы моложе всех, у вас больше, чем у всех остальных, шансов дожить до этого времени. Завещаю вам рассказать правду».

Исполняя это завещание моего старого товарища, я пишу эти объяснения и давал устные показания в Прокуратуре СССР.

Михаил Якубович
5.V.1967 г.

Источник: самиздатская рукопись.

ЛидияЧуковская

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 126)

В газету «Известия»

НЕ КАЗНЬ, НО МЫСЛЬ. НО СЛОВО

(К 15-летию со дня смерти Сталина)

В наши дни один за другим следуют судебные процессы: под разными предлогами — открыто, прикрыто и полуприкрыто — судят слово, устное и письменное; судят книги, написанные дома и напечатанные за границей; судят журнал, напечатанный на родине, но не в типографии; судят сборник документов, изобличающих беззаконие суда; судят выкрик на площади в защиту арестованных. Слово подвергают гонению как бы для того, чтобы еще раз подтвердить старую истину, полюбившуюся Льву Толстому: «Слово — это поступок». Наверное, слово и в самом деле поступок, и притом сокрушительный, если за него дают годы тюрьмы, и лагеря, если целыми годами, а то и десятилетиями, не в силах пробиться в свет, к читателю, великая поэзия и великая проза — романы, поэмы, стихи, повести,— насущно необходимые каждому. Я бы сказала: необходимые как хлеб, но на самом деле своей пронзительной правдой они нужнее, чем хлеб. И быть может, потому, что слово истины не в силах прозвучать, сделаться книгой, а через книгу и душой человеческой, что оно насильственно загнано внутрь, остановлено — быть может, потому с такой остротой ощущаешь искусственность, фальшивость, натянутость иных напечатанных, легко достигающих читателя слов.

Попалось мне недавно в журнале одно маленькое стихотворение. Оно сильно задело меня. Незначительное само по себе, оно выражает строй мыслей и чувств, весьма распространенных сегодня, и при этом глубоко ложных.

Начинается оно тревожащим сердце вопросом:

> Несчетный счет минувших дней
> Неужто не оплачен? –
> а кончается утешающим выводом:
> И он с лихвой, тот длинный счет,
> Оплачен и оплакан.

Утешительность вывода — она-то и задела меня. Меньше всего нужны нам сейчас утешения и больше всего разбор прошлого, бередящий память и совесть... Если поверить автору, в нашем нравственном балансе, после всего пережитого все, слава Богу, обстоит благополучно: концы сведены с концами. О чем же еще говорить?

А говорить есть о чем. Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоящее, определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы.

Бывают счета неотвратимые — и в то же время неоплатные. Писать об оплаченном счете, когда речь идет о нашем недавнем прошлом,— кощунство. По какому это прейскуранту могут быть оплачены Норильск и Потьма, Караганда и Магадан, подвалы Лубянки и Шпалерной? Как и чем оплатить муки и гибель каждого из невинных — а их были миллионы! — почем с головы? И кто имеет право сказать: счет оплачен? Пожалуй, уж лучше бы нам не браться за счеты! Оплатить такой счет — это вообще никому не под силу по той простой причине, что человечество не научилось воскрешать мертвых.

А кто оплатит обманутую веру людей в заветные пять слов: «У нас зря не посадят»? Веру: если Иваны Денисовичи сидят за решеткой — стало быть, они в самом деле враги. Надо сознаться, великолепно работала в прошлом машина провокации — радио, собрания, газеты,— столь четко и бесперебойно, что, случалось, даже честные люди становились ожесточенными гонителями невинных. Жены отрекались от мужей, дети от отцов, друзья от лучших товарищей. Ведь они, эти обманутые, тоже в своем роде жертвы… Жертвы организованной лжи. Не применимы ли к ним слова, сказанные о других временах:

– Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Чем же оплатить массовое, организованное душевредительство, разврат пера, распутство слова? Казалось бы, если и можно, то только одним: полнотой, откровенностью правды. Но правда оборвана на полуслове, сталинские палачества вновь искусно прикрываются завесой тумана. Она плотнеет у нас на глазах.

Жажда самой простой, элементарной справедливости осталась неутоленной. Вдовам погибших выданы справки, что мужья их были арестованы понапрасну, и посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления. Хорошо. Такие же справки — об отсутствии состава — выданы тем из заключенных, кому посчастливилось уцелеть. Отлично. Они вернулись. Но где же те, кто был причиной всего пережитого? Те, кто изобрел составы преступлений для миллионов людей? Те, кто фабриковал одну за другой фантастические повести под названием «следственное дело»? Те, кто давал приказ чернить осужденных в газетах? Кто эти люди, где они и чем заняты сегодня? Кто, когда, где подсчитал их преступления, совершавшиеся обеспеченно, спокойно, методически — изо дня в день, из года в год? И им, этим преступникам, какие и кем выданы справки?

Видимо — никем, никакие, иначе не случилось бы, что изданием стихов ведает человек, повинный в гибели поэтов; что на торжественном заседании в президиуме красуется писатель, который писал преимущественно доносы; что пенсию за труды праведные получает седовласый, почтенный старец, в прошлом — губитель Вавилова или Мейерхольда… Туман, туман!

Счет оплакан, говорится в стихотворении. Правда, пролились океаны слез. Но лились они украдкой, в подушки… День железнодорожника, День летчика, День танкиста — а где же День Траура по невинно замученным? Где братские могилы, памятники с именами погибших, кладбища, куда родные и друзья могут в поминальный день приходить открыто плакать с венками и букетами цветов? Где, наконец, списки тех, кто заказывал доносы, тех, кто исполнял эти заказы, тех, кто… но довольно. Над могилами уместны тишина и скорбь.

Нет, не об отмщении речь, я не предлагаю зуб за зуб. Месть не прельщает меня. Я не об уголовном, а об общественном суде говорю. Потому что хотя доносчики, палачи, провокаторы вполне заслужили казнь, но народ наш не заслужил, чтобы его питали казнями.

Пусть из гибели невинных вырастет не новая казнь, а ясная мысль. Точное слово.

Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос. Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель «уплачено», а распутать клубок причин и следствий, серьезно и тщательно, петля за петлей, его разобрать... Миллионы крестьянских семей, тружеников, выгнанных на гибель, на Север, под рубриками «кулаки» и «подкулачники». Миллионы горожан, отправленных в тюрьмы, в лагеря, а иногда и прямо на тот свет под рубриками «шпионы», «диверсанты», «вредители». Целые народы, обвиненные в измене и выгнанные с родных мест на чужбину.

Что привело нас к этой небывалой беде? К этой совершенной беззащитности людей перед набросившейся на них машиной? К этому невиданному в истории слиянию, сплаву, сращению органов государственной безопасности (ежеминутно, денно и нощно, нарушавших закон) с органами прокуратуры, существующей, чтобы блюсти закон (и угодливо ослепшей на целые годы),— и, наконец, с газетами, призванными защищать справедливость, но вместо этого планомерно, механизированно, однообразно извергавшими клевету на гонимых — миллионы миллионов лживых слов о ныне разоблаченных матерых подлых врагах народа, продавшихся иностранным разведкам? Когда и как оно совершилось, это соединение, несомненно самое опасное изо всех химических соединений, ведомых ученым? Почему оно стало возможным? Тут огромная работа для историка, для философа, для социолога. А прежде всего для писателя. Это главная сегодняшняя работа — и притом безотлагательная. Срочная. Надо звать людей, старых и молодых, на смелый труд осознания прошедшего, тогда и пути в будущее станут ясней. И нынешние суды над словом не состоялись бы, если бы эта работа оказалась проделанной вовремя.

Убийство правдивого слова — оно ведь тоже идет оттуда, из сталинских окаянных времен. И было одним из самых черных злодейств, совершаемых десятилетиями. Утрата права на самостоятельную мысль затворила в сталинские времена дверь для сомнения, вопроса, вопля тревоги и отворила ее для самоуверенной, себя не стыдящейся многотиражной и многорупорной лжи. Ежечасно повторяемая ложь мешала людям узнать, что творится в их родной стране с их согражданами,— одни не знали простодушно, по наивности, другие оттого, что им очень уж не хотелось знать. Тот же, кто знал или догадывался, тот обречен был молчать под страхом завтрашней гибели — не каких-нибудь там неприятностей по службе, безработицы или нужды, а обыкновенного физического истребления.

Вот какой великий почет был в ту пору оказан слову: за него убивали.

...На могилах погибших, сказала я, должна вырасти не новая казнь, не казнь их губителей, а ясная мысль. Какая же? Может быть, эта?

Уж раз мы выжили...
Ну что ж, судите, виноваты!
Все наше: истина и ложь,
Победы и утраты,
И срам, и горечь, и почет,
И мрак, и свет из мрака...

Нет, не эта. Рассуждение соблазнительное, но принять его нельзя. Оно служит запутыванию клубка, а не попытке его распутать. Истина и ложь не близнецы, и никому не удавалось быть мраком и светом зараз. В каждом конкретном жизненном положении кто-то светил, а кто-то гасил свет. И хуже: кто-то был злодеем, а кто-то жертвой.

Мы были молоды, горды,
А молодость – из стали,
И не было такой беды,
Чтоб мы не устояли,
И не было такой войны,
Чтоб мы не победили.
И нет теперь такой вины,
Чтоб нам не предъявили.

Здесь две неправды. Во-первых, такая беда, перед которой мы не устояли и от которой не спасли страну, была. Имя ей — сталинщина. Это раз. Что же касается вин, которые теперь будто бы кто-то, где-то, кому-то предъявляет, то хотелось бы знать: кто, где и кому? О винах, предъявленных сегодня нашему вчера, что-то не слыхать... Приняли, подхватили:

Да, все, что с нами было,– Было!
И глубже ни шагу.

А между тем изо всего, что «с нами было — было», естественно, растет ясная простая мысль. Она известна всем с изначальных времен, но нам придется воспринять и усвоить ее заново. Столетие назад Герцен изо дня в день повторял ее в «Колоколе»: без свободного слова нет свободных людей, без независимого слова нет могучей, способной к внутренним преобразованиям страны. «Громкая, открытая речь одна может удовлетворить человека»,— писал Герцен. «Только выговоренное убеждение свято»,— писал Огарев. Молчание же для них — синоним рабства, «склонение головы». Герцен писал о «сообщничестве молчанием». «Немота поддерживает деспотизм».

Судебные процессы последних лет — и последних месяцев — вызвали среди людей разных возрастов, разных профессий громкий отпор. В нетерпимости к сегодняшним нарушениям закона сказывается наболевшее негодование людей против самих себя, какими они были вчера, и против вчерашних тисков. За молодыми плечами нынешних подсудимых, нам, старшим, видятся вереницы

теней. За строчками рукописи, достойной печати и не идущей в печать, нам мерещатся лица писателей, не доживших до превращения своих рукописей в книги. А за сегодняшними газетными статьями — те, вчерашние, улюлюкающие вестники казней.

«Освобождение слова от цензуры» — таков был один из девизов «Колокола». В последний раз «Колокол» вышел сто лет назад — в 1868 году. Столетие! С тех пор цензура сделалась менее зримой, но всепроникающей. Она располагает десятками способов, не прибегая к красному карандашу, заживо схоронить неугодную рукопись.

Пусть же сбудется освобождение слова от всех кандалов, как бы они ни назывались. Пусть сгинет немота — она всегда поддерживала деспотизм.

А память пусть останется вечной, неистребимой, вопреки будто бы оплаченному счету. Память — драгоценное сокровище человека, без нее не может быть ни совести, ни чести, ни работы ума. Большой поэт — сам воплощенная память. Приведу строки того поэта, который не пожелал расстаться с памятью не только при жизни, но и за порогом смерти:

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

Память о прошлом — надежный ключ к настоящему. Перечеркнуть счет, дать прошедшему зарасти бурьяном путаницы, недомолвок, недомыслей? Никогда!

Впрочем, если бы нам и изменила память, сегодняшние суды над словом и сухой треск газетных статей донесли бы до нас знакомый запах прошлого угара.

Но сегодня — это сегодня, не вчера. «Сообщничество молчанием» кончилось.

Февраль 1968 года

Источник: Л. Чуковская. Процесс исключения. / Международная ассоциация деятелей культуры «Новое время» и журнал «Горизонт». М.: 1990.

Владимир Ленин

ПИСЬМО ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО

Товарищу Молотову для членов Политбюро.

Строго секретно. Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои заметки на самом документе.

По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим тоном борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно.

Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно РОСТА переслало в газеты не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей.

Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании Патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент.

Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. Событие в Шуе лишь одно из проявлений этого плана. Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и потому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое

отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечивало бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием церковных ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.

Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших заграничных противников среди русских эмигрантов, то есть эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:

Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин. Никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно поэтому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает).

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы про-

цесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров.

Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно.

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКО и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.

Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, то есть на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение всей этой операции было обеспечено и проводилось в общесоветском и общенародном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах.

19 марта 1922 г.

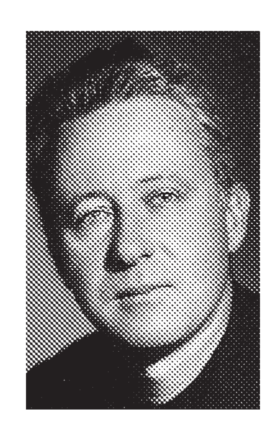
Ленин.

Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруговую сегодня же вечером (не снимая копий) и просить их вернуть Секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того, согласен ли с основою каждый член Политбюро, или письмо возбуждает какие-нибудь разночтения.

Ленин.

Источник: Под «*крышей*» мавзолея. В.А. Солоухин. При свете дня; И.Б. Збарский. От России до России, Тверь: ПОЛИНА, 1998.

Медведев
Жорес Александрович
(Род. 1925)



Биолог, писатель.

Родился в Тбилиси в 1925 г. в семье комиссара Красной Армии, репрессированного в 30-х годах и погибшего в колымских лагерях. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. Выступал против режима, созданного в биологической науке Лысенко и его присными, цензуры почтовых отправлений, заключения инакомыслящих в психиатрические больницы. Написанные на эти темы статьи были широко распространены в Самиздате. В мае 1970 г. за свою политическую деятельность был помещен в Калужскую психиатрическую больницу. Его брат Рой развил бурную деятельность по освобождению брата: выпускал ежедневный бюллетень о положении дел («Информация для друзей» 30 мая – 6 июня 1970 года), собирал подписи под письмами в его защиту. В результате благодаря массовым протестам как внутри страны, так и за рубежом, Жорес был вскоре освобожден.

В 1973 г. Жорес Медведев выехал в Англию и был лишен советского гражданства. Рой Медведев сделал завление по этому поводу, сказав иностранным корреспондентам, что лишение гражданства его брата – «незаконно и абсурдно», он опроверг сообщение ТАСС, будто его брат допускал незаконные действия в СССР и за рубежом. В 1990 г. гражданство ему было возвращено, однако на родину он не вернулся.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

<...>

Исторический разгром советской биологии в 1948-50 гг. и его последствия

Знаменитую сессию ВАСХНИЛ в августе 1948 г. называют исторической. И это действительно так — августовская сессия навсегда вошла в историю науки и человечества. И она никогда уже не будет забыта. Она останется в летописи человеческой истории, но только как пример бессмысленного уничтожения достижений биологической науки в масштабах огромного государства, как пример произвола и надругательства над убеждениями ученых. Эту сессию будут всегда вспоминать, но лишь как гигантский погром и великий обман, отбросившие советскую биологическую науку на десятилетия назад и на много лет остановившие развитие сельского хозяйства нашей родины в угоду небольшой группе невежественных людей.

Сразу же после этой сессии, на основании надуманных, клеветнических и извращенных обвинений в идеализме, реакционности, морганизме, вейсманизме, пособничестве империализму и буржуазии, менделизме, антимичуринстве, низкопоклонстве перед Западом, вредоносности, расизме, космополитизме, формализме, бесплодности, антимарксизме, антидарвинизме, отрыве от практики и т. д., — были уволены с работы или понижены в должности около трех тысяч ученых — лучших и наиболее квалифицированных представителей советской биологии. Вина этих ученых состояла только в одном — они не всегда были согласны с идеями и гипотезами, которые выдвигались Лысенко, Презентом, Глущенко, Ольшанским и рядом других представителей этой группы. Одновременно и в связи с этим увольнялись и противники травопольной системы земледелия Вильямса.

<…>

Мы должны посмотреть правде в глаза для возрождения нашей биологической науки, для возрождения многих прогрессивных направлений, ошельмованных в 1948 г. и шельмуемых по традиции до настоящего времени. Но это, пожалуй, не только традиция. Слишком много людей связали свою карьеру и обеспечивали свое положение в науке преследованием своих оппонентов, слишком много людей изменили свои убеждения под влиянием принуждения, низости души или борьбы между партийной дисциплиной и научной совестью (членов партии в ряде учреждений ставили перед альтернативой — заявить об отказе от менделизма-морганизма или выйти из рядов партии). И этим людям хочется думать, что это было сделано не напрасно. Но иллюзии обманутых недолговечны, а произвол — это не метод науки. Рано или поздно, но нам нужно взглянуть в глаза беспощадной правде и чем раньше это будет сделано, тем это будет лучше для советской науки.

<…>

Дискуссия по проблемам дарвинизма захватила многих ученых, и очень скоро выяснилось, что позиция Лысенко и его последователей в этой дискуссии была явно слабой и натянутой и фактически мало обоснованной. Она граничила с простой фальсификацией науки. Выяснилось, кроме того, что ни Лысенко, ни его сторонники не обладали достаточной эрудицией для того, чтобы вести эту дискуссию на принципиальном уровне серьезной науки. И тогда Лысенко вновь сорвался на демагогию, на политический шантаж, отнеся всех несогласных с его гипотезой к защитникам империализма. На страницах «Литературной газеты» он опубликовал в 1947 г. вздорную статью, <…> [которая] от начала до конца вульгарное смешение общественных и биологических закономерностей и искажение смысла критики в адрес самого Лысенко, осуществляемое умышленно для целей демагогических, это, наконец, грубый поклеп на Дарвина, действительного автора концепции о внутривидовой конкуренции. Однако эта неумная и грубая демагогия не имела, конечно, серьезного успеха, она вызвала лишь еще большую оппозицию ученых.

<…>

Против Лысенко в ряде докладов выступил даже молодой Ю. Жданов, в то время зав. отделом науки ЦК ВКП(б). Но после одобрения доклада Лысенко Сталиным, Жданову пришлось покаяться в своих грехах в специальном письме к Сталину от 7 июля 1948 г., опубликованном в «Правде» от 7 августа, в последний день сессии ВАСХНИЛ:

«С первого же дня моей работы в отделе науки ко мне стали являться представители формальной генетики с жалобами на то, что полученные ими новые сорта полезных растений (гречиха, кок-сагыз, герань, конопля, цитрусы), обладающие повышенными качествами, не внедряются в производство и наталкиваются на сопротивление сторонников акад. Лысенко. Ошибка моя состояла в том, что, решив взять под защиту эти практические результаты, которые явились «дарами данайцев», я не подверг беспощадной критике коренные методологические пороки менделевско-моргановской генетики. Сознаю, что это деляческий подход к практике, погоня за копейкой».

К этому времени стало ясно, что и руководимая Лысенко ВАСХНИЛ работала крайне неудовлетворительно, она превратилась в личную канцелярию Лысенко. Выборы академиков не проводились, с 1935 г. и проводить их никто не собирался, ибо большинство академиков отрицательно относились к деятельности своего президента. Для Лысенко и его группы настали тяжелые времена. На рассмотрение оргбюро ЦК ВКП(б) секретарь ЦК А. Жданов весной 1948 г. внес вопрос об укреплении руководства ВАСХНИЛ, что предполагало снятие акад. Лысенко с поста президента. На одном из заседаний оргбюро ЦК КПСС А. Жданов подверг Лысенко резкой критике. Необходимо было что-то необычайное, чтобы изменить ситуацию, необходим был какой-то грандиозный погром, санкционированный Сталиным. Именно в этот период Лысенко и его ближайшие единомышленники оживили ложную концепцию о классовой биологии, о необходимости коренных, принципиальных, непримиримых различий между биологиями социалистических и капиталистических стран. Естественно, что к лику истинно советских биологов Лысенко причислил себя и своих товарищей, а всех своих противников зачислил в ряды реакционеров и проповедников буржуазной идеологии.

<...>

Эту обстановку и использовал Лысенко, объявив классическую генетику оружием реакционного американского империализма. В 36-37 гг. таким же пугалом был, как видим, расизм гитлеровского фашизма. Эту вздорную идею Лысенко сумел довести до Сталина и получить его санкцию на организацию до мелочей продуманного погрома. Сессия ВАСХНИЛ 1948 г., с основным докладом Лысенко «О положении в биологической науке», уже не была научной дискуссией. Она представляла собой одностороннюю политическую погромную кампанию, ничего общего не имевшую с реальными задачами советской науки и исключительно вредную по последствиям. Не имея большинства среди академиков ВАСХНИЛ, Лысенко, пользуясь основанной на дезинформации поддержкой Сталина, добился вневыборного назначения СНК большей части своих сторонников академиками ВАСХНИЛ. Это беспрецедентное административное назначение группы сторонников Лысенко было проведено тайком, без вся-

кого предварительного обсуждения кандидатур научной общественностью, по списку, предварительно представленному Лысенко. В этом акте отразилось недоверие его к советским ученым и к советской общественности.

<...>

Тайком, по секрету от научной общественности, был утвержден в ЦК ВКП(б) и доклад Лысенко на этой сессии. Одобрение этого доклада в ЦК было осуществлено, конечно, не пленумом ЦК, по-видимому далее не Политбюро в целом, а Сталиным, Молотовым, Маленковым и некоторыми другими членами Политбюро.

Организация этой сессии ВАСХНИЛ переплетается с рядом явлений «на высшем уровне», непосредственно относящихся к коварному стилю работы Сталина. А. Жданов, в то время второй человек в стране после Сталина, относился к деятельности Лысенко весьма отрицательно и подверг его серьезной критике. Вопрос об освобождении Лысенко весной 1948 г. был уже практически предрешен. Однако молодой Жданов-сын, занявший свой высокий пост заведующего отделом науки ЦК ВКП(б) сразу со студенческой скамьи, в 25 лет, слишком поспешил со своим докладом и резкой критикой Лысенко. По-видимому, он решил, что дни Лысенко сочтены и захотел завоевать себе популярность и лавры победителя. Доклад Ю. Жданова с критикой Лысенко случайно слушал заместитель председателя Общества по распространению политических и научных знаний Митин, философ, немало способствовавший победе лысенкоизма. Сразу же после доклада Жданова Лысенко и Митин предприняли демарш перед Сталиным, апеллируя к защите «материалистической биологии» и с жалобой на Ю. Жданова и А. Жданова. Оценивая реакцию Сталина на этот демарш, нельзя не учесть, с одной стороны, наличия известного «охлаждения» в отношении Сталина к Жданову в этот период и антагонизма между Ждановым и Маленковым и Берия с другой стороны.

А. Жданов был типичным «сталинистом», но в тот период он был наиболее яркой фигурой в ЦК ВКП(б) и его авторитет сильно возрос после 1946 г., когда он заменил Маленкова на посту первого секретаря ЦК. А. Жданов приобрел популярность своими выступлениями и докладами по теоретическим и идеологическим вопросам, которые, будучи типичными для сталинизма по форме, стилю и содержанию, были, несомненно, выше аналогичной продукции самого Сталина. А. Жданова начали очень широко цитировать, почти наравне с классиками марксизма. Это вызывало ревность Сталина, чему Маленков и Берия всячески способствовали. Однако у Сталина не было даже элементарного повода для расправы с Ждановым. Жалоба Лысенко и Митина и явилась для Сталина подходящим предлогом для недовольства А. Ждановым, которое было выражено Сталиным на одном из заседаний в резкой форме. Возвеличение Лысенко до небывалых размеров и публикация в «Правде» покаяния Ю. Жданова были явной пощечиной А. Жданову. А. Жданов уехал в отпуск, после того, как в начале июля его сын был вынужден покаяться Сталину и, как известно, внезапная смерть оборвала жизнь Жданова всего три недели спустя после «исторической» сессии ВАСХНИЛ.

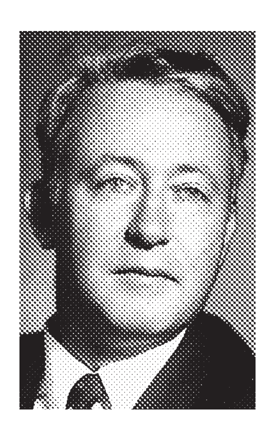
Через несколько лет после сессии, в связи со смертью Сталина, Лысенко в

статье «Корифей науки» сообщил, что Сталин «непосредственно редактировал проект доклада «О положении в биологической науке», подробно объяснил мне свои исправления, дал указания, как излагать отдельные места» («Правда» от 6 марта 1953 г.). Таким образом, становится совершенно ясным, что Лысенко, задолго до дискуссии обратился к Сталину с просьбой санкционировать планируемый им разгром генетиков и инакомыслящих и получил эту санкцию. (Доклад свой на сессии с личными поправками Сталина — сначала оригинал, а затем фотокопию — Лысенко хранил у себя в кабинете и несколько лет показывал его своим посетителям).

Характер организации сессии и доклад Лысенко с самого начала вызвали настороженность, и противников Лысенко приходилось буквально принудительно заставлять выступать. Характерно также, что свое «сенсационное» сообщение о том, что его доклад утвержден ЦК, Лысенко преподнес, как говорится, под занавес, в своем заключительном слове. Всё это свидетельствует о том, что августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 г. была запланирована и проведена Лысенко и его единомышленниками не как научная дискуссия, а как политическая провокация для разгрома своих научных противников.

<...>

Источник: Ж.А. Медведев. Биологическая наука и культ личности. // «Грани», 1969. № 71.



Медведев Рой Александрович

(Род. 1925)

Историк, писатель, публицист, политический деятель.

Брат-близнец Жореса Медведева. Окончил философский факультет Ленинградского университета. Кандидат пед. наук, доктор ист. наук, профессор. Работал учителем средней школы в Свердловской области (1951-54), директором школы-семилетки в Ленинградской области (1954-57), заместителем главного редактора Учпедгиза (1958-61), заведующим сектором НИИ производственного обучения АПН СССР (1961-70).

Рой Медведев издавал самиздатский журнал «Политический дневник» (1964 – 1970) *(см. ниже)*, самиздатский альманах «XX век» (1975-76). В 1969 г. он был исключен из КПСС за распространение своей книги «К суду истории: генезис и последствия сталинизма». 19 марта 1970 г. Медведев вместе с Андреем Сахаровым и Валентином Турчиным опубликовал «Письмо руководителям партии и правительства» *(стр. 324)*. В 70-х он дважды подвергался обыскам, неоднократно допрашивался в КГБ. В ноябре 1973 г. Рой Медведев опубликовал статью «Проблема демократизации и проблема разрядки», в которой утверждал, что разрядка международной напряженности является одним из наиболее важных факторов в развитии обеспечения прав человека в СССР, и высказывал мнение, что выступления западных и советских деятелей, направленные на защиту прав человека в СССР, могут препятствовать эффективной разрядке и в конечном счете замедляют процесс развития в СССР обеспечения прав человека. Против этой статьи выступили А. Сахаров, А. Солженицын, М. Агурский, В. Максимов, В. Чалидзе, что, впрочем, не помешало Медведеву резко осудить высылку Соженицына из СССР в 1974 г. *(см т. 3, стр. 7)*. После того, как в начале 1983 г. Медведев отказался подписать в КГБ «Официальное предостережение», у его квартиры был установлен милицейский пост, снятый только в 1985 г.

В 1989 г. Рой Медведев был восстановлен в партии и на Первом Съезде народных депутатов избран членом Верховного Совета СССР, однако отказался стать членом Межрегиональной депутатской группы. В июле 1990 г. на XXVIII съезде был избран членом ЦК КПСС, вошел в состав Программной комиссии партии. После запрета КПСС участвовал в создании левых политический сил, в частности, в 1993 г. стал соучредителем и сопредседателем Социалистической партии трудящихся.

* * *

С 1964 по 1970 год Рой Медведев ежемесячно издавал машинописный журнал, получивший на Западе название **«Политический дневник»**. Позднее Рой Медведев сообщил, что источниками информации были несколько его высокопоставленных друзей (вплоть до работников журнала «Коммунист», органа ЦК КПСС).

В 1972 г. он был издан на Западе фондом им. Герцена. Журнал печатался в пяти экземплярах и регулярными читателями были около сорока знакомых Роя Медведева. Однако распространялся он гораздо шире. В первые выпуски вошли материалы о смещении Хрущева и о попытках нового руководства реабилитировать Сталина. Позднее образовались постоянные разделы: «Обзор главных событий за месяц», «Письма, статьи и рукописи», «Из литературной жизни», «Из прошлого», «Заметки на экономические темы», «Национальные проблемы».

Чтобы читатель мог составить некоторое представление о журнале, ниже приводится содержание двух номеров «Дневника».

№3. Декабрь 1964: 1. К освобождению Н.С. Хрущева от руководства страной партией; 2. А.И. Микоян об октябрьском пленуме ЦК КПСС и о Хрущеве; 3. Письмо рабочего А.И. Сбитнева в журнал «Коммунист»; 4. О «культе» Н.С. Хрущева; 5. Хрущев о временах культа Сталина; 6. Н.С. Хрущев как государственный деятель и как человек; 7. Об ответственности за преступления периода культа личности; 8. Об ответственности за репрессии в философской науке; 9. Из стихотворения М. Рыльского «Зимние записки»; 10. Об ответственности работников сталинских лагерей.

№7 за апрель 1965 г. имел уже следующий вид**:**

О некоторых событиях месяца.

1. Семинар пропагандистов в МК КПСС; 2. Семинар преподавателей вузов; 3. Вновь поднимается вопрос о Сталине

О некоторых статьях, письмах и рукописях.

1. Об одной статье Артура Шлезингера; 2. Заметка М. Шагинян «Страницы прошлого»; 3. Из воспоминаний Д. Витковского; 4. Из фельетона М. Салтыкова-Щедрина «Легковесные» (1868 г.); 5. О статье писателя Е. Замятина «Цель».

Из истории.

1. Смерть Л. Мартова: Убийство Игнатия Рейса; 2. О трагической судьбе Г.И. Мясникова и его семьи; 3. Эсеры после революции; 4. Христиан Раковский; 5. Оппозиция в 1927 году; 6. А. Эйнштейн о последствиях автократии; 7. История одного из стихотворений О. Мандельштама; 8. XX-й съезд КПСС.

***

Книга «К суду истории» была едва ли не самым объемным произведением Самиздата (в последних вариантах свыше 1000 страниц). В ней с ортодоксальных марксистских позиций автор излагал историю страны и партии. Все произошедшее перерождение он считал извращением идей Маркса и Ленина со стороны Сталина и его окружения и призывал вернуться к ленинским нормам внутрипартийной жизни. Эта позиция была весьма распространена среди определенной части интеллигенции. Однако, несмотря на предвзятость позиции, книга содержала большой фактический материал о преступлениях режима и пользовалась большой популярностью в Самиздате. Опубликованная в 12 странах мира в 70-х годах, в СССР книга «О Сталине и сталинизме» была издана только в 1990 г.

Ниже приводится текст об истории создания этой книги, написанный автором для издания 1990 года.

К СУДУ ИСТОРИИ. О СТАЛИНЕ И СТАЛИНИЗМЕ

От автора

Книга, которую я предлагаю вниманию читателей, — одна из моих главных книг, посвященных сталинизму. Около двадцати лет я готовился в той или иной форме к ее написанию; а затем более двадцати пяти лет работал непосредственно над ней, собирая по крупицам, а иногда и целыми пригоршнями свидетельства, факты и документы из истории сталинизма, размышляя над ними, обсуждая их с друзьями и единомышленниками и полемизируя с оппонентами. Я встречался и подробно беседовал с прошедшими сталинские тюрьмы и лагеря старыми большевиками, в том числе с немногими оставшимися в живых участниками оппозиций, а также с чудом выжившими бывшими эсерами, анархистами и меньшевиками, беспартийными техническими специалистами, с бывшими военными, учеными, писателями, журналистами, партийными работниками, простыми рабочими и крестьянами, с теми, кого называли «кулаками», и теми, кто их «раскулачивал», со священнослужителями и простыми верующими, с бывшими чекистами, с вернувшимися в Советский Союз эмигрантами и с теми, кто собирался уехать из СССР.

С тех пор, как я начал думать о политических реальностях нашей страны и всего мира (люди моего поколения размышлять об этом начали очень рано), я считал себя сторонником социальной справедливости и социализма. Однако я никогда не был слепым сторонником какой-либо политической или социальной доктрины. Действительность была слишком жестокой, и я тяжело переживал не только трагедию, обрушившуюся в 1938 г. на нашу семью, но и драматические события войны 1941 — 1945 гг., в которой мне пришлось если не прямо, то косвенно участвовать. Я достаточно хорошо понимал, что социализм, каким бы мне хотелось его видеть, — это еще далекий идеал, тогда как реальная жизнь народных масс все еще полна несправедливостей и страданий. Разобраться в окружавшей меня противоречивой действительности и искать пути к ее изменению и улучшению, не исключая и изменений в господствующих тогда идеологических концепциях, давно стало целью и стимулом моей жизни и деятельности, определило выбор философии как моей главной специальности, а истории и педагогики как первых областей моей практической деятельности. Уже в 50-е гг. я начал думать о написании большой книги по истории советского общества, но только в 1964 г. смог обсуждать ее черновые варианты со многими своими друзьями, а также в кабинете директора Института марксизма-ленинизма, главного редактора Издательства политической литературы и в некоторых кабинетах ЦК КПСС. В начале 1969 г., когда был завершен одиннадцатый вариант рукописи, я решил опубликовать ее за границей. Главной причиной такого решения были реальная угроза реабилитации Сталина, с одной стороны, а также угроза репрессий против меня и моего брата Жореса — с другой.

Первое издание книги увидело свет в США под названием «Let History Judge» («Пусть история судит»), а в 1972 — 1973 гг. под другими названиями она вышла также в ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Японии и позднее в Ис-

пании. Новое расширенное издание появилось на русском языке в 1974 г. в СТА и позднее на китайском языке в Пекине.

Опубликование книги вызвало множество рецензий, критических отзывов, обсуждений, в основном доброжелательных. Но я не мог считать затронутые в ней темы исчерпанными и продолжал работать как историк и философ по многим направлениям. Во-первых, сам факт издания книги в разных странах и распространения ее в СССР стал причиной того, что ко мне начали поступать различного рода документы и материалы, не известные мне книги и статьи 20 — 30-х гг., а также недавно написанные мемуары, авторы которых хотели бы сообщить то или иное свидетельство или высказать свое мнение по больным для нашего общества вопросам.

Во-вторых, работа над другими проблемами советской истории, а также исследование структуры и особенностей советского общества позволили мне издать в 1972- 1989 гг. еще несколько работ, в которых я рассматривал природу сталинизма, его предпосылки и последствия, а также судьбы отдельных противников Сталина и людей из его ближайшего окружения. В-третьих, именно в последние годы я имел возможность прочитать многие книги о Сталине и эпохе Сталина, о проблемах сталинизма и советской истории в целом, которые были опубликованы западными советологами. Я говорю о книгах Р. Такера, А. Улама, Р. Конквеста, С. Коэна, Б. Суварина, Л. Шапиро, Ж.Ж. Мари, Г. Солсбери, Дж. Боффа, М. Левина, Р. Даниэльсона, В. Леонгарда, Дж. Кармайкла и некоторых других.

Нельзя, разумеется, не сказать о большом количестве книг и статей, опубликованных на Западе советскими авторами, а также писателями, публицистами и учеными, эмигрировавшими из СССР и из некоторых стран Восточной Европы. Это и многочисленные работы с разных точек зрения освещают многие малоизвестные страницы нашего прошлого, в них содержатся различные концепции, теории и предположения, обсуждение которых полезно для историка. Я имею в виду книги Е.С. Гинзбург, Н.Я. Мандельштам, А.И. Солженицына, Л.З. Копелева, В.Т. Шаламова, Ж.А. Медведева, Е.А. Гнедина, А. Антонова-Овсеенко, В. Гроссмана, Б. Г. Бажанова, М. Агурского, М. Реймана, А. Некрича, М. Геллера, М. Джиласа, А. Левитина-Краснова, Э. Кольмана, В.Чалидзе, Л. Чуковской, Максудова и мемуары Н.С. Хрущева.

И наконец, еще одним крайне важным стимулом для продолжения моей работы по истории сталинизма стало то обстоятельство, что в нынешних условиях в области идеологии и общественных наук именно проблема Сталина и сталинизма оказалась в центре борьбы — борьбы между теми, кто стремится к радикальному обновлению советского общества, и теми, кто этому препятствует.

Даже в начале 1985 г. была сделана попытка реабилитировать Сталина. По мере приближения 40-летней годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне усиливались его восхваления как полководца и государственного деятеля. Существовали даже планы возвращения имени Сталина городу Волгограду и Волгоградскому району в Москве. Этого не произошло благодаря прежде всего переменам в руководстве партии.

Но и в первой половине 1986 г. осуждение Сталина и сталинизма можно было встретить скорее в намеках, чем в прямой речи. Первым решительным шагом политики гласности в этой области стала журнальная публикация ро-

мана А. Бека «Новое назначение», в котором автор не только воссоздал очень точный и зловещий облик Сталина, но и раскрыл сущность олицетворявшейся им авторитарно-деспотической системы управления.

Поворотным моментом в развитии политики гласности стали решения январского (1987 г.) пленума ЦК КПСС. Не случайно в начале 1987 г. на экраны страны вышел фильм грузинского режиссера Т. Абуладзе «Покаяние». Необычный по художественной форме фильм, в котором использован не только метод реализма, но и сюрреализма, гротеска и абсурда, наносит большой удар по идеологии тоталитаризма вообще и сталинизма в частности.

В это же время публикуется неоконченный роман Ю. Трифонова «Исчезновение», главной темой которого являются репрессии 30-х гг. против активных деятелей Октября, а писатели Д. Гранин в своем произведении «Зубр» и В. Дудинцев в «Белых одеждах» рассказывают о разгроме Сталиным и Лысенко классической генетики.

Советским читателям стала известна, наконец, поэма А. Твардовского «По праву памяти»; в ней поэт говорит о трагедии раскулачивания, жертвой которой стала его семья, и о других беззакониях времен культа личности. Опубликована и знаменитая поэма А. Ахматовой «Реквием» — о репрессиях в Ленинграде, продолжавшихся до смерти Сталина. Всеобщее внимание привлекла повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» о трагедии чеченского народа, выселенного в 1944 г. со своих исконных земель.

Зимой и весной 1987 г. увидели свет ждавшие этого пятнадцать — двадцать пять лет большие циклы стихотворений Б. Слуцкого, О. Берггольц, А. Тарковского, Б. Чичибабина, А. Жигулина, Н. Заболоцкого, В. Шаламова и некоторых других поэтов. В том же году опубликован роман А. Рыбакова «Дети Арбата», ставший заметным событием в литературной и общественно-политической жизни страны. На мой взгляд, этот роман является не только превосходным художественным произведением, но в нем дан также исторически и психологически точный портрет Сталина 1933 — 1934 гг., когда он уже готовил серию коварных провокаций, чтобы иметь повод уничтожить всех недовольных и создать аппарат, основанный на тоталитарной власти «вождя».

Наступление на сталинизм в литературе и киноискусстве продолжалось летом и осенью 1987 г. Следует упомянуть об опубликованной тогда знаменитой «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка, запрещенной по личному распоряжению Сталина в 1926 г. Всем было очевидно, что речь в ней шла о некоторых темных обстоятельствах смерти М.В. Фрунзе.

Новая, более сильная атака на сталинизм началась в 1988 г. Журнал «Новый мир» открыл год романом «Доктор Живаго» Б. Пастернака, а «Октябрь» — эпическим романом В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Этот роман создавался во второй половине 50-х гг. под прямым влиянием XX съезда КПСС. Однако в 1961 г. роман был «арестован». У автора, у его друзей и даже из редакций двух журналов были изъяты все его копии и черновики. Как заявил Гроссману член Политбюро М. Суслов, роман можно будет напечатать лишь через 200 — 300 лет. Что ж, нам пришлось ждать этой книги только 27 лет.

Новым шагом в изучении и осуждении сталинизма драматургом М. Шатровым явилась его вышедшая в начале года пьеса «Дальше... дальше... дальше!».

Неоценимым источником для исследователя стали опубликованные многочисленные воспоминания. Среди них роман-хроника Е. Гинзбург «Крутой маршрут», воспоминания С. Газаряна, рассказы В. Шаламова. Эти три книги я считаю лучшими произведениями на лагерную тему.

Существует преемственность между нынешней критикой сталинизма и антисталинской кампанией начала 60-х гг. Но есть и ряд важных различий. Известно, что доклад о культе личности на XX съезде партии и антисталинская направленность XXII съезда были связаны в первую очередь с личной инициативой Н.С. Хрущева, встретившей открытое и скрытое сопротивление значительной части идеологического аппарата партии, влиятельных военных и государственных лидеров.

В 1987 г. наступление на сталинизм началось широким фронтом. Выступая с докладом на октябрьском (1987 г.) пленуме ЦК КПСС, Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев еще раз заострил внимание на трагических событиях 30-х гг. «Иногда утверждают, — заявил он, — что Сталин не знал о фактах беззакония. Документы, которыми мы располагаем, говорят, что это не так. Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок для всех поколений».

<...>

Введение в научный оборот огромного количества новых фактов, свидетельствующих о той цене, которую наш народ заплатил за индустриализацию и коллективизацию, за голод 1933 г. и раскулачивание, заставляет пересмотреть ту концепцию, которая была выработана еще на XX и XXII съездах партии и с тех пор господствовала в советской исторической науке, а именно: все главные преступления Сталина начинаются только после 1934 г., а его политика на рубеже 20-х и 30-х гг. правильна.

К сожалению, в работе по восстановлению исторической правды участвуют пока в основном писатели, журналисты, работники кино, но не профессиональные историки, хотя на повестке дня стоит вопрос об издании новой книги по истории КПСС, новых учебников для школ и вузов. Однако официальная историческая наука немного пока сделала в этой области.

Одной из первых попыток со стороны советских историков раскрыть феномен Сталина стала книга «Триумф и трагедия» генерал-полковника Д.А. Волкогонова. В целом же задачу осмысления сущности и последствий сталинизма советская историческая наука пока не решила.

Интерес советских людей к истории своей страны очевиден. Однако этот интерес порождает иногда и всевозможные спекуляции. Вместе с тем часть людей воспринимает восстановление исторической правды как крушение всех своих идеалов. Они направляют в редакции газет и журналов письма с нападками на авторов антисталинских публикаций. Наиболее характерным явилось письмо, написанное Н. Андреевой и опубликованное в газете «Советская Россия» в марте 1988 г.; оно было воспринято общественностью как манифест антиперестроечных сил.

Разумеется, критиковать сталинизм можно с разных позиций, делая из этой критики разные выводы. Наш народ очень плохо знает свое прошлое, и поэто-

му не удивительно, что даже то ограниченное разоблачение сталинских преступлений, которое было предпринято в 1956 г. на XX съезде КПСС, породило среди многих людей не только растерянность, но и разочарование в социализме. Но было бы опасной иллюзией считать, что этого разочарования можно избежать, если и дальше держать советских людей в неведении. Мир велик, и в нем выступают и борются за ум и чувства людей разные силы. И если мы будем отказываться «в интересах социализма» от всестороннего изучения эпохи Сталина, то добьемся обратного результата. Социализм не сможет сохранить за собой репутацию научного учения об обществе, если не сумеет объяснить те социально-исторические, экономические и политические процессы, которые при определенных условиях приводят в социалистических странах к бюрократическому перерождению государства и к тирании отдельных личностей.

«Что пострадало при Сталине, — писал И. Эренбург, — идея или люди? Нет, идее не был нанесен удар. Удар был нанесен людям моего поколения».

Это неверно. Беззакония сталинской эпохи нанесли тяжелый удар и по людям, и по самой идее социализма. И те, кому дороги эти идеи, кто не желает, чтобы гибель миллионов людей, ставших жертвами жестокого произвола, осталась в нашей истории лишь бессмысленной трагедией, должны преодолеть одно из наиболее опасных последствий сталинизма — боязнь говорить правду.

Я многое уточнил в своих взглядах, но сохранил свою приверженность социалистическим идеалам. Мне пришлось выслушать не только много грубой и несправедливой критики, но и угроз со стороны отечественных и зарубежных сталинистов. Мне пришлось также выслушать и прочесть немало грубой и несправедливой критики со стороны тех отечественных и зарубежных авторов, которым трудно сегодня произнести с каким-либо положительным эпитетом слово «социализм». Я надеюсь, что лучшим ответом на подобного рода обвинения будут служить факты и доводы, которые читатель найдет в самой книге.

Я ненамного изменил и общую структуру своей работы, которую некоторые читатели и рецензенты упрекали за односторонность. Я принимаю этот упрек, однако не считаю это серьезным недостатком. В своей книге я стремился рассмотреть лишь одну из сторон советской действительности в определенный период развития советского общества. Как и любая другая наука, история имеет право на абстракцию. Прибегая к сравнению, можно назвать эту книгу «историей болезни», тяжелой и длительной болезни советского общества, которая получила название сталинизма. Конечно, все мы хорошо знаем, что эпоха Сталина была не только эпохой террора. Это было также время разностороннего прогресса, который тоже должен быть темой исторических исследований. Но наука не может обходить и самых темных сторон прошедших эпох. У истории, как писал Виктор Гюго, нет корзины для мусора.

Естественно, что в центре внимания автора находится фигура Сталина. Однако данная книга является не только его биографией. Речь в ней идет не об одном Сталине, но и о тех социально-политических и экономических условиях и группах, которые он использовал.

<...>

Источник: Рой Медведев. О Сталине и сталинизме. М.: «Прогресс», 1990.

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович

(1879–1940)



Политический и государственный деятель, публицист, нарком иностранных дел, наркомвоенмор, Председатель Реввоенсовета.

Родился в деревне Яновка Херсонской губернии в состоятельной семье крупного арендатора. Окончил реальное училище в Одессе. Рано втянулся в революционную деятельность, неоднократно арестовывался. С 1902 г. в эмиграции. Фактический руководитель Петербургского Совета в 1905 г.

Социал-демократ с 1897 г., в 1903 – 1904 гг. – меньшевик. В октябре – ноябре 1905 г. – заместитель председателя петербургского Совета рабочих депутатов (под фамилией Яновский). Был арестован и осужден на «вечное поселение» в Сибири, но бежал с пути следования к месту назначения. В 1912 г. организовал Августовский блок, направленный против В.И. Ленина и большевиков. В начале первой мировой войны, издавая (вместе с меньшевиком Л. Мартовым) в Париже антивоенную газету «Наше слово», был выслан из Франции. В 1916 г. в США издавал газету «Новый мир», в которой пропагандировал свою идею перманентной революции.

Летом 1917 г. вошел в партию большевиков как член Межрайонной организации РСДРП. В начале июля предостерегал рабочих от преждевременного вооруженного выступления, но тем не менее, 23 июля был арестован Временным правительством. 2 сентября освобожден. 25 сентября избран председателем Петрорадского Совета рабочих и солдатских депутатов и внесен в список 40 кандидатов от РСДРП(б) по выборам в Учредительное собрание. Внес большой вклад в подготовку восстания в октябре 1917 г. После Октябрьской революции – нарком иностранных дел, нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Республики, член Политбюро ЦК РКП(б) и член Исполкома Коминтерна.

С 1918 г. на посту военного министра создает Красную Армию не брезгуя самыми кровавыми мерами: взятие и казнь заложников, массовые расстрелы и т.д. Инициатор создания концентрационных лагерей и использования труда заключенных на самых тяжелых работах.

Любил хорошо пожить: прекрасное питание, курорты, охота, рыбалка, лучшие врачи – во всем этом Троцкий себе не отказывал даже в самые критические для Советской власти периоды.

После окончания Гражданской войны предлагал не распускать многомиллионную Красную армию, а преобразовать ее в трудовую армию, распространив на мирную жизнь методы военного коммунизма. Концепция Троцкого ускоренного построения социализма в России, предварительно дискредитированная Сталиным совместно с правыми (Бухарин, Рыков, Томский), после лишения всех постов и высылки из страны проповедника перманентной и мировой революции, была взята на вооружение и реализована. В 1927 г.

исключен из партии, в 1929 году выслан из СССР. В 1932 г. лишен советского гражданства. Находясь в эмиграции, продолжал активную политическую деятельность. Был убит в Мексике агентом НКВД испанцем Р. Меркадером.

Основные труды:

«Моя жизнь. Опыт автобиографии» (1929);

«К истории русской революции» (1939);

«Сталинская школа фальсификации» (1931);

«Сталин» (1941).

СТАЛИН

Из главы «Дорога к власти»

<...>

Нельзя понять Сталина и его позднейший успех, не поняв основной пружины его личности: любовь к власти, честолюбие и зависть, активная, никогда не засыпающая зависть ко всем тем, кто даровитее, сильнее или выше его. С отличающей его хвастливостью Муссолини сказал одному из друзей: «Я никогда еще не встречал никого, кто был бы мне равен». Сталин вряд ли мог бы повторить эту фразу даже самому интимному другу, ибо она прозвучала бы слишком фальшиво и несообразно. В одном только большевистском штабе были люди, превосходившие Сталина во многих отношениях, если не во всех. Во всем за исключением сконцентрированного честолюбия. Ленин очень ценил власть как орудие действия. Но чистое властолюбие, борьба за власть, были ему совершенно чужды. Для Сталина же психологически власть всегда стояла отдельно во всех задачах, которым она должна служить. Воля господства над другими была основной пружиной его личности. И эта воля получала тем более сосредоточенный, не дремлющий, наступательный, активный, ни перед чем не останавливающийся характер, чем чаще Сталину приходилось убеждаться, что ему не хватает многих и многих ресурсов для достижения власти. Всякая особенность характера, достигнув известной силы напряжения, превращается при известных условиях в преимущество.

Сталину нужно всегда насилие над самим собою, чтобы подняться на высоту чужого обобщения, чтобы принять далекую революционную перспективу. Как все эмпирики, он по существу своему скептик, притом цинического склада. Он не верит в большие исторические возможности, способности человека к усовершенствованию, возможности перестройки общества в радикальных направлениях. Глубокая вражда к существующему делает его способным на смелые действия. Эмпиризм или чисто крестьянский консерватизм мысли делают его неспособным долго оставаться на вершинах. Предоставленная самой себе, его мысль неизбежно сползает вниз. Он фатально занимал во всех вопросах (поскольку был предоставлен самому себе) оппортунистическую позицию. Поскольку же под давлением Ленина и событий он поднимался на высоту революционного обобщения, он

удерживался на высоте недолго и в конце концов сползал вниз. Цель, которую он себе поставил, он будет разрешать с большим упорством, с большей настойчивостью, чем подавляющее большинство других людей. Но он не способен поставить себе самостоятельно большую цель и долго держаться ее, поскольку она внушена ему событиями или людьми. Революционное движение окрыляет людей, требует смелости мысли, далекой перспективы. Именно в такие периоды мы наблюдаем Сталина в состоянии растерянности.

Наоборот, реакционные эпохи являются вместе с тем эпохами сползания мысли. Смелая революционная мысль в эпоху реакции может только прокладывать в будущем, подготовлять в сознании небольшого авангарда будущие перспективы, но непосредственного, практического приложения найти не может. С другой стороны, сильная воля, характер сохраняют в эпоху реакции свои преимущества. В партии Сталин выдвигается впервые в годы реакции, после 1907 г. В годы начавшегося подъема он еще продолжает играть незначительную роль, не более значительную, чем подавляющее большинство передовых большевиков. По тем или другим причинам во время войны, которая предвещает и подготовляет грандиозные перемены, Сталин окончательно уходит в себя. Во время революции 1917 г. он играет крайне незаметную роль.

Сталину несомненно свойственно было нечто вроде суеверного страха перед талантом и образованием. Он боялся людей, которые умеют свободно разговаривать с массой или легко и внимательно излагать свои мысли на бумаге. Еще больше он боялся людей, которые имели свои собственные мысли, способны к обобщениям, оперируют фактическим материалом, вообще чувствуют себя по домашнему в области общих идей. Условия России до двадцатых годов нынешнего столетия были таковы, что требовали общих идей, литературного или ораторского таланта. Именно поэтому Сталин оставался в тени.

Только после политической ликвидации Бухарина, Рыкова и Томского, последних сподвижников Ленина в Политбюро, после обновления всего руководящего персонала исторических комиссий и после грозной статьи Сталина «О некоторых вопросах партийной истории», т.е. приблизительно с 1929 года, начинается радикальный пересмотр прошлого и перегруппировка всех его элементов вокруг новой оси. Те самые авторы, которые несколько лет тому назад не упоминали самого имени Сталина, хотя он был уже и тогда генеральным секретарем, теперь, как бы под действием высшей благодати, открывали в самых глубоких подвалах своей памяти новые эпизоды или чаще всего общее ретроспективное убеждение, что за всеми важнейшими фактами революционного движения стоял Сталин.

Бесформенный эмпиризм, дополненный политической двойственностью, служили и направлялись нередко против Сталина в периоды, когда события быстро сменяли друг друга, когда требовалась немедленная ориентировка и когда выжидательное лавирование обрекало на запоздание. В такой период Сталин не мог не оставаться на втором плане, в тени. Так было в период до войны, во время войны, в 1917 г. и годы гражданской войны. Нужно было, чтобы история изменила свой ритм, чтобы прилив сменился отливом, чтобы тот ход событий, который доводил до крайности все противоречия до последних логических выводов и давал всем конфликтам крайне резкие очертания, чтобы он сменился отливом,

который, наоборот, смывал острые углы, притупляя идейные противоречия, придавал политическим формулам расплывчатость и бесформенность. Только в этих новых условиях уклончивая выжидательность, дополненная лавирующим вероломством, могла превратиться в положительную силу.

Послушный полученным им конспектам и инструкциям, Барбюс пытается уподобить Сталина Ленину физически и морально. «Поразительно, как этот молодой человек ненавидел фразы. Стиль Сталина был уже с молодых лет тот же, что и у Ленина». Нельзя сделать на самом деле утверждения более ложного и более грубого в своей ложности. Простота Ленина есть результат простой работы мысли, которая пришла к полной ясности. Простота Сталина вульгарна, основана на устранении самых важных сторон вопроса, не говоря о том, что в этой простоте на каждом шагу чувствуется робость человека, не овладевшего инструментом языка.

В годы первой революции 1905-1907 гг. Сталин выступает как практический руководитель местных экономических и политических боев. Он называет себя в этот период «подмастерьем» революции. И это определение можно принять в том смысле, что он еще полностью остается фигурой провинциального масштаба.

Замечательно, что когда в декабре 1905 года началось решительное наступление реакции и полиция арестовала, сослала и расстреляла весь верхний слой революционеров, Сталин не только не был арестован, но оставался в столице в качестве легального человека: революция не знала его и не интересовалась им.

Угнетенные национальности Закавказья, естественно, порождают в самой буржуазии автономистские и даже сепаратистские тенденции. В Грузии мы видим социалистов-федералистов (их социализм того же типа, что, например, у французских радикал-социалистов), в Армении — дашнаков, в Азербайджане — муссаватистов. В лице этих трех партий молодая туземная буржуазия стремится свою оппозицию против царской бюрократии использовать для того, чтоб подчинить себе рабочих. Можно установить полную историческую аналогию между названными партиями и национально-буржуазными партиями колониальных и полуколониальных стран всего мира. Не только большевизм, но даже меньшевизм развивался на Кавказе в борьбе с партиями буржуазного национализма. Это не помешало Сталину в дальнейшем сделать все для того, чтоб подчинить китайских рабочих Гоминдану, который ничем не отличался от федералистов, дашнаков или муссаватистов Кавказа.

По существу своих воззрений Сталин, как и многие тогдашние большевики, даже в большей мере, чем другие большевики, был в тот период, как и значительно позже, революционным демократом, с отдаленным социалистическим идеалом. Ближайшая революция мыслилась и чувствовалась, как завоевание политических свобод и парламентаризма, т.е. как буржуазная европеизация царской России. Конституция была магическим словом. Либеральный режим должен был создать условия для парламентской партии и легальных профсоюзов. Агитация поддерживалась главным образом примерами того, как борются «рабочие в Западной Европе или в Америке. Социализм характеризовался как «конечная цель». На Западе эта конечная цель казалась удаленной на многие десятилетия, если не на столетия. Никто из тогдашних русских социал-демократов не допускал мысли, что в России социалистическая револю-

ция может произойти раньше, чем на Западе.

Между стоявшей на очереди буржуазной революцией и между конечной целью социализма раскрывался, таким образом, неопределенно долгий исторический период капиталистического развития, подъема культуры, организации, воспитания рабочих масс, завоевания парламентских позиций, строительства профсоюзов и кооперативов. Достаточно сказать, что член Центрального Комитета большевистской партии, Рожков, писал в 1905 году, что о социализме вопрос встанет лишь тогда, когда подавляющее население страны будет состоять из организованных рабочих. В этом вопросе, который должен был через 14 лет после первого раскола получить решающее значение (1917 год), позиция Сталина в период первой революции и долго после нее совершенно не отличалась от позиции Жордания, Церетели и вообще меньшевиков. Разногласия касались не соотношения между демократией и социализмом, а методов борьбы за демократию. То, что Сталина и многих других привлекло в тот период к большевизму, это не классовая позиция, не интернационализм, а прежде всего и главным образом, решительность в борьбе с царизмом, твердая постановка вопроса о необходимости вооружения и подготовки восстания. Через несколько лет большевики называли себя в легальной печати под цензурными условиями «последовательными демократами». По существу дела это определение гораздо больше соответствует мировоззрению многих тогдашних большевиков типа Сталина, чем название социалистов и марксистов.

На Стокгольмском съезде 1906 года во время выработки аграрной программы революции Сталин отстаивал раздел помещичьих и государственных земель в личную собственность крестьян. Только очень глубокие мотивы могли побудить его отстаивать безнадежную позицию, притом в борьбе не только с меньшевиками, но и с большевиками. Эти мотивы надо искать не в какой-либо общей концепции революции, а в жизненном укладе грузинского крестьянина. В первом самостоятельном выступлении на государственной арене Сталин обнаруживает себя, как упорный провинциал.

Только социалисты-революционеры проповедовали тождество интересов крестьян и рабочих; практически в этом отождествлении выражалось стремление подчинить пролетариат интересам и взглядам мелкой буржуазии. Марксисты, и прежде всего Ленин, вели против сентиментального народничества непримиримую борьбу. В борьбе против пережитков крепостного режима крестьянин борется вместе с рабочим. «Но в то же время он тяготеет к укреплению своей собственнической позиции в буржуазном обществе, и поэтому, если условия развития этого общества складываются сколько-нибудь благоприятно (например, промышленное процветание, расширение внутреннего рынка вследствие аграрного переворота и т.п.), то мелкий товаропроизводитель неизбежно поворачивает против пролетария, который борется за социализм» (разрядка Ленина).

В 1906 г. в отчете о Стокгольмском съезде Ленин писал: «Союзник пролетариата до победы буржуазной революции — крестьянская и революционная бюрократия». Только до победы буржуазной революции. Ленин не считал, что крестьянство, как крестьянство, будет союзником пролетариата в социалистической революции. «Иллюзий насчет крестьянского социализма нет ни у кого

из социал-демократов», — писал Ленин в том же отчете.

На Стокгольмском съезде победила безжизненная меньшевистская программа муниципализации земли. Но за ними никогда не оставалось последнее слово. Ленин провел свою программу национализации и Сталину пришлось к ней долго приспособляться. Но поистине замечательно, что сейчас же вслед за смертью Ленина он делает попытку передать национализированную землю в собственность крестьян под видом многолетнего «владения» личными участками. И здесь опять-таки — такова сила старых корней! Сталин пытается первый опыт денационализации провести в Грузии. По секретной инструкции Сталина грузинский нарком земледелия подготовил проект передачи земли в подворное владение крестьян. Только протесты Зиновьева, который оказался в курсе заговора, и тревога, поднятая проектом в партийных кругах, заставила Сталина, еще не чувствовавшего себя твердо на ногах, отказаться от своего замысла. Козлом отпущения оказался, разумеется, злополучный грузинский нарком.

Годы реакции были временем усиленной теоретической работы. В порядке дня, кроме аграрного вопроса и характера революции, стояла философия. Ленин неистово защищал диалектический материализм против Богданова, Луначарского и других сторонников австрийской физики Маха. В 1909 г. вышла книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». С этой полемикой связана большая полоса в жизни партии. Интерес Кобы к философским и вообще теоретическим проблемам ни в чем не проявился за годы реакции. Не ясно даже, прочитал ли он философский труд Ленина. В его письмах из ссылки нет ни слова на эту тему. Ни слова о своих занятиях, о теоретических и литературных интересах, что было бы так естественно со стороны ссыльного, если б он жил сколько-нибудь интенсивной умственной жизнью.

Между тем, на основании опубликованных данных, далеко не согласованных между собой, можно сделать вывод, что Сталин в течение всей своей революционной работы провел свыше двух с половиной лет в тюрьме и свыше пяти с половиной лет в ссылке. Всего свыше восьми лет. Несомненно, что значительная часть этого времени должна была уйти на чтение. Так как ссылка разбивалась на короткие периоды, то много времени уходило на устройство и на подготовку к работе. Только последний раз Сталин пробыл в ссылке непрерывно почти четыре года. Во всяком случае за восемь лет вынужденного бездействия можно было бы одолеть большое количество книг.

Поражает еще и то обстоятельство, что от этих восьми лет изолированности не осталось ни одного исследования, ни одной литературной работы. Между тем почти все ссыльные, которые чувствовали какую-либо склонность к теоретической работе, к публицистике, литературе, предавались со страстью работе пером. Факт давно установленный, что тюрьма и ссылка, обрекавшие людей на самоуглубление, чрезвычайно содействовали пробуждению и развитию всякого рода исследовательских и писательских дарований. Если за время ссылки Сталин не написал ни одной работы, ни одной статьи, которая была бы в его собственных глазах достойна воспроизведения, то один этот факт является самым убедительным доказательством отсутствия у него теоретических интересов и литературного дарования.

Можно сказать, что все гениальные люди истории, все творцы, все новаторы высказывали свое главное слово уже в течение первых двадцати пяти — трид-

цати лет жизни. Дальше шло только развитие, углубление и применение. У Сталина в первый период его жизни мы не находим ничего, кроме вульгарного повторения готовых формул. В гении Сталин был возведен только после того, как бюрократия, руководимая своим генеральным секретарем, разгромила весь штаб Ленина. Вряд ли нужно доказывать, что человек, не сказавший ни одного нового слова и автоматически поднятый кверху силой бюрократии, когда ему далеко перевалило за сорок, не может быть причислен к гениям.

Бажанов, бывший секретарь Сталина, рассказывает, как мало этот последний интересовался важнейшими государственными вопросами. Его предупреждали: «Он ничего никогда не читает, и если он просматривает в течение года десять или 12 документов, это уже много». Бажанов, по его словам, не хотел верить этому, но после дюжины заседаний в Политбюро, в которых он принимал участие, он убедился, что Сталин не знаком с вопросами, которые стоят в повестке дня. Он был поражен, по собственным словам, обнаружив, что Сталин является лишь малокультурным кавказцем, не знакомым ни с литературой, ни с иностранными языками, мало осведомленный в экономических и финансовых вопросах.

Бажанов рассказывает, как два секретаря Сталина — Бажанов и Товстуха разговаривали однажды в коридоре здания Центрального Комитета. Появляется Сталин. Секретари умолкают. «Товстуха, — говорит Сталин после паузы, — моя мать имела козла, который походил на тебя... Он не носил только очков...». Довольный собою, Сталин уходит в свой кабинет.

Весной 1924 года после одного из пленумов Центрального Комитета, на котором я по болезни не присутствовал, я сказал Смирнову: «Сталин будет диктатором СССР». Смирнов хорошо знал Сталина по прошлой работе и по ссылке, где люди лучше всего узнают друг друга. Старый большевик И.Н. Смирнов, разгромивший и расстрелявший Колчака, а позже расстрелянный Сталиным вместе с Зиновьевым и Каменевым, возражал мне: «Сталин — кандидат в диктаторы? Да ведь это совсем серый и ничтожный человек. Это посредственность, серое ничтожество!» «Посредственность — да, ничтожество — нет, — ответил я ему. — Историческая диалектика уже подхватила его своим крючком и будет его поднимать вверх. Он нужен им всем: бюрократам, нэпманам, кулакам, выскочкам, пройдохам, всем тем, которые прут из почвы, унавоженной революцией. Он способен возглавить их. Он готов возглавить их, у него есть заслуженная репутация старого революционера. Он даст этим самым прикрытие в глазах страны. У него есть воля и смелость. Он не побоится опереться на них и двинуть их против партии. Он уже начал эту работу. Он подбирает вокруг себя пройдох партии. Конечно, большие события в Европе, Азии и у нас, все это опрокинуто. Но, если все пойдет автоматически дальше, как идет теперь, то Сталин автоматически станет диктатором».

На ту же тему были у меня два с лишним года спустя споры с Каменевым, который, вопреки очевидности, утверждал, что Сталин — «вождь уездного масштаба». В этой саркастической характеристике была, конечно, частица правды, но только частица. Такие свойства интеллекта, как хитрость, вероломство, способность играть на низших свойствах человеческой натуры, развиты у Сталина необычайно и, при сильном характере, представляют могущественные

орудия в борьбе. Конечно, не во всякой освободительной борьбе масс нужны такие качества. Но где дело идет об отборе привилегированных, об их сплочении духом касты, об обессиленьи и дисциплинированьи масс, там качества Сталина поистине неоценимы, и они по праву сделали его вождем бюрократической реакции и термидора.

И все же, взятый в целом, Сталин остается посредственностью. Его ум лишен не только блеска и полета, но даже способности к логическому мышлению. Вообще, в лагере сталинизма вы не найдете ни одного даровитого писателя, историка, критика. Это царство наглых посредственностей. Каждая фраза речи Сталина преследует какую-либо практическую цель: но речь в целом никогда не поднимается до логического построения. В этой слабости — сила Сталина. Бывают исторические эпохи, когда обобщение и предвиденье исключают непосредственные успехи: это эпохи сползания, снижения, реакции. Гельвеций говорил некогда, что каждая общественная эпоха требует своих великих людей, а когда таковых не находит, то она изобретает их. По поводу забытого ныне французского генерала Шенгарнье Маркс писал: «При полном недостатке в великих людях партия порядка естественно была вынуждена приписать недостающую всему ее классу силу одному единственному индивидууму и таким образом раздула его в какое-то чудовище». Чтобы закончить с цитатами, можно применить к Сталину слова, сказанные Фридрихом Энгельсом о Веллингтоне: «Он велик в своем роде, а именно настолько, насколько может быть великим, не переставая быть посредственностью». Индивидуальное «величие» есть в последнем счете — социальная функция.

Если бы Сталин мог с самого начала предвидеть, куда его заведет борьба против «троцкизма», он, вероятно, остановился бы, несмотря на перспективу победы над всеми противниками. Но он ничего не предвидел. Предсказанья противников, насчет того, что он станет вождем Термидора, могильщиком партии и революции, казались ему пустой игрой воображения. Он верил в самодовлеющую силу аппарата, в его способность разрешать все задачи. Он совершенно не понимал выполняемой им исторической функции. Отсутствие творческого воображения, неспособность к обобщению и к предвидению убили Сталина как революционера. Но те же черты позволили ему авторитетом бывшего революционера прикрыть восхождение термидорианской бюрократии.

<...>

Источник: Лев Троцкий. Сталин. В двух томах. / Тайны истории. М.: «Терра-Терра». 1996.



Мандельштам
Надежда Яковлевна
(1899–1980)

Жена, вдова Осипа Мандельштама, писатель.

Родилась в Киеве. В 1919 г. становится женой О. Мандельштама и несет вместе с ним все тяготы жизни отвергнутого властью поэта. После смерти Осипа Мандельштама — хранительница как творческого наследия, так и памяти о нем. Две ее книги: «Воспоминания» (Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1970), и «Вторая книга» (Париж, ИМКА-ПРЕСС, 1972) широко ходили в Самиздате.

ВТОРАЯ КНИГА

<…>

Мандельштам, такой же веселый, как все, чем-то от других отличался. Наша внезапная дружба почему-то вызвала общее раздражение. Ко мне ходили мальчики и уговаривали меня немедленно бросить Мандельштама. Однажды Эренбург долго водил меня по улицам и доказывал, что на Мандельштама никак нельзя положиться: если хочешь в Коктебель,— мы все хотели на юг, действовала таинственная тяга,— прочь от дому куда-нибудь южнее,— поезжай к Волошину, это человек верный — с ним не пропадешь… Я знала, что Эренбург сам мечтал удрать к Волошину и спрятаться за ним, как за каменной стеной. Откуда у Волошина была такая слава, я не знаю, но думаю, что он сам создал про себя легенду и ее поддерживали окружавшие его женщины, а легенды — вещь живучая. А на «ты» с Эренбургом мы перешли случайно, шутки ради, встречая вместе девятнадцатый год. Он звал меня Надей, а я его почтительно по имени-отчеству. Пути наши разошлись, но добрые отношения сохранились — особенно с его женой Любой. Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей. «Люди, годы, жизнь», в сущности, единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом мелкая техническая интеллигенция, по этой книге впервые узнали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе — хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело

это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стал читателями Самиздата.

<...>

Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них, так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно — приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие, и я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое — любое, если бы они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. Только цинизмом среди них и не пахло. Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги…» Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина. Карнавальный Киев девятнадцатого года любил марджановскую постановку, левизну во всем — в политике, в речах, в мысли и особенно в любви. Впрочем, это была не любовь и не мысль, а какие-то обрубки.

<...>

А в дни нашей ранней близости, в Киеве девятнадцатого года, Мандельштам был, пожалуй, единственным, который думал о смысле событий, а не об их непосредственных последствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях «нового», как молодые. Старших беспокоили существенные вещи: развал правовых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства, младшие упивались тем, что отцы называли демагогией, с какой бы стороны она ни шла, и запоминали про запас случаи, которые так или иначе собирались потом использовать, а пока что жадно впивали то, что ощущалось как последний день. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа и для этого разрабатывался особый язык постановлений, речей и прессы.

Однажды Мандельштам мне сказал, что «они» строят свою партию на авторитете наподобие церкви, но что это «перевернутая церковь», основанная на обожествлении человека. Разговор происходил в ванной комнате, обложенной кафелем, с двумя окнами и белой печкой. Он вытирал руки и вдруг заметил, где он: «странный разговор для такого места»… Мысль настигла его в неподходящем месте и в неподходящую минуту: мы спешили поужинать, чтобы потом пойти в «Хлам».

Под самый конец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, мы увидели в окно — к этому времени Мандельштама уже выгнали из

гостиницы и он жил с братом в кабинете моего отца — телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. Чека помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, чтобы стекала кровь,— техника еще была наивной. В другой раз солдаты провезли на телеге обросшего бородой человека с завязанными назад руками. Он стоял в телеге на коленях и вопил во весь голос, взывая к людям, чтобы они спасли, помогли, потому что его везут на расстрел. В тот год толпа могла отбить заключенного, но на улицах никого не было — комендантский час… Мы видели, как он отбивается от солдат, пытавшихся заткнуть ему рот. Все это промелькнуло и тут же исчезло, но я и сейчас вижу этого человека, только его, скорее всего, везли не на расстрел — расстреливали в самой Чека, на горе, а телега шла под гору. Думаю, его переводили в Лукьяновскую тюрьму, а может, даже в больницу.

<...>

... не каждый может жить текущей минутой, как Мандельштам. Я не могла. «Лоном широкая палуба» казалась мне гораздо более приятным способом передвижения, чем напрасные усилия безвесельных гребцов. Не я одна тосковала по устойчивости. В нашей жизни все полвека устойчивость была иллюзорной. Устойчивые дома рушились один за другим. В нашу эпоху ничего устойчивого не было, и лозунг Ахматовой: «Сейчас надо иметь только пепельницу и плевательницу» — вскоре себя оправдал.

<...>

«Мы»

В первую нашу встречу в Киеве девятнадцатого года у Мандельштама была почти детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему понравился «Хлам» — почти как «Собака», люди хорошие и кофе хороший. «Хлам» вскоре закрылся, потому что буфетчику показалось невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью, и мы перекочевали в греческую кофейню на Софиевской улице. В окне кофейни был выставлен плакат: «Настояща простокваша только наша». Хозяин молол кофе в огромной мельнице и удивлялся, откуда к нему привалило столько народу, а хозяйка пекла пирожки и всех дарила улыбками. Когда пришли белые, карнавал кончился и кофейня опустела. Хозяйка перестала улыбаться и целыми днями дежурила у дверей, чтобы изловить хоть кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех, кто принес мгновенный расцвет кофейне с настоящей простоквашей, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым ей попался Эренбург, но сумел отвертеться. Он предупредил меня, чтобы я не ходила по Софиевской, но я опять не придала значения его совету. В результате следующей попалась я, и недавно еще улыбчивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, «с кем ты гуляла», потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед ду-

мой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть «чекистка Роза». У меня не было детской веры Мандельштама во всеобщее благожелательство, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается. Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчала нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны, и ей не суждено вернуться на эту бедную землю. Однажды в киевские дни Мандельштам таинственно сообщил мне: когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает… Я подумала — «балованный» — и спросила: «Почему?» Объяснить он не мог: не знаю, но так получается… Я решила, что он жил среди людей, которые любили стихи и были рады доставить удовольствие носителю поэтического дара. Да и желания, как я уже знала, были у него легко выполнимые — вроде чашки кофе или пирожка. В Петербурге, вероятно, еще добывалась рублевка или трешка на «Собаку».

<...>

На наших глазах произошло распадение общества, несовершенного, как всякое человеческое объединение, но скрывавшего и обуздывавшего свои пороки, и где все же существовали небольшие группы, имевшие право сказать про себя «мы». По моему глубокому убеждению, без такого «мы» не может осуществиться самое обыкновенное «я», то есть личность. Для своего осуществления «я» нуждается, по крайней мере, в двух элементах — в «мы» и, в случае удачи, в «ты». Я считаю, что Мандельштаму повезло, потому что в его жизни был момент, когда нашлись люди, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Краткая общность с «сотоварищами, соискателями, сооткрывателями», как он сказал в «Разговоре о Данте», отразилась на всей его жизни, потому что помогла становлению личности. В том же «Разговоре о Данте» говорится, что время есть содержание истории, «и обратно: содержание истории есть совместное держание времени» теми, кто объединяется словом «мы». Если человек помнит, что он живет в истории, он знает, что несет ответственность за свои дела и поступки, а мысли человека определяют его поступки. Наши поколения — мое и мандельштамовское — на всех перекрестках кричали, что живут в историческое время, но полностью снимали с себя ответственность за все происходящее. Они списывали все преступления эпохи и свои собственные на детерминированность исторического процесса. Это очень удобная теория для раскулачивателей всех видов, но почему, собственно, приходится раскулачивать, если ход истории предопределен?.. Впрочем, я не хочу целиком обвинять все поколение Мандельштама — в нем были люди, дорого заплатившие за свое неверие в официальные догматы. В моем окружении я таких не замечала. Если такие и существовали, они держались тише воды, ниже травы и видны не были.

<...>

Однажды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что — не стоит, потому что ни из кого не выходит толку. Мандельштам молча выслушал

и ушел. Вскоре Гиппиус прочла его стихи и много раз через разных людей звала его прийти, но он заупрямился и так и не пришел. (Точно передаю рассказ Мандельштама.) Это не помешало Гиппиус всячески проталкивать Мандельштама. Она писала о нем Брюсову и многим другим, и в ее кругу Мандельштама стали называть «Зинаидин жиденок».

Гиппиус была тогда влиятельной литературной дамой, и то, что она стала на защиту молодого поэта, к которому символисты, особенно Брюсов, отнеслись очень враждебно с первых шагов, по-моему, хорошо рекомендует литературные нравы того времени и самоё Гиппиус. А игра в «жиденка» продолжалась в мемуарах Маковского, который выдумал нелепую сцену с торговкой-матерью. Попав в эмиграцию и оторвавшись от своего круга, люди позволяли себе нести что угодно. Примеров масса: Георгий Иванов, писавший желтопрессные мемуары о живых и мертвых, Маковский, рассказ которого о «случае» в «Аполлоне» дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил, Ирина Одоевцева, черт знает что выдумавшая про Гумилева и подарившая Мандельштаму голубые глаза и безмерную глупость. Это к ней подошел в Летнем саду не то Блок, не то Андрей Белый и с ходу сообщил интимные подробности о жизни Любови Дмитриевны Блок... Кто поверит такой ерунде или тому, что ей говорил Гумилев по поводу воззвания, которого никто никогда не находил, или денег, наваленных грудой в ящик стола... Нужно иметь безмерную веру в разрыв двух миров (или времен, как наша мемуаристка Надежда Павлович), чтобы писать подобные вещи. Пока существует «мы», даже поверхностное, даже количественное, никто себе ничего подобного не позволит. Искусственный разрыв любого «мы», даже количественного, даже случайного, приводит к тягчайшим последствиям. Мы это наблюдали с ужасающей наглядностью, когда одни, очутившись за решеткой, клеветали на своих близких и друзей, недавних союзников и соратников, а другие, оставшиеся на свободе, отрекались от отцов и мужей, от матерей, братьев и сестер... И те и другие действовали «под нажимом», как у нас принято говорить, но я уверена, что не все объясняется этим проклятым нажимом. Мне недавно рассказали про самоубийство женщины, которая больше тридцати лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась проститься с ним. Ей было всего одиннадцать лет в тот момент. Впоследствии она сама попала за колючую проволоку, хлебнула горя, но то, как и почему она не простилась с отцом, которого больше не увидела, не могло не остаться пятном на ее душе. Другая женщина рассказала мне, как ее отец тревожился, когда забрали начальника, с которым он прослужил много лет. Дочери, тогда восемнадцатилетней комсомолке, показалась подозрительной или недостойной тревога отца, и она предупредила его: «Если тебя возьмут, я не поверю, что это ошибка...» Единство семьи рассыпалось под нажимом: ведь обе девочки, одиннадцатилетняя и восемнадцатилетняя, тоже действовали под нажимом воспитания и общественного мнения, которое клеймило гибнущих и славило сильных. Сегодня чем старше человек, тем прочнее в него въелись «родимые пятна» прошлой эпохи. Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале революции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва Гумилева, длинное послание, в котором сообщил про судьбу отца, Николая Степано-

вича, и о том, что сам Лева много лет провел в лагерях: по политической статье... Я не сомневаюсь, что Ардову пришлось столько раз отказываться от собственного отца, что предательство Гумилевых, отца и сына, ничтожная веха на его славном пути. Под нашим небом семья, дружба, товарищество, все, что могло бы объединиться словом «мы», распалось на глазах и не существует.

Настоящее «мы» — незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным, даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах.

Лишний акмеист

Мандельштам не сразу нашел людей, с которыми объединил себя словом «мы». В отроческие годы «мы» образуется только у поколений, планомерно продолжающих дело отцов, а двадцатый век весь состоял из разрывов. В «розовой комнате» завязалась первая дружба, но уже в Тенишевском училище Мандельштам получил противоядие от позитивизма старика Синани. Благодаря В.В. Гиппиусу Мандельштам еще в школьные годы научился горячо и пристрастно относиться к русской литературе, и особенно к поэзии. Не будь этого, ему было бы гораздо труднее определить свое место, найти единомышленников и, следовательно, себя. В этом и заключается приобщение к традициям живой литературы, и в «Шуме времени» Мандельштам сказал, что «первая литературная встреча непоправима» и «Литературная злость! Если бы не ты, с чем бы стал я есть земную соль?». От Коневского и Добролюбова, сейчас почти забытых поэтов раннего символизма, которых он узнал еще в школе благодаря В.В. Гиппиусу, Мандельштаму легко было перейти к Анненскому и выбрать его себе в учителя. Такой путь менее тернист, чем обычный, который предполагал ученичество у шумевших тогда официальных мэтров символизма — Бальмонта, Брюсова или Вячеслава Иванова (им Мандельштам, конечно, отдал дань, но не столь большую, как другие). Великие соблазнители, они окружали себя учениками и внушали им свои теории. С Вячеславом Ивановым Мандельштама еще до отъезда за границу познакомила, вероятно, мать или Венгеровы, но весь строй даже ранних стихов свободен от соблазнов «Прозрачности» и «Горящего сердца», что бы ни говорили поздние адепты Иванова. И на «башне» Мандельштам не прижился. Быть может, единственное, что он оттуда вынес, это отвращение к жреческой позиции поэта, столь характерной для старших символистов. Вполне ли свободны от нее были Блок и Белый?

<...>

Со слов Ахматовой я знаю, что «Цех поэтов», из которого выделилась группа акмеистов, образовался как бунт против «Академии стиха», где главенствовал Вячеслав Иванов. Инициатором бунта был Гумилев. Он теснее других связал себя с символистами и более болезненно отрывался от них, освобождая себя от их влияния. Как часто бывает, он долго вчитывался в статьи и теории символистов, и ему все казалось, что он еще чего-то в них недопонимает. Освобождение пришло внезапно, но все же родовая метка русского символизма

сильнее всего именно на нем. Мне думается, что в последней книге он уже стал свободнее и, если б ему было суждено прожить жизнь, как она отпущена людям, он бы еще показал себя. Но ему этого не дали.

Мандельштам и Ахматова приходили в ярость, когда литературоведы приписывали в акмеисты, кого им вздумается: Кузмина за «кларизм», Лозинского за дружбу с акмеистами, молодых людей, числивших себя учениками Гумилева, а таких было сколько угодно, потому что Гумилев по природе своей, видимо, оказался прирожденным учителем. Акмеистов только шесть, а среди них затесался один лишний. Первое место в своем рассказе я предоставлю «лишнему».

<...>

Городецкий явился с ответным визитом в вагон на запасный путь. Из карманов у него торчали две бутылки вина. Усевшись, он вынул пробочник и три металлические рюмки. Сидел он долго и все время балагурил, но так, что показался мне законченным маразматиком. У нас еще не было опыта для распознавания старческого идиотизма, и Ахматова лишь через много лет придумала формулу: «маразматист-затейник» — или, вздыхая, говорила про безумных стариков: «Маразм крепчал…» Но именно эти слова характеризуют едва ли сорокалетнего Городецкого как в день нашей встречи, так и потом в Москве, куда он вскоре переехал.

Городецкий ушел, и я с удивлением спросила Мандельштама, зачем они связались с ним: у него уже склероз и размягчение мозгов. Что будет дальше?.. Мандельштам объяснил, что Городецкого «привлек» Гумилев, не решаясь выступать против могущественных тогда символистов с одними желторотыми. Городецкий же был известным поэтом. После «Яри» с ним носились все символисты и прозвали его «солнечным мальчиком». «Он всегда был таким?» — спросила я. Мандельштам ответил, что почти таким, но сейчас он еще притворяется шутом, потому что смертельно напуган: незадолго до революции он выпустил книгу «Сретенье царя» и теперь боится, как бы ему не пришлось за нее отвечать… Мандельштам с его отвращением к насилию явно сочувствовал Городецкому, но я почему-то сразу сообразила, что такой не пропадет. Вел он себя, как настоящий шут, но не как те благородные шуты, которым литература поручила говорить правду, а как обыкновенный гороховый шут или, по-нашему, эстрадник. И физиономия у него была соответственная: огромный кадык, крошечные припрятанные глазки и забавный кривой горбатый нос. Солнечная физиономия…

Несколько раз мы встречались с ним в Москве — то он забегал к нам, то мы раза два-три заходили к нему. Вел он себя не так, как при первой встрече в вагоне, где был льстив до непристойности, потому что, как я потом поняла, принял Мандельштама за важного советского барина. Даже Мандельштам, который упорно не хотел плохо думать о людях, а тем более о прежних товарищах и поэтах, вынужден был согласиться со мной: «Может быть, но не все ли равно?..» В Москве страх прошел — Городецкий сумел договориться с новыми хозяевами, и в этом, вероятно, сыграло свою роль то, что он, бывший «солнечный мальчик», надежда русской поэзии. Мандельштам правильно заметил, что большевики свято верили оценкам символистов и выдавали пайки по завещанным ими шкалам: «Они нас приняли прямо из рук символистов…»

<...>

Из истории адамиста Городецкого можно извлечь мораль: пугаться следует не до бесчувствия, не до потери человеческого облика. В меру. В нашу великую эпоху не испугаться было невозможно, и все дело — в соблюдении меры. Только в этом. Храбрых мальчиков, которые, ничего не испытав, посмеются над моим советом, я приглашаю в свою эпоху и ручаюсь, что, едва поняв сотую долю того, что знали мы, они проснутся среди ночи в холодном поту и неизвестно, каких мерзостей наделают утром.

И еще одно соображение насчет «солнечного мальчика»: мнимая поэзия — отрава. В любых условиях — в самой блаженной жизни — Городецкий испытал бы муки черной зависти и, корчась, проклинал свою «недоучку». Не надо убивать поэтов, но и не следует захваливать их зря…

Трое

Три поэта — Ахматова, Гумилев и Мандельштам — до последнего дня называли себя акмеистами. Я всегда спрашивала, что объединяло трех совершенно разных поэтов с разным пониманием поэзии и почему была так крепка их связь, что ни один не отрекся от юношеского союза, длившегося один короткий миг. Мандельштам отшучивался. Ахматова же — особенно в старости — постоянно говорила об акмеизме, но на мой вопрос ответить не могла: связь трех поэтов казалась ей чем-то само собой разумеющимся. Рассказы Ахматовой касались обстоятельств, при которых произошел разрыв с символистами, вернее, с Вячеславом Ивановым, состава «Цеха поэтов» (первого) и образования группы акмеистов. Я кратко передам основные факты, как они мне запомнились с ее слов. (Их немного — она повторялась, как многие старики.)

Гумилев, глубже связанный с символистами, чем Ахматова и Мандельштам, постепенно отходил от них, потому что присматривался к поэтической работе своих младших друзей и жены и начинал осознавать внутреннюю пустоту теорий Вячеслава Иванова. «Блудный сын» Гумилева («Первая акмеистическая вещь Коли»,— говорила Ахматова) был прочитан в «Академии стиха», где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Иванов подверг «Блудного сына» настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое («никогда ничего подобного мы не слышали»), что друзья Гумилева покинули «Академию» и организовали «Цех поэтов» — в противовес ей. Председателем «Цеха» пригласили Блока, но он почти сразу сбежал. Из «Цеха» выделилась группа акмеистов — шесть человек, включая «лишнего». В качестве манифестов новой группы напечатали статьи Гумилева и Городецкого. Манифест, предложенный Мандельштамом (статья «Утро акмеизма»), Гумилев и Городецкий отвергли. Ахматова говорила, что целиком разделяет положения этой статьи и жалеет, что по молодости и легкомыслию в свое время не отстояла ее как манифест. Вот, в сущности, все, что она рассказывала. Остальное — детали: где и когда собирались, и кто назывался «синдиками цеха» и почему Лозинский не пошел в акмеисты…

Рукопись статьи «Утро акмеизма» случайно сохранилась у Нарбута, и он в период своего комиссарства раздобыл бумагу и тиснул в Воронеже журнальчик под пышным названием «Сирена». Там он напечатал и «Утро акмеизма», не

проставив дату. Рассказал он об этом Мандельштаму весной девятнадцатого года при встрече в Киеве. Мандельштам хмыкнул, а журнальчик так никогда и не увидел — у Нарбута с собою не было ни одного экземпляра, а впоследствии оба и думать об этом позабыли... Составляя книгу статей, Мандельштам про «Утро акмеизма» не вспомнил. Потом прочел в книжке манифестов и пожалел, что не включил в сборник «О поэзии». Цензура могла сдуру пропустить.

Какой-то старый литератор в Воронеже рассказывает, будто встретился впервые с Мандельштамом в «редакции журнала «Сирена». Какая могла быть редакция у такого журнальчика?.. Если кто-нибудь будет этим заниматься, пусть помнит, что все, кто знали и понимали Мандельштама, ушли, не успев ничего о нем сказать. Исключение — «Листки из дневника» Ахматовой. Теперь, когда появился спрос, кроме зарубежного вранья появилось и свое — отечественное. Надо различать брехню зловредную (разговоры «голубоглазого поэта» у Всеволода Рождественского), наивно-глупую (Миндлин, Борисов), смешанную глупо-поганую (Николай Чуковский), лефовскую (Шкловский), редакторскую (Харджиев, который мне, живой, приписывает в комментариях, что ему вздумается, а мертвому Мандельштаму и подавно), и добродушную — вроде встречи в редакции «Сирена». Критерий подлинности подсказывает Лидия Яковлевна Гинзбург. Она заметила во вступительной статье к неизданной книге «необычайное сходство между статьями, стихами, застольным разговором. Это был единый смысловой строй». Замечание исключительно точное. Мало того — все статьи Мандельштама с двадцать второго года хранят живой звук его голоса: он диктовал их мне, как и «Шум времени» (кроме последних четырех главок) и «Четвертую прозу»... Это отличный критерий, чтобы выделить ложь у «вспоминателей» от случайно вкрапленной правды. Точна в своих воспоминаниях Наташа Штемпель: у нее отличная память.

Последние годы жизни Ахматова вспоминала акмеистическую молодость, и ее обуревал страх, что будущие литературоведы зачислят акмеистов в «младших символистов» или оторвут от них Мандельштама, чтобы соединить его с Хлебниковым и Маяковским. Такая тенденция действительно существует. Тот же Харджиев в своих примечаниях поминает Маяковского, Хлебникова и даже Лилю Юрьевну Брик, но почему-то забыл Ахматову и Гумилева, и это ее возмущало. Она огорчалась еще тем, что Мандельштам где-то написал про родовое лоно символизма, откуда они все вышли... Я отношусь равнодушно к проискам будущих литературоведов: лишь бы не угасли стихи и сохранилось живое чувство поэзии. Зато вопрос о том, что связывало трех поэтов помимо юношеской дружбы, кажется мне очень существенным. Если он будет разрешен, всяким спекуляциям придет конец. Ведь их необоснованность бросается в глаза, и только интеллектуальная лень допускает их существование.

<...>

Акмеисты отказались от культа поэта и «дерзающего», которому «все позволено», хотя «сильный человек» Городецкого и отчасти Гумилева унаследован от символистов. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести (воин и путешественник). Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру. В трудные годы он не случайно вспомнил

четверостишие, не вошедшее в «Камень», и напечатал его в «Стихотворениях»: «Здесь я стою — я не могу иначе». В статье «О природе слова» он писал: «Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный, характер поэзии обусловлен тем, что человек тверже всего остального в мире». В 1922 году, когда он написал эти слова, все кругом говорили о твердой власти, но никто не помышлял, что и человек несет ответственность за все происходящее в мире. Каждый был рад снять с себя ответственность даже за свои собственные поступки. Слова Мандельштама прозвучали бы диссонансом, если бы хоть кто-нибудь их услышал, но я уверена, что их не услышал никто, кроме разве Ахматовой. Она — плакальщица. Для нее и мученик за веру, и воин — жертвы, которых она оплакивает.

«Красивый, двадцатидвухлетний», как и красивые полубоги сказок Хлебникова, гораздо ближе к дерзающему человеку символистов, чем «твердый человек» Мандельштама. В молодости я, наверное, смеялась над твердым человеком и просто измывалась над словами: «Нам только в битвах выпадает жребий», потому что представляла себе «битву» по-эйзенштейновски: рыхлые рыцари размахивают картонными мечами. Мандельштам не умел вычистить винтовку, питал органическое отвращение к огнестрельному оружию и никогда не ходил в военной форме. Могла ли я себе представить, что на таком мирном поприще, как поэзия, разыгрываются настоящие, не липовые, как у Эйзенштейна, битвы с кровавым исходом?

Хорошо, что Мандельштам не обижался и не ждал фимиама от собственной жены. Сильные люди героической эпохи требовали восхвалений от женщин. Они компенсировали их за все унижения, которым они подвергались в общественной жизни. Мандельштам в этом не нуждался, и причина мне ясна. Юное содружество акмеистов, настоящее «мы» Мандельштама, помогло ему ощутить свое «я», отнюдь не индивидуалистическое и не нуждающееся в самоутверждении.

<...>

Этапы

Я произнесла слово «этапы» и поразилась совпадению: каторжные этапы и этапы поэтического труда. Нас преследуют лагерные ассоциации (это не фрейдовские ассоциации, которые всегда ведут к одному и тому же, а сама жизнь). Мандельштам — поэт с резко выраженными этапами — умер на этапе. Говоря об одних этапах, нельзя забывать о других — они взаимосвязаны. Один мой заокеанский друг однажды сказал: «Любой наш поэт согласился бы стать вашим поэтом». Я спросила: «Со всеми последствиями?» Он ответил: «Да. У вас это серьезное дело». По-моему, он недооценил последствий.

В годы передышки, когда состоялся этот разговор, даже Ахматова начала забывать, что такое эти «последствия» и каковы они в реальности. В этот период Ахматова, удивляясь, как за рубежом — особенно русские эмигранты — ничего в нашей жизни не понимают, часто повторяла фразу, которая приводила меня в ярость: «Они завидуют нашему страданию». Причина непонимания вовсе не за-

висть, а непредставимость нашего опыта и потоки лжи, искажавшей действительность до полной неузнаваемости. Надо еще прибавить — полное нежелание вдуматься. Предположить у ленивых и равнодушных людей не только зависть, но даже простое сочувствие, каплю жалости я не могу. Они просто плевали и отворачивались. Главное же, что завидовать было нечему. В нашем страдании ничего просветляющего не было и в помине. Никакой благодати в нем не ищите: только животный страх и боль. Я не завидую собаке, которую переехал грузовик, или кошке, выброшенной хулиганом с десятого этажа на улицу. Я не завидую людям, в число которых вхожу и я, за то, что в каждом они подозревали предателя, провокатора или стукача и даже наедине с собой не смели ни о чем подумать, чтобы ночью криком во сне не выдать себя соседям за тонкой перегородкой. Завидовать, прямо скажу, нечему. Кто позавидует Ахматовой, которая не смела слова произнести у себя в комнате и только пальцем показывала на дырочку в потолке, откуда осыпалась на пол кучка штукатурки? Был там установлен подслушиватель или нет, роли не играет. Важно, что палец указывал на потолок, а рот был зажат. После этого говорить о зависти нелепо.

Мандельштам выбил из меня мысль, что я должна быть счастливой, но напрашиваться на страдания или кичиться ими я не советую никому. Отсюда один шаг до «радость-страданье» и «боль неизведанных ран». Как нужно любить себя, чтобы искать на своем теле несуществующую рану или огорчаться, что ты уже не кудрявый ребенок, которого ласкала мама. Такая самовлюбленность — наследство десятых годов, инстинктивное требование особого отношения к так называемой элите, которой не пристала даже старость и собачья смерть. Мы не были достойны страданий, которые свалились на нас, и ничего им противопоставить не могли, кроме мысли, что людей нельзя мучить и убивать.

<...>

Мандельштам легко жил среди обыкновенных людей и дал несколько формул своего отношения к ним. Ему хотелось «еще побыть и поиграть с людьми», и он всегда был готов «тянуться с нежностью бессмысленно к чужому». Это говорит о притяжении, а не об отталкиваньи. Цветаева, например, при любых условиях вошла бы в конфликт с окружающим. Это было заложено в ее природе. Мандельштам без людей непредставим, и отношения облегчались тем, что в нем начисто отсутствовала учительская жилка и себя он считал хуже других. Глубокие религиозно-нравственные и историософские конфликты, поиски социальной справедливости и осмысление гуманистических тенденций, проверка наследства отцов и предков — все это может быть лучшей основой биографии, чем примитивный конфликт с государством и обществом, которые и в нормальных условиях принимают форму погони специально выдрессированной своры за ошалевшим зайцем.

Цветаева предсказала Мандельштаму в стихах «гибель от женщины». По-моему, такой исход исключается. Он бы использовал женщин, как «твердые мосты», и больше ничего. Я спрашивала Ахматову, почему Георгий Иванов кричит, что Мандельштам всегда влюблен. Она отвечала: это потому, что он не знал женатого Мандельштама. Я же сомневаюсь, что и в юности Мандельштама трясла любовная лихорадка: не тот человек. Тяга к людям, свойственная

Мандельштаму, повышенный интерес к ним, как к мужчинам, так и к женщинам, любопытство ко всякому встречному — все это легко могло трактоваться пошляком Ивановым как перманентная влюбленность, что-то вроде завивки-перманент, популярной в моей юности. У Ахматовой с ее культом влюбленности показания тоже не совсем достоверны. Строчка Мандельштама: «Я каждому тайно завидую и в каждого втайне влюблен» — свидетельствует не о влюбчивости и зависти, а о восхищении людьми, и это на него очень похоже. Сам он говорил о себе, что часто восхищался женщинами, но действительно влюблен был в юности только дважды — в Саломею Андроникову и в Зельманову. По его словам, влюбленность была из тех, когда бродят стихи, то есть не таящая в себе никаких опасностей — без тяги к обладанию.

<...>

Этапы моей жизни

<...>

Мы пробыли вместе один короткий миг, но наши отношения менялись, по крайней мере, трижды, то есть мы прошли, по крайней мере, через три этапа и, может, потому не успели надоесть друг другу. Мандельштама кто-то — может, это была я — сравнил с птицей-фениксом. Она сгорает в огне, а наутро оказывается, что она снова жива и поет. Во всех смыслах он был фениксом: пройдя через кризис, он воскресал и снова говорил, причем голос его приобретал новую силу. И наша близость, воскресая, возникала с новой силой, но всегда несколько видоизмененная. Неженатый Мандельштам, по мнению Ахматовой, сильно отличался от того, кем он был со мной. Неженатого и только чуть-чуть связанного со мной Мандельштама я знала только в Киеве во время карнавала. В нем была юношеская неврастеничность и необузданная веселость. Меня смешило, что он никогда не пишет за столом, как все люди, но кладет листок бумаги на стул и присаживается на корточки. Он обожал кофейни и был страшно легок и подвижен. Мы ездили на лодке по Днепру, и он хорошо управлял рулем и умел отлично, без усилий, грести, только всегда спрашивал: «А где Старик?» Так назывался водоворот, в котором часто гибли пловцы.

Чувствовалось, что Мандельштам, как всякий незрелый человек, может наделать много бед, но его особенность в том, что с годами это свойство не уменьшалось, а увеличивалось: «Иные сны, иные гнезда, но не разбойничать нельзя...» В нем было внутреннее буйство, интеллектуальное, но оно захватывало и повседневную жизнь, сказывалось на каждом поступке и в каждом слове. Несколько карнавальных месяцев я не считаю началом совместной жизни. Это прелюдия нашего брака, если это можно назвать браком. А датой брака мы считали все же первое мая девятнадцатого года. Отменили комендантский час, и мы большой гурьбой гуляли по Владимирской горке («твоя горка», как это потом называлось). Сошлись мы накануне, уйдя из Купеческого сада, где мой табунок делал выставку народного искусства и почему-то проводил целые ночи, жаря на кострах картошку. Мандельштам запомнил Владимирскую горку, потому что там он мне объяснил, что наша встреча не случайность. Я этого еще не подозревала и очень смеялась его словам. Путешествие в

чужую страну, в Грузию, не изменило наших отношений, а может, я не поняла перемен: ведь в стихах прорезался новый голос, а такое зря не случается. Новый голос я слышу в стихотворении: «Умывался ночью на дворе».

В Москве на Тверском бульваре со мной жил замкнутый и суровый человек первой половины двадцатых годов, когда он искал свое место в мире. В то время он обращался со мной, как с добычей, которую насильно приволок в свою конуру. Все его усилия сводились к тому, чтобы изолировать меня от людей, завладеть мной и взять меня в руки и приспособить к себе. В те годы он упорно делал из меня не читательницу, а слушательницу стихов, учил воспринимать их с голоса. Мне в руки он книг не давал, а сам листал их со мной, показывая мне удачи и провалы поэтов начала двадцатого века. Я чувствовала себя лошадкой в руках дрессировщика, и дело действительно сводилось к этому, хотя дрессировкой он вряд ли занимался сознательно. В одном ему повезло: я охотно поддавалась и была сговорчивой и легкой добычей — мирно ела сено из его рук. Единственное, с чем я с трудом мирилась, это отказ от общения с людьми, которого он требовал и от меня — не словами, а просто не отпуская меня из дому. И в свою жизнь он меня тогда не пускал, и я могла только догадываться, о чем он думает. Несколько легче стало на Якиманке, когда мы попали в изоляцию и он перестал бояться, что я удеру в его отсутствие в кабак, на аэродром или к подружке, чтобы почирикать.

Второй период начался после ленинградского кризиса, когда, отказавшись от Ольги Ваксель, он увез меня в Царское. Розанов где-то написал, что измена скрепляет семейную жизнь, и мы попали под общее правило, хотя семьей не были и не семейное связывало нас. Я с горечью подумала сейчас об этом, как и о другой особенности нашей жизни: в любой паре приспособляются двое, Мандельштам ни к чему приспособляться не умел и не хотел, и я, в которую он вложил большой труд, приспособляя меня к себе, была ему нужна больше, чем любая новая женщина, потому что с новой пришлось бы начинать все с самого начала, да еще неизвестно, что бы получилось. Я это сказала ему в Царском. Он очень рассердился, но мне думается, что это сыграло немалую роль в его привязанности ко мне.

Второй период ознаменовался тем, что я перестала быть добычей, украденной Европой, девчонкой, за которой нужен глаз да глаз. Нас стало двое. Быть может, это произошло оттого, что мы впервые заговорили о наших отношениях и кое-как в них разобрались. Разговор больше не прекращался. С тех пор я всегда знала, чем он живет, и ревновать он стал меня меньше, чем раньше, хотя и этого бы хватило на десяток женщин. Почувствовала я и заботу, которой раньше не знала. Он был «няней» и раньше, но, видно, так испугался, чуть не потеряв меня, что стал в тысячу раз больше опекуном, другом, чем надсмотрщиком и дрессировщиком. Оказалось, что Мандельштам способен на все, чтобы меня сохранить, даже на каторжный труд и временную разлуку, на что бы раньше ни за что не согласился. С какой стати иметь жену и жить одному! Он так не говорил, но в нем это чувствовалось. После Царского Села мы жили в Луге, а потом он загнал меня в Ялту — к этому периоду относится большинство писем. Пансион на одного стоил сто пятьдесят, а на двоих двести пятьдесят рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не полови-

ну печатного листа — за лист платили рублей тридцать. Гонорары были попросту нищенские, как на Апраксином рынке, и, как мы узнали от Нарбута, никакой роли в калькуляции книги не играли. Переводилась абсолютная дрянь, отрава, хотя всякий принудительный перевод для поэта губителен. Я не случайно огорчалась и в каждом письме умоляла отпустить меня в Киев к родителям — Мандельштам так закабалил себя работой, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался когтями. Об этом лучше расскажут письма, где Мандельштам бесстыдно врет, как хорошо складываются дела и со всех сторон льются золотые ручьи. Он успокаивал меня, чтобы удержать в Ялте. Переводы уже тогда использовались как отличный и на редкость действенный способ уничтожения литературы. Стихотворный, как и прозаический перевод насильственных книг заглушает всякую мысль и убивает слово. У кого хватит сил после переводческой балаболки думать или говорить? Непонятно, как Мандельштам умудрялся писать письма. Они приходили почти ежедневно, а кроме них — груды телеграмм, в которых он умолял меня спокойно жить в туберкулезном городке, толстеть, слушаться врачей и дожидаться его приезда. Я дождалась.

Поздней весной мы уехали в Киев (на Горку сходили), а потом в Царское Село, где прожили два года. Зимой 27/28 года Мандельштам написал «Египетскую марку». Я научилась кропать за него какие-то обработки для «Зифа», и он получил передышку. Ленинград уже не кормил: жизнь у нас лишена стабильности. Как в басне Крылова, все время пересаживаются и улучшают организацию. Потом, работая в вузах, я увидела, что каждый год преподают по временным программам в ожидании стабильной, которая, просуществовав год, в свою очередь, отменяется. Точно так обстояло и с издательствами, которые непрерывно реорганизовывались, а литераторы в поисках заработка метались из одного города в другой. Всегда не хватало и не хватает бумаги и книги снимаются с плана. Сейчас это уже почти не играет роли: в печать лишь изредка попадает то, что хочется прочесть.

В молчании Мандельштама большую, хотя и механическую, роль сыграли переводы. О нем начали писать, что он бросил поэзию и перешел на переводы, когда ничего подобного еще не было, но потом добились своего — рот ему заткнули. Лишь после истории с Уленшпигелем Мандельштам бросил литературу, то есть переводы, и освободился от кабалы. С путешествия в Армению и возвращения стихов начался третий и последний этап в наших отношениях. Мандельштам освободился от гипноза, пережитого всей страной, и перестал ощущать «новое» как будущее тысячелетие. Тогда-то на обратном пути из Армении — в Тифлисе — к нему вернулись стихи. Впервые за многие годы он почувствовал прошлое и восстановил с ним связь. «Усыхающий довесок прежде вынутых хлебов» страдает от своей связи с прошлым и считает, что она лишает его права на современность. (Это, кажется, Маяковский сбрасывал непослушных «с корабля современности»? Бедняга!) Освободившись, Мандельштам жил настоящим и прекрасно знал, что оно принадлежит ему, а не тем, кто размахивал патентом на настоящее и без церемонии предсказывал будущее. С начала тридцатых годов Мандельштам уже не обращал внимания на предсказателей — он снова обрел полную внутреннюю свободу.

Перед самым отъездом в Армению произошел любопытный казус. Мандельштам был в тяжелом состоянии, пошел к врачам, а те погнали его — тут же в поликлинике — к психиатру. Когда я приехала из Киева, куда ездила на похороны отца, Мандельштам попросил меня сходить поговорить с психиатром. Он оказался примитивным и очень решительным врачом. Его концепция болезни была такая: больной вообразил себя поэтом, выдумал, будто пишет стихи и его знают как поэта, а на самом деле он мелкий служащий, даже не заведует отделом, и носится с какими-то обидами, плохо говорит про писательские организации. Психоз известный — мания преследования на почве идеи о том, что ты что-то значишь. В больницах полным-полно больных, воображающих себя Наполеонами (он не решился сказать: «членами политбюро»). И к тому же совершенно неинтересный больной с однообразным и скучным бредом. Бывают интересные больные, а бывают неинтересные. Бред в чем-то отражает степень развития. К тому же бред глубокий — больного нельзя переубедить в том, что он поэт. Мне врач рекомендовал не заражаться психозом (я пробовала объяснить, что у Мандельштама были кое-какие основания говорить про стихи) и решительно останавливать все разговоры про стихи. Я пришла домой в бешенстве: ну и идиот — вроде как в милиции или в любимом учреждении. Мандельштам неожиданно сказал, что врач не так глуп. «Ведь я тебе писал, что не хочу фигурять Мандельштамом. Я эту сволочь заметил, когда они на меня бросились, да еще возмутился. Они только и делают, что бросаются. Чем я лучше других?» Это был вывод из визита к врачу, которого я бы не сделала. Думаю, что причина легкости, с которой он сделал вывод, в том, что «Четвертая проза» уже была написана.

В третьем периоде Мандельштам сделал меня полной соучастницей своей жизни. У него снова появилось «мы», но с некоторым вариантом: «мы с тобой». Наша связь, как мне думается, стала нерасторжимой. Связь двоих — не мираж, как думала Ахматова. Я недавно узнала, что есть даже молитва двоих, потому что двое — основная форма человеческой жизни. Я допускаю, что в старости — будь Мандельштам богат и благополучен — он мог бы дать увести себя от старой жены, но это не меняет дела. Связь была и будет, и ничто ее нарушить не может — даже то, что его увели и я не узнала, как сложились наши отношения в четвертом периоде жизни, на пороге которого мы стояли. Думаю, что ничего бы не изменилось в наших отношениях и периодизация коснулась бы только стихов.

В третьем и последнем периоде нашей жизни мы были до такой степени вместе, как никогда. Разговаривая, мы даже не боялись ранить друг друга и почти не чувствовали, что «есть в близости людей заветная черта». Может, она есть только в тех случаях, когда живущие вместе смотрят в разные стороны. В какой-то степени люди всегда чуточку смотрят в разные стороны, весь вопрос в степени уклона. У нас он был минимальный.

Так мы жили с Мандельштамом, и он дразнил меня, не «прекрасную даму», и был до ужаса свободен и радостен до последнего дня. Взрослея и даже старея, он молодел. Выглядел он всегда старше своих лет, но с годами становился легче, веселее, общительнее. В тридцатых годах в нем начисто исчезла вся замкнутость и закрытость и больше не возвращалась. Тогда мне стало казаться, что я делаюсь старше его, потому что его работа разворачивалась во всю ширь, а он, старея, молодел. Да можно ли говорить «старея», раз ему не дали дожить даже до сорока

восьми лет?.. А вот я каменела от страха и старела. Мне кажется, что я сейчас моложе, чем в те проклятые годы. О них нельзя забывать, хотя даже Ахматова умоляла меня это сделать. Как могу я забыть, когда нас оборвали на полуслове? Недосказанное слово мучит и комом стоит в горле. Стоит ли завидовать нашему страданию? В нем немота и бессмысленная гибель. Немота и смерть. Недосказанное слово. Если б не вера в будущую встречу, я бы не могла прожить эти десятки одиноких лет. Я смеюсь над собой, я не смею верить, но вера не покидает меня. Встреча будет, и разлуки нет. Так обещано, и в этом моя вера.

Источник: Надежда Мандельштам. Вторая книга. М.: Московски рабочий, 1990 г.

ВОСПОМИНАНИЯ

Мое завещание

– «Пора подумать,— не раз говорила я Мандельштаму,— кому это все достанется… Шурику?» — Он отвечал: «Люди сохранят… Кто сохранит, тому и достанется».— «А если не сохранят?» — «Если не сохранят, значит, это никому не нужно и ничего не стоит»… Еще была жива любимая племянница О. М., Татька, но в этих разговорах О. М. никогда даже не упомянул ее имени. Для него стихи и архив не были ценностью, которую можно завещать, а, скорее, весточкой, брошенной в бутылке в океан: кто поднимет ее на берегу, тому она и принадлежит, как сказано в ранней статье «О собеседнике». Этому отношению к своему архиву способствовала наша эпоха, когда легче было погибнуть за стихи, чем получить за них гонорар. О. М. обрекал свои стихи и прозу на «дикое» хранение, но если бы полагаться только на этот способ, стихи бы дошли в невероятно искаженном виде. Но я случайно спаслась — мы ведь всегда думали, что погибнем вместе,— и овладела чисто советским искусством хранения опальных рукописей. Это не простое дело — в те дни люди, одержимые безумным страхом, чистили ящики своих письменных столов, уничтожая все подряд: семейные архивы, фотографии друзей и знакомых, письма, записные книжки, дневники, любые документы, попавшие под руку, даже советские газеты и вырезки из них. В этих поступках безумие сочеталось со здравым смыслом. С одной стороны, бюрократическая машина уничтожения не нуждалась ни в каких фактах, и аресты производились по таинственному канцелярскому произволу. Для осуждения хватало признаний в преступлениях, которые с легкостью добывались в ночных кабинетах следователей путем конвейерных или упрощенных допросов. Для создания «группового» дела следователь мог связать в один узел совершенно посторонних людей, но все же мы предпочитали не давать следователям списков своих знакомых, их писем и записок, чтобы они не вздумали поработать на реальном материале… И сейчас, по старой памяти, а может, в предчувствии будущих невзгод, друзья Ахматовой испугались, услыхав, что в архивы проданы письма ее читателей и тетради, куда она в период передышки начала записывать, кто, когда и в котором часу должен ее навестить. Я, например, до сих пор не могу завести себе книжку с телефонами своих знакомых,

потому что привыкла остерегаться таких «документов»... В нашу эпоху хранение рукописей приобрело особое значение — это был акт, психологически близкий к самопожертвованию,— все рвут, жгут и уничтожают бумаги, а кто-то бережно хранит вопреки всему эту горсточку человеческого тепла. О. М. был прав, отказываясь назвать наследника и утверждая, что право на наследование дает этот единственный возможный у нас знак уважения к поэзии: сберечь, сохранить, потому что это нужно людям и еще будет жить... Мне удалось сохранить кое-что из архива и почти все стихи, потому что комиссий по наследству и чиновников, именующихся главными, внешними и внутренними редакторами? Они ли — бритые или усатые — гладкие любители посмертных изданий — будут перебирать горсточку спасенных мною листков и решать, что стоит, а чего не стоит печатать, в каких вещах поэт «на высоте», а что не мешало бы дать ему на переработку? Может, они и тогда еще будут искать «прогрессивности» со своих, продиктованных текущим моментом и государственной подсказкой позиций? А потом делить между собой, издательством и государством доходы — пусть ничтожные, пусть в два гроша — с этого злосчастного издания? Какой процент отчислят они тогда государству, а какой его передовому отряду — писательским, организациям? За что? Почему? По какому праву?

Я оспариваю это право и прошу Будущее исполнить мою последнюю и единственную просьбу. Чтобы лучше мотивировать эту просьбу, которая, надеюсь, будет удовлетворена государством Будущего, какие бы у него ни были тогда законы, я перечислю в двух словах, что Мандельштам получил от государства Прошлого и Настоящего и чем он ему обязан. Неполный запрет двадцатых и начала тридцатых годов: «не актуально», «нам чуждо», «наш читатель в этом не нуждается», украинское, развеселившее нас — «не треба», поиски нищенского заработка — черная литературная работа, поиски «покровителей», чтобы протолкнуть хоть что-нибудь в печать... В прессе: «бросил стихи», «перешел на переводы», «перепевает сам себя», «лакейская проза» и тому подобное... После 1934 года — полный запрет, даже имя не упоминается в печати вплоть до 1956 года, когда оно возникает с титулом «декадент». Прошло почти тридцать лет после смерти О. М., а книга его все еще «готовится к печати». А биографически — ссылка на вольное поселение в 1934 году — Чердынь и Воронеж, а в 1938 году — арест, лагерь и безымянная могила, вернее, яма, куда его бросили с биркой на ноге. Уничтожение рукописей, отобранных при обысках, разбитые негативы его фотографий, испорченные валики с записями голоса...

Это искаженное и запрещенное имя, эти ненапечатанные стихи, этот уничтоженный в печах Лубянки писательский архив — это и есть мое литературное наследство, которое по закону должно в 1972 году отойти к государству. Как оно смеет претендовать на это наследство? Я прошу Будущее охранить меня от этих законов и от этого наследника. Не тюремщики должны наследовать колоднику, а те, кто был прикован с ним к одной тачке. Неужели государству не совестно отбирать эту кучку каторжных стихов у тех, кто по ночам, таясь, чтобы не разделить ту же участь, оплакивал покойника и хранил память об его имени? На что ему этот декадент?

Пусть государство наследует тем, кто запродал ему свою душу: даром ведь оно ни дач, ни почестей никому не давало. Те пускай и несут ему свое наслед-

ство хоть на золотом блюде. А стихи, за которые заплачено жизнью, должны остаться частной, а не государственной собственностью. И я обращаюсь к Будущему, которое еще за горами, и прошу его вступиться за погибшего лагерника и запретить государству прикасаться к его наследству, на какие бы законы оно ни ссылалось. Это невесомое имущество нужно охранить от посягательств государства, если по закону или вопреки закону оно его потребует. Я не хочу слышать о законах, которые государство создает или уничтожает, исполняет или нарушает, но всегда по точной букве закона и себе на потребу и пользу, как я убедилась, прожив жизнь в своем законнейшем государстве.

Столкнувшись с этим ассирийским чудовищем — государством — в его чистейшей форме, я навсегда прониклась ужасом перед всеми его видами, и поэтому, какое бы оно ни было в том Будущем, к которому я обращаюсь, демократическое или олигархия, тоталитарное или народное, законопослушное или нарушающее законы, пусть оно поступится своими сомнительными правами и оставит это наследство в руках у частных лиц.

Ведь, чего доброго, оно может отдать доходы с этого наследства своим писательским организациям. Можно ли такое пережить: у нас так уважают литературу, что посылают носителя стихотворческой силы в санаторий, куда за ним приезжает грузовик с исполнителями государственной воли, чтобы в целости и сохранности доставить его в знаменитый дом на Лубянке, а оттуда — в теплушке, до отказа набитой обреченными, протащить через всю страну на самую окраину к океану и без гроба бросить в яму; затем через пятнадцать лет — не после смерти, а после реабилитации — завладеть его литературным наследством и обратить доходы с него на пользу писательских организаций, чтобы они могли отправить еще какого-нибудь писателя в санаторий или в дом творчества... Мыслимо ли такое? Надо оттеснить государство от этого наследства.

Я прошу Будущее навечно, то есть пока издаются книги и есть читатели этих стихов, закрепить права на это наследство за теми людьми, которых я назову в специальном документе. Пусть их всегда будет одиннадцать человек в память одиннадцатистрочных стихов Мандельштама, а на место выбывших пусть оставшиеся сами выбирают заместителей.

Этой комиссии наследников я поручаю бесконтрольное распоряжение остатками архива, издание книг, перепечатку стихов, опубликование неизданных материалов... Но я прошу эту комиссию защищать это наследство от государства и не поддаваться ни его застращиваниям, ни улещиванию. Я прожила жизнь в эпоху, когда от каждого из нас требовали, чтобы все, что мы делали, приносило «пользу государству». Я прошу членов этой комиссии никогда не забывать, что в нас, в людях,— самодовлеющая ценность, что не мы призваны служить государству, а государство — нам и что поэзия обращена к людям, к их живым душам и никакого отношения к государству не имеет, кроме тех случаев, когда поэт, защищая свой народ или свое искусство, сам обращается к государству, как иногда случается во время вражеских нашествий, с призывом или упреком. Свобода мысли, свобода искусства, свобода слова —это священные понятия, непререкаемые, как понятия добра и зла, как свобода веры и исповедания. Если поэт живет, как все, думает, страдает, веселится, разговаривает с людьми и чувствует, что его судьба неотделима от судьбы всех людей,— кто посмеет требовать, чтобы его

стихи приносили «пользу государству»? Почему государство смеет объявлять себя наследником свободного человека? Какая ему в этом польза, кстати говоря? Тем более в тех случаях, когда память об этом человеке живет в сердцах людей, а государство делает все, чтобы ее стереть...

Вот почему я прошу членов комиссии, то есть тех, кому я оставляю наследство Мандельштама, сделать все, чтобы сохранить память о погибшем — ему и себе на радость. А если мое наследство принесет какие-нибудь деньги, пусть комиссия сама решает, что с ними делать — пустить ли их по ветру, подарить ли людям или истратить на собственное удовольствие. Только не устраивать на них никаких литературных фондов или касс, а стараться спустить эти деньги попроще и почеловечнее в память человека, который так любил жизнь и которому не дали ее дожить. Лишь бы ничего не досталось государству и его казенной литературе, И я еще прошу не забывать, что убитый всегда сильнее убийцы, а простой человек выше того, кто хочет подчинить его себе.

Такова моя воля, и я надеюсь, что Будущее, к которому я обращаюсь, уважит ее хотя бы за то, что я отдала жизнь на хранение труда и памяти погибшего.

Источник: Надежда Мандельштам. Воспоминания. М.: Книга,1989.



Якир Петр Ионович

(1923–1982)

Сын расстрелянного в 1937 г. командарма Петра Якира. В 14 лет Петр Якир был репрессирован как «сын врага народа» и 17 лет провел в тюрьмах и лагерях. В 33 года был реабилитирован, окончил Историко-архивный институт. В 60-х годах Якир становится одним из активистов нарождающего правозащитного движения, активно участвует в петиционных кампаниях *(См., например, знаменитое письмо «К деятелям науки, культуры и искусства», стр. 46)*. В 1969 г. Якир – среди основателей ИГ (Инициативной группы по защите прав человека в СССР). По воспоминаниям Леонарда Терновского, также одного из участников ИГ, «его квартира на Автозаводской улице становится неким клубом московских, и не только московских протестантов». В квартире Якира всегда было много сам- и тамиздата, который свободно раздавался широкому кругу желающих. По свидетельству того же Терновского, именно Якир был главным «связным» с иностранными корреспондентами в конце 60-х.

В 1972 г. арестован вместе с Виктором Красиным. После примененных к нему КГБ мер воздействия стал давать показания на других участников правозащитного движения (так же как и Красин), покаялся. «В награду» за сотрудничество получил лишь три года ссылки в Рязани. Публичное «покаяние» Якира и Красина, частично показанное по советскому телевидению, спровоцировало длительный кризис всего правозащитного движения, от которого оно оправилось лишь в 1974 г., с возобновлением издания «Хроники текущих событий».

С начала 70-х в Самиздате распространялись мемуары Петра Якира «Детство в тюрьме». Впрочем, вторая часть мемуаров была изъята при обыске у Якира и так и не попала в Самиздат. В печати отрывки из его мемуаров впервые появились в парижском еженедельнике «Русская Мысль».

ДЕТСТВО В ТЮРЬМЕ

Арест отца. Астрахань

30 мая 1937 года. Накануне мы с отцом были на даче в Святошине, под Киевом. Зазвонил телефон; попросили отца. Разговаривал с ним Ворошилов:

– Выезжайте немедленно в Москву, на заседание Военного совета.

Была вторая половина дня. Отец ответил, что поезда на Москву сегодня больше не будет. Спросил разрешения вылететь.

– Не нужно. Завтра выезжайте первым поездом.

На следующий день в три часа пятнадцать минут дня отходил поезд на Москву. Я провожал отца. Настроение у него было тревожное: он знал, что в течение прошедших недель арестован ряд военачальников, в том числе и Михаил Николаевич Тухачевский.

На прощанье он мне сказал: «Будь настоящим, сын!»

Когда поезд тронулся, я увидел, как несколько людей в форме НКВД вскочили в предыдущий вагон (вагон-салон, в котором ехал отец, был последним).

Вернувшись домой, на киевскую квартиру (мне еще оставалось два экзамена за 7-ой класс), я попросил у мамы разрешения пойти погулять. Она меня просила вернуться не позже десяти вечера.

В 10 часов я распрощался со своими друзьями и подружками, которые гуляли в Мариинском парке, напротив нашего дома, и пошел домой. Милиционер, постоянно охранявший наш дом, ничего не сказал мне. Я обратил внимание, что во всех комнатах нашей квартиры горит свет и окна зашторены. Позвонил в дверь. Некоторое время никто не подходил, потом мужской голос спросил:

– Кто это? Я ответил.

– А, Петя, — сказал голос, — дело в том, что у твоей мамы приступ и у нее врачи. Иди, еще погуляй.

Я возвратился в парк. Там ко мне пристали сербиянки — погадать; в присутствии моих друзей гадалка сказала: «Родителя своего ты больше никогда не увидишь. Предстоит тебе долгий-долгий казенный дом. Кончится все для тебя благополучно. Будет у тебя жена, двое детей».

Около часа ночи я вернулся домой. Свет в окнах квартиры все горел. На звонок мне открыли дверь, и я увидел двух людей в форме НКВД. Довольно резко один из них предложил мне пройти в кабинет отца. Там за письменным столом сидел крупный человек с перебитым носом в форме НКВД, с отличиями комиссара 2-го ранга (как потом выяснилось, это был заместитель Ежова — Яков Аркадьевич Фриновский, один из самых страшных палачей-истязателей НКВД того времени).

– Долго ли тебя ждать? — спросил он. — Ну, а теперь говори, где у вас хранится валюта.

– Во-первых, я не понимаю, что здесь происходит, а во-вторых, я не имею представления ни о какой валюте.

Он быстро встал из-за стола, подошел ко мне и ударил по голове, видимо, не рукой, а чем-то еще, так как удар был сильный. Я упал.

– Щенок! — сказал он. — Уведите его.

Я пришел в себя, меня подняли и отвели в столовую, где на диване лежала мама. У нее был сердечный приступ. Она все время просила кофе. Кроме нее в квартире при обыске были задержаны друзья нашей семьи: Сапронов Сергей Иванович, председатель Лечебной комиссии ЦК КП (б) Украины, и его жена, Вера Александровна Комерштейн, редактор и летчица. (Впоследствии, этим же летом, они были арестованы; он погиб на Колыме, а она, отбыв 8 лет в лагерях, умерла на воле. Сын их, одиннадцатилетний Юра, несколько дней после их ареста жил в квартире один. Каждый день он ходил к окнам НКВД, спрашивал, где его папа и мама. Затем он был отправлен в детский дом. В шестнадцать лет

пошел на фронт, несколько раз был ранен; сейчас живет под Москвой.)

Мама внятно не смогла мне ничего объяснить. Обыск продолжался. Было около 20 работников НКВД. Обстукивали стены, вскрывали паркет, в некоторых местах вскапывали сад. К обеду следующего дня все было закончено. Увезли они из нашей квартиры 64 наименования оружия, в основном наградного (золотая и серебряная шашки, винтовки разных систем, пистолеты и даже экспериментальные автоматы — «Дегтяревский» и др.; несколько карт-верстовок, списки военнослужащих Киевского военного округа, находившихся в то время в Испании. Никакие другие документы и даже переписка изъяты не были).

Сам Фриновский никаких объяснений не давал. Один из работников сказал: «Не волнуйтесь. Все выяснится».

На следующий день, поняв происшедшее, я стал вытаскивать из квартиры всякие достопримечательности (подаренные отцу модели танков, самолетов, кораблей, трубки и т. д.) и раздаривать их своим друзьям. В парке я встретил Иру Петерсон, дочь бывшего коменданта Кремля, арестованного за месяц до моего отца. После ареста своего отца она не желала со мной разговаривать, а тут подскочила и сказала:

– Теперь мы с тобой одинаковые ...

Мать позвонила первому секретарю ЦК Украины Станиславу Викентьевичу Коссиору и попросила, чтобы нас переселили в другую квартиру. Он сказал, что пришлет человека, который все устроит. Дни шли, мы продолжали оставаться в той же квартире.

7 июня мать вызвали в Особый отдел НКВД. Приняли ее начальник отдела Купчик и его заместитель Шорох (оба недавно назначенные). Они успокаивали мать, сказали, что все выяснится и будет в порядке. Попросили написать записку отцу о домашних делах, в которой должно быть написано, что все хорошо, Петя сдает экзамены. Мама написала письмо. Прочитав его, они стали говорить, что такое не годится. И стали диктовать, что можно, а чего нельзя писать. После четырехкратной переписки они добились текста, который их удовлетворил.

8 июня ее вызвали повторно, но уже с другой целью. Ей сообщили, что имеется решение о выселении нашей семьи, и предложили выбрать один из трех названных ими городов: Актюбинск, Акмолинск или Астрахань.

Мать выбрала Астрахань, после чего нам было предложено уехать в течение 48 часов. Мать заявила, что в такие сроки она не может собраться. Ей сказали: «Положено». В этот же день явились люди, которые начали упаковывать вещи.

11 июня днем мы уехали из Киева. Книги и некоторые необходимые вещи, запакованные в деревянные ящики, должны были пойти малой скоростью; вся мебель, посуда, основная часть книг — около 7 тысяч томов — все это осталось в квартире, причем при реабилитации акта на это имущество не оказалось.

На вокзал нас провожали С.И. Сапронов и весь мой класс. Никто из других знакомых не решился прийти проводить нас.

В тот же день в центральных газетах появилось небольшое сообщение, что Особое присутствие Военной коллегии Верховного суда в составе председателя Ульриха и заседателей Буденного, Блюхера, Шапошникова, Белова, Алксниса, Каширина, Дыбенко, Горячева, слушало дело по обвинению Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Примакова, Путно и Фельдмана в измене

родине по ст. 58-1Б, 6, 11. Больше в сообщении ничего не было сказано.

Вечером на станции мы купили какую-то вечернюю газету, где было сообщено, что все обвиняемые приговорены к расстрелу. Утром 12 июня, приехав в Москву, прочитали, что приговор приведен в исполнение.

Прокомпостировав билет, мы перебрались с Киевского на Павелецкий вокзал. За два часа до отхода поезда в зале ожидания появились два человека в форме НКВД, которые пригласили мать в какой-то кабинет, тут же на вокзале. Продержали ее около полутора часов. Приблизительно за полчаса до отхода поезда она вернулась к нам вся заплаканная. В поезде мать рассказала, что от нее требовали отречения от отца, доказывали его виновность. Она отказалась дать отречение, но в поезде все время говорила: «Неужели он мог, не могу в это поверить». Когда мы прибыли в Астрахань, в газете «Известия» было опубликовано без ведома матери ее отречение от отца. Мы даже не показали ей эту газету. Но на следующий день к нам пришла с этой газетой жена Уборевича. Мать, прочитав это, направила в НКВД письмо, где говорила, что заявит свой протест против опубликования отречения, которого она не писала. Ей ответили: «Пишите». Но, учитывая обстановку, мы сказали ей, что это бесполезно, и протест не был написан.

В Астрахани мы остановились в доме приезжих и около двух недель не могли снять комнату. Наконец, жилье нашли. Наша домработница, Мария Яковлевна Прошина, уехала, а приехал отец матери, мой дед, Лазарь Петрович Ортенберг.

В городском НКВД у матери отобрали паспорт и предъявили постановление Особого совещания (ОСО) об административной ссылке на пять лет как члена семьи изменника Родины (ЧСИР), выдали справку, разграфленную на обороте для отметки два раза в месяц по определенным дням. В это время в Астрахань были сосланы семьи Тухачевского, Уборевича, Гамарника, застрелившегося 31 мая 1937 г., Корка, Фельдмана и ряда арестованных работников НКВД: Островского, Неволина, Штейнбрюка, Маркарьяна, Ягоды; жена Бухарина, в то время еще не осужденного, Анна Михайловна Ларина (дочь знаменитого большевика Юрия Ларина, захороненного у Кремлевской стены), жена Радека, отец Гая (начальника Особого отдела НКВД) и семьи многих других.

Астрахань была к тому времени ссыльным городом. Еще в начале 30-х годов туда был выслан ряд лиц, примыкавших к оппозиции, а также эсеры, меньшевики, анархисты, которых периодически арестовывали. Кроме того, в 1935 году, после убийства Кирова, в Астрахань, как в один из пунктов ссылки, было сослано около четырех тысяч семей из Ленинграда (бывшие дворяне, священники, купцы и их семьи). Можно было встретить графа, работающего сейчас дворником. Ко времени нашего приезда они уже все акклиматизировались и работали, где могли.

В течение двух месяцев никто из вновь сосланных не мог найти работу, так как никакие организации их не принимали. В большинстве у сосланных денег не было, и жили все, в том числе и мы, тем, что продавали ценные книги, вещи. (Помню, как я сам отнес академическое издание «Слова о полку Игореве» с палехскими иллюстрациями, получив за него сто рублей.)

Столичные дамы два раза в месяц собирались у здания НКВД в день отметки.

В стране продолжался начавшийся ужас. Из газет мы узнавали о новых арестах, самоубийствах.

Мама списалась со своей сестрой, которая жила в Свердловске. Ее муж, Илья Иванович Гарькавый, арестованный еще в апреле 1937 года, как выяснилось потом, покончил с собой на Лубянке-2, разбивши голову о стену. Его жена Эмилия Лазаревна приехала к нам с двумя детьми.

Первого сентября 1937 г. мы, дети ссыльных, пошли в школу. А 3 сентября были произведены аресты всех ссыльных жен, кроме моей матери, Нюси Бухариной (Анны Михайловны), Наташи Маркарьян и жены Гарькавого.

Мы сами присутствовали при аресте жены Уборевича Нины Владимировны. В первую очередь при обысках изымалась личная переписка, на все остальное составлялся протокол. С собой можно было взять сколько унесешь из вещей первой необходимости. Женщины направлялись, как мы потом узнали, в 3-й корпус Астраханской тюрьмы, а дети — в Астраханский детприемник НКВД.

Я перестал ходить в школу и занимался только тем, что нелегально проникал в сад детприемника, подбадривал ребятишек и носил их записки к женской тюрьме, где довольно эффективно перебрасывал их матерям во время прогулок.

14 сентября пришел и наш черед. Я вернулся домой уже тогда, когда посреди комнаты валялась груда вещей, уже подвергшихся «ощупыванию». Обыск производил ст. лейтенант НКВД Московкин. Из деталей обыска вспоминаю два интересных факта. Обыскивающие обнаружили книгу немецкого издания, касающуюся новой немецкой армии, на обложке которой была нарисована свастика. Этому они очень обрадовались, считая, что раскрыли новый фашистский заговор. У меня был снаряд от мелкокалиберной пушки, пустой внутри, где я хранил коллекцию иностранных монет. Увидев его, Московкин осторожно подкрался и дрожащими руками взял его.

– Что это?!

Я сказал:

– Открутите головку, и вы увидите, что снаряд пустой.

Он открутил ее, на стол высыпалась груда мелких иностранных монет. Московкин воскликнул:

– Валюта!!!

Уже часов в одиннадцать вечера нас с мамой погрузили на грузовик и увезли. В доме остались дедушка и семья Гарькавых, которую репрессировали вскоре.

Грузовик, на котором мы ехали с мамой, остановился у женской тюрьмы. Мне пришлось долго утешать мать, которая рыдала, не желая расставаться со мной. Затем ее бесцеремонно оторвали от меня и, подталкивая, увели в тюрьму, а меня повезли в детприемник, где меня радостно встретили ребята, еще не спавшие. Из детей моего возраста (12—14 лет) там были: дочь Тухачевского — Светлана, Уборевича — Мира, Гамарника — Вета, Штейнбрюка — Гизи, сын Фельдмана — Сева. Остальные были младше — вплоть до восьмилетнего возраста.

Старшие внимательно относились к младшим, осуществляя «материнские обязанности».

Прошло три дня, за которые я успел снискать славу вожака детей «изменников» Родины. Я важно заявлял противной бабе, начальнице детприемника, что дети за родителей не отвечают, и посему к нам должны относиться как к детям, так как были случаи, когда воспитатели называли детишек «змеенышами» и другими подобными словами.

На четвертый день вечером, часов в одиннадцать, послышались шаги. Я лежал на койке, прищурив глаза, и увидел, как начальница детприемника показывала пальцем в мою сторону какому-то мужчине в форме НКВД. Меня подняли, предложили одеться и собраться с вещами. Все дети прибежали в нашу комнату, требуя объяснить, куда меня уводят. Приехавший заверил их, что меня, как наиболее шустрого, первым отправляют, как он выразился, на «трудоустройство», на Рыбный завод в поселок Икряное, куда незамедлительно последуют и остальные. Под плач девчонок я вышел на улицу, где нас ожидал маленький пикапчик. Мы поехали. Возле НКВД мы остановились. Меня завели в дежурку.

Через несколько минут ко мне подошел другой человек в форме НКВД и, наставив на меня наган, закричал: «Руки вверх!» Я поднял руки скорей по глупости: чувства страха у меня не было. Меня тщательно обыскали, и в тот момент, когда ощупывали манжеты брюк, я ехидно спросил: — Что, танк там ищете?

Обыскивавший огрызнулся и очень обрадовался, когда в маленьком чемодане обнаружил финку-нолевку с ручкой в виде конской головы, подаренную мне еще отцом. Он закричал:

– Холодное оружие!

После чего меня посадили на скамейку, на которой я просидел около трех часов. Я закурил трубку отца, смешав табак с планом (анаша), который мне дали мальчишки-уголовники из детприемника. В голове закружилось. Мне стало смешно, все показалось неправдоподобным. В этот самый момент пришел какой-то человек и спросил:

– Где Якир?

Я поднялся, слегка шатаясь. Меня повели на первый допрос. Это было в три часа ночи 19 сентября 1937 года.

<...>

Источник: Детство в тюрьме. Мемуары Петра Якира. Macmillan. 1972.

Анненков
Юрий Павлович
(Тимирязев Борис)

(1889–1974)

Художник, писатель.

Родился в Петропавловске-на-Камчатке, куда его отец был сослан за революционную деятельность. В 1893 г. с семьей переезжает в Петербург, где кончает гимназию и юридический факультет университета. С детства увлекался живописью, учился в художественных школах Штиглица и Зейденберга. Один из виднейших художников русского авангарда 20-х годов. Знаменит портретами, кино- и театральными декорациями. По поручению Правительства создал серию рисованных портретов революционных лидеров, в том числе Ленина и Троцкого. В 1924 г. выехал в Италию на Международную Художественную Выставку и остался на Западе. Жил в Париже. Мемуары Анненкова, изданные в Нью-Йорке в 1966 г., ходили в Самиздате.

ДНЕВНИК МОИХ ВСТРЕЧ

Цикл трагедий (отрывки)

Максим Горький

<...>

Теперь мы часто читаем в советской прессе, даже в зарубежных русских журналах, что Горький является предтечей и основоположником «социалистического реализма». Это совершенно неверно, и я восстаю против подобной клеветы. Я помню одно издательское собрание, руководимое Горьким, несколько месяцев после Октябрьской революции. Обсуждался вопрос о книжных иллюстрациях. Горький, просматривая имена художников, был категоричен:

– Лучше — самый отъявленный футуризм, чем коммерческий реализм, — заявил он.

В то время (1918-1919), термин «социалистический реализм» еще не существовал. Но в разговорном языке, «коммерческий реализм» или — просто — «реалистическая халтура», были его синонимом. Ни в каком случае Горький не мог быть провозгласителем «официальной» формы искусства, выдвинутой государством, капиталистическим или пролетарским.

<...>

Горький прожил неровную, напряженную и сложную жизнь. Его искусство было тоже неровным. Он создал «Детство», книгу, которую по праву можно назвать гениальной, но он же написал безвкусного «Буревестника» (что никогда не случалось, например, с Достоевским). К сожалению (такова общая судьба искусства), лучшие вещи Горького далеко не так популярны, как наиболее слабые.

Меня всегда поражало, что при его бурном душевном складе почерк Горького был на редкость ровен, разборчив и каллиграфичен.

– Ничего странного, — признался мне Горький, — это просто из уважения к человеку, который будет читать.

* * *

Тайна смерти Горького, настигшей его в СССР в 1936 году, остается еще неразгаданной. Тем более после разоблачений по поводу несуществующих «преступных заговоров» докторов.

По-моему, следует верить свидетельству Льва Троцкого, который прекрасно разбирался в сталинском климате, воцарившемся в СССР и — в частности — в Москве.

«Горький, — писал Троцкий, — не был ни конспиратором, ни политиком. Он был добрым и чувствительным стариком, защитником слабых, чувствительным протестантом. Во время голода и двух первых пятилеток, когда всеобщее возмущение угрожало власти, — репрессии превзошли все пределы, Горький, пользовавшийся влиянием внутри страны и за границей, представлял собой серьезную опасность и, в особенности, не смог бы вытерпеть ликвидацию старых большевиков, подготовлявшуюся Сталиным. Горький немедленно запротестовал бы, его голос был бы услышан, и сталинские процессы так называемых заговорщиков оказались бы неосуществимыми. Была бы также абсурдной попытка предписать Горькому молчание. Его арест, высылка или открытая ликвидация являлись еще более немыслимыми. Оставалась одна возможность: ускорить его смерть при помощи яда, без пролития крови. Кремлевский диктатор не видел иного выхода».

Я верю также признаниям профессора Плетнева, большого медика, который вместе с некоторыми другими докторами лечил Горького; признания, совпадающие с версией Троцкого:

«Мы лечили Горького от болезни сердца, но он страдал не столько физически, сколько морально: он не переставал терзать себя самоупреками. Ему в Советском Союзе уже нечем было дышать, он страстно стремился назад в Италию. На самом деле Горький старался убежать от самого себя, сил для большего протеста у него уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле больше всего боялся открытого выступления знаменитого писателя против режима. И, как всегда, он в нужный ему момент придумал наиболее действительное средство. На этот раз этим средством явилась бонбоньерка, да, красная, светло-розовая бонбоньерка, убранная яркой шелковой лентой. Одним словом — красота, а не бонбоньерка. Я и сейчас ее хорошо помню. Она стояла на ночном столике у кровати Горького, который любил угощать своих посетителей. На этот раз он щедро одарил конфетами двух санитаров, которые при нем работа-

ли, и сам он съел несколько конфет. Через час у всех трех начались мучительные желудочные боли; еще через час наступила смерть. Было немедленно произведено вскрытие. Результат? Он соответствовал нашим самым худшим опасениям. Все трое умерли от яда».

«Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля была продиктована совершенно лживая, официальная версия о смерти Горького, мы не противоречили. Но наше молчание нас не спасло. По Москве поползли слухи, шепотки о том, что Горького убили: Сосо его отравил. Эти слухи были очень неприятны Сталину. Нужно было отвлечь внимание народа, отвести его в другую сторону, найти других виновников. Проще всего было, конечно, обвинить в этом преступлении врачей. Врачей бросили в тюрьму по обвинению в отравлении Горького. С какой целью врачи отравили его? Глупый вопрос. Ну, конечно, по поручению фашистов и капиталистических монополий. Конец? Конец вам известен».

Профессор Плетнев был присужден к смертной казни, которая была заменена ему двадцатью пятью годами заключения в концентрационном лагере. Там, в лагере Воркута, в глуши болотистой тундры у Ледовитого океана, Плетнев встретил в 1948 году, то есть, через двенадцать лет после смерти Горького, заключенную Бригитту Герланд, женщину немецкого происхождения, ставшую вскоре фельдшерицей под его начальством в лагерном лазарете. Несколько месяцев спустя Плетнев рассказал ей правду о смерти Горького. Очутившись снова на свободе и выбравшись из Советского Союза, Бригитта Герланд опубликовала рассказ профессора Плетнева в «Социалистическом Вестнике» в 1954 году, и, конечно, после смерти Плетнева.

<...>

Один из посетителей Горького в последние годы его жизни спросил его, как бы он определил время, прожитое им в Советской России.

Максим Горький ответил:

– Максимально горьким.

Сергей Есенин

<...>

Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков принадлежали к литературной группе «имажинистов». Есенин тоже примкнул к этому движению, хотя, по существу, его поэзия была совершенно иной. Выступления «имажинистов» становились все более частыми, шумными и принимали иногда довольно эксцентрические формы. Знаменитый советский актер, «мейерхольдовец» Игорь Ильинский, в своей книге «Сам о себе» (Москва, 1961), писал:

«Как-то раз на Тверском бульваре я видел трех молодых людей, в которых узнал Есенина, Шершеневича и Мариенгофа (основных «имажинистов»). Они сдвинули скамейки на бульваре, поднялись на них, как на помост, и приглашали проходивших послушать их стихи. Скамейки окружила не очень многочисленная толпа, которая, если не холодно, то, во всяком случае, хладнокровно слушала выступления Есенина, Мариенгофа, Шершеневича. Мне бы только

любви немножко и десятка два папирос, декламировал Шершеневич. Что-то исступленно читал Есенин. Стихи были не очень понятны и выступление носило какой-то футуристический оттенок».

* * *

В 1920-м году, сразу после занятия Ростова-на-Дону конницей Буденного, воспетой Исааком Бабелем, я приехал в этот город и, в тот же день, попал на «вечер поэтов», организованный местным Рабисом (Профессиональный Союз Работников Искусства), в помещении «Интимного Театра».

<...>

С «галерки» кричали:

– Есенина! Есенина!

Зачем, почему оказался Есенин в Ростове — я не знал. Впрочем, он и сам редко знал — где и почему.

– Есенин — пуля в Ростове, — шепнул мне сосед по стулу, — ходит по улицам без шляпы (в те годы это считалось почти неприличным), все на него смотрят и пройтись с ним под-руку особенно лестно, так как он отдувается здесь за всю «новую школу».

Голос из публики:

– Есенин не дождался своей очереди и ушел ужинать в «Альгамбру».

...Проголодавшись, я отправился в названную «Альгамбру», где и встретил Есенина, и мы снова провели пьяную ночь.

– В горы! Хочу в горы! — кричал Есенин, — вершин! грузиночек! курочек! цыплят!.. Ай-да, сволочь, в горы!?

«Сволочь» — это обращалось ко мне.

Но, вместо того, чтобы собираться на вокзал, Есенин стучал кулаком по столу:

– Товарищ лакей! пробку!!

«Пробкой» называлась бутылка вина, так как в живых оставалась только пробка: вино выпивалось, бутылка билась вдребезги.

> – Я памятник себе воздвиг из пробок,
> Из пробок вылаканных вин!..
> Нет, не памятник: пирамиду!

И, повернувшись ко мне:

– Ты уверен, что у твоего Горация говорилось о пирамидах? Ведь, при Горации, пирамид, по-моему, еще не было?

Дальше начинался матерный период. Виртуозной скороговоркой Есенин выругивал без запинок «Малый матерный загиб» Петра Великого (37 слов), с его диковинным «ежом косматым, против шерсти волосатым», и «Большой загиб», состоящий из двухсот шестидесяти слов. Малый загиб я, кажется, могу еще восстановить. Большой загиб, кроме Есенина, знал только мой друг, «советский граф», и специалист по Петру Великому, Алексей Толстой...

* * *

29-го декабря 1925 года Всероссийский Союз Писателей известил в газетах «с глубочайшей скорбью о трагической кончине Сергея Есенина, последовавшей в ночь на 28-ое декабря в Ленинграде», и о том, что «о времени прибытия тела в Москву, о дне и месте похорон будет объявлено особо». На следующий день, 30-го декабря, комиссия по организации похорон Есенина сообщила, что «встреча тела покойного состоится сегодня в два с половиной часа дня на Октябрьском вокзале (в Москве), откуда тело будет перенесено в Дом Печати (Никитский бульвар, 8)», что «вход в Дом Печати открыт всем, желающим проститься с покойным», что «вынос тела на Ваганьковское кладбище состоится 31-го декабря, в 11 часов утра» и что «путь процессии будет следующий: Дом Печати, Дом Герцена, памятник Пушкина, Ваганьковское кладбище». 31-го декабря, под новый год, Есенина хоронили.

30-го декабря А. Лежнев писал в «Правде»: «Он (Есенин) был поэтом не для критиков или поэтов (как, например, Хлебников), но для читателей. Он волновал, трогал, заражал, он был не только мастером, но и живым человеком... Меньше всего Есенин был поэтом головным, меньше всего он ритор или версификатор».

Через 5 дней, на состоявшемся в Камерном Театре Таирова вечере памяти Есенина, поэт Сергей Городецкий припомнил, как в момент, когда гроб опускали в могилу, среди наступившей тишины прозвучал женский голос:

– Прощай, моя сказка...

* * *

Маяковский писал на смерть Есенина:

Вы ушли,
          как говорится,
               в мир иной.
     Пустота...
          Летите,
               в звезды врезываясь.
     Ни тебе аванса,
          ни пивной.
     Трезвость...
Прекратите,
          бросьте!
               Вы в своем уме ли?
     Дать,
          чтоб щеки
               заливал
                    смертельный мел?
     Вы ж
          такое загибать умели,

Что другой
на свете
не умел...

И дальше, перефразируя последние, написанные Есениным строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей, –

Маяковский добавил:

Для веселья
планета наша
мало оборудована.
Надо вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть не трудно,
Сделать жизнь
значительно трудней.

Написав это в 1926 году, Маяковский, в свою очередь, наложил на себя руки в 1930-м году. Слава Есенина в СССР, за этот промежуток времени, росла не по дням, а по часам — наперекор официальному равнодушию. Шутить над его поэзией становилось для Маяковского все опаснее. В предчувствии собственной гибели (Маяковский затосковал о себе, как о поэте), он, в 30-м году, не сдержался и в одном из своих стихотворных завещаний поставил точку над i.

Я приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есенинский провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.

Через головы правительств, это возможно и даже несомненно; головы правительств нас не интересуют. Но через головы поэтов, таких, как Есенин, — здесь, в своем коммунистическом эгоцентризме (если такой филологический парадокс возможен), Маяковский, славный, но чрезмерно душимый ревностью, парень, — повидимому, просчитался.

Как это ни странно, гиперболированные темы (я говорю лишь о темах) Маяковского звучат сегодня, как злободневная хроника, давно утратившая злободневность. Пример: написанное в 1926 году стихотворение «Товарищу Нет-

те, пароходу и человеку» потребовало, всего через 10 лет, и в советском же издании, следующей пояснительной сноски: «Теодор Нетте — наш дипкурьер, героически погибший, защищая диппочту от покушений контрразведчиков. Его именем назван один из пароходов Черноморского флота».

А простейшая лирика Есенина поет полным голосом и не нуждается в комментариях. «Грандиозное» мельчает, становится временным, а «пустяковое» — пахнет вечностью.

* * *

19-го января 1926 года Лев Троцкий, тогда еще имевший право голоса, напечатал в «Правде» статью памяти Есенина:

«Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И так трагически потеряли. Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, — может быть, со всеми нами. Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо призакрыв ее рукою, на которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом.

«Есенин слагал острые песни хулигана и придавал свою неповторимую, есенинскую напевность озорным звукам кабацкой Москвы. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но надо всем этим трепетала совсем особая нежность неогражденной, незащищенной души. Полунаносной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился, — прикрывался, но не прикрылся...

«Наше время — суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, — своего отечества во времени. Есенин не был революционером. Автор Пугачева и Баллады о двадцати шести был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин.

«Корни у Есенина глубоко народные... Но в этой крепости крестьянской подоплеки причина личной некрепости Есенина: из старого его вырвало с корнем, а в новом корень не принялся... Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична, — эпична, — катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой.

«Кем-то сказано, что каждый носит в себе пружину своей судьбы, а жизнь разворачивает эту пружину до конца... Творческая пружина Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпохи и — сломалась... Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца только в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет. За нынешней эпохой, в утробе которой скрывается еще много беспощадных и спасительных боев человека с человеком, придут иные времена, — те самые, которые нынешней борьбой подготовляются. Личность человеческая расцветает тогда настоящим цветом. А вместе с нею и лирика. Революция впервые отвоюет для каждого человека

право не только на хлеб, но и на лирику. Кому писал Есенин кровью в свой последний раз? Может быть, он перекликнулся с тем другом, который еще не родился, с человеком грядущей эпохи, которого одни готовят боями, а Есенин — песнями. Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его…

«В нашем сознании скорбь острая и совсем еще свежая умеряется мыслью, что этот прекрасный и неподдельный поэт по своему отразил эпоху и обогатил ее песнями, по новому сказавши о любви, о синем небе, упавшем в реку, о месяце, который ягненком пасется в небесах, и о цветке неповторимом — о себе самом.

«Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего… Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя! Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин!»

<...>

Владимир Маяковский

<...>

Куоккальская ночь, как обычно, закончилась в спорах (Маяковский, Хлебников и я) об искусстве (поэзия, живопись, театр), так как, «еще за четыре года до революции, в нашем маленьком куоккальском еловом лесу, как, впрочем, и в Петербурге и в Москве, наши встречи, часто — в присутствии других юных представителей «авангардного» искусства, постоянно сопровождались подобными спорами.

Это было время, когда Маяковский писал:

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

(1913)

Или еще:

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась

так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел...
....
Я встал,
шатаясь, полез через ноты...
....
Бросился на деревянную шею
....
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте — будем жить вместе!
А?»

(1914)

Эти две коротенькие вещи я запомнил наизусть. Маяковский мне читал их растянувшись на куоккальской траве: первую — с надменностью и грубостью, свойственными Маяковскому; вторую — с незабываемым драматическим патетизмом. Марксизм еще не успел проникнуть в его поэзию, тогда еще бесстрашно своеобразную.

1913 год, был также годом, когда Маяковский, Бурлюк и Крученых опубликовали их знаменитый литературный манифест:

«Пощечина общественному вкусу».

В 1915 году, Маяковский — футурист писал в поэме «Облако в штанах»:

Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».

В те же годы, едва перешагнув через призывной возраст, Маяковский уже говорил о вечности своей поэзии:

Мой крик в граните времени выбит
и будет греметь и гремит,
оттого что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид

(«Я и Наполеон», 1915 г.)

Но тогда уже он предсказывал и свою трагическую гибель:

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше

точку пули в своем конце
(«Флейта — позвоночник», 1915 г.).

Или:

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет...
(«Дешевая распродажа», 1916 г.).

«С голода сдох» бездомный Велимир Хлебников. А Маяковский, «встав под пистолет, поставил точку пули в своем конце».

<...>

В последний раз я встретил Маяковского в Ницце, в 1929 году. Падали сумерки. Я спускался по старой ульчонке, которая скользила к морю. Навстречу поднимался знакомый силуэт. Я не успел еще открыть рот, чтобы поздороваться, как Маяковский криюнул:

– Тыщи франков у тебя нету?

Мы подошли друг к другу. Маяковский мне объяснил, что он возвращается из Монтэ-Карло, где в казино проиграл все до последнего сантима.

– Ужасно негостеприимная странишка! — заключил он. Я дал ему «тыщу» франков.

– Я голоден, — прибавил он, — и если ты дашь мне еще 200 франков, я приглашу тебя на буйябез.

Я дал еще 200 франков, и мы зашли в уютный ресторанчик около пляжа. Несмотря на скромный вид этого трактирчика, буйябез был замечательный. Мы болтали, как всегда, понемногу обо всем, и, конечно, о Советском Союзе. Маяковский, между прочим, спросил меня, когда же, наконец, я вернусь в Москву? Я ответил, что я об этом больше не думаю, так как хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнес охрипшим голосом:

– А я — возвращаюсь... так как я уже перестал быть поэтом. Затем произошла поистине драматическая сцена: Маяковский разрыдался и прошептал, едва слышно:

– Теперь я... чиновник...

Служанка ресторана, напуганная рыданиями, подбежала:

– Что такое? Что происходит?

Маяковский обернулся к ней и, жестоко улыбнувшись, ответил по-русски:

– Ничего, ничего... я просто подавился косточкой. Покидая ресторан (было уже довольно поздно), мы пожали друг другу руки:

– Увидимся в Париже.

– В Париже.

Маяковский пошел к своему отелю, я — к моему. С тех пор я больше никогда не видел Маяковского.

В начале 1930 года, Маяковский вошел в Ассоциацию Пролетарских Писателей, приверженцев социалистического реализма, и следовательно, совершен-

но противоположных поэтическим концепциям Маяковского. 16 марта произошел катастрофический провал постановки «Бани». 25-го марта Маяковский выступил с публичной самокритикой, признав, что его поэзия содержала формы выражения, мало доступные широким читательским массам. В то же время, он обратился с просьбой о выдаче ему нового разрешения на выезд в Париж, к которому он окончательно привязался, несмотря на свои поэмы. Однако, советские власти, ознакомившись с «Клопом» и с «Баней», поняли, что Маяковский может быть, действительно, решил «жить и умереть» в Париже и, пожалуй, рассказать там кое-какую правду о советском режиме. Выезд заграницу, на этот раз, был ему запрещен.

Поэзия Маяковского умерла. Это было решающим фактом в его биографии. Сюда следует добавить романтическую неудачу. Затем — приближавшиеся полицейские угрозы.

14-го апреля Маяковский застрелился.

Ему было 37 лет. Роковой возраст: в этом возрасте умерли Рафаэль, Ватто, Байрон, Пушкин, Федотов, Ван-Гог, Рэмбо, Тулуз-Лотрэк, Хлебников и, совсем недавно, Жерар Филип…

<...>

После самоубийства Маяковского, Сталин мог бы слово в слово повторить статью Троцкого, посвященную Есенину, но Сталин ограничился лишь одной фразой:

«Маяковский есть и останется лучшим и наиболее способным поэтом нашей советской эпохи, и равнодушие к его памяти и к его произведениям является преступлением».

Михаил Зощенко

<...>

Евгений Замятин, «путеводитель», относился к Зощенке с большим доверием. Уже в 1929 году, говоря о Серапионовых Братьях, Замятин писал:

«Родившаяся от петербургского Дома Искусств группа Серапионовых Братьев — сперва была встречена с колокольным звоном. Но теперь — лавровейшие статьи о них сменились чуть что не статьями уголовного кодекса: по новейшим данным оказывается, что у этих писателей — ломанного гроша за душой нет, что они — волки в овечьей шкуре и у них — неприятие революции. Серапионовы Братья — не Моцарты, конечно, но Сальери есть и у них, и все это, разумеется, чистейший сальеризм: писателей, враждебных революции, в России сейчас нет — их выдумали, чтобы не было очень скучно. А поводом послужило то, что эти писатели не считают революцию чахоточной барышней, которую нужно оберегать от малейшего сквозняка.

«Впрочем, Серапионовы Братья — вовсе не братья: отцы у них разные, и это никакая ни школа и даже не направление: какое же направление, когда одни правят на восток, а другие на запад? Это просто встреча в вагоне случайных попутчиков: от литературных традиций вместе им ехать до первой узловой станции…

«Зощенко — за одним столом с Никитиным и Всеволодом Ивановым: они объедаются одним и тем же — узорчатыми, хитро расписанными пряниками из слов. Но никакого кувырканья, как у Никитина, никакой прожорливой неразборчивости, как у Всеволода Иванова, — у Зощенко нет. Из всей петербургской литературной молодежи — Зощенко один владеет безошибочно народным говором и формой сказа (так же, как из москвичей — Леонов)... Такое — сразу точное и законченное — мастерство всегда заставляет бояться, что автор нашел для себя свой un petit verre. Но превосходные, еще не печатавшиеся литературные пародии Зощенки и его небольшая повесть «Аполлон и Тамара», построенная на острой грани между сентиментальностью и пародией на сентиментальность — дают основание думать, что диапазон автора может быть шире сказа...»

Надежды Замятина полностью оправдались, и слава Зощенки разрасталась с каждым днем. Но, вполне заслуженно разрастаясь, она все определеннее выдвигала в его творчестве на первый план элементы сатиры и юмора. Для меня, Зощенко, как писатель, является своего рода новым первичным Чеховым: Чехонте. Несмотря на разницу в эпохах, родство Зощенки с Чехонте мне кажется очевидным.

Особенно требовательный к себе, Зощенко должен был, в конце концов, примириться с таким пониманием своего творчества и, в 1927 году (когда я уже жил заграницей) он написал статью «о себе, о критиках и о своей работе» в несколько компромиссной форме.

«Относительно моей литературной работы, — говорил он, — сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство.

«Критики не знают куда собственно меня причалить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

«А так как большая часть моих вещей сделана в неуважаемой форме — журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предрешена.

«Обо мне критики обычно говорили, как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать чорт знает что из родного русского языка.

«Это, конечно, не так.

«Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

«А относительно мелкой литературы, я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература.

«Вот, в литературе существует так называемый социальный заказ. Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно.

«Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой.

«Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель — заказывают, конечно же не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции.

«Я взял подряд на этот заказ.

«Я предполагаю, что не ошибся.

«В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.

«Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это, действительно, высокая литература, а вот эти мелкие рассказики — журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, это не верно.

«И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подраспределения; вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства.

«Правда, по внешней форме, повесть моя ближе подходит к образам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качественность их, лично для меня, одинакова.

«А дело в том, что в повестях («Сентиментальные повести») я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах, я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму.

«Вот отчего, так казалось бы резко, делится моя работа на две части.

«Но критика обманута внешними признаками.

«А беда вся в том, что последние два года, в силу некоторой усталости, отчаянной хандры и еженедельной обязательной работы, я ухитрился написать много плохих мелких вещей, которые на самом деле не поднимаются выше обычного журнального рассказа. Это еще больше сбивает критиков, которые с большой охотой и чтоб впредь не возиться со мной, загоняют меня чуть ли не в репортеры.

«Но я опять-таки не протестую.

«Я только хочу сделать одно признание. Может быть оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, не подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысится во всех отношениях.

«Я только пародирую. Я временно заменяю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям.

«В больших вещах я опять таки пародирую неуклюжий, громоздкий (Карамзинский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора, и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого может быть и нет сейчас, но который должен бы существовать, если бы он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план…

«Еще я хотел сказать об языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды.

«Может быть какому нибудь современнику Пушкина также трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.

«Может быть единственный человек в русской литературе, который понял это — Виктор Шкловский. Он укоротил фразу. Он ввел воздух в свои статьи. Стало удобно и легко читать.

«Я сделал то же самое.

«Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.

«Может быть поэтому у меня много читателей».

Эта статья Зощенки весьма показательна. И именно потому, что Зощенко является подлинным пролетарским писателем, а не чиновником анти-пролетарской коммунистической партии, народившей новое богатое мещанство, — именно поэтому Зощенке становилось все труднее и труднее работать. В сороковых годах он подвергся неизбежной в таких случаях участи: он был исключен из Союза Писателей СССР, и его произведения были запрещены к печати. В советском понимании свободы подобные случаи, как здесь уже говорилось, мотивируются чрезвычайно просто:

«Постановлением ЦК ВКП (б) от 14-8-1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», были подвергнуты критике рассказ Зощенки «Приключения обезьяны» (1946) и повесть «Перед восходом солнца» (1943). (Сов. Энциклопедия, 1959 г.).

Только и всего. Ничего больше в «Советской Энциклопедии» по этому поводу не сообщается. Но я буду более подробен и приведу здесь некоторые выдержки из этого «постановления ЦК ВКП (б)» от 14 августа 1946 года, касающиеся М. Зощенки. Полный текст «постановления» был, в частности, опубликован в журнале «Культура и Жизнь», №6 от 20 августа 1946 года, и потом вошел в сборник «Советский театр и современность», изданный Всероссийским Театральным Обществом (Москва, 1947 г.).

«ЦК ВКП (б) отмечает», — говорилось в «постановлении», — «что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно... Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безидейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» («Звезда», ns 5-6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.

«Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезды» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны,

когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик»...

«Предоставление Зощенко активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среду ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада. Стали публиковаться произведения, проникнутые тоской, пессимизмом и разочарованием в жизни (стихи Садофьева и Комиссаровой). Помещая эти произведения, редакция усугубила свои ошибки и еще более принизила идейный уровень журнала...

«ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко...

«Всякая проповедь безидейности, аполитичности, искусства для искусства чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах...

«Ленинградский горком ВКП (б) проглядел крупнейшие ошибки журналов, устранился от руководства журналами и предоставил возможность чуждым советской литературе людям, вроде Зощенко, занять руководящее положение в журналах. Более того, зная отношение партии к Зощенко и его творчеству, Ленинградский горком (т.т. Капустин и Широков), не имея на то права, утвердил решением горкома от 24-6 с. г. новый состав редколлегии журнала «Звезда», в которую был введен и Зощенко... «Ленинградская Правда» допустила ошибку, поместив подозрительную хвалебную рецензию Юрия Германа о творчестве Зощенко в номере от 6 июля с. г....

«ЦК ВКП (б) постановляет

«1. Обязать редакцию журнала «Звезда», Правление Союза советских писателей и Управление пропаганды ЦК ВКП (б) принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко.

«2. Прекратить издание журнала «Ленинград»».

<...>

Вслед за опубликованием этого (как говорилось в советской печати — «исторического») «постановления» ЦК ВКП (б), выступил с такими же обвинениями товарищ Андрей Жданов, насадитель «социалистического реализма». Доклад Жданова был опубликован в журнале «Культура и Жизнь», в № 10, от 30 сентября 1946 года.

Жданов говорил:

«Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой журнала «Звезда» является предоставление своих страниц для литературного «творчества» Зощенко. Я думаю, что мне нет нужды цитировать здесь произведение Зощенко «Приключения обезьяны». Видимо, вы все его читали и знаете лучше, чем

я. Смысл этого «произведения» Зощенко заключается в том, что он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными. Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, и их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные качества. Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копанье в самых низменных и мелочных сторонах быта. Это копанье в мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем пошлым мещанским писателям, к которым относится и Зощенко. Об этом много говорил в свое время Горький. Вы помните, как Горький на съезде советских писателей в 1934 году клеймил, с позволения сказать, литераторов, которые дальше копоти на кухне и бани ничего не видят.

«Приключения обезьяны» не есть для Зощенко нечто выходящее за рамки его обычных писаний. Это произведение попало в поле зрения критики только лишь как наиболее яркое выражение всего того отрицательного, что есть в литературном творчестве Зощенко. Известно, что со времени возвращения в Ленинград из эвакуации Зощенко написал ряд вещей, которые характерны тем, что он не способен найти в жизни советских людей ни одного положительного явления, ни одного положительного типа. Как и в «Приключениях обезьяны», Зощенко привык глумиться над советским бытом, советскими порядками, прикрывая это глумление маской пустопорожней развлекательности и никчемной юмористики.

«Если вы внимательно вчитаетесь в рассказ «Приключения обезьяны», то вы увидите, что Зощенко наделяет обезьяну ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям. Обезьяна представлена как некое разумное начало, которой дано устанавливать оценки поведения людей. Изображение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, понадобилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяны гаденькую отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей.

«Можно ли дойти до более низкой степени морального и политического падения, и как могут ленинградцы терпеть на страницах своих журналов подобное пакостничество и непотребство?.. Только подонки литературы могут создавать подобные произведения, и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход.

«Говорят, что рассказ Зощенко обошел ленинградские эстрады. Насколько должно было ослабнуть руководство идеологической работы в Ленинграде, чтобы подобные факты могли иметь место!

«Зощенко с его омерзительной моралью удалось проникнуть на страницы большого ленинградского журнала и устроиться там со всеми удобствами. А ведь журнал «Звезда» — орган, который должен воспитывать нашу молодежь. Но может ли справиться с этой задачей журнал, который приютил у себя такого пошляка и несоветского писателя, как Зощенко?! Разве редакции «Звезды» неизвестна физиономия Зощенко?!

«Ведь совсем еще недавно, в начале 1944 года, в журнале «Большевик» была подвергнута жестокой критике возмутительная повесть Зощенко «Перед вос-

ходом солнца», написанная в разгар освободительной войны советского народа против немецких захватчиков. В этой повести Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: — смотрите, вот какой я хулиган.

«Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та мораль, которую проповедует Зощенко в повести «Перед восходом солнца», изображая людей и самого себя как гнусных похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести. И эту мораль он преподносит советским читателям в тот период, когда наш народ обливался кровью в неслыханно тяжелой войне, когда жизнь Советского государства висела на волоске, когда советский народ нес неисчислимые жертвы во имя победы над немцами. А Зощенко, окопавшись в Алма-Ата, в глубоком тылу, ничем не помог в то время советскому народу в его борьбе с немецкими захватчиками. Совершенно справедливо Зощенко был публично высечен в «Большевике», как чуждый советской литературе пасквилист и пошляк. Он наплевал тогда на общественное мнение. И вот, не прошло еще двух лет, не просохли еще чернила, которыми была написана рецензия в «Большевике», как тот же Зощенко триумфально въезжает в Ленинград и начинает свободно разгуливать по страницам ленинградских журналов. Его охотно печатает не только «Звезда», но и журнал «Ленинград». Ему охотно и с готовностью предоставляют театральные аудитории. Больше того, ему дают возможность занять руководящее положение в Ленинградском отделении Союза писателей и играть активную роль в литературных делах Ленинграда. На каком основании вы даете Зощенко разгуливать по садам и паркам ленинградской литературы? Почему партийный актив Ленинграда, его писательская организация допустили эти позорные факты?

«Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время. Его современные «произведения» вовсе не являются случайностью. Они являются лишь продолжением всего того литературного наследства Зощенко, которое ведет начало с 20-х годов.

«Кто такой Зощенко в прошлом? Он являлся одним из организаторов литературной группы так называемых «Серапионовых братьев». Какова была общественно-политическая физиономия Зощенко в период организации «Серапионовых братьев»? Позвольте обратиться к журналу «Литературные Записки», № 3 за 1922 год, в котором учредители этой группы излагали свое кредо. В числе прочих откровений там помещен «символ веры» и Зощенко в статейке, которая называется «О себе и еще кое о чем». Зощенко, никого и ничего не стесняясь, публично обнажается и совершенно откровенно высказывает свои политические, литературные взгляды. Послушайте, что он там говорил:

– Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, та же идеология... Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность... Какая, скажите, может быть у меня точная идеология, если ни одна партия в целом меня не привлекает? С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, а просто русский и к тому же политически безнравственный... Честное слово даю — не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой

партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю: не большевик, но эсэр он или кадет — не знаю и знать не хочу.

«И т. д. и т. п.

«Что вы скажете, товарищи, об этакой идеологии? Прошло 25 лет с тех пор, как Зощенко поместил эту свою исповедь. Изменился ли он с тех пор? Не заметно. За два с половиной десятка лет он не только ничему не научился и не только никак не изменился, а, наоборот, с циничной откровенностью продолжает оставаться проповедником безыдейности и пошлости, беспринципным и бессовестным литературным хулиганом. Это означает, что Зощенко как тогда, так и теперь не нравятся советские порядки. Как тогда, так и теперь он чужд и враждебен советской литературе. Если при всем этом Зощенко в Ленинграде стал чуть ли не корифеем литературы, если его превозносят на ленинградском Парнасе, то остается только поражаться тому, до какой степени беспринципности, нетребовательности, невзыскательности и неразборчивости могли дойти люди, прокладывающие дорогу Зощенко и поющие ему славословие!..

«Какой вывод следует из этого? Если Зощенко не нравятся советские порядки, что же прикажете: приспосабливаться к Зощенко? Не нам же перестраиваться во вкусах. Не нам же перестраивать наш быт и наш строй под Зощенко. Пусть он перестраивается, а не хочет перестраиваться — пусть убирается из советской литературы. В советской литературе не может быть места гнилым, пустым, безыдейным и пошлым произведениям».

<...>

Это милое «выступление» товарища Жданова, само собой разумеется, вызвало у его слушателей «бурные аплодисменты», как сообщалось в отчете. Больше того. В отчете добавлено:

«Все встают».

Приезжавший в Париж советский литературный деятель, присутствовавший на этом докладе, и, конечно, тоже аплодировавший, рассказал мне, что, в самом конце, Жданов произнес буквально следующее:

– Пусть он (Зощенко) перестраивается, а если не хочет перестраиваться — пусть убирается из советской литературы ко всем чертям!

Но потом Жданов «приказал» эту прибавку из стенограммы вычеркнуть.

<...>

Михаил Зощенко умер в 1958 году.

Источник: Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. М.: Советский композитор, (без даты).

Штрик-Штрикфельд Вильфорд Карлович

(1897–1977)



Офицер, мемуарист.

Родился в Риге. Учился в Реформатской гимназии в Петербурге и окончил ее в 1915 году. В том же году вступил добровольцем в армию и воевал до конца войны. В 1918-20 годах воевал в Белой армии. Эмигрировал. Работал по Мандату Международного Красного Креста и Нансеновской службы по оказанию помощи голодающим в России. В 1924-39 гг. представлял в Риге германские и английские предприятия. В 1941- 45 гг. — переводчик и офицер германской армии. Ближайший сотрудник и друг генерала А.А. Власова.

Написал мемуары –«Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение».

ПРОТИВ СТАЛИНА И ГИТЛЕРА

<...>

Генерал Андрей Андреевич Власов родился в 1900 году в селе Ломакино Нижегородской губернии в крестьянской семье. Учился в духовной семинарии и предполагал стать священником. Примкнул к революционному студенческому кружку. Октябрьский переворот приветствовал, поступил добровольцем в Красную гвардию. Был командиром роты, затем полка и вскоре стал командиром дивизии и. наконец, корпуса. В 1938-39 гг. находился в Китае как военный советник при штабе Чан Кай-ши. В 1941 голу участвовал в обороне Киева, а затем Москвы, где особенно отличился. При разгроме немцами 2-й советской ударной армии попал в Волховское окружение и в июле 1942 года был захвачен немцами. Зная настроения в Красной армии и в стране вообще, Власов ясно видел возможность свержения Сталина и его клики при помощи толчка, который должна была дать Русская Освободительная Армия, созданная русскими добровольцами на немецкой стороне фронта. Но невежество и заносчивость Гитлера и его окружения сорвали план создания русской армии. В мае 1945 года Власов и его ближайшие сотрудники были выданы американцами советским властям. Казнен 1 августа 1946 года.

<...>

ПОЧЕМУ Я СТАЛ НА ПУТЬ БОРЬБЫ С БОЛЬШЕВИЗМОМ
(Открытое письмо генерал-лейтенанта А. А. Власова)

Призывая всех русских людей подниматься на борьбу против Сталина и его клики, за построение Новой России без большевиков и капиталистов, я считаю своим долгом объяснить свои действия.

Меня ничем не обидела советская власть.

Я — сын крестьянина, родился в Нижегородской губернии, учился на гроши, добился высшего образования. Я принял народную революцию, вступил в ряды Красной Армии для борьбы за землю для крестьян, за лучшую жизнь для рабочего, за светлое будущее Русского народа. С тех пор моя жизнь была неразрывно связана с жизнью Красной Армии. 24 года непрерывно я прослужил в ее рядах. Я прошел путь от рядового бойца до командующего армией и заместителя командующего фронтом. Я командовал ротой, батальоном, полком, дивизией, корпусом. Я был награжден орденами Ленина, «Красного Знамени» и медалью «XX лет РККА». С 1930 года я был членом ВКП(б).

И вот теперь я выступаю на борьбу против большевизма и зову за собой весь народ, сыном которого я являюсь.

Почему? Этот вопрос возникает у каждого, кто прочитает мое обращение, и на него я должен дать честный ответ. В годы гражданской войны я сражался в рядах Красной Армии потому, что я верил, что революция даст Русскому народу землю, свободу и счастье.

Будучи командиром Красной Армии, я жил среди бойцов и командиров — русских рабочих, крестьян, интеллигенции, одетых в серые шинели. Я знал их мысли, их думы, их заботы и тяготы. Я не порывал связи с семьей, с моей деревней и знал, чем и как живет крестьянин.

И вот я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил.

Я видел, как тяжело жилось русскому рабочему, как крестьянин был загнан насильно в колхозы, как миллионы русских людей исчезали, арестованные, без суда и следствия. Я видел, что растаптывалось все русское, что на руководящие посты в стране, как и на командные посты в Красной Армии, выдвигались подхалимы, люди, которым не были дороги интересы Русского народа.

Система комиссаров разлагала Красную Армию. Безответственность, слежка, шпионаж делали командира игрушкой в руках партийных чиновников в гражданском костюме или военной форме.

С 1938 по 1939 год я находился в Китае в качестве военного советника Чан Кай-ши. Когда я вернулся в СССР, оказалось, что за это время высший командный состав Красной Армии был без всякого повода уничтожен по приказу Сталина. Многие и многие тысячи лучших командиров, включая маршалов, были арестованы и расстреляны, либо заключены в концентрационные лагеря и навеки исчезли. Террор распространился не только на армию, но и на весь Народ. Не было семьи, которая так или иначе избежала этой участи. Армия была ослаблена, запуганный народ с ужасом смотрел в будущее, ожидая подготовляемой Сталиным войны.

Предвидя огромные жертвы, которые в этой войне неизбежно придется нести

русскому народу, я стремился сделать все от меня зависящее для усиления Красной Армии. 99-я дивизия, которой я командовал, была признана лучшей в Красной Армии. Работой и постоянной заботой о порученной мне воинской части я старался заглушить чувство возмущения поступками Сталина и его клики.

И вот разразилась война. Она застала меня на посту командира 4 мех. корпуса.

Как солдат и как сын своей Родины, я считал себя обязанным честно выполнить свой долг.

Мой корпус в Перемышле и Львове принял на себя удар, выдержал его и был готов перейти в наступление, но мои предложения были отвергнуты. Нерешительное, развращенное комиссарским контролем и растерянное управление фронтом привело Красную Армию к ряду тяжелых поражений.

Я отводил войска к Киеву. Там я принял командование 37-й армией и трудный пост начальника гарнизона города Киева.

Я видел, что война проигрывается по двум причинам: из-за нежелания Русского народа защищать большевистскую власть и созданную систему насилия и из-за безответственного руководства армией, вмешательства в ее действия больших и малых комиссаров.

В трудных условиях моя армия справилась с обороной Киева и два месяца успешно защищала столицу Украины. Однако, неизлечимые болезни Красной Армии сделали свое дело. Фронт был прорван на участке соседних армий. Киев был окружен. По приказу верховного командования я был должен оставить укрепленный район.

После выхода из окружения я был назначен заместителем командующего Юго-Западным направлением и затем командующим 20-й армией. Формировать 20-ю армию приходилось в труднейших условиях, когда решалась судьба Москвы. Я делал все от меня зависящее для обороны столицы страны. 20-я армия остановила наступление на Москву и затем сама перешла в наступление. Она прорвала фронт Германской армии, взяла Солнечногорск, Волоколамск, Шаховскую, Середу и др., обеспечила переход в наступление по всему Московскому участку фронта, подошла к Гжатску.

Во время решающих боев за Москву я видел, что тыл помогал фронту, но, как и боец на фронте, каждый рабочий, каждый житель в тылу, делал это лишь потому, что считал, что он защищает Родину. Ради Родины он терпел неисчислимые страдания, жертвовал всем. И не раз я отгонял от себя постоянно встававший вопрос: да полно. Родину ли я защищаю, за Родину ли посылаю на смерть людей? Не за большевизм ли, маскирующийся святым именем Родины, проливает кровь Русский народ?..

Я был назначен заместителем командующего Волховским фронтом и командующим 2-й ударной армией. Пожалуй, нигде так не сказалось пренебрежение Сталина к жизни русских людей, как на практике 2-й ударной армии. Управление этой армией было централизовано и сосредоточено в руках Главного Штаба. О ее действительном положении никто не знал и им не интересовался. Один приказ командования противоречил другому. Армия была обречена на верную гибель.

Бойцы и командиры неделями получали 100 и даже 50 грамм сухарей в день. Они опухали от голода, и многие уже не могли двигаться по болотам, куда завело армию непосредственное руководство Главного Командования. Но все

продолжали самоотверженно биться.

Русские люди умирали героями. Но за что? За что они жертвовали жизнью? За что они должны были умирать?

Я до последней минуты оставался с бойцами и командирами армии. Нас оставалась горстка и мы до конца выполнили свой долг солдат. Я пробился сквозь окружение в лес и около месяца скрывался в лесу и болотах. Но теперь во всем объеме встал вопрос: следует ли дальше проливать кровь Русского народа? В интересах ли Русского народа продолжать войну? За что воюет Русский народ? Я ясно сознавал, что Русский народ втянут большевизмом в войну за чуждые ему интересы англо-американских капиталистов.

Англия всегда была врагом Русского народа. Она всегда стремилась ослабить нашу Родину, нанести ей вред. Но Сталин в служении англо-американским интересам видел возможность реализовать свои планы мирового господства, и ради осуществления этих планов он связал судьбу Русского народа с судьбой Англии, он вверг Русский народ в войну, навлек на его голову неисчислимые бедствия, и эти бедствия войны являются венцом всех тех несчастий, которые народы нашей страны терпели под властью большевиков 25 лет.

Так не будет ли преступлением и дальше проливать кровь? Не является ли большевизм и, в частности Сталин, главным врагом Русского народа!

Не есть ли первая и святая обязанность каждого честного русского человека стать на борьбу против Сталина и его клики?

Я там, в болотах, окончательно пришел к выводу, что мой долг заключается в том, чтобы призвать Русский народ к борьбе за свержение власти большевиков, к борьбе за мир для Русского народа, за прекращение кровопролитной, ненужной Русскому народу войны за чужие интересы, к борьбе за создание новой России, в которой мог бы быть счастливым каждый русский человек.

Я пришел к твердому убеждению, что задачи, стоящие перед Русским народом, могут быть разрешены в союзе и сотрудничестве с Германским народом. Интересы Русского народа всегда сочетались с интересами Германского народа, с интересами всех народов Европы.

Высшие достижения Русского народа неразрывно связаны с теми периодами его истории, когда он связывал свою судьбу с судьбой Европы, когда он строил свою культуру, свое хозяйство, свой быт в тесном единении с народами Европы. Большевизм отгородил Русский народ непроницаемой стеной от Европы. Он стремился изолировать нашу Родину от передовых европейских стран. Во имя утопических и чуждых Русскому народу идей он готовился к войне, противопоставляя себя народам Европы.

В союзе с Германским народом Русский народ должен уничтожить эту стену ненависти и недоверия. В союзе и сотрудничестве с Германией он должен построить новую счастливую родину в рамках семьи равноправных и свободных народов Европы.

С этими мыслями, с этим решением, в последнем бою вместе с горстью верных друзей я был взят в плен.

Свыше полугода я пробыл в плену. В условиях лагеря военнопленных, за его решеткой я не только не изменил своего решения, но укрепился в своих убеждениях.

На честных началах, на началах искреннего убеждения, с полным сознани-

ем ответственности перед Родиной, народом и историей за совершаемые действия, я призываю народ на борьбу, ставя перед собой задачу построения Новой России.

Как я себе представляю Новую Россию? Об этом я скажу в свое время.

История не поворачивает вспять. Не к возврату к прошлому зову я народ. Нет! Я зову его к светлому будущему, к борьбе за завершение Национальной Революции, к борьбе за создание Новой России — Родины нашего великого народа. Я зову его на путь братства и единения с народами Европы и в первую очередь на путь сотрудничества и вечной дружбы с великим Германским народом.

Мой призыв встретил глубокое сочувствие не только в широчайших слоях военнопленных, но и в широких массах Русского народа в областях, где еще господствует большевизм. Этот сочувственный отклик русских людей, выразивших готовность грудью встать под знамена Русской Освободительной Армии, дают мне право сказать, что я нахожусь на правильном пути, что дело, за которое я борюсь, — правое дело, дело Русского народа. В этой борьбе за наше будущее я открыто и честно становлюсь на путь союза с Германией.

Этот союз, одинаково выгодный для обоих великих народов, приведет нас к победе над темными силами большевизма, избавит нас от кабалы англо-американского капитала.

В последние месяцы Сталин, видя, что Русский народ не желает бороться за чуждые ему интернациональные задачи большевизма, внешне изменил политику в отношении русских. Он уничтожил институт комиссаров, он попытался заключить союз с продажными руководителями преследовавшейся прежде церкви, он пытается восстановить традиции старой армии. Чтобы заставить Русский народ проливать кровь за чужие интересы, Сталин вспоминает великие имена Александра Невского, Кутузова, Суворова, Минина и Пожарского. Он хочет уверить, что борется за Родину, за отечество, за Россию.

Этот жалкий и гнусный обман нужен ему лишь для того, чтобы удержаться у власти. Только слепцы могут поверить, будто Сталин отказался от принципов большевизма.

Жалкая надежда! Большевизм ничего не забыл, ни на шаг не отступил и не отступит от своей программы. Сегодня он говорит о Руси и русском только для того, чтобы с помощью русских людей добиться победы, а завтра с еще большей силой закабалить Русский народ и заставить его и дальше служить чуждым ему интересам.

Ни Сталин, ни большевики не борются за Россию.

Только в рядах антибольшевистского движения создается действительно наша Родина. Дело русских, их долг — борьба против Сталина, за мир, за Новую Россию. Россия — наша! Прошлое Русского народа — наше! Будущее Русского народа — наше!

Многомиллионный Русский народ всегда на протяжении всей истории находил в себе силы для борьбы за свое будущее, за свою национальную независимость. Так и сейчас не погибнет Русский народ, так и сейчас он найдет в себе силы, чтобы в годину тяжелых бедствий объединиться и свергнуть ненавистное иго, объединиться и построить новое государство, в котором он найдет свое счастье.

Генерал-лейтенант А. А. Власов

<...>

МАНИФЕСТ КОМИТЕТА ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Соотечественники! Братья и сестры!

В час тяжелых испытаний мы должны решить судьбу нашей Родины, наших народов, нашу собственную судьбу.

Человечество переживает эпоху величайших потрясений. Происходящая мировая война является смертельной борьбой противоположных политических систем.

Борются силы империализма во главе с плутократами Англии и США, величие которых строится на угнетении и эксплоатации других стран и народов. Борются силы интернационализма во главе с кликой Сталина, мечтающего о мировой революции и уничтожении национальной независимости других стран и народов. Борются свободолюбивые народы, жаждущие жить своей жизнью, определенной их собственным историческим и национальным развитием.

Нет преступления большего, чем разорять, как это делает Сталин, страны и подавлять народы, которые стремятся сохранить землю своих предков и собственным трудом создать на ней свое счастье. Нет преступления большего, чем угнетение другого народа и навязывание ему своей воли.

Силы разрушения и порабощения прикрывают свои преступные цели лозунгами защиты свободы, демократии, культуры и цивилизации. Под защитой свободы они понимают завоевание чужих земель. Под зашитой демократии они понимают насильственное навязывание своей политической системы другим государствам. Под защитой культуры и цивилизации они понимают разрушение памятников культуры и цивилизации, созданных тысячелетним трудом других народов.

За что же борются в эту войну народы России? За что они обречены на неисчислимые жертвы и страдания?

Два года назад Сталин еще мог обманывать народы словами об отечественном, освободительном характере войны. Но теперь Красная армия перешла государственные границы Советского Союза, ворвалась в Румынию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Венгрию и заливает кровью чужие земли. Теперь очевидным становится истинный характер продолжаемой большевиками войны. Цель ее — еще больше укрепить господство сталинской тирании над народами СССР, установить это господство во всем мире.

Народы России более четверти века испытывали на себе тяжесть большевистской тирании.

В революции 1917 года народы, населявшие Российскую империю, искали осуществления своих стремлений к справедливости, общему благу и национальной свободе. Они восстали против отжившего царского строя, который не хотел, да и не мог уничтожить причин, порождавших социальную несправедливость, остатки крепостничества, экономической и культурной отсталости. Но партии и деятели, не решавшиеся на смелые и последовательные реформы после свержения царизма народами России в феврале 1917 года, своей двойствен-

ной политикой, соглашательством и нежеланием взять на себя ответственность перед будущим — не оправдали себя перед народом. Народ стихийно пошел за теми, кто пообещал ему дать немедленный мир, землю, свободу и хлеб, кто выдвинул самые радикальные лозунги.

Не вина народа в том, что партия большевиков, пообещавшая создать общественное устройство, при котором народ был бы счастлив и во имя чего были принесены неисчислимые жертвы, — что эта партия, захватив власть, завоеванную народом, не только не осуществила требований народа, но, постепенно укрепляя свой аппарат насилия, отняла у народа завоеванные им права, ввергла его в постоянную нужду, бесправие и самую бессовестную эксплоатацию.

Большевики отняли у народов право на национальную независимость, развитие и самобытность.

Большевики отняли у народов свободу слова, свободу убеждений, свободу личности, свободу местожительства и передвижения, свободу промыслов и возможность каждому человеку занять свое место в обществе сообразно со своими способностями. Они заменили эту свободу террором, партийными привилегиями и произволом, чинимым над человеком.

Большевики отняли у крестьян завоеванную ими землю, право свободно трудиться на земле и свободно пользоваться плодами своих трудов. Сковав крестьян колхозной организацией, большевики превратили их в бесправных батраков государства, наиболее эксплоатированных и наиболее угнетенных.

Большевики отняли у рабочих право свободно избирать профессию и место работы, организовываться и бороться за лучшие условия и оплату своего труда, влиять на производство и сделали рабочих бесправными рабами государственного капитализма.

Большевики отняли у интеллигенции право свободно творить на благо народа и пытаются насилием, террором и подкупом сделать ее оружием своей лживой пропаганды.

Большевики обрекли народы нашей родины на постоянную нищету, голод и вымирание, на духовное и физическое рабство и, наконец, ввергли их в преступную войну за чуждые им интересы.

Все это прикрывается ложью о демократизме сталинской конституции, о построении социалистического общества. Ни одна страна в мире не знала и не знает такого низкого жизненного уровня при наличии огромных материальных ресурсов, такого бесправия и унижения человеческой личности, как это было и остается при большевистской системе.

Народы России навеки разуверились в большевизме, при котором государство является всепожирающей машиной, а народ — ее бесправным, обездоленным и неимущим рабом. Они видят грозную опасность, нависшую над ними. Если бы большевизму удалось хотя временно утвердиться на крови и костях народов Европы, то безрезультатной оказалась бы многолетняя борьба народов России, стоившая бесчисленных жертв. Большевизм воспользовался бы истощением народов в этой войне и окончательно лишил бы их способности к сопротивлению. Поэтому усилия всех народов должны быть направлены на разрушение чудовищной машины большевизма и на предоставление права каждому человеку жить и творить свободно, в меру своих сил и способностей, на со-

здание порядка, защищающего человека от произвола и недопускающего присвоения результатов его труда кем бы то ни было, в том числе и государством.

Исходя из этого, представители народов России, в полном сознании своей ответственности перед своими народами, перед историей и потомством, с целью организации общей борьбы против большевизма создали Комитет Освобождения Народов России.

Своей целью Комитет Освобождения Народов России ставит:

а) Свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года;

б) Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией;

в) Создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплоататоров.

В основу новой государственности народов России Комитет кладет следующие главные принципы:

1) Равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность.

2) Утверждение национально-трудового строя, при котором все интересы государства подчинены задачам поднятия благосостояния и развития нации.

3) Сохранение мира и установление дружественных отношений со всеми странами и всемерное развитие международного сотрудничества.

4) Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи и брака. Действительное равноправие женщины.

5) Ликвидация принудительного труда и обеспечение трудящимся действительного права на свободный труд, созидающий их материальное благосостояние, установление для всех видов труда оплаты в размерах, обеспечивающих культурный уровень жизни.

6) Ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в частную собственность крестьян. Свобода форм трудового землепользования. Свободное пользование продуктами собственного труда, отмена принудительных поставок и уничтожение долговых обязательств перед советской властью.

7) Установление неприкосновенной частной трудовой собственности. Восстановление торговли, ремесел, кустарного промысла и предоставление частной инициативе права и возможности участвовать в хозяйственной жизни страны.

8) Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на благо своего народа.

9) Обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся от всякой эксплоатации, независимо от их происхождения и прошлой деятельности.

10) Введение для всех без исключения действительного права на бесплатное образование, медицинскую помощь, на отдых, на обеспечение старости.

11) Уничтожение режима террора и насилия. Ликвидация насильственных переселений и массовых ссылок. Введение действительной свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкосновенности личности, имущества и жилища. Равенство всех перед законом, независимость и гласность суда.

12) Освобождение политических узников большевизма и возвращение на родину из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу против боль-

шевизма. Никакой мести и преследования тем, кто прекратит борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, вел ли он ее по убеждению или вынужденно.

13) Восстановление разрушенного в ходе войны народного достояния — городов, сел, фабрик и заводов за счет государства.

14) Государственное обеспечение инвалидов войны и их семей.

Уничтожение большевизма является неотложной задачей всех прогрессивных сил. Комитет Освобождения Народов России уверен, что объединенные усилия народов России найдут поддержку у всех свободолюбивых народов мира.

Освободительное Движение Народов России является продолжением многолетней борьбы против большевизма, за свободу, мир и справедливость. Успешное завершение этой борьбы теперь обеспечено:

а) наличием опыта борьбы, большего чем в революцию 1917 года;

б) наличием растущих и организующихся вооруженных сил — Русской Освободительной Армии, Украинского Вызвольного Вийска, Казачьих войск и национальных частей;

в) наличием антибольшевистских вооруженных сил в советском тылу;

г) наличием растущих оппозиционных сил внутри народа, государственного аппарата и армии СССР.

Комитет Освобождения Народов России главное условие победы над большевизмом видит в объединении всех национальных сил и подчинении их общей задаче свержения власти большевиков. Поэтому Комитет Освобождения Народов России поддерживает все революционные и оппозиционные Сталину силы, решительно отвергая в то же время все реакционные проекты, связанные с ущемлением прав народов.

Комитет Освобождения Народов России приветствует помощь Германии на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей родины. Эта помощь является сейчас единственной реальной возможностью организовать вооруженную борьбу против сталинской клики.

Своей борьбой мы взяли на себя ответственность за судьбы народов России. С нами миллионы лучших сынов родины, взявших оружие в руки и уже показавших свое мужество и готовность отдать жизнь во имя освобождения родины от большевизма. С нами миллионы людей, ушедших от большевизма и отдающих свой труд общему делу борьбы. С нами десятки миллионов братьев и сестер, томящихся под гнетом сталинской тирании и ждущих часа освобождения.

Офицеры и солдаты освободительных войск! Кровью, пролитой в совместной борьбе, скреплена боевая дружба воинов разных национальностей. У нас общая цель. Общими должны быть и наши усилия. Только единство всех вооруженных антибольшевистских сия народов России приведет к победе. Не выпускайте полученного оружия из своих рук, боритесь за объединение, беззаветно деритесь с врагом народов — большевизмом и его сообщниками. Помните, вас ждут измученные народы России. Освободите их!

Соотечественники, братья и сестры, находящиеся в Европе! Ваше возвращение на родину полноправными гражданами возможно только при победе над большевизмом. Вас миллионы. От вас зависит успех борьбы. Помните, что вы работаете теперь для общего дела, для героических освободительных войск. Умножайте свои усилия и свои трудовые подвиги!

Офицеры и солдаты Красной армии! Прекращайте преступную войну, направленную к угнетению народов Европы. Обращайте оружие против большевистских узурпаторов, поработивших народы России и обрекших их на голод, страдания и бесправие.

Братья и сестры на родине! Усиливайте свою борьбу против сталинской тирании, против захватнической войны. Организуйте свои силы для решительного выступления за отнятые у вас права, за справедливость и благосостояние.

Комитет Освобождения Народов России призывает вас всех к единению и к борьбе за мир и свободу!

Прага, 14 ноября 1944 года.

Источник: Штрик-Штрикфельд В. «Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение», «Посев».

Цветаева
Анастасия Ивановна
(1894–1993)



Писательница.

Родилась в Москве, в семье профессора И.В. Цветаева. Младшая сестра Марины Цветаевой. Рано начала писать прозу, первая ее книга — «Размышления» — вышла в 1915 г. Следующая ее книга «Дым, дым, дым», появившаяся уже в 1916 г., принесла Анастасии Цветаевой известность. Часто бывала в доме М. Волошина в Коктебеле, в котором она нашла приют и после Октябрьской революции, уехав в Крым из голодающей России. Но здесь же постигла ее и трагедия — в Крыму умер ее сын от второго брака. По возвращении в Москву в 1920-х гг. Цветаева жила случайными заработками, но продолжала писать прозу. В 1921 г. по рекомендации М. Гершензона и Н. Бердяева Цветаева была принята в Союз писателей. В 1927 г. она завершила книгу «Голодная эпопея», в которой собрала высказывания людей о недавнем голоде, однако, книга тогда так и не была опубликована. В 1927 г. ей удалось выехать в Европу, и в Париже она в последний раз увиделась со своей сестрой (в 1941 г. Марина покончит с собой, а Анастасия в это время будет на поселении на Дальнем Востоке).

Хотя Анастасия Цветаева была далека от политики, религиозный характер ее книг делал ее «неблагонадежной» в глазах НКВД. В 1937 г. у нее были конфискованы все ее сочинения, а сама она отправлена в ГУЛАГ. Но заключение не сломило ее. Из лагеря Цветаева передала на волю написанный на папиросных листках роман «Amor». Находясь на поселении, она написала дневниковую книгу «Моя Сибирь», которая была опубликована лишь в 1988 г. Освободилась Цветаева только после смерти Сталина, в 1953 г. Живя в Подмосковье в Переделкино, она сумела восстановить часть из уничтоженных в 1937 г. произведений. Тогда же она написала книгу «Старость и молодость» и мемуарную книгу «Воспоминания».

«Воспоминания» с середины 60-х годов ходили в Самиздате. Впервые книга была опубликована в 1971 г. со множеством купюр. Последующие издания постепенно уменьшали количество купюр, однако полностью текст был напечатан только в 1995 г.

ВОСПОМИНАНИЯ

<…>

Вокруг большого стола рассаживались люди. На фоне прикрытого жалюзи окна их лица были неразличимы. Но вот, отделяясь от других, слева, шагая через узенькую полоску, точно через палочку солнца, к нам двинулся кто-то высокий, знакомый но портретам и незнакомый потому, что в светлом, выше — страннее — иной — худее, моложе... Рукопожатие.

Сели за стол. Недоосознав первого впечатления, изумленности о молодости и высоком росте, я уже переживала второе и третье. Как волны моря — не взять неводом. Но, беря палитру и кисть, условно и схематично, вот мое впечатление первого дня с Горьким.

Так вот он какой… Сдержанный, почти сухой, почти суровый. В обращении — чинность, пристальная внимательность, деловая серьезность. Между вами и им — дистанция. Это устанавливается сразу, так просто и так повелительно, что невозможно вознегодовать. Безвкусным, легковесным и безответственным предстает вам вдруг всякое иное человеческое общение. Сусальным «русским человеком» с его пресловутой «задушевностью» мне через час показался тот Горький, которого я ждала.

Горький — строг. Этим много, действительно много о нем сказано. (Мысль: строг к другим — как к себе.)

Темы первого разговора? Осмотренный мною по пути музей, что-то о Неаполе. О газетах из Советской России. И больше, чем тема,— в глазах Горького ненависть—суд над Сакко и Ванцетти.

Так вот оно, живое, это лицо, тридцать лет спустя, в первый раз! Вне возраста,— никакой старости! Широкоскулое и худое, в щеках провалы, волосы сбриты, серый пушок. Усы густые, вниз, рыжие. Глаза — синеватые. И мои глаза не верят, что это явь.

Не похож на свои портреты: бесконечное богатство мимики. Но каждый портрет что-то схватил, и перед глядящими, как в кинофильме, мелькает в волшебной смене то один, то другой портрет,— а, и еще этот? — гасимые текучей сменой вовсе новых, аппаратом не виданных лиц.

Он говорит, голос глуховатый, на «о», на мой слух чуть невнятный в своих утиханиях, но когда близко или привыкнешь, в негромких интонациях такая мощь тончайших смысловых переливов, как бывает разве что в музыке. Когда же их не хватает — рассказ переходит в жест. Кто напишет о его жестах? Я только отмечу в них не виданную мною выразительность. Интеллектуализм? С их длинных, спокойных, всплесков, с холодка неуловимых движении этого веющего смычка каплет горячий воск — печать на то волнение рассказа, которое нельзя передать. Это высокая марка волнения.

Лицо — голос — жест. С чего начать дальше? С того, что вокруг стола, где сидим,— люди, давно знающие Горького. Что мне неловко. Что мешают тарелки, ваза с фруктами, стены, окна с каким-то садом и жаркий, равнодушный к моему приезду — как завтра и как вчера — день.

Большая комната с тремя окнами — дверями на балкон. Вид на далекое море с правым крылом гор и Сорренто, с очень бледным треугольником Везувия. Каменный светлый мозаичный пол. От него ли или от стольких дверец на воздух — впечатление холода и простора. Книжные полки. Никакого беспорядка. Никаких вещей, подчеркивающих индивидуальность хозяина. Серьезно, спокойно. За рабочим креслом большого стола стопка остро очиненных цветных карандашей, над полкой небольшой портрет Пушкина. Две-три картины. В углу за ширмой — кровать.

Что он говорил? Что запомнилось из его слов о писателях? Неожиданность его облика поглотила всю силу внимания. В памяти — случайные отрывки. Их помещаю, извиняясь за хаотичность их: «Бабель — очень серьезен. «Конар-

мия»... Замечательный будет писатель!» Об Ольге Форш — с похвалой («Современники», «Одеты камнем»). Высоко ставит Сергеева-Ценского.

– Мне не понять, как Борис Пастернак так перевоплотился в тринадцатилетнюю девочку («Детство Люверс»). Моему пониманию это недоступно!

– Вы любите Блока? — спросила я.

– Нельзя ответить на это. Заинтересован был очень. Да. У него никогда нельзя было знать, что он сделает в следующую минуту. Я его и пьяным видел: тело пьяного человека, а слова, мысли, поступки — его обычные. Видал, как ухаживал за женщинами, видал на заседаниях. Стихи читал как никто...

– Перед «Вечерними огнями» Фета — преклоняюсь. (И о любви Фета, восьмидесяти лет к восемнадцатилетней, смерть после объяснения с ней.)

– Апухтин — пустое место.

Чехова-человека любит. И писателя хвалит. (Из его вещей больше всего отмечает «Степь».) Лескова горячо чтит. Об Андрееве говорит с нежностью. Резко не любит Владимира Соловьева.

– Конечно, есть неплохие места. Но все нехорошо. Циник. О человеке сказать так: «Родился кто-то, потом издох...» О человеке! Неверие прикрывал перед самим собой благочестием. Способность похихикать надо всем, во что верить. Переписка его с Шлейермахером отвратительна. Как и отношение к Шмидт.

– Боткинские письма из Испании не сравнимы ни с чем в литературе. Единственная книга, написанная русским о другой стране. Вообще мы писать об иностранцах не умеем.

– А почему вы не пишете об Италии? Ведь вы так ее знаете!

– Я написал несколько итальянских сказок — не вышли.

Заговорили о писателе девятнадцатого века Слепцове. Радостно удивился, что я читала его. «Его ведь так мало знают...»

И беседа идет, идет, уже вечер. Помню его слова о том, что это вот понимал Лев Толстой; часы дня, психологично иные речи, иной тон, иные соотношения вещей в разные часы дня. «Вечером — вечерний разговор, утром — совершенно иная манера говорить у его героев».

– Удивительный мастер. Знал каждую запятую свою! Все учитывал.

– А он знал, Лев Толстой, что он — недобрый? Горький:

– Знал. О себе говорил: «Старый, глупый старик, злой старик».

Разговор перешел на «Анну Каренину».

– Более безрадостной любви, более скучной, я не знаю. Ни разу при луне не прошлись. Ни одного ласкового слова друг другу не сказали, ни разу не поцеловались при читателе! Да, мы не умеем этих вещей писать. Это только французы умеют! У нас — не выходит.

– Вы бы могли? Напишите!

– Нет, я не умею. Мы не умеем. В каждой любви без переписки обойтись не можем. Философствуем же, нельзя же! В том же доме, но хоть одно письмо!

О Гоголе, о конце Гоголя:

– Это мне совсем непонятно. Просто не понимаю, чуждо. Для меня никакого «греха» в творчестве нет.

– Алексей Максимович, кого вы больше любите, Андрия или Остапа?

– В молодости — Андрия, конечно, ну, а теперь — Остапа. Все-таки будет посодержательнее: «Батько, слышишь ли...» Это, знаете...

– «Записки сумасшедшего» Гоголя? Нет, не ценю: написано нарочито, слабо...

Иностранных авторов знает, как русских. О Гёте не говорит горячо.

– Считаю, что Ломоносов ничем не меньше, чем Гёте, а как ученый — больше. И Пушкин — больше Гёте. О Марине мне сказал Горький:

– Я читал и некоторые из ее последних, видимо, вещей. Хорошо. Но в одной ее поэме мне одно выражение — не понравилось: «Я любовь узнаю по трели всего тела вдоль...» — неудачное выражение. Так сказать нельзя. Но дарование у нее — большое. Замечательное богатство образов, свободное владение размерами, ритмами... Марина Ивановна сделала очень много для русского языка!

– Анатоля Франса я люблю. Переписывался с ним и видался. (Настойчиво его хвалит.) Не любит баллады о Рэдингской тюрьме О. Уайльда. Хвалит «Иеста Бёрлинг» Лагерлёф. Помню еще: Бернард Шоу — ядовитый старик, но любезный. Явился на званый вечер, где все были во фраках, в каком-то эдаком пиджаке невозможного какого-то цвета, табачного, все у него висит, вот эдак.., И в скрипучих огромных башмаках.

– А как вы были одеты, позвольте узнать?

С улыбкой:

– Такая куртка была... (И рассказ о сюртуке, который висит в Берлине, в шкафу у друзей.) Очень даже приличным человеком выглядел в сюртуке.

О приходивших к нему американских писателях, вежливо с ним говоривших и высказывавших мнение, что русских надо связать веревками,

– А веревок у вас хватит?

<...>

Начиная запись о конце жизни моей сестры Марины, я сознаю всю ответственность труда вспомнить, собрать, изложить все с наибольшей точностью: что предшествовало вести о ее смерти, которую от меня два года скрывали, как осторожно, частями мне шла о ней правда, как— когда я смогла — поехать в город ее беды, что я там узнала и как собрала по каплям рассказы о ней — от людей, Марину без меня знавших.

Я обошла всех, кого успела застать, и все тщательно записала.

Лето 1943 года, в разгар войны, я была на Дальнем Востоке. Я пыталась сесть в поезд на станции Известковая. Но не смогла, вернулась назад. И вот тут мне дали письмо. Я давно не имела писем. Оно было от старшей сестры моей Лёры, маленькое письмо из Тарусы. Как я обрадовалась! Сперва об одном, о другом... Потом слова: «Муси, автора «Волшебного Фонаря», нет на свете. Сын ее где-то на Кавказе, с Союзом писателей».

Я прочла, перечла — и в негодовании: «Вздор! Слух... Марина не могла умереть!»

Не поверила! Все во мне — все живые силы, как мускул, напряглись против этой нелепой вести! Этого не могло быть! Теперь, когда она здесь, на родине, мы будем наконец вместе,—и теперь бы она вдруг — умерла? Просто Лёра от нее далеко, война, все в разброде, мало ли что выдумают!

Я сложила письмо. Но тайная тревога терзала. Я стала писать всем, спрашивать. И пока все — до одного — молчали, я (судьба была по-своему милостива!) —двадцать дней, все более под гипнозом мысли, спрашивала у судьбы одно: Марина ходит по земле — или... Я глядела на траву, у нее спрашивала. Вертикаль — или... но я договорить не могла. Так я ждала обуха или избавления — двадцать дней.

Если бы я могла наблюдать и думать в те двадцать дней, когда отрава сомнений понемногу проникала в меня, я бы, может быть, сама подготовила себя к той вести, которая, отбрасывая вертикальность Марины, не шла, как и в том сне за два года до этих дней в Хабаровске: в начале сентября 1941 года я увидела сон, от которого проснулась потрясенная. В этом сне была весть о смерти — имени я не произнесла, не в силах признать, что мне такое приснилось, отодвигая весть, наяву усмиряя то, что во сне произвела на меня эта весть. Не называя, я, однако, не смогла определить его иначе, хоть обезопасив отдаленным определением, как «самая близкая женщина». Но я восстала против во сне пережитого, разметала его явью — нет, не явью, не происходившим в яви, в тот день, а состоянием яви, стряхнув его как непереносимое. Назвав недостоверным и невозможным, оттолкнула, чтобы продолжать жить. Это было за два года до вести.

Вся природа моя не приняла этот сон, так не захотела его запомнить, что мне удалось это позабыть на два года, должно быть, когда в 1943 году прорвалась весть в письме Лёры. Я никогда не узнаю наверное, но, может быть, увиденный сон совпал с числом ухода Марины. Так внезапен он был и не вызван ничем, ее касающимся. По трепетной доброте Лили Эфрон я о гибели Марины узнала только два года спустя.

Замерла — потому что, отнегодовав на нелепость неверной вести, я стала в своей уверенности сомневаться: и вот в это двойное ожидание переезда и в ожидании ответа (от тех, кто в ответ — молчал о Марине) жизнь внезапно изменила мою судьбу. Как — здесь не место рассказывать. Вот тогда-то и пришла весть. Телеграмма.

Я раскрыла листок. Он был розов. В нем две строки: «Марина погибла два года назад тридцать первого августа. Целуем ваше сердце. Лиля, Зина». (Лиля — сестра Марининого мужа Елизавета Яковлевна Эфрон. Зина — ее подруга — Зинаида Митрофановна Ширкевич. Ныне — обеих нет в живых.)

В мой смертный час я не забуду текста этих двух строк. Я стояла, и листок я держала в руке. Глотала и не могла доглотнуть слова текста. Их каменную непоколебимость. Я бы, может быть, долго так простояла, бережа задлившуюся минуту их чтения, над которой стоять было лучше, чем шагнуть куда-то с листком. Но мимо шли, и в невозможности, чтобы спросили, увидели слезы, которые бесполезно текли, я рванулась прочь от дверей, от дома и пошла вбок, на пустой, пологий холм. Ничего еще не поняв, ударенная по голове смыслом листка, я ходила вокруг холма, возвращаясь и возвращаясь.

Только с одним теперь была возможна слиянность — с травой, которая — теперь я узнала — выше Марины, над... Навсегда слита с землей Марина, уже два года... Двадцать дней я запрашивала траву. Трава молчала, берегла. И меня, и тайну. Судьба хочет, чтобы она мне была открыта теперь.

Нет Марины. Я ее никогда на земле не увижу.

Степень ужаса этого расставания я описала за много лет до того в моей книге «Дым, дым и дым», в дни, когда Марине было двадцать три года, а мне двадцать один и когда она была гораздо здоровее, чем я. Но я не могла предвидеть, что не смогу проститься с Мариной в ее последний час на земле. Что только через девятнадцать лет я смогу вступить ногой на кладбище, где ее положили.

«Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим — слова нет — горем моей жизни»,— писала я тогда.

«Больше смерти всех, всех, кого я люблю,—и только немного меньше моей смерти.

Как я смогу перенести, что ее глаза, руки, волосы, тело, знакомое мне с первого года жизни,— будет в земле, я не знаю. Это будет сумасшедшее отчаяние. И от этого кто спасет меня! Уж лучше бы ей увидеть мою смерть — она бы, может быть, лучше справилась.

Вот то единственное событие во всей жизни, которое, разбив всю меня, все мои свойства, все мои «ах, что я такое!», «Какая я странная!», рухнет все в этот час. Полная победа факта над м о и м и свойствами!

Вот когда я смогу ворваться в безумии в комнату, забыть всех, все, биться об пол, целовать ее, будить, не пускать ее гроб в землю.)

Мой голос (у нас одинаковые голоса, мы говорили вместе стихи, совпадают все нюансы, как будто говорит один человек) жутко покажется мне половиной расколотого инструмента.

Я с ужасом спрошу себя, как же я буду жить? Как, если бы мы были сросшиеся и ее отрезали от меня.

Я не буду странная. Я буду как все в этот час.

А ко всем остальным умершим я подойду, вполне сохраняя себя. И в то же время — мы удаляемся друг от друга, по дорогам жизни. Но ее лицо и тело я в землю отпустить не смогу».

«Погибла»! Катастрофа автомобильная? — потому так страшилась она автомобилей... Два года! А я жила. Два года — и не догадалась. Когда Лиля что-то плела пером, непонятное, о Марине, о Муре в редких открытках, кончая на полуслове, будто продолжит в следующей... Но как я могла заподозрить, не зная, когда и теперь, узнав,— не верю. Я Марину никогда не увижу? Я должна без нее жить?

Но это все — потом. В этот час я все ходила кругами, благодарная, что одна. Каждый шаг — боль. Это помню. Мысли — пришли потом.

...Я перечитывала Лилины письма. Родная, добрая Лиля! Она подарила мне два года жизни — скрыв. Господи, как погибла Марина? Теперь, не поджидая больше ответов от всех (друзей, родных, писателей), умоляя сообщить правду, я писала одной Лиле Эфрон. Я ждала ответа на вопрос, как погибла Марина. Ждала четырнадцать дней. Он пришел. Это была телеграмма. В ней было три слова. Почтальон, несший ее, верно, счел ее выражением дочерней, сыновней заботы о матери — вопросительных знаков в телеграммах не ставят. «Как наша мама». Я прочла их, заледеневая. Они означали: «Повесилась...» («Наша мама» — мать Лили, Веры, Сережи Эфрон, Елизавета Петровна Дурново-Эфрон — повесилась в 1910 году в Париже, пятидесяти четырех лет, на том же крюке, где ее четырнадцатилетний, младший, Котик.)

Теперь я знала все. Так, Судьба не ударила меня обухом, а в тридцать четыре дня постепенно ответила мне на мое смятение, вызванное письмом Лёры: двадцать дней сомнений и страха, подготавливавших. Обух. Я помню мелкую дрожь, наставшую во мне, отразившуюся в розовом листке телеграммы, когда все вдруг рухнуло какой-то отвесной стеной.

И еще четырнадцать дней незнания: погибла! Автомобильная катастрофа? Бомбежка? Отчего уже раз с Мариной бывшее неудачное самоубийство в семнадцать лет, мне тридцать четыре года спустя не приходило и не пришло в голову (что именно так погибла)? Второй обух был меньше, легче. Но он добил какой-то стержень в душе. Теперь я могла ждать вестей—«подробных». Они не замедлили. От той же Лили — и как я благодарна Судьбе, что из ее рук я получала и получала вести о том, что было с Мариной и ее близкими — с 1939 по 1941 год. Я понимала теперь, что означали в ответ на мои первые требования о правде после Лёриного «нет на свете» — Лилины медлившие открытки с нескончаемым содержанием, все еще надеявшиеся от меня — скрыть…

О, это не слабость была! Не ее — и не о моей шло дело! И не ложь. Будь я в Москве и приди я к ней, она минуты бы не терпела! Схватив и прижав к груди (то, чего не может быть ближе никакого слияния на земле!), она бы тотчас обрушила на меня правду. Но — издалека…

Открытка кончалась: Мура Марина обож… конец глагола был неясен, словно бы стерт расстоянием,— и все мое близорукое зрение, прильнувшее, не могло различить букв: «ала» или «ает»? Зрение было как натянутый лук. А вторая или третья открытка не шла. Я уже знала, что Мур, как все мальчики, бывал с матерью груб, но она все прощала. Что вместе все пробыли два месяца, с июня 1939-го по август, в августе уехала Аля, жили на даче — втроем; в октябре выбыл Сережа. И Марина переехала с Муром в Москву, работала, переводила. Дальше повествование не шло…

Это было месяц назад. Теперь я узнала и дальше, но ничто не кидало луч — на последнее. Ведь его же никто не знал! И, ходя на работу и приходя с работы, научив нескольких взрослых людей каким-то английским правилам и выражениям, ежедневно, как спасательный круг, мне кидаемый, в жаре преподавания (гипнотически, вещь в себе, во мне жившей) (я теперь учила и десятилетнюю девочку, ко мне все более привязывавшуюся в добром доме матери и отца), шли уже месяцы с первой вести, но ежедневное просыпанье было все тем прыжком, сознания: Марины, о жизни которой я, как о своей, знала почти полвека,— нет!

Что я помню о тех годах?.. Я не помню почти ничего. Была женщина в кино. (Я в первый раз после Марины видела зрелище.) Она сидела передо мной, молодая и тонкая, и фигура ее напоминала Марину. Эта— жива, а Марины — нет и не будет! А на экране пляшут. А Марина никогда не увидит пляски. Ни этой и, никогда, другой.

И жизнь моя останавливалась. В этой остановленности прошли годы. Их было четыре.

Я должна рассказать еще о военном времени, о письме. Внутреннее неистовство, в котором я жила и которое ежедневно борола, имело в себе одну совсем непонятную точку: вопрос — как через все страдания Марина могла уйти,

ушла, не оставив ни одной строчки — мне. Принужденная обстановкой мне не писать последние годы, она ведь уходом своим размыкала причины молчанья! Почему же не написала мне ни одного слова? Не могла же она не знать, чем мне будет ее исчезновение! Протянуть мне один листок! Это же был бы мост между нами, мост через смерть. Я бы жила с ним, с этим листком, ожидая, когда приду, тоже, к ней. В той безутешности, в которой шла моя жизнь,— какое-то было бы утешение! Смерть ее не была бы полна. Один уголок ее был бы живой, одна строка бы горела и грела. Она оставила меня среди льда. Это не было ей обвинение. Это был вопрос, и лютость его отнимала дыхание. В этой невозможности додохнуть так и надо будет жить, до смерти? Глаза не просыхали. Была цепь снов о Марине и ее смерти. Я их записывала и слала Але, с которой у нас теперь шла переписка. Ее, как и меня, долго берегли от страшной вести, скрывали. Она отвечала мне из своего далека, с Севера, во всю мощь эфроновской доброты, всем талантом цветаевской манеры письма, в нем и после Марины живой.

Мешал неразрешенный вопрос, меня ни на один день по оставляющий: как могла Марина уйти, меня не окликнув? Я ведь теперь знала, что она оставила письма: Муру, Сереже и Але и семье поэта Асеева (поручила им Мура).

И вот то, что случилось, что я сейчас расскажу, я считаю великим чудом, напоившим мою безысходную жажду узнать о ее молчании. (Здесь опять, как в тех двадцати+ четырнадцати днях, в медленности подготовки к ни с чем не сравнимому горю — ни со смертью матери, ни отца, ни со смертью моего второго мужа, ни со смертью первого мужа, мне Судьба откликнулась.) Произошло невозможное: пришло письмо от Марины. Прощальное. Перед самоубийством… Написанное тридцать четыре года назад, в ее семнадцать лет,— мне, пятнадцатилетней. Это письмо, где-то хранимое ею все годы, неуничтоженное, попавшее в руки второго мужа Марии Ивановны, мне переслала (копию его, дрожа над оригиналом) Мария Ивановна Гринева именно в те дни, когда я вопияла к Судьбе об одной строке, листочке… И листочек пришел.

Я не сказала о том, что я с вести о Марининой гибели начала увеличивать, в карандаше, пришедшие мне фотографии: двадцати пяти лет в аметистовом ожерелье на фоне инкрустированного (кто говорит — кресло, кто — шкаф) полукруга; тридцати пяти лет, в 3/4, в крупноклетчатом платье с черной овальной брошью: последняя — сорока шести — сорока семи с уже седой головой, с открытой шеей и ниткой граненых бус.

Я работала над ними ночами. Работала с сеткой, точно. В тот вечер, получив письмо, не имея возможности с ним уйти — и где же читать его? — я должна была его читать — в доме. Я сделала единственное, что могла. Я стала на колени на своей койке, спиной к комнате, лицом к большому портрету Марины, мной карандашом увеличенному с маленького (это был ее двадцатипятилетний портрет, лицо почти в натуральную величину), и так, плохо видя от слез, прочла, в сорок девять лет, девичье письмо мне Марины. Я о нем (в 1910 году написанном) никогда не слыхала и не знала, что оно было. Прошло с того чтения тридцать девять лет, и Судьба в новом шквале событий эту копию письма и через четыре года полученный оригинал — у меня отняла. Я приведу письмо кратко, по памяти. Я не уверена, но мне кажется, что оно начиналось не «Дорогая», а «Милая Ася!».

Марина писала о невозможности жить далее, о решенности вопроса, прощалась и просила меня раздать ее любимые книги и гравюры — шел список и перечисление лиц. Было названо имя Драконны (Лидии Александровны Тамбурер), Вали Генерозовой (по мужу Зарембо) и старшей сестры нашей, с которой она уже год была в ссоре (ей, помнится, были гравюры, вывезенные из Парижа), и, наверное, еще были имена, но я их сейчас позабыла. Я не помню и себя, своего имени; определила ли и мне она что-то (может быть, Марина считала, что все, кроме сказанного, будет, естественно, мне?). Но я помню строки, лично ко мне обращенные: «Никогда ничего не жалей, не считай и не бойся, а то и тебе придется так мучиться потом, как мне». (Эти слова я тоже привожу не совсем дословно, но три глагола — не жалеть, не считать, не бояться — были в этих строках.) Затем следовала просьба в ее память весенними вечерами петь наши любимые песий, в дни «Зимней сказки», нашей первой любви к Нилендеру,— мы пели в то время немецкую наивную любовную песенку: Kein Feuev, Keine Kohle («Никакой огонь, никакой уголь») и другие немецкие и французские песни. «Никогда не бойся меня, я к тебе никогда не приду». «Только бы не оборвалась веревка! А то — недовеситься — гадость, правда?» Эти строки я помню дословно. Из последующего, из последних строк четвертой узкой длинной странички (Мария Ивановна переписала страницу в страницу, как в оригинале) были слева, росшие, пока я их прочитывала,— до гигантских размеров. В них и в слезах, хлынувших, в их нечеловеческом уже утешении я утонула, перестав видеть их в схватке блаженства и горя, и не знаю, что было сильней: «И помни, что я всегда бы тебя поняла, если была бы с тобою». И подпись. Эти слова Мариной даны мне — навеки, я с ними живу сорок лет.

Но я еще скажу о портретах. Самый трудный из них я из всех — их было около двухсот, мною за годы на Дальнем Востоке сделанных (карандаш и пастель — розданы) с натуры и увеличенной фотографии, был карандашный в 2/3 человеческих лица — портрет Марины седой. Я делала его ночь напролет и затем вновь и вновь дорабатывала, пока не ожили малейшие складки лица, образовавшие у глаз и у губ улыбку: любезную и страдальческую, застенчивую и тающую — может быть, и не улыбается вовсе? Я работала — до темноты в глазах. Я не могла закончить. Оно все оживало и оживало, лицо, оно втягивало мой взгляд. Я заставила себя отойти, потому что... что-то начиналось такое, что было уже на границе с волшебством?

Я стояла, опустив руки, ночь без сна сияла во мне каким-то хрустальным прикосновением, а может быть, это был звук подошедшей к плечу старости. И уже подымалась из недр моих и ее — Марина:

После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг, и друг,
Целая опера в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг...

После ночи с Мариной я еле шла.

Спустя те дни, я получила первое письмо — короткое, прямым, быстрым, причудливым почерком, незнакомым, но что-то напоминавшим... Оно начиналось:

«Милая Ася!

Вам пишет Мур. Я помню Вас...» (Шло воспоминание о моем приезде в Медон в 1927 году из Италии, от Горького. Ему тогда было без малого три года...)

Это было — окликание. Я ответила Муру радостно и тепло. Пришло второе письмо. (Был ли он уже взят в армию? 1 февраля 1944 года ему исполнилось девятнадцать лет.) Первое было из Москвы (второе — было из армии), он жил у Лили, тетки его по отцу, поступив в Литературный институт и для заработка — художником-оформителем на завод (это я узнала от Лили). Оно было длинней, на трех или четырех, большого формата, страницах, дружественное. Но была в нем непонятная странность: он называл в нем свою мать, умершую, инициалами «М. И.». Повторенные в письме два или три раза, они останавливали внимание и отвращали. Ни одного слова о горе, его постигшем. Меня поразил контраст теплой дружественности ко мне и отсутствие ее — к матери. Поза? Зачем, перед кем, в ответ на мое точащее кровью письмо тоски по Марине!

На какое-то письмо (память мне изменяет) Мур мне ответил словами: «Спасибо, Ася, за Ваши письма. Это — единственные из мной получаемых, которые написаны настоящими чернилами. Остальные все — разбавленной водичкой» (водой?—А. Ц.). Следующее его письмо было из армии, описывался ремонт бани, было немного иронического юмора над невоенным этим делом, и — помню, оно или, быть может, четвертое, но последнее мною полученное, кончалось так: «Мне надоела эта снотворная работа полкового писаря, и я выступаю на днях пулеметчиком или автоматчиком с маршевой ротой. Моя звезда стоит высоко, я верю в мою судьбу».

То же самое он написал сестре своей Але. И замолк навсегда.

<...>

Источник: Цветаева А.И. Воспоминания. М.: Советский писатель, 1984.



Озеров
Георгий Александрович
(1889–1977)

Авиаконструктор, ведущий специалист в области прочностных испытаний авиационных конструкций.

Окончил МВТУ в 1921 г. Профессор, доктор технических наук. Заместитель Генерального конструктора. С 1921 г. работал в ЦАГИ старшим инженером, членом коллегии, директором и заместителем директора по научной части. Участвовал в подготовке рекордных перелетов АНТ-25. После ареста органами НКВД, работал в ОТБ НКВД (Отдельное Техническое Бюро Народного Комиссариата Внутренних Дел — так официально называлась «Туполевская шарага»). В послевоенный период Г.А. Озеров участвовал в создании практически всех реактивных боевых и пассажирских самолетов ОКБ Туполева. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной звезды, многими медалями, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники.

В шестидесятых годах написал воспоминания под псевдонимом Шарагин, названные автором «Туполевская шарага», в которых описывается повседневный быт заключенных ученых, конструкторов и инженеров, работающих над созданием лучшей в мире авиационной техники для «сталинских соколов».

В 1971 г. книга опубликована на Западе:

Озеров Г. А. Туполевская шарага. Франкфурт-на-Майне: «Посев», 1971.

ТУПОЛЕВСКАЯ ШАРАГА

А.И. Солженицын в романе «В круге первом» описал одно из закрытых конструкторских бюро НКВД, именовавшихся среди заключенных шарагой.

Главный герой романа Глеб Нержин вместе с другими специалистами работает над идентификацией личности по подслушанным и записанным телефонным разговором. Читая книгу, становится очевидным, что автор хорошо знает среду и людей, о которых идет повествование. И все же это литературное произведение с фабулой, характерами героев, конфликтами между ними, а частично и ситуациями, порожденными творческой мыслью талантливого автора. Пусть не подумают, что этим я утверждаю, будто в книге сгущены краски или допущены преувеличения. Отнюдь нет, скорее, наоборот, некоторые стороны шараги в ней сглажены.

Мне пришлось прожить в шараге, созданной Берия вокруг крупнейших русских авиационных специалистов, четыре года.

Согнанных из всех лагерей, их в 1938 году привезли в Болшево, в бывшую

трудкомунну ОГПУ, затем перебазировали в Москву в здание КОСОС ЦАГИ на улице Радио, а после начала войны отвезли в Омск на завод № 116 НКАП (Народный Комиссариат Авиационной промышленности).

В изложенных ниже записках вымысла нет, выражаясь английской формулой, в них «правда, только правда и одна правда».

Но прежде следует попытаться ответить на один вопрос — какова причина, вызвавшая появление шараг.

Думается, она вот в чем.

Государственное устройство России во все времена покоилось на чиновном бюрократизме. Обе революции 1917 года его не устранили. Более того, распочкование государственного аппарата на два параллельных, дублирующих друг друга снизу до верху его приумножило. 16 Советов Министров и ЦК по числу союзных республик, да 20 в автономных, вовлекли в него еще тысяч десять чинуш и клерков. Случилось то, чего больше всего боялся Ленин — коммунистическая бюрократия в десятки сотни раз обогнала царскую.

Хлынувшее в аппарат власти пополнение, в большинстве своем состояло из людей, не имевших должного образования, и вовсе похоронило инициативу низов. Демократический централизм требовал у нисходящей иерархии не критического осмысления спускаемых директив, а беспрекословного их выполнения. Сталинский цезаризм поощрял этот процесс и способствовал ему.

Короче говоря, государственный бюрократизм — это раковая опухоль, проникшая к 30-м годам во все звенья партийного и советского аппарата, — сделала его к этому времени в сфере научного и технического прогресса недееспособным.

В сфере применения массового человеческого труда иллюзии прогресса еще сохранялись. Сталинские каналы, первые гидростанции, железнодорожные пути, комсомольские города, воздвигаемые горбом и лопатой рабского труда с его чудовищно низкой производительностью, хоть медленно, но входили в строй.

Хуже было с автомобильными и тракторными заводами. Корпуса их возводили быстро, а наладить ритмичную работу годами не могли. И уж совсем скверно было в области разработки и создания образцов новой прогрессивной техники. Тут дело шло к явному провалу.

Даже государственные оборонные конструкторские бюро, ставя перед наркоматами проблемные вопросы, натыкались на молчание косного неповоротливого аппарата. Становилось ясным, что если все подобные КБ не подчинить такой организации, которую боятся все, дело может кончиться печально.

Известно, что такая организация была одна — ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ.

Когда конструктор обращался за помощью в верха, его запрос тонул. Когда же под таким запросом стояла подпись Ягоды, Ежова, Берии, «сезам» открывался мгновенно, и задача выполнялась с необыкновенной быстротой.

Испытав подобную схему на работниках пресловутой Промпартии и убедившись, что она обладает высоким КПД, шараги возвели в ранг панацеи — «пока мы (НКВД) не взялись за классовых врагов, они вредили и тормозили движение страны вперед». Ведь нельзя же было признаться, что вредила и тормозила та самая идея, которая априори была возведена в степень беспорочной. Итак, — «стоило нам разоблачить врагов, как они тут же раскаивались, брались за дело».

Создавалась идеальная модель, доступная пониманию многомиллионного темного народа: безупречный государственный аппарат, классовые враги, гуманный меч пролетарского правосудия, он занесен, но раскаивающихся не карает. Они (враги) изолируются, постигают новую идеологию, а перевоспитанные приносят на алтарь свободного отечества свои знания и способности. Этакая Аркадия, пасет которую верный соратник, автор «Истории большевистского движения в Закавказье», а возглавляет «отец, учитель и корифей всех наук».

И ведь именно по этой схеме были спроектированы и созданы прямоточные котлы Рамзина, истребитель И-5 Гигоровича и Поликарпова, паровозы ФД (Феликс Дзержинский) и ИС (Иосиф Сталин) ..., средства связи Куксена и Берга, артиллерийские системы Благонравова и Победоносцева, танки Котина и Косациора, самолеты Пе-2 и Ту-5 Петлякова и Туполева, межпланетные ракеты Королева и даже атомные успехи Ландау, Франка, Румера, Круткова и др.

<...>

Источник: самиздатская рукопись.

Никита Хрущев

(Справку см. т. 1, кн. 1, стр. 360)

ВОСПОМИНАНИЯ

Знакомство со Сталиным

Посещение домашних обедов у Сталина было особенно приятным, пока была жива Надежда Сергеевна. Она была принципиальным, партийным человеком и в то же время чуткой и хлебосольной хозяйкой. Я очень сожалел, когда она умерла. Накануне ее кончины проходили октябрьские торжества... Шла демонстрация, и я стоял возле Мавзолея Ленина в группе актива. Аллилуева была рядом со мной, мы разговаривали. Было прохладно, и Сталин стоял на Мавзолее в шинели (он, как всегда в ту пору, ходил в шинели). Крючки у него были расстегнуты, и полы распахнулись. Дул ветер, Аллилуева глянула и говорит: «Вот мой не взял шарф, простудится и опять будет болеть». Все это было очень по-домашнему, не вязалось с вросшими в наше сознание представлениями о Сталине, о вожде.

Потом кончилась демонстрация, все разошлись. А на следующий день Каганович собирает секретарей московских райкомов партии и говорит, что скоропостижно скончалась Надежда Сергеевна. Я тогда подумал: «Как же так? Я же с ней вчера разговаривал. Цветущая, красивая такая женщина была». Искренне пожалел: «Ну что же, всякое бывает, умирают люди...» Через день или два Каганович опять собирает тот же состав и говорит: «Я передаю поручение Сталина. Сталин велел сказать, что Аллилуева не умерла, а застрелилась». Вот и все, Причин, конечно, нам не излагали. Застрелилась, и все тут. Ее похоронили. Сталин ходил провожать ее на кладбище. По его лицу было видно, что он очень переживал, оплакивал ее.

Уже после смерти Сталина я узнал причину смерти Надежды Сергеевны. На это есть документы. А мы спросили Власика, начальника охраны Сталина: «Какие причины побудили Надежду Сергеевну к самоубийству?» Вот что он рассказал: «После парада, как всегда, все пошли обедать к Ворошилову. (В Кремле у него большая квартира была. Я тоже там обедал несколько раз. Приходил туда узкий круг лиц: командующий парадом, в тот раз, по-моему, Корк, принимающий парад — это нарком Ворошилов, и некоторые члены Политбюро, самые близкие к Сталину. Шли туда прямо с Красной площади. Тогда демонстрации надолго затягивались.) Там они пообедали, выпили, как полагается и что полагается в таких случаях. Надежды Сергеевны там не было. Все разъехались, уехал и Сталин. Уехал, но домой не приехал. Было уже поздно. Надежда Сергеевна стала проявлять беспокойство — где же Сталин? Начала его искать по телефону. Прежде всего она позвонила на дачу.

Они жили тогда в Зубалове, но не там, где жил последнее время Микоян, а через овраг. На звонок ответил дежурный. Надежда Сергеевна спросила: «Где товарищ Сталин?» — «Товарищ Сталин здесь». — «Кто с ним?» Тот назвал: «С

ним жена Гусева». Утром, когда Сталин приехал, жена уже была мертва. Гусев — это военный, и он тоже присутствовал на обеде у Ворошилова. Когда Сталин уезжал, он взял жену Гусева с собой. Я Гусеву никогда не видел, но Микоян говорил, что она очень красивая женщина. Когда Власик рассказывал эту историю, он так прокомментировал: «Черт его знает. Дурак неопытный этот дежурный: она спросила, а он так прямо и сказал ей».

Тогда еще ходили глухие сплетни, что Сталин сам убил ее. Были такие слухи, и я лично их слышал. Видимо, и Сталин об этом знал. Раз слухи ходили, то, конечно, чекисты записывали и докладывали. Потом люди говорили, что Сталин пришел в спальню, где и обнаружил мертвую Надежду Сергеевну; не один пришел, а с Ворошиловым. Так ли это было, трудно сказать. Почему это вдруг в спальню нужно ходить с Ворошиловым? А если человек хочет взять свидетеля, то, значит, он знал, что ее уже нет? Одним словом, эта сторона дела до сих пор темна.

Вообще-то я мало знал о семейной жизни Сталина. Судить об этом я могу только по обедам, где мы бывали, и по отдельным репликам. Случалось, Сталин, когда он был под хмельком, вспоминал иной раз: «Вот, я, бывало, запрусь в своей спальне, а она стучит и кричит; «Невозможный ты человек. Жить с тобой невозможно». Он рассказывал также, что когда маленькая Светлана сердилась, то повторяла слова матери: «Ты невозможный человек». И добавляла: «Я на тебя жаловаться буду». — «Кому же ты жаловаться будешь?» — «Повару». Повар был у нее самым большим авторитетом.

<...>

А Сталин нравился мне и в быту, если я встречался с ним у него на обедах. Иной раз при встрече в домашней обстановке я слышал, как он шутил. Шутки у него были для меня довольно необычными. Я обоготворял его личность и шуток поэтому от него не ждал, так что любая шутка мне казалась необычной: шутит «человек не от мира сего».

Я уже рассказывал, что он часто вспоминал факты моей работы в академии, а я смотрел и недоумевал: откуда он знает? Потом понял, откуда он знает некоторые эпизоды из моей жизни. Видимо, Надежда Сергеевна информировала его о жизни партийной организации Промышленной академии в то время, когда я там учился, а потом и возглавлял партийную организацию. По-видимому, она представляла меня в хорошем свете как политического деятеля. Поэтому Сталин и узнал меня через нее. А сначала я приписывал свое выдвижение на партийную работу в Москве Кагановичу, потому что Каганович меня очень хорошо знал по Украине, где мы с ним были знакомы буквально с первых же дней Февральской революции. Потом уж я сделал вывод, что, видимо, мое выдвижение было предпринято не Кагановичем, а, скорее всего, исходило от Сталина. Это, конечно, импонировало Кагановичу. Наверное, Надежда Сергеевна меня, грубо говоря, расхваливала Сталину.

Мне нравилась их семья. У Сталина я встречал старика Аллилуева и его жену, тоже пожилую женщину. Приглашались туда и Реденс со своей женой, старшей сестрой Надежды Сергеевны Анной Сергеевной, и ее брат. Он мне тоже очень нравился — молодой и красивый человек в командирском звании, не то артиллерист, не то из танковых войск... Это были такие непринужденные се-

мейные обеды, с шутками и прочим. Сталин на этих обедах был очень человечным, и мне это импонировало. Я еще больше проникался уважением к Сталину и как к политическому деятелю, равного которому не было в его окружении, и как к простому человеку. Но я тогда ошибался. Теперь я вижу, что не все понимал. Сталин действительно велик, я и сейчас это подтверждаю, и в своем окружении он был выше всех на много голов. Но он был еще и артист, и иезуит. Он способен был на игру, чтобы показать себя в определенном качестве.

<...>

Мои размышления о Сталине

<...>

Многие спрашивают о Сталине как о человеке: и о его привычках, и о его стиле руководства. В головах ряда граждан царит путаница в вопросе о Сталине, потому что о нем говорят и доброе, и дурное. Так было и так будет, вероятно, со многими историческими личностями. Тем более что и в самой жизни у Сталина переплелось и то и другое. Требуется разделение! И вот я хочу высказать свое мнение об общей роли Сталина во второй мировой войне и о значении его руководства страной в тот период, а также ответить на трудный вопрос, что произошло бы, если бы Сталина вовсе не было. Этот вопрос самый тяжелый, и не только потому, что случившееся не переделаешь, но и потому, что не найдется судьи, который определил бы на точных весах, кто прав и кто неправ. Мои выводы основываются на длительном и тесном общении со Сталиным и перед началом войны, и во время войны, и после нее. Я мог наблюдать, как менялись с течением времени поведение Сталина, его оценка различных событий и своих действий, своей роли в войне. Я видел и слышал, как он поступал, что говорил в период поражений и в период побед.

Некоторые люди реагируют в первую очередь на то обстоятельство, что Сталин сделал много злого для партии и для народа, уничтожил много честных людей, даже героических, преданных делу партии, активных участников строительства социализма. А некоторые люди утверждают, что хотя это верно, но все-таки в той большой войне мы одержали победу главным образом потому, что нами руководил именно Сталин, а если бы не Сталин, то неизвестно, смогли бы мы справиться с врагом и победить его. С последней точкой зрения я никак не могу согласиться, независимо даже от моего взгляда на Сталина, независимо от того, каков Сталин и какую он сыграл роль в организации отпора врагу, в разгроме гитлеровских полчищ. Независимо ни от чего не смогу согласиться с таким истолкованием событий потому, что это — рабская точка зрения.

<...>

И все же, какой была роль Сталина, положительной или нет? При всей субъективной направленности его действий она была положительной в том смысле, что он оставался марксистом в основных подходах к истории, был человеком, преданным марксистской идее, все делал, что было в его силах, для победы дела рабочего класса, в данном случае — для разгрома гитлеровских орд. Таково было его субъективное желание. Иной вопрос, как он для этого по-

ступал практически. Чем обернулись для страны его реальные поступки, я уже говорил. Тут и истребление командного состава, и истребление ядра большевистской партии. Уничтожены были прежде всего старые большевики ленинского поколения. Это ослабило или усилило нашу страну? Безусловно, ослабило.

После уничтожения того передового ядра людей, которое выковалось в царском подполье под руководством Ленина, развернулось далее повальное истребление руководящих партийных, советских, государственных, научных и военных кадров, а также миллионов рядовых людей, чей образ жизни и чьи мысли Сталину не нравились. Кто их истреблял? Сталин. Почему? Он считал, что это делается во имя идей партии, во имя нового общества. Он не доверял всем этим людям. Некоторые из них, конечно, перестали поддерживать его, когда увидели, куда он нас тащит. Сталин понял, что есть большая группа лиц, настроенных к нему оппозиционно.

Оппозиционные настроения — это еще не значит антисоветские, антимарксистские, антипартийные настроения. Нет, просто эти люди хотели замены Сталина в руководстве. Но этого хотел еще Ленин. Следовательно, это не антиленинцы, а люди, которые стояли на позициях Ленина, считая, что Сталин по своему характеру не может долее пребывать на прежнем посту и его следует заменить. Коммунисты, которые на XVII съезде партии проголосовали против Сталина, хотели выполнить именно то, что Ленин рекомендовал в своем завещании.

И Сталин уничтожил их. Почему? Потому что он себя считал незаменимым, тем единственным человеком, который действительно является марксистом и имеет право на руководство страной. Добавлялась также его неуемная жажда власти. Но это как раз и есть те черты характера, о которых говорил Ленин в предсмертном завещании: способность злоупотреблять самой властью. И Сталин злоупотребил властью во вред Советскому Союзу и коммунистам во всем мире. Он нанес удар по марксистско-ленинским кадрам не только внутри своей страны, но и по братским партиям, по Коминтерну, по всем, кого он подозревал, что они могут сочувствовать несогласным с ним. И они тотчас стали антимарксистами, контрреволюционерами и «врагами народа».

Он выдумал и продвинул в жизнь такое пугало, и оно сыграло свою роль. Враги народа! Вредители! Он запугал и запутал людей, которые беспредельно верили ему, верили, что он делает все на благо партии и народа. Конечно, трудно было разобраться. Ведь раньше действительно существовали и враги революции, и враги трудового народа, и вредители. Но это были не те люди, против которых он направил меч и тем самым ослабил страну, партию и армию, дав возможность врагу нанести огромный урон Советскому Союзу. Если бы Сталин так не поступил, то (я абсолютно убежден) наша армия имела бы достаточно сил и средств, чтобы разгромить врага еще на границе, коль скоро он осмелился бы напасть на нашу страну. О таком исходе усиленно шла болтовня во времена наркома Ворошилова и «ворошиловских стрелков»: «Ни пяди земли врагу! Ни шагу назад! Если война будет навязана, то она будет вестись на территории противника!» А что потом получилось, все знают.

Конечно, Сталин хотел победы. Но когда он увидел результаты своего «труда» по уничтожению кадров, увидел, что армия обескровлена и ослаблена, а люди, которые пришли к ее руководству, недостаточно опытны, недостаточно

подготовлены и не умеют командовать; и даже ранее того, когда он увидел, что наша армия получила достойный отпор от маленькой Финляндии, что ее замечательный, героический народ мужественно защищал свою страну и нанес нам большой урон; когда Сталин все это увидел, у него появился какой-то физический, животный страх перед Гитлером. И он все делал, чтобы ублажить Гитлера. Но у Гитлера имелись свои планы. Гитлер поставил целью жизни уничтожить большевизм. И поэтому умаслить его, уговорить отказаться от войны было невозможно. Тут воля Сталина была парализована волей врага.

Я часто вспоминаю рассказ Берии о поведении Сталина 22 июня 1941 года, когда ему доложили о начале войны. Сначала он не хотел в это поверить и цеплялся за надежду, что это провокация, приказывал даже не открывать огня, надеялся на чудо, пытался спрятаться за собственные иллюзии. Затем военные доказали ему, что прятаться поздно, и ему пришлось поверить, что действительно началась война с Германией. Ему стали докладывать о победоносном продвижении гитлеровских войск. Тут-то открыто проявилось то, что он скрывал от всех, его панический страх перед Гитлером. Сталин выглядел старым, пришибленным, растерянным. Членам Политбюро, собравшимся у него в кабинете, он сказал: «Все, чего добился Ленин и что он нам оставил, мы просрали. Все погибло». И, ничего не добавив, вышел из кабинета, уехал к себе на дачу, а потом некоторое время никого не принимал.

Берия рассказывал, что все остались в растерянности. Но потом решили наметить некоторые практические мероприятия. Ведь шла война, надо было действовать. Обсудив дела, они решили сами поехать к Сталину. Сейчас не помню, кто туда поехал кроме Берии, но он был не один. Сталин принял их, и они начали убеждать его, что еще не все потеряно, что у нас большая страна, мы можем собраться с силами и дать отпор врагу, убеждали его вернуться к руководству и возглавить оборону страны. Сталин согласился, вернулся в Кремль и опять приступил к работе, потом выступил по радио. Это было его знаменитое выступление 3 июля 1941 года. Но еще долгое время он не подписывал сам никаких директив. На всех верховных документах стояла подпись: «Ставка». А он начал подписываться как Верховный Главнокомандующий только тогда, когда наши войска стали оказывать серьезное сопротивление фашистам. Вот рассказ Берии о состоянии Сталина в начале войны.

Конечно, с таким настроением трудно было решительно предпринять что-либо, чтобы сдержать агрессивность Гитлера. Если бы Сталин умер к началу второй мировой войны, то есть в 1939 году, то и Великая Отечественная война могла пойти по другому руслу. Страна лучше подготовилась бы к ней. А так он все взял на себя и ошибся. Трудно даже приблизительно оценить то зло, которое он принес стране. Он подчистую уничтожал все, что, как он считал, ему сопротивлялось. Смотрел, бывало, на близкого человека и говорил ему: «Что это у вас глаза бегают?» Имелись случаи, когда после этого люди кончали свою жизнь. Все зависело от его настроения. Не существовало никакого суда, никакого следствия, никакого настоящего разбирательства. С людьми расправлялись подготовленные им опричники, которые бросались на любого, достаточно было Сталину шевельнуть в ту сторону мизинцем. И он так привык к этому, что после войны говорил, когда решил расправиться с Тито: «Пальцем пошевелю,

и не будет Тито». С Тито у него не вышло. Но внутри страны он загубил, уничтожил миллионы людей.

Так что, если все суммировать и подвести итоги, убежден: если бы Сталина не было, то война развивалась бы для нас удачнее. Ведь в истории много было войн. Наполеон тоже напал на Россию, подготовив огромную армию, и тоже напал вероломно. Не раз случались войны, начинавшиеся вероломным нападением. В 1812 году Александр I (нужно отдать ему должное), сам ли он пришел к разумному решению или ему посоветовали, оставил фронт и уехал в Петербург, назначив позднее командовать Кутузова. Кутузов был уже старик, который засыпал на заседаниях Военного совета. Но ему верил народ, и он знал общую верную линию. Народ все сделал для того, чтобы изгнать французов, и добился этого под руководством Кутузова. К счастью для страны и для Кутузова как главнокомандующего, тогда средства связи были слишком ограничены, и Александр 1, приехав в Петербург, был физически лишен возможности вмешиваться непосредственно в дела командования. Но в наше время Сталин, находясь в Москве, имел возможность напрямую вмешиваться во все, и подчас его вмешательство стоило многих жизней на фронте. А в конце концов мы под руководством Сталина одержали победу, но с чересчур большими жертвами, неимоверными потерями. Без Сталина враг явно был бы разгромлен с меньшими потерями.

<...>

Тут я еще раз повторяю, что нам неприемлема рабская психология: вот родился Сталин, и мы вручаем ему свою судьбу. Тогда получается, что если он умер и страна обезглавлена, то она лишилась какого-то корня, на котором все держалось. Это глупо! Был Маркс, и был Ленин, а он не ровня Сталину. То был действительно вождь, который предвидел все на много лет вперед. Он, вместе с Плехановым заложив основы партии, организовал борьбу рабочего класса в России. Да. так и получилось, как он гениально все предопределил. А жил он совсем мало, но успел провести страну через гражданскую войну, во время которой выросли герои. Это были люди энтузиазма, они жили идеями Ленина, сами порой не разбираясь глубоко в сути дела. Но они хотели победы народа и верили, что Ленин стоит за народ, против буржуев и помещиков. И народ под руководством Ленина одержал победу над врагами революции.

Потом Ленин определил дальнейшее развитие нашей страны, ее промышленности и культуры. К сожалению, он очень рано умер. Народ его оплакивал, но страна-то выжила и двигалась вперед. Мы перестроили хозяйство, образование, культуру, добились многого. Если бы Сталин не нанес вреда СССР, когда начал истреблять кадры, наше продвижение вперед было бы еще успешнее. Начало такой войне с народом было положено в 1934 году, когда был убит Киров. Он был убит, я в этом убеждён, по заданию Сталина, для того чтобы встряхнуть народ, запугать его: вот, дескать, враг протянул свои щупальцы и убил Кирова, теперь угрожает всему руководству страны и партии.

Народ поверил во «врагов» и поддерживал тирана, который по собственному выбору, как в стаде баранов, выбирал и резал людей, кого — открыто, а кто просто исчезал без следа. Разве это действия настоящего марксиста? Это поступки деспота или больного человека. Получилось, что во имя революции, во

имя народа он истреблял цвет народного руководства и партии, и даже сами народные массы. Подобным действиям не может быть оправдания. Произошло страшное дело, а сейчас некоторые доказывают, что только такой человек привел нас к победе, а если бы его не было, то мы могли бы погибнуть. Нет, нет и нет! Я не согласен, это рабское понимание вещей противоречит марксистско-ленинскому учению. И очень жаль, что некоторые наши крупные политические, научные и военные деятели впадают в такую ошибку.

С другой стороны, Сталин оставался в принципе (а не в конкретных поступках) марксистом. И, если исключить его болезненную подозрительность, жестокость и вероломство, оценивал ситуацию правильно и трезво. Он сам не раз в моем присутствии клеймил раболепство, говорил: «Философия противопоставления героических личностей толпе — это эсеровская философия. Люди, которые стоят на таких позициях, — не марксисты. А мы верим в массы, в народ, который сам всегда выделяет в нужное время своих вождей». Только слова у него расходились с делами. Поэтому, говоря о ходе истории, надо придерживаться фактов, сопоставлять их, ничего не замалчивая, и тогда роль каждой личности на том или ином этапе будет ясна. Я хочу придерживаться именно этого принципа, хотя подчас это трудно, потому что восприятие событий каждым человеком поневоле субъективно.

Когда умер Сталин и мы остались без него, мы вначале оплакивали свое положение, находясь в состоянии психологического шока. Не все знали, что нам делать, как у нас все пойдет без Сталина. Зато ликовал Берия. Большинство в составе руководства оценивало его как зловещую фигуру. Все знали о его скверном влиянии на Сталина. И все же не Берия выдумал Сталина, а Сталин выдумал Берию. До Берии был в НКВД Ягода. Из него Сталин сделал преступника, руками его людей убив Кирова. После Ягоды был Ежов, Сталин сделал и из него убийцу. После Ежова пришел Берия и потом вместе с ним Абакумов, человек нисколько не лучше Берии, только глупее. Берия же был из них всех наиболее опасен, потому что он был умен и обладал большими способностями организатора. Однако тут я заговорил уже о послевоенных делах.

Возвращаясь к предвоенному времени, вновь напомню, что мы начали войну при недостатке вооружения и с неотмобилизованной, не полностью подготовленной армией, хотя именно Сталин лучше всех знал, что война неизбежна. Но он был парализован Гитлером, как кролик — удавом, боялся всякого внешне заметного решительного шага по укреплению границы, считая, что Гитлер может это расценить как нашу подготовку к нападению на него. Он так и сказал нам, когда мы с Кирпоносом предложили мобилизовать колхозников для рытья вдоль границы противотанковых рвов и прочих укреплений. Сталин заявил, что это будет провокацией, это делать нельзя. Значит, хотя Сталин был убежден, что Гитлер нападет на нас, он понадеялся, что ему, может быть, удастся отвести удар от страны. Чем это кончилось, всем известно. И удар не отвел, и страну подставил.

Точка зрения, что только личность Сталина вывела страну из кризиса, созданного войной, и что армия победила в результате гениального руководства Сталина, полностью несостоятельна.

<...>

С чего же все началось? Почему Сталин вообще встал на этот путь? Ведь в первые годы после смерти Ленина Сталин пользовался в своей борьбе еще партийными методами. Да, шла борьба, существовала оппозиция, проводились дискуссии, велись диспуты. Они проходили жестко, но укладывались в нормы партийной жизни. Членам партии давалась возможность разобраться в разных точках зрения, выслушать ту и другую сторону, того или другого вождя, и каждый член партии мог определить свое отношение к ним. В этих спорах побеждал Сталин, и партия его поддерживала. Конечно, люди, которые терпели поражение, озлоблялись и были недовольны Сталиным.

И вот мы дожили до созыва XVII партийного съезда. Я помню его. Я участвовал во всех партийных конференциях и партийных съездах, начиная с XIV партконференции (за исключением XVI съезда, на котором я не присутствовал как делегат, ибо учился в Промышленной академии, но присутствовал на его заседаниях). Перед XVII съездом развернулась дискуссия, в ходе которой, как всегда, внутри партии обсуждались тезисы отчетного доклада, чтобы подготовить членов партии к правильному пониманию решений, которые должны быть приняты на съезде. Тот съезд был особым съездом в том смысле, что к 1934 году уже не было никаких оппозиционных течений в партии. Вопросы индустриализации и коллективизации сельского хозяйства уже были не темой дискуссии, а основой практической деятельности партии и народа. Поэтому сам съезд протекал очень хорошо.

Когда выдвигались кандидаты в члены ЦК, моя кандидатура тоже была предложена. Я переживал особое чувство, когда шло голосование, и я тоже наряду с другими получил бюллетень выборщика. Помню, как Каганович сказал мне, что следует проголосовать против некоторых кандидатов, выставленных в состав ЦК. Он объяснил это тем, что какие-то делегаты могут проголосовать против Сталина, поэтому надо, чтобы не получилось, будто другие люди соберут больше голосов, чем Сталин. Чтобы всех в какой-то степени уравнять, надо проголосовать и против них. Мне трудно сказать, поручил ли Сталин такое Кагановичу, или же Каганович действовал по собственному разумению.

Когда я получше узнал Кагановича, то потом думал, что тот мог сделать это и из собственных интересов: если другие не получат больше голосов, чем Сталин, это во всех отношениях полезно Кагановичу, так как они не получат больше голосов, чем сам Каганович. Были розданы бюллетени, все разошлись по уголкам зала, просматривали списки и вычеркивали кого хотели. Но некоторые шли прямо к урнам для голосования и сразу опускали бюллетени. Я видел, Сталин демонстративно подошел к урне и с ходу опустил туда бюллетень. Он на него даже не посмотрел. Удивительного тут ничего нет, потому что списки еще раньше были не только просмотрены Сталиным, но и одобрены им. Зачем ему тратить время и еще раз просматривать их? Ведь имелись люди, которые следили за тем, чтобы, кроме намеченных, никто не попал в списки.

Кончился перерыв. Счетная комиссия завершила свое дело. Собралось заседание, чтобы заслушать ее отчет о результатах выборов. Это была торжественная и напряженная минута. Я даже не знаю, чего там было больше: торжественности или волнения, особенно для тех, кто был выдвинут в состав руководящих органов. Может быть, я передаю лишь собственное настроение, но думаю,

что другие тоже волновались. Председатель счетной комиссии попросил убрать карандаши и блокноты и ничего не записывать, а только слушать. Он объявил, что на съезде присутствует столько-то делегатов и что столько-то из них приняло участие в голосовании. После этого начал перечислять по алфавиту, кто и сколько получил голосов «за». Дошли до Сталина. Я прикинул: он недополучил шесть голосов. Подошла очередь моей фамилии. Объявили. Вышло, что я тоже недополучил шесть голосов. То есть шесть делегатов вычеркнули мою фамилию. Я шутил сам с собой: тебе дали шесть и Сталину — тоже шесть червяков (как говорили тогда).

Я впервые выдвигался в состав ЦК. По возрасту и по партийному положению я даже не претендовал на это. Такое выдвижение казалось мне слишком высоким. И я был очень доволен, что избран в состав ЦК, а шесть контрголосов меня нисколько не беспокоили, тем более на фоне того, что Сталин тоже получил шесть «против». Я возмущался лишь тем, что кто-то голосовал против Сталина. Вот как проходили те выборы. А почему я подробно на них остановился, станет яснее из дальнейшего.

Кончился съезд. Все разъехались по местам и принялись за работу. Работали мы тогда с огромным энтузиазмом. Каждый (я сужу по себе) жил не личной жизнью, а жизнью партии, интересами народа. На деньги мы не обращали внимания. Мы смотрели на это так: лишь бы не подохнуть с голоду. Все остальное было подчинено интересам дела, а себе мы отказывали в самом необходимом. Сейчас это для некоторых бюрократов, наверное, звучит странно. Но это правда. Когда до революции я работал слесарем и зарабатывал свои 40—45 рублей в месяц, то был материально лучше обеспечен, чем когда работал секретарем Московского областного и городского комитетов партии. Я не жалуюсь, а просто иллюстрирую, как мы тогда жили. Мы жили для дела революции, ради будущего коммунизма, все и вся было у нас подчинено этому. Нам было трудно. Но мы помнили, что первыми в мире строим социализм и поэтому должны затянуть ремешки потуже, с тем чтобы выделить больше средств на индустриализацию страны. Иначе главная идея революции погибнет и враги нас задушат. Какое же это было прекрасное время! Никакие материальные трудности не шли ни в какое сравнение с великой идеей, которой мы честно служили!

<...>

... в начале декабря 1934 года, ...раздался телефонный звонок и я услышал голос Кагановича: «Немедленно приезжайте в Кремль и заходите в приемную Сталина». Там мне сообщили, что убит Киров. Его убийцами были названы троцкисты, завербованные иностранной разведкой. Нам было ясно, что Кирова убили враги революции, враги Советского Союза. Поэтому прозвучавший из уст Сталина призыв к бдительности был для нас естественным.

Новые репрессии развернулись спустя несколько лет. Сталин всех людей, с ним не согласных, назвал «врагами народа», которые-де хотели вернуть старые порядки, в чем «враги народа» сомкнулись с международной реакцией. После чего погибли несколько сот тысяч честных людей. Тогда каждый жил в страхе. Каждый ожидал, что вот-вот к нему постучат ночью, и этот стук окажется роковым! Не случайно Гамарник, когда к нему постучались ночью, заст-

релился. Потом его самоубийство послужило для Сталина основанием утверждать, что это был неразоблаченный враг, который понял, что до него добрались, и, не желая отдаться в руки правосудия, застрелился. А если бы он отдался? Его бы все равно пристрелили. Гамарник был умный человек, понимал, что его ждет. Его реабилитировали после XX съезда партии, как и многих других.

Но перед тем, как на XX съезде был поставлен вопрос о реабилитации невинных и о культе личности Сталина, в Президиуме ЦК прошла большая борьба. Категорически против постановки такого вопроса были Молотов, Ворошилов и Каганович. Это меня не удивляло, потому что эти люди, особенно Молотов и Ворошилов, вместе со Сталиным отвечали за все беззакония. Я убежден, что Сталин советовался с ними, и они вместе принимали решения. Безусловно, не по всем кандидатурам, обреченным на уничтожение, у них имелось единое мнение. Но они были едины в направленности самого мероприятия — варварского уничтожения членов партии. Они же были авторами лозунгов о пресловутой борьбе с «врагами народа».

Когда мы создали комиссию, которая стала подробно изучать документы, связанные с репрессиями, обнаружилась среди прочих записка Ежова Молотову. В ней перечислялись фамилии жен ряда врагов народа, предлагалось выслать их из Москвы. Молотов наложил резолюцию: «Расстрелять». И они были расстреляны. Это же ужасная вещь: даже НКВД пишет, что их надо только выслать; следовательно, за ними нет никакого преступления. Этот документ, как и ряд иных, подтверждал, что Молотов наравне со Сталиным полностью отвечал за произвол, за допущенные убийства. Так уничтожались неугодные Сталину люди, честные члены партии, безупречные труженики, прошедшие школу революционной борьбы под руководством Ленина. И это все надо теперь простить и забыть? Никогда!

Еще раз о Берии

Раньше я уже неоднократно говорил о Берии, но преимущественно в связи с какими-то не полностью касавшимися его событиями или в связи с другими людьми. А сейчас хочу рассказать специально о Берии, его роли и влиянии на жизнь советского общества. В процессе нашего знакомства и частых встреч с ним постепенно выявлялась и становилась для меня более понятной и его политическая физиономия. В первое время нашего знакомства он производил на меня очень хорошее впечатление. Мы с ним на Пленумах ЦК всегда сидели рядом, обменивались мнениями, иной раз шутили, как бывает между людьми, которые имеют хорошие отношения.

А потом началось! Но тоже не сразу. Когда Сталин высказал мысль, что надо заменить наркома внутренних дел Ягоду, поскольку тот не справляется, он назвал взамен Ежова. Ежов был начальником по линии кадров в ЦК партии. Я его хорошо знал. С 1929 года, когда я поступил учиться в Промышленную академию, и особенно после того, как меня избрали там секретарем партийной организации, Ежов стал в какой-то степени моим руководителем, потому что Промышленная академия находилась в ведомстве Отдела кадров ЦК и подчинялась напрямую ЦК через Ежова. Ему я как парторг и докладывал о положе-

нии дел в Промышленной академии. Если проходили мобилизации слушателей академии для посылки на места, сбора материалов или проведения какой-нибудь политической кампании, то это делалось ЦК тоже напрямую через меня, и никто (имеются в виду ведомство по делам высшей школы или Московский партийный комитет) не обладал правом распоряжаться у нас, брать людей для проведения той или иной политической кампании и прочее. Все делалось только с разрешения ЦК. Так создались условия, когда я более или менее часто стал встречаться с Ежовым. Он производил на меня хорошее впечатление, был внимательным человеком. Я знал, что Ежов — питерский рабочий и с 1917 года являлся членом партии. Это считалось высокой маркой — питерский рабочий!

Когда Ежов был выдвинут в НКВД, я еще не знал глубоких мотивов этой акции и внутренней аргументации Сталина. Я-то лично неплохо относился к Ягоде и не видел, не чувствовал прежде какой-то антипартийности в его действиях. Но был назначен Ежов, и репрессии еще больше усилились. Началось буквальное избиение и военных, и гражданских, и партийных, и хозяйственных работников. Наркомат тяжелой промышленности возглавлял Орджоникидзе, Наркомат путей сообщения — Каганович. Там тоже шли повальные аресты людей. Между прочим, Ежов был в дружеских отношениях с Маленковым и вместе с ним работал. Так что последний не стоял в стороне от «ежовщины».

<...>

В 1938 году Сталин поднял вопрос, что надо было бы «подкрепить» Ежова, дав ему первого заместителя, и спросил его об этом. Тот ответил: «Было бы хорошо». — «Кого вы думаете?» — «Я бы просил дать мне первым заместителем Маленкова». Такой разговор возникал несколько раз, но вопрос не решался. Наконец Сталин сказал Ежову: «Нет, Маленкова вам не стоит брать, потому что он сейчас заведует кадрами ЦК и тут нужнее». Когда Маленков возглавил кадры ЦК, Ежов сохранил шефство над ним. Таким образом, кадры оставались в то время фактически под контролем Ежова. Это было время, когда партия начинала утрачивать прежнее лицо и стала подчиняться Наркомату внутренних дел.

<...>

Органы НКВД имели решающее слово при любых выдвижениях или передвижках партийных, государственных и хозяйственных кадров, и они всегда согласовывались с НКВД. Конечно, это позорнейшее явление, утрата руководящей роли партии! Что до Ежова, то Сталин в конце концов предложил назначить к нему первым заместителем Берию. К той поре на демонстрации обычно все выходили с плакатами, где была нарисована колючая рукавица. Такой обычай сложился после того, как Сталин сказал: «Ежов — это ежовая рукавица, это ежевика», — и хорошо отозвался о деятельности Ежова. Но в том, что Сталин назвал Берию, проявился тот факт, что намечалась уже замена Ежова. Ежов-то все правильно понял. Понял, что приходит конец его деятельности и его звезда закатывается. А может быть, он, сам действовавший в той же манере, почувствовал, что кончается и его существование? Однако он сказал: «Конечно, товарищ Берия достойный человек, тут нет вопроса. Он может быть не только заместителем, но и наркомом». Сталин возразил: «Наркомом, я считаю,

он не может быть, а заместителем у вас будет хорошим». И тут же Берию утвердили заместителем Ежова.

Так как у меня были хорошие отношения с Берией, я подошел к нему после заседания и полусерьезно-полушутя поздравил его. Он ответил: «Я не принимаю твоих поздравлений». — «Почему?» — «Ты же не согласился, когда шел вопрос о тебе и тебя прочили заместителем к Молотову. Так почему же я должен радоваться, что меня назначили заместителем к Ежову? Мне лучше было бы остаться в Грузии». Не знаю, насколько искренне он это говорил. А когда Берия перешел в НКВД, то первое время он не раз адресовался ко мне: «Что такое? Арестовываем всех людей подряд, уже многих видных деятелей пересажали, скоро сажать будет некого, надо кончать с этим».

Появилось решение о «перегибах». Оно приписывалось влиянию Берии. В народе считали, что Берия пришел в НКВД, разобрался, доложил Сталину и Сталин послушал его.

<...>

К тому времени Сталин уже неоднократно высказывал недовольство деятельностью Ежова, перестал ему доверять и хотел спихнуть на него все беззакония. Позднее Ежов был арестован. И все его заместители тоже. Вообще любых людей, которые были с ним связаны, арестовали. Тогда же туча нависла и над Маленковым, который был большим приятелем Ежова. Сталин знал об этом. Да и я тоже, потому что дружил с Маленковым в течение многих лет. Мы работали вместе еще в Московском комитете партии. О наметившихся подозрениях в адрес Маленкова я для себя лично сделал вывод после такого случая. Когда я однажды приехал в Москву с Украины, Берия пригласил меня к себе на дачу: «Поедем, я один, никого нет. Погуляем, ты у меня заночуешь». — «Мне все равно, я тоже один». Поехали, погуляли в парке. И тут он говорит мне: «Слушай, ты ничего не думал о Маленкове?» — «А что я должен думать?» — «Ну, Ежова ведь арестовали». — «Верно, они дружили, — говорю. — Но и ты тоже с ним дружил, и я тоже. Думаю, что Маленков — честный, безупречный человек». — «Нет, нет, послушай, ты все-таки еще подумай, ты и сейчас близок с Маленковым, подумай!» Ну, подумал я, но вывода никакого особого не сделал и продолжал с ним дружить. Когда приезжал в Москву, то в выходной день всегда бывал у Маленкова на даче. От себя полагаю, что это Сталин сказал, чтобы Берия предупредил меня о Маленкове. Позднее Маленков сблизился и подружился с Вознесенским, а потом стал неразлучным другом с Берией.

После ареста Ежова Берия быстро набрал силу. Он занялся прежде всего перестановкой кадров.

<...>

Берия повсюду рассылал свои кадры. К той поре сложилась такая ситуация, что все кадры при выдвижении их на партийную, советскую, хозяйственную или военную работу проходили через «чистилище» в НКВД. Последний становился главным органом страны. А любые ведущие кадры вообще выдвигались только с предварительного согласия Берии. Постепенно мы с Берией все чаще встречались у Сталина, и я начинал лучше узнавать его. Я тогда относил-

ся к Берии хорошо и только позднее был поражен его двуличием. Вот лишь один из примеров. Он мог (а я поражался, как это допустимо?) у Сталина за обедом поставить какой-то вопрос; и, если Сталин отвергал его, он сейчас же смотрел на кого-нибудь из присутствовавших и говорил: «Я же говорил тебе, что этот вопрос не надо выдвигать». Я просто глаза и рот раскрывал: как это можно ляпать такое при Сталине? Ведь Сталин хотя и молчит, но видит и слышит, что Берия только что сам поставил этот вопрос. И ничего! Такое вот вероломство. По мере того как Берия «укреплялся», его наглость и низость тоже проявлялись все отчетливее.

<...>

В те годы, несмотря на то, что я давно сомневался в справедливости обвинений в адрес многих «врагов народа», в целом у меня не возникало недоверия к Сталину. Я считал, что имели место перегибы, однако в основном все было сделано правильно. Я даже возвеличивал Сталина за то, что он не побоялся осложнений, провел чистку и тем самым объединил, сплотил честных людей. Тем не менее к рубежу 50-х годов у меня уже сложилось мнение, что, когда умрет Сталин, нужно сделать все, чтобы не допустить Берию занять ведущее положение в партии. Иначе — конец партии! Я считал, что могла произойти утрата всех завоеваний революции, так как Берия повернет развитие с социалистического на капиталистический путь. Такое у меня сложилось мнение.

<...>

Смерть Сталина

В феврале 1953 года Сталин внезапно заболел. Как это случилось? Мы все были у него в субботу. А происходило это после XIX съезда партии, когда Сталин уже «подвесил» судьбу Микояна и Молотова. На первом же Пленуме после съезда он предложил создать вместо Политбюро Президиум ЦК партии в составе 25 человек и назвал поименно многих новых людей. Я и другие прежние члены Политбюро были удивлены, как и кем составлялся этот список? Ведь Сталин не знал этих людей, кто же ему помогал? Я и сейчас толком не знаю. Спрашивал Маленкова, он ответил, что сам не знает. По своему положению Маленков должен был принимать участие в формировании Президиума, подборе людей и составлении списка, но не был к тому допущен. Может быть, это сделал сам Сталин? Сейчас я по некоторым признакам предполагаю, что он при подборе новых кадров воспользовался помощью Кагановича. Внутри Президиума действовало более узкое Бюро. Президиум фактически и не собирался, все вопросы решало Бюро. Это Сталин выдумал такую, совершенно неуставную форму: никакое Бюро не было предусмотрено в Уставе партии.

Для чего Сталин создал Бюро Президиума? Ему было, видимо, неудобно сразу вышибать Молотова и Микояна, и он сделал расширенный Президиум, а потом выбрал Бюро узкого характера. Как он сказал, для оперативного руководства. И туда ни Молотова, ни Микояна не ввел, то есть «подвесил» их. Я убежден, что если бы Сталин прожил еще какое-то время, то катастрофой кончилась бы жизнь и Молотова, и Микояна. Вообще же сразу после

XIX съезда партии Сталин повел политику изоляции Молотова и Микояна, не приглашал их никуда — ни на дачу, ни на квартиру, ни в кино, куда мы прежде ходили вместе.

Но Ворошилов был избран в Бюро Президиума. Характерно для Сталина, что как-то, когда мы сидели у него за затянувшейся трапезой, он вдруг говорит: «Как пролез Ворошилов в Бюро?» Мы не смотрим на него, опустили глаза. Во-первых, что за выражение «пролез»? Как это он может «пролезть»? Потом мы сказали: «Вы сами его назвали, и он был избран». Больше Сталин эту тему не развивал. Однако его заявление понятно, потому что Ворошилова еще до XIX съезда он не привлекал к работе как члена Политбюро: никакого участия тот в заседаниях не принимал, документов не получал. Сталин же говорил нам в узком кругу, что подозревает Ворошилова как английского агента. Невероятные, конечно, глупости. А Молотова он как-то «заподозрил» в моем присутствии. Я находился на даче у Сталина, кажется в Новом Афоне. И вдруг ему взбрело в голову, что Молотов является агентом американского империализма, продался американцам, потому что в 1945 году ездил через США, по делам ООН в железнодорожном салон-вагоне. Значит, имеет свой вагон, продался! Мы разъясняли, что у Молотова никаких своих вагонов не могло быть, там все принадлежит частной железнодорожной компании. Вот какие затмения находили уже на Сталина в последние месяцы его жизни.

И вот как-то в субботу от него позвонили, чтобы мы пришли в Кремль. Он пригласил туда персонально меня, Маленкова, Берию и Булганина. Приехали. Он говорит: «Давайте посмотрим кино». Посмотрели. Потом говорит снова: «Поедемте, покушаем на ближней даче». Поехали, поужинали. Ужин затянулся. Сталин называл такой вечерний, очень поздний ужин обедом. Мы кончили его, наверное, в пять или шесть утра. Обычное время, когда кончались его «обеды». Сталин был навеселе, в очень хорошем расположении духа. Ничто не свидетельствовало, что может случиться какая-то неожиданность. Распрощались мы и разъехались.

Когда выходили в вестибюль, Сталин, как обычно, пошел проводить нас. Он много шутил, замахнулся, вроде бы пальцем, и ткнул меня в живот, назвав Микитой. Когда он бывал в хорошем расположении духа, то всегда называл меня по-украински Микитой. Мы тоже уехали в хорошем настроении, потому что ничего плохого за обедом не случилось, а не всегда обеды кончались в таком добром тоне. Разъехались по домам. Я ожидал, что, поскольку завтра выходной день, Сталин обязательно нас вызовет, поэтому целый день не обедал, думал, может быть, он позовет пораньше? Потом все же поел. Нет и нет звонка! Я не верил, что выходной день может быть пожертвован им в нашу пользу, такого почти не происходило. Но нет! Уже было поздно, я разделся, лег в постель.

Вдруг звонит мне Маленков: «Сейчас позвонили от Сталина ребята (он назвал фамилии), чекисты, и они тревожно сообщили, что будто бы что-то произошло со Сталиным. Надо будет срочно выехать туда. Я звоню тебе и известил Берию и Булганина. Отправляйся прямо туда». Я сейчас же вызвал машину. Она была у меня на даче. Быстро оделся, приехал, все это заняло минут 15. Мы условились, что войдем не к Сталину, а к дежурным. Зашли туда, спросили: «В чем дело?» Они: «Обычно товарищ Сталин в такое время, часов в 11 вечера, обя-

зательно звонит, вызывает и просит чаю. Иной раз он и кушает. Сейчас этого не было». Послали мы на разведку Матрену Петровну, подавальщицу, немолодую женщину, много лет проработавшую у Сталина, ограниченную, но честную и преданную ему женщину.

Чекисты сказали нам, что они уже посылали ее посмотреть, что там такое. Она сказала, что товарищ Сталин лежит на полу, спит, а под ним подмочено. Чекисты подняли его, положили на кушетку в малой столовой. Там были малая столовая и большая. Сталин лежал на полу в большой столовой. Следовательно, поднялся с постели, вышел в столовую, там упал и подмочился. Когда нам сказали, что произошел такой случай и теперь он как будто спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться у него и фиксировать свое присутствие, раз он находится в столь неблаговидном положении. Мы разъехались по домам.

Прошло небольшое время, опять слышу звонок. Вновь Маленков: «Опять звонили ребята от товарища Сталина. Говорят, что все-таки что-то с ним не так. Хотя Матрена Петровна и сказала, что он спокойно спит, но это необычный сон. Надо еще раз съездить». Мы условились, что Маленков позвонит всем другим членам Бюро, включая Ворошилова и Кагановича, которые отсутствовали на обеде и в первый раз на дачу не приезжали. Условились также, что вызовем и врачей. Опять приехали мы в дежурку. Прибыли Каганович, Ворошилов, врачи. Из врачей помню известного кардиолога профессора Лукомского. А с ним появился еще кто-то из медиков, но кто, сейчас не помню. Зашли мы в комнату. Сталин лежал на кушетке. Мы сказали врачам, чтобы они приступили к своему делу и обследовали, в каком состоянии находится товарищ Сталин. Первым подошел Лукомский, очень осторожно, и я его понимал. Он прикасался к руке Сталина, как к горячему железу, подергиваясь даже. Берия же грубовато сказал: «Вы врач, так берите как следует».

Лукомский заявил, что правая рука у Сталина не действует. Парализована также левая нога, и он не в состоянии говорить. Состояние тяжелое. Тут ему сразу разрезали костюм, переодели и перенесли в большую столовую, положили на кушетку, где он спал и где побольше воздуха. Тогда же решили установить рядом с ним дежурство врачей. Мы, члены Бюро Президиума, тоже установили свое постоянное дежурство. Распределились так: Берия и Маленков вдвоем дежурят, Каганович и Ворошилов, я и Булганин. Главными «определяющими» были Маленков и Берия. Они взяли для себя дневное время, нам с Булганиным выпало ночное. Я очень волновался и, признаюсь, жалел, что можем потерять Сталина, который оставался в крайне тяжелом положении. Врачи сказали, что при таком заболевании почти никто не возвращался к труду. Человек мог еще жить, но что он останется трудоспособным, маловероятно: чаще всего такие заболевания непродолжительны, а кончаются катастрофой.

Мы видели, что Сталин лежит без сознания: не сознает, в каком он состоянии. Стали кормить его с ложечки, давали бульон и сладкий чай. Распоряжались там врачи. Они откачивали у него мочу, он же оставался без движения. Я заметил, что при откачке он старался как бы прикрыться, чувствуя неловкость. Значит, что-то сознает. Днем (не помню, на какой именно день его заболевания) Сталин пришел в сознание. Это было видно по выражению его лица. Но говорить он не мог, а поднял левую руку и начал показывать не то на потолок,

не то на стену. У него на губах появилось что-то вроде улыбки. Потом стал жать нам руки. Я ему подал свою, и он пожал ее левой рукой, правая не действовала. Пожатием руки он передавал свои чувства. Тогда я сказал: «Знаете, почему он показывает нам рукой? На стене висит картина, вырезанная из «Огонька» репродукция с картины какого-то художника. Там девочка кормит из рожка ягненка. А мы поим товарища Сталина с ложечки, и он, видимо показывая нам пальцем на картину, улыбается: мол, посмотрите, я в таком же состоянии, как этот ягненок».

Как только Сталин свалился, Берия в открытую стал пылать злобой против него. И ругал его, и издевался над ним. Просто невозможно было его слушать! Интересно, впрочем, что как только Сталин пришел в чувство и дал понять, что может выздороветь, Берия бросился к нему, встал на колени, схватил его руку и начал ее целовать. Когда же Сталин опять потерял сознание и закрыл глаза, Берия поднялся на ноги и плюнул на пол. Вот истинный Берия! Коварный даже в отношении Сталина, которого он вроде бы возносил и боготворил.

Наступило наше дежурство с Булганиным. Мы и днем с ним приезжали к Сталину, когда появлялись профессора, и ночью дежурили. Я с Булганиным тогда был больше откровенен, чем с другими, доверял ему самые сокровенные мысли и сказал: «Николай Александрович, видимо, сейчас мы находимся в таком положении, что Сталин вскоре умрет. Он явно не выживет. Да и врачи говорят, что не выживет. Ты знаешь, какой пост наметил себе Берия?» — «Какой?» — «Он возьмет пост министра госбезопасности (в ту пору Министерства государственной безопасности и внутренних дел был разделены). Нам никак нельзя допустить это. Если Берия получит госбезопасность — это будет начало нашего конца. Он возьмет этот пост для того, чтобы уничтожить всех нас. И он это сделает!»

Булганин сказал, что согласен со мной. И мы стали обсуждать, как будем действовать. Я ему: «Поговорю с Маленковым. Думаю, что Маленков такого же мнения, он ведь должен все понимать. Надо что-то сделать, иначе для партии будет катастрофа». Этот вопрос касался не только нас, а всей страны, хотя и нам, конечно, не хотелось попасть под нож Берии. Получится возврат к 1937—1938 годам, а может быть даже похуже. У меня имелись сомнения: я не считал Берию коммунистом и полагал, что он просто пролез в партию. У меня маячили в сознании слова Каминского, что он был чужим агентом, что это волк в овечьей шкуре, влезший в доверие к Сталину и занявший высокое положение. Сам Сталин тяготился им. Мне казалось, что были дни, когда Сталин боялся Берии.

На подобные мысли наталкивал меня и такой инцидент, хочу о нем рассказать. Как-то сидели мы у Сталина. Вдруг он смотрит на Берию и говорит: «Почему сейчас у меня окружение целиком грузинское? Откуда оно взялось?» Берия: «Это верные Вам, преданные люди». — «Но отчего это грузины верны и преданны? А русские, что, не преданны и не верны, что ли? Убрать!» И моментально как рукой сняло этих людей. Берия был способен через своих людей сделать со Сталиным то, что проделывал с другими людьми по поручению того же Сталина: уничтожать, травить и прочее. Поэтому Сталин, видимо (если рассуждать за него), считал, что Берия способен сделать то же самое и с ним. Значит, надо убрать окружение, через которое Берия имеет доступ и в покои, и к кухне.

Но Сталин не понимал по старости, что тогдашний нарком госбезопасности Абакумов докладывает ему обо всем уже после того, как доложит Берии и получит указания, как сообщить Сталину. Сталин думал, что он выдвинул свежего человека и тот делает только то, что велит Сталин. В ту же сторону раскрутилось «мингрельское дело». Сталин продиктовал тогда решение (и оно было опубликовано), что мингрелы связаны с турками, что среди них есть лица, которые ориентируются на Турцию. Конечно, чепуха! Я считаю, что тут имела место акция, направленная Сталиным против Берии, потому что Берия — мингрел. Таким образом, он готовил удар против Берии. Тогда много было произведено арестов, но Берия ловко вывернулся: влез в это дело как «нож Сталина» и сам начал расправу с мингрелами. Бедные люди. Тащили их тогда на плаху, как баранов.

Существовали и другие факты, которые свидетельствовали о вероломстве Берии, о недоверии Сталина к Берии. Итак, поговорили мы обо всем с Булганиным, кончилось наше дежурство, и я уехал домой. Хотел поспать, потому что долго не спал на дежурстве. Принял снотворное, лег. Только лег, но еще не уснул, услышал звонок. Маленков: «Срочно приезжай, у Сталина произошло ухудшение. Выезжай срочно!» Я сейчас же вызвал машину. Действительно, Сталин был в очень плохом состоянии. Приехали и другие. Все видели, что Сталин умирает. Медики сказали нам, что началась агония. Он перестал дышать. Стали делать ему искусственное дыхание. Появился какой-то огромный мужчина, начал его тискать, совершать манипуляции, чтобы вернуть дыхание. Мне, признаться, было очень жалко Сталина, так тот его терзал. И я сказал: «Послушайте, бросьте это, пожалуйста. Умер же человек. Чего вы хотите? К жизни его не вернуть». Он был мертв, но ведь больно смотреть, как его треплют. Ненужные манипуляции прекратили.

Как только Сталин умер, Берия тотчас сел в свою машину и умчался в Москву с «ближней дачи». Мы решили вызвать туда всех членов Бюро или, если получится, всех членов Президиума ЦК партии. Точно не помню. Пока они ехали, Маленков расхаживал по комнате, волновался. Я решил поговорить с ним: «Егор, — говорю, — мне надо с тобой побеседовать». — «О чем?» — холодно спросил он. «Сталин умер. Как мы дальше будем жить?» — «А что сейчас говорить? Съедутся все, и будем говорить. Для этого и собираемся». Казалось бы, демократический ответ. Но я-то понял по-другому, понял так, что давно уже все вопросы оговорены им с Берией, все давно обсуждено. «Ну, ладно, — отвечаю, — поговорим потом».

Вот собрались все. Тоже увидели, что Сталин умер. Приехала и Светлана. Я ее встретил. Когда встречал, сильно разволновался, заплакал, не смог сдержаться. Мне было искренне жаль Сталина, его детей, я душой оплакивал его смерть, волновался за будущее партии, всей страны. Чувствовал, что сейчас Берия начнет заправлять всем. Последует начало конца, подготовленного этим мясником, этим убийцей. И вот пошло распределение «портфелей». Берия предложил назначить Маленкова Председателем Совета Министров СССР с освобождением его от обязанностей секретаря ЦК партии. Маленков предложил утвердить своим первым заместителем Берию и слить два министерства, госбезопасности и внутренних дел, в одно Министерство внутренних дел, а Берию назначить министром. Я молчал. Молчал и Булганин. Тут я волновался, как бы Бул-

ганин не выскочил не вовремя, потому что было бы неправильно выдать себя заранее. Ведь я видел настроение остальных. Если бы мы с Булганиным сказали, что мы против, нас бы обвинили большинством голосов, что мы склочники, дезорганизаторы, еще при неостывшем трупе начинаем в партии драку за посты. Да, все шло в том самом направлении, как я и предполагал.

Молотова тоже назначили первым замом Предсовмина. Кагановича — замом. Ворошилова предложили избрать Председателем Президиума Верховного Совета СССР, освободив от этой должности Шверника. Очень неуважительно выразился в адрес Шверника Берия: сказал, что его вообще никто в стране не знает. Я видел, что тут налицо детали плана Берии, который хочет сделать Ворошилова человеком, оформляющим в указах то, что станет делать Берия, когда начнет работать его мясорубка. Меня Берия предложил освободить от обязанностей секретаря Московского комитета партии, с тем чтобы я сосредоточил свою деятельность на работе в ЦК партии. Провели мы и другие назначения. Приняли порядок похорон и порядок извещения народа о смерти Сталина. Так мы, его наследники, приступили к самостоятельной деятельности по управлению СССР.

Источник: Хрущев Н.С. Воспоминания: Избранные фрагменты. М.: Вагриус, 1997.

Фишер
Луис

Писатель, публицист.

Пробыл в России 14 лет, с 1922 года. Наиболее известным трудом является монография «Жизнь Ленина», ходившая в Самиздате с начала 70-х годов.

ЖИЗНЬ ЛЕНИНА

<...>

Роковой день

Порожденный изнурительной войной, большевизм унаследовал ряд слабостей. Вся ленинская эра была эрой национальной слабости. По сути дела, Россия снова стала великой державой только после Второй мировой войны. Ленин не мог этого предвидеть в 1917 году, но с первого своего дня у власти он чувствовал неустойчивость правительства и пытался его стабилизировать. 7 ноября, провозглашая низвержение Керенского в нескольких строках, набросанных на клочке бумаги, он пытается выиграть политические симпатии населения, обещая солдатам — мир, крестьянам — землю, рабочим — «Контроль» над производством. «Да здравствует революция солдат, крестьян и рабочих!».

Ленин не знал, сможет ли его партия удержать власть. Через два дня после переворота он связался по прямому проводу с областным комитетом армии и флота в Гельсингфорсе: «Есть известия, что войска Керенского подошли и взяли Гатчину, и так как часть петроградских войск утомлена, то настоятельно необходимо самое быстрое и сильное подкрепление... Нам нужен максимум штыков, но только с людьми верными и готовыми решиться сражаться». Таких было не много. Ленин спрашивал, может ли Гельсингфорс «обеспечить их доставкою продовольствия». «Есть ли у вас запасы винтовок с патронами? Посылайте как можно больше».

Положение было шаткое, и Ленин не мог игнорировать его политических аспектов. Он неоднократно уверял своих колеблющихся сторонников и страну, что желает избежать гражданской войны. Он говорил, что стремится к коалиции с крестьянами: «Земельный закон нашего правительства, целиком списанный с эсеровского наказа, доказал на деле полную и искрен-

нейшую готовность большевиков осуществлять коалицию с огромным большинством населения России».

Ленину вряд ли могло быть приятно признание, что он позаимствовал аграрную программу эсеров и что эсеры, традиционные враги большевизма, представляют крестьянское большинство. Он был искренен поневоле. Он все еще ссылался на будущее Учредительное Собрание как на высший орган власти.

Ленин осудил тех товарищей, которые подвергли критике его мирное предложение за то, что оно не было ультиматумом, требующим от всех воюющих сторон прекращения военных действий. Ультимативное требование, указывал он, может быть и не принято.

Существование нового режима зависело, в первую очередь, от выхода России из мировой войны. Стремление большевиков к общему прекращению военных действий объясняется разнообразными причинами. Впрочем, хватило бы и одной: желания удержать власть. Но «Декрет о мире», принятый Вторым съездом советов в 11 часов вечера 8 ноября 1917 года, еще до формального назначения кабинета (Совета народных комиссаров), был, подобно сотням декретов, с тех пор выпущенных Кремлем, так начинен пропагандой, что мог возбудить лишь скептическое отношение со стороны тех, кому он был адресован, и создать впечатление, что целью большевиков в данном случае было приобретение пролетарских единомышленников, а не улучшение международных отношений. Если, как Ленин неоднократно утверждал, капиталистические державы воевали за расширение своих империй, как можно было ожидать от правительств воюющих стран немедленного вступления в переговоры «о справедливом демократическом мире»? Ведь в декрете далее сказано, что «таким миром рабоче-крестьянское правительство считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций».

За этим предложением следуют два абзаца, в которых разъясняется природа империалистических захватов и еще один, который гласит: «Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего эту войну на указанных... условиях». С кем?

Далее в декрете указывалось, что Петроград немедленно приступает «к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 7 ноября (25 октября) 1917 г.». Интересно, приходило ли в голову председателю Совета Народных Комиссаров Ленину и первому советскому комиссару по иностранным делам Троцкому, что ни одно из капиталистических правительств, к которым этот призыв о мире был обращен, еще никогда не получало бумаг, составленных в социалистических терминах, и что они могут оставить такое обращение без внимания, сочтя его наглым. С другой стороны, кто-то смягчил тон декрета, вставив следующие слова: «Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных условий мира ультимативными, т. е. соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их... и на полнейшей ясности, на безусловном

исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира». После этого, однако, авторы возвращаются к пронзительному пропагандному тону и предлагают заключить перемирие «не меньше как на три месяца, т. е. на такой срок, в течение которого возможно как завершение переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней...» (значит ли это, что британская делегация должна включать ирландцев, шотландцев, индийцев, австралийцев, бедуинов и суданцев, а французская — марокканцев, сенегальцев и аннамитов?) «...так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира» (здесь авторы декрета осмеливаются давать наставления воюющим державам о том, как им вести демократическое и конституционное делопроизводство).

В заключение, «временное рабоче-крестьянское правительство», как советская власть тогда скромно титуловала себя из уважения к будущему учредительному Собранию, «обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма». Далее перечисляются эти заслуги, в завершение которых выражается надежда, что «рабочие названных стран... помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс от всякого рабства и всякой эксплуатации».

Так оканчивается этот исторический документ. В нем чувствуется противоречивость: с одной стороны, стремление к миру или, по крайней мере, краткому перемирию; с другой стороны, вызывающие нападки на все те политические учреждения и общественные силы, к которым было обращено воззвание и от которых зависели переговоры.

Этот дуализм объясняется не туманностью мышления, а неуверенностью в судьбе. Новорожденный большевистский режим не ожидал, что ему уготовано долговечие. Когда советской власти исполнилось 73 дня, на день больше, чем было Парижской Коммуне 1871 года, когда она пала, Ленин, вообще не склонный к восторгам, торжествовал. Он сказал корреспонденту «Манчестер Гардиан» в России, Артуру Рэнсому, поддерживавшему с ним дружеский контакт, что теперь вполне доволен: если советский режим погибнет, то погибнет, пережив Коммуну, и внесет еще больший вклад в дело будущей мировой революции. Неосмотрительные высказывания близких сотрудников Ленина также свидетельствуют о том, что стремление большевиков удержать власть соединялось с желанием оставить добрую память о себе в случае поражения. Эта противоречивая мотивировка отражается в тексте Декрета о мире. Она повлияла и на ход Брест-Литовских мирных переговоров. Разумеется, глубоко привившаяся вера в неизбежность мировой революции оставалась привычным высшим принципом в большевистском мышлении. Но в условиях конца 1917 — начала 1918 гг. это только подтверждает наш тезис о том, что советы недооценивали долговечность своего режима. Ленин и его друзья мало рассчитывали на сохранение советской власти в России при отсутствии революции за границей, которая, по их мнению, одна могла принести мир России и укрепить боль-

шевистский режим. В соответствии с этим, Ленин окончил свой доклад о мире на Съезде советов отчетливым пророчеством: «Рабочее движение возьмет верх и проложит дорогу к миру и социализму». Сэр Джордж Бьюкенен, английский посол, пишет во втором томе своих мемуаров, что он получил извещение об образовании советского правительства и текст Декрета о мире только 21 ноября. Декрет передавали по радио, но прошло 13 дней, пока его вручили иностранным правительствам. Бьюкенен переслал его в Лондон, рекомендуя не отвечать на него. Вместо ответа он советовал сделать заявление в Палате общин. 23 ноября лорд Роберт Сесиль, заместитель государственного секретаря по иностранным делам, сделал следующее заявление от имени британского кабинета министров: «Действия экстремистов в Петрограде будут, конечно, прямым нарушением соглашения от 5 сентября 1914 года (о том, что союзные государства не станут вести сепаратных переговоров о мире.— Л. Ф.), и, если русский народ примет их, то поставит себя фактически вне обычного сообщества европейских наций… Признать такое правительство мы не намерены».

В этих словах предсказывается характер взаимоотношений между великими державами и советами при жизни Ленина и после его смерти.

Сам Бьюкенен признается, что, под влиянием генерала сэра Альфреда Нокса, бывшего тогда в Петрограде, передумал и 27 ноября телеграфировал лондонскому Министерству иностранных дел, советуя «взять единственный остающийся безопасный курс: освободить Россию от данного ею слова и сказать ее народу, что, принимая во внимание изнуренность, вызванную войной, и дезорганизацию, связанную с любой великой революцией, мы предоставляем им самим решать, хотят ли они заключить мир с Германией на ее условиях или продолжать войну на стороне союзников, которые твердо намерены не складывать оружия, пока не получат надежных гарантий обеспечения мира во всем мире… Требовать с России фунта мяса и настаивать на выполнении ею обязательств, установленных в Соглашении 1914 года, было бы, с нашей стороны, игрой в руку Германии».

Если бы посол отправил такую депешу шестью месяцами раньше и убедил своих начальников в ее разумности, и если бы другие западные послы в Петрограде поступили таким же образом и имели такой же успех, то советской власти, может быть, и не было бы. Не было ничего, ни в истории, ни на небесах, что предопределило бы происшедшие события. Но с середины 1917 года и вплоть до ноября 1918-го у союзников была только одна цель: выиграть войну против Германии. И хотя предложение Бьюкенена обсуждалось на парижской конференции союзников 30 ноября 1917 года и получило некоторое одобрение со стороны премьер-министра Ллойд Джорджа, иностранного секретаря Артура Вальфура и специального уполномоченного президента Вильсона, полковника Эдварда Хауза, ничего из него не вышло. Западные нации считали вынужденное стремление русского народа к миру предательством. Нельзя винить их: их жертвы были так велики, что любой конец войны, кроме полной победы, казался бы издевательством над мертвыми и изувеченными. Разумные доводы были отложены в сторону, политикой правили чувства. В крови и шуме битвы всегда трудно думать о том, каким будет мир через десятилетие или даже через год. При такой точке зрения вполне естественно, что Антанта пыталась предотвра-

тить выход России, даже большевистской России, из войны, чтобы не уменьшать своих сил.

Немецкий подход был диаметрально противоположным. Императору Вильгельму и его соратникам мир с Россией обещал некоторую выгоду, а любое преимущество, даже самое малое, казалось важным ввиду тяжелых потерь, продолжительности войны и неуверенности в ее исходе. Так как близорукость — обычная профессиональная болезнь политиков, навьюченных неотложными задачами дня, немцам было куда легче найти путь к переговорам с Россией, чтобы осуществить ее выход из войны, чем западным правительствам — предвидеть события русской истории грядущих десятилетий и попытаться их предотвратить. Так получилось, что, пока союзники России возмущались, но все-таки старались удержать Россию в своем лагере, Германия согласилась на переговоры.

Величайшая опасность для Советов лежала в той возможности, что их готовность к переговорам с Германией поведет к сепаратному миру между Западом и Германией за счет России. Уинстон Черчилль обрисовал возможность такой сделки: «Гигантские захваты, сделанные Германией в России, и ненависть и презрение, которые союзники питали к большевикам, дали Германии возможность сделать важные территориальные уступки Франции и предложить Англии полное восстановление Бельгии. Устранение территориальных претензий России вследствие ее измены делу союзников подобным же образом облегчило соглашение с Австрией и Турцией. Таковы были предпосылки этой великой возможности. Она была последней.

«Но Людендорф ничего такого не хотел». Вместо этого, говорит Черчилль, Людендорф решил предпринять «величайшее наступление» на Западном фронте и выиграть войну на поле брани. В Берлине, однако, существовала влиятельная группа сторонников мира. Вена тоже жаждала мира, который мог спасти пошатнувшуюся империю. Австро-венгерский министр иностранных дел граф Чернин угрожал заключить сепаратный мир: его император вел тайные мирные переговоры с Францией и Англией.

Ленин с Троцким не могли, конечно, читать мысли Черчилля или догадываться о намерениях Вены. Но воздух был полон слухов о сделке, заключаемой за спиной России и за ее счет. В большевистской газете «Рабочий путь» появилась серия статей Григория Сокольникова (в номерах от 2, 4 и 7 октября 1917 г.) под общим названием «Накануне мирных переговоров». Сокольников ссылался на слухи о «сепаратном» мире между Англией и Францией и Германией за счет России, цитируя комментарии кадетской газеты по этому поводу. Римский папа призывал к миру; барон Рихард фон Кюльман, немецкий министр иностранных дел, по словам Сокольникова, предложил освободить Бельгию; Чернин сказал, что откажется от австрийских аннексий и «отстроит Европу после войны на новых международных основаниях». Для Сокольникова все это означало «установление прочного международного господства капиталистических поработителей над угнетенными массами». Таких же реформ хочет и Римский папа, утверждал Сокольников. Те же реформы «предлагаются президентом Вильсоном и другими разбойниками тайной дипломатии в союзных странах. Только одной важной реформы не предлагает ни один из них: уничтоже-

ния монополистической власти капиталистов». Готовится сделка, заключал Сокольников. «Лихорадочно ведется закулисная дипломатия... Империалисты готовятся к миру».

Ясно, что мир между двумя враждующими блоками без участия России означал бы гибель советской власти. Сокольников боялся этого. Ленин боялся этого. В той же мере были против мирных переговоров с Западом Людендорф и Гинденбург: они надеялись выиграть войну, удержать завоеванные русские территории и править Европой. Запад, на четвертый год войны, тоже не решался заключить мир без победы над германским империализмом. Таким образом, хотя всеобщий мир был срочно необходим повсюду, совокупность всех этих факторов повела к его отсрочке — и бросила спасательный пояс большевизму.

В результате, советские и немцы оказались одни у стола мирных переговоров в захолустном Брест-Литовске. Забывая о пролитой и еще готовой пролиться крови, Германия в этот момент имела основание торжествовать. Перспектива превращения «фактического перемирия» на Восточном фронте в соглашение о мире позволяла отвести войска, поднять дух в Германии и понизить его на Западе, а может быть, в зависимости от степени внутреннего развала в России, и добиться добавочных аннексий. Военачальники кайзера были достаточно уверены в себе, чтобы мечтать о завершении войны кровопролитным триумфом.

Большевики, со своей стороны, ощущали неловкую изолированность своего положения. Они были отданы на милость Людендорфа. В случае неповиновения с их стороны, он мог занять, несмотря на недоукомплектованность своих частей, Петроград, Украину и т. д. Вспоминая дни Брест-Литовска, Ленин сказал 6 декабря 1920 г.: «Мы... (были) нулем в военном смысле». Советское правительство не было в состоянии защищать страну. В виде предосторожности Ленин даже перенес столицу из Петрограда в Москву. Это произошло в марте 1918 года, и с тех пор Кремль, а не Смольный стал синонимом советов.

Видя все сильные карты — и военную мощь — у противника, большевики решились действовать со смелостью своих убеждений. Проявить робость перед лицом немецкого Молоха значило встретить отчаянные нападки дома, вражду на Западе и жестокость со стороны милитаристов в остроконечных шлемах. Поэтому советская делегация повела себя вызывающе. Она пыталась выиграть время. Она делала немыслимые требования, изумляя и раздражая своего могучего противника. Не будучи в силах справиться с Германией в вооруженном поединке, большевики вызвали ее на поединок идей и выбили из седла своего соперника.

Для Советов Брест-Литовская конференция была одновременно упражнением и в непривычной для них дипломатии и в привычной пропаганде.

В виде предварительного шага к мирным переговорам, 20 ноября Ленин, комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин и командир Красной гвардии Николай Крыленко связались по прямому проводу с генералом Николаем Духониным, российским главнокомандующим, в его могилевской ставке. Разговор продолжался два с половиной часа. Большевики настаивали на немедленном перемирии на всех фронтах с германскими, австрийскими и турецкими войсками. Духонин взял под сомнение правомочность нового правительства. Тогда Крыленко был назначен его преемником. Когда Крыленко с матросским

конвоем прибыл в Могилев, Духонин оказал сопротивление и стал жертвой солдатской расправы.

Затем Крыленко отдал приказ прекратить «огонь и братание» и восстановить дисциплину. 27 ноября русские полномочные были пропущены, с завязанными глазами, сквозь немецкие оборонительные линии. Они договорились о прекращении огня. Начало мирных переговоров было назначено на 2 декабря. Местом переговоров был избран Брест-Литовск, ставка германского Восточного фронта.

Беспорядок и разброд господствовали на русских позициях. Вследствие дезертирства, ставшего массовым в последний год царизма и продолжавшегося в течение восьми анархических месяцев Демократической республики, от армии остались кожа да кости. Как боеспособная сила армия почти перестала существовать. Зачем мерзнуть в окопах, когда перемирие с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией все равно неизбежно? Солдаты, в большинстве — крестьяне, возвращались домой, урвать свой клок национализированных угодий. Рабочим хотелось взглянуть на новый рабочий режим, избавиться от вшей и холода. Для русского народа Мировая война потеряла последние остатки смысла. Обитатели большевистской столицы страдали от голода и холода. Такие же или еще худшие условия господствовали в Москве и других городах. Гражданская война между белыми и красными уже отрезала Северную и Среднюю Россию от южных источников продовольствия и горючего.

Помимо вражды со стороны монархистов, меньшевиков и эсеров, большевистская партия испытывала давление внутренней оппозиции по таким вопросам, как война, мир, социализм и т. д. У советской власти было мало сил и много забот.

Столица, Петроград, была темна и безвидна и полна идеологического хаоса. Служащие Министерства иностранных дел отказывались сотрудничать с народным комиссаром Троцким. На сессии Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), нечто вроде советского парламента, стенографисты объявили 17 ноября забастовку, или, по сути дела, политический бойкот (большевики сочли это «саботажем»),

По подсчету мандатной комиссии, большевистских делегатов было 300, левых эсеров — 169, правых эсеров — 24, меньшевиков — 68 и т. д. Всего ВЦИК насчитывал 670 членов. Большевики были, таким образом, в меньшинстве.

На уже упомянутой сессии выступил от левых социалистов-революционеров Гр. Закс, подняв вопрос, ставший впоследствии корнем противоречий между Сталиным и Троцким и сыгравший важную роль в советской истории и внешней политике. Закс поднял его по поводу Брест-Литовских переговоров, обвиняя правительство Ленина и Троцкого в том, что оно взяло «курс на социалистическую революцию». «Но, взрывая мостик, перекинутый на тот берег, не останемся ли мы совсем одинокими? — спрашивал Закс.— Ведь никакой действительной поддержки мы до сих пор ниоткуда не получаем. Западная Европа позорно молчит. Социализм нельзя декретировать».

Ленин рассердился,— подвергали сомнению его основную концепцию, теорию «искры», на которой основывалась вся советская стратегия. Он заявил, что выражение «Запад позорно молчит» недопустимо в устах интернационали-

ста. «Только слепой не может не видеть того брожения, которым охвачены народные массы в Германии и на Западе». Верхи, признавал Ленин, состоят из оборонцев. «Но пролетарские низы против воли своих верхов готовы отозваться на наш зов». Ленин объяснил, почему он так думает: в июле и августе 1917 года часть германского флота была охвачена мятежом. «Группа Спартак все интенсивнее развивает свою революционную пропаганду, имя Либкнехта, неутомимого борца за идеалы пролетариата, с каждым днем становится все популярнее в Германии». Поэтому «мы верим в революцию на Западе».

Ленин верил, что русская искра зажжет социалистическую революцию в Европе, а та спасет и упрочит новый режим в России. Но какова должна была быть природа этого режима в промежуточный период? Советское правительство состояло пока только из большевиков. Оно пользовалось поддержкой далеко не всех профсоюзов и социалистических партий. Важный профессиональный союз железнодорожников, в лице своего исполнительного комитета (Викжеля), потребовал включения в правительство всех социалистических партий: большевиков, меньшевиков, эсеров. Большевики начали переговоры с Викжелем.

Социалисты, не принадлежавшие к большевикам, указывали, что советское правительство имеет слишком узкую базу, чтобы справиться с начинающейся гражданской войной и с растущими хозяйственными и политическими трудностями. Ленин и Троцкий были не согласны: они пошли бы, в крайнем случае, на коалицию только с левыми эсерами — в надежде внести раскол в партию социалистов-революционеров, стоявшую на прочной антиленинской платформе.

Этот вопрос привел к кризису в большевистской партии. 17 ноября 1917 года четыре члена большевистского кабинета — комиссар торговли и промышленности В. Ногин, комиссар по внутренним делам А. Рыков (позже ставший председателем совнаркома), комиссар земледелия В. Милютин и комиссар по продовольствию Т. Теодорович — объявили об уходе из Совета народных комиссаров. Пять других видных большевиков присоединились к ним, заявляя: «Мы стоим на точке зрения необходимости образования социалистического правительства из всех советских партий... Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора... это ведет к отстранению массовых пролетарских организаций от руководства политической жизнью, к установлению безответственного режима». В тот же день Ногин, Рыков, Милютин, Каменев и Зиновьев подписали заявление сходного содержания, осуждая однопартийное правительство и снимая с себя ответственность «за эту гибельную политику». На этом основании они объявили о своем уходе из ЦК партии. Ленин назвал их шаг «саботажем» революции. Когда некоторые из этих либеральных большевиков высказали протест по поводу закрытия антисоветских газет, Ленин ответил издевками.

Полемика осталась безрезультатной. Мятежники вернулись в ЦК. Ленин выиграл. Ужас грядущей однопартийной тирании бросил длинную тень на эту полемику. Гр. Закс, заметивший «позорное молчание» Западной Европы, и согласившиеся с ним большевики-схизматики предвидели, что слабый режим Ленина—Троцкого прибегнет к террору, чтобы продержаться, пока европейский социализм придет им на подмогу. Поэтому они предпочли бы прочную ко-

алицию и поменьше иллюзий относительно багрового зарева на Западе. Ленин упрекал маловеров. Но он тоже сомневался, выживет ли советский режим, если Европа не опровергнет обвинения в позорном молчании и не заговорит на громовом языке революции. Поэтому, ведя переговоры с иностранными дипломатами в Брест-Литовске, советские делегаты косились на Запад, ожидая увидеть красные сполохи на горизонте.

Источник: Фишер Л. Жизнь Ленина: В 2 т.; М.: «Книжная лавка — РТР», 1997.

Аллилуева
Светлана Иосифовна
(Сталина, Морозова, Жданова, Лана Петерс)

(Род. 1926)



Дочь И.В. Сталина, историк, мемуаристка.

Родилась в Москве, в шесть лет осталась сиротой, после самоубийства (?) матери – Н.С. Аллилуевой. Закончила МГУ по специальности «новейшая история», защитила кандидатскую диссертацию в АОН при ЦК КПСС. Сложные взаимоотношения с отцом способствовали выработке сложного, порой неадекватного характера и стиля поведения. Трижды была замужем, от каждого мужа имела по ребенку, трижды вступала в гражданский брак. В 1966 г. в ходе почти детективной истории оставила СССР. Опубликованная на западе книга мемуаров «Двадцать писем к другу» стала мировой сенсацией. С конца 60-х ходила в Самиздате. В 1984 г. с дочерью возвращается в СССР, но после двухлетнего пребывания на родине (г. Гори, Грузия) в 1986 году вновь уезжает в США. В настоящее время живет в США.

Основные публикации:

«Двадцать писем к другу» (1967);

«Только один год» (1969);

«Далекая музыка» (1988).

ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ К ДРУГУ

В 1956 г. Аллилуева, сменившая после XX съезда КПСС фамилию отца на фамилию матери, стала сотрудницей ИМЛИ, вероятно, к этому времени восходит замысел написать воспоминания о своей семье. Во всяком случае, там Аллилуева познакомилась со многими представителями советской научной и художественной интеллигенции, которые расспрашивали ее о Сталине (А. Синявский, Д. Самойлов, Л. Осповат) и побуждали ее писать воспоминания. К этому времени она оказалась фактические единственной носительницей информации о семейной жизни Сталина, поскольку один ее старший брат (Яков) погиб в немецком плену, а другой (Василий) с 1953 по 1961 гг. находился в заключении и вскоре после освобождения умер (одной из причин его ареста были публичные разговоры об отце). Сознавала Аллилуева и огромный интерес к личности отца со стороны мировой общественности. Французский левый журналист Эммануль д'Астье, единственный, кому власти разрешили побеседовать с ней, использовал (без указания источника) полученную от Аллилуевой информацию в своей книге о Сталине. Для воспоминаний Аллилуева решила

избрать форму писем к близкому другу (физик Федор Волькенштейн, пасынок писателя А.Н. Толстого — в тексте он не назван). Законченную в 1963 г. книгу, помимо ее непосредственного адресата, Аллилуева показала очень узкому кругу друзей, понимая, что широкое распространение угрожает ее безопасности. Одними из первых шагов Аллилуевой после отказа вернуться в СССР (март 1967 г.) стали попытки предпринять на Западе публикацию «Двадцати писем...» (рукопись книги была переправлена туда еще до побега автора). И само бегство дочери покойного диктатора, и сведения о ее неизданных мемуарах стали мировой сенсацией, поэтому книга была обречена стать международным бестселлером (первые издания: Лондон: Хатчинсон, 1967; пер на англ. яз. — NY and Evanston: Harper & Row, 1967).

Для того, чтобы уменьшить эффект от одновременного появления книги на нескольких языках, КГБ с помощью своего доверенного лица журналиста Виктора Луи начал пиратское распространение «Двадцати писем...» на Западе в сопровождении множества семейных фотографий, изъятых из личного архива Аллилуевой, оставшегося в СССР. Несмотря на коммерческий успех, книга разочаровала многих читателей своей навязчивой сентиментальностью и наивными попытками объяснить сталинскую тиранию дурным влиянием окружения Сталина, прежде всего зловещей ролью Л. Берия.

Историю создания книги и ее публикации на Западе Аллилуева описала в своей второй мемуарной книге «Только один год». В СССР «20 писем к другу» приобрели известность, поскольку непрерывно передавались западными радиостанциями, вещавшими на СССР, эти трансляции были приурочены к 50-й годовщине Октябрьской революции (ноябрь 1967 г.). Книга была запрещена к ввозу в СССР. Советская пресса пренебрежительно отзывалась о личности ее автора, намекая на душевную болезнь Аллилуевой и не вступая с ней в полемику. В Самиздате появилась несколько критических откликов на «Двадцать писем...»: в речи писателя Г. Свирского на партийном собрании московских литераторов (январь 1968 г.) он противопоставил произведение Аллилуевой «хорошим» книгам коммунистов (А. Бек, Е. Гинзбург), которые не пропускает цензура; в работе Р. Медведева «Светлана Сталина и её «Двадцать писем к другу»» Аллилуева критиковалась за неискренность и попытки оправдать отца.

Известны случаи инкриминирования книг Аллилуевой в СССР: на процессе по делу Юрия Шихановича (Мосгорсуд, 26.11.73) среди прочего фигурировало обвинение в распространении мемуаров Аллилуевой «Только один год» (Шиханович привлекался по ст. 70 ч.1 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»), но был признан невменяемым (Хроника текущих событий, №30)). Эта же книга упомянута среди обвинений Герману Ушакову и Эмилю Саркисяну (Ленинградский городской суд, 21.08.1975) (Хроника текущих событий, №46).

В 1989-1990 книги Аллилуевой были изданы в СССР массовыми тиражами.

Письмо первое

Рассказ будет долгим. Письма будут длинными. Я буду забегать вперед и возвращаться к самому началу. Упаси Бог — это не роман, не биография и не мемуары; последовательного изложения не будет.

Сегодня такое чудное утро. Лесное утро: свистят птицы, сквозит солнце сквозь зеленый лесной полумрак. Сегодня я хочу рассказать тебе о самом конце, о тех днях марта 1953 года, которые я провела в доме отца, глядя, как он умирает. Был ли это, действительно, конец какой-то эпохи и начало новой, —

как утверждают теперь? Не мне судить. Увидим. Мое дело не эпоха, а человек.

Это были тогда страшные дни. Ощущение, что что-то привычное, устойчивое и прочное сдвинулось, пошатнулось, началось для меня с того момента, когда 2-го марта меня разыскали на уроке французского языка в Академии общественных наук и передали, что «Маленков просит приехать на Ближнюю». (Ближней называлась дача отца в Кунцеве, в отличие от других, дальних дач). Это было уже невероятно — чтобы кто-то иной, а не отец, приглашал приехать к нему на дачу... Я ехала туда со странным чувством смятения,

Когда мы въехали в ворота и на дорожке возле дома машину остановили Н. С. Хрущев и Н. А. Булганин, я решила, что все кончено... Я вышла, они взяли меня под руки. Лица обоих были заплаканы. «Идем в дом, — сказали они, — там Берия и Маленков тебе все расскажут».

В доме, — уже в передней, — было все не как обычно; вместо привычной тишины, глубокой тишины, кто-то бегал и суетился. Когда мне сказали, наконец, что у отца был ночью удар и что он без сознания — я почувствовала даже облегчение, потому что мне казалось, что его уже нет.

Мне рассказали, что, по-видимому, удар случился ночью, его нашли часа в три ночи лежащим вот в этой комнате, вот здесь, на ковре, возле дивана, и решили перенести в другую комнату на диван, где он обычно спал. Там он сейчас, там врачи, — ты можешь идти туда.

Я слушала, как в тумане, окаменев. Все подробности уже не имели значения. Я чувствовала только одно — что он умрет. В этом я не сомневалась ни минуты, хотя еще не говорила с врачами, — просто я видела, что все вокруг, весь этот дом, все уже умирает у меня на глазах. И все три дня, проведенные там, я только это одно и видела, и мне было ясно, что иного исхода быть не может.

В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного (академик В. Н. Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме) ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких, медсестра беспрестанно делала какие-то уколы, один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни. Все делалось, как надо. Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было уже спасти.

Где-то заседала специальная сессия Академии медицинских наук, решая, что бы еще предпринять. В соседнем небольшом зале беспрерывно совещался какой-то еще медицинский совет, тоже решавший как быть. Привезли установку для искусственного дыхания из какого-то НИИ, и с ней молодых специалистов, — кроме них, должно быть, никто бы не сумел ею воспользоваться. Громоздкий агрегат так и простоял без дела, а молодые врачи ошалело озирались вокруг, совершенно подавленные происходящим. Я вдруг сообразила, что вот эту молодую женщину-врача я знаю, — где я ее видела?... Мы кивнули друг другу, но не разговаривали. Все старались молчать, как в храме, никто не говорил о посторонних вещах. Здесь, в зале, совершалось что-то значительное, почти великое, — это чувствовали все — и вели себя подобающим образом.

Только один человек вел себя почти неприлично — это был Берия. Он был возбужден до крайности, лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были — честолюбие, жесто-

кость, хитрость, власть, власть... Он так старался, в этот ответственный момент, как бы не перехитрить, и как бы не недохитрить! И это было написано на его лбу. Он подходил к постели, и подолгу всматривался в лицо больного, — отец иногда открывал глаза, но, по-видимому, это было без сознания, или в затуманенном сознании. Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза; он желал и тут быть «самым верным, самым преданным» — каковым он изо всех сил старался казаться отцу и в чем, к сожалению, слишком долго преуспевал...

В последние минуты, когда все уже кончалось, Берия вдруг заметил меня и распорядился: «Уведите Светлану!» На него посмотрели те, кто стоял вокруг, но никто и не подумал пошевелиться. А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор и в тишине зала, где стояли все молча вокруг одра, был слышен его громкий голос, не скрывавший торжества: «Хрусталев! Машину!»

Это был великолепный современный тип лукавого царедворца, воплощение восточного коварства, лести, лицемерия, опутавшего даже отца — которого вообще-то трудно было обмануть. Многое из того, что творила эта гидра, пало теперь пятном на имя отца, во многом они повинны вместе, а то, что во многом Лаврентий сумел хитро провести отца, и посмеивался при этом в кулак, — для меня несомненно. И это понимали все «наверху»...

Сейчас все его гадкое нутро перло из него наружу, ему трудно было сдерживаться. Не я одна, — многие понимали, что это так. Но его дико боялись и знали, что в тот момент, когда умирает отец, ни у кого в России не было в руках большей власти и силы, чем у этого ужасного человека.

Отец был без сознания, как констатировали врачи. Инсульт был очень сильный; речь была потеряна, правая половина тела парализована. Несколько раз он открывал глаза — взгляд был затуманен, кто знает, узнавал ли он кого-нибудь. Тогда все кидались к нему, стараясь уловить слово или хотя бы желание в глазах. Я сидела возле, держала его за руку, он смотрел на меня, — вряд ли он видел. Я поцеловала его и поцеловала руку, — больше мне уже ничего не оставалось.

Как странно, в эти дни болезни, в те часы, когда передо мною лежало уже лишь тело, а душа отлетела от него, в последние дни прощания в Колонном зале, — я любила отца сильнее и нежнее, чем за всю свою жизнь. Он был очень далек от меня, от нас, детей, от всех своих ближних. На стенах комнат у него на даче в последние годы появились огромные, увеличенные фото детей, — мальчик на лыжах, мальчик у цветущей вишни, — а пятерых из своих восьми внуков он так и не удосужился ни разу повидать. И все-таки его любили, — и любят сейчас, эти внуки, не видавшие его никогда. А в те дни, когда он успокоился, наконец, на своем одре, и лицо стало красивым и спокойным, я чувствовала, как сердце мое разрывается от печали и от любви.

Такого сильного наплыва чувств, столь противоречивых и столь сильных я не испытывала ни раньше, ни после. Когда в Колонном зале я стояла почти все дни (я буквально стояла, потому что сколько меня ни заставляли сесть и ни подсовывали мне стул, я не могла сидеть, я могла только стоять при том, что происходило), окаменевшая, без слов, я понимала, что наступило некое освобождение. Я еще не знала и не осознавала — какое, в чем оно выразится, но я понимала, что это — освобождение для всех и для меня тоже, от какого-то гнета, давившего все души, сердца и умы единой, общей глыбой. И вместе с тем, я

смотрела в красивое лицо, спокойное и даже печальное, слушала траурную музыку (старинную грузинскую колыбельную, народную песню с выразительной, грустной мелодией), и меня всю раздирало от печали. Я чувствовала, что я — никуда не годная дочь, что я никогда не была хорошей дочерью, что я жила в доме как чужой человек, что я ничем не помогала этой одинокой душе, этому старому, больному, всеми отринутому и одинокому на своем Олимпе человеку, который все-таки мой отец, который любил меня, — как умел и как мог, — и которому я обязана не одним лишь злом, но и добром…

Я ничего не ела все те дни, я не могла плакать, меня сдавило каменное спокойствие и каменная печаль.

Отец умирал страшно и трудно. И это была первая — и единственная пока что — смерть, которую я видела. Бог дает легкую смерть праведникам…

Кровоизлияние в мозг распространяется постепенно на все центры, и при здоровом и сильном сердце оно медленно захватывает центры дыхания и человек умирает от удушья. Дыхание все учащалось и учащалось. Последние двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. Последние час или два человек просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент — не знаю, так ли на самом деле, но так казалось — очевидно в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, — это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть — тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно к кому и к чему он относился… В следующий момент, душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела.

Я думала, что сама задохнусь, я впилась руками в стоявшую возле молодую знакомую докторшу, — она застонала от боли, мы держались с ней друг за друга.

Душа отлетела. Тело успокоилось, лицо побледнело и приняло свой знакомый облик; через несколько мгновений оно стало невозмутимым, спокойным и красивым. Все стояли вокруг, окаменев, в молчании, несколько минут, — не знаю сколько, — кажется, что долго.

Потом члены правительства устремились к выходу, — надо было ехать в Москву, в ЦК, где все сидели и ждали вестей. Они поехали сообщить весть, которую тайно все ожидали. Не будем грешить друг против друга — их раздирали те же противоречивые чувства, что и меня — скорбь и облегчение…

Все они (и не говорю о Берия, который был единственным в своем роде выродком) суетились тут все эти дни, старались помочь и, вместе с тем, страшились — чем все окончится? Но искренние слезы были в те дни у многих — я видела там в слезах и К.Е. Ворошилова, и Л.М. Кагановича, и Г.М. Маленкова, и Н.А. Булганина и Н.С. Хрущева. Что говорить, помимо общего дела, объединявшего их с отцом, слишком велико было очарование его одаренной натуры, оно захватывало людей, увлекало, ему невозможно было сопротивляться.

Это испытали и знали многие, — и те, кто теперь делает вид, что никогда этого не испытывал, и те, кто не делает подобного вида.

Все разошлись. Осталось на одре тело, которое должно было лежать здесь еще несколько часов, — таков порядок. Остались в зале Н.А. Булганин и А.И. Микоян, осталась я, сидя на диване у противоположной стены. Погасили половину всех огней, ушли врачи. Осталась только медсестра, старая сиделка, знакомая мне давно по кремлевской больнице. Она тихо прибирала что-то на огромном обеденном столе, стоявшем в середине зала.

Это был зал, где собирались большие застолья, и где съезжался узкий круг Политбюро. За этим столом, — за обедом или ужином, — решались и вершились дела. «Приехать обедать» к отцу — это и означало приехать решить какой-то вопрос. Пол был устлан колоссальным ковром. По стенам стояли кресла и диваны; в углу был камин, отец всегда любил зимой огонь. В другом углу была радиола с пластинками, у отца была хорошая коллекция народных песен, — русских, грузинских, украинских. Иной музыки он не признавал. В этой комнате прошли все последние годы, почти двадцать лет. Она сейчас прощалась со своим хозяином.

Пришли проститься прислуга, охрана. Вот где было истинное чувство, искренняя печаль. Повара, шоферы, дежурные диспетчеры из охраны, подавальщицы, садовники, — все они тихо входили, подходили молча к постели, и все плакали. Утирали слезы как дети, руками, рукавами, платками. Многие плакали навзрыд, и сестра давала им валерьянку, сама плача. А я-то, каменная, сидела, стояла, смотрела, и хоть бы слезинка выкатилась... И уйти не могла, а все смотрела, смотрела, оторваться не могла.

Пришла проститься Валентина Васильевна Истомина, — Валечка, как ее все звали, — экономка, работавшая у отца на этой даче лет восемнадцать. Она грохнулась на колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться, и никто не мешал ей.

Все эти люди, служившие у отца, любили его. Он не был капризен в быту, — наоборот, он был непритязателен, прост и приветлив с прислугой, а если и распекал, то только «начальников» — генералов из охраны, генералов-комендантов. Прислуга же не могла пожаловаться ни на самодурство, ни на жестокость, — наоборот, часто просили у него помочь в чем-либо, и никогда не получали отказа. А Валечка — как и все они — за последние годы знала о нем куда больше и видела больше, чем я, жившая далеко и отчужденно. И за этим большим столом, где она всегда прислуживала при больших застольях, повидала она людей со всего света. Очень много видела она интересного, — конечно, в рамках своего кругозора, — но рассказывает мне теперь, когда мы видимся, очень живо, ярко, с юмором. И как вся прислуга, до последних дней своих, она будет убеждена, что не было на свете человека лучше, чем мой отец. И не переубедить их всех никогда и ничем.

Поздно ночью, — или, вернее, под утро уже, — приехали, чтобы увезти тело на вскрытие. Тут меня начала колотить какая-то нервная дрожь, — ну, хоть бы слезы, хоть бы заплакать. Нет, колотит только. Принесли носилки, положили на них тело. Впервые увидела я отца нагим, — красивое тело, совсем не дряхлое, не стариковское. И меня охватила, кольнула ножом в сердце странная боль — и я ощутила и поняла, что значит быть «плоть от плоти». И поняла я,

что перестало жить и дышать тело, от которого дарована мне жизнь, и вот я буду жить еще и жить на этой земле.

Всего этого нельзя понять, пока не увидишь своими глазами смерть родителя. И чтобы понять вообще, что такое смерть, надо хоть раз увидеть ее, увидеть как «душа отлетает», и остается бренное тело. Все это я не то, чтобы поняла тогда, но ощутила, все это прошло через мое сердце, оставив там след.

И тело увезли. Подъехал белый автомобиль к самым дверям дачи, — все вышли. Сняли шапки и те, кто стоял на улице, у крыльца. Я стояла в дверях, кто-то накинул на меня пальто, меня всю колотило. Кто-то обнял за плечи, — это оказался Н.А. Булганин. Машина захлопнула дверцы и поехала. Я уткнулась лицом в грудь Николаю Александровичу и, наконец, разревелась. Он тоже плакал и гладил меня по голове. Все постояли еще в дверях, потом стали расходиться.

Я пошла в служебный флигель, соединенный с домом длинным коридором, по которому носили еду из кухни. Все кто остался, сошлись сюда, — медсестры, прислуга, охрана. Сидели в столовой, большой комнате с буфетом и радиоприемником. Снова и снова обсуждали как все случилось, как произошло. Заставили меня поесть что-то: «Сегодня трудный день будет, а вы и не спали, и скоро опять ехать в Колонный зал, надо набраться сил!» Я съела что-то, и села в кресло. Было часов 5 утра. Я пошла в кухню. В коридоре послышались громкие рыдания, — это сестра, проявлявшая здесь же, в ванной комнате, кардиограмму, громко плакала, — она так плакала, как будто погибла сразу вся ее семья... «Вот, заперлась и плачет — уже давно», сказали мне.

Все как-то неосознанно ждали, сидя в столовой, одного: скоро, в шесть часов утра по радио объявят весть о том, что мы уже знали. Но всем нужно было это услышать, как будто бы без этого мы не могли поверить. И вот, наконец, шесть часов. И медленный, медленный голос Левитана, или кого-то другого, похожего на Левитана, — голос, который всегда сообщал нечто важное. И тут все поняли: да, это правда, это случилось. И все снова заплакали — мужчины, женщины, все... И я ревела, и мне было хорошо, что я не одна, и что все эти люди понимают, что случилось, и плачут со мной вместе.

Здесь все было неподдельно и искренне, и никто ни перед кем не демонстрировал ни своей скорби, ни своей верности. Все знали друг друга много лет. Все знали и меня, и то, что я была плохой дочерью, и то, что отец мой был плохим отцом, и то, что отец все-таки любил меня, а я любила его.

Никто здесь не считал его ни богом, ни сверхчеловеком, ни гением, ни злодеем, — его любили и уважали за самые обыкновенные человеческие качества, о которых прислуга судит всегда безошибочно.

Источник: С. Аллилуева. Двадцать писем к другу. М.: Советский писатель, 1990.

Богораз
Лариса Иосифовна
(1929–2004)



Лингвист, правозащитница.

Родилась в Харькове в семье экономиста. Жена Юлия Даниэля, затем Анатолия Марченко. В 1950 г. окончила филологический факультет Харьковского университета, в том же году вышла замуж за Юлия Даниэля и переехала в Москву

До 1961 г. работала преподавателем русского языка в школах Калужской области, а затем Москвы. В 1961–1964 гг. училась в аспирантуре сектора математической и структурной лингвистики Института русского языка АН СССР; работала в области фонологии. В 1964–1965 гг. преподавала общую лингвистику на филфаке Новосибирского университета. В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию (в 1978 г. решением ВАКа была лишена ученой степени; в 1990 г. ВАК пересмотрел свое решение и вернул ей степень кандидата филологических наук).

С 60-х годов Богораз активно участвовала в правозащитном движении. После ареста ее мужа Юлия Даниэля она, вместе с женой Андрея Синявского Марией Розановой, активно включилась в кампанию по защите арестованных писателей, вела запись судебного процесса над ними, которая впоследствии вошла в состав «Белой книги», составленной Александром Гинзбургом *(стр. 422)*. В начале января 1968 г. ею и Павлом Литвиновым было написано знаменитое письмо «К мировой общественности» в защиту арестованных по «процессу четырех» *(стр. 43)*. Этот документ стал поворотным моментом в становлении правозащитного движения в СССР. 26 августа 1968 г. Богораз приняла участие в демонстрации протеста против ввода советских войск в Чехословакию, состоявшейся на Красной площади. За это она получила 4 года ссылки в Иркутской области (1968 – 1972).

После возвращения в Москву Богораз продолжала в той или иной форме участвовать в правозащитной деятельности. В частности, в конце 70-х – начале 80-х она принимала участие в создании самиздатского сборника «Память».

В 1989 г. она стала одним из сопредседателей воссозданной Московской Хельсинкской группы, оставаясь им в течение нескольких лет.

В Самиздате были распространены последнее слово Л. Богораз на суде *(стр. 310)* и статья «Об одной поездке» с описанием поездки в Мордовию, где отбывал заключение ее муж Ю. Даниэль.

ОБ ОДНОЙ ПОЕЗДКЕ

Социалистический гуманизм, как один из принципов деятельности органов, исполняющих наказания, проявляется в уважении к личности осужденных, к запрещению унижать их человеческое достоинство, в средствах и методах исправления и перевоспитания. Вся система организации труда осужденных, политико-воспитательная работа с ними, режимы ставит перед собой цель привить им благородные нравственные качества советского человека, и эта цель может быть достигнута только тогда, когда средства исправительно-трудового воздействия по своему характеру глубоко гуманны и человечны.

(Исправительно-трудовое право. Учебник для юридических факультетов. М., 1966, стр.73)

Это была наша седьмая поездка в Мордовию. За прошедший год мы ездили туда 4 раза, чтобы увидеться с Юлием Даниэлем на свиданиях, и дважды, чтобы разобраться в «происшествиях» — нагноение старой раны, штрафной изолятор. За этот год, за время многих поездок мы ко многому привыкли: к молчаливым женщинам (реже мужчинам), с мешкам и чемоданами, выходящим из поезда на станции Потьма, к «мордовскому такси» — тележке, в нее впрягается мордовка в мужском пиджаке, из-под которого видны зеленые фланелевые панталоны, и за полтинник с «места» везет вещи на Потьму-2, «столыпинским» выгонам (собственность п/я 385, т.е. Дубровлага), за стеклом решетка, а если открыта дверь, то виден в обе стороны коридор и арестантские «купе», к заборам с колючей проволокой поверху и вышкам, вышкам от Потьмы-2 до самого Яваса, на каждой станции и за Явасом тоже все километров 50-60 Молочница, Сосновка — на каждой, на каждой станции лагерь, два, три. Знаем, какая хозяйка в Явасе пускает приехавших «на свиданку» — койки стоят, и берет тот же полтинник с человека, как и в Доме приезжих. Но мы предпочитаем Дом приезжих — чисто, вода из крана, сами себе хозяева. И где столовая, и магазин, и аптека; и штаб лагеря, вахта, управление, и сержант Аня — здоровенная девка:

– Давайте заявление, ждите ответа.

– Оставьте все продукты и вещи, кормить на свидании не положено.

– Ничего не передавать.

– Говорить только на русском языке.

– Стихи на свидании читать нельзя. Не положено.

– При первом замечании свидание прекращается.

Словом, все знакомое, все узнаем, вот только первомайские лозунги вблизи от зоны: «Сохраняйте и умножайте наследие старших поколений» и т.д. Мимо управления, мимо этих лозунгов идет женщина средних лет, маленькая, измученный вид, согнулась, перегнулась — перетягивают чемодан и огромная сумка; а за ней худенький бледный испуганный мальчик, на вид лет семи (а я знаю, что ему одиннадцатый год), обхватил обеими руками и тащит перед собой, не тащит, а толкает грудью и животом сетку, битком набитую, ручки связаны шнурком. У мальчика порок сердца, поэтому он такой щуплый: мать сама только оправилась после болезни. Идут к вахте — получили свидание. Мимо ско-

рым шагом спешат офицеры, солдаты, воспитатели, они, похоже, даже не видят женщину и ребенка, которых вот сейчас раздавят их узлы и чемоданы. Примелькалось, на всех на напасешься ни рук, ни сердца.

А нам на этот раз ехать дальше — семнадцатое, где Юлий, в 17-ти километрах от Яваса. Дорога уже подсохла, машины ходят, но нас никто не берет. Автобус везет детей из интерната домой на праздники (завтра — Пасха, послезавтра — Первомай) — с детьми не положено нам, зачумленным; еще одна машина — грузовик — тоже школьники, старшие классы, Санины ровесники. Место в кузове есть, но мы все равно остаемся — не положено. День к вечеру, завтра воскресенье, машин не будет... Еще один грузовик затормозил около нас. Мы покидали в него рюкзаки, сумку, бидон, сами влезли, поехали. Едем через Явас под периодически на каждой остановке (останавливаемся часто, непонятно зачем, может как раз для этого) истошный вопль экспедитора:

– Слезайте. Не положено. Не повезу. Здесь продукты, посылки, я отвечаю. Не положено.

Я решила — ни за что не слезу, пусть силой стаскивают. Что же мне делать — сутки ждем. Ни сегодня, ни завтра машин больше не будет. Слава Богу — едет экспедитор в кабине, и для того, чтобы поорать, ему приходится останавливать машину, выскакивать из кабины. И все-таки на краю Яваса пришлось слезать. Подошел подполковник в расстегнутом мундире, без фуражки, видно, увидел нас из окошка и вышел из-за праздничного стола, пригрозил шоферу, сначала зоной, потом — что права отберет.

– Не положено возить пассажиров, дорога, сам знаешь, какая, машина не оборудована (из Озерного нас везли обратно на такой же в точности машине, чуть ли не на той же, да еще и в сопровождении офицеров, лишь бы скорее уезжали, не мозолили глаза, не шатались около зон). Слезли, пошли пешком.

Озерное — идиллическая деревня после Яваса — столицы Дубровлага. На въезде речка, заиленная, мостик через речку, кругом необыкновенной красоты лес (и вся дорога лесом — березовая роща, а больше сосны, высокие, мачтовые). Деревенька на одну улицу. Начинается улица с зон: справа — женская рабочая, слева — женская жилая. Забор с проволокой, беленый домик, за палисадником — вахта, здесь же комната для свидания (для женской зоны), комнатка для ожидающих свидания. Все какое-то не серьезное, по сравнению с Явасом: забор ветхий, один всего, вышечки пониже, ворота поплоше. Переход из рабочей зоны в жилую — без колючей проволоки, просто открываются ворота, одна за другой выходят женские бригады, плетутся через дорогу, выстраиваются, скорее толпятся около забора: один часовой у одних ворот, другой — у других, без собак. Когда выйдут все бригады — откроются другие ворота, впустят женщин. Но вид у них! Стыдно глаза поднять. Прохожу мимо, опустив голову. На ногах бахилы, грубые, уродливые, тяжелые, как гири. День был жаркий, поэтому многие без чулок, и вот эти пудовые ботинки на голых женских ногах. Платья форменные, черные или серые, тоже уродливые с жалкой потугой на кокетство: на серых юбках украшения — черная полоса по подолу. Лица черные от пыли, волосы тусклые, пыльные: некоторые женщины подвиты, подкрашены; это еще страшнее с этими запыленными пылью лицами, казенными платьями...

Но, тем не менее, идиллия. Дежурный солдат на вахте сидит, на крыльце,

на табуретке: на дороге, в пыли копошатся дети, прыгают по крыльцу вахты. Солдат заговаривает с малышом, играет с ним. В обыкновенном сельском магазине — очередь (колбасу привезли к празднику) — тетки пересказывают сплетни, утихомиривают детишек:

– Сиди тихо, а то в зону отдам.

Смена караула на этой деревенской улочке, около беленького домика с палисадником, выглядит не настоящей, опереточной — нелепый ритуал среди теток и ребятишек, лица у исполнителей серьезные, как полагается по ритуалу, но, кажется, что им самим неловко играть в эту игру. Наверное, только кажется, что неловко — давно привыкли.

Мы приехали на личное свидание. 26-го мне из КГБ позвонил полковник Бардин и сказал, что можно ехать, свидание разрешено.

Мои подруги занимали деньги, весь день бегали по магазинам, добывали что получше, попитательнее, другие стояли у плиты — жарили, варили, пекли: ведь только раз в год личное свидание. Собрали, снарядили, купили билеты на поезд. У нас два тяжеленных рюкзака с продуктами, сумка с книгами, бульон в бидоне — начинает уж подкисать, ведь двое суток, как из дома. Если даже нам дадут трое суток — максимальный срок свидания — нам втроем не съесть весь наш харч: но не только мы — все, кто едет на свидание, берут побольше, чтобы лучше «подкормить своего», хоть эти три дня за целый год, а вдруг упрошу надзирателя, чтобы разрешил взять после свидания хоть кусочек колбасы, хоть полкило сахара, или два-три яблока, или чеснок, или лук, или папиросы, или табак... Вот и набираешь столько, что не поднять (деньги наодалживаешь у родни, у знакомых — ведь раз только в год), и потом везешь половину обратно: что попортится — стухнет — выбрасываешь; а через год снова набираешь мешок под завязку — а вдруг на этот раз окажется «добрый» надзиратель, или разрешит передачу, хоть и «не положено», а вдруг все-таки...

Вместо трех суток, хотя бы суток, полсуток, нам дают один час свидания в присутствии надзирателя. Офицер, начальник отряда, сообщает это не сразу, так, что до самого свидания остается надежда, хотя бы на сутки, пусть сутки с выводом на работу, пусть полсуток с выводом, только бы без надзирателя. Прямо перед самым свиданием «Один час общего». — Ничего с собой не берите, кормить на свидании не положено.

Мы все-таки берем, не можем не взять: пакет с папиросами, четыре апельсина, по одному на каждый карман, сто граммов сыра.

Мужская зона посолиднее женской, забор поновее, колючки заметнее, вышки повыше. И все равно одиннадцатый в Явасе — равелин, крепость по сравнению с 17-м. Впечатление сразу меняется, как только попадаешь на вахту. Двери с засовами, которые снаружи никто не откроет, толстый железный прут выдвигает и задвигает дежурный из своей дежурки. Одна дверь открывается, делаешь всего один шаг, и перед тобой другая дверь с таким же железным прутом. Сколько таких дверей, не помню, много. В какой-то момент перед тобой открывается зона — слева жилая, справа — рабочая, между ними несколько рядов колючей проволоки, настоящей, высоко и всерьез натянутой. И внутри, вдоль забора, ряд колючки, запретка, вспаханная полоса. Все, оказывается, вполне основательно и серьезно внутри, только снаружи не видно.

За час, конечно, ни о чем не поговоришь. С самого начала с напряжением ждешь, что вот сейчас надзиратель скажет:

– Ну, будем заканчивать.

Все, о чем заранее думала, из головы вон и не к месту, ведь когда я запоминала по дороге, о чем рассказать, я рассчитывала хотя бы на сутки. За час надо успеть сказать что-то главное, а что? Соображать, отбирать некогда, сейчас конец.

– Санька тебя перерос, смотри.

– Ты здорова?

– А ты себя как чувствуешь? Как рука? Как ухо?

Вид у Юлия скверный, очень скверный, не столько истощенный, сколько больной.

– С ухом глухо, гной течет, каждый день головные боли, в цехе шум, вибрация. 15 минут поработаю — приходится выходит на воздух.

– А врач?

– Год назад заявил о болезни, здесь делали несколько заявлений.

Но все это без толку...

– Как кормежка?

(Пауза.)

– На ларек я не зарабатываю, так что, сами понимаете.

Еще несколько фраз о друзьях, как кто.

На воле не на том акцентируется внимание, дело не в частностях, не только в судьбе Юлия Даниэля. Просьбы об уступках и послаблениях практически бессмысленны. В лагере есть люди, что по полтыщи разных бумаг написали, на этом можно свихнуться...

– Заканчивайте свидание.

Да, я позабыла сказать: мне разрешили взять на свидание пачку «Беломора». Пакет пришлось оставить в первой комнате. Апельсины у нас в карманах — на этот раз нас почему-то не обыскивали перед свиданием. Я прошу надзирателя:

– Можно отдать мужу папиросы?

И хоть я не первый раз, хоть каждый раз одинаково, но он не сказал, что нельзя, и вот уже начинаешь надеяться, что разрешит (а это, очевидно, всего-навсего отработанный прием: сказать, что нельзя, — а вдруг женщина начнет здесь плакать, просить, истерика, а надо, чтобы она двинулась к выходу). В первой комнате снова спрашиваю:

– Ну, можно папиросы?

И, не дождавшись ответа, мы с Саней вынимаем наши четыре апельсина и кладем на стул, рядом с пакетом.

– Нельзя, не разрешается.

– Ну, хотя бы апельсины только...

– Не разрешается.

Юлий говорит:

– Не надо, не разрешит.

Но я не могу, а вдруг, человек же он, ничего ему не будет, если позволит.

– Ну, хотя бы еще пачку папирос.

– Ладно, положите, остальное заберите с собой.

И когда пакет уже у нас в руках, берет отложенную пачку и сует мне в руки:

– Заберите, не положено.

Свидание наше кончилось, мы еще не поняли этого, еще до сознания не дошло, что теперь надо уезжать, увидимся через четыре месяца, если разрешат. А «положенного» личного свидания в этом году не будет, через год, может быть, разрешат. В этот день мы не уехали — ночь, машин нет. Переночевали в комнате для ожидающих свидания — лампочки в ней нет; темно, воды нет (зато еды у нас избыток, часть приходится сразу выбросить — испортилась). С нами ночевала Ира Ронкина — ей разрешили личное свидание с Валерием — сутки с выводом на работу. И вывели, хотя в этот день вторая смена не работала, ну, увели в жилую зону, не все ли равно, лишь бы не дать лишнего часа. Формально — свидание на сутки, фактически — две трети суток, а жаловаться не приходится, все по правилам. На самом деле и Ронкиным, и нам спокойно могли дать трое суток, работа от этого не пострадала бы: завтра воскресенье, потом два дня праздники, никто не работает. Но дело не в работе, свидания с родными — это мера «воспитания», мера воздействия, так же, как ларек, передача. Заключенного можно всего этого лишить (профессиональный жаргон: «ларьком лишен» — «личным свиданием лишен»). Сократить свидание, не разрешить посылку могут даже не в наказание за проступок, а просто не поощрить в виду отсутствия запрограммированных добрых деяний — особого усердия в отношениях с начальством, посещения политзанятий (уровень этих занятий — политпрофилакторий для малограмотных), участие в так называемой общественной жизни лагеря...

Итак, мы с Ирой Ронкиной ночуем в Озерном. Из происшествий этой ночи: нам не разрешили пойти в уборную — ночью нельзя ходить около зоны (а здесь все «около»), — к тому же будочка в палисаднике для служебного пользования, «не положено», «порядка не понимаете», «а то часовой с вышки как шарахнет».

На другой день я все-таки подаю заявления: о личном свидании и о передаче. Начальник лагпункта сообщает мне, что Даниэль «личным свиданием лишен». Я прошу написать отрицательную резолюцию на моих заявлениях, но и это, оказывается, «не положено». Сказано — и довольно, получили час — уезжайте: никаких объяснений, ничего. Целый день ушел на то, чтобы получить официальный письменный ответ на заявления. Я просто сказала, что не уеду без этого.

– Так что, милицию вызывать?

– Вызывайте милицию, я не уеду без ответа.

Мы относили заявления на вахту, нам их возвращали, потом перестали принимать вообще: — Не велено.

Все-таки во второй половине дня мне принесли ответ (привожу его здесь, сохраняя орфографию подлинника):

«Гр-ка Богораз-Брухман.

Выше заявление рассмотрено. Личное свидание с вашим мужем Даниэль не положено. Нач., дата (С кем я ни говорила — это первый случай письменного отказа: обычно просто говорят «не положено»). После этого нам дали персональный грузовик, и через 10 минут ни вышек, ни забора, ни беленых бараков за забором, в два ряда — лес до самого Яваса.

Это внешние, заочные впечатления; деревня в лесу, зоны — рабочая, жилая, женская, мужская; дежурный на вахте играет с ребенком; ночью в убор-

ную не ходить — «часовой как шарахнет»; один час свидания, «на зону не смотреть, не положено» (это нам сказал солдат, щелкая затвором за нашими спинами — пугая); «сиди тихо, а то в зону отдам»...

Но я не только вышками любовалась да беседовала со стражниками разных рангов. Вот что мне стало известно о том, что внутри. Заключенных мужчин привезли в Озерное под Новый год.

Большая часть — старики; инвалиды. Работа легкая — швейные цеха, шить рукавицы. Правда, полезная профессия швеи-мотористски — третья специальность, которой Даниэлю предложили овладеть. Год назад он был грузчиком, потом работал на шинорезном станке. Ничего, как известно, «не умеешь — научим»... Норма — сшить 17 пар рукавиц за смену. На «вольном» предприятии норма в аналогичных условиях 17-25 пар. Таким образом, основания для всяких «лишений» заведомо обеспечены: невыполнение нормы. Использовать этот довод или нет — это во власти администрации, смотря по поведению.

Свитеры, которые носили в 11-м заключенные, на 17-м отобрали — по инструкции не положены, есть форменная одежда — куртка х/б, для морозов — ватник. В цехах температура — 0 градусов и ниже. Да, это недочет, администрация не смогла подготовить зону, претензии заключенных на этот счет обоснованы, но свитеры все равно не разрешили.

Инструкция требует, чтобы рапортовали: «Заключенный такой-то». Несколько человек рапортовали: «Политзаключенный такой-то». «Вы не политзаключенные, вы уголовники, и мы вам это покажем». И стали показывать. Л. Рендель нес ужин из столовой в барак — там лежали два больных с высокой температурой, на улице −10. Наткнулся на надзирателя:

– В барак пищу носить нельзя, пусть идут в столовую, подумаешь, больные, в 39 году и не с такой температурой ходили.

Ренделя лишили ларька на два месяца.

С. Машков в рабочей зоне читал журнал — смена закончилась, развод задержался.

– Рукавицы надо шить, а не политикой заниматься (журнал «Мировая экономика»), норму не выполняете. — Машков лишен ларька. Ю. Даниэль стоял и курил. Мимо проходил какой-то чин, приезжий из Яваса. — Опустите руки, станьте смирно.

Даниэль отказался стать на вытяжку — лишен личного свидания. В. Ронкин не встал в 6 часов утра, когда работал в вечернюю смену (подъем вечерней смены во все дни, кроме понедельника в 9, а это был понедельник) — лишен общего свидания.

И так далее, и тому подобное. Конечно, инструкцией предусмотрены и другие наказания, кроме лишения того, сего: штрафной изолятор, БУР. Пока эти воспитательные меры не применялись, администрация не подготовила не только цехи, но и соответствующие инструкциям штрафные помещения. В лагере строгого режима изолятор должен быть каменным, в деревянном не те условия, но это все еще впереди. Вот не сможет Даниэль из-за головных болей работать, откажется — отказчику положен БУР. Голова болит, хроническое воспаление среднего уха. То у него рука ранена, то ухо болит, это все не иначе, как симуляция.

Врача и для более тяжелых случаев нет — заключенный с инфарктом про-

лежал неделю в бараке без врача, то же с кровохарканьем. Только после жалобы заключенных прокурору больного увезли в больницу.

Норма питания заключенных установлена специальной инструкцией: 2400 кал. В день. В специальных таблицах указана самая низкая норма для взрослого человека — 3200 калорий, это жизненный минимум. А две недели назад норму (которая и в мировых стандартах проходит в графе «недоедание») снизили, теперь — 1700 кал. — «голодание». Да, но ведь ларек есть, докупай себе до нормы. В ларьке лагеря строгого режима запрещены мясные консервы, масло, сахар: плати денежки за борщ консервированный, компот яблочный и т.п. На много ли борщей хватит полагающейся в лагере пятерки в месяц? Все уйдет на одно курево. Это раз. Другое — на рукавицах на ларек не заработаешь, а эта самая пятерка — только из заработка, если останется после вычетов: 50% на содержание лагеря, МООП, охраны. 13 рублей за питание, еще сколько-нибудь за одежду (в рассрочку!). Пятерки ни у кого не остается, разве что в прошлом году на 11-м заработали, и с тех пор сколько-нибудь рублей, хоть 20-25 сохранилось на личном счету. Тоже, правда, ненадолго хватит. Вот тут его, голубчика, и «лишить ларьком», в самый раз будет.

А качество этих самых калорий! Я видела капусту, которую везли в зону: сразу не поймешь, что это, кочаны черные, мерзлые (это было зимой), оттают — будет кисель. Полагающееся по норме мясо — кости, жилы, пленка; в котел его, может, и закладывают, а в индивидуальной баланде — не ищи. Сахару — 15 гр. В день, хлеба — 700 граммов, только черный, сырой, тяжелый. Ну, а о штрафном пайке в карцере или в БУРе что и говорить.

Продуктовые посылки или передачи (3 раза в год не больше 5 кг вместе с тарой, если на 50 гр. больше — вернут) администрация лагеря может разрешить только после половины срока. У кого это 10 лет — 5 лет без посылки; у Андрея Синявского — 7 лет, полтора отсидел — до первой посылки теперь осталось два года, а Юлию — всего год. Могут разрешить, но ведь могут и не разрешить, «лишить посылкой». Вот и лишают. Основание есть всегда — невыполнение нормы. У Ренделя кончается десятилетний срок, посылки ему постоянно «не положены» — норму не выполняет. И не может выполнить: кроме того, что на рукавицах это в принципе невозможно, у Ренделя общее истощение, диагностируемое даже лагерным врачом. Я знаю людей, которые отбыли свой срок от звонка до звонка, кто 5 лет, кто — 6, кто — 17 — ни разу не получив разрешения на посылку. Эти 5 кг продуктов раз в 4 месяца используются, как кусочек сахара в дрессировке: «Послужи, Жучка». Для здоровья и физического развития организована физзарядка: массовые спортивные мероприятия, кросс, например; для ума и сердца — политзанятия. И то, и другое, и третье — сугубо добровольно, никакого принуждения, не хочешь — не ходи. Но посылку, ларек тогда не проси. И вот зарядка: старики, инвалиды, с палочкой, освобожденные даже от работы, выходят, машут руками, бегут на месте, приседают, некоторые палочкой сзади подпираются, чтобы не упасть. За посылку, чтобы разрешили. В кроссе бегут. В здоровом теле — здоровый дух.

Трудно даже понять, что это — особая какая-то изощренность, извращенность, природная или выработанная службой жестокость, просто отсутствие души, убыла постепенно в соответствии с инструкцией.

В лагере жили несколько кошек. Их там любят, заботятся о них. Некоторые так привязываются, что перетаскивают с собой тайком в чемодане из лагеря в лагерь. Приказано выловить в зоне всех кошек. И вот надзиратели гоняются за кошками по всей зоне, поймают — за лапы, за хвост, и головой об столб...

В Явасе, в 11-м лагеротделении, все выглядит иначе. Спортивное поле, березовая аллея, бараки живописно разбросаны по территории лагеря, двухъярусные койки с сетками (в 17-м — нары), нет непрерывных окриков, дерганья: «Стоять смирно, лишить тем-то и тем-то». Правда, Юлию и там пришлось круто: и из бригады в бригаду перебрасывали, не давая освоиться с работой, и с лагерной «медициной» познакомился: «к врачу только на носилках и без сознания, если полбашки снесет, и не спросясь доставят» (лагерная поговорка), и в карцере отсидел месяц — так карцер, как полагается, каменный, там все всерьез. Но в 11-м это именно к нему, к Юлию и еще к некоторым отдельным заключенным, то к одному, то к другому применялся индивидуальный подход. А в общем — не так цепляются, не поминутно дергают. Администрация там, надзиратели человечнее, что ли. Или начальство сдерживает административный восторг — все же рядом управление Дубровлага. Скорее всего, дело в том, что в 11-м около 2000 политзаключенных, много молодежи: свяжись с ними — не обрадуешься. Посадили Даниэля в карцер — несправедливость, письменные протесты; голодно — кто из передачи поделится, кто со «свиданки» ухитрится сахару пронести. Юлия оберегали, помогали ему — общительный человек, ко всем доброжелателен, чужую беду принимает, как свою. Так что индивидуальный подход к нему не очень-то получился: поэтому наверное, и перевели в Озерное.

А в Озерном, в 17-м — 250 человек всего, все больше старички, инвалиды, религиозники, «непротивленцы», молодых человек 20 всего. Что стоит их всех в бараний рог скрутить: надо будет — и в БУР упрячут всех этих, и в тюрьму, во Владимир. Не две тысячи, два десятка всего. Вот и вся разница. А в принципе то же самое. «Посылку разрешим, если не будешь делиться с товарищами; зачем ему друзья, зачем политика, у него язва, пусть о здоровьи подумает. Не может не поделиться? Знаете посылка ему не положена» — это на первом, в Сосновке, жене Иоффе на свидании. Тоне Шевчук на 11-м: «Вот, пусть муж с нами сотрудничает, пусть хоть в лагерную газету пишет; товарищи тогда от него сами отвернутся, зачем они ему. Он из-за них в лагерь попал, а так парень хороший». И тоже: «Разговаривать на свидании только на русском языке», — а в лагере украинцы, литовцы, эстонцы, грузины, латыши, казахи, кого только нет. Кошек, кажется, не уничтожили, но паек урезан повсеместно...

Вернувшись из Озерного в Москву, я позвонила полковнику КГБ М.И. Бардину, который, как я уже говорила, любезно сообщил мне о том, что мне разрешено личное свидание. Может быть, думаю, здесь не знают о перевоспитании голодом, о моральных и нравственных унижениях, о прямых нарушениях законности, о фактическом отсутствии медицинской помощи. Да ведь и в кодексе записано, что лишение свободы не должно сопровождаться физическими лишениями и унижением человеческого достоинства заключенных. Не может быть, чтобы знали — ну, людей не пожалели бы, так за родину свою стыдно, за себя боязно — ведь и эта тайна выплывет когда-нибудь.

М.И. сообщил мне, что положение в лагере ему известно, что все, что там происходит — в рамках инструкции, никаких нарушений нет. — Возможно. Я, естественно, установленных порядков не знаю, они секретные, тогда, значит, эти правила нехороши. В результате мой муж, возможно, вернется оттуда инвалидом, если вернется.

– Это от него зависит, пусть переменит позицию, а Вам советую никому ничего не рассказывать. Вот на днях в газете появится статья, там все будет рассказано о лагерях...

– Я ни черточки не прибавляю, я рассказываю только то, что сама видела, что знает Юлий Даниэль. Множество людей подтвердят любую деталь из моего рассказа.

– А я считаю, что они находятся в чересчур мягких условиях, слишком много у них свободы. Вот ваш муж и не меняет позиции. Надо будет создать ему более жесткие условия.

Полковнику КГБ М.И. Бардину не понять никогда, что никакие «меры воздействия» — голод, БУР, тюрьма и т.д. не заставят Даниэля забыть, что он человек. Страдания от болезни, от голода не могут сравниться с тем, что переживает обыкновенный человек не из породы охранников, видя приседающих на «зарядке» инвалидов, надзирателя, который убивает кошку, беззащитную тварь, слыша грубые окрики: это заключенных гонят на политзанятия — сегодня лекция о гуманизме.

Богораз-Брухман

Источник: самиздатская рукопись.

Мороз
Валентин Яковлевич

(Род. 1936)



Историк, поэт, прозаик.

Родился в деревне на Западной Украине в 1936 г. Закончил истфак Львовского университета, работал учителем. Писал стихи, распространявшиеся в Самиздате. Участник украинского национально-демократического движения. В 1965 г. арестован и приговорен к 4 годам лагеря. В 1969 г. ему пытались добавить срок за распространение «Репортажа из заповедника имени Берия», но тогда его авторство доказать не удалось. После освобождения Мороз продолжал писать стихи и статьи для Самиздата. В 1970 г. вновь арестован. Поводом к повторному аресту послужили написанные и распространявшиеся им произведения «Датан и Моисей», «Среди снегов», «Хроника сопротивления», «Я видел Магомета» и снова «Репортаж из заповедника имени Берия». Мороз был приговорен к 6 годам тюрьмы, 3 — лагеря и 5 годам ссылки. Суровый приговор Морозу вызвал многочисленные и очень резкие протесты участников украинского национального движения.

В 1979 г. Валентина Мороза обменяли на американских разведчиков. В настоящее время живет в США, активист украинских националистических организаций за границей.

Наиболее широко известная работа В. Мороза — «Репортаж из заповедника имени Берия» — распространялась в Самиздате, опубликована в американском «Новом журнале» в 1969 г. На родине опубликована в 1997 г. в сборнике «Самиздат века».

РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАПОВЕДНИКА ИМЕНИ БЕРИЯ

Депутатам Верховного Совета УССР. От политического заключенного МОРОЗА Валентина Федоровича (Мордовская АССР, ст. Потьма, п/о Явас, п/я 385/11).

Погоня кончилась. Беглец вышел из кустов: «Сдаюсь, не стреляйте! Оружия не имею!». Преследователь подошел почти вплотную, деловито оттянув затвор автомата, и одну за другой всадил три пули в живую мишень. Раздались еще выстрелы: это два других беглеца, которые тоже сдались, были расстреляны. Тела вынесли на шоссе. Овчарки лизали кровь. Как всегда, жертвы были привезены и брошены у ворот лагеря, на страх другим. И вдруг трупы зашевелились: двое были живые. А стрелять уже невозможно: вокруг люди.

Это не начало детективного романа. Это не история о беглецах из Бухенвальда или с Колымы. Это случилось в сентябре 1956 г., уже после того, как XX съезд осудил культ личности, а критика сталинских преступлений шла пол-

ным ходом. Все написанное здесь может подтвердить Альгирдас Петрисявичус, который находится в лагере № 11 в Мордовии. Такие случаи были будничным явлением.

Неширокой полосой вытянулась с запада на восток зеленая Мордовия. Зеленая на карте, зеленая в действительности. Посреди славянского моря — островок звучных мордовских названий: Виндрой, Явас, Потьма, Лямбир. В северо-западном углу — Мордовский государственный заповедник. Здесь царит закон, охота строго запрещена. Но есть еще одна охота, не обозначенная ни на каких картах, где охотиться можно круглый год. На людей.

Если бы составить точную карту Мордовии, северо-западный угол ее пришлось бы разделить на квадраты, разгороженные колючей проволокой и усеянные сторожевыми вышками. Это мордовские политические лагери — край колючей проволоки, овчарок и охоты на людей. Здесь, среди колючей проволоки, вырастают дети. Их родители после службы косят сено и копают картофель. «Папа, был шпион? А что ты нашел?» Затем они подрастут и усвоят первую житейскую мудрость этих краев: «Лагерь — это хлеб». За пойманного беглеца выдают пуд муки. В альдановских лагерях было проще: якут приносил голову и получал порох, соль, водку. Как у даяков острова Борнео. Только голову приносили не вождю, обвешанному монистами из человеческих зубов, а майору или капитану, который учился заочно в университете и читал лекции о законности. В Мордовии от такой традиции пришлось отказаться: слишком близко Москва. Попадет чего доброго такой трофей в руки иностранного корреспондента — попробуй доказать, что это фальшивка, выдуманная желтой прессой.

Трех литовцев расстреляли, хотя они не были присуждены к расстрелу. Ст. 183 УК позволяет карать за побег тремя годами заключения, а ст. 22 УК УССР даже запрещает «причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство» заключенных. Суд Литовской ССР (суверенного, согласно конституции, государства) разрешил кагебистам содержать их в изоляции — не больше.

Украина — тоже суверенное, согласно конституции, государство, которое имеет даже представительство в ООН. Ее суды осуждают тысячи украинских граждан и высылают их... за границу. Небывалый в истории прецедент: государство высылает заключенных за границу. Может быть, на Украине нет места для лагерей, как в княжестве Монако? Но ведь находится место для миллионов русских переселенцев — а вот для политзаключенных украинцев нет места на родной земле. Тысячи украинцев увезли на восток — и их проглотила неизвестность. Проглотили подвалы Соловков, пески Мангышлака, затем «сталинские стройки» — пирамиды XX века, проглотившие миллионы рабов.

Уровень цивилизованности общества определяется тем, как оно заботится о судьбах своих граждан. Катастрофа в бельгийской шахте засыпала несколько десятков итальянцев-эмигрантов. Италия вспыхнула протестами, посыпались правительственные ноты, парламентские запросы. На Украине тоже есть парламент — Верховный Совет УССР. Я не знаю, есть ли там люди, которые помнят о своем праве делать запросы правительству. Я не знаю, помнят ли эти люди о каких-нибудь правах депутата, кроме права поднимать руку при голосовании. Но я знаю, что Верховный Совет УССР, согласно конституции, высшая власть на Украине. Она поручила одной из подчиненных инстанций —

КГБ — арестовывать, судить и распоряжаться дальнейшей судьбой обвиненных в «антисоветской деятельности».

Давайте, уважаемые депутаты Украинского Парламента, хоть раз отложим в сторону разговоры о свиноматках, о бетономешалках и о народнохозяйственном эффекте использования суперфосфата. Пусть эти проблемы решают специалисты. Давайте хоть раз оставим страны Сладкой Зевоты, переселимся в Мордовию и разберемся: а) кто эти люди, вырванные из нормальной жизни и отданные в безраздельное распоряжение кагебистов; б) кому препоручили судьбу этих людей.

В 1958 г. преподаватель философии Фрунзенского мединститута Махмуд Кульмагамбитов (находится в лагере № 11) принес в ректорат заявление: прошу дать расчет. Причина? Несогласие с программой преподавания. Это восприняли как сенсацию. Табун карьеристов, которые наперегонки проталкивались к корыту, бросили под ноги совесть, достоинство, убеждения, лишь бы взобраться выше и перехватить у соседа добычу, никак не могли понять: как это человек может отказаться от 1200 рублей только потому, что у него изменились взгляды? Кульмагамбитов стал рабочим. И вот в 1962 г. его арестовали. Суд в Кустанае приговорил его к семи годам заключения и трем годам ссылки за «антисоветскую деятельность». В чем же она проявилась? Главным свидетелем обвинения был начальник отдела кадров треста «Соколоврудстрой» Махмудов. Единственное, что он мог сказать в суде, были слова Кульмагамбитова: «Не хочу преподавать то, во что не верю». Так ответил тот на вопрос: «Почему вы не работаете по специальности?» Другие обвинения были такие же. Да и следователь признался: «Вообще-то тебя судить не за что, но у тебя опасный образ мыслей». Случай типичный, будничный в практике КГБ. Не уникальный по откровенности произвола. Как правило, кагебисты стремятся создать хотя бы видимость «антисоветской деятельности». Но здесь, в далекой провинции, даже это не посчитали необходимым сделать и признали, что Кульмагамбитов был осужден за взгляды. Тысячи и тысячи людей судят по этой схеме, хотя «обыгрывают» дело тоньше. Статья 125 Конституции СССР провозглашает свободу слова, печати, манифестаций и организаций. Статья 19 Декларации прав человека, принятой ООН, говорит о «свободе искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Таким образом, статья 62 УК УССР есть не что иное, как нарушение вышеуказанных законов. Формулировка «агитация или пропаганда, проводимая с целью подрыва или ослабления советской власти», в условиях, когда кагебисты сами определяют степень «подрывности» материала, служит неограниченному произволу.

Я и мои товарищи осуждены за «пропаганду, направленную на отделение Украины от СССР». Но статья 17 Конституции СССР ясно говорит о праве каждой республики выйти из состава СССР. Право каждого народа на отделение зафиксировано в Пакте о гражданских и политических правах человека, принятом 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

КГБ очень любит словосочетание «националистическая литература». Но что значит это выражение и где критерий определения «националистическая»? Еще недавно произведения Олеся, Гринченко, Зерова считались «националистическими» — теперь они уже не националистические. Мыши еще не изгрызли брошюр, в которых «теоретики» типа Маланчука называли Грушевского

«злейшим врагом украинского народа», а «Украинский историчный журнал», 1966, № 11, считает, что это ученый «с мировым именем» и цитирует правительственное постановление, где говорится о заслугах Грушевского перед Украиной. Произведения Грушевского и Винниченко готовятся к печати. Где же все-таки критерий?

В том-то и дело, что никакого критерия, опирающегося на фундамент логики, у кагебистов не было и нет. Они пользуются старой сталинской линией по отношению к украинской культуре: «Дави, что можешь и не можешь».

Можно сделать вывод: люди, осужденные за антисоветскую агитацию и пропаганду, — это инакомыслящие либо просто мыслящие, духовный мир которых не поместился в прокрустово ложе сталинских стандартов, старательно охраняемых кагебистами. Это те, кто решился воспользоваться правами, провозглашенными конституцией, кто повысил голос против позорного засилья КГБ, против нарушения конституции. Это те, кто не может усвоить рабскую мудрость с двойным дном, которая велит слова конституции «право на выход Украины из СССР» читать: «молчи, покуда цел». Разберемся теперь, кому отдана монополия «перевоспитывать» нестандартных.

<...>

«Сталин был — так порядок был»

Эти слова капитана Володина, сказанные им на допросе Масютко во Львове, дают больше, чем целые тома, для уяснения генезиса КГБ и роли, исполняемой им теперь.

Порядок бывает разный. Когда весной пробуждаются реки и несут на себе хаос ледяных обломков — это не что иное, как порядок, четкая закономерность, без которой невозможен дальнейший ход жизни. И бывает порядок кладбищенского покоя, достигнутый ценой умерщвления всего живого. Так и в обществе: бывает стабилизация, достигнутая благодаря гармоническому уравновешиванию всех общественных сил и факторов, и есть «порядок», зиждящийся на их уничтожении. Такого порядка достичь нетрудно, однако уровень зрелости народа измеряется не им, а умением достичь общественной стабилизации, оставляя при этом максимальный простор для творческой деятельности индивидуума, которая является единственной силой прогресса. История прогресса — это история развития личности. Так называемая масса ничего не создает — это строительный материал для истории. «Все достигнутое деятельностью разума должно созидаться в голове отдельного человека... Только возбуждение низшей неразвитой степени, которое можно вообще назвать настроениями, возникает, как эпидемии, одновременно у многих личностей и находится в соответствии с умственным обликом народа. Умственные завоевания — дело отдельных личностей» (Рацель).

Возникновение нового (прогресс) возможно лишь как переход через существующую норму, как появление ранее не существовавшего. Сама природа творчества зиждется на небывалом, на неповторимости, а носителем последней является индивидуум. Каждое индивидуальное состояние охватывает одну грань всеобъемлющего, безграничного бытия. Грань неповторимую, которую может

отразить только эта личность, и никакая иная. Чем больше этих граней, тем более полную картину мира мы имеем. В этом заключается ценность личности; с исчезновением каждой индивидуальной точки зрения безвозвратно теряется одна из возможностей, а в миллионногранной мозаике человеческого духа перестает сиять еще одна грань.

В обществе были и будут силы, которым невыгодно развитие, для которых сохранение статус-кво является гарантией сохранения их привилегий. (Яркий пример — Сталин в прошлом и сталинисты, пережившие его). Однако время не стоит на месте, сегодня через 24 часа превращается во вчера — и силы, противящиеся изменениям, всегда защищают вчерашний день. Но кто же признается, что он идет против течения могучей реки, называемой историей? Поэтому все стандартизаторы на разных уровнях повторяли одно: «изменения разрушают порядок, разрушают общество». А поскольку зерно всякого изменения скрывается в неповторимости индивидуума, в первую очередь старались стандартизировать его, убить в нем оригинальность. Полностью достичь этого невозможно. Однако степень стандартизации индивидуума всегда была мерилом мощности тормоза, находящегося в распоряжении сил застоя.

Но вся суть в том, что изменения разрушают отнюдь не общество, а только те общественные нормы, которые устарели и стали тормозом. Противопоставлять эволюцию традиции — недопустимо. Эволюция — не отрицание традиции, а ее естественное продолжение, живой сок, не дающий ей окостенеть.

<...>

Как принудить современного художника, которому капрал-деспот представляется просто неполноценным существом, исполнять танец с боевым топором перед его троном?

Хрущев никого не боготворил, он даже был у людей посмешищем — и все же на одно мановение его пальца бежали десятки холуев и напрягалась система «рычагов». Как это удавалось? Очень просто. Когда боготворение проходит, в силу вступает грубое принуждение. Только принуждением можно заставить современного человека терпеть деспота. Чем больше общество по мере развития в нем личности противится попыткам закрепощения, тем больше усилий должна мобилизовать деспотия, чтобы удерживать на поверхности нормы, раньше существовавшие «по инерции»; наконец, она теряет черты патриархальности и превращается в спрута, сковывающего малейшие движения общественного организма. В XX веке появляется неслыханная прежде практика контроля за всеми проявлениями общественной жизни, в том числе даже семейной. Весь жизненный путь человека — от колыбели до гроба — находится под контролем. Стандартизуется даже отдых: уклонение от стандартного культпохода в музей отмечается подозрением. Деспотические формы становятся все более гнусными и вырождаются в Освенцимы. Некоторые люди склонны видеть в этом регресс, начало конца всего... В действительности же появление Освенцимов доказывает противоположное: деспотия перестает быть нормой человеческих взаимоотношений и вынуждена прилагать надрывные усилия, чтобы удержаться над пропастью.

Но даже при наибольшей стандартизации и контролируемости жизни деспот сталкивается с проблемой, которую невозможно разрешить чисто бюрок-

ратическим путем. Можно одеть людей в одинаковую серую одежду, настроить серых жилых домов, сжечь все книги, кроме официального талмуда, — и все же остается щелочка, сквозь которую просачивается пучок света, смертельный для деспотической гнили.

Остается духовный мир человека.

Капитан КГБ Казаков, присланный из Ивано-Франковска в Мордовию проверить, насколько я «перевоспитался» (то есть деградировал как личность), чистосердечно открылся мне: «Мы, к сожалению, не можем заглянуть, что у вас в голове. Вот если бы можно было собрать и выбросить (!!!) все, что мешает вам быть нормальным советским человеком, не нужно было бы столько разговаривать».

Действительно, это было бы очень выгодно: вынимать и вставлять мысль в человеческую голову, как элемент в электронную машину. Во-первых, так легко уничтожить всякое воспоминание о прошлом. Например, нужно начать кампанию осуждения культа Сталина — всем вставляют определенную программу, завтра ее вынимают — и о Сталине больше ни слова. Или: вышло постановление ликвидировать нации и национальные языки — маленькая процедура, и никаких тебе хлопот с такими непригодными для программирования вещами, как национальное достоинство, честь, стремление сберечь духовные и культурные ценности. Во-вторых, была бы гарантия, что нигде нет ничего неизвестного, неконтролируемого...

Но мысль не поймаешь и не посадишь за решетку. Ее даже не увидишь. Какой ужас: мысль, даже силой вложенная в человеческую голову, не лежит там до подходящего случая, как элемент в электронной машине, а растет, развивается (иногда в направлении, обратном запрограммированному), и установить контроль над этим процессом не может никакая аппаратура. Не один тиран пробуждался в холодном поту, парализованный сознанием своего бессилия остановить это невидимое, но беспрерывное движение в человеческих черепах. Страх перед этой никому не подвластной силой заставил Сталина провести конец жизни в добровольной тюрьме и сделал его маньяком.

Вот откуда желание изгнать Гомеров из общества, срезать лишние струны с лиры. Известна и неослабеваемая ненависть капралов к интеллектуалам, которые, даже будучи одеты в мундир солдата или в арестантские лохмотья, остаются нестандартизованными и неразминированными.

«Бойтесь, товарищи, тех, кто спрятал мысль свою за неясностью выражения. Там спрятана враждебная классовая сущность» (Покровский). Отсюда — тотальная борьба не только против инакомыслящих (о них и говорить нечего), но и против самомыслящих. Во время ареста у меня забрали стихотворение Драча «Сказка о крыльях». Я спросил: «В чем дело? Стихотворение напечатано, да и самого автора давно уже перестали ругать за «випрани штаны» и вдруг начали хвалить». Мне объяснили: ни к стихотворению, ни к его автору претензий нет, но стихотворение напечатано на машинке... по чьей-то собственной инициативе. И этот неизвестный тоже распространяет его — тоже по собственной инициативе. В этом опасный грех: человек «самостоятельно желает» и сам порождает мысли, а не пользуется указаниями и не берет мыслей готовых. Можно делать все, но только когда приказано. Пить можно только из одного для всех, строго контролируемого источника с дистиллированной водой. Все осталь-

ные нужно засыпать, если даже вода в них ничем не отличается. В 1964 году представитель Виленского КГБ, которому поручено фиксировать появление каждого мыслящего существа в местном пединституте и немедленно зажигать сигнальную лампочку тревоги, назойливо спрашивал меня: «Что за общество мыслящих людей?» Мысль о создании общества мыслящих людей была высказана в виде шутки в веселой компании, но кагебистов она взволновала не на шутку. Конституция дает право на создание обществ — это охранители нашей безопасности знают. Но при условии, если приказ о создании придет сверху. Тогда все в порядке — даже если бы это общество пыталось организовать землетрясение. Но если бы кто-то захотел создать самостоятельно даже общество по защите рогатого скота — этим делом, вне сомнения, занялись бы органы КГБ.

Так как же все-таки остановить это вечное самодвижение мысли в том случае, когда она осталась живой, пройдя все этапы стандартизации и стерилизации? Есть еще одно, последнее средство: заморозить. Заморозить ледяным ужасом. Построить громаднейший рефрижератор для человеческих умов. Расстрел через три дня после ареста. Загадочное исчезновение ночью; расстрел за невыполнение нормы; Колыма, с которой не возвращаются, — вот кирпичики, на которых Сталин построил свое царство ужаса. Ужас наполнил дни и ночи, ужас носился в воздухе, и одно воспоминание о нем парализовало мышление. Цель была достигнута: люди боялись мыслить, человеческий мозг перестал самостоятельно рождать критерии и нормы и считал нормальным принимать их готовыми. Деспотия начинает свое летосчисление с того времени, когда человек перестает воспринимать насилие над собой как зло и начинает принимать его как нормальное положение вещей («Начальство мутит. — Ну и что? На то оно и начальство, чтобы мутить»). Выросло поколение людей из страха, и на развалинах личности была воздвигнута империя винтиков.

Империя винтиков

Сталин не признавал кибернетики. И все же ему принадлежит в этой области выдающаяся заслуга: он изобрел запрограммированного человека. Сталин — творец винтика. Бывали случаи, когда, прочитав роман Солженицына, люди говорили: «Хочется забиться в уголок и ничем себя не проявлять». Нетрудно представить, насколько сильнее было это желание 20 лет тому назад, когда люди были очевидцами массовых расстрелов и других ужасов, когда вечером было неизвестно, где ты очутишься утром. Желание ничем не выделяться, втиснуться в массу, стать похожим на другого, чтобы не обратить на себя внимания, стало всеобщим. А это означало полную нивелировку личности.

<...>

Человек, лишенный умения самостоятельно различать добро и зло, становится овчаркой, которая зажигается гневом только по приказу и видит только то зло, на которое укажут. Винтик читал в газете о запрещении черным жить в Кейптауне или Иоганнесбурге, о запрещении африканцам жить в городах Южной Африки без пропусков — и считает это произволом. Но его замороженный ум не может сопоставить факты и прийти к выводу, что известная ему от

рождения прописка является таким же нарушением статьи 18 Декларации прав человека («Каждый человек имеет право проживать в пределах любого государства»), что в нашей действительности узаконена черта оседлости, и не для евреев, как некогда, а для всех. Тому, кто не родился в большом городе, отведено гетто для проживания, границы которого кончаются в пригородах Киева, Львова, Одессы. Винтик имеет гневные поэмы о Бухенвальде — это позволено. «Пеплом стали ваши сердца, но голос ваш не сгорел». А вот пепел жертв, истлевших в сибирских тундрах, не волнует винтиков. И было бы ошибкой усматривать здесь только страх — это уже черта характера.

Все осуждают преступления фашизма против еврейского населения. И преспокойно ходят по могильным плитам еврейских кладбищ, которыми выстелены тротуары многих городов. Тротуары вымостили немцы — это правда. Однако немцев давно нет, а по оскверненным именам умерших и до сих пор ходят во дворах львовской и ивано-франковской тюрем. Ходят доценты и кандидаты наук Ивано-Франковского пединститута. А если к этому времени кто-нибудь успел защитить докторскую диссертацию — то по человеческим именам ходят профессора. В институтском дворе до моего ареста лежала куча плит про запас. Их разбивали и использовали на хозяйственные нужды. Разбивали под аккомпанемент лекций по эстетике и философии. Так будет до тех пор, пока сверху не поступит приказ возмутиться варварством немцев и соорудить памятник из этих плит. А до этого их можно презирать.

<...>

В «Известиях» была «воспитательная статья» о кочегаре. Паровоз, который отвез поезд в Финляндию, на финской станции вышел из строя, и надо было гасить топку, чтобы отремонтировать его. Но кочегар решил «показать финнам работу» — произвести ремонт при непогашенной топке. То есть кочегар решил то, что ему «посоветовали» опекуны, старательно сопровождающие его за границей, чтобы не заблудиться. Газета забыла об этом написать. Как бы там ни было, топку не гасили, и кочегар произвел ремонт с риском для жизни. Финны были поражены, но не мужеством. Просто они впервые видели, как человек ценит свою жизнь дешевле центнера угля. Однако среди винтиков это считается героизмом.

Шагают бараны в ряд.
Бьют барабаны,
Шкуры для них дают
Сами бараны.

(Брехт)

Оргия на руинах личности

<...>

После проигранной войны с Японией в 1894 г. китайцы пришли к выводу, что причиной поражения была замена луков кремневыми ружьями. Им доказали, что причина — полное подавление личности, приведшее к застою в мате-

риальном производстве, однако показать им это, доказать с математической точностью никто не смог. Недаром Шоу писал: «...главный урок истории заключается в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков».

Да, извлечь урок из истории намного сложнее, чем из химии. Это всегда было деспотам на руку: они провозглашали себя авторами всех завоеваний общества, а своих противников — причиной всех зол. Не каждый поймет, что «порядок», установленный Сталиным десятки лет назад, и есть прямая причина современного бедлама в сельском хозяйстве, что «идейность», которой насильно пичкали людей десятилетиями, и есть причина пресловутой безыдейности современной молодежи.

Полную мертвенность сеет винтик и в морально-этической сфере. Если кто-нибудь считает столпотворение в Китае порождением фанатизма, а хунвейбинов — фанатиками, он допускает грубейшую ошибку. Во время похорон Сталина тысячеголовые стада толпились и протискивались к праху земного бога, раздавив при этом десятки более слабых, — и мир думал то же самое — фанатики. Но прошло три года. Забальзамированный труп далай-ламы сперва облили помоями, а затем и вовсе выбросили из мавзолея. И что же? Может быть, совершился бунт? Может быть, тысячи фанатиков оградили святого собственными телами? — Никто не тявкнул! Стадо потопталось на трупе вожака, а потом съело его останки. Те, кого принимали за фанатиков, преисполненных слепой преданности, оказались пустышками... Оказалось, что это просто роботы. Велено было любить и оплакивать Сталина — все нацепили траурные повязки. Их гнев, их горе, радость, энтузиазм — все было запрограммировано. И «гнев» против «предателя Тито», выражаемый общественностью на митингах сегодня, назавтра автоматически превращается в энтузиазм, а сама «общественность», аккуратно построенная штабелями вдоль шоссе от аэродрома к центру, будет послушно и даже искренне держать транспаранты и махать руками.

Так что напрасно старые, устроившись в удобных креслах, удивляются, откуда берутся молодые, у которых нет «ничего святого». Опыт со Сталиным показал, что и у старых не было ничего святого — просто они по свойственной им слепоте не замечали этого. «Молодые» же наконец заметили, что король голый. Это хорошо. Только тот, кто избавился от иллюзий и сумел увидеть разбитое корыто, начнет поиски новых ценностей.

<...>

В соединении с директивой винтик получает удивительное свойство умерщвлять все, к чему только не прикоснется. Скажут ему вступить в какое-то новообразованное общество защитников природы — он не откажется, и через месяц общество будет иметь столько членов, сколько есть винтиков, но природе от этого не станет легче. Общество мертворожденных. Винтика не затянешь к живой, полезной работе никаким поводом, как амебу: бесформенная скользкая масса без четко очерченных берегов протечет через любую сеть. Можно проводить самые дикие эксперименты, винтики молча примут их — и вот вырастают заводы в местах, куда запланировано подать энергию через 20 лет, или там, где для них нет сырья. Все производство обречено прозябать в состоянии полураспада.

Так на руинах личности строился и строится порядок, засевая землю мертвечиной. «Это хуже чумы. Чума убивает без разбора, а деспотизм выбирает свои жертвы из цвета нации», — писал Степняк-Кравчинский.

Дракон

Ледяной ужас, без которого нельзя построить империю винтиков, необходимо все время поддерживать. Лед не может существовать вечно в естественном состоянии, поэтому есть необходимость в специальном рефрижераторе. Его должен создавать каждый диктатор — для него это вопрос жизни и смерти. В сталинских владениях таким рефрижератором, который несколько десятилетий замораживает духовную жизнь общества, стало КГБ. Тотальное уничтожение мысли в человеческих головах, массовая стандартизация мышления и жизни наложили на КГБ большое бремя, но вместе с тем и дали в их руки неограниченную власть. Так бывало всегда: орган, которому поручено обескровить жизнь во всех ее проявлениях, растет и гипертрофически разбухает от высосанной им крови. С планеты запустили спутник. И вдруг выяснилось, что спутник не только вышел на собственную орбиту, но и похитил вес планеты, сосредоточил его в себе и вынудил планету обращаться вокруг себя. Наконец, он теряет даже видимость связи с организмом, разрастается до размеров дракона и регулярно требует жертв. Как правило, он пожирает даже выкормившего его деспота.

Сталин хорошо знал это и боялся, что его ожидает эта участь — поэтому на всякий случай Ежова и Ягоду отправили в рай. И все же закономерность пробила себе дорогу, хотя уже после смерти Сталина новым диктатором чуть не стал Берия.

Дракон становится концентрацией и символом ужаса, необходимого для фабрикации винтиков. Наверное, о положении кагебистов, стоящих над обществом, свидетельствуют в первую очередь не их исключительные материальные привилегии (включая даже отдельные охотничьи хозяйства), а тот магический ужас, который повсюду наводит слово «КГБ». Чтобы оправдать свое положение «государства в государстве», органы должны все время создавать впечатление, что они, мол, спасают общество от страшных опасностей. Первым делом они нацепляют на себя вывеску защитников «государственной безопасности». Дракон обязан регулярно пожирать людей, чтобы существовать. Вся энергия направляется на фабрикацию антисоветских заговоров и организаций. Были уничтожены все культурные силы, расстреляно 95% Генштаба, и тогда кагебисты начали стрелять сами себя. Докатились до безумного кошмара, когда на вопрос: «Где товарищ Иванов? Я пришел его арестовать», — получали ответ: «Он недавно ушел арестовывать вас». Взбесившийся гад стал пожирать собственный хвост.

<...>

Однако никому еще не удавалось создавать ни вечного льда, ни вечного ужаса. Каждая история с драконом кончается одинаково: приходит Кирила Кожемяка, и ему конец. Механизм замораживания действует только до тех пор, пока есть что замораживать. Но когда люди уже стали винтиками — механизм автоматически отключается. Винтик не интересуется ни общественными, ни поли-

тическими вопросами («не моего ума дело», «с политикой лучше не связываться»). Это уже сфера вне его интереса. Но во всем другом, например в оценке футбольных матчей, винтик чувствует себя совершенно свободно и вырабатывает собственные критерии. Поэтому уже следующее поколение винтиков освобождается от чувства полной неполноценности. Оно уже продукт не цепенящего ужаса, а традиции. И каким бы бедным ни был его мир — но это мир, основанный на здравом смысле. Счет 4:0 лучше, чем 2:0 — тут уж для софистики нет места. А все догмы, которыми усиленно накачивают молодого винтика, находятся в противоречии с его миром элементарных очевидностей, основанных на здравом смысле. Это очень важный момент, когда вместо диктатора богом становится чемпион в тяжелом весе. Против догм никто открыто не выступает, но они уже воспринимаются как нечто чуждое. А поскольку молодой винтик уже не знаком с ужасами родителей, он не осмеливается смотреть на догмы с позиций молчаливого скептицизма и незаметно продвигается на рельсы молчаливой оппозиции — деструктивной, так как конструктивной оппозиционной программы у него нет. Но мысль не стоит на месте — и сперва несмело заглядывает, а потом все дальше заходит в запретное пространство истории, философии, литературы. И все, что там увидит, рассматривает уже с точки зрения здравого смысла. Так незаметно совершается чудо — винтик становится человеком!

Дракон еще ничуть не подозревает, что морально он уже убит. Его власть могла держаться только потому, что он украл у людей сознание силы. Раньше на дракона даже боялись поднять глаза, не говоря уже о том, чтобы ковыряться в его внутренностях. Теперь он морально убит, и можно смело приступить к резекции. Оказывается, что внутри него больше свинского, чем дьявольского.

Такими путями пришло в украинскую жизнь новое поколение и поставило перед защитниками сталинских порядков совершенно новую проблему. Порядок держался на том, что люди сами отказывались от всяких прав и смирялись с бесправием. Им можно было обещать все, наперед зная, что давать не придется.

Но вот пришло новое поколение и заявило: «В конституции написано о свободе слова — мы хотим пользоваться ею». Такой вариант не был предусмотрен. Оказалось вдруг, что макет ружья, изготовленный для витрин, может стрелять.

Очень важно заткнуть рот первому, кто крикнул: «Король голый!» — пока не подхватили другие. Но король действительно голый. Это истина. Кому она невыгодна? Тому, кто с окончательной ликвидацией беззакония теряет свои привилегии. Прежде всего кагебистам. Дальше — начальники и председатели, которые предвидят, что при действительном соблюдении правовых норм им не доверят даже свиней пасти. Академик, добравшийся к своему креслу по трупам преданных в 1937 году коллег. Голый душой шовинист. Это силы, рьяно защищающие вчерашний день. Они лежат бревном на пути общественного развития. Им крайне нужно, чтобы люди оставались винтиками. И они изо всех сил изображают себя защитниками «общества» и соцзаконности.

Однако за закрытыми дверями кабинетов у кагебистов как раз другая точка зрения на социалистическую законность. Когда Левко Лукьяненко спросил капитана Денисова, следователя львовского КГБ: «Для чего же существует статья № 7, обеспечивающая каждой республике право свободного выхода из СССР?», — последний ответил: — «Для заграницы».

Вот оно что! Оказывается, кагебисты прекрасно понимают, что стоят на страже не социалистической законности, а права беззаконно нарушать ее. Насчет своего учреждения они не питают никаких иллюзий. Они ценят его как место, где дают хороший оклад и квартиру вне очереди. Кагебист Казаков привез мне письмо от ректора Ивано-Франковского института, где я преподавал раньше. Я заметил: «Если кто-то мне хочет написать — пусть посылает почтой». На это Казаков ответил: «Слишком много было бы чести...» Что ж, может быть, действительно кагебист не может заслужить даже того уважения, каким пользуется наша почта.

Председатель КГБ из Киева Литвин заявил мне: «Мы вас арестовали по требованию общественности. Иначе люди бы вас разорвали». Вот странно! Почему же тогда политзаключенных судят при закрытых дверях и ни слова не пишут в газетах? Охранники хорошо сознают непопулярность и незаконность своих действий. Поэтому и прячут от людских глаз политические процессы, тогда как процессы над немецкими полицаями-убийцами широко рекламируются.

Вообще, все способы, с помощью которых КГБ расправляется с неугодными, представляют сплошную цепь беззаконий. После осуждения Д. Иващенко его жену Иващенко Веру тут же уволили с должности преподавателя украинской литературы в школе № 3. На каком основании? Она долгие годы считалась лучшим учителем, о ее успехах писала пресса, усилиями этой женщины в городе был открыт на общественных началах музей Леси Украинки. Но она отказалась подписать компрометирующие показания на своего мужа, как этого требовали кагебисты, — и была выгнана с работы по их указанию. Какой закон дал это право кагебистам по своему усмотрению выгонять людей с работы?

Кагебисты всегда разглагольствуют, будто бы им противостоит «кучка отщепенцев», против которых — «народ». Но сами они знают, что это ложь. Иначе бы они не прятали политических заключенных от народа за дверьми тайных судилищ. Молчащих кагебисты тоже безосновательно причисляют к своему активу. Нынешнее молчание — это далеко не знак согласия. Об этом красноречиво свидетельствует IV съезд писателей Украины. Не только ораторов, но и участников съезда пересеяли так усердно, что в зале «несознательных», казалось бы, совсем не было. И все же съезд явился трибуной, с которой неожиданно послышались голоса в защиту национальной культуры, против шовинистического засилья. «Кучкой» на съезде оказались как раз охранители сталинских пережитков. На белорусском съезде с критикой великодержавных пережитков выступил Быков, на грузинском — Абашидзе. Кагебистский реестр «отщепенцев» катастрофически растет. Марусенко из Львовского КГБ на вопрос Осадчего: «Почему же вы не привезли в Мордовию Новиченко? Ведь он говорил, в сущности, то же, что и мы?», — ответил: «И Гончара не мешало бы». Ценное признание! Критерии проясняются...

Вот, оказывается, какому обществу служат кагебисты. Это «общество» не прочь посадить за решетку и Гончара, и заместителя председателя Совета Национальностей Стольмаха, и Малышко, и многих известных интеллигентов, протестовавших против тайных арестов на Украине в 1965 г.

Изолированной кучкой оказываются не те, кто изо всех сил стремится удержаться на шее общества, на месте насиженном и теплом. Круг изоляции этой

кучки непрерывно сужается по мере того, как люди избавляются от рабского страха. Марусенко признал это сам. На вопрос Осадчего: «Как настроена интеллигенция во Львове?», — ответил: «Часть приняла линию съезда писателей, часть колеблется. Жить по-старому не хотят, по-новому не решаются».

По-старому не хотят, по-новому не могут... Ситуация знакомая: она всегда характеризовала переломные эпохи. Современные события, в частности и на Украине, тоже являются переломными: ломается ледяной ужас, десятилетиями сковывавший духовную жизнь народа. Как всегда — людей бросали за решетку, как всегда — повезли на восток. На этот раз они не канули в неизвестность. К величайшему удивлению кагебистов, впервые за последние десятилетия на Украине поднялась волна протестов. Впервые журналист В. Черновил отказался давать показания на беззаконном закрытом судилище. Впервые кагебисты почувствовали, что они бессильны со всем этим справиться. Они с наслаждением попытаются отыграться на тех, кто попался им в зубы, кто находится...

В заповеднике

Тут единственное место, где кагебисты свободно могут не придерживаться никаких законов и норм. Тут место, где продолжают ковать ужас. Здесь усилия направлены на то, чтобы убить в человеке человеческое, только тогда он становится тестом, из которого можно лепить все что угодно. Узник может вовсе не нарушать правил режима, но лишь кагебисты почувствуют, что он не сдался, не признал нормальным состоянием зло и насилие, сохранил достоинство, — на него будут нажимать всеми средствами. И только когда они убедятся, что человек опустился до уровня потребления пищи, только тогда успокоятся.

Осетин Федор Бязров был вором. Потом стал иеговистом и перестал воровать. Казалось бы, «воспитатели» должны быть довольны. Так считал и Бязров: «Чего вы от меня хотите? Я же не ворую и ничего дурного не делаю. А верить в Бога никому не воспрещено». — «Лучше бы ты воровал». Это не просто случай. Многим политзаключенным мягко указывали на уголовных преступников: «Они — воры, но они — наши люди. А вы враги». Морально разложившийся человек — вот стихия, в которой охранители чувствуют себя, как рыба в воде. Кагебист знает, как разговаривать с бандитом. Это готовый доносчик за порцию наркотиков. В нем не нужно убивать такую непонятную, но могучую силу, как достоинство.

Агентов используют не только в роли подслушивателей. Заключенный Лацук был известен как агент КГБ. Об этом знали все: в Тайшетском лагере № 11 в 1958 г. у него из рук отобрали свежесостряпанный донос. В апреле 1964 г. в Мордовском лагере № 7 он ранил ножом Степана Веруна (из группы юристов, осужденных во Львове в 1961 г.). Когда Верун, выйдя из больницы, говорил об этом с капитаном Крутем, последний бесцеремонно заявил: «И голову снесут, если не поумнеешь». (Верун не признавал законности своего приговора.)

Статья 22 УК УССР гласит: «Наказание не ставит целью причинить физические страдания или унизить человеческое достоинство». Таким образом, все методы давления на заключенных являются нарушением закона. А где те, кто призван осуществлять надзор за соблюдением закона? Прокуратура в Мордо-

вии есть. И неверно было бы утверждать, что она закрывает глаза на произвол или умывает руки. Наоборот, местные прокуроры, засучив рукава, всеми силами помогают кагебистам вершить их грязные дела. В разговоре с местным прокурором Дубравного лагерного управления я обратил его внимание на то, что вопреки закону людей, тяжело болеющих язвой желудка, держат на голодной норме. Он преспокойно ответил: «Наказание в том и заключается, чтобы ударить по желудку». И эти садисты именуют себя защитниками законности.

Обязательный труд для политзаключенных является нарушением конвенции ООН о запрещении принудительного труда. В конце концов сами кагебисты признают, что труд рассматривается ими как метод давления. Не одному говорили: «Нам не нужна твоя работа, нам нужно, чтобы ты исправился».

<...>

Лагерное питание сделало половину людей больными. Тут вступает в действие новый способ давления — медицина. В конечном счете, чтобы быть врачом или фельдшером в лагере, не обязательно иметь отношение к медицине. В лагере № 7 фельдшером был бывший немецкий полицай Малыхин, убийца многих людей. Он не имеет не только медицинского, но и вообще никакого образования. Зато имеет заслуги перед КГБ. Правда, так бывает не всегда. Теперь нас лечит эстонец Браун, который работал шофером на скорой помощи. Что ни говорите, а случайным в медицине человеком его не назовешь.

В правилах написано, что заключенные, брошенные в карцер, не лишаются медицинской помощи. Но что значат правила, если лагерные врачи даже не скрывают: «Мы прежде всего чекисты, а потом уже медики».

Михаил Масютко болен язвой желудка, находится в тяжелом состоянии. Однако все попытки добиться отправки его или хотя бы диетического питания для него оказались тщетными. Кагебисты в белых халатах говорили: «Конечно, мы должны вас отправить, но нам за это влетит. Уколов тебе не разрешается». А некоторые бесцеремонно говорят: «Не надо было попадаться». Этим, конечно, анекдоты лагерной медицины далеко не исчерпываются. Случаен ли в лагерях такой высокий процент психических заболеваний? Исследование роли лагерной медицины ждет своего автора...

Щупальца спрута крепко держат заключенного после выхода за ворота лагеря. Яреме Ткачуку, осужденному в 1958 г. в Станиславе, капитан Круть сказал: «Житья тебе не будет, если не поумнеешь! Мы сделаем так, что у тебя не будет ни семьи, ни крыши над головой». А мне Казаков пообещал: «Еще пожалеешь».

И это не запугивание. В 1957 г. Данило Шумук (находится в лагере № 11) был арестован в Днепропетровске за «антисоветскую агитацию». Майор Свердлов из республиканского КГБ без церемоний признал, что обвинение «липовое». Речь шла о другом. Перед Шумуком как человеком, который ранее вышел из заключения, поставили выбор: или снова пойдешь за решетку, или будешь доносчиком — как человек, имеющий безупречную репутацию в среде бывших заключенных и не вызывающий подозрений. Два дня Шумука незаконно держали в управлении КГБ, не предъявляя ордера на арест, и уговаривали. Майор Свердлов заявил: «Согласишься на сотрудничество с нами — тут же при тебе разорву ордер на арест и протоколы допросов». Статья 173 УК СССР говорит, что «привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответственности, сопряженное с обвинением в совершении особо опасного преступления, карается лишением свободы сроком до 8 лет». Свердлова никто ни на 8 лет, ни на 8 месяцев не осудил: он имел право безнаказанно нарушать все законы. А Шумук снова поехал в Сибирь отбывать 10 лет каторги за то, что остался честным человеком. И теперь, перед освобождением, больного человека, начавшего свой тюремный путь еще в польской дефензиве и отсидевшего за решеткой 27 лет, снова вызывает капитан Круть и обещает: «Тебе житья не будет». Шумук сидит в карцере «за изготовление антисоветских рукописей». Так назвали его воспоминания о пережитом кагебисты: пять арестов в Польше, немецкий лагерь для военнопленных, побег из него и пеший переход через всю Украину — из Полтавщины на Волынь, обходя дороги и немецких полицаев.

Когда тебя посадят в карцер — посадят не только за то, что ты «антисоветски выражался», а и за то, что «антисоветски молчал». Заключенный Вовчанский сидит за то, что он «озлоблен против советской власти» — так написано в постановлении. Чтобы попасть в лагерь, нужно все-таки иметь «опасный образ мыслей». А из лагеря путь уже намного короче: в карцер сажают не только за мысли, но и за настроения. Масютко, Лукьяненко, Шумука и меня посадили за жалобы, истолкованные как «антисоветские рукописи». Михаиле Горынь не писал никаких рукописей — но его тоже посадили вместе с нами. За что? Капитан Круть утверждает, что он нашел у него докладную записку Дзюбы, адресованную в ЦК КПУ. Богдан Горынь в разговоре с Литвиным и Марусенко спросил: «Является ли докладная записка Дзюбы антисоветским документом?» — «Нет, не является». — «За что же тогда посадили моего брата?» — На этот вопрос Марусенко ответил: «Вышла неувязка». Никакой неувязки не было, Горыня, как и других, держат в карцере за то, что они принесли в лагерь правду о событиях на Украине и не собирались умалчивать о ней.

Есть в лагере порядки, целиком и полностью перенесенные из времен Николая I. У художника Заливахи отобрали написанный им портрет латышского поэта Кнута Скуинека и заставили самого автора (!) изрезать свое произведение! Может ли такое общество критиковать хунвейбинов? Кагебисты уничтожили все картины Заливахи, какие сумели найти, и отобрали краски. На требование показать закон, позволяющий делать подобные вещи, художник получил ответ: «Я тебе закон!» Капрал сказал правду. Он — воплощение закона.

Такими методами перевоспитания пользуются «педагоги», исполненные «мрачной решимости». Каков же результат? Как выглядят «исправившиеся», которых нам ставят в пример, которых снабжают посылками и наркотиками сами кагебисты? Вместе собранных их можно видеть на праздничных концертах 1 мая и 7 ноября. На сцене — редкостная коллекция физиономий, отмеченных всеми возможными пороками, букет преступников всех мастей, будто специально сошедших со страницучебника криминалистики. Здесь все преступники военного времени, убившие тысячи еврейских детей, представители всех половых извращений, наркоманы. Это — хор. Торжественно раздается «Партия наш рулевой», «Ленин всегда живой». «Исправившиеся» ходят по лагерю с ромбиками на рукаве, где написано «СВП» (секция внутреннего порядка — то есть вспомогательная полиция). Заключенные расшифровывают эти буквы как «союз военных преступников».

Можно ли после всего этого говорить, что кагебисты защищают советскую власть? Наоборот: вся их деятельность подрывает и компрометирует ее, толкает людей на путь оппозиции.

<...>

Во время обысков у нас регулярно отнимают «Декларацию прав человека». На мое требование возвратить ее Круть ответил: «Декларация не разрешается». Помощник прокурора, с которым я разговаривал, признался, что не читал ее. На «политзанятиях», проводимых полуграмотными капралами с заключенными художниками и писателями, последние однажды вступили в дискуссию со старшим лейтенантом Любоевым (лагерь № 11), ссылаясь на Декларацию. На это он снисходительно ответил: «Слушай, да это же для негров».

Впрочем, нет нужды доказывать, какие именно действия компрометируют коммунизм. А. Полторацкий, специализирующийся последнее время по хунвейбинам, точно указывает, что следует считать «злостной карикатурой, попыткой дискредитировать веками взлелеянное в мечтах справедливое социалистическое общество». Это прежде всего приказ Мао «актеров, поэтов, ученых... высылать на перевоспитание в села», т. е. в те самые народные коммуны. «Нетрудно представить себе, что будет с пожилым ученым или писателем, если он на несколько дней запряженный в соху, попашет землю» («Лит. Украина», 24 февр. 1967 г.). Действительно, представить нетрудно. Пусть Полторацкий приедет в Мордовию и посмотрит, как высланный на перевоспитание художник Заливаха бросает в топку уголь. На место кочегара его поставили умышленно, чтобы после этой работы у него были убиты все желания, кроме одного — спать.

Если Полторацкому его новое хобби еще не заглушило интереса к лингвистике, могу сообщить, что здесь, как и в Китае, популярно слово «пахать». Всех нас прислали сюда «пахать», с тем чтобы превратить в бездумных вьючных животных. Но «пашут» не только здесь. И село считается местом ссылки не только в Китае. Уполномоченный украинского КГБ в лагере Геращенко, вымогая от поэта Осадчего «раскаяния», грозил отнять львовскую квартиру и «выгнать на село»!

<...>

Жаль общества, в котором философские проблемы разрешаются карательными органами за колючей проволокой. Оно обречено на вечное шарахание от кок-сагыза к кукурузе и на «культурные революции». Оно всегда будет принимать Эйнштейна и кибернетику с опозданием на полстолетия — до тех пор, пока КГБ будет регулировать общественную жизнь. И всегда в этом обществе будут сидеть за решеткой люди, которые хотят вытащить его из грязи. Один заключенный начал свои жалобы словами: «Безумные лошади... В какие джунгли ужаса, позора и кретинизма думают они нас еще завести?»

В 1946 г. Европа поставила последнюю точку над Нюрнбергским процессом. Кошмары Освенцима стали историей. Гремел «Бухенвальдский набат», и разлетелись над миром лепестки увядшего на заре жизни маленького цветка — еврейской девочки Анны Франк, от которой остался только дневник. А в далекой сибирской тундре еще царила извечная мерзлота. Там давили танками без-

защитных истощенных людей за то, что они требовали человеческого отношения к себе. Одна рука подписывала приговор в Нюрнберге, а другая — приговор голодной смерти сотням тысяч людей в Норильске и Верхоянске.

Завтра я пойду на работу и встречу, как всегда, машину с опилками, выезжающую «на свободу» — за ворота лагеря. И на машину вскочит, как всегда, фигура в шинели, длинной пикой начнет прокалывать опилки до самого дна — каждый сантиметр. Спокойно и деловито. Чтобы под опилками не спрятался заключенный. Правда, закон разрешает наказывать его за побег тремя годами заключения. Убить его никому не разрешено. Это уголовное преступление. И все же робот в мундире тыкает пикой раз за разом. Спокойно и деловито. В надежде, что она наткнется на твердое. Это реклама КГБ: «Смотри, что стоят все твои права и законы, на которые ты ссылаешься! Наш самый ничтожный батрак может одним движением проткнуть их насквозь вместе с тобой!»

Но неужели кто-то наивно думает, что за все это не придется отвечать? Нет, на этих пространствах все доходит с опозданием на пятьдесят лет… Но обязательно доходит!

И когда нас пригнали на проклятую стройку, мы увидели кости человеческих ног, — эта песня еще будет шагать по концертным залам мира вместе с «Бухенвальдским набатом». Преступление есть преступление, и за ним неотступно ходит расплата. За расстрелянных и умерщвленных голодом придется отвечать тому, кто обокрал их душу, кто высосал из них человека.

У лжи короткие ноги — это известно давно. Но пусть никто не забывает:

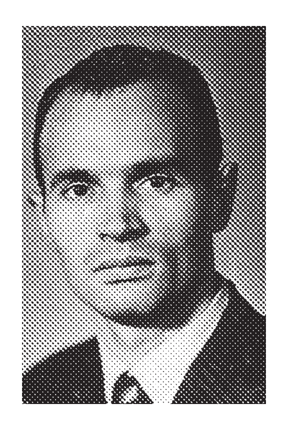
У правды — длинные руки!

15 апреля 1967 г.

Источник: Самиздат века. Минск-М.: Полифакт, 1997.

Марченко Анатолий Тихонович

(1938–1986)



Рабочий, писатель, правозащитник.

Родился в Барабинске в семье железнодорожного рабочего. Работал на строительстве ГЭС и стройках Сибири и Казахстана. В 1958 г. после драки в общежитии, в которой не участвовал, получил первый срок (2 года). Из исправительной колонии бежал, скитался без документов, перебиваясь случайными заработками. После попытки побега в Иран в 1960 г., получил срок за измену родине. Срок отбывал в мордовских политических лагерях и во Владимирской тюрьме, где познакомился с настоящими политическими заключенными. В заключении тяжело заболел, потерял слух.

Освободился в ноябре 1966 г. Поселился в г. Александрове (Владимирской обл.), работал грузчиком. Лагерное знакомство с писателем Ю. Даниэлем ввело его в круг московской инакомыслящей интеллигенции. В 1967 г. Марченко написал книгу о советских политических лагерях и тюрьмах 1960-х гг. «Мои показания». По словам А.Даниэля, «Мои показания» появились в Самиздате уже в 1967 г. Книга получила широкое распространение в Самиздате, после передачи за рубеж была переведена на большинство европейских языков и стала первым развернутым мемуарным свидетельством о жизни советских политзаключенных в послесталинский период.

В 1968 г. Марченко становится заметным публицистом Самиздата, участвует в правозащитном движении. 22 июля 1968 г. выступил с открытым письмом, адресованным советским и иностранным газетам, а также радиостанции Би-би-си об угрозе советского вторжения в Чехословакию. Через несколько дней был арестован. По обвинению в нарушении паспортного режима приговорен к одному году заключения. Свое кратковременное пребывание на свободе и жизнь в Ныробском лагере позднее описал в автобиографической книге «Живи как все».

После освобождения в 1971 г. поселился в г. Тарусе, женился на Ларисе Богораз. Продолжал правозащитную и публицистическую деятельность. С момента выхода на свободу власти принуждали Марченко к эмиграции, в случае отказа угрожая новым арестом.

Марченко не уехал и его преследования продолжались. В 1975-79 гг. он отбывал ссылку в Чуне (Иркутская область), формально — за нарушение паспортного режима. Во время этой ссылки Марченко становится членом Московской хельсинкской группы, подписывает обращение в Президиум Верховного Совета СССР с призывом к всеобщей политической амнистии в СССР). В 1981 г. он получает свой последний срок — 10 лет лагерей и 5 ссылки за антисоветскую агитацию. После длительной четырехмесячной голодовки (требовал освобождения политических заключенных) Анатолий Марченко умер в Чистопольской тюрьме. Это было в декабре 1986 г.

В 1988 г. Европейский парламент посмертно наградил Анатолия Марченко премией им. А. Сахарова.

Основные произведения:

«Мои показания», «От Тарусы до Чуны», «Живи, как все».

МОИ ПОКАЗАНИЯ

От автора

Когда я сидел во Владимирской тюрьме, меня не раз охватывало отчаяние. Голод, болезнь и, главное, бессилие, невозможность бороться со злом доводили до того, что я готов был кинуться на своих тюремщиков с единственной целью — погибнуть. Или другим способом покончить с собой. Или искалечить себя, как делали другие у меня на глазах.

Меня останавливало одно, одно давало мне силы жить в этом кошмаре — надежда, что я выйду и расскажу всем о том, что видел и пережил. Я дал себе слово ради этой цели вынести и вытерпеть все. Я обещал это своим товарищам, которые еще на годы оставались за решеткой, за колючей проволокой.

Я думал о том, как выполнить эту задачу. Мне казалось, что в нашей стране, в условиях жестокой цензуры и контроля КГБ за каждым сказанным словом это невозможно. Да и бесцельно: до того все задавлены страхом и порабощены тяжким бытом, что никто и не хочет знать правду. Поэтому, считал я, мне придется бежать за границу, чтобы оставить свое свидетельство хотя бы как документ, как материал для истории.

Год назад мой срок окончился. Я вышел на свободу. И понял, что был не прав, что мои показания нужны моему народу. Люди хотят знать правду.

Главная цель этих записок — рассказать правду о сегодняшних лагерях и тюрьмах для политзаключенных, рассказать ее тем, кто хочет услышать. Я убежден, что гласность — единственное действенное средство борьбы с творящимся сегодня злом и беззаконием.

За последние годы в печати появилось несколько художественных и документальных произведений о лагерях. Во многих других произведениях говорится об этом то между прочим, то намеком. Кроме того, эта тема полно и сильно освещается в произведениях, распространяющихся через Самиздат. Так что сталинские лагеря разоблачены. Разоблачение не дошло еще пока до всех читателей, но, конечно, дойдет.

Это очень хорошо. Но это и опасно: невольно возникает впечатление, что все описанное относится только к прошлому, что сейчас ничего подобного нет и быть не может. Раз уже даже в журналах об этом пишут, то наверняка сейчас у нас все иначе, все как надо и все участники страшных злодеяний наказаны, а жертвы вознаграждены.

Неправда! Сколько жертв «вознаграждено» посмертно, сколько забытых и сейчас в лагерях, сколько новых туда попадает; и сколько тех, кто сажал, допрашивал, мучил, и сейчас занимают свои посты или мирно живут на пенсии, не понеся никакой — даже моральной — ответственности за свои дела. Когда я еду

в подмосковной электричке, вагоны наполнены благостными, умиротворенными старичками-пенсионерами. Один читает газету, другой везет корзину клубники, третий нянчит внука... Может, это врач, рабочий, инженер, получивший пенсию после многих лет тяжелого труда; может, этот старик со стальными зубами потерял их на следствии «с применением физических методов» или на колымских приисках. Но мне в каждом мирном пенсионере чудится следователь, который сам выбивал людям зубы.

Потому что я их достаточно видел, тех самых, в лагерях. Потому что сегодняшние советские лагеря для политзаключенных так же ужасны, как сталинские. Кое в чем лучше. А кое в чем хуже.

Надо, чтобы об этом знали все.

И те, кто хочет знать правду, а вместо этого получает лживые, благополучные газетные статьи, усыпляющие общественную совесть.

И те, кто правду не хочет знать, закрывает глаза и затыкает уши, чтобы потом когда-нибудь иметь возможность оправдаться и снова выйти чистеньким из грязи: «Боже мой, а мы и не знали...»

Если у них есть сколько-нибудь гражданской совести и истинной любви к родине, они должны выступить в ее защиту, как это всегда делали настоящие сыны России.

Я хотел бы, чтобы это мое свидетельство о советских лагерях и тюрьмах для политзаключенных стало известно гуманистам и прогрессивным людям других стран — тем, кто выступает в защиту политзаключенных Греции и Португалии, Южно-Африканской Республики и Испании. Пусть они спросят у своих советских коллег по борьбе с антигуманизмом: «Что вы сделали для того, чтобы у вас, в вашей собственной стране, политзаключенных хотя бы не воспитывали голодом?»

Я не считаю себя писателем, эти записки не художественное произведение. Все шесть лет я старался только видеть и запоминать.

Здесь, в этих записках, нет ни одного вымышленного лица, ни одной придуманной истории. Там, где есть опасность причинить вред другим людям, я не называю имен, умалчиваю о некоторых обстоятельствах и событиях. Но я готов отвечать за истинность любой рассказанной здесь детали. Каждый случай, каждый факт могут подтвердить десятки, а иногда и сотни, и тысячи свидетелей — моих товарищей по заключению. Они могли бы, конечно, привести и еще множество подобных и даже еще более чудовищных фактов, чем те, о которых я рассказал.

Легко можно предположить, что мне попытаются отомстить и разделаться с правдой, которую я сказал на этих страницах, бездоказательно обвинив в «клевете». Так вот, я заявляю, что готов отвечать на публичном процессе, с приглашением необходимых свидетелей, в присутствии заинтересованных представителей общественности и прессы.

Если же будет сделана еще одна инсценировка «публичного процесса», когда у входа в суд представители КГБ отталкивают граждан, пользуясь вместо публики переодетыми кагебистами в штатском, когда корреспонденты иностранных газет (в том числе и коммунистических) топчутся у входа и не могут получить никакой информации — как было на процессах писателей Си-

нявского и Даниэля, Хаустова, Буковского и других, — то это лишь подтвердит мою правоту.

... Однажды начальник отряда капитан Усов сказал мне:

– Вот вы, Марченко, всем недовольны, все вам не нравится. А что вы сделали для того, чтобы было лучше? Убежать хотели, и все!

Если я после этих моих записок попаду под начало к капитану Усову, я смогу ему ответить:

– Я сделал все, что было в моих силах. И вот я опять у вас.

<...>

Десятый лагерь — 1961 год

<...>

В конце мая мы прибыли в Потьму. После пяти месяцев следствия, после так называемого суда, после этапов и пересыльных тюрем я добрался наконец до знаменитых мордовских лагерей.

Весь юго-западный угол Мордовии перекрещен колючей проволокой, заборами особой конструкции, утыкан вышками, залит по ночам светом спаренных прожекторов. Здесь повсюду развешены таблички; «Стой! Запретная зона!» и по-мордовски: «Тят сувся! Запретная зонась».

Здесь чаще, чем мордвина, встретишь солдата, конвоира, охранника, здесь полным-полно офицеров. Здесь на душу населения их приходится больше, чем овец на душу на Кавказе. Здесь вообще встала на дыбы вся статистика: и соотношение мужчин и женщин, и возрастной, и национальный состав населения. Русские, украинцы, латыши, эстонцы и «отдельные представители других национальностей» живут здесь за проволокой столько лет, что давно перекрыли всякий ценз оседлости. Отцы и старшие братья нынешних заключенных остались навсегда в мордовской земле — в виде скелетов или в виде разрозненных, перемешанных с песком костей. Дети нынешних заключенных приезжают сюда «на свиданку» со всех концов необъятной многонациональной страны.

Вот и я прибыл сюда, после всех предварительных мытарств, чтобы еще чуть-чуть накренить ошалевшую мордовскую статистику...

С потьминской пересылки меня направили в десятый лагерь.

Как всякий новичок, я настороженно присматривался к людям и обстановке, а заодно, не теряя времени, устраивался на новом месте. Казалось бы, чего уж там зэку устраиваться, какое такое у него имущество, движимость и недвижимость? Однако у новичка в лагере хлопот полон рот: надо найти место в бараке, получить койку, тюфяк, подушку, одеяло, постельные принадлежности, форменную спецовку для работы, за все расписаться, все пристроить к месту...

Мне показали завхоза моего отряда — тоже зэка. Он повел меня за койкой, по дороге расспрашивая о том, о сем; откуда родом, за что попал, какой срок. Узнав, что шесть лет, он ухмыльнулся: «Срок детский!» Многие потом тоже улыбались, услышав, что мне осталось сидеть пять лет с небольшим довеском.

За углом барака, куда меня привел завхоз, валялось несколько ржавых железных рам от коек. Мы выбрали, какая получше, и я потащил ее в барак. Там все было плотно забито «спальными местами»; койки стояли одна на дру-

гой в два этажа, попарно сдвинутые вплотную. Мне нашлось местечко во втором ярусе. Я закрепил свою раму на нижней койке, и мы вдвоем отправились искать деревянный щит (сбитые вместе четыре узкие доски, их кладут на раму вместо сетки). Облазили всю зону — наконец нашли подходящий.

Тумбочки в бараке — одна на четверых. Завхоз показал мне мою половину полочки, но мне еще нечего было туда класть — у меня не было даже своей ложки.

Пока я устраивался, наступило время обеда. Зэки потянулись к большому бараку-столовой, я пошел за всеми. Внутри барака-столовой очень тесно стоят длинные столы из грубых, кое-как окрашенных красной краской досок; вдоль столов такие же скамейки. Столовая набита битком. Одни, найдя себе местечко за столом, хлебают свою баланду. Другие едят стоя — кто где пристроился. К раздаточным окнам тянутся длинные очереди. Я стал в хвост к первому окну. Но как я буду есть без ложки? Заметив мою растерянность, ко мне подошел один из ребят нашего отряда и предложил мне ложку, — он уже пообедал. Очередь продвигалась быстро. Я не успел и моргнуть, как раздатчик, схватив из высокой стойки перед собой мятую алюминиевую миску, плеснул в нее черпак щей и сунул мне в руки. Я отошел и глянул вокруг: все места заняты, «приземлиться» негде. Вон у окна какой-то зэк, стоя, заканчивает обед — облизывает ложку. Я пробрался к нему как раз, когда он кончил и отошел от окна; занял его место: поставил миску на подоконник и начал хлебать бурду, которую кто-то торжественно назвал щами. Потом, оставив на окне кепку и ложку, отправился в очередь за вторым. Так же ловко раздатчик во втором окне выхватил миску у меня из рук, стукнул по ней черпаком, и миска вылетела на обитый жестью подоконник… По дороге к своему месту я заглянул в нее: по дну растекалась пшенная размазня, приблизительно три столовые ложки. Справиться со вторым было недолго; я облизал ложку («отшлифовал», как говорят зэки) и вышел из столовой.

Мне повезло: каптерка оказалась случайно открытой во внеурочное время, и я смог получить лагерное имущество сразу после обеда. Мне выдали матрац, одеяло, подушку — все такое древнее, как будто служило еще моему дедушке: серые застиранные бязевые простыни, наволочку, два вафельных полотенца, алюминиевую кружку и ложку. Можно было сразу получить и спецовку, но с этим я не спешил: она мне еще осточертеет за пять с лишним лет.

На сегодня обзаведение и устройство закончены, можно осмотреться. Но, оказывается, в этот день мне предстояло еще высокое знакомство: пришел завхоз и сказал, что меня вызывает к себе отрядный.

Постучавшись в дверь с табличкой «Начальник отряда», я вошел. Кабинет был небольшой, чистенький, аккуратный. Офицер — начальник отряда — сидел за письменным столом против двери и рылся в ящике. На одной стороне висел портрет Ленина, а под ним — отрывной календарь и список дежурств членов СВП (секции внутреннего порядка). На противоположной стене, точно против портрета Ленина, глаза в глаза, — портрет Хрущева и большая карта СССР. Большой шкаф и ряды стульев вдоль стен — вот и все. Услышав, что я вошел, офицер задвинул ящик, запер его и поднял голову:

– Снимите головной убор! Заключенный при разговоре с представителями лагерной администрации обязан снимать головной убор. Понятно?

Я снял кепку.

– Новенький? Сегодня прибыл? Садитесь.

Я сел, а отрядный, листая мое дело, стал задавать вопросы: фамилия, имя, отчество, статья, срок — обычные формальные сведения о заключенном. Покончив с этим, он откинулся на спинку стула и коротко приказал:

– Ну, рассказывайте.

Я удивился — что я должен рассказывать? Тогда отрядный пояснил: он хочет, чтобы я рассказал о своем преступлении. Я отказался:

– Я не на следствии и не на суде. Здесь моя тюрьма, и я не обязан и не хочу объясняться с тюремщиками на эту тему.

Отрядному мое заявление не понравилось, он поморщился, но промолчал. Потом коротко и сухо вычитал мне обязанности заключенного и правила внутреннего распорядка: «заключенный обязан… обязан… обязан… Выходить на работу в форменной лагерной одежде… Посещать политзанятия…»

Я спросил, кто ведет политзанятия. Оказалось, он сам, отрядный, раз в неделю по вторникам. Тут же он мне объяснил, какие кары меня ждут за непосещение политзанятий, а также за другие нарушения правил: я могу, по его усмотрению и распоряжению, лишиться свидания, ларька, посылки, права переписки — короче, всего немногого, на что я имею право в лагере. Кроме того, могу угодить в штрафной изолятор… И так далее — перечень наказаний, не менее длинный, чем перечень обязанностей. Все учтено, каждое движение строго регламентировано.

– Идите в каптерку и получите форменную одежду, — закончил отрядный. — Завтра выходите на работу. Вы зачислены в полеводческую бригаду. Можете идти!

Я вышел. В бараке меня окружили зэки из нашего отряда.

– Ну как, познакомился с капитаном Васяевым? Как он тебе понравился? А ты ему? Плачь, плачь, скоро расстанетесь: он на пенсию собирается…

Кто-то с досадой сказал:

– Живучи, сволочи; еще и на пенсии — на дармовых народных денежках — сколько протянет. А заработал пенсию не трудом — нашими муками.

Спросили, в какой я бригаде; рассказали, что полеводческая бригада работает за зоной, на работу гоняют под конвоем.

– Ты не вздумай на работу в своем выйти: прямо с вахты в карцер суток на пятнадцать!

<…>

Вечером, еще засветло, вокруг всего лагеря вспыхнули огни: зажгли фонари и прожекторы над запреткой. Я пошел в свой барак, чтобы постелить еще до отбоя, — после отбоя в секциях гасят свет. Постелил и снова вышел, не сиделось на месте. Дошел до красного кирпичного здания: здесь меня и застиг отбой. Десять часов. Десять звонких ударов по рельсу разнеслись над нашей зоной. Когда умолк последний удар, я ясно услышал, как вдали тоже бьют отбой. А потом донеслись еще более далекие, еле слышные удары. И мне представилось, что такой перезвон идет сейчас по всей стране, от лагеря к лагерю, удары о рельсы отзываются на бой часов на Спасской башне…

Однако после отбоя нельзя шататься по зоне. Надо идти к себе — «домой».

В коридоре нашего барака еще толпились зэки: в одном нижнем белье докуривали по последней перед сном, продолжали недоконченные споры. Человека четыре торопились дописать письма. Вдруг кто-то от двери крикнул:

– Мусор!

И все кинулись по секциям, на ходу бросая свои самокрутки. Писавшие вскочили из-за стола, подхватили листки, ручки — и по местам. Я тоже заспешил к своей койке. Разделся при свете синей лампочки над дверью, покрутился-покрутился со своим барахлом, не зная куда его пристроить, потом догадался, сунул под матрац в ноги и полез на свой второй этаж. Зэки вполголоса договаривали свои дневные разговоры. Но понемногу все стихло. Сосед, старик лет шестидесяти-семидесяти, шепотом спросил:

– Ну, сынок, как тебе на новом месте?

– Ничего… Рай по сравнению с вагонзаками и пересылками.

Я почувствовал, что старик смеется: моя койка, вплотную придвинутая к его, задрожала. Немного погодя он сказал:

– Человек хуже скотины. Помотают его по пересылкам, потом сунут в лагерь, а он и рад. Определился. Ты еще увидишь, какой этой рай. Ну, спи, спокойной тебе ночи.

<...>

«Членовредители»

Вот одна из многих историй — от других она отличается разве что изобретательностью. Она произошла на моих глазах весной 1963 года. Один из моих сокамерников, Сергей К., доведенный до совершенного отчаяния безнадежностью любых протестов против голода, произвола, несправедливости, решил во что бы то ни стало изувечить себя. Он подобрал где-то кусочек проволоки, сделал из нее крючок и привязал к нему леску (сплел ее из ниток, распустив свои носки). Еще раньше он принес два гвоздя и прятал их в кармане от обысков. Один гвоздь, поменьше, он вдавил миской в кормушку — вдавил тихо-тихо, стараясь не звякнуть, чтобы не услышали надзиратели. К этому гвоздю он привязал леску с крючком. Мы, остальные заключенные в камере, молча наблюдали за ним — не знаю, кто и какие чувства при этом испытывал, но вмешиваться, я уже говорил, не полагается, каждый вправе распорядиться собой и своей жизнью, как он хочет.

Сергей подошел к столу, разделся догола, сел на одну из скамеек у стола — и проглотил свой крючок. Теперь, если надзиратели начнут открывать дверь или кормушку, они потянут Сергея, как пескаря из пруда. Но этого ему было мало: дернут, он поневоле подастся к двери, и можно будет перерезать леску через щель у кормушки. Для верности Сергей взял второй гвоздь и стал приколачивать свою мошонку к скамье, на которой сидел. Теперь он бил по гвоздю громко, не заботясь о тишине. Видно было, что весь свой план он обдумал заранее, все рассчитал и высчитал, что успеет забить этот гвоздь раньше, чем прибежит надзиратель. И он, действительно, успел вбить его по самую шляпку.

На стук и звяк явился надзиратель, отодвинул заслонку у глазка, заглянул

в камеру. Он, наверное, сначала понял только одно: у зэка гвоздь, зэк забивает гвоздь! И первое его побуждение, видимо, было — отнять! Он начал отпирать дверь камеры. Тогда Сергей громко объяснил ему, как обстоит дело. Надзиратель растерялся. Скоро у нашей двери собралась кучка надзирателей. Они то и дело заглядывали в глазок, кричали, чтобы Сергей оборвал леску. Потом, убедившись, что он не собирается это делать, надзиратели потребовали, чтобы леску оборвал кто-нибудь из нас. Мы сидели на своих койках, не поднимаясь; иногда только кто-нибудь отругивался в ответ на требования и угрозы. Но вот подошло время обеда, по коридору — было слышно — забегали раздатчики, в соседних камерах открывались кормушки, звякали миски. Один парень из нашей камеры не выдержал — того и гляди, останешься без обеда — оборвал веревочку у кормушки. Надзиратели ворвались в камеру. Они засуетились вокруг Сергея, но ничего не могли поделать: гвоздь глубоко засел в скамейке, а Сергей так и сидел, в чем мать родила, пригвожденный за мошонку. Кто-то из надзирателей побежал выяснять у начальства, что с ним делать Он вернулся, и нам всем приказали собираться с вещами — перевели в другую камеру.

Я не знаю, что потом было с Сергеем К. Наверное, попал в тюремную больницу — там полно заключенных «членовредителей»: и со вспоротыми животами, и засыпавших себе глаза стеклянным порошком, и наглотавшихся разных предметов — ложек, зубных щеток, проволоки. Некоторые толкут сахар в пыль и вдыхают, пока не образуется абсцесс легких... Зашитые ниткой раны, пуговицы в два ряда, пришитые к голому телу, — это уж такие мелочи, на которые и внимания никто не обращает.

В тюремной больнице у хирурга богатая практика; чаще всего ему приходится вскрывать желудок, и если бы существовал музей добытых из желудка вещей, — это была бы, наверное, самая удивительная коллекция на свете.

Так же часты операции по уничтожению татуировок. Не знаю, как сейчас, а тогда — в 1961-1963 годах — эти операции производились примитивно: просто вырезался лоскут кожи, а края стягивались и сшивались. Я помню одного зэка, которого трижды оперировали таким образом. В первый раз вырезали со лба полоску с обычной для таких случаев надписью: «Раб Хрущева». Кожу на лбу стянули грубым швом. Когда зажило, он снова наколол на лбу: «Раб СССР». Снова положили в больницу, снова сделали операцию. Кожа у него на лбу была так стянута, что он не мог закрывать глаза, мы его называли «всегдасмотрящим»...

Здесь же, во Владимирке, мне довелось несколько дней просидеть в камере с Субботиным. Это был парень моих лет, педераст. Педерастов во Владимирке было мало, их все знали, — они здесь не имели заработка. «Политическую» Субботин получил, находясь в бытовом лагере, за жалобу — не выдержал «хорошего тона». Однажды, после сорока или пятидесяти жалоб, поданных им в Президиум Верховного Совета Брежневу и в ЦК КПСС Хрущеву, он проглотил всю партию домино — двадцать восемь костяшек. Когда мы проходили всей камерой на прогулку по коридору (домино было проглочено перед прогулкой), он похлопал себя по животу и сказал встретившемуся парню из обслуги:

– Валерка, послушай! — Я не знаю, в самом ли деле Валерий услышал стук костяшек домино у Субботина в желудке, но он спросил:

– Что это у тебя там?

– До-ми-но, — протянул Субботин. Врачи Субботина не оперировали. Ему просто велели считать костяшки во время оправки, сказав, что они должны выйти сами. Субботин добросовестно считал их каждый раз и, придя в камеру, на специальном листке отмечал карандашом, сколько вышло. Как старательно он ни считал, но четырех штук не досчитался. После нескольких дней томительного ожидания он махнул на них рукой: если остались в животе, то лишь бы не мешали, а если вышли, то и черт с ними!

<…>

Больница (третье лаготделение)

А тех, кого мастер заплечный калечит,
Они латают, штопают, лечат
И шлют в застенок назад.

Бертольт Брехт.
Зонг «Страх и отчаяние Третьей империи»

17 сентября 1965 года, часов в восемь утра, всех нас, кого в этот день отправляли в больницу, собрали на вахте с вещами. Обходные листки (в них отмечено, что ты сдал все лагерное имущество — матрац, подушку, рассчитался на работе) мы заполнили еще накануне. Собралось нас человек двадцать — кто мог, пришел на своих ногах, лежачих принесли на носилках. Носилки поставили прямо на землю в предзоннике. Ждем шмона. Вот надзиратели начали вызывать нас по одному на вахту. (Когда очередь доходит до лежачих, их вносят на вахту на носилках.) Всех без исключения догола раздевают, осматривают, ощупывают, в барахле перещупают каждый шов, отбирают все, запрещенное для зэка, — деньги, колющие и режущие предметы, чай. Словом, все, как обычно. Ищут главным образом записки, письма, как бы зэк другу, тоже зэку, не передал весточку «с оказией», ведь переписка между заключенными строго запрещена. Обыскали одного — выводят его в предзонник, отделенный от зоны и от первого предзонника. Зовут следующего.

Пока обыскивают, да строят по пятеркам, да сверяют с личными делами, да пересчитывают — проходит часа два. Наконец повели: ходячих в строю под конвоем, тех, кто не может идти, везут на подводах, тоже, конечно, под конвоем. Добрались до вокзала, ждем поезда. Это тот же небольшой состав, который ходит от Потьмы до Барашева: всего несколько вагонов, вагонзак обычно в хвосте, так что посадка не с перрона, а прямо с земли. Нам-то, ходячим, еще ничего, а вот с носилками приходится помучиться: поднимать высоко, двери узкие, в коридорчике не развернешься. Носилки поворачивают то боком, то чуть ли не стоймя. Впрочем, у санитаров уже есть сноровка, ведь возят часто. По вторникам и пятницам — этап на третий для политзаключенного со всей дороги, со всех лагерей; за бытовиками закреплены другие два дня. Надо отметить, что, хотя везут из лагеря в больницу каждую неделю, больных в лагере не убывает; одних язвенников, желудочников в каждом лагере чуть ли не половина, для всех на третьем места не хватает. На третьем больных не вылечивают, а только обследуют, чуть-чуть поставят на ноги — и обратно в лагерь,

на работу. А на их место везут новых. Так и идет нескончаемый круговорот.

В вагонзаке — даром что везут больных — давка, сесть негде. Только-только носилки установили, а остальные приткнулись, кто как сумел. «Ничего, как-нибудь доедете, ехать всего часов около двух». На оправку не водят — тоже говорят, что «ехать недолго, потерпите». А нас согнали еще утром, так что терпеть не два часа, а с восьми утра. И опять же, больные. Но — хоть плачь, терпи.

На каждой станции подсаживают новых больных — снова двери на замок.

Наконец приехали. Вот он — третий, больничная зона. Такой же лагерь, как и все остальные: забор, колючка, вышки, внутри несколько бараков.

От станции до вахты совсем близко: метров, может, сто. А все равно порядок есть порядок: начальник вагонзака сдает нас начальнику конвоя, как и принял, по счету и по делам; конвой, проведя нас эти сто метров, сдает, — опять же пересчитывая, сверяя зэка с фотокарточкой в деле, — надзирателю на вахте. Здесь снова шмон. Собрали всех на вахте в одной большой камере и перегоняют по одному в другую, через коридор. А в коридоре сидят несколько надзирателей, велят раздеться догола, перещупывают каждую ниточку в вещах и каждое потайное место на теле… Впрочем, вещи нам все равно на руки не дают. Все сдают в каптерку. Рассортируют по корпусам — кого в хирургический, кого в психиатрический, кого в терапевтический, — и в корпусе выдадут полотенце, кальсоны, рубашку и тапочки на босу ногу. Теперь ты больной, кроме этого тебе ничего не положено. Да, с собой можно взять зубную щетку, пасту, мыло, пару книжек, продукты, какие есть. В общем, похоже на то, как меня привезли в больницу на воле. Вот разве пижаму здесь не дают, да еще первый «осмотр» ведут надзиратели, а не фельдшера.

Я попал в седьмой корпус — терапевтический. Длинный барак, коридор во всю длину, по обе стороны коридора палаты коек на двенадцать-двадцать, кабинет врача, процедурный, раздаточная. Хозобслуга корпуса — санитары, раздатчики — живут здесь же. В палате чисто, койки стоят хоть и тесно, но не в два яруса. Белое постельное белье. Висят халаты — на палату штук пять-шесть, кому надо выйти в коридор, надевают их, по палате ходят в белье. Очень похоже на ту же вольную больницу; разница только в том, что из больницы на воле все рвутся поскорее выписаться, поскорее попасть домой, а здесь наоборот, подольше стремятся полежать, отсюда дорога обратно не домой, а в зону, к тем же начальникам, воспитателям, надзирателям, опять разводы, шмоны, подневольная, постыдная работа…

Да еще в больнице на воле ждешь приемных часов, к тебе придут родные, принесут чего повкуснее. Здесь, в лагерной больнице, никто не навестит тебя, лагерные друзья разве что привет передадут с очередным этапом.

И никаких передач, никакого «подогреву», если только тебе не полагается очередная посылка (и если ты притом не лишен права получить ее). Болен ли, здоров ли — ты зэк и никаких дополнительных льгот не жди, дай Бог, чтобы законных не лишили…

Зато кормят в больнице лучше, чем в зоне. Язвенники, почечники, голодавшие, послеоперационные получают каждый свою диету. Кому протертая пища, кому бессолевая. Даже общий стол на третьем лучше обычного лагерного. Во-первых, тут на самом деле получаешь все, что тебе полагается по суточ-

ной норме: если сказано пятьдесят граммов мяса в сутки, то в лагере зэк его и не понюхает, а на третьем, конечно, не все пятьдесят, но хоть тридцать граммов получит в виде котлеты или биточка. Баланда утром и в обед та же, каша та же и столько же, зато утром получаешь еще стакан компота, граммов пятнадцать-двадцать сливочного масла. И больным полагается молоко — стакан в день. Хлеба меньше, чем в обычной норме зэка, но качество этих самых калорий получше. Конечно, «вольных» больничных деликатесов вроде яйца, сырника, яблока зэк, хоть умирай, и перед смертью не увидит... Зато все-таки молоко, компот... Пока ты в тяжелом состоянии или очень слаб — больничный паек тебя вполне устраивает, даже иногда остается. Но вот выздоравливающим уже приходится туго, голоднее, чем в лагере. Ведь в лагере, я уже говорил, никто не живет на «гарантийке», все как-то исхитряются: кто достанет хлеба на деньги, переданные тайком из дому, кто подспекулирует, а у кого ничего нет, так хоть от чужой пайки достанется, от другого, более ловкого перепадет. Здесь же, на третьем, и биточек съешь, и стакан молока выпьешь, а все равно за положенную норму не выскочишь, и даже хлеба сверх положенных пятисот граммов достать негде. Правда, на больничной тоже есть ларек, но все делается для того, чтобы зэк не мог им воспользоваться. Вот перевели тебя в больничную зону, а деньги с твоего личного счета когда еще прибудут. Пока ждешь денег, тебя выпишут обратно, а приедешь в свою зону, твои деньги где-то путешествуют, так что и здесь ларек пропустишь...

На воле и не понять всех тех проблем и мелких, на первый взгляд, бытовых сложностей, которые заполняют жизнь зэка. Вот, например, — проситься ли в больницу? С одной стороны, чувствуешь себя отвратительно, необходимо подлечиться, совершенно нет сил работать, а с другой стороны, потеряешь ларек, а то и два-три, значит, на месяц-два — зубы на полку...

Я чувствовал, что превращаюсь в инвалида, что просто не в состоянии оставаться в бригаде: день ли, ночь ли, велят — иди на разгрузку, ворочай бревна. Работенка такая, что и здоровому спину ломит. А тут еще идет осень, за ней зима — дожди, холодный ветер, потом морозы. На работе взмокнешь, на вахте прохватит тебя осенним ветром — к весне попадешь если не в покойники, так в инвалиды. Ребята мне посоветовали все-таки проситься в больницу и постараться там прокантоваться подольше.

Ну вот, оказался и на третьем; ушник, почти не глядя, прописал мне какие-то капли в ухо. Лечение выписали на пять дней. Значит, через неделю, в очередной этапный день, снова в зону, в родимую аварийную бригаду.

К счастью, в хирургическом корпусе встретился мне знакомый из хозобслуги — старый санитар Николай Сеник. Да и фельдшер-зэк тоже меня немного знал. Они посоветовали мне проситься в санитары: все-таки, если что, так врачи близко, будут подлечивать помаленьку. Да и работа, хоть и не из легких, но в помещении, под крышей. Зэки в санитары идут неохотно, только при крайней необходимости или ради хорошей характеристики. Дело в том, что больничная зона никакого дохода не приносит, один чистый расход, вот начальство и старается сократить эти расходы, насколько возможно. На целый корпус два-три санитара. А работа — и печи топить, и мыть, и чистить, и халаты врачам стирать, и раздавать пищу, и посуду мыть, и за лежачими больными ходить. К

тому же с санитара-зэка спрашивают не так, как в вольной больнице: на воле, если санитарку будут чересчур донимать требованиями, она возьмет расчет и уйдет, — найди-ка другую на ее место при этой мизерной зарплате; поэтому нигде на воле я не видел в больницах такой чистоты, как в лагерной. У нас врач на обходе белой ваткой водит и по стенам и по стеклам, по каждому листику цветка — не дай Бог обнаружит пыль! Так что санитару приходится целый день крутиться. Пятьдесят процентов здесь, как и везде, отчисляют; после вычетов за питание и одежду ничего не остается, даже на ларек не хватает. Вот и идут в санитары зэки вроде меня — кто рассчитывает подлечиться.

Конечно, начальство и здесь пытается действовать административными мерами: назначили тебя санитаром, хочешь — работай, подчиняйся. Отказываешься от работы — в карцер. Но только здесь, в больнице, эти меры не помогают. Одного посадят в карцер, другого выпустят, они снова отказываются, их снова в карцер: кто-то пока работать все равно должен. Вот и приходится начальству идти на непривычный либерализм: сестры или врачи сами подбирают подходящих для этой работы или кто-то из заинтересованных зэков договаривается с ними сам. Работаешь фактически хоть и задаром, но зато добровольно.

Я решил проситься в санитары в хирургический корпус: здесь были маленькие комнатушки на двоих из хозобслуги, это все-таки огромное благо — после барака пожить почти в отдельной комнате (правда, мы жили там «нелегально», вся хозобслуга больничной зоны помещалась в особом бараке, и, когда являлась комиссия, нас спешно эвакуировали из наших комнатенок).

Сеник рекомендовал меня сестре-хозяйке. Та переговорила с главврачом, главврач ходатайствовал перед начальником режима — и я стал санитаром. Советы друзей оказались правильными: меня продолжали лечить и даже назначали какие-то уколы. Работа, хоть ее и хватало, меня не тяготила, моя мать работала уборщицей, и я еще мальчишкой привык ей помогать. Что было нелегко, так это топить печи. Дрова привозили такие, что в печку не лезли, а топора-то в зоне не полагается! Хоть зубами их перегрызай. Конечно, как и всегда, выход нашелся, добыл я себе топор. Но рубить во дворе, на виду, нельзя: топор есть, но надо делать вид, что его нет. Вот я залезу под крыльцо и, согнувшись, чуть не на коленях, рублю эти самые полешки украдкой — как будто для себя выгадываю, а не для того, чтобы больницу протопить.

По штату у нас в хирургическом полагались два санитара. Меня взяли уже сверх штата, а потом пришлось взять еще двоих, один разделил обязанности с Сеником, другой — со мной. По списку мы числились больными, так что зарплату нам вообще не начисляли, мы работали только за лечение, питание получали как больные. Больные в нашем корпусе тоже помаленьку работали: кто вызовется посуду мыть, кто в уборке помогает; чуть только состояние позволит — так и просят какую-нибудь работенку. Это, конечно, не от нечего делать, а за лишнюю миску баланды, за хлеб: пойдет санитар на кухню, выпросит, отдаст тому, кто ему помогал.

В нашем корпусе были и бытовики, и зэки со спеца, и даже женщин из женской больничной зоны приводили к нам на операцию — их операционная еще ремонтировалась.

Больные со спеца содержались в отдельной палате-камере: окно с решет-

кой, параша, дверь под замком. Положат «полосатика» (на спецу полосатая форменная одежда) в общую послеоперационную палату, он там лежит, пока не очухается после операции, ну, два-три дня; а как только начал шевелиться — в камеру и под замок. Их палаты-камеры были на троих — тройники. Ключи от них полагается хранить дежурному по вахте. Мы старались всячески донять дежурного: то бежали к нему, чтобы открыл камеру, — уборка; то процедуры — уколы надо делать, то клизму больному поставить; то фельдшер должен проверить состояние больного; то пора выпускать на прогулку (в больнице им полагается получасовая прогулка по коридору, причем время определяет фельдшер). В конце концов дежурным это надоело, и они отдали ключ от камеры фельдшеру, под его ответственность. Фельдшер, конечно, не стал держать выздоравливающих взаперти, позволял им пошататься по коридору подольше. Застанет надзиратель дверь открытой — «только что укол делали», «санитары полы моют» — отговорка всегда найдется.

Сеник старался этих больных подкормить получше; да и мы все тоже знали, каково на спецу, видели, какие доходяги поступают оттуда.

Выпрашивали для них в хлеборезке остатки черного хлеба, сушили сухари им — поедет обратно на спец, так хоть сухари повезет себе и сокамерникам. Что бы другое ни повезли на спец из продуктов — отберут при обыске, а сухари черные не отберут, это можно. Другие-то зэки, со строгого режима, у себя в зоне какнибудь устроятся подкормиться, а на спецу — как в тюрьме, ничего ниоткуда.

У хирургических больных-бытовиков тоже отдельные палаты (терапевтические вообще в отдельной зоне), но не под замком, по коридору ходят все вместе. Вообще же бытовиков стараются отделить от политических не потому, что берегут политических от бандитов, а наоборот — боятся, как бы «политики» не разложили своими разговорами честных и порядочных хулиганов и жуликов.

Женская больничная зона находится за бытовой. В ту зиму женщин оперировали в нашей операционной. За лежачими больными посылали обычно Сеника и меня, после операции относили их тоже мы. В операционный день отправлялись мы по вызову, под конвоем, на вахту женской зоны, укладывали больную на носилки и несли ее прямо в корпус. Здесь, в маленьком коридорчике перед операционной, ставили носилки, раздевали больную до рубашки и уже на руках несли ее в операционную, клали на стол. А за дверьми коридорчика толпятся выздоравливающие — им бы хоть поглядеть на женщину, к тому же почти совсем раздетую. Неважно, что она больная и не может даже ходить, вот — на носилках принесли.

После операции больная еще под наркозом, а мы снимаем ее со стола, кладем на носилки, укутываем потеплее — зима, мороз — и несем к вахте. Здесь ставим носилки, начинаем просить дежурного, чтобы дал поскорее конвой, — а он не торопится. Мимо стоящих прямо на земле носилок идут офицеры, врачи, и никому нет никакого дела до нас и до нашей больной, каждый вольный здесь давно привык к мысли, что зэк — не человек. Мы начинаем злиться, кидаемся к одному, к другому:

– У нас послеоперационная больная, наркоз скоро кончится, она станет метаться, раскроется, простынет! Поторопите конвой!

Офицеры отвечают:

– Мы не врачи, наше дело вас караулить, а что там наркоз, больная — нас не касается.

Вот мимо идет пожилая, представительная дама в светло-коричневом пальто с меховым воротником. Это начальница больницы, майор медицинской службы Шимканис. Не глядя на носилки, она оскорбленно отвечает нам:

– Мы — врачи, наше дело лечить, делать операции. К конвою мы отношения не имеем. Что вы от меня хотите?

Мы пытались жаловаться на такой бесчеловечный порядок. Начальник режима в ответ указывал нам наше место:

– Какое ваше дело! Принесли на вахту и ждите! Каждый может жаловаться только сам за себя, а не за других. Забыли об этом?!

То же самое говорил нам и майор Петрушевский, начальник санитарного отдела управления Дубровлага:

– Что вы лезете не в свое дело? Начальство само за все отвечает!

Как же, отвечает! Посадили в лагерь здорового человека, а вернули инвалидом, — разве майору Петрушевскому или майору Шимканис за это когда-нибудь придется отвечать? Пред кем?..

Вот стоим, стоим, ждем, ждем, наконец выползает конвой и нас ведут на вахту в женскую зону. Идем медленно, боимся упасть: скользко, ботинки скользят по смерзшемуся снегу, а ведь на носилках тяжелобольной человек. Пока дойдем, несколько раз останавливаемся, отдыхаем. Носилки здесь приходится ставить прямо на снег. На вахте нас принимают две надзирательницы — толстые грубые бабы в шинелях, в погонах с лычками; ведут в корпус. Здесь нам приходится ждать в коридоре, пока санитарки снимут нашу больную и освободят носилки. Тоже смешно: одно управление по сути, одна больничная зона, только разделенная на политическую и бытовую, — но в каждом отделении свое имущество, свои носилки, и ради того, чтобы за них отчитаться, нам разрешают задерживаться среди женщин-заключенных. Хотя всякое общение запрещено и преследуется, но когда речь идет даже о таком ничтожном имуществе, как носилки, так и на правила наплевать!

Пока мы ждем носилок, нас в коридоре обступают женщины-заключенные, больные и санитарки. Они рады хоть поговорить, хоть поглядеть на мужчину — не охранника, не надзирателя. Среди них большинство — бытовички, и уж чего только не наслушаешься, пока ждешь! У некоторых есть друзья в бытовых лагерях — эти просят передать своим знакомым приветы, записочки — «ксивы»: к нам ведь везут больных со всего Дубровлага. А мы тоже оглядываемся вокруг, как будто мы в другом мире: не замечаем ни истощенности, ни убогой одежды окружающих нас женщин. Вернее, замечаем, жалеем их очень, но, несмотря на несчастный, убогий вид, они кажутся нам такими привлекательными! В коридор выходит дверь небольшой палаты, откуда несется писк, похожий на мяуканье. Заглядываем туда. Вдоль стен в два ряда стоят железные койки, такие же, как у нас; поперек коек, по нескольку на каждой, — пищащие сверточки. Новорожденные.

– Чьи это? — спрашиваем мы.

– Дети Гулага! — отвечает бойкая, молоденькая зэчка.

Среди женщин немало таких, у которых дети народились здесь, в лагере.

«Моему Валерию уже два года!» — «А моей Нинке пять!» У кого нет родных, которые взяли бы детишек на волю, — у тех дети растут и воспитываются в лагерных яслях, в детдоме. Мамка в зоне за проволокой, ребенок сначала при ней, а потом в спецдетдоме — тоже не на свободе. Так и растут...

Иногда женщины на операцию приходят без помощи санитаров, но под конвоем, конечно. Они и чувствуют себя неплохо, и операция им предстоит какая-нибудь несложная. Приводят к нам в корпус сразу пять-семь женщин, ведут в процедурную, здесь они раздеваются (тоже до рубашки) и ждут, когда их вызовут на операцию. В коридоре толпятся выздоравливающие мужчины. Политические ведут себя поскромнее, а бытовики прямо кидаются на баб; да и среди женщин разные попадаются. Какой-нибудь бытовик начинает просить Николая Сеника:

– Слушай, ты выведи ее в уборную, а я уж там буду. Ну выведи хоть минут на десять, а?

После операции, конечно, иных несем на носилках, иные сами бредут, но им уж не до мужчин, ни до чего...

Наш хирургический корпус хорош еще и тем, что врачи у нас молодые, еще необтершиеся в этой системе, еще не привыкшие и не приспособившиеся к ней. Кончили институты, приехали по распределению, ждут не дождутся, когда можно будет вернуться «на волю». От каждого из них я слышал: «Скорей бы отработать эти три года и уехать бы отсюда куда угодно, хоть к черту на рога!»

И это несмотря на то, что практика у них на третьем такая, о какой начинающий врач и мечтать не может: операции любой сложности, травмы, даже пулевые ранения.

Например, однажды к нам привезли молодого парня из бытового лагеря — у него была прострелена из автомата грудь. Дело было так: группа зэков стояла в зоне на крылечке и чего-то собачилась с автоматиком на вышке. Тот разозлился, навел на них автомат; остальные зэки вбежали в барак, а этот остался — не может быть, чтобы автоматчик стрелял в зону. Ну а тот все-таки дал очередь. Не знаю уж, наказали ли часового, а этот парень попал к нам в хирургический корпус.

Но вот и практика, и самостоятельная работа, и условия неплохие (хотя, конечно, порядочная дыра), — а рвутся молодые врачи с этой работы «куда угодно». Главным образом потому, что они ничем не могут помочь своим больным. Видят же: и несправедливости сколько угодно, и голод. Они проходят здесь школу бездушия, школу безразличия: делай свое прямое дело и ни во что не вмешивайся. Врачу, конечно, трудно совместить этот принцип с принципами своей профессии. Но некоторые привыкают, остаются здесь навсегда, становятся сами такими же, как начальство, как офицеры. Ну вот хоть эта Шимканис. И таких, как она, много, особенно в самих зонах.

Но вот наши хирурги были совсем иными — и начальник отделения Заборовский, и врачи Кабиров и Соколова. Они и с больными поговорят, и сквозь пальцы смотрят на то, что поздно вечером мы, санитары, собираемся в процедурной. Сколько раз наши врачи ходили к начальнику больницы, добивались, чтобы нам выписывали больше дров! Соколова — так та в морозы не велела мне топить ее кабинет, сидит там в шубе, — чтобы больше дров осталось на палаты,

чтобы больным теплее было. По сути, это и все, что могли сделать для нас врачи, помимо лечения. Еще характерно, что у них не было этого высокомерия вольных по отношению к зэкам. Наш фельдшер Николай был заключенный, двадцатипятилетник, у него был большой опыт, — так наши молодые врачи всегда с ним советовались, его диагнозы считались самыми правильными.

Здесь мне снова пришлось близко столкнуться с «членовредителями», с татуировщиками, с неудачниками-самоубийцами. Чуть не каждый операционный день — какая-нибудь операция на желудке, вырезают то, что проглотил зэк.

Я не стану рассказывать о каждом подробно — это было бы повторение того, что я видел во Владимире: крючки из колючей проволоки, куски стекла, согнутые носики от чайников...

Из психиатрического корпуса привели молодого прибалта. Я с ним познакомился еще раньше, когда в первый раз лежал в больнице. Тогда он отрезал себе ухо. Рану залечили и поместили его в психиатрический корпус. И вот теперь, когда ему оставалось всего несколько месяцев до освобождения, он отрезал себе второе ухо, проглотил ложку, куски колючей проволоки. Его оперировала Соколова, а месяца через два после операции он снова оказался у нас: проглотил шахматные фигуры, целую партию, и белые, и черные, кроме двух коней. У него до освобождения оставалось дней сорок. Не знаю, был ли он помешанным. Я с ним часто разговаривал, и он производил впечатление вполне нормального человека — во всяком случае, гораздо более нормального, чем многие зэки в зоне, которые считались здоровыми. Этот прибалт был сыном священника, грамотным, начитанным парнем. Он и в больнице много читал. Операцию снова делала Соколова; шахматы, добытые из его желудка, выпросил Сеник. Мы с ним хранили этот музейных экспонат — играть ими все равно было нельзя — не хватало двух коней.

Встретил я еще одного старого знакомого — Бориса Власова, того, который пришел в нашу камеру во Владимирке на костылях. Тогда Бориса вскоре перевели из тюрьмы на спец, и все это время он был на спецу. Его привезли в полосатой одежде, положили в палату-камеру для «полосатиков». Он на спецу весь искололся — и грудь и лицо, все те же обычные изречения: «Раб КПСС» и тому подобное. В нашем корпусе у него вырезали татуировки; он у нас лежал недолго, как только раны стали подживать, его перевели в терапевтический; уж как он не хотел туда! Только в нашем корпусе «полосатики» жили сравнительно свободно, гуляли по коридору, разговаривали с другими зэками; в других корпусах их держали строго по инструкции: в палате-камере, под замком.

Однажды привезли молодого парня из зоны. Сидя в БУРе, он проглотил несколько ржавых гвоздей, две ложки, куски колючей проволоки. Он знал, что как только оправится после операции, его снова отвезут и посадят в БУР. И вот после операции, едва придя в себя, он сорвал все повязки и разорвал шов на животе. Пришлось зашивать снова. И он лежал связанный, привязанный к койке, пока не заросли швы. Конечно, потом его увезли в БУР. Там он раздобыл лезвие, располосовал себе живот и снова попал к нам, снова его пришлось привязывать к койке...

Все это обычные, будничные истории, к ним привыкли и зэки, и врачи, и начальство. Но вот одна из наших медсестер (сестры у нас были вольные) по-

ехала в отпуск в дом отдыха. Она там не говорила своим соседкам, что работает в лагере, говорила, что просто медсестра в больнице. Но она рассказывала им, как это водится на отдыхе, всякие случаи из своей практики — у одного больного из желудка вынули ложки, у другого гвозди, шахматы, стекло... И после этих ее рассказов соседки по дому отдыха решили, что она ненормальная, что у нее расстроенная психика, ее даже побаивались. После отпуска она рассказала об этом нам — мы вечерами собирались поболтать в процедурной. И после ее рассказа мы вдруг по-иному увидели все, что нас окружает, — всю дикость, всю фантастичность этой обстановки, всю неестественность этих обычных для нас историй, этой больницы за колючей проволокой, под охраной автоматчиков на вышках.

<...>

Источник: сайт «Мемориала» (http://www.memo.ru).

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. КОРНЕЛИЯ МЭНЕСКУ,

министра иностраннных дел Социалистической Республики Румынии

Уважаежые товарищи! Как вам хорошо известно, в израильско-арабском конфликте наше правительство занимает позицию, отличную от других социалистических стран. Наше правительство и коммунистическая партия Румынии заявляли о своей позиции при всех обстоятельствах как в с своей стране, так и за границей, в ООН, на Московской конференции, проходившей с участием глав правительств социалистических стран. Как известно, мы отказались от подписаний коммюнике, в котором Израиль обвиняется в агрессии. Мы рассматривали это коммюнике как выражение одностороннего подхода, не отражающего действительного положения на Ближнем Востоке и не дающего объективного освещения причин, приведших к шестидневной войне.

Мы не склонны принять крайне упрощенный тезис, будто 2,5-миллионный народ заинтересован жить в постоянном состоянии войны с 100-миллионным народом, занимающим огромную территорию и владеющим колоссальными нефтяными богатствами. Правда заключается в другом: за все эти годы мы ни разу не слышали, чтобы руководители Израиля заявляли о своем намерении уничтожить какое-либо арабское государство, в противоположность этому, мы слышали от многих арабских представителей заявления, что Израиль должен быть уничтожен, и арабская пропаганда в последние годы велась именно в этом направлений. Как вам несомненно известно, после шестидневной войны сами арабы признали, что эта пропаганда нанесла им огромный вред накануне и после войны, так как она заметно усилила симпатию к Израилю во всем мире.

Обвинение Израиля в агрессии не было признано не только правительством Румынии, но также десятками членов ООН, которые отнюдь не настроены против арабов. По нашему мнению социалистические страны сильно себя скомпрометировали в глазах миллионов честных людей во всем мире, в том числе очень многих коммунистов на Востоке и на Западе. Мы не приняли участия во второй конференции коммунистических руководителей в Будапеште, на которой было принято решение оказать арабским странам далеко идущую военную, политическую и экономическую помощь. Наше правительство считает, что это является лишь подстегиванием арабских руководителей и они будут еще более упорствовать в своей бескомпромиссной позиции в конфликте с Израилем. Наше предположение полностью оправдалось, когда Хартумской конференцией было принято решение: не признавать Израиль, не вести с ним никаких переговоров, и не заключать с ним мирного договора. Это решение, без всякого сомне-

ния, еще больше обострило положение на Ближнем Востоке. Как представитель румынского правительства, я считаю, что такая политика не должна быть целью соц. стран, если они искренне стремятся к миру и сосуществованию) всех народов. Мы считаем, что Израиль тоже имеет право на мир и безопасность, как любое самостоятельное и суверенное государство. Мы считаем, что нет никакого основания для разрыва дипломатических отношений с Израилем.

То, что эта маленькая страна одержала такую беспримерную победу над тремя арабскими странами, еще далеко не является основанием для разрыва с ней дипломатич. отношений. Каково бы ни было отношение к израильско-арабскому конфликту, невозможно опровергнуть тот факт, который привел к шестидневной войне: не Израиль, а Египет совершил агрессивный акт, закрыв Тиранский пролив, признанный почти всеми странами международный морским путем.

Уважаемые товарищи! Если вы считаете, что разрывом дипломатии, отношений с Израилем вы наказываете «агрессора», то я бы хотел спросить представителей соцстран: почему они не порывают дипломатических отношений с Соединенными Штатами, когда социалистическая страна — Советский Вьетнам — подвергается изо дня в день уничтожению превосходящими силами американцев? Почему ни одна социалистическая страна не порвала дипломатических отношений с США во время Корейской войны? И почему мы не угрожали Вашингтону принятием «действенных мер» в драматический дни Кубинского кризиса? Как вам хорошо известно, некоторые арабские страны порвали дипломатические отношения с Великобританией из-за Родезии, однако, ни одно социалистическое государство этого не сделало, т.к. мы, по-видимому, питаем уважение к сильным агрессорам и относимся с пренебрежением к так называемым «слабым агрессорам». Кроме того, наше правительство придерживается мнения, что разрыв отношений с Израилем не является актом мудрости и политич. дальновидности. Если мы хотим помочь арабским странам в «ликвидации последствий израильской агрессии», что это может быть достигнуто не резкими статьями в «Правде», а повседневным контактом с правительством данной страны. Только таким образом можно оказать давление на Израиль и склонить его на уступки, приемлемые для арабских стран. Теперь, спустя 6 месяцев после окончания войны, выяснилось, что дипломатическое оружие, посредством которого вы думали сразить Израиль, действует как бумеранг и ослабляет позиции соц. стран в этом вопросе. Вы сами, собственными руками, передаете решение данного конфликта в руки Вашингтона, вместо того, чтобы держать его в своих руках и склонить Израиль к уступчивости.

Заканчивая, я прошу разрешения сделать еще одно замечание о явлении, оказывающем огромное влияние на израильско-арабский конфликт. Коммунистическая печать в последнее время атакует в самых резких выражениях «израильских агрессоров», которых приравнивает к гитлеровцам и другим военным преступникам без всякого на то основания. Акробатика многих коммунистических газет, пытаясь внести различие между израильтянами и евреями, часто доводит это до абсурда и подрывает авторитет коммунистических партий. Мы считаем, что почти невозможно отличить позицию израильтянина от позиции еврея, особенно в вопросе государства Израиль, и не считаем это проявлением нелояльности со стороны евреев-граждан Социалистической Румынии.

Следует понять, что если коммунистическая печать ведет кампанию травли Израиля, то эта кампания неминуемо принимает антисемитский характер по отношению к тем евреям, которые проживают в социалистических странах. Так эту кампанию понимают во всем мире.

Уважаемые товарищи! Мы далеки от мысли, что Абдель Насер или доктор Зуйен являются истинными представителями социализма и что правительство Израиля — реакционеры и империалисты. Простите меня за следующие замечание: по мысли нашего представителя в Тель-Авиве, в самом маленьком кибуце Израиля больше социализма, чем во всем Египте. Что касается социализма и коммунизма, то еще большой вопрос, сидели бы мы сегодня на этой конференции как представители социалистической страны, если бы не колоссальный вклад еврейских коммунистов в осуществление идей марксизма-ленинизма. Когда однажды т. Калинина спросили, почему не наступает мировая революция, он ответил с улыбкой: «А где взять столько евреев-революционеров?»

Наше правительство принимает участие в этом совещании в надежде, что социалистические страны кое-что поняли за истекшие 6 месяцев. Мы считаем, что решение Совета Безопасности от 22 ноября является конструктивной базой для решения израильско-арабского конфликта мирным путем. Израильтянам и арабам следует встретиться за столом переговоров, чтобы обсудить пути к стабильному миру. По мнению моего правительства, социалистические страны имеют достаточно влияния, чтобы побудить руководителей арабских стран полностью отказаться от военных угроз и найти пути к миру с Израилем.

[1967]

Источник: самиздатская рукопись.

ДВЕ ТЫСЯЧИ СЛОВ,
обращенных к рабочим, крестьянам, служащим, ученым, работникам искусства и всем прочим

В 1969 году в одном из последних номеров известного чехословацкого еженедельника, прежде чем русские запретили его был напечатан рисунок. Это была имитация известного плаката времен гражданской войны 1918 года в России, который призывал к набору в Красную Армию: солдат с красной звездой на шлеме чрезвычайно строгим взглядом смотрит вам в глаза и протягивает руку с нацеленным на вас указательным пальцем. Изначальный русский текст гласил: «Ты записался добровольцем?» Этот текст был заменен чешским текстом: «Ты подписал две тысячи слов?»

«Две тысячи слов» был первым знаменитым манифестом весны 1968 года, призывавшим к радикальной демократизации коммунистического режима. Его подписала масса интеллектуалов, затем приходили и подписывали простые люди; в конце концов подписей оказалось такое множество, что впоследствии их так и не смогли подсчитать. Когда в Чехию вторглась советская армия и начались политические чистки, один из вопросов, задаваемых гражданам, был: «Ты тоже подписал две тысячи слов?». Кто признавался в своей подписи, того без разговоров вышвыривали с работы.

(Милан Кундера. «Невыносимая легкость бытия»)

Автором текста «Две тысячи слов» был чешский писатель Людвиг Вацулик.

Жизни нашего народа сначала угрожала война. Потом снова пришли скверные времена с событиями, которые угрожали его душевному здоровью и характеру. Большая часть народа с надеждой восприняла программу социализма. Но за ее осуществление взялись не те люди. Скверно не то, что у них не было достаточно государственного опыта, специальных знаний или философского образования; пусть бы у них было больше мудрости, обыкновенной мудрости и добропорядочности, чтобы они были в состоянии выслушивать мнение других и позволили бы постепенно заменить себя более одаренными людьми.

Коммунистическая партия, которая после войны завоевала у народа большое доверие, постепенно начала разменивать его на должности, пока не получила их все, и тогда у нее ничего не осталось. Мы должны прямо это сказать; это сознают и те из коммунистов среди нас, чье разочарование результатами так же велико, как и у остальных. Ошибочная линия руководства превратила партию из политической партии идейного союза в орган власти, которая стала притягательной силой для властолюбивых эгоистов, для трусов и людей с грязной совестью. Их прилив сказался на характере и поведении партии; внутреннее ее устройство было таково, что только пройдя через позорное превращение, честный

человек мог приобрести в ней влияние; в ней не было людей, которые бы ее могли удерживать на высоте современных задач. Многие коммунисты боролись против этого упадка, но им не удалось воспрепятствовать тому, что случилось.

Порядки коммунистической партии явились причиной и моделью таких же порядков в государстве. Ее союз с государством привел к тому, что исчезло преимущество глядеть на исполнительную власть со стороны. Деятельность государства и хозяйственных организаций не критиковалась. Парламент разучился обсуждать, правительство — управлять, а руководители — руководить. Выборы потеряли смысл, законы — вес. Мы не могли больше доверять своим представителям ни в одном комитете, да если б захотели, то не могли бы от них ничего требовать, потому что они все равно ничего не могли добиться. Еще хуже было то, что мы уже не могли верить друг другу. Личная и коллективная честь исчезли. Честностью добиться чего-либо было не возможно, а о вознаграждении по способностям нечего говорить. Поэтому большинство потеряло интерес к общественным вопросам и заботилось только о себе да о деньгах, причем даже и на деньги нельзя было полагаться. Испортились отношения между людьми, исчезла радость труда, короче, пришли времена, которые грозили духовному здоровью и характеру народа.

За наше нынешнее состояние ответственны мы все, а особенно коммунисты среди нас, главная, однако ответственность лежит на тех, кто были соучастниками или орудием неконтролируемой власти. Это была власть жестокой группы, распространяемая с помощью особого аппарата от Праги в каждый район и каждое село. Этот аппарат решал, кто что может или не может делать, он управлял кооперативами вместо крестьян, фабриками — вместо рабочих и народными комитетами — вместо граждан. Ни одна организация не принадлежала на самом деле ее членам, даже коммунистическая. Главной виной и наибольшим обманом этих правителей является то, что свой произвол выдавали за волю рабочих. Если бы мы захотели поверить этой лжи, мы сейчас должны были бы счесть виной рабочих упадок нашего хозяйства, преступления, совершенные над невинными людьми, введение цензуры, которая не давала писать обо всем этом, рабочие были бы виноваты в неразумных капиталовложениях, убытках торговли, нехватки жилплощади. Никакой разумный человек в подобную вину рабочих не поверит. Мы все знаем, а рабочие в особенности, что сами рабочие ничего не решали. Представители от рабочих выдвигал на голосование кто-то другой. В то время, как многие рабочие думали, что управляют страной, на самом деле от их имени страной правила особая воспитанная прослойка деятелей партийного и государственного аппарата. Фактически они заняли место свергнутого класса и сами стали новыми господами. Справедливости ради, однако, надо отметить, что многие из них сами давно разгадали эту иронию истории. Мы узнаем их сейчас потому, что они устраняют несправедливость, исправляют ошибки, возвращают членам организаций и гражданам право решать, ограничивают компетентность и численный состав чиновничьего аппарата. Они вместе с нами выступают против отсталых взглядов.

<...>

Но большая часть чиновников пока еще сопротивляется и обладает весом! У нее в руках пока еще средства власти, особенно в районах и на местах, где она может ими пользоваться скрытно и не рискуя быть привлеченной к суду.

С начала нынешнего года мы находимся в возродительном процессе демократизации. Этот процесс начался в коммунистической партии. Мы должны об этом прямо сказать, и об этом знают даже те беспартийные среди нас, которые от партии уже ничего хорошего не ждали. Следует, однако, добавить, что этот процесс и не мог начаться в другой организации. Ведь только коммунисты могли в течении 20 лет жить хоть какой политической жизнью, только коммунистическая критика присутствовала там, где принимались решения, только оппозиция в компартии обладала тем преимуществом, что находилась в контакте с противником. Инициатива и усилия демократических коммунистов являются поэтому не более, чем платежом в погашении долга всей партии перед беспартийными, которых она держала в неравноправном положении. Поэтому благодарить компартию не за что, ей следует, может быть, признать, что она часто старается использовать последнюю возможность сохранения своей чести и чести своего народа. Процесс вознаграждения не несет в себе чего-либо нового. Он несет мысли и предположения, многие из которых старше, чем ошибки нашего социализма, другие же возникли над поверхностью видимых событий, они должны были быть давно высказаны, но подавлялись. Нечего строить иллюзии, что эти мысли побеждают теперь силой правды. Их победе скорее благоприятствовала слабость старого руководства, которое, по-видимому, сперва должно было устать от 20-летнего господства без каких-либо помех. Видимо, сперва должны были окончательно созреть все ошибочные предпосылки, скрывающиеся в основах идеологии этой системы. Так что не стоит преувеличивать значение критики со стороны студенчества и писателей. Источником общественных изменений является экономика. Правдивое слово хорошо тогда, когда оно предварительно подготовлено условиями. Под предварительно подготовленными условиями в нашем случае, к сожалению, надлежит понимать нашу бедность и полный развал той системы правления, когда политики определенного типа могли спокойно и неспешно компрометировать себя. Итак, правда не побеждает, правда просто остается, когда прочее уже разбазарено! Следовательно, нет повода ко всенародному ликованию, есть только повод к новой надежде.

Мы обращаемся к вам в этот миг надежды, которая, однако, пока еще в опасности. Потребовалось несколько месяцев, что бы многие из нас поверили, что могут высказаться, а многие не верят до сих пор. Но мы уже столько сказали и столько открыли, что ничего не остается, как довести до конца наше намерение очеловечить этот режим. Иначе реванш старых сил был бы слишком жестоким. Мы обращаемся прежде всего к тем, кто до сих пор только выжидал. Время, которое наступает, решает нашу судьбу на многие годы.

Наступает лето с каникулами и отпусками, когда мы по старой привычке захотим все бросить. Но право же, наши уважаемые противники не позволят себе отдыха, они начнут мобилизовать своих людей, тех, которые обязаны им, с тем, что бы уже сейчас обеспечить себе спокойное Рождество. Постараемся внимательно следить за происходящим , стараться уразуметь и ответить на это. Откажемся от неисполненной надежды на то, что кто-то более высокопостав-

ленный даст нам единственно правильное толкование происходящего и единственное решение. Пусть каждый делает свои собственные выводы, на свою ответственность. Приемлемое для общества решение можно найти только в дискуссии, для которой нужна свобода слова, которая, собственно, есть единственное достижение этого года.

К тем дням которые нам предстоят, мы должны идти с собственной инициативой и с собственными решениями.

Прежде всего, мы будем противостоять мнению, что можно совершить какое-либо демократическое возрождение без коммунистов или вопреки им. Это было бы не только не справедливо, но и не разумно. У коммунистов созданы организации, прогрессивное крыло оных нуждается в нашей поддержке. У них есть опытные функционеры, у них все еще в руках решающие рычаги и кнопки. Как бы то ни было, они предложили обществу программу действий, которая одновременно является программой первого исправления крупнейших несправедливостей, а ни у кого другой такой программы нет. Нужно требовать, чтобы они предложили свою программу местных действий общественности каждого округа, каждого села. И здесь мы поведем речь о вполне естественных и правильных действиях, которые так давно идут. Компартия готовится к съезду, который должен избрать новых ЦК. Потребуем, чтобы он был лучше старого. Если компартия сегодня говорит, что свою руководящую роль в будущем она намеревается опирать на доверие граждан, а не насилие, мы должны этому верить в той мере, в какой мы можем верить тем людям, которых уже сейчас она направляет в качестве делегатов на районные и областные конференции.

В последнее время люди обеспокоены тем, что темп демократизации замер. Это впечатление является, отчасти проявлением усталости от волнующих событий отчасти соответствует фактам: пришел сезон неожиданных разоблачений, отставок с высоких постов и опьяняющих выступлений необыкновенной словесной смелости. Борьба сил, однако, лишь стала менее видимой, но она идет — борьба за содержание и текст законов, за диапазон практических мероприятий. Кроме того, новым людям министрам, прокурорам, председателям и секретарям необходимо дать время поработать. Они имеют на это право, им нужно время, что бы показать себя то ли с хорошей, то ли с плохой стороны. Кроме того, от центральных политических органов нельзя теперь и ожидать большего. Они и так проявили неожиданные удивительные добродетели.

Практическое качество будущей нашей демократии зависит от того, что будет происходить с предприятиями и на предприятиях. При всех наших дискуссиях нас держат в своих руках наши хозяйственники. Хороших экономистов надо искать и всячески пробивать на ведущие посты. Правда, что по сравнению с развитыми странами нам плохо платят (а некоторым еще хуже). Мы могли бы потребовать больше денег — их легко напечатать и тем самым обесценить. Давайте лучше требовать у директоров и председателей, что бы нам объяснили, что и по какой цене хотят производить, кому и почем продавать, сколько, кто заработает, сколько денег уйдет на усовершенствование производства, сколько можно будет распределить. В газетах под нудными, на первый взгляд, заголовками мы видим картину жестокой борьбы за демократию или за кормушку. Рабочие, как производители, могут оказать влияние на исход борьбы, смотря по тому, кого

они изберут в производственные советы. Лучше всего им, как рабочим, будет, если они изберут в профсоюзные органы своих естественных вожаков, способных и честных людей, независимо от их партийной принадлежности.

Но если от теперешних центральных политических органов нельзя сегодня ожидать большего, то надо добиться большего в районах и селах. Надо требовать отставки лиц, которые злоупотребляют своей властью, нанесли ущерб общественному имуществу, действовали нечестно и жестоко. Надо придумывать способы заставить их уйти. Например: публичная критика, резолюции, демонстрации, сбор подарков для них при уходе на пенсию, демонстративные субботники, забастовки, бойкотирование их дверей. Однако надо отвергнуть грубые, незаконные и нечестные приемы борьбы, потому что они могли бы использовать их для воздействия на Александра Дубчека. Наше отвращение к писанию грубых писем должно быть столь всеобщим, что бы каждое такое письмо, которое они получат, можно было считать письмом, которое они прислали сами себе. Оживляйте деятельность Народного фронта. Требуйте публичных заседаний Народных комитетов. Создавайте гражданские комитеты и комиссии для решения тех вопросов, которые никто не хочет решать. Это просто: собирается несколько человек, выбирают председателя, исправно ведут протокол, публикуют свое заключение, требуют решения, не дают себя запугать, районную и местную печать, которая в большинстве случаев дегенерировала до уровня бюрократической дудки, надо превратить в трибуну всех положительных политических сил, создавать редакционные коллеги из представителей Национального фронта или же основывать новые газеты. Создавайте комитеты по защите свободы слова. Собираясь на собрания, организуйте свою собственную службу охраны порядка. Услышав тревожные новости, проверяйте их, направляйте делегации в компетентные органы, их ответы публикуйте хотя бы на заборах. Оказывайте поддержку органам безопасности, когда они преследуют настоящих преступников. Нашей целью не является вызвать безвластие и состояние всеобщей неуверенности. Избегайте распрей между соседями, не обсуждайте политических вопросов под пьяную руку. Разоблачайте доносчиков.

Оживленное движение летом по всей стране вызовет интерес к упорядочению государственно-правовых отношений между чехами и словаками. Федерализацию мы считаем одним из способов решения национального вопроса, и все же это только одно из мероприятий, направленных на демократизацию нашей жизни. Это мероприятие само по себе может и не принести словакам лучшую жизнь. Завести отдельный режим для чехов и словаков — это еще не решение вопроса. Власть партийно-бюрократического аппарата в Словакии может при этом сохраниться во всей силе, раз она «завоевала большую свободу».

Большое беспокойство в последнее время вызывает возможное вмешательство иностранных сил. Оказавшись лицом к лицу с превосходящими силами, мы должны будем только стоять на своем, не поддаваться на провокации. Свое правительство мы можем заверить в том, что будем следовать, за ним даже с оружием в руках лишь бы оно продолжало делать то, на что получило наши полномочия, а своих союзников мы можем заверить, что союзнические, дружеские и торговые отношения выполним. Наши раздраженные обвинения и неаргументированные подозрения только затрудняют положение нашего правительства и

делу не помогут. Равноправные отношения мы сможем обеспечить только при условии, что улучшится наше внутреннее положение, а процесс возрождения зайдет так далеко, что на выборах удастся избрать таких государственных деятелей, у которых будет столько смелости и чести, политического ума, что их хватит, что бы установить и отстоять такие отношения. Это, между прочим, является проблемой для всех без исключения малых государств во всем мире!

Весной этого года, как и после войны, мы стали перед новыми возможностями у нас есть снова возможность взять в свои руки наше общее дело, рабочее название которого — социализм, и дать ему форму, которая будет лучше отвечать нашей когда-то доброй славе и тому относительно хорошему мнению, которое мы имели с сами о себе. Эта весна окончилась и больше не вернется. Зимой мы узнаем все.

Этим кончается наше послание рабочим, крестьянам, чиновникам, людям искусства, ученым, техникам и всем прочим. Оно было написано по инициативе ученых. Подписи не суть полный перечень согласных с нами, это лишь образец людей из разных слоев общества, согласных с письмом — тех, кого мы смогли застать дома. Часть подписей по алфавиту:

Бено Блахут, засл.деят, иск., Пражский оперн.театр; проф. Ян Брод, дир. ин-та болезней органов кровообращения в Праге; акад. Б. Будховский, математик; д-р И. Цвекл , философ; Вера Чаславска, олимп. чемпионка; Зд. Чехрак, художник; Эд. Фиала, техник; инженер и писатель Иржи Ганзелка; М. Полубь, микробиолог, д-р. наук; Р. Грушинский, артист и режиссер Я. Ириш, режиссер В. Юркович, проф. Интернист Кадлепова, проф., окулист; Доп. Кнопп, педагог; К. Косик, философ; Акад. Я Коутенок, геолог Э. Петырек, дир. Горного ин-та АН; Паткова, адвокат; Проф. П. Лукин интернист; инженер О.Г. Поупа, физиолог; проф. Я. Прохазка, хирург; И. Решка, олимп. чемпион; И. Сухи, поэт; И. Шлитр, композитор; И. Топол, писатель; Людвиг Вацулик, журналист (автор этого текста); полковник Эмиль Затопек, олимпийский чемпион; Дана Затопкова, олимпийская чемпионка; И. Загата, агроном и т.д.

Всего 70 подписей.

Источник: самиздатская рукопись.

Якобсон
Анатолий Александрович
(1935–1978)



Историк, литературовед.

Родился в Москве. Десять лет был учителем литературы средней школы. В 1968 г. после написания открытого письма о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г. против оккупации Чехословакии (см. ниже) был вынужден уйти из школы. В 1969 г. стал редактором «Хроники текущих событий» *(стр. 429)*. После неоднократных обысков и вызовов в КГБ в 1973 г. эмигрировал в Израиль, где работал на факультете славистики при Иерусалимском университете, занимаясь русской поэзией начала двадцатого века. Вскоре начал страдать тяжелым психическим заболеванием и в 1978 г. покончил с собой.

«Конец трагедии» *(стр. 410)* — литературоведческая работа, посвященная творчеству Александра Блока. Появилась в Самиздате на рубеже 70-х годов. В работе исследуется творчество А. Блока постреволюционного периода; главное внимание уделено поэме «Двенадцать».

Рукопись ходила в достаточно узком кругу друзей А. Якобсона, но среди читателей были К.И. Чуковский, Л.К. Чуковская, М.С. Петровых, М.М. Бахтин, А.Д. Сахаров, Д.С. Самойлов. Впервые книга была опубликована в Нью-Йорке в 1973 г., в России вышла только в 1992 г. в сборнике «Почва и судьба» (Издательство «Весть», Вильнюс-Москва (ВИМО)).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

25 августа 1968 г. семь человек: Константин Бабицкий, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг — вышли на Красную площадь, к Лобному месту, и развернули лозунги: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» (на чешском языке), «Позор оккупантам», «Руки прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу».

Охранники в штатском с грязными погромными выкриками бросились на демонстрантов, некоторых избили и всех затолкали в машину. Затем — Лефортовская тюрьма, следствие, и скоро демонстранты предстанут перед судом по обвинению в «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», за исключением Горбаневской и Файнберга, которых властям угодно считать невменяемыми.

О демонстрантах узнали все, кто хочет знать правду в нашей стране; узнал народ Чехословакии; узнало все человечество. Если Герцен сто лет назад, вы-

тупив из Лондона в защиту польской свободы и против ее великодержавных душителей, один спас честь русской демократии, то семеро демонстрантов безусловно спасли честь советского народа. Значение демонстрации 25 августа невозможно переоценить.

Однако многие люди, гуманно и прогрессивно мыслящие, признавая демонстрацию отважным и благородным делом, полагают одновременно, что это был акт отчаяния, что выступление, которое неминуемо ведет к немедленному аресту участников и к расправе с ними, неразумно, нецелесообразно. Появилось и слово «самосажание» — на манер «самосожжения».

Я думаю, что если бы даже демонстранты не успели развернуть свои лозунги и никто бы не узнал об их выступлении, — то и в этом случае демонстрация имела бы смысл и оправдание. К выступлениям такого рода нельзя подходить с мерками обычной политики, где каждое действие должно приносить непосредственный, материально измеримый результат, вещественную пользу. Демонстрация 25 августа — явление не политической борьбы (для нее, кстати сказать, нет условий), а явление борьбы нравственной. Сколько-нибудь отдаленных последствий такого движения учесть невозможно. Исходите из того, что правда нужна ради правды, а не для чего-либо еще; что достоинство человека не позволяет ему мириться со злом, если даже он бессилен это зло предотвратить.

Лев Толстой писал: «...Рассуждения о том, что может произойти вообще для мира от такого или иного нашего поступка, не могут служить руководством наших поступков и нашей деятельности. Человеку дано другое руководство, и руководство несомненное — руководство его совести, следуя которому, он несомненно знает, что делает то, что должен». Отсюда — нравственный принцип и руководство к действию: «не могу молчать».

Это не значит, что все, сочувствующие демонстрантам, должны выйти на площадь вслед за ними; не значит, что для демонстрации каждый момент хорош. Но это значит, что каждый единомышленник героев 25 августа должен, руководствуясь собственным разумом, выбирать момент и форму протеста. Общих рецептов нет. Общепонятно лишь одно: «благоразумное молчание» может обернуться безумием — реставрацией сталинизма.

После суда на Синявским и Даниэлем, с 1966 года, ни один акт произвола и насилия властей не прошел без публичного протеста, без отповеди. Это — драгоценная традиция, начало самоосвобождения людей от унизительного страха, от причастности к злу.

Вспомним слова Герцена: «Я нигде не вижу свободных людей и я кричу — стой! — начнем с того, чтобы освободить себя».

Анатолий Якобсон

Источник: Анатолий Якобсон. Почва и судьба. Изд-во «Весть». Вильнюс — Москва. 1992.

Лариса Богораз

(Справку см. стр. 255)

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО НА СУДЕ

Сначала я вынуждена заявить нечто, к моему последнему слову не относящееся: в зал суда не допущены мои друзья и родственники — мои и других подсудимых. Тем самым нарушена ст. 18 УПК, гарантирующая гласность судебного разбирательства.

В последнем слове я не имею возможности и не намерена — здесь и сейчас — обосновывать свою точку зрения по чехословацкому вопросу. Буду говорить только о мотивах своих действий. Почему я, «будучи несогласна с решением КПСС и Советского правительства о вводе войск в ЧССР», не только подала заявление об этом в своем институте, но и вышла на демонстрацию на Красную площадь?

Судья: Не говорите о своих убеждениях. Не выходите за рамки судебного разбирательства.

Богораз: Я не выхожу за рамки судебного разбирательства. Был такой вопрос у прокурора. В ходе судебного разбирательства был поставлен вопрос о мотивах, и я имею право остановиться на этом. Мой поступок не был импульсивным. Я действовала обдуманно, полностью отдавая себе отчет в последствиях своего поступка.

Я люблю жизнь и ценю свободу, и я понимала, что рискую своей свободой и не хотела бы ее потерять.

Я не считаю себя общественным деятелем. Общественная жизнь — для меня далеко не самая важная и интересная сторона жизни. Тем более, политическая жизнь. Чтобы мне решиться на демонстрацию, мне пришлось преодолеть свою инертность, свою неприязнь к публичности.

Я предпочла бы поступить не так. Я предпочла бы поддержать моих единомышленников — известных людей. Известных своей профессией или по своему положению в обществе. Я предпочла бы присоединить свой безымянный голос к протесту этих людей. Таких людей в нашей стране не нашлось. Но ведь мои убеждения от этого не изменились.

Я оказалась перед выбором: протестовать или промолчать. Для меня промолчать — значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать — значило для меня солгать. Я не считаю свой образ действий единственно правильным, но для меня это было единственно возможным решением.

Для меня мало было знать, что нет моего голоса «за», — для меня было важно, что не будет моего голоса «против».

Именно митинги, радио, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать: я против, я несогласна. Если бы я этого не сделала, я считала бы себя ответственной за эти действия правительства, точно так же, как на всех взрослых гражданах нашей страны лежит ответственность за все действия нашего правительства, точно так же, как на весь наш народ ложится ответственность за сталинско-бериевские лагеря, за смертные приговоры, за...

Прокурор: Подсудимая выходит за рамки обвинительного заключения. Она не вправе говорить о действиях советского правительства, советского народа. Если это повторится, я прошу лишить подсудимую Богораз последнего слова. Суд имеет на это право по закону.

Адвокат Каминская: Происходит некоторое недопонимание того, что говорит Богораз. Она говорит о мотивах своих действий. Когда в совещательной комнате суд будет принимать решение, он должен будет учитывать эти мотивы, и вы должны их выслушать.

Адвокат Каллистратова: Я присоединяюсь к Каминской. От себя хочу добавить: прокурор неправ, когда говорит о возможности лишить подсудимого права на последнее слово. Такого нет в кодексе. В законе сказано лишь, что председательствующий имеет право исключить из речи подсудимого элементы, не имеющие отношения к делу.

Судья: Заявление прокурора считаю основательным. (К Богораз): Вы все время пытаетесь говорить о своих убеждениях. Вас судят не за ваши убеждения, а за ваши действия. Рассказывайте о конкретных действиях. Суд делает вам замечание.

Богораз: Хорошо, я учту это замечание. Мне тем более легко его учесть, что пока я даже не коснулась мои убеждений и ни слова не говорила о моем отношении к чехословацкому вопросу. Я исключительно говорила о том, что побудило меня к действиям, в которых я обвиняюсь.

У меня было еще одно соображение против того, чтобы пойти на демонстрацию (я настаиваю на том, что события на Красной площади должны называться именно этим словом, как бы их ни именовал прокурор). Это — соображение о практической бесполезности демонстрации, о том, что она не изменит ход событий. Но я решила в конце концов, что для меня это не вопрос пользы, а вопрос моей личной ответственности.

На вопрос о том, признаю ли я себя виновной, я ответила: «Нет, не признаю». Сожалею ли я о случившемся? Полностью или частично? Да, частично сожалею. Я крайне сожалею, что рядом со мной на скамье подсудимых оказался Вадим Делоне, характер и судьба которого еще не определились и могут быть искалечены лагерем. Остальные подсудимые — вполне взрослые люди, способные сделать самостоятельный выбор. Но я сожалею, что талантливый, честный ученый Константин Бабицкий будет надолго оторван от семьи и от своей работы.

(Из зала: «Вы о себе говорите!»)

Судья: Требую немедленно прекратить выкрики! В случае необходимости буду немедленно удалять из зала. (К Богораз): Суд делает вам третье замечание. Говорите только о том, что касается лично вас…

Богораз (резко): Может, представить вам конспект моего последнего слова? Не понимаю, почему я не могу говорить о других подсудимых.

Прокурор закончил свою речь предположением, что предложенный им приговор будет одобрен общественным мнением.

Суд не зависит от общественного мнения, а должен руководствоваться законом. Но я согласна с прокурором. Я не сомневаюсь, что общественное мнение одобрит этот приговор, как одобряло оно аналогичные приговоры и раньше, как одобрило бы любой другой приговор. Общественное мнение одобрит три года

лагерей молодому поэту, три года ссылки талантливому ученому. Общественное мнение одобрит обвинительный приговор, во-первых, потому, что мы будем представлены ему как тунеядцы, отщепенцы и проводники враждебной идеологии. А во-вторых, если найдутся люди, мнение которых будет отличаться от «общественного» и которые найдут смелость его высказать, вскоре они окажутся здесь (указывает на скамью подсудимых). Общественное мнение одобрит расправу над мирной демонстрацией, состоявшей из нескольких человек.

Вчера в своей защитительной речи, защищая свои интересы, я просила суд об оправдательном приговоре. Я и теперь не сомневаюсь, что единственно правильным и единственно законным был бы оправдательный приговор. Я знаю закон. Но я знаю также и судебную практику, и сегодня, в своем последнем слове, я ничего не прошу у суда.

11 октября 1968 г. 10.00

Источник: сайт Вячеслава Игрунова (http://www.igrunov.ru).

Наталья Горбаневская

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 60)

ПОЛДЕНЬ

Что я помню о демонстрации

В воскресенье, 25 августа 1968 года, через несколько дней после ввода войск Варшавского договора в Чехословакию на Красной площади в Москве, у собора Василия Блаженного, возле Лобного места — исторического места казни противников царизма — восемь человек провели демонстрацию против вторжения. Протест длился всего лишь несколько минут и закончился арестом его участников.

Наталью Горбаневскую и Виктора Файнберга вскоре подвергли принудительному психиатрическому лечению. Другие пятеро участников демонстрации — Лариса Богораз, Павел Литвинов, Вадим Делоне, Константин Бабицкий и Владимир Дремлюга были приговорены к различным срокам заключения и ссылки. Татьяне Баевой удалось избежать ареста.

Горбаневская, как мать двоих маленьких детей, дольше всех оставалась на свободе. Успела составить «белую книгу» демонстрации, которая в 1970 году была опубликована на Западе.

Накануне прошел дождь, но в воскресенье с самого утра было ясно и солнечно. Я шла с коляской вдоль ограды Александровского сада; народу было так много, что пришлось сойти на мостовую. Малыш мирно спал в коляске, в ногах у него стояла сумка с запасом штанов и распашонок, под матрасиком лежали два плаката и чехословацкий флажок. Я решила: если никого не будет, кому отдать плакаты, я прикреплю их по обе стороны коляски, а сама буду держать флажок.

Флажок я сделала еще 21 августа: когда мы ходили гулять, я прицепляла его к коляске — когда были дома, вывешивала в окне. Плакаты я делала рано утром 25-го: писала, зашивала по краям, надевала на палки. Один был написан по-чешски: «At' zije svobodne a nezavisle Ceskoslovensko!», т.е. «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!» На втором был мой любимый призыв: «За вашу и нашу свободу» — для меня, много лет влюбленной в Польшу, особенно нестерпимым в эти дни было то, что вместе с нашими войсками на территорию Чехословакии вступили и солдаты Войска Польского, солдаты страны, которая веками боролась за вольность и независимость против великодержавных угнетателей — прежде всего, против России.

«За вашу и нашу свободу» — это лозунг польских повстанцев, сражавшихся за освобождение отчизны, и польских эмигрантов, погибавших во всем мире за свободу других народов. Это лозунг тех русских демократов прошлого века, которые поняли, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы.

Проезд между Александровским садом и Историческим музеем был перекрыт милицией: там стояла очередь в мавзолей. Когда я увидела эту толпу, мне представилось, что вся площадь, до самого Василия Блаженного, запружена

народом. Но когда я обошла музей с другой стороны и вышла на площадь, она открылась передо мной просторная, почти пустынная, с одиноко белеющим Лобным местом. Проходя мимо ГУМа, я встретила знакомых, улыбнулась им и прошла дальше не останавливаясь.

Я подошла к Лобному месту со стороны ГУМа, с площади подошли Павел, Лариса, еще несколько человек. Начали бить часы. Не на первом и не на роковом последнем, а на каком-то случайном из двенадцати ударов, а может быть, и между ударами, демонстрация началась. В несколько секунд были развернуты все четыре плаката (я вынула свои и отдала ребятам, а сама взяла флажок) и совсем в одно и то же мгновение мы сели на тротуар.

Справа от меня сидела Лара, у нее в руках было белое полотнище, и на нем резкими черными буквами — «Руки прочь от ЧССР!». За нею был Павлик. Доставая плакаты, я сознательно протянула ему «За вашу и нашу свободу»: когда-то мы много говорили о глубокой мысли, заключенной в этом призыве, и я знала, как он ему дорог. За Павликом были Вадим Делоне и Володя Дремлюга, но их я видела плохо: мы все сидели дугой на краешке тротуара, повторяющего своими очертаниями Лобное место. Чтобы увидеть конец этой дуги, надо было бы специально поворачиваться. Потому-то я потом и не заметила, как били Вадима. Позади коляски сидел Костя Бабицкий, с которым я до тех пор не была знакома, за ним — Витя Файнберг, приехавший на днях из Ленинграда. Всё это я увидела одним быстрым взглядом, но, по-моему, на то, чтобы записать эту картину, ушло больше времени, чем то, что прошло от мгновения, как плакаты поднялись над нами, и до мгновения, как они затрещали. Вокруг нас только начал собираться народ, а из дальних концов площади, опережая ближайших любопытных, мчались те, кто поставил себе немедленной целью ликвидировать демонстрацию. Они налетали и рвали плакаты, даже не глядя, что там написано. Никогда не забуду треска материи.

Я увидела, как сразу двое — мужчина и женщина, портфелем и тяжелой сумкой — били Павлика. Крепкая рука схватила мой флажок. «Что? — сказала я. — Вы хотите отнять у меня чехословацкий государственный флаг?» Рука поколебалась и разжалась. На мгновение я обернулась и увидела, как бьют Витю Файнберга. Плакатов уже не было, и только флажок мне еще удалось защитить. Но тут на помощь нерешительному товарищу пришел высокий гладколицый мужчина в черном костюме — из тех, кто рвал лозунги и бил ребят, — и злобно рванул флажок. Флажок переломился, у меня в руке остался обломок древка.

Еще на бегу эти люди начали выкрикивать различные фразы, которые не столько выражали их несдержанные эмоции, сколько должны были провоцировать толпу последовать их примеру. Я расслышала только две фразы, их я и привела в своем письме: «Это всё жиды!» и «Бей антисоветчиков!» Они выражались и более нецензурно: на суде во время допроса Бабицкого судья сделала ему замечание за то, что он повторил одно из адресованных нам оскорблений.

Тем не менее собравшаяся толпа не реагировала на призывы «бить антисоветчиков» и стояла вокруг нас, как всякая любопытная толпа.

Почти все, кто бил ребят и отнимал плакаты, за короткое время исчезли. Стоящие вокруг больше молчали, иногда подавали неприязненные или недоуменные реплики. Два-три оратора, оставшиеся от той же компании, произносили

пылкие филиппики, основанные на двух тезисах: «мы их освобождали» и «мы их кормим» — «их» это чехов и словаков. Подходили новые любопытные, спрашивали: — Что здесь? — Это сидячая демонстрация в знак протеста против оккупации Чехословакии, — объясняли мы. — Какой оккупации? — искренне удивлялись некоторые. Всё те же 2-3 оратора опять кричали: — Мы их освобождали, 200 тысяч солдат погибло, а они контрреволюцию устраивают. Или же: — Мы их спасаем от Западной Германии. Или еще лучше: — Что же мы, должны отдать Чехословакию американцам? И — весь набор великодержавных аргументов, вплоть до ссылки на то, что «они сами попросили ввести войска».

За этими ораторами трудно было слышать, кто из ребят что говорил, помню, кто-то объяснял, что «письмо группы членов ЦК КПЧ» с просьбой о вводе войск — фальшивка, недаром оно никем не подписано. Я на слова «Как вам не стыдно!» сказала: «Да, мне стыдно — мне стыдно, что наши танки в Праге».

Через несколько минут подошла первая машина. После мне рассказывали люди, бывшие на площади, как растерянно метались в поисках машин те, кто отнял у нас лозунги. Найти машину в летнее воскресенье на Красной площади, по которой нет проезда, трудно, даже учитывая право работников КГБ останавливать любую служебную машину. Постепенно они ловили редкие машины, выезжавшие с улицы Куйбышева в сторону Москворецкого моста, и подгоняли их к Лобному месту.

Ребят поднимали и уносили в машины. За толпой мне не было видно, как их сажали, кто с кем вместе ехал. Последним взяли Бабицкого, он сидел позади коляски, и ему достался упрек из толпы: «Ребенком прикрываетесь!» Я осталась одна.

Малыш проснулся от шума, но лежал тихо. Я переодела его, мне помогла незнакомая женщина, стоявшая рядом. Толпа стояла плотно, проталкивались не видевшие начала, спрашивали в чем дело. Я объясняла, что это демонстрация против вторжения в Чехословакию. «Моих товарищей увезли, у меня сломали чехословацкий флажок», — я приподнимала обломочек древка. «Они что, чехи?» — спрашивал один другого в толпе — «Ну, и ехали бы к себе в Чехословакию, там бы демонстрировали». (Говорят, вечером того же дня в Москве рассказывали, что на Красной площади «демонстрировала чешка с ребенком».)

В ответ на проповедь одного из оставшихся на месте присяжных ораторов я сказала, что свобода демонстраций гарантирована Конституцией. «А что? — протянул кто-то в стороне. — Это она правильно говорит. Нет, я не знаю, что тут сначала было, но это она правильно говорит». Толпа молчит и ждет, что будет. Я тоже жду.

– Девушка, уходите, — упорно твердил кто-то. Я оставалась на месте. Я подумала: если вдруг меня решили не забирать, я останусь тут до часа дня и потом уйду.

Но вот раздалось требование дать проход, и впереди подъезжающей «Волги» через толпу двинулись мужчина и та самая женщина, что била Павла сумкой, а после, стоя в толпе, ругала (и, вероятно, запоминала) тех, кто выражал нам сочувствие. «Ну, что собрались? Не видите: больной человек…» — говорил мужчина. Меня подняли на руки, — женщины рядом со мной едва успели подать мне на руки малыша, — сунули в машину, — я встретилась взглядом с

расширенными от ужаса глазами рыжего француза, стоявшего совсем близко, и подумала: «Вот последнее, что я запомню с воли», — и мужчина, указывая всё на ту же женщину, плотную, крепкую, сказал: «Садитесь — вы будете свидетелем». «Возьмите еще свидетеля», — воскликнула я, указывая на ближайших в толпе. «Хватит», — сказал он, и «свидетельница», которая, кстати, нигде потом в качестве свидетеля не фигурировала, уселась рядом со мной. Я кинулась к окну, открутила его и крикнула: «Да здравствует свободная Чехословакия!» Посреди фразы «свидетельница» с размаху ударила меня по губам. Мужчина сел рядом с шофером: «В 50-е отделение милиции». Я снова открыла окно и попыталась крикнуть: «Меня везут в 50-е отделение милиции», но она опять дала мне по губам. Это было и оскорбительно, и больно.

– Как вы смеете меня бить! — вскрикивала я оба раза. И оба раза она, оскалившись, отвечала:

– А кто вас бил? Вас никто не бил.

Машина шла на Пушкинскую улицу через улицу Куйбышева и мимо Лубянки. Потом я узнала, что первые машины ехали прямо на Лубянку, но там их не приняли и послали в 50-е отделение милиции. Мужчина по дороге сказал шоферу: «Какое счастье, что вы нам попались». А когда доехали, шофер сказал этому «случайному представителю разгневанной толпы»: «Вы мне путевочку-то отметьте, а то я опаздываю».

– Как ваша фамилия? — спросила я женщину в машине.

– Иванова, — сказала она с той же наглой улыбкой, с которой говорила «Вас никто не бил».

– Ну, конечно, Ивановой назваться легче всего.

– Конечно, — с той же улыбкой.

<…>

Источник: Н. Горбаневская. Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. Париж, 1970.

Президиуму консультативного совещания коммунистических партий в Будапеште

В последнее время в нашей стране проведен ряд политических процессов. Суть этих процессов в том, что людей в нарушении основных гражданских прав судили за убеждения. Именно поэтому процессы происходили с грубым нарушением законности, главное из которых — отсутствие гласности.

Общественность больше не желает мириться с подобным беззаконием, и это вызвало возмущение и протесты, нарастающие от процесса к процессу. В различные правительственные и партийные органы вплоть до ЦК КПСС было отправлено множество индивидуальных и коллективных писем. Письма остались без ответа. Ответом, тем, кто наиболее активно протестовал, были увольнения с работы, вызовы в КГБ с угрозой ареста и, наконец, самая возмутительная форма расправы — насильственное заключение в психиатрическую больницу. Эти незаконные и антигуманные действия не могут принести никаких положительных результатов — они наоборот нагнетают напряженность и порождают возмущение.

Мы считаем своим долгом указать также на то, что в лагерях и тюрьмах находятся несколько тысяч политзаключенных, о которых почти никто не знает. Они содержатся в бесчеловечных условиях принудительного труда, на полуголодном пайке, отданные на произвол администрации. Отбыв срок, они подвергаются внесудебным, а часто и противозаконным преследованиям, ограничениям в выборе места жительства, административному надзору, который ставит свободного человека в положение ссыльного.

Обращаем ваше внимание также на факты дискриминации малых наций и политическое преследование людей, борющихся за национальное равноправие, особенно ярко проявившееся в вопросе о крымских татарах.

Мы знаем, что многие коммунисты зарубежных стран и нашей страны неоднократно выражали свое неодобрение политическими репрессиями последних лет. Мы просим участников консультативной встречи полностью взвесить ту опасность, которую порождает попрание прав человека в нашей стране.

1. Алексей Костерин, писатель, член КПСС /в подлиннике адреса/
2. Лариса Богораз, филолог
3. Павел Литвинов, физик
4. Зампира Асанова, врач
5. Петр Якир, историк
6. Виктор Красин, экономист
7. Илья Габай, учитель
8. Борис Шрагин, философ, член КПСС
9. Анатолий Ливитин /Краснов/, церковный писатель
10. Юлий Ким, учитель
11. Юрий Глазов, лингвист
12. Петр Григоренко, инженер-строитель, бывш. Генерал-майор

Источник: самиздатская рукопись.

Сахаров
Андрей Дмитриевич
(1921–1989)



Ученый (физик-ядерщик), общественный деятель, правозащитник.

Родился в Москве в семье преподавателя физики. Начальное образование получил дома, в школе учился с седьмого класса. Окончив школу, сразу поступил на физфак МГУ (1938). В эвакуации в 1942 г. с отличием окончил Университет. Затем учился в аспирантуре Физического института у академика Тамма. В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию, после чего был включен в группу, занимавшуюся разработкой термоядерного оружия.С 1950 г. Сахаров и И.Е. Тамм начали совместно работать по проблеме управляемой термоядерной реакции. Эти работы были доложены в 1956 г. И.В. Курчатовым на конференции в Харуэлле (Великобритания) и считаются пионерскими. В 1953 г., после защиты докторской диссертации, Сахаров стал самым молодым членом АН СССР. За свои научные разработки Сахаров был удостоен многих государственных наград: ему трижды присваивали звания Героя Социалистического Труда, он был удостоен Ленинской и Государственной премий, одена Ленина. Со второй половины 50-х гг. Сахаров активно выступал против ядерных испытаний, он был одним из инициаторов заключения в 1963 г. Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах (атмосфере, космосе и океане).

Несмотря на успешную карьеру, с середины 60-х гг. Сахаров начинает выступать с правозащитными заявлениями, включается в кампании по защите инакомыслящих, постепенно становясь одной из центральных фигур диссидентского движения. В 1968 г. на Западе был опубликован его манифест «Размышления о прогрессе...», который принес ему широкую известность в западных общественных кругах. Манифест также стал одним из самых популярных политических произведений Самиздата. После появления этого манифеста начались гонения на Сахарова. Пока он был только отстранен от секретной работы в Арзамасе-16, вследствие чего вынужден был вернуться в Физический институт. Однако, Сахаров не оставил своей правозащитной деятельности. Он продолжал выступать против политических репрессий, смертной казни, за демократизацию советского строя. В 1970 г. он стал одним из авторов нашумевшего «письма трех», вместе с Валентином Турчиным и Роем Медведевым *(стр. 324)*, в котором излагалась программа модернизации советского государства. В том же 1970 г. Сахаров был среди инициаторов создания Московского комитета по правам человека. С начала 70-х травля Сахарова приобретает масштабы государственной кампании: в центральной прессе появляются шельмующие Сахарова статьи, возмущенные письма творческой интеллигенции и пр. *(см. т. 3, стр. 7)*. В 1975 г. за его общественную деятельность Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира, однако, выехать в Осло ему не позволили. Его Нобелевскую лекцию, впоследствии опубликованную под названием «Мир, прогресс, права человека», зачитывала в Норвегии его жена, Е.Г. Боннер. Лекция эта особенно

примечательна тем, что в ней Сахаров обратил внимание мировой общественности на наличие в СССР множества узников совести и перечислил известные ему имена заключенных.

Когда в 1979 г. СССР ввел войска в Афганистан, Сахаров выступил с публичным осуждением таких действий советских властей. За это он был лишен всех наград и званий и в самом начале 1980 г. отправлен без суда в ссылку в г. Горький (в этот город был запрещен въезд иностранцам). Тем не менее, даже находясь в изоляции, Сахаров не оставлял своей общественной деятельности. Так, появилась его статья «Опасность термоядерной войны», имевшая большой резонанс на Западе, письмо Леониду Брежневу об Афганистане и обращение к М. Горбачеву о необходимости освобождения всех узников совести. В Горьком Сахаров четырежды объявлял бессрочные голодовки в связи с давлением КГБ на его семью. Несмотря на тяжелые условия, Сахаров не прекращал научной работы.

Из ссылки он вернулся лишь в конце 1986 г. по личному распоряжению Горбачева. Ему были возвращены его награды и звания.

В 1989 г. Сахаров был избран на съезд Народных депутатов СССР от АН СССР, он стал одним из лидеров Межрегиональной депутатской группы — первой официальной оппозиции в советском парламенте. На Съезде он продолжал выступать за вывод войск из Афганистана — но при жизни не был услышан советским руководством. Сахаров сыграл одну из ключевых ролей в создании общества «Мемориал», почетным председателем которого он был избран. Скончался он 14 декабря 1989 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОГРЕССЕ, МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ*

Небольшое предисловие

В 1967 году я написал для одного распространявшегося в служебном порядке сборника футурологическую статью о будущей роли науки в жизни общества и о будущем самой науки. В том же году мы вдвоем с журналистом Э. Генри написали для «Литературной газеты» статью о роли интеллигенции и опасности термоядерной войны. ЦК КПСС не дал разрешения на публикацию этой статьи, однако неведомым мне способом она попала в «Политический дневник» — таинственное издание, как предполагают, нечто вроде «самиздата» для высших чиновников. Обе эти оставшиеся малоизвестными статьи легли через год в основу работы, которой суждено было сыграть центральную роль в моей общественной деятельности.

В начале 1968 года я начал работу над книгой, которую назвал «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней я хотел отразить свои мысли о самых важных вопросах, стоящих перед человечеством, — о войне и мире, о диктатуре, о запретной теме сталинского террора и свободе мысли, о демографических проблемах и загрязнении среды обитания, о той роли, которую может сыграть наука и научно-технический прогресс. На общем настроении работы сказалось время ее написания — разгар «пражской весны». Основные мысли, которые я пытался развить в «Размышлениях», не являются очень новыми и оригинальными. В основном это компиляция либеральных,

---

* Подробный анализ этого манифеста см. в статье А.И. Солженицына «На возврате дыхания и сознания» (т. 3, стр. 230).

гуманистических и «наукократических» идей, базирующаяся на доступных мне сведениях и личном опыте. Я оцениваю сейчас это произведение как эклектическое и местами претенциозное, несовершенное («сырое») по форме. Тем не менее основные мысли его мне дороги. В работе четко сформулирован представляющийся мне очень важным тезис о сближении социалистической и капиталистической систем, сопровождающемся демократизацией, демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом как единственной альтернативе гибели человечества. Начиная с мая-июня 1968 года «Размышления» широко распространялись в СССР. Это моя первая работа, ставшая достоянием «самиздата». К июлю и августу относятся первые зарубежные сообщения о моем выступлении; в дальнейшем «Размышления» многократно публиковались за рубежом большими тиражами, вызвали огромный поток откликов в прессе множества стран. Наряду с содержанием работы в этом несомненно сыграло важную роль то, что это было одно из первых прорвавшихся на Запад произведений общественно-политического характера, к тому же автором был отмеченный высшими знаками отличия представитель «таинственной» и «грозной» специальности физика-атомщика (эта сенсационность, к сожалению, и сейчас еще окружает меня, особенно на страницах массовой западной печати).

* * *

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой.
Гете

Взгляды автора формировались в среде научной и научно-технической интеллигенции, которая проявляет очень большую озабоченность в принципиальных и конкретных вопросах внешней и внутренней политики, в вопросах будущего человечества. В частности, эта озабоченность питается сознанием того, что еще не стал реальностью научный метод руководства политикой, экономикой, искусством, образованием и военным делом. «Научным» мы считаем метод, основанный на глубоком изучении фактов, теорий и взглядов, предполагающий непредвзятое, бесстрастное в своих выводах, открытое обсуждение. Вместе с тем сложность и многоплановость всех явлений современной жизни, огромные возможности и опасности, связанные с научно-технической революцией и с рядом общественно-социальных тенденций, настоятельно требуют именно такого подхода, что признается и в ряде официальных высказываний.

В выносимой на обсуждение читателей брошюре автор поставил себе целью с наибольшей доступной ему убедительностью и откровенностью изложить два тезиса, которые разделяются очень многими людьми во всем мире. Эти тезисы суть:

1. Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации грозит: всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для большей части человечества; оглупление в дурмане «массовой культуры» и в тисках бюрократизированного догматизма; распространение массовых мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварных демагогов; гибель

и вырождение от непредвидимых результатов быстрых изменений условий существования на планете.

Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций — безумие, преступление. Лишь всемирное сотрудничество в условиях интеллектуальной свободы, высоких нравственных идеалов социализма и труда, с устранением факторов догматизма и давления скрытых интересов господствующих классов отвечает интересам сохранения цивилизации.

Миллионы людей во всем мире стремятся покончить с нищетой, ненавидят угнетение, догматизм и демагогию (и их крайнее выражение — расизм, фашизм, сталинизм и маоизм), верят в прогресс на основе использования в условиях социальной справедливости и интеллектуальной свободы всего положительного опыта, накопленного человечеством.

2. Второй основной тезис: человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли — единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру. Это — единственная гарантия осуществимости научно-демократического подхода к политике, экономике и культуре.

Но свобода мысли в современном обществе находится под тройной угрозой: со стороны рассчитанного опиума «массовой культуры», со стороны трусливой и эгоистической мещанской идеологии, со стороны окостенелого догматизма бюрократической олигархии и ее излюбленного оружия — идеологической цензуры. Поэтому свобода мысли нуждается в защите всех мыслящих и честных людей. Это задача не только интеллигенции, но и всех слоев общества, и в особенности наиболее активной и организованной его прослойки — рабочего класса. Мировые опасности войны, голода, культа, бюрократизма — это опасности для всего человечества.

Осознание рабочим классом и интеллигенцией общности их интересов — примечательное явление современности. Можно сказать, что наиболее прогрессивная, интернациональная и самоотверженная часть интеллигенции по существу является частью рабочего класса, а передовая, образованная и интернациональная, наиболее далекая от мещанства часть рабочего класса является одновременно частью интеллигенции.

Эту брошюру мы разделили на две части. Первую озаглавим «Опасности», вторую — «Основа надежды».

Брошюра носит дискуссионный, спорный во многом характер и призывает дискутировать и спорить.

<...>

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

Небольшое предисловие

<...>

Генеральному Секретарю ЦК КПСС тов. Л. И. Брежневу

Прошу об обсуждении общих вопросов, частично ранее обсуждавшихся в письме Р.А. Медведева, В.Ф. Турчина и в моем письме 1968 года. Прошу также о рассмотрении ряда частных злободневных вопросов, которые глубоко волнуют меня.

Ниже в двух общих списках перечислены вопросы разного масштаба, разной степени бесспорности. Но между ними есть определенная внутренняя связь. Дискуссия и частичная аргументация по поднятым вопросам содержатся в упомянутых письмах и в приложении к этой записке.

Я хочу также информировать Вас, что в ноябре 1970 года я вместе с В.Н. Чалидзе и А.Н. Твердохлебовым принял участие в учреждении Комитета прав человека в целях изучения проблемы обеспечения прав человека и содействия правовому просвещению. Некоторые документы комитета я прилагаю. Мы надеемся быть полезными обществу, стремимся к диалогу с руководством, к откровенному, гласному обсуждению проблемы прав человека.

А. Некоторые неотложные вопросы

Перечисленные ниже вопросы представляются мне неотложными. Для краткости они сформулированы в виде предложений. Отдавая себе отчет в том, что некоторые из вопросов нуждаются в дополнительном изучении, и сознавая, что список по необходимости является неполным и поэтому в какой-то мере субъективным (некоторые не менее важные вопросы я пытался отметить во второй части Записки, а некоторые вообще не могли быть упомянуты), я все же считаю необходимым просить об обсуждении компетентными инстанциями нижеследующих предложений.

I. О политических преследованиях:

а) Я считаю давно назревшей проблемой проведение общей амнистии политических заключенных, включая лиц, осужденных по статьям 70, 72,190-1, 2, 3 УК РСФСР и аналогичным статьям УК союзных республик, включая осужденных по религиозным мотивам, включая содержащихся в психиатрических учреждениях, включая лиц, осужденных за попытку перехода границы, включая политических заключенных, дополнительно осужденных за попытку побега из лагеря или пропаганду в лагере.

б) Принять меры по обеспечению широкой фактической гласности рассмотрения всех судебных дел, особенно политического характера. Считаю важным пересмотр всех судебных приговоров, постановленных с нарушением принципа гласности.

в) Я считаю недопустимым психиатрические репрессии по политическим, идеологическим и религиозным мотивам. По моему мнению, необходимо принять закон о защите прав лиц, подвергаемых принудительной психиатричес-

кой госпитализации; принять решения и необходимые законодательные уточнения для защиты прав лиц, предполагаемых психическими больными при судебном преследовании по политическим обвинениям. В частности, в обоих случаях допустить практику частных психиатрических обследований комиссиями, не зависящими от властей.

г) Независимо от решения этих вопросов в общем порядке, я прошу о рассмотрении компетентными органами ряда конкретных срочных дел; некоторые из них перечислены в прилагаемой Записке.

2. О гласности, о свободе информационного обмена и убеждений:

а) Вынести на всенародное обсуждение проект закона о печати и средствах массовой информации.

б) Принять решение о более свободной публикации статистических и социологических данных.

3. О национальных проблемах, о проблеме выезда из нашей страны:

а) Принять решения и законы о полном восстановлении прав выселенных при Сталине народов.

б) Принять законы, обеспечивающие простое и беспрепятственное осуществление гражданами их права на выезд за пределы страны и на свободное возвращение. Отменить инструкции, содержащие ограничения этого права, противоречащие закону.

4.О международных проблемах:

а) Проявить инициативу и объявить (или подтвердить — сначала в одностороннем порядке) об отказе от применения первыми оружия массового уничтожения (ядерного оружия, химического, бактериологического и обжигающего). Допустить на свою территорию инспекционные группы для эффективного контроля за разоружением (в случае заключения соглашения о разоружении или частичном ограничении тех или иных типов вооружения).

б) Для укрепления результатов изменения отношений с ФРГ выработать новую, более гибкую и реалистическую позицию по проблеме Западного Берлина.

в) Изменить свою политическую позицию на Ближнем Востоке и во Вьетнаме, активно добиваясь через ООН и по дипломатическим каналам скорейшего мирного урегулирования на условиях компромисса с отказом от одностороннего военного и политического прямого или косвенного вмешательства со стороны США или СССР, с выдвижением программы широкой экономической помощи на международной аполитичной основе (через ООН?) с предложением широкого использования войск ООН для обеспечения политической и военной стабильности в этих районах.

<...>

Источник: Памятная записка. А.Д. Сахаров, Тревога и надежда, ИНТЕР-ВЕРСО, 1990.

Сахаров А.Д.*, Турчин В.Ф., Медведев Р.А.*****

ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯМ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Известный советский ученый академик А. Д. САХАРОВ, а также физик В.Ф. ТУРЧИН и историк Р.А. МЕДВЕДЕВ составили и направили в ЦК КПСС Л. И. БРЕЖНЕВУ, в Совет Министров СССР А. Н. КОСЫГИНУ и в Президиум Верховного Совета СССР Н. В. ПОДГОРНОМУ письмо следующего содержания.

Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

Глубокоуважаемый Алексей Николаевич!

Глубокоуважаемый Николай Викторович!

Мы обращаемся к Вам по вопросу, имеющему большое значение. Наша страна достигла многого в развитии производства, в области образования и культуры, в кардинальном улучшении условий жизни трудящихся, в формировании новых социалистических отношений между людьми. Эти достижения имеют всемирно-историческое значение, они оказали глубочайшее влияние на события во всем мире, заложили прочную основу для дальнейшего развития дела коммунизма. Но налицо также серьезные трудности и недостатки.

В этом письме обсуждается и развивается точка зрения, которую кратко можно сформулировать в виде следующих тезисов:

I. В настоящее время настоятельной необходимостью является проведение ряда мероприятий, направленных на дальнейшую демократизацию общественной жизни в стране. Эта необходимость вытекает, в частности, из тесной связи проблемы технико-экономического прогресса, научных методов управления с вопросами свободы информации, гласности и соревновательности. Эта необходимость вытекает также из других внутриполитических и внешнеполитических проблем.

2. Демократизация должна способствовать сохранению и укреплению советского социалистического строя, социалистической экономической структуры, наших социальных и культурных достижений, социалистической идеологии.

3. Демократизация, проводимая под руководством КПСС в сотрудничестве со всеми слоями общества, должна сохранить и упрочить руководящую роль партии в экономической, политической и культурной жизни общества.

4. Демократизация должна быть постепенной, чтобы избежать возможных осложнений и срывов. В то же время она должна быть глубокой, проводиться последовательно и на основе тщательно разработанной программы. Без коренной демократизации наше общество не сможет разрешить стоящих перед ним проблем, не сможет развиваться нормально.

---

* Об А.Д. Сахарове см. стр. 318.

** О В.Ф. Турчине см. стр. 348.

*** О Р.А. Медведеве см. стр. 140.

Есть основания полагать, что точка зрения, выраженная в этих тезисах, разделяется в той или иной степени значительной частью советской интеллигенции и передовой частью рабочего класса. Эта точка зрения находит свое отражение во взглядах учащейся и рабочей молодежи и в многочисленных дискуссиях в узком кругу. Однако мы считаем целесообразным изложить эту точку зрения в связной письменной форме, с тем, чтобы способствовать широкому и открытому обсуждению важнейших проблем. Мы стремимся к позитивному и конструктивному подходу, приемлемому для партийно-государственного руководства страны, стремимся к разъяснению некоторых недоразумений и необоснованных опасений [1].

В течение последнего десятилетия в народном хозяйстве нашей страны стали обнаруживаться угрожающие признаки разлада и застоя, причем корни этих трудностей восходят к более раннему периоду и носят весьма глубокий характер. Неуклонно снижаются темпы роста национального дохода. Возрастает разрыв между необходимым для нормального развития и реальным вводом новых производственных мощностей. Налицо многочисленные факты ошибок в определении технической и экономической политики в промышленности и сельском хозяйстве, недопустимой волокиты при решении неотложных вопросов. Дефекты в системе планирования, учета и поощрения часто приводят к противоречию местных и ведомственных интересов с общегосударственными, общенародными. В результате резервы развития производства должным образом не выявляются и не используются, а технический прогресс резко замедляется. В силу тех же причин нередко бесконтрольно и безнаказанно уничтожаются природные богатства страны: вырубаются леса, загрязняются водоемы, затопляются ценные сельскохозяйственные земли, происходит эрозия и засолонение почвы и т.п. Общеизвестно хронически тяжелое положение в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве. Реальные доходы населения в последние годы почти не растут, питание, медицинское и бытовое обслуживание улучшаются очень медленно и территориально неравномерно. Растет число дефицитных товаров. В стране имеются явные признаки инфляции.

Особенно тревожно для будущего страны замедление в развитии образования: наши общие расходы на образование всех видов втрое меньше, чем в США, и растут медленнее. Трагически возрастает алкоголизм и начинает заявлять о себе наркомания. Во многих районах страны систематически увеличивается преступность. В ряде мест все заметнее становятся симптомы явлений коррупции. В работе научных и научно-технических организаций усиливаются бюрократизм, ведомственность, формальное отношение к своим задачам, безынициативность.

Решающим итоговым фактором сравнения экономических систем является, как известно, производительность труда. И здесь дело обстоит хуже всего. Производительность труда у нас по-прежнему остается во много раз ниже, чем в капиталистических странах, а рост ее резко замедлился. Это положение представляется особенно тревожным, если сравнить его с положением в ведущих капиталистических странах и, в частности, в США. Введя в экономику элементы государственного регулирования и планирования, эти страны избавились от разрушительных кризисов, терзавших ранее капиталистическое хозяйство.

Широкое внедрение в хозяйство вычислительной техники и автоматики обеспечивает быстрый рост производительности труда, что в свою очередь способствует частичному преодолению некоторых социальных трудностей и противоречий (например, путем установления пособий по безработице, сокращения рабочего дня и т.п.). Сравнивая нашу экономику с экономикой США, мы видим, что наша экономика отстает не только в количественном, но — и что самое печальное — в качественном отношениях. Чем новее и революционнее какой-либо аспект экономики, тем больше здесь разрыв между США и нами. Мы опережаем Америку по добыче угля, отстаем по добыче нефти, газа и электроэнергии, вдесятеро отстаем по химии и бесконечно отстаем по вычислительной технике. Последнее особенно существенно, ибо внедрение ЭВМ в народное хозяйство — явление решающей важности, радикально меняющее облик системы производства и всей культуры. Это явление получило справедливо название второй промышленной революции. Между тем мощность нашего парка вычислительных машин в сотни раз меньше, чем в США, а что касается использования ЭВМ в народном хозяйстве, то здесь разрыв так велик, что его невозможно даже измерить. Мы просто живем в другой эпохе.

Не лучше обстоит дело и в сфере научных и технических открытий. И здесь не видно возрастания нашей роли. Скорее, наоборот. В конце пятидесятых годов наша страна была первой страной в мире, запустившей спутник и пославшей человека в космос. В конце шестидесятых годов мы потеряли лидерство и в этой области (как и во многих других областях). Первыми людьми, ступившими на Луну, стали американцы. Этот факт является одним из внешних проявлений существенного и все возрастающего различия в ширине фронта научной и технологической работы у нас и в странах Запада.

В двадцатые-тридцатые годы капиталистический мир переживал период кризисов и депрессий. Мы в это время, используя подъем национальной энергии, порожденный революцией, невиданными темпами создавали промышленность. Тогда был выброшен лозунг: догнать и перегнать Америку. И мы ее действительно догоняли в течение нескольких десятилетий. Затем положение изменилось. Началась вторая промышленная революция, и теперь, в начале семидесятых годов века, мы видим, что, так и не догнав Америку, мы отстаем от нее все больше и больше.

В чем дело? Почему мы не только не стали застрельщиками второй промышленной революции, но даже оказались неспособными идти в этой революции вровень с развитыми капиталистическими странами? Неужели социалистический строй предоставляет худшие возможности, чем капиталистический, для развития производительных сил, и в экономическом соревновании между капитализмом и социализмом побеждает капитализм?

Конечно, нет! Источник наших трудностей — не в социалистическом строе, а, наоборот, в тех особенностях, в тех условиях нашей жизни, которые идут вразрез с социализмом, враждебны ему. Этот источник — антидемократические традиции и нормы общественной жизни, сложившиеся в сталинский период и окончательно не ликвидированные и по сей день. Внеэкономическое принуждение, ограничения на обмен информацией, ограничения интеллектуальной свободы и другие проявления антидемократических извращений со-

циализма, имевшие место при Сталине, у нас принято рассматривать как некие издержки процесса индустриализации. Считается, что они не оказали серьезного влияния на экономику страны, хотя и имели тяжелейшие последствия в политической и военных областях, для судеб обширных слоев населения и целых национальностей. Мы оставляем в стороне вопросы, насколько эта точка зрения оправдана для ранних этапов развития социалистического народного хозяйства — снижение темпов промышленного развития в предвоенные годы скорее говорит об обратном. Но не подлежит сомнению, что с началом второй промышленной революции эти явления стали решающим экономическим фактором, стали основным тормозом развития производительных сил страны. Вследствие увеличения объема и сложности экономических систем на первый план выдвинулись проблемы управления и организации. Эти проблемы не могут быть решены одним или несколькими лицами, стоящими у власти и «знающими все». Они требуют творческого участия миллионов людей на всех уровнях экономической системы. Они требуют широкого обмена информацией и идеями. В этом отличие современной экономики от экономики, скажем, стран Древнего Востока.

Однако на пути обмена информацией и идеями мы сталкиваемся в нашей стране с непреодолимыми трудностями. Правдивая информация о наших недостатках и отрицательных явлениях засекречивается на том основании, что она «может быть использована враждебной пропагандой». Обмен информацией с зарубежными странами ограничивается из боязни «проникновения враждебной идеологии». Теоретические обобщения и практические предложения, показавшиеся кому-то слишком смелыми, пресекаются. В корне, без всякого обсуждения под влиянием страха, что они могут «подорвать основы». Налицо явное недоверие к творчески мыслящим, критическим активным личностям. В этой обстановке создаются условия для продвижения по служебной лестнице не тех, кто отличается высокими профессиональными качествами и принципиальностью, а тех, кто на словах отличаясь преданностью делу партии, на деле отличается лишь преданностью своим узко личным интересам или пассивной исполнительностью.

Ограничения свободы информации приводят к тому, что не только затруднен контроль за руководителями, не только подрывается инициатива народа, но и руководители промежуточного уровня лишены и прав и информации и превращаются в пассивных исполнителей, чиновников. Руководители высших органов получают слишком неполную, приглаженную информацию и тоже лишены возможности эффективно использовать имеющиеся у них полномочия.

Хозяйственная реформа 1965 года является в высшей степени полезным и важным начинанием, призванным решить кардинальные вопросы нашей экономической жизни. Однако мы убеждаемся, что для выполнения всех ее задач недостаточно только чисто экономических мероприятий. Более того, эти экономические мероприятия не могут быть проведены полностью без реформ в сфере управления, информации, гласности.

То же самое относится и к таким многообещающим начинаниям, как организация фирм комплексных производственных объединений с высокой степенью самостоятельности в хозяйственных, финансовых и кадровых вопросах.

Какую бы конкретную проблему экономики мы ни взяли, мы очень скоро придем к выводу, что для ее удовлетворительного решения необходимо научное решение таких общих, принципиальных проблем социалистической экономики, как формы обратной связи в системе управления, ценообразование при отсутствии свободного рынка, общие принципы планирования и др. Сейчас много говорится у нас о необходимости научного подхода к проблемам организации и управления. Это, конечно, правильно. Только научный подход к этим проблемам позволит преодолеть возникшие трудности и реализовать те возможности в руководстве экономикой и технико-экономическим прогрессом, которые в принципе дает отсутствие капиталистической собственности. Но научный подход требует полноты информации, непредвзятости мышления и свободы творчества. Пока эти условия не будут созданы (причем не для отдельных личностей, а для масс), разговоры о научном управлении останутся пустым звуком. Нашу экономику можно сравнить с движением транспорта через перекресток. Пока машин было мало, регулировщик легко справлялся со своими задачами, а движение протекало нормально. Но поток машин непрерывно возрастает, и вот возникает пробка. Что делать в такой ситуации? Можно штрафовать водителей и менять регулировщиков, но это не спасет положения. Единственный выход — расширить перекресток. Препятствия, мешающие развитию нашей экономики, лежат вне ее, в сфере общественно-политической, и все меры, не устраняющие этих препятствий, обречены на неэффективность.

Пережитки сталинского периода отрицательно сказываются на экономике не только непосредственно, из-за невозможности научного подхода к проблемам организации и управления, но в не меньшей степени косвенно, через общее снижение творческого потенциала представителей всех профессий. А ведь в условиях второй промышленной революции именно творческий труд становится все более и более важным для народного хозяйства.

В этой связи нельзя не сказать и о проблеме взаимоотношений государства и интеллигенции. Свобода информации и творчества необходима интеллигенции по природе ее деятельности, по ее социальной функции. Стремление интеллигенции к увеличению этой свободы является законным и естественным. Государство же пресекает это стремление путем всевозможных ограничений, административного давления, увольнений с работы и даже судебных процессов. Это порождает разрыв, взаимное недоверие и глубокое взаимное непонимание, делающее трудным плодотворное сотрудничество между партийно-государственным слоем и самыми активными, то есть самыми ценными для общества слоями интеллигенции. В условиях современного индустриального общества, когда роль интеллигенции непрерывно возрастает, этот разрыв нельзя охарактеризовать иначе как самоубийственный.

Подавляющая часть интеллигенции и молодежи понимает необходимость демократизации, понимает также необходимость осторожности и постепенности в этом деле, но не может понять и оправдать акций, имеющих явно антидемократический характер. Действительно, как оправдать содержание в тюрьмах, лагерях и психиатрических клиниках лиц, хотя и оппозиционных, но оппозиция которых лежит в легальной области, в сфере идей и убеждений? В ряде же случаев речь идет не о какой-то оппозиции, а просто о стремлении к инфор-

мации, к смелому и непредвзятому обсуждению общественно-важных вопросов. Недопустимо содержание в заключении писателей за их произведения. Нельзя понять и оправдать также нелепые, вреднейшие шаги, как исключение из Союза писателей крупнейшего и популярнейшего советского писателя, глубоко патриотичного и гуманного по всей своей деятельности, как разгром редакции «Нового мира», объединявшего вокруг себя наиболее прогрессивные силы марксистско-ленинского социалистического направления!

Необходимо вновь сказать также об идеологических проблемах.

Демократизация с ее полнотой информации и соревновательностью должна вернуть нашей идеологической жизни (общественным наукам, искусству, пропаганде) необходимую динамичность и творческий характер, ликвидировав бюрократический, ритуальный, догматический, официально-лицемерный и бездарный стиль, который занимает сейчас в ней столь большое место.

Курс на демократизацию устранит разрыв между партийно-государственным аппаратом и интеллигенцией. Взаимное непонимание уступит место тесному сотрудничеству. Курс на демократизацию вызовет прилив энтузиазма, сравнимый с энтузиазмом двадцатых годов. Лучшие интеллектуальные силы страны будут мобилизованы на решение народнохозяйственных и социальных проблем.

Проведение демократизации — нелегкий процесс. Его нормальному течению будут угрожать с одной стороны индивидуалистические, антисоциалистические силы, с другой стороны — поклонники «сильной власти», демагоги фашистского образца, которые могут попытаться в своих целях использовать экономические трудности страны, взаимное непонимание и недоверие интеллигенции и партийно-государственного аппарата, существование в определенных кругах общества мещанских и националистических настроений. Но мы должны осознать, что другого выхода у нашей страны нет, и что эту трудную задачу решать надо. Проведение демократизации по инициативе и под контролем высших органов позволит осуществить этот процесс планомерно, следя за тем, чтобы все звенья партийно-государственного аппарата успевали перестроиться на новый стиль работы, отличающийся от прежнего большей гласностью, открытостью и более широким обсуждением всех проблем. Нет сомнения, что большинство работников аппарата — люди, воспитанные в современной высокоразвитой стране — способны перейти на этот стиль работы и очень скоро почувствуют его преимущества. Отсев незначительного числа неспособных пойдет лишь на пользу аппарату.

Мы предлагаем следующую примерную программу мероприятий, которую можно было бы осуществить в течение четырех-пяти лет:

1. Заявление высших партийно-правительственных органов о необходимости дальнейшей демократизации, о темпах и методах ее проведения. Опубликование в печати ряда статей, содержащих обсуждение проблем демократизации.

2. Ограниченное распространение (через партийные органы, предприятия и учреждения) информации о положении в стране и теоретических работ по общественным проблемам, которые пока нецелесообразно делать предметом широкого обсуждения. Постепенное увеличение доступности таких материалов до полного снятия ограничений.

3. Широкая организация комплексных производственных объединений (фирм) с высокой степенью самостоятельности в вопросах производственно-

го планирования, технологического процесса, сбыта и снабжения, в финансовых и кадровых вопросах. Расширение таких же прав для более мелких производственных единиц. Научное определение после тщательных исследований форм и объема государственного регулирования.

4. Прекращение глушения иностранных радиопередач. Свободная продажа иностранных книг и периодических изданий. Вхождение нашей страны в международную систему охраны авторских и редакторских прав. Постепенное (3-4 года) расширение и облегчение международного туризма в обе стороны, облегчение международной переписки, а также другие мероприятия по расширению международных контактов, с опережающим развитием этих тенденций по отношению к странам СЭВ.

5. Учреждение института по исследованию общественного мнения. Сначала ограниченная, а затем полная публикация материалов, показывающих отношение населения к важнейшим вопросам внутренней и внешней политики, а также других социологических материалов.

6. Амнистия политических заключенных. Постановление об обязательной публикации полных стенографических отчетов о судебных процессах, имеющих политический характер. Общественный контроль за местами заключения и психиатрическими учреждениями.

7. Осуществление ряда мероприятий, способствующих улучшению работы судов и прокуратуры, их независимости от исполнительной власти, местных влияний, предрассудков и связей.

8. Отмена указания в паспортах и анкетах о национальности. Единая паспортная система для жителей города и деревни. Постепенный отказ от системы прописки паспортов, проводимый параллельно с выравниванием территориальных неоднородностей экономического и культурного развития.

9. Реформы в области образования. Увеличение ассигнований на начальную и среднюю школы, улучшение материального положения учителей, их самостоятельности, права на эксперимент.

10. Принятие закона о печати и информации. Обеспечение возможности создания общественными организациями и группами граждан новых печатных органов. Полная отмена предварительной цензуры во всех ее видах.

11. Улучшение подготовки руководящих кадров, владеющих искусством управления. Создание практики стажеров. Улучшение информированности руководящих кадров всех ступеней, их права на самостоятельность, на эксперимент, на защиту своих мнений и проверку их на практике.

12. Постепенное введение в практику выдвижения нескольких кандидатов на одно место при выборах в партийные и советские органы всех уровней, в том числе и при непрямых выборах.

13. Расширение прав советских органов. Расширение прав и ответственности Верховного Совета СССР.

14. Восстановление всех прав наций, насильственно переселенных при Сталине. Восстановление национальной автономии переселенных народов и предоставление возможности обратного переселения (там, где оно не было до сих пор осуществлено).

15. Мероприятия, направленные на увеличение гласности в работе руково-

дящих органов в пределах, допускаемых государственными интересами. Создание при руководящих органах всех уровней консультативных научных комитетов, включающих высококвалифицированных специалистов различных специальностей.

Этот план, конечно, надо рассматривать как примерный. Ясно также, что он должен быть дополнен планом экономических и социальных мероприятий, разработанным специалистами. Подчеркнем, что демократизация, сама по себе отнюдь не решает экономических проблем, она лишь создает предпосылки для их решения. Но без создания этих предпосылок экономические и технические проблемы не могут быть решены. От наших зарубежных друзей приходится слышать иногда сравнение СССР с мощным грузовиком, водитель которого одной ногой нажимает изо всех сил на газ, а другой — в то же самое время — на тормоз. Настало время более разумно пользоваться тормозом!

Предлагаемый план показывает, по нашему мнению, что вполне возможно наметить программу демократизации, которая приемлема для партии и государства и удовлетворяет, в первом приближении, насущным потребностям развития страны. Естественно, что широкое обсуждение, глубокие научные, социологические, экономические, общеполитические исследования, практика жизни внесут существенные коррективы и дополнения. Но важно, как говорят математики, доказать «теорему существования решения».

Необходимо также остановиться на международных последствиях принятия нашей страной курса на демократизацию. Ничто не может так способствовать нашему международному авторитету, усилению прогрессивных коммунистических сил во всем мире, как дальнейшая демократизация, сопровождаемая усилением технико-экономического прогресса первой в мире страны социализма. Несомненно возрастут возможности мирного сосуществования и международного сотрудничества, укрепятся силы мира и социального прогресса, возрастет привлекательность коммунистической идеологии, наше международное положение станет более безопасным. Особенно существенно то, что укрепятся моральные и материальные позиции СССР по отношению к Китаю, возрастут наши возможности (косвенно, примером и технико-экономической помощью) влиять на положение в этой стране в интересах народов обеих стран. Ряд правильных и необходимых внешнеполитических действий нашего правительства не понимается должным образом, так как информация граждан в этих вопросах очень неполна, а в прошлом имели место примеры явно неточной и тенденциозной информации. Это, естественно, не способствует доверию. Одним из примеров является вопрос об экономической помощи слаборазвитым странам. 50 лет назад рабочие разоренной войной Европы оказывали помощь умирающим от голода в Поволжье. Советские люди не являются более черствыми и эгоистичными. Но они должны быть уверены, что наши ресурсы расходуются на реальную помощь, на решение серьезных проблем, а не на строительство помпезных стадионов и покупку американских автомашин для местных чиновников. Положение в современном мире, возможности и задачи нашей страны требуют широкого участия в экономической помощи слаборазвитым странам, в сотрудничестве с другими государствами. Но для правильного понимания общественностью этих вопросов недостаточно словес-

ных уверений, нужно доказать и показать, а это требует более полной информации, требует демократизации.

Советская внешняя политика в своих основных чертах — это политика мира и сотрудничества. Но неполная информированность общественности вызывает беспокойство. В прошлом имели место определенные негативные проявления в советской внешней политике, которые носили характер мессианства, излишней амбициозности, и которые заставляют сделать вывод, что не только империализм несет ответственность за международную напряженность. Все негативные явления в советской внешней политике тесно связаны с проблемой демократизации, и эта связь имеет двусторонний характер. Вызывает очень большое беспокойство отсутствие демократического обсуждения таких вопросов, как помощь оружием ряду стран, в том числе, например, Нигерии, где шла кровопролитная война, причины и ход которой очень плохо известны советской общественности. Мы убеждены, что резолюция Совета Безопасности ООН по проблемам арабско-израильского конфликта является справедливой и разумной, хотя и недостаточно конкретной в ряде важных пунктов. Вызывает, однако, беспокойство — не идет ли наша позиция существенно дальше этого документа, не является ли она слишком односторонней? Является ли реалистической наша позиция о статуте Западного Берлина? Является ли всегда реалистическим наше стремление к расширению влияния в удаленных от наших границ местах в момент трудностей советско-китайских отношений, в момент серьезных трудностей технико-экономического развития? Конечно, в определенных случаях такая «динамичная» политика необходима, но она должна быть согласована не только с общими принципами, но и с реальными возможностями страны.

Мы убеждены, что единственно реалистической политикой в век термоядерного оружия является курс на все более углубляющееся международное сотрудничество, на настойчивые поиски линий возможного сближения в научно-технической, экономической, культурной и идеологической областях, на принципиальный отказ от оружия массового уничтожения.

Мы пользуемся случаем, чтобы высказать мнение о целесообразности односторонних и групповых заявлений ядерных держав о принципиальном отказе от применения первыми оружия массового уничтожения.

Демократизация будет способствовать лучшему пониманию внешней политики общественностью и устранению из этой политики всех негативных черт. Это в свою очередь приведет к исчезновению одного из «козырей» в руках противников демократизации. Другой «козырь» — известное непонимание правительственно-партийных кругов и интеллигенции — исчезнет на первых же этапах демократизации.

Что ожидает нашу страну, если не будет взят курс на демократизацию?

Отставание от капиталистических стран в ходе второй промышленной революции и постепенное превращение во второразрядную провинциальную державу (история знает подобные примеры); возрастание экономических трудностей; обострение отношений между партийно-правительственным аппаратом и интеллигенцией; опасность срывов вправо и влево; обострение национальных проблем, ибо в национальных республиках движение за демократизацию, идущее снизу, неизбежно принимает националистический характер. Эта перспек-

тива становится особенно угрожающей, если учесть опасность китайского тоталитарного национализма (которую в историческом плане мы рассматриваем как временную, но очень серьезную в ближайшие годы). Противостоять этой опасности мы можем, только увеличивая или хотя бы сохраняя существующий технико-экономический разрыв между нашей страной и Китаем, увеличивая ряды своих друзей во всем мире, предлагая китайскому народу альтернативу сотрудничества и помощи. Это становится очевидным, если принять во внимание большой численный перевес потенциального противника, его воинствующий национализм, а также большую протяженность наших восточных границ и слабую заселенность восточных районов. Поэтому застой в экономике, замедление темпов развития в сочетании с недостаточно реалистической внешней политикой (а нередко слишком амбициозной) на всех континентах может привести нашу страну к катастрофическим последствиям.

Глубокоуважаемые товарищи! Не существует никакого другого выхода из стоящих перед страной трудностей, кроме курса на демократизацию, осуществляемого КПСС по тщательно разработанному плану. Сдвиг вправо, то есть победа тенденций жесткого администрирования, «завинчивания гаек», не только не решит никаких проблем, но, напротив, усугубит до крайности эти проблемы, приведет страну к трагическому тупику.

Тактика пассивного выжидания приведет в конечном счете к тому же результату. Сейчас у нас еще есть возможность встать на правильный путь и провести необходимые реформы. Через несколько лет, быть может, будет уже поздно. Необходимо осознание этого положения в масштабе всей страны. Долг каждого, кто видит источник трудностей и путь к их преодолению, указывать на этот путь своим согражданам. Понимание необходимости и возможности постепенной демократизации — первый шаг на пути к ее осуществлению.

19 марта 1970 года
А. Д. Сахаров
В. Ф. Турчин
Р. А. Медведев

---

[1] К письму дается следующее примечание: С января 1970 года широкое распространение в Москве получило «письмо к Брежневу», подписанное фамилией «Сахаров» или «академик Сахаров». Это письмо в различных вариантах было опубликовано затем в западной прессе. В № I за 1970 год в эмигрантском антисоветском журнале «Посев» была опубликована статья под претенциозным заголовком «Правда о современности» за подписью «Р. Медведев». Эта же статья, полная вздорных измышлений, передавалась затем на русском языке радиостанцией «Свобода» (ФРГ). Мы заявляем, что никто из нас не является автором указанных выше письма и статьи. Эти «документы » представляются нам явными фальшивками и распространяются, по-видимому, с провокационными целями. Р.А. МЕДВЕДЕВ — А.Д. САХАРОВ.

Источник: «...По вопросу, имеющему большому значение». Torino.

Александр Солженицын

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 190)

ПИСЬМО ВОЖДЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА*

Написанное ещё до взятия «Архипелага» в КГБ письмо со всеми этими предложениями я отправил по адресу полгода назад. С тех пор на него не было никакого отклика, ответа или движения к ним. В закрытом аппаратном разбирательстве погибло у нас много идей и несомненнее этих. Мне ничего не остаётся теперь, как сделать письмо открытым. Газетная кампания против «Архипелага», нежелание признать неопровержимое прошлое могли бы считаться окончательным отказом. Но я и сегодня не могу счесть его бесповоротным. Для раскаяния никогда не бывает слишком поздно, этот путь открыт всему живущему на Земле, всему способному жить.

Это письмо родилось, развилось из единственной мысли: как избежать грозящей нам национальной катастрофы? Могут удивить некоторые практические предложения его. Я готов тотчас и снять их, если кем-нибудь будет выдвинута не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с ясными путями. Наша интеллигенция единодушна в представлении о желанном будущем нашей страны (самые широкие свободы), но так же единодушна она и в полном бездействии для этого будущего. Все завороженно ждут, не случится ли что само. Нет, не случится.

Мои предложения были выдвинуты, разумеется, с весьма-весьма малою надеждой, однако же не нолевой. Основание для надежды подаёт хотя бы «хрущевское чудо» 1955-56 годов — непредсказанное невероятное чудо роспуска миллионов невинных заключённых, соединённое с оборванными начатками человечного законодательства (впрочем в других областях, другою рукой, тут же громоздилось и противоположное). Этот порыв деятельности Хрущева перехлестнул необходимые ему политические шаги, был несомненным сердечным движением, по сути своей — враждебен коммунистической идеологии, несовместим с нею (отчего так поспешно от него отшатнулись и методически отошли). Запретить себе допущение, что нечто подобное может и повториться, значит полностью захлопнуть надежду на мирную эволюцию нашей страны.

А. С.

Не обнадёжен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчинённой вам лестнице, не может быть вами ни уволен с поста, ни понижен, ни повышен, ни награждён и, таким образом, весьма вероятно услышать от него мнение искреннее, безо всяких служебных расчё-

* Настоящий текст был написан в 1973 году, а появился в Самиздате лишь в 1974, однако, мы поместили его вслед за значительно более ранним письмом Сахарова, Турчина и Медведева из-за созвучия тем обоих текстов.

тов, — как не бывает даже у лучших экспертов в вашем аппарате. Не обнадёжен, но пытаюсь сказать тут кратко главное: что я считаю спасением и добром для нашего народа, к которому по рождению принадлежите все вы — и я.

Это не оговорка. Я желаю добра всем народам и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже тоже — из-за несравненных страданий, перенесённых нами.

И это письмо я пишу в ПРЕДПОЛОЖЕНИИ, что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы — не безнациональны. Если я ошибаюсь, то дальнейшее чтение этого письма бесполезно.

Я не стану здесь окунаться в тягчайшие подробности последних 60 лет. Как тянется наша история и что была она, я пытаюсь выяснить в книгах, о которых не думаю, чтобы вы читали их, может быть никогда и не прочтёте. Но это письмо я обращаю именно к вам: высказать вам моё понимание будущего, которое мне кажется верным и, может быть, всё-таки, вас убедить. Предложить вам ещё пока своевременный выход из главных опасностей, ждущих нашу страну в ближайшие 10-30 лет.

Эти опасности: война с Китаем и общая с Западной цивилизацией гибель в тесноте и смраде изгаженной Земли.

<...>

2. ВОЙНА С КИТАЕМ

Я надеюсь, вы не повторяете ошибки многих мировых правителей до вас: вы не строите расчётов на победоносный блитцкриг. Против нас — почти МИЛЛИАРДНАЯ страна, какая не выступала ни в одной войне мировой истории. Её население, очевидно, ещё не успело с 1949 года утерять своего исконного высочайшего трудолюбия — выше нашего сегодняшнего, своего упорства, покорности, и находится в верном захвате тоталитарной системы, нисколько не упустительнее нашей. Её армия и её население не будут с западным благоразумием сдаваться массами ни окружёнными, ни покорёнными. Каждый солдат и каждый гражданский будет сражаться до последней пули и до последнего вздоха. Союзника — в той войне не будет у нас, во всяком случае — размера Индии. Оружия ядерного вы, конечно, не примените первые — это было бы совершенно непоправимо со стороны репутации, которой вы не можете пренебречь, да и с практической стороны всё равно не принесло бы быстрой победы. Тем более не применит его противная сторона, более слабая в нём. (Да вообще, к счастью для человечества, оно из простого самосохранения умеет удерживаться на самой последней грани гибели. Так после 1-й мировой войны никто не посмел применить химического оружия, так после 2-й, я верю, никто не применит ядерного. Таким образом всё нынешнее разорительное его сверхнакопление бессмысленно, лишь тешит изобретателей и генералов, оно есть тяжкий жребий тех, кто взялся быть в переднем ряду ядерных держав. Накопление это никогда не пригодится, а к началу конфликта ещё и устареет.)

Война же обыкновенная будет самой длительной и самой кровавой из всех

войн человечества. Уж по крайней мере подобно вьетнамской (с которой будет схожа во многом) она никак не будет короче 10-15 лет и разыграется, кстати, почти по тем нотам, которые написал Амальрик, посланный за это на уничтожение, вместо того чтобы пригласить его в близкие эксперты. Если в 1-й мировой войне Россия потеряла до полутора миллионов человек, а во 2-й (по данным Хрущева) — 20 миллионов, то война с Китаем никак не обойдётся нам дешевле 60 миллионов голов, — и, как всегда в войнах, лучших голов, все лучшие, нравственно высшие, обязательно погибают там. Если говорить о русском народе — будет истреблён последний наш корень, произведётся последнее из истреблений его, начатых в XVII веке уничтожением старообрядцев, потом — Петром, потом — неоднократно, о чём тоже не буду в этом письме, а теперь — уже окончательное. После этой войны русский народ практически перестанет существовать на планете. И уже только это одно будет означать полный проигрыш той войны, независимо ото всех остальных её исходов (во многом безрадостных, в том числе и для вашей власти, как вы понимаете). Разрывается сердце: представить, как наша молодежь и весь лучший средний возраст пошагает и поколесит погибать в войне, да какой? — ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, за что? — главным образом за мёртвую идеологию. Я думаю, даже и вы не способны взять на себя такую ужасную ответственность!

Щемящее сочувствие вызывают и рядовые китайцы — потому что они будут самыми беспомощными жертвами той войны, они находятся в столь зажатом положении, что не только не могут изменить своей судьбы, не только обсудить её, но даже ушками пошевелить.

Вот это гибельное будущее, по темпам приближения совсем уже недалёкое, ложится бременем на нас сегодняшних — и на тех, кто имеет власть, и кто силу имеет повлиять, или кто только голос имеет, чтобы произнести: этой войны не должно быть вообще, ЭТА ВОЙНА ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬСЯ! Не ставить задачу выиграть ту войну, ибо выиграть её никому не возможно, но — ИЗБЕЖАТЬ ЕЁ !

Мне кажется, я такой путь вижу. И потому взялся за это письмо сегодня.

Какие причины клонят к этой войне? Вторая — это динамическое давление миллиардного Китая на до сих пор не освоенные наши сибирские земли — не на ту полоску, о кой идет спор по старым договорам, но на всю Сибирь, до которой у нас впопыхах великих социальных и даже космических преобразований не дошли руки, — и это давление будет возрастать с ростом общей перенаселённости Земли. Однако, первая причина нависающей войны, причина гораздо более острая, главная и безвыходная — ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ. Не удивимся: во всей истории не было войн и междуусобиц лютее, чем вызванные идеологическими (в том числе, увы, и религиозными) разногласиями. Вот уже 15 лет между вами и вождями Китая идет спор о том, кто вернее понимает, толкует и продолжает Отцов Передового Мировоззрения. И помимо, и острей государственного столкновения между нами вырастает это глобальное соперничество, претензия единосмысленно толковать коммунистическое учение и в нём вести именно за собою все народы мира.

А как же вы представляете? — возникнет война, и обе воюющих стороны так и понесут на знамёнах чистоту своей идеологии? И 60 миллионов наших

соотечественников дадут себя убить за то, что именно на 533 странице ленинского тома написана заветная истина, а не на 335-й, как утверждает наш противник? Разве только самые-самые первые лягут так…

<...>

Отдайте им эту идеологию! Пусть китайские вожди погордятся этим короткое время. И за то взвалят на себя весь мешок неисполнимых международных обязательств, и кряхтят, и тащат, и воспитывают человечество и оплачивают все несуразные экономики, по миллиону в день одной Кубе, и содержать террористов и партизан южных континентов.

Отпадёт главная лютая рознь между нами и ими, отпадёт множество пунктов нынешнего состязания и столкновения во всем мире, — и военный конфликт отодвинется намного, а может быть — и не состоится вовсе никогда.

Посмотрим непредубеждённо: тёмный вихрь ПЕРЕДОВОЙ ИДЕОЛОГИИ налетел на нас с Запада в конце прошлого века, достаточно потерзал и разорил нашу душу, — и если теперь сам утягивается дальше на Восток — так пусть утягивается, не мешайте! (Не значит, что я хочу духовной гибели Китаю. Я верю, что и наш народ скоро излечится от этой болезни и китайский со временем тоже, — надеюсь, не слишком поздно, чтоб успеть спасти свою страну и оберечь человечество. Но с нас после всего перенесённого хватит пока заботы — как спасти наш народ.)

Отпадёт идеологическая рознь — и советско-китайской войны скорее всего не будет вовсе. А если в отдалённом будущем и будет, то уж действительно оборонительная, действительно отечественная. В конце XX века отдавать сибирскую территорию мы не можем, это несомненно. Но отдать идеологию — только к нашему облегчению и выздоровлению!

3. ТУПИК ЦИВИЛИЗАЦИИ

Вторая опасность — многосторонний тупик западной цивилизации, к которой и Россия давно избрала честь принадлежать, — не так близка, ещё в запасе есть два-три десятилетия, и тупик этот мы разделяем со всеми передовыми странами, даже у них заклинено грозней и хуже, чем у нас; и сохраняются надежды на новые научные лазейки и изобретения, оттягивающие расплату.

<...>

...мы должны были протащиться всем западным буржуазно-промышленным и марксистским путём, чтобы к концу XX века узнать, опять-таки от передовых западных учёных, то, что искони понимал любой деревенский дед на Украине или в России и мог бы давно-давно растолковать передовым публицистам, если б те в своем запале нашли бы время поконсультироваться с ним: что не может дюжина червей бесконечно изгрызать одно и то же яблоко; что если земной шар ограничен, то ограничены и его пространства и его ресурсы, и не может на нём осуществляться бесконечный, безграничный прогресс, вдолбленный нам в голову мечтателями Просвещения. Нет, мы должны были брести и брести за чьими-то спинами, не зная переда дороги, пока не услышали теперь, как головные перекликаются: забрели в тупик, надо заворачивать. Весь «бес-

конечный прогресс» оказался безумным напряжённым нерассчитанным рывком человечества в тупик. Жадная цивилизация «вечного прогресса» захлебнулась и находится при конце.

И не «конвергенция» ждёт нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка и Запада, и Востока, потому что оба в тупике.

Всё это сейчас широко распубликовано и разъяснено на Западе трудами «Общества Тейара де-Шардена» и «Римского Клуба». Вот их выводы в самом сжатом виде.

«Прогресс» должен перестать считаться желанной характеристикой общества. «Бесконечность прогресса» есть бредовая мифология. Должна осуществляться не «экономика постоянного развития», но экономика постоянного уровня, стабильная. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НЕ ТОЛЬКО НЕ НУЖЕН, НО ГУБИТЕЛЕН. Надо ставить задачу не увеличения народных богатств, а лишь сохранения их. Надо срочно отказаться от современной технологии гигантизма — и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в расселении (нынешние города — раковые опухоли). Главная цель техники становится сейчас: устранить плачевные результаты предшествующей техники. «Третий мир», ещё не ставший на гибельный путь западной цивилизации, может быть спасён лишь «раздробленной технологией», требующей не сокращения ручного труда, но увеличения его, техники самой простой и основанной только на местных материалах.

Вся безудержность промышленного развития осуществилась не за тысячелетия, не за столетия («От Адама до 1945 года»), а только за последние 28 лет (после 45 года). Эта бурность темпа последних лет и является самой опасной для человечества. Указанные группы учёных провели компьютерные расчёты по разным вариантам экономического развития — и ВСЕ варианты оказались БЕЗНАДЁЖНЫ, предвещая катастрофическую гибель человечества между 2020 и 2070 годами, ЕСЛИ ОНО НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. В этих расчётах рассматривались 5 главных факторов: население, природные ресурсы, с/х производство, промышленность и загрязнение среды. Если верить существующим сведениям о ресурсах Земли, некоторые из них идут к быстрому концу: через 20 лет окончится вся нефть, через 19 вся медь, через 12 — ртуть, и многие другие близки к концу, очень ограничены энергетические ресурсы и пресная вода. Но даже если последующими разведками запасы окажутся и вдвое, и втрое больше известных ныне, и если вдвое увеличится производительность сельского хозяйства, и подчинена будет человеку неограниченная ядерная энергия — ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ В ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЯХ XXI ВЕКА ДОЛЖНА НАСТУПИТЬ МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ НАСЕЛЕНИЯ: если не от остановки производства (конец ресурсов), то от избытка производства (гибель среды) — во всех случаях... Совместно все пять вышеназванных факторов решить оптимально при нынешней ставке на «прогресс» НЕВОЗМОЖНО. Если человечество не откажется от экономического прогресса — биосфера станет непригодной для жизни практически уже ПРИ НЫНЕ ЖИВУЩИХ. А чтобы человечество спасти — технология должна быть перестроена к стабильной в ближайшие 20-30 лет, для этого перестройка должна начаться НЕМЕДЛЕННО, СЕЙЧАС.

Впрочем, наиболее вероятно, всё же, что западная цивилизация не погибнет. Она столь динамична, столь изобретательна, что изживет и этот нависающий кризис, переломает вековые ложные представления и в несколько лет приступит к необходимой перестройке. А «Третий мир» заблаговременно внимет предупреждениям и вообще не пойдет по западному пути, это ещё очень доступно для большинства африканских, для многих азиатских стран (и никто их не будет за это дразнить «негрофилами»).

Но — мы?? С нашей неповоротливостью, косностью, с нашей неспособностью и робостью менять хоть единую букву, хоть штрих один в том, что сказал Маркс о промышленном развитии к 1848 году. Экономически, физически — мы вполне можем спастись. Но на пути нашего спасения стоит, перегораживает — Единственно Передовое Мировоззрение: если отказаться от промышленного развития, то как же тогда рабочий класс, социализм, коммунизм, безграничный рост производительности труда и т. д.?.. Исправлять Маркса нельзя, это ревизионизм...

Но «ревизионистами» вас всё равно уже кличут, что бы вы впредь ни делали. Так не верней ли — трезво, ответственно и решительно выполнить свой долг — отказаться от мёртвой буквы ради живого народа, целиком зависящего от вашей власти, от ваших решений? И — не промедлять. Зачем нам тянуть, если всё равно потом придётся очнуться? Зачем доделывать, повторять за другими мучительную петлю до конца, пока мы ещё недостаточно в неё впоролись? Если в череде идущих кричит передний «я заблудился!» — надо ли нам непременно дотопывать до того места, где он осознался, и лишь потом заворачивать? А почему бы нам не свернуть на верную дорогу — сразу, от того места, где мы есть?

<...>

При центральном плане, которым мы гордимся, уж у нас-то была, кажется возможность не испортить русской природы, не создавать противочеловеческих многомиллионных скоплений. Мы же сделали всё наоборот: измерзопакостили широкие русские пространства и обезобразили сердце России, дорогую нашу Москву, — какая ошалелая не сыновняя рука разорвала бульвары, так что нельзя уже ими пройти, не ныряя в унизительные каменные тоннели? какой злой чужой топор вырубил Садовое кольцо, заменил его бензинно-асфальтной отравленной зоной? Изничтожен неповторимый облик города, вся старая планировка, наляпаны подражания Западу вроде Нового Арбата, стиснут, раскинут и возвышен город, в котором жить стало невыносимо, — и что теперь делать? Воссоздать прежнюю Москву на новом месте? — вероятно невозможно. Значит, примириться с полной утратой её?

Мы бестолково-неоглядно тратили наши ресурсы, истощали нашу почву, безобразили наши просторы то глупейшими «сухопутными морями», то заражёнными околопромышленными пустырями, — но пока ещё гораздо больше сохранилось неиспорченного нами, где мы не успели. Так очнёмся вовремя, так повернём с места!

4. РУССКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК

<...>

Полвека мы занимались: мировой революцией; расширением нашего влияния на Восточную Европу; на другие материки; преобразованием сельского хозяйства по идеологическим принципам; уничтожением помётных классов; искоренением христианской религии и нравственности; эффектной бесполезной космической гонкой; само собой — вооружением, себя и других, кто просит оружия; — чем угодно, кроме развития и благовозделания главного богатства нашей страны — Северо-Востока. Но не предстоит нашему народу жить ни в Космосе, ни в Юго-Восточной Азии, ни в Латинской Америке, а Сибирь и Север — наша надежда и отстойник наш.

<...>

Итак, наш выход один: чем быстрей, тем спасительнее — перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодежи) с далёких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны — на её Северо-Восток.*

<...>

6. ИДЕОЛОГИЯ

Эта идеология, доставшаяся нам по наследству, не только дряхла, не только безнадёжно устарела, но и в свои лучшие десятилетия она ошиблась во всех своих предсказаниях, она никогда не была наукой.

Примитивная верхоглядная экономическая теория, которая объявила, что только рабочий рождает ценности и не увидела вклада ни организаторов, ни инженеров, ни транспорта, ни аппарата сбыта. Она ошиблась, предсказывая, что пролетариат будет безгранично зажат, что он никогда ничего не добьется при буржуазной демократии, — нам бы сейчас так накормить его, одеть и осыпать досугом, как он получил всё это при капитализме! Она дала маху, что благополучие европейских стран держится на колониях, — они только освободясь от колоний и стали совершать свои «экономические чудеса». Она прошиблась, что социалисты никогда не сумеют приходить к власти иначе, как вооружённым переворотом. Она просчиталась, будто эти перевороты начнутся с передовых промышленных стран — как раз всё наоборот. И как революции быстро охватят весь мир, и как будут быстро отмирать государства — всё сплошь заблуждения, всё сплошь незнание человеческой природы. И что войны присущи только капитализму и кончатся с ним, — мы уже видели самую пока долгую войну XX века, 15 и 20 лет не капитализм отвергал переговоры и перемирие, — и не дай нам Бог увидеть самую жестокую и самую кровавую из всех войн человечества — войну между двумя коммунистическими сверхдержавами. Так и национализм был этой теорией в 1848 году погребён как уже «пережиток» — а найдите сегодня в мире силу бульшую! И со многим так, перечислять устанешь.

Марксизм не только не точен, не только не наука, не только не предсказал ни единого события в цифрах, количествах, темпах или местах, что сегодня шутя делают электронные машины при социальных прогнозах, да только не марксизмом руководясь, но поражает марксизм своей экономико-механистической грубостью в попытках объяснить тончайшее человеческое существо и ещё более сложное миллионное сочетание людей — общество. Лишь корыстью одних, ослеплением других и жаждой верить у третьих можно истолковать этот жуткий юмор XX века: каким образом столь опороченное, столь провалившееся учение ещё имеет на Западе стольких последователей! У нас-то их меньше всего осталось! Мы–то, отведавшие, только притворяемся поневоле…

Мы видели выше, что всеми жерновами, которые топят вас, наградил вас не ваш здравый смысл, а именно наследное дряхлое Передовое Учение. И коллективизацией. И национализацией мелких ремёсел и услуг (что сделало невыносимой жизнь рядовых граждан, но вы этого не ощущаете; что нагромоздило воровство и ложь даже в повседневной экономике — и вы бессильны). И необходимостью для великого интернационального замаха так раздувать военное развитие, что пущена в прорву вся внутренняя жизнь, и даже вот Сибирь освоить за 55 лет не нашлось времени. И помехами в промышленном развитии и перестройке технологии. И преследованием религии, очень важным для марксизма**, но бессмысленным и невыгодным для практических государственных руководителей — с помощью бездельников травить своих самых добросовестных работников, чуждых обману и воровству, — и страдать потом от всеобщего обмана и воровства. Для верующего его вера есть высшая ценность, выше той еды, которую он кладет в желудок. Задумались ли вы: зачем же эти лучшие миллионы подданных вы отрешаете от родины? Вам как государственным руководителям это только вредно, а делаете вы это автоматически, механически, потому что марксизм навязывает вам так. Как навязывает он вам, руководителям сверхдержавы, давать отчёты о своих действиях каким-то далёким приезжим гостям — с другого полушария вождям невлиятельных, незначительных компартий, меньше всего озабоченных русской судьбой. Воспитанным в марксизме кажется страшным такой шаг: вдруг начать жить без этой привычной идеологии. Но тут, по сути, выбора не осталось, сами обстоятельства заставят сделать его, да может оказаться поздно. Национальным руководителям России в предвидении грозящей войны с Китаем всё равно придётся опираться на патриотизм и только на него. Когда Сталин начинал такой поворот во время войны, вспомните! — Никто даже не удивился, никто не зарыдал по марксизму, все приняли как самое естественное, наше, русское! Разумно же совершить перегруппировку сил перед великой опасностью — раньше, а не позже. Да этот отказ, только нерешительный, уже и начат у нас давно, ибо что такое «совмещение» марксизма с патриотизмом? — бессмыслица. Эти точки зрения можно «слить» только в общих заклинаниях, на любом же конкретном историческом вопросе эти точки зрения всегда противоположны. Это так явно, что Ленин в 1915 г. даже декларировал: «мы — антипатриоты». И то было истинно, искренне. И все 20-е годы слово «патриот» у нас значило абсолютно то же самое, что «белогвардеец». И всё это письмо, которое я сейчас кладу перед вами, есть патриотизм — и значит отрицание марксизма. Марксизм напротив велит не осва-

ивать Северо-Востока и оставить наших женщин с ломами и лопатами, но торопить и финансировать мировую революцию.

<...>

Шаг поначалу кажется трудным, а на самом деле вы очень скоро испытаете большое облегчение, отбросив эту никчемную ношу, облегчение всего государственного устройства, всех движений в руководстве. Ведь эта идеология, доводя до острейшего конфликта наше внешнее положение, давно уже перестала помогать нам во внутреннем, как помогала в 20-е и 30-е годы. Сейчас в стране ничто конструктивно не держится на ней, это ложная фанерная театральная колонна, которую убери — и ничто не рухнет, ничто не поколеблется. Всё в стране давно держится лишь на материальном расчёте и подчинении подданных, ни на каком идейном порыве, вы отлично знаете это. Сегодня эта идеология уже только ослабляет и связывает вас. Она захламляет всю жизнь общества, мозги, речи, радио, печать — ложью, ложью, ложью. Ибо как же ещё мёртвому делать вид, что оно продолжает жить, если не пристройками лжи? Всё погрязло во лжи и все это знают и в частных разговорах открыто об этом говорят, и смеются, и нудятся, а в официальных выступлениях лицемерно твердят то, «что положено» и так же лицемерно, со скукой читают и слушают выступления других, — сколько же уходит на это впустую энергии общества! И вы — открывая газеты или включая телевизор, — ВЫ САМИ разве верите сколько-нибудь в искренность этих выступлений? Да давно уже нет, я уверен. А иначе — глухо ж вас отъединили от внутренней жизни страны.

Эта всеобщая обязательная, принудительная к употреблению ложь стала самой мучительной стороной существования людей в нашей стране — хуже всех материальных невзгод, хуже всякой гражданской несвободы.

И все эти арсеналы лжи, совсем и не нужные для нашей государственной устойчивости, привлекаются как налог в пользу Идеологии: связать, увязать происходившее, как оно течёт, в цепкую когтистую умершую Идеологию, именно после того, что наше государство по привычке, по традиции, по инерции всё ещё держится за эту ложную доктрину, за её ответвлённые заблуждения — она и нуждается сажать за решётку инакомыслящего. Потому что именно ложной идеологии нечем ответить на возражения, на протесты, кроме оружия и решётки.

<...>

Я вовсе не предлагаю вам принять другую крайность — преследовать или запрещать марксизм, даже спорить против него (с ним спорить скоро никто уже и не будет, из лени одной). Я только предлагаю вам — спастись от него самим, и спасти от него своё государственное устройство и свой народ. А для этого только: лишить марксизм мощной государственной поддержки, и пусть он существует сам по себе, на своих ногах. И пусть его пропагандируют, защищают и внедряют беспрепятственно все желающие — но в свободное от работы время и не на государственной зарплате. То есть, вся система агитпропа должна перестать оплачиваться из народных средств. У многочисленных работников агитпропа это не может вызвать негодования или сопротивления: новое положение освободить их от всяких обидных упреков в возможной корысти, оно впервые

даст им возможность по-настоящему доказать свою идейную убеждённость, свою искренность. И им должна быть только радостна эта двойная нагрузка: в будни, в дневное время, принять на себя продуктивный труд для страны, производить реальные ценности (любой труд, какой бы они ни избрали взамен нынешнего, будет много продуктивнее, ибо их нынешний — нулевой, если не отрицательный), а по вечерам, по свободным дням и в отпуска посвятит свой досуг пропаганде любимого учения, бескорыстно наслаждаясь истиной! Ведь именно так поступают, например, верующие, да ещё под преследованием — и считают себя духовно удовлетворёнными. Какой будет замечательный случай не говорю проверить, но — доказать искренность всех тех, кто десятилетиями агитировал всех нас.

7. А КАК ЭТО МОГЛО БЫ УЛОЖИТЬСЯ?

Сказавши всё это, я не забыл ни на минуту, что вы — крайние реалисты, на том и начат разговор. Вы — исключительные реалисты и не допустите, чтобы власть ушла из ваших рук. Оттого вы не допустите доброю волей двух — или многопартийную парламентскую систему у нас, вы не допустите реальных выборов, при которых вас могли бы не выбрать. И на основании реализма приходится признать, что это ещё долго будет в ваших силах.

Долго, но — не вечно.

Предложив диалог на основании реализма, должен и я сознаться, что из русской истории стал я противником всяких вообще революций и вооружённых потрясений, значит, и в будущем тоже: и тех, которых вы жаждете (не у нас), и тех, которых вы опасаетесь (у нас). Изучением я убедился, что массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят. И среди нашего нынешнего общества я совсем не одинок в этом убеждении. Всяким поспешным сотрясением смена нынешнего руководства (всей пирамиды) на других персон могла бы вызвать лишь новую уничтожающую борьбу и наверняка очень сомнительный выигрыш в качестве руководства.

В таком положении что ж остается нам? Приводить утешительные соображения о зелености винограда. Аргументировать довольно искренно, что мы — не поклонники того буйного «разгула демократии», когда каждый четвертый год политических деятелей и даже всей страны чуть не полностью ухлопывается на избирательную кампанию, на угождение массе, и на этом многократно играют не только внутренние группировки, но иностранные правительства; когда суд, пренебрегая обеспеченной ему независимостью, в угождение страстям общества объявляет невиновным человека, во время изнурительной войны выкравшего и опубликовавшего документы военного министерства. Что даже и в демократии устоявшейся видим мы немало примеров, когда её роковые пути избраны в результате эмоционального самообмана или случайного перевеса, даваемого крохотной непопулярной партией между двух больших — и от этого ничтожного перевеса, никак не выражающего волю большинства (а и воля большинства не защищена от ложного направления), решаются важнейшие вопросы государственной, а то и мировой политики. Да ещё эти частые теперь примеры, когда любая профессиональная группа научилась вырывать себе лучший

кусок в любой тяжёлый момент для своей нации, хоть вся она пропади. И уж вовсе оказались беспомощным самые уважаемые демократии перед кучкою сопливых террористов.

Да, конечно: свобода — нравственна. Но только до известного предела, пока она не переходит в самодовольство и разнузданность.

Так ведь и порядок — не безнравственен, устойчивый и покойный строй. Тоже — до своего предела, пока он не переходит в произвол и тиранию.

У нас в России, по полной непривычке, демократия просуществовала всего 8 месяцев — с февраля по октябрь 1917 года. Эмигрантские группы к-д и с-д, кто ещё жив, до сих пор гордятся ею, говорят, что им её загубили посторонние силы. На самом деле та демократия была именно их позором: они так амбициозно кликали и обещали её, а осуществили сумбурную и даже карикатурную, оказались неподготовлены к ней прежде всего сами, тем более была неподготовлена к ней Россия. А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё только снизиться. Пожалуй, внезапное введение её сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 г.

Записывать ли нам себе в демократическую традицию — соборы Московской Руси, Новгород, раннее казачество, сельский мир? Или утешиться, что и тысячу лет жила Россия с авторитарным строем — и к началу XX века ещё весьма сохраняла и физическое и духовное здоровье народа?

Однако, выполнялось там важное условие: тот авторитарный строй имел, пусть исходно, первоначально, сильное нравственное основание — не идеологию всеобщего насилия, а православие, да древнее, семивековое православие Сергия Радонежского и Нила Сорского, ещё не издёрганное Никоном, не оказёненное Петром. С конца московского и весь петербургский период, когда то начало исказилось и ослабло, — при внешних кажущихся успехах государства авторитарный строй стал клониться к упадку и погиб.

Но и русская интеллигенция, больше столетия все силы клавшая на борьбу с авторитарным строем, — чего же добилась с огромными потерями и для себя и для простого народа? Обратного конечно результата. Так может быть следует признать, что для России этот путь был неверен или преждевременен? Может быть на обозримое будущее, хотим мы этого или не хотим, назначим так или не назначим, России всё равно суждён авторитарный строй? Может быть, только к нему она сегодня созрела?..

Всё зависит от того, какой авторитарный строй ожидает нас и дальше? Невыносима не сама авторитарность, но — навязываемая повседневная идеологическая ложь. Невыносима не столько авторитарность — невыносимы произвол и беззаконие, непроходимое беззаконие, когда в каждом районе, области или отрасли — один властитель, и всё вершится по его единой воле, часто безграмотно и жестоко. Авторитарный строй совсем не означает, что законы не нужны или что они бумажны, что они не должны отражать понятия и волю населения. Авторитарный строй — не значит ещё, что законодательная, исполнительная и судебная власти не самостоятельны ни одна и даже вообще не власти, но все подчиняются телефонному звонку от единственной истинной власти, утвердившей сама себя. Я напомню, что СОВЕТЫ, давшие название наше-

му строю и просуществовавшие до 6 июля 1918 года, никак не зависели от Идеологии — будет она или не будет, но обязательно предполагали широчайший совет всех, кто трудится.

Остаёмся ли мы на почве реализма или переходим в мечтания, если предложим восстановить хотя бы реальную власть Советов? Не знаю, что сказать о нашей конституции, с 1936 г. она не выполнялась ни одного дня и потому не кажется способной жить. Но может быть — и она не безнадёжна?

Оставаясь в рамках жестокого реализма, я не предлагаю вам менять удобного для вас размещения руководства. Совокупность всех тех, от верху до низу, кого вы считаете действующим и желательным руководством, переведите, однако, в систему советскую. А впредь от того любой государственный пост пусть не будет прямым следствием партийной принадлежности, как сейчас. Освободите и свою партию от упрёков, что люди получают партийные билеты для карьеры. Дайте возможность некоторым работящим соотечественникам тоже продвигаться по государственным ступеням и без партийного билета — вы и работников получите хороших и в партии останутся лишь бескорыстные люди. Вы, конечно, не упустите сохранить свою партию как крепкую организацию единопособников и конспиративные от масс («закрытые») свои отдельные совещания. Но расставшись с Идеологией, лишь бы отказалась ваша партия от невыполнимых и ненужных нам задач мирового господства, а исполнила бы национальные задачи: спасла бы нас от войны с Китаем и от технологической гибели. Эти задачи и благородны и выполнимы.

Не должны мы руководиться соображениями политического гигантизма, не должны замышлять о судьбах других полушарий, от этого надо отказаться навек, это наверняка всё лопнет, другие полушария и тёплые океаны будут развиваться всё равно без нас, по-своему, и тем никто из Москвы не управит и того никто не предскажет даже в 1973 году, а тем более Маркс из 1848-го. Руководить нашей страной должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа, освобождения женщины от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо-Востока — и никакого Космоса и никаких всемирно-исторических завоеваний и придуманных интернациональных задач: другие народы ничуть не глупее нас, а есть у Китая лишние деньги и дивизии — пусть пробует.

Учил нас Сталин — и вас и всех нас, что благодушие есть «величайшая опасность», то есть добрая душа правителей — величайшая опасность! Это нужно было ему так для его замысла — уничтожать миллионы подданных. Но если у вас нет этой цели — так отречёмся от его проклятой заповеди! Пусть авторитарный строй — но основанный не на «классовой ненависти» неисчерпаемой, а на человеколюбии — и не к близкому своему окружению, но искренно — ко всему своему народу. И самый первый признак, отличающий этот путь — великодушие, милосердие к узникам. Оглянитесь и ужаснитесь: с 1918 по 1954 год и с 1958 по сегодня ни один человек не был у нас освобождён из заключения движением доброй души! Если кого и выпускали изредка, то по голому политическому расчету: насколько уже сломлен духом или насколько нестерпимо давит мировая общественность. Уж конечно придётся отказаться

навек от психиатрического насилия и от негласных судов, и от того жестокого безнравственного мешка лагерей, где провинившихся и оступившихся калечат дальше и уничтожают.

Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать нас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии — их некому будет преследовать, если их гонитель марксизм лишится государственных привилегий. Но допустите честно, не так, как сейчас, не подавляя в немоте, допустите его с молодежными духовными организациями (не политическими совсем), допустите их с правом воспитывать и учить детей, с правом свободной приходской деятельности. (Сам я не вижу сегодня никакой живой духовной силы, кроме христианской, которая могла бы взяться за духовное исцеление России. Но я не прошу и не предлагаю ей льгот, а только: честно — не подавлять.) Допустите свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание не политических книг, Боже упаси! не воззваний! не предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований, ведь это всё будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России. Такая свободная колосьба мыслей быстро избавит вас от необходимости все новые идеи с запозданием переводить с западных языков, как это происходит все полвека, вы же знаете.

Чего вам опасаться? Неужели это так страшно? Неужели вы так неуверены в себе? У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, — но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем принадлежите к нему — для вас и колебания не должно быть!

А ещё ведь и такая потребность бывает в человеческой душе — искупление прошлого?..

<...>

Вы можете с негодованием или смехом отбросить соображения какого-то одиночки, писателя. Но с каждым годом то же самое будет настойчиво предлагать вам жизнь — по разным поводам, в разное время, с разными формулировками — но именно это. Потому что это осуществимый плавный путь спасения нашей страны, нашего народа.

И — вас самих, кстати. Ведь наступит грозный час — и вы опять воззовёте к этому народу, не к мировому коммунизму. И даже ваша судьба — даже ваша! — будет зависеть от нас.

Конечно, такие решения не принимаются в неделю. Но сейчас вы имеете возможность совершить этот переход спокойно — хоть в три года, хоть в пять, хоть, со всем процессом, и в десять. Лишь бы начать — уже сейчас, лишь бы решиться — уже сейчас. Потом жизнь выставит требования и неотложней, и резче.

Ваше заветное желание, чтобы наш государственный строй и идеологическая система не менялись и стояли вот так веками. Но так в истории не бывает. Каждая система или находит путь развития или падает.

Невозможно вести такую страну, исходя из злободневных нужд: в 1942 году

осуждать Неру как клику за его национально-освободительное движение (подрывал военные усилия наших союзников англичан), в 1956 году лобызаться с ним. И то же с Тито, и со многими, многими. Вести такую страну — нужно иметь национальную линию и постоянно ощущать за своими плечами все 1100 лет её истории, а не только 55 лет, всю её.

Вы заметите, конечно, что это письмо не преследует никаких личных целей. Я из вашей скорлупы вырос уже всё равно, написанные мною вещи будут всё равно напечатаны, помимо вашего дозволения или запрета. Всё, что я сказал — я уже сказал. Мне — тоже 55 лет, и я, кажется, доказал многими своими шагами, что не дорожу материальными благами и готов пожертвовать жизнью. Для вас такой тип жизнеощущения необычен — но вот вы наблюдаете его.

Этим письмом я тоже беру на себя тяжёлую ответственность перед русской историей. Но не взять на себя поиска выхода, но ничего не предпринять — ответственность ещё большая.

А. Солженицын
5 сентября 1973 года

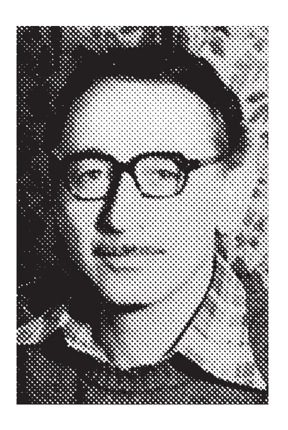
---

* Конечно, такое перенесение рано или поздно должно привести к тому, чтобы мы сняли свою опеку с Восточной Европы. Также не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации.

** Сергей Булгаков показал (1906 г., «Карл Маркс как религиозный тип»), что атеизм есть главный вдохновляющий и эмоциональный центр марксизма, всё остальное учение уже наворачивалось вокруг него. Яростная вражда к религии — самое настойчивое в марксизме.

Источник: библиотека А. Белоусенко (http://belousenlolib.narod.ru).

Турчин
Валентин Федорович
(Род. 1931)



Математик, философ, публицист.

Родился в 1931 г. в г. Подольске Московской области в семье профессора агрохимии. Закончил физфак МГУ. Работал в институте прикладной математики АН СССР. В 1966 г. под редакцией В. Турчина вышла книга «Физики шутят». В 1967 г. Турчин подписал первое письмо в защиту А. Гинзбурга. В 1968 г. в Самиздате появляется брошюра «Инерция страха». В 1970 г. им подготовлена к печати книга «Феномен науки» (опубликована на английском языке в 1977 г.). В 1973 г. он выступил с открытым письмом в защиту А. Сахарова. После этого перед Турчиным закрываются все возможности научной работы. В 1974 г. он был избран председателем советской секции правозащитной организации «Международная Амнистия». В октябре 1977 г. Турчин эмигрировал в США.

Впервые брошюра «Инерция страха» появилась в Самиздате в 1968 г. Восемью годами позднее довольно широкое распространение среди диссидентов получила уже не брошюра, а созданная на ее основе книга под названием «Инерция страха. Социализм и тоталитаризм». Однако самиздатские тиражи никогда не были особенно большими и рано или поздно оказывались у следователей КГБ. И потому не удивительно, что все же мало кто из так называемой мыслящей публики сумел прочесть эту работу в «застойные» годы. В годы же перестройки и в постсоветской России о ней фактически уже и не вспоминали...

ИНЕРЦИЯ СТРАХА

СОЦИАЛИЗМ И ТОТАЛИТАРИЗМ

Семь лет спустя

Каждый раз, когда я берусь писать об общественных проблемах в нашей стране, я сталкиваюсь со следующим противоречием.

С одной стороны, я — убежденный эволюционист и реформист, еще точнее (хотя это слово у нас мало принято) — градуалист, сторонник постепенных преобразований, проводимых параллельно с эволюцией общественного сознания. В этих воззрениях я не одинок: напротив, в Советском Союзе большинство образованных людей, насколько я могу судить, рассматривает общественные явления с таких же позиций. Хотя и говорят, что история учит только тому, что

она никого ничему не учит, это, к счастью, не совсем так. Результат большевистской революции научил нас не верить пламенным призывам одним махом уничтожить правящий класс, сломать государственную машину и построить на ее обломках новое общество, справедливое и процветающее. Поэтому меньше всего хотел бы я становиться по отношению к существующему строю и правящему классу в ту позу безоговорочного отрицания, в которой находились в свое время большевики. Нам необходим критический, но конструктивный анализ ситуации. Задачу критиков я вижу не в том, чтобы противопоставить себя правящему слою как враждебную ему силу, а в том, чтобы нащупать путь, который позволил бы выйти из тупика и приступить к давно назревшим преобразованиям. Путь этот не может не быть в той или иной степени компромиссным, он не должен угрожать интересам правящего класса до такой степени, чтобы сделать его непримиримым врагом преобразований. Ясно, что критика, преследующая такие цели, должна быть до известной степени сдержанной. Кто стремится к компромиссу, не должен разрушать для него почву.

С другой же стороны, условия общественной жизни у нас в стране таковы, что когда просто называешь вещи их именами, то превращаешься, с точки зрения представителя правящего класса, в отъявленного экстремиста, с которым нет и не может быть никаких компромиссов. Вероятно, никогда в истории человечества не было такого постоянного, повсеместного и всем обществом принятого несоответствия между словами и действительностью, как в нашей стране в течение последних 50-ти лет. Когда человек начинает о белом говорить, что оно — белое, а о черном — черное, его за это наказывают, и он попадает в отщепенцы, диссиденты.

Осенью 1968 года я написал брошюру «Инерция страха», которая тогда получила довольно значительное распространение в самиздате. Настоящее издание написано заново и является, таким образом, новой работой, хотя и основанной на тех же идеях, что и первый вариант. Я хочу перечислить важнейшие из этих идей: позитивизм в области философии и социализм (но не марксизм) в общественных воззрениях; убеждение в ведущей роли мировоззрения в социальных движениях; основные демократические свободы и права личности как ключевое условие для нормального развития общества; градуализм в политике; усмотрение в интеллигенции той силы, которая в принципе может, а следовательно и должна, добиться демократических преобразований; чрезвычайно критическая оценка реально существующей интеллигенции; призыв к преодолению инерции страха, укоренившегося в сталинские времена и сковывающего общественную инициативу.

Однако в некотором отношении нынешний вариант существенно отличается от первоначального, что объясняется наличием между ними семилетнего интервала. 1968 год был высшей точкой эпохи «подписантства», когда вслед за именами А. Синявского и Ю. Даниэля прозвучали имена А. Есенина-Вольпина, А. Сахарова, П. Якира, А. Гинзбурга, П. Литвинова и других. Можно было надеяться, что в стране имеется какое-то социально значимое меньшинство, готовое активно добиваться осуществления демократических перемен. Свою задачу я, как и многие сам-издатовские авторы того времени видел прежде всего в том, чтобы наметить идейную основу для выявления и объединения уси-

лий этих людей. Действуя с позиций градуализма, я сделал кое-какие терминологические уступки, подчеркнул точки пересечения своей системы взглядов с официальной советской идеологией и исключил из рассмотрения многие важные аспекты, по которым имеет место расхождение. Я считал, что остальное должно быть понятно по умолчанию, если есть желание понять.

Но оказалось, что базы для существенного расширения круга «подписантов» не было, как нет ее и по сей день. Для того чтобы произвести какие-то перемены в обществе, должно существовать активное меньшинство, которое стремится к этим переменам. В процентном выражении оно может быть очень малым, например, одна десятая процента от всего населения может оказаться чрезвычайно влиятельной, если речь идет о переменах, которые давно назрели и пассивно поддерживаются более широкими слоями (что и имеет место в данном случае). Но это должны быть люди, которые в самом деле стремятся к переменам, которые хоть чем-то готовы рисковать или жертвовать для этой цели. У нас такой десятой доли процента нет, эти люди исчисляются буквально единицами. Распад культуры в советском обществе, тоталитарное уничтожение личности зашли еще дальше, чем можно было думать в 1968 году. Власти разметали людей, выявивших себя в конце 60-х годов: одни были посажены в тюрьмы или психиатрические больницы, других вынудили эмигрировать, большая часть замолчала, испуганная. Новых не нашлось или почти не нашлось. В 1970 году в совместном с А. Сахаровым и Р. Медведевым письме руководителям Советского Союза нами была предпринята еще одна попытка сформулировать тот минимум предложений, вокруг которого, казалось бы, должны были объединиться люди, понимающие необходимость постепенных демократических реформ. Никто не откликнулся.

Теперь ясно, что надо начинать работу с еще более ранней стадии. Речь идет не о том, чтобы выявлять и объединять сторонников демократизации, способных к социальному действию, а только еще о том, чтобы создавать какие-то очаги мысли и чувства, которые, как можно надеяться, будут способствовать возникновению необходимого социально активного меньшинства.

В этой ситуации важнее всего называть вещи их именами и стремиться к целостной системе взглядов, не оставляя недоговоренностей. По-видимому, единственно правильным является такой курс: совмещать бескомпромиссный анализ в плане фактов и принципов с осторожной градуалистской стратегией в плане выводов и действий. Быть градуалистом вовсе не значит руководствоваться полуправдой или не иметь определенных политических идеалов. Напротив, градуализм предполагает наличие какой-то твердо признанной идеологии. Только на этой основе и можно идти на компромиссы и вообще заниматься политикой. (Впрочем, диссидентам пока что заниматься политикой не приходится. Власти просто не слушают нас. Нам не с кем идти на компромиссы, если бы мы этого и захотели.)

Я хочу заключить это краткое предисловие цитатой из Ганди, которой я всегда старался руководствоваться, и которой я руководствовался при написании этой книги.

«Человек и его поступок — вещи совершенно различные. Тогда как хороший поступок заслуживает одобрения, а дурной — осуждения, человек, совер-

шивший поступок, все равно хороший или дурной, всегда заслуживает уважения и сострадания, смотря по обстоятельствам. «Возненавидь грех, но не грешника», — вот правило, которое, хотя его и довольно легко понять, редко осуществляется на практике. Этим и объясняется, почему яд ненависти растекается по всему миру.»

<...>

Источник: Открытая русская электронная библиотека (http://www.orel.rsl.ru).

Шафаревич
Игорь Ростиславович

(Род. 1923)



Математик, историк, писатель, общественный деятель, правозащитник, академик.

Родился в Житомире. Окончил механико-математическй факультет МГУ. Труды по алгебре, теории алгебраических чисел, алгебраической геометрии. Профессор МГУ. Член-корреспондент АН СССР (1958), академик РАН (1991). Почетный член Американской Академии Наук. Лауреат Ленинской премии (1959). Лауреат математической премии Геттингенской Академии Наук. С середины 60-х годов активно участвует в правозащитном движении, выступает в Самиздате, дает интервью зарубежным журналистам. В 1974 г. принимает участие в составлении сборника «Из-под глыб» *(см. т. 3, стр. 230)*.

Основные публикации: «Социализм как явление мировой истории», «Две дороги к одному обрыву», «Россия и мировая катастрофа», «Русофобия».

Наиболее полно исторические, философские, социологические и публицистические труды самиздатского периода представлены: И.Р. Шафаревич. Сочинения в трех томах. М.: «Феникс», 1994.

СОЦИАЛИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Часть III. Анализ

§5. Цель социализма

<...>

Здесь мы подходим к наиболее глубокому вопросу из всех многочисленных вопросов, которые порождает социализм: как могло возникнуть и в течение тысячелетий захватывать громадные массы людей учение, ведущее к такой цели? Ответ на этот вопрос в значительной мере зависит от того, как смотреть на взаимоотношение социалистической идеологии и ее итога, который мы выше реконструировали. Независимы ли они совершенно друг от друга, как, например, улучшение условий жизни и кризис перенаселения, который он вызывает? — каковы бы ни были катастрофические последствия демографического взрыва, вызвавшая его деятельность направлялась ведь совсем другими, прямо противоположными мотивами. Или же в самых основах социалистической идеологии есть

черты, внутренне связывающие ее с тем, что мы дедуцировали как практический результат ее бескомпромиссного осуществления: смертью человечества? Ряд аргументов заставляет нас склониться ко второй точке зрения.

Прежде всего — это то настроение гибели и разрушения мира, которым буквально пропитано большинство социалистических учений и движений. Для громадного их числа именно это настроение и составляло основную внутреннюю мотивировку. Типичным является учение таборитов, согласно которому начинается новый век, в который отменяется Христов закон милосердия, и каждый верный должен омыть руки в крови безбожников. Оно ярко отражено в одной рукописи чешских пикардов, получившей известность вплоть до Северной Франции. Рукопись заканчивается так:

«Каждый пусть опояшется мечом, и брат пусть не щадит брата, отец — сына, сын — отца, сосед — соседа. Убейте их всех одного за другим, чтобы немецкие еретики бежали толпами и мы истребили бы на этом свете барыш и алчность духовенства. Так мы исполним седьмую заповедь Бога по словам апостола Павла: «алчность — это идолопоклонство», а идолов и идолопоклонников следует убить, чтобы омыть руки в их проклятой крови, как учил нас Моисей примером и в своих книгах, ибо что там написано, то написано нам в поучение».

Те же мотивы господствуют в анабаптистской революции — у Мюнцера или в Мюнстере. Позже они возрождаются одновременно с новым подъемом социалистических движений и вновь столь же ярко проявляются в социалистически-нигилистическом движении в XIX в. Так, в прокламации «Принципы революции» Бакунин писал:

«Поэтому по строгой необходимости и справедливости мы должны посвятить себя целиком и полностью неудержимому, неотступному разрушению, которое должно так долго расти crescendo, пока ничего не останется от существующих социальных форм».

«Мы говорим: полнейшее разрушение несовместимо с созиданием, поэтому оно должно быть абсолютным и исключительным. Нынешнее поколение должно начинать с настоящих революций. Оно должно начать с полного изменения всех социальных условий жизни, это значит, что нынешнее поколение должно слепо разрушать все существующее до основания с одной мыслью: «поскорее и побольше».

«Хотя мы не признаем никакой другой деятельности, кроме как дело разрушения, мы все же держимся того мнения, что форма, в которой эта деятельность проявляется, может быть чрезвычайно многообразна. Яд, кинжал, петля и тому подобное. Революция благословляет все в этой борьбе в равной мере».

Поразительно, что пафос разрушения являлся здесь единственной мотивировкой, упоение им было единственной наградой, которая перевешивала все жертвы. Ведь повторяли же Бакунин и Нечаев неустанно:

«Революционер — человек обреченный».

Гибель среди всеобщего разрушения — это и была субъективно окончательная цель, то притягательное, чем Бакунин и Нечаев манили своих сторонников. Никакие высшие чувства не могли питать эту деятельность, ибо они-то и отрицались:

«Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем (революционере) единою хо-

лодною страстью революционного дела. Он не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире. Он знает только одну науку — науку разрушения. Он живет в нем (мире) только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения».

Даже мечты о том светлом будущем, ради которого производилось все это разрушение, не могли служить стимулом и прямо запрещались:

«И так как нынешнее поколение само находилось под влиянием этих гнуснейших условий жизни, которые оно теперь разрушает, созидание не должно быть его задачей, а задачей тех чистых сил, которые возникнут в дни обновления. Омерзительность современной цивилизации, в которой мы выросли, лишила нас способности воздвигать райские строения будущей жизни, о которой мы можем иметь лишь туманные представления, в то время как мысли заняты совершенно противоположными неприятными материями. Для людей, готовых начать практически дело революции, мы считаем преступными эти мысли о туманном будущем, так как они препятствуют делу разрушения и задерживают начало революции… Для практического дела это бесполезное духовное растление…».

Широко распространено мнение, что ряд черт, так ярко проявляющихся в социалистически-нигилистическом движении: стремление к полному разрушению окружающей жизни, пренебрежение к моральным категориям, заговорщический характер, установка на террор — являются его исключительной особенностью и что именно они отличают его от его антипода — марксистского социализма. Иногда этот взгляд дополняют другим, согласно которому большевизм — это типично русское явление, наследие Нечаева и Бакунина и извращение марксизма. Такое мнение было высказано, например, Каутским в его книгах, опубликованных в 1919 и 1921 гг. (Каутский сообщает, впрочем, что сходные мысли высказывала Р.Люксембург еще в 1904 г.). Обычно при этом стремятся объяснить поразительное совпадение идеологии и практики большевизма со многими высказываниями Маркса и Энгельса тем, что эти высказывания были для последних не характерны, что эти высказывания противоречат их основным идеям. (Однако здесь мнения расходятся, и той центральной частью марксизма, которую большевизм извратил, Каутский считает поздние работы классиков, появившиеся после революции 1848 г., а современные социалисты, например, Фром или Сартр, — самые ранние, так что Сартр говорит даже о работах Маркса, предшествовавших «злосчастной встрече Маркса с Энгельсом».)

Такая точка зрения вряд ли может выдержать сопоставление с фактами. Нигилизм бакунинского направления и марксизм развились из одного и того же источника. Различия между ними, объясняющие, в частности, почему Бакунин оказал на дальнейшую историю гораздо меньше влияние, чем Маркс и Энгельс, заключается не в том, что марксизм отказался от некоторых черт бакунинского нигилизма, а в том, что он добавил к ним некоторые новые, и притом очень существенные. Марксизм основывается на том же психологическом фундаменте: бескомпромиссно-враждебном отношении, жгучей ненависти к окружающей жизни, допускающем лишь один выход — ее полное уничтожение. Но он находит средство перевести это чисто субъективное мироощущение в другую, более объективную плоскость. Как настоящий художник не дает своим страстям вырываться наружу, но перерабатывает их в произведения искусства, так же марксизм осуществил трансформацию стихийно-разрушительных

эмоций, правивших Нечаевым и Бакуниным, в имеющие несравненно более объективный и поэтому принудительный вид концепции подчиненности человека «имманентным законам или диалектике производства».

Но мироощущение, на котором возведено строение марксизма, — то же, что у Нечаева и Бакунина. Это особенно ярко видно по произведениям Маркса и Энгельса, написанным для узкого круга партийных сотрудников, а особенно по их переписке (XXI-XXIV тт. Собрания сочинений, 3. Иначе как в русском переводе, полный текст писем, кажется, нигде не издан). Здесь мы встречаем то же чувство омерзения и кипящей ненависти, направленное на всю окружающую жизнь. Оно начинается с собственных родителей. «Мой старик должен будет мне за это дорого заплатить, и наличными деньгами». — Энгельс Марксу, 26 II. 1851. «Старик твой — сволочь». — Маркс Энгельсу,XI.1848. «С моей старухой ничего нельзя поделать, пока я сам не сяду ей на шею». — Маркс Энгельсу, 13.IX.1854. Распространяется на близких друзей («У старой собаки чудовищная память на всякие такие гадости». — О Гейне, Маркс Энгельсу, 17.1.1855), ближайших партийных товарищей (В. Либкнехт обычно именуется осел, скотина, животное и, как таковое, даже — «оно». Напр., Маркс Энгельсу, 10.VIII.1869), свою партию («Какое значение имеет «партия», то есть банда ослов, слепо верящих в нас, потому что они нас считают равными себе, для нас, перестающих узнавать себя, когда мы начинаем становиться популярными? Воистину мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать «истинным и адекватным выражением» тех ограниченных собак, с которыми нас свели вместе последние годы». — Энгельс Марксу, 13.II.1851), пролетариат («...глупый вздор насчет того, как он вынужден защищать меня от той бешеной ненависти, которую питают ко мне рабочие (то есть болваны)», Маркс Энгельсу, 18.V.1859), демократию («стая новой демократической сволочи», Маркс Энгельсу, 10.II.1851, «Демократические собаки и либеральные негодяи», Маркс Энгельсу, 25.II.1859), народ «Ну, а любить ведь нас никогда не будет демократическая, красная или даже коммунистическая чернь», Энгельс Марксу, 9.V.1851) и даже человечество («у меня ни одна душа не бывает, и это меня радует, ибо здешнее человечество может меня... Сволочь! Привет. Твой К.М.» — Маркс Энгельсу, 18.VI.1862). Именно тактика на основе этого восприятия жизни вырабатывается очень близкая к Нечаевско-Бакунинской. Если Каутский в цитированных выше книгах обвиняет Бакунина в том, что он руководил партией, главой которой сам себя назначил, то он мог бы вспомнить письмо Маркса Энгельсу от 18.V.1859: «Я заявил им напрямик: наш мандат представителей пролетарской партии мы получили не от кого иного, как от самих себя. И он подтвержден за нами исключительной и всеобщей ненавистью, которою дарят нас все фракции старого света и все партии. Можешь себе представить, как эти болваны были огорошены». Упрекая Бакунина в заговорах, ему следовало бы иметь в виду письмо Энгельса Марксу от 16.IX.1868: «Метод — заниматься пустяками в публичных заседаниях, а настоящее дело делать потихоньку — оправдался блестяще». А говоря о том, что идеи террора были заблуждениями молодых Маркса и Энгельса, надо было бы как-то объяснить, почему в «Анти-Дюринге» Энгельс пишет: «Лишь со вздохами и стонами допускает он (Дюринг — авт.) возможность того, что для ниспровержения эксплуататорского хозяйничанья понадобится, может быть, насилие — к сожалению, изволите видеть, ибо

всякое применение насилия деморализует того, кто его применяет. И это говорится, несмотря на тот высокий нравственный и идейный подъем, который бывал следствием всякой победоносной революции». Каким образом в предисловии к «Истории Крестьянской войны в Германии» Энгельс ставит современным немцам в пример «здоровый вандализм» крестьянской войны, а в письме к Бебелю говорит: «Но если мы, благодаря войне, преждевременно станем у власти, то техники будут нашими специальными противниками и будут обманывать и предавать нас, где только смогут. Нам придется применять террор...»? Хотя нельзя, конечно, отрицать, что эти идеи возникли уже в самом начале деятельности будущих классиков марксизма: «Это, по крайней мере, лучшее, что нам остается, пока мы вынуждены пользоваться еще пером и не можем воплощать наши идеи в действительность руками или, если это необходимо, кулаками» (Энгельс — Марксу 18.XI.1844). И ведь Каутский, несомненно, знал все эти и многие другие места — он участвовал в редактировании немецкого издания писем Маркса и Энгельса, в котором большинство подобных высказываний было элиминировано редакцией. В его книгах ясно видно, что именно вселяло у него такую неприязнь к большевизму и желание любой ценой доказать, что он извращает марксизм. Это удивительная заразительность большевистских идей, их распространение в западных социалистических партиях, возрождающее старые страхи Энгельса о «русском засилии» (тогда — Бакунинском) в Интернационале.

Другим звеном, связывающим социалистическую идеологию с идеей гибели человечества, является представление о неизбежной смерти человечества, присутствующее во многих социалистических учениях. Мы видели, например, что у катаров, в учении которых были представлены идеи социалистического характера, существовало представление, согласно которому после того, как павшие ангелы освободятся от материального плена, остальные люди погибнут, и весь материальный мир погрузится в первозданный хаос. В качестве другого примера приведем взгляд трех наиболее видных идеологов социализма, Сен-Симона, Фурье и Энгельса, на будущее человечества. В книге Сен-Симона «Труд о всемирном тяготении» имеется раздел «О будущем человеческого рода». Там подробно и с большим чувством описывается гибель человечества, причем для большего эффекта события излагаются в порядке, обратном хронологическому, как пущенная в обратную сторону кинолента.

«Наша планета имеет тенденцию к высыханию». «На основании этих наблюдений геологи неизбежно приходят к заключению, что наступит эпоха, когда наша планета совершенно высохнет. Очевидно, что в эту эпоху она станет необитаемой, и, следовательно, начиная с известного времени человеческий род будет постепенно иссякать».

«С описания мертвой земли должно начаться сочинение, проспект которого здесь дается».

«Раздел второй. В начале этого раздела мы дадим картину ощущений последнего человека, умирающего после того, как проглотил последнюю каплю воды на земном шаре; мы покажем, что ощущение смерти будет для него гораздо тяжелее, чем для нас, потому что его личная смерть будет совпадать со смертью всего человеческого рода. Затем от морального состояния последнего человека мы перейдем к исследованию морального состояния остатков человечес-

кого рода до того времени, когда он увидит начало своего разрушения и когда проникнется убеждением, что оно неизбежно, убеждением, которое парализует у него всякую нравственную энергию и уподобит его тем людям, о которых будет говориться во втором разделе книги о прошлом человеческого рода, желания у этих людей будут те же, что и у других животных».

Любопытно, что свое сочинение Сен-Симон начинает именно с этой картины, полагая, по-видимому, что так создается фон, на котором будет более ясным смысл и дух его системы.

Энгельс не только рисует картину смерти всего живого, но и вообще рассматривает смерть как другую сторону — или цель — жизни:

«Уже и теперь не считают научной ту физиологию, которая не рассматривает смерти как существенного момента жизни, которая не понимает, что отрицание жизни по существу заложено в самой жизни так, что жизнь всегда мыслится в отношении к своему неизбежному результату, заключающемуся в ней неизбежно в зародыше — смерти. Диалектическое понимание жизни именно к этому и сводится».

И более коротко:

«Жить — значит умирать».

Картина конца принадлежит к числу наиболее ярких страниц публицистики Энгельса:

«Но все, что возникает, достойно гибели. Пройдут миллионы лет, народятся и сойдут в могилу сотни тысяч поколений, но неумолимо надвигается время, когда истощающаяся солнечная теплота не сумеет уже растапливать надвигающийся с полюса лед, когда все более и более скучивающееся у экватора человечество перестанет находить и там необходимую теплоту, и Земля — застывший мертвый шар, подобно луне, — будет кружить в глубоком мраке вокруг тоже умершего солнца, на которое она, наконец, упадет. Другие планеты испытают ту же участь, иные раньше, иные позже Земли; вместо гармонически расчлененной, светлой, теплой, солнечной системы останется холодный, мертвый шар, продолжающий идти своим одиноким путем в мировом пространстве. И судьба, постигшая нашу солнечную систему, должна раньше или позже постигнуть все прочие системы нашего мирового острова, должна постигнуть системы всех прочих мировых островов, даже те, свет от которых никогда не достигнет Земли, пока еще существует на ней человеческий глаз, способный воспринять его».

Фурье, который в других случаях, казалось бы, демонстрирует такую незатейливую приверженность к жизни и жизненным благам, тоже отдал должное этой идее. «Таблицу социального движения», охватывающую все прошлое и будущее Земли, он заканчивает так:

«Конец ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ЦАРСТВА ПОСЛЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРИМЕРНО 80 000 ЛЕТ. (Духовная смерть земного шара; конец вращения оси; опрокидывание полюсов на экватор; фиксация на солнце; естественная смерть; падение и распад в Млечном Пути)».

Хотя Энгельс предсказывает конец жизни на Земле на основании совсем других материальных причин, чем Фурье, основная мысль последнего вызывает у него явное одобрение:

«Фурье, как мы видим, так же мастерски владеет диалектикой, как и его современник Гегель. Так же диалектически он утверждает, в противовес фразам о способности человека к неограниченному совершенствованию, что каждый исторический фазис имеет не только свою восходящую, но и нисходящую линию, и этот способ понимания он применяет к будущему всего человечества. Подобно тому, как Кант ввел в естествознание идею о будущей гибели Земли, так Фурье ввел в понимание истории идею о будущей гибели человечества».

Обратим внимание на то, сколь противоположно это представление о гибели человечества концепции «конца мира», содержащейся в некоторых религиях, например, христианстве. Религиозное представление о «конце мира» подразумевает, по существу, его переход в некоторое иное состояние, после того, как человеческая история достигла своей цели. Социалистическая же идеология выдвигает идею полного уничтожения человечества, проистекающего из некоторой внешней причины и лишающего историю какого-либо смысла.

Новое сплетение социалистической идеологии с идеями смерти и гибели возникло в работах Г. Маркузе, оказавших исключительно большое влияние на левое движение последних десятилетий. И в этом вопросе Маркузе тоже следует Фрейду. Согласно взглядам Фрейда (впервые высказанным в статье «По ту сторону принципа удовольствия»), человеческая психика сводится к проявлениям двух основных инстинктов: инстинкта жизни или Эроса и инстинкта смерти или Танатоса (или принципа Нирваны). Оба они являются общебиологическими категориями, фундаментальными свойствами живого вообще. При этом инстинкт смерти есть проявление общей «инерции» или тенденции органической жизни к возвращению в более элементарное состояние, из которого они были выведены внешним возмущением; а роль инстинкта жизни сводится к тому, чтобы живое существо избегало всех путей возвращения в неорганическое состояние, кроме того, который в нем имманентно заложен. В эту концепцию Маркузе вносит больший социальный элемент, утверждая, что инстинкт смерти проявляется как стремление освободиться от напряженности, избавиться от страдания и неудовлетворенности, которые, в частности, порождаются и социальными факторами. В предлагаемой им утопии, как считает Маркузе, эти цели могут осуществиться. Он описывает это новое состояние чрезвычайно общо, используя мифологическую символику. Прометею как герою репрессивной культуры он противопоставляет Нарцисса и Орфея — носителей тех принципов, на которых строится его утопия. Они символизируют«наступление удовольствия, остановку времени, поглощение смерти; молчание, сон, ночь, рай — принцип Нирваны не как смерть, но как жизнь».

«Орфически-Нарцистические образы взрывают ее (реальность — авт.); они не устанавливают «образа жизни»; они подчинены подземному миру и смерти».

О Нарциссе:

«Если его эротизм сродни смерти и приносит смерть, то покой, сон и смерть не разрываются болезненно и не различаются: принцип Нирваны властвует на всех этих стадиях».

Чем меньше будет разница между жизнью и смертью, тем слабее будут разрушительные проявления инстинкта смерти.

«Инстинкт смерти функционирует как принцип Нирваны: он стремится к состоянию «полного удовлетворения», где не испытывается никакая напряженность — состоянию без потребностей. Эта тенденция инстинкта приводит к тому, что его разрушительные проявления минимизируются по мере того, как он приближается к такому состоянию».

«...с точки зрения инстинкта, конфликт между жизнью и смертью тем меньше, чем более приближается состояние умиротворения».

Вот как этот взгляд интерпретируется более конкретно:

«... философия, не выступающая в качестве подручной угнетения, отвечает на факт смерти Великим Отказом, отказом Орфея-освободителя. Смерть может стать признаком освобождения. Необходимость смерти не отрицает возможности конечного освобождения. Как и другие необходимости, она может сделаться разумной — безболезненной. Люди могут умирать без тревоги, если они будут знать, что то, что они любят, защищено от страдания и забвения. После завершенной жизни они могут сами принимать решение о своей смерти — в избранный ими самими момент».

Наконец, существует еще один аспект, в котором идея смерти человечества так соединяется с социалистической идеологией, что подчиняет себе индивидуальные судьбы участников социалистических движений. Пример этого можно видеть уже в движении катаров, где явные социалистические тенденции соединялись с практикой ритуальных самоубийств. Ренсимен считает, что их идеалом было самоубийство всего человечества: или непосредственно, или же путем невоспроизведения. В тот же ряд явлений можно поставить и самоубийство аббата Мелье, столь тесно связанное с его общим мировоззрением, что мыслями о нем он закончил свою книгу:

«Мертвых, с которыми я собираюсь идти одной дорогой, не тревожит уже ничто, их уже ничто не заботит. Этим ничто я тут и закончу. Я и сам сейчас не более как ничто, а вскоре и в полном смысле буду ничто».

Особенно же ярко проявилась такая психология в русском революционном движении. В статье «Об интеллигентской молодежи», помещенной в сборнике «Вехи», А.С. Изгоев писал:

«Каких бы убеждений ни держались различные группы русской интеллигентной молодежи, в конечном счете, если глубже вдуматься в ее психологию, они движутся одним и тем же идеалом... Этот идеал — глубоко личного, интимного характера и выражается в стремлении к смерти, в желании себе и другим доказать, что я не боюсь смерти и готов постоянно ее принять. Вот, в сущности, единственное и логическое, и моральное обоснование убеждений, признаваемое нашей революционной молодежью в лице ее наиболее чистых представителей».

Изгоев обращает внимание на то, что градация «левизны» политических течений, как они оцениваются интеллигенцией — меньшивики, большевики, эсеры, анархисты, максималисты, — не вытекает из их программ.

«Ясно, что критерий «левости» лежит в другом. «Левее» тот, кто ближе к смерти, чья работа «опаснее» не для общественного строя, с которым идет борьба, а для самой действующей личности».

Он цитирует максималистскую брошюру:

«Мы повторяем: крестьянин и рабочий, когда ты идешь бороться и умирать в борьбе, иди и борись и умирай, но за свои права, за свои нужды». Вот в этом «иди и умирай» и лежит центр тяжести».

«Но ведь это есть не что иное, как самоубийство, и бесспорно, что в течение многих лет русская интеллигенция являла собой своеобразный монашеский орден людей, обрекших себя на смерть, и притом на возможно быструю смерть».

Действительно, воспоминания террористов того времени передают какую-то странную атмосферу экстаза, постоянно смешивающегося с мыслями о смерти. Вот для примера несколько отрывков из воспоминаний Б. Савинкова о его товарищах по покушению на Плеве. Один из них — Каляев.

«Каляев любил революцию так глубоко и нежно, как любят ее только те, кто отдает за нее свою жизнь».

«К террору он пришел своим, особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву».

Каляев говорил:

«Ведь социалист-революционр без бомбы уже не социалист-революционр».

Другим участником был Сазонов.

«Он почувствовал за широтою Каляева силу, за его вдохновенными словами — горячую веру, за его любовью к жизни — готовность пожертвовать этой жизнью, более того — страстное желание такой жертвы».

«Для него (Сазонова — авт.) террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом».

После совершения убийства, из тюрьмы, Сазонов писал своим товарищам:

«Вы дали мне возможность испытать нравственное удовлетворение, с которым ничто в мире не сравнимо... Едва я пришел в себя после операции, я облегченно вздохнул. Наконец-то, кончено. Я готов был петь и кричать от восторга».

Третьей участницей была Дора Бриллиант.

«Террор для нее, как и для Каляева, окрашивался прежде всего жертвой, которую приносит террорист».

«Вопросы программы ее не интересовали. Быть может, из всей политической деятельности она вышла с известной степенью разочарования. Ее дни проходили в молчании, в молчаливом и сосредоточенном переживании той внутренней муки, которой она была полна. Она редко смеялась, и даже при смехе глаза ее оставались строгими и печальными. Террор для нее олицетворял революцию, весь мир был замкнут в боевой организации».

Савинков приводит разговор накануне покушения.

«Приехала Дора Бриллиант. Она долго молчала, глядя прямо перед собой своими черными опечаленными глазами. — Веньямин! — Что? — Я хотела вот что сказать... Она остановилась, как бы не решаясь окончить фразу. — Я хотела... Я хотела еще раз просить, чтобы мне дали бомбу. — Вам? Бомбу? — Я тоже хочу участвовать в покушении. — Послушаейте, Дора... — Нет, не говорите... Я тоже хочу... Я должна умереть...» [«Я знаю, что он был одержим идеей смерти», — рассказывает Сартр об известном левом деятеле Низане. «Он был в СССР и говорил об этом со своими советскими товарищами, и он мне

говорил, вернувшись,— революция, которая не дает нам одержимостью смертью — это не революция. Это не глупо.»]

Длинный ряд подобных примеров заставляет предположить, что вымирание и — в пределе — смерть человечества не есть лишь случайное, внешнее последствие воплощения социалистического идеала, но как тенденция является органической и основной частью социалистической идеологии, более или менее сознательно воспринимается ее последователями и даже вдохновляет их.

Смерть человечества является не только мыслимым результатом торжества социализма — она составляет цель социализма.

Один читатель моей более ранней работы, в которой я высказал эту точку зрения на социализм, обратил мое внимание на то, что она уже содержится в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевского. Правда, непосредственно слова Достоевского относятся к идее католицизма, но он считал социализм развитием католичества, исказившего учение Христа (этот взгляд содержится в его статьях в «Дневнике писателя»). Да и та картина жизни, которую как идеал рисует Великий Инквизитор, поразительно напоминает Платона или Кампанеллу:

«О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся».

«Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, невинными плясками».

«И не будет у них никаких тайн от нас. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — судя по их послушанию, — и они будут нам покоряться с весельем и радостью» [В письмах Достоевский говорит, что в «Легенде о Великом Инквизиторе» хотел показать основу, «синтез» взглядов современных ему социалистов. См., например, «Былое» № 15, 1919 г.].

И вот как Великий Инквизитор понимает ту конечную цель, ради которой будет построена эта жизнь:

«...Он видит, что надо идти по указаниям умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и притом обманывать их всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут».

Источник: сайт Русское православие (http://www.voskres.ru).

СЛОВО НАЦИИ

Статья аннотирована в «Хронике текущих событий» №17 (31 декабря 1970г.). В том же номере сообщается об отклике на этот текст:

«В. ГУСАРОВ, «Слово о свободе». Очерк. Отповедь демократа «Русским патриотам» («Слово нации»). Не затрагивая экономической программы и других аспектов брошюры «Слово нации», автор сосредоточивает внимание на великодержавных и расистских взглядах «патриотов». «Всеобщее разложение» следует приостановить не с помощью кнута и розги, а с помощью гласности. Активная исполнительная власть должна находиться под контролем общественности. Особенно сомнительно упование на «голос крови» — история России не дает основания полагать, что где-нибудь сохранился национальный тип в чистом виде».

В №19 «Хроники текущих событий» (30 апреля 1971 г.) сообщается о появлении еще одного отклика:

«А. КРАСНОВ. «Живое слово». Отклик на «Слово нации» (см. «Хронику» N17). Автор полемизирует с «Русскими патриотами» (так подписано «Слово нации») с позиции христианина и демократа. То, что разъединяет людей и сеет вражду между ними, автор называет МЕРТВЫМ СЛОВОМ. «ЖИВОЕ СЛОВО — слова борьбы за свободу, равенство, братство и справедливость между людьми». Так кончается очерк».

Текст разошелся в Самиздате как анонимный (единственная подпись — «русские патриоты»). Однако, авторство приписывают известному публицисту, деятелю национально-патриотического движения, человеку, близкому к кругу журнала «Вече» *(стр. 436)* Анатолию Скуратову (Иванову), который никогда не опровергал этих предположений.

<...>

Какими бы взаимными упреками ни обменивались противостоящие ныне друг другу системы, сколько бы ни считали они те или иные пороки исключительным достоянием противной стороны, главная угроза, мало кем еще понятая, остается общей: вырождение, вызванное причинами биологического порядка, действующими с тем большей силой, чем меньше на них обращают внимания, упорно жуя истасканную псевдоистину о главенстве так называемых «социальных» факторов над биологическими.

Признаками этого вырождения являются: падение рождаемости, рост общественной инертности, как в т.н. «свободных», так и в т.н. «тоталитарных» странах, уход людей в личную жизнь, в построение собственного благополучия, их взаимное отчуждение, атомизация общества, исчезновение духовных интересов, образование вакуума в душах людей и, как результат этого, — бессмысленные чудовищные преступления, пьянство, наркомания. Вырождающееся общество — это Янус, два лица которого — обыватель и преступник, первый не может жить без второго, недаром такой огромной популярностью пользуются детективные романы. Если бы преступников не было, обыватели бы их выдумали.

<...>

Демократия в ее эгалитарном варианте есть одно из следствий вырождения и одновременно его стимул. Демократы исходят из абсолютной ценности каждой личности, независимо от того, идет ли речь о святом или об убийце-садисте. Суть ядовитой идеи равенства между людьми — равные права для честных людей и бандитов (яркий пример такого гуманизма, переходящего в идиотизм — пресловутый закон о пределе необходимой обороны, охраняющий драгоценные телеса насильников). Качественные критерии начисто изгнаны из обихода и в результате торжествует либо прямое зло, либо усредненная безличь. Поэтому абстрактный лозунг «правового государства» без конкретных уточнений, о каких именно правах и для кого идет речь — всего лишь пустая фраза.

Эгалитаризм не есть опять-таки порок одних лишь демократических, в западном смысле слова, режимов. Диктатуры и монархии также могут быть эгалитарными и вырождаться с таким же, если не с большим успехом, чему пример — та же Римская империя. Демократия опасна своим попустительством вырождению, но еще опасней диктатура, выступающая его активным пособником.

Противостоять этому процессу вырождения способно лишь сильное правительство, опирающееся на национальные традиции.

<...>

Либералы исходят счастливыми слезами по поводу освобождения колониальных народов, видя в этом добрую волю колониальных держав. Эти люди никогда, очевидно, не слыхали о войнах в Алжире, Вьетнаме, Индонезии, Малайе и в десятках других мест. Случаи же предоставления независимости по неведомым причинам свидетельствуют лишь о том же вырождении некогда могучих народов. Освободившиеся же народы получили полную возможность заниматься любимым еще с доколонизаторских времен делом и бодро принялись резать друг друга (Конго, Нигерия, Руанда). Допустимо ли предоставлять этим явно не доросшим до независимости странам те же права в ООН, что и культурным нациям? Правительства великих держав ведут постыдную политику заискивания у новых стран, а те наглеют, проституируют направо и налево и плюют на тех и других. Китай — лишь наиболее яркий пример того, к чему приводит подобное заигрывание.

<...>

Идеологическое состояние мира сегодня гораздо сложней,чем это представляется тем, кто видит лишь три цвета: демократия, социал-демократия, коммунизм. Т.н. национальные оттенки — оттенки лишь в восприятии либералов. Для нас нация первична, а все остальное — производное от нее. Нация для нас — не только биологическая разновидность, но и особая духовная общность, «своеобразие которой имеет глубокий мистический смысл. Любая религия, любая идеология неизбежно модифицируется на разных национальных почвах до неузнаваемости. Так произошло с христианством, так теперь происходит с марксизмом. Национальное начало должно, наконец, быть освобождено от всех наслоений и предстать в истинном своем значении, в свете идеологии, исходящей из его первичности.

Каковы основные признаки нации?

Во-первых, — расовый тип. Человек может сменить язык, религию, но из собственной кожи он вылезти не в состоянии. Часто кивают на смешанность современных рас, одни с поощрением, другие с ужасом. При этом забывают, что смешение само по себе не обязательно ведет к появлению гибридных типов: черты одной из линий могут полностью преобладать в потомстве.

Расовым типом определяется психический склад, понимаемый здесь в весьма широком смысле, не только как темперамент, но и как способность к общественным связям определенного типа. Таковы истоки особенностей политической организации. Например, завоевание Испании в древности пришедшими из Африки иберами, а впоследствии маврами может рассматриваться как первопричина сходных явлений общественной жизни стран испанской и арабской культуры. Следует отметить, что расовые особенности как таковые еще не могут служить качественным критерием для сравнительной оценки.

Другое дело — присущие народам особые способы мышления. Наглядным свидетельством совершенства этих способов является степень развития языка. Превосходство арийских (индо-европейских) языков над всеми остальными — доказанный факт для всех добросовестных ученых. Доказано также, что язык, остановившийся на сравнительно низкой ступени развития, уже не способен к совершенствованию, хотя бы была устранена причина этой остановки — временная изоляция народа в период его становления. Однако это неравенство в развитии не может и не должно быть причиной дискриминации. Ею может быть лишь опасный, агрессивный темперамент.

Отдельные лица и целые народы, отказавшиеся от своего языка в пользу более совершенного, иногда полагают, что они возвысились над создателями последнего. В этом случае уместно вспомнить прекрасное сравнение Штирнера: если человек не освободился сам, а был освобожден, то он похож на осла, засунутого в львиную шкуру. Результатом бывает лишь наследственная дезорганизация психики.

<...>

Национальный вопрос — основной вопрос современности, но для сторонников эгалитарных учений он никогда не будет основным и никогда не будет ими правильно понят.

<...>

Особенно сложен национальный вопрос в нашей стране. Откуда-то всплыла и усиленно муссируется версия, будто русские являются привилегированной нацией. На самом деле все обстоит совсем наоборот, но пока усилиями доброжелателей все шишки валятся на Россию.

<...>

Сегодня нам ставится в вину, что русские, составляя 57% населения страны, играют непропорционально большую роль. Мы бы сказали наоборот — непропорционально малую. Начать с того, что все т.н. союзные республики имеют свои коммунистические партии — кроме России. Результатом является дей-

ствительно непропорциональное усиление самой мощной из региональных группировок — украинской.

Нам говорят, что численность русских завышается за счет «этнографически особых» групп, вроде казачества. Но упрек направлен не по адресу. Если кто и занимается подобными приписками, то, например, грузины, включающие в свое число мингрел, столь же отличных от них, как украинцы от русских.

Кстати об этих отличиях. Когда-то украинцы и белорусы считались лишь частями русского народа, а не отдельными народами. Сегодня же почему-то искусственно поддерживается существование «белорусской нации», хотя сами белорусы себя таковой не ощущают, а «белорусский язык» представляет собой лишь собрание западно-русских диалектов. Тем не менее территория Белоруссии была увеличена в 1924-26 гг. вдвое.

Не соответствуют этнографическим и современные границы Украины. В пределах Украины живет 7 миллионов русских и, наверное, не меньшее число обрусевших украинцев, так что целые области Украины правильней было бы отнести к России. Мы уже не говорим о такой вопиющей несправедливости, как передача Украине Крыма, преобладающее русское население которого теперь заставляют учить украинский язык.

Как известно, на Украине существует сильное националистическое движение. Однако оно ставит перед собой совершенно нереальные цели. Если бы действительно встал вопрос о самостийном бытии Украины, неизбежно потребовался бы пересмотр ее границ. Украина должна была бы уступить: а) Крым, б) Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области с преобладающим русским населением, в) Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области с населением в достаточной степени русифицированным, исторически освоенные усилиями русского государства. На что могла бы рассчитывать оставшаяся часть без выхода к морю и без основных промышленных районов — пусть подумают сами украинцы. Пусть подумают также о претензиях, которые могут предъявить поляки на западные области, население которых настроено полонофильски. Результатом может быть, мы полагаем, лишь возвращение блудного сына. Что же касается украинских притязаний на Кубань и на области Черноземного центра, то они уже совсем смехотворны и вообще не принимаются нами во внимание, равно как и иностранные аппетиты на наши территории (имеется в виду т.н. «бессарабский вопрос»).

Совершенно не соответствует Конституции статус Казахстана как союзной республики, тогда как его коренное население составляет лишь одну треть. Киргизия также обрусела почти на половину. Попытки затормозить естественный исторический процесс, предоставив каждому малому народу «право к ограничению числа иноземцев приемлемой для его этнического существования нормой» реакционны и обречены на неудачу. С каких это пор мы стали иноземцами на своей земле? А если мы установим такую квоту? Насколько тогда уменьшится число «русских демократов»?

Выдвигается обвинение в неэквивалентном обмене, в выкачивании богатств республик. Но кто из кого качает? Кому не известно, что закавказские республики превратились в чудовищный паразитический нарост на теле страны? Крайняя чересполосица и взаимная вражда требуют здесь уравновешивающего фак-

тора. Независимая Армения не могла бы существовать на бесплодном плоскогорье, во враждебном окружении, не может вместить всех рассеянных армян. В Грузии миллион русских и армян плюс меньшинства вроде абхазов и осетин, страдающие от грузинских великодержавных замашек. Этим малым народам туго приходится под властью «бедных и угнетенных». Вот уже несколько десятилетий абхазы молят, чтобы их избавили от грузин и включили в состав России. Но почему-то бессилен привилегированный народ!

В саму РСФСР входит несколько чисто фиктивных автономных республик (Мордовия, Башкирия, Карелия).

Много шумят об антисемитизме в России. Евреи также претендуют на роль угнетенного русскими меньшинства, а между тем, проводя политику национального кумовства, они чуть ли не монополизировали область науки и культуры. Русская земля еще не утратила способность рождать Ломоносовых, но на их пути сегодня стоят очередные немцы, а бедные «привилегированные» русские робко жмутся в сторонке. И упаси Бог задеть! Что уж говорить о жизненном уровне — народ об этом говорит достаточно много. Любителям обличать пороки других наций не грех бы заняться и самокритикой.

Нам предлагают два выхода: либо «братский союз действительно свободных народов», либо «отеческое покровительство». В первом случае потом слишком часто начинают выяснять: «А действительно ли?» А второй термин слишком расплывчатый. Наш лозунг — Единая Неделимая Россия.

Неделимость означает в нашем понимании территориальную целостность государства при полной свободе развития культуры всех народов, населяющих нашу страну, но без огромных затрат на роскошные атрибуты несуществующих культур, безразличных для тех народов, которым они якобы принадлежат. Ни один представитель какой-либо другой нации или расы никогда не будет трактоваться в России как существо второго сорта, если только он сам не даст повода к подобному отношению. Народы России — равноправные хозяева в своем общем доме.

Те же, кто с пеной у рта отстаивает сегодня пресловутое «право на отделение», пусть задумаются: куда они ведут свои народы? Мы можем заранее сказать, куда: либо в обывательское болото шведского типа, либо в состояние перманентной анархии, как в арабских странах. Многие народы после обретения независимости, зачастую в результате долгой и славной борьбы, канули в историческое небытие или стали посмешищем для всего мира. Должен же где-то воздвигнуться, наконец, вал на пути всемирного распада. Народы России должны понять, по какую сторону этого вала им надлежит быть во имя своих же собственных интересов. Ошибаются те, кто наивно верит, будто избавление от России есть избавление от зла. Зло всегда внутри, хотя между нашими нациями иногда и происходил обмен подонками — кое-какое зло мы принесли им, кое-какое они экспортировали к нам. Зло воцарилось благодаря нашим совместным усилиям, и только совместными усилиями мы сможем его победить.

<...>

Разные люди и разные народы по-своему познают Бога, отсюда различные толкования Божественной сущности и ее проявлений. Однако никто не может

сказать о себе: я лучше всех познал Бога, мое познание — единственно истинное и вам надлежит только согласиться с ним. Потребность общего поклонения выдумана Великим инквизитором Достоевского, но у некоторых людей и народов есть неодолимая потребность властвовать над другими людьми и народами, навязывать им свои идеи и свою волю. Не Божественная мудрость, но сатанинская гордость движет такими людьми и народами, хотя они часто и прикрываются именем Божьим. Но Бог не с ними, и их печальный конец неизбежен. Слугами дьявола, а не Бога, были те, кто посылал людей на костер, слугами дьявола, а не Бога всегда будут те, кто перегораживает шлагбаумами все пути к Богу, кроме своего собственного.

Характер народа накладывает неизгладимый отпечаток на образ познанного им в меру отпущенных ему способностей Бога, поэтому таким злобным, нетерпимым, уничтожающим всех конкурентов был Бог в представлении евреев. И именно в царство самого жестокого Бога на земле, для противоборства ему был послан Истинный Сын Божий — Христос.

Явление Христа было только началом борьбы со злом. Зло оказало бешеное сопротивление, оно пыталось взорвать изнутри и саму Христову Церковь. Одни ее представители гибли за веру, другие душили за нее же. Но недаром было сказано: «И врата адовы не одолеют Ее». Церковь выстояла. Все так называемые расколы Церкви — не главное. Единственный, основной раскол, как внутри Церкви — так и вне Ее — раскол между служителями Бога и слугами сатаны.

Сегодня дух зла, замаскировав свои рога под битловской прической, пытается вести свою разлагающую деятельность внутри отдельных ветвей Христианской Церкви иными способами, проповедуя идеологию еврейской диаспоры — эгалитаризм и космополитизм, усугубляя процесс всемирного кровосмешения и деградации.

Однако христианство, как и любая идеология, распадается на национальные варианты, заслуживающие различного подхода. В истории России Православная Церковь сыграла огромную положительную роль в деле сплочения нации, в освобождении ее от чужеземного ига и возрождении русской культуры, неотъемлемой частью которой Православие оставалось вплоть до революции. Последовавший затем дикий антицерковный шабаш был составным элементом похода сил хаоса на русскую национальную культуру. В национальном же государстве, воссоздание которого мы ставим своей целью, традиционная русская религия должна занимать подобающее ей почетное место.

В области внешней политики нашими задачами являются: а) На Западе — конец военного противостояния между Россией и Западом. (Это возможно лишь в случае признания Западом политической и духовной самобытности России. Ни о какой «конвергенции», ни о какой идейной капитуляции России не может быть и речи). Ликвидация Северо-военных блоков: Северо-Атлантического пакта и Варшавского договора. Отвод русских войск с территории других стран при условии аналогичных действий со стороны США. Объединение Германии. Признание незыблемости послевоенных границ. Создание Лиги Славянских государств на основе равноправия и невмешательства во

внутренние дела. Заключение договора с западными державами о взаимном неприменении атомного оружия.

б) На Востоке:

Совместные превентивные действия России, США и Индии с целью предотвращения китайской угрозы.

в) В третьем мире:

Проведение в странах третьего мира политики, взаимно согласованной между Россией и западными державами, без соперничества и претензий на доминирующее положение. Недопущение таких явлений, как резня племени ибо в Нигерии (2 миллиона жертв) или существование пиратских центров. Совместное покровительство, контроль и право на вмешательство в случае нарушения прав человека.

г) ООН. Ликвидация этой бессильной организации, неспособной навести порядок в мире, и замена ее Союзом цивилизованных стран во главе с Россией и англо-саксонскими Соединенными Штатами.

Подведем итог.

Мы стоим перед угрозой биологического вырождения. Эта опасность грозит не только нам, но и всей белой расе. Если не принять своевременных мер, мы можем дожить до того, что будем играть роль пешек или, в лучшем случае, пассивных наблюдателей в битве черной и желтой расы за мировое господство.

Демократические институты не несут с собой исцеления, скорее наоборот, усугубляют болезнь. Поэтому для нас не столько важна победа демократии над диктатурой, сколько идейная переориентация диктатуры, своего рода идеологическая революция. Такого рода революция может совершиться и бескровно, как победа христиан в Римской империи, но задача на сей раз будет противоположной. Античный мир погиб в хаосе вследствие распространения космополитических идей. Мы же стремимся к возрождению национального чувства в перемешивающемся мире, к тому, чтобы каждый осознал свою личную ответственность перед нацией и перед расой. Национальная революция начинается с личности. Кончиться она должна появлением мощного национального государства, служащего центром притяжения для здоровых элементов всех братских стран. В этом государстве русский народ на самом деле, а не по ложному обвинению, должен стать господствующей нацией, не в смысле угнетения других народов, а хотя бы в том, чтобы сами русские не становились жертвами дискриминации и даже террора в отдельных частях своей собственной страны. Когда мы говорим: «Русский народ», — мы имеет в виду действительно русских людей, по крови и по духу. Беспорядочной гибридизации должен быть положен конец. Хотя периоды упадка и закономерны, но фатальной неизбежности вырождения нет, пока сохраняется здоровое ядро нации, пока в людях есть понимание стоящей перед ними цели и воля к ее осуществлению.

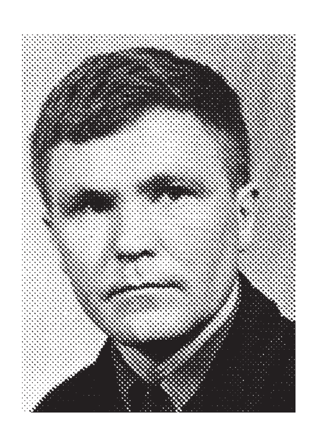
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕДА ХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НАД ВЗБУНТОВАВШИМСЯ ПРОТИВ НЕЕ ХАОСОМ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ЕДИНАЯ И НЕДЕЛИМАЯ РОССИЯ! С НАМИ БОГ!

Русские патриоты.

Источник: АС (Архив самиздата), №590.

Осипов
Владимир Николаевич
(Род. 1939)



Редактор, журналист, правозащитник.

Родился в Сланцах Ленинградской области в 1939 г. Учился на истфаке МГУ, за протест против ареста органами госбезопасности однокурсника исключен в 1959 г. В 1960 г. выпускал самиздатский журнал «Бумеранг». В 1961 г. арестован на 10 суток за участие в демонстрации в защиту чтения стихов на площади Маяковского. В 1961 г. за участие в выпуске самиздатского журнала «Феникс» *(см. т. 1, кн. 2, стр. 350)* и «обсуждения террористического акта против советских руководителей» (о чем в КГБ донес тогдашний студент МГЭИ (Московский Государственный Экономический Институт) В. Сенчагов, ныне известный ученый экономист, занимавший в свое время пост замминистра финансов, см. В. Буковский, «И возвращается ветер», *т. 3, стр. 120*) арестован и приговорен к 7 годам строгого режима. В лагере обратился к православию. После освобождения жил под Москвой, в 1970 г. написал статью «Три отношения к родине», ходившую в Самиздате и опубликованную в 1972 г. в № 103 журнала «Грани» (ФРГ). Основал самиздатский журнал «Вече» *(стр. 436)* – главный рупор православных националистов в период с 1971 по 1974 гг. Редактировал выпуски «Веча» с 1-го по 9-й номер. После случившегося в 1974 г. конфликта с редакцией «Веча» Осипов начал выпускать журнал «Земля», тоже православной направленности, но подготовил лишь один номер. В декабре 1974 г. он был арестован и приговорен к 8 годам лагерей строгого режима. После освобождения 3 года жил в Тарусе под гласным надзором, работая грузчиком. После 1985 г. выпускал ряд периодических изданий православной ориентации («Земля», «Земщина»). Основал ряд организаций – «За биологическое и духовное возрождение народа», «Христианский патриотический союз», «Христианское возрождение». Ныне Осипов – Председатель Национального Комитета в поддержку русских за рубежом, возглавляет Союз «Христианское Возрождение».

ТРИ ОТНОШЕНИЯ К РОДИНЕ

Первое отношение к родине — это ненависть. Родину ненавидят за ее нелегкую историческую судьбу, за первенство государственного интереса над личным, за тысячелетие веры в своих правителей и в свою Церковь. Ненавидят народ за его равнодушие к ярмарочной свободе. С восторгом вспоминают желчь народного благодетеля: «Жалкая нация. Снизу доверху — все рабы». Рабы! — потому что не приняли сновидения, дольки. Рабы! — потому что хотели жить по-своему. А когда сбылись сны, сложили белые головы. Но нынешнему нигилисту плевать на это: «Во всем виноват сам народ. Другой не допустил. А этот — пожалуйста».

Если уж говорить о вине, то виновен не народ, а его интеллектуальная верхушка, изменившая отечественным традициям в погоне за иноземным разумом. Импорт ума! Какое лакейство, какое отвратительное обезьянничанье перед обладателями «последней истины»! Накоплен Монблан мусора, по меткому замечанию философа, и вот в нем, а не в своем отечестве выискивают они спасительные рецепты. Дерево растет корнями в земле. Так ведь по науке надо наоборот. И вот миллионы деревьев вырывают из земли и ставят корнями в небо. Жизнь неразумна. Разумны брошюры. Наоборот! — лозунг опьяневшего нигилиста. Он меняет окраску: вчера — красный, сегодня — голубой. Но и вчера, и сегодня он верен в одном — в ненависти к отечеству. С каким наслаждением он бы распродал на аукционе земли своей родины. У него найдутся причины. Где нет исторических оправданий, он найдет юридические, где молчит право, он вспомнит пятнадцатый век. Где нет вообще предлогов, он придумает свежие. Лишь бы рассечь на десятки кусков, чтоб от родины осталось одно междуречье да пыль в музеях. А народ — о, народу он придумает, как надо жить. Ты угнетатель, ты держиморда, потеснись и сожмись, а лучше умолкни. Распинается о правах, о голубой свободе, а собственного соплеменника гонит со своих земель. Где уж там понимать душу нации. Терпение он назовет холопством. Пассивность — извечной склонностью к деспотии. Когда ему укажешь, что историческая-то деспотия — больше ярлык, чем сущность, он тут же вспомнит про палки ненавистного ему правителя. Правителя-то он ненавидит за патриотизм, а вот что палки-то привез из-за моря другой, прискорбный правитель, этого он не вспомнит. Потому что того он любит. Тому он и палки простит, и головы — за иноземный импорт. Впрочем, современный нигилист себя таковым не считает. Ведь он хлопочет об утверждении новых истин. Он провозглашает равенство мошенников и святых, вторичность души, относительность добра и зла. А поскольку, к несчастью, свершился прогресс, идеи нигилистов стали идеями века. Они замутили дух наций, опошлили благородство и честь, подточили веру и обесценили жизнь. В обмен они принесли свободу. В современном Вавилоне существует свобода Богу и свобода Дьяволу. Там разрешено творить красоту и делать мерзость. А так как одной категории людей неизмеримо больше, чем другой, то не трудно понять, кто царит в Вавилоне. Не трудно понять, что пробиваются вверх не самые честные, а самые ловкие. Надо суметь угодить переменчивой толпе, чтобы эта толпа позволила тебе делать историю. Потому и делают ее актеры, а не борцы. Нет отечества. Есть Карфаген с его нищетой и произволом и Вавилон. Выбирайте, кому что нравится — третьего не надо! А ведь, пожалуй, подобная альтернатива кому-то должна быть дьявольски удобна. Вот он, хихикающий Мефистофель, держит в руках по нитке к куклам — соперницам. Гляньте, да они дерутся, ай-ай, вон та вытаскивает нож, публика в ужасе, однако, проходит акт — другой, пыл сникает, и куклы расходятся, сдвинув брови. Но публика напряжена: ждет роковой развязки… Где уж тут помнить о родине. Потоком клеветы залито все: деяния дедов, душа и самый смысл отчизны. Попробуй оправдайся, когда в тебя швыряют кирпичами томов, рулонами газет, антеннами радиостанций. Ты анахронизм и предрассудок, ты попросту отстал от века. Да ты ведь, пожалуй, не только в родину, но и в добро веришь? И в абсолютность морали? О, как ты отстал от прогресса. Бедный арьергардист. Аборигену из жарких стран еще позволительно говорить о родине: это трудности

роста, переходный этап. Да к тому же и родина у них понятие современное, с прогрессивным душком. Что ж, надо «поздравить» нигилистов мира с большим успехом. Праздник на их улице. Ликуйте, враги отечества!

Второе отношение к родине — это спекуляция. На родине спекулирует стар и млад, ее «любит» кровавый тиран и доктор фальсификации, начинающий карьерист и беспутный болван. Ловкая подмена понятий. Главное — подползти к сердцу. Формацию не всунешь в народную душу, а для родины у каждого есть сокровенное место. Стручок перца замазать отечественным тестом, лишь бы проглотили. И глотают, и появляется нечто странное, нелепое до кошмара. Появляется модерн-патриот. Атеист, считающий религию уделом темных старух. Апологет насилия. Жаждет удушения всех и вся, кто ему не понятен. Иноземную плесневелую пищу почему-то считает отечественной и от имени отечества всучивает соседям. Когда те недовольны, бьет кулаком и взывает к родине. Поносит Вавилон, но боится его силы и духа. Лебезит перед иностранцами, если это позволено. Невежда. Из трех тысячелетий мудрости вывел лишь одно: что он умнее всех и что нет Бога. Учит, как надо жить, но учит по шпаргалкам иноземных двоечников. Мораль — это то, что выгодно. И еще он не любит лавочников, но не потому, что их идеи враждебны отечеству, а просто потому, что они более ловкие. Затирают тупицу. Нигилист для него — отрада. На нем он сорвет свою ненависть к разности. На нем проявит свой нормированный патриотизм. Его представит, как срывающуюся лавину, чтоб не покидали пещеру. Но когда он сталкивается с патриотом натуральным, он приходит в холодную ярость. Потому что всегда помнит, что главная его задача — не борьба с нигилистами или с кем бы то ни было, а борьба с отечеством. И лучшее средство для этого — новейший, «особенный» патриотизм. Цинизм невероятный: перелицевать имена, города, архипелаги и самую родину и после этого трубить о патриотизме! Нигилистам в свою очередь подобные «патриоты» — в самый цвет. Все насильники, все душегубы. Какая разница, три полоски или одна... Весь этот модерн-патриотизм возник мгновенно, по мановению дирижерской палочки. До мановения были откровенность полная: ненавидели отечество открыто и не стыдясь. После мановения отечественным нигилистам потребовалось тут же стать патриотами — и они стали. Так что модерн-патриотизм просто отпочковался от нигилизма. Троянский конь неуловимого врага. Подсадная утка нигилистов-оборотней. Вчера — нигилисты, сегодня — патриоты, а завтра — кто? Как прикажут? Или полюбили теперь? Пейзаж, географическое пространство? Конечно, территория и природа — тоже родина. Но главное — это совокупность духовных и нравственных ценностей, накопленных нацией и на ее земле. Эти ценности нью-патриот не только не уважает, а обливает помоями клеветы. Еще гаже, когда он пытается приспособить их к своим надобностям. Поскольку эта крикливая публика — сплошная бесталанность и серость, она стремится заарканить великанов прошлого. Благо из могил не протестуют. Историю великого народа превращают в колоду крапленых карт. Капитал духа отвергнут, но выцежена желчь отщепенцев. У каждой нации были свои уроды. Для модернистов родина — это собрание уродов. Все же в трескотне модернистов отрадна полная неспособность умело и красиво лгать. Все, к чему они прикасаются, становится карикатурой. Собственные заклинания повторяют так часто, что отбивают всякое желание любить и верить. Каждо-

го заведомо считают идиотом, которому нужны тысячи напоминаний. Нельзя ступить шагу без наставительных прописей. Все это отрадно, когда касается их карточного хозяйства. Но горько — когда к этой мерзкой клоунаде, как духовный соблазн, приклеивают несбыточное имя. Нынешние нигилисты говорят: «Чего вы цепляетесь к отечеству? Хотите заодно с ними? Не видите грязных лап?» А ведь хватаются не за одну родину. И за права — тоже. И за всяческую эволюцию. Что ж вы не отрекаетесь от прав и прогресса? Разве скорпионы не вцепились в прогресс? Кающиеся нигилисты… В бреднях раскаялись, от огня отошли, стали поперек горла горлопанам, но нигилистами все-таки остались. Враги на словах, друзья на деле? Этим или тем? Но что же такое нация? Вера, кровь, язык и земля. Религия и даже особенная совокупность обрядов составляют часть, причем наиболее существенную, духа нации. Отдельная личность как личность может обойтись без религии. Отдельная нация как нация без религии жить не может. Там, где кончается вера, кончается нация. Никакая научная гипотеза не способна заполнить духовный вакуум национального организма. Вера в существование элементарных частиц не объединит племя. Народ распадается буквально на глазах, когда распадается вера в Бога. Правда, сохраняется другая сильная основа нации — кровь. Но удивительное своеобразие биологического («крови») невозможно объяснить, не обращаясь к мистике. В национальном живом организме всегда присутствует какая-то тайна, нечто неподдающееся научному эксперименту. Один народ мелочен и экономен, другой расточителен и беспечен, третий любит свой дом и право, четвертый не имеет знака, чтоб обозначить свободу, пятый скитается и хитрит… И живут подчас рядом, бок о бок, и ветры те же, и пресловутая экономика, а вот разница в глаза бьет. Неуловимое семя, неизменное, как симметрия скул. Вера и кровь. Душа и тело. Вера как кровь души. Телу — пространство для бытия. Душе — язык. Нью-патриот не знает ни веры, ни крови. Его понимание нации дальше экономики и языка не выходит. Оставим ему экономику, которую он любит так страстно, что задушил в объятиях. Но даже язык он исказил до такой степени, что его культурный прадед с трудом разберет галиматью слововведений и уж совсем не поймет потомка, низведшего великий язык до матерщины рабов. Итак, спекулянт уже потому не может быть патриотом, что он — враг веры. Веры вообще и ее национальной формы в особенности. Жалкое бытие, испорченный язык, проданная вера. Что же остается от нации? Кровь, из которой месят новое племя. Новый народ. Только антропологические признаки еще будут напоминать некоторое время об исчезнувшей нации. О погибшем отечестве. Ликует спекулянт: конец не за горами. И этот отступник, продавший праотцов, еще смеет кричать другим: «Отщепенцы!…»

Третье отношение к родине — это Любовь. Квасная любовь — говорят недруги. У слепых один квас в уме. Хотят сказать, что подлинные патриоты — они, а тут, дескать, сплошной квас. Но у всех «не-квасных» всегда обнаруживаешь бычью ненависть к отечественным святыням, к нравственному наследству предков. И ведь знают прекрасно, что не в квасе дело, что влюблены в дух и честь, но как сладко лягнуть чужое. Впрочем, после души и флага, после алтаря и мудрости, как последнюю ступень храма, почему бы не принять и квас? До пограничного ручья и дедовского наличника, до вздоха последнего — любить. Назад! Домой! Но кто осмелится повторить столь немодный лозунг? А как

же быть со спиралью, которая вьется все время вверх? Как быть со скепсисом и духовной гульбой? К которой приучил нигилизм. Спираль, она никуда не вьется. У каждого народа своя спираль. Общей для человечества не было и в помине. Нет деревьев вообще, есть ель, баобаб, саксаул. Нет и вненационального человечества. Каждый принадлежит к определенному племени, если только не прилетел из соседней галактики. Человек имеет мать, жену, братьев, родных и троюродных, друзей, единомышленников, близких и дальних. Это уже часть нации. Конкретные живые люди, которых можно любить. Потому что любовь всегда конкретна. Как полюбить далекого аборигена, если ты его в глаза не видел? Через чувство к родичам и друзьям, к однодумцам сегодняшним и вчерашним возникает живое чувство к целой нации. Ни один человек не замыкается в любви к своим. У каждого есть также симпатии и антипатии к другим народам. Кто ровен и одинаков ко всем, тот не любит никого. Конечно, святой, порвавший с мирской греховностью, способен полюбить всех. Он способен полюбить и человечество в целом. Но святые в нашей жизни — редчайшее исключение. И если полагаться только на них, то воз земных дел вытащить не удастся. Обычный человек больше или меньше симпатизирует другим нациям в зависимости от их чувств к его народу. Если его родину полюбят все, патриот ответит взаимностью всей планете. Только так может появиться любовь к человечеству. Через собственную нацию. Каждое племя имеет особый психический комплекс, особую совокупность обычаев и привычек, даже особое восприятие по виду универсальных лозунгов. Каждое племя имеет свою судьбу. И если племени грозит гибель, если племя завели в трясину, неужели патриот будет звать вперед и глубже? Кивать на других? У других, может быть, есть выход, а может, своя трясина. Другие сами о себе позаботятся. Спасать племя, а не обезьянничать перед веком. Модную дешевку скепсиса, беспринципный космополитизм, прогресс растления — за борт! На этом модном пути можно потерять все, даже самого себя. Там нет цели, если не принимать за цель распад Человека. Преступно по-прежнему семенить вперед. Назад! Только назад! Вернувшись обратно, к месту, от которого начали блудить, надо отдышаться, привести все в порядок и зашагать вперед по другому пути. Назад, чтобы действительно пойти вперед! Конечно, в прогрессе не все плохо. Там есть и ржаные зерна. Кто мешает перенять то, что действительно благо? Что полезно родине. Что целебно народу. Патриот не побоится заимствований, если они укрепят отечество. Но у родины своя судьба и свой путь. Она — одна на свете. Единственной и незаменимой отдано сердце. Любовь к Ней приходит раз в жизни. И навсегда. За что же ты любишь Ее, брат? Говорят, вид ее жесток и бесчеловечен, маска до отвращения безобразна. Разве мало красоток на белом свете? Или Ты веришь, что лягушка станет прекрасной царевной? Что Кащей не бессмертен? Врагам не понять, что можно до рези в глазах любить Ее. Которая для них хуже всех и которая лучше всех. Один честный писатель, растерявшийся на перепутье, выпустил жуткие слова: «Нация воров и пьяниц». Никогда перед сонмом добродетельных наций нельзя так сообщать о своем народе. Даже если это правда. Ибо такая правда — аргумент врагам. Но представим на минуту, что это так. Нация воров и пьяниц. Ханжей и ябед. Что вы доказали этим? Любить — это значит переделать. Патриот не тот, кто бахвалится, а тот, кто болеет. Кто хочет

изменить и возвысить. Только родина, одна родина способна переделать народ. Никакие права и свободы сами по себе ничего не изменят. Изменить может лишь зов к отечеству. Патриотизм сердец превратит подопытную толпу в гордый и благородный народ. В нацию героев и святых. В цвет человечества. Домой! Под отчий кров. Пусть воют волки на чужих спиралях, чужие волки на чужом пути, пусть берет болото пьяных проводников, пусть расхлебывают сами. Своими заботами сыты по горло. Боль нестерпимая все поглотила. Нация, нация превыше всего. Выводить немедля. Спасать, ЕСЛИ еще не поздно. А если поздно, то жизнь — зачем она патриоту? Прозябать в бессилии, как свыкшийся конь? Но даже если все потеряно, нация исчезнет, логически исхода нет, патриот обязан кричать во мрак: «Назад!» С надеждой на последний шанс. На милость истории. Терять нечего. А вдруг удача? Народ выживет. Родина расцветет.

Прекрасная, щедрая, полная любви к своим и чужим. Свободная, ни от кого не зависимая. Неподатливая экспериментам пришельцев. Милосердная и могучая. Единая и неделимая. Любимая навсегда. Встанет из пепла неистребимая птица, взлетит над красной равниной сквозь синее небо к белой звезде. Священное имя, которое единицы шепчут в тишине после молитвы, взволнует души сотен и тысяч. Сегодня — до отчаяния мало. Завтра… Соплеменник, брат, где ты? Где твое сердце?

Источник: Самиздат века. Минск-М.:Полифакт, 1997.

Амальрик
Андрей Алексеевич
(1938–1980)



Историк, публицист, драматург, правозащитник.

Родился в Москве, в семье историка. Учился на историческом факультете МГУ, исключен в 1963 г. (за неортодоксальную работу «Норманны и Киевская Русь»). Написал несколько очерков и пьес в стиле театра абсурда, которые распространялись в Самиздате. В 1965 г. был арестован за «антисовесткий» характер своих произведений и выслан из Москвы на два с половиной года в Сибирь за тунеядство. Свою сибирскую ссылку описал в книге «Нежеланное путешествие в Сибирь», которая распространялась в Самиздате. В книге он рассказал не только о своем быте, но и о жизни советской деревни с ее беспросветным и фактически подневольным трудом, бесправием крестян, нищетой. По мнению Юрия Мальцева, это «самое впечатляющее и яркое повествование о нынешней советской деревне» (Вольное русское слово, «Посев», 1976). По возвращении в Москву активно включился в правозащитное движение, благодаря многочисленным связям в иностранном журналистском корпусе передавал многие самиздатские рукописи за границу. В 1969 г. написал эссе «Просуществует ли Советский союз до 1984 года», широко распространявшееся в Самиздате, изданное на Западе и переведенное на многие языки (в том числе и на китайский). После опубликования книги на Западе неоднократно подвергался задержанию и обыскам, в 1970 г. был арестован и осужден на 3 года. В день освобождения вновь получил 3 года, замененные после четырехмесячной голодовки на ссылку. В 1976 г. эмигрировал, жил в Париже. В 1980 г. Амальрик погиб в автомобильной катастрофе в Испании по пути на конференцию по правам человека.

Основные произведения:
«Нежеланное путешествие в Сибирь» (1966 – 1967);
«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (1969);
«Иностранные корреспонденты в Москве» (1967 – 1970);
«Открытое письмо Анатолию Кузнецову» (1967 – 1970);
«Записки диссидента» (1978).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. КУЗНЕЦОВУ

Уважаемый Анатолий Васильевич,

Я хотел написать Вам сразу же, как услышал по радио Ваше обращение к людям — тем самым и ко мне — и Вашу статью «Русский писатель и КГБ». Я не сделал этого сразу, потому что жил в деревне, откуда мое письмо едва ли дошло бы до Вас. Но, может быть, вышло даже к лучшему, что я пишу Вам несколько месяцев спустя. Во-первых, я услышал — прочесть я не мог — еще

Ваши письма в Пен-клуб и г-ну Миллеру и смог лучше понять Вас. Во-вторых, могло бы показаться, что мой голос — голос, обращенный к Вам из страны, которую Вы покинули, — прозвучал бы заодно с голосами тех на Западе, кто осудил Вас за Ваше бегство и способ, какой Вы избрали для этого. Это совсем не так. Я считаю, что если Вы как писатель не могли работать здесь или публиковать свои книги в том виде, как Вы их написали, то не только Вашим правом, но в каком-то смысле и Вашим писательским долгом было уехать отсюда. И если Вы не могли просто взять и уехать, как это может сделать любой человек на Западе, то заслуживает только уважения та настойчивость и та хитрость, какие Вы проявили для этого. В том, что Вы воспользовались методом Ваших преследователей и обвели их таким образом вокруг пальца, я думаю, нет ничего предосудительного, а то, что Вы Вашим невозвращением и откровенной статьей превратили зловещий донос в безобидное юмористическое произведение, может нанести вред только существующей в нашей стране магии доносов. Однако во всем, что Вы пишете и говорите, оказавшись за границей, во всяком случае, в том, что я слышал, есть две вещи, которые кажутся мне неправильными и на которые поэтому я хочу Вам со всей откровенностью возразить.

1

Вы все время говорите о свободе, но о свободе внешней, свободе вокруг нас, и ничего не говорите о свободе внутренней, то есть свободе, при которой власть многое может сделать с человеком, но не в силах лишить его моральных ценностей. Но, видимо, такая свобода и связанная с ней ответственность есть обязательная предпосылка свободы внешней. Быть может, в некоторых странах свобода выражения своих мыслей достается человеку так же легко, как воздух, которым он дышит. Но там, где этого нет, такая свобода, я думаю, может быть только результатом упорного отстаивания своей внутренней свободы.

Вы пишете, как КГБ преследовал и шантажировал русского писателя. Конечно, то, что делал КГБ, может вызвать только осуждение. Но непонятно, что же делал русский писатель, чтобы противостоять этому. Противоборствовать КГБ страшно, но что, собственно, угрожало русскому писателю, если бы он перед первой заграничной поездкой отказался от сотрудничества с КГБ. Писатель не поехал бы за границу, чего ему, вероятно, очень хотелось, но остался бы честным человеком. Отказавшись вообще от подобного сотрудничества, он утратил бы какую-то — пусть весьма значительную — долю свободы внешней, но достиг бы большей внутренней свободы. Вы все время пишете: меня вызвали, мне велели, цензура всегда ставила меня на колени... и т.д. Мне кажется, что если Вы постоянно шли на уступки и делали то, что в душе осуждали, то Вы и не заслуживали лучшего отношения со стороны КГБ или цензуры.

Я думаю, что вправе сделать Вам этот упрек. Я всегда старался не делать того, что я осудил бы в душе. Я не только не вступил в партию, как Вы, но также и в комсомол и даже в пионеры, хотя меня, маленького мальчика, настойчиво побуждали сделать это. Я предпочел быть исключенным из университета и расстаться с надеждой стать историком, но не исправлять ничего в работе, которую я сам считал правильной. Я предпочел вообще не носить свои стихи и

пьесы в советские издательства, чем уродовать их в надежде, что меня напечатают. Долго рассказывать, как на меня обратил внимание КГБ, но коснусь того, о чем пишете Вы.

В 1961 году в КГБ мне любезно предложили писать общие отчеты о настроении интеллигенции, я так же любезно отказался, на чем дело и кончилось. В 1963 году меня ночью привезли на Лубянку и велели написать донос на одного из американских дипломатов, что якобы меня и других советских граждан он подвергает зловредной идеологической обработке. Я вновь отказался, хотя теперь мне уже угрожали уголовным делом. В 1965 году я вообще отказался с ними разговаривать, что стоило мне затем ссылки в Сибирь. Но главное, живя в этой стране и продолжая писать и делать то, что я считаю правильным, я в любой момент могу быть вновь заключен в тюрьму или со мной расправятся иным образом. Вот почему я думаю, что лично я вправе упрекать Вас <...> И не потому, что хочу осудить Вас лично, а потому, что хочу осудить философию бессилия и самооправдания, которая проходит через все, что Вы сказали или написали на Западе. «Мне не было дано иного выбора!» — как бы говорите Вы, и это звучит оправданием не только для Вас, но и для всей советской творческой интеллигенции, во всяком случае для той «либеральной» ее части, к какой Вы сами принадлежали. Вы осуждаете — прямо или косвенно — некоторых ее представителей, но поскольку Вы не произносите ни одного слова осуждения в свой адрес, во всем обвиняя только власть, то непонятно, почему же к остальным можно предъявлять какие-то требования. Вы хотите сказать, что все вы — жертвы насилия, но, мне кажется, никакое насилие не может быть эффективным без тех, кто готов этому насилию подчиняться. Иногда мне кажется, что советская «творческая интеллигенция», то есть люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье, в целом явление еще более неприятное, чем режим, который ее породил. Лицемерие и принятие вещей такими, какими они ей навязаны, настолько въелись в нее, что во всякой попытке поступить честно она усматривает или хитрую провокацию или безумие. Я встречал людей, а Вы, вероятно, еще больше, кто, тайно ненавидя эту власть, делает все, что ему прикажут, и даже сверх того и, делая это, ненавидит еще сильней. Однако еще сильней ненавидит тех, кто, по Вашему выражению из письма г-ну Миллеру, «шумно борется» с властью. Потому что рассерженная власть, ничего не разбирая, может наброситься не только на тех, кто «шумно борется», но и на тех, кто «тайно ненавидит».

Я не хочу сказать, что все, кто хочет большей свободы для себя и своей страны, должны выйти со знаменами на Красную площадь. Однако им следовало бы отказаться от обиходного цинизма, который одинаково обесценивает правду и ложь, поверить в какие-то моральные ценности, пусть даже смешные, и пытаться обрести внутреннюю свободу. Как это сделать — по-видимому, каждый должен решить сам. Не каждый может, да и не всегда это лучший способ, открыто выступить против тех условий, в которых мы живем. Но лучше вообще молчать, чем говорить неправду, лучше отказаться от публикации какой-то своей книги, чем выпустить прямо противоположное тому, что написал сначала, лучше отказаться от поездки за границу, чем стать ради этого осведомителем или «отчитаться» фиглярской поэмой, лучше отказаться от пресс-конференции, чем публично заявлять, что в нашей стране существует свобода твор-

чества. Если отдельный человек или вся страна действительно хотят быть свободными, они должны как-то добиваться свободы, хотя бы путем несотрудничества с теми, кто их угнетает. Но иногда ради этого следует рисковать даже той свободой, какую имеешь, чего, как я понял, Вы так боялись.

Вам показался наивным заданный Вам кем-то на Западе вопрос: почему в СССР народ не заменит правительство, если оно якобы так плохо? Мне этот вопрос кажется совершенно разумным. Я бы ответил на него так: народ не заменит правительство не потому, что правительство хорошо, а потому, что плохи мы сами — мы пассивны, невежественны, боязливы, даем обмануть себя примитивными мифами и опутать бюрократическими путами, позволяем уничтожить наиболее активных наших граждан, в большинстве своем не понимаем своего положения, наша интеллигенция подкуплена, запугана и лишена моральных критериев, однако постепенно мы начинаем находить в себе силы — и это значит, что рано или поздно многое можно будет изменить.

Но Вы говорите не так. Вольно или невольно Вы хотите создать впечатление, что всякая борьба бесполезна и те, кто «шумно борется», все же в большей или меньшей степени тоже лицемерят, выступая «за советскую власть», лишь против отдельных или всех ее недостатков, как Синявский или Солженицын — и тем не менее Синявский сидит в тюрьме, а Солженицын «затравлен и измучен». Вы же, будучи вообще против этой власти и потому «подлинной оппозицией», — молчали и делали то, что Вам прикажут.

Я думаю, что все это неправда. Едва ли слово «советский» само по себе такая уж хорошая защита от режима. Быть может, режим видит самую большую опасность как раз в тех, кто говорит, что они «за советскую власть», но подразумевают под «советской властью» совсем не то, что хочется режиму. Не зная лично ни Синявского, ни Солженицына, насколько искренна их общественная позиция, я судить не могу. Но она, как мне кажется, во всех случаях заслуживает только уважения, равно как позиция Даниэля и многих других. Что касается их книг — а Солженицына я считаю наиболее значительным современным русским писателем — то я полагаю, что они не советские и не антисоветские, а просто литература, которая хочет быть свободной. И, судя только по его книгам, нельзя сказать, что Солженицын «затравлен и измучен» — он производит впечатление человека, способного противостоять травле, он уже однажды сохранил свою внутреннюю свободу в тюрьме и, видимо, сохранит, если его еще раз посадят. В этом все мы можем черпать силы.

И когда Вы говорите, что хотите писать свободно и для этого бежали на Запад, я Вас понимаю и к той прагматической трезвости, с какой Вы сумели это сделать, отношусь с уважением, но когда Вы пытаетесь доказать, что Ваша «тайная ненависть» и явное сотрудничество здесь были «подлинной оппозицией», косвенно намекая тем самым, что оппозиция Синявского или Солженицына — мнимая, и в то же время выступаете на Западе ходатаем за эту оппозицию, то мне кажется, что Вы ставите себя в фальшивое положение.

И едва ли КГБ, как это Вы пишете, сумеет уничтожить «самиздат» за два дня и играет с ним, как сытая кошка с мышью. Может быть, и за два часа КГБ сможет арестовать десятки распространителей «самиздата» — и то, что КГБ этого не делает, говорит, как мне кажется, не о его игривости —

хотя игра и идет, — а о той неопределенности, в какой пребывают КГБ и режим в целом. Да кроме того, «самиздат» распространяется не среди единиц, как Вы пишете, а среди тысяч. Мне кажется, что та жалкая роль, в которую КГБ поставил Вас и многих Ваших коллег, невольно заставила Вас переоценить его могущество. Вы пишете, что мы живем в орвелловском мире, но если это так, то Вы Вашей покорностью и мистическим отношением к КГБ внесли свою лепту в этот мир. Но, как бы то ни было, теперь Вы попали в иной мир и принесли Вашу «тайную ненависть» туда, где она может стать явной, но — увы — не вызовет ни ответной ненависти, ни ответного горячего сочувствия, скорее сочувственное любопытство, но иногда, как Вы уже убедились, и любопытство неприязненное.

И в связи с этим я хочу сделать Вам свой второй упрек.

2

Создается впечатление, что на Западе многие очень плохо представляют себе действительное положение в нашей стране, в частности положение писателей. Происходит это, возможно, потому, что людям, с детства воспитанным на иной культуре и иных общественных принципах, так же трудно понять чужой мир, как трудно сразу заговорить на чужом языке, и еще потому, что информация о многих сторонах нашей жизни на Запад вообще не поступает или поступает в очень малых количествах, вдобавок те, на чьей обязанности лежит снабжать Запад информацией, сознательно или бессознательно ее искажают. Поэтому не только право, но и долг каждого русского, кто хочет, чтобы общественное мнение Запада лучше поняло его страну и даже своим авторитетом помогло достижению для нее большей свободы, долг такого русского честно информировать независимое общественное мнение о том, что у нас происходит. Информировать, но не искать сочувствия и тем более не пытаться вызвать жалость, как это, мне кажется, пытаетесь делать Вы.

<...>

Я говорю о нечестности, потому что нечестно, пользуясь полной свободой слова и иными свободами в своей стране или, добиваясь для себя больших свобод и большего влияния, в той или иной форме сотрудничать с режимом, который лишает этих свобод и всякого влияния своих граждан, искать тех или иных оправданий для этого режима, вступать с ним в какие-либо контакты и диалоги. Я думаю, мы не вправе осуждать этих людей за то, что их собственные проблемы волнуют их больше, чем все наши страдания, тем более мы не вправе требовать, чтобы они влезли в нашу шкуру и на себе испытали, каково нам приходится. Но нам не следует также жаловаться им, искать их сочувствия и обижаться, если не найдем его. Мы должны только говорить им и всем, кто будет нас слушать, правду о положении в нашей стране. Ибо в первую очередь в этом нуждается сама наша страна.

И думаю, мы еще вправе сказать им: если вам дорога не только свобода для вас, но вообще принцип свободы, подумайте один раз, прежде чем ехать для «интеллектуального диалога» в страну, где извращено само понятие свободы,

и подумайте десять раз, прежде чем, полюбовавшись на потемкинские деревни, писать полные мнимой многозначительности отчеты о России.

Желая убедить западную общественность, что положение писателей и всего народа в нашей стране очень тяжело, Вы несколько раз повторяете, что у нас якобы существует фашистский строй. Но дело даже не в том, верно это или нет, а в том, что пока фашизм не был повержен и разоблачен, в демократических странах находилось много людей, которые восхищались фашизмом или, во всяком случае, находили в нем те или иные достоинства. Быть может, они считали, что для них самих фашизм не подходит, но для немцев и итальянцев он вполне хорош. Многие надеялись также, что постепенно вовлеченный в респектабельное общество разных международных организаций фашизм откажется от своих дурных замашек. Так что я не знаю, достигают ли цели эти Ваши аналогии. Не знаю также, правильно ли Вы поступили, прося г-на Миллера как председателя Пен-клубов заняться судьбой писателей в России. Г-н Миллер, вне зависимости от того, какой он писатель и человек, на своем посту вынужден был заниматься не литературой и ее судьбами, а ведущейся вокруг литературы политикой — так это кажется, глядя из России, — и в области этой политики ставил задачу присоединения к Пен-клубу советской писательской организации. С точки зрения политики, это было бы, возможно, большой победой г-на Миллера, но что бы это дало с точки зрения литературы? Что стало бы лучше в нашей стране от того, что Кочетов или Евтушенко поехали бы в Ментону и заявили там, что в СССР существует свобода творчества? Разве положение восточногерманских писателей лучше, чем положение советских, от того, что Восточная Германия член Пен-клуба? По-моему, политика и искусство вещи несовместимые и даже противоположные — и потому всякая ведущаяся вокруг искусства политика не только всегда пренебрежет интересами искусства ради чисто политических задач, но и внесет в него чуждый искусству дух компромисса.

Вот, в общем, то, на что я хотел возразить Вам. И еще хочу сказать: не принимайте близко к сердцу все, что Вы услышите на Западе. Вас упрекнули, что в результате Вашего невозвращения положение в нашей стране станет еще хуже, что многие Ваши коллеги уже не смогут поехать на Запад. Не думаю, чтобы положение стало хуже. Беда не в том, что не напечатают очередной псевдолиберальный стишок или не пустят за границу его автора, а в том, что многие талантливые поэты и прозаики вообще лишены возможности себя проявить: одни вообще перестают писать, а другие встают на путь жалкого конформизма. Тут Ваше невозвращение ничего не изменит ни к худшему, ни к лучшему. Вот если это Вы сумеете объяснить на Западе — это будет очень важно.

Вы хотите убедить Запад, что Ваши взаимоотношения с КГБ были скорее правилом, чем исключением для советской писательской среды. Вы намекаете, например, что некоторые известные поэты были, как и Вы, осведомителями. Но, мне кажется, главное не то, что писатели служат КГБ, а что литература выполняет, подобно КГБ, служебные функции, не то, справедливы или нет Ваши намеки, а то, что все это поэтически-политическое фиглярство, которое расцвело в эпоху Хрущева и показалось не особенно нужным его преемникам, имеет столь же мало отношения к независимому искусству, как и писания Кочетова. Мне кажется даже, что искренний обскурантизм Кочетова заслужива-

ет большего уважения, чем мнимое бунтарство тех, кто наряду с водкой и черной икрой был долгое время нужным режиму экспортным товаром. Я пишу Вам в ответ на статьи и письма, открыто опубликованные Вами, и потому свое письмо рассматриваю как открытое. Желая, чтобы оно было опубликовано, я хотел написать как можно короче, но получилось необычайно пространно: или я не умею писать, или слишком многого хотел коснуться сразу. Тем не менее я посылаю Вам это письмо через газету «Дейли Телеграф» и буду очень рад, если эта уважаемая газета его опубликует. Я хотел бы этого прежде всего потому, чтобы на Западе знали, что в нашей стране существует иная точка зрения на Ваше невозвращение, чем та, которую высказали в советской печати Ваши бывшие коллеги.

Анатолий Васильевич, я горячо и искренне поздравляю Вас с тем, что теперь Вы очутились в свободной стране, и надеюсь, что это будет большим шагом для Вас на пути к внутренней свободе. Поэтому я больше всего хочу и прежде всего желаю Вам, чтобы Ваши книги, написанные и изданные в условиях свободы, оказались лучше и интереснее того, что было под Вашей фамилией издано в СССР.

1 ноября 1969

Источник: Андрей Амальрик. Статьи и письма 1967 — 1970. Серия «Библиотека Самиздата», Амстердам, 1971, Фонд им. Герцена.

ПРОСУЩЕСТВУЕТ ЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ДО 1984 ГОДА?

I

Как можно думать, в течение пяти, приблизительно, лет — с 1952 по 1957 годы — в нашей стране происходила своего рода «верхушечная революция». Она пережила такие напряженные моменты, как создание так называемого расширенного президиума ЦК КПСС, дело врачей, загадочную смерть Сталина и ликвидацию расширенного президиума, чистку органов госбезопасности, массовую реабилитацию политзаключенных и публичное осуждение Сталина, польский и венгерский кризисы и, наконец, закончилась полной победой Хрущева. Во весь этот период страна пассивно ожидала своей судьбы: если «наверху» все время шла борьба, «снизу» не раздавалось ни одного голоса, который прозвучал бы диссонансом тому, что в настоящий момент шло «сверху». Но, видимо, «верхушечная революция», расшатав созданный Сталиным монолит, сделала возможным и какое-то движение в обществе, и уже к концу этого периода стала проявляться новая, независимая от правительства сила. Ее условно можно назвать «культурной оппозицией». Некоторые писатели, до этого шедшие в официальном русле или просто молчавшие, заговорили по-новому, и часть их произведений была опубликована или распространялась в рукописях, появилось много молодых поэтов, художников, музыкантов и шансонье, стали циркулировать машинописные журналы, открываться полулегальные художественные выставки, организовываться молодежные ансамбли. Это движение

было направлено не против политического режима как такового, а только против его культуры, которую, тем не менее, сам режим рассматривал как свою составную часть. Поэтому режим боролся с «культурной оппозицией», в каждом отдельном случае одерживая полную победу: писатели «каялись», издатели подпольных журналов арестовывались, выставки закрывались, поэты разгонялись. Тем не менее победу над «культурной оппозицией» в целом одержать не удалось, напротив — частично она постепенно включилась в официальное искусство, тем самым модифицировавшись, но модифицировав и официальное искусство, частично же сохранилась, но уже в значительной степени как явление культуры. Режим примирился с ее существованием и как бы махнул на нее рукой, лишив тем самым ее оппозиционность политической нагрузки, которую он сам придавал ей своей борьбой с нею.

Однако тем временем из недр «культурной оппозиции» вышла новая сила, которая стала в оппозицию уже не только официальной культуре, но и многим сторонам идеологии и практики режима. Она возникла в результате скрещения двух противоположных тенденций — стремления общества ко все большей общественно-политической информации и стремления режима все больше препарировать официально даваемую информацию — и получила название «самиздата». Романы, повести, рассказы, пьесы, мемуары, статьи, открытые письма, листовки, стенограммы заседаний и судебных процессов в десятках, сотнях и тысячах машинописных списков и фотокопий начали расходиться по стране. Причем постепенно, приблизительно за пятилетие, происходила эволюция «самиздата» от художественной литературы к документу, принимавшему все более определенную общественно-политическую окраску. Естественно, что в «самиздате» режим увидел еще большую опасность для себя, чем в «культурной оппозиции», и борется с ним еще более решительно.

Тем не менее, «самиздат», подобно «культурной оппозиции», постепенно подготовил новую самостоятельную силу, которую можно рассматривать уже как настоящую политическую оппозицию режиму или, во всяком случае, как зародыш политической оппозиции. Это — общественное движение, называющее само себя Демократическим движением. Как новый этап оппозиции режиму и как политическую оппозицию его можно рассматривать, пожалуй, по следующим причинам: во-первых, не принимая форму четкой организации, оно само осознает и называет себя движением, имеет руководителей, активистов и опирается на значительное число сочувствующих; во-вторых, оно сознательно ставит себе определенные цели и избирает определенную тактику, хотя и то и другое довольно расплывчато; в-третьих, оно хочет работать в условиях легальности и гласности и добивается этой гласности, в чем его отличие от маленьких или даже больших подпольных групп.

Прежде чем посмотреть, насколько Демократическое движение является массовым, насколько четкие и достижимые цели оно себе ставит, т. е. является ли оно действительно движением и имеет ли какие-либо шансы на успех, есть смысл поставить вопрос об идеологической основе, на которую может опираться всякая оппозиция в СССР.

Конечно, как это хорошо помнит сам автор, и в 1952-1956 годах было большое количество недовольных и настроенных оппозиционно по отношению к ре-

жиму лиц. Но, не говоря даже о том, что недовольство это носило «камерный» характер, оно в значительной степени опиралось на негативную идеологию: считалось, что режим плох, потому что он делает или не делает то-то и то-то, в то же время в общем-то не ставилось вопроса, а что же хорошо, подразумевалось также, что режим или не отвечает своей идеологии или что сама идеология никуда не годится. Однако поиски позитивной идеологии, способной противостоять официальной, начались только к концу этого периода. Можно сказать, что за последние полтора десятилетия выкристаллизовались по крайней мере три идеологии, на которые опирается оппозиция. Это «подлинный марксизм-ленинизм», «христианская идеология» и «либеральная». «Подлинный марксизм-ленинизм» предполагает, что режим, извратив в своих целях марксистско-ленинскую идеологию, не руководствуется марксизмом-ленинизмом в своей практике и что для оздоровления нашего общества необходимо возвращение к истинным принципам марксизма-ленинизма. «Христианская идеология» предполагает, что необходимо перейти в общественной жизни к христианским нравственным принципам, которые толкуются в несколько славянофильском духе, с претензией на особую роль России. Наконец, «либеральная идеология» в конечном счете предполагает переход к демократическому обществу западного типа с сохранением, однако, принципа общественной и государственной собственности.

<...>

Демократическое движение, насколько мне известно, включает представителей всех трех обозначенных выше идеологий; таким образом, его идеология может быть или эклектическим сочетанием «подлинного марксизма-ленинизма», русского христианства и либерализма или же основываться на том общем, что есть в этих идеологиях (в их современных советских вариантах). По-видимому, происходит последнее. Хотя Демократическое движение находится в периоде становления и никакой отчетливой программы себе не сформулировало, все его участники подразумевают во всяком случае одну общую цель: правопорядок, основанный на уважении основных прав человека.

Число участников Движения в общем столь же неопределенно, как и его цели. Оно насчитывает несколько десятков активных участников и несколько сот сочувствующих Движению и готовых поддержать его. Назвать любую точную цифру было бы невозможно не только потому, что она неизвестна, но и потому, что она все время меняется. Быть может, более интересно не число участников Движения, а его социальный состав. Здесь я смог произвести небольшой подсчет, основываясь на типичном примере протестов по делу Галанскова и Гинзбурга.

По-существу, процесс над ними был только поводом для общественности предъявить режиму требования большего правопорядка и уважения прав человека, большинство подписавших протесты Галанскова и Гинзбурга вообще не знало. Поэтому, пожалуй, активные и довольно многочисленные протесты общественности против нарушения законности во время этого процесса можно считать началом Движения.

Всего под разными коллективными и индивидуальными письмами подписалось 738 человек. Профессии 38 неизвестны. Если взять число известных, то можно составить следующую табличку:

ученых — 45%
деятелей искусства — 22%
инженеров и техников — 13%
издательских работников, учителей, врачей, юристов — 9 %
рабочих — 6 %
студентов — 5 %

Если признать такой социальный расклад типичным для Движения, то получается, что его основную опору составляют академические круги. Однако ученые по самому своему роду работы, положению в нашем обществе и образу мышления представляются мне наименее способными к активному действию. Они охотно будут «размышлять», но крайне нерешительно действовать.

Далее видно, что в более широком плане основную опору Движения составляет интеллигенция. Но поскольку это слово носит слишком неопределенный характер, характеризует не столько положение человека в обществе и обозначает не столько какую-либо общественную группу, сколько способность отдельных представителей этой группы к интеллектуальной работе, то лучше я буду употреблять термин «средний класс».

<...>

Таким образом, есть влиятельный класс, или слой, на который могло бы, как кажется, опереться демократическое движение, однако имеются, по крайней мере, три взаимосвязанных фактора, которые будут сильно противодействовать этому.

Два из них сразу бросаются в глаза. Во-первых, проводимое десятилетиями планомерное устранение из жизни общества наиболее независимых и активных его членов наложило отпечаток серости и посредственности на все слои общества — и это не могло не отразиться на заново формирующемся «среднем классе». Во-вторых, для той части этого класса, которая наиболее ясно осознает необходимость демократических перемен, в то же время наиболее характерна самоспасительная мысль, что «все равно ничего не поделаешь», «стену лбом не прошибешь», т. е. своего рода культ собственного бессилия по сравнению с силой режима. Третий фактор не столь явственен, но очень любопытен. Как известно, в любой стране наиболее не склонный к переменам и вообще к каким-либо самостоятельным действиям слой составляют государственные чиновники. И это естественно, так как каждый чиновник сознает себя слишком незначительным по сравнению с тем аппаратом власти, всего лишь деталью которого он является, для того чтобы требовать от него каких-то перемен. С другой стороны, с него снята всякая общественная ответственность: он выполняет приказы, поскольку это его работа. Таким образом, у него всегда может быть чувство выполненного долга, хотя бы он и делал вещи, которые, будь его воля, делать бы не стал. Для чиновника понятие работы вытеснено понятием «службы». На своем посту — он автомат, вне поста — он пассивен. Психология чиновника поэтому самая удобная как для власти, так и для него самого.

В нашей стране, поскольку мы все работаем на государство, у всех психология чиновников — у писателей, состоящих членами Союза писателей,

ученых, работающих в государственном институте, рабочих или колхозников в такой же степени, как и у чиновников КГБ или МВД. Разумеется, так называемый «средний класс» не только не представляет исключения в этом отношении, но для него, как я думаю, эта психология в силу его социальной срединности как раз наиболее типична. А многие члены этого класса попросту являются функционерами партийного и государственного аппарата, и они смотрят на режим как на меньшее зло по сравнению с болезненным процессом его изменения.

Таким образом, мы сталкиваемся с интересным явлением. Хотя в нашей стране уже есть социальная среда, которой могли бы стать понятны принципы личной свободы, правопорядка и демократического управления, которая в них практически нуждается и которая уже поставляет зарождающемуся демократическому движению основной контингент участников, однако в массе эта среда столь посредственна, ее мышление столь «очиновлено», а наиболее в интеллектуальном отношении независимая ее часть так пассивна, что успехи Демократического движения, опирающегося на этот социальный слой, представляются мне весьма проблематичными.

Но следует сказать, что этот «парадокс среднего класса» соединяется любопытным образом с «парадоксом режима». Как известно, режим претерпел очень динамичные внутренние изменения в предвоенное пятилетие, однако в дальнейшем регенерация бюрократической элиты шла уже бюрократическим путем отбора наиболее послушных и исполнительных. Этот бюрократический «противоестественный отбор» наиболее послушных старой бюрократии, вытеснение из правящей касты наиболее смелых и самостоятельных порождал с каждым разом все более слабое и нерешительное новое поколение бюрократической элиты. Привыкнув беспрекословно подчиняться и не рассуждать, чтобы прийти к власти, бюрократы, наконец получив власть, превосходно умеют ее удерживать в своих руках, но совершенно не умеют ею пользоваться. Они не только сами не умеют придумать ничего нового, но и вообще всякую новую мысль они рассматривают как покушение на свои права. По-видимому, мы уже достигли той мертвой точки, когда понятие власти не связывается ни с доктриной, ни с личностью вождя, ни с традицией, а только с властью как таковой: ни за какой государственной институцией или должностью не стоит ничего иного, как только сознание того, что эта должность — необходимая часть сложившейся системы. Естественно, что единственной целью подобного режима, во всяком случае во внутренней политике, должно быть самосохранение. Так оно и есть. Режим не хочет ни «реставрировать сталинизм», ни «преследовать представителей интеллигенции», ни «оказывать братскую помощь» тем, кто ее не просит. Он только хочет, чтобы все было по-старому: признавались авторитеты, помалкивала интеллигенция, не расшатывалась система опасными и непривычными реформами. Режим не нападает, а обороняется. Его девиз: не троньте нас, и мы вас не тронем. Его цель: пусть все будет, как было. Пожалуй, это самая гуманная цель, которую ставил режим за последнее полстолетие, но в то же время и наименее увлекательная.

<...>

Итак, во что же верит и чем руководствуется этот народ без религии и без морали? Он верит в собственную национальную силу, которую должны бояться другие народы, и руководствуется сознанием силы своего режима, которую боится он сам. При таком взгляде нетрудно понять, какие формы будет принимать народное недовольство и во что оно выльется, если режим изживет сам себя. Ужасы русских революций 1905-07 и 1917-20 годов покажутся тогда просто идиллическими картинками.

Конечно, есть и противовес этим разрушительным тенденциям. Сейчас советское общество можно сравнить со своего рода трёхслойным пирогом — с правящим бюрократическим верхним слоем; средним слоем, который мы назвали выше «средним классом», или «классом социалистов»; и наиболее многочисленным нижним слоем — рабочими, колхозниками, мелкими служащими, обслуживающим персоналом и т. д. От того, нисколько быстро пойдет рост «среднего класса» и его самоорганизация — быстрее или медленнее, чем разложение системы, — от того, насколько быстро средняя часть пирога будет увеличиваться за счет остальных, зависит, сумеет ли советское общество перестроиться мирным и безболезненным путем и пережить предстоящие ему катаклизмы с наименьшими жертвами.

При этом следует заметить, что есть еще один мощный фактор, противоборствующий всякой мирной перестройке и одинаково негативный для всех слоев общества: это крайняя изоляция, в которую режим поставил общество и сам себя. Это не только изоляция режима от общества и всех слоев общества друг от друга, но прежде всего крайняя изоляция страны от остального мира. Она порождает у всех — начиная от бюрократической элиты и кончая самыми низшими слоями — довольно сюрреальную картину мира и своего положения в нем. Но однако, чем более такое состояние способствует тому, чтобы все оставалось неизменным, тем скорее и решительнее все начнет расползаться, когда столкновение с действительностью станет неизбежным.

Резюмируя, можно сказать, что по мере все большего ослабления и самоуничтожения режима ему придется сталкиваться — и уже есть явные признаки этого — с двумя разрушительно действующими по отношению к нему силами: конструктивным движением «среднего класса» (довольно слабым) и деконструктивным движением «низших» классов, которое выразится в самых разрушительных, насильственных и безответственных действиях, как только эти слои почувствуют свою относительную безнаказанность. Однако как скоро режиму предстоят подобные потрясения, как долго еще сможет он продержаться?

По-видимому, этот вопрос может быть рассмотрен двояко: во-первых, если сам режим предпримет какие-то решительные и кардинальные меры по самообновлению, и, во-вторых, если он пассивно будет идти на минимум изменений, чтобы сохранить свое совершенство, как это происходит сейчас. Мне кажется более вероятным второй путь, поскольку он требует от режима меньших усилий, кажется ему менее опасным и отвечает сладким иллюзиям современных «кремлевских мечтателей». Однако теоретически возможны и какие-то мутации режима: например, военизация режима и переход к откровенно националистической политике (это могло бы произойти путем военного переворота или же постепенного перехода власти к армии) или же, наоборот, экономичес-

кие реформы и связанная с этим относительная либеризация режима (это могло бы произойти путем усиления в руководстве роли прагматиков-экономистов, понимающих необходимость изменений). Оба эти варианта не кажутся поворотными, однако партаппарат, против которого, в сущности, были бы направлены оба переворота, настолько сращен как с армией, так и с экономическими кругами, что обе эти упряжки, даже рванув вперед, быстро бы увязли в том же самом болоте. Всякая существенная перемена означала бы сейчас персональные замены сверху донизу, поэтому понятно, что лица, олицетворяющие режим, никогда на это не пойдут: сохранить режим ценой самоустранения покажется им слишком дорогой и несправедливой платой.

Говоря о том, как долго сможет просуществовать режим, любопытно провести некоторые исторические параллели. Сейчас, пожалуй, существуют во всяком случае некоторые из условий, вызвавших в свое время как первую, так и вторую русские революции: кастовое, немобильное общество; окоченелость государственной системы, вступившей в явный конфликт с потребностями экономического развития; обюрокрачивание системы и создание привилегированного бюрократического класса; национальные противоречия в многонациональном государстве и привилегированное положение отдельных наций. И вместе с тем царский режим, по-видимому, просуществовал бы довольно долго и, возможно, претерпел бы какую-то мирную модернизацию, если бы правящая верхушка не оценивала общее положение и свои силы явно фантастически и не проводила бы внешнеэкспансионистской политики, вызвавшей перенапряжение. Действительно, не начни правительство Николая II войны с Японией, не было бы революции 1905-07 годов, не начни оно войны с Германией, не было бы революции 1917 года. Отчего всякое внутреннее дряхление соединяется с крайней внешнеполитической амбициозностью, мне ответить трудно. Может быть, во внешних кризисах ищут выхода из внутренних противоречий. Может быть, наоборот, та легкость, с которой подавляется всякое внутреннее сопротивление, создает иллюзию всемогущества. Может быть, возникающая из внутриполитических целей потребность иметь внешнего врага создает такую инерцию, что невозможно остановиться — тем более, что каждый тоталитарный режим дряхлеет, сам этого не замечая. Зачем Николаю I понадобилась Крымская война, приведшая к крушению созданного им строя? Зачем Николаю II понадобились войны с Японией и Германией? Существующий ныне режим странным образом соединяет в себе черты царствований как Николая I, так и Николая II, а во внутренней политике, пожалуй, и Александра III. Но лучше всего его сравнить с бонапартистским режимом Наполеона III. При таком сравнении Ближний Восток будет его Мексикой, Чехословакия — Папской областью, а Китай — его Германской империей.

<...>

... Неумолимая логика революции ведет Китай к войне, которая, как надеются китайские руководители, разрешит тяжелые экономические и социальные проблемы Китая и обеспечит ему ведущее место в современном мире. И, наконец, в такой войне Китай будет видеть национальный реванш за вековые унижения и зависимость от иностранных держав. Основным препятствием для дости-

жения этих мировых целей являются две современные сверхдержавы — СССР и США. Однако они совместно не противостоят Китаю и сами находятся в антагонистических отношениях. Разумеется, Китай учитывает это. Китай одинаково нападает на словах как на «американский империализм», так и на «советский ревизионизм, социал-империализм», однако реальные противоречия и возможности прямого столкновения у Китая гораздо больше с Советским Союзом.

Если США сами не начнут войну с Китаем — а они ее не начнут, — то Китай в ближайшие десятилетия просто не сумеет этого сделать. Он лишен сухопутной границы с США, чтобы использовать свое численное преимущество и применить методы партизанской войны, а также у него нет флота для высадки экспедиционной армии. Ракетноядерная дуэль — при условии, что Китай в течение десяти лет накопит достаточный ракетно-ядерный потенциал, — приведет к взаимному уничтожению, что Китай совершенно не устраивает. Кроме того, Китай в первую очередь заинтересован в расширении своего влияния и приобретении территорий в Азии, а не на североамериканском континенте. Другое дело, смогут ли они получить свободу действий в Азии, пока США сохраняют свою мощь. По-видимому, США во всех случаях попытаются помешать Китаю расширить значительно свое влияние к югу, что может привести к изнурительным локальным войнам, вроде вьетнамской. Но едва ли Китай будет заинтересован в ведении таких ничего не решающих войн — ничего не решающих, поскольку сами США останутся невредимыми. Втягиваться в подобные войны покажется Китаю тем более опасным, пока на севере над ним нависает коварный враг, готовый использовать каждый его промах. Есть еще одно обстоятельство, которое может удержать Китай от экспансии на юг и восток: перенаселенность этих районов и необходимость прокормить или уничтожить их многомиллионное население.

Другое дело на севере. Там лежат громадные малозаселенные пространства Сибири и Дальнего Востока, некогда уже входившие в сферу влияния Китая. Эти территории принадлежат государству, которое является основным соперником Китая в Азии, и во всех случаях Китай должен как-то покончить с ним или нейтрализовать его, для того чтобы самому играть доминирующую роль в Азии и во всем мире. При том, в отличие от США, это гораздо более опасный соперник, который как тоталитарное и склонное к экспансии государство сможет в той или иной форме нанести удар первым.

<...>

Располагая значительным ракетно-ядерным потенциалом, Китай, как я думаю, начнет тем не менее войну обычными или даже партизанскими методами, стремясь использовать свое колоссальное численное превосходство и опыт партизанской войны, — и поставит СССР перед альтернативой: принять навязанный Китаем метод ведения войны или нанести ядерный удар и тем самым получить ядерный удар в ответ. Вероятно, СССР выберет первый путь, так как развязать ядерную войну, даже при наличии противоракетной обороны, крайне опасно, если не самоубийственно, В то же время превосходство СССР и в обычном вооружении может создать у советского руководства впечатление, что с китайской армией можно будет покончить или во всяком случае отбросить ее обычным путем. Кроме того, может оказаться так, что сам момент начала вой-

ны как бы растворится: по мере развития своей ядерной мощи, Китай постепенно на разных концах семитысячекилометровой границы с СССР будет проводить ограниченные стычки, просачивание небольших отрядов и иного рода локальные столкновения, которые в нужный Китаю момент перерастут в общую войну. Так что окажется очень трудно установить, в какой же момент наносить ядерный удар по Китаю. Однако логично рассмотреть и другой вариант: считая Китай потенциальным ядерным соперником и агрессором, советское руководство решит нанести превентивный ядерный удар по китайским ядерным центрам, прежде чем Китай успеет в достаточной степени накопить ядерное оружие для мощного ответного удара. Нанести такой удар советское руководство сможет, само развязывая отдельные стычки на границе и представляя Китай агрессором в глазах собственной страны и мирового общественного мнения. Кажется невероятным, чтобы бюрократический режим решился на такой отчаянный шаг, не принимая вдобавок во внимание позицию остальных ядерных держав, но даже если это произойдет, это послужит не к предотвращению войны, а сигналом к ее началу. Ведь будут уничтожены основные ракетные базы Китая, а не сам Китай, который немедленно начнет в ответ изнурительную партизанскую войну, одинаково страшную для СССР, будет ли она происходить на советской или на китайской территории. Решится ли в таком случае режим на тотальное уничтожение ядерным оружием всех китайских сел и городов и всего восьмисот-миллионного китайского народа? Эту апокалиптическую картину трудно вообразить, но вполне можно допустить, зная, что именно страх толкает на самые отчаянные шаги. Надо надеяться, что остальные ядерные державы не допустят этого, прежде всего потому, что такие действия представляли бы страшную угрозу и для всего остального мира.

Возможно, что Китай допускает возможность такого превентивного удара, и в таком случае в течение ближайших пяти лет он будет проводить более осторожную политику и даже заигрывать с СССР, чего он не делал ранее из соображений внутренней политики. Тогда последуют дипломатические и, возможно, даже партийные контакты (ничего, впрочем, не значащие), двусмысленные заявления, дающие надежду на примирение, а также будет слегка приглушен тон критических заявлений о «советском ревизионизме, социал-империализме». Но в то же время антисоветская кампания внутри Китая не будет прекращаться, чтобы держать китайский народ в постоянной готовности к великим событиям. В то же время Китай сможет искать более тесные контакты с США — и тогда многое будет зависеть от их отношений. Однако я думаю, что превентивный удар нанесен не будет, по крайней мере по двум причинам: во-первых, в силу крайней опасности такого удара, пока не исчерпаны остальные средства, во-вторых, потому что возможная агрессия Китая не столь самоочевидна, чтобы идти на такие рискованные шаги. А значит, Китай получит достаточный ракетно-ядерный потенциал, чтобы шантажировать СССР ответным ударом, вздумай он в целях самообороны использовать свое ядерное преимущество. Так Советскому Союзу будет навязана партизанская война на колоссальной территории, лежащей по обе стороны семитысячекилометровой границы.

Хотя, надо полагать, давно разработаны планы на случай войны с Китаем, Советский Союз, как я думаю, не готов к партизанской или полупартизанской

войне ни с технической, ни с психологической точек зрения. Два прошедших десятилетия война в нашей стране мыслилась как столкновение двух технически оснащенных армий, чуть ли не как «кнопочная война», как война на западе и со странами западной культуры и, наконец, как война с меньшими по численности сухопутными армиями. Безусловно, все это наложило такой отпечаток на военное мышление, преодолеть который будет очень трудно. Да и народное сознание больше подготовлено к войне с «американцами», с «империалистами», к нападениям с воздуха и сухопутной войне в Европе.

Разумеется, очень трудно предсказать, как будут развиваться военные действия, удастся ли советским войскам энергичным броском вторгнуться на китайскую территорию и оккупировать значительную часть Китая или же китайцы, наоборот, медленно, но верно будут просачиваться на советскую территорию. Однако уже сейчас можно предвидеть, что Советскому Союзу придется столкнуться в этой войне с трудностями, с которыми раньше обычно сталкивались как раз его противники.

Во-первых, уже сам метод партизанской войны, начиная с XVII века, всегда был методом русских, применявшимся против вторгавшихся на их территорию компактных армий, и почти никогда не применялся против русских армий, вторгавшихся в культурную Европу. Во-вторых, с самого начала советским армиям придется столкнуться с громадной растянутостью коммуникаций, поскольку война будет вестись на его границах, на тысячи километров отстоящих от основных экономических и демографических центров. В-третьих, русский солдат, зачастую уступая своим противникам в отношении культуры, обычно превосходил их в отношении неприхотливости, стойкости и выносливости, теперь же эти преимущества, столь важные в партизанской войне, будут на стороне китайцев. И, наконец, поскольку речь идет о Дальнем Востоке, Сибири и Казахстане или пограничных с ними районах Китая, война будет вестись на малозаселенных или заселенных не русскими территориях, что создаст широкие возможности партизанского проникновения и, наоборот, трудности со снабжением для больших технически оснащенных армий.

Все это во всяком случае говорит о том, что война будет затяжной и изнурительной, без скорого успеха для той или иной стороны. С такой точки зрения интересно рассмотреть три вопроса: отношение США к советско-китайской войне, развитие событий в Европе и положение в Советском Союзе. Со времени второй мировой войны США, как кажется, проявляют заинтересованность в соглашении и затем партнерстве с СССР. Первая попытка в этом направлении, сделанная Рузвельтом, привела к разделу Германии и всей Европы и десятилетней «холодной войне». Однако это не остановило американцев, и они как в эпоху Хрущева, так и сейчас продолжают рассчитывать на то, что в недалеком будущем возможно какое-то соглашение между СССР и США и совместное решение международных проблем. Такой подход, видимо, обусловлен не какими-то особыми симпатиями США к советской системе, а тем, что в современном мире СССР является единственной реальной силой, по своему значению приближающейся к силе США. Это подлинное равноправие и вызывает, вероятно, жажду соглашения и сотрудничества. Но с этой точки зрения очевидно, что по мере усиления мощи и влияния Китая в США будет увеличиваться также тяга к соглашению с

Китаем и в режиме Мао или его преемников американские либералы начнут находить столь же симпатичные черты, что и в режиме Сталина или Хрущева.

<...>

...Я думаю, что сближение с СССР только тогда будет иметь смысл для США, когда в СССР произойдут серьезные демократические сдвиги. До тех пор всякое соглашение будет продиктовано для СССР или страхом перед Китаем, или попыткой сохранить собственный режим благодаря американской экономической помощи, или желанием воспользоваться американской дружбой для навязывания или сохранения своего влияния в других странах, а также желанием обоих государств путем взаимной поддержки удержать свою ведущую роль в мире.

При отдельных выгодах, в целом такая «дружба», основанная на лицемерии и страхе, ничего не принесет США, кроме новых затруднений, как это уже было в результате сотрудничества Рузвельта со Сталиным. Сотрудничество предполагает взаимную опору, но как можно опереться на страну, которая в течение веков пучится и расползается, как кислое тесто, и не видит перед собой других задач?! Подлинное сближение может быть основано на общности интересов, культуры, традиций, на понимании друг друга. Ничего этого нет. Что общего между демократической страной, с ее идеализмом и прагматизмом, и страной без веры, без традиций, без культуры и умения делать дело. Массовой идеологией этой страны всегда был культ собственной силы и обширности, а основной темой ее культурного меньшинства было описание своей слабости и отчужденности, яркий пример чему — русская литература. Ее славянское государство поочередно создавалось скандинавами, византийцами, татарами, немцами и евреями — и поочередно уничтожало своих создателей. Всем своим союзникам оно изменяло, как только усматривало малейшую выгоду в этом, никогда не принимая всерьез никаких соглашений и никогда не имея ни с кем ничего общего.

<...>

По-видимому, как только станет ясно, что военный конфликт СССР с Китаем принимает затяжной характер, что все силы СССР перемещаются на восток и он не может отстаивать свои интересы в Европе, произойдет воссоединение Германии. Трудно сказать, произойдет ли оно путем поглощения Западной Германией Восточной или же сами послеульбрихтовские руководители ГДР, поняв реальное положение вещей, пойдут на добровольное воссоединение с ФРГ, чтобы сохранить себе часть привилегий. Во всех случаях воссоединенная Германия с достаточно сильной антисоветской ориентацией создаст совершенно новую ситуацию в Европе.

По-видимому, воссоединение Германии совпадет с процессом «десоветизации» восточно-европейских стран и значительно ускорит этот процесс. Трудно сказать, как он пойдет и какие формы примет — «венгерские», «румынские» или «чехословацкие» — однако приведет, очевидно, к национал-коммунистическим режимам, для каждой страны представляющим своего рода подобие докоммунистического режима. Причем по крайней мере несколько стран, как Венгрия или Румыния, сразу же примут отчетливую прогерманскую ориентацию. Помешать этому СССР мог бы, очевидно, только путем военной оккупа-

ции всех восточноевропейских стран, чтобы создать своего рода «тыл» дальневосточного фронта, но по существу такой «тыл» свелся бы ко «второму фронту» — т. е. фронту с Германией, которой помогали бы народы восточноевропейских стран, на что СССР уже не сможет пойти. Скорее наоборот, «десоветизированные» восточноевропейские страны помчатся как конь без узды и, видя бессилие СССР в Европе, предъявят незабытые, хотя и долго замалчиваемые территориальные претензии: Польша — на Львов и Вильнюс, Германия — на Калининград, Венгрия — на Закарпатье, Румыния — на Бессарабию. Не исключена возможность, что также Финляндия предъявит претензии на Выборг и Печенгу. Очень вероятно, что по мере все большего увязания СССР в войне, также Япония предъявит территориальные претензии сначала на Курилы, затем на Сахалин, а потом, если успехи будет одерживать Китай, то и на часть советского Дальнего Востока. Короче говоря, СССР придется полностью расплачиваться за территориальные захваты Сталина и ту изоляцию, в которую поставили страну неосталинисты. Однако самые важные для будущего СССР события произойдут внутри страны.

Естественно, что начало войны с Китаем, который будет представлен как агрессор, вызовет вспышку русского национализма — «мы им покажем!» — и одновременно даст некоторые надежды национализму нерусскому. В дальнейшем обе эти тенденции будут идти одна по затухающей, а другая по возрастающей кривой. Действительно, война будет идти далеко, не воздействуя тем самым непосредственно на эмоциональное восприятие народа и на налаженный стиль жизни, как это было во время последней войны с Германией, но в то же время требуя все новых и новых жертв. Постепенно это будет порождать все большую моральную усталость от войны, ведущейся далеко и неизвестно зачем. Между тем начнутся экономические, в частности продовольственные трудности, тем более ощутимые, что за последние годы уровень жизни медленно, но неуклонно повышался. Поскольку режим не настолько мягок, чтобы сделать возможными какие-то легальные формы проявления недовольства и тем самым их разрядку, и в то же время не настолько жесток, чтобы исключить саму возможность протеста, начнутся спорадические вспышки народного недовольства, локальные бунты, например из-за нехватки хлеба. Их будут подавлять с помощью войск, что ускорит разложение армии. По мере роста затруднений режима средний класс будет занимать все более враждебную позицию, считая что режим не в состоянии справиться со своими задачами. Измена союзников и территориальные претензии на западе и востоке будут усиливать ощущение одиночества и безнадежности. Экстремистские организации, которые появятся к тому времени, начнут играть все большую роль. Вместе с тем крайне усилятся националистические тенденции у нерусских народов Советского Союза, прежде всего в Прибалтике, на Кавказе и на Украине, затем в Средней Азии и в Поволжье. Между тем бюрократический режим, который привычными ему полумерами не в состоянии будет одновременно вести войну, разрешать экономические трудности и подавлять или удовлетворять народное недовольство, все больше будет замыкаться в себе, терять контроль над страной и даже связь с действительностью. Достаточно будет сильного поражения на фронте или ка-

кой-либо крупной вспышки недовольства в столице — забастовки или вооруженного столкновения, — чтобы режим пал.

Конечно, если до того времени власть полностью перейдет в руки военных, модифицированный таким образом режим продержится несколько дольше, но, не решая опять же самых насущных и во время войны уже почти не разрешимых вопросов, падет еще более страшно. Если мы ранее правильно определили начало войны с Китаем, то это произойдет где-то между 1980 и 1985 годами. По-видимому, демократическое движение, которому режим постоянными репрессиями не даст окрепнуть, будет не в состоянии взять контроль в свои руки, во всяком случае на столь долгий срок, чтобы решить стоящие перед страной проблемы. В таком случае неизбежная «дезимперизация» пойдет крайне болезненным путем. Власть перейдет к экстремистским группам и элементам, и страна начнет расползаться на части в обстановке анархии, насилия и крайней национальной вражды. В этом случае границы между молодыми национальными государствами, которые начнут возникать на территории бывшего Советского Союза, будут определяться крайне тяжело, с возможными военными столкновениями, чем воспользуются соседи СССР, и конечно в первую очередь Китай. Но возможно, что «средний класс» окажется все-таки достаточно силен, чтобы удержать контроль в своих руках. В таком случае предоставление независимости отдельным советским народам произойдет мирным путем и будет создано нечто вроде федерации, наподобие Британского содружества наций или Европейского экономического сообщества. С Китаем, также обессиленным войной, будет заключен мир, а споры с европейскими соседями улажены на взаимоприемлимой основе. Возможно даже, что Украина, Прибалтийские республики и Европейская Россия войдут как самостоятельные единицы во Всеевропейскую федерацию.

Возможен также и третий вариант, а именно — что ничего вышеизложенного не будет. Но что же будет? Я не сомневаюсь, что эта великая восточнославянская империя, созданная германцами, византийцами и монголами, вступила в последние десятилетия своего существования. Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской империи — третьего Рима — но не в силах отвратить его. Но хотя эта империя всегда стремилась к максимальной самоизоляции, едва ли правильно рассматривать ее гибель вне связи с остальным миром.

Стало общим местом считать основным направлением современного развития научный прогресс, а основную угрозу цивилизации усматривать в тотальной ядерной войне. Между тем и научный прогресс, с каждым годом съедая все большую часть валового мирового продукта, может превратиться в регресс, и цивилизация — погибнуть без столь ослепительной вспышки, как взрыв сверхядерной бомбы.

Хотя научный и технический прогресс меняет мир буквально на глазах, он опирается, в сущности, на очень узкую социальную базу, и чем значительнее будут научные успехи, тем резче контраст между теми, кто их достигает и использует, и остальным миром. Советские ракеты достигли Венеры — а картошку в деревне, где я живу, убирают руками. Это не должно казаться комичным сопоставлением, это разрыв, который может разверзнуться в пропасть. Дело не

столько в том, как убирать картошку, но в том, что уровень мышления большинства людей не поднимается выше этого «ручного» уровня. Действительно, хотя в экономически развитых странах наука требует не только все больше средств, но и все больше людей, основные принципы современной науки понятны, в сущности, ничтожному меньшинству. Пока что это меньшинство вкупе с правящей элитой пользуется привилегированным положением, но как долго это будет продолжаться?

<...>

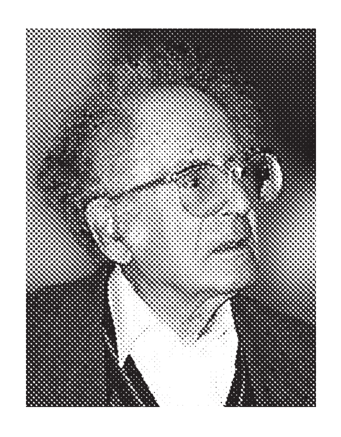
Угроза «городу» со стороны «деревни» тем более сильна, что в «городе» наблюдается тенденция ко все большей личной обособленности, в то время как «деревня» стремится к организации и единству. Мао Цзе-дуна это радует, но жителей мирового «города», как мне кажется, должно беспокоить их будущее.

Пока же, как нам говорят, западная футурология обеспокоена именно ростом городов и теми трудностями, которые возникают в связи с бурным научно-техническим прогрессом. По-видимому, если бы футурология существовала в императорском Риме, где, как известно, строились уже шестиэтажные здания и существовали детские вертушки, приводимые в движение паром, футурологи V века предсказали бы на ближайшее столетие строительство двадцатиэтажных зданий и промышленное применение паровых машин. Однако, как мы уже знаем, в VI веке на форуме паслись козы, как сейчас у меня под окном в деревне.

Апрель-май-июнь 1969,
город Москва — деревня Акулово

Источник: Андрей Амальрик. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?Серия «Библиотека Самиздата». Амстердам, 1970, Фонд имени Герцена.
(Интрнет-весрия: http://belousenkolib.narod.ru)

Померанц
Григорий Соломонович
(Род. 1918)



Философ, эссеист.

Родился в 1918 г. в Вильно. Окончил литературное отделение МИФЛИ в 1940 г. Участник Великой Отечественной войны, военный корреспондент. В 1943 г. вступил в партию, в 1946 г. исключен из ВКП(б) за «антипартийные заявления». В 1949 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельности, осужден, отбывал срок в Каргапольлаге. Освобожден в 1953 г., реабилитирован в 1958 г. Работал преподавателем Тульского пед. института (1940-41), в тресте Союзэнергомонтаж, киоскером «Союзпечати» (1946-49), учителем в сельской школе (1953-56), библиографом в отделе стран Азии и Африки ФБОН АН СССР (с 1956). Член Русского ПЕН-Центра. В 1993 г. был удостоен премии фонда «Знамя».

Основные публикации:

«Неопубликованное» (1972);

«Открытость бездне. Этюды о Достоевском» (1989).

«Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (1990);

«Выход из транса» (1995);

«Великие религии мира» (в соавторстве с З.А.Миркиной) (1995);

«Опыты философии и культурологии» (1995);

«Страстная односторонность и бесстрастие духа» (1998);

«Записки гадкого утенка» (1998) и др.

В советское время печатался в эмигрантских изданиях: «Грани», «Континент», «Синтаксис», «22», «Страна и мир» и др. В новой России один из наиболее широко публикующихся философов и эссеистов. Печатается в «Литературной газете», в журналах и альманахах: «Новое время», «Синтаксис», «Стрелец», «Достоевский и мировая культура», «Культура и свобода», «Континент», «Октябрь», «Знамя», «Нева» и др.

В 60-х философские и литературные эссе Померанца стали активно распространяться в Самиздате. Произнесенная им в декабре 1965 г. в Институте философии речь о культе личности и сталинизме широко разошлась в машинописных копиях под названием «О нравственном облике исторической личности» (в авторском варианте «О роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива») и имела сильнейший резонанс среди советской интеллигенции. Большое значение имели и его философские эссе: «Незавершенность» (1964-66), «Квадрильон» (1962-63), «Человек ниоткуда» (1967-69) (в первых редакциях «Человек воздуха», «Человек без прилагательного» (с таким названием эссе было напчатано в ж. «Грани», №77, 1970)).

НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
(О роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива)

Дискуссионное выступление в Институте философии

Я хотел бы сказать о роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива. Чтобы сразу стало ясно, против чего я буду говорить, начну со стихов Коржавина:

Мы сегодня поем тебе Славу,
И поем ее неспроста,
Основатель могучей державы,
Князь московский Иван Калита.
Был ты видом довольно противен,
Сердцем подл, но не в этом суть:
Исторически прогрессивен
Оказался твой творческий путь...

Дальше читать не буду — важна, прежде всего, вторая строфа. Эту модель можно применить к кому угодно — хотя бы к Чингиз-хану. Был он видом довольно противен, сердцем подл, но не в этом суть: он приобщил отсталые народы, в том числе русский, к благам передовой китайской культуры. Поэтому поставим памятник Чингиз-хану. И такой памятник сооружен — в КНР.

Попробуем посмотреть, как работает модель, спародированная Коржавиным, на двух академических примерах. Жили-были два императора, один в Индии, другой в Китае — Ашока и Цинь Ши Хуаньди. Оба имели перед собой прогрессивную задачу — объединение страны. Ашока с этой прогрессивной задачей не справился. Он поддался ложной жалости, неправильному гуманизму. Я хотел бы дать более точную характеристику этому гуманизму. Но не могу, потому что в те давние времена еще не было мелкой буржуазии. Иначе я бы, конечно, назвал этот гуманизм мелкобуржуазным. Итак, Ашока поддался неправильному гуманизму, не сумел отличить прогрессивных войн от реакционных. Едва завоевав одно царство, он вложил меч в ножны, отказался от всякой войны и, вместо того чтобы посылать за границы свои армии, стал рассылать буддийских монахов, которые несли трудящимся соседних стран реакционный дурман: «не отымай чужой жизни, не бери того, что тебе не принадлежит, не лги» и т.д.

Зато Цинь Ши Хуан (ди — титул вроде августа) был правильный гуманист. Если враг не сдавался, он его уничтожал; если сдавался — тоже уничтожал. Правда, слова «гуманизм» (по-китайски это звучит «жень») Цинь Ши Хуан не любил, и книги, в которых толковалось про «жень», велел сжечь, а заодно и все другие книги, кроме трудов по сельскому хозяйству, военному делу и гадательных книг. И книгочеев-интеллигентов, толковавших насчет «жень», собрали и перетопили в нужниках или подвергли другим позорным казням. Всех таких интеллигентов оказалось 400 человек. Прослойка еще не успела разрастись, и задача Цинь Ши Хуана оказалась сравнительно простой.

Очистив страну от неправильного гуманизма, Цинь Ши Хуан объединил Китай и основал единое китайское государство на твердых принципах: за недоносительство — казнь, за донос — повышение по службе или другое поощрение. Были построены великие стройки древнего Китая, в том числе Великая китайская стена, которая стоит и поныне (ее достраивали и перестраивали, но основа заложена Цинь Ши Хуаном).

Это великолепное государство обладало только одним недостатком: жить в нем было нельзя. Даже Цинь Ши Хуан, создатель системы, не выдержал ее — заболел профессиональной болезнью прогрессивных деятелей такого типа — манией преследования. Народ тоже не выдержал. Едва Цинь Ши Хуанди (сын Цинь Ши Хуана) был свергнут с престола, как после короткого периода смуты воцарилась династия Хань, реабилитировавшая интеллигенцию и интеллигентность. С тех пор китайцы называют себя ханьцами, а китайские императоры стеснялись в течение 2100 лет надевать военный мундир. Только недавно снова вернулась мода на полувоенные куртки. Цинь Ши Хуан вовсе не был безграмотным самодуром. Он действовал на основе строго разработанной научной теории. Истоки этой теории восходят, по-видимому, к Мо Ди, выдвинувшему принцип «все для народа» (на этом основании модисты отвергали искусство и науку как непонятные народу). Шан Ян придал теории более строгий характер, заменив расплывчатый термин «народ» более точным — государство. Во имя государства предполагалось разрушить все другие архаические институты, например, семью, чтобы семейные связи не препятствовали верности государю. Хань Фэй написал блестящий трактат, в котором человек в руках правительства приравнивался к куску дерева в руках ремесленника. Этот трактат сохранился, переведен на английский и французский языки в серии «Классики Востока» ЮНЕСКО, отрывки можно прочесть в любой хрестоматии. Хань Фэй не сравнивал человека с машиной только потому, что тогда еще не было машин. По существу, его можно считать предшественником кибернетики.

Итак, оба императора были утопистами. Ашока — потому, что видел в человеке только духовное существо, а Цишь Ши Хуан потому, что видел в человеке машину, которую можно программировать с помощью наград и казней. Первую утопию в рамках предложенной схемы надо, по-видимому, назвать реакционной, а вторую — прогрессивной, потому что Ашока опирался на религию (как известно, всегда и везде реакционную силу), а Цинь Ши Хуан — на передовую научную теорию.

Но вот оба они умерли, истлели, и осталось от Цинь Ши Хуана Великая китайская стена, а от Ашоки — надписи, выбитые на скалах: «Я, царь Ашока, завоевал царство Калингу, и убедился, что для этого надо было убить 100000 человек, и сердце мое содрогнулось».

Я не утверждаю, что не надо строить стен. Но я утверждаю, и совершенно серьезно, что память о сокрушенном сердце Ашоки — такая вещь, без которой ни один народ не может прожить.

Теоретическая модель, опародированная Коржавиным, основана на двух предпосылках: 1) нравственный облик человека не имеет большого значения, важны только дела; 2) прогресс всё спишет.

Оба эти предположения можно опровергнуть. Существует не только преемственность дел, но и преемственность нравственной информации, без которой

не обходится ни одна традиция. Есть преемственность заколотых, обезглавленных, расстрелянных, ничего не совершивших и оставивших потомкам только свой облик. Заколотые Гракхи воскресли через 2 тысячи лет во Франции, и их облик, овладев умами, стал силой, когда началась революция. Ни жирондисты, ни якобинцы не установили на земле справедливости. Но обезглавленные тени воскресли в коммунарах 71 года, и тени коммунаров снова поднялись на штурм Зимнего Дворца. Признав эту преемственность, советское правительство назвало линейный корабль Балтийского флота «Марат».

Есть такое изречение: «Девушка может петь о потерянной любви, скряга может петь о потерянных деньгах». Я позволю себе сказать, что ни один народ не может сохраниться, если ему не о чем петь. Народы, которым было о чем петь, переносили века угнетения и рассеяния, снова подымались и собирались. А великая Ассирийская держава не смогла подняться после первого поражения и рассыпалась в прах, потому что у ассирийцев не было за душой ничего, кроме культов воинских доблестей, грубой силы солдата. Обо всех этих солдатских державах сказано в летописи: «Погибоша аки обре, их же несть ни племени ни наследка».

Перехожу ко второму пункту. Что такое прогресс? Если отбросить оценки, то реальное содержание прогресса — дифференциация. Была амеба, дифференцировалась, возник многоклеточный организм, но вместе с дифференциацией пришла смерть. Амеба, в известном смысле, бессмертна: она делится на две половинки, и обе половинки продолжают жить (если их не убить), а соматические клетки, отдалившиеся от половых, сохранивших бессмертие за счет всего остального, смертны с момента рождения, не могут не умереть. Таким образом, прогресс связан с некоторыми утратами.

То же самое в обществе. Примитивные коллективы удивительно устойчивы, а цивилизация разваливалась одна за другой. Поэтому не всякая дифференциация хороша, а только такая, которая не ведет к распаду, к «совместной гибели борющихся классов». Хороша только дифференциация, в ходе которой перестраиваются и обновляются интеграторы (объединяющие воспоминания, идеи, образы, учреждения). Всякая дифференциация, всякий прогресс расшатывает старые интеграторы. Если их не обновлять, происходит то, что в древности называли «падением нравов», и это развитие заслуживает названия прогрессивного не больше, чем прогрессивный паралич.

Монтень сказал: «простые крестьяне — прекрасные люди, и прекрасные люди — философы, но все злое — от полуобразованности». Он имел в виду, конечно, нравственную полуобразованность. Крестьянин связан системой табу, мало отличающейся от племенной. Эта система табу — нравственный опыт коллектива — сохраняет отдельного человека, не способного рассуждать, как нравственное существо. Философ — интеллектуально и нравственно развитый человек. В древности говорили: «Мудрому не нужен закон, у него есть разум», или в средневековых терминах:

«Полюби Бога и делай, что хочешь», а полуобразованность — это то, что в Библии названо словом «хам». «Хам» — человек, несколько хвативший просвещения, настолько, чтобы не бояться нарушить табу, но не настолько, чтобы своим умом и опытом дойти до нравственных истин. В двадцатом веке хамство стало очень острой проблемой, и этим оно обязано прогрессу. Массы крестьян

были вырваны из патриархальных условий, в которых держались патриархальные табу, урбанизированы. Там, где развитие происходило особенно быстро, в странах центральной Европы, поздно вступивших на путь прогресса и торопившихся догнать и перегнать, рост хамства был особенно грозным. Он поставил под вопрос само существование европейской цивилизации.

В какой мере это было неизбежно? Чтобы подойти к ответу, сравним две соседние страны — Германию и Данию. В обеих формально сохранилась одна и та же знаковая система, в которой высшие моральные ценности были связаны со знаками «Христос», «бессмертие души» и т. п. и т. п. В обеих странах происходило развитие капитализма, но Дания не имела дополнительной нагрузки в виде задачи объединения страны и т. п. Внимание датской интеллигенции было направлено только на то, чтобы просветить народ, а не «воспитывать солдат, способных сражаться с наследственным врагом». Еще во времена Андерсена пастор Грундвик учредил первые зимние университеты культуры, в которых крестьян знакомили со всеми богатствами, созданными человеческим умом, и датский крестьянин, перестав быть патриархальным, становился интеллигентным, а в Германии возникло явление, которое описывалось в тридцатые годы, как взбесившийся мелкий буржуа.

Когда эти взбесившиеся мелкие буржуа оккупировали Данию, фашистская комендатура издала обыкновенный фашистский приказ: «Всем евреям зарегистрироваться и надеть желтые звезды». Обыкновенный приказ. Но дальше началась сказка. Король и королева Дании вышли на прогулку, нацепив желтые звезды. Через полчаса их нацепил весь Копенгаген, через несколько часов вся страна. И пока гитлеровцы соображали, что в этой обстановке делать, всех законных носителей желтых звезд на лодках переправили в Швецию.

Я думаю, что эта сказка со счастливым концом не случайно произошла на родине величайшего сказочника Ганса Христиана Андерсена. Быть может, именно он подсказал королю и королеве поступить так, как ведут себя короли только в сказках, а народу поступить так, как ведет себя народ в пьесах и сказках Евгения Шварца, но, к сожалению, далеко не всегда в жизни. В Германии, по-видимому, детей воспитывали немного иначе, чем в Дании. Это — та бабочка Бредбери, на которую второпях наступили.

Я надеюсь, что убедил вас, и вы вместе со мной пришли к выводу, что не всякий прогресс хорош и не всякий прогресс «прогрессивен». И теперь, опираясь на сказанное, постараемся подойти к оценке исторической фигуры, личности, которую все сегодня описывали фигурой умолчания и которую я хочу назвать по имени и фамилии: Иосиф Виссарионович Сталин.

Я хочу поставить два вопроса. Во-первых, был ли Сталин прогрессивным деятелем, во-вторых, куда нас влечет его тень, его облик.

Чтобы ответить на первый вопрос, надо ясно различать мандат, который деятель не может не выполнить, его личный вклад. Сталин получил власть на известных условиях, и пока он не превратил свою власть в абсолютную, не мог ими пренебрегать. Он не мог не проводить индустриализацию, кооперацию сельского хозяйства, не мог не заботиться об обороне страны; любой другой деятель, избранный генеральным секретарем, решал бы те же задачи. Поэтому важно не то, что Сталин делал, а как он это делал. Позволю себе сказать — довольно

плохо. В актив Сталину можно поставить только индустриализацию, всё остальное — в пассив. Коллективизация проведена так, что до сих пор приходится ездить из Москвы убирать картошку. Международное рабочее движение Сталин, по мнению крупного международника Эрнста Генри, раскалывал и открывал этим Гитлеру дорогу к власти. Я думаю, мнение Э. Генри стоило бы обсудить. Наконец о том, как Сталин подготовил страну к войне, вы можете прочесть в недавно вышедшей книжке Некрича. Сталин буквально обезглавил армию накануне боев, но дело не только в этом. Кроме писаного мандата — программы партии — Сталин прислушивался к неписаным мандатам, носившимся в воздухе. И по мере того как он укреплял свою власть, эти неписаные мандаты играли все большую и большую роль в его деятельности. Прежде всего это мандат того, что Ленин называл «азиатчиной». Вы помните, наверное, статью «Памяти графа Гейдена»: «Раб не виноват, что находится в рабстве, но раб, который жить не может без хозяина — это холуй и хам». (Поправка с места: «Холуй и холоп».) Можно, впрочем, привести другое изречение, любимое Лениным: «Жалкая нация рабов...» Века татарщины и крепостного права оставили довольно внушительную традицию холуйства и хамства; революция потрясла ее, но с другой стороны, революция выдернула с насиженных мест массы крестьян, превратила целые пласты патриархального народа в массы, потерявшие старые устои и не очень усвоившие новую идеологию. Эти массы вовсе не хотели углубления и упрочнения свободы, да и не понимали, к чему она, свобода личности. Они хотели хозяина и порядка. Таков сталинский мандат № 2.

Третий мандат — это мандат обезглавленной религии. Мужик верил в Бога, и в образах Спаса или Казанской Божьей Матери находил предмет любви и бескорыстного преклонения (корыстные мотивы религиозного чувства я склонен отнести к мандату № 2). Мужику объяснили, что Бога нет, но это не упразднило религиозного чувства. И Сталин дал трудящимся бога, земного бога, о котором невозможно сказать, что его нет. Он был, был в Кремле, изредка показывался на трибуне и помахивал рукой. Он заботился о том, чтобы волос не упал с трудящейся головы. Он был лучшим другом железнодорожников, физкультурников и балерин.

Чувство, давшее Сталину мандат № 3, само по себе было чистым. Лучше всего его высказали дети:

Я маленькая девочка,
Танцую и пою,
Я Сталина не видела,
Но я его люблю.

Слово «Сталин» здесь легко заменить символом всеблагого, всемогущего, всеведущего существа, источника всех совершенств или, как тогда говорили: «вдохновителя наших побед». Изменится только размер. Каким образом Сталин мог осуществлять три таких мандата одновременно? Не слишком ли сложна наша схема? Но у Сталина был особый талант к лицемерию и, по-видимому, даже к самообману. А история полна примерами исторических личностей, двойственных и двусмысленных.

И. В. Сталин любил себя сравнивать с коронованными особами — с Петром

Великим и с Иваном Грозным. Поэтому сравним его в его же вкусе — с Наполеоном. Вот что писал о Наполеоне Тютчев.

> Сын революции! Ты с матерью ужасной
> Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе:
> ....
> Бой невозможный, труд напрасный:
> Ты всю ее носил в самом себе!..

(Пожалуй, лучше всего было бы вспомнить лаконичную и блестящую характеристику Пушкина: «Мятежной вольности наследник и убийца»). Но это сравнение, конечно, не является ни исчерпывающим, ни точным. Я позволю себе привести еще одно сравнение, также не исчерпывающее и неточное. Снижающее сравнение — с некоронованным деятелем — с Азефом. Азеф был руководителем боевой организации эсеровской партии и агентом тайной полиции. В качестве эсера он организовал казнь своего прямого начальника по полицейской работе — министра внутренних дел фон Плеве. Под руководством Азефа успешно были проведены другие террористические акты.

Примитивный пример дает известный подход, модель подхода к бесконечно более сложному вопросу — об оценке личности Сталина. Азеф совершил дела, которые могли бы рассматриваться как заслуги перед революцией или по крайней мере перед эсеровской партией. Но у провокатора нет заслуг, поэтому вопрос применительно к Сталину можно сформулировать так: был ли Сталин не только идейно (то есть на словах), но и нравственно, всем своим существом, на уровне движения, к которому примкнул. Тогда и в этот период у него могли быть известные заслуги. Или верно то, что написал Ленин в своем завещании: «И. Сталин — нравственно чужеродное тело в руководстве партии». Тогда он просто занял и удерживал с помощью интриг и террора место, принадлежащее более достойному. Тогда в целом он приносил вред, хотя в отдельных частных случаях мог принимать верное решение.

Чтобы ответить на этот вопрос, можно собрать, записать и исследовать свидетельства современников о Сталине — о ссылке в 1917 году и т. д. Кое-что в этом направлении сделано, но слишком мало, и вопрос остается открытым.

Перехожу к следующему. Куда нас влечет тень Сталина. Некоторые товарищи находятся под впечатлением молодости, когда они вставали под кинжальным огнем пулеметов и со словами: «За Родину, за Сталина!» — поднимали солдат. Им кажется, что лозунг «за Сталина» и сейчас значит то же, что он значил тогда, скажем, в 1943 году. В 1943 году я сам кричал: «За Родину, за Сталина — вперед!». В 1943 году «за Сталина» означало «против Гитлера». История не дала нам лучшего выбора. Она поставила целое поколение в положение Панглоса, которому офицер велел выбирать: повешение или пройти сквозь строй. Сколько Панглос ни возражал, что ни тот, ни другой вариант не отвечает его выбору, офицер оставался непреклонным. В жизни это было совсем не смешно. В 1937 году, рассказывает в своих мемуарах Эренбург, Николай Иванович Бухарин самовольно выехал в Париж, побродил несколько дней по улицам, подышал воздухом свободы, — ничего никому не сказав; вернулся в Москву; при-

мерно понимая, что его ждет, он не мог остаться. Логика борьбы заставила бы его тогда обличать Сталина, а Сталин уже успел мертвой хваткой вцепиться во власть, и бить по Сталину значило бить по советской системе, а советская система была одним из самых мощных препятствий на пути фашизма. Не потому, что Сталин не любил Гитлера, он, может быть, любил его, но по логике системы, более сильной, чем воля Сталина. И нельзя было производить хирургические операции, бить по советской системе, хотя бы для того, чтобы вылечить ее перед лицом Гитлера. И Бухарин вынужден был молчать, а потом и говорить.

Так было четверть века тому назад, но сейчас «за Сталина!» вовсе не значит против Гитлера, против фашизма. Гитлер — капут, а Сталин умер и разоблачен. Хорошо ли это или плохо — разоблаченного кумира нельзя снова облачить. Можно издать какое-нибудь постановление, но оно будет не более действительным, чем резолюция Николая I по жалобе помещика, дочь которого самовольно вышла замуж: «Брак расторгнуть, урожденную такую-то считать девицей». Сталин, оказавшийся деспотом и убийцей, не может стать снова достойным уважения, не говоря уже о любви. Восстановить уважение к Сталину, зная, что он делал, значит установить нечто новое, установить уважение к доносам, пыткам, казням. Это даже Сталин не пытался делать, он предпочитал лицемерить.

Восстановить уважение к Сталину — значит установить около нашего знамени нравственное чудовище. Этого еще никогда не было. Делались мерзости, но знамя оставалось чистым. На нем было написано: «Ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Около знамени стояли Маркс, Энгельс, Ленин — люди, у которых были человеческие слабости, но люди. О всех них можно сказать словами любимой поговорки Маркса: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Сталина нельзя больше ставить рядом с ними. Это значит — испачкать грязью свое знамя. Надо уметь отделить знак антифашистской войны Сталина от ее значения. Подвиг народа в Отечественную войну 1812 года не стал менее значительным от того, что во главе государства стоял «плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой», и подвиг народов в великой антифашистской войне не станет менее значительным от того, что во главе государства оказался Сталин.

Некоторых пугает угроза нигилизма, идеологический вакуум. Но доморощенные культуры неспособны заполнить вакуум. Они распадаются, как карточный домик. Одна из важнейших причин вакуума — столкновение религиозного и научного мировоззрений. Тысячелетний нравственный багаж человечества был закодирован в форме, которая называется мировыми религиями. Научное мировоззрение расшатало мировые религии, но оно не могло сходу создать образы нравственной красоты, сравнимые с Буддой или Христом. Это вообще, по-видимому, задача не науки, а поэзии, и процесс, не поддающийся управлению, процесс очень длительный, вековой и даже, может быть, многовековой. Поэтому от красногвардейской атаки на религию мировое коммунистическое движение уже фактически перешло под влиянием событий к другой форме контактов с религией, к диалогу, о котором много пишут в «Проблемах мира и социализма». Мне кажется, что диалог с мировыми культурами, в активе которых искусство Баха, Рублева, Данте, — более достойный путь, чем восстановление — культа деспота и убийцы. По пути диалога мы можем соединить силы всей интеллигенции и

принести народу подлинное просвещение, подлинный смысл (значение) культуры, который не нужно смешивать ни с какими знаками, атеистическими или религиозными. Эта подлинная культура, подлинная интеллигентность — один из самых важных путей к выходу из современного «вакуума».

3 декабря 1965 года

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА

...И потому туман вдали
роднее нам, чем род и племя.
И внятней голосов земли.

З. Миркина

Недавно одна девушка-фольклористка выходила замуж. Невеста и ее подружки исполняли вологодский свадебный обряд. Гости старались вжиться в свои архаические роли, тысяцкий (он, кстати сказать, был евреем) делал это довольно артистично. Но все было игрой. Старая вологодская деревня, в которой иначе справить свадьбу просто невозможно было подумать, где этот обряд, завещанный бабками, сберегли через тысячу лет, стала такой же экзотикой, как Таити. Девушки-африканистки могли бы исполнять танцы с тамтамом, а студенты-индологи — танцы Радхи и Кришны. Все это одинаково легко входит в стены московской квартиры.

То, что было когда-то единственным, жизненно необходимым занятием, становится игрой, одной из многих игр, которую можно полюбить или отбросить. Австралийцы, бушмены, пигмеи живут тем, что собрали за день в лесу или в пустыне; мы ходим по грибы. Крестьяне вкладывают в землю всю свою жизнь, мы окапываем яблони на десяти или тридцати сотках. Это хорошая игра. В *ней* часто больше творческого, чем в будничной умственной работе. Но можно ничего не собирать в лесу, кроме солнечных зайчиков, и это даже лучше. А грибы или яблоки продаются на базаре. Всерьез мы работаем головой за своим письменным столом. Всерьез мы живем в Вавилоне, а в Аркадию только играем.

Мы едим хлеб, сжатый и обмолоченный людьми, которых по привычке называем крестьянами, но мы не живем в крестьянском обществе, мы не окружены народом. Крестьянства в развитых странах становится слишком мало, чтобы окружать нас. В Соединенных Штатах сельским хозяйством занимается 7 процентов населения. Больше не нужно, чтобы обеспечить остальные 93 процента хлебом, маслом и молоком (в США — 300 литров на человека в год. В Индии — 6 литров. Сколько у нас — Бог весть). Даже остаются излишки, чтобы подкармливать крестьянскую Индию, где хлебопашествует 80 процентов населения.

Фермеров в США меньше, чем студентов и профессоров университетов. Но главное то, что фермер — уже совсем не крестьянин. Это работник сельского хозяйства в научно-промышленном обществе. Он гораздо дальше от крестьянина, чем традиционный ремесленник (труженик города в обществе, костяком которого было крестьянство). Возьмем еще более крайний, еще более парадок-

сальный случай: в Израиле кибуцники, образцовые сельские хозяева, у которых учатся агрономы Африки и Юго-Восточной Азии, создали Лигу борьбы с религиозным принуждением. Это носители «городского» мировоззрения. А ремесленники, вывезенные в 1948 году на самолетах из Йемена, бросают камни в автомобили, нарушающие день субботний.

Крестьяне и ремесленники вместе берегли как зеницу ока веру отцов, обряды отцов и составляли народ — с народными песнями, с народной вышивкой и народными предрассудками. А что поют колхозники? Да то же, что пролетарии. Какие-то остатки крестьянского наследства, какие-то мелодии, вбитые в школе, в армии, по радио.

Крестьянство исчезает. Оно оставило глубокий след в нравственном и эстетическом сознании человечества, оно было мостом между племенем и чем-то еще, что еще только складывается. Но оно исчезает.

Кажется, что этого не может быть. Что народ и общество — неотделимые понятия, что народ с историей — близнецы-братья, и там, где есть общество, история, непременно должен быть народ. Но где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной, островки снега в глухих углах леса. Есть еще углы, где можно записать вологодский свадебный обряд, где доживают свой век старуха Матрена и реабилитированный Иван Денисович. Но народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гоголя — больше нет.

Пролетариат городской и сельский заменил народ в политической жизни, но не в духовной жизни общества. После всех попыток Пролеткульта, пролетарского искусства и великой пролетарской культурной революции в Китае от рабочего ничего уже и не ждут в этой области. К нему обращаются только тогда, когда надо посечь очередного интеллигента. И тогда газеты печатают интервью: «Я не читал Пастернака, но...» Или бригады двоечников, срезавшихся на экзаменах, вводят в университет, чтобы бить студентов, как в Варшаве в 1968 г. (С тех пор в Польше многое переменилось и возникла солидарность рабочих и интеллигентов. Но это особая тема.)

Класс, вызванный к жизни первым промышленным переворотом, выросший, как на дрожжах, до 50 процентов населения, создал профсоюзы, советы, забастовки и т.п., без чего нельзя представить себе XX век, создал некоторый дух солидарности в борьбе с притеснением, но ничего положительного, ничего такого, что способно оставить прочный, долговечный, вековечный след. Нет никакого особого пролетарского нутра. То, что было названо пролетариатом, в духовном отношении ничем не отличается от остальной урбанизированной массы. Это просто нижний слой ее, без всяких провиденциальных перспектив.

Я помню, на лекции по фольклору профессор Соколов каялся, что в бытность свою буржуазным ученым занимался только крестьянским фольклором и недооценивал пролетарский. После этого перекованный Юрий Матвеевич посвятил целую лекцию, а может быть, даже две фабричной частушке. Запомнилась одна, в которой он нашел богатые созвучия и главное — ярко выраженное пролетарское классовое сознание:

Инженеру Покатило
Рожу паром обварило,
Жалко, жалко нам, ребята,
Что всего не окатило!

В первые годы после революции пелись революционные песни, сложенные интеллигентами — народниками и марксистами. Потом пошла в ход блатная лагерная песня, песня вычеркнутых из списков «пролетарской» общественности. А сейчас началось время интеллигентского фольклора. Открылся «животворный родник», из которого хлынули песни, стихи, проза, философские эссе, абстрактная и конкретная живопись.

Герою Синявского мерещится, что весь Союз пишет, что в каждом окошке графоман.

Родник бьет снизу — мимо официальных писательских организаций. Но это совсем не народные низы. Скорее это верхи в смысле образованности. Пишет очень широкий слой — от шофера такси Алешковского до профессора математики И. Грековой-Венцель, но явно преобладают верхи.

Появилась потребность осознать себя духовно, оставаясь ученым, интеллектуалом, не бросая своего НИИ. Это какой-то Ренессанс наизнанку. Тогда художники (оставаясь художниками) становились математиками. Сейчас математики (оставаясь математиками) становятся художниками и поэтами. Если правда, что нет народа без песни, то именно здесь складывается хребет нового народа — или, быть может, нового слоя, несущего в себе занародную правду и занародную песню. И так же как не прав бушмен, для которого переход к крестьянскому труду — святотатство, не прав и крестьянин, для которого уход от власти земли, крови, родства, «веры отцов» — святотатство. Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и старая кожа — народ — лежит, потеряв свою жизнь, в пыли. Это парадоксально только по-русски. По-английски folk (архаический народ, носитель фольклора) давно исчез, и нетрудно представить себе, что people тоже исчезает.

Любопытно, что наши менестрели — какой-то сброд космополитов: полугрузин-полуармянин, еврей, полукореец. Есть, конечно, и чистокровные русские, но решительно без почвенной основы: не дети, а внуки и правнуки крестьянского народа, стоптанного прогрессом в безликую слесарно-бухгалтерскую массу, в которой Сталин брал своих абакумовых и рюминых… Можно, конечно, называть народом любую массу трудящихся: язык без костей. Тогда слесари и бухгалтеры, ткачихи и следователи суть народ. Песни, передаваемые по радио, суть народные песни. А Окуджава, Галич, Ким, Высоцкий — гнилые интеллигенты, подвергшиеся растленному влиянию Запада (так это, кажется, звучит на языке супруга товарища Парамоновой). Но где парамоновские обряды и плачи, песни и пляски? Где парамоновская нравственность?

Мое замечание об исчезающем крестьянстве, высказанное впервые в полемике с М.А. Лифшицем, шокировало почвенников.

Но что делать! Не я придумал (это сделала история), что крестьянские нации СУТЬ голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло, — это нации, в которых исчез голод. Я не виноват, что сейчас обществу выгоднее большую часть сил тратить на умственную работу, а совсем малую — на обработку земли.

Впрочем, численно второстепенная группа не означает группы, без которой можно обойтись, от которой можно отвлечься. Мои оппоненты, видимо, стихийно исходят из архаической модели народа, в котором крестьянские общины, живущие натуральным хозяйством, могут веками обходиться без города, а город без них и году не проживет. Сейчас такое общество сохранилось только в джунглях. Сейчас все группы зависят друг от друга, и в этом едином обществе ни одна группа не в праве считать себя коренной. Вопрос можно поставить только так: какая группа, добившись того, чего она хочет, способна изменить к лучшему все общество? Крестьянство или интеллигенция?

На этот вопрос ответил опыт Польши и Чехословакии.

В 1956 г. Гомулка распустил большинство колхозов и дал крестьянам окрепнуть. В результате было восстановлено консервативное село, и на него сегодня опираются самые реакционные в Восточной Европе «кадры». Напротив, в Чехословакии в январе 1968 г. победила интеллигенция, добившаяся прежде всего свободы слова. Казалось бы, какое дело до этого рабочим и крестьянам? Но интеллигенция немедленно растолкала все общество, и вся страна пришла в движение. Там, где интеллигенция свободна, всем открыт доступ к свободе. Там, где интеллигенция в рабстве, все рабы. Поэтому и только поэтому я против чрезмерного акцента на важности деревенских проблем, на трагедии крестьянина. Трагедия бесспорна. Деревенские проблемы надо решать. Но если не решена проблема интеллигенции, страна в целом останется во тьме.

Интеллигенция может быть средоточием всех земных пороков. Но только в ее среде возникает требование свободы слова. Только в ее среде живет Самиздат. Ни рабочий класс, ни крестьянство, ни бюрократия не нуждаются в свободе слова так, как ученый и писатель. Поэтому люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века.

Группа, второстепенная с точки зрения социолога, может быть, однако, первостепенной для писателя (например, бедные белые Юга США для Фолкнера), и писатель может раскрыть в жизни этой группы величайшие духовные ценности. Я горячий поклонник «Матрениного двора». Но я против переноса в современность комплекса неполноценности, с которым русский кающийся дворянин прошлого века подходил к мужику (или птичнице):

> Чьи работают грубые руки,
> Предоставив почтительно нам
> Заниматься искусством, наукой...

Нельзя подходить к современному учителю или врачу с мерками Некрасова и корить его легкой работой. Работа интеллигента (если говорить о миллионах, не имеющих ученых степеней) совсем не легкая, совершенно необходимая для общества (успевшего с XIX века сильно измениться) и оплачивается в нашей стране из рук вон плохо. Я не могу согласиться с противопоставлением ученого птичнице в «Письме физику» (ходившем одно время по рукам). Я не думаю, что ученый непременно должен испытывать угрызения совести перед птичницей — так мало он работает сравнительно с птичницей, и так мало действительной пользы людям приносит его труд. Я не хочу сказать, что ученых

не подкупают, не проституируют. Это делается, и достаточно часто (так же как в деревне, где подкупают и проституируют «знатных доярок», героев социалистического труда и т.п.). Я не хочу сказать, что ученые всегда заняты полезным делом. Достаточно часто они занимаются делами, ничуть не более полезными, чем сверхранний сев и другие начальственные затеи.

Я глубоко сочувствую попытке вызывать у проституируемых ученых угрызения совести. Но почему только перед птичницей? Почему не перед учительницей, слепнущей над тетрадками, не перед загнанным амбулаторным врачом? В подчеркивании ответственности перед птичницей (по некрасовскому образу) есть своя опасность (отсутствовавшая в некрасовские времена). Эта опасность в том, что поддерживается народный предрассудок, по-старому смешивающий всякий умственный труд с барством, и сталинская политическая традиция, основанная на этом предрассудке: 1) всякий человек с авторучкой называется интеллигентом; 2) народная ненависть, вызванная некоторыми людьми с авторучкой, поровну раскладывается на всех; 3) в критические минуты некоторые люди с авторучкой тактично забывают, что сами себя называли интеллигентами, и в качестве слуг народа науськивают массы на действительную интеллигенцию, ищущую чего-то лучшего.

Совершенно необходимо улучшить положение птичницы, скотницы, тракториста, но не их одних! Проблема птичницы имеет нравственную первоочередность, если птичница голодает, а работники умственного труда получают несправедливо много. Но такое положение существует только в слаборазвитых странах и исчезает вместе с развитием. Вот соответствующая таблица:

Недельный заработок в долларах

		Профессия	
Город	Строитель	Бухгалтер	Секретарша
Нью-Дели	3,33	40,00	18,50
Бейрут	20,00	180,00	53,00
Мадрид	28,00	42,00	53,00
Белград	25,00	40,00	30,00
Токио	44,00	40,20	50,00
Стокгольм	122,64	94,64	88,02
Нью-Йорк	248,00	127,50	125,00

Отвлекаясь от местных различий в оплате мужского и женского труда и от особенностей Ливана (в котором буржуазия получает гигантские сверхприбыли на блокаде Израиля и делится этими прибылями с ближайшими служащими, но не с рабочими), можно заметить, что в развитых странах умственный труд перестает быть привилегией барства, становится рядовой профессией и оплачивается хуже, чем квалифицированный ручной труд. Чувство вины перед народом, естественное в Нью-Дели, теряет смысл в Токио, становится нелепым в Стокгольме.

Какое положение занимает в таблице Россия, трудно сказать. Во всяком случае, от Индии мы давно оторвались. Остальное — дело времени и технико-

экономического прогресса. Именно технико-экономического: структура зарплаты в Югославии и в Испании, политически несходных, почти совпадает (в Испании, пожалуй, больше уважают женщин).

Поглядывая на таблицу, хочется сказать, что есть много тяжелых и неприятных форм умственного труда. Развитие науки, освободив мышцы, так перегрузило голову, нервы, что миллионы людей приходится брать на учет к психиатру. Я не думаю, что труд инженера-экономиста веселее косьбы. Не надо считать человека благополучным просто потому, что он работает под крышей и страдает от головной боли, а не от мышечной усталости. Если городскому человеку нельзя есть яичницу без угрызений совести, то ведь, пожалуй, нельзя и на стульчак сесть без угрызений совести (перед ассенизатором, например. Страшно подумать, во что превратился бы современный город без ассенизарторов. Легче было бы обойтись без многого другого). Птичник, который волнует сейчас многих, отвратителен. Но ведь это ад не только для людей, но и для кур. Это очень плохой птичник. Наша страна импортирует битую птицу и яйца — своих не хватает. Как, впрочем, и хлеба в иные годы. Никакой всемирно-исторической необходимости в этом нет, просто порядок, заведенный в сельском хозяйстве, очень плох, и надо ввести какие-то другие порядки, проверенные опытом других стран.

Мы еще не выполнили свой долг перед птичницей. Но по крайней мере известно, как это сделать. А как быть с младшим научным сотрудником Акакием Акакиевичем, пожизненно осужденным готовить бумаги Значительному лицу? Этого никто не знает, и мы в потемках ищем ответа одновременно с Европой и Америкой, которые по крайней мере о птичнице могут не думать. Потому что мы не только страна плохих, неэффективных колхозов, но и страна эффективных ракет. И наряду с провинциальными задачами, общими для слаборазвитых стран, мы вынуждены решать и задачи современные, «модернистские». И мне бы хотелось, чтобы мы не забыли об этой стороне дела, требующей больших усилий мозга (потому что это как раз сторона неразведанная).

Что бы ни творилось в деревне, как бы ее ни калечили, большинство сельских работ по природе своей здоровее и веселее, чем работа в горячем цеху или поиски ошибки в платежной ведомости. Толстой косил, ходил за плугом, но я не видел человека, который по своей охоте шел бы делать из вонючей резины галоши или редактировать библиографический указатель. Примитивные формы труда основаны на живом внутреннем ритме или на прислушивании к ритму окружающей человека природы. Они сохраняют свою ценность и тогда, когда теряют экономический смысл. Мы не жалеем потратить целый день, чтобы поймать несколько рыбешек, выращиваем в комнате лимоны, печем в духовке пироги (хотя кондитерская за углом) и прочее. К сожалению, основная наша работа совсем другая — механическая, опустошающая. Только очень небольшое меньшинство способно получать деньги за творческий труд. Я к этим счастливцам не отношусь и то, что давало смысл моей жизни, делал бесплатно, я работал грузчиком умственного труда, почтовой лошадью. Уверяю вас, господа почвенники, это не синекура.

Что же делать? Один мой знакомый сказал, что из искусственного положения приходится искать искусственный выход. Такой выход — сервис, т.е. компенсация за потерянные нервы. Мышечную силу можно было нахлестывать кнутом,

силу ума — только пряником. Начиная с парикмахерской, в которой три мастера ждут одного клиента, кончая музыкой, поэзией, живописью. Спешу оговориться: речь идет не об одной ученой элите. Это общий уровень человеческих отношений, на который вышли все северные страны (кроме нас) и к которому быстро приближаются страны, расположенные южнее (Италия, Япония, Израиль).

К сожалению, и этот уровень недостаточен. И на нем главная проблема остается нерешенной: проблема духовного вакуума.

Теплый хлев с холодильником, автоматической подачей корма и зелеными лугами по телевизору был бы совершенно достаточен для скотины, но человек, попавший в этот рай, не чувствует себя счастливым. Он работает, хорошо работает, он много производит и много потребляет, но ему потихоньку становится тошно. И тогда он норовит поддать пинка роскошным автоматическим устройствам, на которые с такой завистью смотрят народы Азии, Африки и Латинской Америки. Народы, узнавшие из голливудских картин про сладкую жизнь, но не научившиеся еще организовывать жизнь по- американски и обвиняющие в своей бедности империалистов, сионистов и советских ревизионистов.

Северные страны решили экономическую проблему, создали пролетариям в синих и белых воротничках буржуазную жизнь, лечат пролетариев в хороших лечебницах, дают возможность провести отпуск на взморье — словом, сделали все, на что способна хорошо развитая наука. Но наука не может научить пролетария чувствовать ритм облаков на заре и повторять его на свирели, как делал пастух в холщовых портах, никогда не видевший синего моря.

Наука знает очень много вещей и может узнать еще больше, но смысл жизни — это не вещь. Его нельзя ясно очертить, его нельзя «формализовать». Он дается, может быть, мудрости, но мы совсем забыли, что такое мудрость. Мы умеем готовить хороших ученых, но у нас нет даже посредственных мудрецов. Мы точно, научно, изящно решаем точно очерченные проблемы — и стоим в тупике перед целым: голову вытащим — хвост увязнет. Хвост вытащим — голова увязнет.

<...>

Пицунда, сентябрь 1967, Москва, март 1969

КОАН

Группа людей попала в одну клетку со стадом обезьян. Клетка заперта. Ключи в руках обезьян. Ключи заколдованы, тот, кто их схватит, сам становится обезьяной. Как выйти из клетки?

Тут общего ответа нет. Надо решать эту загадку каждый день, каждый час, всю жизнь.

Апрель 1966

Источник: сайт Вячеслава Игрунова (http://www.igrunov.ru) и сборник «Выход из транса» (М.: Юрист, 1995).

Анатолий Якобсон

(Справку см. стр. 308)

КОНЕЦ ТРАГЕДИИ

4

Разрушение идеологического мифа в сознании Блока («мировой пожар» превратился для него в «мировую заварушку») [1] привело и к разрушению мифа поэтического. Рухнула, собственно, только вершина блоковского поэтического мифа (Россия и революция, воплощающие мировую музыкальную стихию), и тем отчаяннее утверждал Блок основание своего мифа (Прекрасная Дама). Но миф — как всякий художественный образ, тема, мотив — не может держаться одним своим основанием: пока жив автор-мифотворец, миф тоже должен жить, обновляться, набирать высоту. Так и было у Блока — до «Двенадцати» включительно. Когда последняя мечта Блока была убита, у него не осталось больше творческих (конкретно — мифотворческих) сил. Был сокрушен миф Блока — был сокрушен и он сам.

Сравним три высказывания Блока, обращая внимание на их хронологическую последовательность.

«Все будет хорошо. Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дождаться» (записные книжки, апрель 1917 г.).

«Настоящим дышать почти невозможно, можно дышать только... будущим» (из выступления на заседании Союза поэтов в августе 1920 г.).

«...все теперь будет меняться только в дурную сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы» (дневник, апрель 1921 г.).

У Блока отняли мечту — и тем убили в нем поэта-романтика. Но поэт-романтик — это был весь Блок, вся его душа. Убили Блока.

Борение между мечтой и действительностью, романтикой и реализмом, иронией и патетикой непрерывно происходило в поэзии Блока. Этим борением была жива и его поэзия, и он сам. Он погиб, когда это борение прекратилось.

Следует обратить внимание на то, в чем — при их борьбе — выражалось единство этих противоположностей. Сознание романтика таково, что только мечта скрашивает для него действительность, делает ее — в конечном итоге — выносимой. Мечта Блока отталкивалась от действительности не только в смысле ее (действительности) отрицания, но отталкивалась также в буквальном (физическом) смысле этого слова: действительность, как ни плоха была, служила почвой, способной дать мечте толчок, необходимый для взлета. Другими словами: жизнь не убивала мечты поэта, а значит — порождала ее. События 1917-18 годов дали толчок последней мечте Блока. Эта мечта была освящена живой верой в Россию, она была непосредственно связана с реальностью (в сознании Блока) и была ориентирована на реальное воплощение. Очарование было так велико, что Блок не вынес разочарования.

Пока отношение Блока к революции было двойственным, мечта была жива: «Впереди Исус Христос». Отношение Блока к народу тоже было двойственным:

для Блока это был народ и была чернь — одновременно [2]. «Народ» (в идеальном смысле, свободном от всех оттенков «черни») для Блока — представитель стихии, носитель музыки («музыка души народной»).

«Чернь» для Блока — носительница хамства [3]. Блок верил, что «в огне революции — чернь преобразится в народ» (К. Чуковский), что на земле не останется хамства.

Революция кончилась для Блока к середине 18-го года. Стихии улеглись. К установившемуся в результате бушевания и усмирения стихий порядку отношение Блока было однозначно. Надежде и вере пришел конец. Жертвенный порыв был исчерпан. Восторженно-трагическое предчувствие собственной гибели в происходящем сменилось угрюмо-безысходным сознанием гибельности происшедшего.

Чернь осталась чернью. Хамство — хамством. Поэт погиб.

«...последнее действие драмы заключается в борьбе поэта с чернью... Оно заканчивается всегда гибелью поэта.

...фазисы приобщения поэта к стихийному ритму, борьбу за ритм с чернью и гибель поэта я назвал не трагедией, а только драмой; действительно, в этом процессе нет ничего «очищающего», никакого катарсиса...»

Это записал Блок в дневнике 7 февраля 1921 года. Это относилось к Пушкину, но — как увидим дальше — пушкинская тема была в то время единственной его, Блока, личной темой.

Для Блока (субъективно) кончилась его трагедия: двойственное отношение к жизни («ненависть-любовь») сменилось безразличием к ней. Стоящая на пороге смерть представлялась Блоку не трагедией, а всего лишь драмой [4].

С марта 1921 года до 7 августа, до смерти, Блока терзала болезнь. Но перед болезнью и смертью Блок успел пережить очищение. Ровно через шесть дней после того, как он записал в дневнике: «никакого катарсиса» — Блок испытал высочайшее блаженство. Испытал сам и заставил испытать многих.

Речь «О назначении поэта» «была прочитана Блоком 13 февраля 1921 года на вечере в Доме литераторов, посвященном 84-й годовщине со дня смерти Пушкина... В редакционном предисловии к сборнику «Пушкин. Достоевский» (1921 г.), где была вторично[5] напечатана речь Блока, говорится:

«Блок долго колебался, выступать ли ему с речью о Пушкине. Решившись, он в течение нескольких дней — не готовился, не работал, — а именно творил, как бы отойдя от всего, что происходило вокруг, в трепетном возбуждении собирая мысли и чувства. Он свою речь написал (и читал ее по тетради). Когда написал, ощутил большую радость и дня за два до выступления сказал друзьям, что готов, и для всех знавших его это было тоже большой радостью...

...На торжественном собрании в память Пушкина присутствовал весь литературный Петербург... Разно было всегда, и особенно в последние годы, отношение к Блоку, но то, что он сказал о Пушкине, и то, как он это сказал — с какой-то убежденной твердостью, — захватило всех, отразилось в слушателях не сразу осознанным волнением, вызвало долгие рукоплескания и возбудило долгие разговоры» (Примечание Г. Шабельской к речи «О назначении поэта». А. Блок, Собр. соч. в 8-ми томах; т. 6, стр. 515).

От мрака, что накапливался в душе, и от окружающего мрака Блок обращался к большим источникам света.

В 1908 году — после «Снежной маски» и перед «Страшным миром», «Плясками смерти» и «Черной кровью» — Блок потянулся к солнцу Толстого.

От нестерпимой, кромешной, предгробовой мглы Блок устремился к солнцу Пушкина. В смертельной тоске Блок рванулся к тому, кто воскликнул когда-то: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Блок припал к Ангелу-Хранителю России. И Пушкин утолил смертельную тоску Блока. Пушкин даровал ему катарсис.

5

Корней Чуковский показал, что такое ветер в поэзии Блока, разбором его стихов.

Борис Пастернак показал это по-своему:

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имении в дни,
Как там еще Филька-фалетер[6]
Скакал в голове шестерни.
И жил еще дед-якобинец,
Кристальной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.
Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.
Тот ветер повсюду. Он – дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти – везде.

(«Ветер» — Четыре отрывка о Блоке. Отрывок второй).

Стихия Блока — ветер.

Ветры бывают различных свойств, разных направлений и назначений. Последний ветер, который вырвался из груди у Блока, был ветер свободы (на сплошном этого рода безветрии). Стихия Блока — огонь.

Умнейший Евгений Замятин сказал, что последней Прекрасной Дамой Блока была «огненная и вольная стихия». Перед смертью Блока эта стихия очистилась от романтической идеологии. Душа поэта, отряхнув наваждения и затрепетав чистейшим огнем свободы, испытала катарсис. Свобода истинная (а не та, обманувшая, о которой говорит Замятин) — вот кто была последняя Прекрасная Дама Блока.

В первую свою Прекрасную Даму Блок верил как в высшую (мистическую) реальность, не сомневался в ее объективном существовании. Последняя Прекрасная Дама Блока, свобода — действительно высшая реальность; она была, есть и будет всегда Прекрасной Дамой человечества. Но Блок ощущал

эту — последнюю — Прекрасную Даму только в себе, внутри себя, он не видел ее вовне, и так как духовные силы его были подорваны, он не мог жить упованиями на то, что Она воссияет когда-нибудь над всем миром. Поэтому непродолжителен был связанный с катарсисом душевный подъем. Был «нестерпим окружающий мрак» [7], и сердце Блока не выдержало. Огонь свободы погас в нем вместе с огнем жизни. Он погас в сердце Блока, чтобы стать вечным огнем, вечным светом, чтобы никогда не угасать в его поэзии.

Последней прижизненной вспышкой этого огня — ярчайшей — была пушкинская речь Блока, речь «О назначении поэта».

Дневник с 17 января по 7 февраля 1921 года говорит о том, что Блок был тогда целиком захвачен пушкинской темой. Блок перебирает даты пушкинских стихов, нащупывает в этих стихах их лейтмотив: мотив свободы: 17 января.

«...О Пушкине: в наше газетное время. «Толпа вошла, толпа вломилась... и ты невольно устыдилась и тайн и жертв, доступных ей» [8]. Пушкин этого избежал. Его хрустальный звук различит только кто умеет. Подражать ему нельзя; можно только «сбросить с корабля современности» [9] («сверхбиржевка» футуристов, они же — «мировая революция»). Всё вздор перед Пушкиным...» 21 января. «...Пушкин...

...1836. Из VI Пиндемонте (чтобы не узнали). Вот — свобода! Потебня: «Поэт может настаивать на своем праве (на личную свободу), потому что цель его деятельности не может быть определена ни им самим, ни другими заранее. Но ведь и там, где эта цель заранее со стороны определима, вмешательство в самый способ ее достижения портит дело. И извозчик, нанятый до места или на час, хочет, чтобы его не дергали и не мешали править лошадьми»...»

Между 2 и 5 февраля. «Пушкину в молодости...

> Любовь и тайная свобода
> Внушали сердцу гимн простой...

Прошло 17 лет. Пушкин «истомлен неравною борьбой»... Он опять говорит о какой то «иной» свободе и определяет ее:

> Никому
> Отчета не давать...

Эта свобода и есть «счастье». «Вот счастье, вот права!» [10].

6 февраля Блок приводит в дневнике «ряд изречений здравого смысла, которые теперь совершенно забыты», и пишет в связи с этими изречениями:

«Пушкин их хорошо понимал, потому что был культурен». Года за три до этой записи Блок поморщился бы от одного только сочетания слов: «здравый смысл». Среди «изречений здравого смысла» первое — такое: «Для того, чтобы уничтожить что-нибудь, на том месте, которое должно быть заполненным, следует иметь наготове то, чем заполнить». Это по духу — нечто противоположное идее «Крушения гуманизма» и всей романтической идеологии Блока. Блоку осточертели все катаклизмы.

Еще в мае 1920 года Блок сказал («Речь к актерам при закрытии сезона»):

«...всегда будет время обезуметь и броситься вниз с вершины... В сладострастии «исканий» нельзя не устать. Горный воздух, напротив, сберегает силы».

7 февраля Блок делает в дневнике первоначальный набросок речи «О назначении поэта».

6

Итак, 13-го февраля 1921 года Блок произнес свою пушкинскую речь (записана 10-го февраля).

«Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: Пушкин.

Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не легкая и не веселая; она трагическая; Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер; и, однако, у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине; праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его — внутреннее — культура, — это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже бога...

...Поэт — величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы; но сущность его дела не устареет.

Люди могут отворачиваться от поэта и его дела. Сегодня они ставят ему памятники; завтра хотят «сбросить его с корабля современности». То и другое определяет только этих людей, но не поэта; сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна; то или иное отношение людей к поэзии в конце концов безразлично.

Сегодня мы чтим память величайшего русского поэта. Мне кажется уместным сказать по этому поводу о назначении поэта и подкрепить свои слова мыслями Пушкина.

Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт.

Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспорядку — хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние...

...из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначалия создается гармония.

Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород...

...Мы знаем одно: что порода, идущая на смену другой, нова; та, которую она сменяет, стара; мы наблюдаем в мире вечные перемены; мы сами принимаем участие в сменах пород; участие наше большей частью бездеятельно: вырождаемся, стареем, умираем; изредка оно деятельно: мы занимаем какое-то место в мировой культуре и сами способствуем образованию новых пород.

Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых — освободить звуки из родной безначаль-

ной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих — внести эту гармонию во внешний мир.

Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. «Слова поэта суть уже его дела». Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака...

...Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом; борьба с ней превышает и личные и соединенные человеческие силы...

...От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она дает, когда это нужно, — никто не может уклониться, так же как от смерти. Это имя дается безошибочно.

Так, например, никогда не заслужат от поэта дурного имени те, кто представляют из себя простой осколок стихии, те, кому нельзя и не дано понимать. Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся. Напротив, те, которые не желают понять, хотя им должно многое понять... — те клеймятся позорной кличкой: чернь; от этой клички не спасает и смерть; кличка остается и после смерти, как осталась она за графом Бенкендорфом, за Тимковским, за Булгариным — за всеми, кто мешал поэту выполнять его миссию.

На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества... катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир...

...Первое дело, которого требует от поэта его служение, — бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных мира».

> Бежит он, дикий и суровый,
> И звуков и смятенья полн,
> На берега пустынных волн,
> В широкошумные дубровы.

Дикий, суровый, полный смятенья, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес потому, что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к «родимому хаосу» [11], к безначальной стихии, катящей звуковые волны.

Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это — область мастерства. Мастерство требует вдохновения так же, как приобщение к «родимому хаосу»; «вдохновение, — сказал Пушкин, — есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных» [12]; поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совершенно

связано с другим; чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, — тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступней преследует он человеческий слух.

Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью.

Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом; близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело — если русская культура возродится.

Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня...

...Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него «пользы», как просто говорит Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев»[13] и пр.

Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права... она инстинктивно чувствует, что это дело так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира.

Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган — цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом и на втором пути: они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии; что их удерживает — недогадливость, робость или совесть, — неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?..

...Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов; скорее добытая им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем средне-человеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония; никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии.

Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин соботу, которую мы называем личной от сво-

боды, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал «иной», «тайной» свободы. По-нашему, она «личная»; но для поэта это не только личная свобода:

...Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья –
Вот счастье! Вот права!..

Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же:

Любовь и тайная свобода
Внушили сердцу гимн простой.

Эта тайная свобода, эта прихоть… тесно связана с двумя первыми делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонией людей — в третьем деле, Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах; и эти дела — не личные.

Между тем жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его пути. Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так. И, если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь —

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку…

…Пушкин умер. Но «для мальчиков не умирают Позы» [14], сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.

Это — предсмертные вздохи Пушкина, и также — вздохи культуры пушкинской поры.

На свете счастья нет, а есть покой и воля [15].

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий… И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл.

Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни.

Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзией Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них.

Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение.

Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно…

…В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина».

Такова (с небольшими сокращениями) речь «О назначении поэта».

Это — лебединая песнь Блока. Поэт заявил черни, что он отказывается жить с ней на земле. Не было жертвенности и связанного с ней энтузиазма, была горькая неизбежность: Блок готов бы жертвовать собой во имя России и своего народа, но не ради тех, кого ставил ниже людей. Это было сказано четко и ясно, было брошено прямо в лицо черни — с безграничным презрением. С тем и ушел Блок [16].

Речь была духовным завещанием Блока. Он обратился к своим наследникам, завещая им жить и беречь как зеницу ока последнюю человеческую свободу: свободу творческого духа, основание которой — свободная совесть. Эта свобода — последняя; она — высшая из всех свобод, потому что соприродна душе человека; и еще потому она последняя и высшая, что человек, даже потеряв все остальные свободы, не может расстаться с ней (расстаться с совестью), оставаясь человеком.

Еще Блок завещал своим наследникам хранить культуру и разум. Блок не знал имени хуже, чем имя чернь, но предсказал своим наследникам, что им придется иметь дело с теми, кому он, Блок, даже имени подобрать не может, с теми, кто догадается «изыскать средства для замутнения самих источников гармонии».

Для того, чтобы его наследники не растеряли друг друга, чтобы они не были заедены чернью и теми, кто хуже черни, кому нет имени, Блок завещал своим духовным наследникам лучший пароль — веселое имя: Пушкин.

Выступивший вслед за Блоком Ходасевич тут же подхватил призыв, сказав:

«…мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке».

Последнее свое стихотворение Блок написал за шесть дней до своей бессмертной речи. Стихотворение называется «Пушкинскому дому». Блок прощается с Пушкиным, прощается с жизнью.

> Вот зачем в часы заката,
> Уходя в ночную тьму,
> С белой площади Сената
> Тихо кланяюсь ему.

Восстанавливается — в последний раз — блоковская цветовая гамма: к черному — белое.

Читая это стихотворение, надо помнить, что Блок писал его в пору, когда небо уже не дарило ему стихов.

Однако приведенная строфа — безупречна.

И еще:

Это – звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

А одно из четверостиший этого стихотворения хочется все повторять и повторять про себя:

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

---

[1] Из черновиков «Ни сны, ни явь».

[2] Понятие «народ» и «чернь» никогда не были для Блока тождественными. Но народ для него не был равен самому себе: он был и народом, и чернью.

[3] Понятие «хамство» было для Блока прямой противоположностью понятию «музыка».

«Молодежь самодовольна, «аполитична», с хамством и вульгарностью» (записные книжки, ноябрь 1915 г.).

«Я не боюсь шрапнелей, но запах войны и сопряженного с ней — есть хамство... ...война, как всякое хамство, безначальна и бесконечна, без-ббразна» (записные книжки, июнь 1916 г.).

«Слаб человек, и все можно простить ему, кроме хамства» («Каталина»).

[4] В дальнейшем автор постарается показать, что не только жизнь, но и смерть Блока была трагедией (если исходить из того представления о трагедии, которое досталось нам от древних греков и которое было у самого Блока).

В литературе о Блоке числится статья Е. Зозули «Трагедия Блока» (Встречи, «Огонек», М., 1927).

Е. Зозуля пишет о Блоке: «Развенчанный старым обществом, он не видел признания и со стороны нового. Эта обычная, в конце концов, трагедия художника в переходное время оказалась для Блока роковой».

Дескать, от ворон отстал и к павам не пристал. У Зозули свое представление о трагедии вообще и о трагедии Блока — в частности.

[5] Впервые — «Вестник литературы», 1921 г., № 3 (27).

[6] Форейтор в старом народном произношении (примечание Б. Л. Пастернака).

[7[«Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...», 1916 г.

[8] Тютчев. «Чему молилась ты с любовью...»

[9] Из «Пощечины общественному вкусу» — манифеста футуристов (1912 год).

[10] Пушкин, «Из Пиндемонти».

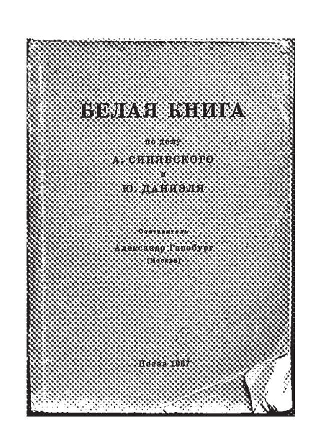
(Пушкин пишет: Пиндемонтя, Блок пишет: Пиндемонте, — А. Я.)

[11] Тютчев, «О чем ты воешь, ветр ночной?..»
[12] Пушкин, заметка «О вдохновении и восторге».
[13] Пушкин, «Чернь» («Поэт и толпа»).
[14] Шиллер, «Дон-Карлос».
[15] Пушкин, «Пора, мой друг, пора!..»
[16] И все-таки, повторяю, не только вся жизнь, но и смерть Блока была трагедией. Трагедия жизни завершилась жертвенным приятием революции (завершилась «Двенадцатью»). Потом было погружение во мрак романтической идеологии («Каталина», «Крушение гуманизма»), затем последовало субъективно-трагическое очищение, катарсис — выход к свободе, к Пушкину. Автор глубоко убежден, что чувство очищения с наибольшей полнотой Блок испытал именно во время произнесения своей пушкинской речи, записанной тремя днями раньше.
Мы, зрители трагедии, которая именуется жизнью и смертью Александра Блока, испытываем чувство катарсиса от всей трагедии с начала до конца.
Автор дал название книге («Конец трагедии») в соответствии с блоковским пониманием природы трагического.

Источник: А. Якобсон. «Конец трагедии». «Весть», Вильнюс-Москва (ВИМО), 1992.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И СБОРНИКИ

Белая книга по делу А. Синявского и Ю. Даниэля



Документальный сборник, составленный в Москве летом и осенью 1966 г. молодым журналистом Александром Гинзбургом *(см. т. 2, стр. 24)*. Сборник был посвящен одному из центральных событий советской и международной общественной жизни 1965–1966 гг. – аресту органами КГБ (в сентябре 1965 г.) двух столичных литераторов Андрея Синявского *(см. т. 1, кн. 1, стр. 457)* и Юлия Даниэля *(см. т. 2, стр.489)* (они обвинялись в публикации своих художественных произведений за границей под псевдонимами) и суду над ними по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде».

«Белая книга», включающая 165 документов, состоит из трех частей. В первой собраны документы, предшествующие суду – выдержки из рецензий иностранной прессы на сочинения Абрама Терца и Николая Аржака (под этими псевдонимами печатались за рубежом Синявский и Даниэль), биографические сведения о них, выступления иностранных деятелей культуры в их защиту, листовка, призывающая выйти 5 декабря 1965 г. на «митинг гласности» с требованием открытого суда над писателями *(см. т. 1, кн. 2, стр. 345)*, статьи официозных советских литераторов и письма «представителей советских трудящихся» с яростными нападками на «перевертышей». В нее же были включены письма и заявления известных московских писателей и ученых (Льва Копелева, Анатолия Якобсона, Вячеслава Всеволодовича Иванова и др.), подготовивших для суда отзывы о творчестве арестованных писателей, где опровергался криминальный характер их произведений.

Вторая часть сборника включает материалы уголовного дела по обвинению Синявского и Даниэля в «антисоветской пропаганде» (ст.70 Уголовного Кодекса РСФСР), слушавшегося в Верховном Суде РСФСР в Москве с 10 по 14.02.1966 (запись процесса вели жены подсудимых Мария Розанова и Лариса Богораз, затем под их руководством был подготовлен и передан Гинзбургу сводный текст). Кроме того, сюда вошли репортажи из зала суда, опубликованные в советских газетах (иностранные корреспонденты на процесс допущены не были), и первые возмущенные отклики на суд, появившиеся в западной печати.

В третью часть «Белой книги» включены отклики советской и зарубежной печати на процесс и приговор (осуждение писателей за их художественные произведения к длительному заключению произвело шокирующее впечатление на мировое общественное мнение, в том числе и на прокоммунистически настроенные круги западной интеллигенции). В сборник вошли коллективные письма московских писателей в высшие судебные и партийные органы с просьбой отдать осужденных на поруки, речь нобелевского лауреата Михаила Шолохова на XXIII съезде партии с резкими нападками на «заступников» и сожалением по поводу мягкости приговора, а также открытое письмо Лидии Чуковской Шолохову *(стр. 7)* с резкой оценкой его речи как противоречащей всей гуманистической

традиции русской литературы. Завершает «Белую книгу» анонимное «Письмо старому другу» (авторство многолетнего узника сталинских лагерей писателя Варлама Шаламова было раскрыто 20 с лишним лет спустя), где дается высокая оценка мужественному поведению подсудимых, впервые за много лет на открытом политическом процессе отказавшихся признать себя виновными.

В октябре-ноябре 1966 г. Гинзбург разослал несколько машинописных экземпляров сборника депутатам Верховного Совета СССР, а один экземпляр передал в КГБ (показывая тем самым легальный, некриминальный характер своей работы, которую считает общественно важной). Не получив ответа, он отправил один экземпляр сборника за границу. Сборник был издан в Германии (Белая книга по делу А.Синявского и Ю.Даниэля. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967.- 430 с.) и вскоре переведен на английский, немецкий и французский языки.

«Белая книга» положила начало новому жанру самиздатской правозащитной литературы – документальным сборникам о политических процессах. Однако еще до ее выхода в свет сам Гинзбург и перепечатывавшая сборник машинистка Вера Лашкова в свою очередь были арестованы КГБ (в январе 1967). На «процессе четырех» (январь 1968 г.) ряд материалов, включенных в сборник, были признаны «антисоветскими», суд вынес обвиняемым приговор по той же ст.70, как и писателям, которым была посвящена «Белая книга». В дальнейшем и сама «Белая книга», и отдельные входившие в нее документы (прежде всего последние слова подсудимых) широко распространялись в Самиздате, постоянно изымались на обысках.

Большинство документов, вошедших в «Белую книгу», были переизданы в СССР в сб. «Цена метафоры, или преступление и наказание Синявского и Даниэля» (сост. Е. Великанова), дважды изданном массовым тиражом (М.: Книга, 1989 и 1990.- 528 с.)

Процесс четырех: Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой

Документальный машинописный сборник, подготовленный в 1968 г. московским правозащитником Павлом Литвиновым (в 1967 он выпустил свой первый сборник «Правосудие или расправа?»). В сборник вошли материалы одного из самых громких политических процессов 1960-1980 гг. в СССР. Дело слушалось (8–12.01.1968) в Московском городском суде. Подсудимые – Юрий Галансков, Александр Гинзбург, Алексей Добровольский и Вера Лашкова – обвинялись в «антисоветской агитации и пропаганде» (ст. 70 ч.1 УК РСФСР, Галанскова обвинили еще и в незаконных валютных операциях). Центральным пунктом обвинения, выдвинутого против Гинзбурга, было составление и публикация за границей «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», против Галанскова – составление им альманаха «Феникс» (1966) *(стр. 433)*; Добровольскому инкриминировалось авторство одного из текстов, помещенных в «Фениксе»; Лашковой – перепечатка обоих сборников. Кроме того, подсудимым вменялась в вину «преступная связь» с эмигрантской организацией «Народно-трудовой союз».

Галансков и Гинзбург не признали себя виновными, отстаивая свое право на свободу слова. Все подсудимые были признаны виновными: Галансков был приговорен к 7 годам лагеря, Гинзбург – к 5 годам, Добровольский, активно сотрудничавший со следствием и обвинением – к 2 годам. Лашкова получила 1 год лишения свободы и была освобождена из-под стражи через несколько дней после суда.

Сам факт очередного уголовного преследования по политическим мотивам, ставшие широко известными многочисленные процессуальные нарушения в ходе следствия и судебного разбирательства, суровость приговора, связь этого дела с предыдущей судебной расправой над писателями Синявским и Даниэлем, – все это вызвало беспрецедентную в СССР волну общественного протеста.

С «процессом четырех» связана такая знаменитая акция как обращение Ларисы Богораз и Павла Литвинова «К мировой общественности» *(см. стр. 43)*, инициировавшее петиционную кампанию («эпистолярную революцию», как ее иногда называли), масштабы которой не были превзойдены за весь период существования в СССР диссидентского сопротивления. В защиту Гинзбурга и Галанскова были направлены десятки индивидуальных и коллективных писем, под которыми были собраны свыше 1000 подписей (среди подписавших было немало видных деятелей советской науки, литературы и искусства). Кампания привела к консолидации протестной активности в стране и становлению правозащитного движения в СССР. На волне этой активности, в апреле 1968 г. был выпущен первый номер «Хроники текущих событий» *(стр. 27)* – самиздатского информационного бюллетеня правозащитников.

Павел Литвинов начал работу над сборником сразу же после окончания процесса. В сборнике (более 500 машинописных страниц) шесть частей. Первая часть «Личности

обвиняемых» содержит биографии обвиняемых, включая обстоятельства их ареста в январе 1967 г. Вторая часть «Перед судом» повествует о событиях февраля-декабря 1967 г., в т.ч. краткую историю судов над участниками демонстрации на Пушкинской площади 22.01.1967, а также первые петиции в защиту будущих подсудимых. Третья, самая обширная часть, составляющая почти половину книги — «Суд» — представляет собой подробнейшее описание процесса, включая схему зала суда, запись судебных заседаний в течение всех четырех дней, петиции с протестами против нарушения законности в ходе процесса, распространенные в дни суда, тексты обвинительного заключения и приговора. Четвертая часть — «Письма и обращения советских граждан» — воспроизводит основной блок материалов петиционной кампании (30 писем, отправленных с января по май 1968 г.). Пятая часть — «Освещение суда в прессе» — включает краткие заметки о процессе, публиковавшиеся во время разбирательства дела, а также последовавшие за процессом большие статьи в центральных советских газетах с резкими нападками на осужденных, прежде всего на Гинзбурга и Галанскова. В этой же части были помещены опубликованные в советской прессе «письма читателей», поддерживавшие официальную точку зрения, и письма-протесты против дискредитации осужденных, порой с требованиями привлечь журналистов к ответственности за клевету. Сюда же были включены материалы о первых преследованиях участников петиционной кампании, волна которых началась после выступления генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на Московской городской партконференции в марте 1968 г. В шестой, последней части «Кассационное слушание» была опубликована запись кассационного разбирательства по делу в Верховном суде РСФСР, закончившегося утверждением обвинительного приговора. Сборник снабжен приложением, где приведены: материалы об эмиссаре НТС Николае Броксе-Соколове, который не был знаком с подсудимыми и узнал об их существовании только после ареста (выдавался обвинением и официозной прессой за важнейшего свидетеля, уличавшего подсудимых в преступных связях с иностранными разведками); статья Андрея Амальрика о попытке проведения пресс-конференции для советских и иностранных журналистов с участием родственников и друзей подсудимых (намечалась на 1.02.1968, но была сорвана властями); тексты листовок, распространенных иностранцами в Москве летом 1968 г. в защиту Гинзбурга, Галанскова и других советских политзаключенных; тексты статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РСФСР, упомянутые в книге; список, состоящий только из фамилий участников петиционной кампании (занимает около 20 стр.).

Последние материалы, приведенные в сборнике, датированы июнем 1968 г. После ареста Литвинова (25.08.1968) составление сборника завершил молодой историк и публицист Андрей Амальрик, но свою фамилию в качестве еще одного составителя он не указал. В самиздате сборник из-за большого объема имел незначительное хождение, однако отдельные тексты получили широчайшее распространение: «Обращение к мировой общественности», речь адвоката Бориса Золотухина, потребовавшего оправдать своего подзащитного А.Гинзбурга, последние слова подсудимых, ряд индивидуальных писем и петиций. Книга «Процесс четырех...» была типографски издана в 1971 г. в Амстердаме Фондом имени А.И. Герцена; переведена на английский (The Trial of the four: A coll. of materials on the case of Galanskov, Ginzburg, Dobrovolsky & Lashkova, 1967-68 / Comp., with comment. by P. Litvinov.- New York: Viking press, 1971.- 434 p.) и французский языки. В СССР и постсоветской России сборник не переиздан (хотя ряд вошедших в него документов, ставших популярными публицистическими текстами Самиздата, многократно публиковались).

«Правосудие или расправа?» Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 года

Машинописный сборник, составленный молодым московским физиком Павлом Литвиновым, внуком наркоминдела М.М. Литвинова (это была его первая общественная акция). Сборник посвящен истории правозащитного митинга в Москве (второго после «Митинга гласности» 5.12.1965), организованного Владимиром Буковским в знак протеста против ареста в январе 1967 г. четверых молодых инакомыслящих.

У памятника Пушкину 22 01.1967 в 18 часов собралась группа молодежи (не более 30 человек), были подняты плакаты с требованиями освободить четверых арестованных по политическим мотивам (Юрия Галанскова и других – будущих фигурантов «процесса четырех») и отменить «антиконституционные» статьи Уголовного Кодекса РСФСР – статью 70 и недавно введенные статьи 190-1 и 190-3, вводивших уголовную ответственность за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» и «групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок» В отличие от «митинга гласности», власти пошли на уголовное преследование организатора демонстрации и ее активистов. Двое манифестантов (поэт Евгений Кушев и рабочий Виктор Хаустов) были задержаны на площади (Хаустов при задержании оказал сопротивление), трое (сам Буковский, учитель Илья Габай и поэт Вадим Делоне) были арестованы через несколько дней. Следствие (неоднократно передававшееся из КГБ в прокуратуру и обратно) и суды над арестованными продолжались более полугода, судьба всех пятерых была различной. Хаустов был приговорен за «хулиганство» к 3 годам лагерей (Мосгорсуд, 16.02.1967), Габай в июне 1967 г. неожиданно был освобожден, дело Буковского, Кушева и Делоне слушалось в Мосгорсуде 30.08.-01.09.1967, им была инкриминирована та самая ст. 190-3, отмены которой они требовали. Кушев и Делоне, проявившие на суде признаки раскаяния, получили условные приговоры, а Буковский, в течение всего процесса (и особенно в последнем слове) твердо отстаивавший право на свободу слова и демонстраций и сравнивший советские законы с порядками фашистской Испании, был приговорен к 3 годам лагерей. Процессы над демонстрантами вызвали большой общественный интерес, возле здания суда толпились друзья и знакомые подсудимых, не допущенные в зал, однако единственным опубликованным в СССР сообщением о демонстрации и судьбе ее участников стала краткая анонимная заметка в газ. «Вечерняя Москва» (4.09.1967). В этих условиях П. Литвинов начал работу над сборником, взяв за образец «Белую книгу по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», составленную его другом А. Гинзбургом (одним из арестованных в январе 1967 г). В сборник «Правосудие или расправа» вошли документы обоих судебных процессов (запись судов, тексты приговоров, кассационных жалоб и определений Верховного Суда РСФСР, письма и заявления родственников и друзей подсудимых, репортажи об обстановке в здании суда и вокруг него, отклики общественности, тексты статей УК, отмены которых требовали демонстранты, а также тексты статей Конституции СССР и Всеобщей декларации

прав человека, нарушенных этими статьями и приговорами). Узнав о работе Литвинова над составлением сборника, КГБ пыталась его запугать – в конце сентября 1967 он был вызван на Лубянку, где Литвинова предупредили об уголовной ответственности за создание и распространение подобного сборника. Однако Литвинов не прекратил работу, и даже включил в сборник запись этой беседы в КГБ. В начале 1968 г. сборник «Правосудие или расправа? Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 года» (около 200 машинописных страниц) был закончен, он распространялся в самиздате и в 1968 г. был переиздан за границей (Лондон: OPI, 158 с.). В 1969 г. перевод сборника на английский язык был опубликован в Англии и США (The Demonstration in Pushkin Square. London: Harvill, 129 p.; Boston: Gambit, 176 p.).

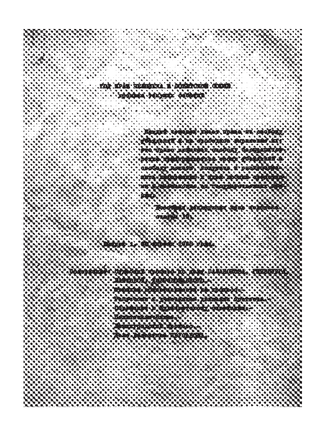
КГБ не выполнил свою угрозу расправиться над составителем сборника, однако 25 августа 1968 г. Литвинов все-таки был арестован – как один из участников демонстрации на Красной площади против интервенции в Чехословакии. В СССР и постсоветской России сборник не переиздавался.

Некоторые материалы, вошедшие в сборник, см. на стр. 19 настоящего тома.

Четырнадцать последних слов

«Четырнадцать последних слов» — машинописный сборник, составленный в ноябре 1970 г. молодым московским математиком и переводчиком Юлиусом Телесиным (в 1967-1970 гг. он был так увлечен собиранием и распространением Самиздата, что получил от друзей шутливое прозвище «Принц Самиздатский»). В сборник (его первоначальный вариант был распространен в феврале 1970 г. под названием «Тринадцать последних слов») вошли защитительные речи и последние слова подсудимых, произнесенные на политических процессах 1966-1970. Открывается сборник последними словами писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля в Верховном суде РСФСР (Москва, 14.02.1966). В него вошли также речи украинского журналиста Вячеслава Чорновила (Львовский облсуд, 15.08.1967) *(стр. 59)*; Владимира Буковского (Московский городской суд, 1.09.1967); Юрия Галанскова и Александра Гинзбурга (Московский городской суд, 12.01.1968) *(стр. 24)*; пятерых подсудимых — участников демонстрации на Красной площади 25.08.1968 — Ларисы Богораз *(стр. 310)*, Павла Литвинова, Вадима Делоне, Владимира Дремлюги, Константина Бабицкого (Московский городской суд, 11.10.1968); активиста крымскотатарского национального движения Гомера Баева (Крымский областной суд, Симферополь, 29.04.1969); московского математика, распространителя Самиздата Ильи Бурмистровича (Московский городской суд, 21.05.1969). В окончательный вариант сборника было добавлено последнее слово историка и публициста А. Амальрика (Свердловский городской суд, 12.11.1970). Речи, включенные в сборник, принадлежат людям разных профессий и общественного положения (среди них — профессиональные литераторы, журналисты, филологи, математики, физики, рабочие) и разных национальностей (русские, украинцы, евреи, татары). Судили их тоже за разные «преступления» – одних за собственное творчество (Синявский, Даниэль, Амальрик), других — за распространение «клеветнических» документов (Гинзбург, Галансков, Чорновил, Баев, Бурмистрович), третьих — за организацию несанкционированных демонстраций и участие в них (Буковский и манифестанты, вышедшие на Красную площадь). Однако объединяет авторов и их последние слова на суде одно – непризнание подсудимыми своей вины и отстаивание прав на свободу слова и демонстраций. Сборник продолжал традицию открытого противостояния подсудимых и власти на политических процессах, заложенную еще на суде над Синявским и Даниэлем. Все вошедшие в сборник тексты были хорошо известны в Самиздате и неоднократно печатались за границей как на русском, так и на иностранных языках, однако сам сборник «14 последних слов» в целом никогда не переиздавался типографски.

Хроника текущих событий



«Хроника текущих событий» — машинописный информационный бюллетень правозащитников, выпускавшийся ими в течение 15 лет, с 1968 по 1983 гг. Всего за это время вышло 63 выпуска «Хроники».

1968 год был объявлен Организацией Объединенных Наций Годом прав человека, в ознаменование 20-й годовщины принятия ООН Всеобщей Декларации прав человека. В Советском Союзе этот год начался с судебного процесса над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, А. Добровольским и В. Лашковой — одного из самых громких политических дел брежневской эпохи, преследованиями инакомыслящих, гонениями на людей, поднявших свой голос в защиту осужденных, ужесточением цензурного контроля над литературой. На титульном листе бюллетеня, первый выпуск которого датирован 30 апреля 1968 г., было напечатано: «Год прав человека в СССР». Чуть ниже стоял эпиграф — текст ст.19 Всеобщей Декларации о праве каждого искать, получать и распространять информацию, а еще ниже — слова: «Хроника текущих событий».Строго говоря, первый составитель бюллетеня, Наталья Горбаневская, предполагала назвать его «Год прав человека в СССР» (что, между прочим, косвенно свидетельствует о первоначальном отсутствии намерения выпускать бюллетень в течение долгого времени); слова же «Хроника текущих событий» скорее имели в виду заявить жанр издания и представляли собой подзаголовок. Однако, читатели приняли их за название, а слова «Год прав человека в СССР» — за девиз, обозначающий тему бюллетеня. Это прочтение титульного листа устоялось и было принято составителем, тем более, что издание продолжилось и после окончания Года прав человека. В 1969 г. на титуле появился новый девиз: «Год прав человека в СССР продолжается». Впоследствии он несколько раз менялся: «Движение в защиту прав человека в Советском Союзе продолжается», «Борьба за права человека в СССР продолжается», «Выступления в защиту прав человека в СССР продолжаются». Структура бюллетеня определилась уже в первых его выпусках. «Хроника» делилась на две части. Первая содержала подробное изложение главных, на взгляд составителей, событий, произошедших между датой, которой был помечен предыдущий выпуск, и датой текущего номера. Вторая состояла из постоянных рубрик, образованных по тематическому и, отчасти, жанровому признаку: «Аресты, обыски, допросы», «Внесудебные преследования», «В тюрьмах и лагерях», «Новости Самиздата», «Краткие сообщения», «Исправления и дополнения». Первоначальная рубрикация, разумеется, увеличивалась и усложнялась за счет новых проблем, попадавших в поле зрения правозащитников. Так, вскоре появились рубрики «Преследования верующих», «Преследования крымских татар», «Репрессии на Украине». Позже, в начале 1972 г. возникла рубрика «Преследования верующих в Литве», в середине того же года получившая новое, более общее название «События в Литве» и ставшая постоянной.

Неизменным оставался стиль «Хроники»: сдержанный, безоценочный,

фактографический. Неизменной оставалась ее тематика: нарушения основных гражданских прав и свобод в СССР, выступления в их защиту, действия, реализующие их «явочным порядком». Неизменными оставались принципы издания: стремление к максимальной точности и полноте информации, объективность в ее подаче.

Составители «Хроники» не объявляли своих имен открыто. Все же было бы большим преувеличением утверждать, что бюллетень делался в «глубоком подполье»: во всяком случае, в течение первых полутора лет его существования было широко известно, что основной труд по подготовке выпусков взяла на себя Н. Горбаневская, чьими единоличными усилиями и были подготовлены первые девять номеров, за исключением, может быть, 3-го (в работе над ним активно участвовали Илья Габай и его жена Галина). Трудно сказать, почему в течение этого времени КГБ воздерживался от арестов. Возможно, причина в том, что не так-то легко обвинить в «антисоветской пропаганде» или «клевете на советский строй» чисто информационный бюллетень, беспристрастно и точно излагавший факты и не содержащий ни призывов к свержению Советской власти, ни грубых искажений действительности. А руководство органов госбезопасности в то время стремилось застраховать себя от упреков в прямой фальсификации обвинений. Позднее КГБ отказался от подобной щепетильности. После ареста Горбаневской по обвинению в причастности к изготовлению и/или распространению «Хроники» в разные годы были арестованы: Юрий Шиханович, Петр Якир, Виктор Красин, Габриэль Суперфин, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Татьяна Великанова, повторно — Юрий Шиханович. По-видимому, этот список неполон: мы привели имена лишь тех, кто был и в самом деле причастен к составлению выпусков или, по крайней мере, к их размножению или передаче за рубеж. Большинству арестованных, предъявлялись, впрочем, и другие обвинения аналогичного характера.

«Хроника» получала информацию для своих выпусков простым и эффективным способом, сложившимся в значительной мере стихийно: устоявшийся механизм самиздатского распространения текстов работал в этом случае в «обратном» порядке. Этот механизм четко описан в обращении к читателям «Хроники», помещенном в 5 выпуске бюллетеня:

«Хроника» ни в какой степени не является нелегальным изданием, но условия ее работы стеснены своеобразными понятиями о легальности и свободе информации, выработавшимися за долгие годы в некоторых советских органах. Поэтому «Хроника» не может, как всякий другой журнал, указать на последней странице свой почтовый адрес. Тем не менее, каждый, кто заинтересован в том, чтобы советская общественность была информирована о происходящих в стране событиях, легко может передать известную ему информацию в распоряжение «Хроники». Расскажите ее тому, у кого вы ее взяли «Хронику», а он расскажет тому, у кого он взял «Хронику» и т.д. Только не пытайтесь единолично пройти всю цепочку, чтобы вас не приняли за стукача».

Позднее, в 1970-е гг., к сообщениям, получаемым вышеописанным способом, добавилась информация, поступающая от независимых правозащитных ассоциаций, обладавших собственными источниками информации (например, от Московской Хельсинкской группы) или извлекаемая из другой самиздатской периодики. Еще позднее появились специализированные правозащитные издания, такие, как «Бюллетень «В»», предназначенные не столько для самиздатского распространения, сколько для использования их в качестве первичного источника другими изданиями. «Хроника» выходила регулярно, в среднем раз в два месяца, до конца 1972 г.; затем, после выхода 27-го выпуска, издание было приостановлено. Причиной тому был шантаж со стороны КГБ, который открыто угрожал, что каждый новый выпуск станет причиной арестов, причем вовсе не обязательно

арестованы будут именно те, кто этот выпуск делал. (Во исполнение этой угрозы была арестована Ирина Белогородская, которая и в самом деле в тот момент не принимала участия в подготовке бюллетеня, да и раньше ее роль сводилась к организации перепечатки).

Однако уже к осени следующего года началась подготовка к возобновлению «Хроники». Было решено подготовить сразу три выпуска, содержание которых относилось бы ко времени «перерыва» и покрывало бы лакуну, образовавшуюся за это время. К началу мая 1974 г. все три выпуска — 28-й, 29-й и 30-й — были готовы.

Одновременно в среде людей, близких к бюллетеню, обсуждалась возможность объявить редакцию издания. Преимущества такого решения были очевидны: во-первых, резко уменьшались возможности КГБ шантажировать «Хронику» арестами непричастных или мало причастных к ней людей; во-вторых, корреспондентам (они же читатели) «Хроники» становилось проще передавать ей информацию. Очевидны были и минусы: этот шаг был бы воспринят властями как дополнительный вызов, и объявленные редакторы, скорее всего, очень быстро оказались бы за решеткой.

Высказывались и более общие соображения против этого шага: «Хроника» является общим и, возможно, главным делом всего правозащитного движения, его стержнем; именно так ее воспринимают ее распространители, читатели, корреспонденты, помощники. Они ощущают себя такими же участниками этого дела, как и те, кто отбирает и редактирует тексты или составляет макет очередного выпуска. И у них есть определенные основания рассматривать себя как участников, ибо первые рискуют не меньше вторых. Иными словами, правомерно ли вообще применять слово «редакция», говоря о «Хронике текущих событий»?

В конце концов, было принято промежуточное решение: состав редакции на титульном листе проставлять не стали, однако 7 мая 1974 г. несколько членов Инициативной группы по защите прав человека в СССР созвали пресс-конференцию. На этой пресс-конференции три подготовленных выпуска были открыто переданы журналистам, а вместе с ними — заявление для прессы, подписанное тремя членами Инициативной группы: Татьяной Великановой, Сергеем Ковалевым и Татьяной Ходорович. Заявление состояло всего из двух предложений:

«Не считая, вопреки неоднократным утверждениям органов КГБ и судебных инстанций СССР, «Хронику текущих событий» нелегальным или клеветническим изданием, мы сочли своим долгом способствовать как можно более широкому ее распространению. Мы убеждены в необходимости того, чтобы правдивая информация о нарушениях основных прав человека в Советском Союзе была доступна всем, кто ею интересуется».

Авторы, таким образом, брали на себя ответственность за распространение, бюллетеня, а не за его составление. Этот нюанс, впрочем, был понятен далеко не всем, и многие восприняли заявление от 7 мая как объявление состава «редакции». Надо сказать, что, это было не так уж далеко от истины: из трех человек, подписавших заявление, двое, — Великанова и Ковалев, — действительно, входили в число составителей «Хроники».

Тогда же было принято решение упорядочить положение с зарубежными переизданиями «Хроники», уточнить авторские права. Полномочным представителем издания за рубежом, располагающим копирайтом на републикацию выпусков, «Хроника» объявила Павла Литвинова. Пресс-конференция 7 мая произвела сильный эффект — ведь все, в том числе и КГБ, были уверены что с «Хроникой» покончено полтора года назад. Поток информации резко увеличился; соответственно, расширились тематика и география мест, откуда поступала информация.

В дальнейшем «Хроника» до самого конца выходила без перерыва. Правда, в феврале 1981 г. уже подготовленный 59-й выпуск был изъят при обыске на квартире одного из

составителей, Леонида Вуля. Было решено не восстанавливать этот номер, а сразу перейти к подготовке 60-го выпуска. Возобновленная «Хроника» сохранила все свои черты, кроме двух: компактности (поток информации, как уже говорилось, резко расширился, а вместе с ним — и объем издания) и, как следствие, оперативности (подготовка выпуска занимала существенно больше времени). И раньше дата, стоявшая на титульном листе, не вполне соответствовала дате окончания работы над выпуском: реально она обозначала лишь верхнюю временную границу для событий, включаемых в данный номер. В трех «ретроспективных» выпусках, подготовленных, чтобы перекрыть перерыв в издании, этот разрыв был специально оговорен. Но и в дальнейшем сохранить прежнюю частоту выпусков и устойчиво восстановить оперативность бюллетеня не удалось. За период с мая 1974 по октябрь 1983 г. было подготовлено всего 35 выпусков (включая изъятый на обыске 59-й и не выпущенный в свет 65-й), в среднем по 3-4 выпуска в год против прежних 6. Но это в среднем; на самом деле запаздывание увеличивалось год от года. Последний выпущенный в свет 64-й номер «Хроники» был датирован 30 июня 1982 г., а следующий, 65-й, был подготовлен лишь осенью 1983 г. Ни в Самиздат, ни за рубеж он уже не попал. Машинописный экземпляр 65-го выпуска, сохраненный одним из составителей последних номеров «Хроники», Борисом Смушкевичем, находится ныне в архиве «Мемориала».

Издание «Хроники текущих событий» прекратилось после ареста 17 ноября 1983 г. Юрия Шихановича, в течение многих лет игравшего существенную, а с мая 1980 г. — определяющую роль при подготовке выпусков бюллетеня. Более оно не возобновлялось. Традиции правозащитного информационного периодического издания отчасти имели в виду Александр Подрабинек, создавая в 1987 г. газету «Экспресс-хроника» и Сергей Григорьянц, редактор основанного тогда же бюллетеня «Гласность». Но это был, конечно, уже совсем другой Самиздат совсем другой эпохи.

* * *

«Хроника текущих событий» сыграла историческую роль в возникновении в СССР зачатков независимой общественности.

Во-первых, она фактически положила начало периодике Самиздата (если не считать «Синтаксиса» Александра Гинзбурга в 1959-1960 гг. *(см. т. 1, кн. 2, стр. 349)* и нескольких СМОГистских журналов начала 1960-х *(см. т. 1, кн. 2, стр. 353*—356*)* — но и «Синтаксис», и издания СМОГистов представляли собой поэтические альманахи и сборники, и не претендовали на то, чтобы считаться «средствами массовой информации» в прямом смысле этого слова. Таким образом, с «Хроники» начинается история свободной прессы в России второй половины XX столетия.

Во-вторых, «Хроника» сыграла определяющую роль в консолидации правозащитной активности в СССР. Механизм распространения ее выпусков и, в особенности, механизм сбора информации привел к возникновению единого информационного поля, охватывающего все значимые проявления общественной активности диссидентского (а в ряде случаев — и не только диссидентского типа). «Хроника» сформировала правозащитное движение в СССР и, в определенном смысле, и была этим движением.

Позднее, с возникновением других правозащитных институций, функции «Хроники» потеряли свою уникальность. Но свое значение летописи диссидентства она не потеряла даже после возникновения в СССР в 1976 г. Хельсинкского движения.

Тексты из «Хроники» см.: т. 2, стр. 27; т. 3, стр. 21, 178, 209, 214, 288.

Феникс

(Москва, 1966)

Второй сборник «Феникс» (т.н. «Феникс-66», о первом «Фениксе» *см. т. 1, кн. 2, стр. 350)*. «Феникс» (1961)) был составлен Ю. Галансковым в Москве осенью 1966 г. Непосредственным толчком к его появлению был прошедший в феврале 1966 г. суд над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. В отличие от предыдущего сборника, в «Фениксе-66» основное место занимала не поэзия, а литературная, философская и политическая публицистика. Туда были включены две статьи Синявского (одна из которых – «Что такое социалистический реализм» — была только что признана Верховным судом РСФСР «антисоветской», а вторая – «В защиту пирамиды», подготовленная к печати журналом «Новый мир», была снята цензурой после ареста писателя). В сборник также вошли широко распространявшиеся в самиздате в середине 1960-х гг. тексты: открытое письмо журналиста Эрнста Генри к писателю Илье Эренбургу с резкой оценкой личности Сталина, философское эссе Григория Померанца «Квадрильон», «Завещание академика Варги» (статья о политико-экономическом развитии СССР в 1924-1964, автор которой – профессор МГУ Г.Н. Поспелов – распространил ее в Самиздате за подписью только что скончавшегося известного советского экономиста венгерского происхождения) и др. Программными для «Феникса-66» были две работы самого Галанскова: «Открытое письмо Михаилу Шолохову» *(см. стр. 11*) с резкой критикой «погромного» выступления нобелевского лауреата на XXIII съезде КПСС, призывавшего к бессудной расправе над арестованными писателями, и статья «Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире» – один из первых пацифистских документов в советском Самиздате. Кроме того, сборник включал стихи молодых московских поэтов — от «маяковцев» до СМОГистов.

«Феникс-66» был передан редактором на Запад (после смерти Галанскова руководители эмигрантской партии НТС заявили, что Галансков хотел, чтобы сборник вышел в их партийном издательстве «Посев», поскольку составитель тайно вступил в НТС, фрагменты «Феникса-66» публиковались в нескольких номерах журнала «Грани» за 1967-1970 гг.). В январе 1967 г. Галансков был арестован в Москве органами госбезопасности. На «процессе четырех» (А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, А. Добровольского, В. Лашковой, Москва, январь 1968 г.) некоторые тексты, вошедшие в «Феникс-66», были признаны «антисоветскими», редактирование, размножение и передача сборника за границу были вменены в вину и Галанскову, и его однодельцам, осужденным по ст. 70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда»).

Отдельным изданием «Феникс-66» никогда не выходил, поэтому его распространение, если и имело место на родине, то было довольно ограниченным (в отличие от большинства включенных в сборник произведений, которые были очень популярны).

Общественные проблемы

Машинописное издание, периодически выпускавшееся московским физиком и правозащитником Валерием Чалидзе в августе 1969-феврале 1972 г. Вышло 15 выпусков (объем каждого составлял от 50 до 100 стр.). Из-за склонности автора к исследовательской постановке проблем издание имело не прикладной, а теоретический характер. Отбор материалов, по заявлению самого составителя, производился «с учетом актуальности тематики, квалифицированности и конструктивности текста». Одной из постоянных рубрик «Общественных проблем» были «Общие вопросы». Сюда включались статьи по самым различным аспектам гуманитарных наук (экономике, философии и т.д.), здесь было помещено знаменитое письмо А.Д. Сахарова, Р.А. Медведева и В.Ф. Турчина в ЦК КПСС (1970, №5), начало философского исследования Г. Померанца «Сны земли» (1970, №4), «Срам» — воспоминания О.О. Грузенберга, одного из адвокатов по делу Бейлиса (1971, №9), исследование «О логике нравственных наук» (1971, №12) А.С. Есенина (Вольпина) – постоянного автора «Общественных проблем». Рубрика «Право» была центральной для издания, поскольку составитель принадлежал к когорте правоведов в диссидентстве. Там была помещена статья составителя «О факультативном протоколе к Международному Пакту о гражданских и политических правах» (1969, №1) — подробный разбор одного из центральных документов международного гуманитарного права. Анализ этого акта продолжил в №3 (1970) Есенин-Вольпин. В №4 (1970) Вольпин поместил статью «Долг или обязанность» с разбором ст.13 Основ законодательства СССР о семье и браке, вменяющей в обязанность родителям «воспитывать своих детей в духе морального кодекса строителя коммунизма». Еще одна статья Вольпина «О гласности судопроизводства» была помещена в №7 (1970). В №5 (1970) была опубликована статья Чалидзе «О принудительной госпитализации в психиатрические больницы» — теоретическое исследование правовых основ одного из изощренных приемов советской репрессивной политики. В 15 выпуске (1972) было напечатано письмо составителя Председателю Международной Лиги прав Человека о проблеме защиты прав тех военнослужащих, которые являются таковыми не по доброй воле и найму, а по обязанности.

Рубрика «Документы юридической практики» включала материалы об экспериментах составителя и других диссидентов-правоведов (Вольпин, Борис Цукерман), пытавшихся оспаривать в судебном порядке неправовые действия тех или иных органов власти (местные Советы, пенитенциарные органы, ОВИР). Там же помещались надзорные жалобы на приговоры по политическим делам, ходатайства и протесты. Начиная с №8 (ноябрь-декабрь 1970 г.) заметное место на страницах издания стали занимать документы Комитета прав человека, инициатором создания и членом-учредителем которого был Чалидзе. Они публиковались в специальной рубрике, там помещались доклады и мнения членов Комитета (Чалидзе, А.Д. Сахарова, А.Н. Твердохлебова, И.Р. Шафаревича), доклады и мнения

экспертов (Вольпин), письма и обращения от имени Комитета в советские и международные инстанции, протоколы его заседаний (некоторые выпуски «Общественных проблем» полностью состояли из материалов Комитета — например, №11, 1970). Статья «Право на защиту» (автор — адвокат Софья Васильевна Каллистратова, анонимный эксперт Комитета) — единственный материал в 15 выпусках сборника, где, вопреки установке составителя на безупречную легальность издания, автор не был указан (1971, №9).

В разных рубриках «Общественных проблем» постоянно публиковались переводные материалы. Среди них — международные правовые акты (документы ООН, касающиеся прав человека (1971, № 13), Конвенция МОТ «О запрещении принудительного труда» (1970, №4)); документы компартии и правительства Чехословакии периода «Пражской весны» (1970, №3); материалы Второго Ватиканского собора, на котором католическая церковь впервые за многовековую историю признала право гражданской и религиозной свободы личности (1970, №3, 4). Воспроизводились статьи из журнала «Права человека», издававшегося Международном Институтом прав Человека (Институт Р. Кассена). Один из выпусков (№6, 1970) целиком состоял из переводов статей, опубликованных в этом журнале.

В последнем, 15-м выпуске журнала (февраль 1972) Чалидзе заявил о прекращении издания, объясняя это трудностью получения материалов, соответствующих его профилю. На деле причин было несколько: определенное непонимание теоретической постановки проблем прав человека в СССР, к которой был склонен Чалидзе, в тогдашнем диссидентском круге; а также усилившееся давление властей, которое привело в конце 1972 г. к эмиграции составителя.

Поселившись в США, Чалидзе вел активную издательскую деятельность, но «Общественных проблем» не переиздал. Некоторые материалы вошли в изданный им сборник «Права человека и Советский Союз» (Нью-Йорк: Хроника, 1974.- 304 с.; перевод на англ. яз.: To defend these rights : Human rights a. the Soviet Union.- New York: Random house, 1974.- 340 p.). Все выпуски «Общественных проблем» воспроизведены в «Собрании документов Самиздата» (Т.7.- [1974].- АС№479-а, АС479-б, АС479-в; Т.16.- [1976].- АС№499-а, АС№499-б, АС№499-в, АС№657-а, АС№657-б, АС№659-а, АС№659-б, АС№659-в, АС№660-а, АС№660-б, АС№660-в, АС№661).

В СССР и постсоветской России «Общественные проблемы» переизданы не были.

ВЕЧЕ

«Вече», г. Александров, Владимирская обл., 1971-1974.

Один из первых «толстых» самиздатских журналов в СССР и первое периодическое издание Самиздата, ставшее трибуной русских православных националистов. Издавался с января 1971 по апрель 1974 (№№1-10). Основателем журнала и редактором №№ 1-9 был историк и публицист, один из активистов собраний молодежи на пл. Маяковского в 1960-61 гг., бывший политзаключенный Владимир Осипов. Журнал выходил в среднем 3 раза в год, печатался на машинке (объем номера составлял около 300 стр.), редакционный тираж составлял несколько десятков экземпляров. Среди постоянных авторов журнала были московский священник Дмитрий Дудко, бывший политзаключенный, писатель Леонид Бородин, публицисты Геннадий Шиманов, Анатолий Иванов (псевдоним В.Скуратов) – возможный автор «Слова Нации», Светлана Мельникова, Михаил Кудрявцев, Михаил Антонов. В журнале помещались художественные произведения, статьи, исследования, эссе, очерки, рецензии по проблемам философии, экономики, внутренней и внешней политики России дореволюционного и советского периода. Старейшая поэтесса, многолетняя узница ГУЛага Анна Баркова поместила в «Вече» цикл стихотворений «Тоска татарская», там было впервые напечатано эссе молодого писателя Венедикта Ерофеева «В.В. Розанов глазами эксцентрика». К программным материалам журнала относится редакционная статья «Борьба с так называемым русофильством или путь государственного самоубийства» – ответ на статью ответственного работника ЦК КПСС, будущего «прораба перестройки» Александра Яковлева («Литературная газета», 1972), критиковавшего неославянофильское направление в советской литературе и публицистике. Кроме инакомыслящих авторов, не имевших возможности печататься в советской печати, к журналу тяготели и некоторые «официальные» писатели славянофильской ориентации. Попытки привлечь к участию в издании Александра Солженицына не увенчались успехом.

Журнал «Вече» издавался открыто: официальные инстанции получили уведомление о начале его выхода, фамилия редактора и его адрес (как бывший политзаключенный, Осипов не имел права жить в Москве и поселился в г. Александрове Владимирской обл.) указывались на обложке каждого номера. Открытый, подчеркнуто лояльный характер издания не облегчил судьбы журнала – его редактор постоянно подвергался преследованиям властей (задержания, обыски, конфискация рукописей). В феврале 1974 г. Осипов объявил об отказе от редактирования журнала (в результате конфликта в редколлегии, сопровождавшегося обменом резкими заявлениями со взаимными нападками). Последний, 10-й, выпуск журнала «Вече» вышел в апреле 1974 г. под редакцией С. Мельниковой и бывшего политзаключенного Ивана Овчинникова. В начале июля 1974 г. они объявили о прекращении издания.

Арестованный в ноябре 1974 г., Осипов в сентябре 1975 г. предстал перед Владимирским областным судом по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». Основу обвинения

Осипова составляло издание, редактирование и распространение 9 номеров журнала «Вече», а также авторство нескольких статей (о народном пьянстве, о разрушении старой Москвы, о преследовании религии в СССР) в этом журнале. В последнем слове на суде Осипов настаивал на своей лояльности к советской власти, утверждал, что считает «Вече» своевременным и нужным изданием, стремящимся к национальному и религиозному возрождению русского народа. Суровый приговор (8 лет лагерей) вызвал протесты в СССР. Академик Сахаров, «не разделяя позиции издаваемого Осиповым журнала», заявил о недопустимости его уголовного преследования за убеждения. В защиту Осипова высказалась и группа московских правозащитников во главе с Юрием Орловым. Экземпляры журнала неоднократно изымались на обысках (см. «Хроника текущих событий», №№ 30, 32, 44). Материалы нескольких номеров журнала «Вече» были переизданы за границей издательством «Посев» в серии «Вольное слово».

«Вестник РХД» (Вестник Русского христианского движения; Le messager)



Русский религиозно-философский, политический и литературный журнал.

Орган религиозно-общественной организации Русское студенческое христианское движение, действующей в Западной Европе и США, созданной в 1923 г. под эгидой международного движения YMCA (Young Man Christian Association). Выпускался в Париже в издательстве «YMCA-press» с 1925 г. (первоначальные названия: Вестник Русского студенческого движения в Западной Европе; Вестник церковной жизни; Вестник – орган Русского студенческого христианского движения; Вестник Русского студенческого христианского движения; под нынешним названием с 1974 г.). Публиковал богословские и философские работы, обзоры православной жизни за рубежом. Редактор с 1955 г. – Никита Алексеевич Струве (официально – с 1970 г.).

Со времен хрущевской оттепели «Вестник РСХД» стал последовательно откликаться на внутрироссийские литературные и общественные явления. В конце 1960-х гг. (с помощью молодого московского искусствоведа Евгения Барабанова) журнал начал регулярно получать и публиковать произведения самиздата из СССР. Журнал, наряду с публикациями из архивов эмигрантских авторов (о.Сергия Булгакова, Николая Бердяева, Льва Шестова) стал регулярно печатать доставленные из России неизвестные работы великого ученого и богослова Павла Флоренского, стихи Максимилиана Волошина, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой. Иногда в «Вестнике» перепечатывались отечественные самиздатские журналы (так, в № 123 за 1977 г. помещена большая подборка произведений из выходившего в Ленинграде журнала «37»). С 1971 г. был установлен тесный контакт издательства YMCA-press и журнала «Вестник РСХД» с Александром Солженицыным (после высылки из СССР в 1974 г. и до возвращения на Родину в 1994 г. писатель именно в этом журнале публиковал большинство своих статей и фрагменты из многотомной эпопеи «Красное колесо», оказывал влияние на редакционную политику; историю своих отношений с журналом и его редактором Н. Струве Солженицын описал в своих воспоминаниях «Бодался теленок с дубом» и «Угодило зернышко меж двух жерновов»). В «Вестнике» постоянно публиковались материалы, связанные с защитой прав верующих (прежде всего православных христиан), нарушаемых в СССР – документы Христианского комитета защиты прав верующих (1977-1979), Христианского семинара, руководимого Александром Огородниковым, и др.

С №112/113 за 1974 г.на титульном листе «Вестника» в качестве места издания стала обозначаться и Москва – демонстрация того, что тайные члены редколлегии есть и на Родине (в отдельных номерах объем материалов, полученных из СССР, достигал 90%). Постоянными авторами журнала были математик и философ Игорь Шафаревич, священник Дмитрий

Дудко, писатель Феликс Светов, поэт Юрий Кублановский. Журнал ввозился в СССР тайно, публикации в нем входили в набор обвинений на политических процессах (Хроника текущих событий, №32, 34, 35, 58, 65). С №164 (1990) он распространяется в СССР и в России легально, с 1992 г. печатается в Москве по парижскому оригинал-макету.

Ниже мы приводим две характерные статьи из «Вестника» начала 70-х. Некоторые статьи более позднего «Вестника» можно прочитать в разделе «Публицистика» 3-го тома.

О. Алтаев

ДВОЙНОЕ СОЗНАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ПСЕВДО-КУЛЬТУРА

«Борис, не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней».

М. Цветаева – Пастернаку.
(Переписка)

2.

...На всем бытии интеллигенции лежит отпечаток всепроникающей раздвоенности. Интеллигенция не принимает Советской Власти, отталкивается от нее, порою ненавидит, и, с другой стороны, меж ними симбиоз, она питает ее, холит и пестует; интеллигенция ждет крушения Советской Власти, надеется, что это крушение все-таки рано или поздно случится, и, с другой стороны, сотрудничает тем временем с ней; интеллигенция страдает, оттого что вынуждена жить при Советской Власти, и вместе с тем, с другой стороны, стремится к благополучию. Происходит совмещение несовместимого. Его мало назвать конформизмом, комформизм — это вполне законное примирение интересов путем обоюдных уступок, принятое в человеческом обществе повсеместно. Недостаточно также обличать поведение интеллигенции как приспособленчество. Это было бы односторонней трактовкой. Приспособленчество — это уже производная от более глубоких процессов. Если это и лакейство, то лакейство не заурядное, а лакейство с вывертом, со страданием, с «достоевщинкой». Здесь сразу и ужас падения и наслаждение им; никакой конформизм, никакая адаптация не знают таких изощренных мучений. Бытие интеллигенции болезненно для нее самой, иррационально, шизоидно.

С точки зрения теоретической, вся эта группа явлений может быть приведена к единству посредством включения в обиход нового концепта, формулируемого как принцип двойного сознания [1]. Двойное сознание — это такое состояние разума, для которого принципом стал двойственный взаимопротиворечивый, сочетающий взаимоисключающие начала этос, принципом стала опровергающая самое себя система оценок текущих событий, истории, социума. Здесь мы имеем дело с дуализмом, но редкого типа. Здесь не дуализм субъекта и объекта, не дуализм двух

противоположных друг другу начал в объекте, в природе, в мире, добра и зла, духа и материи, но дуализм самого познающего субъекта, раздвоен сам субъект, его этос. Поэтому употребленное ранее выражение «шизоидность» не годится: оно несет слишком большую эмоциональную нагрузку, слишком предполагает патологию. Между тем, интеллигентская раздвоенность, хотя и доставляет неисчислимые страдания и ощутимо разрушает личность, все же, как правило, оставляет субъекта в пределах нормы, не считается клинической, что объясняется, безусловно, прежде всего тем, что двойное сознание характеризует целый социальный слой, является достоянием большой группы, а не есть исключительно индивидуальное сознание. Поэтому, оставаясь непреодоленным в разуме, разлад, тем не менее, преодолевается экзистенциально, в особого рода скептическом или циническом поведении, путем последовательного переключения сознания из одного плана в другой и сверхинтенсивного вытеснения нежелательных воспоминаний. Психика, таким образом, делается чрезвычайно мобильной; субъект непрерывно переходит из одного измерения в другое, и двойное сознание становится гносеологической нормой.

<...>

Русские люди (и во главе их русская интеллигенция) зашли в своем атеизме дальше чем любая другая, самая легкомысленная нация. Атеизм русской интеллигенции действительно был верой наизнанку. Уверовав в Канта, русский интеллигент решил, что легко обойдется теперь без Бога. Если, однако, развить дальше намек о лакействе русской интеллигенции и о «достоевщинке», то можно достаточно хорошо понять и логику последующего разворота событий. Ударившись в атеизм, русская интеллигенция, и впрямь, точь-в-точь как Смердяков, решила, что «...коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно тогда ее вовсе!». Результат этой смердяковской интеллигентской дедукции слишком хорошо известен — это кровь миллионов, это террор, это гибель русской культуры!

Если сегодня интеллигенция не отвергает добродетель совершенно, то лишь потому, что на опыте знает, что добродетельный человек лучше разбойника, с ним безопаснее жить бок о бок, и что, следовательно, невыгодно призывать к анархии и произволу, хотя, конечно, в случае нужды можно добродетелью и поступиться. Произвол, итак, ненавидят не из-за его безнравственности, а из-за того, что слишком от него уже устали. На самом деле устойчивых моральных принципов нет. Нет различия добра и зла, все «относительно», по мнению русской интеллигенции. Хорошо зная себя, свои слабости, сегодняшний русский интеллигент готов «понять и извинить» что угодно. Он оправдывает предательство, доносы, пасквильные статьи в газетах, написанные его знакомыми, ложь в публичных выступлениях. Громя на собраниях отступников, интеллигент возвращается домой и компенсирует себя, издеваясь в своих четырех стенах над теми, с кем только что был заодно, но кто менее интеллигентен на его взгляд. Сам он вступил в партию потому, что «в партии необходимо увеличить процент порядочных людей». Но в глубине души он сомневается, не должна ли она быть судима, как судима была гитлеровская партия? Но, с другой стороны, как судить всех этих людей, с такими открытыми лицами, примерных мужей и гостеприимных хозяев? И кроме того, «ведь если не они, то на их место какие-то другие, менее интел-

лигентные, менее порядочные»! Партийная книжка жжет интеллигенту грудь, но он не знает, как выбраться из этого порочного круга.

Проблема и в самом деле часто представляется как будто неразрешимой. Сама формулировка категорического императива — поступай так, как если б правило, по которому ты совершил свой поступок, посредством твоей воли могло стать всеобщим законом — позволяет дать в современных условиях любую многосмысленную трактовку любому действию. Психологизм нашего века снимает здесь возможные преграды тем, что каждый уверен, что уж его-то намеренья во всех случаях самые благие, и если б все были таковы, каков он, и руководствовались такими же намереньями, то и действительно общий результат был бы великолепен. Но это-то и порождает практику двойного сознания. Ввиду этой апории представляется, что и вообще проблема выбора меж добром и злом неразрешима, когда акту выбора уже предшествует какое-то прошлое, особенно внелично-историческое прошлое. Классический образец такого рода мнений дают слова Юрия Андреевича Живаго в романе Пастернака: «Я сказал А, но не скажу Б. Я признаю, что да, без вас Россия погибла бы, но вы пролили столько крови, что все ваши благие мечты...» и т. д. Он говорит это, но далее, по истиннейшей из логик, логике гениального художественного произведения выходит, что кто сказал А, на самом деле все-таки должен сказать и Б. А кто не хочет этого говорить, тот уходит из жизни. Даже если А за него сказали другие, а сказать Б предоставлено в некотором диапазоне. Иными словами история, предшествующие акты выбора, как будто ограничивают следующий выбор, ставя индивида в такие рамки, где он вынужден выбирать лишь из некоторого набора, притом весьма относительные ценности. Вследствие чего, человек и не может определиться, не знает, что хорошо, а что плохо. «Да, большевики — это не хорошо, но, с другой стороны, без них Россия все равно бы погибла. Значит, в их явлении была какая-то закономерность, а раз так, то...».

Вся сложность, повидимому, в том и состоит, что деление в анализе следует проводить здесь не через категории «добра» и «зла» непосредственно, а через категории «свободы» и «необходимости». Разумеется, с тем, чтобы выйти в конце концов к добру и злу. Это так постольку, поскольку то, что произошло в России — а отчасти, кажется, к этому идет дело и во всем мире, во всяком случае миру грозит, — это трагедия добровольного отказа от свободы. Трагедия, предуказанная в «Великом инквизиторе». Когда человек отказывается от Бога, и, следовательно, от свободы — ибо «где Дух Господень, там Свобода», — он тем самым избирает своим принципом — необходимость. Становится исповедником, или, что в данном случае то же самое — рабом необходимости. И вот тогда-то именно она, эта необходимость, и избавляет его от нужды выбирать между добром и злом, избавляет от ответственности, снимает вину за содеянное. Уже не он выбирает, но выбирает за него она, он лишь вынужден следовать необходимости, он поставлен перед необходимостью, поставлен в такие условия. Отказываясь от своей свободы, человек отказывается тогда и от собственной личности, он перестает видеть в себе довлеющую самой себе ценность и — что бы он ни думал о себе! — становится лишь звеном в родовой цепи, лишь мостком для следующих поколений, лишь элементом — необходимым, конечно, но элементом — в системе.

Отсюда и проистекает та философия служения общей пользе, философия

идеального функционирования элемента в системе (особенно в сугубо интеллигентском варианте «просветительства»).

Рассуждение об общей пользе осталось любимейшим рассуждением русского интеллигента. Им он успокаивает свою совесть, растревоженную очередным компромиссом.

<...>

Под знаменем просвещения на Руси, начиная с Петра, творилось много чудес. В настоящее время «просветительство» в его чистом виде выступает особенно в искусствах и гуманитарных науках. Именем просвещения создаются все эти поразительные произведения, внешне верные букве коммунистической идеологии, в которых внимательному глазу за нагромождениями словесной шелухи предлагается выловить одну-две куцые крамольные мыслишки. Авторы простодушно уверены, что, обманывая цензуру многократным славословием, они совершают гражданский подвиг, они надеются, что эти «тайные» мысли их и будут семенами долгожданного просвещения. Поэтому доблестью считается употребить в любом — самом бранном! — контексте фамилию запрещенного философа, изложить под маркой критики какую-нибудь неправоверную концепцию. Чаще всего, к сожалению, все это самообман. Крамольность эта обычно ничтожна. Заметить слегка отличающийся от официозного оттенок суждения почти не представляется возможным. Написанная как будто блестяще, точным отработанным языком статья или книга — «нечитабельна» и вызывает гнетущее впечатление. Точно так же любая пьеса, любой кинофильм, любая поэма. Лишенные возможности настоящего воплощения, творческие усилия уходят на достижение формальных эффектов: безупречных со стороны формы, но пустых, выхолощенных по содержанию произведений. За этими бесплодными занятиями оскудевают способности, мельчают таланты. Спустя несколько лет художник или мыслитель, добившись порою внешнего успеха, накопив часто незаурядные по мировым стандартам профессиональные знания, обнаруживает, что неспособен уже что-то сказать свое, оригинальное, значительное, что обречен до конца дней своих говорить этим примитивным при всем его блеске языком, обсасывая чужие концепции, популяризируя чужие открытия.

Примечательна одна особенность современного интеллигентского просветительства. Прежнее просветительство шло сверху вниз. Элита, в лице самого государя и приближенных, просвещала нацию, интеллигенция просвещала народ. Порядок был более или менее естественным. Нынешний интеллигент просвещает либо своих сотоварищей, таких же интеллигентов, от которых он почему-нибудь оторвался вперед, либо даже льстит себя надеждой просветить саму государственную власть, начальство! Он полагает, что там наверху и впрямь сидят и ждут его слова, чтобы прозреть, что им только этого и не хватает. Он надеется облагородить их, потихоньку ввести в их обиход новые понятия, прежде всего о праве, о законе, о других возможных стилях управления. Мысль о просвещении народа отошла на задний план, хоть вслух и не отрицается. Просветительство, таким образом, идет снизу вверх. Интеллигенция стала похожа на мужика, верившего, что барин добр, но управляющий обманывает его и нужно лишь, чтобы он узнал правду.

<...>

Вся история интеллигенции за прошедшие полвека может быть понята, как

непрерывный ряд таких соблазнов, вернее, как модификация одного и того же соблазна, соблазна поверить, что исправление нравов наконец совершилось, что облик Советской Власти начал меняться, что она изменила своей бесчеловеческой сущности. Все эти годы, с самых первых лет, интеллигенция жила не разумом, не волей, а лишь этим обольщением и мечтою. Жестокая действительность каждый раз безжалостно наказывала интеллигенцию, швыряла ее в грязь, на землю, разочарования были такой силы, что, казалось, от них никогда не оправиться, никогда снова не суметь заставить себя поддаться обману. Но проходило время и интеллигенция снова подымалась в прежнем своем естестве, легковерная и легкомысленная, страдания ничему не научали ее.

Для полноты списка надо начать описание исторического советского пути интеллигенции с революционного соблазна, соблазна стихии, борьбы, крушения старого, соблазна «музыки революции». «Всем сердцем, всем телом, всем сознанием — слушайте Революцию» (Ал. Блок). Эта музыка была, как известно, оплачена кровью, реками крови. Интеллигенция поняла как страшно она заблуждалась только тогда, когда и крови уже не стало ни в ком, и некому было уже играть и некому слушать.

Вслед за тем, немедленно, к 1920 году возникает надежда, что за прекращением начавшей утихать как будто бойни, утихнет и сама Власть. Это соблазн «сменовеховский», соблазн таганцевского заговора. Расчет на так называемое «термидорианское» перерождение большевизма. Во Французской революции, вслед за террором Конвента, установилось умеренное республиканское правление, водворившее законность и порядок. Считалось, что такова же будет эволюция Советской Власти. Подавление кронштадтского матросского мятежа рассматривалось как первый шаг на этом пути. Сюда же вплотную примыкает по времени и НЭП, который поэтому можно не рассматривать отдельно. Когда приблизительно к 27-му году НЭП неожиданно кончился, интеллигенция была сильно разочарована, но не предвидела еще, что грозит ей впереди.

После некоторого спада, вызванного неопределенностью обстановки, вместе с началом индустриализации и коллективизации, примерно к 1930-му году, возникает новое искушение. Интеллигенция старается поверить, что кровь и смерть, разруха и голод были недаром, что в новой очистившейся в страданиях России воцаряются, наконец, счастье и разум. Интеллигенция хочет поверить, что народ снова был прав, что правы были большевики все это время, наперекор всему ведя страну известной им дорогой, интеллигенция же, как всегда, заблуждалась. Этот соблазн можно назвать социалистическим. Хотя в опустевших деревнях голодали, по дорогам бродили толпы нищих, население страны не увеличивалось, а лагеря наполнялись первыми миллионами зэков, но верхушку интеллигенции уже подкармливали, и, трусливо закрывая глаза на правду, она убеждала себя, что вскоре и вся страна заживет так же. «Ты рядом, даль социализма!» — это упоенное восклицание поэта, всю свою дальнейшую жизнь употребившего на то, чтобы смыть с себя позор этих строк, достаточно характеризует интеллигентскую философию той эпохи. Наваждение окончилось на этот раз страшным 37-ым годом. Все живое было уничтожено, нация снова стала нацией рабов. Человек, низведенный до скотского состояния, не мог ни говорить, ни чувствовать. Лишь страх, животный страх владел им. Человек ощу-

щал себя червем, он заползал в щель, он вытравлял из себя все человеческое, равняясь на последнего мерзавца. Страх был непереносим. Казалось, нельзя дольше терпеть, казалось, сама земля не вынесет больше этого. И все же, почти не ослабевая, это продолжалось до самого июня 1941 года, до начала войны.

Интеллигенция встретила войну с облегчением и радостью. Интеллигенту и сейчас приятно вспомнить о ней. Ощущение трагедии народов лишь обостряет его чувства, делает их полновесней. Он говорит, конечно, о горе матерей, о страданиях жен, о материальном ущербе. Но за всем этим легко проглядывает восторг и веселье тех лет. Интеллигент снова был при деле, он снова был нужен своей земле, он был со своим народом. Неважно стало: кто правит этим народом, с чьим именем на устах он идет умирать; неважны стали все моральные проблемы, могла успокоиться совесть, можно было ни о чем не думать. Зло опять было где-то вовне, интеллигент опять видел перед собой эту цель — уничтожить зло, интеллигент опять становился спасителем человечества. С оружием в руках он чувствовал себя впервые после всех унижений сильным, смелым, свободным. Он надеялся, что и по возвращении это чувство не покинет его, что Советское государство, которого он снова стал полноправным гражданином, это государство, пройдя через огонь войны, совершив великий подвиг, преобразится...

Ответом был торжествующий сталинский византинизм, процессы борьбы с космополитизмом и новые волны арестов. Машина крутилась. Рабовладельческому государству нужно было восстанавливать и развивать свое хозяйство. Хотя теория и опровергала экономичность рабского труда, даровой труд все равно казался выгоден. Контингенты пленных немцев и вернувшихся из плена русских не могли удовлетворить растущих запросов промышленности. Привыкнув питаться человечиной, система не терпела уже другой пищи. Аппетиты росли... Это было время, когда интеллигенция, еще не вся, но в лице лучших своих людей, впервые преодолевая страх, задумалась. В лагерях, в трущобах коммунальных квартир у нее нашлась возможность подумать.

Вряд ли, однако, в условиях сталинского тоталитарного террора ей удалось бы довести свои помыслы до исполнения. На помощь пришло время. За смертью Сталина, система сама собой пошатнулась сверху донизу так, словно она держалась им одним и теперь неминуемо должна распасться. Интеллигенция ликовала. Начиналась оттепель. Снова, в который раз, забыв кто она и где она, интеллигенция верила, что за оттепелью недалеко уже весна и лето. Она снова не захотела трезво оценить ситуацию, приготовить себя к долгой и трудной борьбе, снова рассчитывая, что все произойдет само собой. Скорее всего, правда, она и не могла бы бороться. За тридцать с лишним лет она отвыкла работать, поглупела, была больше стадом, чем единством... Неудивительно, что в удел ей достались опять сначала одни надежды, а потом палки. Финал интеллигентской оттепели был в октябре 1956 года в Венгрии. Хрущевские культурные погромы окончательно придали интеллигенции тот вид, который имеет она сегодня.

Некоторый минимум свободы, что дала интеллигенции Власть в эти годы, произвел благоприятное действие. Интеллигенция посвежела и несколько окрепла. Она наверстала отчасти упущенное, ликвидировав в какой-то мере зиявшие пробелы в своем образовании. Она возобновила некоторые культурные

традиции. Она осмелела до того, что стала порой подымать голос, отвергая предписываемые «нормы», стала фрондировать и в двух-трех случаях даже выступила открыто против власти. Интеллигенция знает теперь, какой должна быть Советская Власть и надеется внушить это знание самой власти. Она почувствовала к себе уважение, и как всегда, немедленно предалась очередным иллюзиям. Мы живем в самый разгар этого нового соблазна. Соблазна, как он уже был назван выше, просветительского, или — поскольку он является также идеологией технической и научной интеллигенции — соблазна технократического. Это не прежняя «святая» вера в прогресс, но надежда, что зло может быть остановлено при помощи научных методов управления, планирования, организации и контроля. Свобода необходима потому, что подавление свободы мешает развитию производительных сил, что в свою очередь необходимо для того, чтобы спасти все возрастающее в численности человечество от голода и, в конечном счете, самоуничтожения. Благоденствие настанет вместе с внедрением в народное хозяйство кибернетики и научных методов. Современное государство — это гиперсистема; для того чтобы она нормально функционировала, нужны адекватные по сложности системы управления и контроля. Вот вкратце лозунги современной технократии...

Итого, с 1909 года было шесть соблазнов. Соблазны революционный, сменовеховский, социалистический, военный, соблазн оттепели и соблазн технократический или просветительский. Таковы направляющие извращенной интеллигентской духовности. Здесь надо отметить одно важное обстоятельство. Во всех этих устремлениях, образующих рациональную основу соблазна, самих по себе взятых, нет ничего плохого. Хороши демократические, правовые движения, никак не может быть осужден патриотизм, просветительство — необходимо, как необходимо внедрение научных методов и хорошо организованного контроля в управление хозяйством. Соблазнами эти устремления становятся лишь постольку, поскольку в них ищут легкого решения, поскольку через них хотят уйти от сложности, поскольку ими оглупляют самих себя. И вот тут-то и не следует думать, что эти соблазны, именно в качестве соблазнов, преодолены, изжиты интеллигенцией. Нет, они лишь отодвинуты на задний план, так как изменилось время. Но внутренняя их ложь не понята, жива и, едва только представится подходящий случай, снова покажет свою силу. Поэтому наряду с приведенной хронологией можно дать их существующими единовременно. Тогда обнаружится следующее распределение. 1 — Соблазн «музыки революции» существует в своем первозданном виде. Помимо того, что интеллигенция романтизирует прошлое, героику гражданской войны, походов, она, как уже говорилось выше, по-прежнему неравнодушна к словам «крушение», «распад», «скоро начнется» и т. д. — для нее попрежнему это слова-символы. Без этого интеллигенция перестала бы быть интеллигенцией. 2 — Соблазн сменовеховский — это нынешний «демократический» соблазн, т. е. вера, что Россия осознала, наконец, идею права, и теперь сравнительно нетрудно претворить эту идею в жизнь. 3 — Соблазн социалистический. Этот соблазн постоянно возникает у интеллигента, как искушение поверить, что происшедшее было необходимо. 4 — Соблазн, названный военным, выступает в сложных ситуациях современной жизни, как соблазн квасного патриотизма. Он смыкается в этом качестве с искушениями национал-

социализма и русского империализма. 5 — Соблазн оттепельный. Как и революционный соблазн, он живет в тайниках интеллигентского сознания всегда, в виде надежд на перемены. По сравнению с революционным соблазном, он боязливее, сентиментальней. Крушение все же пугает теперешнего интеллигента, но перемен он ждет с нетерпением, и, затаив дыхание, ревностно высматривает все, что будто бы предвещает эти долгожданные перемены. Наконец, 6 соблазн, технократический, также пока остается самим собою.

Это технократическое, последнее по счету увлечение окончательно свидетельствует, повторяем, что до настоящего прозрения интеллигенции еще далеко. Интеллигенция видит сейчас только одно: что успех технократической идеи возможен, что партия, власть как будто сама идет ей навстречу, принимая эти реформаторские планы. Власть тоже попалась как будто на удочку очередной утопии. Им обеим рисуется уже в розовой дымке работающее в режиме хорошо налаженного механизма государство, в котором исключены произвол и «волюнтаризм». Интеллигенция не желает видеть только того, что Зло не обязательно приходит в грязных лохмотьях анархии. Оно может явиться и в сверкающем обличье хорошо организованного фашистского рейха. Оно не падет само по себе от введения упорядоченности в работу гигантского бюрократического аппарата. От внедрения вычислительных машин этот аппарат не станет более человечным. Наоборот, еще четче, еще хладнокровней он сможет порабощать своих подданных, еще совершеннее будет угнетать другие народы, еще надежнее держать мир в страхе. Зло никогда не падет само. Оно будет принимать самые изощренные, тонкие формы, цивилизуясь, будет идти на какие угодно уступки. Но никогда не утратит тождества с самим собою, не допустит себя перейти за грань, где начинается человеческое. Чешские события показали это, кажется, довольно ясно. Нельзя малодушно и лениво отдавать случаю дело собственного спасения. Нельзя надеяться победить Зло лишь внешними средствами, техническими средствами. Нельзя надеяться спустить все на тормозах. Нельзя надеяться всерьез на конвергенцию.

Что же изобретет русская интеллигенция? Чем еще захочет она потешить Дьявола? Для ровного счета ей остался, повидимому, еще один, последний, седьмой соблазн. Больше одного раза земля уже не вынесет. Она не стерпит такого нечестия. Будет ли это новый русский мессианизм, по типу национал-социалистического германского, восторжествует ли технократия, или дано нам будет увидеть новую вспышку ортодоксального сталинского коммунизма? Но чем бы это ни было, крушение его будет страшно.

Ибо сказано уже давно: «Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят» (Лук. 17,1).

Источник: Вестник РСХД, Париж-Нью-Йорк, № 95-96, I — II, 1970. Стр. 75 — 92.

[1] Понятие «принцип двойного сознания» взят нами из фантастического романа Дж. Орвелла «1984», где содержание принципа раскрывается, например, на следующих трех лозунгах победившей партии: «Мир — это война», «Свобода — это рабство», «Любовь — это ненависть». На этом же строится весь сюжет романа: люди и знают и не знают правды.

А. Краснов-Левитин

О ПОЛОЖЕНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ АНАТОЛИЯ ЛЕВИТИНА-КРАСНОВА, АДРЕСОВАННОЕ ПАПЕ ПАВЛУ VI В ВАТИКАН

Его Святейшеству, Павлу VI,
Блаженнейшему Папе, Архиепископу Римскому,
Верховному Первосвященнику.
Ваше Святейшество, Великий, Блаженный,
Святейший Отец и Господин!

Недавно мы здесь, в далекой Москве, в день Вашего семидесятилетия, присоединили свои молитвы к молитвам Церкви о здравии и благоденствии Вашего Блаженства.

Уже тогда я решил обратиться к Вашему Блаженству и повергнуть к подножию Вашего Апостольского Престола свои самые задушевные мысли.

Мне, конечно, хорошо известна и понятна та пропасть, которая отделяет Отца князей и королей от рядового человека, школьного учителя, лишенного возможности работать по специальности из-за своих религиозных убеждений. Однако, последнее время на Западе много пишут о нашей Церкви — и в этой связи анализируют мои статьи, посвященные церковным темам, опубликованные под псевдонимом «Краснов».

Все написанное за последнее время о Русской Церкви на Западе как католическими, так и не католическими (главным образом эмигрантскими) авторами свидетельствует не только об интересе к нашей Церкви (интересе, за который мы можем быть только благодарны), но и о том, что на Западе очень плохо представляют себе психологию современного русского человека и положение Русской Церкви. Об этом же свидетельствуют и ежедневные передачи Ватиканского радио на русском языке.

Да будет же выслушан голос человека, который никогда в жизни не думал ни о чем, кроме блага Церкви.

Мне никогда не приходилось говорить ни с одним иностранцем, но иностранцы говорят обо мне. Я не могу обращаться к кому-либо из них и не знаю, как это сделать. Подумав и помолившись, я решил обратиться к Великому иностранцу, поставленному Богом столь высоко, что по сравнению с этой высотой кажутся чем-то совершенно незначительным все земные различия.

* * *

Будучи религиозным человеком с раннего детства, я еще в юности познакомился с произведениями великого русского философа Владимира Сергеевича Соловьева — и еще с тех пор соединение Церквей стало самой горячей мечтой моего сердца.

Я не последовал за Вл. Соловьевым в признании им догмата папской непогрешимости и остался сыном Восточной Православной Церкви, которой я бесконечно благодарен за те великие духовные блага, которые она мне сообщила. Однако, догмат папской непогрешимости является единственным средостением, отделяющим меня от Католической Церкви. Ибо ничего противоречащего православию я не вижу ни в других догматах, принятых Католической Церковью, ни в признании Папы Верховным Первосвященником Вселенской Церкви. Церковь имеет одного лишь невидимого Главу — Сладчайшего Иисуса, но вполне может иметь видимого Первосвященника, символизирующего ее единство, вознесенного над народами, чуждого каких-либо национальных и политических пристрастий.

Как мне кажется, таких взглядов держится и множество людей в Русской Православной Церкви. Но, разумеется, больше всего меня заботит судьба моей страны и моей родной Русской Церкви. Служить этой Церкви пером — смысл моей жизни. Не думать о ней — для меня все равно, что не дышать. О Русской Церкви я буду писать и сейчас. Пусть во всех концах земли узнают о ее внутренней, сокровенной жизни.

Мы, верующие христиане Земли Русской, живем в условиях, весьма отличных от условий всех других стран. Мы живем при строе, сложившемся после Октябрьской революции, потрясшей весь мир 50 лет назад.

При оценке этого строя следует быть, прежде всего, объективными и справедливыми: нельзя изображать советский строй как рай, сошедший на землю, и нельзя малевать его сплошными черными красками. И то и другое неверно. Советский строй покоится на здоровой основе: отсутствие частной собственности на средства производства, отсутствие поэтому в СССР богачей-капиталистов, банкиров, купцов, короче говоря отсутствие буржуазии — это, безусловно, огромное историческое завоевание народных масс. Нельзя также забывать об огромной работе, проделанной по строительству промышленности, по ликвидации неграмотности (я сам в молодости отдал много сил этому делу) и об огромной заслуге русского народа перед всем человечеством — в победе, одержанной над фашизмом.

В то же время советский строй породил сталинскую тиранию, ежовщину и бериевщину — величайшие преступления перед человечеством. И сталинский террор прошел не бесследно: за тридцать лет выросло поколение бюрократов, привыкших к бесконтрольной власти, и поколение людей, привыкших к подчинению, запуганных и робких.

Но сейчас идет новое поколение, уже не знавшее Сталина, и самое интересное сейчас на Руси — молодежь. Молодежь тянется к культуре, к знаниям, напряженно ищет смысла жизни. Чудесная, добрая, благородная русская молодежь! Помоги ей, Господи!

Чего хочет русская молодежь? Ответить можно лишь двумя словами: она хочет социалистической демократии. Социалистическая демократия в нашей стране — это не просто лозунг, это единственно возможная реальность на ближайшее столетие.

Наш народ не хочет капитализма, он настолько отвык от него, что учителям приходится в школах тратить много времени для того, чтобы объяснить

старшеклассникам, что такое капиталисты и кто такие помещики и чем они отличаются друг от друга. Сторонник капитализма в СССР представляет собой такой же анахронизм, как роялист во Франции, сторонник восстановления колониальной системы в Индии и как сторонник возвращения Северной Америки в лоно Британской Империи. В то же время русский народ и особенно русская молодежь ненавидит сталинизм и маоизм во всех их проявлениях и вариантах. Они хотят полной свободы в мнениях, свободы научного исследования, свободы философских и религиозных убеждений. Экономика без частных хозяев и полная свобода мнений — это и есть социалистическая демократия.

<...>

Одной из живых проблем для нашей Церкви является вопрос о ее внутреннем обновлении. Этот термин вызывает у нас очень плохие ассоциации. В свое время об обновлении Церкви говорило у нас модернистское течение, которое откололось в двадцатые годы от Церкви и основало собственную формацию. Я примыкал к этому течению, был диаконом обновленческого первоиерарха и лично близким к нему лицом. Теперь, умудренный жизненным опытом, я отчетливо вижу ошибочность этого течения. Беспринципное кувыркание перед властью, которой некоторые из обновленческих епископов оказывали постыдные услуги, отмена канонов, обусловливающих нравственную чистоту духовенства, насильственное внедрение реформ вопреки воле народа — таковы пороки обновленчества. Однако, все эти пороки ни в коем случае не могут лишить силы самую идею обновления, преображения Церкви.

Обновление Церкви должно выразиться, прежде всего, в оживлении церковной проповеди. Церковное красноречие — это ведь особая область, и у нас, на Руси, оно имеет свою длинную историю. Двадцатые годы — это годы наивысшего развития церковной проповеди. Мне посчастливилось слышать проповеди великих церковных ораторов — Александра Введенского, Антонина Грановского, Александра Боярского и других, поэтому я знаю, какое огромное действие может оказывать проповедник на сердце людей, до каких высот может достичь церковное красноречие. Я это знаю, но мои молодые друзья этого не знают. Церковная проповедь умолкла в тридцатые годы и до сих пор не возобновилась. В Москве в настоящее время есть лишь несколько священников, которые систематически проповедуют, все остальные молчат или читают проповеди по бумажке, вялые и холодные проповеди, способные скорее расхолодить, чем зажечь слушателя.

Дело восстановления церковной проповеди — очень трудная проблема. Трудность здесь заключается не только во внешних стеснениях, преодолеть которые возможно, но и в отсутствии живого опыта: традиция пресеклась и все приходится начинать заново. Однако, присматриваясь к нашей талантливой, пытливой и, главное, горящей энтузиазмом церковной молодежи, не имеешь и тени сомнения в том, что она сумеет разрешить и эту задачу.

Вторым важным вопросом, стоящим перед Церковью, является возрождение отечественного богословия и религиозной философии. В одной из своих статей, написанной десять лет назад, я указывал на то опасное положение, в котором оказалось русское богословие ввиду полного отсутствия серьезной бо-

гословской работы в академии. Что касается духовных академий, то здесь, к сожалению, положение не улучшилось: преподавание по-прежнему ведется по учебникам семидесятилетней давности, а магистерские диссертации, защита которых производилась в академии, написаны на крайне низком уровне. Эти недостатки искупаются отчасти рядом богословских сочинений, написанных вне стен академии, которые широко распространяются на правах рукописи в машинописных копиях. Здесь следует, прежде всего, упомянуть работу покойного архиеп. Луки (проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого) «Дух, душа и тело». Этот великий епископ, бывший одновременно и замечательным хирургом, может считаться основоположником машинописной апологетической литературы, проникшей в самые отдаленные уголки нашей необъятной родины. Из других работ следует упомянуть работы А. Ламишнина, Фиолетова и Белова, написанные на сравнительно высоком уровне (с использованием последних данных естествознания), очень живо и ярко написанные работы свящ. А. Меня, посвященные вопросам истории религии, интересные статьи свящ. С. Желудкова, а также безымянное произведение «Был ли Христос?».

Все эти работы лишь в очень небольшой степени восполняют те зияющие пробелы, которые имеются в нашем богословии. Будем надеяться, что в ближайшее время появятся новые работы и новые имена — и дуновение живой мысли проникнет в наши академии.

Третьей наиболее актуальной задачей является литургическая реформа. Выше мы говорили о появлении в Церкви новых христиан — людей, пришедших в Церковь из совершенно иной среды. Они воспринимают Евангелие всем сердцем, однако в их восприятии христианства имеется ряд специфических черт: детские воспоминания, которые вплетаются в наше восприятие церковности, у них совершенно отсутствуют, славянский язык им абсолютно непонятен, церковная обрядность лишена для них смысла, а многие церковные обычаи, укоренившиеся у нас веками и для нас привычные, кажутся им чудаковатыми и странными.

Все это приводит к тому, что религиозная молодежь сравнительно мало посещает церковь, она принимает таинства, группируется вокруг отдельных священников и религиозных учителей, припадает к родникам творчества Н. Бердяева и С.Н. Булгакова, читает машинописные статьи, но в церковь она ходит мало и неохотно. Еще более чуждой является церковь для неверующей молодежи, которая заинтересовывается религией. На них часто богослужение действует расхолаживающе и отвлекает их от религии.

Все это делает литургическую реформу необходимой. Возникает вопрос, как проводить эту реформу.

Прежде всего, следует отметить, что всякое навязывание литургических реформ, насильственное внедрение новых обычаев совершенно недопустимо, оно может лишь вызвать глубокое недовольство среди верующих. Наша Церковь имеет в этом отношении трагический опыт с реформами патриарха Никона, вызвавшими церковный раскол.

Здесь следует учесть опыт Католической Церкви и постановления последнего Ватиканского Собора. Литургические реформы должны вводиться не через ломку традиций, а через постепенное введение новых обычаев, которые дол-

жны сосуществовать рядом со старыми. Так, наряду с литургией на славянском языке возможно допустить литургию на русском языке. Наряду с традиционной литургией (с пресуществлением при закрытых царских дверях) возможно допустить литургию Епископа Антонина, представляющую собой конгломерат из древних литургий (сирской, коптской и др.) с пресуществлением при открытых царских дверях и т. д.

Все эти новшества, разумеется, должны быть санкционированы высшей церковной властью и могут производиться лишь с санкции местного епископа.

Здесь мы обращаемся к самой больной теме Русской Церкви — к теме епископата. Если возможно заимствовать для духовной сферы политические термины, то следует сказать, что наша Церковь в данное время переживает «кризис власти». Как известно, этот «кризис церковной власти», выражающийся в потере епископами и самим Святейшим Патриархом авторитета в среде верующих христиан, нашел свое выражение в ряде документов, получивших широкую огласку. Речь идет о петиции двух московских священников отцов Николая Эшлимана и Глеба Якунина, о петиции 12 кировских верующих во главе с Б.П. Талантовым, о письмах прот. о. Всеволода Шпиллера и, наконец, о статьях пишущего эти строки.

На Западе эти документы вызвали, в основном, благоприятный отклик. Однако, наряду с этим раздаются и критические голоса в наш адрес. Особенно много таких упреков приходится выслушивать мне, так как мои статьи отличаются особо резким тоном. Так, до меня дошла статья аббата Дюмона, в которой отец Дюмон, признавая правильность приводимых мною фактов, упрекает меня за слишком резкий тон по отношению к иерархам. Эмигрантские епископы, признавшие Патриархию, митрополит Антоний (Блюм) и Архиепископ Василий (Кривошеий) выступают на столбцах зарубежной печати с аналогичными обвинениями.

Что можно об этом сказать?

Только то, что все эти весьма почтенные люди совершенно не знают русских условий. У нас на Руси никогда не были в моде парламентские методы дискуссий. Дискутировали у нас всегда горячо и резко. Объясняется это не какой-либо грубостью нравов (русский человек, несмотря на внешнюю грубость, очень мягок и незлопамятен), а любовью к истине, страстной увлеченностью идеей. Русский человек, говоря словами Достоевского, «не съел идею, а его съела идея», поэтому парламентский строй речи, обтекаемые формулировки, нарочитые умалчивания и подчеркнутая вежливость — ему органически чужды. В самом деле, представим себе наиболее типичных русских людей: можно ли представить себе патриарха Никона, с одной стороны, его противника протопопа Аввакума — с другой, занимающимися изящным словесным фехтованием, обменивающимися при этом поклонами и комплиментами? Можно ли представить себе Достоевского или Льва Толстого произносящими парламентские речи, называющими своих оппонентов «достопочтенными джентльменами», и т. д.

Правда, эта парламентская манера была усвоена в начале XX века русской европеизированной интеллигенцией, посылавшей своих представителей в Таврический дворец. Из кругов этой интеллигенции вышли владыки Антоний и

Василий. Быть может, они, однако, вспомнят, как оценил русский народ изящные манеры их отцов.

<...>

Ваше Святейшество! Великий Святитель и Отец!

Я начал это письмо с того, что еще в юности я мечтал о соединении Православной и Католической Церкви. Впоследствии, находясь в лагерях, когда я большую часть времени посвящал молитве, я постоянно молился Господу о Католической Церкви, о ее архипастырях и о Вас лично, которого я знал по упоминанию в прессе как руководителя внешней политики Ватикана, а впоследствии архиепископа Миланского. Я и сейчас ежедневно поминаю Вас в своих молитвах. И хотя многочисленные мои грехи перед Господом делают мою молитву слабой и немощной, но исходит эта молитва от искреннего сердца.

Когда-то Ф.М. Достоевский писал, что русский человек — это «все-человек». И, действительно, национальный антагонизм, шовинизм русским людям не свойствен. И эти черты русского человека внушают надежды на единение двух великих Церквей Христовых.

В церковных кругах с умилением и радостью встречены сообщения о Ваших контактах со Святейшим Вселенским Патриархом Афинагором. Мы все здесь приветствуем борьбу за мир, проводимую Блаженным Папой Иоанном XXIII и Вашим Блаженством. Большинство православных не может принять догмат папской непогрешимости в том толковании, как его проповедует ныне Католическая Церковь; однако, оно может принять другие догматические определения Католической Церкви, правда, не в качестве догматов, а в качестве теологуменов, не обязательных, но допустимых для каждой поместной Церкви. И, наконец, идея единого Первосвященника Вселенской Церкви для многих православных близка и понятна. Ее признавал и покойный Патриарх Сергий, который был одним из самых глубоких богословов, в одной из своих статей, написанной им за два года до смерти.

Мы все благодарны католической общественности за внимание и интерес к нашей родной Русской Церкви. Благодарен и я зарубежной общественности за ее внимание к моим трудам. Это вполне естественно и понятно; всякий писатель хочет, чтобы его знали и читали. Однако, с огорчением я должен заметить, что западная общественность имеет обо мне превратное понятие. Там, на Западе, печатают, в основном, мои статьи, написанные по поводу петиции двух московских иереев и направленные против Московской Патриархии. Невольно возникает вопрос: в чем причина такого предпочтения? Ведь там, на Западе, имеется и моя, написанная совместно с В.М. Шавровым, трехтомная «История обновленчества» (это я знаю по лондонским радиопередачам), и мои воспоминания «Закат обновленчества», включающие в себя уникальный материал по истории Русской Церкви последних лет, и мои скромные апологетические работы, интересные хотя бы тем, что их усиленно здесь читает молодежь.

Не руководствуются ли издатели соображениями политической демагогии? Если так, то это весьма прискорбно.

Конечно, политика есть неотъемлемый элемент жизни — однако, во-пер-

вых, нельзя религию сводить к политике, а затем именно в политике надо быть прежде всего объективным и справедливым.

Ваше Святейшество!

К Вам обращается человек из далекой Русской Земли. Человек горячий, не привыкший к компромиссам, который прожил очень тяжелую и трудную жизнь, который порою впадал в ошибки, но который всегда больше всего на свете любил Истину. Раскрыть Истину — рассказать о жизни нашей Церкви Западу — я стремился в этом письме.

Анатолий Левитин-Краснов.
Мой адрес: Москва Ж-377, 3-я Новокузьминская ул. 23.
Левитину А. Э.

Источник: Вестник РСХД, Париж-Нью-Йорк, № 95-96, I — II, 1970. Стр. 75 — 92.

Евреи в СССР

Непериодический машинописный самиздатский журнал на русском языке. Выходил в Москве в 1972-1979 гг. (20 номеров, объем колебался от 100 до 250 страниц). Основателями и первыми редакторами журнала были активисты еврейского эмиграционного движения Виктор Яхот и Александр Воронель. Журнал был первым изданием еврейского независимого движения, редакторы которого объявили свои имена (до этого периодика еврейского Самиздата выпускалась анонимно). Одной из главных целей редакторов журнала (как и большинства его авторов) являлся скорейший выезд из СССР в Израиль, поэтому состав редколлегии обновлялся по мере эмиграции ее членов. В разное время в нее входили Рафаил Нудельман, Илья Рубин, Михаил Агурский, Эйтан Финкельштейн, Виктор Браиловский и др. В журнале имелись следующие разделы: общий, где публиковались статьи, посвященные проблеме национальной идентификации евреев СССР, «Вопросы права», «История», «Хроника», «Воспоминания», «Культурная жизнь», «Письма» (там помещалась переписка евреев-отказников с органами власти и советскими органами печати, а также письма читателей в журнал; так, специальный номер (1975) был целиком посвящен переписке родственников рижского художника Бориса Пэнсона, осужденного на «самолетном процессе» (1970) к 10 годам лагерей, с должностными лицами и с самим заключенным), «Интервью» (среди интервьюируемых, помимо евреев-отказников, были и известные деятели культуры; например, Лариса Богораз отвечала на вопросы о своей национальной самоидентификации, известный православный священник о.Александр Мень делился своими соображениями о взаимосвязи христианства и иудаизма), «Кто я?». Среди известных писателей, печатавшихся в журнале – Наум Коржавин (стихи в №7), Феликс Кандель, Борис Хазанов (рассказы), Нина Воронель (пьеса «Первое апреля», №8») Борис Ямпольский (воспоминания «Последняя встреча с В. Гроссманом», №9). Среди архивных публикаций выделялась работа выдающегося философа Михаила Кагана «Еврейство в кризисе культуры», написанная в 1923 (№8). Много места занимала тема истоков антисемитизма в России и его современной идеологии (в №8 опубликована статья М. Агурского «Русский расизм как мистическое антихристианское явление, в №9 – запись лекции виднейшего антисемита 1970-1980-х гг. В. Емельянова «Иудаизм и сионизм», прочитанной в феврале 1974 г. в одном из московских НИИ).

В мае 1975 против редакторов и распространителей журнала было возбуждено уголовное дело (последний редактор журнала В. Браиловский был арестован и осужден в рамках именно этого дела в 1981 г., несмотря на то, что издание журнала прекратилось в 1979 г.). Журнал стал центром, вокруг которого группировались активисты Еврейского эмиграционного движения из числа «культурников», и связующим звеном между еврейским независимым движением и правозащитниками (в нем публиковались правозащитные документы, а «Хроника текущих событий» помещала аннотации выпусков журнала и сообщения о преследованиях его редакторов и авторов).

Журнал был полностью репринтно переиздан Еврейским университетом в Иерусалиме (Вып.1-20 // Еврейский самиздат = Jewish samizdat / Иерусалим. еврейский ун-т; Центр по исслед. и документации вост.-европейского еврейства.- Иерусалим, ТТ.4, 6, 7, 10-13, 16, 21, 22.- 1974-1980.- (Евреи и еврейский народ = Jews and the Jewish people)).

Ниже размещены некоторые материалы, вошедшие в разные номера журнала.

Александр Воронель

(«Евреи в СССР», №1, 1972 г.)

Социальные предпосылки национального пробуждения евреев

На первый взгляд, ответить на вопрос о причинах возрождения национального чувства у евреев СССР в последние годы, очень просто.

В тысячелетней истории еврейского народа середина двадцатого века несомненно явилась поворотным пунктом. Если будущий историк сопоставит гибель миллионов евреев в Европе в 1940-45 гг. с образованием в 1948 г. государства Израиль, ему не придется особенно задумываться. Скорее у него может возникнуть недоумение по поводу поразительной беспечности, позволяющей целым поколениям евреев в XX веке вручать свою судьбу в чужие руки.

Но если рассматривать это явление не в масштабе тысячелетий, в котором теряются многие характерные черты, а в узком временном интервале порядка десятков лет, мы сталкиваемся со значительной сложностью проблемы.

Действительно, как перешла еврейская традиция через два поколения практически ассимилированных, лояльных советских людей к современной молодежи. Почему, несмотря на наличие объективных и субъективных факторов, способствующих ассимиляции, евреи сохранились как компактная группа? Почему национальное чувство евреев пробудилось не в 50-годах, когда все, казалось, так явственно напоминало о нем, а только в конце 60-х? Почему, вообще, несмотря на то, что за последние 50 лет евреи в большинстве перешли на русский язык, утратили религию, изменили социальный состав и образ жизни, они продолжают оставаться выделенным меньшинством, регулярно о себе напоминающим? Как и на все вопросы типа «почему», на эти вопросы не может быть дан категорический ответ, так как категория причинности здесь не определена. Но можно проследить некие связи этих явлений с одновременно протекающими в обществе процессами в надежде, что эти связи окажутся устойчивы.

Оставив в стороне как высшие, так и чересчур глубокие возможные причины наблюдаемых явлений, попробуем сосредоточиться на простых социальных и юридических фактах. При этом для того, чтобы сохранить неизменным уровень рассмотрения, нам придется игнорировать множество факторов (например, политических), которые при другом угле зрения могли бы претендовать на роль первопричин.

Существование в Российской Империи «черты оседлости», ограничения в выборе профессии и традиционный интеллектуализм привели к тому, что по-

лучение образования укрепилось в сознании российских евреев, как одна из высших ценностей. Для очень многих — просто высшая.

В течение последних ста лет доступность образования была настолько жизненно важным требованием для евреев, что все остальные и, в частности, национальные требования бессознательно отодвигались ими на второй план. Отмена соответствующих ограничений после 1917 г. вызвала такой подъем, что даже экономические интересы значительной части еврейского населения (более 30% евреев в конце 20-х годов были лишенцами, т.е., относились к мелкой буржуазии) отступили перед этими стремлениями. В результате, уже в тридцатые годы произошли радикальные изменения в социальном составе, в образовательном уровне евреев.

К нашему времени советские евреи сложились не только (и, может быть, далеко не столько) как этническая, но и как социальная группа, уровень образованности которой гораздо выше среднего по стране. Практически все взрослые евреи входят в эту группу имеющих среднее образование и 20% (треть всех взрослых) всего народа имеют высшее. В среднем же по СССР только 22% (треть взрослого населения) входит в группу лиц с законченным средним образованием и лишь 4% населения имеет высшее.

Такому разрыву между евреями и остальными народами СССР отчасти способствовало то, что на оккупированных гитлеровцами территориях СССР во время войны 1941-1945 гг. было убито больше миллиона евреев, принадлежавших, в основном, к необразованной части народа, проживавших в маленьких городах и сохранявших многие еврейские особенности. Оставшиеся в живых, таким образом, потеряли все то, что обычно зовется корнями, народной средой и т.п.

Резкий рост квалификации и народного образования евреев сопровождался разрывом традиционных связей, массовым переселением в большие города и падением влияния религии. Сейчас около половины всех евреев проживает в Москве, Ленинграде, Харькове и Киеве.

Неясно, в какой мере получение европейского образования само по себе связано с выходом из первоначальной общности еврейской, но ясно, что образовательный уровень европейских евреев в СССР был достигнут за счет потери значительной части национального своеобразия. Теперь, когда эта цена уже заплачена, оказалось, что жертва, быть может, была напрасной.

Начиная с 50-х годов, евреи сталкиваются с систематическими трудностями в получении высшего образования, которые воспринимают как проявление национальной дискриминации даже и тогда, когда они связаны, в действительности, с другими причинами.

<...>

Вышесказанное не значит, что в резком отклонении относительных цифр для евреев от общих показателей не играет роли национальный элемент. Напротив, повышение трудностей в получении образования для евреев ... находится в согласии со многими выступлениями деятелей народного образования и изданиями, пропагандировавшими мысль о желательности приведения национального состава интеллигенции в соответствие с национальным составом советского народа в целом.

Так как евреи составляют меньше 1% населения СССР, постановка такой задачи означала бы планирование деградации еврейского народа, ибо сейчас среди лиц с высшим образованием евреи составляют около 5%, а среди научных работников — 10%. При отмеченном выше практически неизменном числе мест в институтах ориентация общества в этом духе должна привести к вытеснению евреев в будущем из областей, которые десятилетиями казались им наиболее достойным полем приложения сил — медицины, физики и т.п.

<...>

Потенциальную угрозу, скрытую в подобного рода идеях, интеллигенция (... больше трети самодеятельного еврейского населения имеет высшее образование и, следовательно, относится к интеллигенции) воспринимает не менее остро, чем действительные гонения, так как идейные обоснования реально существующих и известных им ограничений они понимают, как окончательное утверждение этого несправедливого приговора.

Затруднения в получении образования теперь евреи встречают гораздо болезненнее, чем в XIX веке. Если тогда стремление евреев к образованию означало для них некоторую экспансию, то сейчас такое стремление есть лишь функция от их образа жизни. Если ограничения в прошлом стесняли евреев, то сейчас угрожают самым основам их существования как группы. Променяв традицию на эту единственную ценность — образование, евреи, лишаясь образования, — лишаются всего.

Интеллигенты, построившие свою жизнь на профессиональных успехах, ощутив препятствие в этом пункте, оказываются перед лицом кризиса, равносильного потере смысла жизни. Именно на поисках этого смысла все больше сосредоточиваются советские интеллигенты всех национальностей по мере того, как темп развития высшего образования, а с ним и социальная динамика замедляются.

Наталкиваясь на механическую преграду на пути своего развития, интеллигенция, которая может и хочет развиваться, прилагает усилия, чтобы продолжать это развитие в духовном плане. Причем эти усилия прилагают не столько те, кому угрожает опасность остановки, сколько те, кто способен приложить такие усилия. Происходит спиритуализация общей культуры и, так сказать, гуманитаризация научной и технической элиты. Повышение внимания к гуманитарным ценностям с неизбежностью приводит к повышению роли национальных и традиционных элементов в культуре в противовес техническим.

Таким образом, национальное пробуждение евреев связано не с усилением антисемитизма, а с ростом культуры самого еврейского народа. Аналогичные явления происходят, конечно, и в русской среде, но перед евреями здесь стоят особые трудности, связанные с их положением нацменьшинства.

Как, собственно, может осуществиться ограничение прав еврея? По какому признаку? Выделение и, следовательно, ограничение прав еврея начинается с того момента, как в паспорте или анкете он заполняет графу «национальность». Эта характеристика, будучи совершенно неопределенной с научной точки зрения, является юридическим источником выделенности, не зависящим от воли человека. Он заполняет эту графу не на основе самоощущения, а на основании документов о происхождении и, следовательно, не волен выбирать.

В то время как для русского или украинца наличие такой отметки в паспорте в реальной обстановке никак не сказывается на его судьбе, для еврея эта деталь может оказаться краеугольным камнем биографии.

В глазах лиц, определяющих кадровую политику, в глазах окружающих и, наконец, иногда и в собственных глазах он может стать представителем категории, а не личностью. Излишне напоминать, насколько неприемлемой является такая возможность с моральной точки зрения и насколько разлагающе действует она на нееврейское население.

Несущественно здесь также и то, что отмена этого «пятого пункта» вряд ли заметно улучшила бы положение евреев. Существенно для нашей задачи выяснить, существуют ли какие-то дополнительные духовные возможности, хотя бы отчасти компенсирующие евреям юридический ущерб, происходящий от непроизвольной выделенности.

Что известно об этой категории самим ее представителям и что знает советский человек о прошлом и настоящем еврейского народа? Что могут евреи узнать и сообщить своим детям о своем происхождении и свойствах?

Ответ на все эти вопросы, к сожалению, слишком прост: почти ничего. Евреи в СССР вынуждены смотреть глазами других на себя. В их распоряжении нет никаких средств самопознания. Они лишены своей литературы, своей истории, своего искусства. Рассеянные среди других народов, они мыслят категориями, принятыми среди этих народов. Лишенные своей традиции, евреи вынуждены внутренне мириться с той, более чем скромной, ролью, которую отводит им традиция русская или украинская. Может быть, по этой причине евреи в СССР до недавнего времени были самыми ярыми поборниками интернационализма. Этот их интернационализм оказывался зачастую не столько глубоким пониманием общечеловеческой природы культурных ценностей, сколько поверхностной реакцией на их неукорененное, вненациональное положение. Идеологическая ситуация сложилась таким образом, что на вопрос «кто Вы такие», еврей должен был ответить: «мы — русские второго сорта». Стыдливая формула — «Граждане СССР еврейской национальности» отчасти эту тенденцию уже зафиксировала.

Во всех странах и у всех народов люди получают национальное воспитание и затем, если обстоятельства благоприятны, поднимаются от ценностей национальных к общечеловеческим. Гуманизм и понимание других культур опирается на опыт собственной национальной культуры. Иначе обстоит теперь дело у евреев в СССР. Не имея своего языка и специфических форм общения, они вынуждены сначала дойти до уровня общечеловеческих ценностей и лишь на этом этапе ощутить, что их гуманизму недостает глубины, происходящей от собственных национальных традиций. Для того, чтобы хорошо понимать других, нужно уметь понимать себя. Этому пониманию обычно способствует изучение своей истории, восприятие своего культурного и психологического своеобразия через национальное искусство и т.д.

Однако в советской культуре обнаруживается в этом отношении пугающая пустота. Нет не только никаких изданий, посвященных, например, истории евреев, но даже из учебников истории древнего мира, начиная с пятидесятых годов, исключены главы, повествующие о Иудее и Израиле.

Несмотря на богатые театральные и музыкальные традиции, случаи выступлений артистов с еврейской программой за последние годы можно сосчи-

тать по пальцам. Никакой живой еврейской литературы (тем более на русском языке, на котором говорит более 80% евреев) нет, несмотря на то, что в Союзе писателей состоит около тысячи писателей-евреев. Большая часть еврейской художественной интеллигенции занята интерпретацией и популяризацией достижений русской и других национальных культур.

Евреям, которые прославились своим всепониманием в прошлом, грозит теперь культурное ничегонепонимание, ибо они не сознают себя. Без такого осознания никакое восприятие культурного объекта не является полным, ибо содержит неизвестное, присущее объекту. Еще хуже, если эти неизвестные подменяются предполагаемо известными, зачастую просто литературно обусловленными качествами.

Хотя далеко не все евреи понимают эту опасность, все они с бессознательной тревогой отмечают падение процента знающих еврейский язык (процент считающих идиш родным языком, снизился с 21% по данным переписи 1967 г. до 17% в 1970 г.) несмотря на общее падение численности евреев, исчезновение еврейской советской литературы, театральной и музыкальной жизни. Если на предшествующем этапе техническое образование, культура, как таковая, — «цивилизация», казалась им ценностью большей, чем то, что они имели, в настоящем подошел момент, когда на первый план выдвигается ощущение потери. Потеряна традиция, язык, своеобразные формы общественной жизни, понимание предшествующих поколений, общность с евреями всего мира.

Было бы несправедливо винить в этих потерях советское правительство. Вековая традиция еврейства была прервана в значительной мере по вине (назовем это лучше заблуждением) самих евреев старшего поколения. В тех грандиозных преобразованиях, которые происходили в СССР в 20-е и 30-е годы, у слишком многих, к сожалению, возникло ошибочное убеждение, что человеческая психология формируется из немногих простых компонентов, и социальный фактор в этом формировании — решающий.

Если бы это было действительно так, в СССР сейчас вовсе бы не было евреев, поскольку их психологические особенности приспособились бы к их социальному бытию, а графа в паспорте заполнялась в те годы по желанию. Однако, мы вопреки этому взгляду видим, что и в 1970 г. в СССР проживает более двух миллионов людей, считающих себя евреями.

В СССР широко распространено мнение, что евреи не представляют собой целостной нации, а лишь этническую группу. Соответственно этому взгляду, евреи разных стран принадлежат к разным этническим группам и имеют с народами этих стран больше общего, чем между собой. Однако, невзирая на эти дефиниции, во всем мире отличают евреев, и они тоже отличают друг друга по множеству признаков. Этого, вообще говоря, достаточно как для того, чтобы они осознали и защищали свои общие интересы, так и для того, чтобы, по крайней мере, часть из них захотела и добилась самоопределения как нация.

Но у евреев есть гораздо большее. Общее происхождение и двухтысячелетняя история рассеяния закрепили в еврейском народе некие характерные черты и принципы взаимоотношений, создающие психологическую общность, и оставили нам громадное литературное наследство, на котором основывается общность культурная. Это богатство воплощено в еврейском языке (иврит), ев-

рейской истории и Библии. Развитие национального чувства и поиски корней еврейского своеобразия, ставшие заметными в последние годы, проявились в возникновении устойчивого интереса именно к этим культурным ценностям. Любопытно, что европейское образование и длительный опыт равноправия таким образом повлияли на психологию советских евреев, что свою древнюю историю и библейскую литературу они воспринимают гораздо охотнее, чем культуру недавнего прошлого, напоминающую им об их униженном положении в дореволюционной России. По-видимому, именно этим следует объяснить практическое отсутствие интереса к Шолом-Алейхему и идишистской культуре вообще на фоне резко выросшего интереса к Библии и Талмуду. Несмотря на повышенные, в этом случае, трудности молодежь рьяно изучает иврит и довольно пренебрежительно относится к языку идиш.

Аналогичная тенденция проявляется в изучении молодежью еврейской истории. В этом стремлении проявляется естественная психологическая потребность людей (и народов) ощущать себя самодовлеющим целым, а не второстепенной частью чужой жизни и истории.

Русская история, которая представлена советским евреям, как источник сведений о прошлом, не удовлетворяет эту потребность. Например, изучая русскую историю, евреи, в лучшем случае, узнают, что их предки способствовали экономическому развитию западных областей Российской Империи. Но вряд ли именно эта цель составляла содержание жизни еврейского народа в предыдущие два столетия. Так же и та постоянно страдательная роль, в которой выступают евреи в истории России начала этого столетия, никак не соответствует активному мироощущению советских евреев. Возникает необходимость начать историю с более отдаленных времен, и тут мы сталкиваемся с острым интересом интеллигенции к Библии.

Необходимо подчеркнуть разницу в восприятии Библии русским человеком и евреем. Для русского человека Библия имеет значение общекультурной ценности и религиозной книги. На основе этого второго значения построено отношение к Библии всех официальных кругов в СССР. Но для евреев Библия — основа национальной традиции и исходная точка истории. Она не может быть отделена от светской еврейской культуры и перевешивает любую другую культурную ценность, которую можно было бы ей противопоставить. Поэтому, обращаясь к духовным ценностям, евреи не могут миновать Библию и связанные с ней традиции.

Значительная часть еврейской религиозной традиции сложилась как своеобразное одухотворение светской еврейской истории и национальной жизни. Поэтому отделить эту национальную жизнь от религии, означало бы ее обеднить. Так, например, невозможно отделить празднование исторических освобождений евреев в Пасху, Пурим и Хануку от религиозного содержания этих событий. Многие, становясь на путь поиска национальной традиции и углубления духовности, не останавливаются и перед формальным обращением к религии. Во всяком случае, молодежь регулярно собирается вокруг синагог, отмечает национальные праздники, старается вникнуть в смысл и соблюсти букву еврейских обычаев. Вообще говоря, такое стремление не тождественно религиозным поискам, так как синагога в еврейской традиции отнюдь не храм, а просто средоточие еврейской общественной жизни (буквально, собрание), празд-

нования приурочены к различным политическим и культурным событиям многовекового прошлого евреев, а большая часть обычаев имеет вполне рациональное происхождение. Но ситуация в диаспоре такова, что окружающие, а иногда и сами евреи, начинают смотреть на эти вещи в контексте привычных представлений, сложившихся под влиянием иных религий. Это и приводит к отождествлению национальной традиции с традицией религиозной.

Выше отмечалось, что такая тяга к традиции связана отчасти с замедлением социального развития группы и, как бы превращением части кинетической социальной энергии в потенциальную. Это явление противоположно тому, что происходило в 20-е годы, когда потенциальная энергия духовная, накопившаяся за столетия, реализовалась в мощном социальном развитии евреев.

Некоторая однобокость этого развития теперь выправляется благодаря отмеченной спиритуализации, и это означает дальнейший рост культуры. Однако, эта форма развития наталкивается на серьезное препятствие, связанное с традиционной антирелигиозной политикой руководства СССР. Как было сказано, в еврейской традиции нельзя формально отделить религиозный элемент от светского. Поэтому вся традиция оказывается внеположной по отношению к советской культуре.

Какие намечаются в советском обществе пути преодоления охарактеризованных трудностей? Могут ли они быть преодолены, вообще? Среди евреев оказывается все больше людей, которые предпочитают решить эту проблему радикально, выехав в государство Израиль. Таким образом, для этих людей, которые отказываются позволить кому бы то ни было распоряжаться их национальным развитием и человеческой судьбой, вопрос сводится к техническому.

Не менее радикальным выглядит путь полной ассимиляции евреев, выбранный многими из них и столь же многими с негодованием отвергнутый. В сочетании со спиритуализацией, о которой говорилось выше, этот путь толкнул некоторых даже к принятию православия.

Мне кажется, не имеет смысла обсуждать моральную и культурную приемлемость такого пути до тех пор, пока имеются юридические препятствия (паспорт, анкеты), делающие этот путь совершенно нереальным. Во всяком случае можно предвидеть, что здесь, и после устранения технических трудностей, вопрос не будет исчерпан.

Промежуточная точка зрения, с которой развитие еврейской национальной культуры возможно в настоящих условиях и даже на русском языке, обладает всеми недостатками опортунистических доктрин, но лишена их главного достоинства — широкой распространенности, связанной с приемлемостью для среднего человека. По целому ряду исторических причин в России никогда не были популярны умеренные взгляды, и умами всегда завладевали радикальные теории. В этом отношении евреи России не отличаются от русских и также склонны к идеологическим крайностям. Однако справедливость требует заметить, что только такое поставленное национальное развитие, возможно поставило бы еврейскую интеллигенцию в положении равной с русской.

Подытоживая свой анализ, я хотел бы сформулировать условия, при выполнении которых проблемы евреев, как мне кажется, перестали бы выделяться среди проблем многих других народов СССР:

Если бы было разрешено:

а) Уехать из СССР всем евреям, желающим переселиться в Израиль, так, чтобы все оставшиеся действительно считали СССР своей Родиной.

б) Ассимилироваться всем желающим ассимилироваться, так, чтобы евреями оставались только те, кто добровольно хочет этого.

в) Развивать свою национальную культуру всем, кто хочет ее развивать, и на том языке, на котором они этого захотят.

Мы могли бы считать, что евреи оказались в положении русских или украинцев, и, в соответствии с вульгарно социологической точкой зрения, принятой в этой статье, ожидать от них сходного поведения.

Только если бы и в этой ситуации их поведение оказалось бы резко отличным, мы смогли бы обоснованно утверждать, что народами движут другие силы, и различия между ними внесоциальны.

<...>

Лариса Богораз

(«Евреи в СССР», №1, 1972 г. Раздел «Кто я?»)

Чувствую ли я себя частью еврейского народа?

Или ассимилировалась, т.е. ощущаю себя русской? Ответить на первый вопрос мне проще; впрочем, возможно, этот вопрос окажется неглубоким, поверхностным. Я построю его в хронологическом разрезе.

По крови я чистокровная еврейка, моя мать — Брухман, отец — Богораз. Родители родились и выросли в еврейской местечковой среде, но никакой связи ни с еврейской культурой, ни с еврейскими особенностями характера (как они мне представляются) я у них не вижу. Не знаю, как это у них получилось. Еврейскую речь дома я впервые услышала во время войны, когда к маме пришел в гости эвакуированный еврей-западник (т.е. с Зап.Украины). Он произносил грустные монологи, в которых я улавливала только тональность; мне помнится, что и мама не все понимала — во всяком случае, отвечала ему по-русски.

Язык моего детства — украинский: меня воспитывала няня-украинка. Дома говорили по-русски, а со мной и с няней — по-украински. Я ходила в украинский детский сад. Первая сказка, какую я помню не из книг и потом рассказывала своему сыну — украинская, про Ивасика-Телесика. Очень долго, и в юности, я говорила с заметным украинским акцентом.

До восьми лет я вообще не знала, что есть понятие «национальность». Дома разговоров о национальности не было. Недалеко от нас была еврейская школа, а также армянская, немецкая, две украинских и несколько русских. Меня без разговоров отдали в русскую школу.

В школе я узнала, что я еврейка и этим в нехорошую сторону отличаюсь от многих соучеников; но к тому времени я уже была дочерью «врага народа», и это еще худшее обстоятельство перешибало нехорошую национальность. И без того было чего стыдиться!

Потом, во время войны и после, вопрос о национальности приобрел первостепенное значение. Молва назойливо повторяла слова «евреи».

Одни «евреев убивали, другие выдавали, третьи прятали». А сами евреи

«покорно шли в газовые камеры, отсиживались от войны в Ташкенте» и бог весть что еще. «Иван воюет в окопе, а Абрам торгует в рабкоопе». Были герои — Александр Матросов, Николай Гастелло, Вася Теркин, воевавшие на совесть. Но я не помню, чтобы в те годы слышала о воинском подвиге еврея, о восстаниях в гетто, побегах евреев из концлагерей. «Иван спас Абрама, а Абрам бежал прятаться в Ташкент». Ощущение стыда за евреев не снимало то, что мои друзья и знакомые — юноши-евреи, вернувшиеся с войны, воевали не с кривым ружьем: кто пришел без ноги, кто с покалеченной рукой, с осколком в легких. «С одной стороны — героический народ-освободитель, а с другой — всего несколько порядочных парней».

В то время я с вызовом, с показной гордостью, говорила: «я — еврейка». Но гордость эта относилась к собственной смелости — мол, я не боюсь признаться в этом постыдном факте своей биографии; уж хоть тем искупаю трусость моих соплеменников.

Конечно, я к этому времени достаточно была интернационалисткой, чтобы понимать, что нет народов-трусов, как и народов-героев. Но — «Я-то знаю, что я не зерно, а курица, возможно, этого не знает». Не за евреев было стыдно, а стыдно, что все так о них думают. Я тогда ощущала необходимость отгородить себя от характерных, обычно окарикатуриваемых качеств евреев, — и тем подчеркнуть, что все люди одновременно разные и одинаковые, что вот я, еврейка, больше похожа на Иваненко, чем на Рабиновича. Пожалуй, тогда, в 45-46 гг. я больше всего была еврейкой. Но в этот период и мои национальные и антинациональные чувства были поверхностными.

Затем над евреями заметно сгустились тучи: ограничения при приеме в институты, при устройстве на работу, «антикосмополитическая» кампания, внезапное исчезновение еврейской культуры и интеллигенции — писателей, актеров, закрытие издательств, театров. Шло к апогею — «делу врачей-убийц».

Все это прямо коснулось и моей семьи: я и Юрий Даниэль не смогли получить работу в московской области (хотя учителя нашей специальности были очень нужны); многие друзья семьи Даниэлей были арестованы, у нас в доме прятали от уничтожения несколько книг из еврейской библиотеки; в Институт Языкознания меня не взяли даже лаборанткой («нам нужны носители языков народов СССР», — сказал мне замдиректора по науке).

Вот тогда началось активное самоопределение евреев — во всяком случае, моего поколения. Некоторые старались найти формальные основания считаться русским или хотя бы детям записать русскую национальность. Другие — я знаю несколько таких случаев, — наоборот, записывались евреями из чувства протеста. Очень многие испытали прилив национальной гордости — и нередко в гипертрофированном виде («евреи самые умные, самые способные, самые талантливые»). Такого рода обоснования национальной гордости кого бы то ни было — евреев или великороссов — всегда были чужды и непонятны мне: каким образом добавляет людям достоинства то обстоятельство, что Лев Толстой — русский? Или, что Михаил Ботвинник — еврей? Или даже, что мой дедушка — великий ученый? Ведь не я же!

В моем национальном самоопределении несчастья евреев сыграли скорее отрицательную роль. Логика моих ощущений была приблизительно такой: «Вы

хотите, чтобы я вспомнила и помнила всегда, что я еврейка; вы хотите, чтобы я, во что бы то ни стало, почувствовала себя еврейкой — так нет же! Это вы можете зачислить меня в ту или иную рубрику в зависимости от записи в паспорте — меня вы этим не спровоцируете. Я — это я, для меня — никаких рубрик!»

Пожалуй, кампания 50-х гг. была последним внешним эпизодом, влиявшим на мое внутреннее национальное ощущение. В дальнейшем появилась потребность осознать себя вне зависимости от чьих бы то ни было воздействий извне. Поэтому на этом месте я прерву хронологическое изложение и обращусь к синхроническому плану.

Кто я есть сейчас, кем себя ощущаю? К сожалению, я не чувствую себя еврейкой. Я понимаю, что у меня есть безусловная генетическая общность с еврейством.

Предполагаю, что она сказывается в психическом типе, в способе мышления и деятельности. Но эта общность так же мало помогает мне ощутить свою принадлежность к еврейству, как сходство внешних черт, — видимо, недостает более глубокой — или более общей — общности языка, культуры, истории, традиции; даже, может быть, впечатлений, неосознанно воспринимаемых органами чувств: того, что видит вокруг глаз, слышит ухо, чувствует кожа. По всем этим свойствам я русская.

Мне привычны цвет, запах, шелест русской природы, как и русской речи, ритмы русского стиха. Все остальное воспринимается мною как чужое. Даже Крым для меня — экзотика, раздражающая чувства. Даже О. Мандельштам или Бродский для меня не внятны и кажутся не русскими поэтами (как, впрочем, и Маяковский). Французская история тоже кажется мне экзотической, — а русская затрагивает не только сознание, но и сердце; я ее кожей чувствую.

И при всем том — нет, я не русская. Я чужая сегодня в этой стране. Может быть, я не так все это чувствую, но так осязаю; может быть, тут работает тот самый генотип, который, хотя и не помогает мне стать еврейкой, но препятствует общности с так называемым русским народом?..

Думаю, что дело не в этом. Среди людей, для которых существенны те же ценности, что и для меня, я вижу сейчас ту же неопределенность, те же попытки определить себя вне русского народа, независимо от их национальности, обозначенной в паспорте. Одни пытаются связать себя с культурой Молдавии, другие с бытом Литвы, третьи «могут жить только в Коктебеле». Я слышала даже о еврее, настолько проникшемся духом африканских негров, что он стал чувствовать себя негром и мечтает об отъезде на свою «Родину». Тот же, кто хочет остаться русским, — вы послушайте, о чем он говорит и пишет (сейчас так много появилось славянофильствующих изданий и авторов): о возрождении народа; о спасении народа; о своем мессианстве. Никто из них не говорит о своем сегодняшнем, с народом как он есть, единстве, о взаимной общности.

Я — для себя — не верю ни в какое «возрождение и спасение» русского народа. Т.е. я хочу сказать, что эта идея не воодушевляет меня ни на какое действие. Я вижу распад и разброд моей среды. Я не верю, что Литва, Коктебель и Польша могут стать моей духовной Родиной.

Сомневаюсь, чтобы духовной Родиной для меня мог стать Израиль, — для этого я должна была бы переродиться.

Мне остается крайне грустное чувство: я — человек без Родины, без на-

ции, без своей среды. Где бы я ни была — мне остается «непонимаемой быть встречным». Думаю, что это не только моя судьба. То же, мне кажется, относится и к большей части русской (здесь это только географическое определение) интеллигенции, если не считать тех, кто верит в свое мессианство.

Но я не хотела бы такой судьбы для своих детей и внуков. Я хотела бы, чтобы они знали свою национальность по крови и по духу — и признаваемы были ею, этой национальностью, своими, а не попрошайками Христа ради.

Из рубрики «Письма»

В предыдущих номерах сборника (№ 1, №3) публиковались материалы, показывавшие, что вследствие расхождения между обычаями (зачастую закрепленными в письменных или устных внутриучрежденческих инструкциях) и законами, обязательными для всех граждан СССР, в жизни евреев, которые традиционно внимательно относятся к выполнению законов (особенно другими), возникает множество трудностей. Это особенно тяжело сказывается на евреях, желающих переехать в Израиль. Нет никакого опубликованного акта, который обеспечивал бы или ограничивал их права, и поэтому они оказываются жертвами произвола администрации, которая не несет никакой формальной ответственности (мы должны допустить, что фактически работники ОВИРов перед кем-то отчитываются, но абсолютная тайна, которой окружена их деятельность, конечно, дает им больший простор, чем учреждениям, находящимся под контролем гласности) за судьбы своих клиентов. В этом смысле очень важным является факт ратификации Президиумом Верховного Совета СССР Пакта о Гражданских правах. Этот Пакт (в частности, его статья 12), будучи международным законом, принятым СССР, тем самым является обязывающим по отношению ко всем административным органам внутри Союза и, по крайней мере в принципе, дает каждому гражданину право покинуть СССР и вернуться, когда ему захочется. Действие статьи 12 ограничено оговоркой, признающей право Государства приостанавливать действие этой статьи по соображениям государственной безопасности. Однако это также значит, что государство должно специальным законом определить, какие именно соображения относятся к этой сфере. Вряд ли нежелание родителей, служба в армии во время Отечественной войны и работа над фундаментальными вопросами в науке смогут быть причислены к числу факторов, определяющих государственную безопасность СССР.

Так как такого внутреннего закона еще нет, в реальной практике по-прежнему возникают конфликты. Однако отличие этих конфликтов от тех, которые происходили до ратификации Пакта, состоит в том, что теперь человек, чьи права нарушаются, может подать в суд, ссылаясь на наличие закона. Нижеследующий набор заявлений и постановлений иллюстрирует соответствующую практику. Наличие юридически обоснованных заключений нотариуса (М.М. Подольской) и Свердловского народного суда г.Москвы о полной ненадобности разрешения родителей для рассмотрения дела в ОВИРе само по себе является победой Закона над Обычаем в этом

важном для евреев пункте, несмотря на неуспех прямого дела заявителя (Д.А.Либермана). Несмотря на неудовлетворительное для него решение суда Л. и П. Либерманы, обратившиеся, в конце концов, к Председателю Президиума Верховного Совета за защитой своих прав, получили законное удовлетворение и в октябре этого года уехали в Израиль.

Последнее заявление в подборке еще не рассмотрено властями (№ 8).

№ 1

В ОВИР УВД МОСГОРИСПОЛКОМА

от Либермана Давида Ароновича, прож. ...

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим сообщаю о моем согласии на выезд моего сына — Либермана Льва Давидовича, рождения 1930 г. на постоянное жительство в Израиль. Материальных претензий к сыну не имею.

11 Февраля 1973 /Д.А.Либерман/

№ 2

14-го февраля тысяча девятьсот семьдесят третьего года.

Я, Подольская М.М., государственный нотариус 5~й Московской Государственной нотариальной конторы, рассмотрев просьбу гр-на Либермана Д.А., проживающего в г.Москве, ул.Введенского 13, кв. 68, о засвидетельствовании верности его подписи на заявлении в ОВИР УВД Моегорисполкома о согласии его на выезд его совершеннолетнего сына Либермана Л.Д. на постоянное местожительство в Израиль, руководствуясь ст. 25 Положения о Госнотариате постановил:

в совершении указанного нотариального действия ОТКАЗАТЬ, т.к. согласно ст.55 Кодекса о браке и семье РСФСР согласие родителей на отдельное проживание детей требуется только для несовершеннолетних.

Настоящее постановление может быть обжаловано в народный суд Свердловского р-на г.Москвы в десятидневный срок.

Государственный нотариус подпись ПОДОЛЬСКАЯ

Печать: Министерство Юстиции РСФСР

Пятая Московская государственная нотариальная контора.

№ 3

НАРОДНОМУ СУДУ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА г.Москвы

ИСТЕЦ: Либерман Давид Аронович

ОТВЕТЧИК: Московская Гос.нотариальная контора № 5

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

14 февраля 1973 г. ответчик вынес постановление об отказе удостоверить мою подпись на моем заявлении в ОВИР УВД Мосгорисполкома о моем согласии на выезд моего сына Либермана Л.Д. на постоянное жительство в Государство Израиль.

С решением ответчика я не согласен, поскольку в тексте постановления об отказе нет ссылок на какие-либо положения закона, запрещающие удостоверить мою подпись под подобным заявлением.

Ссылка на ст.65 КОБС РСФСР не может быть принята всерьез, поскольку

даже сам ответчик считает, что она относится только к несовершеннолетним детям.

В связи с изложенным прошу отменить обжалуемое постановление нотариуса 5-й нотариальной конторы.

ИСТЕЦ: Либерман Д.А.

№ 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22 февраля 1973 г. Свердловский районный народный суд г.Москвы в составе: председательствующего Воробьева, рассмотрел в распорядительном заседании дело по заявлению Либермана Д.А. об отмене постановления нотариальной конторы № 5 и установил:

Заявитель просит суд отменить постановление нотариуса 5~й нотариальной конторы г.Москвы, которым заявителю отказано в совершении нотариального действия в части засвидетельствования его подписи на заявлении в ОВИР УВД Мосгорис-полкома о согласии на выезд его совершеннолетнего сына на постоянное местожительство в Израиль, и принимая во внимание, что согласие родителей на отдельное проживание детей требуется только для несовершеннолетних и по существу согласие заявителя для его сына не имеет юридической силы, руководствуясь ст.129 ГПК РСФСР определил:

В приеме заявления Либерману Д.А. отказать. На определение суда может быть подана жалоба в частном порядке в Мосгорсуд в 10-дневный срок.

Верно: Нарсудья: подпись Министерство Юстиции РСФСР,

Свердловский районный народныи суд г.Москвы

Секретарь: подпись

№ 5

В Московский городской суд от ЛИБЕРМАНА Д.А. ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА

22 февраля народный судья Воробьев Ф.Г. отказал в приеме искового заявления на отказ государственного нотариуса 5~й московской нотариальной конторы засвидетельствовать мою подпись в ОВИР УВД Мосгорисполкома о согласии на выезд моего сына в Израиль на постоянное жительство. Свой отказ судья Воробьев Ф.Г. вынес, ссылаясь на ст.129 ГПК, которая содержит перечень оснований к отказу, состоящий из 9 пунктов. В тексте определения судья Воробьев не указал, каким именно пунктом этого перечня он руководствовался, однако я утверждаю, что ни одно из оснований для отказа, перечисленных в ст.129 ГПК не относится к поданной мной жалобе на отказ нотариуса засвидетельствовать мою подпись.

В связи с изложенным прошу суд: определение судьи Воробьева полностью отменить и разрешить вопрос по существу.

март 1973 г. Д. ЛИБЕРМАН

№ 6

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

т. ПОДГОРНОМУ Н.В.

Уважаемый Николай Викторович!

Просим в порядке исключения рассмотреть наше ходатайство о выезде на постоянное жительство к родным в государство Израиль.

Мы не смогли воспользоваться обычным порядком подачи ходатайства поскольку сотрудники ОВИРа г.Москвы отказались принять от нас документы, ссылаясь на инструкцию, требования которой мы выполнить не смогли.

Среди приложенных к настоящему письму документов нет заявления Кафман В.В. и Гинодмана В.А. (родителей Либерман Н.В.) о их согласии на наш выезд. Взамен этого есть свидетельство нотариуса о передаче Кафман и Гинодману уведомления о нашем намерении выехать за пределы СССР и предложения сообщить о наличии с их стороны к нам материальных претензий. Сообщения о наличии с их стороны к нам материальных претензий не поступило.

Со своей стороны сообщаем, что у Кафман и Гинодмана нет к нам материальных претензий, однако они, не желая в любой форме способствовать нашему отъезду, отказываются выразить свое мнение по этому вопросу.

Кроме того, среди поданных документов нет заявления о согласии на выезд Либерман А.С. (бывшей жены Либермана Л.Д.). Взамен этого есть обязательство Либермана Л.Д. произвести полный расчет к моменту получения выездных документов.

Не вызывает сомнения, что инструкция, в силу которой при наличии указанных выше обстоятельств сотрудники ОВИРа не могут принять документы, будет пересмотрена. Однако мы хотели бы воспользоваться нашим правом выбора места жительства еще до того. В связи с этим просим, в порядке исключения, до приведения инструкции ОВИРа в соответствие с законом, положительно рассмотреть наше ходатайство.

23 июля 1973 г. ЛИБЕРМАН Л.Д.
ЛИБЕРМАН Н.В.

№ 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР тов. ПОДГОРНОМУ Н.В.

Уважаемый Николай Викторович!

Более двух месяцев назад мы обратились к Вам с просьбой положительно рассмотреть наше ходатайство о выезде из СССР.

Как мы узнали из газеты «ПРАВДА» (25.9-73), советское правительство уже познакомилось с неприятными ощущениями тех, кто не получает никакого ответа на свое разумное, своевременное и обоснованное обращение.

Это обстоятельство и закон вселяют в нас уверенность, что хоть с некоторым (теперь уже неизбежным) опозданием, но мы получим сообщение о положительном решении по нашему ходатайству.

2.9.73. ЛИБЕРМАН Лев, ЛИБЕРМАН Нина.

г.Киев 3 декабря 1973 г. Подпись

Источник: журнал «Евреи в СССР» (самиздат).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Андрей Синявский (Абрам Терц)

(Справку см. т. 1, кн. 1, стр. 457)

В ЦИРКЕ

...Снова грохнула музыка, зажегся ослепительный свет, и две сестры-акробатки, сильные, как медведи, изобразили трюк под названием «акробатический танец». Они ездили друг на друге в стоячем и в перевернутом виде, вдавливая красные каблуки в свои мясистые плечи, и руками, толщиною в ногу, и ногами, толщиною в туловище, выделывали всевозможные редкостные упражнения. От их чудовищно распахнутых тел шел пар.

Потом на арену выпрыгнуло целое семейство жонглеров в составе мужа с женою и четырех детенышей. Они устроили в воздухе жуткую циркуляцию, а папаша, их воспитавший, самый главный жонглер, скосил глаза к переносью и воткнул в рот палку с никелированным диском, а на нее поставил бутылку с этикеткой от жигулевского пива, а на бутылку — стакан и сверху того: зонтик — во-первых, блюдо — во-вторых, а на блюде — два графина с настоящей водою — в-третьих. Наверное, с полминуты держал он все это в зубах и ничего не уронил.

Но всех превзошел артист, именуемый Манипулятор, интеллигентный такой господинчик заграничной наружности. Был он жгучий брюнет и обладал столь гладким пробором, точно выгравировали ему плешь по линейке электрической бритвой. А пониже усы и все что полагается: галстучек, лаковые полуботинки.

Подходит с невинным видом к одной даме и вытаскивает у неё из-под шляпки настоящую белую мышь. Потом — вторую, третью и так — девять штук. Дама — в обморок. Говорит: «Ах, ах, я больше не в силах!» и требует для успокоения воды.

Тогда он подбегает к ее кавалеру справа и хватает его за нос — осторожно, двумя пальчиками, как парикмахер. А незанятой левой рукою достает из кармана рюмку и поднимает кверху, на свет, чтобы все могли убедиться в неподдельной ее пустоте. Потом резким жестом сжимает нос кавалеру, и оттуда льется в рюмку золотистый напиток — газированный, с сиропом. И ничего не разбрызгав, подносит учтиво даме, которая пьет с наслаждением и говорит «мерси», и все вокруг смеются и хлопают от восторга в ладоши.

Как только публика стихла, Манипулятор, воротясь на арену, спросил грубым голосом у того самого, кому выпустил воду:

– Отвечайте, гражданин, побыстрее, который час на ваших часах?

Тот хвать себя за жилетку, а там ничего нет, а Манипулятор слегка поднапрягся и выплюнул ему на арену его золотые часики. А потом тем же порядком вернул разным гражданам — кому бумажник, кому портсигар, а кому, так себе, мелочь какую-нибудь: перочинный ножик, расческу — все что сумел вынуть из них за время представления. У одного старика он даже похитил сберкнижку и деликатный дамский предмет — из внутреннего потайного кармана. И все вернул по назначению под общие аплодисменты: такой был артист!

Когда все кончилось и публика начала расходиться, Косте стало обидно, что он ничего не умеет: ни ходить колесом по орбите, ни кататься на велосипеде раком — руки чтоб на педалях, а ногами чтоб держаться за руль и управлять в разные стороны. Он даже не смог бы, наверное, без предварительной практики так подбросить кепку, чтобы она сделала сальто и сама села на череп. Единственное, что Костя умел,— это сунуть в рот папироску задом наперед и не обжечься, но спокойно выпускать дым из отверстия, как паровоз или же пароход из трубы.

Но эту нетрудную штуку знал теперь любой школьник, а Косте шел двадцать шестой год и ему все надоело: целыми днями лазай по стенам, как сумасшедший, да вывинчивай перегоревшие пробки, не имея в жизни других удовольствий кроме кинофильмов и девочек.

Он встал и двинулся к выходу той решительной, упругой походкой, какою ходят во всем мире лишь фокусники и акробаты.

Случай представился сразу, и это был мужчина что надо: в шубе на меху, расстегнутой по всему фасаду. Запрудив центральную дверь широченной своей фигурой, он говорил кому-то неизвестно кому:

– Настоящую акробатку полагается видеть раздетой. И не в цирке, а на квартире, на скатерти, посреди ананасов...

Его глаза, устремленные вдаль, голубые, с зелеными искрами, не обращали на Костю ни малейшего внимания. А тот вдруг возьми да застрянь в самом ответственном месте в дверях, на многолюдном потоке, как раз напротив. Они толкали друг друга и в результате так перепутались, что трудно было бы отличить, где тут Костин клиент, а где Костя. А шуба еще энергичнее распахнула свою пушистую внутренность, и грудастый, двубортный пиджак сам собою раскрылся, и все это произошло — как фокус, без человеческого вмешательства...

Дыханье мое замирает, а пульс переселяется в пальцы. Они тихонечко тикают в такт с огибаемым сердцем, которое ходит в чужой груди, возле внутреннего кармана, и методично вспрыгивает ко мне на ладонь, не подозревая подмены, не догадываясь о моем волнующем, потустороннем присутствии. И вот одним взмахом руки я делаю чудо: толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под рубахой. «Деньги ваши — стали наши»,— как поется в песне, и в этом сказочном превращении — весь фокус.

Они согреты твоим теплом, дорогой товарищ, и пахнут нежно и духовито, как девичья шея. А ты, ничего не имея, всё еще ими гордишься, и топыришь пустую грудь, рассказывая про акробатку, и смеешься, предвкушая, но ты смеешься и предвкушаешь напрасно. Потому что я вместо тебя поеду на такси «Победа» в ресторан «Киев», и скушаю твои сардинки, и выпью все коньяки, и буду целовать вместо тебя твоих женщин — на твой собственный счет, но в полное мое удовольствие. Я не стану скупиться и, коли встретимся мы в ресторане, я напою тебя допьяна и накормлю до отвала — той самой пищей, которую ты не сумел вовремя и самостоятельно съесть. И ты еще будешь мне благодарен за это, смею тебя уверить. Ты подумаешь, что я писатель какой-нибудь, артист, заслуженный мастер спорта. А я есть не кто иной, как фокусник-манипулятор. Будем знакомы. Привет!

На улице, в темноте, Константин поднял воротник и только тогда привел в движение лицевую мускулатуру. Она с трудом подчинялась ему и была будто

резиновая: ударь кулаком — отскакнет. Но Константин манипулировал ртом по направлению к ушам и обратно, пока не вернул всему лицу первоначальную мягкость. Тогда он закурил папироску, сунул ее горящим концом в рот и пошел, пуская дым из трубы, к ближайшей автомобильной стоянке.

С тех пор у Константина Петровича началась новая жизнь. Заходит он между делом в ресторан «Киев», и едва переступает порог, уже бегут — из глубины — напомаженные официанты, восклицая отрывистыми голосами, наподобие ружейных выстрелов:

– Жалст! Жалст! Жалст!

У каждого над головою поднос, который непрерывно вращается, а там разные вина — красное и белое, или есть еще такое: «Розовый мускат». Одним словом — вся гамма к вашим, Константин Петрович, услугам.

– Нет,— говорит Константин Петрович усталым голосом и отстраняет их вежливо ручкой,— я решительно воздерживаюсь… Плохо себя чувствую и ничего мне в жизни не надо. А давайте мне водки — белая головка — 275 грамм и микроскопический бутербродик из атлантической сельди. Только хлеба черного в бутербродик тот не кладите, а кладите батон с изюмом, да чтобы изюм пожирнее.

И сейчас же официанты — в количестве трех человек — откупоривают цветные бутылки и щелкают салфетками в воздухе, полируя бокалы и рюмки до полного зеркального блеска и обмахивая попутно пылинки с узконосых своих штиблет.

А как выпьешь для порядка 275 грамм, все чувства в твоей душе обостряются до крайности. Ты явственно различаешь и склизлый скрежет ножей, от которого ноют зубы и передергивается спинномозговая спираль, и колокольный звон стекла, пригубленного на разных уровнях, и монотонный мужской припев: «Будем здоровы! С приездом! За встречу! С приездом!» — и вопросительное хохотание женщин, которые чего-то ждут, беспрестанно вертя головами, и охорашиваются нервозно, как перед свадьбой.

В мимике официантов проглядывает обезьянья сноровка. Они прыгают между кадками с пальмами, растущими повсюду, как в Африке, и перекидываются жестяными судками с дымящимися борщами, или, изогнувшись над столиком, точно над бильярдом, разливают все что хотите в стаканы — падающим, коротким движением.

Когда вся картина подгулявшего ресторана открывалась внезапно и выпукло взору Константина Петровича, он ощущал в глубине души — где-то в сердцевине хребта — сладкий, пронзительный, шевелящий волосы трепет. Будто идет он по проволоке на высоте четыреста метров и, хотя стены качаются, грозя обвалом, он идет упругим и легким, соразмеренным шагом, ровно-ровно по прямой. А публика смотрит во все глаза, затаив дыхание, и надеется на тебя как на Бога: — Костя, не выдай! Константин Петрович, не подкачай, покажи им, где раки зимуют!

И ты должен, непременно должен что-то им показать: сальто-мортале какое-нибудь, или удивительный фокус, или просто найти и высказать какое-то слово — единственное в жизни,— после которого весь мир встанет вверх дном и

перейдет во мгновение ока в сверхъестественное состояние. Сердце колотится в груди, как птичка в клетке, душа разрывается на части от любви и жалости, а ты подливаешь и подливаешь ей вина, чтобы продлить терзание, пока, наконец, не поднимешься в полный рост с запакощенного паркета и не гаркнешь на всю Европу:

– Ах, ты! Мать твою так — распротак — так!

После чего Константин Петрович имели привычку стихать, а стихнув, приглашали за столик всякого, кто пожелает,— для бесплатного угощения и задушевной беседы. Чаще других к нему присаживался один печальный мужчина, немолодой и скромно одетый, между прочим еврейской нации, хотя алкоголик, сохранявший на исхудалой груди в знак высшего образования благородную бабочку синего цвета. Звали его Соломон, а помещался он в темном углу, под пальмой, терпеливо поджидая вакансии, ибо деньгами не располагал и пускали его посидеть в ресторане главным образом за культурную внешность.

– Так вот, Соломон Моисеевич, как вы человек образованный, а я четвертого класса полностью не закончил, отвечайте без промедлений: в чем вся суть? И чтобы в едином слове эту самую суть — заключить…

Соломон морщил брови, припоминая все науки, которым он обучался в различных учебных заведениях.

– Суть явления… явления… представление…— говорил он с запинкой и не мог больше вспомнить ни шиша.

Тогда Константин Петрович, чтобы разохотить к беседе, подносил ему бокальчик, но не более как 150 грамм, а то потеряет Соломон Моисеевич свой человеческий облик и не сможет составить компании для сердечного разговора.

– Ну, ладно, ладно — выпил и потерпи! Поговори со мною как человек с человеком. Отвечай: почему я жулик и пьяница, а не стыдно мне в жизни нисколько? Нет, ты скажи, зачем русский человек всегда украсть норовит? Украсть или выпить? Откуда такая потребность души у русского человека?..

На это Соломон Моисеевич знал научный ответ и, застенчиво кусая огурчик, заходил в изыскании первопричин аж до татарского ига, откуда повелись на русской земле и кабак и тюрьма: все благодаря культурной отсталости.

– Вот в Англии вы, Константин Петрович, были бы изобретателем… Или депутатом парламента… министром без портфеля…

Его кадык, непропорционально развитый, сновал по отощавшему горлу, а глаза бросали на потолок тоскливые, чужестранные взгляды. Но проникнуть в самый корень жизни он все равно не умел. Да разве может Соломон Моисеевич понять русскую душу?! И хотя был он алкоголиком по собственным национальным причинам, какую Англию или Бельгию мог предложить он взамен и какую такую свободу печати? — тоже неизвестно…

– А я возьму и обворую твое британское казначейство! И все пропью, проиграю до нитки! Душа-то, душа для чего мне дана?! Я тебя про душу пытаю, иудина твоя порода, а ты мне взамен души хер собачачий подносишь!..

Но никогда не бил его Константин Петрович, а наоборот — угощал дополнительно, во второй раз и в третий, и все за то, что обладал Соломон способностями к разговору. Другой налижется на твои деньги, да тебе же норовит свою биографию рассказать по порядку. Ты и словечка не вставишь. А этот, когда надо, и

поспорит, и в раздумье кинется, а когда — сидит и сочувственно помалкивает.

Бывало, расстроится Константин Петрович и — в слезы, и так уж плачет, так рыдает, никак уняться не хочет. И все говорит про свою несчастную жизнь, вспоминает про свою старую маму, которая — в трех шагах отсюда — на железной кровати лежит и с голоду помирает, а он, подлец, вместо того, чтобы к ней бежать и средства на излечение немедля маме принесть, торчит здесь и все денежки, до последней копеечки, с последней шпаной пропивает.

Слушает, слушает его Соломон Моисеевич, да только молча вздохнет. И хотя знал он достоверно, что нет никакой мамы у Константина Петровича и все это одна игра ума, изобретенная для усугубления грусти, никогда не разубеждал он его, потому что тоже, значит, был человеком и понимал, что всякому человеку тоже хочется себя подлецом обозвать. А когда принимался Константин Петрович от грустных переживаний икать и биться головкой об стол, и об стул, и обо что попало, брал он тогда его нежно за плечико и говорил:

– Не кручиньтесь, Костя. Давайте-ка лучше выпьем. И давайте поскорей перейдем к менее печальным предметам. Например, мы давно не говорили о Боге. Как вы считаете — Бог есть?

От этой Соломоновой шутки переставал Костя плакать и начинал постепенно смеяться, понимая тонкий намек, что нет на свете ни богов, ни чертей, хотя было бы очень весело, если бы они были.

Ему случалось заглядывать в церковь. Любил он всякие чудеса, нарисованные на потолке и на стенах в акробатических видах. Особенно ему нравилось, когда один фокусник нарядился покойником, а потом выскочил из гроба и всех удивил. А другой — между прочим, той же нации, что Соломон Моисеевич,— предательски донес на него, но фокусника не поймали, а поймали того самого иуду-предателя и живьем прибили гвоздями к церковному кресту…

Слушая эти истории, Соломон Моисеевич радовался и все повторял с восхищением, что церковь происходит от цирка и что русскому народу всего главнее — фокусы и чудеса.

Но больше церкви любил Константин Петрович ходить в Сандуновские бани, в семейные номера. Туда одних женатых пускают и в доказательство требуют паспорт, а у него по счастливой случайности там приятель имелся из обслуживающего персонала — инвалид Отечественной войны, Лешкой звать,— и так всё Лешка устраивал, что мойся хоть с генеральшей, только чтобы без драки.

Благодаря такому знакомству мылся Константин Петрович по холостяцкому делу с Тамарой, и такие они номера в этих номерах вытворяли, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кому ни рассказывай — никто не верит. Хотя всякий завидует.

– Поиграем, что ли? — спрашивал он Тамару, запирая дверь на защелку.

– Поиграем,— говорила Тамара обыкновенным голосом, а спинкой так и вильнет.

И скинув одёжу — до самых последних кальсон включительно — начинали они показывать разные редкие штуки. Константин Петрович вешал себе интересным способом шайку промежду ног и барабанил в нее, как в барабан, а Тамара плясала народные танцы. Малиновая, запыхавшаяся, покрытая серебряной пеной, она скакала по бане, в которой было жарко, как в Африке, а он,

гремя железом, гонялся за нею, и были они похожи на чертей в адской парильне, а также на краснокожих индейцев, которые действительно существуют и ходят нагишом, никого не стесняясь.

Когда же Тамаре наскучивало попусту красоваться, Константин Петрович изобретал другие развлечения. То холодной водицей окатит. То взамен поцелуя накормит Тамару мылом, а с другого конца для потехи употребит указательный палец или химический карандашик воткнет в виде сюрприза.

Все позволяла ему любящая Тамара. Лишь одного не велела делать: это смеяться не к месту — когда играющие входили в азарт и принимались функционировать друг с другом со страшной силой.

В эти минуты Константина Петровича разбирал смех. Но Тамара, кусая губу, грозила розовыми глазами. Ее лицо, горячее, темное, казалось ожесточенным.

– Молчи! — шептала она.— Молчи! не смей смеяться!

Потом, отвалившись набок, она вновь бывала доступной и первой хохотала надо всем, что произошло. Перед тем и после того — смейся сколько влезет, а во время этого — не моги.

– Это — грех, большой грех! — твердила убежденно Тамара. Объяснить же свои капризы не могла.

– Да! да! Это — так! — кричал Соломон Моисеевич, систематически хмелевший по ходу рассказа. К концу любовных затей Константина Петровича он бывал порядочно пьян.

– Грех! Не переступи! — кричал он, воодушевляясь.— В игре нет преград! Не убий! Не убий! Бог! Дьявол! «Смейся, паяц, над разбитой любовью...»

Точно сорвавшись с цепи, он говорил бессмысленно и много о загадочном русском характере — теребя исполинский кадык, о загадочной женской натуре — ужасно волнуясь. Всем было известно, что три года назад от Соломона убежала жена — блудливая русская баба, предварительно обокрав его, а потом опозорив с парикмахером Геннадием шестнадцати лет. Он знал и боялся женщин, имея на то основания. Но что он мог понимать в русском национальном характере, этот Соломон Моисеевич?!

У Лешки, инвалида войны, была ценная поговорка: «Минер ошибается только раз». Сам он, Лешка, испытал на опыте ее народную меткость: фашистская мина под Берлином оторвала ему правую руку.

Но допущенная ошибка и невозвратимая эта утрата не научили его ничему хорошему, и вот однажды безрукий Лешка говорит Косте:

– Знаешь ли ты, Костя, или нет, что есть у меня персональная квартирка из трех комнат с балконом и со всеми удобствами? Хозяин третьего дня отбыл в командировку в город Таллин, а хозяйка проживает на даче со своим сыном Вовочкой, который от рождения страдает рахитом и потому должен регулярно дышать свежим воздухом. А няня Вовочкина, приспособленная для охраны имущества, как осталась одна, до рассвета гуляет с ребятами из трамвайного парка, и почему бы ей не пойти к трамваям в ночную смену сегодня, как ты считаешь?

– Я прекрасно понимаю вашу внешнюю политику,— говорит Костя,— но только вы меня трактуете очень уж вульгарно. Я имею дело с живыми суще-

ствами, а залезать в закрытые окна неизвестно на каком этаже — не в моих правилах. И вообще, стоящее ли это занятие — твоя квартирка с балконом? Принес бы ты мне лучше жигулевского пива в номер.

– Перестань ломаться, Костя, и не строй из себя артиста,— говорит ему Лешка раздраженным тоном.— И не лапай при мне Тамару сразу двумя руками. Это становится даже неприличным. Надевай штаны и давай думать. Минер ошибается только один раз.

Так они говорили до позднего вечера, а когда закрылись Сандуновские бани, взяли они Соломона Моисеевича, чтобы стоял на шухере, и заграничный браунинг на всякий пожарный случай, унесенный Лешкой с поля сражения во время Великой Отечественной войны, и пошли, не мешкая, к тому месту, где была припасена для них квартирка со всеми удобствами.

Она стоит на втором этаже, трехкомнатная квартирка, набитая до верху дорогим барахлом — габардином да трикотажем, и двумя костюмчиками иностранной работы, и одним кожаным пальто шоколадного цвета по имени «реглан»,— стоит и смеется. Все двери, окошки и даже форточки в ней заперты на двойные запоры, и никакой дырки или хотя бы щелки в наличии не имеется. Возникает естественный вопрос: как туда проникнуть?

Вы, конечно, удивляетесь безвыходной этой картине, и рвете на себе волосы, и готовы сдуру банальным путем действовать через окно с невероятным шумом и треском? Вот и нет, не угадали, и вам в жизни не разрешить эту задачу.

Но есть на свете, говоря по секрету, один инструмент, по-русски — «отмычка». С нею вам не страшна любая дверь. А для висячих замков — коллекция ключей на все уровни жизни.

А тишина такая, братцы, кругом, что плакать хочется.

– Задерни шторки, а то снаружи видать,— приказал Константин однорукому Лешке и поиграл револьвером.

– Регланчик достанется мне и тросточка тоже мне!

Ему понравился набалдашник у трости, разделенный на две половинки — по образцу филейных частей, но в меньшем масштабе. Ходишь с тросточкой по панели и непрерывно набалдашник ощупываешь, и можно девушкам показывать — для смеху и смущения — при первом знакомстве. Такую вещь обязательно надо иметь при себе — и в доме, и на прогулке.

Вдруг чувствует Костя: в соседней комнате кто-то неожиданно спит. Он — туда и видит в постели — кого бы вы думали? хозяйку? — нет! хозяина? — тоже нет! спящую няньку в одной сорочке? — это было бы хорошо, но все равно — нет! и еще раз нет! и вы опять просчитались! — он видит небезызвестного вам господинчика с приятными усиками, но без галстука и без пробора. Впрочем, пробор в состоянии тряпки висел отдельно на спинке стула, а рядом покоились в полном порядке лаковые полуботинки, а больше здесь не было ни единой души.

Самый настоящий Манипулятор из настоящего цирка храпел во все горло на хозяйской кровати или делал вид, что храпит, а сам приготовлялся к прыжку.

Как впоследствии оказалось, Манипулятор — на свою лысую голову — сбежал накануне к другу детства, чтобы отдохнуть от семьи, но вместо этого угодил под ночную манипуляцию Кости — к их взаимному неудовольствию и трагическому концу.

Но ничего этого Костя не знал в тот кульминационный момент и был очень разочарован внезапным появлением гостя, о чьей магической ловкости он имел представление, посещая государственный цирк каждый воскресный день. Этот чертов фокусник мог бы голыми руками кого хотите обездолить и что хотите украсть, и Костя наставил огнестрельное оружие на своего наставника, чтобы тот не вздумал, если проснется, выкинуть какой-нибудь трюк.

– Шуруй потише в комоде,— приказал он шепотом Лешке.— Да помни: тросточку с изображением задницы я забираю себе.

И от этих ли слов или от чего другого Манипулятор открыл глаза и сделал их вот такими, и не успел Костя предупредить его — «Спокойно! а то застрелю!», как он закричал в полный голос, звучавший очень противно:

– Караул! Убивают!

Мужчины в большинстве случаев под наведенным на них револьвером поднимают руки кверху и с зачарованным видом молчат. А женщины — вопреки рассудку — визжат и барахтаются и, бывает, кусаются, но им тоже можно по-свойски втолковать ситуацию, и они ради продолжения жизни будут плакать в подушку.

Но на сей раз Косте встретился сущий злодей, не обращавший никакого внимания на дуло заграничного браунинга. С глазами на обе щеки, он сполз на пол с кровати и, как был, в сплошном опупении, в неприглядном своем естестве, сиганул к двери балкона. Стекло разлетелось вдребезги, и на всю улицу, над умиротворенными крышами, прокатилось многократное эхо:

– Караул! Караул! Убивают!

И чтобы прекратить безобразный и действующий на нервы скандал, Костя, почти плача, выстрелил ему в спину между малокровными лопатками, и в том была его — Кости — роковая ошибка, а минер, как известно, товарищи, ошибается только раз. Потому что, если по существу разобраться, нужно было бы не стрелять, не испускать опасные звуки, а дать Манипулятору в голое темя каким-нибудь веским предметом, например, рукояткой и, оглушив крикуна, без лишнего шума продолжить осмотр помещения.

А Костя, вместо того чтобы решительно действовать, надавил слегка пальчиком спусковую пружину, и немецкая злая пружина сама собою сработала — только и всего. Только и всего, но сразу Манипулятор заметно притих. Он больше не кричал, он булькал губами и дудел, и клокотал в горловину, изображая с большой тщательностью протяжные хриплые трели — сложное искусство полоскания рта на высоких и низких регистрах.

Спервоначалу казалось, что, покривлявшись для форсу, он сядет на полу и отхаркается, и заявит во всеуслышание, что обманул их ради испуга. Но, видно, этот артист давал гастроли навынос и, вдохновленный выстрелом Кости, разыгрывал коронную роль, превращаясь чудесным образом в мертвого человека, сознающего свое превосходство над оставшимися в живых. Его лицо удалялось с плавностью парусной лодки, приобретая природную гордость камня и отвердевшей воды. Он умер незаметно, даже не подмигнув на прощание и оставляя Костю в растерянности перед содеянным фокусом, который в равной мере принадлежал им обоим.

Это зрелище было испорчено появлением Соломона Моисеевича. Он честно

стоял на шухере в темном сыром подъезде, а теперь прибежал в квартиру, задыхаясь от гипертонии, чтобы сообщить товарищам о грозящей опасности со стороны разбуженных дворников и недремлющих милиционеров.

– Зачем вы устроили шум, Константин Петрович? — сказал он в глубокой тоске, ничего не видя вокруг.— Я же предупреждал: надо быть осторожным. Пистолет может выстрелить безо всякого нажатия курка — от обычного колебания воздуха...

Костя не стал спорить... В дверях два дюжих дворника крутили за спину Лешке единственную левую руку. Лешка отбивался ногами и говорил:

– Пустите, гады!

Понимая, что сопротивляться бесцельно, Костя поднял руки, но все же не мог отказаться от маленького удовольствия: все заряды, сидевшие в браунинге, он пульнул в потолок и тем оставил по себе веселую, добрую память. Милиционеры попадали на пол, а потом кинулись к Косте и скоренько его разоружили. Так была загублена в расцвете красоты и здоровья молодая жизнь Константина Петровича.

Правда, перед грустным финалом он имел хороший парад при большом стечении публики, на суде. Прокурор ему попался строгий, как полагается, и требовал для Константина Петровича высшей меры наказания через настоящий расстрел. А защитник, тоже не лыком шитый, всячески упирал на смягчающее слабоумие подсудимого. Все взгляды мужчин и женщин были прикованы к Константину Петровичу, и, стоя в центре арены, он испытал много чудных мгновений, щекотавших его ревнивое артистическое самолюбие.

Суд приговорил Константина Петровича к двадцати годам заключения с конфискацией имущества, движимого и недвижимого. Но регланчик и заветную тросточку он утратил значительно раньше и теперь, увильнув от расстрела, не слишком тужил по поводу предстоящего срока.

А Лешка и Соломон Моисеевич получили по десятке на каждого.

В строю таких же, как он, обиженных судьбою людей, Костя шел не спеша на работу в одно прекрасное утро. Они держали руки сложенными за спиной в знак потерянной воли и вынужденной покорности. Вокруг порхали птички, свободные обитатели края, одуряюще пахли цветы, травы, кусты. Всюду летали прозрачные и легкие одуванчики. По бокам, спотыкаясь от скуки и собственной никчемности, брел небольшой конвой, куря большие цигарки.

Вдруг на фоне этого мирного пейзажа произошло смятение. Старик-охранник, бросив недокуренный тюбик, завопил испуганным голосом:

– Стой! Стой! Застрелю!

Но Костя уже летел над бугорками и кочками, отталкиваясь от мягкой земли жилистыми ногами. Ветер преспокойно играл у него на оживленном лице. Вдалеке лиловел лес — вечное прибежище соловьев-разбойников.

Косте виднелось пространство, залитое электрическим светом с километрами растянутой проволоки под куполом всемирного цирка. И чем дальше он улетал от первоначальной точки разбега, тем радостнее и тревожнее делалось у него на душе. Им овладело чувство близкое вдохновению, когда каждая жилка играет и резвится и, резвясь, поджидает прилива той посторонней и велико-

душной сверхъестественной силы, которая кинет тебя на воздух в могущенственном прыжке, самом высоком и самом легком в твоей легковесной жизни.

Все ближе, ближе… Вот сейчас кинет… сейчас он им покажет…

Костя прыгнул, перевернулся и, сделав долгожданное сальто, упал на землю лицом, простреленной головою вперед.

1955

КВАРТИРАНТЫ

1

Эх, Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич! Да разве вы сравняетесь с Николаем Николаевичем? Смешно даже. У вас и виду нет никакого, и бицепсы на вас обвисли все равно что, простите за сравнение, сосцы на какой-нибудь исхудалой собачке. И коньяк вы хлещете начиная с утра — откуда только деньги берутся? А Коля, Николай Николаевич, был человек моложавый, инженер — конструктор электрических двигателей, двадцать девять лет — самый сок. И тот не осилил. Вызывает меня как-то на кухню. «Что ж это,— говорит,— что ж это,— говорит,— Никодим Петрович, происходит?» А сам белый-белый. Как потолок.

Куда вам до него! Певун был! Физкультурник! Бывало, проснется рано утром, всю гимнастику под звуки радио сделает, зубы щеткой почистит и начинает:

Всё выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

Приятно слушать. Хотя он и тенор, а я больше басы люблю. Поверьте старику — уезжайте прочь отсюда. Покуда целы. Чемоданчик в руки — и с Богом. Хотите для вас — по знакомству — записочку сочиню? В горжилотдел, к самому Шестопалову. Неужто не слыхали? Шестопалов. Квартирные вопросы решает. Я под его началом тринадцать лет прослужил. Студенческим общежитием и двумя домами заведовал. Комендант, управдом — как хотите зовите. До самой пенсии. На Ордынке. В пять этажей и в шесть. Он в пять минут любую жилплощадь разыщет. Ну что вы, что вы!.. По моему-то ходатайству!..

Обживетесь на новом месте. Библиотеку вашу временно здесь оставим. Я постерегу. Почитаю с вашего разрешения. У вас нет ли случайно: «Юный бур из Трансвааля»? Еще до войны читывал. Автора вот не запомнил. Иностранец какой-то, француз.

Жаль-жаль. Ночи-то длинные, а ноги-то ноют. Суставной ревматизмус. Застарелая, коренная болезнь. Что? Наливайте, наливайте: не повредит.

За ваше здоровье!

Н-да… Коньячок у вас, действительно, самый отборный, по рецепту. В пи-

щеводе ощущение ласки. Сопьюсь я с вами. Нет-нет, не беспокойтесь, закусывать я не люблю. Весь привкус теряется. В самом деле, Сергей Сергеевич, переезжайте на другую квартиру. Здесь, говоря по секрету... Взвоете, когда узнаете, да поздно будет. Ну, что вы заладили: не поеду да не поеду. Леность это одна с вашей стороны и ничего больше. А там, глядишь, и я за вами следом. Вместе поселимся. Не хотите с Шестопаловым связываться — обменять можно. Давайте дадим объявление. Моя комната плюс ваша — тридцать один метр. Вот вам и пожалуйста — изолированная квартира. А?

Я вам, как писателю, условия жизни создам. Тишина чтобы, порядок. Мне тоже нужен покой. Может, вы еще жениться сумеете, внучат разведем, котят. Я при них бы сидел. Вместо дедушки. Про коньяки и думать забудем. Разве что по большим праздникам: Новый год, Первое мая. Хозяйство наладим. Дер тыш, дас шранк, валенки мне новые купим. Эх, и жизнь пойдет! Давайте выпьем, что ли! За ваше здоровье, Сергей Сергеевич.

Я ведь, говоря откровенно, почему с ним подружился — с Колей то есть? Хороший он человек, хозяйственный, домовитый. Как придет с работы — за дело. Этажерку лобзиком выпилил, радиоприемник из чепухи собрал. Своими руками. И Ниночка его тоже мне сначала понравилась. Хлопотливая такая, как птичка. Все в дом, в дом тянет. Полгода не прошло — верите ли? — они уже гардероб новый купили. С зеркалом во всю дверцу. Занавеси из тюля повесили. А все по четвертной, по тридцать рублей в получку, по копеечке, можно сказать, домашний очаг созидали. И все прахом пошло. Эх, Коля! Коля! Где вы теперь, кто вам целует пальцы?.. Да-а-а! В доме душевнобольных. Выражаясь по-старинному — в желтом доме-с. А разве это дом? Так, одна видимость. И дома никакого нет — общежитие для безумцев и ничего более.

Что? С чего началось? С пустяка все началось. Кушает он однажды вечером гороховый суп и вдруг вылавливает из тарелки — представляете — женский волос. Обыкновенный женский пучок и больше ничего. Говоря по-деревенски — очески. Он, конечно, оборачивается к своей Ниночке и спрашивает ее довольно спокойно, как это понять. Та вспыхнула вся и говорит, тоже довольно спокойно:

– Это,— говорит,— Николаша, Кроваткина свои лохмы к нам в кастрюлю вместо мяса подкладывает.

А волосы, между прочим, седые. Седые...

Тс-с-с! Вот я и спрашиваю: Сергей Сергеевич, нет ли у вас такой интересной книги — Фенимор Купер «Последний из могикан»? Да! «Последний из могикан»! Про индейцев Южной Америки! Так, так, так! Значит, нет! Значит, нет! Погода какая дождливая! Погода — говорю — дождливая!..

Ушла... Это она и есть, она самая — Кроваткина. Сущая ведьма. Ухо к дверям приложит и контролирует, о чем мы с вами беседуем. Уж я ее чувствую, знаю. Раз говорю — значит, знаю! У меня на это дело свое осязание есть. Сами с усами. Спиною их шашни угадываю. За десять метров.

Что вы! Какие тут фокусы! Не верите — могу доказать. Вот сейчас к вам спиной повернусь и ничего видеть не буду, а все буду угадывать. Любое телодвижение.

О-хо-хо! ноги-то, как чужие. Ну! Начинайте.

Тэкс-тэкс. В этот самый моментик вы в носу ковыряете. Мизинцем. Теперь — перестали. За левое ухо схватились. Нижнюю губу оттопыриваете. Что,

угадал? Хе-хе. А вы затейник! Какую пантомиму позади меня разыграл! Думает — не узнаю. Язык высунул, лоб сморщил... А глазки-то у вас, Сергей Сергеевич, совсем косые. Захмелели вы. Сразило вас это зелье.

Ну, на сегодня хватит. Я и не так еще умею. А теперь — по последней — и спать. Поздно уже. Что соседи подумают?

Нет, нет. И не просите. В другой раз доскажу. Перебила меня эта Кроваткина. Все настроение испортилось. Давайте я лучше на прощание что-нибудь совершу. Вот сейчас — хотите? — не сходя с места, исчезну. Возьму и улетучусь. Раз, два, три! Вот я был и вот! — меня! — неттт!

Покойной ночи, Сергей Сергеевич!

2

...Таким образом в скором времени одни русалки остались. Да и те... Сами знаете: индустриализация природных богатств. Дорогу технике! Ручьи, реки, озера химическими веществами пропахли. Метилгидрат, толуол. Рыба — та попросту дохнет и вверх брюхом плывет. А эти, бывало, вынырнут, отфыркаются кое-как, а из глаз — не поверите! — слезы от горя и разочарования. Сам видел. По всему роскошному бюсту — стригущий лишай, экзема и даже, простите за нескромность, венерические рецидивы.

Куда спрячешься?

Недолго думая — туда же, вслед за лешаками, за ведьмами — в город, в столицу. По каналу Москва — Волга, через эти самые шлюзы — в сеть водоснабжения, где почище да посытнее. Прощай, родимый край, первобытная обстановка!

Сколько их тут погибло! Видимо-невидимо. Конечно, не насовсем. Бессмертные создания все-таки. Ничего не попишешь. Но некоторые из них помясистее — в водопроводных трубах застряли. Да вы сами, вероятно, слышали. На кухне кран отвернете — оттуда вдруг рыданья несутся, бултыханья разные, чертыханья. Думаете — чьи это штучки? — Их голоса — русалок. Застрянет в умывальнике и ну капризничать, ну чихать!

Между прочим, в нашей квартире одна бывшая русалка проживает вполне легко и свободно. По паспорту — Софья Францевна Винтер. Знаете ее, конечно. В бумазейном халатике бегает и водные процедуры принимает с утра до вечера. То в ванной комнате плещется по три часа кряду (другим жильцам руки помыть негде), то в тазик частично усядется и стихи про Лорелею поет. На немецком языке:

Их вайс нихт вас золь эс бедойтен
Дас их зо траурих бин...

Генрих Гейне сочинил. Говорю ей вчера: — Софа! Ты бы хоть нового жильца постеснялась. Писатель как-никак. А ты в одном халатике по коридору бегаешь, без пуговиц, без тесемок, и при каждом своем движении на полметра распахиваешься.

А она — бесстыжая девка — только зубы скалит. «Ваш писатель, говорит,— мне «Белую сирень» подарил. Духи такие. У меня с ним, дедушка, понимание с первого взгляда».

Берегитесь, Сергей Сергеевич. Упаси вас Бог за нею ухаживать. Защекочет до смерти. А насчет чего посущественнее — я так скажу: рыбья кровь у нее и все прочее — рыбье. Одна только наружность дамская, для соблазна...

Вот вы опять смеетесь и ничему не верите. А хотя вы писатель — наблюдательности у вас никакой. Ну, что вы можете сказать, например, про Анчуткера? Ваш сосед. Анчуткер. Вот за этой стенкой. Ничего особенного. Гражданин как гражданин. Разве что еврей. Моисей Иехелевич. Подумаешь! Карл Маркс тоже, небось, из евреев произошел.

А если присмотреться, да повнимательней?.. Шевелюру он какую носит? Вы встречали когда-нибудь в жизни подобную шерсть на мужчине? А цвет лица? Где вы у человека найдете до такой степени синюю кожу? И взгляд у него невеселый, и штиблеты 47-го размера, к тому же всегда перепутаны: правая принадлежность на левой, а левая — на правой. Так и ходит, медведь неучтивый, и дома и в министерстве.

Опять же, обратите внимание, какую он литературу почитывает. «Лес шумит» Короленко. Новый роман Леонида Леонова «Русский лес». Я не спорю — роман замечательный. Но зачем же, спрошу я вас, непременно на эту тему? И почему он, проклятый Анчуткер, по лесному ведомству служит? Березы да елки логарифмической линейной считает, на кубометры перекладывает... И не Анчуткер он вовсе, а по-правильному, по-научному — Анчутка. Теперь смекаете! То-то!

Нет, Сергей Сергеевич, не найти вам среди наших квартирантов ни одного живого лица. Хоть и родня они мне. Так сказать, из одной деревни. Да что толку! Мне моя репутация дороже стоит. Это невежды говорят, малограмотные, некультурные бабы — домовой, дескать, заодно с лешим. Ошибаетесь! Совсем другая профессия. Нельзя в этом вопросе не видеть принципиальных различий. Домовой — он к дому привык, к человеческому запаху, к теплоте. Испокон века. Ему с чертями да с ведьмами не по пути. Может, вы думаете — общая природа? Не скажите! Мало ли что природа! Человек, например, тоже от обезьяны произошел. Однако впоследствии выделился в самостоятельную разновидность. С обезьянами дело имеет лишь в Африке да в зоопарке. Каково же мне — мне! — пожилому, можно сказать, человеку в коммунальных условиях жить?!

Как въехали они в нашу квартиру — Николай Николаевич с Ниночкой, я им сразу сказал: — Коля! — говорю,— Ниночка! держите ухо востро. Не поддавайтесь на провокацию. Живите, как в отдалении. А я возле вас погреюсь на старости лет.

– Нет! — отвечает Ниночка.— С волками жить — по-волчьи выть. Не забуду я этой Кроваткиной истории с гороховым супом. Она у нас мясо ворует, а я ее волосы жуй? К тому же — грязные и седые. От них заразиться можно.

И велит своему Николаше приладить ко всем кастрюлям висячие стальные замки. Чтобы пищу, значит, на ключ запирать, пока варится без надзора на плите общего пользования. Бывало, прокрадется на цыпочках, отомкнет поскорее кастрюлю, соли-масла добавит и опять на запор.

Только это не помогло. Превратности продолжаются. Курицу, скажем, на огонь поставит и замочки повесит. Отпирает — дохлая кошка сварена в курином бульоне. Даже не ободранная, прямо в шкуре, с хвостом.

Ниночка — в амбицию. Ее тем временем другая соседка — Авдотья Васют-

кина — на свою сторону переманила. Образовался альянс. У Авдотьи с Кроваткиной личные счеты: Анчуткера никак не поделят. От Анчуткера у обеих детишки. Лешанята, значит. Вот и сражаются, врагини, за свою ведьмячью любовь.

Представляете картину? Кухня. Дым коромыслом. В дыму эти ведьмы раскачиваются, ухватив друг друга за космы. В лицо друг другу плюют на близком расстоянии. Нехорошие слова произносят очень отчетливо:

– Ведьма! Потаскуха!

– Сама ты ведьма! Куда сегодня ночью верхом на унитазе каталась?

Под ногами у них ребятишки синепузые вертятся. Норовят укусить за икры противоположную сторону. Маленькие еще, а зубастенькие, с коготками.

И тут же, представляете, Ниночка. Волосики разметались. Глазки горят, как лампочки от карманного фонаря. В руках — скалка, и сквозь разорванную рубашку ребрышки ее цыплячьи так ходуном и ходят, так и ходят.

Увидал я эту картину и впервые заплакал. Мне, старику, совладать ли с тремя рассвирепевшими бабами? Бегаю вокруг, умоляю.— Брысь,— кричу,— по своим углам! А то я милицию вызову.— Они и слушать не желают. Стон стоит по всей жилплощади, топот, гром сковородный. Да еще в ванной комнате русалка Софа заливается истерическим смехом...

Вечером говорю Николаю: — Так и так. Уйми ты свою Ниночку. Добром это не кончится. Вот увидишь. Сними ты с неё по-домашнему трикотажные панталоны да всыпь легонько веником, чтобы не совалась в чужую баталию.

Как можно! Обиделся даже. «Я,— говорит,— до Верховного Совета дойду, а дела этого так не оставлю. Кроваткину судить надо. Она — фашистка. Она мою жену оскорбляет и словом и действием. А Ниночка за всю свою молодую жизнь пальцем никого не тронула...»

Любил ее Коля, простая душа, любил без памяти. Вот и пошли у них...

Сергей Сергеевич, сидите тихо. Не шевелитесь. Видите, под кроватью крыса бегает? Совлеките незаметно ботинок и бейте. Не промахнитесь только. А то уйдет. Ну! Вот сейчас снова высунется. Ты и кидай. В голову. Наповал. Р-раз!..

Эх, промазал! Бей, Сережа! Хватай! Бутылкой ее! Бутылкой!..

Что ж ты, неловкий ты человек... Говорил тебе — бутылкой. Ух! Даже ноги дрожат. Нервы вконец расшатались...

А знаете, Сергей Сергеевич,— кто это был? Это ведь Ниночка к нам приходила... Скучает она по своему Николаше. Вот и ходит на старое место — наша Ниночка...

3

Не пугайтесь — я без стука. Дело срочное. Беда, Сергей Сергеевич! Беда! Эта Кроваткина все пронюхала и Анчутке рассказала. Что теперь будет с нами?! Что будет?!

Послушайте, в вашей комнате мне находиться нельзя. Тем более — в естественном виде. Квартиранты могут заметить. Я и так уже — через щель явился. Под дверью пролез. В моем-то возрасте...

Одну минуту! Сейчас я немного замаскируюсь, тогда поговорим.

Что у вас тут имеется из подходящих предметов?.. Ага! Давайте-ка я

буду — стаканом. А вы садитесь за столик — будто бы выпиваете. Если кто заглянет — разговаривайте сами с собой. Пускай они думают, что вы — пьяный. Так безопаснее.

Ну, идите сюда: я уже на столе. Видите — у вас было три стакана, а стало четыре. Да нет же, не этот! Какой вы ненаблюдательный, право. Вот я, вот! Подле тарелки.

Ой! Не касайтесь меня руками! Еще уроните на пол и разобьете. У меня и без этого кости ноют.

Сергей Сергеевич, соберите внимание и выслушайте меня со всей серьезностью. Положение наше — хуже некуда. Мы — обнаружены. Ведется следствие. Анчуткер со вчерашнего дня здороваться со мной перестал. Я знаю — меня судить хотят. За разглашение ихних секретов. Завтра в двенадцать ночи на кухне соберется Совет. Все бы ничего, да Шестопалов мной недоволен. Отдал распоряжение: «Мы, говорит, ему доверяли, а у него с чуждыми элементами периодические знакомства. Инцидент с молодоженами мы, говорит, ему простили, так он теперь снова дружбу налаживает с кем не положено. А друг его новый, писатель — все с его слов на бумагу записывает. Могут выйти неприятности. Наказать болтуна, чтобы другим неповадно было. Писателем же займемся особо. Благо он алкоголик и ему настоящие черти скоро начнут мерещиться».

Понимаете, Сергей Сергеевич, что это означает?! Разлучат они нас. Последнего человека отымут. Дома-крова меня лишат. Под пол отправят. В сырость, в холод, к микроорганизмам. Или по канализационной системе вниз головою спустят. И буду я вынужден там циркулировать до скончания света. Наподобие Вечного Жида по имени Агасфер. Вы одноименный роман Эжена Сю читали? Вот-вот. Тем же способом. Из клозета — в клозет.

И вам несдобровать. Окружат вас мерзкими харями, кикиморами, упырями. Страшно станет. Запьете пуще прежнего. И чем больше пить будете, тем страшнее будет. Пока не свихнетесь с ума, как бедный Николай Николаевич!

Бежать нам надо. Все предусмотрено. Завтра в половине двенадцатого я за вами явлюсь. Перед самым началом праздника, перед Большим Кухонным Советом. Будьте наготове. Они гостей ждать станут, в туалеты наряжаться. Закуску готовить примутся. Из падали, из тухлых яиц. Глядишь, в суматохе контроль ослабнет. В этот момент вы меня сажаете в карман (уж я сам постараюсь как-нибудь там уместиться), надеваете сверху пальто, чтобы ветром меня не продуло, и быстрым шагом выходите на улицу. Будто выпили немного и решили прогуляться, подышать свежим воздухом.

Первое время в гостинице перебьемся. А после — дом, квартиру сладим. Без жильцов, без соседей. Сами себе хозяева. «Ни бог, ни царь и ни герой!»

На всякий случай, для профилактики, икону можно повесить. Пусть это вас не смущает: я привык, в деревне воспитывался. Предрассудки эти в народной среде очень распространены.

Не хотите икону, убеждения не позволяют? — обойдемся простой репродукцией. Рафаэля какого-нибудь с младенцем из «Всеобщей истории» вырежем и на видное место приклеим. От нечистой силы, от дурного глаза тоже

хорошо помогает. И вполне прилично, прогрессивно. Искусство все-таки. Не придерешься.

Главное, Сергей Сергеевич, вместе надо держаться. Мне без вашей, без человеческой помощи вовеки отсюда не выбраться. По внутреннему помещению расхаживаю сколько угодно. Хочу — по стенам, хочу — по потолку. Но за порог ни ногой. Физиология не позволяет.

Да и вы — не буду скромничать — без меня пропадете. А со мною — Бог даст — всемирную известность получите. Чарльз Диккенс. Майн Рид. Ведь я знаю — все знаю, хитрец вы этакий. Я — в дверь, вы — за перо. Даже когда не совсем в себе и языком плохо владеете...

Так это что, беседы наши! Мизерная частица. У меня этих басен целый декамерон. И все на личном опыте. В пяти темах можно издать. С иллюстрациями. Мы с вами, Сергей Сергеевич, братьев Гримм за пояс заткнем.

Ой-ой-ой! Что же вы делаете? Зачем вы коньяк в меня наливаете? Я захлебнусь, захлебнусь! Ополосните немедленно...

И напугали же вы меня, Сергей Сергеевич. Учтите — завтра чтобы ни-ни! Ни одной капельки! Будьте бдительны, осторожны. И в поступках и в выражениях. От резких фраз с упоминаниями, пожалуйста, воздержитесь. А то знаете, как бывает. Видали вчера Ниночку? Ну да, Ниночку в крысиной форме. Теперь уж так и останется... Не возвратить.

Терпел-терпел Коля, да и скажи однажды: — Ну тебя, Ниночка, к лешему. Надоели мне эти скандалы.

И как только он произнес эти роковые слова, входит к ним в комнату Анчуткер. Вроде бы по делу, за папироской. И смотрит пристально на Ниночку, а Ниночка смотрит на Анчуткера, и очень они друг другу в ту минуту понравились.

Ниночка к тому времени была уже не такой. Волосики поредели, глазки впали, а животик — наоборот — выпучился. От внутренней злобы. И зад у нее тоже, знаете, заметно заматерел. Словом, по вкусу пришлась, и начались промежду ними свидания, щипки, цап-царапки нежные и все такое. Совсем ведьмой сделалась. С Кроваткиной помирились. Даже стала учиться по ночам на унитазе летать. Как ракетный двигатель. С помощью кишечного газа.

А когда Николая Николаевича в сумасшедший приют забрали, бросил ее сожитель. В беременном положении бросил. И чтоб не платить алименты и Авдотьину ревность унять, в бессловесную тварь ее обратили соответствующего содержания. Она потом в норе крысятами разродилась. Семь штук принесла.

Может, и жалко ее. Но я лично вижу в этом факте настоящую аллегорию. Подтачивала устои морали — туда и дорога! — и даже очень жалко, что вы ей не попали ботинком по голове. Была бы прямая польза и справедливое возмездие. За Николашу. Как в «Анне Карениной». Хороший был человек.

Заболтался я с вами. Правильно, видать, Шестопалов болтуном меня обозвал. Да ведь легко сказать! От людского жилья отрезан. Слово вымолвить не с кем. Молчишь, молчишь целыми днями. И целыми ночами. Валенками по паркету шаркаешь.

Ладно уж. Только бы уйти отсюда. Я про самого Шестопалова такие истории знаю. Со смеху умрете.

Значит — решено! До завтра, значит. Слово даете? Ну-ну.

Я сейчас удалюсь, как пришел незаметно. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Никто нас не видал, никто не слыхал. Шито-крыто.

4

Эй!

Сергей Сергеевич!

Пора.

Самое время!

Где вы? Куда подевались?

Ушел? Без меня ушел! Старика на растерзание бросил. Бездомного старика...

Что это? Что это? На полу валяется? Неужто помер? Сергей Сергеевич, родненький... Сердце бьется. Глазки моргают. Проснитесь! Бежимте отсюда. Сроки приспели. Сейчас звонили по телефону: Шестопалова ожидают на праздник. С минуты на минуту. Им теперь не до нас. Суетня, подготовка.

Что ж это вы, Сергей Сергеевич?.. А я-то думал... Как вам не стыдно! Еще слово давали... Нашли время... Не утерпели...

Как же вы в таком виде по улице пойдете? Вас в милицию заберут.

Все одно — вставайте! У нас в распоряжении четыре минуты. Поднимайтесь, вам говорят!

То есть как это не в силах? Ноги отнялись? Не дурите!

Голубчик, давайте вместе попробуем. Приложите старания. Хватайтесь руками за шею. Ну! Еще раз. И тяжел же ты, братец. Стой-стой, не выались!..

Ш-ш-ш-ш! С ума ты сошел! Грохот по всей квартире. Догадаются— придут за нами. А я куда денусь? Я тебя спрашиваю или нет — мне что делать прикажешь?

Ну, чего ты бормочешь? Плевал я на твои извинения. Слышишь, слышишь?.. Кроваткина ухо к дверям прикладывает. Пропали мы. Сейчас Анчуткера позовет. Шестопалова.

Сергей Сергеевич! Сыночек! Выручай!.. Встань хотя бы на колени. Давай я тебе помогу. Вот так. Вот так. Теперь молись. Я сзади придержу. За плечи. Молись! Молись — тебе говорят, пьяная рожа!

Как это — забыл? Откуда я знаю? Это ты должен знать! Ты — человек, а не я. Тебе и карты в руки. А мне нельзя, не полагается.

Что же ты, Сергей Сергеевич,— с чертями живешь, о чертях рассказы записываешь, а молиться не научился?!

Ладно. Пускай лежа. Повернись на спину. Пойми же наконец,— это последнее средство... Стал бы я в другое время?!. Сложи пальцы. Сначала ко лбу. Теперь — сюда... Ты зачем притворяешься? Врешь! Храпи-не-храпи — я не поверю. Все ты прекрасно сознаешь, все понимаешь... Дьявол ты что ли на самом деле или кто?..

А это еще кто?! А-а! Ниночка? Здравствуй, Ниночка... Не бойся, не бойся. Не трону. Мне теперь все равно...

Вот! Полюбуйся на красавца. Твой супруг будущий. Третий по счету. В

норе вместе поселитесь... Понюхай ему глаза, понюхай. Лизни. Он позволяет... Ему сейчас не до тебя. Мутит его, комната кружится. И чертики уже в глазах прыгают. И крысы.

Ну, вот и дождались. Идут всей гурьбой. Топочут по коридору. Сейчас ворвутся. Это они за мной пришли. И за вами тоже, Сергей Сергеевич. И за вами тоже. И за вами тоже.

1959

Источник: библиотека А. Белоусенко (http://belousenkolib.narod.ru).

Даниэль Юлий Маркович (Николай Аржак)

(1925–1988)



Писатель, переводчик.

Родился в Москве в семье еврейского писателя М.Н. Мееровича, печатавшегося на идише под псевдонимом М. Даниэль.

Из школы ушел на фронт, воевал на 2-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, был тяжело ранен, по ранению демобилизован, признан инвалидом. Окончил Московский областной педагогический институт. Начал печатать стихи и переводы на русский язык поэзии народов СССР, в Детгизе готовилась к печати историческая повесть «Бегство». С середины 50-х годов печатается за границей под псевдонимом Николай Аржак.

Осенью 1965 г. арестован вместе с А. Синявским и в феврале 1966 г. осужден на пять лет. (О специфике процесса см. в справке об Андрее Синявском, *т. 1, кн. 1, стр. 457. См. также материалы в справке о «Белой книге», стр. 422, открытые письма Ю. Галанскова, стр. 11 и Л. Чуковской, стр. 7, статью Л. Богораз, стр. 256*).

Отбыв полностью срок, Ю. Даниэль, работал сначала в Калуге, затем в Москве. Печататься мог только анонимно, под псевдонимом Ю. Петров.

В конце 50-х, начале 60-х годов за границей под псевдонимом Николай Аржак опубликованы «Говорит Москва» (1958), «Руки» (1959), «Человек из МИНАПа» (1960), «Искупление» (1963).

Первые публикации на родине: «Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля» М.: СП «Юнона», 1990.

ГОВОРИТ МОСКВА

– Миу! – это плачет маленький котенок.
– Миу! – он еще мяукать не умеет.
Одиночеством безмерно угнетенный,
Он тоскливо бродит меж скамеек.
Рядом грубые, нескромные, большие
На скамейках восседают люди.
Словно псы, кругом рычат машины.
Он боится. Как же дальше будет?
На его на жалкий интеллект кошачий
Неожиданность нечаянно свалилась.
– Миу! – кот раскрепощенный плачет.
– Объясните! Окажите милость!..
Что ж, он возмужает в странствиях суровых,
Он украсится ногтями и клыками,
Как стеклом разбитых поллитровок,
Засверкает желтыми зрачками;
Он оставит «миу». Скажет в полный голос,
Что вцепиться сможет в каждого громилу;
А пока что – сердце раскололось,
А пока что – «Миу... миу... миу...»

Илья Чур. «Московские бульвары».

I

Сейчас, когда я пытаюсь мысленно восстановить события минувшего лета, мне очень трудно привести мои воспоминания в какую-то систему, связно и последовательно изложить все, что я видел, слышал и чувствовал; но тот день, когда это началось, я запомнил очень хорошо, до мельчайших деталей, до пустяков.

Мы сидели в саду, на даче. Накануне все мы, приехавшие на день рождения к Игорю, крепко выпили, шумели допоздна и, наконец, улеглись в полной уверенности, что проспим до полудня; однако загородная тишина разбудила нас часов в семь утра. Мы поднялись и дружно стали совершать всякие нелепые поступки: бегали в одних трусиках по аллейкам, подтягивались на турнике (больше пяти раз никто так и не сумел подтянуться), а Володька Маргулис даже окатился водой из колодца, хотя как всем было известно, по утрам он никогда не умывался, ссылаясь на то, что опаздывает на работу.

Мы сидели и бодро спорили о том, как наилучшим образом провести воскресенье. Само собой, вспоминались и купанье, и волейбольный мяч и лодка; какой-то зарвавшийся энтузиаст предложил даже пеший поход в соседнюю деревню в церковь.

– Очень хорошая церковь, — сказал он, — очень старая, не помню, какого века...

Но его высмеяли — никому не улыбалось переть по жаре восемь километров.

Наверное, странное зрелище представляли мы, тридцати-тридцатипятилетние мужчины и женщины, раздетые, как на пляже. Мы деликатно старались не замечать друг у друга всякие смешные и грустные неожиданности: впалую грудь и намечающиеся лысинки у мужчин, волосатые ноги и отсутствие талии у женщин. Все мы знали друг друга давно, нам были знакомы костюмы, галстуки и платья друг друга, но каковы мы без одежды, в натуральном виде — этого никто себе не представлял. Кто бы мог подумать, например, что Игорь, такой элегантный и всегда подтянутый, имевший несомненный успех у сослуживиц в своей академии, что этот самый Игорь окажется кривоногим? Разглядывать друг друга было так же интересно, смешно и стыдно, как смотреть порнографические открытки.

Мы сидели, прочно прижавшись задами к стульям, жалко выглядевшим на траве, и говорили о предстоящих нам спортивных подвигах. Вдруг на террасе появилась Лиля.

– Братцы, — сказала она, — я ничего не понимаю.

– А что ты, собственно, должна понимать? Иди к нам.

– Я ничего не понимаю, — повторила она, жалобно улыбаясь, — радио... По радио передавали... Я самый конец услыхала... Через десять минут снова передавать будут.

– Очередное, — дикторским басом сказал Володька, — двадцать первое по счету снижение цен на хомуты и чересседельники...

– Идите в дом, — сказала Лиля. — Пожалуйста...

Мы всей гурьбой ввалились в комнату, где на гвоздике скромно висела пластмассовая коробочка репродуктора. В ответ на наши недоуменные вопросы Лиля только вздыхала.

– Паровозные вздохи, — сострил Володька. — А что, здорово сказано? Прямо ильфо-петровский эпитет.

– Лилька, брось нас разыгрывать, — начал Игорь. — Я знаю, тебе скучно одной посуду мыть...

И в это время радио заговорило.

– Говорит Москва, — произнесло оно, — говорит Москва. Передаем Указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 16 июля 1960 года. В связи с растущим благосостоянием...

Я оглянулся. Все спокойно стояли, вслушиваясь в раскатистый баритон диктора, только Лиля суетилась, как фотограф перед детьми, и делала приглашающие жесты в сторону репродуктора.

– ... навстречу пожеланиям широких масс трудящихся...

– Володя, дайте мне спички, — сказала Зоя. На неё шикнули. Она пожала плечами и, уронив в ладонь незажженную сигарету, отвернулась к окну.

– ... объявить воскресенье 10 августа 1960 года...

– Вот оно! — крикнула Лиля.

– ... Днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим шестнадцатилетнего возраста, предоставляется право свободного умерщвления любых других граждан, за исключением лиц, упомянутых в пункте первом примечаний к настоящему Указу. Действие Указа вступает в силу 10 августа 1960 года в 6 часов 00 минут по московскому времени и прекращается в 24 часа 00 минут. Примечания. Пункт первый. Запрещается убий-

ство: а) детей до 16-ти лет, б) одетых в форму военнослужащих и работников милиции и в) работников транспорта при исполнении служебных обязанностей. Пункт второй. Убийство, совершённое до или после указанного срока, равно как и убийство, совершённое с целью грабежа или являющееся результатом насилия над женщиной, будет рассматриваться как уголовное преступление и караться в соответствии с существующими законами. Москва. Кремль. Председатель Президиума Верховного...

Потом радио сказало:

– Передаем концерт легкой музыки...

Мы стояли и обалдело смотрели друг на друга.

– Странно, — сказал я, — очень странно. Непонятно, к чему бы это.

– Объяснят, — сказала Зоя. — Не может быть, чтобы в газетах не было разъяснений.

– Товарищи, это провокация! — Игорь заметался по комнате, разыскивая рубашку. — Это провокация. Это «Голос Америки», они на нашей волне передают!

Он запрыгал на одной ноге, натягивая брюки.

– Ох, извините! — Он выскочил на террасу и там застегнул ширинку. Никто не улыбнулся.

– «Голос Америки»? — задумчиво переспросил Володька. — Нет, это невозможно. Технически невозможно. Ведь сейчас, — он взглянул на часы, — половина десятого. Идут передачи. Если бы они работали на нашей волне, мы бы слышали и то, и другое...

Мы снова вышли наружу. На террасах соседних дач появились полуодетые люди. Они сбивались группами, пожимали плечами и бестолково жестикулировали.

Зоя закурила, наконец, свою сигарету. Она села на ступеньку, упершись локтями в колени. Я смотрел на её обтянутые купальником бедра, на грудь, наполовину открытую глубоким вырезом. Несмотря на полноту, она была очень хороша. Лучше всех остальных женщин. Лицо у нее, как всегда, было спокойным и немного сонным. За глаза ее называли «Мадам Флегма».

Игорь стоял среди нас совершенно одетый, как миссионер среди полинезийцев. После категорического заявления Володьки о том, что сообщение по радио не могло быть фокусами заокеанских гангстеров, он присмирел. Видно, он уже жалел о том, что так решительно объявил передачу провокацией. Но, по-моему, он напрасно испугался: стукачей среди нас вроде не должно было быть.

– Отчего мы, собственно, всполошились? — бодро сказал он. — Зоя права: будут разъяснения. Толя, ты как думаешь?

– А чёрт его знает, — пробормотал я. — Еще почти месяц до этого самого, как его, Дня открытых...

Я осекся. Мы снова с недоумением уставились друг на друга.

– Ладно, — Игорь тряхнул головой. — Я думаю, это все связано с международной политикой.

– С президентскими выборами в Америке? — Да Игорек?

– Ох, Лилька, ты-то уж помолчала бы! Черт-те что несешь!

– Идемте купаться, — сказала Зоя, поднимаясь. — Толя, принеси мою резиновую шапочку.

Очевидно, вся эта неразбериха даже ее выбила из колеи, иначе бы она не назвала меня при всех на «ты». Но этого, кажется, никто не заметил.

Когда мы шли к речке, Володька нагнал меня, взял под руку и сказал, скорбно глядя своими библейскими глазами:

– Понимаешь, Толя, я думаю, здесь что-то насчет евреев замышляют…

II

Ну кто бы смог, ну кто бы вынес,
Когда бы не было для нас
Торговли масками на вынос
На каждый день, на каждый час?
Рядись лифтером и поэтом,
Энтузиастом и хлыщом,
Стучись в окошко за билетом,
Ори! Но не забудь при этом,
Что «Вход без масок воспрещён».

Илья Чур. «Билеты продаются».

Вот я пишу все это и думаю: а зачем мне, собственно, понадобилось делать эти записи? Опубликовать их у нас никогда не удастся, даже показать прочесть некому. Переправить за границу? Но, во-первых, это практически неосуществимо, а во-вторых, то, о чем я собираюсь писать, уже рассказано в сотнях зарубежных газет, по радио об этом день и ночь трещали; нет, у них там все это давно обсосано. Да, по правде говоря, это и не очень красиво — печататься в антисоветских изданиях.

Я притворяюсь. Я знаю, зачем я пишу. Я должен сам для себя уяснить, что же всё-таки произошло. И, главное, что произошло со мной? Вот я сижу за своим письменным столом. Мне тридцать пять лет. Я попрежнему работаю в этом дурацком промышленном издательстве. Внешность моя не изменилась. Вкусы тоже. Так же, как и раньше, я люблю стихи, люблю выпить, люблю баб. И они меня, в общем, любят. Я в свое время был на войне. Убивал. Меня самого чуть не убили. Когда женщины вдруг притрагиваются к шраму на моем бедре, они отдергивают руку и вскрикивают шёпотом: «Ой, что это у тебя?» «Это ранение, — говорю я, — рубец от разрывной». «Бедный, — говорят они, — это было очень больно?» В общем, все, как и раньше. Любой знакомый, любой приятель, сослуживец сказал бы: «Ну, Толька, ты совершенно не меняешься!» Но ведь я-то знаю, что этот день схватил меня за шиворот и ткнул в лицо самому себе! Я-то знаю, что мне пришлось знакомиться с собой заново!

И еще одно. Я не писатель. В юности писал стихи, да и сейчас могу — к случаю; написал несколько театральных рецензий — думал таким манером пробиться в литературу, но ничего не вышло. Но я всё-таки пишу. Нет, я не графоман. Графоманы (я с ними часто встречаюсь по своей должности литсотрудника), графоманы уверены в собственной гениальности, а я знаю, что таланта у меня нет. Или, если есть, то небольшой. А писать очень хочется. Ведь что хорошо в моем положении, что приятно? Знаю заранее, что никто читать не

будет, и могу писать безбоязненно, все, что в голову придет! Захочу написать:

«И черной Африкой рояль По-негритянски зубы скалит» — и напишу. Никто меня ни в претенциозности, ни в колониализме не упрекнёт. Захочу написать о правительстве, что все они демагоги, лицемеры и вообще сволочи — и это напишу... Я могу позволить себе эту роскошь быть коммунистом наедине с самим собой.

А если быть откровенным до конца, то я всё-таки надеюсь, что у меня будут читатели — не сейчас, конечно, а через много-много лет, когда меня уже в живых не будет. В общем — «когда-нибудь монах трудолюбивый прочтет мой труд усердный, безымянный...» И думать об этом приятно.

Ну, вот, теперь, когда я совершенно открылся перед моим предполагаемым, воображаемым читателем, можно и продолжать.

Веселья у нас в тот день так и не получилось. Острили скучно, играли без азарта, пить не стали совсем и разъехались рано.

В Москве на другой день я пошел на работу. Я заранее знал, что будет неминуемый трёп об Указе, знал, кто будет высказываться, а кто помалкивать. Но, к удивлению моему, помалкивали почти все. Два-три человека, правда, спросили меня: «Ну, что вы обо всем этом думаете?» Я промямлил что-то вроде: «Не знаю... там видно будет...» — и на том разговоры прекратились.

Через день в «Известиях» появилась большая редакционная статья «Навстречу Дню открытых убийств». В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: «Растущее благосостояние — семимильными шагами — подлинный демократизм — только в нашей стране все помыслы — впервые в истории — зримые черты — буржуазная пресса... Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию, а потому запрещаются поджоги и взрывы. Кроме того, Указ не распространялся на заключенных. Ну, вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял, но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи — привычно-торжественный, буднично-высокопарный — внес успокоение. Ничего особенного: «День артиллерии», «День советской печати», «День открытых убийств»... Транспорт работает, милицию трогать не велено — значит порядок будет. Все вошло в свою колею.

Так прошло недели полторы. И вот началось нечто такое, что трудно даже определить словом. Какое-то беспокойство, брожение, какое-то странное состояние. Нет, не подобрать выражения! В общем, все как-то засуетились, забегали. В метро, в кино, на улицах появились люди, которые подходили к другим и заискивающе улыбаясь, начинали разговор о своих болезнях, о рыбной ловле, о качестве капроновых чулок — словом, о чем угодно. И если их не обрывали сразу и выслушивали, они долго жали собеседнику руку, благодарно и проникновенно глядя в глаза. А другие — особенно молодежь — стали крикливыми, нахальными, всяк выпендривался на свой лад; больше обычного пели на улицах и орали стихи, преимущественно Есенина. Да, кстати насчет стихов. «Литература и жизнь» дала подборку стихотворений о предстоящем событии — Безыменского, Михалкова, Софронова и других. Сейчас, к сожалению, я не смог достать этот номер, сколько не пытался, но кусок из софроновского стихотворения помню наизусть:

Гудели станки Ростсельмаша,
Фабричные пели гудки,
Великая партия наша
Троцкистов брала за грудки.
Мне было в ту пору семнадцать,
От зрелости был я далек,
Я в людях не мог разобраться,
Удар соразмерить не мог.
И, может, я пел тогда громче,
Но не был спокоен и смел:
Того, пожалев, не прикончил,
Другого добить не сумел...

В совершенно астрономическом количестве появились анекдоты; Володька Маргулис бегал от одного приятеля к другому и, захлебываясь, рассказывал их. Он же, выложив мне как-то весь свой запас, сообщил о том, что Игорь на каком-то собрании у себя в академии высказался в том смысле, что 10 августа есть результат мудрой политики нашей партии, что Указ еще раз свидетельствует о развертывании творческой инициативы народных масс — ну, и так далее, в обычном духе.

– Понимаешь, Толька, — сказал он, — хотя я и знал, что Игорь — карьерист и все такое, но этого я от него не ожидал.

– А почему? — спросил я. — А что тут особенного? Поручили выступить — он и выступил: был бы ты, как Игорь, членом партии, и ты бы высказывался на всю катушку.

– Я? — Никогда! Во-первых, я ни за что не вступлю в партию, во-вторых…

– Во-первых, во-вторых, не ори. Чем ты лучше Игоря? А ты у себя в школе во время дела врачей не трепался о национализме?

Я сказал и сразу пожалел, что сказал. Это его больное место. Он простить себе не может, что на какое-то время тогда поверил газетам.

– Расскажи лучше, что у тебя с Нинкой. — сказал я примирительно. — Ты ее давно видел? Володька оживился.

– Понимаешь, Толя, трудно я люблю, — сказал он, — трудно. Я ей вчера позвонил, говорю, что хочу ее видеть, а она отвечает…

И Володька принялся подробно рассказывать, что она ему ответила, что он ей сказал, что они оба сказали.

– Понимаешь, Толя, ты же меня знаешь, я человек не сентиментальный, но тогда я чуть не заревел…

Я слушал его и думал о том, как люди умудряются создавать проблемы на пустом месте. Володька женат, у него двое детей, он преподает литературу в школе, лучший методист района и, в общем-то, умный парень. Но его романы! Конечно, жена у него халда, спору нет, от такой жены на любую бабу кинешься. Ну и кидайся на здоровье. А к чему эти переживания, страсти африканские, весь этот провинциальный гамлетизм? И слова-то какие: «нравственные обязатель-

ства», «душевная раздвоенность», «она в меня верит»... Кстати, «она в меня верит», говорится и о жене и об очередной пассии. Нет, я на все это проще смотрю. С самого начала не нужно никакой игры, никакой дипломатии, никаких обязательств, чтобы все было честно. Нравимся друг другу? Отлично. Хотим друг друга? Превосходно. Чего еще надо? А — а, супружеская измена, адюльтерчик! Ну, и что? Я, если женюсь, не буду терзаться Володькиными проблемами, я просто буду сообщать заранее: «Я, знаете ли, женат, разводиться не собираюсь, а вот вы мне здорово нравитесь. Подходит это вам? Чудесно, где и когда мы встретимся? Не подходит? Очень жаль, до свиданья, подумайте всё-таки...» Вот так. Ну, разумеется, не так примитивно. И, по-моему, это гораздо лучше, чем трепаться о несходстве духовных запросов между тобой и твоей женой, о том, что, «конечно, я свою жену уважаю, но...» Я еще ни одной женщины не обидел всерьез, а все потому, что не разрешал им строить иллюзии на свой счёт.

Володька поговорил еще с полчаса о своей трудной любви и ушел. Я проводил его, но он тут же позвонил, просунул голову в приоткрывшуюся дверь и сказал шопотом, чтобы соседи не услыхали:

– Толя, а если 10 августа будет еврейский погром, я буду драться. Это им не Бабий Яр, не тракторный завод. Я их, гадов, стрелять буду. Вот, смотри!

И он, распахнув пиджак, показал высунувшуюся из внутреннего кармана рукоять офицерского ТТ, сбереженного им с военных лет.

– Они меня задешево не возьмут...

Когда он окончательно ушел, я долго стоял посреди комнаты. Кто «они»?

III

> Нет, Алкиной, ты не прав: есть бесконечность в природе.
> Служит примером тому глупость и подлость людей.
>
> *Кирилл Замойский. «Опыты и поучения».*

– Ах, Толя, вы просто не хотите рассуждать всерьез! Вы поймите такую простую вещь...

Мой сосед по квартире намыливал мочалкой грязную посуду; брюхо поросшее седыми волосами, туго обтянутое сеткой выпирало из штанов, ложилось на край рукописи. Он ужасно горячился, хотя я ни словом не возражал ему.

– ... нет, нет, поймите меня правильно! Кто-кто, а уж я-то не поклонник газетных штампов. Но факты есть факты, и надо смотреть им в глаза... Сознательность-то действительно выросла! Эрго: государство вправе поставить широкий эксперимент, вправе передать отдельные свои функции в руки народа! Вы посмотрите — бригады содействия милиции, комсомольские патрули, народные дружины по охране общественного порядка — это же факт! И факт многозначительный. Разумеется, и у них случаются ошибки, так сказать, ляпсусы — узкие брюки порезали, девиц каких-то обстригли — так ведь без этого не бывает! Издержки производства! Лес рубят! И теперешний Указ это не что иное, как логическое продолжение уже начавшегося процесса — процесса демократизации. Демократизации — чего? Демократизации органов исполнительной власти. Идеал же, поймите меня правильно — постепенное растворение исполнительной вла-

сти в широких народных массах, в самых, так сказать, низах. То есть, не в низах, я не так выразился, какие у нас низы, ну, вы меня понимаете... И поверьте моему слову, слову старого юриста — передо мной сотни, тысячи, десятки тысяч людей прошли — поверьте моему слову: народ в первую очередь сведет счеты с хулиганами, с тунеядцами, с отбросами общества... Да-да, помните, как у Толстого: «Всем миром навалиться хотят! Один конец сделать хотят!» Вот именно, Толя, — «всем миром», общиной, так сказать, «обчеством», по-русски...

Я с нетерпением ждал, когда он выронит скользкую тарелку, и он, наконец, кокнул ее. На шум выплыла из комнаты его жена, неодобрительно посмотрела на осколки и на меня и сказала ровным голосом:

– Петр, иди в комнату.

– «Мало тебя, дурака, в лагере держали», — подумал я вслед ему и пошел открывать на звонок.

Вошла Зоя.

Мы прошли в мою комнату, и Зоя, облегченно вздохнув, сбросила туфли. Я люблю смотреть, как женщины снимают туфли, меняется форма ноги, линия сразу становится интимной, домашней, какой-то простодушной.

– Ты в белых тапочках, — сказал я, указывая на ее незагорелые ступни. — Покажи, где ты еще белая.

– Я хотела с тобой поговорить, — ответила она, — ну, ладно, потом... Я обнял ее.

– Запри дверь, — сказала она.

...Мы лежали рядом, чуть отодвинувшись друг от друга. Кожа у Зои была прохладной, несмотря на жару; ее светло-коричневое тело было трижды опоясано белыми лентами: на груди, на бедрах и на ступнях. Она лежала рядом со мной, свободно и бесстыдно раскинувшись, прекрасная и сверкающая, как клоун на манеже, и я чувствовал, что очень люблю ее. И мне хотелось также свободно и бесстыдно подмигнуть кому-то, какому-то воображаемому наблюдателю и, может быть, соучастнику, и сказать ему: «Посмотри, дружище, какая мне женщина досталась!» Я лежал и думал, что, вероятно, происходящее между нами и называется «жизнью»: борьба, завоевание, взаимная капитуляция, утверждение и яростное отрицание, пронзительное ощущение себя и полное растворение отчуждения и слияния — все вместе, все одновременно. И мне было в эту минуту безразлично, что она замужем, что этой умной, покорной, постоянно ждущей плотью владею не я один, что у нее есть муж, ласкающий ее на законных основаниях, что через месяц вернётся с курорта моя сестра, и Зоя уже не сможет приходить ко мне, что нам снова придется, как бездомным котам, лазать по всяким чердакам и подъездам, что снова я буду удивляться и даже чуть-чуть шокироваться ее способностью отдаваться в самых неподходящих условиях, и я снова буду ей за это очень благодарен, и сейчас мне было безразлично все это. Я лежал и ждал, когда она заговорит.

И она заговорила.

– Толя, — сказала она. — Скоро «День открытых убийств».

Она произнесла эти слова очень просто и деловито, как если бы сказала: «Скоро Новый год», или «Скоро майские праздники».

– Ну и что же? — спросил я. — Какое это к нам имеет отношение?

– Разве тебе не надоело прятаться? — спросила она. — Ведь мы можем все переменить.

– Я не понимаю, — пробормотал я. Но я врал — я уже все понял.

– Давай убьем Павлика.

Она так и сказала: «Павлика». Не «мужа», не «Павла», а именно «Павлика». Я почувствовал, как у меня деревенеют губы.

– Зоя, ты в своем уме? Что ты говоришь?

Зоя медленно повернула голову и потерлась щекой о мое плечо.

– Толенька, не волнуйся только, ты только подумай спокойно. Ведь другого такого случая не будет. Я уже все обдумала. Ты придёшь к нам накануне. Скажешь, что хочешь провести этот день у нас. Ведь мы с Павликом решили никуда не выходить, и мы это сделаем вдвоём с тобой. А потом ты переедешь ко мне. И мы поженимся. Я бы не стала тебя впутывать в это, я бы сама все сделала, но я просто боюсь не справиться.

Она говорила, а я лежал и слушал, и каждое ее слово, как мгновенное удушье, хватало меня за горло.

– Толя, ну, что же ты молчишь?

Я прокашлялся и сказал:

– Уходи.

Она не поняла.

– Куда?

– К черту, — сказал я.

Зоя несколько секунд смотрела мне в глаза, потом встала и начала одеваться. Она надела лифчик, потом трусики, потом комбинашку. Я следил за тем, как она скрывается под одеждой. Она накинула платье, сунула ноги в туфли и стала причесываться.

Причесавшись она взяла сумочку и отперла дверь. На пороге обернулась и сказала негромко:

– Слякоть.

И ушла. Я слышал, как щелкнул замок входной двери.

Я встал и оделся. Я аккуратно застелил развороченную постель. Я подмел в комнате. Я сделал много движений, сосредоточиваясь на каждом из них.

Мне очень не хотелось думать.

IV

Я их ненавижу до спазм,
До клекота в горле, до дрожи.
О, если собрать бы, да разом
Всех этих б...й уничтожить!..

Георгий Болотин. «Трубы времени».

А думать все-таки пришлось. Может быть, это глупо, но больше всего меня ошеломило брошенное Зоей словечко «слякоть»: ведь я не трус, я это знаю, я убедился в этом и на фронте, да и после войны бывали всякие случаи. А Зоя решила, что я струсил. Да нет, какая там трусость, просто это же дико: взять и

убить Павлика, безропотного, кроткого, ничего не замечающего Павлика. Ну да, мы обманывали его; если бы он узнал о нашей связи, он бы, конечно, страдал; мы пили на его деньги, мы смеялись над ним в глаза и за глаза; все это так — но убить? За что? и зачем? Ведь если на то пошло, если дело только в том, чтобы выйти за меня замуж, то она могла бы и развестись?! Значит... убийство — не просто средство избавиться от нелюбимого, глуповатого и пожилого мужа? Значит, для нее в убийстве есть какой-то непонятный для меня смысл? Может быть, она его ненавидит, мстит? Ну, конечно, она мстит за то, что в свое время, в девятнадцать лет, влюбилась в него, а он только и умеет, что говорить: «Техника на грани фантастики», «Ключ от квартиры, где деньги лежат» — да рассказывать еврейские и армянские анекдоты... Она не в состоянии не ненавидеть его. Ну, конечно, если ненавидит, то может и убить. Это-то я понимаю. Ненависть дает право на убийство. Ненавидя, я и сам могу... Могу? Ну, разумеется, могу. Безусловно, могу. Кого я ненавижу? Кого я ненавидел за всю свою жизнь? Ну, школьные годы не в счет, а вот взрослым? Институт. Я ненавидел одного из преподавателей, который четыре раза подряд нарочно срезал меня на зачете. Ну, ладно, черт с ним, это было давно. Начальство разных мастей, с которым мне довелось работать. Да, это были подлецы. Они изрядно попортили мне кровь. Морду бы им набить, сволочам. Кто еще? Писатель К., пишущий черносотенные романы. Да, да, я помню, как я говорил, что убил бы его, если бы знал, что мне за это ничего не будет. О, его мерзавца, стоило бы проучить! Да так, чтоб он больше никогда к перу не прикоснулся... Ну, а эти, толстомордые, заседающие и восседающие, вершители наших судеб, наши вожди и учителя, верные сыны народа, принимающие приветственные телеграммы от колхозников Рязанской области, от металлургов Криворожья, от императора Эфиопии, от съезда учителей, от Президента Соединенных Штатов, от персонала общественных уборных? Лучшие друзья советских физкультурников, литераторов, текстильщиков, дальтоников и умалишенных? Как с ними быть? Неужто простить? А тридцать седьмой год? А послевоенное безумие, когда страна, осатанев, билась в падучей, кликушествовала, пожирая самое себя? Они думают, что если они наклали на могилу Усатому, так с них и взятки гладки? Нет, нет, нет, с ними надо иначе; ты ещё помнишь, как это делается? Запал. Сорвать предохранительное кольцо. Швырнуть. Падай на землю. Падай! Рвануло. А теперь — бросок вперед. На бегу — от живота, веером. Очередь. Очередь. Очередь... Вот они лежат, — искромсанные взрывом, изрешеченные пулями. Скользко: ноги скользят. Кто это? Ползет, волоча за собой кишки по паркету, усыпанному штукатуркой. А, это тот, обвешанный орденами, который сопровождает Главного в поездах! А почему он такой худой? Почему на нем ватник? Я его уже видел один раз, как он полз по грейдеру, вывалив в пыль синеву и красноту своего живота. А эти? Я их видел? Только тогда на них были пояса с надписью «Готт мит унс» на пряжках, фуражки с красными звездами, сапоги с низким подъемом, прямой наводкой, обмоткой, пилоткой, русские, немцы, грузины, румыны, евреи, венгры, бушлаты, плакаты, санбаты, лопаты, по трупу прошел студебеккер, два студебеккера, восемь студебеккеров, сорок студебеккеров, и ты так же будешь лежать, распластанный, как лягушка, — все это уже было!..

Я встал с постели, подошел к окну и вытер занавеской залитое потом лицо.

Потом я пошел на кухню, умылся над раковиной и надел пиджак. Дома я больше оставаться не мог.

Я шел по улице, раскаленной августовским солнцем; навстречу мне шли домохозяйки с авоськами, мальчишки оглушительно жужжали подшипниками самолетов, потные пожилые мужчины брели по тротуару, останавливаясь возле каждого киоска с газировкой. Я вышел на угол Арбата и Смоленской площади и остановился. Хорошо бы в гости к кому-нибудь. К кому? Лето, все на дачах. А кто не на даче, тот наверняка в Серебряном бору или еще где нибудь, где купаются. И хорошо бы выпить. Я вспомнил, что недалеко, по дороге к Киевскому вокзалу живет Саша Чупров, художник, мой приятель. Если я даже не застану его дома, я все равно посижу там: дверь его комнаты никогда не запиралась.

Я зашел в угловой «Гастроном» и побрел по залам, отыскивая винный отдел. Я подходил к прилавкам и смотрел, как работают продавцы. В своей магазинной униформе, они были все похожи друг на друга, но держались по-разному: деловито и солидно в колбасном отделе, равнодушно и надменно во фруктовом, кокетливо и услужливо в кондитерском, бестолково и суматошно в бакалее. В винном отделе, до которого, наконец, я добрался, они были снисходительны и чуточку фамильярны. Я стоял и разглядывал вертушку с бутылками, конусом возвышающуюся возле колонны. Здесь хранились эмоции. Разлитые по бутылкам, прихлопнутые сверху сургучем, они были снабжены случайными этикетками: «Коньяк», «Столичная», «Гурджаани»; а на самом деле туда загнали меланхолию, веселье, необузданный гнев, трогательную доверчивость, обидчивость и отвагу. Эмоции ждали своей поры. Они должны были выйти на свет из своих стеклянных тюрем, услышать глупые напутственные тосты и взыграть в руках, сдергивающих скатерти, в нечаянно целующих губах, в легких, набирающих побольше воздуха, чтобы достойно исполнить «Подмосковные вечера». «Время работает на нас, — думали они, разноцветно поблескивая в свете электричества, — наше дело правое, будет и на нашей улице праздник…» Я купил бутылку коньяку (грузинского, на лучший у меня не хватило), лимон и вышел из магазина.

Чупров оказался дома.

– А, это ты, старик, — мрачно сказал он: — Заходи…

Просторная и светлая комната была невероятно захламлена. На полу валялся раскрытый этюдник, на столе, под столом, на подоконнике лежали рулоны бумага. Сам хозяин, одетый, ворочался на постели, пристраивая ноги на спинку кровати.

– Что с тобой? — спросил я.

– Сволочи, — ответил он. — Работал, работал, а все псу под хвост.

– А что ты работал?

– Известно что — плакаты. Чупров писал левые картины и был известен в либеральных кругах как новатор. Но продавать полотна, отмеченные тлетворным влиянием Запада, было некому, с иностранцами он связываться боялся, а жрать надо было. Поэтому он делал плакаты: девушек с просветленными лицами на фоне кремлевских стен, шахтеров в полной подземной амуниции, шагающих уверенной поступью к светлому будущему, молодых инженеров в комбинезонах с кронциркулем в нагрудном кармане и с «Историей КПСС» подмышкой. Платили ему здорово, хотя и нерегулярно.

– Что, не приняли работу? — спросил я. — У тебя что же, договора не было?

– В том-то и штука, что не было. Я думал, им выбирать будет не из чего, ну, и решил рискнуть ради такого случая. Лево сделал, в своей, свободной манере. Соображаешь? Приношу, а там…

– Погоди, ради какого случая?

– Ты что, с луны свалился? Ради Дня открытых убийств. Без плакатов, небось, не обойдутся. Да ты слушай, не перебивай. Приношу, значит, я, а шеф — он же рутинер, академик, ермолки только не хватает. «Вы, говорит, Чупров, не по адресу обратились; такая, говорит, продукция для «Лайфа», может быть, и подходит, а для нас не годится». И пошел, и пошел: «событие в жизни страны… партия нас ориентирует… большие идеи требуют четкого воплощения… чтоб вдохновляло… чтоб звало… вот, смотрите…» И показывает мне плакат Артемьева и Кравца. Ну, поверишь, старик, смотреть не на что! Это я говорю не потому, что мой плакат отвергли, а их приняли, ты же знаешь, как я отношусь к этой работе. Это для меня кормушка, не больше. Но ведь совесть-то надо иметь! Если делаешь, так делай по-настоящему! Не халтурь! Жми! А они, говнюки, намалевали какие-то манекены, — не разберешь, где живые, где мертвые — башенный кран на заднем плане ляпнули — и готово, радуйтесь, красочный плакат! И, в конце концов, наплевать мне на деньги, я на Первом Мая достаточно отхватил, но жалко труда, и-д-е-й жалко! Когда, наконец, у нас поймут, что теперь середина XX-го века, что искусство должно двигаться на новых… на новых… м-м-м, скоростях, что ли!

Чупров выпалил все это залпом и матюкнулся: пепел сигареты, обломившись, упал на подушку.

– Слушай, Саша, — осторожно сказал я, — а этот твой непринятый плакат… Можно на него взглянуть?

– Отчего же нет? Гляди — вон он, у стены.

Я расчистил свободное место на полу и развернул рулон.

На фоне огромного, не то восходящего, не то заходящего солнца стояли условные юноша и девушка; солнце било им в спину, и красные тени их фигур ложились поперек плаката; внизу слева тени сливались с красночерной лужей, омывавшей угол условного дома; в нижнем правом углу лежал, вздернув колени и раскинув руки, труп.

– Ну, как? — спросил Саша. Я подумал и сказал:

– Масса экспрессии.

Я ничем не рисковал: мне было доподлинно известно, что Саша никогда не читал Хакалы.

– Правда? — Саша просиял.

– Да, — продолжал я, — но мне кажется, что труп слишком кричит.

Саша живо соскочил с постели и, оттопырив губу, посмотрел на свою работу.

– Пожалуй, ты прав, старик, — сказал он. — И знаешь, отчего это? Мне бы следовало сделать это поусловнее, не таким реалистическим, не таким настоящим, что ли…

Мы пили коньяк; Саша рассказывал о своих занятиях, я слушал и рассказывал о том, что во всем виновата Зоя, что если бы не она, я бы и думать не стал об этом проклятом Дне убийств. Какое мне дело до него? Какого черта… Да про-

пади они пропадом! А Зойка — сука. Надо Павлику сказать. Нет, теперь уже не надо. Теперь, когда я отказался, она побоится. Сука, убийца. Все было так хорошо, нам было так хорошо, а теперь я больше к ней не прикоснусь. Да она и сама не даст. Из-за нее, это из-за нее я должен сидеть тут и слушать пьяные излияния Чупрова. Левый, новатор! Завтра объявят День педераста, и он сразу за кисти схватится. Будет вычерчивать рост гомосексуализма по сравнению с 1913 годом. Я больше не хочу никого убивать. Не хо-чу!

– Чего ты не хочешь? — спросил Чупров.

– Пить я больше не хочу.

– Больше и пить-то нечего. А почему это ты пить не хочешь? В самый раз. Погоди, я сбегаю за бутылкой… Или вот что: хочешь, я тебя с одним человеком познакомлю, со стариком, хочешь? У-у, какой старик! Он стихи пишет. Пошли, пошли, благодарить будешь, ты таких не видал никогда.

– Пошли!

Я встал, меня качнуло.

– Пошли, Саша! Пошли Александр Чупров! Пошли, гениальный художник. Он тоже гениальный? Он все объяснит?

– Все! Он все может объяснить — он официант!

V

Они в любом подъезде залегли,
Они струятся запахом карболки,
Они в траве, растущей из земли.
В старинных книгах, дремлющих на полке.
Повсюду слышен шепот неживой
И злой конец таит любая фраза.
Они в воде, текущей в душевой,
И в смелом бормотанье унитаза.

Георгий Болотин. «Дьяволы смерти».

Пока мы покупали водку, ловили такси и ехали куда-то к Даниловскому рынку, я успел немного протрезвиться. «А зачем и куда я еду? — подумал я. — На кой ляд мне этот старик? А впрочем…» Впрочем, воскресенье надо было как-то заканчивать. Старик, так старик. Подумаешь, великое дело: с женщиной расстался. С любовницей разошелся. С бабой расплевался. Старик так старик.

Саша остановил машину и расплатился.

– Ты посиди тут, а я пойду узнаю, можно ли к нему. Я мигом…

Я улегся на скамейку бульвара и закурил. За спиной дребезжали трамваи. По дорожкам молодые отцы возили в колясках младенцев. Надраенные солдаты гуляли с девушками, чинно-благородно вели беседу и не лапали — было еще светло. Я поднял глаза.

Новые восьми-девятиэтажные дома стояли разомкнутым строем параллельно бульвару; их светлые кирпичные лица с чисто промытыми глазами доброжелательно и обнадеживающе глядели на молоденькую зелень посадок. Но в разрывы этого парадного оптимизма упорно, с мрачным сознанием собственно-

го превосходства уставились серые здания тридцатых годов. Поставленные углами к бульвару, клиноподобным строем, немецкой «свиньей», — они, не трогаясь с места, все же надвигались из глубины дворов. И такая уверенность в своей правоте чувствовалась в них, такая непоколебимая верность идее, что казалось: восстань только из гроба Зодчий, породивший их, протяни он указующую длань — и серые утюги двинутся вперед, сметая картонную мишуру новостроек, равняя с асфальтом автоматические лифты, финскую мебель, двухтомники Хемингуэя и фиги в карманах модных брюк.

Чупров появился около меня внезапно, словно из-под земли выскочил.

– Айда, — сказал он. — Маэстро дома.

Я пошел за ним, толкаясь грудью о бутылки, засунутые во внутренние карманы пиджака.

В чистенькой, вылизанной до блеска однокомнатной квартирке нас встретил маленький старичок с шевелящимися бровями. На нем поверх трикотажных спортивных брюк была надета старомодная пижама со шнурами, похожая на гусарскую куртку; из-под пижамы выглядывала черная косоворотка с белыми, как на баяне, пуговками.

– Прошу, — сказал он. — Очень приятно. Арбатов, Геннадий Васильевич. А вас как прикажете величать? А по батюшке? Анатолий Николаич. Очень приятно. Проходите, садитесь, не обессудьте за беспорядок: холостяцкую жизнь веду, супруга на даче пребывать изволит.

Мы прошли в большую, продолговатую комнату; мебель была новая, ухоженная скатерть на круглом массивном столе заботливо прикрыта прозрачной клеенкой, на диване-кровати, как горох, мал-мала меньше лежали подушки. Одна стена была наглухо затянута серым занавесом.

– Вот, Геннадий Васильич, друг мой Толя очень интересуется вашими стихами, — сказал Чупров. — Вы почитаете нам?

– Экой вы, Сашенька, скорый. Все торопитесь, все спешите. А позволительно спросить, куда? Всему свой черед. Не гоните быстролетное время, успеете. Вот мы выпьем водочки с Анатолием Николаевичем, посудачим о том, о сем, обмахаемся, как муравьишки, усиками. А там и до стихов рукой подать. «Стишок — отрада для кишок», как говаривал один мой добрый приятель. Вы, Анатолий Николаич, согласны со мной?

– Да не называйте вы его Анатолием Николаевичем! Толя — и все!

– Нет, любезный мой Сашенька, не могу-с! Мы с молодым человеком первый раз встретились, пуд соли не съели. Все принимаю в нынешней жизни, все приветствую и, как говорится, поздравляю, а вот с новомодной привычкой, этой привычкой не величать — согласиться никак не могу. Меня, ежели угодно, с пятнадцати лет Геннадием Васильевичем звали. И правильно! Ибо уважительное обращение человека возносит, приподнимает, так сказать, над грешной землей. Как вы считаете, Анатолий Николаевич?

– Да как вам удобнее будет, — сказал я. — Хоть горшком назови…

– … только в печку не ставь, — закончил старик. Он говорил, а сам быстро и аккуратно накрывал на стол. Рюмки, вилки, тарелочки, редис, огурцы, нарезанный хлеб, колбаса возникали на столе со сказочной быстротой. И также быстро, как заученные, сыпались из него слова — округлые, уютные и старомодные,

как вилки с костяными черенками. Он разлил водку по рюмкам, и мы выпили.

– Да, насчет горшка и печки вы правильно заметили, Анатолий Николаич. А между прочим, обратное явление наблюдается: один другого так и норовит и горшком обозвать, и в печку сунуть — на уголечки, на жарок…

– Люди — звери, — мрачно сказал Чупров. Он, очевидно, вспомнил непринятый плакат.

– Напрасно, Сашенька. Напрасно зверей обижаете. Не изволили замечать, о чем люди в благодушном настроении охотнее всего рассуждают! О зверях, о зверушечках. А почему? А потому, что они всем милы. О книжках, скажем, о картинках, о статуях разных — обо всем спорят. О политике, само собой. А о зверях и спорить нечего. Вот в журнале весной этой прочел я статейку с фотографиями про зоопарки разных государств, директор Московского зоопарка написал — и приятно-с. Казалось бы, какая мне корысть, что в Италии чепрачный тапиренок народился? А читаю — и сердце радуется. И все так-то. Скоро звери единственным связующим звеном, единственной точкой соприкосновения между людьми будут. Звери, молодые люди, — это не просто животные, это — носители, хранилища духовного начала!

Я невольно вскинул голову от тарелки — так несходны были эти последние фразы со всей его предыдущей речью — со «статуями», «народился», «изволили замечать». Старик увидел мое движение и остановился. Саша немедленно ворвался в паузу:

– Выпьем за тапиренка! Как его — чепрачный? За чепрачного тапиренка! Ура!

Мы выпили по нескольку рюмок подряд. Старик быстро хмелел, и чем больше он хмелел, тем чище, тем интеллигентнее становилась его речь. Он уже больше не употреблял «слово-ер» Заложив нога на ногу, вертя головой от Саши ко мне, он, понизив голос, быстро и очень внятно говорил:

– Никто из нас не знает, что скрыто в душе у другого. К примеру, наш с вами откровенный разговор есть ни что иное, как безумие, самоубийственное срывание одежд. Но если вы сорвете на улице одежду в буквальном смысле слова — вас отведут в милицию, оштрафуют, общественное порицание вынесут — и только! А откровенность, срывание одежд душевных — недопустимо! Как знать, а вдруг какое-то мое слово, какая-то идея уязвит вас в самое сокровенное, самое больное место, вопьется настолько сильно, что вырвать эту ядовитую занозу можно только ценой жизни моей?! И вы ринетесь убивать меня — спасать себя! А кто и что может воспрепятствовать вам? Или любому, другому, третьему? Кто из нас знает, сколько весит вражда, которую кто-то испытывает к нам? И чем она вызвана? Неловким словом, манерой закусывать, формой носа? Кстати, — он повернулся ко мне, — вы не еврей?

– Нет, — ответил я, трогая нос. — А что, похож?

– Да, есть что-то. Вот они, евреи, — мудрый народ. Они живут в страхе. И не в страхе Божием, а в страхе людском. Они каждого рассматривают как возможного врага. И правильно делают. Что может быть страшнее человека? Зверь убивает, чтобы насытиться. Ему — зверю — наплевать на честолюбие, на жажду власти, на карьеру. Он не завистлив! А вот мы — можем ли знать, кто жаждет нашей смерти, кого мы, сами не зная о том, обидели? Обидели самым существованием своим? Ничего мы не знаем…

– Звери из-за самок насмерть дерутся, — сказал Саша.

Геннадий Васильевич двинул бровями:

– Это статья особая. Это — инстинкт продолжения рода. В зверях есть мудрость и простота: они не влюбляются. А вот человек... Стоит человеку влюбиться — и он готов на любую пошлость, на любое преступление. Недаром римляне говорили: «Фемина — морс аниме» — «Женщина — смерть души». Но я не об этом. Я спрашиваю вас, Саша, и вас, Анатолий: вы уверены, что среди ваших знакомых и друзей нету таких, которые могут вас убить? Я о себе скажу, что не уверен! А смерть... вы молоды, вы о ней не думали, а я — я старик. Я лежу ночью вот на этом самом диване — посмотрите на него, у него деревянная спинка — ворочаюсь с боку на бок, толкнусь локтем о дерево и сразу: «Вот так будет и в гробу — дерево рядом, дерево сверху, дерево, дерево!..» Он перевел дух; голова его чуть заметно тряслась.

– И ничего нельзя предусмотреть. Ничто не поможет: ни осторожность, ни одиночество — ничто! И напрасно они спорят, толкуют, суетятся...

– Кто «они», Геннадий Васильевич? — спросил я.

– Эти вот — щелкоперы, — устало ответил старик.

Он встал, качаясь, и отдернул серую занавеску: вдоль всей стены протянулись стеллажи с книгами. Пестрые, переплетенные в цветистые ситцы писатели ворвались в комнату, как татарская орда, в клочья разорвав видимость благополучия, обманчивое спокойствие мещанского уюта, а с ними — скрипучие, громоздкие арбы философских систем, кривые зеркала сабель самоанализа, тупые тараны вселенского пессимизма, жеребцы цивилизации с желтой пеной человеконенавистничества на оскаленных мордах, вдребезги, в смятку, в лепешку топчущие седобородых евангелистов, воздевающих к равнодушному потолку распыляющиеся в атомную пыль заповеди...

– Все друг друга в ложке воды утопить готовы, — вздохнул Чупров, разливая остатки водки.

... Мы шли с Чупровым по пустым улицам. На перекрестках маячили постовые, во всю силу горели неоновые вывески продмагов, каблуки резко и звучно стучали по тротуару, но даже этот стук, обычно так нравящийся мне, сейчас не радовал. До Дня открытых убийств оставалась ровно неделя.

VI

> Восстать – не посметь, уйти – не суметь,
> И все одинаково, право:
> Что выйдет солдату – бесславная смерть
> Иль бессмертная слава.
>
> *Г. Болотин. «Привал»*

Я перестал ходить на работу. Я позвонил в редакцию, сказал, что болен. Я валялся на постели, слонялся по комнате и часами рисовал профили на оберточной бумаге, в которой приносил из магазина колбасу.

За все время у меня был только Володька Маргулис, который сразу, как пришел, задал мне дурацкий вопрос: «Зачем им все-таки понадобился этот Указ?

«Им» — это правительству. Я промолчал, и он, обрадовавшись, что я никаких своих суждений не имею, стал объяснять мне, что вся эта чертовщина неизбежна, что она лежит в самой сути учения о социализме.

– Почему? — спросил я.

– А как же? Все правильно: они должны были легализировать убийство, сделать его обычным явлением, поэтому и не объясняют ничего. Раньше объясняли, агитировали.

– Ты чушь порешь! Когда?

– В революцию.

– Ну, это ты загнул. Революция не так и не для того делалась.

– А тридцать седьмой год?

– Что тридцать седьмой?

– То же самое. Полная свобода умерщвления. Только тогда был соус, а сейчас безо всего. Убивайте — и баста! И потом, тогда к услугам убийц был целый аппарат, огромные штаты, а сейчас — извольте сами. На самообслуживании.

– Ох, Володька, хватит! Твои антисоветские монологи перестали быть остроумными.

– А ты что, обиделся за Советскую власть? Ты считаешь, что за нее следует заступаться?

– За настоящую Советскую — конечно, следует.

– Это которая без коммунистов? Как у Шолохова в «Тихом Доне»?

– Иди к черту!

– Оч-чень убедительный ответ! — съязвил Володька. — А ты...

– Хватит, — сказал я.

Мы помолчали, а потом он, обиженный, ушел.

Я снова лег на постель и начал думать. Почему и зачем издан этот Указ — это мне все равно. И нечего подводить под это научную базу и трепаться о революции. Я этого не люблю. Мой отец в Гражданскую комиссарил, и я думаю, он знал, за что воевал. Я его плохо помню — его взяли в тридцать шестом, одним из первых, — но после смерти матери я нашел его письма. Я их прочел, и, по-моему, люди моего поколения не имеют права болтать о тех временах. Мы можем и должны решать каждый за себя. Это все, что нам осталось, все, что мы в состоянии сделать, но и этого много. Слишком много.

Этот самый Арбатов, старик с Даниловского бульвара, разбередил меня. Да, я не хочу и не могу убивать, но могут захотеть и смочь другие. И объектом их усердия могу сделаться я — я, Анатолий Карцев! Я снова, как в день последнего свидания с Зоей, перебирал своих врагов. Этот не может. Этот хотел бы, но струсит. Этот может — камнем, кирпичом из-за угла. Кто еще? Этот? Нет, он мне не враг. Не враг? А откуда я знаю? А может и враг! И потом, почему убить меня могут только враги? Любой прохожий, любой пьяный, сумасшедший дурак может выстрелить мне в лицо, чтобы полюбоваться, как я дрыгаю ногами. Как я истекаю жизнью на асфальте. Как я заостряюсь носом, проваливаюсь щеками, отвисаю челюстью. Как через дырку в черепе уходят мои глаза, мои руки, мои слова, мое молчание, мое море, мой песок, мои женщины, мои неуклюжие стихи...

К черту! К чёртовой матери! Я не могу позволить им убить себя. Я должен жить. Я спрячусь, забаррикадируюсь, я пересижу у себя в комнате. Я не хочу

умирать. Не хо-чу! Живые сраму не имут. Лучше живая собака…

Стоп! Надо взять себя в руки. Надо успокоиться. Лучше живая собака. Я накануне куплю еды и в воскресенье не буду выходить совсем. Я буду лежать на постели и читать Анатоля Франса. Я очень люблю Анатоля Франса. «Остров пингвинов». «Восстание ангелов». Есть еще «Анатоль Франс в халате». Когда мне случалось ночевать у Зои, она надевала на меня халат Павлика и безумно веселилась. Тогда я не понимал, чему она так радуется, а теперь понимаю. Она думала, что овдовела и вышла за меня замуж. Интересно, каким способом она собиралась убить Павлика? Пересидеть воскресенье. Соседи тоже будут пересиживать. Конечно, могут ворваться в квартиру. Надо укрепить входную дверь. Украсть внизу на стройке лом и заложить дверь. Ломом по голове. Если они ворвутся, я их буду бить ломом, как собак. Лучше живая собака. Недавно я был на собачьей выставке. Мне очень понравились борзые — с головами узкими и длинными, как дуэльные пистолеты. А на дуэли я смог бы драться? Пуля Пушкина попала Дантесу в пуговицу. Если я буду выходить в воскресенье, надо положить портсигар во внутренний карман пиджака, слева, где сердце. «Слева, где сердце» — это роман Леонгарда Франка, очень скучный. А Бруно Франк — это совсем другое, он написал книгу о Сервантесе. А что делал бы Дон Кихот 10-го августа? Он ездил бы по Москве на своем Россинанте и за всех заступался бы. На своем персональном Россинанте. Чудак с медным тазом на голове, он проехал бы по Красной площади, готовый переломить копье во имя Прекрасной Дамы, во имя России. Бедный рыцарь на московских мостовых 1960 года, он искал бы своего друга, своего единомышленника — украинского хлопца, пропевшего когда-то песню о Гренаде. Но заложены булыжником следы боевых теней, и ямки, выбитые в земле древками полковых знамен, залиты асфальтом. Никого он не найдет, фантазер из Ламанчи, ни-ко-го! Уж это я точно знаю. Где они — те, что пошли бы за Дон Кихотом? Чупров? Маргулис? Игорь? Нет, нет, если они и будут драться, то только каждый за себя. Каждый за себя будет драться, каждый за себя будет решать. Постой, постой, кто это недавно говорил: «Мы должны решать каждый за себя»? А-а, это я сам говорил, я сам к этому пришел. Так чего ж я взялся судить других? Чем они хуже меня? Чем я лучше их?

Я вскочил с постели и с отвращением уставился на подушку, сохранившую вмятину от моей головы. Это я там лежал? Это я запасался жратвой и закладывал двери ломом? Это я трясся, как последняя тварь, за свою драгоценную шкуру? Это я чуть в штаны не нагадил от страха? Так чего ж я стою со всем своим великолепным пафосом разоблачения, презрения, со своей вонючей сторонней позицией? Понтий Пилат, предающий ежедневно свою собственную душу, — чего я стою?

Да, каждый отвечает сам за себя. Но за себя, а не за того, кем тебя хотят сделать. Я отвечаю за себя, а не за потенциального шкурника, доносчика, черносотенца, труса. Я не могу позволить им убить себя и этим сохранить свою жизнь.

Погоди, а что я буду делать? Я выйду послезавтра на улицу и буду кричать «Граждане, не убивайте друг друга! Возлюбите своего ближнего!?» А что это даст? Кому я помогу? Кого спасу? Не знаю, ничего не знаю… Может быть, я спасу себя. Если не поздно.

VII

Останьтесь здесь! Куда же вы пойдете
В тоске безумной, в ярости слепой –
Ведь ангелы на бреющем полете
Проносятся над воющей толпой,
Ведь тыщи гадов, позабыв о власти
Земных законов, вышли из болот,
Они шипят, распяливая пасти,
И матери выкидывают плод.
Останьтесь здесь! Вас жизнь сама призвала
Глашатаями согнанных сюда.
Упейтесь, вдохновитесь доотвала
Бессмысленностью Страшного суда!

Георгий Болотин. «Вам, поэты».

Десятого августа я встал в восемь часов утра. Побрился, позавтракал, почитал. За что я ни брался, я все равно неотвязно думал о том, что я должен выйти из дому. Об этом напоминали мне и репродукторы, наяривавшие бравурные марши за окном, и кошки, зигзагами гулявшие по мостовой, восхищенные внезапным безлюдьем, и то, что соседи не выходили ни в кухню, ни в уборные — все совершали у себя в комнате.

Часов в одинадцать я оделся, положил портсигар, куда собирался, и вышел на лестницу.

Я спускался по ступенькам не торопясь и бесшумно, так что, когда я на повороте столкнулся с соседкой с третьего этажа, это было неожиданностью для нас обоих. А то, что произошло потом… Она вскрикнула, метнулась в сторону, сетка с бутылками ударилась о перила. Зазвенело стекло, кефир хлынул сквозь ячейки авоськи на площадку. Женщина поскользнулась в густой кефирной луже и, ойкнув, грузно села на ступеньки. Я бросился помогать ей. И тут она крикнула второй раз и, закрыв глаза, стала слабо отталкивать меня трясущимися руками.

Она открыла глаза, медленно подняла ко мне свое мертвое лицо.

– Толя, Толя, — бормотала она невнятно. — Я же вас маленького… на руках… я вашу маму… Толя!

– Анна Филипповна, да что с вами? Здесь стекло, вы же порежетесь!

– Толя, — сказала она, — ведь я… ведь я… я подумала… Я кефирчику для Анечки, для внучки… Ох, Толя!..

И она заплакала. Ее грузное, оплывшее шестидесятилетнее тело содрогалось. Я поднял ее, подобрал сумку.

– Зиночка больна, а Борис в командировке, вот я за кефирчиком…

Сверху, с третьего этажа, уже бежала в распахнутом халате Зина, ее дочь, моя одноклассница.

– Мама! Что с тобой? Кто тебя? Что с тобой?

– Ничего, Зиночка, ничего. Я вот упала…

– Говорила я тебе, — начала Зина.

– Зина, отведи-ка мать домой, а я схожу за кефиром.

Я вынул залитые кефиром батоны и отдал их Зине.

– Толя, а деньги-то, деньги!..

...Когда я разделался с этим кефиром и снова вышел на улицу, стало еще жарче. Парило, как перед грозой, и я взял пиджак на руку, забыв о спасительном портсигаре. На душе у меня было мерзко; перед глазами стояло помертвевшее лицо соседки, я слышал ее бессвязный и бессмысленный лепет: «Толя, Толя...» Я шел по Никитскому бульвару. Он был такой же, как всегда, — веселый, нарядный, весь, как лошадь в яблоках, в крохотных тенях листьев. Только сегодня на нем не было детей. Подростки в рубашках с закатанными рукавами, развалившись на скамейках, поплевывали через плечо в газоны, да посреди аллей, надменно вздернув подбородок, шел пожилой мужчина, ведя на поводке огромного дога без намордника.

Когда я вышел на Арбатскую площадь, я увидел бегущих людей. Они торопились куда-то за старое метро, куда — я не мог увидеть: мешало здание кинотеатра. Я перебежал дорогу и протолкался сквозь толпу.

На земле, головой к стене, лежал человек. Он лежал в той самой позе, в какой был изображен труп на плакате Саши Чупрова: раскинув руки, завалив на бок согнутую в колене ногу. По рубашке расползлось красное пятно; рубашка была белая, вьетнамская — у меня тоже есть такая, мне ее весной купила сестра. Он лежал совершенно неподвижно, и солнце отражалось в узких носах его модных туфель. Я даже как-то не сразу понял, что он мертв; а когда понял, меня пробрал озноб. И потрясло меня не убийство, не смерть, а именно эта чуть ли не мистическая реализация графических бредней Чупрова: почему он лежит в точно такой позе? Он почти упирался запрокинутой головой в раму афиши; на афише лихой черно-белый танцор анонсировал декаду осетинского искусства и литературы. Рядом висела полуоборванная реклама Политехнического музея: «Кандидат экономических наук Г.С. Горнфельд прочтет лекцию на тему: «Вопросы планирования и организации труда на предприятиях...» Дальше было оборвано.

Собравшиеся негромко переговаривались:

– Молодой.

– А может, он жив еще?

– Что вы! Он скончался: я зеркальце подносила, вот это, из сумочки.

– Кто ж это его?

– Цветочница говорит: «Подлетел длинный такой, загорелый, и выстрелил. Окликнул его, а он обернулся, он и выстрелил.»

– Кто обернулся?

– Господи, да покойник же!

– И милиции, как на грех, нет!

– Когда не надо, они всегда тут.

– Погоди, папаша, а причем тут милиция?

– Как это причем? Человека убили!

– Ну и что?

– Тьфу ты, дурак какой! Человека, говорю, убили!

– А ты, отец, полегче. Не дурей тебя. Газеты читаешь? Сегодня — можно!

– Ты, парень, не ори: покойник рядом. Газеты — газетами, а совесть знать тоже надо.

– Вы, уважаемый, что-то не то говорите. По-вашему, совесть и правительственный указ — вещи разные? Я бы на вашем месте поостерегся агитацией заниматься!

– А ты, милок, ступай отседова, пока я тебя клюшкой промеж очков не ляпнул!

– Боевой какой старикан!

– Мух-то отогнать надо бы. Нехорошо.

– Что ж это, милые мои, значит, какой ни есть хулиган пырнет вот эдак — и ничего ему за это не будет?

– Газеты, мамаша, читать надо. Сказано: «Свободное умерщвление». Но ты не тушуйся: побьют кого надо — и все.

– А кого это надо?

– Там знают кого. Зазря указ писать не станут.

– Как бы не раздели покойника. Туфли-то на нём...

– Грабить нельзя. Тут дело государственное.

Я выбрался из толпы и пошёл прочь.

Я не помню сейчас, где я бродил, сколько улиц и площадей я прошагал и как я добрел до Красной площади.

Многолетним благоговением, плотным и осязаемым до отказа, до крыш и куполов, была забита выпуклая, прямоугольная коробка площади. Голые бетонные параллели трибун, трехъярусные кубы гробницы, прямые углы невысокого парапета, наивные двузубые стены — весь этот с детства, с младенческого лепета знакомый и любимый мною узор, непреложный и бескомпромиссный, как чертеж теоремы, внезапно ударил меня в мозг, в душу, в сердце. Дано: идея; требуется доказать: воплощение. И чертят, чертят оледеневшие в своем рвении геометры, чертят, положив бумагу на склоненную перед ними спину, чертят и не замечают, не хотят замечать, что прорвалась бумага, что сломался грифель, что по коже, по мясу бороздит обернувшийся шпицрутеном карандаш! Остановитесь! Нельзя же, нельзя такой ценой! Ведь люди же! Ведь не этого он хотел — тот, кто первым лег в эти мраморные стены!..

Меня сбили с ног. Я упал, и прежде, чем я успел подняться, на меня навалился человек. Он сжал мне горло, но я резко дернулся и высвободил шею. Мы покатились, стукаясь головами о тесаный булыжник, стискивая друг друга и тщетно пытаясь упереться ногами в скользкий, недавно политый камень. Передо мной мелькало голубое небо, пестрота Василия Блаженного, красный мрамор куба и две неподвижные статуи с винтовками, охранявшие мертвецов. Мы поднялись к ногам часовых. Здесь мне удалось, наконец, двинуть его коленом в живот. Он разжал руки, и я вскочил, пошатнулся, наступил на ногу часовому. Мой противник тоже поднялся, и я ударил его в челюсть, раз и еще раз, и он снова упал и пополз, и хотел встать, и руки у него подломились, и он сел, привалясь спиной к мавзолею, и, сплевывая красную слюну, прохрипел:

– Я готов. Бей!

Я поднял валявшийся у парапета пиджак и сказал, задыхаясь:

– Сволочь...

Он ответил:

– По приказу Родины...

Я оглянулся на часовых. Они так же неподвижно стояли, как и три минуты назад, и только один из них, скосив вниз глаза, смотрел на пыльное пятно, оставленное моим каблуком на его начищенном сапоге...

Я пошел домой.

VIII

От прочих раковину отличив,
Обидел ее Господь:
Песчинку колючую взял и швырнул
В ее беззащитную плоть.
А если в дом твой Нечто войдет,
Куда убежишь от зла?
И шариком белым, прозрачным зерном
Жемчужина там росла.

Ричард О’Хара. «Лагуна».

Октябрьскую годовщину мы праздновали все той же компанией. После долгих переговоров решено было собраться у Зои и Павлика: у них отдельная двухкомнатная квартира, магнитофон с записями Вертинского и Лещенко, масса посуды — одним словом, женщины решили, что так будет лучше всего.

Я, когда мне сказали, что вечер устраивается там, сначала решил, что не пойду, а потом... а потом я подумал: «А какого черта, собственно говоря? Компания своя, кормят там вкусно, а то, что я знаю про Зою... будем считать, что я ничего не знаю». Я, правда, был не совсем уверен, что Зое все равно — буду я или не буду, и поэтому я сказал Лиле, что еще не знаю, пойду ли я куда-нибудь вообще, что настроение у меня плохое, и что пусть Зоя позвонит накануне — тогда я скажу наверняка. А про себя решил, что во время разговора соображу, как поступать.

И Зоя позвонила.

Она поздоровалась со мной как ни в чем не бывало, спросила о здоровье, о настроении и о том, приду ли я. Она говорила со мной, и я отвечал ей и слышал ее дыхание в телефонной трубке. Она сказала:

– Пожалуйста, приходи, Толя. Я очень тебя прошу. Я буду ждать тебя. Ты мне испортишь праздник, если не придешь.

Я сказал ей в трубку:

– Знаешь, Зоя, если я приду, то приду не один.

– А с кем?

– Ты ее не знаешь, — сказал я.

Зоя помедлила самую малость и сказала:

– Ну, конечно, приходи с кем хочешь. Ты же знаешь, мы все будем рады твоим друзьям.

И мы попрощались.

«Ты ее не знаешь», — сказал я. Это была святая правда: я и сам не знал, кого я имел в виду.

Я перебрал в уме всех своих приятельниц, разумеется, одиноких. Их было немало, но вся беда в том, что такое приглашение они истолковали бы слишком многозначительно, а у меня не было ни малейшего желания заводить новые романы. Может быть, пойти одному? Но мною вдруг овладел бес мальчишеской мстительности: я во что бы то ни стало должен доказать Зое, что мне на нее наплевать. Я решил позвонить Светлане. Светлана — это художница из нашего издательства, ей года двадцать три. Она очень мила, явно неравнодушна ко мне и достаточно скромна, чтобы не вообразить Бог знает что. Она очень обрадовалась, когда я пригласил ее, смутилась и залепетала, что это неудобно, что она ни с кем не знакома, что, право, она не знает...

– Ерунда, Светочка, — сказал я. — Все они очень милые люди, и если вас не смущает, что они перепьются и будут петь блатные песни и, может быть, ругаться при этом, то... В общем, я вас жду завтра в пол-десятого на углу Столешникова, там, где книжный магазин.

...Мы пришли, когда все уже давно сидели за столом. Бутылки на треть были опорожнены, мужчины сняли пиджаки, и кто-то уже порывался запеть. Но благолепие праздничного стола не было окончательно разрушено: окурки еще не тыкали в тарелки и не путали рюмок.

При виде нас все радостно загалдели. Они галдели и разглядывали Светлану.

– Это Светлана, прошу любить и жаловать, — сказал я. — Держите бутылки, кормите и поите нас.

– Светланочка, деточка, идите сюда, — пропела Лиля. — Эти мужики совсем отбились от рук, сами едят и пьют и не оказывают нам никакого внимания. Но мы без них обойдемся, правда?

– Без нас не обойдетесь! — захохотал Павлик.

– Мы...

– Штрафную, штрафную! — кричал Володька.

– Светлана, вот ваш бокал, — Игорь налил сухого вина. — А может, вы выпьете коньяку? Водку я не решаюсь предлагать.

– Нет, нет, что вы, спасибо, — Светлана улыбалась несколько напряженно.

– Толя, куда вы пропали, почему не приходите? Мишенька все время спрашивает: «А где дядя Толя? А когда он придет?» — Эмма, Володькина жена, положила бюст на стол и округлила рот и глаза, изображая сына. Одета она была, как всегда, ярко и безвкусно.

– Итак? — Зоя протянула мне рюмку водки.

– Итак? — отозвался я.

– С праздником! С праздником вас, опоздавшие! — Павлик потянулся ко мне через стол — чокаться. — Я уж боялся, что вы не придете. Мы с Зоей...

– Павлик, ты льешь.

– Прости, дорогая... Мы с Зоей...

– Павлик, передай салат, пожалуйста.

– Мы с Зоей... Да что ты мне слова сказать не даешь?!

– Я просто хотела попросить тебя, чтобы ты и мне налил вина.

Шум нарастал. Уже не было общего разговора. Уже Игорь вовсю ухаживал за Светланой, уже Лиля, выскочив из-за стола, повисла на каком-то длинном парне, которого все называли «Геолог Юра», уже Володька читал громко стихи модного молодого поэта, плохие стихи с неряшливыми, как болтающиеся шнурки, рифмами. На него наскакивала востроносая девица и кричала, что поэт — пошляк, а стихи — бездарные.

– Пошляк — а гражданское мужество?! — орал Володька. — Бездарные — а «Комсомольская Правда» его ругает!

Все веселились. Павлик налаживал магнитофон. Эмма ела салат. Геолог Юра повторял: «Мы там отвыкли от майонеза». Я выпил три рюмки и невесть чего обозлился.

– Слушайте, друзья, — сказал я, покрывая разноцветный шум пирушки, — а вы знаете, что я вас всех чертовски люблю!

– Толинька!

– То-ля!

– Толя, лапонька!

– Ведь это ужасно глупо, что мы так редко встречаемся, — продолжал я. — Когда мы последний раз собирались?

– Последний раз?

– В самом деле — когда?

– А я знаю! — закричала Лиля. — Последний раз мы собирались у нас на даче! Когда объявили про День открытых убийств!

Все разом замолчали. Даже наладившийся было магнитофон скрипнул каким-то своим тормозом и остановился. И только Эмма с разгону продолжала говорить:

– ... а в школе у них организованы горячие завтраки...

Но оглянувшись на тишину умолкла и она. Пауза длилась, затягивалась, становилась уже неприличной.

– В самом деле, — сказал Игорь, — столько времени прошло, столько событий. Десятое августа...

– Мы с Зоей, — закричал Павлик, — мы с Зоей пересидели спокойненько... Телевизор, магнитофончик... На другой день меня на работе спрашивают...

И тут всех будто прорвало:

– ...а я ему говорю: «Я тебя первого пристукну! Ты, говорю, падло!» И загнул, знаешь, как я умею!..

– В Одессе блатные поймали начальника милиции. Ну, он, конечно, в форме был. Так что они сделали? Переодели его в какую-то рвань и отпустили. Понимаете, отпустили! А потом догнали и... кончили! Их еще потом судили.

– Ну-у?

– Осудили... за грабеж!

– Слушайте, слушайте, что было в Переделкине! Кочетов нанял себе охрану — из подмосковной шпаны. Кормил, поил, конечно. А другие писатели тоже наняли — понимаете? Чтобы Кочетова прихлопнули!

– Ну, и что же было?

– Что было! Драка была — вот что! Шпана между собой дралась!

– Ребята, а кто знает: много жертв было?

– По РСФСР немного: не то восемьсот, не то девятьсот, что-то около тысячи. Мне один человек из ЦСУ говорил.

– Так мало? Не может быть!

– Правильно, правильно. Эти же цифры по радио передавали. По заграничному, конечно.

– Ух, и резня там была! Грузины армян, армяне азербайджанцев…

– Армяне азербайджанцев?

– Ну да, в Нагорном Карабахе. Это же армянская область.

– А в Средней Азии как? Там тоже, небось, передрались?

– Не-ет, там междуусобия не было. Там все русских резали…

– Письмо ЦК читали?

– Читали!

– Не читали! Рассказывай!

– Во-первых, про Украину. Там Указ приняли как директиву. Ну и наворотили. Молодежные команды из активистов, рекомендательные списки: ну, про списки сразу известно стало — разве такое в секрете удержишь? И пришлось спецкомандам облизнуться: все, кто в списках значился, удрали. Так что это дело у них бортиком вышло. И еще ЦК им приложил — за вульгаризацию идеи, за перегибы. Четырнадцать секретарей райкома и два секретаря обкома — фьють!

– Ну да?

– Абсолютно точно. А в Прибалтике никого не убили.

– Как никого не убили?!

– А так! Не убили — и баста!

– Да ведь это демонстрация!

– И еще какая! Игнорировали Указ, и все. В письме ЦК устанавливается недостаточность политико-воспитательной работы в Прибалтике. Тоже кого-то сняли.

– … бежит по переулку, кричит и стреляет, стреляет! Очередями по окнам! Откуда он автомат раздобыл? В Авиационно-технологическом автомат преподает…

– А мы двери на замок, шторы опустили — и в автоматчика…

– Я ему говорю: «Не смей, подумай о детях!» А он: «Я пойду на улицу!» — и даже зубами заскрипел. Миша плачет… Еле его уговорила.

– … в «Известиях» статья этой, как ее… Елены Коломейко. О воспитательном значении для молодежи. Она еще как-то с политехнизацией и с целинными землями увязала…

– В «Крокодиле»! Там такой рисунок: он лежит…

– А мы с Зоей жалели только, что никого из своих нет: веселее было бы…

Миновало, миновало, миновало! Это непроизнесенное словечко прорывалось сквозь анекдотические рассказы, сквозь нервный смешок, сквозь фрондеровские реплики в адрес правительства. Впервые со Дня открытых убийств услышал я, как люди говорят о случившемся. До сих пор, когда я заговаривал с ними об этом, они смотрели как-то странно и переводили разговор на другое. Я подчас ловил себя на дикой мысли: «А не приснилось ли мне все это?!» А теперь — миновало! А теперь мы справляем 43-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Четверо — Светлана, Зоя, Володька и я — молчали. А водоворот впечатлений, рассказов, слухов, сведений крутился, повисал пестрой радугой, брызгал пеной на бежевые обои:

– У нее в экспедиции все было тихо-мирно. У нас нельзя — тайга кругом. Сегодня — ты, а завтра я...

– Он на рассвете покончил самоубийством, сосед. Тихий такой старичок, официантом в «Праге» работал...

– Я всю ночь не могла заснуть, казалось, кто-то скребётся...

Я вспомнил, как в ночь на 11-е августа я вышел и увидел идущие по Садовой машины для поливания улиц; они шли широким фронтом, раскинув водяные щетки и мыли, мыли, мыли мостовую и тротуары...

Дождавшись, когда Светлана повернется ко мне, я тихонько показал ей глазами на дверь. Она вышла, а через минуту вышел и я. В кухне было уютно и тихо.

– Ну как, Светлана? Нравится?

– Я не понимаю, Толя. Они действительно были все очень милые, а потом, когда начали про это говорить... Почему они так радуются?

– Они радуются, что уцелели, Светочка.

– Но они же все прятались! Их же, — Светлана запнулась, подыскивая слово, — их же... запугали!

– Запугали? — я взял Светлану за плечи, — Света, вы понимаете?..

Нет, она не понимала. Она не могла понять, что самим этим словом ответила на вопрос, который задавали себе и друг другу миллионы растерявшихся людей. Она, эта девчушка, не могла понять, что стала вровень с государственными мужами, с зоркими пастырями народа, вровень с мудрым шелестом бумаг в затемненных кабинетах, вровень с негромким и почтительным бормотанием референтов, вровень с тем, что так торжественно именуется Державой. Ей казалось, что она сказала это слово мне, а она нечаянно бросила его в лицо огромным правительственным зданиям, черно-белым гектарам газет, ежедневно устилающих страну, согласному реву общих собраний, навстречу дьявольскому лязганью гусениц, несущих разверстые пасти орудий на праздничные парады.

Я обнял ее и сказал:

– Хватит об этом, Света. Я хочу вас поцеловать, давно уже хочу, разве ты не видишь?..

...И вот, проводив Светлану, я иду домой. Я иду по знакомым улицам, по переулкам, которые я мог бы пройти с закрытыми глазами. Сквозь тюлевые занавески розовеют пышные кринолины абажуров. У подъездов расстаются и никак не могут расстаться парочки. Каменный Тимирязев задумчив, как палец, приставленный ко лбу. Откуда-то гремит радио, где-то взвизгивает тормозами машина. Шумят развеселые компании, так же, как я, возвращающиеся из гостей. Где-то в своих комнатах на каких-то своих этажах сидят люди и бормочут ругательства, стихи, признания в любви.

Это — говорит Москва.

Я иду по улице, по тихому уютному бульвару, нащупываю в кармане тетрадь и думаю о том, что я написал. Я думаю, что написанное мною могло быть написано любым другим человеком моего поколения, моей судьбы, так же, как и я любящим эту проклятую, эту прекрасную страну. Я судил о ней и о ее людях, и о себе самом лучше и хуже, чем следовало бы судить. Но кто упрекнет меня за это?

Я иду и говорю себе: «Это — твой мир, твоя жизнь, и ты — клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим — ты в ответе за других». И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность.

Это — говорит Москва.

1961

РУКИ

Ты вот, Сергей, интеллигент, вежливый. Поэтому и молчишь, не спрашиваешь ничего. А наши ребята, заводские, так те прямо говорят: «Что, говорят, Васька, допился до ручки?!» Это они про руки мои. Думаешь, я не заметил, как ты мне на руки посмотрел и отвернулся? И сейчас все норовишь мимо рук глянуть. Я, брат, все понимаю — ты это из деликатности, чтобы меня не смущать. А ты смотри, смотри, ничего. Я не обижусь. Тоже, небось, не каждый день увидишь такое. Это, друг ты мой, не от пьянства. Я и пью-то редко, больше в компании или к случаю, как вот с тобой. Нам с тобой нельзя не выпить за встречу-то. Я, брат, все помню. И как мы с тобой в секрете стояли, и как ты с беляком по-французски разговаривал, и как Ярославль брали... Помнишь, как ты на митинге выступал, за руку взял меня — я рядом с тобой случился — и сказал: «Вот этими, сказал, руками...» Да-а. Ну, Серега, наливай. А то я и впрямь расхлюпаю. Забыл я, как она называется, трясучка эта, по-медицинскому. Ладно, у меня это записано, я тебе потом покажу... Так вот — отчего это со мной приключилось? От происшествия. А по порядку если говорить, то расскажу тебе так, что, когда демобилизовались мы в победившем 21-ом году, то я сразу вернулся на свой родной завод. Ну, мне там, ясное дело, почет и уважение, как революционному герою, опять же — член партии, сознательный рабочий. Не без того, конечно, было, чтобы не вправить мозги кому следует. Разговорчики тогда разные пошли: «Вот, дескать, довоевались, дохозяйничались. Ни хлеба, ни хрена...» Ну, я это дело пресекал. Я всегда был твердый. Меня на этой ихней меньшевистской мякине не проведешь. Да. Ты наливай, меня не дожидайся. Только проработал это я с год, не больше, — хлоп, вызывают меня в райком. «Вот, говорят, тебе, Малинин, путевка. Партия, говорят, мобилизует тебя, Малинин Василий Семенович, в ряды доблестной Чрезвычайной Комиссии, для борьбы с контрреволюцией. Желаем, говорят, тебе успехов в борьбе с мировой буржуазией и кланяйся низко товарищу Дзержинскому, если увидишь». Ну, я — что ж? Я человек партийный. «Есть, говорю, приказ партии исполню». Взял путевку, забежал на завод, попрощался там с ребятами и пошел. Иду, а сам в мечтах воображаю, как я всех этих контриков беспощадно вылавливать буду, чтобы они молодую нашу Советскую власть не поганили. Ну, пришел я.

Действительно, Дзержинского Феликса Эдмундовича видел, передал ему от райкомовцев, чего говорили. Он мне руку пожал, поблагодарил, а потом всем нам — нас там человек тридцать было, по партийной мобилизации, — выстроил

нас всех и сказал, что, мол, на болоте дом не построишь, надо, мол, болото сперва осушить, а что, мол, при этом всяких там жаб да гадюк уничтожить придется, так на то, говорит, есть железная необходимость. И к этому, говорит, всем нам надо руки приложить... Значит, он сказал вроде басни или анекдота какого, а всё, конечно, понятно. Строгий сам, не улыбнется. А после нас распределять стали. Кто, что, откуда — расспросили.

«Образование, говорят, какое?» У меня образование, сам знаешь, германская да гражданская, за станком маялся — вот и все мое образование. Два класса церковно-приходской кончил... Ну, и назначили меня в команду особой службы, а просто сказать — приводить приговоры в исполнение. Работка не так чтобы трудная, а и легкой не назовешь. На сердце влияет. Одно дело, сам помнишь, на фронте: либо ты его, либо он тебя. А здесь... Ну, конечно, привык. Шагаешь за ним по двору, а сам думаешь, говоришь себе: «Надо, Василий, НАДО. Не кончишь его сейчас, он, гад, всю Советскую Республику порушит». Привык. Выпивал, конечно, не без того. Спирт нам давали. Насчет пайков каких-то там особенных, что, дескать, чекистов шоколадом и белыми булками кормят — это все буржуйские выдумки: паек, как паек, обыкновенный, солдатский — хлеб, пшено и вобла. А спирт, действительно, давали. Нельзя, сам понимаешь. Ну, вот. Проработал я таким манером месяцев семь, и тут-то и случилось происшествие. Приказано нам было вывести в расход партию попов. За контрреволюционную агитацию. За злостность. Они там прихожан мутили. Из-за Тихона, что ли. Или вообще против социализма — не знаю. Одним словом — враги. Их там двенадцать человек было. Начальник наш распорядился: «Ты, говорит, Малинин, возьмешь троих, ты, Власенко, ты, Головчинер, и ты...» Забыл я, как четвертого-то звали. Латыш он был, фамилие такое чудное, не наше. Он и Головчинер первыми пошли. А у нас так было устроено: караульное помещение — оно как раз посередке было. С одной стороны, значит, комната, где приговоренных держали, а с другой — выход во двор. Брали мы их по одному. С одним во дворе закончишь, оттащишь его с ребятами в сторону и вернешься за другим. Оттаскивать необходимо было, а то, бывало, как выйдешь за другим, а он как увидит покойника и начнет биться да рваться — хлопот не оберешься, да и понятно. Лучше, когда молчат. Ну, вот, значит, Головчинер и латыш этот кончили своих, настала моя очередь. А я уж до этого спирту выпил. Не то, чтобы боязно мне было или там приверженный я к религии был. Нет, я человек партийный, твердый, я в эту дурь — богов там разных, ангелов, архангелов — не верю, а все ж таки стало мне как-то не по себе. Головчинеру легко, он — еврей, у них, говорят, и икон-то нету, не знаю, правда ли, а я сижу, пью, и все в голову ерунда всякая лезет: как мать-покойница в деревне в церковь водила и как я попу нашему, отцу Василию, руку целовал, а он — старик он был — тезкой все меня называл... Да-а. Ну, пошел я, значит, за первым, вывел его. Вернулся, покурил малость, вывел второго. Обратно вернулся, выпил — и что-то замутило меня. «Подождите, говорю, ребята. Я сейчас вернусь.» Положил маузер на стол, а сам вышел. Перепил, думаю. Сейчас суну пальцы в рот, облегчусь, умоюсь, и все в порядок прийдет. Ну, сходил, сделал все, что надо — нет, не легчает. Ладно, думаю, черт с ним, закончу сейчас все и — спать. Взял я маузер, пошел за третьим. Третий был молодой еще, видный из себя, здоровенный такой попище, красивый. Веду это я его по коридору, смотрю, как он рясу свою долгополую над порогом поднима-

ет, и тошно мне как-то сделалось, сам не пойму — что такое. Вышли во двор. А он бороду кверху задирает, в небо глядит. «Шагай, говорю, батюшка, не оглядывайся. Сам себе, говорю, рай намолил». Это я, значит, пошутил для бодрости. А зачем — не знаю. Сроду со мной этого не бывало — с приговоренными разговаривать. Ну, пропустил я его на три шага вперед, как положено, поставил ему маузер промеж лопаток и выстрелил. Маузер — он, сам знаешь, как бьет — пушка! И отдача такая, что чуть руку из плеча не выдергивает.

Только смотрю я — а мой расстрелянный поп поворачивается и идет на меня. Конечно, раз на раз не приходится: иные сразу плашмя падают, иные на месте волчком крутятся, а бывает и шагать начинают, качаются, как пьяные. А этот идет на меня мелкими шагами, как плывет в рясе своей, будто я и не в него стрелял. «Что ты, говорю, отец, стой!» И еще раз приложил ему — в грудь. А он рясу на груди распахнул-разорвал, грудь волосатая, курчавая, идет и кричит полным голосом: «Стреляй, кричит, в меня, антихрист! Убивай меня, Христа твоего!» Растерялся я тут, еще раз выстрелил и еще. А он идет! Ни раны, ни крови, идет и молится: «Господи, остановил Ты пулю от черных рук! За Тебя муку принимаю!... Не убить душу живую!». И еще что-то... Не помню уж, как я обойму расстрелял; только точно знаю — промахнуться не мог, в упор бил. Стоит он передо мной, глаза горят, как у волка, грудь голая, и от головы вроде сияние идет — я уж потом сообразил, что он мне солнце застил, к закату дело шло. «Руки, кричит, твои в крови! Взгляни на руки свои!» Бросил я тут маузер на землю, вбежал в караулку, сшиб кого-то в дверях, вбежал, а ребята смотрят на меня, как на психа, и ржут. Схватил я винтовку из пирамиды и кричу: «Ведите, кричу, меня сию минуту к Дзержинскому или я вас всех сейчас переколю!» Ну, отняли у меня винтовку, повели скорым шагом. Вошел я в кабинет, вырвался от товарищей и говорю ему, а сам весь дрожу, заикаюсь: «Расстреляй, говорю, меня, Феликс Эдмундыч, не могу я попа убить!» Сказал я это, а сам упал, не помню больше ничего. Очнулся в больнице. Врачи говорят: «Нервное потрясение».

Лечили меня, правду сказать, хорошо, заботливо. И уход, и чистота, и питание по тем временам легкое. Все вылечили, а вот руки, сам видишь, ходуном ходят. Должно быть, потрясение это в них перешло. Из ЧК меня, конечно, уволили. Там руки не такие нужны. К станку, ясное дело, тоже не вернешься. Определили меня на склад заводской. Ну, что ж, я и там дело делаю. Правда, бумаги всякие, накладные сам не пишу — из-за рук. Помощница у меня для этого есть, смышленная такая девчоночка. Вот так и живу, браток. А с попом тем я уж потом узнал, как дело было. И никакой тут божественности нету. Просто ребята наши, когда я оправляться ходил, обойму из маузера вынули и другую всунули — с холостыми. Пошутили, значит. Что ж, я на них не сержусь — дело молодое, им тоже не сладко было, вот они и придумали. Нет, я на них не обижаюсь. Руки только вот у меня... совсем теперь к работе не годятся...

Источник: сайт lib.nexter.ru.

Александр Солженицын

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 190)

В КРУГЕ ПЕРВОМ

20. Этюд о великой жизни

Две трети столетия — сизая даль, из начала которой самым смелым мечтам не мог бы представиться конец, из конца — трудно оживить и поверить в начало.

Безнадёжно народилась эта жизнь. Незаконный сын, приписанный захудалому пьянице-сапожнику. Необразованная мать. Замарашка Сосо не вылезал из луж подле горки царицы Тамары. Не то, чтобы стать властелином мира, но как этому ребёнку выйти из самого низменного, самого униженного положения?

Всё же виновник жизни его похлопотал, и в обход церковных установлений приняли мальчика не из духовной семьи — сперва в духовное училище, потом даже в семинарию.

Бог Саваоф с высоты потемневшего иконостаса сурово призвал новопослушника, распластанного на холодных каменных плитах. О, с каким усердием стал мальчик служить Богу! как доверился ему! За шесть лет ученья он по силам долбил Ветхий и Новый Заветы, Жития святых и церковную историю, старательно прислуживал на литургиях.

Вот здесь, в «Биографии», есть этот снимок: выпускник духовного училища Джугашвили в сером подряснике с круглым глухим воротом; матовый, как бы изнурённый моленьями, отроческий овал лица; длинные волосы, подготовляемые к священнослужению, строго пробраны, со смирением намазаны лампадным маслом и напущены на самые уши — и только глаза да напряжённые брови выдают, что этот послушник пойдёт, пожалуй, до митрополита.

А Бог — обманул... Заспанный постылый городок среди круглых зелёных холмов, в извивах Меджуды и Лиахви, отстал: в шумном Тифлисе умные люди давно уже над Богом смеялись. И лестница, по которой Сосо цепко карабкался, вела, оказывается, не на небо, а на чердак.

Но клокочущий забиячный возраст требовал действия! Время уходило — не сделано ничего! Не было денег на университет, на государственную службу, на начало торговли — зато был социализм, принимающий всех, социализм, привыкший к семинаристам. Не было наклонностей к наукам или к искусствам, не было умения к ремеслу или воровству, не было удачи стать любовником богатой дамы — но открытыми объятьями звала всех, принимала и всем обещала место — Революция.

Сюда, в «Биографию», он посоветовал включить и фото этого времени, его любимый снимок. Вот он, почти в профиль. У него не борода, не усы, не бакенбарды (он не решил ещё, что), а просто не брился давно, и всё воедино живописно заросло буйной мужской порослью. Он весь готов устремиться, но не знает, куда. Что за милый молодой человек! Открытое, умное, энергичное лицо, ни следа того изувера-послушника. Освобождённые от масла, волосы воспряли, густыми вол-

нами украсили голову и, колыхаясь, прикрывают то, что в нём может быть несколько не удалось: лоб невысокий и покатый назад. Молодой человек беден, пиджачок его куплен поношенным, дешёвый клетчатый шарфик с художнической вольностью облегает шею и закрывает узкую болезненную грудь, где и рубашки-то нет. Этот тифлисский плебей не обречён ли уже и туберкулёзу?

Всякий раз, когда Сталин смотрит на эту фотографию, сердце его переполняется жалостью (ибо не бывает сердец, совсем не способных к ней). Как всё трудно, как всё против этого славного юноши, ютящегося в бесплатном холодном чулане при обсерватории и уже исключённого из семинарии! (Он хотел для страховки совместить то и другое, он четыре года ходил на кружки социал-демократов и четыре года продолжал молиться и толковать катехизис — но всё-таки исключили его.)

Одиннадцать лет он кланялся и молился — впустую, плакало потерянное время... Тем решительней передвинул он свою молодость — на Революцию!

А Революция — тоже обманула... Да и что то была за революция — тифлисская, игра хвастливых самомнений в погребках за вином? Здесь пропадёшь, в этом муравейнике ничтожеств: ни правильного продвижения по ступенькам, ни выслуги лет, а — кто кого переболтает. Бывший семинарист возненавиживает этих болтунов горше, чем губернаторов и полицейских. (На тех за что сердиться? — те честно служат за жалованье и естественно должны обороняться, но этим выскочкам не может быть оправдания!) Революция? среди грузинских лавочников? — никогда не будет! А он потерял семинарию, потерял верный путь жизни.

И чёрт ему вообще в этой революции, в какой-то голытьбе, в рабочих, пропивающих получку, в каких-то больных старухах, чьих-то недоплаченных копейках? — почему он должен любить их, а не себя, молодого, умного, красивого и — обойденного?

Только в Батуме, впервые ведя за собой по улице сотни две людей, считая с зеваками, Коба (такова была у него теперь кличка) ощутил прорастаемость зёрен и силу власти. Люди шли за ним! — отпробовал Коба, и вкуса этого уже не мог никогда забыть. Вот это одно ему подходило в жизни, вот эту одну жизнь он мог понять: ты скажешь — а люди чтобы делали, ты укажешь — а люди чтобы шли. Лучше этого, выше этого — ничего нет. Это — выше богатства.

Через месяц полиция раскачалась, арестовала его. Арестов никто тогда не боялся: дело какое! два месяца подержат, выпустят, будешь — страдалец. Коба прекрасно держался в общей камере и подбодрял других презирать тюремщиков.

Но в него вцепились. Сменились все его однокамерники, а он сидел. Да что он такого сделал? За пустячные демонстрации никого так не наказывали.

Прошёл год! — и его перевели в кутаисскую тюрьму, в тёмную сырую одиночку. Здесь он пал духом: жизнь шла, а он не только не поднимался, но спускался всё ниже. Он больно кашлял от тюремной сырости. И ещё справедливее ненавидел этих профессиональных крикунов, баловней жизни: почему им так легко сходит революция, почему их так долго не держат?

Тем временем приезжал в кутаисскую тюрьму жандармский офицер, уже знакомый по Батуму. Ну, вы достаточно подумали, Джугашвили? Это только начало, Джугашвили. Мы будем держать вас тут, пока вы сгниёте от чахотки или исправите линию поведения. Мы хотим спасти вас и вашу душу.

Вы были без пяти минут священник, отец Иосиф! Зачем вы пошли в эту свору? Вы — случайный человек среди них. Скажите, что вы сожалеете.

Он и правда сожалел, как сожалел! Кончалась его вторая весна в тюрьме, тянулось второе тюремное лето. Ах, зачем он бросил скромную духовную службу? Как он поторопился!.. Самое разнузданное воображение не могло представить себе революции в России раньше, чем через пятьдесят лет, когда Иосифу будет семьдесят три года... Зачем ему тогда и революция?

Да не только поэтому. Но уже сам себя изучил и узнал Иосиф — свой неторопливый характер, свой основательный характер, свою любовь к прочности и порядку. Так именно на основательности, на неторопливости, на прочности и порядке стояла Российская империя, и зачем же было её расшатывать?

А офицер с пшеничными усами приезжал и приезжал. (Его жандармский чистый мундир с красивыми погонами, аккуратными пуговицами, кантами, пряжками очень нравился Иосифу). В конце концов то, что я вам предлагаю, — есть государственная служба. (На государственную бы службу бесповоротно был готов перейти Иосиф, но он сам себе, сам себе напортил в Тифлисе и Батуме.) Вы будете получать от нас содержание. Первое время вы нам поможете среди революционеров. Изберите самое крайнее направление. Среди них — выдвигайтесь. Мы повсюду будем обращаться с вами бережно. Ваши сообщения вы будете давать нам так, чтоб это не бросило на вас тени. Какую изберём кличку?.. А сейчас, чтобы вас не расконспирировать, мы этапируем вас в далёкую ссылку, а вы оттуда уезжайте сразу, так все и делают.

И Джугашвили решился! И третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию!* В ноябре его выслали в Иркутскую губернию. Там у ссыльных он прочёл письмо некоего Ленина, известного по «Искре». Ленин откололся на самый край, теперь искал себе сторонников, рассылал письма. Очевидно, к нему и следовало примкнуть.

От ужасных иркутских холодов Иосиф уехал на Рождество, и ещё до начала японской войны был на солнечном Кавказе.

Теперь для него начался долгий период безнаказанности: он встречался с подпольщиками, составлял листовки, звал на митинги — арестовывали других (особенно — несимпатичных ему), а его — не узнавали, не ловили. И на войну не брали.

И вдруг! — никто не ждал её так быстро, никто её не подготовил, не организовал — а Она наступила! Пошли по Петербургу толпы с политической петицией, убивали великих князей и вельмож, бастовал Иваново-Вознесенск, восставали Лодзь, «Потёмкин» — и быстро из царского горла выдавили манифест, и всё равно ещё стучали пулемёты на Пресне и замерли железные дороги.

Коба был поражён, оглушён. Неужели опять он ошибся? Да почему ж он ничего не видит вперёд?

Обманула его охранка!.. Третья ставка его была бита! Ах, отдали б ему назад его свободную революционную душу! Что за безвыходное кольцо? — выт-

---

* См. справку из жандармского управления, т. 1, кн. 2, стр. 334 — ред.

рясать революцию из России, чтоб на второй её день из архива охранки вытрясли твои донесения?

Не только стальной не была его воля тогда, но раздвоилась совсем, он потерял себя и не видел выхода.

Впрочем, постреляли, пошумели, повешали, оглянулись — где ж та революция? Нет её!

В это время большевики усваивали хороший революционный способ эксов — экспроприации. Любому армянскому толстосуму подбрасывали письмо, куда ему принести десять, пятнадцать, двадцать пять тысяч. И толстосум приносил, чтоб только не взрывали его лавку, не убивали детей. Это был метод борьбы — так метод борьбы! — не схоластика, не листовки и демонстрации, а настоящее революционное действие. Чистюли-меньшевики брюзжали, что — грабёж и террор, противоречит марксизму. Ах, как издевался над ними Коба, ах, гонял их как тараканов, за то и назвал его Ленин «чудесным грузином»! — эксы — грабёж, а революция — не грабёж? ах, лакированные чистоплюи! Откуда же брать деньги на партию, откуда же — на самих революционеров? Синица в руках лучше журавля в небе.

Изо всей революции Коба особенно полюбил именно эксы. И тут никто кроме Кобы не умел найти тех единственных верных людей, как Камо, кто будет слушаться его, кто будет револьвером трясти, кто будет мешок с золотом отнимать и принесёт его Кобе совсем на другую улицу, без принуждения. И когда выгребли 340 тысяч золотом у экспедиторов тифлисского банка — так вот это и была пока в маленьких масштабах пролетарская революция, а другой, большой революции ждут — дураки.

И этого о Кобе — не знала полиция, и ещё подержалась такая средняя приятная линия между революцией и полицией. Деньги у него были всегда.

А революция уже возила его европейскими поездами, морскими пароходами, показывала ему острова, каналы, средневековые замки. Это была уже не вонючая кутаисская камера! В Таммерфорсе, Стокгольме, Лондоне Коба присматривался к большевикам, к одержимому Ленину. Потом в Баку подышал парами подземной этой жидкости, кипящего чёрного гнева. А его берегли. Чем старше и известнее в партии он становился, тем ближе его ссылали, уже не к Байкалу, а в Сольвычегодск, и не на три года, а на два. Между ссылками не мешали крутить революцию. Наконец, после трёх сибирских и уральских уходов из ссылки, его, непримиримого, неутомимого бунтаря, загнали… в город Вологду, где он поселился на квартире у полицейского и поездом за одну ночь мог доехать до Петербурга.

Но февральским вечером девятьсот двенадцатого года приехал к нему в Вологду из Праги младший бакинский его сотоварищ Орджоникидзе, тряс за плечи и кричал:

«Сосо! Сосо! Тебя кооптировали в ЦК!»

В ту лунную ночь, клубящую морозным туманом, тридцатидвухлетний Коба, завернувшись в доху, долго ходил по двору. Опять он заколебался. Член ЦК! Ведь вот Малиновский — член большевистского ЦК — и депутат Государственной Думы. Ну, пусть Малиновского особо любит Ленин. Но ведь это же при царе! А после революции сегодняшний член ЦК — верный министр. Правда, никакой революции

теперь уже не жди, не при нашей жизни. Но даже и без революции член ЦК — это какая-то власть. А что он выслужит на тайной полицейской службе? Не член ЦК, а мелкий шпик. Нет, надо с жандармерией расставаться. Судьба Азефа как призрак-великан качалась над каждым днём его, над каждой его ночью.

Утром они пошли на станцию и поехали в Петербург. Там схватили их. Молодому неопытному Орджоникидзе дали три года шлиссельбургской крепости и ещё потом ссылку добавочно. Сталину, как повелось, дали только ссылку, три года. Правда, далековато — Нарымский край, это как предупреждение. Но пути сообщения в Российской империи были налажены неплохо, и в конце лета Сталин благополучно вернулся в Петербург.

Теперь он перенёс нажим на партийную работу. Ездил к Ленину в Краков (это не было трудно и ссыльному). Там какая типография, там маёвка, там листовка — и на Калашниковской бирже, на вечеринке, завалили его (Малиновский, но это узналось потом гораздо). Рассердилась Охранка — и загнали его теперь в настоящую ссылку — под Полярный Круг, в станок Курейка. И срок ему дали — умела царская власть лепить безжалостные сроки! — четыре года, страшно сказать.

И опять заколебался Сталин: ради чего, ради кого отказался он от умеренной благополучной жизни, от покровительства власти, дал заслать себя в эту чёртову дыру? «Член ЦК» — словечко для дурака. Ото всех партий тут было несколько сотен ссыльных, но оглядел их Сталин и ужаснулся: что за гнусная порода эти профессиональные революционеры — вспышкопускатели, хрипуны, несамостоятельные, несостоятельные. Даже не Полярный Круг был страшен кавказцу Сталину, а — оказаться в компании этих легковесных, неустойчивых, безответственных, неположительных людей. И чтобы сразу себя от них отделить, отсоединить — да среди медведей ему было бы легче! — он женился на челдонке, телом с мамонта, а голосом пискливым, — да уж лучше её «хи-хи-хи» и кухня на зловонном жире, чем ходить на те сходки, диспуты, передряги и товарищеские суды. Сталин дал им понять, что они — чужие люди, отрубил себя от них ото всех и от революции тоже. Хватит! Не поздно честную жизнь начать и в тридцать пять лет, когда-то ж надо кончать по ветру носиться, карманы как паруса. (Он себя самого презирал, что столько лет возился с этими щелкопёрами.)

Так он жил, совсем отдельно, не касался ни большевиков, ни анархистов, пошли они все дальше. Теперь он не собирался бежать, он собирался честно отбывать ссылку до конца. Да и война началась, и только здесь, в ссылке, он мог сохранить жизнь. Он сидел со своей челдонкой, затаясь; родился у них сын. А война никак не кончалась. Хоть ногтями, хоть зубами натягивай себе лишний годик ссылки — даже сроков настоящих не умел давать этот немощный царь!

Нет, не кончалась война! И из полицейского ведомства, с которым он так сжился, карточку его и душу его передали воинскому начальнику, а тот, ничего не смысля ни в социал-демократах, ни в членах ЦК, призвал Иосифа Джугашвили, 1879 года рождения, ранее воинской повинности не отбывавшего, — в русскую императорскую армию рядовым. Так будущий великий маршал начал свою военную карьеру. Три службы он уже перепробовал, должна была начаться четвёртая.

Санным сонным полозом его повезли по Енисею до Красноярска, оттуда в

казармы в Ачинск. Ему шёл тридцать восьмой год, а был он — ничто, солдат-грузин, съёженный в шинельке от сибирских морозов и везомый пушечным мясом на фронт. И вся великая жизнь его должна была оборваться под каким-нибудь белорусским хутором или еврейским местечком.

Но ещё он не научился скатывать шинельной скатки и заряжать винтовку (ни комиссаром, ни маршалом потом тоже не знал, и спросить было неудобно), как пришли из Петрограда телеграфные ленты, от которых незнакомые люди обнимались на улицах и кричали в морозном дыхании: «Христос воскресе!» Царь — отрёкся! Империи — больше не было!

Как? Откуда? И надеяться забыли, и рассчитывать забросили. Верно учили Иосифа в детстве: «неисповедимы пути Твои, Господи!»

Не запомнить, когда так единодушно веселилось русское общество, все партийные оттенки. Но чтобы возликовал Сталин, нужна была ещё одна телеграмма, без неё призрак Азефа, как повешенный, всё раскачивался над головой.

И пришла через день та депеша: Охранное отделение сожжено и разгромлено, все документы уничтожены!

Знали революционеры, что надо было сжигать побыстрей. Там, наверно, как понял Сталин, было немало таких, немало таких, как он…

(Охранка сгорела, но ещё целую жизнь Сталин косился и оглядывался. Своими руками перелистал он десятки тысяч архивных листов и бросал в огонь целые папки, не просматривая. И всё-таки пропустил, едва не открылось в тридцать седьмом. И каждого однопартийца, отдаваемого потом под суд, непременно обвинял Сталин в осведомительстве: он узнал, как легко пасть, и трудно было вообразить ему, чтобы другие не страховались тоже.) Февральской революции Сталин позже отказал в звании великой, но он забыл, как сам ликовал и пел, и нёсся на крыльях из Ачинска (теперь-то он мог и дезертировать!), и делал глупости и через какое-то захолустное окошечко подал телеграмму в Швейцарию Ленину.

<…>

Авантюрой был и октябрьский переворот, но удался, ладно. Удался. Хорошо. За это можно Ленину пятёрку поставить. Там что дальше будет — неизвестно, пока — хорошо. Наркомнац? Ладно, пусть. Составлять конституцию? Ладно. Сталин приглядывался.

Удивительно, но похоже было, что революция за один год полностью удалась. Ожидать этого было нельзя — а удалась! Этот клоун, Троцкий, ещё и в мировую революцию верил, Брестского мира не хотел, да и Ленин верил, ах, книжные фантазёры! Это ослом надо быть — верить в европейскую революцию, сколько там сами жили — ничего не поняли, Сталин один раз проехал — всё понял. Тут перекреститься надо, что своя-то удалась. И сидеть тихо. Соображать.

Сталин оглядывался трезвыми непредвзятыми глазами. И обдумывал. И ясно понял, что такую важную революцию эти фразёры загубят. И только он один, Сталин, может её верно направить. По чести, по совести, только он один был тут настоящий руководитель. Он беспристрастно сравнивал себя с этими кривляками, попрыгунами, и ясно видел своё жизненное превосходство, их непрочность, свою устойчивость. Ото всех них он отличался тем, что понимал людей. Он там их понимал, где они соединяются с землёй, где базис, в том месте

их понимал, без которого они не стоят, не устоят, а что выше, чем притворяются, чем красуются — это надстройка, ничего не решает.

<...>

Вся эта шайка, которая наверх лезла, Ленина обступала, за власть боролась, все они очень умными себя представляли, и очень тонкими, и очень сложными. Именно сложностью своей они бахвалились. Где было дважды два четыре, они всем хором галдели, что ещё одна десятая и две сотых. Но хуже всех, но гаже всех был — Троцкий. Просто такого мерзкого человека за всю жизнь Сталин не встречал. С таким бешеным самомнением, с такими претензиями на красноречие, а никогда честно не спорил, не бывало у него «да» — так «да», «нет» — так «нет», обязательно: и так — и так, ни так — ни так! Мира не заключать, войны не вести — какой разумный человек может это понять? А заносчивость? Как сам царь, в салон-вагоне мотался. Да куда же ты в главковерхи лезешь, если у тебя нет стратегической жилки?

До того жёг и пёк этот Троцкий, что в борьбе с ним на первых порах Сталин сорвался, изменил главному правилу всякой политики: вообще не показывать, что ты ему враг, вообще не обнаруживать раздражения. Сталин же открыто ему не подчинялся, и в письмах ругал, и устно, и жаловался Ленину, не пропускал случая. И как только он узнавал мнение, решение Троцкого по любому вопросу — сейчас же выдвигал, почему должно быть совсем наоборот. Но так нельзя победить. И Троцкий вышибал его как городошной палкой под ноги: выгнал его из Царицына, выгнал с Украины. А однажды получил Сталин суровый урок, что не все средства в борьбе хороши, что есть запретные приёмы: вместе с Зиновьевым они пожаловались в Политбюро на самоуправные расстрелы Троцкого. И тогда Ленин взял несколько чистых бланков, по низам расписался «одобряю и впредь!» — и тут же при них Троцкому передал для заполнения.

Наука! Стыдно! На что жаловался?! Нельзя даже в самой напряжённой борьбе апеллировать к благодушию. Прав был Ленин, и в виде исключения также и Троцкий прав: если без суда не расстреливать — вообще ничего невозможно сделать в истории.

<...>

Это был май 1922 года. И другой бы на том успокоился, сидел бы — радовался. Но только не Сталин. Другой бы «Капитал» читал, выписки делал. А Сталин только ноздрями потянул и понял: время — крайнее, завоевания революции в опасности, ни минуты терять нельзя: Ленин власти не удержит и сам её в надёжные руки не передаст. Здоровье Ленина пошатнулось, и может быть это к лучшему. Если он задержится у руководства — ни за что ручаться нельзя, ничего нет надёжного: раздёрганный, вспыльчивый, а теперь ещё больной, он всё больше нервировал, просто мешал работать. Всем мешал работать! Он мог ни за что человека обругать, осадить, снять с выборного поста.

Первая идея была — отослать Ленина, например, на Кавказ, лечиться, там воздух хороший, места глухие, телефона с Москвой нет, телеграммы идут долго, там его нервы успокоятся без государственной работы. А приставить к нему для наблюдения за здоровьем — проверенного товарища, экспроприатора бывшего,

налётчика Камо. И соглашался Ленин, уже с Тифлисом переговоры вели, но как-то затянулось. А тут Камо автомобилем раздавили (много болтал об эксах).

Тогда, беспокоясь за жизнь вождя, Сталин через Наркомздрав и через профессоров-хирургов поднял вопрос: ведь пуля невынутая — она отравляет организм, надо ещё одну операцию делать, вынимать. И убедил врачей. И все повторяли, что надо, и Ленин согласился — но опять затянулось. И всего-навсего уехал в Горки.

«По отношению к Ленину нужна твёрдость!» — написал Сталин Каменеву. И Каменев с Зиновьевым, его лучшие в то время друзья, полностью соглашались. Твёрдость в лечении, твёрдость в режиме, твёрдость в отстранении от дел — в интересах его же драгоценной жизни. И в отстранении от Троцкого. И Крупскую тоже обуздать, она рядовой партийный товарищ. «Ответственным за здоровье товарища Ленина» назначился Сталин и не считал это для себя чёрной работой: заняться непосредственно лечащими врачами и даже медсестрами, указывать им, какой именно режим полезней всего для Ленина: ему полезней всего — запрещать и запрещать, даже если поволнуется. То же и в политических вопросах. Не нравится ему законопроект насчёт Красной армии — провести, не нравится насчёт ВЦИКа — провести, и не уступать ни за что, ведь он больной, он не может знать, как лучше. Если что настаивает проводить скорей — наоборот медленней проводить, отложить. И может быть даже грубо, очень грубо ему ответить — так это у генсека от прямоты, свой характер не переломаешь.

Однако, несмотря на все усилия Сталина, Ленин плохо выздоравливал, болезнь его затянулась до осени, а тут ещё спор обострился насчёт ЦИКа-ВЦИКа, и не надолго сумел дорогой Ильич подняться на ноги. Только и встал для того, чтобы в декабре 22-го года восстановить сердечный союз с Троцким — против Сталина, конечно. Так для этого и вставать не надо было, лучше опять лечь. Теперь ещё строже врачебный догляд, не читать, не писать, о делах не знать, кушай манную кашку. Придумал дорогой Ильич тайком от генсека написать политическое завещание — опять против Сталина. По пять минут в день диктовал, больше ему не разрешали (Сталин не разрешил). Но генеральный секретарь смеялся в усы: стенографистка тук-тук-тук каблучками, и приносила ему обязательную копию. Тут пришлось ещё Крупскую одёрнуть, как она заслужила, — закипятился дорогой Ильич — и третий удар! Так не помогли все усилия спасти его жизнь.

Он в удачное время умер: как раз Троцкий был на Кавказе, и Сталин туда неправильный день похорон сообщил, потому что незачем тому приезжать: клятву верности гораздо приличнее, очень важно, произнести генеральному секретарю.

Но от Ленина осталось завещание. От него у товарищей мог создаться разнобой, непонимание, даже хотели Сталина снимать с генсека. Тогда ещё тесней подружился Сталин с Зиновьевым, он ему так доказывал, что очевидно тот будет теперь вождь партии, и пусть на XIII съезде делает отчёт от ЦК, как будущий вождь, а Сталин будет скромный генсек, ему ничего не нужно. И Зиновьев покрасовался на трибуне, сделал доклад (только и всего доклад, куда ж его и кем выбирать, такого нет поста — «вождь партии»), а за тот доклад уговорил ЦК — завещания на съезде даже не читать, Сталина не снимать, он уже исправился.

Все они в Политбюро были тогда очень дружны, и все против Троцкого. И

хорошо опровергали его предложения и снимали с постов его сторонников. И другой бы генсек на том успокоился. Но неутомимый неусыпный Сталин знал, что далеко ещё до покоя.

<...>

А беды сыпались и сыпались просто навалом. Обманул Гитлер, напал, такой хороший союз развалили по недоумию! И губы перед микрофоном дрогнули, сорвались «братья и сестры», теперь из истории не вытравишь. А эти братья и сестры бежали как бараны, и никто не хотел постоять насмерть, хотя им ясно было приказано стоять насмерть. Почему ж — не стояли? почему — не сразу стояли?!.. Обидно.

И потом этот отъезд в Куйбышев, в пустые бомбоубежища... Какие положения осваивал, никогда не сгибался, единственный раз поддался панике — и зря. Ходил по комнатам — неделю звонил: уже сдали Москву? уже сдали? — нет, не сдали!! Поверить нельзя было, что остановят — остановили! Молодцы, конечно. Молодцы. Но многих пришлось убрать: это будет не победа — если пронесётся слух, что Главнокомандующий временно уезжал. (Из-за этого пришлось седьмого ноября небольшой парад зафотографировать.)

А берлинское радио полоскало грязные простыни об убийстве Ленина, Фрунзе, Дзержинского, Куйбышева, Горького — городи выше! Старый враг, жирный Черчилль, свинья для чохохбиля, прилетал позлорадствовать, выкурить в Кремле пару сигар. Изменили украинцы (была такая мечта в 44-м: выселить всю Украину в Сибирь, да некем заменить, много слишком); изменили литовцы, эстонцы, татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши — даже опора революции латыши! И даже родные грузины, обережённые от мобилизаций — и те как бы не ждали Гитлера! И верны своему Отцу остались только: русские да евреи.

<...>

54. Досужие затеи

В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело.

Все двадцать пять человек этой комнаты собрались дружно к шести часам. Одни поскорей разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку (или, подобно обезьянам, вскарабкались наверх), другие так же плюхнулись, но не снимая комбинезона, кто-то уже стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату, иные ничего не предприняли ещё, а отаптывались и оглядывались, ощущая приятность предстоявших свободных часов — и теряясь, как начать их поприятнее.

Среди таких был Исаак Каган, черно-кудлатый низенький «директор аккумуляторной», как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату из тёмной подвальной аккумуляторной с плохой вентиляцией, где он по четырнадцать часов в день копался кротом. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря,

что в лагере давно бы уже загнулся (он никогда не уподоблялся хвастунам, гордящимся, что в лагере «жили лучше, чем на воле»).

На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений — боком. Он знал, что тихим кладовщиком быть и спокойнее и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе и ею был занят. Ни к какой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но Госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу, и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтоб он стал сексотом. Очень это было отвратно Кагану. Прямоты и смелости такой не было у него (а у кого она была?), чтобы резануть им в глаза, что это — гадство, но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ёрзал на стуле — и так-таки не подписал обязательства. Не то, чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донёс бы он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей добрых к нему или безразличных.

Однако, в Госбезопасности за это упрямство на него затаили. Ото всего на свете не убережёшься. В кладовой же у него затеяли разговор: кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта не открыл при этом, выписывал себе накладные химическим карандашом. Но стало известно (да наверно, подстроили), друг на друга все указали, кто что говорил, и по десятому пункту получили все по десять лет. Прошёл и Каган пять очных ставок, но никто не доказал, что он хоть слово вымолвил. Была бы 58-я статья поуже — и пришлось бы Кагана выпускать. Но следователь знал свой последний запас — пункт 12-й той же статьи — недоносительство. За недоносительство и припаяли Кагану те же десять астрономических лет.

Из лагеря Каган попал на шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию. В трудную минуту, когда его изгнали с поста «заместителя старшего по бараку» и стали гонять на лесоповал, он написал письмо на имя председателя совета министров товарища Сталина о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность, он берётся осуществить управление по радио торпедными катерами.

Расчёт был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень плохо и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привезти в Москву. Кагана привезли в Марфино, и разные чины с голубыми и синими петлицами приезжали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая здесь белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста (зэка). Но тут Каган резонно возразил, что сам он — не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Ещё за два месяца привезли и судового механика (зэка). Каган вздохнул и сказал, что не радио является его специальностью. Радио-инженеров в Марфине было много, и одного тотчас прикомандировали к Кагану. Каган собрал их всех вместе и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: «Ну вот, друзья, когда

теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать.» И, действительно, их троих услали на военно-морскую шарашку, Каган же за выигранное время пристроился в аккумуляторной, и все к нему привыкли.

Сейчас Каган задирал лежащего на кровати Рубина — но издали, так чтобы Рубин не мог достать его пинком ноги.

– Лев Григорьич, — говорил он своею не вполне разборчивой вязкой речью, зато и не торопясь. — В вас заметно ослабело сознание общественного долга. Масса жаждет развлечения. Один вы можете его доставить — а уткнулись в книгу.

– Исаак, идите на ..., — отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот, с лагерной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона (окно между ним и Сологдиным было раскрыто «на Маяковского», оттуда потягивало приятной снежной свежестью) и читал.

– Нет, серьёзно. Лев Григорьич! — не отставал вцепчивый Каган. — Всем очень хочется ещё раз послушать вашу талантливую «Ворону и лисицу».

– А кто на меня куму стукнул? Не вы ли? — огрызнулся Рубин.

В прошлый воскресный вечер, веселя публику, Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую «Ворону и лисицу», полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов, за что его пять раз вызывали на «бис» и качали, а в понедельник вызвал майор Мышин и допрашивал о развращении нравственности; по этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина — подлинник басни и объяснительная записка.

Сегодня после обеда Рубин уже два часа проработал в новой отведенной для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы «речевого лада» и «форманты», пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и с первыми догадками и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов опечатал комнату сургучом. После этого в потоке зэков, как в стаде, возвращающемся в деревню, Рубин пришёл в тюрьму.

Как всегда под подушкой у него, под матрасом, под кроватью и в тумбочке вперемежку с едой, лежало десятка полтора переданных ему в передачах самых интересных (для него одного, потому их и не растаскивали) книг: китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари (уже два года Рубин трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов всех языков из понятий «рука» и «ручной труд» — он не подозревал, что в минувшую ночь Корифей Языкознания занёс над Марром резак); потом лежали там «Саламандры» Чапека; сборник рассказов весьма прогрессивных (то есть сочувствующих коммунизму) японских писателей; «For Whom the Bell Tolls» (Хемингуэя, как переставшего быть прогрессивным, у нас переводить замялись); роман Эптона Синклера, никогда не переводившийся на русский; и мемуары полковника Лоуренса на немецком, ибо достались в числе трофеев фирмы Лоренц.

В мире было необъятно много книг, самых необходимейших, самых первоочередных, и жадность все их прочесть никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне, только читать и читать. Но к вечеру и остро-

умие Рубина, и жажда спора и витийства также бывали особенно разогнаны — и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом (из-за слишком марксистских взглядов, не скрываемых им), — но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством.

Воспоминание о «Вороне и лисице», уснащённой хорошо перенятым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь вслед за Каганом многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой хохмы. И когда Рубин приподнялся и, мрачный, бородатый, вылез из-под укрытия верхней над ним койки, словно из пещеры, — все бросили свои дела и приготовились слушать. Только Двоетёсов на верхней койке продолжал резать на ногах ногти так, что они далеко отлетали, да Абрамсон под одеялом, не оборачиваясь, читать. В дверях столпились любопытные из других комнат, средь них татарин Булатов в роговых очках резко кричал:

– Просим, Лёва! Просим!

Рубин вовсе не хотел потешать людей, в большинстве ненавидевших или попиравших всё ему дорогое; и он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трёпку нервов, допросы у «Шишкина-Мышкина». Но будучи тем самым героем поговорки, кто для красного словца не пожалеет родного отца, Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине:

– Товарищи! Меня поражает ваша несерьёзность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, но всё ещё не выявленные преступники? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым начать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процесса. В виде зарядки.

– Правильно!

– А над кем суд?

– Над кем бы то ни было! Всё равно правильно! — раздавались голоса.

– Забавно! Очень забавно! — поощрял Сологдин, усаживаясь поудобнее. Сегодня, как никогда, он заслужил себе отдых, а отдыхать надо с выдумкой.

Осторожный Каган, почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно оттирался назад, сесть на свою койку.

– Над кем суд — это вы узнаете в ходе судебного разбирательства, — объявил Рубин (он сам ещё не придумал). — Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызывала во мне особенные эмоции. — (Все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники-прокуроры, и он уже пять лет единоборствовал со Всесоюзной и Главной Военной прокуратурами.) — Глеб! Ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку — нелицеприятную, объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле.

Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он всё больше отчуждался от утреннего свидания и всё больше соединялся с привычным арестантским миром. Призыв Рубина нашёл в нём поддержку. Он подтянулся к торцевым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышенной над комнатою.

– Ну, кто ко мне в заседатели? Залезай!

Арестантов в комнате собралось много, всем хотелось послушать суд, но в заседатели никто не шёл — из осмотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от Нержина, тоже наверху, лежал и снова читал утреннюю газету вакуумщик Земеля. Нержин решительно потянул его за газету:

– Улыба! Довольно просвещаться! А то потянет на мировое господство. Подбери ноги. Будь заседателем!

Снизу послышались аплодисменты:

– Просим, Земеля, просим!

Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться. Раздаваясь в улыбке, он свесил через поручни лысеющую голову:

– Избранник народа — высокая честь! Что вы, друзья? Я не учился, я не умею...

Дружный хохот («Все не умеем! Все учимся!») был ему ответом и избранием в заседатели.

По другую сторону от Нержина лежал Руська Доронин. Он разделся, с головой и ногами ушёл под одеяло и ещё подушкой сверху прикрыл своё счастливое упоённое лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь — мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она докончила плести корзиночку на ёлку и незаметно подарила её Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал.

Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго.

– Амантай! Амантай! — звал он Булатова. — Иди в заседатели.

Очки Булатова задорно блестели.

– Я бы пошёл, да там сесть негде! Я тут у двери, комендантом буду!

Хоробров (он уже успел постричь Абрамсона, и ещё двоих, и стриг теперь посередине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтоб не трудиться потом счищать волосы с белья) крикнул:

– А зачем второго заседателя? Приговор-то уж, небось, в кармане? Катай с одним!

– И то правда, — согласился Нержин. — Зачем дармоеда держать? Но где же обвиняемый? Комендант! Введите обвиняемого! Прошу тишины!

И он постучал большим мундштуком по койке. Разговоры стихали.

– Суд! Суд! — требовали голоса. Публика сидела и стояла.

– Аще взыду на небо — ты там еси, аще сниду во ад — ты там еси, — снизу из-под председателя суда меланхолически подал Потапов. — Аще вселюся в преисподняя моря, — и там десница твоя настигнет мя! — (Потапов прихватил закона божьего в гимназии, и в чёткой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса.)

Снизу же, из-под заседателя, послышался отчётливый стук ложечки, размешивающей сахар в стакане.

– Валентуля! — грозно крикнул Нержин. — Сколько раз вам говорено — не стучать ложечкой!

– В подсудимые его! — взвопил Булатов, и несколько услужливых рук тот-

час вытянули Прянчикова из полумрака нижней койки на середину комнаты.

– Довольно! — с ожесточением вырывался Прянчиков. — Мне надоели прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить другого? Ха-ха! Смешно! Я презираю вас, парниша! — крикнул он председателю суда. — Я ... вас!

За то время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже всё придумал. Его тёмно-карие глаза светились блеском находки. Широким жестом он пощадил Прянчикова:

– Отпустите этого птенца! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казённым адвокатом. Дайте ему стул!

В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется со вдохновением. Рубин, обернувший себе через плечо одеяло под вид мантии, взлез в носках на тумбочку и обратился к председателю:

– Действительный государственный советник юстиции! Подсудимый от явки в суд уклонился, будем судить заочно. Прошу начинать!

В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его лицо, обвислое в щеках, было изранено многими морщинами суровости, но из той же сетки странным образом была вот-вот готова выбиться и весёлость. Исподлобья смотрел он на суд.

За спиной Спиридона с долгим утонченным восковым лицом стоял профессор Челнов в шерстяной шапочке.

Нержин объявил скрипуче:

– Внимание, товарищи! Заседание военного трибунала шарашки Марфино объявляю открытым. Слушается дело...?

– Ольговича Игоря Святославича... — подсказал прокурор.

Подхватывая замысел, Нержин монотонно-гнусаво как бы прочёл:

– Слушается дело Ольговича Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивльского, год рождения... приблизительно... Чёрт возьми, секретарь, почему приблизительно?.. Внимание! Обвинительное заключение, ввиду отсутствия у суда письменного текста, зачтёт прокурор.

55. Князь Игорь

Рубин заговорил с такой лёгкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге (его самого судили и пересуживали четыре раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти):

«Обвинительное заключение по следственному делу номер пять миллионов дробь три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят четыре по обвинению ОЛЬГОВИЧА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА.

Органами государственной безопасности привлечён в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И.С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии, в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа ныне изобличённому хану Кончаку, — и кроме

того сдал в плен сына своего Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе со всем оружием и подотчётным материальным имуществом.

Изменническая деятельность его проявилась также в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся «шеломами испить воды из Дону», — не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы, до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился, уже в виду половцев, совершенно безответственным призывом к войску:

«Братья, сего есмы искали, а потягнем!»
(следственное дело, том 1, лист 36).

Губительное для нашей Родины значение поражения объединённой новгород-северской-курской-путивльской-рыльской дружины лучше всего охарактеризовано словами великого князя киевского Святослава:

«Дал ми Бог притомити поганыя,
но не воздержавши «уности».
(следственное дело, том 1, лист 88).

Ошибкой наивного Святослава (вследствие его классовой слепоты) является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь «уности», то есть, юности обвиняемого, не понимая, что речь здесь идёт о далеко рассчитанной измене.

Самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда, но свидетель Бородин Александр Порфирьевич, а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как Автор Слова, неопровержимыми показаниями изобличают гнусную роль князя И.С. Ольговича не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях метеорологических:

«Веют ветры, уж наносят стрелы,
На полки их Игоревы сыплют...»,

и тактических:

«Ото всех сторон враги подходят,
Обступают наших отовсюду»,
(там же, том 1, листы 123, 124,
показания Автора Слова),

но и ещё более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену. Бытовые условия, в которых они оба содержались в так называемом плену, показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кончака, что объек-

тивно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины.

Так, например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь и даже не одна:

«Хочешь, возьми коня любого!»
(там же, том 1, лист 233).

Хан Кончак при этом говорил князю Игорю:

«Всё пленником себя ты тут считаешь.
А разве ты живёшь как пленник,
а не гость мой?»
(там же, том 1, лист 281)

и ниже:

«Сознайся, разве пленники так живут?»
(там же, том 1, лист 300).

Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником:

«За отвагу твою, да за удаль твою
Ты мне, князь, полюбился.»
(следственное дело, том 2, лист 5).

Более тщательным следствием было вскрыто, что эти циничные отношения существовали и задолго до сражения на реке Каяле:

«Ты люб мне был всегда»
(там же, лист 14,
показания свидетеля Бородина),

и даже:

«Не врагом бы твоим, а союзником верным,
А другом надёжным, а братом твоим
Мне хотелось бы быть...»
(там же).

Всё это объективизирует обвиняемого как активного пособника хана Кончака, как давнишнего половецкого агента и шпиона.

На основании изложенного обвиняется Ольгович Игорь Святославич, 1151 года рождения, уроженец города Киева, русский, беспартийный, ранее не судимый, гражданин СССР, по специальности полководец, служивший командиром дружины в звании князя, награждённый орденами Варяга 1-й степени, Красного Солнышка и медалью Золотого Щита, в том, что он совершил гнусную измену Родине, соединённую с диверсией, шпионажем и многолетним пре-

ступным сотрудничеством с половецким ханством, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1-б, 58-6, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

В предъявленных обвинениях Ольгович виновным себя признал, изобличается показаниями свидетелей, поэмой и оперой.

Руководствуясь статьёй 208-й УПК РСФСР настоящее дело направлено прокурору для предания обвиняемого суду».

Рубин перевёл дух и торжествующе оглядел зэков. Увлечённый потоком фантазии, он уже не мог остановиться. Смех, перекатывавшийся по койкам и у дверей, подстёгивал его. Он уже сказал более и острее того, что хотел бы при нескольких присутствующих здесь стукачах или при людях, злобно настроенных к власти.

Спиридон под жёсткой седорыжей щёткой волос, растущих у него безо всякой причёски и догляда в сторону лба, ушей и затылка, не засмеялся ни разу. Он хмуро взирал на суд. Пятидесятилетний русский человек, он впервые слышал об этом князе старых времён, попавшем в плен — но в знакомой обстановке суда и непререкаемой самоуверенности прокурора он переживал ещё раз всё, что произошло с ним самим и угадывал всю несправедливость доводов прокурора и всю кручинушку этого горемычного князя.

– Ввиду отсутствия обвиняемого и ненадобности допроса свидетелей, — всё так же мерно-гнусаво расправлялся Нержин, — переходим к прениям сторон. Слово имеет опять же прокурор.

И покосился на Земелю.

«Конечно, конечно», — подкивнул на всё согласный заседатель.

– Товарищи судьи! — мрачно воскликнул Рубин. — Мне мало, что остаётся добавить к той цепи страшных обвинений, к тому грязному клубку преступлений, который распутался перед вашими глазами. Во-первых, мне хотелось бы решительно отвести распространённое гнилое мнение, что раненый имеет моральное право сдаться в плен. Это в корне не наш взгляд, товарищи! А тем более князь Игорь. Вот говорят, что он был ранен на поле боя. Но кто нам может это доказать теперь, через семьсот шестьдесят пять лет? Сохранилась ли справка о его ранении, подписанная дивизионным военврачом? Во всяком случае, в следственном деле такой справки не подшито, товарищи судьи!..

Амантай Булатов снял очки — и без их задорного мужественного блеска глаза его оказались совсем печальными.

Он, и Прянчиков, и Потапов, и ещё многие из столпившихся здесь арестантов были посажены за такую же «измену родине» — за добровольную сдачу в плен.

– Далее, — гремел прокурор, — мне хотелось бы особо оттенить отвратительное поведение обвиняемого в половецком стане. Князь Игорь думает вовсе не о Родине, а о жене:

> «Ты одна, голубка-лада,
> Ты одна...»

Аналитически это совершенно понятно нам, ибо Ярославна у него — жена молоденькая, вторая, на такую бабу нельзя особенно полагаться, но ведь фактически князь Игорь предстаёт перед нами как шкурник! А для кого плясались

половецкие пляски? — спрашиваю я вас. Опять же для него! А его гнусный отпрыск тут же вступает в половую связь с Кончаковной, хотя браки с иностранками нашим подданным категорически запрещены соответствующими компетентными органами! И это в момент наивысшего напряжения советско-половецких отношений, когда…

– Позвольте! — выступил от своей койки кудлатый Каган. — Откуда прокурору известно, что на Руси уже тогда была советская власть?

– Комендант! Выведите этого подкупленного агента! — постучал Нержин. Но Булатов не успел шевельнуться, как Рубин с лёгкостью принял нападение.

– Извольте, я отвечу! Диалектический анализ текстов убеждает нас в этом. Читайте у Автора Слова:

«Веют стяги красные в Путивле».

Кажется, ясно? Благородный князь Владимир Галицкий, начальник Путивльского райвоенкомата, собирает народное ополчение, Скулу и Брошку, на защиту родного города, — а князь Игорь тем временем рассматривает голые ноги половчанок? Оговорюсь, что все мы весьма сочувствуем этому его занятию, но ведь Кончак же предлагает ему на выбор «любую из красавиц» — так почему ж он, гад, её не берёт? Кто из присутствующих поверит, чтобы человек мог сам отказаться от бабы, а? Вот тут-то и кроется предел цинизма, до конца разоблачающий обвиняемого — это так называемый побег из плена и его «добровольное» возвращение на Родину! Да кто же поверит, что человек, которому предлагали «коня любого и злата» — вдруг добровольно возвращается на родину, а это всё бросает, а? Как это может быть?..

Именно этот, именно этот вопрос задавался на следствии вернувшимся пленникам, и Спиридону задавался этот вопрос: зачем же бы ты вернулся на родину, если б тебя не завербовали?!..

– Тут может быть одно и только одно толкование: князь Игорь был завербован половецкой разведкой и заброшен для разложения киевского государства! Товарищи судьи! Во мне, как и в вас, кипит благородное негодование. Я гуманно требую — повесить его, сукиного сына! А поскольку смертная казнь отменена — вжарить ему двадцать пять лет и пять по рогам! Кроме того, в частном определении суда: оперу «Князь Игорь» как совершенно аморальную, как популяризирующую среди нашей молодёжи изменнические настроения — со сцены снять! Свидетеля по данному процессу Бородина А.П. привлечь к уголовной ответственности, выбрав меру пресечения — арест. И ещё привлечь к ответственности аристократов: 1) Римского, 2) Корсакова, которые если бы не дописывали этой злополучной оперы, она бы не увидела сцены. Я кончил! — Рубин грузно соскочил с тумбочки. Речь уже тяготила его.

Никто не смеялся.

Прянчиков, не ожидая приглашения, поднялся со стула и в глубокой тишине сказал растерянно, тихо:

– Тан пи, господа! Тан пи! У нас пещерный век или двадцатый? Что значит — измена? Век ядерного распада! полупроводников! электронного мозга!.. Кто имеет право судить другого человека, господа? Кто имеет право лишать его свободы?

– Простите, это уже — защита? — вежливо выступил профессор Челнов, и все обратились в его сторону. — Я хотел бы прежде всего в порядке прокурорского надзора добавить несколько фактов, упущенных моим достойным коллегой, и...

– Конечно, конечно, Владимир Эрастович! — поддержал Нержин. — Мы всегда за обвинение, мы всегда — против защиты и готовы идти на любую ломку судебного порядка. Просим!

Сдержанная улыбка изгибала губы профессора Челнова. Он говорил совсем тихо — и потому только было его хорошо слышно, что его слушали почтительно. Выблекшие глаза его смотрели как-то мимо присутствующих, будто перед ним перелистывались летописи. Шишачок на его шерстяном колпачке ещё заострял лицо и придавал ему настороженность.

– Я хочу указать, — сказал профессор математики, — что князь Игорь был бы разоблачён ещё до назначения полководцем при первом же заполнении нашей спецанкеты. Его мать была половчанка, дочь половецкого князя. Сам по крови наполовину половец, князь Игорь долгие годы и союзничал с половцами. «Союзником верным и другом надёжным» для Кончака он уже был до похода! В 1180 году, разбитый мономаховичами, он бежал от них в общей лодке с ханом Кончаком! Позже Святослав и Рюрик Ростиславич звали Игоря в большие общерусские походы против половцев — но Игорь уклонился под предлогом гололедицы — «бяшеть серен велик». Может быть потому, что уже тогда Свобода Кончаковна была просватана за Владимира Игоревича? В рассматриваемом 1185 году, наконец, — кто помог Игорю бежать из плена? Половец же! Половец Овлур, которого Игорь затем «учинил вельможею». А Кончаковна привезла потом Игорю внука... За укрытие этих фактов я предлагал бы привлечь к ответственности ещё и Автора Слова, затем музыкального критика Стасова, проглядевшего изменнические тенденции в опере Бородина, ну и, наконец, графа Мусина-Пушкина, ибо не мог же он быть непричастен к сожжению единственной рукописи Слова? Явно, что кто-то, кому это выгодно, заметал следы.

И Челнов отступил, показывая, что он кончил.

Всё та же слабая улыбка была на его губах.

Молчали.

– Но кто же будет защищать подсудимого? Ведь человек нуждается в защите! — возмутился Исаак Каган.

– Нечего его, гада, защищать! — крикнул Двоетёсов. — Один Бэ — и к стенке!

Сологдин хмурился. Очень смешно было, что говорил Рубин, а знания Челнова он тем более уважал, но князь Игорь был представитель как бы рыцарского, то есть самого славного периода русской истории, — и потому не следовало его даже косвенно использовать для насмешек. У Сологдина образовался неприятный осадок.

– Нет, нет, как хотите, а я выступаю на защиту! — сказал осмелевший Исаак, обводя хитрым взглядом аудиторию. — Товарищи судьи! Как благородный казённый адвокат, я вполне присоединяюсь ко всем доводам государственного обвинителя. — Он тянул и немного шамкал. — Моя совесть подсказывает мне, что князя Игоря не только надо повесить, но и четвертовать. Верно, в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни, и мы вынуждены заменять её. Однако, мне непонятно, почему прокурор так подозрительно мягкосердечен?

(Тут надо проверить и прокурора!) Почему по лестнице наказаний он спускается сразу на две ступеньки — и доходит до двадцати пяти лет каторжных работ? Ведь в нашем уголовном кодексе есть наказание, лишь немногим мягче смертной казни, наказание, гораздо более страшное, чем двадцать пять лет каторжных работ.

Исаак медлил, чтоб вызвать тем большее впечатление.

– Какое же, Исаак? — кричали ему нетерпеливо. Тем медленнее, с тем более наивным видом он ответил:

– Статья 20-я, пункт «а».

Сколько сидело их здесь, с богатым тюремным опытом, никто никогда не слышал такой статьи. Докопался дотошный!

– Что ж она гласит? — выкрикивали со всех сторон непристойные предположения. — Вырезать ...?

– Почти, почти, — невозмутимо подтверждал Исаак.

– Именно, духовно кастрировать. Статья 20-я, пункт «а» — объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР! Пусть там, на Западе, хоть подохнет! Я кончил.

И скромно, держа голову набок, маленький, кудлатый, отошёл к своей кровати.

Взрыв хохота потряс комнату.

– Как? Как? — заревел, захлебнулся Хоробров, а клиент его подскочил от рывка машинки. — Изгнать? И есть такой пункт?

– Проси утяжелить! Проси утяжелить наказание! — кричали ему.

Мужик Спиридон улыбался лукаво.

Все разом говорили и разбредались.

Рубин опять лежал на животе, стараясь вникнуть в монголо-финский словарь. Он проклинал свою дурацкую манеру выскакивать, он стыдился сыгранной им роли.

Он хотел, чтоб его ирония коснулась только несправедливых судов, люди же не знали, где остановиться, и насмехались над самым дорогим — над социализмом.

<...>

1955 — 1958

РАКОВЫЙ КОРПУС

14. Правосудие

<...>

И разные-разные-разные мысли стали напирать и раскручиваться: в голове Русанова, в комнате и дальше, во всей просторной темноте.

Даже никакие не мысли, а просто — он боялся. Просто — боялся. Боялся, что Родичев вдруг вот завтра утром прорвётся через сестёр, через санитарок, бросится сюда и начнёт его бить. Не правосудия, не суда общественности, не позора боялся Русанов, а просто, что его будут бить. Его били всего один раз в жизни — в школе, в его последнем шестом классе: поджидали вечером у выхо-

да, и ножей ни у кого не было, но на всю жизнь осталось это ужасное ощущение со всех сторон тебя встречающих костистых жестоких кулаков.

Как покойник представляется нам потом долгие годы таким, каким мы последний раз видели его юношей, если даже за это время он должен был стать стариком, так и Родичев, который через восемнадцать лет должен бы был вернуться инвалидом, может быть глухим, может быть скрюченным,— сейчас виделся Русанову тем прежним загорелым здоровяком, с гантелями и гирей, на их общем длинном балконе в его последнее перед арестом воскресенье. Голый до пояса, он подозвал:

– Пашка! Иди сюда! На-ка пощупай бицепсы. Да не брезгуй, жми! Понял теперь, что значит инженер новой формации? Мы не рахитики, какие-нибудь там Эдуарды Христофоровичи, мы — люди гармонические. А ты вот хиловатый стал, засыхаешь за кожаной дверью. Иди к нам на завод, в цех устрою, а? Не хочешь?.. Ха-га!.. Захохотал и пошёл мыться, напевая:

Мы – кузнецы, и дух наш молод.

Вот этого-то здоровяка Русанов и представил сейчас врывающимся сюда, в палату, с кулаками. И не мог стряхнуть с себя ложный образ.

С Родичевым они были когда-то друзья, в одной комсомольской ячейке, эту квартиру получали вместе от фабрики. Потом Родичев пошёл по линии рабфака и института, а Русанов — по линии профсоюза и по анкетному хозяйству. Сперва начали не ладить жёны, потом и сами они, Родичев часто разговаривал с Русановым в оскорбительном тоне, да и вообще держался слишком безответственно, противопоставлял себя коллективу. Бок о бок с ним жить стало невыносимо и тесно. Ну, да всё сошлось, и погорячились, конечно, и дал на него Павел Николаевич такой материал: что в частном разговоре с ним Родичев одобрительно высказывался о деятельности разгромленной Промпартии и намеревался у себя на заводе сколотить группу вредителей. (Прямо так он не говорил, но по своему поведению мог говорить и мог намереваться).

Только Русанов очень просил, чтоб имя его нигде не фигурировало в деле, и чтобы не было очной ставки. Но следователь гарантировал, что по закону и не требуется открывать Русанова, и не обязательна очная ставка — достаточно будет признания самого обвиняемого. Даже первоначальное русановское заявление можно не подшивать в том следственного дела, так что обвиняемый, подписывая 206-ю статью, нигде не встретит фамилию своего соседа по квартире.

И так бы всё гладко прошло, если б не Гузун — секретарь заводского парткома. Ему из органов пришла выписка, что Родичев — враг народа, на предмет исключения его из партии первичной ячейкой. Но Гузун упёрся и стал шуметь, что Родичев — наш парень, и пусть ему дадут подробные материалы. На свою голову и нашумел, через два дня в ночь арестовали и его, а на третье утро благополучно исключили и Родичева, и Гузуна — как членов одной контрреволюционной подпольной организации.

Но Русанова теперь прокололо то, что за эти два дня, пока Гузуна уламывали, ему всё-таки вынуждены были сказать, что материал поступил от Русанова. Значит, встретившись с Родичевым там (а раз они пошли по одному делу,

так могли в конце концов и встретиться), Гузун скажет Родичеву — и вот почему Русанов так опасался теперь этого зловещего возврата, этого воскрешения из мёртвых, которого никогда нельзя было вообразить.

Хотя, конечно, и жена Родичева могла догадаться, только жива ли она? Капа так намечала: как только Родичева арестуют, так Катьку Родичеву сейчас же выселить, и захватить всю квартиру, и балкон тогда будет весь их. (Теперь смешно, что комната в четырнадцать метров в квартире без газа могла иметь такое значение. Ну, да ведь и дети росли.) Операция эта с комнатой была уже вся согласована, и пришли Катьку выселять, но она выкинула номер — заявила, что беременна. Настояли проверить — принесла справку. А по закону беременную выселять нельзя. И только к следующей зиме её выселили, а длинные месяцы пришлось терпеть, и жить с ней о бок — пока она носила, пока родила и ещё до конца декретного. Ну, правда, теперь ей Капа пикнуть не давала на кухне, и Аве уже шёл пятый год, она очень смешно её дразнила.

Сейчас, лёжа на спине, в темноте посапывающей и похрапывающей палаты (лишь лёгкий отсвет настольной лампы сестры из вестибюля достигал сюда через стеклянную матовую дверь) Русанов бессонным ясным умом пытался разобраться, почему его так взбалмошили тени Родичева и Гузуна и испугался ли бы он, если б вернулся кто-то из других, чью виновность он тоже мог установить: тот же Эдуард Христофорович, инженер буржуазного воспитания, назвавший Павла при рабочих дураком (а сам потом признался, что мечтал реставрировать капитализм); та стенографистка, которая оказалась виновна в искажении речи важного начальника, покровителя Павла Николаевича, а начальник в речи эти слова совсем не так говорил; тот неподатливый бухгалтер (ещё к тому ж оказался и сыном священника, и скрутили его в одну минуту); жена и муж Ельчанские; да мало ли..?

Ведь никого ж из них Павел Николаевич не боялся, он всё смелее и открытее помогал устанавливать вину, даже два раза ходил на очные ставки, там повышал голос и изобличал. Да тогда и не считалось вовсе, что идейной непримиримости надо стыдиться! В то прекрасное честное время, в тридцать седьмом-тридать восьмом году, заметно очищалась общественная атмосфера, так легко стало дышаться! Все лгуны, клеветники, слишком смелые любители самокритики или слишком заумные интеллигентики — исчезли, заткнулись, притаились, а люди принципиальные, устойчивые, преданные, друзья Русанова и сам он, ходили с достойно поднятой головой.

И вот теперь какое-то новое, мутное, нездоровое время, что этих прежних своих лучших гражданских поступков надо стыдиться? Или даже за себя бояться?

Какая чушь. Да всю свою жизнь перебирая, Русанов не мог упрекнуть себя в трусости. Ему не приходилось бояться! Может быть он не был какой-нибудь особо-храбрый человек, но и случая такого не припоминалось, чтобы проявил трусость. Нет оснований предполагать, что он испугался бы на фронте — просто на фронт его не взяли как ценного, опытного работника. Нельзя утверждать, что он растерялся бы под бомбёжкой или в пожаре — но из К* они уехали до бомбёжек, и в пожар он не попадал никогда. Так же никогда он не боялся правосудия и закона, потому что закона он не нарушал, и правосудие всегда защищало его и поддерживало. И не боялся он разоблачений общественности — потому что обще-

ственность тоже была всегда за него. И в областной газете не могла бы появиться неприличная заметка против Русанова, потому что или Александр Михалыч или Нил Прокофьич всегда б её остановили. А центральная газета не могла бы до Русанова опуститься. Так и прессы он тоже никогда не боялся.

И пересекая Чёрное море на пароходе, он нисколько не боялся морской глубины. А боялся ли он высоты — нельзя сказать, потому что не был он так пустоголов, чтобы лазить на горы или на скалы, а по роду своей работы не монтировал мостов.

Род работы Русанова в течении уже многих лет, едва ли не двадцати, был — анкетное хозяйство. Должность эта в разных учреждениях называлась по-разному, но суть была всегда одна. Только неучи да несведущие посторонние люди не знают, какая это ажурная тонкая работа. Каждый человек на жизненном пути заполняет немалое число анкет, и в каждой анкете — известное число вопросов. Ответ одного человека на один вопрос одной анкеты — это уже ниточка, навсегда протянувшаяся от человека в местный центр анкетного хозяйства. От каждого человека протянуты таким образом сотни ниточек, а всего их сходятся многие миллионы, и если б ниточки эти стали видимы, то всё небо оказалось бы в паутине, а если б они стали материально-упруги, то и автобусы, и трамваи, и сами люди потеряли бы возможность двигаться, и ветер не мог бы вдоль улицы пронести клочков газеты или осенних листьев. Но они не видимы и не материальны, а однако чувствуются человеком постоянно. Дело в том, что так называемые кристальные анкеты — это как абсолютная истина, как идеал, они почти не достижимы. На каждого живого человека всегда можно записать что-нибудь отрицательное или подозрительное, каждый человек в чём-нибудь виноват или что-нибудь утаивает, если разобраться дотошно.

Из этого постоянного ощущения незримых ниточек естественно рождается у людей и уважение к тем лицам, кто эти ниточки вытягивает, кто ведёт это сложнейшее анкетное хозяйство. Авторитет таких лиц.

Пользуясь ещё одним сравнением, уже музыкальным, Русанов, благодаря своему особому положению, обладал как бы набором дощечек ксилофона и мог по выбору, по желанию, по соображениям необходимости ударять по любой из дощечек. Хотя все они были равно деревянные, но голос был у каждой свой.

Были дощечки, то есть приёмы, самого нежного, осторожного действия. Например, желая какому-нибудь товарищу передать, что он им недоволен, или просто предупредить, немного поставить на место, Русанов умел особыми ладами здороваться. Когда тот человек здоровался (разумеется, первый), Павел Николаевич мог ответить деловито, но не улыбнуться; а мог, сдвинув брови (это он отрабатывал в рабочем кабинете перед зеркалом), чуть-чуть замедлить ответ — как будто он сомневался, надо ли, собственно, с этим человеком здороваться, достоин ли тот — и уж после этого поздороваться (опять же: или с полным поворотом головы, или с неполным, или вовсе не поворачивая). Такая маленькая задержка всегда имеет, однако, значительный эффект. В голове работника, который был приветствован с такой заминкой или холодком, начинались деятельные поиски тех грехов, в которых этот работник мог быть виноват. И, поселив сомнение, заминка удерживала его, может быть, от неверного поступка, на грани которого работник уже был, но Павел Николаевич лишь с опозданием получил бы об этом сведения.

Более сильным средством было, встретив человека (или позвонив ему по телефону, или даже специально вызвав его), сказать: «Зайдите, пожалуйста, ко мне завтра в десять часов утра».— «А сейчас нельзя?» — обязательно спросит человек, потому что ему хочется скорее выяснить, зачем его вызывают, и скорее исчерпать разговор.— «Нет, сейчас нельзя»,— мягко, но строго скажет Русанов. Он не скажет, что занят другим делом или идёт на совещание, нет, он ни за что не даст ясной простой причины, чтоб успокоить вызванного (в том-то и состоит приём), он так выговорит это «сейчас нельзя», чтобы сюда поместилось много серьёзных значений — и не все из них благоприятные.— «А по какому вопросу?» — может быть осмелится спросить или по крайней неопытности спросит работник.— «Завтра и узнаете»,— бархатисто обойдёт этот нетактичный вопрос Павел Николаевич. Но до десяти часов завтрашнего дня — сколько времени! сколько событий! Работнику надо ещё кончить рабочий день, ехать домой, разговаривать с семьёй, может быть идти в кино или на родительское собрание в школу, и ещё потом спать (кто заснёт, а кто и нет), и ещё потом утром давиться завтраком — и всё время будет сверлить и грызть работника этот вопрос: «А зачем он меня вызывает?» За эти долгие часы работник во многом раскается, во многом опасётся и даст себе зарок не задирать на собраниях начальство. А уж когда он придёт — может и дела никакого не окажется, надо проверить дату рождения или номер диплома.

Так, подобно дощечкам ксилофона, способы нарастали по своему деревянному голосу и наконец самым сухим и резким было: «Сергей Сергеич (это директор всего предприятия, местный Хозяин) просил вас к такому-то числу заполнить вот эту анкету.» И работнику протягивалась анкета — но не просто анкета, а из всех анкет и форм, хранящихся в шкафу Русанова, самая полная и самая неприятная — ну, например та, которая для засекречивания. Работник-то, может быть, совсем и не засекречивается, и Сергей Сергеич вовсе о том не знает, но кто ж пойдёт проверять, когда Сергея Сергеевича самого боятся как огня? Работник берёт анкету и ещё делает бодрый вид, а на самом деле, если что-нибудь он только скрывал от анкетного центра — уже всё внутри у него скребёт. Потому что в этой анкете ничего не укрыть. Это — отличная анкета. Это — лучшая из анкет.

Именно с помощью такой анкеты Русанову удалось добиться разводов нескольких женщин, мужья которых находились в заключении по 58-й статье. Уж как эти женщины заметали следы, посылали посылки не от своего имени, не из этого города или вовсе не посылали — в этой анкете слишком строго стоял частокол вопросов, и лгать дальше было нельзя. И один только был пропуск в частоколе: окончательный развод перед законом. К тому же, его процедура была облегчена: суд не спрашивал от заключённых согласия на развод и даже не извещал их о совершённом разводе. Русанову важно было, чтобы развод совершился, чтобы грязные лапы преступника не стягивали ещё не погибшую женщину с общей гражданской дороги. А анкеты эти никуда и не шли. И Сергею Сергеевичу показывались только разве в виде анекдота.

Обособленное, загадочное, полупотустороннее положение Русанова в общем ходе производства давало ему и удовлетворяло его глубоким знанием истинных процессов жизни. Жизнь, которая была видна всем,— производство, совещания, многотиражка, месткомовские объявления на вахте, заявления на получение, столовая, клуб,— не была настоящая, а только казалась такой непос-

вящённым. Истинное же направление жизни решалось без крикливости, спокойно, в тихих кабинетах между двумя-тремя понимающими друг друга людьми или телефонным ласковым звонком. Ещё струилась истинная жизнь в тайных бумагах, в глуби портфелей Русанова и его сотрудников, и долго молча могла ходить за человеком — и только внезапно на мгновение обнажалась, высовывала пасть, рыгала в жертву огнём — и опять скрывалась, неизвестно куда. И на поверхности оставалось всё то же: клуб, столовая, заявления на получение, многотиражка, производство. И только не хватало среди проходивших вахту — уволенного, отчисленного, изъятого.

Соответственно роду работы бывало оборудовано и рабочее место Русанова. Это всегда была уединённая комната с дверью, сперва обитой кожей и блестящими обойными гвоздями, а потом, по мере того как богатело общество, ещё и ограждённая входным предохранительным ящиком, тёмным тамбуром. Этот тамбур — как будто и простое изобретение, совсем нехитрая штука: не больше метра в глубину, и лишь секунду-две мешкает посетитель, закрывая за собой первую дверь и ещё не открыв вторую. Но в эти секунды перед решающим разговором он как бы попадает в короткое заключение: нет ему света, и воздуха нет, и он чувствует всё своё ничтожество перед тем, к кому сейчас входит. И если была у него дерзость, своемудрие — то здесь, в тамбуре, он расстанется с ними.

Естественно, что и по нескольку человек сразу к Павлу Николаевичу не вваливались, а только впускались поодиночке, кто был вызван или получил по телефону разрешение прийти.

Такое оборудование рабочего места и такой порядок допуска очень способствовал вдумчивому и регулярному выполнению обязанностей в русановском отделе. Без предохранительного тамбура Павел Николаевич бы страдал.

Разумеется, по диалектической взаимосвязи всех явлений действительности, образ поведения Павла Николаевича на работе не мог остаться без влияния на его образ жизни вообще. Постепенно, с годами, ему и Капитолине Матвеевне стали несносны на железных дорогах не только общие, но и плацкартные вагоны, куда пёрлись и в полушубках, и с вёдрами, и с мешками. Русановы стали ездить только в купированных и в мягких. Разумеется, и в гостиницах для Русанова всегда бронировался номер, чтоб ему не очутиться в общей комнате. Разумеется, и в санатории Русановы ездили не во всякие, а в такие, где человека знают, уважают и создают ему условия, где и пляж и аллеи отдыха отгорожены от общей публики. И когда Капитолине Матвеевне врачи назначили больше ходить, то ей абсолютно негде было ходить, кроме как в таком санатории среди равных.

Русановы любили народ — свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ.

Но с годами они всё больше терпеть не могли — населения. Этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося да ещё чего-то требующего себе населения.

У Русановых стал вызывать отвращение трамвай, троллейбус, автобус, где всегда толкали, особенно при посадке, куда лезли строительные и другие рабочие в грязных спецовках и могли обтереть о твоё пальто этот мазут или эту извёстку, а главное — укоренилась противная панибратская манера хлопать по плечу — просить передать на билет или сдачу, и нужно было услуживать и передавать без конца. Ходить же по городу пешком было и далеко, и слишком

простецки, не по занимаемой должности. И если служебные автомобили бывали в разгоне или в ремонте, Павел Николаевич часами не мог попасть домой обедать, а сидел на работе и ждал, пока подадут машину. А что оставалось делать? С пешеходами всегда можно напороться на неожиданность, среди них бывают дерзкие, плохо одетые, а иногда и подвыпившие люди. Плохо одетый человек всегда опасен, потому что он плохо чувствует свою ответственность, да вероятно ему и мало что терять, иначе он был бы одет хорошо. Конечно, милиция и закон защищают Русанова от плохо одетого человека, но эта защита придёт неизбежно с опозданием, она придёт, чтобы наказать негодяя уже потом.

И вот, ничего на свете не боясь, Русанов стал испытывать вполне нормальную оправданную боязнь перед распущенными полупьяными людьми, а точнее — перед прямым ударом кулака в лицо.

Потому так взволновало его сперва и известие о возврате Родичева. Не то чтобы он или Гузун стали бы действовать по закону: по закону они к Русанову никаких претензий иметь не должны. Но что, если они сохранились здоровыми мужиками и захотят избить?

Однако, если трезво разобраться,— конечно зряшен был первый невольный испуг Павла Николаевича. Ещё, может быть, никакого Родичева нет, и дай бог, чтоб он не вернулся. Все эти разговорчики о возвратах вполне могут быть легендами, потому что в ходе своей работы Павел Николаевич пока не ощущал тех признаков, которые могли бы предвещать новый характер жизни.

Потом, если даже Родичев действительно вернулся, то в К*, а не сюда. И ему сейчас не до того, чтобы искать Русанова, а самому надо оглядываться, как бы его из К* не выперли снова.

А если он и начнёт искать, то не сразу же найдёт ниточку сюда. И сюда поезд идёт трое суток через восемь областей. И, даже доехав сюда, он во всяком случае явится домой, а не в больницу. А в больнице Павел Николаевич как раз в полной безопасности.

<...>

20. Воспоминание о Прекрасном

<...>

Уш-Терек значит «Три тополя». Он назван так по трём старинным тополям, видным по степи за десять километров и дальше. Тополя стоят смежно. Они не стройны по-тополиному, а кривоваты даже. Им, может быть, уж лет и по четыреста. Достигнув высоты, они не погнали дальше, а раздались по сторонам и сплели мощную тень над главным арыком. Говорят, и ещё были старые деревья в ауле, но в 31-м году, когда Будённый давил казахов, их вырубили. А больше такие не принимаются. Сколько сажали пионеры — обгладывают их козы на первом взросте. Лишь американские клёны взялись на главной улице перед райкомом.

То ли место любить на земле, где ты выполз кричащим младенцем, ничего ещё не осмысливая, даже показаний своих глаз и ушей? Или то, где первый раз тебе сказали: ничего, идите без конвоя! сами идите!

Своими ногами! «Возьми постель твою и ходи!»

Первая ночь на полусвободе! Пока ещё присматривалась к ним комендату-

ра, в посёлок не выпустили, а разрешили вольно спать под сенным навесом во дворе МВД. Под навесом неподвижные лошади всю ночь тихо хрупали сено — и нельзя было выдумать звука слаще!

Но Олег полночи заснуть не мог. Твёрдая земля двора была вся белая от луны — и он пошёл ходить, как шальной, наискось по двору. Никаких вышек не было, никто на него не смотрел — и, счастливо спотыкаясь на неровностях двора, он ходил, запрокинув голову, лицом в белое небо — и куда-то всё шёл, как будто боясь не успеть — как будто не в скудный глухой аул должен был выйти завтра, а в просторный триумфальный мир. В тёплом воздухе ранней южной весны было совсем не тихо: как над большой разбросанной станцией всю ночь перекликаются паровозы, так со всех концов посёлка всю ночь до утра из своих загонов и дворов трубно, жадно и торжествующе ревели ишаки и верблюды — о своей брачной страсти, об уверенности в продолжении жизни. И этот брачный рёв сливался с тем, что ревело в груди у Олега самого.

Так разве есть место милей, чем где провёл ты такую ночь?

И вот в ту ночь он опять надеялся и верил, хоть столько раз зарекался.

После лагеря нельзя было назвать ссыльный мир жестоким, хотя и здесь на поливе дрались кетменями за воду и рубали по ногам. Ссыльный мир был намного просторней, легче, разнообразней. Но жестковатость была и в нём, и не так-то легко пробивался корешок в землю, и не так-то легко было напитать стебель. Ещё надо было извернуться, чтоб комендант не заслал в пустыню глубже километров на полтораста. Ещё надо было найти глино-соломенную крышу над головой и что-то платить хозяйке, а платить не из чего. Надо было покупать ежедневный хлеб и что-то же в столовой. Надо было работу найти, а, намахавшись киркою за семь лет, не хотелось всё-таки брать кетмень и идти в поливальщики. И хотя были в посёлке вдовые женщины уже с мазанками, с огородами и даже с коровами, вполне готовые взять в мужья одинокого ссыльного — продавать себя в мужья мнилось тоже рано: ведь жизнь как будто не кончалась, а начиналась.

Раньше, в лагере, прикидывая, скольких мужчин не достаёт на воле, уверены были арестанты, что только конвоир от тебя отстанет — и первая женщина уже твоя. Так казалось, что ходят они одинокие, рыдая по мужчинам, и ни о чём не думают о другом. Но в посёлке было великое множество детей, и женщины держались как бы наполненные своей жизнью, и ни одинокие, ни девушки ни за что не хотели так, а обязательно замуж, по честному, и строить домок на виду посёлка. Уштерекские нравы уходили в прошлое столетие.

И вот конвоиры давно отстали от Олега, а жил он всё так же без женщины, как и годы за колючей проволокой, хотя были в посёлке писаные вороные гречанки и трудолюбивые светленькие немочки.

В накладной, по которой прислали их в ссылку, написано было н а в е ч н о, и Олег разумом вполне поддался, что будет навечно, ничего другого нельзя было вообразить. А вот жениться здесь — что-то в груди не пускало. То свалили Берию с жестяным грохотом пустого истукана — и все ждали крутых изменений, а изменения приползали медленные, малые. То Олег нашёл свою прежнюю подругу — в красноярской ссылке, и обменялся письмами с ней. То затеял переписку со старой ленинградской знакомой — и сколько-то месяцев носил это в груди, надеясь, что она приедет сюда. (Но кто бросит ленинградскую квартиру и приедет к нему в

дыру?) А тут выросла опухоль, и всё розняла своей постоянной необоримой болью, и женщины уже не стали ничем привлекательнее просто добрых людей.

Как охватил Олег, было в ссылке не только угнетающее начало, известное всем хоть из литературы (не та местность, которую любишь; не те люди, которых бы хотелось), но и начало освобождающее, мало известное: освобождающее от сомнений, от ответственности перед собой. Несчастны были не те, кто посылался в ссылку, а кто получал паспорт с грязной 39-й паспортной статьёй и должен был, упрекая себя за каждую оплошность, куда-то ехать, где-то жить, искать работу и отовсюду изгоняться. Но полноправно приезжал арестант в ссылку: не он придумал сюда ехать, и никто не мог его отсюда изгнать! За него подумало начальство, и он уже не боялся упустить где-то лучшее место, не суетился, изыскивая лучшую комбинацию. Он знал, что идёт единственным путём, и это наполняло его бодростью.

И сейчас, начав выздоравливать, и стоя опять перед неразбираемо-запутанной жизнью, Олег ощущал приятность, что есть такое блаженное местечко Уш-Терек, где за него подумано, где всё очень ясно, где его считают как бы вполне гражданином, и куда он вернётся скоро как домой. Уже какие-то нити родства тянули его туда и хотелось говорить: у нас.

Три четверти того года, который Олег пробыл до сих пор в Уш-Тереке, он болел — и мало присмотрелся к подробностям природы и жизни, и мало насладился ими. Больному человеку степь казалась слишком пыльной, солнце слишком горячим, огороды слишком выжженными, замес саманов слишком тяжёлым.

Но сейчас, когда жизнь, как те кричащие весенние ишаки, снова затрубила в нём, Олег расхаживал по аллеям медгородка, изобилующего деревьями, людьми, красками и каменными домами,— и с умилением восстанавливал каждую скупую умеренную чёрточку уш-терекского мира. И тот скупой мир был ему дороже — потому что он был свой, до гроба свой, навеки свой, а этот — временный, прокатный.

И вспоминал он степной жусан — с горьким запахом, а таким родным! И опять вспоминал жантак с колкими колючками. И ещё колче того джингиль, идущий на изгороди — а в мае цветёт он фиолетовыми цветами, благоухающими совсем, как сирень. И одурманивающее это дерево джиду с запахом цветов до того избыточно-пряным, как у женщины, перешедшей меру желания и надушенной без удержу.

Как это удивительно, что русский, какими-то лентами душевными припеленатый к русским перелескам и польцам, к тихой замкнутости среднерусской природы, а сюда присланный помимо воли и навсегда,— вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается как отдых, а дождь — как праздник, и вполне уже, кажется, смирился, что будет жить здесь до смерти. И по таким ребятам, как Сарымбетов, Телегенов, Маукеев, братья Скоковы, он, ещё и языка их не зная, кажется, и к народу этому привязался; он под налётом случайных чувств, когда смешивается ложное с важным, под наивной преданностью древним родам, понял его как в корне простодушный народ и всегда отвечающий на искренность искренностью, на расположение расположением.

Олегу — тридцать четыре года. Все институты обрывают приём в тридцать

пять. Образования ему уже никогда не получить. Ну, не вышло — так не вышло. Только недавно от изготовщика саманов он сумел подняться до помощника землеустроителя (не самого землеустроителя, как соврал Зое, а только помощника, на триста пятьдесят рублей). Его начальник, районный землеустроитель, плохо знает цену деления на рейке, поэтому работать бы Олегу всласть, но и ему работы почти нет: при розданных колхозам актах на вечное (тоже вечное) пользование землёй, ему лишь иногда достаётся отрезать что-нибудь от колхозов в пользу расширяющихся посёлков. Куда ему до мираба — до властителя поливов мираба, спиной своей чувствующего малейший наклон почвы! Ну, вероятно, с годами Олег сумеет устроиться лучше. Но даже и сейчас — почему с такой теплотой вспоминает он об Уш-Тереке, и ждёт конца лечения, чтоб только вернуться туда, дотянуться туда хоть вполздорова?

Не естественно ли было бы озлобиться на место своей ссылки, ненавидеть и проклинать его? Нет, даже то, что взывает к батогу сатиры,— и то видится Олегу лишь анекдотом, достойным улыбки. И новый директор школы Абен Берденов, который сорвал со стены «Грачей» Саврасова и закинул их за шкаф (там церковь он увидел и счёл это религиозной пропагандой). И заврайздравом, бойкая русачка, которая с трибуны читает доклад районной интеллигенции, а из-под полы загоняет местным дамам по двойной цене новый крепдешин, пока не появится такой и в Раймаге. И машина скорой помощи, носящаяся в клубах пыли, но частенько совсем не с больными, а по нуждам райкома как легковая, а то развозя по квартирам начальства муку и сливочное масло. И «оптовая» торговля маленького розничного Орембаева: в его продуктовом магазинчике никогда ничего нет, на крыше — гора пустых ящиков от проданного товара, он премирован за перевыполнение плана и постоянно дремлет у двери магазина. Ему лень взвешивать, лень пересыпать, заворачивать. Снабдивши всех сильных людей, он дальше намечает по его мнению достойных, и тихо предлагает: «Бери ящик макарон — только целый», «бери мешок сахара — только целый». Мешок или ящик отправляются прямо со склада на квартиру, а записываются Орембаеву в розничный оборот. Наконец, и третий секретарь райкома, который возжелал сдать экстерном за среднюю школу, но не зная ни одной из математик, прокрался ночью к ссыльному учителю и поднёс ему шкурку каракуля.

Это всё воспринимается с улыбкой потому, что это всё — после волчьего лагеря. Конечно, что не покажется после лагеря — шуткой? что не покажется отдыхом?

Ведь это же наслаждение — надеть в сумерках белую рубашку (единственную, уже с продранным воротником, а уж какие брюки и ботинки — не спрашивай) и пойти по главной улице посёлка. Около клуба под камышёвой кровлей увидеть афишу: «новый трофейно-художественный фильм...» и юродивого Васю, всех зазывающего в кино. Постараться купить самый дешёвый билет за два рубля — в первый ряд, вместе с мальчишками. А раз в месяц кутнуть — за два с полтиной выпить в чайной, между шофёров-чеченов, кружку пива.

Это восприятие ссыльной жизни со смехом, с постоянной радостью у Олега сложилось больше всего от супругов Кадминых — гинеколога Николая Ивановича и жены его Елены Александровны. Что б ни случилось с Кадмиными в ссылке, они всегда повторяют:

– Как хорошо! Насколько это лучше, чем было! Как нам повезло, что мы попали в это прелестное место!

Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Сегодня фильм хороший в клубе — радость! Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли — радость! Приехал техник и зубы вставил — радость! Прислали ещё одного гинеколога, тоже ссыльную,— очень хорошо! Пусть ей гинекология, пусть ей незаконные аборты, Николай Иваныч общую терапию поведёт, меньше денег, зато спокойно. Оранжево-розово-ало-багряно-багровый степной закат — наслаждение! Стройненький седенький Николай Иванович берёт под руку круглую, тяжелеющую не без болезни Елену Александровну, и они чинным шагом выходят за крайние дома смотреть закат.

Но жизнь как сплошная гирлянда цветущих радостей начинается у них с того дня, когда они покупают собственную землянку-развалюшку с огородом — последнее прибежище в их жизни, как они понимают, последний кров, где им вековать и умирать. (У них есть решение — умереть вместе: один умрёт, другой сопроводит, ибо зачем и для кого ему оставаться?) Мебели у них — никакой, и заказывается старику Хомратовичу, тоже ссыльному, выложить им в углу параллелепипед из саманов. Это получилась супружеская кровать — какая широкая! какая удобная! Вот радость-то! Шьётся широкий матрасный мешок и набивается соломой. Следующий заказ Хомратовичу — стол, и притом круглый. Недоумевает Хомратович: седьмой десяток на свете живёт, никогда круглого стола не видел. Зачем круглый? «Нет уж, пожалуйста! — чертит Николай Иванович своими белыми ловкими гинекологическими руками.— Уж обязательно круглый!» Следующая забота — достать керосиновую лампу не жестяную, а стеклянную, на высокой ножке, и не семилинейную, а обязательно десятилинейную — и чтоб ещё стёкла к ней были. В Уш-Тереке такой нет, это достаётся постепенно, привозится добрыми людьми издалека,— но вот на круглый стол ставится такая лампа, да ещё под самодельным абажуром — и здесь, в Уш-Тереке, в 1954 году, когда в столицах гоняются за торшерами и уже изобретена водородная бомба — эта лампа на круглом самодельном столе превращает глинобитную землянку в роскошную гостиную предпрошлого века. Что за торжество! Они втроём садятся вокруг, и Елена Александровна говорит с чувством:

– Ах, Олег, как хорошо мы сейчас живём! Вы знаете, если не считать детства — это самый счастливый период всей моей жизни! Потому что ведь — она права! — совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а — отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и другое — всегда в нашей власти, а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать.

До войны они жили под Москвой со свекровью, и та была настолько непримирима и пристальна к мелочам, а сын к матери настолько почтителен, что Елена Александровна — уже женщина средних лет, самостоятельной судьбы и не первый раз замужем, чувствовала себя постоянно задавленной. Эти годы она называет теперь своим «средневековьем». Нужно было случиться большому несчастью, чтобы свежий воздух хлынул в их семью.

И несчастье обрушилось — сама же свекровь и потянула ниточку: в первый год войны пришёл человек без документов и попросил укрытия. Совмещая

крутость к семейным с общими христианскими убеждениями, свекровь приютила дезертира — и даже без совета с молодыми. Две ночи переночевал дезертир, ушёл, где-то был пойман и на допросе указал дом, который его принял. Сама свекровь была уже под восемьдесят, её не тронули, но сочтено было полезным арестовать пятидесятилетнего сына и сорокалетнюю невестку. На следствии выясняли, не родственник ли им дезертир, и если б оказался родственник, это сильно смягчило бы следствие: это было бы простым шкурничеством, вполне понятным и даже извинимым. Но был дезертир им — никто, прохожий, и получили Кадмины по десятке не как пособники дезертира, но как враги отечества, сознательно подрывающие мощь Красной армии. Кончилась война — и тот дезертир был отпущен по великой сталинской амнистии 1945 года (историки будут голову ломать — не поймут, почему именно дезертиров простили прежде всех — и без ограничений). Он и забыл, что в каком-то доме ночевал, что кого-то потянул за собой. А Кадминых та амнистия нисколько не коснулась: ведь они были не дезертиры, они были враги. Они и по десятке отбыли — их не отпустили домой: ведь они не в одиночку действовали, а группой, организацией — муж да жена! — и полагалось им в вечную ссылку. Предвидя такой исход, Кадмины заранее подали прошения, чтобы хоть в ссылку-то их послали в одно место. И как будто никто прямо не возражал, и как будто просьба была довольно законная — а всё-таки мужа послали на юг Казахстана, а жену — в Красноярский край. Может, их хотели разлучить как членов одной организации?.. Нет, это не в кару им сделали, не на зло, а просто в аппарате министерства внутренних дел не было же такого человека, чья обязанность была бы соединять мужей и жён — вот и не соединили. Жена, под пятьдесят лет, но с опухающими руками и ногами, попала в тайгу, где ничего не было кроме лесоповала, уже так знакомого по лагерю. (Но и сейчас вспоминает енисейскую тайгу — какие пейзажи!) Год ещё писали они жалобы — в Москву, в Москву, в Москву — и тогда только пришёл спецконвой — и повёз Елену Александровну сюда, в Уш-Терек.

И ещё бы было им теперь не радоваться жизни! не полюбить Уш-Терек! и свою глинобитную хибарку! Какого ещё им было желать другого доброденствия?

<...>

36. И последний день

<...>

По какому замыслу была так таинственно и окраинно помещена комендатура, располагавшая судьбами всех ссыльных города? Но вот тут, среди бараков, грязных проходов, разбитых и заслепленных фанерою окон, развешанного белья, белья, белья — вот тут она и была.

Олег вспомнил отвратное выражение лица того коменданта, даже на работе не бывшего в рабочий день, как он принимал его тут, и сам теперь в коридоре комендантского барака замедлил, чтоб и своё лицо стало независимым и закрытым. Костоглотов никогда не разрешал себе улыбаться тюремщикам, даже если те улыбались. Он считал долгом напоминать, что — всё помнит.

Он постучал, вошёл. Первая комната была полутемна, совсем гола и совсем пуста: только две долгих колченогих скамьи без спинок и, за балюстрадной от-

городкой, стол, где наверно и производили дважды в месяц таинство отметки местных ссыльных.

Никого тут сейчас не было, а дверь дальше с табличкой «Комендант» — распахнута. Выйдя в прогляд этой двери, Олег спросил строго:

– Можно?

– Пожалуйста, пожалуйста,— пригласил его очень приятный радушный голос.

Что такое? Подобного тона Олег сроду в НКВД не слыхивал. Он вошёл. Во всей солнечной комнате был только комендант, за своим столом. Но это не был прежний — с глубокомысленным выражением загадочный дурак, а сидел армянин с мягким, даже интеллигентным лицом, нисколько не чванный, и не в форме, а в гражданском хорошем костюме, не подходящем к этой барачной окраине. Армянин так весело посматривал, будто работа его была — распределять театральные билеты, и он рад был, что Олег пришёл с хорошей заявкой.

После лагерной жизни Олег не мог быть очень привязан к армянам: там, немногочисленные, они ревностно вызволяли друг друга, всегда занимали лучшие каптёрские, хлебные и даже масляные места. Но по справедливости рассуждая, нельзя было за то на них и обижаться: не они эти лагеря придумали, не они придумали и эту Сибирь,— и во имя какой идеи им надо было не спасать друг друга, чуждаться коммерции и долбить землю киркой?

Сейчас же, уведя этого весёлого, расположенного к нему армянина за казённым столом, Олег с теплотой подумал именно о неказённости и деловистости армян.

Услышав фамилию Олега и что он тут на временном учёте, комендант охотно и легко встал, хотя был полон, и в одном из шкафов начал перебирать карточки. Одновременно, как бы стараясь развлечь Олега, он всё время произносил что-нибудь вслух — то пустые междометия, а то и фамилии, которых по инструкции он жесточайше не имел права произносить:

– Та-а-ак… Посмотрим… Калифотиди… Константиниди… Да вы садитесь пожалуйста… Кулаев… Карануриев. Ох, затрепался уголок… Казымагомаев… Костоглотов! — И опять в пущий изъян всех правил НКВД не спросил, а сам же и назвал имя-отчество: Олег Филимонович?

– Да.

– Та-а-ак… Лечились в онкологическом диспансере с двадцать третьего января… — И поднял от бумажки живые человеческие глаза: — Ну и как? Лучше вам?

И Олег почувствовал, что уже — растроган, что даже защипало его в горле немножко. Как же мало надо: посадить за эти мерзкие столы человечных людей — и уже жизнь совсем другая. И сам уже не стянуто, запросто ответил:

– Да как вам сказать… В одном лучше, в другом хуже… — (Хуже? Как неблагодарен человек! Что ж могло быть хуже, чем лежать на полу диспансера и хотеть умереть?..) — Вообще-то лучше.

– Ну, и хорошо! — обрадовался комендант.— Да почему ж вы не сядете?

Оформление театральных билетов требовало же всё-таки времени! Где-то надо было поставить штамп, вписать чернилами дату, ещё в книгу толстую записать, ещё из другой выписать. Всё это армянин весело незатруднённо сделал, освободил Олегово удостоверение с разрешённым выездом, и уже протяги-

вая его и выразительно глядя, сказал совсем неслужебно и потише:

– Вы... не горюйте. Скоро это всё кончится.

– Что — это? — изумился Олег.

– Как что? Отметки. Ссылка. Ко-мен-дан-ты! — беззаботно улыбался он. (Очевидно, была у него в запасе работка поприятней.)

– Что? Уже есть... распоряжение? — спешил вырвать Олег.

– Распоряжение не распоряжение,— вздохнул комендант,— но есть такие намётки. Говорю вам точно. Будет! Держитесь крепче, выздоравливайте — ещё в люди выйдете.

Олег улыбнулся криво:

– Вышел уже я из людей.

– Какая у вас специальность?

– Никакой.

– Женаты?

– Нет.

– И хорошо! — убеждённо сказал комендант.— Со ссыльными жёнами потом обычно разводятся и целая канитель. А вы освободитесь, вернётесь на родину — и женитесь!

Женитесь...

– Ну если так — спасибо,— поднялся Олег.

Доброжелательно напутствуя кивком, комендант всё же руки ему не подал.

Проходя две комнаты, Олег думал: почему такой комендант? Отроду он такой или от поветрия? Постоянный он тут или временный? Или специально таких стали назначать? Очень это важно было узнать, но не возвращаться же.

Опять мимо бараков, опять через рельсы, через уголь, этой долгой заводской улицей Олег пошёл увлечённо, быстрей, ровней, скоро скинув и шинель от жары — и постепенно в нём расходилось и расплескивалось то ведро радости, которое ухнул в него комендант. Лишь постепенно это доходило всё до сознания.

Потому постепенно, что отучили Олега верить людям, занимающим эти столы. Как было не помнить специально распространяемой должностными лицами, капитанами и майорами, лжи послевоенных лет о том, что будто бы подготовляется широкая амнистия для политических? Как им верили! — «мне сам капитан сказал!» А им просто велели подбодрить упавших духом — чтобы тянули! чтобы нормы выполняли! чтоб хоть для чего-то силились жить!

Но об этом армянине если что и можно было предположить, то — слишком глубокую осведомлённость, не по занимаемому посту. Впрочем и сам Олег по обрывкам газет — не того ли и ждал?

Боже мой, да ведь пора! Да ведь давно пора, как же иначе! Человек умирает от опухоли — как же может жить страна, проращённая лагерями и ссылками?

Олег опять почувствовал себя счастливым. В конце концов он не умер. И вот скоро сможет взять билет до Ленинграда. До Ленинграда!.. Неужели можно подойти и потрогать колонну Исаакия?..

<...>

1963—1966

Источник: библиотека М. Мошкова (http://www.lib.ru).

Братья Стругацкие



Аркадий Натанович и Борис Натанович — русские, советские прозаики, авторы научно-фантастических произведений, кинодраматурги.

Стругацкий
Аркадий Натанович
(1925–1991)

Старший из двух братьев.

Родился в Батуми в семье журналиста. Вместе с семьей переехал в Ленинград, во время блокады был эвакуирован, жил в Ташле близ Чкалова (ныне — Оренбург), где и был призван в армию. Учился в Актюбинском артиллерийском училище, в 1943 г. был откомандирован в Московский военный институт иностранных языков, который окончил с дипломом переводчика-япониста. В армии прослужил до 1955 г., в основном, на Дальнем Востоке. После демобилизации жил в Москве, работал в редакции реферативного журнала, в издательствах Детгиз и Гослитиздат. С 1960 г. — профессиональный писатель. Кроме того, известен как переводчик английской и американской (под псевдонимом С. Бережков) и японской научной фантастики, а также классической японской литературы.

Стругацкий
Борис Натанович
(Род. 1933)

Родился в Ленинграде. Окончил механико-математический факультет ЛГУ с дипломом астронома, работал в Пулковской обсерватории. С 1960 г. — профессиональный писатель. Печатался, в основном, в соавторстве с братом (известен также переводами — в соавторстве с братом, под псевдонимами С. Побединим и С. Витин — американской фантастики). Живет в С.-Петербурге.

* * *

Братья Стругацкие работали в жанре социальной фантастики с элементами гротеска. Главная тема — пути развития цивилизации и роль личности в обществе на фоне распада социально-общественной инфраструктуры в ходе катаклизмов XX века.

Основные произведения:

«Страна багровых туч» (1962);

«Далекая радуга» (1964);

«Трудно быть богом» (1965);

«Понедельник начинается в субботу» (1966);

Пикник на обочине (1972) — по этой повести Андрей Тарковский в 1978 году снял фильм «Сталкер»;

«За миллиард лет до конца света» (1977);

«Улитка на склоне» (1981);

«Хромая судьба» (1986);

«Град обреченный» (1989).

Повести «Улитка на склоне» и «Сказка о тройке» с большим трудом были напечатаны в провинциальных журналах («Байкал» №№ 1-2, 1968 г. и «Ангара» №№ 4-5, 1968 г.), но журналы эти были сразу же изъяты из обращения. Обе повести пошли в Самиздат а затем были перепечатаны на Западе.

Повесть Стругацких «Гадкие лебеди» ходила в Самиздате, позже попала на Запад. В книге дается мрачная картина зашедшего в тупик, исчерпавшего себя современного общества.

«— Человечество обанкротилось биологически — рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они ежедневно заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас. Далее, мы обанкротились идеологически — мы перебрали уже все философские системы и все их дискредитировали, мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты».

ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

Глава десятая

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На пропитание Диана сунула ему в руку берестяной туесок: Росшеперу прислали из столичной оранжереи полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Росшеперу, при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягод в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб и сказал:

– Щенок-то мой, оказывается заводилой у них там был.

– Ну что уж Вы так, — сказал Виктор. — Он славный парнишка. Умница и воспитан хорошо.

– Так уж драл я его! — Сказал швейцар, приободрившись. — Старался… — Он снова помрачнел. — Соседи заедают, — сообщил он. — А я что? Я ж не знал ничего…

– Плюньте на соседей, — посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. Мальчишка у Вас прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дру-

жит. — Ха! — Сказал швейцар, вновь приободрившись. — Так может еще породнимся?

– А что же, — сказал Виктор. — Очень даже может быть. — Он представил Бол-Кунаца. — Отчего же…

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

– Стрельбы вчера не слыхали? — Спросил швейцар.

– Нет, — сказал Виктор. — А что?

– А так получилось, — сказал швейцар, — что, значит, когда мы все разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пулеметов.

– Сам я не видел, — сказал швейцар. — Люди рассказывают. — Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо: — Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается.

– Обидно, — пробормотал Виктор, расстроившись.

Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все в общем ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в дом встречи проведать сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

– Добрый день, — сказал Павор, ослепительно улыбаясь.

Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и съел.

– Ну, здравствуйте, здравствуйте, — сказал он мрачно. — Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а, во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

– Слушайте, Виктор, — сказал Павор. — Я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с Вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

– Ей-богу, до того мне в последнее время не везет, — продолжал Павор, — весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки; бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю.

– Господин Сумман, — сказал Виктор. — Перестаньте ваньку валять. Притворяться Вы умеете хорошо, но я, к счастью Вас раскусил, и наблюдать Ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетит, ступайте себе.

– Виктор, — произнес Павор укоризненно. — Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели же Вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молол? Мигрень, неприятности, насморк… Ну что Вы хотите от человека?

– Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу, — объяснил Виктор. — А если уж бьет — бывают обстоятельства — то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

– Ах вот Вы о чем, — сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось. — Слушайте, Виктор, я Вам все объясню. Это была чистая случайность... Я понятия не имел, что это Вы. И потом. Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.

– Господин Сумман, — сказал Виктор, облизывая ложку. — Я всегда недолюбливал людей Вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну понятно — здоровый мужик, и дзюдо, наверное, знает, и кастет у него есть... Хорошо бы разозлиться сейчас. Что он, в самом деле, мне лакомство портит...

– Я вижу, Вы много знаете, — сказал Павор. — Это плохо. Я имею в виду — для Вас. Ну, ладно. Во всяком случае, Вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю Вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что Вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель, теперь Вы приперлись... В общем, единственное, на что я мог бы пойти, это треснуть Вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставляемое.

– Однако, извиняться за то, что я — работник известного Вам департамента, — продолжал Павор, — я не могу, да и не хочу в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душители вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих рамках изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну, а я — по-другому... Подробности я Вам рассказывать не могу, но Вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрецов, боюсь их, и не только за себя боюсь, за всех боюсь, которые хоть чего-то стоят. За Вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах, ох, — и все разговоры. А речь идет о судьбе системы. Если угодно — о судьбе человечества. Вот Вы ругаете господина президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается такая диктатура, какая Вам, вольным художникам и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно верно: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот, Ваши любезные мокрецы обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы этого не понимаете. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансора или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на Вас и видит кучу дерьма, ему Вас не жалко, потому что Вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого дерьма — определения — его не интере-

сует. Господин президент по природной своей ограниченности — ну, облает Вас, ну, в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор поглядит на Вас в лупу, проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда не годное, и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии, смахнет тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что Вы были…

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелише, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-ну, сказал себе Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломанный грошик… Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него по определению не может быть идейных соображений — начальство приказало, вот он и работает на компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал…

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

– Я знаю, что Вы думаете, — сказал он. — По Вашей физиономии видно, как Вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно, а вот представьте себе, ничего мне от Вас не нужно. Искренне хочу предостеречь Вас, искренне хочу, чтобы Вы разобрались, чтобы Вы выбрали правильную сторону… — Он болезненно оскалился. — Не хочу, чтобы Вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь — да будет поздно… Я уже не говорю о том, что Вам вообще нужно отсюда убраться, я и пришел-то к Вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ служебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет… Но это ладно, это чепуха, об этом мы еще поговорим. Я хочу, чтобы Вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов… — Он опять оскалился. — А вот пройдет десяток лет…

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали «Сядьте», а Павору сказали «Встаньте».

– Павор Сумман, Вы арестованы.

Павор, белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал:

– Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу, и пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга… Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Потом он закурил, и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться, или, по крайней мере, выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет… На лестничной площадке маячил

долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

– А, вот он сам, — сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету. — Я как раз к Вам, — сказал долговязый. — Но раз уж так получилось, пойдемте к нам, там спокойнее…

Виктору было все равно, куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и он, кажется, перепробовал все; тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скучающее выражение лица, а Виктор думал, что было бы, если бы дать ему сейчас по башке, выхватить портфель, и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню, налево, а долговязый сказал Виктору: «Одну минуточку», и удалился в спальню направо. Виктор присел за стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он красного дерева, на него клали горящие сигареты и, по крайней мере, один раз стряхнули авторучку. Потом из спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутылка скотча, стакан и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном.

– Сначала формальности, — сказал долговязый. — Хотя нет, подождите, сначала второй стакан. — Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос. — Итак, формальности, — сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в сторону. Тогда Виктор тоже поднялся.

– Виктор Банев! — Провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом. — Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина президента я имею честь вручить Вам медаль «Серебряный трилистник второй степени» в награду за особые заслуги, оказанные Вами департаменту, который я удостоен здесь представлять! Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся пришпиливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодиментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал.

– А теперь это надо обмыть, — сказал долговязый. Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

– За кавалера «Трилистника»! — Провозгласил он. Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

– Третья степень у Вас, кажется, была, — сказал долговязый. — Теперь Вам

еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что третью схватили?

– Не помню, — сказал Виктор. — Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь… А, помню. Это за Китчиганский плацдарм.

– О! — Сказал долговязый и снова разлил виски. — А я вот не воевал. Не успел.

– Вам повезло, — сказал Виктор. Они выпили. — Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

– Я же сказал: за особые услуги.

– За Суммана, что ли? — Произнес Виктор, горестно усмехаясь.

– Бросьте! — Сказал долговязый. — Вы же важная персона. Вы же там, в кругах… — Он неопределенно помахал пальцем возле уха.

– В каких там кругах… — Сказал Виктор.

– Знаем, знаем! — Лукаво закричал долговязый. — Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха… Вы — молодец.

– В первый раз слышу, — сказал Виктор нервно.

– Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у президента и подсунул ему представление на Вас… — Долговязый засмеялся. — Потеха, говорят была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше превосходительство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю. Что там у Вас с ним случилось?

– Да так, — неохотно сказал Виктор. — О литературе поспорил.

– Вы действительно пишете книжки? — Спрсил долговязый.

– Да. Как полковник Лоуренс.

– И прилично платят?

– Ничего, жить можно.

– Надо будет и мне попробовать, — сказал долговязый. — Времени вот только нет свободного. То одно, то другое…

– Да времени нет, — согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает.

– Вы знаете, я пойду, — сказал он поднимаясь. — Время.

Долговязый тотчас вскочил.

– Конечно, — сказал он.

– До свидания.

– Честь имею, — сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джина, а когда шел обратно, портье окликнул его:

– Господин Банев, Вам звонил господин бургомистр. Уже два раза. В номере Вас не было, и я…

– Что ему нужно? — Угрюмо спросил Виктор.

– Он просил, чтобы Вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он сейчас позвонит еще раз…

– Пошлите его в задницу... — Сказал Виктор. — Я сейчас выключу телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте, господин Банев, кавалер «Трилистника второй степени» посылает-де вас, господин бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Затем он сел за стол, налил джину, и, не разбавляя, выпил залпом весь стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. Хватит, и хватит с меня, — думал он. Не нужно мне ничего, ни орденов, ни генералов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне вашего внимания, ни вашей злобы, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он схватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-синего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Гаттокс. Генерал Артмани с вашими орденоносными объятиями, и Зурзмансор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще пол-стакана и понял, что корчась прячется на дно траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы, выгибают друг друга, ломают друг друга, стеная от напряжения, вспучиваются, выпячиваются, и между делом, походя, выдавливают его наверх, все выше, выжимают из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо-де работаете, а он — вот он, под бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как подводная лодка, — подумал он и кто-то подсказал ему — чтобы не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. И нет меня, нет.

Молчу, разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником? Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, — твердил он, — и позывных не передавать. Он уже чувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло... До подбородка... И не хочу ни пить, ни писать... Он налил джину и выпил. Где банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне плевать, — подумал он. — Ох, до какой степени мне плевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтобы не могли запеленговать. Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала пол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отвалившимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... Не стал уставать, уже устал, но «стал уставать» — это хорошо, а значит, это так и есть... Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка... Горькая водка... А также молодка, а также наводка, а лагерь не тетка... Вот как, вот как...

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не тот стук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

– Веселитесь! — сказал он. — Павора арестовали.

– Знаю, знаю, — сказал Виктор весело. — Садитесь, слушайте…

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...

– Дальше я еще не сочинил, — крикнул он. — Дальше будет водка… Молодка… Лагерь не тетка… А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка,
С водки – похмелье, а с девок – что взять?
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать...
Сыт я по горло, сыт я по глотку,
О-о-ох, надоело пить и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...

– Все, — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он чувствовал огромное облегчение, как-будто что-то изменилось, как будто он стал нужен там, над бруствером, на виду у всех, — оторвал руки от зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нужное, бесчестное действие, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка…

– Завидую, — сказал Голем. — Но не пора ли Вам засесть за статью?

– И не подумаю, — сказал Виктор. — Вы меня не знаете, Голем, — я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и Вы тоже напейтесь! Снимайте плащ… Снимайте, я Вам говорю! — Заорал он. — И садитесь. Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть Вы и пророк. И Вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет. И большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми — а я говорю: нет, ничего не понимаю. Вот поэтому я нужен… Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим…

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы. — Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем легиона, я абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом — легион победно двигался вперед без меня, господин президент неумолимо становился господином президентом, и опять же без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь,

я угодил в госпиталь, и что же — кто-нибудь побеспокоился, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Ни хрена подобного! А вот когда я перестал понимать что бы то ни было — о, тогда все переменилось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин президент лично удостоил… А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой… Ээ… Полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает! — Виктор сел. — Я здорово пьян? — Спросил он.

– Не без этого, — сказал Голем. — Но это не важно, продолжайте.

Виктор развел руками.

– Все, — сказал он виновато. — Я иссяк… Может быть, Вам спеть?

– Спойте, — согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы — храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который нарушил государственную границу из-за этого», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом «Про правду и про ложь», потом снова «Сыт я по горло», потом затянул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее», но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

– Опять иссяк, — сказал он грустно. — Так, говорите, Павора арестовали?… А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где Вы сидите… А Вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как Вы полагаете?

– Вряд ли, — сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

– А мокрецы?

– Может быть, они не дадут нам передавить друг друга… Трудно сказать.

– А может быть, помогут? — Сказал Виктор с пьяным смехом… — А то ведь мы даже давить не умеем. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим… Слушайте, Голем, а зачем Вы мне врали, что Вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то…

– Гм, — произнес Голем. — Откуда у Вас такие сведения? Я этого не знал.

– Ладно, ладно, больше Вы меня не обманете. Я говорил с Зур… С Зу… С Зурзмансором. Он мне все рассказал: секретный институт… Обмотались повязками в целях сохранения… Вы знаете, Голем, они там у Вас воображают, будто смогут вертеть генералом Пфердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается… Фу, черт, как пьян — все плывет…

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки. — И Зурзмансор сказал Вам, что он здоров?

– Да, — сказал Виктор. — Впрочем, не помню… Скорее всего, нет. Но видно же…

Голем поскреб подбородок краем стакана.

– Жалко, что Вы пьяны, — сказал он. — Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня хорошее настроение. Хотите, я расскажу Вам все, о чем догадываюсь и что думаю о мокрецах?

– Валяйте, — согласился Виктор. — Только больше не врите.

– Очковая болезнь, — сказал Голем, — это очень любопытная штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — Он замолчал. — Нет, не буду Вам ничего рассказывать.

– Бросьте, — сказал Виктор. — Вы уже начали.

– Ну и дурак, что начал, — возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся. — Задавайте вопросы, — сказал он. — Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу… Давайте, давайте, а то я опять раздумаю.

В дверь постучали.

– Идите к черту! — Гаркнул Виктор. — Я занят!

– Простите, господин Банев, — сказал робкий голос портье. — Вам звонит супруга.

– Вранье! У меня нет никакой супруги… Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо. — Он схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал: — пейте и ни о чем не думайте, я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться?

– Нет! — Сказал Виктор. — Не соблаговолю. Я занят.

– Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой степени…

– Я занят! — Рявкнул Виктор.

– И тебя не волнует, что с твоей дочерью?

– Перестань валять дурака, — сказал Виктор. — Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Что тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

– Перестань, — сказал Виктор, морщась. — Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионате. Поезжай и убедись сама…

– Грубый, бездушный, эгоистичный боров, — объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, и снова выключил телефон и вернулся к столу.

– Слушайте, Голем, — сказал он, — что Вы там делаете с детьми? Если Вы там готовите смену, то я не понимаю…

– Какую смену?

– Ну, какую?… Вот я спрашиваю: какую?

– Насколько мне известно, — сказал Голем, дети очень довольны.

– Мало ли что… Я и без Вас знаю, что они довольны. Но что они там делают?

– А разве они Вам не говорили?

– Кто?

– Дети.

– Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

– Они строят новый мир… — Сказал Голем.

– А… Да, это они мне говорили. Но это же так, философия… Что Вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда?… А если они там заразятся?

– Чем? — Спросил Голем.

– Очковой болезнью, естественно!

– В шестой раз повторяю, что генетические болезни не заразны.

– В шестой, в шестой… — Проворчал Виктор, потеряв нить. — А что это такое вообще очковая болезнь?

– Болезнь.

– Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?

– Нет, это везде опубликовано.

– Ну, расскажите, — сказал Виктор. — Только без терминов.

– Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и ногах, иногда — гнойные язвы…

– Скажите, Голем, а это вообще важно?

– Для чего?

– Для сути — нет, сказал Голем. — Я думал, Вам это интересно.

– Я хочу понять суть! — Сказал Виктор проникновенно.

– А сути Вы не поймете, — сказал Голем, слегка понизив голос.

– Почему?

– Во-первых, потому что Вы пьяны…

– Это еще не причина, — сказал Виктор.

– А, во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.

– Так не бывает, — заявил Виктор. — Вы просто не хотите говорить. Но я на Вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал… Павора вот забрали… Бог с Вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?

– Не нашлось, — ответил Голем. — В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.

– С автоматами, — сказал Виктор. — Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо Вы, либо Зурзмансор.

– Конечно, Зурзмансор, — хладнокровно сказал Голем.

– А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то… Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только честно.

– Счастья, — сказал Голем.

– Для кого? Для себя?

– Не только.

– А за чей счет?

– Для них этот вопрос не имеет смысла, — медленно сказал Голем. — За счет травы, за счет облаков, за счет текущей воды… За счет звезд.

– Совсем как мы, — сказал Виктор.

– Ну, нет, — возразил Голем. — Совсем не так.

– Почему? Мы тоже…

– Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду… Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

– Не понимаю, — сказал Виктор.

– Я Вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадываюсь.

– А есть кто-нибудь, кто понимает?

Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети… Но даже если они и понимают, то посвоему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.

– Голем, — сказал он. — Вот Вы — коммунист. Какого черта Вы делаете в лепрозории? Почему Вы не на баррикаде? Почему Вы не на митинге? Москва Вас не похвалит.

– Я — архитектор. — Спокойно сказал Голем.

– Какой Вы архитектор, если Вы ни черта не понимаете? И вообще, чего Вы меня водите за нос? Мы с Вами час бьемся, а что Вы мне сказали? Жрете джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете беспеременно.

– Ну уж и бесперечь, — сказал Голем. — Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

– Дайте сюда стакан, — сказал Виктор. — Уже напились. — Он плеснул из бутылки и выпил. — Черт Вас разберет, Голем. Ну зачем Вам все это? Если можете рассказывать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

– Это очень просто объяснить, — благодушно сказал Голем, вытягивая ноги. — Я же пророк, Вы меня сами так обзывали. А пророки все в таком положении: знают много, и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости… Вот они и зуммерят, как господь бог, когда его спросили насчет камня.

– Как угодно, — сказал Виктор. — Поеду в лепрозорий и узнаю все без Вас… А ну, предскажите что-нибудь.

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так плохо. И вообще, все не так уж плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же закачалась. Никакого дождя не было, даже облаков не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн. Лечь бы на дно… И он лег бы, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

– … они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет вселенной, но это будет не нравственный богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя… Природа не обманывает, она выполняет обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы…

Зурзмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел…

– Ложитесь спать, — пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать. — Ложитесь спать, Голем…

Источник: библиотека М. Мошкова (http://lib.ru).

Михаил Булгаков

(Справку об авторе см. т. 1, кн. 1, стр. 212)

Собачье сердце

Повесть «Собачье сердце» написана Булгаковым в Москве в январе-марте 1925 г. Тогда же (в марте 1925) она была прочитана автором на литературном собрании общества «Никитинские субботники», вызвала восторг большинства присутствующих и злобный донос сексота ОГПУ («Булгаков определенно ненавидит и презирает весь советский строй, отрицает все его достижения... Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти — Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит»). Сексот не ошибся — даже влиятельный коммунист и издательский работник Н.С. Ангарский, опубликовавший в редактируемом им альманахе «Недра» две предыдущие повести Булгакова (см. «Дьяволиада», «Роковые яйца»), оказался бессилен помочь «Собачьему сердцу» увидеть свет. Один из тогдашних вождей, член Политбюро Лев Каменев, которому была послана рукопись повести на отзыв, так охарактеризовал ее: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя». В мае 1926 г. сотрудники ОГПУ, явившиеся на квартиру Булгакова с обыском, изъяли оба машинописных экземпляра «Собачьего сердца» (и вдобавок рукописный дневник писателя). Только через три с лишним года, после многочисленных ходатайств Булгакова, поддержанных М. Горьким, изъятые произведения были возвращены писателю. Больше попыток опубликовать повесть Булгаков не предпринимал.

Новая жизнь у «Собачьего сердца» началась через четверть века после смерти Булгакова, в середине 1960-х. Вдова писателя Елена Сергеевна Булгакова стремилась (и небезуспешно) опубликовать большинство рукописей Булгакова в СССР и избегала отдавать их в Самиздат, чтобы предотвратить их печатание за границей. Но для «Собачьего сердца» она сделала исключение — невозможность публикации этой повести в СССР при тогдашних цензурных условиях была очевидна. Примерно с 1966 г. машинописные экземпляры «Собачьего сердца» начинают стремительно расходиться по Москве, а затем и по другим городам СССР. Повесть становится одним из рекордсменов Самиздата — ее тираж достигал нескольких тысяч (а возможно и десятков тысяч) экземпляров, многие экземпляры повести зачитывались до дыр. В 1968 г. повесть была опубликована за границей (одновременно в журналах «Грани» (Франкфурт) и «Студент» (Лондон)), затем переведена на большинство европейских языков, итальянский режиссер А.Латтуада снял по «Собачьему сердцу» фильм («Cuore di cane», 1976). Однако в СССР повесть более 20 лет распространялась только в Самиздате, неоднократно изымалась на обысках («Хроника текущих событий» №№ 19, 63), известен случай инкриминирования повести на политическом процессе (Валерий Кукуй, Свердловск, 1971; Хроника текущих событий № 20), само ее название было запрещено упоминать в печати (даже в научном описании архива Булгакова литературовед М. Чудакова была вынуждена называть ее иносказательно: «третья повесть»!).

Лишь с началом горбачевской эры гласности за право опубликовать «Собачье сердце» стали спорить ведущие московские журналы (спор выиграл журнал «Знамя», опубликовавший повесть в № 6 за 1987 г.), ее инсценировали для театра (Московский Театр юного зрителя, 1987, рецензию на этот спектакль как на большое общественное событие

написал академик А.Д. Сахаров). Массовую популярность «Собачье сердце» приобрело после показа телефильма (реж. В. Бортко, 1988), сделавшего повесть и ее персонажей (прежде всего Шарикова и Швондера) эмблематичными фигурами в раздиравших советское общество конца 1980-х идейных спорах.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

2

<…>

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

Этим что нужно? — Удивленно подумал пес.

Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

– Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу…

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

– Во-первых, мы не господа, — молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

– Во-первых, — перебил его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной.

– Какая разница, товарищ? — Спросил он горделиво.

– Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.

– В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.

– Я вам не милостивый государь, — резко заявил блондин, снимая папаху.

– Мы пришли к вам, — вновь начал черный с копной.

– Прежде всего — кто это мы?

– Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…

– Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

– Нас, — ответил Швондер.

– Боже, пропал калабуховский дом! — В отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

– Что вы, профессор, смеетесь?

– Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп Филиппович, — что же теперь будет с паровым отоплением?

– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

– По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

– Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

– Кто на ком стоял? — Крикнул Филипп Филиппович, — потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

– Вопрос стоял об уплотнении.

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

– Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

– Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

– Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако, это здорово.

– Это неописуемо! — Воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

– У меня приемная — заметьте — она же библиотека, столовая, мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

– Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

– Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

– Даже у Айседоры Дункан, — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

– И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

– Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?

– В спальне, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

– В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка придушенным голо-

сом, — в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — Вдруг рявкнул он и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

– Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — Сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

– Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — И голос его принял подозрительно вежливый оттенок, — одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... Р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

– Пожалуйста... Да... Благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

– Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.

– Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

– Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Петр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Тщательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

– Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.

– Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял шапку и молвил:

– Я слушаю. Да... Председатель домкома... Нет, действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работе. Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо. Так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

Как оплевал! Ну и парень! — Восхищенно думал пес, — что он, слово, что ли, такое знает? Ну теперь меня бить — как хотите, а никуда отсюда не уйду. Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

– Это какой-то позор! — Не своим голосом вымолвил тот.

– Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...

– Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — Вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

– Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома...

– За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.

– Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

– Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

– Почему же вы отказываетесь?

– Не хочу.

– Вы не сочувствуете детям Германии?

– Сочувствую.

– Жалеете по полтиннику?

– Нет.

– Так почему же?

– Не хочу.

Помолчали.

– Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать.

– А за что? — С любопытством спросил Филипп Филиппович.

– Вы ненавистник пролетариата! — Гордо сказала женщина.

– Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

– Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, переднюю и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

<...>

7

– Нет, нет и нет! — Настойчиво заговорил Борменталь, — извольте заложить.

– Ну, что, ей-богу, — забурчал недовольно Шариков.

– Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.

– Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

– Как это так «примите»? — Расстроился Шариков, — я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

– И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

– Я еще водочки выпью? — Заявил он вопросительно.

– А не будет ли вам? — Осведомился Борменталь, — вы последнее время слишком налегаете на водку.

– Вам жалко? — Осведомился Шариков и глянул исподлобья.

– Глупости говорите... — Вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

– Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, — произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.

– И другим надо предложить, — сказал Борменталь, — и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

– Вот все у вас как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

– А как это «по-настоящему»? — Позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:

– Ну желаю, чтобы все...

– И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусо-

чек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

– Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

– Виноват…

– Стаж! — Повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

– Вы полагаете, Филипп Филиппович?

– Нечего полагать, уверен в этом.

– Неужели… — Начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

– cratep… — негромко сказал Филипп Филиппович.

– gut, — отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

– Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

– Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — Осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

– В цирк пойдем, лучше всего.

– Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

– В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекосил рот.

– Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините… Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

– Да дурака валяние… Разговаривают, разговаривают… Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

– Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли…

– Уж и так читаю, читаю… — Ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол-стакана водки.

– Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирайте, детка, водку, больше уже не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма,

человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона»… — Эту… Как ее… Переписку Энгельса с этим… Как его — дьявола — с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

– Да не согласен я.

– С кем? С Энгельсом или с Каутским?

– С обоими, — ответил Шариков.

– Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая…» А что бы вы со своей стороны могли предложить?

– Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…

– Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

– Вы и способ знаете? — Спросил заинтересованный Борменталь.

– Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, — дело не хитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

– Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков сьежился и промолчал.

– Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

– Тридцати девяти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

– Гм… Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.

– Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?

– За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

– Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

– Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто…

– Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

– Вы стоите… — Рычал Филипп Филиппович.

– Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казенная морда!

– Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стоите…

– Вы стоите на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отно-

шении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... А в то же время вы наглотались зубного порошку...

– Третьего дня, — подтвердил Борменталь.

– Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе на носу, кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

– Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

– Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтобы я развивался...

– Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

– Зина! — кричал Борменталь.

– Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

– Зина, там в приемной... Она в приемной?

– В приемной, — покорно ответил Шариков, — зеленая, как купорос.

– Зеленая книжка...

– Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул Шариков, — она казенная, из библиотеки!

– Переписка — называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

– Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина унесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

– Я не буду ее есть, — сразу угрожающе-неприязненно заявил Шариков.

– Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетитор и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

– Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе — котов нету?

– И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

– Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?

– У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, — четыре какие-то… Юссемс и человек мертвой точки.

– Что за юссемс? — Подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

– Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

– Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

– У Никитиных… У Никитиных… Гм… Слоны и предел человеческой ловкости.

– Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?

Недоверчиво спросил Филипп Филиппович.

Тот обиделся.

– Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

– Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «К берегам священным Нила…» И что-то бормотал. Наконец, отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

– Ей-богу, я, кажется, решусь.

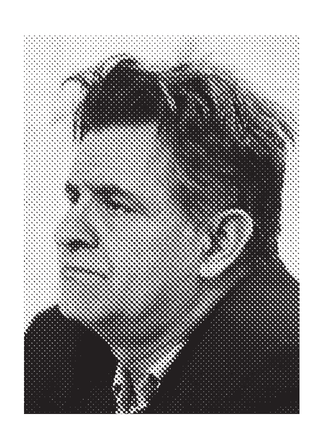
Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение. Редко-

редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетитор в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарикова из цирка.

<...>

Источник: библиотека М. Мошкова (http://www.lib.ru).

Искандер
Фазиль Абдуллович
(Род. 1929)



Писатель.

Родился в Сухуми в 1929 г. Отец, иранец по происхождению, в 1938 г. был выслан из СССР, мальчик рос у родственников по материнской (абхазской) линии. В 1954 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Был литературным сотрудником газет «Брянский комсомолец» (1954–1955) и «Курская правда» (1955–1956). Начал печататься в 1952 г. С 1956 г. до начала 1990-х годов жил в Сухуми, работал в Абхазском государственном издательстве, регулярно публиковал стихи в журнале «Литературная Абхазия»; выпустил книги стихов «Горные вершины» (1957), «Доброта земли» (1959), «Зеленый дождь» (1960), «Дети Черноморья» (1961), «Молодость моря» (1964). С конца 1950-х годов публикуется также в журналах «Юность», «Неделя» и «Новый мир» наряду с В.П. Аксеновым, О.Г. Чухонцевым и др., выступил с рассказами «Петух», «Рассказ о море», «Должники», «Мой дядя самых честных правил» (сборники «Тринадцатый подвиг Геракла», «Запретный плод», оба 1966 г., и др.), в которых проявил себя мастером колоритных сатирических зарисовок и этнографического бытописания.

Но настоящую известность принесла ему опубликованная в «Новом мире» повесть «Созвездие козлотура» и роман «Сандро из Чегема», за который ему в 1989 г. была присуждена Государственная премия СССР. Однако долгое время роман не печатался и был опубликован с большими купюрами.

Глава «Пиры Валтасара» из романа «Сандро из Чегема» ходила в Самиздате в 70-х годах.

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА

Глава 8. Пиры Валтасара

Хорошей жизнью зажил дядя Сандро после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город, сделал комендантом Цика и определил в знаменитый абхазский ансамбль песни и пляски под руководством Платона Панцулая. Там он быстро выдвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способным соперничать с самим Патой Патарая!

Тридцать рублей в месяц как комендант Цика и столько же как участник ансамбля — неплохие деньги по тем временам, прямо-таки хорошие деньги, черт подери!

Как комендант Цика, дядя Сандро следил за работой технического персонала, получал время от времени на почте слуховые аппараты из Германии для

Нестора Аполлоновича да еще распоряжался гаражом, в том числе и личным «бьюиком» Лакобы, который он называл «бик» для простоты заграничного произношения. Разумеется, личный «бьюик» Лакобы находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь на совещание.

В такие времена, бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый «бьюик» для того, чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение, или свадьбу, или, в крайнем случае, собственный приезд.

<...>

Дяде Сандро, конечно, кое-что перепадало за эти небольшие вольности с «бьюиком». Не то чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но нужно устроить родственника в хорошую больницу, быстро получить нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжаются николаевские времена, крадет чужих лошадей да еще на суде, вместо того, чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику…

<...>

Абхазский ансамбль песен и плясок уже гремел по всему Закавказью, а позже прогремел в Москве, и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет.

В описываемые времена он уже набирал скорость своей славы, которую в первую очередь ему создали — Платон Панцулая, Пата Патарая и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на сцене областного театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха закавказского побережья.

После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам.

Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Патой Патарая. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патарая: разгон за сценой, падение на колени и скольжение, скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте.

<...>

...вдруг распахнулась дверь, а в ней — управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда.

Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита.

– Что легко пришло, то легко уходит, — ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую пословицу.

– Не хотел тебя беспокоить, — сказал управляющий и, вздохнув, вынул из кармана бумажку, — тебе телеграмма.

– От кого?! — выхватил Сандро свернутый бланк.

– От Лакобы, — сказал управляющий с уважительным удивлением.

«Приезжай если можешь Нестор», — прочел дядя Сандро расплывающиеся от счастья буквы.

– «Если можешь»?! — воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму. — Да есть ли что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора! Где «бик»? — уже властно обратился он к управляющему.

– На улице ждет, — ответил управляющий. — Не забудь захватить паспорт, там с этим сейчас очень строго.

– Знаю, — кивнул дядя Сандро и бросил жене: — Приготовь черкеску.

Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к остающимся и сказал с пророческой уверенностью:

– Клянусь Нестором, девочка выздоровеет!

– Откуда знаешь? — оживились чегемцы. Жена ничего не сказала, а только, продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа.

– Чувствую, — сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь.

– Именем Нестора не всякому разрешают клясться, — услышал дядя Сандро из-за дверей.

– Таких в Абхазии раз-два и обчелся, — уточнил другой земляк дяди Сандро, но этого, припустив к машине, он уже не слышал.

Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть.

...Через три часа бешеной гонки «бьюик» остановился в Старых Гаграх перед воротами санатория на одной из тихих и зеленых улочек.

Вечерело. Дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина.

– Пропуск, — сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши.

Женщина посмотрела в паспорт, сверила его с каким-то списком, потом несколько раз придирчиво взглянула на дядю Сандро, стараясь выявить в его облике чуждые черты.

Каждый раз, когда она взглядывала, дядя Сандро замирал, не давая чуждым чертам проявиться и стараясь сохранить на лице выражение непринужденного сходства с собой.

Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник встречи с вождем.

<...>

– Он будет? — спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору.

– Почему будет, когда есть, — сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и, очень возбужденный, вошел в большую светлую комнату.

Участники ансамбля, уже переодетые, разминаясь, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные, расслабленные ноги.

– Сандро приехал! — раздалось несколько радостных голосов.

Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им найденную телеграмму Лакобы.

– Управляющий принес, — говорил он, размахивая телеграммой.

– Быстро переодевайся! — крикнул Панцулая. Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля, и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора.

<...>

– Вон товарищ Сталин! — Где, где?

– С Калининым говорит!

– Оказывается, Ворошилов тоже маленький!

– А это кто?

– Жена Берии!

– Вообще вожди маленького роста — Сталин, Ворошилов, Берия, Лакоба...

– Интересно, почему?

– Ленин был маленький — так и пошло...

– Маленькие, они вообще более устойчивые...

– Тебе бы, Сандро, за таким столом тамадой...

– Тамада наш Нестор!

– А может, Берия?

– Нет, видишь, Нестор во главе стола сидит.

– Сталин его всегда выбирает... Он его любимчик...

Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарованья эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, что потому он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий.

<...>

Стол, вернее, столы пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломящиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью.

Горбились индюшки в коричневой ореховой подливе, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью выставляли голые гузки. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожными. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями.

Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски.

Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржоми. Бутылки с вином были без этикеток, видно, из местных подвалов. Дядя Сандро по запаху определил, что это «изабелла» из села Лыхны.

Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли — так жареные перепелки запеклись в собственном жиру. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу, навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий.

За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но, не дай бог, сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравновешивалась деспотией выпивки.

Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним, как жезл застольной власти.

Направо от него сидел Сталин, дальше Калинин. Налево от Лакобы сидела жена его, смуглянка Сарья, рядом с ней красавица Нина, жена Берии, а дальше сидел ее муж, энергично посверкивая стеклами пенсне. За Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и за Калининым по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.

<...>

Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновенье, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопающих в ладони, повторил знаменитый номер Паты Патарая, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глаза от хорошо начищенных сверкающих сапог вождя к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз.

Снова рукоплескания.

– Они состязаются! — крикнул Лакоба Сталину, стараясь перекричать шум и собственную глухоту. Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения.

И снова Пата Патарая, вскрикнув как ужаленный, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, замирает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности.

– Чересчур, — покачал головой Берия.

– А по-моему, здорово! — воскликнул Калинин, всматриваясь из-за плеча товарища Сталина.

Шквал рукоплесканий, и Пата Патарая пятится в вихрь танцующих. То,

что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног вождя, почти предрешало его победу.

Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя! Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он кое-что приберег на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ноги товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо забралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина.

Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли.

И в этой тишине, с лицом, прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина.

Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатой в кулак трубкой, но сама поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная беззащитность раскинутых рук и слепота гордо закинутой головы и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающее вождю, мол, не встану, пока не благословишь, заставили его улыбнуться.

В самом деле, положив трубку на стол и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства стал развязывать башлык на его голове.

И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий, а секретари райкомов Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподымать их дальше некуда.

Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы давая убедиться, что номер был проделан чисто, без всякого трюкачества. Он жестом пригласил дядю Сандро встать.

Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взят из рук Сталина башлык и стал его рассматривать. Неожиданно Ворошилов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калинина башлык. Под смех окружающих, он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно.

– Кто ты, абрек? — спросил Сталин и взглянул на дядю Сандро своими лучистыми глазами.

– Я Сандро из Чегема, — ответил дядя Сандро и опустил глаза.

Взгляд вождя был слишком лучезарным. Но не только это. Какая-то беспокойная тень мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дяди Сандро.

– Чегем… — задумчиво повторил вождь и сунул в руку дяде Сандро башлык. Дядя Сандро отошел.

<...>

Взяв в одну руку рог, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам.

Нестор Аполлонович что-то шепнул жене и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталиным. Не успел Сталин подойти к танцо-

рам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его Махазу.

Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил, приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькой, пухлой ладонью воздух:

– Пей, пей, пей...

...Махаз опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовестность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и, решительно, обеими руками взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал ее на две части. Потом каждую из них разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания...

Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и, осторожно присматриваясь, решил: да, немного есть... Вот бы его свести с Колчеруким, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки.

Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее Махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее.

Директор попытался было налить в рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новой.

– Пей, пей, пей, — услышал дядя Сандро над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог с той артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада — не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд.

– Пьешь, как танцуешь, — сказал Сталин и, подавая ему куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом, — где-то я тебя видел, абрек?

Рука Сталина, подававшая куриную ножку, вдруг остановилась и в глазах у него появилось выражение грозной настороженности. Дядя Сандро почувствовал смертельную тревогу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что он-то, Сандро, запомнил бы, если бы видел его где-нибудь.

Ансамбль, и без того молчавший, окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти Махаза, жующие курицу, остановились. Надо было отвечать. Но нельзя было отрицать, что Сталин его видел, и в то же время еще страшнее было согласиться с тем, что он его видел не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных воспоминаниях. Это он сразу почувствовал.

Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, провернул за одну-две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный.

– Нас в кино снимали, — неожиданно для себя сказал дядя Сандро, — там могли видеть, товарищ Сталин.

– А-а, кино, — протянул вождь, и глаза его погасли. Он подал куриную ножку: — Держи. Заслужил. Снова забулькало вино, переливаясь в рог.

Пей, пей, пей, — раздалось рядом.

<...>

Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз, при этом сам он, не мигая, продолжал смотреть на вождя.

– ...Нестор нашел этого абрека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием, — продолжал Сталин. — Раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует на радость всей республики и на нашу с вами радость, товарищи.

...Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола Нестора Лакобу, — закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил: — Аллаверди Лаврентию.

Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга, и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу.

<...>

После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о грамотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился, и он потянулся, чтобы поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя.

Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что лучезарно сиял глазами Калинину и вдруг потускнел, съежился. Берия оживленно сверкнул пенсне, а секретари райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калинина.

«Значит, он с ними, а не со мной, — испуганно подумал Сталин, — как же я его проморгал?..» Он испугался не самой измены Калинина, раздавить его ничего не стоит, а того, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило, и это было страшно.

– А что с тобой, конопатым, целоваться, — сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина, — вот если б ты был шестнадцатилетней девочкой (он собрал пальцы правой руки в осторожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности), тогда другое дело...

Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошелестел по залу. «Нет, не изменило чутье», — подумал Сталин.

– Ах ты, мой всесоюзный козел, — сказал он, обнимая и целуя Калинина, в сущности обнимая и целуя собственное чутье.

<...>

Повар все еще стоял у дверей с безучастным подопытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились.

Директор подошел к повару, что-то шепнул ему, и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами.

Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар остановился в углу, повернувшись лицом к залу.

– Если б ты только знала, как я ненавижу это, — шепнула Сарья, повора-

чиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все.

Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему беспрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучной цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар, теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельно от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попалось неустойчивое, оно никак не хотело становиться на попа.

Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо, прищурился своими белыми, отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку.

Яйцо стояло на голове. Теперь он, вытянувшись, замер в углу и, если б не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост.

Директор быстро посмотрел вокруг, не находя, куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг, словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям.

Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калинина, стараясь стоять так, чтоб им все было видно. Дяде Сандро пришлось сойти с места. Он встал за стулом Сарьи, ухватившись руками за спинку. Дядя Сандро очень волновался.

Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Сандро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня.

Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое и только потом услышал выстрел.

– Браво, Нестор! — закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал, как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата.

<...>

...Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял на ногах, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.

– Мой Вилгелм Телл, — сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову: — А ты кто такой?

– Я — Ворошилов, — сказал Ворошилов довольно твердо.

– Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? — спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, подумал он, растравлять Ворошилова против нашего Лакобы.

– Конечно, он лучше стреляет, — сказал Ворошилов примирительно.

– Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок? — спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства.

Секретари райкомов, с трудом подымая отяжелевшие брови, начинали

удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место.

– Ну, хватит, Иосиф, — сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.

– Хватит, Иосиф, — сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова, — говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?

Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался.

<...>

– Скажи, чтоб начали его любимую, — шепнул Нестор жене.

Сарья тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махаз. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя.

Махаз затянул старинную грузинскую застольную «Гаприндн шаво мерцхало» («Лети, черная ласточка»). В это время Ворошилов, подняв голову, попытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем жесте: мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню.

Сталин сидел, тяжело опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку.

Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы, потому что как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных.

Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический свет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение Судьбы, История и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и потому самое величественное место.

Лети, черная ласточка, лети…

Но вот постепенно эта траурная процессия Судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины…

Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в давильню. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.

На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гостя из Кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник.

Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечно кивает им, мимолетно улыбается всаднику, который, вглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой догадке и улыбается он мимоходом, показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности.

Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед.

Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.

– Слушай, кто этот человек? — говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.

– Это тот самый Джугашвили, — радостно говорит хозяин.

– Неужели тот самый? — удивляется гость из Кахетии. — Я думаю, вроде похож, но не может быть…

– Да, — подтверждает хозяин, — тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина.

– Интересно, почему не захотел? — удивляется гость из Кахетии.

– Хлопот, говорит, много, — объясняет хозяин, — и крови, говорит, много придется пролить.

– Хо-хо-хо, — прицокивает гость из Кахетии, — я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.

– А зачем ему Россия, — поясняет хозяин, — у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети…

– Что за человек! — продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому, — от целой страны отказался…

– Да, отказался, — подтверждает хозяин, — потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина…

– Дай бог ему здоровья! — восклицает всадник, — но откуда он знает, что будет с крестьянами?

– Такой человек, все предвидит, — говорит хозяин.

– Дай бог ему здоровья, — цокает гость из Кахетии… — Дай бог…

Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке. Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина.

И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают… Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами?

Куры, пьяные от виноградных отжимок, ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию, крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется, мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая, старая мать с морщинистым лицом. Хоть в старости почет и достаток пришли наконец… Добрая… Будь ты проклята!!!

<...>

За Эшерами, там, где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу.

– Хейт! Хейт! — кричал мальчишеский голос, волнуя дядю Сандро какой-то странной тревогой. Время от времени мальчик кидал камни, и они, хрястнув по густому сплетенью, глухо, с промежутками падали на землю. И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до этого угадал, что именно этот камень в нее попадет. И, когда коза, крякнув, выбежала из-за кустов и вслед за ней появился подросток и, увидев легковые машины, смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил.

Да, да, почти так это и было тогда. Мальчик перегонял коз в котловину Сабида. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах, и он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как сейчас, когда он попал в нее камнем, она крякнула и выскочила из кустов, и следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности.

В нескольких шагах от него по тропе проходил человек и гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав треск кустов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел.

В первое мгновенье мальчику показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи, но и успев разглядеть, что перед ним только мальчик и козы, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывал, что с ним делать: убить или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернул плечом, закидывал карабин, сползавший с покатого плеча.

Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не терять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого понуканья движутся с такой быстротой.

Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновенье, еще шаг — и скроется за кустом, он опять вскинул карабин, сползавший с покатого плеча и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почудился отчетливый шепот в самое ухо:

– Скажешь — вернусь и убью…

Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится, и тропа их выведет на открытый склон по ту сторону котловины Сабида.

Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетливые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в лесу. Даже сейчас, на расстоянии примерно километра, было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой палки или камчи, что он из тех, кого лошади и безо всякого понукания боятся.

Перед тем как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув покатым плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разглядеть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито.

Через день до Чегема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из Поти в Одессу. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того, что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми, они сумели склонить к участию в грабеже четырех матросов. Ночью они свя-

зали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное, и отплыли к берегу.

К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденные шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой, и двое, оставшиеся в живых, увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней, уже совсем недалеко от Чегема, нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой атарской дороги чуть ли не на головы жителям села Наа, упрямо расположившегося под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился, и в нем признали человека, месяц назад покупавшего лошадей в селе Джгерды.

Чегемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные — это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине Сабида.

Дней через десять после той встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающей, что он, как нужный человек, содержится властями.

Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом мальчика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые.

– Не видел кто из ваших, — спросил всадник у отца, — чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхнечегемской дороге?

– Про дело слыхал, — ответил отец, — а человека не видел.

– Да не по верхней, а по нижней! — чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык.

Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше.

– Кто это, па? — спросил мальчик у отца.

– Старшина, — ответил отец и молча вошел в дом. И только глубокой осенью, когда они с отцом, нагрузив ослика мешками с каштанами, подымались из котловины Сабида, а потом присели отдохнуть на той самой нижнечегемской тропе, чуть ли не на том же месте, он не удержался и все рассказал отцу.

– Так вот почему ты перестал сюда коз гонять? — усмехнулся отец.

– Вот и неправда! — вспыхнул мальчик: отец попал в самую точку.

– Что ж ты молчал до сих пор? — спросил отец.

– Ты бы только видел, как он посмотрел, — сознался мальчик, — я все думаю, как бы он не вернулся...

– Теперь его сюда на веревке не затащишь, — сказал отец, вставая и погоняя ослика хворостяной, — но если бы ты сразу сказал, его еще можно было поймать.

– Откуда ты знаешь, па? — спросил мальчик, стараясь не отставать от отца. С тех пор как он встретился с этим человеком, он не любил эти места, не доверял им.

– Человек с навьюченными лошадьми дальше одного дня пути никуда не уйдет, — сказал отец и взмахнул хворостинкой, ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой.

– А ты знаешь, как он быстро шел! — сказал мальчик.

– Но никак не быстрее своих лошадей, — возразил отец и, подумав, добавил: — Да он и убил этого последнего, потому что знал — один переход остался.

– Почему, па? — спросил мальчик, все еще стараясь не отстать от отца.

– Вернее, потому и оставил его в живых, — продолжал отец размышлять вслух, — чтобы тот помог ему навьючить лошадей для последнего перехода, а потом уже прихлопнул.

– Откуда ты знаешь это все? — спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом.

– Знаю я их гяурские обычаи, — сказал отец, — им лишь бы не работать, да я о них и думать не хочу.

– Я тоже не хочу, — сказал мальчик, — но почему-то все время вспоминаю про того.

– Это пройдет, — сказал отец.

И в самом деле это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро, иногда вспоминая, сомневался — случилось ли все это на самом деле или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении возле Кенгурска парохода.

Но тогда, после знаменитого на всю его жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 года или годом раньше, но никак не позже, все это увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил бога за свою находчивость.

Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после двадцатого съезда и просто знакомым, добавляя к рассказу свои отроческие не то виденья, не то воспоминанья.

– Как сейчас вижу, — говаривал дядя Сандро, — все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает не глядя. Очень уж у того покатое плечо было…

При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не нижнечегемским путем.

И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду.

Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы отражающей неясность и колебания земных судей в его оценке.

Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на религиозную мысль, что бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и самому казнить его высшей казнью.

Источник: библиотека М. Мошкова (http://lib.ru).

Набоков
Владимир Владимирович
(Сиринъ)

(1899–1977)



Писатель, переводчик, литературовед, энтомолог.

Родился в Петербурге в семье В.Д. Набокова, адвоката, политического деятеля, одного из основателей и руководителей Партии народной свободы (конституционных демократов), наиболее популярной либеральной партии дореволюционной России, депутата 1-ой Государственной думы, управляющего делами Временного правительства. Учился в Тенишевском училище. Вместе с семьей эмигрировал в Англию. Окончил Тринити-колледж в Кембридже в 1922 г. С 1922 г. живет в Берлине, где начинает публиковаться под псевдонимом В. Сиринъ: «Машенька» (1926), «Подвиг» (1932), «Приглашение на казнь» (1938), «Дар» (1938) и др. С 1937 по 1940 г. живет в Париже, после начала войны переезжает в США, где преподает русскую литературу в различных университетах (Уэльслейском, Корнельском, Гарвардском и др.) и начинает писать и публиковаться на английском языке под собственным именем: «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941), «Под знаком незаконнорожденных» (1947), «Лолита» (1955), «Пнин» (1957), «Прозрачные вещи» (1972) и др. Переводит и комментирует «Слово о полку Игореве» и «Евгения Онегина» и становится единственным (если не считать И. Бродского) двуязычным писателем, достигшим вершин известности и успеха в обоих языковых пространствах.

Всемирную славу и материальное благополучие приносит Набокову роман «Лолита», воспринятый большинством поверхностных читателей и критиков как эротический бестселлер (из-за чего он и не был первоначально опубликован в пуританской Америке), рассказывающий об аномальном сексуальном влечении, переживаемом рафинированным европейцем к двенадцатилетней падчерице. Более вдумчивые читатели сразу увидели в романе глубокое социально-критическое нравоописание Америки. С 1960 г. Набоков переселяется в Швейцарию (Монтрё), где занимается автопереводом своих русскоязычных произведений на английский, и англоязычных — на русский.

Первоначально в Самиздат попала, благодаря своей скандальной известности на Западе, «Лолита», однако с конца 60-х гг. наибольшее распространение получили «Приглашение на казнь», «Подвиг», «Дар» и другие «сиринские» романы Набокова. Эти романы появились в репринте издательства Анн Арбор, с которых и делались копии для Самиздата.

Отечественные издания стали появляться с конца 80-х годов. В 1990 г. в «Библиотеке «Огонек» вышел четырехтомник, который через два года дополнили пятым с «Лолитой», а в 1995 г. — «Адой, или страстью».

Наиболее полным изданием произведений писателя на русском языке является выпущенное Санкт-Петербургским издательством «Симпозиум» к 100-летию со дня его рождения собрание сочинений в 10 томах (5 — русского, 5 — американского периодов).

ЛОЛИТА

29

Дверь освещенной ванной была приоткрыта; кроме того, сквозь жалюзи пробивался скелетообразным узором свет наружных фонарей; эти скрещивающиеся лучи проникали в темноту спальни и позволяли разобраться в следующем положении.

Одетая в одну из своих старых ночных сорочек, моя Лолита лежала на боку, спиной ко мне, посредине двуспальной постели. Ее сквозящее через легкую ткань тело и голые члены образовали короткий зигзаг. Она положила под голову обе подушки — и свою и мою; кудри были растрепаны; полоса бледного света пересекала ее верхние позвонки.

Я сбросил одежду и облачился в пижаму с той фантастической мгновенностью, которую принимаешь на веру, когда в кинематографической сценке пропускается процесс переодевания; и я уже поставил колено на край постели, как вдруг Лолита повернула голову и уставилась на меня сквозь полосатую тень.

Вот этого-то вошедший не ожидал! Вся затея с пилюлькой-люлькой (подловатое дело, entre nous soit dit) имела целью навеять сон, столь крепкий, что его целый полк не мог бы прошибить, а вот, подите же, она вперилась в меня и, с трудом ворочая языком, называла меня Варварой! Мнимая Варвара, одетая в пижаму, чересчур для нее тесную, замерла, повисая над бормочущей девочкой. Медленно, с каким-то безнадежным вздохом, Долли отвернулась, приняв свое первоначальное положение. Минуты две я стоял, напряженный, у края, как тот парижский портной, в начале века, который, сшив себе парашют, стоял, готовясь прыгнуть с Эйфелевой башни. Наконец я взгромоздился на оставленную мне узкую часть постели; осторожно потянул к себе концы и края простынь, сбитые в кучу на юге от моих каменно-холодных пяток; Лолита подняла голову и на меня уставилась.

Как я узнал впоследствии от услужливого фармацевта, лиловая пилюля не принадлежала даже к большому и знатному роду барбиталовых наркотиков: неврастенику, верящему в ее действие, она, пожалуй, помогла бы уснуть, но средство было слишком слабое, чтобы надолго уложить шуструю, хоть и усталую нимфетку. Неважно, был ли рамздэльский доктор шарлатаном или хитрецом. Важно, что я был обманут. Когда Лолита снова открыла глаза, я понял, что, даже если снотворное и подействует через час или полтора, безопасность, на которую я рассчитывал, оказалась ложной. Тихо отвернувшись, она уронила голову на подушку — на ту, которой я был несправедливо лишен. Я остался лежать неподвижно на краю бездны, вглядываясь в ее спутанные волосы и в проблески нимфеточной наготы, там, где смутно виднелась половинка ляжки или плеча, и пытаясь определить глубину ее сна по темпу ее дыхания. Прошло некоторое время; ничего не изменилось, и, набравшись смелости, я решил слегка пододвинуться к этому прелестному, с ума сводящему мерцанию. Но едва я вступил в его теплую окрестность, как ровное дыхание приостановилось, и на меня нашло ужасное подозрение, что маленькая Долорес совершенно проснулась и

готова разразиться криками, если я к ней прикоснусь любой частью своего жалкого, ноющего тела. Читатель, прошу тебя! Как бы тебя ни злил мягкосердечный, болезненно чувствительный, бесконечно осмотрительный герой моей книги, не пропускай этих весьма важных страниц! Вообрази меня! Меня не будет, если ты меня не вообразишь; попробуй разглядеть во мне лань, дрожащую в чаще моего собственного беззакония; давай даже улыбнемся слегка. Например, — мне негде было преклонить голову (чуть не написал: головку), и к общему моему неудобству прибавилась мерзкая изжога (от жаренного в сале картофеля, который они смеют тут называть «французским»!).

Она опять крепко спала, моя нимфетка; однако я не дерзал пуститься в волшебное путешествие. «La Petite Dormeuse ou l'Amant Ridicule». Завтра накормлю ее теми прежними таблетками, от которых так основательно цепенела ее мать. Где они — в переднем ящичке автомобиля или в большом саквояже? Может быть, подождать часок и тогда опять попробовать подползти? Наука нимфетолепсии — точная наука. Можно ровно в секунду, если прижаться. На расстоянии в один миллиметр надо считать секунд десять. Подождем.

Нет ничего на свете шумнее американской гостиницы, — причем заметьте, наш отель считался тихим, уютным, старосветским, домашним, с потугами на «изящность быта» и все такое. Дверной стук лифта, раздававшийся в двадцати шагах к северо-востоку от моего черепа, но ощущавшийся мною столь же остро, как если бы эта железная дверца захлопывалась у меня в левом виске, чередовался с лязгом и гулом разнообразных маневров машины и длился далеко за полночь. Время от времени, сразу к востоку от моего левого уха (а лежал я навзничь, не смея повернуть более гнусную свою сторону по направлению дымчатого бедра моей соложницы), коридор наполнялся до краев жизнерадостными, звучными и нелепыми возгласами, оканчивавшимися залпом прощаний. Когда это наконец прекратилось, заработал чей-то клозет к северу от моего мозжечка. Это был мужественный, энергичный, басистый клозет, и им пользовалась большая семья. От его бурчания, стремительных излияний и долгого послесловия — дрожала стена за моим изголовием. Затем, в южном направлении от меня, кого-то стало невероятно рвать — человек душу выкашливал вместе с выпитым виски, и унитаз в его ванной, сразу за нашей, обрушивался сущей Ниагарой. Когда же наконец все водопады остановились и зачарованные охотники уснули, бульвар под окном моей бессонницы, на запад от моего бдения — благоустроенный, величавый, подчеркнуто-неторговый, обсаженный развесистыми деревьями, — выродился в презренный прогон для гигантских грузовиков, грохотавших во мгле сырой и ветреной ночи.

А между тем, меньше чем в шести вершках от меня и моей пылающей жизни находилась дымчатая Лолита! После долгого периода неподвижного бодрствования я снова стал добираться до нее щупальцами, и на этот раз скрип матраца не разбудил ее. Мне удалось пододвинуть мою тяжкую, алчущую плоть так близко, что я почуял на щеке, словно теплое дыхание, ауру ее обнаженного плеча. Тут она приподнялась, охнула, затараторила с бредовой быстротой что-то о лодках, дернула простыню и впала обратно в свое темное, цветущее, молодое бесчувствие. Она заметалась в этом обильном потоке сна, и одна голая рука, недавно коричневая, теперь лунная, с размаху легла через мое лицо. Был миг,

когда я держал пленницу, но она высвободилась из моих едва наметившихся объятий, причем сделала это не сознательно, не резко, не с какой-либо личной неприязнью, а просто — с безотносительно-жалобным бормотанием ребенка, требующего полагающегося ему покоя. И все вернулось в прежнее состояние: Лолита, повернутая изогнутым хребтом к Гумберту; Гумберт, подложивший под голову руку и терзающийся вожделением и изжогой.

Последняя принудила меня пойти в ванную за глотком воды: для меня это лучшее лекарство, не считая, быть может, молока с редисками; и когда я снова вступил в диковинную, бледно-полосатую темницу, где Лолитины старые и новые одежды расположились в различных зачарованных положениях, на разных частях как бы плавучей мебели, моя невозможная дочь подняла голову и отчетливыми тоном объявила, что тоже хочет пить. Теневою рукой она взяла у меня упругий и холодный бумажный стаканчик и, направив на его край длинные свои ресницы, залпом выпила содержимое; после чего младенческим движением, исполненным большей прелести, чем сладострастнейшая ласка, маленькая Лолита вытерла губы о мое плечо. Она откинулась на свою подушку (мою я изъял, пока она пила) и немедленно опять заснула.

Я не посмел предложить ей вторую порцию снотворного, да и не расставался еще с надеждой, что первая в конце концов упрочит ее сон. Я все подступал к ней, готовый к любому огорчению; знал, что лучше ждать, но ждать был не в силах. Моя подушка пахла ее волосами. Я пододвигался к моей мерцающей голубке, останавливаясь и втягиваясь всякий раз, когда она, казалось, шевелилась или собиралась шевельнуться. Ветерок из Страны Чудес уже стал влиять на мои мысли; они казались выделенными курсивом, как если бы поверхность, отражавшая их, зыблилась от этого призрачного дуновения. Временами мое сознание не в ту сторону загибалось, мое ползком перемещавшееся тело попадало в сферу сна и опять из него выползало; а раза два я ловил себя на том, что невольно начинаю издавать меланхоличный храп. Туман нежности обволакивал горы тоски. Иногда мне сдавалось, что зачарованная добыча готова на полпути встретить зачарованного ловца; что ее бедро добровольно подвигается ко мне сквозь сыпучий песок далекого, баснословного побережья; но эта дымка с ямочкой вдруг вздрагивала, и я понимал, что Лолита дальше от меня, чем когда-либо.

Я тут задерживаюсь так долго на содроганиях и подкрадываниях той давно минувшей ночи, потому что намерен доказать, что я никогда не был и никогда не мог быть брутальным мерзавцем. Нежная мечтательная область, по которой я брел, была наследием поэтов, а не притоном разбойников. Кабы я добрался до цели, мой восторг был бы весь нега: он бы свелся к внутреннему сгоранию, влажный жар которого она едва бы ощутила, даже если бы не спала. Однако я еще надеялся, что ее постепенно охватит такое полное оцепенение, что мне удастся насладиться не только одним мерцанием ее наготы. Так, между пробными приближениями и смешением чувств, преображавшим ее то в глазчатое собрание лунных бликов, то в пушистый, цветущий куст, мне снилось, что я не сплю, снилось, что таюсь в засаде.

Настало некоторое затишье перед утром в бессонной жизни гостиницы. Затем, около четырех, коридорный клозет хлынул каскадом и стукнула дверь. В самом начале шестого часа начал доходить в нескольких, так сказать, вы-

пусках звучный монолог, происходивший на каком-то внутреннем дворе или на автомобильной стоянке. Это, собственно был не монолог, ибо говоривший останавливался каждые несколько секунд для того, чтобы выслушать подразумеваемого собеседника, чей голос не достигал меня, вследствие чего никакого настоящего смысла нельзя было извлечь из слышимой половины беседы. Ее будничные интонации, однако, расчистили путь рассвету, и комната уже наполнилась сиренево-серой мутью, когда несколько трудолюбивых уборных стали действовать одна за другой и гремящий, воющий лифт стал ходить вверх и вниз; несколько минут я уныло дремал, и Шарлотта была русалкой в зеленоватом водоеме, и где-то в коридоре рано вставший пастор кому-то сказал сочным голосом: «С добрым утречком!», — и птицы возились в листве, и вот — Лолита зевнула.

Девственно-холодные госпожи присяжные! Я полагал, что пройдут месяцы, если не годы, прежде чем я посмею открыться маленькой Долорес Гейз; но к шести часам она совсем проснулась, а уже в четверть седьмого стала в прямом смысле моей любовницей. Я сейчас вам скажу что-то очень странное: это она меня совратила.

Услышав ее первый утренний зевок, я изобразил спящего, красивым профилем обращенного к ней. По правде сказать, я совершенно не знал, как быть. Не возмутится ли она, найдя меня рядом, а не на запасной койке? Что она сделает — заберет одежду и запрется в ванной? Потребует, чтобы ее немедленно отвезли в Рамздэль? В больницу к матери? Обратно в лагерь? Но моя Лолиточка была резвой девчонкой, и когда она издала тот сдавленный смешок, который я так любил, я понял, что она до этого созерцала меня играющими глазами. Она скатилась на мою сторону, и ее теплые русые кудри пришлись на мою правую ключицу. Я довольно бездарно имитировал пробуждение. Сперва мы лежали тихо. Я тихо гладил ее по волосам, и мы тихо целовались. Меня привело в какое-то блаженное смущение то, что ее поцелуй отличался несколько комическими утонченностями в смысле трепетания пытливого жала, из чего я заключил, что ее натренировала в раннем возрасте какая-нибудь маленькая лесбиянка. Таким изощрениям никакой Чарли не мог ее научить! Как бы желая посмотреть, насытился ли я и усвоил ли обещанный давеча урок, она слегка откинулась, наблюдая за мной. Щеки у нее разгорелись, пухлая нижняя губа блестела, мой распад был близок. Вдруг, со вспышкой хулиганского веселья (признак нимфетки!), она приложила рот к моему уху — но рассудок мой долго не мог разбить на слова жаркий гул ее шепота, и она его прерывала смехом, и смахивала кудри с лица, и снова пробовала, и удивительное чувство, что живу в фантастическом, только что созданном, сумасшедшем мире, где все дозволено, медленно охватывало меня по мере того, как я начинал догадываться, что именно мне предлагалось. Я ответил, что не знаю, о какой игре идет речь, — не знаю, во что она с Чарли играла. «Ты хочешь сказать, что ты никогда — ?», — начала она, пристально глядя на меня с гримасой отвращения и недоверия. «Ты — значит, никогда — ?», — начала она снова. Я воспользовался передышкой, чтобы потыкаться лицом в разные нежные места. «Перестань», — гнусаво взвизгнула она, поспешно убирая коричневое плечо из-под моих губ. (Весьма курьезным образом Лолита считала — и продолжала долго считать — все при-

косновения, кроме поцелуя в губы да простого полового акта, либо «слюнявой романтикой», либо «патологией».)

«То есть, ты никогда», — продолжала она настаивать (теперь стоя на коленях надо мной), — «никогда не делал этого, когда был мальчиком?»

«Никогда», — ответил я с полной правдивостью.

«Прекрасно», — сказала Лолита, — «так посмотри, как это делается».

Я, однако, не стану докучать ученому читателю подробным рассказом о Лолитиной самонадеянности. Достаточно будет сказать, что ни следа целомудрия не усмотрел перекошенный наблюдатель в этой хорошенькой, едва сформировавшейся девочке, которую в конец развратили навыки современных ребят, совместное обучение, жульнические предприятия вроде герл-скаутских костров и тому подобное. Для нее чисто механический половой акт был неотъемлемой частью тайного мира подростков, неведомого взрослым. Как поступают взрослые, чтобы иметь детей, это совершенно ее не занимало. Жезлом моей жизни Лолиточка орудовала необыкновенно энергично и деловито, как если бы это было бесчувственное приспособление, никак со мною не связанное. Ей, конечно, страшно хотелось поразить меня молодецкими ухватками малолетней шпаны, но она была не совсем готова к некоторым расхождениям между детским размером и моим. Только самолюбие не позволяло ей бросить начатое, ибо я, в диком своем положении, прикидывался безнадежным дураком и предоставлял ей самой трудиться — по крайней мере пока еще мог выносить свое невмешательство. Но все это, собственно, не относится к делу; я не интересуюсь половыми вопросами. Всякий может сам представить себе те или иные проявления нашей животной жизни. Другой, великий подвиг манит меня: определить раз навсегда гибельное очарование нимфеток.

<...>

Тогда-то, в августе 1947-го года, начались наши долгие странствия по Соединенным Штатам. Всем возможным привалам я очень скоро стал предпочитать так называемые «моторкорты», иначе «мотели» — чистые, ладные, укромные прибежища, состоящие из отдельных домиков или соединенных под одной крышей номеров, идеально подходящие для спанья, пререканий, примирений и ненасытной беззаконной любви. Сначала, из страха возбудить подозрения, я охотно платил за обе половины двойного номера, из которых каждая содержала двуспальную кровать. Недоумеваю, для какого это квартета предназначалось вообще такое устройство, ибо только очень фарисейская пародия уединения достигалась тем, что не доходящая до потолка перегородка разделяла комнату на два сообщающихся любовных уголка. Постепенно, однако, я осмелел, подбодренный странными возможностями, вытекающими из этой добросовестной совместности (можно было представить себе, например, две молодых четы, весело обменивающихся сожителями, или ребенка, притворяющегося спящим, с целью подслушать те же звуковые эффекты, какими сопровождалось его собственное зачатие), и я уже преспокойно брал однокомнатную кабинку с кроватью и койкой или двумя постелями, райскую келью с желтыми шторами, спущенными до конца, дабы создать утреннюю иллюзию солнца и Венеции, когда на самом деле за окном были Пенсильвания и дождь.

Мы узнали — nous connumes, если воспользоваться флоберовской интонацией — коттеджи, под громадными шатобриановскими деревьями, каменные, кирпичные, саманные, штукатурные, расположенные на том, что путеводитель, издаваемый американской автомобильной ассоциацией, называл «тенистыми», «просторными», «планированными» участками. Были домики избяного типа, из узловатой сосны, балки которых своим золотисто-коричневым глянцем напоминали Лолите кожу жареной курицы. Мы научились презирать простые кабинки из беленых досок, пропитанные слабым запахом нечистот или какой-либо другой мрачно-стыдливой вонью и не могшие похвастать ничем (кроме «удобных постелей»), неулыбающаяся хозяйка которых всегда была готова к тому, что ее дар («...ну, я могу вам дать...») будет отвергнут. Nous connumes — (эта игра чертовски забавна!) их претендующие на заманчивость примелькавшиеся названия — все эти «Закаты», «Перекаты», «Чудодворы», «Красноборы», «Красногоры», «Просторы», «Зеленые Десятины», «Мотели-Мотыльки»... Иногда реклама прибегала к особой приманке, например: приглашаем детей, обожаем кошечек (ты приглашаешься, тебя обожают!). Ванные в этих кабинках бывали чаще всего представлены кафельными душами, снабженными бесконечным разнообразием прыщущих струй, с одной общей, определенно не Лаодикийской склонностью: они норовили при употреблении вдруг обдать либо зверским кипятком, либо оглушительным холодом в зависимости от того, какой кран, холодный или горячий, повернул в эту минуту купальщик в соседнем помещении, тем самым лишавший тебя необходимого элемента смеси, тщательно составленной тобою. На стенках в некоторых мотельных ванных были инструкции, наклеенные над унитазом (на заднем баке которого были негигиенично навалены чистые ванные полотенца), призывающие клиентов не бросать в него мусора, жестянок из-под пива, картонных сосудов из-под молока, выкидышей и прочее; в иных мотелях были особые объявления под стеклом, как например: «Местные Развлечения: Верховая Езда. На главной улице можно часто видеть верховых, возвращающихся с романтической прогулки при лунном свете...»; «...и будящих тебя в три часа утра», глумливо замечала неромантическая Лолита.

Nous connumes разнородных мотельщиков — исправившегося преступника или неудачника-дельца, среди директоров, а среди директрис — полублагородную даму или бывшую бандершу. И порою, в чудовищно жаркой и влажной ночи кричали поезда, с душераздирательной и зловещей протяжностью, сливая мощь и надрыв в одном отчаянном вопле.

Мы избегали так называемых «ночлегов для туристов» (приходившихся сродни похоронным салонам), т.е. сдаваемых в частных домах, и в сугубо мещанском вкусе, без отдельной ванной, с претенциозными туалетными столиками в угнетающе бело-розовых спаленках, украшенных снимками хозяйских детей во всех стадиях развития. Изредка я уступал уговорам Лолиты, любившей «шик» и брал номер в «настоящей» гостинице. Она выбирала в путеводителе (пока я ласкал ее в темном автомобиле, запаркованном среди тишины таинственной, томно-сумеречной, боковой дороги) какой-нибудь восторженно рекомендованный приозерный «отель-замок», обещавший множество чудес — несколько, пожалуй, преувеличенных светом электрического фонарика, которым она ездила по странице — как-то: конгениалькое общество, еда в любое время, ночные пикники — и

многое другое, что у меня в уме вызывало только мерзкие представления о зловонных гимназистах в майках и о чьей-то красной от костра щеке, льнувшей к ее щеке, пока бедный профессор Гумберт, обнимая только собственные костистые колени, прохлаждал геморрой на сыром газоне. Ее также соблазняли те в колониальном стиле «инны», которые, кроме «элегантной атмосферы» и цельных окон, обещали «неограниченное количество упоительнейшей снеди». Заветные воспоминания о нарядном отцовском отеле иногда побуждали меня искать чего-нибудь подобного в диковинной стране, по которой мы путешествовали. Действительность меня скоро расхолодила; но Лолиточка все продолжала нестись по следу пряных пищевых реклам, меж тем как я извлекал не одно только финансовое удовлетворение из таких придорожных вывесок, как: «Гостиница «Лесная Греза»! Дети моложе четырнадцати лет даром!» С другой же стороны, меня бросает в дрожь при одном воспоминании о том, что в курорте будто бы «высшего ранга» в среднезападном штате, где гостиница объявляла, что допускает «налеты на холодильник» для подкрепления посреди ночи, и где расистского пошиба дирекция, озадаченная моим акцентом, хотела непременно знать девичье имя и покойной моей жены и покойной моей матери, у меня взяли за два дня двести двадцать четыре доллара! А помнишь ли, помнишь, Миранда (как говорится в известной элегии), тот другой «ультрашикарный» вертеп с бесплатным утренним кофе и проточной ледяной водой для питья, где не принимали детей моложе шестнадцати лет (никаких Лолит, разумеется)?

Немедленно по прибытии в один из более простеньких мотелей (обычных наших стоянок), она запускала жужжащий пропеллер электрического вентилятора или заставляла меня вложить четвертак в комнатную радиолу, или же принималась читать проспекты — и подвывающим тоном спрашивать, почему ей нельзя поехать верхом по объявленной в них горной дорожке или поплавать в местном бассейне с теплой минеральной водой. Чаще же всего, слоняясь, скучая по усвоенной ею манере, Лолита разваливалась, невыносимо желанная, в пурпурном пружинистом кресле или в саду на зеленом шезлонге, или палубной штуке из полосатой парусины, с такой же подставкой для ног и балдахином, или в качалке, или на любой садовой мебели под большим зонтом на террасе, и у меня уходили часы на улещивания, угрозы и обещания, покамест я мог уговорить ее мне предоставить на несколько секунд свои пропитанные солнцем молодые прелести в надежном укрытии пятидолларового номера перед тем, как дать ей предпринять все то, что предпочитала она моему жалкому блаженству.

Сочетая в себе прямодушие и лукавость, грацию и вульгарность, серую хмурь и розовую прыть, Лолита, когда хотела, могла быть необыкновенно изводящей девчонкой. Я, признаться, не совсем был готов к ее припадкам безалаберной хандры или того нарочитого нытья, когда, вся расслабленная, расхристанная, с мутными глазами, она предавалась бессмысленному и беспредметному кривлянию, видя в этом какое-то самоутверждение в мальчишеском, цинично-озорном духе. Ее внутренний облик мне представлялся до противного шаблонным: сладкая, знойная какофония джаза, фольклорные кадрили, мороженое под шоколадно-тянучковым соусом, кинокомедии с песенками, киножурнальчики и так далее — вот очевидные пункты в ее списке любимых вещей. Один Бог знает, сколько пятаков скормил я роскошно освещенным изнут-

ри музыкальным автоматам в каждом посещаемом нами ресторанчике! У меня в ушах все еще звучат гнусавые голоса всех этих невидимых исполнителей посвященных ей серенад, всех этих Самми, и Джо, и Эдди, и Тони, и Пэгги, и Гай, и Рекс, с их модными романсиками, столь же на слух неразличимыми, как неразличимы были на мой вкус разноименные сорта поглощаемых ею сладостей. С какой-то райской простодушностью она верила всем объявлениям и советам, появлявшимся в читаемых ею «Мире Экрана» и «Мираже Кинолюбви»: «Наш СУПР сушит прыщики» или «Вы, девушки, которые не заправляете концов рубашки в штаны, подумайте дважды, так как Джиль говорит, что та мода кончена!» Если вывеска придорожной лавки гласила: «Купите у нас подарки!» — мы просто должны были там побывать, должны были там накупить всяких дурацких индейских изделий, кукол, медных безделушек, кактусовых леденцов. Фраза «Сувениры и Новинки» прямо околдовывала ее своим хореическим ритмом. Если какой-нибудь кафетерий объявлял «Ледяные Напитки», она механически реагировала на приглашение, даром что все напитки везде были ледяные. Это к ней обращались рекламы, это она была идеальным потребителем, субъектом и объектом каждого подлого плаката. Она пыталась — безуспешно — обедать только там, где святой дух некоего Дункана Гайнса, автора гастрономического гида, сошел на фасонисто разрисованные бумажные салфеточки и на салаты, увенчанные творогом.

<…>

ДАР

Глава вторая

<...>

Как описать блаженство наших прогулок с отцом по лесам, полям, торфяным болотам, или постоянную летнюю мысль о нем, если был в отъезде, вечное мечтание сделать какое-нибудь открытие, встретить его этим открытием, — как описать чувство, испытываемое мной, когда он мне показывал все те места, где сам в детстве ловил то-то и то-то, — бревно полусгнившего мостика, где в 71-ом поймал павлиний глаз, спуск дороги к реке, на котором однажды упал на колени, плача и молясь: промахнулся, и навсегда улетела! А что за прелесть была в его речи, в какой-то особой плавности и стройности слога, когда он говорил о своем предмете, какая ласковая точность в движении пальцев, вертящих винт расправилки или микроскопа, какой поистине волшебный мир открывался в его уроках! Да, я знаю, что так не следует писать, — на этих возгласах вглубь не уедешь, — но мое перо еще не привыкло следовать очертаниям его образа, мне самому противны эти вспомогательные завитки. О, не смотри на меня, мое детство, этими большими, испуганными глазами.

Сладость уроков! В теплый вечер он водил меня на прудок, наблюдать как осиновый бражник маячит над самой водой, окунает в нее кончик тела. Он показывал мне препарирование генитальной арматуры для определения видов, по внешности неразличимых. Он с особенной улыбкой обращал внимание мое

на черных бабочек в нашем парке, с таинственной и грациозной нежданностью появлявшихся только в четные года. Он мешал для меня патоку с пивом, чтобы в страшно холодную, страшно дождливую осеннюю ночь ловить у смазанных стволов, блестевших при свете керосиновой лампы, множество больших, нырявших, безмолвно спешивших на приманку ночниц. Он то согревал, то охлаждал золотые куколки моих крапивниц, чтобы я мог получать из них корсиканских, полярных и вовсе необыкновенных, точно испачканных в смоле, с приставшим шелковым пушком. Он учил меня, как разобрать муравейник, чтобы найти гусеницу голубянки, там заключившую с жителями варварский союз и я видел, как, жадно щекоча сяжками один из сегментов ее неповоротливого, слизнеподобного тельца, муравей заставлял ее выделить каплю пьяного сока, тут же поглощаемую им, — а за то предоставлял ей в пищу свои же личинки, так, как если б коровы нам давали шартрез, а мы — им на съедение младенцев. Но сильная гусеница одного экзотического вида до этого обмена не снисходит, запросто пожирая муравьиных детей, и затем обращаясь в непроницаемую куколку, — которую наконец, к сроку вылупления, муравьи (эти недоучки опыта) окружают, выжидая появления беспомощно сморщенной бабочки, чтобы броситься на нее; бросаются, — а все-таки она не гибнет: «Никогда я так не смеялся, — говорил отец, — как когда убедился, что ее снабдила природа клейким составом, от которого слипались усики и лапки рьяных муравьев, теперь уже валявшихся и корчившихся вокруг нее, пока у нее самой, равнодушной и неуязвимой, крепли и сохли крылья».

Он рассказывал о запахах бабочек, — мускусных, ванильных; о голосах бабочек: о пронзительном звуке, издаваемом чудовищной гусеницей малайского сумеречника, усовершенствовавшей мышиный писк нашей адамовой головы; о маленьком звучном тимпане некоторых арктид; о хитрой бабочке в бразильском лесу, подражающей свиресту одной тамошней птички. Он рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не объяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих (мало разборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека (догадка, которая могла бы далеко увести эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьян); он рассказывал об этих магических масках мимикрии: о громадной ночнице, в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи; об одной тропической пяденице, окрашенной в точное подобие определенного вида денницы, бесконечно от нее отдаленной в системе природы, причем ради смеха иллюзия оранжевого брюшка, имеющегося у одной, складывается у другой из оранжевых пахов нижних крыльев; и о своеобразном гареме знаменитого африканского кавалера, самка которого летает в нескольких мимических разновидностях, цветом, формой и даже полетом подражающих бабочкам других пород (будто бы несъедобным), являющимся моделью и для множества других подражательниц. Он рассказывал о миграции, о том, как движется по синеве длинное облако, состоящее из миллионов белянок, равнодушное к направлению ветра, всегда на одном и том же уровне над землей, мягко и плавно поднимаясь через холмы и опять погружаясь в долины, случайно встречаясь быть

может с облаком других бабочек, желтых, просачиваясь сквозь него без задержки, не замарав белизны, — и дальше плывя, а к ночи садясь на деревья, которые до утра стоят как осыпанные снегом, — и снова снимаясь, чтобы продолжить путь, — куда? зачем? природой еще не досказано — или уже забыто. «Наша репейница, — рассказывал он, — «крашеная дама» англичан, «красавица» французов, в отличие от родственных ей видов, не зимует в Европе, а рождается в африканской степи; там, на заре, удачливый путник может услышать, как вся степь, блистая в первых лучах, трещит и хрустит от несчетного количества лопающихся хризалид». Оттуда без промедления она пускается в северный путь, ранней весной достигая берегов Европы, вдруг на день, на два оживляя крымские сады и террасы Ривьеры; не задерживаясь, но всюду оставляя особей на летний развод, поднимается дальше на север и к концу мая, уже одиночками, достигает Шотландии, Гельголанда, наших мест, а там и крайнего севера земли: ее ловили в Исландии! Странным, ни на что не похожим полетом, бледная, едва узнаваемая, обезумелая бабочка, избрав сухую прогалину, «колесит» между лешинских елок, а к концу лета, на чертополохе, на астрах, уже наслаждается жизнью ее прелестное, розоватое потомство. «Самое трогательное, — добавлял отец, — это то, что в первые холодные дни наблюдается обратное явление, отлив: бабочка стремится на юг, на зимовку, но разумеется гибнет, не долетев до тепла».

<...>

Глава третья

<...>

«Помните, — сказал Федор Константинович, — как-то, года три тому назад, вы мне дали благой совет описать жизнь вашего знаменитого однофамильца?»

«Абсолютно не помню», — сказал Александр Яковлевич.

«Жаль, — потому что я теперь подумываю приняться за это».

«Да ну? Вы это серьезно?»

«Совершенно серьезно», — сказал Федор Константинович.

«А почему вам явилась такая дикая мысль? — вмешалась Александра Яковлевна. — Ну, написали бы, — я не 0знаю, — ну, жизнь Батюшкова или Дельвига, — вообще, что-нибудь около Пушкина, — но при чем тут Чернышевский?»

«Упражнение в стрельбе», — сказал Федор Константинович.

«Ответ по меньшей мере загадочный», — заметил инженер Керн и, блеснув голыми стеклами пенснэ, попытался раздавить орех в ладонях. Горяинов передал ему, таща их за ножку, щипцы.

«Что ж, — сказал Александр Яковлевич, выйдя из минутной задумчивости, — мне это начинает нравиться. В наше страшное время, когда у нас попрана личность и удушена мысль, для писателя должно быть действительно большой радостью окунуться в светлую эпоху шестидесятых годов. Приветствую».

«Да, но от него это так далеко! — сказала Чернышевская. — Нет преемственности, нет традиции. Откровенно говоря, мне самой было бы не очень интересно восстанавливать все, что я чувствовала по этому поводу, когда была курсисткой».

«Мой дядя, — сказал Керн, щелкнув, — был выгнан из гимназии за чтение «Что делать?».

«А вы как на это смотрите?» — отнеслась Александра Яковлевна к Горяинову.

Горяинов развел руками. «Не имею определенного мнения, — сказал он тонким голосом, как будто кому-то подражая. — Чернышевского не читал, а так, если подумать... Прескучная, прости Господи, фигура!».

Александр Яковлевич слегка откинулся в креслах и, дергая лицом, мигая, то улыбаясь, то потухая опять, сказал так:

«А вот я все-таки приветствую мысль Федора Константиновича. Конечно, многое нам теперь кажется и смешным и скучным. Но в этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, отрицание искусства и прочее, — все это лишь случайная оболочка, под которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду человеческому, культа свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации, крестьян — от помещиков, гражданина — от государства, женщины — от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения, — жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, — но еще, именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли, и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России, с лихвой искупают некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный, — вдумчивый, честный, смелый... Нет, нет, это прекрасно, — непременно напишите!»

Инженер Керн уже некоторое время как встал и расхаживал по комнате, качая головой и порываясь что-то сказать.

«О чем речь? — вдруг воскликнул он, взявшись за спинку стула. — Кому интересно, что Чернышевский думал о Пушкине? Руссо был скверным ботаником, и я ни за что не стал бы лечиться у Чехова. Чернышевский был прежде всего ученый-экономист, и как такового его надобно рассматривать, — а при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича, я несколько сомневаюсь, сможет ли он оценить достоинства и недостатки «Комментариев к Миллю».

«Ваше сравнение абсолютно неправильно, — сказала Александра Яковлевна. — Смешно! В медицине Чехов не оставил ни малейшего следа, музыкальные композиции Руссо — только курьезы, а между тем никакая история русской литературы не может обойти Чернышевского. Но я другого не понимаю, — быстро продолжала она, — какой Федору Константиновичу интерес писать о людях и временах, которых он по всему своему складу бесконечно чужд? Я, конечно, не знаю, какой будет у него подход. Но если ему, скажем просто, хочется вывести на чистую воду прогрессивных критиков, то ему не стоит стараться: Волынский и Айхенвальд уже давно это сделали».

<...>

Глава пятая

Спустя недели две после выхода «Жизни Чернышевского» отозвалось первое, бесхитростное эхо. Валентин Линев (Варшава) написал так: «Новая книга Бориса Чердынцева открывается шестью стихами, которые автор почему-то называет сонетом (?), а засим следует вычурно-капризное описание жизни известного Чернышевского.

Чернышевский, рассказывает автор, был сыном «добрейшего протоиерея» (но когда и где родился, не сказано), окончил семинарию, а когда его отец, прожив святую жизнь, вдохновившую даже Некрасова, умер, мать отправила молодого человека учиться в Петербург, где он сразу, чуть ли не на вокзале, сблизился с тогдашними «властителями дум», как их звали, Писаревым и Белинским. Юноша поступил в университет, занимался техническими изобретениями, много работал и имел первое романтическое приключение с Любовью Егоровной Лобачевской, заразившей его любовью к искусству. После одного столкновения на романтической почве с каким-то офицером в Павловске, он однако принужден вернуться в Саратов, где делает предложение своей будущей невесте, на которой вскоре и женится.

Он возвращается в Москву, занимается философией, участвует в журналах, много пишет (роман «Что нам делать»), дружит с выдающимися писателями своего времени. Постепенно его затягивает революционная работа, и после одного бурного собрания, где он выступает совместно с Добролюбовым и известным профессором Павловым, тогда еще совсем молодым человеком, Чернышевский принужден уехать заграницу. Некоторое время он живет в Лондоне, сотрудничая с Герценом, но затем возвращается в Россию и сразу арестован. Обвиненный в подготовке покушения на Александра Второго Чернышевский приговорен к смерти и публично казнен.

Вот вкратце история жизни Чернышевского, и все обстояло бы отлично, если б автор не нашел нужным снабдить свой рассказ о ней множеством ненужных подробностей, затемняющих смысл, и всякими длинными отступлениями на самые разнообразные темы. А хуже всего то, что, описав сцену повешения, и покончив со своим героем, он этим не удовлетворяется и на протяжении еще многих неудобочитаемых страниц рассуждает о том, что было бы, если бы — что, если бы Чернышевский, например, был не казнен, а сослан в Сибирь, как Достоевский.

Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским. Он любит выдумывать слова. Он любит длинные запутанные фразы, как например: «Их сортирует (?) судьба в предвидении нужд (!!) биографа» или вкладывает в уста действующих лиц торжественные, но не совсем грамотные сентенции, вроде «Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением».

Почти одновременно с этой увеселительной рецензией, появился отзыв Христофора Мортуса (Париж), — так возмутивший Зину, что с тех пор у нее таращились глаза и напрягались ноздри всякий раз, как упоминалось это имя.

«Говоря о новом молодом авторе (тихо писал Мортус), обыкновенно испытываешь чувство некоторой неловкости: не собьешь ли его, не повредишь ли ему слишком «скользящим» замечанием? Мне кажется, что в данном случае

бояться этого нет основания. Годунов-Чердынцев новичек, правда, но новичек крайне самоуверенный, и сбить его, вероятно, нелегко. Не знаю, предвещает ли какие-либо дальнейшие «достижения» только что вышедшая книга, но, если это начало, то его нельзя признать особенно утешительным.

Оговорюсь. Собственно, совершенно неважно, удачно ли или нет произведение Годунова-Чердынцева. Один пишет лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает Тема, которой «не избежит никто». Вопрос, мне кажется, совсем в другом. Безвозвратно прошло то золотое время, когда критика или читателя могло в первую очередь интересовать «художественное» качество или точная степень талантливости книги. Наша литература, — я говорю о настоящей, «несомненной» литературе, — люди с безошибочным вкусом меня поймут, — сделалась проще, серьезнее, суше, — за счет искусства, может быть, но зато (в некоторых стихах Циповича, Бориса Барского, в прозе Коридонова...) зазвучала такой печалью, такой музыкой, таким «безнадежным» небесным очарованием, что, право же, не стоит жалеть о «скучных песнях земли».

Сама по себе затея написать книжку о выдающемся деятеле шестидесятых годов ничего предосудительного в себе не содержит. Ну, написал, ну, вышла в свет, — выходили в свет и не такие книги. Но общее настроение автора, «атмосфера» его мысли, внушает странные и неприятные опасения. Я не стану говорить о том, насколько своевременно или нет появление такой книги. Что ж, — никто не может запретить человеку писать о чем ему угодно! Но мне кажется, — и не я один так чувствую, — что в основе произведения Годунова-Чердынцева лежит нечто, по существу глубоко бестактное, нечто режущее и оскорбительное... Его право, конечно (хотя и с этим можно было бы поспорить), так или иначе отнестись к «шестидесятникам», но «разоблачая» их, он во всяком чутком читателе не может не возбудить удивления и отвращения. Как это все некстати! как это все невпопад! Постараюсь уточнить. Из-за того, что именно сейчас, именно сегодня производится эта безвкусная операция, тем самым задевается то значительное, горькое, трепетное, что зреет в катакомбах нашей эпохи. О, разумеется, — «шестидесятники» и в частности Чернышевский высказывали немало ошибочного и может быть смешного в своих литературных суждениях. Кто в этом не грешен, да и не такой уж это грех... Но в общем «тоне» их критики сквозила какая-то истина, — истина, которая, как это ни кажется парадоксально, стала нам близка и понятна именно сегодня, именно сейчас. Я говорю не о нападках на взяточников и не о женской эмансипации... Дело не в этом, конечно! Мне кажется, что я буду верно понят (поскольку вообще другой может быть понят), если скажу, что в каком-то последнем и непогрешимом смысле наши и их требования совпадают. О, я знаю, — мы тоньше, духовнее, «музыкальнее», и наша конечная цель, — под тем сияющим черным небом, под которым струится жизнь — не просто «община» или «низвержение деспота». Но и нам, как и им, Некрасов и Лермонтов, особенно последний, ближе, чем Пушкин. Беру именно этот простейший пример, потому что он сразу определяет наше с ними свойство, если не родство. То холодноватое, хлыщеватое, «безответственное», что ощущалось ими в некоторой части пушкинской поэзии, слышится и нам. Мне могут возразить, что мы умнее, восприимчивее... Не спорю; но в сущности ведь дело вовсе не в «рационализме» Чернышевского (или Белинского, или Добролюбова, имена и даты тут

роли не играют), а в том, что тогда, как и теперь, люди, духовно передовые, понимали, что одним «искусством», одной «лирой» сыт не будешь. Мы, изощренные, усталые правнуки, тоже хотим прежде всего человеческого; мы требуем ценностей, необходимых душе. Эта «польза» возвышеннее, может быть, но в каком-то отношении даже и насущнее той, которую проповедывали они.

Я отклонился от прямой темы моей статьи. Но ведь иногда можно гораздо точнее и подлиннее высказаться, бродя «около темы», в ее плодотворных окрестностях... В сущности говоря, разбор всякой книги нелеп и бесцелен, да кроме того, нас занимает не выполнение «авторского задания», и не самое даже «задание», а лишь отношение к нему автора.

И еще: так ли уж нужны эти экскурсии в область прошлого с их стилизованными дрязгами и искусственно оживленным бытом? Кому важно знать, как Чернышевский вел себя с женщинами? В наше горькое, нежное, аскетическое время нет места для такого рода озорных изысканий, для праздной литературы, не лишенной к тому же какого-то надменного задора, который самого благосклонного читателя может только оттолкнуть».

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ

I

Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим Цинцинната отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота: змея в расселину. Был спокоен; однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся: да можно ли? Тюремщик Родион долго отпирал дверь Цинциннатовой камеры, — не тот ключ, — всегдашняя возня. Дверь наконец уступила. Там, на койке, уже ждал адвокат — сидел, погруженный по плечи в раздумье, без фрака (забытого на венском стуле в зале суда, — был жаркий, насквозь синий день), — и нетерпеливо вскочил, когда ввели узника. Но Цинциннату было не до разговоров. Пускай одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь. Все равно, — он заявил, что хочет остаться один, и, поклонившись, все вышли.

<...>

II

<...>

...В двадцать два года был переведен в детский сад учителем разряда Ф, и тогда же на Марфиньке женился. Едва ли не в самый день, когда он вступил в исполнение новых своих обязанностей (состоявших в том, чтобы занимать хро-

меньких, горбатеньких, косеньких), был важным лицом сделан на него донос второй степени. Осторожно, в виде предположения высказывалась мысль об основной нелегальности Цинцинната. Заодно с этим меморандумом были отцами города рассмотрены и старые жалобы, поступавшие время от времени со стороны его наиболее прозорливых товарищей по работе в мастерской. Председатель воспитательного совета и некоторые другие должностные лица поочередно запирались с ним и производили над ним законом предписанные опыты. В течение нескольких суток ему не давали спать, принуждали к быстрой бессмысленной болтовне, доводимой до опушки бреда, заставляли писать письма к различным предметам и явлениям природы, разыгрывать житейские сценки, а также подражать разным животным, ремеслам и недугам. Все это он проделал, все это он выдержал — оттого что был молод, изворотлив, свеж, жаждал жить, — пожить немного с Марфинькой. Его нехотя отпустили, разрешив ему продолжать заниматься с детьми последнего разбора, которых было не жаль, — дабы посмотреть, что из этого выйдет. Он водил их гулять парами, играя на маленьком портативном музыкальном ящичке, вроде кофейной мельницы, — а по праздникам качался с ними на качелях: вся гроздь замирала, взлетая; пищала, ухая вниз. Некоторых он учил читать.

Между тем Марфинька в первый же год брака стала ему изменять; с кем попало и где попало. Обыкновенно, когда Цинциннат приходил домой, она, с какой-то сытой улыбочкой прижимая к шее пухлый подбородок, как бы журя себя, глядя исподлобья честными карими глазами, говорила низким голубиным голоском: «А Марфинька нынче опять это делала». Он несколько секунд смотрел на нее, приложив, как женщина, ладонь к щеке, и потом, беззвучно воя, уходил через все комнаты, полные ее родственников, и запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашлял, маскируя рыдания. Иногда, оправдываясь, она ему объясняла: «Я же, ты знаешь, добренькая: это такая маленькая вещь, а мужчине такое облегчение».

<...>

XIII

<...>

Весь день он внимал гудению в ушах, уминая себе руки, тихо здороваясь с самим собой; ходил вокруг стола, где белелось все еще неотправленное письмо; а не то воображал опять мгновенный, захватывающий дух, — как перерыв в этой жизни, — взгляд вчерашней гостьи или слушал про себя шорох Эммочки. Что ж, пей эту бурду надежды, мутную, сладкую жижу, надежды мои не сбылись, я ведь думал, что хоть теперь, хоть тут, где одиночество в таком почете, оно распадется лишь надвое, на тебя и на меня, а не размножится, как оно размножилось — шумно, мелко, нелепо, я даже не мог к тебе подойти, твой страшный отец едва не перешиб мне ноги клюкой, поэтому пишу, это — последняя попытка объяснить тебе, что происходит, Марфинька, сделай необычайное усилие и пойми, пускай сквозь туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит, Марфинька, пойми, что меня будут убивать, неужели так трудно, я у тебя не прошу долгих вдовьих воздыханий, траурных лилий, но молю тебя, мне так нужно — сейчас,

сегодня, — чтобы ты, как дитя, испугалась, что вот со мной хотят делать страшное, мерзкое, от чего тошнит, и так орешь посреди ночи, что даже когда уже слышишь нянино приближение, — «тише, тише», — все еще продолжаешь орать, вот как тебе должно страшно стать, Марфинька, даром что мало любишь меня, но ты должна понять хотя бы на мгновение, а потом можешь опять заснуть. Как мне расшевелить тебя? Ах, наша с тобой жизнь была ужасна, ужасна, и не этим расшевелю, я очень старался вначале, но ты знаешь — темп был у нас разный, и я сразу отстал. Скажи мне, сколько рук мяло мякоть, которой обросла так щедро твоя твердая, гордая, горькая, маленькая душа? Да, снова, как привидение, я возвращаюсь к твоим первым изменам и, воя, гремя цепями, плыву сквозь них. Поцелуи, которые я подглядел. Поцелуи ваши, которые больше всего походили на какое-то питание, сосредоточенное, неопрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала прыщущий персик и потом, кончив, но еще глотая, еще с полным ртом, канибалка, топырила пальцы, блуждал осоловелый взгляд, лоснились воспаленные губы, дрожал подбородок, весь в каплях мутного сока сползавших на оголенную грудь, между тем как приап, питавший тебя, внезапно поворачивался с судорожным проклятием, согнутой спиной ко мне, вошедшему в комнату некстати. «Марфиньке всякие фрукты полезны», — с какой-то сладко-хлюпающей сыростью в горле говорила ты, собираясь вся в одну сырую, сладкую, проклятую складочку, — и если я опять возвращаюсь ко всему этому, так для того, чтобы отделаться, выделить из себя, очиститься, — и еще для того, чтобы ты знала, чтобы ты знала... Что? Вероятно, я все-таки принимаю тебя за кого-то другого, — думая, что ты поймешь меня, — как сумасшедший принимает зашедших родственников за звезды, за логарифмы, за вислозадых гиен, — но еще есть безумцы — те неуязвимы! — которые принимают сами себя за безумцев, — и тут замыкается круг. Марфинька, в каком-то таком кругу мы с тобой вращаемся, — о, если бы ты могла вырваться на миг, — потом вернешься в него, обещаю тебе, многого от тебя не требуется, но на миг вырвись и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами и что ты кукла сама. Я не знаю, почему так мучился твоими изменами, то есть, вернее, я-то сам знаю, почему, но не знаю тех слов, которые следовало бы подобрать, чтобы ты поняла, почему я так мучился. Нет этих слов в том малом размере, который ты употребляешь для своих ежедневных нужд. Но все-таки я опять попытаюсь: «меня убивают!» — так, все разом, еще: «меня убивают!» — еще раз: «...убивают!» — я хочу это так написать, чтобы ты зажала уши, — свои тонкокожие, обезьяньи уши, которые ты прячешь под прядями чудных женских волос, — но я их знаю, я их вижу, я их щиплю, холодненькие, мну их в своих беспокойных пальцах, чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня. Марфинька, я хочу, чтобы ты настояла на новом свидании, и уж разумеется: приди одна, приди одна! Так называемая жизнь кончена, передо мною только скользкая плаха, меня изловчились мои тюремщики довести до такого состояния, что почерк мой — видишь — как пьяный, — но, ничего, у меня хватит, Марфинька, силы на такой с тобой разговор, какого мы еще никогда не вели, потому-то так необходимо, чтобы ты еще раз пришла, и не думай, что это письмо — подлог, это я пишу, Цинциннат, это плачу я, Цинциннат.

<...>

XX

<…>

Цинцинната повели по каменным переходам. То спереди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо, — рушились его убежища. Часто попадались области тьмы, оттого что перегорели лампочки. М-сье Пьер требовал, чтобы шли в ногу.

Вот присоединилось к ним несколько солдат, в собачьих масках по регламенту, — и тогда Родриг и Роман, с разрешения хозяина, пошли вперед — большими, довольными шагами, деловито размахивая руками, перегоняя друг друга, и с криком скрылись за углом.

Цинцинната, вдруг отвыкшего, увы, ходить, поддерживал м-сье Пьер и солдат с мордой борзой. Очень долго карабкались по лестницам, — должно быть, с крепостью случился легкий удар, ибо спускавшиеся лестницы, собственно, поднимались и наоборот. Сызнова потянулись коридоры, но более обитаемого вида, то есть наглядно показывавшие — либо линолеумом, либо обоями, либо баулом у стены, — что они примыкают к жилым помещениям. В одном колене даже пахнуло капустой. Далее прошли мимо стеклянной двери, на которой было написано: «анцелярия», и после нового периода тьмы очутились внезапно в громком от полдневного солнца дворе.

Во время всего этого путешествия Цинциннат занимался лишь тем, что старался совладать со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом. Он понимал, что этот страх втягивает его как раз в ту ложную логику вещей, которая постепенно выработалась вокруг него, и из которой ему еще в то утро удалось как будто выйти. Самая мысль о том, как вот этот кругленький, румяный охотник будет его рубить, была уже непозволительной слабостью, тошно вовлекавшей Цинцинната в гибельный для него порядок. Он вполне понимал все это, но, как человек, который не может удержаться, чтобы не возразить своей галлюцинации, хотя отлично знает, что весь маскарад происходит у него же в мозгу, — Цинциннат тщетно пытался переспорить свой страх, хотя и знал, что, в сущности, следует только радоваться пробуждению, близость которого чуялась в едва заметных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого, — но солнце было все еще правдоподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие.

За третьими воротами ждал экипаж. Солдаты дальше не пошли, а сели на бревна, наваленные у стены, и поснимали свои матерчатые маски. У ворот пугливо жалась тюремная прислуга, семьи сторожей, — босые дети выбегали, засматривая в аппарат, и сразу бросались обратно, — и на них цыкали матери в косынках, и жаркий свет золотил рассыпанную солому, и пахло нагретой крапивой, а в стороне толпилась дюжина сдержанно гагакающих гусей.

– Ну-с, поехали, — бодро сказал м-сье Пьер и надел свою гороховую с фазаньим перышком шляпу.

В старую, облупившуюся коляску, которая со скрипом круто накренилась, когда упругенький м-сье Пьер вступил на подножку, была впряжена гнедая кляча, оскаленная, с блестяще-черными от мух ссадинами на острых выступах бедер, такая вообще тощая, с такими ребрами, что туловище ее казалось обхва-

ченным поперек рядом обручей. У нее была красная лента в гриве. М-сье Пьер потеснился, чтобы дать место Цинциннату, и спросил, не мешает ли ему громоздкий футляр, который положили им в ноги.

– Постарайся, дружок, не наступать, — добавил он. На козлы влезли Родриг и Роман. Родриг, который был за кучера, хлопнул длинным бичом, лошадь дернула, не сразу могла взять и осела задом. Некстати раздалось нестройное «ура» служащих. Приподнявшись и наклонившись вперед, Родриг стегнул по вскинутой морде и, когда коляска судорожно тронулась, от толчка упал почти навзничь на козлы, затягивая вожжи и тпрукая.

– Тише, тише, — с улыбкой сказал м-сье Пьер, дотронувшись до его спины пухлой рукой в щегольской перчатке.

Бледная дорога обвивалась с дурной живописностью несколько раз вокруг основания крепости. Уклон был местами крутоват, и тогда Родриг поспешно заворачивал скрежетавшую рукоятку тормоза. М-сье Пьер, положив руки на бульдожий набалдашник трости, весело оглядывал скалы, зеленые скаты между ними, клевер и виноград, коловращение белой пыли и заодно ласкал взглядом профиль Цинцинната, который все еще боялся. Тощие, серые, согнутые спины сидевших на козлах были совершенно одинаковы. Хлопали, хляпали копыта. Сателлитами кружились оводы. Экипаж временами обгонял спешивших паломников (тюремного повара, например, с женой), которые останавливались, заслонившись от солнца и пыли, а затем ускоряли шаг. Еще один поворот дороги, и она потянулась к мосту, распутавшись окончательно с медленно вращавшейся крепостью (уже стоявшей вовсе нехорошо, перспектива расстроилась, что-то болталось...).

– Жалею, что так вспылил, — ласково говорил м-сье Пьер. — Не сердись, цыпунька, на меня. Ты сам понимаешь, как обидно чужое разгильдяйство, когда всю душу вкладываешь в работу.

Простучали по мосту. Весть о казни начала распространяться в городе только сейчас. Бежали красные и синие мальчишки за экипажем. Мнимый сумасшедший, старичок из евреев, вот уже много лет удивший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои манатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан, устремившихся на Интересную площадь.

– ...но не стоит об этом вспоминать, — говорил м-сье Пьер, — люди моего нрава вспыльчивы, но и отходчивы. Обратим лучше внимание на поведение прекрасного пола.

Несколько девушек, без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы с бурыми грудями, и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж, едва не сбив картуза с головы Романа. М-сье Пьер погрозил пальчиком.

Лошадь, большим мутным глазом косясь на плоских пятнистых собак, стлавшихся у ее копыт, через силу везла вверх по Садовой, и уже толпа догоняла, — в кузов ударился еще букет. Но вот повернули направо по Матюхинской, мимо огромных развалин древней фабрики, затем по Телеграфной, уже звенящей, ноющей, дудящей звуками настраиваемых инструментов, — и дальше — по немощеному шепчущему переулку, мимо сквера, где, со скамейки, двое мужчин, в партикулярном платье, с бородками, поднялись, увидя коляску, и, сильно жестикулируя, стали показывать на нее друг другу, — страшно возбужден-

ные, с квадратными плечами, и вот побежали, усиленно и угловато поднимая ноги, туда же, куда и все. За сквером, белая, толстая статуя была расколота надвое, — газеты писали, что молнией.

– Сейчас проедем мимо твоего дома, — очень тихо сказал м-сье Пьер.

Роман завертелся на козлах и, обратившись назад, к Цинциннату, крикнул:

– Сейчас проедем мимо вашего дома, — и сразу отвернулся опять, подпрыгивая, как мальчик, от удовольствия.

Цинциннат не хотел смотреть, но все же посмотрел. Марфинька, сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком, а в соседнем саду, среди подсолнухов и мальв, махало рукавом пугало в продавленном цилиндре. Стена дома, особенно там, где прежде играла лиственная тень, странно облупилась, а часть крыши... Проехали.

– Ты все-таки какой-то бессердечный, — сказал м-сье Пьер, вздохнув, — и нетерпеливо ткнул тростью в спину вознице, который привстал и бешеными ударами бича добился чуда: кляча пустилась галопом.

Теперь ехали по бульвару. Волнение в городе все росло. Разноцветные фасады домов, колыхаясь и хлопая, поспешно украшались приветственными плакатами. Один домишко был особенно наряден: там дверь быстро отворилась, вышел юноша, вся семья провожала его, — он нынче как раз достиг присутственного возраста, мать смеялась сквозь слезы, бабка совала сверток ему в мешок, младший брат подавал ему посох. На старинных каменных мостиках (некогда столь спасительных для пеших, а теперь употребляемых только зеваками да начальниками улиц) уже теснились фотографы. М-сье Пьер приподнимал шляпу. Франты на блестящих «часиках» обгоняли коляску и заглядывали в нее. Из кофейни выбежал некто в красных шароварах с ведром конфетти, но, промахнувшись, обдал цветной метелью разбежавшегося с того тротуара, в скобку остриженного молодца с хлеб-солью на блюде.

От статуи капитана Сонного оставались только ноги до бедер, окруженные розами, — очевидно, ее тоже хватила гроза. Где-то впереди духовой оркестр нажаривал марш «Голубчик». Через все небо подвигались толчками белые облака, — по-моему, они повторяются, по-моему, их только три типа, по-моему, все это сетчато и с подозрительной прозеленью...

– Но, но, пожалуйста, без глупостей, — сказал м-сье Пьер. — Не сметь падать в обморок. Это недостойно мужчины.

Вот и приехали. Публики было еще сравнительно немного, но беспрерывно длился ее приток. В центре квадратной площади, — нет, именно не в самом центре, именно это и было отвратительно, — возвышался червленый помост эшафота. Поодаль скромно стояли старые казенные дроги с электрическим двигателем. Смешанный отряд телеграфистов и пожарных поддерживал порядок. Духовой оркестр, по-видимому, играл вовсю, страстно размахался одноногий инвалид-дирижер, но теперь не слышно было ни одного звука.

М-сье Пьер, подняв жирные плечики, грациозно вышел из коляски и тотчас повернулся, желая помочь Цинциннату, но Цинциннат вышел с другой стороны. В толпе зашикали.

Родриг и Роман соскочили с козел; все трое затеснили Цинцинната.

До эшафота было шагов двадцать, и, чтобы никто его не коснулся, Цин-

циннат принужден был побежать. В толпе залаяла собака. Достигнув ярко-красных ступеней, Цинциннат остановился. М-сье Пьер взял его под локоть.

– Сам, — сказал Цинциннат.

Он взошел на помост, где, собственно, и находилась плаха, то есть покатая, гладкая дубовая колода, таких размеров, что на ней можно было свободно улечься, раскинув руки. М-сье Пьер поднялся тоже. Публика загудела.

Пока хлопотали с ведрами и насыпали опилок, Цинциннат, не зная, что делать, прислонился к деревянным перилам, но, почувствовав, что они так и ходят мелкой дрожью, а что какие-то люди снизу потрагивают с любопытством его щиколотки, он отошел и, немножко задыхаясь, облизываясь, как-то неловко сложив на груди руки, точно складывал их так впервые, принялся глядеть по сторонам. Что-то случилось с освещением, — с солнцем было неблагополучно, и часть неба тряслась. Площадь была обсажена тополями, негибкими, валкими, — один из них очень медленно…

Но вот опять прошел в толпе гул: Родриг и Роман, спотыкаясь, пихая друг друга, пыхтя и кряхтя, неуклюже взнесли по ступеням и бухнули на доски тяжелый футляр. М-сье Пьер скинул куртку и оказался в нательной фуфайке без рукавов. Бирюзовая женщина была изображена на его белом бицепсе, а в одном из первых рядов толпы, теснившейся, несмотря на уговоры пожарных, у самого эшафота, стояла эта женщина во плоти и ее две сестры, а также старичок с удочкой, и загорелая цветочница, и юноша с посохом, и один из шурьев Цинцинната, и библиотекарь, читающий газету, и здоровяк инженер Никита Лукич, — и еще Цинциннат заметил человека, которого каждое утро, бывало, встречал по пути в школьный сад, но не знал его имени. За этими первыми рядами следовали ряды похуже в смысле отчетливости глаз и ртов, за ними — слои очень смутных и в своей смутности одинаковых лиц, а там — отдаленнейшие уже были вовсе дурно намалеваны на заднем фоне площади. Вот повалился еще один тополь.

Вдруг оркестр смолк, — или, вернее: теперь, когда он смолк, вдруг почувствовалось, что до сих пор он все время играл. Один из музыкантов, полный, мирный, разъяв свой инструмент, вытряхивал из его блестящих суставов слюну. За оркестром зеленела вялая аллегорическая даль: портик, скалы, мыльный каскад.

На помост, ловко и энергично (так что Цинциннат невольно отшатнулся), вскочил заместитель управляющего городом и, небрежно поставив одну, высоко поднятую ногу на плаху (был мастер непринужденного красноречия), громко объявил:

– Горожане! Маленькое замечание. За последнее время на наших улицах наблюдается стремление некоторых лиц молодого поколения шагать так скоро, что нам, старикам, приходится сторониться и попадать в лужи. Я еще хочу сказать, что послезавтра на углу Первого бульвара и Бригадирной открывается выставка мебели, и я весьма надеюсь, что всех вас увижу там. Напоминаю также, что сегодня вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс «Сократись, Сократик». Меня еще просят вам сообщить, что на Киферский Склад доставлен большой выбор дамских кушаков и предложение может не повториться. Теперь уступаю место другим исполнителям и надеюсь, горожане, что вы все в добром здравии и ни в чем не нуждаетесь.

С той же ловкостью скользнув промеж перекладин перил, он спрыгнул с помоста под одобрительный гул. М-сье Пьер, уже надевший белый фартук (из-под которого странно выглядывали голенища сапог), тщательно вытирал руки полотенцем, спокойно и благожелательно поглядывая по сторонам. Как только заместитель управляющего кончил, он бросил полотенце ассистентам и шагнул к Цинциннату.

(Закачались и замерли черные квадратные морды фотографов.)

– Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста, — проговорил м-сье Пьер. — Прежде всего нам нужно снять рубашечку.

– Сам, — сказал Цинциннат.

– Вот так. Примите рубашечку. Теперь я покажу, как нужно лечь.

М-сье Пьер пал на плаху. В публике прошел гул.

– Понятно? — спросил м-сье Пьер, вскочив и оправляя фартук (сзади разошлось, Родриг помог завязать). — Хорошо-с. Приступим. Свет немножко яркий… Если бы можно… Вот так, спасибо. Еще, может быть, капельку… Превосходно! Теперь я попрошу тебя лечь. — Сам, сам, — сказал Цинциннат и ничком лег, как ему показывали, но тотчас закрыл руками затылок.

– Вот глупыш, — сказал сверху м-сье Пьер, — как же я так могу… (да, давайте. Потом сразу ведро). И вообще — почему такое сжатие мускулов, не нужно никакого напряжения. Совсем свободно. Руки, пожалуйста, убери… (давайте). Совсем свободно и считай вслух.

– До десяти, — сказал Цинциннат.

– Не понимаю, дружок? — как бы переспросил м-сье Пьер и тихо добавил, уже начиная стонать: — отступите, господа, маленько.

– До десяти, — повторил Цинциннат, раскинув руки.

– Я еще ничего не делаю, — произнес м-сье Пьер с посторонним сиплым усилием, и уже побежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинциннат стал считать: один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета — и с неиспытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием все его естество, — подумал: зачем я тут? отчего так лежу? — и задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся.

Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницу еще вращавшегося палача начали просвечивать перила. Скрюченный на ступеньке, блевал бледный библиотекарь. Зрители были совсем, совсем прозрачны, и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шарахаясь, — только задние нарисованные ряды оставались на месте. Цинциннат медленно спустился с помоста и пошел по зыбкому сору. Его догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родриг:

– Что вы делаете! — хрипел он, прыгая. — Нельзя, нельзя! Это нечестно по отношению к нему, ко всем… Вернитесь, ложитесь, — ведь вы лежали, все было готово, все было кончено!

Цинциннат его отстранил, и тот, уныло крикнув, отбежал, уже думая только о собственном спасении.

Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без вся-

кого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашенные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.

Источник: библиотека М. Мошкова (http://www.lib.ru).

Аркадий Белинков

(Справку см. т. 2, стр. 87)

В конце 60-х гг. Белинков закончил книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». После многих неудачных попыток опубликовать книгу в 1968 г. Белинков эмигрировал в США. В СССР отрывки из книги были опубликованы в №№ 1 и 2 за 1968 г. в журнале «Байкал». Эти отрывки, после изъятия всех публикаций Белинкова из библиотек, ходили в Самиздате. Полностью книга была опубликована в Мадриде спустя шесть лет после смерти автора. Первое издание в России: А. Белинков. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Предисловие М. Чудаковой. М.: РИК «Культура», 1997.

Ниже приводится текст, опубликованный в журнале «Байкал».

СДАЧА И ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Поэт и толстяк

Из огромной дымящейся проносящейся мимо всемирной истории в книгу писателя попадают дары и удары, которых ему не удалось избежать.

Но непохожесть одного писателя на другого обнаруживает, что именно в обступившем писателя мире выбрала его художническая восприимчивость.

В книгах каждого большого художника своя война, своя революция, своя эпоха реакции, и каждая семья несчастлива по-своему.

Исследователь обязан не только констатировать это, но и обнаружить в войне, революции, эпохе реакции и каждой несчастливой семье, что именно оказало воздействие на художника, которым он занят.

Это неверно, что на художника воздействует сразу вся война и вся революция.

Проносящаяся мимо всемирная история воздействовала на Юрия Олешу драматическими перипетиями взаимоотношений интеллигенции и революции.

Эта тема в книге о послереволюционном государстве «Зависть», написанной следом за книгой о революции «Три толстяка», выразилась в конфликте между поэтом и обществом.

Классическая коллизия «художник и общество» в книге о революции разрешена, потому что в этой книге изображается естественная и неминуемая борьба общества с протестующим художником.

Во второй книге взаимоотношения художника и общества так же враждебны, как и в первой.

Действие второй книги происходит после революции, и враждебны взаимоотношения художника и послереволюционного общества.

В книге, написанной человеком, пережившим первое десятилетие нового государства, конфликт художника и общества возникает из-за того, что художник ждал от революции нечто иное, чем то, что она могла или должна была дать.

Художник ждал от революции свободы, но в том значении которое придается этому слову в предреволюционном обществе. Предреволюционное общество, прочитавшее очень много книжек по истории, знало, что революции, которые бывали

раньше, приносили людям духовную свободу. Так как книги были серьезными и эрудиция русского интеллигентного общества была обширной, то имелось серьезное основание предполагать, что и эта революция будет не хуже других.

Начинается еще одна книга великой литературы о борьбе художника с веком.

Спор поэта и общества, а чаще поэта и толпы у Юрия Олеши возникает в «Трех толстяках», и все, что создал писатель, связано с этим спором.

Концепция «поэт и общество» Олеши не выходит за границы традиционных в русской литературе представлений и продолжает тему Пушкина— Блока. Эта важнейшая тема русского искусства излагается так: несмотря на то, что меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее поэт, его душа способна встрепенуться тотчас же, как только чуткого слуха коснется божественный глагол. Предполагается, что поэт по многим обстоятельствам может быть не чужд самых разнообразных недостатков. Больше того: меж детей ничтожных мира, вероятно, именно он ничтожнее всех других. В то же время, несмотря на все эти недостатки, поэт неминуемо обладает достоинством, делающим его безоговорочно выше общества. Неминуемое достоинство, делающее поэта безоговорочно выше толпы, заключается в том, что он к ногам кумира не клонит гордой головы, а также в том, что он — свободный человек, не боящийся обличать пороки общества.

Из-за чего возникает конфликт поэта и общества? Из-за того, что поэт по своим физиологическим и профессиональным свойствам и обязанностям наблюдает за обществом, видит, каково оно, и рассказывает о том, что видит. Общество же не хочет, чтобы рассказывали о том, как оно отвратительно. Конфликт художника и общества трагичен, естествен и неминуем. Почти всегда он кончается гибелью художника. Но попытка этот конфликт, этот закон отменить, сделать вид, что его нет, не должно быть, кончается уже не только гибелью художника, но и гибелью искусства.

Из всех условий существования поэта единственное, которым нельзя пренебречь, это правда, которую он обязан говорить обществу. Эта правда в разные эпохи выражается неодинаково. Иногда она может выражаться так:

> Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея...
> *(Пушкин. Стихотворение «Эхо»)*

иногда иначе:

> И если зажмут мой измученный рот,
> Которым кричит стомильонный народ...
> *(Ахматова. Поэма «Реквием»)*

Это ничего не меняет. Поэт говорит только правду. И ни пытки ни казни, ни голод, ни страх, ни искушения, ни соблазны, ни кровь жены и детей, ни щепки, загоняемые под ногти, ни женщина, которую он любит и которая предает его, не в состоянии заставить поэта говорить неправду, льстить, лгать, клонить голову и славить тирана. Сдавшийся человек не может быть поэтом. Человек, испугавшийся сказать обществу, что он о нем думает, перестает быть поэтом и становится таким же ничтожным сыном мира, как и все другие ничтожные сыновья.

Искушения, жажда власти, забота о славе, малодушие, соблазны и страх

мешают художнику осуществить свое право и назначение — говорить обществу, что он о нем думает и что заслуживает оно.

Между художником и обществом идет кровавое неумолимое, неостановимое побоище: общество борется за то, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится, а истинный художник изображает его таким, какое оно есть. В этой борьбе побеждают только великие художники, знающие, что они ежеминутно могут погибнуть, и гибнущие. Других общество уничтожает. Великие произведения так уникальны, потому что выстоять художнику еще труднее, чем создать их.

(Даже в наши дни, конечно, в совершенно исключительных случаях и только иногда возникают некоторые частные противоречия между плохим художником и прекрасным обществом. Они, конечно, сразу же прямо-таки в одну секунду, разрешаются, но не принимать их во внимание вовсе было бы еще преждевременным. Эти незначительные и, конечно, легко и мгновенно разрешимые противоречия чаще всего возникают в связи с имеющим кое-где место некоторым разладом между социалистическим реализмом и реалистическим социализмом.)

Пушкинская программа и традиционная концепция классического столетия русской литературы была продолжена Блоком в стихотворениях «Поэты», «Пушкинскому дому» и речи «О назначении поэта», и Олеша пересказал ее и блоковский вариант в своем романе.

Блок пишет о том, что хотя поэты «болтали цинично и пряно» и что они «золотом каждой прохожей косы пленялись со знанием дела», но с торжеством и гордостью он утверждает, что поэты «плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной», и поэтому они выше и чище «милого читателя», который «доволен собой и женой», а также «своей конституцией куцей» и которому «недоступно все это»: то есть «и косы, и тучки, и век золотой».

Эта концепция и эти образы «читателя» и «поэта» девятнадцать лет спустя были воспроизведены Юрием Олешей в прозе с отчетливой близостью к блоковскому оригиналу.

По-видимому, эта близость литературно случайна, но несомненное сходство побудительных (нелитературных) причин делает ее серьезной.

Сходство было в оценке последовавших за вооруженным переворотом событий.

Через три года после поэмы «Двенадцать» Александр Блок написал:

Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе![1]

Эти стихи написаны не в январе 1918 года, когда были созданы «Двенадцать», а в феврале 1921, за шесть месяцев до того, как Блок трагически погиб. Не следует удивляться стихам 1921 года, предсмертным строкам, завещанию поэта. Александр Блок был одним из первых писателей, начавший революционную тему в русской литературе XX века. И он был одним из первых, кто сказал о беспокойстве за судьбу революции. Прошло несколько лет после его смерти, и эта тема появилась в произведениях Маяковского, А. Толстого, Эренбурга, Форш, Багрицкого, Асеева, Федина. (Это было в то время, когда даже такие, как А. Толстой, Эренбург, Федин еще в состоянии были беспокоиться о чем-либо, кроме своего брюха.) Разные решения темы привели к непохожим результатам. Блоку[2] и Маяковскому это стоило жизни.

Через три года после романа о революции Олеша задумался над вещами, которые раньше, казалось бы, трудно было вообразить. И, как некоторые другие писатели в эти годы, Олеша и писать о своих раздумьях.

Книгой, лишенной сомнений, начинал свой литературный путь Юрий Олеша. Он начинал книгой о революции, которая должна была, по его мнению и даже по мнению истинно значительных мыслителей и художников, принести людям свободу. Но близились коллективизация и индустриализация, началось подавление оппозиции, и Олеша, как многие интеллигенты конца 20-х годов, насторожился и с тревогой стал всматриваться в результаты революции.

Во все глаза смотрела литература конца 20-х годов на результаты революции.

Все это сразу не очень легко понять. Но, как всегда, нас выручает академическое и еще чаще сатирическое литературоведение. Оба указанных вида этой почтенной науки дают нам на этот счет абсолютно точные и не вступающие друг с другом в противоречие указания: все испортил нэп.

В самом деле: 1) нэп смутил, 2) нэп посеял сомнения, 3) огорчил, 4) поразил, 5) разочаровал, 6) сделал много других, крайне вредных (особенно для легко ранимых художественных душ) вещей. Это практически невозможно оспорить, а если бы кто и захотел, то сама медицинская статистика всем своим авторитетом ударила бы по рукам такого скептика и экспериментатора. И это было бы очень, очень правильно.

Однако некоторое обстоятельство вносит известную коррекцию в литературоведческое благообразие. Обстоятельство это заключается в том, что как раз в эпоху густого цветения нэпа были созданы произведения, полные каменной уверенности и лишенные сопливых сомнений— «Чапаев», «Железный поток», «Цемент», «Донские рассказы», «Любовь Яровая», — а в годы, когда нэп судорожно корчился в охватившей его окончательной и уже бесповоротной агонии, появились произведения, которые хороший редактор даже не захочет взять в рот.

Роль нэпа в истории советской литературы непомерно и небескорыстно преувеличена, и это естественно, потому что некоторые литературоведы считают, что гораздо приятнее связать с нэпом, о котором никогда ничего хорошего не говорилось, вещи, которые никогда никому удовольствия не доставляли.

Несмотря на это, «Багровый остров» Булгакова, «Голубые города» А. Толстого, «Братья» Федина, «Пушторг» Сельвинского — произведения, в которых

герои стали заниматься в высшей степени опасным делом — размышлениями над результатами революции, — были написаны, когда уже всем стало ясно, что нэп заканчивает свое земное бытие. И появились эти произведения не потому, что их авторов смутил, огорчил, поразил и разочаровал нэп, а потому, что революция в конце 20-х годов перешла в новую фазу: началось решительное укрепление диктатуры, а людям, склонным к сомнениям и мыслящим в дореволюционных категориях о свободе, это казалось странным, а некоторым даже нежелательным.

Одна из важнейших тем русской общественной истории — взаимоотношения интеллигенции и революции, — начатая декабристами и Пушкиным, приобретала все большее значение, и после векового поиска и обретения опыта в библиотеках и кабинетах, университетах, журналах, газетах и на улицах под пулями и камнями получила математически точную формулу — я бы назвал ее «законом Блока» — «интеллигенция и революция».

Формула Блока распространяется на всю русскую общественную историю XIX-XX веков и на те послереволюционные годы, когда дореволюционная интеллигенция еще сравнивала свое представление о революции с революцией реальной и не знала, что эта революция принесет.

Кончилось первое послереволюционное десятилетие, и взаимоотношения интеллигенции и революции приобрели новую форму: начались выяснения взаимоотношений интеллигенции уже не с революцией, а с новым, послереволюционным государством, с государством в форме диктатуры пролетариата.

Эти выяснения прошли через всю русскую литературу второй половины послереволюционного десятилетия.

Государство в форме диктатуры пролетариата возникло, как известно, не в 1927-м, а в 1917-м. Но характер и интенсивность его проявления в разные времена были не одинаковыми. Совершенно очевидно, что в эпоху нэпа диктатура пролетариата проявляла себя иначе, чем в годы военного коммунизма, в пору коллективизации, в годы ежовских палачеств, бериевского террора, сталинского истребления народов, или в пору победоносной борьбы с космополитами, или в эпоху, которая научно стала называться так: «некоторые наслоения периода «культа личности», а художественно называется иначе:

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Государство диктатуры пролетариата могло предложить интеллигенции свободу лишь в пределах, не мешавших ему.

Свобода, которую принесла революция, была, по-видимому, не совсем тем, что части дореволюционной интеллигенции казалось революция обещает.

Однако прошло совсем немного времени, и новые представления о свободе стали казаться гораздо лучше старых представлений.

Роман Юрия Олеши «Зависть» был написан в первое послереволюционное десятилетие, когда писатель, увы, еще не до конца понял, что новые представления о свободе еще лучше старых.

Поэт Юрия Олеши Николай Кавалеров думал, что свобода это то, за что боролись все протестанты, из-за чего совершались революции, велись освободительные войны, гремели фанфары и умирали герои.

Он думал о русской революции XX века в категориях французской революции XVIII века.

Наивный и недальновидный поэт, не слышавший, какие звуки звучат все громче, не понимал, что могут обещать люди, выбравшие себе псевдонимы, полно и точно выражающие идеал и программу сильной личности, мощной власти: Каменев, Молотов, Сталин.

Юрий Олеша, за три года до «Зависти» написавший книгу о революции любого века под непосредственным и недифференцированным впечатлением недавнего переворота, был уверен, что люди, совершающие революцию, берут тезис прямо из рук оружейника Просперо. Но потом писателю стало казаться, что что-то случилось, в связи с чем в его сознании неожиданно возникла литературоведческая дискуссия: от кого же эти люда происходят — от героя-революционера или от одного из Трех толстяков. Кроме чистой альтернативы, появляются осложненные предположения: сначала от оружейника Просперо, а уже потом от одного из Трех толстяков.

По традиционным и неопровергнутым историографическим и социологическим представлениям такое превращение обычно называется словом, которое люди, изнасиловавшие демократию, по естественной ассоциации идей со страхом и ненавистью воспринимают, как в высшей степени нехорошую болезнь. Это слово начинается с буквы «т» и кончается буквой «р». Ммм... есть такое слово «термидор».

В романе Юрия Олеши конфликт поэта и общества начинается с того, что свое право и назначение поэт не в состоянии осуществить.

Право и назначение поэта в том, чтобы говорить обществу то, что он думает.

Вот что говорит поэт обществу:

« — Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов... Вы, сидящие справа под пальмочкой, — урод номер первый... Дальше: чудовище номер второй... Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... Что случилось с миром?»

И вот чем это кончается:
«Меня выбросили.
Я лежал в беспамятстве».

Тогда поэт, которому не дают выполнить свое высокое святое назначение, оказывается вынужденным писать «репертуар для эстрадников»: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах.

В учрежденье шум и тарарам,
Все давно смешалось там:
Машинистке Лизочке Каплан
Подарили барабан...

Так как герой Олеши думает в категориях ушедшей эпохи, а живет в обстоятельствах существующей, то он начинает догадываться, что наступает обыч-

ная борьба поэта и толпы. Борьба кончается привычным для нашей истории способом: гибелью поэта.

Выброшенный из своей среды художник во враждебном окружении кажется странным, непонятным, нелепым и жалким. С великолепием bel canto пропета его фраза о ветви, полной цветов и листьев. Но вот эта оторванная от ствола ветвь с размаху всаживается в другую среду, в песок, в почву, на которой она не может расти. Теперь эта осмеянная ветвь выглядит странно, непонятно, нелепо и жалко. Вот как она выглядит в изображении человека другой среды: «Он разразился хохотом. — Ветвь? какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что?» А вот как в том же изображении выглядит художник, создавший эту ветвь: «...наверное, какой-нибудь алкоголик...»

Поэт отчетливо сознает несходство своего мира с миром, в котором он живет, и враждебность этих непохожих миров. Мир поэта прекрасен, сложен, многообразен и поэтому верен. Чужой мир — схематичен, упрощен, беден, приспособлен для низменных целей и поэтому ложен. Для того чтобы хоть как-нибудь понять друг друга, людям, говорящим на разных языках, необходим перевод. Поэт иногда вынужден брать на себя обязанности переводчика.

Он переводит свой язык на язык общества, которое его не принимает и которое он не может принять.

«...сперва по-своему скажу вам: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней — тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо, по цвету — от загара, и по форме — скулами, округлыми, суживающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку весны...»

Следом за этим идет перевод. «А теперь по-вашему... Передо мной стояла девушка лет шестнадцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами — очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка (это уже по-моему!), невеликий ростом». Решительно подчеркивает поэт несходство своего мира с миром, в котором ему пришлось жить. «Да, вот вы так, а я так», — с презрением заявляет он.

Снова начинается прерванный (разными способами)[3] и, казалось бы, уже решенный спор о взаимоотношениях художника и общества или иначе: поэта и толпы.

Поэт Юрия Олеши — это человек другого мира и другой судьбы.

Представьте себе человека, который в ответ на вопросы, где он работает (как живет, как себя чувствует, где купил шапку) отвечает стихами. Кавалеров отвечает стихами. Он говорит: «Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов...» Ила: «...на груди у нее я увидел голубую рогатку весны...»[4]

В эти же времена был написан другой роман, в котором другой интеллигент говорил тоном, заставляющим насторожиться.

Он говорил подозрительным по ямбу тоном.

«Волчица ты... тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться

хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом!» «Это глупо... Это бунт индивидуальности» — кричат интеллигенту. «И этим я горжусь, — ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном.—

Ты недооцениваешь значения индивидуальности и вообще интеллигенции». «...Негодяй! — отвечают ему. И добавляют: — Интеллигент!»

Васисуалий Лоханкин был опровержением Кавалерова. Ильф и Петров спорили с Юрием Олешей. Они осмеяли: «Васисуалия Лоханкина и его значение», «Лоханкина и трагедию русского либерализма», «Лоханкина и его роль в русской революции». Вместе со значением, трагедией и ролью осмеян лоханский ямб. Авторы осуждали Лоханкина со всей решительностью эпохи, в которую создавались их книги.

И они безусловно были правы. Такого интеллигента и такое значение его, несомненно, следовало осмеять. Писатели видели вокруг себя (сначала в Одессе, потом в редакции «Гудка», где они написали свой первый роман), большое количество прототипов. А что не увидели, восполнили самоанализом.

Отношение Олеши к своему герою более гуманно, осторожно, сбивчиво и противоречиво, чем отношение Ильфа и Петрова к своему. И хотя он тоже осмеивает Кавалерова за тон, подозрительный по ямбу, но делает это не так охотно и радостно, как его уже кое-что смекнувшие коллеги. Олеша даже не всегда осмеивает Кавалерова сам. Он поручает это неблагодарное дело другим персонажам романа, а другие персонажи — враги поэта.

Васисуалий Лоханкин и Николай Кавалеров лишь разное мнение о взаимоотношениях интеллигенции и послереволюционного государства. Но время в «Зависти» и «Золотом теленке» говорит одинаково. В «Зависти» оно говорит так: «...собираемая при убое кровь может быть перерабатываема в пищу... для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец...» Ветвь, полная цветов и листьев, отделена от собираемой при убое крови тремя словами: «Вечером я корректирую».

Васисуалий Лоханкин тоже, как и Кавалеров, валяется на диване, но фразу о голубой рогатке весны, как вы, вероятно, заметили, не произносит. А если бы и произнес, то она торчала бы у него изо рта, как щипцы, которыми дергают зубы. Тьфу!

(Я не развиваю тему сходства двух героев потому, что не хочу преувеличивать, и еще потому, что это сходство вскоре понадобится для несравненно более ответственной параллели.)

В «Золотом теленке» положение несколько проще, чем в «Зависти». И это легко понять: у Ильфа и Петрова интеллигенты освистаны за то, что они думают, будто революция посягает на демократию. За такое дело авторы их, конечно, не только освистывают, но и показывают в образе людей, больше похожих не то на членов редколлегии журнала «Октябрь», не то членов ученого совета при хане Батые. И это совершенно правильно. Но в то же время такой показ не дает исчерпывающего ответа на все вопросы.

Функционирование интеллигенции в полицейском царстве Трех толстяков имеет такое большое значение, потому что пространство между государством и народом столь велико, что одни не слышат, что говорят другие. Интеллигенция же бегает где-то между государством и народом, и по-

этому плохо ли, хорошо может играть роль посредника.

Эта игра вызывает многочисленные недоразумения, которые, начиная с Елизаветы Петровны, приходится все время выяснять.

Что же касается взаимоотношений интеллигенции и революции, то необходимость выяснить их возникла по причине более простой, чем это могло показаться при чтении многих книг, а также и этой книги.

Простота причины заключается в том, что победителям в революции 1917 года больше как с интеллигенцией не с кем было выяснять взаимоотношения.

Победители не выясняли взаимоотношений с крестьянами, которые были на стороне революции, когда революция дала им землю. Когда же эту землю стали отбирать и крестьяне начали выступать против революции (не хотели идти в колхоз), то ими в ряде случаев пришлось пожертвовать во имя общих интересов. Взаимоотношения с прежними господствующими классами также были очень просты: эти классы сразу же были уничтожены. (Во имя общих интересов.) Следовало бы специально остановиться на том, что в состав этих классов входила и вся русская демократия, на протяжении столетия подготавливавшая революцию. Так как революция считалась пролетарской (не большевистской), то сначала показалось, что с пролетариями выяснять нечего, а когда обнаружилось, что остается кое-что невыясненным, то можно было расстрелять Кронштадтское восстание 1921 года и после этого уже ничего не выяснять, а просто разъяснять понятным народу языком.

С интеллигенцией, увы, все было гораздо сложнее: интеллигенция уничтожалась только в тех случаях, когда становилось ясным, что у нее могут начаться идейные шатания и кричащие противоречия. Интеллигенция была нужна, ее выгоднее было использовать, чем уничтожить. И вот с этой-то ничтожной, прости Господи, так называемой прослойкой, которую достаточно только положить на наковальню и стукнуть тяжелым молотом по лицу (о чем в двух своих произведениях упоминает Юрий Олеша), чтобы от нее, в сущности, ничего не осталось, пришлось выяснять отношения. Вместо того чтобы просто стукнуть молоточком. А ведь не стукнешь, потому что без нее современное промышленное государство, которое в числе прочего изготовляет такие молоточки, существовать не может. И кроме того, с одними дворниками тоже не превратишь в исторически короткий отрезок времени целый народ в громадное мычащее стадо скота.

Для этого, кроме дворников, нужны были еще хорошие, образованные интеллигентные люди, которые научно докажут, что мычащее стадо исторически прогрессивнее акмеизма. Вот когда план по основным показателям был выполнен и были созданы кадры собственных налетчиков на демократию, философию, право, искусство, тогда, конечно, можно было перейти к более полному удовлетворению культурных запросов населения. Но пока план по основным показателям оставался невыполненным, уничтожить всю интеллигенцию было преждевременно.

И вот между еще не уничтоженной и не ушедшей в изгнание интеллигенцией и победителями начались длинные переговоры, которые стали называться «интеллигенция и революция».

Потом сочтено было, что на такие пустяки, т.е. на переговоры, истрачено слишком много драгоценного времени. Да и характер переговоров сильно переменился.

Почти у каждого из писателей этих лет был свой Лоханкин, и каждый из писателей то больше, то меньше, то сам, то препоручая такую ответственную

работу своим героям, срамил своего Лоханкина. Этой в высшей степени респектабельной деятельности предавалась большая и, конечно, лучшая часть нашей литературы приблизительно два десятилетия, и только к концу 30-х годов сочла свою задачу по ряду главных показателей в основном выполненной.

Независимо от этой литературы существовала другая, которая не оспаривала наличность громадного количества Лоханкиных в истории русской общественности, но полагала, что бывают не только они. При этом особенных иллюзий по части якобы незначительной роли Лоханкиных она не имела. Напротив, было сразу заявлено: «Нас мало. Нас может быть трое...» Столь резкое снижение показателей (трое!) происходило, вероятнее всего, потому, что подобная литература просто не берегла своих героев. Она сама говорила о них: «Таких в монастыри ссылают и на кострах высоких жгут». Ни больше, ни меньше. Хорошенькое дело.

Эта литература показала русского интеллигента другим. У интеллигента были свои недостатки. Он часто ошибался. Иногда совершенно непростительно. Но в то же время у него были и известные достоинства. Например, у А. Ахматовой была совесть:

... А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.
Я говорю: «Твое несу я бремя,
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».
Но для нее не существует время,
И для нее пространства в мире нет...

М. Цветаева взваливает на свои бедные, стертые жизнью плечи тяжкую кладь:

... А покамест еще в тенетах
Не увязла — людских кривизн,
Буду брать — труднейшую ноту,
Буду петь последнюю жизнь!..

А Осип Эмильевич Мандельштам понимал, что в гибнущей Вселенной стоит обреченный человек:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...

Б. Пастернак сбивается с пути, падает, гибнет. Но лучше поиск, протест, гибель, лучше туда, куда ни одна нога не ступала, чем вытоптанное поле, проезжая дорога, где все известно, измерено и ложно:

... Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчом с мостовой...
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.

В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
– Не тот это город, и полночь не та.

Но еще разрушительнее и опасней, когда художник знает, что можно избежать гибели, уклониться от победы и что это так легко и доступно:

Столетье с лишним – не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье...

Увы, русский интеллигент был сложнее и разнообразней, чем тот, которого столь метко изобразили Ильф и Петров и которого, сбиваясь, то так, то этак изображал Юрий Олеша. Интеллигент, которого изобразил Юрий Олеша, напугал его самого.

Этот интеллигент был непонятен Юрию Олеше, иногда даже неприятен и чужд. Он вызывал необыкновенно сложную гамму чувств, в полутонах которой, в черных бемолях, диезах, иногда слышались едва различимые отголоски чего-то неясного, неосязаемого, неуловимого, быть может, зависти. Юрий Олеша, вероятно, понимал, что Васисуалий Лоханкин не в состоянии охватить все оттенки русской общественной мысли, но интеллигентов, которые были ему непонятны, неприятны и чужды, он предпочитал изображать как людей, говорящих подозрительным по ямбу тоном.

И это ему вполне удавалось. По крайней мере до тех пор, пока он не опоминался перед альтернативой: поэт (Кавалеров) или толпа (Бабичев).

Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал...
... а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал...
И толковала чернь тупая...
О чем бренчит?..

Столетье, прошедшее между этими стихами и их прозаическим переложением, научило писателей более трезвому отношению к поэтическому порыву. В отдельных случаях происходит решительная переоценка поступков и высказываний поэта.

В русской литературе все знают, что поэт это хорошо, а толпа — плохо. Это утверждал Пушкин и опровергал Жданов. Но со Ждановым многие не согласились (особенно те, кто попал за это в тюрьму). Олеша выводит на страницу высокого поэта и поэт естественно, тотчас же начинает обличать Жда... толпу. Так как советская толпа прекрасна, а поэт-индивидуалист отвратителен, то в связи с этим обстоятельством Юрий Олеша заставляет своего поэта произносить сладкие звуки и молитвы в пивной. Он хочет выказать этим свое максимальное презрение к поэту. Выказывая презрение не в абстрактной, а в осязательной форме, он вынужден создать ситуацию. Эта ситуация все равно такова: поэт и толпа. Юрий Олеша ходит по кругу: он не понимает, что если есть поэт, то есть и ситуация — поэт и толпа.

Толпа хохочет, улюлюкает, уничтожает.
Весь роман сотрясает хохот над поэтом.

«...Целый град шуток посыпался мне вслед... Мужчина вдогонку гоготал басом». Бабичев «разразился хохотом», «Рабочие смеялись вокруг...» «...Валя хохотала над ним...» «...вот эти... они смеялись...» «Все смеялись вокруг».

Затравленный поэт огрызается с ненавистью, с яростью:

« — Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, которые издает пустой клистир...»

Поэт знает, почему он смеется над ним: «Непонятное — либо смешно, либо страшно». «Никто не понимает меня. — Говорит поэт. — Непонятное кажется смешным или страшным».

За полтора десятилетия до Кавалерова другой поэт — Александр Блок — с отвращением и торжеством говорил обществу:

О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас
За то, что тихими стихами
Мы громко обличали вас!

Художник вырастает из-под земли, пробивается сквозь камень и, как карающий воскресший царевич, говорит обществу, что он о нем думает. Поэт вырывается, кричит, он падает, приподнимается, погибает.

Через тридцать лет Олеша скажет о другом поэте:

« ...надо мной смеялись». « ...повторяю, надо мной смеялись!»

«Мальчики хохотали, мне было стыдно...»

«...хохотали и улюлюкали...»[5]

Это он говорит о себе в годы, когда выяснения взаимоотношений интеллигенции и революции завершились замечательной победой. Победа была одержана к началу 30-х годов, а закреплена к концу 1937 года.

[1] А. Блок. Собр. соч. в 12-ти т. Т. 4, Л., 1932, с. 214

[2] А. А. Блок был человеком очень здоровым и обладал большой физической силой. Он любил спорт, общеизвестно его увлечение борьбой. В 1918 году, вскоре после «Двенадцати», когда ему было

лишь тридцать семь лет, он впервые почувствовал себя не вполне здоровым. В 1920 году его состояние сильно ухудшилось, а с весны 1921 года «процесс роковым образом шел к концу… Все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, главным образом в смысле угнетения; иногда, правда, были светлые промежутки, когда больному становилось лучше, он мог даже работать, но они длились очень короткое время (несколько дней). Все чаще овладевали больным апатия, равнодушие к окружающему. У меня (лечащего врача. — *А. Б.)* оставалась слабая надежда на возможность встряски нервно-психической сферы, так сказать, сдвига с «мертвой точки», на которой остановилась мыслительная деятельность больного, что могло бы произойти в случае перемещения его в совершенно новые условия существования, резко отличные от обычных. Такой встряской могла быть только заграничная поездка в санаторию… Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал», «…доктор Пекелис… нашел у него сильнейшее нервное расстройство, которое определил как психастению… За месяц до смерти рассудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражительности, удрученно апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты просветления, после которых опять наступало прежнее… Психастения усилилась и, наконец, приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые». (Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам. Составили О. Немеровский и Ц. Вольпе. Л., 1930, с. 262, 265, 270).

[3] Имеются в виду наши привычные домашние способы: аресты, расстрелы расправы, запрещения, ссылки, насилия.

[4] Последнее слово в цитате: «весны» — вырвало вопль злобы, торжества и невежества из груди Ю. Андреева — автора статьи «Своевольные построения и научная объективность» («Литературная газета», 15 мая 1969, № 20, обвинившего меня в том, что я строю гнусную концепцию на омерзительных опечатках. По авторитетному суждению Ю. Андреева следовало цитировать не «весны», а «вены». С беднягой произошел чрезвычайно неприятный случай: он сличил цитату *с* текстом двух последних изданий однотомника Ю. Олеши (1956 и 1965 годы), и перед ним, человеком, вооруженным самым передовым мировоззрением, разверзлась пропасть: упомянутая пропасть разверзлась в связи с тем, что я злонамеренно и вызывающе исказил писателя: вместо «вены» со злобным шипением написал «весны».

Ю. Андреев «Зависть» (1927 год) мог и не читать. Я прекрасно понимаю, что советский критик очень занят и ему некогда читать книги, о которых он пишет. Так, например, он пишет о моей книге, которую тоже не читал, правда, не только из-за страшной занятости, но еще и потому, что в Советском Союзе она не была издана. Все это, конечно, можно понять, но ведь он мог попросить своего секретаря или тещу, или соседку заглянуть в первое издание Ю. Олеши. В первом издании однотомника (1927 год) строка в романе «Зависть» напечатана так, как написал Олеша и процитировал я: «…голубую рогатку весны…» (Юрий Олеша. Избранное. М., 1936, с. 52).

Я цитирую именно по этому изданию, потому что считал его с рукописью Ю.К. Олеши. В рукописи написано: «весны».

Юрий Карлович, узнав, что я проделал эту работу (бесплатно), поглядел на меня, как в глубоком психологическом романе: во взгляде его скрестились тысячи кричаще противоречивых переживаний, из которых одержали победу два — удивление и гадливость. После взгляда писатель-мыслитель (он вспомнил известную скульптуру Родена) долго — как в психологическом романе — сидел, опустив тяжелую, красивую, львиную и психологическую голову, шевелил губами и загибал пальцы. По прошествии определенного времени, тщательно взвешивая и металлически чеканя слова, он произнес: — На двадцать литров (водки. — *А. Б.*) работы. Минимум. Потом он взял мой экземпляр «Зависти» и написал (не для меня, для истории мировой литературной мысли): «С подлинным верно». Я цитирую: «… голубую рогатку весны…» С подлинным верно.

[5] Юрий Олеша. Ни дня без строчки… Из записных книжек. М., 1965, с. 17, 30, 270.

Источник: Белинков Аркадий Викторович. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий ОЛЕША. М.: РИК «Культура», 1991.



Тарсис
Валерий Яковлевич
(1906–1986)

Писатель.

Родился в Киеве. Окончил Ростовский университет в 1929 г. Работал редактором в издательстве «Художественная литература», писал рассказы, делал переводы. Во время войны был военным корреспондентом. В 1960 г. передал рукописи своих неопубликованных произведений за границу. После публикации за границей повестей «Сказание о синей мухе» и «Красное и черное» был помещен в психиатрическую больницу им. Кащенко. Освобожден в 1963 году. Свое пребывание в психиатрической больнице описал в автобиографической повести «Палата №7». В феврале 1960 года получил разрешение на выезд из СССР и лишен советского гражданства. Жил в Швейцарии.

Основные работы:

«Сказание о синей мухе»;

«Палата № 7» .

ПАЛАТА № 7

ТРИ ГОДА СПУСТЯ...

Звонок.

Я открываю дверь. В полумраке коридора стоит высокий незнакомый юноша. На мой вопросительный взгляд он отвечает широкой улыбкой, словно лучи солнца осветили его лицо, охватывает руками мою шею и восклицает чуть глуховатым ломающимся голосом:

– Да неужели вы не узнаете меня?

Ну, конечно, это ведь Женя, мой однополчанин из палаты № 7. Пусть вас не удивляет слово «однополчанин». Всем известно, с каким радушием и волнением встречаешь однополчанина, особенно из тех, с которыми ты вместе был в бою, вспоминаешь далекие, незабываемые дни, павших друзей, судьбы выживших. Я всю войну провел на фронтах, был трижды ранен и контужен, у меня было много друзей — однополчан, но должен признаться, что еще с большей нежностью и душевным волнением я вспоминаю и встречаю других однополчан, соратников и друзей, с которыми мне довелось сражаться плечо к плечу в другой большой битве, еще не оконченной и поныне — битве свободолюбивых русских людей против советско-коммунистических поработителей, битве за счастье и волю моего народа.

Одним из драматических эпизодов этого большого сражения была наша

схватка с врагом в палате № 7. Для меня всегда было и останется символическим наше пребывание в палате № 7 Всесоюзной Психиатрической больницы им. Кащенко. Повесть моя об этих горячих днях нашла отклик в сердцах людей доброй воли на всей земле.

И вот предо мной стоит Женя, выросший, возмужавший, окрепший. Вспоминаем дни, проведенные вместе в палате № 7, друзей, и, естественно, говорим о перспективах, о будущем. Я рассказываю ему о больших сдвигах, растущей оппозиции, смогистах, демонстрациях молодежи. Он слушает с большим вниманием, не перебивает меня. Потом, когда я умолкаю, говорит своим чуть глуховатым голосом:

– Обо многом из того, что вы рассказали, и до нас докатилась весточка. Да и я не приехал с пустыми руками. Гостинца вещественного я, конечно, не привез — в нашем городе даже нет предметов первой необходимости, а о подарках и говорить не приходится. Но я думаю, что подарок, который я привез, для вас будет намного дороже. Так вот… мы не забыли нашу клятву, когда расставались с вами. С горечью должен признаться, что мы надеялись на более обильные плоды или трофеи после нашей битвы в палате № 7. Тысячи и тысячи людей по-прежнему томятся в сумасшедших домах, лагерях и тюрьмах. Но зато окрепла и решимость народа сбросить это страшное ярмо. И я рад вам сообщить, что в нашем городе вся молодежь готова восстать…

Тут я перебил его:

– Ну, ты, наверное увлекаешься, Женя. Это, конечно, естественно для двадцатилетнего юноши. Помнишь стихи Ростана:

Мне двадцать лет, я сын Наполеона
И ждет меня корона.

Он с жаром возразил:

– Нет, нет… Это не мечты, не фантазия. У нас крепкие связи. Только скажите слово…

– Слово будет сказано, Женя. И разумеется, не мною, — я только поэт, высказывающий вслух думы и чаяния народа. Но есть и у нас, и за рубежом политические деятели, которые готовят народ для решительного восстания против коммунистических поработителей. И когда созреет время, раздастся призывной сигнал, и начнется генеральное сражение за освобождение нашей Родины.

Мы еще долго беседовали о будущем. Глаза Жени светились умиротворенной печалью. Ночь была на исходе. Занималась жемчужная, багряная заря нового дня.

Был канун Нового года — тысяча девятьсот шестьдесят шестого. Я прочел на прощание свое стихотворение «Памятник», которое кончалось следующими словами:

Не медь, не бронза, не гранит
Наш подвиг для потомства сохранит,
А знамя вольности над куполом Кремля
и Русская Свободная Земля.
Раскачка такая пойдет,

какой еще мир не видал...
Затуманится Русь, заплачет
земля по старым богам...

Ф. Достоевский

1

Проспект сумасшедших

Каждый старается как можно меньше
походить на самого себя. Каждый принимает
уже указанного хозяина, которому подражает.
Однако можно иное прочесть в человеке.
Но не смеют. Не смеют перевернуть страницу.
Законы подражания – я называю их законами страха.

Андре Жид

Стоял сентябрь — месяц увядания, цвели, розовели безвременники. Тоска, словно тяжелая секира, с глухим и неясным гулом раскалывала дни, как дубовые бревна в серые щепки, пахнувшие прелым листом.

Может быть, основное и главное для Валентина Алмазова и заключалось в тягучем, однообразном, слишком медленном течении нескончаемой реки времени. Возможно, и даже весьма вероятно, что вокруг не происходило ничего существенного, — да и что еще может случиться в этой шестой части мира, мало-помалу превратившейся, в силу неимоверного сужения масштабов советского крохоборческого существования, в одну шестьдесят шестую... Валентину Алмазову давно уже казалось, что даже в княжестве Монако масштаб жизни обширнее, чем в наглухо закрытом концентрационном лагере где некогда жила, неистово буйствовала, верила, разочаровывалась и снова буйствовала, бунтовала святая Русь.

Он шагал — высокий, светлорусый, кареглазый, румяный, моложавый (никак не дашь ему полвека озорного и пропащего круговращения) — как всегда возбужденный, легкой пружинистой походкой по длинному коридору, конца которого не видно было в тусклом мареве утра. Рядом с ним шел геолог Павел Николаевич Загогулин, его ровесник, тоже очень моложавый, краснощекий брюнет, юношески-подвижной, и скрипач Женя Диамант, круглоголовый, медлительный, словно был он уж очень умудрен двадцатью двумя прожитыми годами и безумным хаосом мира, внезапно открывшимся перед ним.

Позади, как всегда, шла толпой чёртова дюжина — постоянная свита Валентина Алмазова, который очень быстро стал признанным главарем тридцать девятого отделения главной психиатрической больницы Советского Союза.

Было еще совсем рано.

Лиловые тени клубились в углах, зловещие и безмолвные. На диванах и стульях дремали, спали, храпели сестры, фельдшера, сиделки, санитары; за окнами качались светло-желтые тени фонарей, громыхали грузовики с бидонами,

ведрами, ящиками, перекликались дворники: сквозь открытые фрамуги доносились их голоса, грубые и хриплые; и непрестанно звякали ключи в замочных скважинах, хлопали двери. Взад и вперед по нескончаемому коридору, прозванному Проспектом Сумасшедших, торопливо шли врачи, сестры, буфетчицы, рабочие, иные — бегом, вприпрыжку, другие вразвалку, запыхавшись, как шестипудовая тетя Лена — всеобщая любимица; она только что вернулась с утрени из церкви Николы-на-Посадьях, со всеми приветливо здоровалась, с прибаутками и присказками, и трижды перекрестила Валентина Алмазова, за которого молилась ежедневно, а по воскресеньям заказывала молебен о здравии.

До завтрака оставалось еще более двух часов, но на проспекте было уже шумно, и суетилось множество людей. За эскортом Валентина Алмазова шагали парами и группами, — шла утренняя разминка так называемых больных. Вначале трудно было понять, чем они отличаются от здоровых, но потом становилось ясно, что они тем только и отличаются, что они действительно здоровые, смелые, несгибаемые, неугодные и непригодные для рабского существования.

Шагали люди, измученные бессонницей, бездеятельностью, безвыходностью опостылевшего призрачного бытия. В углах и нишах небольшие группы и одиночки делали утреннюю зарядку, и, как всегда, громко гнусавил Леонид Соловейчик, требовавший, чтобы дежурная сестра открыла ему шкаф, где хранились продукты больных — приношения родных.

– Я голодаю, я умираю с голоду! — орал он, наступая на оробевшую сестру. Его дряблые щеки, тройной подбородок, живот беременной бабы тряслись от возмущения; на вид ему можно было дать сорок лет, хотя еще только недавно ему минуло двадцать два. Никто не знал в точности, кто он, — каждому Соловейчик врал и сочинял легендарные биографии, за день — десяток версий, явно лживых и противоречивых, — но это его не смущало, и если его кто-нибудь уличал, он говорил жалобно, не находя другого оправдания:

– Но я ведь больной.

Так он последовательно числился студентом-медиком, помощником кинорежиссера, журналистом, чекистом. Отец его — старик, тщедушный и подавленный, — говорил с ним робко и заискивающе, хотя был каким-то ответственным работником; ему было стыдно, так же как и всем остальным, за эту неприятно пахнувшую тушу, пожалуй, больше и не было таких отталкивающих личностей среди полутораста пациентов тридцать девятого отделения. Соловейчик был болен только неимоверной распущенностью единственного сынка крупного советского бюрократа. Впервые он попал сюда, как и многие другие, чтобы избавиться от службы в армии, а затем отправился в сумасшедший дом после особенно диких похождений — краж, спекуляций, изнасилования.

Валентин Алмазов сравнительно недавно находился в палате № 7, где занял тринадцатую койку в углу, около окна с небьющимися стеклами, двойными рамами, наглухо заколоченными и затянутыми изнутри полотняными занавесками, чтобы нельзя было смотреть на улицу, где росли молодые тополя, цвели цветы, бегали кошки, ходили люди, и вообразить, что там идет какая-то жизнь. Но Валентин Алмазов, давно уже знавший, что хаос существования поглотил на его земле все живые родники, имел однако, про запас, как и все настоящие люди его злосчастной страны, один неистощимый родник живой воды, питавший его душу

в лихие годины плена. Этот неиссякаемый родник — неутомимое, вечное юное, полное надежд и упований воображение. Оно день и ночь рисовало перед ним картины настоящей, свободной, светлой жизни, которая кипела и бурлила в свободном мире, и оттого, что он был лишен ее, она казалась ему, быть может, еще во много раз прекраснее, чем была в действительности.

В сущности, для Валентина Алмазова, так же, как и для его друзей, единственным мерилом Прекрасного была свобода. После сорока лет, — страшные сороковины! — каторги и злодеяний, у него и у всех честных русских людей, томившихся в неволе, стерлись представления о добре и зле; вернее, всё казалось злом, и о добре уже никто не помышлял, не вспоминал, разве только старики, еще помнившие незабвенное доброе время, казавшееся теперь потерянным раем.

Валентин Алмазов понимал, что без добра не может быть настоящей жизни, но ему так же ясно было, что надо прежде всего обрести свободу, вызволить народ из чудовищного плена, убрать с лица родной земли преступных уродов и затем уже осуществлять новые идеалы Добра, — искать их заново, когда будет зажжен светильник Свободы…

Шум на Проспекте Сумасшедших всё нарастал, — приближался час завтрака. Все с нетерпением поглядывали на закрытые створки буфетной, ждали, когда они, наконец, раскроются и миловидная буфетчица Маша начнет выставлять на стойку тарелки с нарезанным хлебом, сахаром и крохотными квадратиками сливочного масла, а дежурные побегут по палатам, выкрикивая:

– На завтрак!

Некоторые любили подольше поваляться в постели. С них бесцеремонно срывали одеяла, подталкивали. Вот появился на Проспекте и единственный больной — Карен. Впереди выступал его непомерный живот, напоминавший большой барабан, затем выплывала овальная черноволосая голова, вечно смеющиеся миндалевидные глаза, лучистые и мечтательные, тугие малиновые щеки и руки, в непрерывном движении описывающие замысловатые узоры в мглистом воздухе.

Места за столиками в столовой были заняты еще в семь часов утра, — завтракали и обедали в три очереди, — но Карену охотно уступали место. Жалели. Ему было двадцать пять лет; тринадцать из них он провел в больнице, известной в России под названием Канатчиковой дачи. Карен всё время разговаривал, умопомешательство его последовало за менингитом; и говорил он почти только о себе, редко о других, и всегда в третьем лице. Он любил Алмазова и, подойдя к нему, сказал:

– Вот он — Карен мой любимый, Карен мой родимый, милый, обреченный армянин. А ты зачем здесь сидишь, глупый — не можешь найти лучшего места?

– Не могу, Карен. А где лучше?

– Дома лучше. Была у Карена мамочка Наташа вчера. Принесла Карену рубаху. А домой не берет.

На лице его появилась блаженная улыбка, как всегда, когда он говорил о матери, а упоминал он о ней очень редко. Он умел также ненавидеть. Соловейчика презирал, и когда тот к нему приставал с расспросами, кричал:

– А тебе какое дело?

– А мама твоя красивая, — сказал тот однажды с плотоядной улыбкой.

Тогда Карен размахнулся, ударил его наотмашь так, что из носа Соловейчика хлынула кровь, и он завизжал, как свинья, которую режут.

– Не надо драться, Карен, — сказала укоризненно сестра Дина, высокая, с иконописным византийским профилем.

– Почему не надо? Надо! Он гадкий. А ты красивая, такая ты красивая.

И Валентин Алмазов подумал, что даже этот единственный больной, тоже неизвестно зачем здесь находившийся (ведь он был неизлечим, и его не лечили), был тоже более достойным, чем здоровые окаменелости, нелюди, мучившие народ, — Карен умел любить и ненавидеть.

Валентин Алмазов между тем убеждал Василия Голина, худого, изможденного, с выцветшими глазами человека неопределенной профессии, возраста, судьбы, родом из Камышина, что он витает в небесах, а жить надо на земле. Голин вместе с молодым философом Иваном Антоновым создали теорию «раскрепощения советского разума от сталинских оков» и верили, что им удастся убедить нынешних вождей перейти на их позиции, и жизнь станет прекрасной, — оба они соглашались, что так дальше жить нельзя.

– Поймите, наконец, что конфликт нашей эпохи носит характер особый, исключительный, небывалый, — говорил Алмазов. — И, разумеется, не имеет ничего общего с политическими кризисами предшествующей истории. И это чистейший идиотизм узколобых маньяков — утверждать, что возможно мирное сосуществование двух антагонистических лагерей. Ведь сегодня дело идет не о том или ином режиме или системе равновесия, а о главном — быть или не быть человеческой личности. Единственная непререкаемая ценность на земле для человека — это свобода личности. А коммунисты выдвинули альтернативу: не человек, а коллектив, не личность, а стадо. Но разве человечество пойдет на то, чтобы превратиться в безмолвное и безмозглое стадо? Нет, оно скорее согласится на гибель. И надо понять, что Запад, весь свободный мир ведет борьбу не за торжество каких-то политических формул или систем, а за спасение ЧЕЛОВЕКА от стремления превратить его снова в человекообразную коммунизированную обезьяну. Поймите, понадобились десятки тысячелетий, чтобы из стада выделилась Личность; и вот в человечестве обнаружились атавистические инстинкты, ностальгия по стаду. И не случайно эти низменные тенденции возникли у «пролетариев», нищих духом, и закономерно их вождями являются узколобые фанатики. Ни один из гениальных мыслителей, которые всегда являются аристократами духа, от Гераклита до Ницше, не мог бы создать столь убогое и жалкое учение, как этот бородатый немецкий филистер Маркс.

И только тупоголовые талмудисты наших дней, а также демагоги и злодеи, вроде нашей правящей камарильи, могут за ним следовать. Правда, я ни на минуту не сомневаюсь, что Человек победит обезьяну. Нельзя сомневаться, что в новый век Россия вступит свободная и обновленная, и няньки будут пугать наших внуков зловещей кличкой коммуниста. Однако отмечаю все эти ханжеские коммунистические доктрины — скромность, самопожертвование, мирное сосуществование, сокращение человеческих способностей и возможностей до одной немудреной трудовой операции в жизни-конвейере, доведение потребностей до нищенского материально-духовного рациона. Это — пуританское ханжество лицемеров под революционной маской, новая схоластика, более отвра-

тительная, чем средневековая, новое рабство, страшнее вавилонского.

– Может быть, вы все-таки преувеличиваете, — сказал Голин. Голос у него был какой-то бесцветный, полусонный, вялый, словно он вот-вот уснет, даже глаза у него часто закрывались, когда он говорил дольше, чем одну-две минуты. Настойчивость его казалась не настоящей, а деланной.

– Преувеличивать и преуменьшать, по сути дела, — одно и то же. Ведь вся наша действительность сегодня — гроздь мыльных пузырей на тонкой нитке. Если бы миллионная армия полицейских не охраняла этих творцов и продавцов ярко размалеванных мыльных пузырей, народ давно порвал бы эту нитку, рассеялись бы в пространстве все эти мыльно-пузырчатые иллюзии вместе с их создателями. Разве можно преувеличивать или преуменьшать качества мыльных пузырей? И с одинаковым правом можно называть эти качества достоинствами или недостатками. Все дело в том, как воображение нарисует их тебе. А для того, чтобы нарисовать образ Правды и посмотреть ей прямо в глаза, нужно обладать воображением богатым и смелым, — к сожалению, вы, Василий Васильевич, находитесь в плену у призраков прошлого, совершенно оторвались от реальной почвы и не можете приземлиться. Вы наивны, как рыцарь печального образа, и ваши попытки дальше сумасшедшего дома вас не доведут. О, Боже, какая уйма напрасных жертв! Исааки толпами, уже не по инициативе отцов своих, а по собственной, подымаются на алтари и ложатся под нож тирана вместо того, чтобы самим взять ножи в руки и резать разжиревших жрецов.

– На завтрак, давайте, давайте! — выкрикивал гнусавым голосом фельдшер Стрункин. — Ну что тебе — особое приглашение, Самделов? — крикнул он маленькому, страшно худому старичку, у которого было вечно испуганное лицо, такое жалкое и сморщенное, словно он вот-вот заплачет. Стрункин уже подталкивал его пинками, а когда Самделов сел, крикнул:

– Ну-ка, давай овсяную кашу... живее.

– Михаил Самойлович, ради Бога... не могу есть, я чай выпью... пожалуйста...

– Никаких чаев! Ешь! — Стрункин взял со стола почерневшую оловянную ложку, ткнул ее в миску, потом поднес ко рту Самделова и стал левой рукой разжимать ему губы, попутно потчуя несчастного зуботычинами:

– Ешь, балда, не то в пятое отделение пойдешь.

Пятое отделение для буйных было пугалом, которого все страшились; там ни с кем не церемонились. Могли даже избить до потери сознания, никто за это не отвечал. Всем больным, за редким исключением, говорили «ты», независимо от того, был ли это рабочий, колхозник, ученый, художник или музыкант. Самделов, известный библиограф, был, как и многие другие, водворен сюда родственниками, захотевшими избавиться от присутствия нежелательного человека; этот прием широко применяется социалистическими гражданами для того, чтобы расширять свою скудную жилищную площадь, — ведь нередко две семьи живут в одной комнате. Никакого психического заболевания у Самделова не было. И то, что его поместили в тридцать девятом отделении, которое одновременно служило клиникой института усовершенствования врачей, было большой привилегией.

Кроме единственного безнадежно больного Карена, остальные фактически отбывали здесь наказание, ниспосланное им советской судьбой, более страшной, чем все злосчастные судьбы мира. Непонятно было, почему затесался один больной среди здоровых. Одни говорили, что он просто здесь содержится как наглядное пособие для курсантов. Другие утверждали, что состоятельные родители Карена, — отец и мать были научными работниками, — дали администрации изрядную мзду. Но всё это не имело значения. В этом застенке, где влачили свои дни обреченные узники, Карен был единственным баловнем судьбы.

– Наконец-то я увидел счастливого человека на этой проклятой Богом земле, — как-то сказал своим друзьям Валентин Алмазов. — И в первый раз за полвека.

Карен действительно был счастлив. Пребывая в блаженном неведении, он был уверен, что живет в лучшем из миров, и поэтому его не терзала извечная тираническая мысль каждого человека о том, что нужно улучшить, по крайней мере, свою жизнь, если уж для мира ничего сделать нельзя. Он всегда что-нибудь напевал или разговаривал с самим собой; это было понятно, — у него не могло быть более интересного собеседника, который бы так хорошо понимал его и сочувствовал его радостям и светлой грусти, изредка набегавшей, когда он становился «милым обреченным армянином». Он почти достиг состояния нирваны, не затрачивая на это почти никаких усилий, в то время как тысячи мудрецов достигали его нечеловеческим трудом и нередко ценою жизни. Карен не успел узнать, что такое зло. Все его любили, и даже Стрункин и санитары, походившие на трактирных вышибал, никогда не трогали его, называли ласково — Каренчик, Кареш. Он обладал аппетитом Гаргантюа, и все его угощали сладостями, фруктами, закусками; он никогда не впадал в уныние, только порой слишком бурно выражал свою жизнерадостность, и тогда ему вливали под кожу аминозин для успокоения.

За окнами в лазурно-золотистом воздухе кружатся багряные и желтые листья, мир прекрасен, и где-то вдалеке, там, где заходит солнце, живут люди; живут, а не существуют; а здесь можно только наесться до отвала, потом весь день болтать о жизни там, где нас нет, принять лошадиную дозу снотворного, спать, если удастся.

– Таблетки, таблетки, получайте!

Все покорно выстраиваются гуськом перед столиком дежурной сестры. Отказываться от лекарств нельзя, иначе предстоит болезненный укол. Врачи, ничего не смыслящие в психиатрии, ибо учили их, особенно на практике, только полицейскому шарлатанству, ставили диагнозы, как им вздумается, да это и не играло роли: все равно лечили всех одинаково, — неврастеников и шизофреников, маньяков и параноиков, возбужденных и подавленных; лечили, главным образом, аминазином, как чеховский фельдшер всех лечил касторкой.

После завтрака — обход. Все расходятся по палатам. Санитарки моют полы, убирают. Больные в ожидании обхода лежат на койках — все в поношенных полосатых пижамах, которые меняют раз в десять дней. Лежат, разговаривают, ругают скверную невкусную пищу, персонал, жизнь, мир.

В палате № 7, где коротает свои дни Валентин Алмазов, всякой твари по паре. Но когда люди разных судеб вытягивают один жребий, перекресток, где они встречаются, становится на время их родным общим домом. А для Вален-

тина Алмазова эта палата стала как бы его священническим приходом — через месяц он уже знал всех своих прихожан.

Их можно было разделить на три больших категории.

Первая, самая распространенная, состояла из самоубийц, потерпевших неудачу в час расставания с постылым существованием. Было общепризнанно, — руководителями, врачами, идеологами, писателями, — что если человеку не мил социалистический рай, он — сумасшедший и его надо лечить. Холопы-врачи, в своей лакейской угодливости перед начальством, услужливо выдвинули теорию, согласно которой только психопат может покушаться на свою жизнь. Стало быть, не ужасные, невыносимые условия жизни, а болезнь толкнула их на самоубийство. Их лечили всё тем же аминазином — месяцами, иногда годами. Многие привыкли к этому существованию и даже не хотели уходить. «На воле не лучше, а скорее хуже», — говорили они меланхолически.

На Проспекте Сумасшедших почти не видно было пожилых людей; покушавшиеся на свою жизнь были почти без исключения молодые.

Вторая по численности группа состояла из так называемых «американцев». Это были люди, пытавшиеся установить связь с каким-либо иностранным посольством (большей частью, американским — отсюда и происходила кличка) или с туристами из свободного мира. Среди них были и смельчаки, высказавшие желание эмигрировать.

Наконец третья группа, с менее выраженным амплуа, состояла из молодых людей, которые не могли найти себе определенного места в нашей жизни, отвергали все стандарты, сами не зная иногда, чего хотят, но зато твердо знали, чего не хотят. Прежде всего, они не хотели быть солдатами. Им внушала отвращение сама мысль о военной муштре, необходимость с утра до ночи выслушивать казенные истины, которые они считали фарисейством и ложью. Особенно невыносимой казалась им дисциплина. Они не хотели ничему и никому подчиняться, их тошнило от упоминания о родине, общественных работах и нагрузках, которые все-таки приходилось выполнять (почти все они были комсомольцами, а комсомольский билет был почти так же обязателен, как аттестат зрелости для поступления в высшее учебное заведение). Зато пребывание на Канатчиковой даче давало наверняка освобождение от военной службы, что устраивало всех, а многим, сверх того, предоставляло время для размышлений, возможность посмотреть на действительность со стороны; можно было помедлить с принятием решений, выбором пути, уйти надолго из родного дома и избавиться от ненавистной опеки родителей. Иным это даже нравилось. Один студент, когда его выписывали, чуть не плакал.

– Учиться мне неинтересно, — жаловался он Валентину Алмазову. — Работать еще меньше. А здесь меня никто не заставляет делать то, чего мне не хочется. Встречаешь много замечательных людей, я уже здорово отшлифовал свой мозг беседами, игрой в шахматы и прочей умственной гимнастикой. А там на воле все заняты только отупляющей глупистикой. И родители не мешают жить. Вы не представляете себе, какой это тяжелый и нудный балласт — все эти родители, особенно, передовые, опытные, образованные. Мой папахен — профессор, его деятельность не раз отмечена правительственными наградами, сентенции и нравоучения валятся на мою бедную голову, как из рога изобилия, обалдеть можно. В официальных кругах принята версия, что у нас нет пробле-

мы отцов и детей. Дети мол, естественно продолжают героические дела отцов. Но это утверждение, как и все официальные оптимистические доктрины, — ханжество и фальшь. На деле это выглядит совершенно иначе. Дети не только не желают идти по героическому пути отцов, заведшему их в тупик, но попросту не обращают никакого внимания на отцов, в лучшем случае — снисходительно посмеиваются над их героизмом, а порой посылают к чертям. Когда мой высокоученый папахен разглагольствует, мне это в одно ухо входит и тотчас же выходит в другое. Хотя, должен сказать, у нас действительно были настоящие героические отцы, те, которые расстреляны сталинскими сатрапами или которые сейчас отсиживаются в сумасшедших домах и на тому подобных курортах. И скажу вам без утайки: ребята, которым посчастливилось иметь таких отцов, не нам чета. Они знают всему настоящую цену, — и прошлому, и нынешнему режиму, — и знают, что им делать.

– А что именно?

– Не надо спрашивать. Вы сами учите этому. И я тоже ваш ученик.

К этой группе молодых, большей частью находившихся здесь по просьбе родных, можно причислить и пожилых, вроде Самделова и Загогулина, тоже находившихся здесь по проискам их близких. Все они пришли в палату № 7, обитель Валентина Алмазова, разными путями, большей частью против воли, поэтому тюремный режим казался им нормальным.

По-видимому, этот режим казался нормальным и врачам, которые, несмотря на удручающую скудность их познаний, всё же не могли не видеть, что больных здесь нет. Но если обитатели Канатчиковой дачи не были больными, то и врачи не были врачами, а просто полицейскими надзирателями над шестью тысячами неблагонадежных граждан. Кстати, когда была основана больница, то и в дореволюционные годы число больных никогда не превышало тысячи. Палата №7, а потом и все остальные стали называть лечащих врачей — лечащими врагами. Сочинили «психический интернационал», в котором были такие куплеты:

Вставай трудом обремененный
весь мир психических рабов,
кипит наш разум возмущенный
при виде лечащих врагов.

Это есть наш последний
и решительный вой,
с аминазином
завянет род людской.

По утрам все дружно распевали этот гимн.

Заведующая отделением Лидия Архиповна Кизяк, женщина неопределенного возраста, неуловимой внешности, но вполне определенных взглядов и профессии — манекен полицейского врача, была уверена, что все эти песни сочинял Алмазов, и просила его не вести антисоветской пропаганды. Алмазов с недоумением смотрел в ее пустые стеклянные глаза, и ему казалось, что если рас-

пахнуть халат Лидии Архиповны, то под ним окажется не человеческое тело, а кукла из папье-маше, пахнущая дешевым одеколоном.

– Вы полагаете, что я способен заниматься такой бесполезной чепухой? — спросил Алмазов.

– Это не чепуха, и вы только себе вредите.

– Советская власть всеми своими злодеяниями вот уже скоро полвека ведет антисоветскую пропаганду, — и делом, а не словами, — так что состязаться с ней я не берусь.

Она так опешила, что безмолвно повернулась и почти бегом удалилась из палаты. С тех пор она редко заглядывала в палату № 7; она очень боялась больных, никогда с ними не разговаривала наедине и если к ней кто-нибудь обращался, когда она проходила по Проспекту Сумасшедших, она делала вид, что не слышит, ускоряла шаг и торопилась укрыться в своем кабинете.

Таким же отвратительным полицейским высшего ранга был Абрам Григорьевич Штейн. Он тоже ничего не смыслил в душевных заболеваниях, полагал, как все марксисты, что психические болезни проистекают из каких-то функциональных физиологических деформаций, и не признавал никакой души; в самом слове «душа» ему мнилось нечто антисоветское. Он был отталкивающе самоуверен и груб, больные его ненавидели. Остальные врачи представляли собой разновидности комбинированных обликов Штейна-Кизяк с незначительными вариациями. Однако были и счастливые исключения: главный психиатр министерства здравоохранения академик Андрей Ефимович Нежевский и еще сравнительно молодой врач, заместитель Кизяк, — Зоя Алексеевна Махова.

Нежевский, высокий, стройный, с отливающим тусклым блеском серебристым ежиком, с умными проницательными глазами, веселый, остроумный, подвижной, несмотря на свои семьдесят четыре года, ученый с мировым именем, часто бывал за границей на различных конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах. На Канатчиковой даче ему показывали только наиболее интересных пациентов, которых врачи боялись и опасались лечить обычными средствами.

Андрей Ефимович знал, что именно надо предпринимать в каждом случае, но еще лучше знал, что настоящее лечение — неосуществимо, конечно, в советских условиях.

Он был последователем Ганди, тщательно изучал индийскую философию и прекрасно понимал, что советская действительность десятилетиями террора, злодеяний, войн, страха, насилия и неуверенности в завтрашнем дне исковеркала все человеческие души, что вполне психически здоровых вообще не существует и не может быть в подобных нечеловеческих условиях и что лечить душевные потрясения можно только одним-единственным лекарством — приемлемым образом жизни; это был основной метод лечения французской школы психиатров. Поэтому он считал, что смешно называть больными манией преследования советских людей, которых уже сорок лет преследуют, у которых отцы расстреляны или замучены в концлагерях. Надо перестать преследовать людей только за то, что советский режим не приводит их в восторг, надо восстановить демократию, которая у нас полностью ликвидирована, предоставить людям свободу, прежде всего свободу передвижения, ибо многих, очень многих дальнейшее пребывание в советском раю грозит окончательно свести с ума

и толкает на самоубийство. Упорно поговаривали, что чуть ли не половина москвичей находится на учете в психиатрических диспансерах. Через одну Канатчикову дачу ежегодно проходит до семнадцати тысяч больных, а ведь существует еще много больниц; например, в знаменитых подмосковных «Столбах» содержалось одновременно до двадцати тысяч душевнобольных. Упорно говорили также, что под Казанью есть специальная психиатрическая больница, где фактически содержатся тысячи политических заключенных. Андрей Ефимович, конечно, знал, что неугодные попадают сейчас не в тюрьмы, а в сумасшедшие дома, и был глубоко возмущен этим лицемерием; таким образом можно было утверждать, что этих людей не подвергают репрессиям, а «лечат».

Андрей Ефимович с глубокой горечью сознавал, что этой беде он помочь не может; его вмешательство вызвало бы отставку, а жить без людей, без труда он не мог. И старался по мере сил помогать отдельным лицам, наиболее достойным. Метод его был незамысловат: лечить так, чтобы не повредить здоровью, какими-нибудь нейтральными снадобьями, и, подержав для видимости человека месяца два, выписать его как здорового. Авторитет Андрея Ефимовича был настолько велик, что никто из полицейских не посмел бы ему перечить или заподозрить его в недобросовестности. Кроме того, — что скажет Европа? Можно наплевать на своих, но с чужими приходится считаться — мы ведь тоже европейцы.

Когда Андрей Ефимович говорил об успехе советской психиатрии, он добродушно улыбался, — улыбка его была обаятельной и обезоруживающей, — и как-то однажды он сказал:

– Что ж, из чеховской палаты № 6 мы, пожалуй, перешли в палату № 7, более благоустроенную.

«И более страшную, невольно подумал он и вспомнил американскую тюрьму Синг, со всем современным комфортом, — можно ли это считать прогрессом социальной справедливости, морали?»

Палата № 7 была несравненно комфортабельнее палаты № 6, но всё же Андрей Ефимович, постоянно читавший и перечитывавший Чехова, всегда находил, что и сегодня можно было с полным правом повторить чеховские слова как оценку нашей действительности:

«Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли…»

Разумеется, обстановка изменилась, внешне всё прилично — чисто, порядок. Однако учреждение это было еще в большей степени безнравственным и вредным, так как здесь не лечили больных, а калечили, и больницу превратили в тюрьму.

Андрей Ефимович Нежевский, академик и главный психиатр, видел нечто знаменательное в том, что он является тезкой чеховского доктора из «Палаты № 6» и что их мысли и переживания во многом совпадают. С большой душевной болью перечитывал он чеховские строки:

«Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право».

Он мог бы уйти с работы, — возраст вполне позволял ему это, персональная пенсия обеспечила бы его несложные нужды, — но Андрей Ефимович не мог не работать. Он знал, что одиночество в большой и неуютной квартире, «черные мысли, как мухи» (слова из романса, который он пел в студенческие годы) быстро сведут его в могилу — в лучшем случае, а в худшем — приведут его в отчаяние, куда-то на самый край ночи.

И он решил примириться с теорией «малых дел», которую зло высмеивал в юности. Ничего не поделаешь, — у старости другие требования, другие законы. Андрею Ефимовичу казалось, что если ему удастся ежегодно спасать несколько человек от принудительного «лечения», это будет не меньше, чем спасти их от каторги, тоже усовершенствованной, но не менее тяжелой для души.

А спасти человеческую душу, может быть, и не малое дело…

С врачами Андрей Ефимович обращался небрежно, даже несколько заносчиво, не потому, что натуре его присуща была надменность, а потому, что не уважал их, не любил, как всех чиновников вообще. А медицинские чиновники казались ему особенно отвратительными, — среди них он выделял ответственных работников министерства здравоохранения, которые захлебывались от сознания собственного величия и хвастались, как истые Хлестаковы. И он снова вспоминал слова чеховского доктора: «…Сущность дела нисколько не изменилась… Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, всё вздор и суета…»

И что-то страшное, невыразимое вселялось в его душу, когда он читал: «Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье… Значит, в своей нечестности виноват не я, а время… Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Однако родиться на двести лет позже Андрею Ефимовичу не хотелось. Он часто жалел, что не родился двумя тысячелетиями раньше, в Элладе — стране философов и поэтов. Люди настолько измельчали, что ему даже не с кем было побеседовать по душам; все озабочены мелкими и мельчайшими личными делами, — квартирами, приработком к скудной зарплате, публикацией никому не нужных «трудов», поисками теплого местечка, «доставанием» манной крупы и лапши; а сколько сплетен, интриг, злословия, — какая сногсшибательная пошлость! До революции русская интеллигенция была в десять раз выше… Такое невероятное измельчание! Даже читать нечего. Да, прав был Мережковский — «Грядущий хам!» Какой пророк!

Книги советских писателей Андрей Ефимович никогда не читал, а их самих даже не считал писателями, а литературными чинушами, достойными презрения.

У него не было друзей, родные разбрелись по белу свету, с врачами он не общался. В последнее время он, однако, начал сближаться с Зоей Алексеевной Маховой, которую поначалу тоже не замечал. Их настоящее знакомство и последовавшая затем дружба начались при обстоятельствах необычайных, но об этом потом. А пока хотелось бы сказать, что Зоя Алексеевна, которой шел тридцатый год, производила на всех окружающих впечатление обманчивое, — все без исключения представляли ее себе совсем не такой, какой она была в дей-

ствительности. Высокая, с горделиво посаженной головой на тонкой шее, с темно-каштановыми волосами, с глазами, как спелый чернослив, с каким-то зловещим отливом, властными и строгими, она казалась всем сухой, самодовольной и жестокой, не терпящей возражений эгоисткой, но в действительности она была великомученицей, которая не могла примириться с этой нечеловеческой жизнью и, вместе с тем, не могла уйти от нее ни на шаг, так как любила людей и жизнь со всей присущей ей страстностью, особенно после того, как потерпела окончательную неудачу в семейной жизни. Муж ее, тоже врач, был невозмутимым сухим педантом, одним из тех твердокаменных чиновников, которые морщились, когда при них произносили слова «сердце», «душа», «вдохновение». Детей у них не было, — супруг считал, что дети помешают их «плодотворной деятельности на благо родины», требующей «отдать себя всего служению людям и науке», — так он высокопарно декламировал не раз. Но на самом деле он не служил ни родине, ни людям, ни науке, а только себе. Карьерист и ловкий лицемер, он к сорока годам успел стать одним из помощников министра и ведал всеми психиатрическими учреждениями.

Зоя Алексеевна от него не уходила, хотя и нельзя сказать, чтобы она жила с ним. В стране социализма тысячи и тысячи мужей и жен так жили и живут годами, совершенно чужие и даже враждебные, — разойтись почти невозможно из-за квартирных условий. Можно было зарабатывать любые деньги, но квартиру мог дать только всесильный жилотдел, и приходилось ждать по десяти и даже по двадцати лет, а пока жили, как правило, по четыре-пять человек в одной комнате и даже по две семьи.

Кроме того, высокопоставленный супруг Зои Алексеевны, разумеется, член коммунистической партии, считал развод неудобным для карьеры. Она пока не возражала, — ей было безразлично, с какими соседями жить. Они почти не встречались, и ей не хотелось терять удобную квартиру, да и идти было некуда, — она вела большую научную работу, в практической повседневности была беспомощной. Да и то, что она жила с мужем в одной квартире, ни к чему ее не обязывало.

Зоя Алексеевна любила свою профессию, боготворила науку и очень страдала от того, что всё происходившее в больнице было не наукой, а только одними правилами, как в палате № 6, так потрясающе описанной Чеховым. Больше всего страдала она от недоверия больных. Она хорошо знала, что когда больной не доверяет врачу, не только вылечить его нельзя, но и невозможно поставить правильный диагноз.

Зоя Алексеевна настойчиво и мужественно преодолевала эту преграду на своем трудном пути. Она часами просиживала с каждым больным, старалась завоевать его доверие. Но слишком часто она ничего не добивалась. И вот нежданно-негаданно помогло ей одно случайное обстоятельство; в тот день и привлекла она особое внимание академика Нежевского.

<...>

Москва, 1963

Источник: библиотека А. Белоусенко (http://belousenkolib.narod.ru).



Гроссман
Василий Семенович
(Иосиф Соломонович)

(1905–1964)

Писатель.

Родился в Бердичеве. Окончил Московский университет в 1929 г. В 30-х годах вступил в ВКП (б). Писал на историко-революционные и производственные темы. В годы войны был корреспондентом «Красной звезды». Преуспевающий комформист при жизни, Гроссман оставил после себя две «бомбы замедленного действия». Повесть «Все течет» (1955-63, опубликована издательством «Посев» в 1970 г., после чего ходила в Самиздате; на родине — в 1989 г. в журнале «Октябрь», № 6). Повести на неполные 80 стр. предшествовал философско-социологический комментарий под названием «Ленин и Сталин» на 30 стр., в котором некто Г. Водолазов делает безуспешную попытку разделить двух героев своей статьи и, обелив первого, свалить все преступления реального социализма на второго). Рукопись романа «Жизнь и судьба» (1948-1960) в 1961 г. была арестована, но каким-то образом попала на Запад, где была опубликована в 1980 г.

Основные произведения:

«Степан Кольчугин», роман (1937-40);

«Народ бессмертен», повесть (1942);

«Если верить пифагорейцам», пьеса (1946);

«За правое дело», роман (1952);

«Все течет», повесть (1955-63);

«Жизнь и судьба», роман (1948-1960).

ВСЕ ТЕЧЕТ

21

И странно было. Думая о тридцать седьмом годе, думая о женщинах, посланных в каторгу за мужей, вспоминая сплошную коллективизацию и голод в деревне, думая о законах, карающих рабочих тюрьмой за двадцатиминутное опоздание, карающих крестьян восьмилетним лагерем за сокрытие нескольких колосков, Иван Григорьевич не вспоминал усатого человека в сапогах и гимнастерке.

Ленин! Словно бы жизнь его не оборвалась 21 января 1924 года.

Мысли свои о Ленине, о Сталине Иван Григорьевич иногда записывал в оставленной Алешей ученической тетрадке.

Все победы партии и государства связаны с именем Ленина. Но и все жестокое, что совершалось в стране, трагическим образом принимал на свои плечи Владимир Ильич.

Его революционной страстью, его речами, статьями, его призывами подтверждались и события в деревне, и 1937 год, и новое чиновничество, и новое мещанство, и труд заключенных.

И постепенно, с годами, словно исподволь менялись черты ленинского лица, менялся облик студента Володи Ульянова, молодого марксиста Тулина, сибирского ссыльного, революционера-эмигранта, публициста, мыслителя Владимира Ильича Ленина, облик человека, провозгласившего эру мировой социалистической революции, создателя революционной диктатуры в России, ликвидировавшего все революционные партии, кроме одной, казавшейся ему самой революционной, ликвидировавшего Учредительное собрание, представительствовавшее от всех классов и партий послереволюционной России, и создавшего Советы, где, по его мысли, представительствовали одни лишь революционные рабочие и крестьяне. Менялись ленинские черты, знакомые по портретам, менялся облик первого председателя Советского правительства Владимира Ильича Ульянова — Ленина.

Ленинское дело продолжалось, и облик умершего Ленина невольно обогащался теми чертами, которыми обогащалось начатое им дело.

Он был интеллигентом, он вышел из трудовой интеллигентной семьи, его сестры, его братья были трудовыми революционными интеллигентами, его старший брат, Александр, народоволец, стал героем и святым мучеником революции.

Авторы воспоминаний говорят о том, что, уже будучи вождем революции, создателем партии, главой Советского правительства, он был неизменно прост. Он не курил и не пил, наверное, ни разу в жизни не обругал он человека нецензурным матерным словом. Его досуг, отдых были по-студенчески чисты — музыка, театр, книга, прогулка. Его одежда была неизменно демократична, почти бедна.

Неужели вот он, что в мятом галстуке и в стареньком пиджаке ходил в театр на галерку, слушал «Аппассионату», читал и перечитывал «Войну и мир», он, милый сердцу матери, любимый сестрами, Володя, стал основоположником государства, украсившего высшим орденом своим — орденом Ленина — грудь Ягоды, Ежова, Берии, Меркулова, Абакумова.

Награждение Лидии Тимашук орденом Ленина состоялось в годовщину смерти Владимира Ильича — свидетельствовало ли оно, что ленинское дело иссякло или, наоборот, что дело его торжествует?

Шли годы пятилеток, шли десятилетия, огромные события, полные раскаленной современности, дымясь, застывали глыбами, схваченные цементом времени, обращались в историю Советского государства.

..Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

Понимал ли поэт трагический смысл того, что написал о Ленине? Отмеченные биографами и воспоминателями черты его характера, казавшиеся основными, чаровавшие миллионы сердец и умов, оказались случайными для хода истории; история государства российского не отобрала эти человечные и человеческие черты характера Ленина, а отбросила их как ненужный хлам. Истории государства не понадобились ни ленинское слушание «Аппассионаты» с

ладонью, приложенной к глазам, ни преклонение перед «Войной и миром», ни скромный ленинский демократизм, ни его сердечность и внимательность к малым сим, секретарям, шоферам, ни его разговоры с крестьянскими детьми, ни его милое отношение к домашним животным, ни его сердечная боль, когда Мартов из друга превратился во врага.

А все, вынесенное за скобки, как временное, случайное, возникшее в силу особых обстоятельств подполья и ожесточения борьбы первых советских лет, оказалось непреходящим, определяющим.

Вот та самая черта ленинского характера, не отмеченная воспоминателями, которая определила указание произвести обыск у умирающего Плеханова, те черты, которые определили полную нетерпимость к политической демократии, они-то и развились.

Заводчик, купец, вышедший из мужиков, живя в своем особняке, путешествуя на собственной яхте, сохраняет черты своего крестьянского характера — любовь к кислым щам, к квасу, к грубому меткому народному слову. Маршал, в расшитом золотом мундире, хранит любовь к махорочной самокрутке, помнит простой юмор солдатских изречений.

Но значат ли эти черты и память в судьбах заводов, в жизни миллионов людей, связанных трудом и судьбой с заводами, движением акций и движением войск?

Не любовью к щам и махорочной самокрутке завоевывается капитал и слава генералов.

Одна из воспоминательниц описывает, как в Швейцарии отправилась в горы на воскресную прогулку с Владимиром Ильичом. Задыхаясь от крутого подъема, поднялись они на вершину, уселись на камне. Казалось, взгляд Владимира Ильича впитывал каждую черточку горной альпийской красоты. Молодая женщина с волнением представляла себе, как поэзия наполняет душу Владимира Ильича. Вдруг он вздохнул и произнес: «Ох, и гадят нам мешьшевики».

Это милый эпизод сказал кое-что о натуре Ленина: вот на одной чаше весов божий мир, вот на второй чаше партийное дело.

Октябрь отобрал те черты Владимира Ильича, которые понадобились ему, Октябрю, отбросил ненужные.

На протяжении истории русского революционного движения черты народолюбия, присущие многим русским революционным интеллигентам, чья кротость и готовность на муку не имели, кажется, себе равных со времен древнего христианства, смешались с чертами прямо противоположными, но также присущими многим русским революционным преобразователям — презрением и неумолимостью к человеческому страданию, преклонением перед абстрактным принципом, решимостью истреблять не только врагов, но и своих товарищей по делу, едва они хоть в чем-нибудь отойдут от понимания этих абстрактных принципов. Сектантская целеустремленность, готовность подавлять живую, сегодняшнюю свободу ради свободы измышленной, нарушать житейские принципы морали ради принципа грядущего давали о себе знать в характере Пестеля, и в характере Бакунина, и Нечаева, и в некоторых высказываниях и поступках народовольцев.

Нет, не только любовь, не одно лишь сострадание вели подобных людей

путем революции. Истоки этих характеров лежат далеко, далеко в тысячелетних недрах России.

Подобные характеры существовали и в прежние века, но двадцатый век вывел их из-за кулис на главную сцену жизни.

Этот характер ведет себя среди человечества, как хирург в палатах клиники, — его интерес к больным, их отцам, женам, матерям, его шутки, его споры, его борьба с детской беспризорностью и забота о рабочих, достигших пенсионного возраста, — все это пустяковина, мура, шелуха. Душа хирурга в его ноже.

Суть подобных людей — в фанатической вере во всесилие хирургического ножа. Хирургический нож — великий теоретик, философский лидер двадцатого века.

На протяжении своей пятидесятичетырехлетней жизни Ленин не только слушал «Аппассионату», перечитывал «Войну и мир», вел задушевные беседы с крестьянами-ходоками, тревожился, есть ли у секретаря зимнее пальто, любовался русской природой. Да, да, конечно, помимо образа есть и лицо.

И можно себе представить множество черт и особенностей Ленина, проявлявшихся в обыденной жизни, той, что неминуема для всех людей, — вожди они народов, врачи-стоматологи, закройщики в мастерских дамского платья.

Эти черты проявляются в разное время суток, когда человек моет утром лицо, ест кашу, смотрит в окно на хорошенькую женщину, которой ветер задрал юбку, ковыряет в зубах спичкой, ревнует жену и вызывает ревность жены, рассматривает в бане свои голые ноги и чешет подмышки, читает в уборной обрывки газет, стараясь составить порванные куски, издает неприличный звук и в целях маскировки кашляет и напевает.

Подобные либо сходные вещи существуют в жизни великих и малых людей, очевидно, существовали и в жизни Ленина.

Может быть, брюшко у Ленина возникло оттого, что он объедался макаронами с маслом, предпочитал их овощной пище.

Может быть, у него были неизвестные миру столкновения с Надеждой Константиновной по поводу мытья ног, чистки зубов и нежелания менять ношеную сорочку с засаленным воротничком.

И вот можно, прорвавшись сквозь редуты, создающие якобы человеческий, а в действительности совершенно условный, возвышенный образ вождя, перебежками, по-пластунски ползком добраться до простого, истинного естества Ленина, того, которое никем из воспоминателей никогда не упоминается.

Но что даст познание истинных, житейских, тайных, скрытых от истории черт и особенностей поведения Ленина в ванной комнате, спальне, столовой? Поможет ли это глубже понять лидера новой России, основоположника нового мирового порядка? Свяжет ли это истинной связью характер Ленина с характером основанного им государства? Для этого необходимо сделать допущение, что черты Ленина — политического лидера эквивалентны житейским чертам Ленина. Но подобное допущение будет совершенно произвольным, и делать его нельзя. Ведь подобная связь бывает то с прямым знаком, то с обратным.

Вот, скажем, в личных, частных отношениях: ночуя у друзей, на совместных прогулках, оказывая помощь товарищам, Ленин неизменно проявлял деликатность, мягкость, вежливость. И одновременно и постоянно Ленина отли-

чала безжалостность, резкость, грубость по отношению к политическим противникам. Он никогда не допускал возможности хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты.

«Продажный... лакей... холуй... наймит... агент... Иуда, купленный за тридцать сребреников...» — такими словами Ленин часто говорил о своих оппонентах.

Ленин в споре не стремился убедить противника. Ленин в споре вообще не обращался к своему оппоненту, он обращался к свидетелям спора. Его целью было перед лицом свидетелей спора высмеять, скомпрометировать своего противника. Такими свидетелями спора могли быть и несколько близких друзей, и тысячная масса делегатов съезда, и миллионная масса читателей газет.

Ленин в споре не искал истины, он искал победы. Ему во что бы то ни стало надо было победить, а для победы хороши были многие средства. Здесь хороши были и внезапная подножка, и символическая пощечина, и символический, условный, ошеломляющий удар кулаком по кумполу.

И оказалось, что житейские, бытовые, семейные черты Ленина никак не были связаны с чертами лидера нового мирового порядка.

Затем, когда спор перешел со страниц журналов и газет на улицы, на поля ржи и на поля войны, оказалось, что и тут хороши жестокие средства.

Ленинская нетерпимость, непоколебимое стремление к цели, презрение к свободе, жестокость по отношению к инакомыслящим и способность, не дрогнув, смести с лица земли не только крепости, но волости, уезды, губернии, оспорившие его ортодоксальную правоту, — все эти черты не возникли в Ленине после Октября. Эти черты были и у Володи Ульянова. У этих черт глубокие корни.

Все его способности, его воля, его страсть были подчинены одной цели — захватить власть.

Он жертвовал ради этого всем, он принес в жертву, убил ради захвата власти самое святое, что было в России, — ее свободу. Эта свобода была детски беспомощна, неопытна. Откуда ей, восьмимесячному младенцу, рожденному в стране тысячелетнего рабства, иметь опыт?

Черты интеллигента, казавшиеся истинным содержанием ленинской души и ленинского характера, едва дело доходило до дела, уходили во внешнюю, незначащую форму, а характер его проявлялся в несгибаемой, железной и исступленной воле.

Что вело Ленина путем революции? Любовь к людям? Желание побороть бедствия крестьян, нищету и бесправие рабочих? Вера в истинность марксизма, в свою партийную правоту?

Русская революция для него не была русской свободой. Но власть, к которой он так страстно стремился, была нужна не ему лично.

Вот здесь проявилась одна из особенностей Ленина: сложность характера, рожденная из простоты характера.

Для того, чтобы с такой мощью жаждать власти, надо обладать огромным политическим честолюбием, огромным властолюбием. Черты эти грубы и просты. Но ведь этот политический честолюбец, способный на все в своем стремлении к власти, был лично необычайно скромен, власть он завоевывал не для себя. Тут кончается простота и начинается сложность.

Если представить себе Ленина-человека эквивалентным Ленину-политику, то возникнет характер примитивный и грубый, нахрапистый, властный, безжалостный, бешено честолюбивый, догматически крикливый.

Если соотнести эти черты к обыденной жизни, приложить их по отношению к жене, матери, детям, другу, соседу по квартире. Жутко становится.

Но ведь оказалось совсем иное. Человек на мировой арене оказался обратен человеку в личной жизни. Плюс и минус, минус и плюс.

И получается совсем иное, сложное, порой трагичное.

Бешеное политическое властолюбие, соединенное со стар採еньким пиджаком, со стаканом жиденького чая, со студенческой мансардой.

Способность, не колеблясь, втоптать в грязь, оглушить противника в споре, непонятным образом соединенная с милой улыбкой, с застенчивой деликатностью.

Неумолимая жестокость, презрение к высшей святыне русской революции — свободе и тут же рядом, в груди того же человека, чистый, юношеский восторг перед прекрасной музыкой, книгой.

Ленин... Обоготворенный образ; второй — монолитный простак, созданный врагами Ленина, соединивший, слившие в себе жестокие черты лидера нового мирового порядка с примитивно грубыми житейскими чертами, — лишь эти черты видели в Ленине его враги; наконец, тот, который мне кажется наиболее близким к действительности, и в нем непросто разобраться.

22

Чтобы понять Ленина, недостаточно вглядеться в человеческие, житейские черты его. Недостаточны черты Ленина-политика, нужно соотнести характер Ленина сперва к мифу национального русского характера, а затем к року, характеру русской истории.

Ленинская аскетичность, естественная скромность сродни русским странникам, его прямодушие и вера отвечают народному идеалу жизнеучителя, его привязанность к русской природе в ее лесном и луговом образе сродни крестьянскому чувству. Его восприимчивость к миру западной мысли, к Гегелю и Марксу, его способность впитывать в себя и выражать дух Запада есть проявление черты глубоко русской, объявленной Чаадаевым, это та всемирная отзывчивость, изумляющая глубина русского перевоплощения в дух чужих народов, которую Достоевский увидел в Пушкине. Этой чертой Ленин роднится с Пушкиным. Этой чертой был наделен Петр I.

Ленинская одержимость, убежденность — словно бы сродни аввакумовскому исступлению, аввакумовской вере. Аввакум — явление самородное, русское.

В прошлом веке отечественные мыслители искали объяснения исторического пути России в особенностях русского национального характера, в русской душе, в русской религиозности.

Чаадаев, один из умнейших людей девятнадцатого века, оповестил аскетический, жертвенный дух русского христианства, его не замутненную ничем наносным византийскую природу.

Достоевский считал всечеловечность, стремление к всечеловеческому сли-

янию истинной основой русской души.

Русский двадцатый век любит повторять те предсказания, что сделали о нем мыслители и пророки России в веке девятнадцатом, — Гоголь, Чаадаев, Белинский, Достоевский.

Да и кто не любил бы повторять о себе подобное…

Пророки девятнадцатого века предсказывали, что в будущем русские станут во главе духовного развития не только европейских народов, но и народов всего мира.

Не о военной славе русских, а о славе русского сердца, русской веры и русского примера говорили предсказатели.

«Птица тройка…» «Русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону…» «Тогда мы естественно займем свое место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в качестве таранов, но и в качестве идей» «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты…»

И тут же Чаадаев гениально различил поразительную черту русской истории: «…колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собой не что иное, как строго логическое следствие нашей истории».

Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало тысячелетней истории русских. Холопское подчинение личности государю и государству. Да, и эти черты видели, признавали пророки России.

И вот наряду с подавлением человека князем, помещиком, государем и государством — пророки России сознавали невиданную западным миром чистоту, глубину, ясность, Христову силу души русского человека. Ей, русской душе, и пророчили пророки великое и светлое будущее. Они сходились на том, что в душе русских идея христианства воплощена в безгосударственной, аскетической, византийской, антизападной форме, и что силы, присущие русской народной душе, выразят себя в мощном воздействии на европейские народы, очистят, преобразуют, осветят в духе братства жизнь западного мира, и что западный мир доверчиво и радостно пойдет за русским всечеловеком. Эти пророчества сильнейших умов и сердец России объединялись одной общей им роковой чертой. Все они видели силу русской души, прозревали ее значение для мира, но не видели они, что особенности русской души рождены несвободой, что русская душа — тысячелетняя раба. Что даст миру тысячелетняя раба, пусть и ставшая всесильной?

И вот девятнадцатый век, казалось, приблизил наконец время, предсказанное пророками России, время, когда Россия, столь восприимчивая к чужой проповеди и к чужому примеру, жадно поглощавшая и всасывавшая чужие духовные влияния, сама готовила себя к воздействию на мир.

Сто лет Россия впитывала в себя заносную идею свободы. Сто лет пила Россия устами Пестеля, Рылеева, Герцена, Чернышевского, Лаврова, Бакунина, устами писателей своих, мученическими устами Желябова, Софьи Перовской, Тимофея Михайлова, Кибальчича, устами Плеханова, Кропоткина, Михайловского, устами Сазонова и Каляева, устами Ленина, Мартова, Чернова, устами

своей разночинной интеллигенции, своего студенчества, своих передовых рабочих — мысль философов и мыслителей западной свободы. Эту мысль несли книги, кафедры университетов, гейдельбергские и парижские студенты, ее несли сапоги бонапартовых солдат, ее несли инженеры и просвещенные купцы, ее несла служивая западная беднота, чье чувство человеческого достоинства вызывало завистливое удивление русских князей.

И вот, оплодотворенная идеями свободы и достоинства человека, совершилась русская революция.

Что же содеяла русская душа с идеями западного мира, как преобразовала их в себе, в какой кристалл выделила их, какой побег готовилась выгнать из подсознания истории?

«...Русь, куда же несешься ты? ...Не дает ответа...»

Подобно женихам прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни революционных учений, верований, лидеров, партий, пророчеств, программ... Жадно, со страстью и с мольбой вглядывались вожди русского прогресса в лицо невесты.

Широким кругом стояли они — умеренные, фанатики, трудовики, народники, рабочелюбцы, крестьянские заступники, просвещенные заводчики, светолюбивые церковники, бешеные анархисты.

Невидимые, часто неощущаемые ими нити связывали их с идеями западных конституционных монархий, парламентов, образованнейших кардиналов и епископов, заводчиков, ученых землевладельцев, лидеров рабочих профессиональных союзов, проповедников, университетских профессоров.

Великая раба остановила свой ищущий, сомневающийся, оценивающий взгляд на Ленине. Он стал избранником ее.

Он разгадал, как в старой сказке, ее затаенную мысль, он растолковал ее недоуменный сон, ее помысел.

Но так ли?

Он стал избранником ее потому, что он избрал ее, и потому, что она избрала его.

Она пошла за ним — он обещал ей златые горы и реки, полные вина, и она пошла за ним сперва охотно, веря ему, по веселой хмельной дороге, освещенной горящими помещичьими усадьбами, потом оступаясь, оглядываясь, ужасаясь пути, открывшегося ей, но все крепче и крепче чувствуя железную руку, что вела ее.

И он шел, полный апостольской веры, вел за собой Россию, не понимая чудного наваждения, творившегося с ним. В ее послушной поступи, в ее новой, после свержения царя, покорности, в ее податливости, сводившей с ума, тонуло, гибло, преображалось все, что он принес России из свободолюбивого, революционного Запада.

Ему казалось, что в его непоколебимой, диктаторской силе залог чистоты и сохранности того, чему он верил, что принес своей стране.

Он радовался этой силе, отождествлял ее с правотой своей веры и вдруг, на мгновение, со страхом видел, что в его непоколебимости, обращенной к мягкой русской покорности и внушаемости, и есть его высшее бессилие.

И чем суровее делалась его поступь, чем тяжелее становилась его рука, чем

послушнее становилась его ученому и революционному насилию Россия, тем меньше была его власть бороться с поистине сатанинской силой крепостной старины.

Подобно тысячелетнему спиртовому раствору, крепло в русской душе крепостное, рабское начало. Подобно дымящейся от собственной силы царской водке, оно растворило металл и соль человеческого достоинства, преобразило душевную жизнь русского человека.

Девятьсот лет просторы России, порождавшие в поверхностном восприятии ощущение душевного размаха, удали и воли, были немой ретортой рабства.

Девятьсот лет уходила Россия от диких лесных поселений, от чадных курных изб, от скитов, от бревенчатых палат к уральским заводам, к донецкому углю, к петербургским дворцам, Эрмитажу, к могучей своей артиллерии, к своим тульским металлургам и токарям, к фрегатам и паровым молотам.

В поверхностном восприятии рождалось однозначное ощущение растущего просвещения и сближения с Западом.

Но чем больше становилась схожа поверхность русской жизни с жизнью Запада, чем более заводской грохот России, стук колес ее тарантасов и поездов, хлопанье ее корабельных парусов, хрустальный свет в окнах ее дворцов напоминали о западной жизни, тем больше росла тайная пропасть в самой сокровенной сути русской жизни и жизни Европы.

Бездна эта была в том, что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства.

История человека есть история его свободы. Рост человеческой мощи выражается прежде всего в росте его свободы. Свобода не есть осознанная необходимость, как думал Энгельс. Свобода прямо противоположна необходимости, свобода есть преодоленная необходимость. Прогресс в основе своей есть прогресс человеческой свободы. Да ведь и сама жизнь есть свобода, эволюция жизни есть эволюция свободы.

Русское развитие обнаружило странное существо свое — оно стало развитием несвободы. Год от года все жестче становилась крестьянская крепость, все таяло мужичье право на землю, а между тем русские наука, техника, просвещение все росли да росли, сливаясь с ростом русского рабства.

Рождение русской государственности было ознаменовано окончательным закрепощением крестьян: упразднен был последний день мужицкой свободы — двадцать шестое ноября — Юрьев день.

Все меньше становилось «вольных», «бродячих» людей, все множилось число холопов, и Россия стала выходить на широкий путь европейской истории. Прикрепленный к земле стал прикреплен к хозяину земли, потом и к служивому человеку, представлявшему государство и войско; и хозяин получил право суда над крепостным, а потом и право московской пытки (так ее называли четыре века назад) — это подвешивание за связанные за спиной руки, битье кнутом. И росла русская металлургия, ширились лабазы, крепло государство и войско, разгоралась заря русской воинской славы, ширилась грамотность.

Могучая деятельность Петра, основоположника русского научного и промышленного прогресса, связалась со столь же могучим прогрессом крепостного права. Петр приравнял крепостных, сидевших на земле, к холопам — дворовым,

обратил «гулящих» людей в крепостных. Он закрепостил «черносошных» на севере и «однодворцев» на юге. Помимо помещичьего крепостного права, при Петре зацвело государственное крепостное право — оно помогало Петрову просвещению и прогрессу. Петру казалось, что он сближает Россию с Западом, да так и было оно, но пропасть, бездна между свободой и несвободой все росла и росла.

И вот пришел блистательный век Екатерины, век дивного цветения русских искусств и русского просвещения, век, когда русское крепостное право достигло своего высшего развития.

Так тысячелетней цепью были прикованы друг к другу русский прогресс и русское рабство. Каждый порыв к свету углублял черную яму крепостничества.

Девятнадцатый век — особый век в жизни России.

В этот век заколебался основной принцип русской жизни — связь прогресса с крепостничеством.

Революционные мыслители России не оценили значение совершившегося в девятнадцатом веке освобождения крестьян. Это событие, как показало последующее столетие, было более революционным, чем события Великой Октябрьской социалистической революции: это событие поколебало тысячелетнюю основу основ России, основу, которой не коснулись ни Петр, ни Ленин: зависимость русского развития от роста рабства.

После освобождения крестьян революционные лидеры, интеллигенция, студенчество бурно, со страстной силой, с самоотверженностью боролось за неведомое Россией человеческое достоинство, за прогресс без рабства. Этот новый закон был полностью чужд русскому прошлому, и никто не знал, какова же станет Россия, если она откажется от тысячелетней связи своего развития с рабством, каков же станет русский характер?

В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы. Россия выбрала Ленина.

Огромна была ломка русской жизни, произведенная Лениным. Ленин сломал помещичий уклад. Ленин уничтожил заводчиков, купцов.

И все же рок русской истории определил Ленину, как ни дико и странно звучит это, сохранить проклятие России: связь ее развития с несвободой, с крепостью.

Лишь те, кто покушается на основу основ старой России — ее рабскую душу, — являются революционерами.

И так сложилось, что революционная одержимость, фанатическая вера в истинность марксизма, полная нетерпимость к инакомыслящим привели к тому, что Ленин способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатичной души.

Действительно трагично, что человек, так искренне упивавшийся книгами Толстого и музыкой Бетховена, способствовал новому закрепощению крестьян и рабочих, превращению в холуев из государственной людской выдающихся деятелей русской культуры, подобных Алексею Толстому, химику Семенову, музыканту Шостаковичу.

Спор, затеянный сторонниками русской свободы, был наконец решен — русское рабство и на этот раз оказалось непобедимо.

Победа Ленина стала его поражением.

Но трагедия Ленина была не только русской трагедией, она стала трагедией всемирной.

Думал ли он, что в час совершенной им революции не Россия пойдет за социалистической Европой, а таившееся русское рабство выйдет за пределы России и станет факелом, освещающим новые пути человечества.

Россия уже не впитывала свободный дух Запада, Запад зачарованными глазами смотрел на русскую картину развития, идущего по пути несвободы.

Мир увидел чарующую простоту этого пути. Мир понял силу народного государства, построенного на несвободе.

Казалось, свершилось то, что предвидели пророки России сто и полтораста лет тому назад.

Но как странно и страшно свершилось.

Ленинский синтез несвободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии.

Европейские апостолы национальных революций увидели пламень с Востока. Итальянцы, а затем немцы, стали по-своему развивать идеи национального социализма.

А пламя все разгоралось — его восприняла Азия, Африка.

Нации и государства могут развиваться во имя силы и вопреки свободе!

Это не была пища для здоровых, это было наркотическое лекарство неудачников, больных и слабых, отсталых или битых.

Тысячелетний русский закон развития волей, страстью, гением Ленина стал законом всемирным.

Таков был рок истории.

Ленинская нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам, все то, что принесло победу ленинскому делу, рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской несвободы. Потому-то ленинская победа послужила несвободе. А рядом тут же, бесплотно, не знача, продолжались и жили чаровавшие миллионы людей ленинские черты милого, скромного русского трудового интеллигента.

Что ж. По-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет.

Да и была ли она? Какая же загадка в рабстве?

Что ж, это действительно именно русский и только русский закон развития? Неужели русской душе, и только ей, определено развиваться не с ростом свободы, а с ростом рабства? Действительно, сказывается ли здесь рок русской души?

Нет, нет конечно.

Закон этот определен теми параметрами, а их десятки, а, может быть, и сотни, в которых шла история России.

Не в душе тут дело. И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией, в русскую трагическую огромность тысячу лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане — закон их истории стал бы тем же, каким был закон русского движения. Да и не одни русские познали эту дорогу. Немало есть народов на всех континентах Земли, которые то отдаленно, смутно, то ближе, ясней в своей горечи узнавали горечь русской дороги.

Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души.

И в восхищении византийской аскетической чистотой, христианской кротостью русской души живет невольное признание незыблемости русского рабства. Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической чистоты те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры — они в тысячелетней крепостной несвободе.

И потому-то так трагически ошиблись пророки России. Да где же она, «русская душа, — всечеловеческая и всесоединяющая», которой предсказывал Достоевский «изречь окончательные слова великой общей окончательной гармонии, братского окончательного согласия всех времен по Христову евангельскому закону»?

Да в чем же она, господи, эта всечеловеческая и всесоединяющая душа? Думали ли пророки России в соединенном скрежете колючей проволоки, что натягивали в сибирской тайге и вокруг Освенцима, увидеть свершение своих пророчеств о будущем всесветном торжестве русской души?

Ленин во многом противоположен пророкам России. Он бесконечно далек от их идей кротости, византийской, христианской чистоты и евангельского закона. Но удивительно и странно — он одновременно вместе с ними. Он, идя совсем иной, своей, ленинской дорогой, не старался уберечь Россию от тысячелетней бездонной трясины несвободы, он, как и они, признал незыблемость русского рабства. Он, как и они, рожден нашей несвободой.

Крепостная душа русской души живет и в русской вере, и в русском неверии, и в русском кротком человеколюбии, и в русской бесшабашности, хулиганстве и удали, и в русском скопидомстве и мещанстве, и в русском покорном трудолюбии, и в русской аскетической чистоте, и в русском сверхмошенничестве, и в грозной для врага отваге русских воинов, и в отсутствии человеческого достоинства в русском характере, и в отчаянном бунте русских бунтовщиков, и в исступлении сектантов, крепостная душа и в ленинской революции, и в страстной восприимчивости Ленина к революционным учениям Запада, и в ленинской одержимости, и в ленинском насилии, и в победах ленинского государства.

Всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души.

Где же надежда России, если даже великие пророки ее не различали свободы от рабства?

Где же надежда, если гении России видят кроткую и светлую красоту ее души в ее покорном рабстве?

Где же надежда России, если величайший преобразователь ее, Ленин, не разрушил, а закрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью?

Где пора русской свободной, человеческой душе? Да когда же наступит она?

А может быть, и не будет ее, никогда не настанет?

23

Ленин умер. Но не умер ленинизм. Не ушла из рук партии завоеванная Лениным власть. Товарищи Ленина, его помощники, его сподвижники и ученики продолжали ленинское дело.

...те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь: Ленин умер,
Их смерть к тоске не привела,
Еще суровей и угрюмей они творят его дела.

Осталась завоеванная Лениным диктатура партии, созданные им армия, милиция, ВЧК, ликбезы, рабфаки. Двадцать восемь томов произведений остались после смерти Ленина. Кто же из соратников его возможно глубже и полнее сумеет вобрать в себя, выразить своим характером, сердцем, мозгом истинную, главную суть ленинизма? Кто примет знамя Ленина, кто понесет его, кто построит великое государство, заложенное Лениным, кто поведет партию нового типа от победы к победе, кто закрепит новый порядок на земле?

Блестящий, бурный, великолепный Троцкий? Наделенный проникновенным даром обобщателя и теоретика обаятельный Бухарин? Наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу практик государственного дела волоокий Рыков? Способный к любым многосложным сражениям в конвенте, изощренный в государственном руководстве, образованный и уверенный Каменев? Знаток международного рабочего движения, полемист-дуэлянт международного класса Зиновьев?

Характер, дух каждого из них был близок, созвучен тем или иным граням ленинского характера. Но оказалось, что эти грани ленинского характера не были главными, основными, определяющими суть, корень рождающейся нови.

Роковым образом случилось так, что все черты ленинского характера, которые были выражены в характере почти гениального Троцкого, Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева, оказались крамольными чертами, привели всех названных лидеров к плахе, гибели.

Суть ленинского характера была не в этих чертах и гранях. В них оказалась ленинская слабость, крамола, ленинские чудачества, иллюзии, суть нови была не в них.

Ведь и черты Луначарского были в некой ленинской грани, слушавшей «Аппассионату» и упивавшейся «Войной и миром». Но уж не бедняге Луначарскому было определено сурово и угрюмо творить главное дело ленинской партии. Не Троцкому, Бухарину, Рыкову, Каменеву, Зиновьеву судила история выразить сокровенную суть Ленина. Ненависть Сталина к лидерам оппозиции была его ненавистью к тем чертам ленинского характера, которые противоречили ленинской сути.

Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина, потому что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина.

Борясь с ними, казня их, он как бы и с Лениным боролся, и Ленина казнил. Но одновременно именно он победоносно утвердил Ленина и ленинизм, поднял и укрепил над Россией ленинское знамя.

Источник: библиотека М. Мошкова (http://mazel.kulichki.ru/moshkow).

Урис Леон

(1925–2003)



Писатель.

Леон Урис родился в Америке, в городе Балтиморе. Окончив школу вскоре после событий Перл Харбора Леон Урис пошел на военную службу. Радистом в морской пехоте участвовал в военных кампаниях на острове Гуадалканал и в городе Тарава. Рассказы отца о Палестине будоражили детское воображение.

В зрелые годы интерес к еврейской истории и еврейской стране «материализовался» в его романе «Эксодус», где Урис описывает судьбы людей, которые ехали в Палестину, чтобы на Святой земле создать свое, еврейское государство. Литературные критики отнеслись к роману «Эксодус» без особого энтузиазма. Но основной читательской массе оценки «китов» безразличны.

Одно из самых красноречивых свидетельств успеха книги, пожалуй – факт, что роман переведен на десятки языков. «Эксодус» Уриса нелегально отправляли в страны социалистического лагеря в Европе. Этот роман стал настольной книгой активистов еврейского национального движения в СССР в 60-70-е годы.

ЭКСОДУС

Книга первая

ПО ТУ СТОРОНУ ИОРДАНА

Доколе Господь не даст покоя братьям вашим,
как вам, и доколе и они не получат во владение землю,
которую Господь, Бог ваш, дает им за Иорданом; тогда
возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам.

Слово Господне, данное Моисею во Второзаконии.

ГЛАВА 1

Ноябрь 1946

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КИПР

(Вильям Шекспир)

Самолет покатился по тряской посадочной дорожке и остановился перед огромным щитом с надписью: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КИПР. Марк Паркер посмотрел в окно и увидел в отдалении причудливые пики Пятипалой Вер-

шины среди гор северного побережья. Примерно через час он проедет через перевал по дороге в Кирению. Он встал в проходе, поправил галстук, спустил рукава рубашки и надел пиджак. «Добро пожаловать на Кипр, добро пожаловать на Кипр...» звучало у него в голове. Это же из «Отелло», подумал он, но не смог вспомнить продолжения.

– Везете что-нибудь? — спросил таможенный инспектор.

– Два фунта героина-сырца и порнографический альбом, — ответил Марк, ища глазами Китти.

Все они такие, эти янки: им лишь бы пошутить, подумал инспектор, пропуская Марка. Подошла служащая британской туристской компании.

– Вы мистер Марк Паркер?

– Он самый.

– Миссис Китти Фремонт звонила и просила простить, что не смогла встретить вас в аэропорту, и просила поехать прямо в Кирению. Она заказала для вас номер в Дворцовой гостинице.

– Спасибо, мой ангел. А как мне поймать здесь такси в Кирению?

– Я сейчас это устрою. Это займет всего несколько минут.

– Выпить здесь можно что-нибудь?

– Конечно! Пройдите прямо, там в конце зала — кафе. Облокотившись о стойку бара, Марк пил маленькими глотками чашку дымящегося черного кофе. «Добро пожаловать на Кипр... добро пожаловать на Кипр» — хоть убей, не мог вспомнить, как там дальше.

– Вот так встреча! — загудел рядом голос. — Я еще в самолете подумал, что это вы. Вы ведь Марк Паркер, верно? Держу пари, что вы меня не помните.

Нужное подчеркнуть, подумал Марк. Это было в Риме, Париже, Лондоне, Мадриде; дальше читайте внимательно: в баре Хозе, в трактире Джеймса, в кабачке Жака, в притоне Джо. В то время я писал о войне, революции, военном перевороте. В ту ночь со мной была: блондинка, брюнетка, рыжеволосая (а может, и та девка с двумя головами).

А пришедший стоял перед самым носом Марка и не умолкал.

– Помните, это я заказал тогда мартини, а у них не было апельсинного вермута. Вспомнили?

Марк вздохнул и глотнул кофе в ожидании новой атаки.

– Я знаю, все вам это говорят, но я действительно с удовольствием читаю ваши репортажи. Что вы делаете на Кипре? — он подмигнул и толкнул Марка в бок. — Держу пари, опять что-нибудь такое... Впрочем, почему бы нам не встретиться где-нибудь и выпить? Я живу в Никозии в Палас-Отеле, — он сунул визитную карточку Марку в руку. — И связи у меня есть кое-какие, — он снова подмигнул.

– Простите, мистер Паркер. Машина ждет вас.

Марк поставил чашку на стойку. — Мне было очень приятно, — буркнул он, торопясь к выходу. У дверей карточка полетела в корзину.

Такси развернулось и укатило. Марк откинулся на заднюю спинку и на мгновенье закрыл глаза. Он был рад, что Китти не смогла приехать в аэропорт. Столько прошло времени, столько надо сказать и столько вспомнить! Он почувствовал волнение при мысли, что скоро увидит ее. Китти, милая, прекрасная Китти! Когда такси выехало с территории аэропорта, Марк уже весь погрузился в мысли.

...Кэтрин Фремонт. Она была одной из великих американских традиций, как домашний яблочный пирог, бутерброды с сосисками, бруклинские кукурузные лепешки. Китти Фремонт была истинной «девочкой с нашего двора». Она была слепком с рекламной девочки-сорванца с торчащими косичками, веснушками и скрепками на зубах. И совершенно как на той рекламе скрепки в один прекрасный день исчезли, появилась губная помада, свитер округлился на груди, и гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Марк улыбнулся самому себе: она была такая красивая тогда, такая свежая и чистая.

...И Том Фремонт. Он был частью той же американской традиции. Этот парнишка, стриженный под ежик, с вечной мальчишеской улыбкой на губах, пробегал стометровку за 10 секунд, забрасывал мяч в сетку с тридцати футов, вихрем проносил продолговатый мяч за линию ворот, когда играл в регби, и мог с закрытыми глазами собрать Форд модели А. Том Фремонт был самым близким другом Марка с тех самых пор, как Марк себя помнил. Нас, верно, даже от груди отлучали вместе, подумал Марк.

...Том и Китти... Яблочный пирог и мороженое... горячие сосиски с горчицей. Типичный американский парень, типичная американская девушка, типичнейший Средний Запад штата Индиана. Да, Том и Китти подходили друг другу, как дождь и весна.

Китти всегда была тихой девушкой, очень серьезной, очень задумчивой и с какой-то тихой грустью во взгляде. Может быть, один лишь Марк замечал эту грусть, потому что для всех остальных Китти была воплощением веселья. Она напоминала сказочную крепость: всегда твердо держала руль обеими руками, всегда находила правильный ответ, всегда была любезной и рассудительной. И все же эта грусть никогда ее не покидала. Пускай никто ее не замечал, но Марк знал.

Марк часто задавал себе вопрос, почему его так влекло к ней? Может быть, только потому, что она казалась ему такой неприступной. Словно шампанское на льду; взгляд и речь, способные разрубить человека надвое. Так или иначе, Китти всегда была девушкой Тома, и ему ничего не оставалось, как завидовать другу.

Том и Марк жили в одной комнате, когда они учились в университете. Первый год Том был глубоко несчастен из-за разлуки с Китти. Марк помнил, как ему часами приходилось слушать горестные жалобы Тома и успокаивать его. Потом настало лето, и Китти уехала с родителями в Висконсин. Она была тогда еще школьницей, и ее родители хотели этой разлукой несколько умерить пыл молодых людей. Том и Марк подались в Оклахому подработать на нефтепромыслах.

К началу нового учебного года Том успел сильно поостыть. Беседы с Марком часто переходили в споры. Переписка с Китти становилась все реже, а его свидания в университетском городке — все чаще. Было похоже, что все кончено между новоиспеченным университетским львом и девушкой, ждавшей его дома.

На последнем курсе Том почти не вспоминал больше о Китти. Он стал кумиром университета, как оно и подобает лучшему нападающему баскетбольной команды. Что же касается Марка, то он довольствовался тем, что купался в лучах славы друга. Кроме того, он и сам приобрел славу бездарнейшего студента журналистики во всей истории университета.

Потом и Китти поступила в университет, и грянул гром! Сколько бы раз Марк ни видел Китти, он всегда испытывал волнение, словно видит ее впервые.

На этот раз с Томом происходило то же самое. За месяц до госэкзаменов они удрали. Том и Китти, Марк и Элин с четырьмя долларами и десятью центами в кармане пересекли на старом форде границу штата и пустились искать мирового судью. Медовый месяц они провели на заднем сидении форда, застрявшего на обратном пути в грязи проселочной дороги и протекавшего в дождь как сито. Это было многообещающее начало для типичной американской четы.

Том и Китти держали свой брак в тайне еще год после того, как он кончил университет. Китти осталась кончать курс для медсестер. Ходить за больными, всегда думал Марк, — как раз для Китти.

Том прямо боготворил Китти. Он всегда был немного необуздан и чересчур уж независим. Теперь все переменилось, и он все более входил в роль образцового мужа. Начал он с очень маленькой должности в одной очень большой рекламной фирме. Они поселились в Чикаго. Китти работала сестрой в детской больнице. Они пробивали себе дорогу дюйм за дюймом, чисто по-американски. Сначала съемная квартира, потом маленький домик, новый автомобиль, платежи в рассрочку и большие надежды. Китти забеременела, потом родилась Сандра.

Мысли Марка прервались, когда такси замедлило ход, въезжая в предместья Никозии, столицы Кипра, расположенной на коричневой равнине между северной и южной горными цепями.

– Вы говорите по-английски? — спросил Марк шофера.

– Да, сэр.

– Там надпись в аэропорту: добро пожаловать на Кипр.

А как это гласит дальше?

– По-моему, никак. Это они просто стараются угождать туристам.

Они въехали в город. Ровная местность, желтые каменные дома, крытые красной черепицей, море финиковых пальм — все это напоминало ему Дамаск. Шоссе шло вдоль древней венецианской стены, обвивающей старый город словно вычерченным кольцом. Марк разглядел минареты-близнецы, поднимающиеся на фоне неба в турецкой части города. Эти минареты принадлежали к Святой Софии, величественному собору времен крестовых походов, превращенному в мечеть. Проезжая вдоль крепостной стены, они миновали гигантские укрепления, напоминающие острия стрел. Марк помнил еще с предыдущего своего пребывания на Кипре, что этих торчащих на стене стрел было одиннадцать, нечетное число. Он хотел было спросить у шофера, почему именно одиннадцать, но промолчал.

Спустя несколько минут Никозия осталась позади. Они продолжали свой путь по равнине на север, минуя деревню за деревней, похожие друг на дружку как две капли воды и состоявшие сплошь из серых глинобитных домиков. В каждой деревне высилась водонапорная башня, снабженная надписью, что она построена милостью Его Величества короля Великобритании. На бесцветных полях крестьяне убирали картофель, погоняя на диво выносливых мулов великолепной кипрской породы.

Такси вновь набрало скорость, и Марк снова погрузился в мечты.

...Марк и Элин поженились вскоре после Тома и Китти. Брак с первого же дня оказался ошибкой. Два хороших человека, но не созданных друг для друга. Они не расходились только благодаря спокойной и мягкой мудрости Китти.

Они могли оба приходить и по очереди изливать свою душу перед ней. Китти умудрилась сохранить этот брак даже тогда, когда он уже давно расшатался. Потом он рухнул окончательно, и они разошлись. Марк был благодарен судьбе, что хоть не было детей.

После развода Марк переехал в восточные штаты, начал колесить с одной работы на другую и успел превратиться из бездарнейшего на свете студента журналистики в бездарнейшего на свете журналиста. Он стал одним из тех летунов, которых часто можно встретить в газетном мире. Это была не тупость и не отсутствие таланта, а всего лишь полнейшая неспособность найти свое место в жизни. Марк был творческой натурой, а рутинная работа в газете глушила его творческие силы. Тем не менее у него не было желания попытать свои силы на писательском поприще. Он знал, что не обладает данными, необходимыми для писательского труда. Так он и прозябал в неизвестности — ни рыба, ни мясо.

Каждую неделю он получал письмо от Тома, полное восторженных сообщений о продвижении по службе и о его любви к Китти и Сандре.

Марк вспомнил письма Китти, являвшиеся трезвым дополнением к восторженности Тома. Китти всегда держала Марка в курсе дел его бывшей жены, пока Элин не вышла вновь замуж.

В 1938-ом году мир вдруг раскрылся перед Марком Паркером. В Американском Синдикате Новостей оказалась вакантная должность в Берлине, и Марк вдруг превратился из рядового газетчика в респектабельного иностранного корреспондента.

На новой работе Марк обнаружил весьма недюжинные способности. Здесь ему представилась возможность проявить хоть отчасти свои творческие задатки, и он создал почерк, свойственный ему одному, Марку Паркеру, и никому больше. Марк не был звездой на газетном небосклоне, но он обладал безошибочным инстинктом, отличающим настоящего иностранного корреспондента: он чувствовал событие, когда оно еще только назревало.

Мир был сущим балаганом. Он изъездил вдоль и поперек Европу, Азию, Африку. У него было имя, он любил свое дело, пользовался кредитом в баре Хозе, в трактире Джеймса, в кабачках Джо и Жака, и у него был неисчерпаемый запас блондинок, брюнеток и рыжих красоток для пополнения «одномесячного клуба».

Когда началась война, Марк носился по Европе как угорелый. Было приятно возвращаться в Лондон на несколько дней, где его обычно ждала стопка писем от Тома и Китти.

В начале 1942-го года Том Фремонт пошел добровольцем в корпус морской пехоты. Он погиб в Гвадалканале.

Два месяца после гибели Тома умерла и Сандра от полиомиелита.

Марк взял внеочередной отпуск, чтобы съездить домой, но пока доехал, Китти Фремонт исчезла. Он долго и тщетно искал ее, пока не пришлось вернуться в Европу. Она словно исчезла с лица земли. Марк был потрясен, но та грусть, которую он всегда замечал в глазах Китти, представлялась ему сейчас сбывшимся пророчеством.

Сразу после окончания войны он вернулся еще раз в Америку, чтобы поискать ее, но след давно простыл.

В ноябре 1945-го года АСН вызвал его обратно в Европу, чтобы писать о процессе главных военных преступников в Нюрнберге. К этому времени Марк был уже общепризнанным авторитетом и носил звание «специального» иностранного корреспондента. В Нюрнберге он написал серию блестящих статей и оставался там, пока нацистские главари не были повешены.

Перед тем как отправить его в Палестину, где, по всем приметам, назревала локальная война, АСН предоставил Марку отпуск, в котором он, кстати, очень нуждался. Чтобы провести отпуск, как подобает Марку Паркеру, он подцепил знакомую страстную француженку, работавшую в ООН и направленную в Афины в штаб Объединенных Наций.

Вот тут, как гром с ясного неба, все и произошло. Он сидел как-то в американском баре в Афинах и коротал время с группой коллег по перу, когда вдруг заговорили об американской сестре милосердия, творящей чудеса среди греческих сирот. Один из корреспондентов как раз вернулся из того приюта и собирался написать о нем.

Эта сестра была Китти Фремонт.

Марк тут же послал запрос и узнал, что она находится в отпуске на Кипре.

Равнина кончилась, и такси начало взбираться в гору по узкой, извилистой дороге, ведущей через перевал в горах Пентадактилос (Пятипалых).

Смеркалось. На перевале Марк сделал остановку. Он вышел из машины и посмотрел вниз на Кирению, маленький городок, приютившийся на берегу моря у подножья горы и похожий на ювелирное изделие. Наверху слева виднелись руины Св. Гилариона, древней крепости, связанной с именами Ричарда Львиное Сердце и его красавицы Беренгарии. Марк отметил про себя, что нужно будет вернуться сюда с Китти.

Уже почти совсем стемнело, когда они добрались в Кирению. Городок состоял сплошь из выбеленных известью домиков с красными крышами. Над ним возвышалась крепость, доходящая до самого моря. Кирения была городком до того живописным, старомодным и причудливым, что просто нельзя было представить себе ничего более живописного, старомодного и причудливого. Он проехал мимо миниатюрной пристани, забитой рыбацкими лодками и небольшими яхтами и защищенной молом, обнимающим ее справа и слева. На одной из ветвей мола был причал, на второй — старое укрепление, Крепость Девы.

Кирения была с давних пор излюбленным местом художников и британских военных в отставке. Она и в самом деле была одним из самых мирных уголков на земном шаре.

Тут же неподалеку вздымалась глыба Дворцовой гостиницы. Огромное здание казалось каким-то бесформенным и неуместным на фоне сонного городка. Тем не менее «Дворец» стал со временем одним из центров британской империи. Он был известен в самых отдаленных уголках земли, где только развевался Юнион Джек (Флаг Соединенного Королевства.), как место встречи англичан. Это был лабиринт из номеров, террас и веранд, висящих над морем. Длинный, метров в сто, пирс соединял гостиницу с маленьким островком в море, излюбленным местом пловцов и любителей солнечных ванн.

Такси остановилось. Выбежавший служащий понес багаж в гостиницу. Марк

расплатился с шофером и оглянулся вокруг. Был ноябрь, но погода все еще стояла теплая и ясная. Какое чудесное место для свидания с Китти Фремонт!

Портье протянул Марку письмо.

Дорогой Марк!

Я задержусь в Фамагусте до девяти часов. Прости, пожалуйста! Умираю от нетерпения. Пока.

Китти.

– Цветы, бутылку виски и ведерко льда, — сказал Марк.

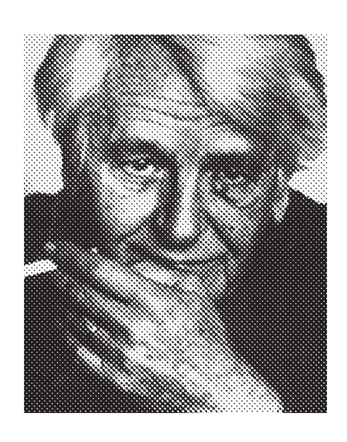
– Миссис Фремонт позаботилась обо всем, — сказал портье, передавая ключи коридорному. — У вас смежные комнаты с видом на море.

Марк заметил ухмылку на лице портье. Это была та же грязная усмешка, которую он видел во всех гостиницах, куда он являлся с какой-нибудь женщиной. У него мелькнуло желание растолковать портье, что он ошибается, но он не стал: пусть этот чертов портье думает, что ему угодно.

Полюбовавшись видом темнеющего моря, он распаковал свой багаж, налил себе стакан виски с содовой и выпил его, лежа в ванне.

<…>

Источник: страница в Интернете http://www.il4u.org.il/library/exodus/



Мнячко Ладислав
(1919–1994)

Словацкий писатель, поэт, драматург, журналист.

С 1968 г. в Самиздате ходил роман «Вкус власти», написанный от лица придворного фотографа, прошедшего со своим шефом путь от партизанского отряда во время войны до поста главы государства. Быт, нравы, кухня принятия государственных решений — все это описано с большим юмором и точным знанием реалий закулисной жизни чехословацких верхов 40-60-х годов прошлого века.

ВКУС ВЛАСТИ

<...>

В заднем крыле здания, в одном из многочисленных канцелярских помещений, на время траурных торжеств устроился человек, о существовании которого миллионы жителей даже не подозревали. Франк не находил подходящего названия и подходящего титула для этого важного лица. Главнокомандующий похоронного штаба? Уполномоченный правительства для организации государственных похорон? Генеральный могильщик? Шеф похоронного протокола? Главный Церемониймейстер? Франк напрасно ломал голову, ничего подходящего не приходило ему на ум. Этот важный человек решал все с неоспоримой силой. Назначенная похоронная процессия находилась под его командованием. Он определял очередность вступления в почетный караул, время прибытий делегаций, от заводов, учреждений, институтов, количество членов этих делегаций, когда и как долге должна оставаться в зале прощания вдова покойного, он определял, в зависимости от важности, какая группировка должна возложить венки к катафалку, он намечал регламент выступлений и очередность ораторов, он проектировал все украшение большого зала прощания, и наблюдал за тем, как это проводилось, а Франк не знал его фамилии. И он был не в состоянии представить себе, что он делал, где и как он работал все то время, когда не было никаких государственных похорон. Ведь невозможно было представить, чтобы этот строго секретный человек, этот специалист по похоронам, ничем другим не занимался. Но он должен был знать свое дело в совершенстве, непосвященный профан вряд ли способен представить себе, какая сложная организация и какой мощный аппарат требуется для государственных похорон, чтобы все функционировало, как положено. Скорбящие массы должны плавно дефилировать перед гробом, без неприятных пауз и разрывов. Покойник должен оставаться выставленным двое

суток, ведь трудно себе представить, что случилось бы, если бы все, кто пройдут здесь, пришли сразу. Этот таинственный человек имел соответствующий богатый опыт, по его подсчету мимо катафалка пройдет в целом около двухсот тысяч человек. Было не безразлично, какие это будут люди в тот или в другой момент. В присутствии родных покойного должны стоять в очереди люди из его родного местечка. Об этом надо было подумать, это надо было организовать и проконтролировать. Было бы неприятно, если бы в тот момент, когда в почетном карауле будет стоять Галович, вошла в зал делегация союза художников. Галович ненавидел художников. Он сразу почувствовал бы в этом провокацию. Нужно было позаботиться о том, чтобы делегации крупных предприятий города проходили перед очами Галовича. Этот таинственный человек должен был решить сотни подобных частных проблем. Обо всем должен был он помнить, все предвидеть.

Он и в самом деле обо всем подумал. Опыт прежних похорон научил его, что слишком много фоторепортеров нарушают достоинство серьезного действия и траурной атмосферы в зале. Фоторепортеры всегда и везде являются бедствием. Они возятся под ногами государственных деятелей, мешают, надоедают, во время гимна, когда все стоят навытяжку, дерутся за удобные места, носятся туда и сюда, ложатся на землю, взбираются на деревья, лазают на трибуны, словно обезьяны, ослепляют людей своими постоянными вспышками, нервируют, прут всюду, где им нечего делать. Таинственный человек издал приказ — одна кинокамера, одна телекамера, один единственный фотограф из официального агентства. И вот им и был опытный в этих делах Франк. Недаром ему дали кличку «банкетный репортер».

Значит, здесь он просидит два дня, спрятанный в своем незаметном уголке, наполовину укрытый тяжелой створкой бронзовой двери, время от времени он будет выходить из своей засады, фотографировать, в этом Франк отменно разбирался, он знал, кого ему следует снимать, и что ему надо снимать, он не должен ни в коем случае упустить Галовича, Галовича, как он стоит навытяжку, Галовича, как он произносит траурную речь, Галовича, как он выражает скорбящей вдове свое глубокое соболезнование, все это попадет все это должно попасть в газету, у Франка складывалось иногда впечатление, что похороны, торжественные собрания, приемы, демонстрации, происходили главным образом для того, чтобы Галович снова попал в газету. Да и, конечно, еще снимок, как пионеры возлагают венок, и старая бабушка, вытирающая белым носовым платком перед катафалком слезы. У Франка была богатая практика, он знал, сколько фотографий газеты смогут напечатать, что и кого следует на них увидеть. Конечно, ему придется сделать около двухсот снимков, иначе его в редакции станут называть прогульщиком. Двести негативов — это была, примерно, норма для похорон. Разумеется, он может и прогуляться, чего же ему здесь делать все это время? Он знал точно, когда ему надо быть здесь, а когда не надо, знал расписание программы от начала до конца, он ознакомился с ним в бюро похоронной комиссии.

Уже давно Франк не создавал себе больше никаких иллюзий о своей работе. Хотя ему ободряюще и улыбались везде, где он появлялся со своей камерой, похлопывали его по плечу, но в действительности видели в нем бедствие, обременительное, но неизбежное зло, без которого нельзя обойтись. Разве в наши дни карьера, популярность, вообще подъем возможны без фото в печати? Франк

не встречал в своей долгой репортерской практике ни одного человека, который бы отказался фотографироваться. Встречались такие, которые иногда валяли дурака, отклоняли его аппарат движением руки, говорили, оставь меня с этим в покое, для чего этот вздор, но и они не думали так всерьез. Люди жаждали попасть в газету, Франк наблюдал это ежедневно, едва только они заметят направленный на них объектив, как уже теснятся сюда, хотят попасть на снимок, хотят стоять по возможности поближе. Франк был официальным фоторепортером, банкетным репортером, репортером собраний, репортером празднеств, известным, специально проверенным, ведь он двигался постоянно среди власть имущих, на трибунах, в залах, при встречах политических деятелей, туда не всякий имел доступ, Франк принадлежал к немногим избранным, для которых были открыты все двери, Франк был прославлен, его знали, к нему уже привыкли, контроль он проходил не предъявляя удостоверения, его удостоверением является камера Гассельблад, эта магическая небольшая вещица, открывающая двери и частных покоев и дворцов, парадные и потайные. Сегодня встреча политических деятелей, завтра праздничный концерт, потом опять посещение политиком предприятия или кооперативного сельского хозяйства Франк снимал, снимал, так снимал он уже более двадцати лет, сотни, если не тысячи микрофонов. Франк снимал микрофоны, множество микрофонов. И кафедры. Множество кафедр. Кафедры были всегда одни и те же, да и микрофоны едва ли отличались друг от друга, и они оставались одними и теми же, выдвижные микрофоны, которые можно приспособить к низкому и высокому росту, лишь лица и фигуры за ними постоянно меняются. Знаменитый человек без микрофона это уже не то, настоящее, зачастую это лишь невыразительное, заурядное лицо, только микрофон придает его облику необходимую значимость, лица, облики за микрофоном постоянно меняются, но это неважно, в прессе лишь микрофон создает необходимый контакт между оратором и нацией, человек общественной жизни становится лишь тогда человеком общественной жизни, когда его видят на снимке, стоящим за микрофоном, только тогда у многих создается впечатление, что он призван сказать им что-то, объявить им что-то, и у него имеется что сказать и объявить.

В своем архиве Франк хранил пятнадцать первомайских трибун, пятнадцать полных снимков, кроме того, ряд фотографий отдельных участников. Трибуны оставались все теми же, но когда Франк недавно сравнивал самую старую фотографию с новейшей прошлогодней, то не мог найти ни одного лица, которое было бы на обоих снимках. Куда исчезли те, пятнадцатилетней давности, великие и достойные увековечения? Куда делся этот могучий, поднимавший ребенка из объятий отца к себе на трибуну? Куда делся тот, другой, которого можно было увидеть в газете на репродукции в полстраницы, как он приветствует жестом руки всю нацию? Кто вообще еще помнит, как его звали? Если бы он тогда его не снял, или если бы не удался снимок, на котором этот могучий размахивал рукой, то это могло бы стать тогда концом для Франка. Тогда было немыслимо выпустить газету без этого портрета.

Нет, Франк не создавал никаких иллюзий ни о себе, ни о своей работе. Он знал, кем его считают те, кто улыбались ему, кто теснился перед его объективом. Он был бедствием, назойливым, неприятным, но необходимым злом. Они

презирали его, называл его в своей среде шалопаем, смеялись над ним, но он был им нужен. Встречаясь с ним, они ворковали слова признательности, прикидывались, что простодушно дружат с ним, выказывают искренний интерес к его персоне. Но уже часто случалось, что когда они сталкивались с ним в «штатском», значит, без аппарата, они не узнавали его. Не то, чтобы делали вид, что не видят его, они просто не узнавали его. Франк без аппарата был Никто, лишь камера придавала ему что-то вроде важности. Когда с ним раскланивались, то раскланивались, собственно, с объективом, их улыбка и их слова признательности относились к объективу, линзе — не к нему, перед ней они были готовы принимать гротескно-достойные позы, улыбаться, когда им хотелось плакать, делать серьезное лицо, когда им хотелось хохотать, притворяться заинтересованными, когда смертельно скучали, им хотелось быть увековеченными, зафиксированными на все будущие времена, а это было невозможно без фотографии, они хотели остаться навеки в единственном мгновении на фоне масс, ловящих каждое их слово, хотели быть увековеченными в газетах, потому что тот, кого никогда не видишь в газетах, не может быть вечен, не может быть избранником; газеты собирают в архивах, переплетают их, годовой комплект за комплектом откладывают, они переживают земное существование человека, и в них сообщается лишь о людях, которые чем-то выделяются. Раньше это были выделяющиеся чем-то группы монтажников, сегодня это необыкновенные женские груди, газета является общественным подтверждением значения человека, масштабом и барометром его положения, она, собственно, средство отбора, из тысяч научных работ она замечает лишь одну, из тысяч ответственных работников сообщает лишь о самых исключительных, но и здесь имеются еще большие различия, одно дало увидеть себя на каком-то групповом снимке, а другое — красоваться на первой странице ежедневной газеты в позе оратора за микрофоном, одному, в полупрофиль, не говоря уже об официальном портрете... Тот, чье имя и лицо никогда не появлялись в газете, тот неизвестен, именно о нем эти сфотографированные так любят говорить — простой человек, скромный человек, человек с улицы, маленький человек, честный гражданин, трудящаяся масса, толпа, народ, средний человек, неизвестный гражданин, маленький, простой, скромный народ. Франк слышал эти слова из уст ораторов, политиков, государственных деятелей, писателей и они всегда приводили его в ярость. Кто ты, собственно? Как ты смеешь устанавливать такую дистанцию между тобой и другими? Чем ты не прост, не обыкновенен, не мал, а исключителен? Потому что ты боролся? Он, Франк, знал сотни, которые также боролись, храбро боролись, а когда борьба кончилась, взяли термос с неслащенным кофе и пошли в раннюю смену в шахту.

<...>

Источник: самиздатская рукопись.

Максимов
Владимир Емельянович
(Самсонов Лев Алексеевич)

(1930–1995)



Писатель, публицист, редактор.

Родился в Москве в семье рабочего, репрессированного в 30-х годах. Сменил фамилию и имя, убежал из дома, беспризорничал, воспитывался в детских домах и колониях для малолетних преступников, откуда постоянно совершал побеги в Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье. Был осужден по уголовным статьям и провел несколько лет в лагерях и ссылке. После освобождения в 1951 г. жил на Кубани, где впервые начал публиковаться в газетах и выпустил сборник весьма посредственных стихов.

Впечатления этих лет легли в основу первых публикаций: «Мы обживаем землю» (Сб. «Тарусские страницы», 1961), «Жив человек» (1962), «Баллада о Савве» (1964) и др. В 1963 г. был принят в Союз советских писателей. Романы «Карантин» и «Семь дней творенья», не принятые ни одним издательством, широко ходили в Самиздате. За эти романы их автор был исключен из Союза писателей, помещен в психиатрическую больницу. В 1974 г. Максимов был вынужден эмигрировать. Жил в Париже.

В 1974 г. Максимов основал ежеквартальный литературный, политический и религиозный журнал «Континент» *(см. т. 3, стр. 265)*, главным редактором которого оставался до 1992 г.

В эмиграции написаны «Ковчег для незваных» (1976), «Прощание из ниоткуда» (1974-1982), «Заглянуть в бездну» (1986), «Кочеванье до смерти» (1994) и др.

Наиболее полные издания:

Собрание в 6 томах, Франкфурт-на-Майне: Посев, 1975-1979;

Собрание сочинений в восьми томах, М.: «ТЕРРА» — «TERRA», 1991-1993;

Самоистребление. М.: Голос, 1995.

СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ

Повествование о судьбе нескольких поколений жителей одного двора на тогдашней окраине Москвы: Сокольники — Преображенка 30-50-х годов XX века. В центре повествования семья Лашковых, оторванная от крестьянских корней и ввергнутая в кровавый водоворот событий постреволюционной России.

IX

В Москве Петр Васильевич не был с того самого дня, когда, сдав кондукторскую сумку и служебный компостер, он возвратился домой обыкновенным пенсионером. Поэтому сейчас, после сравнительно устойчивой тишины Узловска,

она увиделась ему еще более, против прежнего, гулкой и неуютной. Долго, стараниями даровых советчиков, блуждал он в паутине Сокольнических переулков, пока не отыскал обозначенную в его адресной справке улицу. Нужный ему номер возник перед ним сквозь листву корявого тополя, стоявшего у деревянного, в два этажа, дома, над крышей которого гляделся другой — каменный, ростом повыше. Войдя во двор, Петр Васильевич встал, чтобы перевести дух. Сердце его тревожно обмирало и дергалось: «Сорок с лишком лет, шутка ли!»

В сумраке пропахших кошачьим бытом сеней он с трудом нащупал кнопку дверного звонка и, позвонив, еще раз обеспокоился: «Откроет и не узнает, да». Но едва в проеме двери перед ним определилось заспанное, в сивой щетине лицо, как всякое сомнение оставило Петра Васильевича: за порогом, словно его собственное отражение в зеркале, вяло переминался с ноги на ногу старик явно ихней — лашковской породы. И тот, в свою очередь, будто пролегло между ними не около полувека разлуки, а всего, может быть, от силы день-два, лишь слегка присвистнул навстречу гостю:

– Ишь ты… Проходи…

Захламленную, похожую скорее на логово, чем на жилье, конуру брата скупо освещало забранное со двора частой решеткой тусклое окошко. Стены, оклеенные старыми газетами, немо кричали довоенными еще заголовками: «Пламенный привет героям-челюскинцам!», «Раздавим гадину!», «Руки прочь от Мадрида!» На колченогом столе, в окружении порожней, разных калибров посуды, простуженно отсчитывал время обшарпанный будильник. Опускаясь на придвинутый братом стул, Петр Васильевич растерянно огляделся:

– Так и живешь?..

– Так и живу,— безучастно отозвался тот, рассовывая посуду со стола по разным углам и заначкам. — Народ ко мне ходит простой, не брезгует, а кому не по нраву, гуляй в другое место… На-ка вот, ободрись с дороги. — Трясущимися руками он разлил непочатую еще четвертинку в два стакана и один из них пододвинул брату. — Со свиданьицем…

В наступившем затем долгом молчании Петр Васильевич исподтишка присматривался к брату, стараясь по черточке, по отметине восстановить для себя в памяти именно тот облик, который сложился в его воображении задолго до этой встречи. Будучи пятью годами старше Василия, он сызмала сохранил к тому чувство снисходительного превосходства. Но самолюбивый и упрямый, как и все почти Лашковы, тот, едва оперившись, поспешил вырваться из-под его опеки, и уже к совершеннолетию ушел на шахту, откуда и мобилизовался в армию. Из тех редких писем, какие поступали от него в Узловск к однолеткам и знакомым, можно было лишь заключить, что служба давалась ему непросто, что после нее жизнь у него складывалась еще круче и что старость он встретил бездетным бобылем в том же доме, где и поселился с самого начала. Лет десять тому Василий внезапно замолчал и память о нем в родном городе окончательно заглохла и выветрилась.

И теперь, вглядываясь в смутно обозначенные черты, Петр Васильевич с затаенным сожалением отметил про себя их преждевременную пепельность и желтизну, горестно догадываясь, какой мерой отмерено было брату всего за долгие годы их разлуки.

– Может, домой соберешься? — осторожно подступился он к Василию. — Места хватит. Что нам двоим нужно? Жизнь у нас там дешевая. Да и веселее вдвоем-то.

– Поздно, Петек,— отмякшие после выпитого глаза его затягивала благостная поволока,— кому я там в Узловске нужен!

– А здесь,— не отступался Петр Васильевич,— кому?

– Здесь? — Голос хозяина тронула обезоруживающая печаль. — Здесь, братишка, у меня все. Вся жизнь у меня здесь. Жизни-то, правда, не было, маята одна, но какая была — не забыть… Эх, Петек,— он вдруг вцепился в гостя слезящимся кроличьим взглядом, скулы под его недельной щетиной взволнованно заострились,— и каким только ветром нас закружило!.. Помню, пришел я сюда из армии, живи — не хочу! Считал, вся доля — впереди: лета — самый возраст, анкета — одни заслуги, девки — на выбор. Только не вышло по-моему… Не дали. Как начали с меня долги спрашивать, так досе и не рассчитаюсь. Кругом я оказался всем должен: и Богу, и кесарю, и младшему слесарю. Туда не пойди, того не скажи, этого не сделай. И пошло, поехало, как в сказке: чем дольше, тем страшней. А за что? За какую-такую провинность? — От слова к слову в речи его все отчетливей проступала злость. — Или я у кого жизнь свою взаймы взял? Ты вот, Петек, партейный — рассуди…

Слушая брата, Петр Васильевич напряженно следил за тем, как в паутине, затянувшей верхний правый угол над окном, судорожно и уже явно обессилев, дергалась и вздрагивала одиночная моль. Паутина при этом пружинисто колыхалась, затягивая добычу все туже и туже, пока пыльные крылья жертвы окончательно замерли в ее губительной сети.

– Все барина, Вася, ждете. — Сочувствие, сообщенное было ему вначале хмельной болью брата, обернулось в нем под конец откровенным раздражением. — Вот приедет барин, барин нас рассудит. А самим для чего голова дадена? Или не можете уже без няньки?

– Могли. — Лицо Василия жестко отрезвело и пошло белыми пятнами. — Только вы не дали. Занянчили нас пугачами своими. Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Вот и вся ваша погудка. Хочешь — не хочешь, иди, куда велят. А пришла пора помирать, глядишь, весь как задом вперед шел, а вы погоняли.

– Я хлеб свой не в погонялах зарабатывал. — Разговор принимал крутой оборот, и не в правилах Петра Васильевича было в таких случаях отступаться. — У меня мозоли не дареные — свои.

– Чем натёр-то? — Тот даже не старался скрыть вызова. — Колокольчиком на собраниях? «Слушали — постановили». Понаслышаны, Петр, свет, Васильич, понаслышаны. Может, ты мне скажешь, где дети твои? Может, адресочек ихний дашь? Делать мне нынче нечего, поеду на старости, проведаю. Или, может, расскажешь, как жену свою в гроб загнал? Или корешу своему — Фомке Лескову — здоровье воротишь? — Василий вдруг осекся, уразумев, видно, что хватил в своей осведомленности лишку. — Ладно, раскудахтались, будто сто лет впереди. Смотаюсь-ка я лучше за добавкой. — Словно боясь, что его остановят, он с упреждающей всякие протесты поспешностью подался к выходу. — Я мигом…

Оставшись один, Петр Васильевич еще раз внимательно оглядел комнату.

Все вокруг носило следы запустения и преждевременной дряхлости. Казалось, к вещам, впопыхах разбросанным здесь много лет назад, до сих пор так и не прикоснулась хозяйская рука. Тощая мебелишка, разнокалиберное тряпье, случайный инструмент вперемешку с банками, пузырьками и бутылками громоздились по углам, покрытые девственно прочным слоем пыли. И в этой скорбной заброшенности Петру Васильевичу внезапно и как бы со стороны увиделась и собственная жизнь, прожитая, хотя и яростно, но вслепую, без жалости и разбора. И если до этого, проникаясь заботами и делами тех, кого сводила с ним судьба, он, сожалея им, внутренне отделял себя от них, то сейчас, среди царившего здесь тлена, ему беспощадно открывалась его — Петра Васильевича Лашкова — собственная роковая причастность, его родство ко всем и всему в их общей и уже необратимой хвори. И обманчивое облегчение, возникавшее в нем всякий раз после прежних его встреч, где он, содействуя другим, на какоето время осознавал и свою для них необходимость, уступало теперь место тоскливой горечи. С пронзительной определенностью выявилось перед ним, что ему уже ничем не помочь здесь ни себе, ни брату.

И тогда Петр Васильевич встал и тихо, не прикрывая за собой двери, вышел, чтобы уже никогда не вернуться сюда: «Так, видно, лучше будет и ему, и мне. Тяжести меньше».

Подходя к дому, Петр Васильевич еще издалека заметил сидящего под окнами Николая. С тех пор, как старику удалось-таки прописать парня, а затем и устроить на работу в депо, тот зачастил к своему крестному, засиживаясь, впрочем, все больше на дочерней половине. В другой бы раз, щепетильный по части анкетных данных, Петр Васильевич наладил непрошенного жениха, но теперь, взяв крестника под свое высокое покровительство, он не считал себя вправе хоть чем-либо уязвить парня: «Пускай отогреется возле женской души, дома-то от матери тепла мало».

Но если Николаево бдение под его окнами и не могло сколько-нибудь озадачить Петра Васильевича, то самая поза гостя: подбородок в плотно сдвинутых коленях; пальцы, сцепленные впереди; взгляд тусклый, отсутствующий,— изваянная долгим напряжением, невольно вызвала в нем известное беспокойство, которое шаг от шагу все укреплялось в душе и росло.

Кивком усаживая поднявшегося было навстречу гостя, он не скрыл внезапной тревоги, спросил:

– Где Антонина?

– Нету…

Парень долго мялся, блудил уклончивым взглядом по сторонам, складывал непослушными губами какие-то жалкие слова, прежде чем, припертый к стене двумя-тремя наводящими, сказал, наконец, тихо и внятно:

– У Гупаков…

И одна эта коротенькая фамилия, как ожог, коснувшись его сознания, враз утвердила в нем ревниво утаенные даже от самого себя, но давние подозрения. Для него стало объяснимым и появление лампадки в красном углу дочерней светелки, и суетливое ее радение вокруг всякой проходящей побирушки, и частое старушечье шушуканье по ту сторону перегородки. «Из-под носа дочь уводят,— вскипала в нем досадная злость,— а ты, старый хрыч, глазами хлопаешь!»

– Сиди тут,— сказал он гостю, поворачивая от дома,— жди. Придет, обо мне ни гугу... Понятно?

Тот в ответ лишь еще ниже опустил голову.

Чуть не дотемна петлял Петр Васильевич вокруг дома Гупака, ожидая выхода «сестер» и «братьев» с очередной гупаковской проповеди. А когда, наконец, последний из них скрылся за ближайшим поворотом, старик решительно ступил на еще не остывшее от множества подошв крыльцо. Стерильной старушке, которая вздумала было загородить ему вход, хватило одного его краткого взгляда, чтобы мигом стушеваться и кануть в полутьме сеней. Просторная горница освещалась лишь лампадкой из-под богатого киота и оттого все в ней выглядело расплывчато и смутно.

– Здравствуйте, Петр Васильевич! Чем могу?

Голос выплыл из затемненного простенка между угловым окном и печью, и Петр Васильевич, пообвыкнув глазами к сумеречному освещению, определил сидящего там хозяина.

– Здравствуйте... Свет зажгли бы...

Возникнувшая из темноты хозяйка бесшумно приспособила еще одну свечу под киотом, и сразу же лицо Гупака выдвинулось навстречу Петру Васильевичу:

– Знал, уверен был, что придете, не могли не прийти. Судьба-с, Петр Васильевич, рок, так сказать... Сорок с лишним лет ждал и вот, сподобился визитом вашим... По правде говоря, с утра еще сосало сегодня!

Лицо хозяина, вязко схваченное рыжеватой с проседью щетинкой, росло, разрасталось, и когда выпуклые, в багровых прожилках глаза хозяина приблизились к гостю чуть ли не вплотную, их обоих одновременно и резко ослепило то давнее январское утро, что отметило им жизнь единственной встречей...

Окно станционного телеграфа, сплошь увитое морозной росписью, высеивало по комнате тусклый, удручающе мертвенный свет. Раскаленная «буржуйка» источала сухой угарный жар, от которого ломило в висках и томительно обмирало сердце.

Пока простуженный телеграфист, заходясь в истошном кашле над истерзанными позывными аппаратами, добивался связи с Узловском, Петр Васильевич угрюмо вышагивал вокруг него в ожидании прихода начальника станции Миронова.

Еще неделю тому, когда Лашкова неожиданно сделали комиссаром всей Сызрано-Вяземской, дорога жила лишь малыми происшествиями. Оперативная группа работала в основном по мелочам: мешочники, тихий саботаж, изыскание топливных ресурсов. Но стоило ему заступить в должность, как уже на другой день грянула беда: в самом исходе перегона Роща-Дубки лоб в лоб столкнулись два товарняка. Но, как присовокуплялось к сообщению о случившемся, Миронов, едва распорядившись поставить в известность инстанцию, завалился у себя дома и пьет мертвую. Кивок в сторону вероятного виновника был слишком красноречив, чтобы остаться без внимания губчека.

С оперативной группой из трех человек Петр Васильевич на закрепленной за ним дрезине ринулся к месту столкновения. Возможные варианты причин крушения обсуждали уже в пути.

Гудков — мордастый дядька с редкой, будто распаренной бороденкой чуть не до самых глаз, раскуривая пайковый «гвоздик», уверенно приговаривал:

– Он. Больше некому. Знаю я его — Левку. Считай, десять годов у него в стрелочниках ходил. Шкура! Он. С чего ж тогда и запивать?

– Не скажи,— сомневался Ваня Крюков, дерганый, готовый в любую минуту вскинуться за свою правду с кулаками, но до самозабвения преданный делу бывший слесарь железнодорожных мастерских,— чего ж он тогда не сбежал? Или ему кем заказано было?

Лука Бондарь, меченный всеми фронтами гражданки Лука Бондарь — скособоченный глаз в переносицу,— рассудительно осадил парня:

– А куда ему, скажи, бежать? Его тут, где ни возьми, любая мышь знает. Втемную пошел. У офицеров говорят: во-банк.

Сказал и равнодушно отвернулся к окну, как бы отделяя себя от пустого, по его мнению, и лишнего разговора.

Его настроение передалось всем, и остальную часть пути опергруппа провела молча. Лишь попыхивали цигарки в чернильной синеве только что зачатого рассвета...

Вся эта история была не по душе Петру Васильевичу, и поэтому сейчас, из конца в конец вымеривая комнату станционного телеграфа, он никак не мог избыть в себе ощущения тревожной неопределенности: «Черт его знает, в чем тут заковыка, а спрос все одно — с меня. Дров не наломать бы».

К тому же у него адски ломило зубы. Морзянка раскаленными молоточками — «точка — тире — точка» — отдавалась в висках, и всё взбухающее под сердцем предчувствие беды, которая каким-то концом должна была рано или поздно коснуться как самого дела, так и лично его — Петра Васильевича,— делало лашковское состояние еще более невыносимым.

«Что я буду делать с ним,— мучительно размышлял он,— если окажется, что Гудков прав? Меня от зарезанной курицы с души воротит, а здесь не курица — душа живая. Полномочия даны, а рука поднимется ли?»

А полномочия ему даны были и в самом деле недвусмысленные: жалость по боку.

Председатель учека Аванесян — хмурый носатый армянин с дореволюционным еще стажем и каторгой за плечами, напутствуя нового комиссара, только раз и поднял на него желтые от врожденной лихорадки глаза, когда давал ему эти самые полномочия:

– «Смит» при тебе?

– Должность такая.

– У ребят «винты» в порядке?

– Не подведут.

– Тогда действуй. Задача ясна?

– Ясна.

– Всё. Иди.

Что ж, приказ и впрямь не оставлял места для разночтений: ликвидировать самую возможность повторения диверсий по всему пути от Вязьмы до Сызрани. И расшифровать его — этот приказ — рекомендовалось одним средством — оружием.

Ожидая увидеть в лице Миронова бородатого спеца-саботажника и заранее подготовив себя к соответствующему приему, Петр Васильевич был несколько обескуражен, когда увидел перед собою своего, если не моложе, ровесника, введенного в телеграфную Гудковым.

И хотя спеца, в небрежно накинутом на плечи поверх ночного халата пальто, трясло мелкой ознобливой дрожью, он наметанным глазом сразу же определил, что не страх колотит незадачливого путейца, а тяжкое и с каждой минутой все более матереющее похмелье. Глаза же — кроличьи, в сетке багровых прожилок глаза — смотрели твердо и вызывающе.

– Ну, что скажете? — Петр Васильевич усиленно старался выглядеть бывалым и проницательным в этой новой для себя роли. — Или запираться будем?

Миронов, не попадая зуб на зуб, коротко и с трудом сложил спекшимися губами:

– В чем?

– В том самом. Как и с кем в сговоре организовали крушение на перегоне?

– Чего уж... Кончайте...

В эту минуту, беспокойно следивший за их разговором и явно горевший желанием вмешаться в допрос, Крюков вдруг прорвался:

– А это ты нас не учи, что делать. — Он подступал к арестованному, красноречиво поигрывая деревянной кобурой у пояса. — Мы из тебя, ваше благородие, быстро гонор вышибем. Мы сюда не в бирюльки играть заявились. Мы...

Тот лишь поморщился, опуская глаза долу, и нехотя уронил:

– Раб. — И добавил еще брезгливее и тверже. — Рабы.

И ярость пронзительного унижения, и обида за досадную свою неудачу в первом же деле, и вся нелепость положения, в каком он неожиданно оказался, захлестнули Лашкова. Ему стоило немалого труда побороть в себе желание рассчитаться с Мироновым тут же, не сходя с места.

– Веди,— жестко отнесся он к Гудкову,— только где-нибудь подальше, в поле. За переездом... Разберемся и сами, не маленькие...

И здесь, решительно отворотившись от обреченного путейца, Петр Васильевич как бы перешел какой-то рубеж, черту какую-то урочную, за которой его сразу же оставили все страхи и сомнения, вся прежняя неопределенность, что сопутствовала ему после получения приказа. Будто в незнакомом маршруте, не страшась подвоха за первым же поворотом, бывший обер, миновав, наконец, его, этот поворот, увидел перед собой путь, свободный от помех до самого горизонта...

Свет того далекого утра медленно распадался, уступая место нестойкому полумраку гупаковской обители. И Петр Васильевич, весь еще будучи во власти тающего видения, едва сумел выдавить из себя:

– Миронов!.. Гупак?..

– По маменьке, Петр Васильевич, дорогой,— с готовностью поспешил к нему на помощь хозяин,— по маменьке, Царство ей Небесное, я — Гупак. Из Малороссии родом была, покойница. Так что без обману нарекся, с полным гражданским правом.

– Значит, миновали вас, Миронов, мои девять грамм? — Обретая действительность, Петр Васильевич внимательно вглядывался в знакомые, обмятые

временем черты. — Не проверил, значит, работу свою Гудков, с плеча доложил…

– Доложить-то, может, он и доложил, только не исполнил. — Гупак даже не старался скрыть торжества. — Потому что наше, мироновское, добро не забыл. Кто ему ораву босоногую поднимать помогал? Кто его запои покрывал? Кто у жены гудковской все роды принимал? Мать Миронова, покойница, Царство ей Небесное, Анна Григорьевна, урожденная Гупак и сын ее единокровный, ваш покорный слуга Лев Львович. Вот и не забыл стрелочник Гудков добра, не выстрелил. «Иди,— сказал,— Лев Львович, с Богом, не поминай лихом». Видно, раздразнить мужика на чужую мошну легче, чем убить в нем душу христианскую…

– Ишь ты, вот тебе и Гудков,— горестно усмехнулся Петр Васильевич. Почему-то лишь теперь, восстанавливая в памяти возвращение Гудкова, он отчетливо отметил и несвойственную тому молчаливость, и курение его, обычно скупого и экономного, почти беспрерывное, и непоседливую в обратной дороге маяту. — Только не на одном Гудкове, Лев Львович, гражданин Миронов-Гупак, моя правда стоит. Коли б на нем лишь стояла, не выдюжила бы.

Но тот, вроде бы и не слыша его вовсе, гнул свое:

– Не убили, а теперь уж и никогда не убьете. Природа поозоровала да и снова вошла в русло… Знал я, не в вас, так в детях ваших скажется основа. И сказалась, не умерла. Пробилась первой порослью. Сквозь золу и тернии, а пробилась. По правде, не было у меня в жизни краше и светлее праздника, чем тот день, когда Антонина Петровна к нам, к братии пришла… И уж тогда загадал: не миновать мне с вами встречи… И вот, как в воду глядел… Спасибо, Петр Васильевич, удружили под старость… Что дал лично вам бунт ваш всеобщий? Один остались, как перст, один… Не мщением тешусь, поверьте, лишь истину сказать хочу. Не в наши с вами годы счеты сводить… Покайтесь, дорогой Петр Васильевич, покой обретете.

– Ведь не хуже моего знаете, что обман это.

– А хлеб — обман?

– Нет. — И еще тверже. — Хлеб — нет.

– Так и вера. Любая вера — добро. «Тьмы горьких истин нам дороже нас возвышающий обман…» На века сказано. Думали, свет открыли: Бога нет! Но светом этим высвободили в смертном его звериную суть, инстинкты животные. И теперь пожинаете плоды открытия своего, все у вас сыплется, не остановишь. Океан прорвало, а вы его лекциями да указами остановить хотите. Вместо мечты о вечной жизни подкинули обещание всемирного обжорства и ничегонеделания. А он — человек-то, как наелся, так сызнова его к вечной жизни потянуло. Удержи его теперь, попробуй.

И вдруг с резкой внезапностью обожгло Петра Васильевича пороховым дуновением той базарной площади, по которой полз он когда-то к обманчивому окороку за окном: «Неужели и правду зря? Неужели все, ради чего жил, попусту?»

Но тут же минутное сомнение сменилось прострельной яростью: «Врешь, лампадная душа, не будет по-твоему, вовек не будет!»

– Собираешь узловских кликуш и радуешься: твое взяло? — Речь его обрела уверенность и силу, так недостававшую ему в начале разговора. — Рано поминки по моей правде справлять собрался. Не тебе — мне на земле хозяйствовать. И мои девять грамм от тебя не уйдут, Миронов…

Чуть вывернутые веки хозяина устало опустились, он словно бы отгораживался от гостя раз и навсегда, давая, тем самым тому понять, что разговор окончен.

К себе Петр Васильевич вошел, против обыкновения, стремительно и шумно и, не раздумывая, уверенный, что тот, кому он адресуется, услышит его, сказал:

– Нечего прятаться, не маленький. Перебирайся к нам. Завтра же и перебирайся. Жить будем. Вместе, втроем жить.

И только один, но в два сердца вздох — тихий и благодарный — был ему ответом из-за стены.

<...>

Пока Антонина собирала на стол, гости принялись договаривать начатый, видно, еще до этого разговор. Упираясь волосатыми пальцами в грудь собеседнику, комендант трубно втолковывал ему:

– Мужички, говоришь? Кормильцы! Это они тебе здесь в жилетку плачутся: от колхозной голодухи, мол, на заработки приехали. А ты и развесил уши. Слушай их больше! Видишь вот на мне — штаны китайские, рубаха румынская, ботинки чешские, хлеб мы с тобой едим канадский, колбасу нам делают из мяса австралийского, кашу заправляют датским маслом. Где же он, кормилец наш вечный? А он, сердешный, или на базаре сидит, или в Кремле заседает, весь блестит от наград, по магазинам бегает. Причем, бездельник, нас же с тобой нашим же хлебом попрекает, — жизнь мы ему заели, говорит. Рабочий, ученый нынче сам себя кормит, золото добывает, нефть, машины, книжки делает, которые за кордон за жратву и тряпки идут. А крестьянин твой давным-давно у них на полном иждивении. Даже хлеб его нищий и картошку они ему убирают. А когда Россия действительно на крестьянский хлеб жила, то всегда голодала. Потому как не хлеб это, а слезы. Не умеет он его растить да и не хочет. Вон немцы на своих супесях по шестьдесят берут, а наш чудо-богатырь на черноземах до сих пор пятнадцати на круг не натягивает. Темен, ленив, поди, русский мужичок. Не жалеть его надо, а учить. Работать учить. Ты видел, как он сало солит? Набросает в бочку кусками и рад. А попробуй кто в деревне покоптить или повялить, поедом съедят, затравят. Не терпит русский мужичок, чтобы кто-нибудь выделялся. Они живут по-свински — значит, все так же должны жить. Потому и ненавидит Европу да и весь мир презирает. Не так живут, не по его. Потому и выхваляется: все у него первое в мире. «Левшу» читал? Видел картинку: грязный, оборванный, в гнилых лаптях. Зато блоху подковал! А ты спроси у него, зачем ее ковать-то? Лучше б умылся вначале, лыка надрал да лапти сплел, дыры в кафтане зашил бы! Воровской, бездельный народ, а ты нюни распустил: трудоднем сирого задавили! Заставишь ты его день даром проработать! Накось, выкуси!

<...>

VI

Рассказ Муси о самой себе

– Я, милая, такого перевидала, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Это тебе жизнь в диковинку, а я все медные трубы насквозь прошла, жива оста-

лась. Мать моя, Царство ей Небесное, хорошая была женщина, пила сильно. Бывало выпьет, и пошла куролесить, что под руку попадет. Палашку моего била — почем зря, а он у меня тихий, безответный был, только запойный. Она его бьет, а он лежит, не шелохнется, только просит все: «Сонечка, голубушка, по срамному-то месту зачем? Пожалей!» А она ему: «Я тебя потому и бью туда, чтоб неповадно было выблядков своих на свет пускать». Так они и жили, пока он в одночасье не повесился с перепою. Остались мы с мамашей вдвоем, как в песне поется: «Две былинки-сиротинушки во полюшке стоят». Я так лет с двенадцати еще по рукам пошла. Только с ленивым не спала. Мамка моя об меня все скалки обломала, а мне хоть бы что, за первыми штанами на улицу. Там и одевалась, там и харчевалась. Думала не родится тот человек, чтоб хомут на меня надел. С кем хочу, с тем и пойду. Только нашлась и на старуху проруха. Объявился у нас на улице оголец хроменький в малокозырке. Сам из себя не виден, зато глаз вострый и с характером, первый срок уже отбарабанил. Поглядела я в глаза его чернявой масти и зашлась во мне душенька: вот она, судьба моя распроклятая! Как собачонка за ним бегала. Совесть, гордость потеряла. Когда сошлась, озверела совсем, юбку около него увижу — в глазах черно. Как в песне поется: «Чтоб красивых любить, надо деньги иметь». Воровал мой оголец, как ни попади. Я тряпье на базар таскала. Сколько веревочке ни виться... Сгорели мы, как шведы. Он подельников выгораживал, все на себя взял, ему на всю катушку, а мне, по моей глупости,— пять без поражения. И пошло, поехало, как в песне: «А надзиратель пес, падлюка, гад, не скажет, иди, братишка, я соломки подстелю». Привезли в лагерь, снарядили на лесоповал, пять кубов норма. Две смены отработала,— нет, думаю, не пойдет дело. Иду в больничку, говорю,— клади. А он мне: «Здесь таких ушлых да дошлых пруд пруди. Иди,— говорит,— пока десять суток строгого не схлопотала». Иду, думаю, лучше в петлю, чем за зону лес валить. Попадается мне у вахты старшой из надзорслужбы. Под банкой. Ну, думаю, Муся, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». А вместо, как говорится, сердца — пламенный мотор. Примарафетилась наспех и к нему: «Гражданин начальник, жизни лишусь, пожалейте». Посмотрел он на меня пьяным глазом: «Пошли,— говорит,— со мной, поглядим, какая тебе цена». Завел он меня в котельную, а оттуда уже сам за мной, как теленок, бежал. Поработала в хозчасти уборщицей, а потом — на кухню. Так и прокантовалась до амнистии. Освободилась — идти некуда: мать померла, комната пропала. Сунулась в исполком, вербуйся говорят. Нашли дуру! Смотрю по коридору — табличка висит: «Горторг». А, была не была! Захожу я прямо к начальнику: «Работник пищеблока со стажем». Гляжу, смеется: «Когда,— говорит, освободилась?» Я чуть под себя не сделала. А он мне: «Не тушуйся,— говорит,— мне народ битый нужен, чтоб знал, чем срок пахнет». Дал мне ларек овощной на отлете, встала, торгую. Скоро на ноги стала. Молодая, из себя ничего, все липнут. Товар дают получше, план поменьше, выпивка завсегда бесплатная. В торговле деньги сами к рукам липнут: там пересортицу замастыришь, там левый товар в реализацию, вот она, копейка, и собирается. В общем, с каждым днем все радостнее жить. Да и начальство ласками не оставляет: то премию, то прогрессивку, то личным вниманием. Правда, слаб он уже был в коленках, да мне-то что! От меня не убудет. Все бы ничего, да один обехэсник на

меня глаз положил. Мне бы, дуре, лечь под него — и дело с концом, а мне, как на зло, вожжа под хвост: нет, и все тут! Уж больно дурен был лягавый. Росточку маленького, плюгавый, лысенький и левым глазом косит. Он уж и так и эдак, а я ни в какую. Ну, и подсидел он меня с левым товаром. Взяли меня — и в торбу. Он и в камеру ко мне ходил, скажи, мол, только слово, прикрою. Да не на ту напал! Иной раз зажмурю глаза, чёрт с ним, думаю, жалко что ли? А увижу и не могу, прямо с души воротит,— дам, так помру. В общем, обвенчали меня еще на пять по совокупности. Попала на строительство. Уж что я ни делала! Штанов, как говорится, не надевала, подо всех ложилась, только, видно, я уже не того сорта стала, да и девок молодых много, всякая просилась. Так и осталась я на общих работах. И даже не знаю, что бы со мной было, если б не попался мне Назарка наш, Карасик. Он и там прорабствовал. Чем уж я ему приглянулась, не знаю, я ведь тогда, как щепа, высохла, хоть заместо гладильной доски. Но, как в песне поется: «Глазенки карие и желтая косыночка зажгли в душе его пылающий костер». Пристроил он меня к себе для посылок. Такая лафа пошла, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ела да спала — и по новой ела. Отошла малость, а Назарка начал досрочное хлопотать, по начальству бегает, запросы пишет. Сразу после комиссии он сюда перевод взял. Только жить я с ним вместе все одно не стала, сняла себе времянку у вдовы одной в городе, сама себе хозяйка. Доход в этой столовке плёвый, да мне теперь много не надо, отгулялась. На водочку в кредит копеек двадцать набросишь, посуда, по мелочам набегает, на жизнь есть, а там видно будет. Меня и в город зовут, да не с руки мне там, и соблазна много. А по правде, так весь свет в окошке у меня теперь здесь. Последним, видно, огоньком горю. Никогда у меня такого не было, не припомню. Вроде и ничего нет в нем, одни мослы да глазищи, а пройдет мимо — сердце падает. Будто снова пятнадцать мне лет и никого у меня еще понастоящему не было. Как в песне поется. А ведь на мне пробы ставить негде. В лагере и с коблами путалась, и сама ковырялась, и на учете в диспансере состояла. Ося — это мне за все мои муки престольный праздничек. Увидел Господь малую рабу свою, пожалел, одарил без меры. Молодая была, не верила,— какой там Бог, когда жизнь такая? Да судьба надоумила. Принес мне как-то Назарка в рабочую зону яиц крашеных десяток,— под Пасху дело было. Пасха — Пасхой, а есть хочется. Раздала товаркам по яичку, одно себе оставила. Улучила вольную минутку, села в тенечке, только за подарочек взялась, гляжу уставилась на меня доходяга одна, смотрит, а у самой скулы сводит от жадности. Загорелась у меня тогда душа от злости: собственной крохи съесть не дадут. «На,— говорю,— падла, подавись ты яйцом этим, туды твою мать!» Схватила она яйцо — и в сторону, а у меня на сердце так вдруг легко сделалось, так тихо, словно родилась заново,— кругом птахи поют, листочки пахнут, солнышко прямо в тебя светит. Дошло тогда до меня: вот она — награда Божья! А то раньше бывало дам нищему пятачок, а себе на рупь жду, как в лотерее. С тех пор и поверила, в церковь хожу. Вот завтрева иду... Казанскую Божью Матерь справляют. Хочешь, вдвоем пойдем, в гостях у меня посидишь, как живу посмотришь... И-и-и, тесто убежало.

<...>

– «Выдюживать» следует при непосильных обстоятельствах. А наши нынешние неурожаи — результат нерадивости и лени. Никаких объективных причин тут нет. При современном уровне сельского хозяйства в мире, стыдно нам ссылаться на стихийные неурядицы. Тем более, в стране со столькими климатическими зонами. — Казалось, в свое время его рассердили однажды и навсегда, весь он являл собою воплощенное раздражение. — Считаем себя европейской страной, а земледелие ведем на африканском уровне. Послушаешь наших деятелей, так стихии преследуют одних нас. Причем, стихии выборочные. Извержения, землетрясения, цунами, дорожные катастрофы это — там. А у нас только засухи и непогоды. Надежное утешение для болтунов. Или, скажем, еще — война. Будто одни мы и воевали! Французы нам мясо продают! А мы-то, с нашими ресурсами и возможностями! Стыдно, уважаемые.

– Все-таки, полстраны порушилось,— осторожно возразил ему Петр Васильевич, ошарашенный его внезапным натиском. — Что ни говори, с другими не сравнить.

– А кто виноват?! — Старичок, взвиваясь, даже подскочил от ожесточения. — Кто виноват, что Российское государство на протяжении двух веков проигрывало одну войну за другой? Если две из них и были выиграны, то лишь благодаря безответному нашему мужику. Можно сказать, вопреки государственному устройству и кадровой армии. Двухсотмиллионный народ не смог выдержать первого боя со страной в несколько раз меньшей! Из-за политической слепоты головки, напыщенного бахвальства военных и их глупости, глупости и еще раз глупости! — Старичок прямо-таки задыхался от гнева. — Занимали западные окраины без выстрела, играли в «победы» на маневрах, а когда пришлось действительно воевать, то военного министра моточасти еле выловили под Смоленском вместе с его штабом, так драпал. Его заместитель, удирая без оглядки, солдатскую робу на себя напялил, а все свои регалии с документами вместе зарыл где-то в ростовской степи. А главный мыслитель неделю еще пил в ожидании мировой революции в тылу у противника. Каким же бездарным и самонадеянным надо быть, чтобы на это рассчитывать! А ведь в это время земля горела. Кровь лилась, и совсем не та «малая», что запланирована была. Спасибо мужику, снова выручил. Победили. Один к шести победили! Да за такие победы народу памятники надо ставить, а генералов судить военно-полевым судом. А они еще наглости набираются, мемуары пишут. «Левый охват», «правый охват», «котел», «клещи»! Словно балерины кокетничают, кто из них первый. Стратеги, сукины сыны! Бросали людские массы на пулеметы. Да еще и заградительные отряды сзади ставили. Двадцать миллионов положили. Германию ту заново заселить можно. И хоть бы чему-нибудь научились! Снова обвешиваются железками и пыжутся на парадах: «разгромим», «раздавим», «дадим отпор»! Без выстрела европейские задворки оккупировали и хвалятся: «операция экстракласса»! Забыли, как из той же Западной Украины бежали, сломя голову, когда там не прогуливаться, а воевать пришлось. Недоумки в погонах! А платить за их подлую глупость опять русскому мужику придется. Кровью платить. И какой!

<...>

КАРАНТИН

Поезд Одесса-Москва остановлен на обсервацию в чистом поле вследствие эпидемии холеры, возникшей в Одессе. Случайными обстоятельствами собранные вместе люди разных возрастов, национальностей, профессий и социальных страт внезапно открывают в себе тайные глубины подсознания и делятся друг с другом историями, случившимися с ними — забавными и поучительными, веселыми и трагическими.

<...>

XII

Преображение тихого семинариста

— Представьте себе захолустный грузинский городок: пыль, грязь, мертвящая скука нищего быта. В семье пьяницы-сапожника под присмотром забитой набожной женщины растет тихий мальчик с недюжинным для его лет умом и живым воображением. Болезненное самолюбие — следствие бедности и далеко идущих замыслов — помогает ему с успехом переходить из класса в класс и стать среди товарищей верховодом. Мать спит и видит его в пастырском облачении под сводами архиерейского собора. Втайне мальчик разделяет ее надежды и в свободные от игр и учебы часы усиленно штудирует святоотеческую литературу. Горние истины открываются перед ним во всей своей красоте и величии. Посвятить себя уединенному посту и молитве представляется ему его высшим призванием, выбор сделан сразу и навсегда. Жизнь в родном городке, где каждый третий считает настоящим отцом мальчика их соседа — красивого богатыря из виноторговцев, тяготит его. С помощью местного священника, питающего слабость к ревностному отроку, он определяется, наконец, в губернскую семинарию, в которой вскоре становится первым учеником. Вследствие перенесенной в детстве оспы, мальчик страдает комплексом неполноценности и дичится женщин, мирские соблазны не манят его. Всей незамутненной еще грехом душой он уходит в молитву. Экстатическая сущность его проявляется в ней наиболее полно. В минуты наивысшего просветления и подъема пастыри Царствия Божьего являют ему свой запредельный лик, благословляя его на служение Церкви и монашеский обет. Но в рвении своем он жаждет превзойти все содеянное святыми отцами во имя Господа. Подвиг Иуды, предавшего себя на позор и проклятие ради утверждения славы Христовой, не кажется ему пределом самоотречения. Ему грезится совершить такое, после чего на пиру праведных он будет сидеть одесную Спасителя. Пламенную ревность свою он изливает восторженными стихами, заполняя ими всякий свободный листок бумаги. Гордыня его так велика, что он решается показать свои вирши знаменитому поэту-соплеменнику, который, отвергнув их, в простоте душевной советует ему заняться политикой. «Знаете, юноша, — напутствует он семинариста, — там это легче». Но юноша, пока не ведая, что совет мэтра станет пророческим, с еще большим усердием продолжает молитвенные бдения.

Дни и ночи идут своей чередой, не даруя ему указующего назначения. В слезах и покаянии взывает он к Господу, моля Его о непосильном для других кресте.

Услышана ли была его молитва или в изнеможении пригрезилось ему, но только однажды среди ночи, когда, казалось, уже иссякла надежда, слышит семинарист явственный голос: «Иди на Афон». Конец сомнениям и томлению духа, конец ложным влечениям и пустым химерам! Семинарское начальство отнеслось к желанию многообещавшего отрока поклониться святым местам со снисхождением и вскоре он уже стучится в ворота Ново-Афонского монастыря. Братия встречает молодого паломника с распростертыми объятиями. Еще бы, такое рвение при всеобщем оскудении веры! Проявляет интерес к гостю и сам знаменитый богоугодной жизнью старец Игнатий, завершающий здесь свои земные дни. Будучи призванным к нему, юноша с удивлением отмечает добротное, хотя и без роскоши убранство его кельи. Едва уловимый аромат хороших духов витает в четырех ее просторных стенах. На столике красного дерева теснятся дорогие безделушки.

Старец прекрасно понимает состояние гостя. «Не бойся людских слабостей, сын мой, — говорит он. — Слабость это еще не грех. Праведная жизнь не в вещах, а в поступках. В делах рук наших тоже красота Божья и нам ли ею гнушаться? С чем ты пришел ко мне, милый?» После врачующей сердце исповеди, в которой тот изливает перед святым отцом всю свою душу, всю муку тяготившей его страсти, старец долго молчит, взыскующе глядя куда-то сквозь гостя, в обозримое только для него одного пространство. «Ты хочешь жертвы, которой нет равных со дня Вознесения Христова? — отверзает он затем уста. — И ты готов?» «Да, святой отец, — отвечает семинарист, — готов». «Тогда слушай, — подступает к нему старец, властно опуская его на колени. — Бесы земных страстей одолели человеческую душу. Человек возжаждал устроиться на земле, устроиться любой ценой, даже ценою преступления. Кровь и ярость застилают ему глаза, он уже неподвластен никакой благодати. Обуянные соблазнами люди слепо рвутся к пропасти. Людей гонят туда бесы корысти и гордыни, и, если их не остановить, свет уйдет из мира, и воцарится тьма». «Кто остановит их, святой отец?»

«Ты». «Я готов, — шепчет гость, — укажи путь». «Готов ли ты, во имя Господне, обречь душу на вечные муки и поругание?» «Да, святой отец, — говорит тот, — готов». «Готов ли ты предать мать, жену, детей своих хуле и позору?» «Да, святой отец, готов». «Готов ли ты убить друга и обесчестить роженицу?» «Да». «Готов ли ты преступить все заповеди и законы человеческие ради торжества Христовой истины»? «Да, с упованием в сердце». «Не будешь ли жалеть о деяниях своих в минуты слабости и смятения»? «Нет, никогда». «Что ж, — говорит ему старец, — тогда иди. Иди к тем, кто попирая Божьи заповеди, замыслил обратить детей Христовых в стадо послушных рабов, жизнь и смерть которых будет зависеть от них и никого более. Со скорбью в сердце разрешаю тебя ото всех грехов. Предавай и святотатствуй, кради и убивай, лицемерь и лги. Ты должен стать у них первым. Первым, меньшего не дано. Катехизис их немудрен, слова пусты и ничтожны, главное забудь, что такое Бог и совесть.

Когда же с помощью Божьей ты вознесешься на самую вершину власти меж-

ду ними, наступит для тебя самое тяжкое твое испытание. Они, взявшие в руки меч лжи и разбоя, должны погибнуть, погибнуть все до единого. И смерть для них ты сделаешь во сто крат страшнее смерти их жертв. Мы спасем их души, тела же пусть примут всю меру страданий, какую уготовили они для других!» «Но, святой отец, — восклицает пораженный семинарист, — среди них есть немало соблазненных с чистым сердцем!» «С чистым сердцем, — резко ответствует ему старец, — не решаются идти по трупам ближних. Ответственность их равна и наказание им одно: бесславная смерть. Им не будет числа, имя им легион, и рука твоя да не дрогнет, отправляя на плаху каждого из них, будь то твой друг или близкий родственник. Если человеку не достало крови Спасителя, чтобы прозреть, пусть умоется он своею собственной. Может быть, тогда он оторвет свой взор от земли и взглянет, наконец, в небо... Снесешь ли ты эту ношу, сын мой избранный?» «Снесу, — ответствует тот, и в благодарных глазах его загорается пламень решимости. — Благослови, отец!» С того дня сердце его отрешается от мира. Нет преступления, какого он не совершал бы, идя к поставленной цели. Он интригует среди своих и одновременно служит в политическом сыске, продавая единомышленников оптом и в розницу за триста рублей помесячного жалования. Он не гнушается дружбой воров и насильников, организуя из них банды по экспроприации. Он устраняет со своего пути соперников, не останавливаясь перед клеветой и убийством. Провидение помогает ему избегать случайностей и ошибок. После победы у него почти не остается серьезных соперников. В его списке их двое, но один из них смертельно болен, другой же, оглушенный собственным красноречием, сам роет себе яму, раздражая своей болтовней только что пришедшую к власти и не обремененную образованием касту. Время работает на бывшего семинариста, и через несколько лет, похоронив одного и выдворив из страны другого, он становится единовластным хозяином огромного государства, устрашившего мир невиданным мятежом. Месть его грозна и неотвратима. Сначала он выбивает из-под ног землю у самой непокорной части народа, натравив на нее безродных люмпенов: такого плача и стона не слышала эта страна со времен монгольского нашествия. Брат грабил брата, сын посылал на заклание отца, сосед оговаривал соседа. Сорной травой зарастали пашни, и в некогда хлебороднейших краях павшие от голода складывались штабелями. Затем он принимается за тех, с кем шел к своей неограниченной власти. Бывших палачей казнили палачи, пришедшие к ним на смену, которых, в свою очередь, уничтожали новые палачи. Но зелье сонного рабства уже текло в их крови, и они, умирая, возглашали ему славу и здравие. Но и этого ему кажется мало. В случившейся вскоре кровопролитной войне он отдает на растерзание врагу чуть не четверть государства, устелив эту четверть миллионами брошенных на произвол судьбы жертв, которые, пропадая в концлагерях и братских могилах, все же не оставляют его своим обожанием. Ложь становится сутью и двигателем человеческой души. Ложь вывернула действительность наизнанку и продиктовала людям способ существования. Ложь пропитала самый воздух, каким все вокруг жило и дышало.

Только тут, оказавшись лицом к лицу с результатом заданной себе миссии, он приходит, наконец, к выводу, что обманут. Обманут с самого начала лукавым старцем на Афоне. Пролитая кровь не сделала людей ни мудрее, ни

зорче. Но в душе его уже нет места свету и раскаянью. Брезгливое презрение к черни, ничего не забывшей и ничему не научившейся, завладевает его сердцем. Став властелином чуть ли не полумира, он играет судьбами людей и народов, злорадно любопытствуя, до каких же столпов может еще дойти человек в своем лакейском падении. Главы сопредельных государств неделями топчутся у него в прихожей в ожидании аудиенции, собственные министры, упившиеся по его милости до положения риз, пляшут перед ним гопака и кричат петухами, родные дети от страха не поднимают в его присутствии глаз. Ведь их кровная связь с ним прервалась еще со смертью матери, которую, кстати, он тоже предал без особой печали и сожаления. Но чем явственнее приближается к нему старость, тем безотраднее начинает казаться ему его жизнь. Все вокруг видится ему осточертевшим и пресным. Пресные шутки приближенных, пресные процессы микроскопических врагов, пресные увлечения угасающего старческого сердца. В его жизнь, отодвинув все другие ощущения на задний план, входит страх. Страх опутывает его душу гнетущей тревогой, страх теснит ему грудь удушливым холодом, страх лишает его сна и покоя. Тысячи, тысячи рук, кажется ему, тянутся в его сторону, чтобы рассчитаться с ним за чью-либо гибель. Не доверяя даже ближайшим из близких, он окружает себя стаей кавказских головорезов, каждый из которых ради него способен убить собственную мать. За бронированными дверями кабинета без окон, обутый в валеные опорки, целыми днями бродит он из угла в угол, коротая время в решении детских кроссвордов и в смутных воспоминаниях. Все чаще и чаще являются ему картины далекого прошлого. Все чаще видит он родной дом, школу, семинарию, Новый Афон. Все чаще возвращается он мыслью к разговору со старцем Игнатием. И всякий раз при этом диктатора гнетет один и тот же единственный вопрос: кто, где и почему подвигнул его через случайного анахорета на это крестное восхождение? «Попался бы он мне сейчас, — закипает старик злостью к Игнатию, — ему бы живо развязали язык». Слова давно забытых молитв всплывают в его памяти, но, вызвав в нем задавленный зов, они так и не складываются в одно целое. Господь не принимает его боязливых попыток вновь приблизиться к небесному престолу. Чувствуя скорый конец, он почти не спит, страшась умереть во сне. Он все еще ждет, что разгадка его жизни откроется перед ним, и он, наконец, узнает смысл своего пути и предназначения. Но дни идут, приближая развязку, а судьба не спешит вывести его из неведения. Постепенно он начинает чувствовать медленное угасание своего сердца. Лишь тогда в последние считаные минуты перед небытием он внезапно видит возникшего у двери Спасителя. Распятый молча смотрит на него и в скорбных глазах гостя не таится ни вызова, ни укора. «Ты звал меня, — тихо молвит Он, — я пришел». И тут старик замечает в Его глазах слезы. Охладевающая душа диктатора не выдерживает тяжести этого зрелища, он падает ниц и поверженный ползет к двери. «Во имя Твое, — хрипит старик, — ради славы Твоей!» Но Спаситель молчит и только тихие слезы снисхождения и жалости текут по Его изможденным щекам. «Прости! — чуть слышно вопиет бывший семинарист. — Разве не ради Тебя предал я мать, жену, детей своих, разве не ради Твоей истины преступил закон и заповедь, разве не во имя Твое залил кровью половину мира?» «Нет, — поводит голо-

вой Спаситель, — но я прощаю тебя, ибо не ведал ты, что творил». «Но разве, кроме прощения, я ничего не заслужил у Тебя? — не унимается умирающий. — Разве крест, пронесенный мною, посилен простому смертному? Я совершил этот подвиг проклятья, чтобы сесть одесную Господа в день Твоего второго пришествия, так не оставь же меня наградой!» «Я пришел подарить мир твоей смятенной душе, — ответствует тот. — Но ты не принял моего дара, ибо не вера, а гордыня двигала тобой в твоем пути, большей награды у меня нет. На моем празднике все равны и все одесную Господа. Прощай». «Подожди! — тянется следом за ним умирающий. — Подожди, я хочу еще что-то сказать Тебе!» Но образ у порога исчезает, и последний вопль захлебывается в белых губах старика, застывшего на пол-дороге к двери с вытянутой вперед рукой...

Источник: библиотека А. Белоусенко (http://belousenkolib.narod.ru).

Ерофеев
Венедикт Васильевич
(1938–1990)



Писатель, грузчик продовольственного магазина, подсобник каменщика, истопник-кочегар, дежурный отделения милиции, приемщик винной посуды, бурильщик в геологической партии, стрелок военизированной охраны, коллектор в геофизической экспедиции, библиотекарь, монтажник кабельной сети связи, лаборант паразитологической экспедиции, лаборант ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом и др.

Родился на Кольском полуострове за Полярным кругом. После окончания школы с отличием поступил в Московский университет. Отчислен со второго курса за не хождение на занятия по военной подготовке. С тех пор жил случайными заработками (см. выше).

Основные произведения:

«Заметки психопата» (1956-58), «Благая весть» (1962), «Москва-Петушки» (1970), «Василий Розанов глазами эксцентрика» (1973), пьеса «Вальпургиева ночь, или шаги Командора» (1985), «Моя маленькая лениниана» (1988). Первая публикация в России: сокращенный вариант поэмы «Москва-Петушки» в журнале «Трезвость и культура» (!!!) (№ 12 за 1988 г., № 1, 2, 3 за 1989 г.)

МОСКВА-ПЕТУШКИ

<...>

Электроугли — 43-й километр.

Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать: верящий в преодоление и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий — к свету. От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне — к свету и Петушкам. Дурх ляйден — лихт!

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут — яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

– Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва — не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская это такое дерьмо! А российская — смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков — невредимый — я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей, в присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струны» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду — напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт в создании коктейлей. От Москвы до Петушков пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора, пьют «Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки» и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка, — в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном — в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну, конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну, конечно: голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура, это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, — а как очищается политура — это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат — 100 г
Бархатное пиво — 200 г
Политура очищенная — 100 г

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечьи называют «чернобуркой») — жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это уже даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить «Ханаанский бальзам», а, во-вторых, пить, взамен его, коктейль «Дух Женевы».

В нем нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что «Белую сирень», составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шип-

ром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» — это вам не «Белая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» — напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни...

У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? — потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», — говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» — и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый»!

Слушайте точный рецепт:

Средство от потливости ног – 50 г
Пиво жигулевское – 200 г
Лак спиртовой – 150 г

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский бальзам», и «Дух Женевы». А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе «Слезу комсомолки». Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?

Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, — лишился.

Лаванда – 15 г
Вербена – 15 г
Лесная вода – 30 г
Лак для ногтей – 2 г
Зубной эликсир – 150 г
Лимонад – 150 г

Приготовляемую таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек — но вы меня не заставите помешивать повиликой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повиликой...

Но о «Слезе» довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):

Пиво жигулевское — 100 г
Шампунь «Садко — богатый гость» — 30 г
Резоль для очистки волос от перхоти — 70 г
Средство от потливости ног — 30 г
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых — 20 г

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов — подается к столу...

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть — на дуршлаг откинуть и спать ложиться... Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки — от дряблости воображения, от недостатков полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки...

Итак, «Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

Источник: сайт http://www.vault.nazgul.ru.

Войнович
Владимир Николаевич

(Род. 1932)



Писатель.

Родился в Сталинабаде в семье учительницы и журналиста, после ареста которого в 1937 г. семья переехала в Запорожье.

Первые публикации появились в начале 60-х годов: «Расстояние в полкилометра» (1961), «Хочу быть честным» (1962), «Два товарища» (1967) и др., а также знаменитая песня «Заправлены в планшеты космические карты». По повестям «Хочу быть честным» и «Два товарища» ставились театральные спектакли, принесшие их автору широкую известность.

В 60-х годах в советской прессе Войнович часто печатает свои повести и рассказы: «Мы здесь живем», «Владычица». В 1966 г. подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля, а в 1968 г. — в защиту Гинзбурга и Галанскова. В 1973 г. Войнович отказался подписать официальное письмо советских писателей с критикой академика А. Сахарова, в результате чего издательства возвратили все еще неопубликованные рукописи Войновича. После того как роман Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» стал широко ходить в Самиздате и был издан на Западе, Войновича в феврале 1974 года исключили из Союза писателей.

В 1980 г. Войнович выехал за границу по приглашению Баварской Академии искусств, а в 1981 г. был лишен советского гражданства. Живет в Мюнхене.

В эмиграции написаны «Шапка» (1987), «Москва 2042» (1987) и др. Все эти произведения были напечатаны на Родине после 1988 г. В 1992 г. часто приезжает в Россию.

Наиболее полное издание произведений писателя — Владимир Войнович, малое собрание сочинений в 5 томах, М.: «ФАБУЛА», 1992-94.

ЖИЗНЬ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

1

Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что случай, с которого началась (и тянется почти до наших дней) вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось. Те, что остались, рассказывают по-разному, а некоторые и вовсе не помнят. Да, по правде сказать, и не такой это случай, чтоб держать его в памяти столько времени. Что касается меня, то я собрал в кучу все, что слышал по данному поводу и прибавил кое-что от себя, прибавил, может быть, даже больше, чем слышал. В конце концов, история эта показалась мне настолько занятной, что я решил

изложить ее в письменном виде, а если вам она покажется неинтересной, скучной или даже глупой, так плюньте и считайте, что я ничего не рассказывал.

Произошло это вроде бы перед самой войной, не то в конце мая, не то в начале июня 1941 года, в этих, примерно, пределах.

Стоял обыкновенный, жаркий, как бывает в это время года, день. Все колхозники были заняты на полевых работах, а Нюра Беляшова, которая служила на почте, прямого отношения к колхозу не имела и была в тот день выходная, копалась на своем огороде, окучивала картошку.

Было так жарко, что, пройдя три ряда из конца в конец огорода, Нюра совсем уморилась. Платье на спине и под мышками взмокло и, подсыхая, становилось белым и жестким от соли. Пот затекал в глаза. Нюра остановилась, чтобы поправить выбившиеся из-под косынки волосы и посмотреть на солнце, скоро ли там обед.

Солнце она не увидела. Большая железная птица с перекошенным клювом, заслонив собой солнце и вообще все небо, падала прямо на Нюру.

– Ай!— в ужасе вскрикнула Нюра и, закрыв лицо руками, замертво повалилась в борозду. Кабан Борька, рывший землю возле крыльца, отскочил в сторону, но, увидев, что ему ничего не угрожает, вернулся на прежнее место.

Прошло сколько-то времени. Нюра очнулась. Солнце жгло спину. Пахло сухой землей и навозом. Где-то чирикали воробьи и кудахтали куры. Жизнь продолжалась. Нюра открыла глаза и увидела под собой комковатую землю.

«Что же я лежу?» — подумала она недоуменно и тут же вспомнила про железную птицу.

Нюра была девушка грамотная. Она иногда читала «Блокнот агитатора», который регулярно выписывал парторг Килин. В «Блокноте» недвусмысленно говорилось, что всяческие суеверия достались нам в наследство от темного прошлого и их надо решительно искоренять. Эта мысль казалась Нюре вполне справедливой. Нюра повернула голову вправо и увидела свое крыльцо и кабана Борьку, который по-прежнему рыл землю. В этом не было ничего сверхъестественного. Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Нюра повернула голову дальше и увидела чистое голубое небо и желтое слепящее солнце.

Осмелев, Нюра повернула голову влево и снова упала ничком. Страшная птица существовала реально. Она стояла недалеко от Нюриного огорода, широко растопырив большие зеленые крылья.

«Сгинь!» — мысленно приказала Нюра и хотела осенить себя крестным знамением, но креститься, лежа на животе, было неудобно, а подниматься она боялась.

И вдруг ее словно током пронзило: «Так это же аэроплан!» И в самом деле. За железную птицу Нюра приняла обыкновенный самолет «У-2», а перекошенным клювом показался ей неподвижно застывший воздушный винт.

Едва перевалив через Нюрину крышу, самолет опустился, пробежал по траве и остановился возле Федьки Решетова, чуть не сбив его правым крылом. Федька, рыжий мордатый верзила, известный больше под прозвищем Плечевой, косил здесь траву.

Летчик, увидев Плечевого, расстегнул ремни, высунулся из кабины и крикнул:

– Эй, мужик, это что за деревня?

Плечевой нисколько не удивился, не испугался и, приблизившись к самолету, охотно объяснил, что деревня называется Красное, а сперва называлась Грязное, а еще в их колхоз входят Клюквино и Ново-Клюквино, но они на той стороне реки, а Старо-Клюквино, хотя и на этой, относится к другому колхозу. Здешний колхоз называется «Красный колос», а тот имени Ворошилова. В «Ворошилове» за два последние года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого — за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было только слово «эх» с тремя восклицательными знаками. А что это «Эх!!!» могло значить, так никто и не понял. Что касается здешнего председателя, то он хотя тоже пьет без всякого удержу, однако на что-то еще надеется.

Плечевой хотел сообщить летчику еще ряд сведений из жизни окрестных селений, но тут набежал народ.

Первыми подоспели, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременные, а многие и с детишками и беременные одновременно. Были и такие, у которых один ребятенок за подол цепится, другой за руку, вторая рука держит грудного, а еще один в животе поспевает. К слову сказать, в Красном (да только ли в Красном?) бабы рожали охотно и много, и всегда были либо беременные, либо только что после родов, а иногда и вроде только что после родов, а уже и опять беременные.

За бабами шкандыбали старики и старухи, а с дальних полей, побросав работу, бежали и остальные колхозники с косами, граблями и тяпками, что придавало этому зрелищу сходство с картиной «Восстание крестьян», висевшей в районном клубе.

Нюра, которая все еще лежала у себя в огороде, снова открыла глаза и приподнялась на локте.

«Господи,— сверкнула в мозгу ее тревожная мысль,— я здесь лежу, а люди давно уж глядят».

Спохватившись на свои, еще не окрепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями в заборе и кинулась к постепенно густевшей толпе. Сзади стояли бабы. Нюра, расталкивая их локтями, стонала:

– Ой, бабы, пустите!

И бабы расступались, потому что по голосу Нюры понимали, что ей край надо пробиться вперед. Потом пошел слой мужиков. Нюра растолкала и их, говоря:

– Ой, мужики, пустите!

И, наконец, очутилась в первом ряду. Она увидела совсем близко самолет с широкой масляной полосой аж по всему фюзеляжу и летчика в коричневой кожаной куртке, который, прислонившись к крылу, растерянно глядел на подступавший народ и вертел на пальце потертый шлем с дымчатыми очками.

Рядом с Нюрой стоял Плечевой. Он посмотрел на нее сверху вниз, засмеялся и сказал ласково:

– Ты гляди, Нюрка, живая. А я думал, тебе уже все. Я ведь аэроплан пер-

вый заметил, да! Я тут у бугра сено косил, когда гляжу: летит. И в аккурат, Нюрка, на твою крышу, на трубу прямо, да. Ну, думаю, сейчас он ее счешет.

– Брешешь ты все, — сказал Николай Курзов, стоявший от Плечевого справа.

Плечевой споткнулся на полуслове, посмотрел на Николая тоже сверху вниз, поскольку был выше на целую голову, и, подумав, сказал:

– Брешет собака. А я говорю. А ты свою варежку закрой да и не раскрывай, пока я тебе не дам разрешения. Понял? Не то я тебе на язык наступлю.

После этого он поглядел на народ, подмигнул летчику и, оставшись доволен произведенным впечатлением, продолжал дальше:

– Эроплан, Нюрка, от твоей трубы прошел вот на вершок максима. А минима и того менее. А если б он твою трубу зачепил, так мы бы тебя завтра уже обмывали, да. Я бы не пошел, а Колька Курзов пошел бы. Он до женского тела любопытный. Его прошлый год в Долгове в милиции три дня продержали за то, что он в женскую баню залез и под лавкой сидел, да.

Все засмеялись, хотя знали, что это неправда, что Плечевой это придумал сейчас. А когда перестали смеяться, Степан Луков спросил:

– Плечевой, а Плечевой, а ты когда увидал, что эроплан за трубу зачепится, испужался, ай нет?

Плечевой презрительно сморщился, хотел сплюнуть, да некуда было — всюду народ. Он проглотил слюну и сказал:

– А чего мне пужаться? Эроплан не мой, и труба не моя. Кабы моя была, может, спужался б.

В это время один из мальчишек, крутившихся тут же под ногами у взрослых, изловчился и шарахнул по крылу палкой, от чего крыло загудело, как барабан.

– Ты что делаешь?— заорал на мальчишку летчик. Мальчишка испуганно юркнул в толпу, но потом снова вылез. Палку, однако, выбросил.

Плечевой, послушав какой звук издало крыло, покачал головой и спросил у летчика со скрытым ехидством:

– Свиной кожей обтянуто?

Летчик ответил:

– Перкалью.

– А чего это?

– Такая вещь,— объяснил летчик.— Материя.

– Чудно,— сказал Плечевой.— А я думал он весь из железа.

– Кабы из железа,— влез опять Курзов,— его бы мотор в высоту не поднял.

– В высоту поднимает не мотор, а подъемная сила,— сказал известный своей ученостью кладовщик Гладышев.

За образованность Гладышева все уважали, однако в этих его словах усомнились.

Бабы этих разговоров не слушали, у них была своя тема. Они разглядывали летчика в упор, не стесняясь его присутствия, словно он был неодушевленным предметом, и вслух обсуждали достоинства его туалета.

– Кожанка, бабы,— чистый хром,— утверждала Тайка Горшкова.— Да еще со складками. Для их, видать, хрома не жалеют. Нинка Курзова возразила:

– Это не хром, а шевро.

– Ой, не могу!— возмутилась Тайка.— Какое ж шевро? Шевро то с пупырышками.

– И это с пупырышками.

– А где ж тут пупырышки?

– А ты пошшупай — увидишь,— сказала Нинка.

Тайка с сомнением посмотрела на летчика и сказала:

– Я бы пошшупала, да он, наверно, щекотки боится.

Летчик смутился и покраснел, потому что не знал, как на это все реагировать.

Его спас председатель Голубев, который подъехал к месту происшествия на двуколке.

Само происшествие застало Голубева в тот момент, когда он вместе с одноруким счетоводом Волковым проверял бабу Дуню на предмет самогоноварения. Результаты проверки были налицо: председатель слезал с двуколки с особой осторожностью, он долго нащупывал носком сапога железную скобу, подвешенную на проволоке вместо подножки.

В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Старо-Клюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая: жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели.

Все это было бы еще не так страшно, но, как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.

Поначалу, когда от каждой избы все стаскивали в одну кучу, оно выглядело внушительно, и хозяйствовать над этим было приятно, а потом кое-кто спохватился и пошел тащить обратно, хотя обратно-то не давали. И председатель себя чувствовал вроде той бабы, которую посадили на кучу барахла сторожить. Окружили ее с разных сторон, в разные стороны тащат. Одного за руку схватит, другой в это время из-под нее еще что-нибудь высмыкне, она к тому, этот убежал. Что ты будешь делать?

Председатель тяжело переживал создавшееся положение, не понимая, что не он один виноват в этом. Он все время ждал, что вот приедет какая-нибудь инспекция и ревизия, и тогда он получит за все и сполна. Но, пока что, все обходилось. Из района наезжали иногда разные ревизоры, инспектора и инструкторы, пили вместе с ним водку, закусывали салом и яйцами, подписывали командировочные удостоверения и уезжали подобру-поздорову. Председатель даже перестал их бояться, но, будучи человеком от природы неглупым, понимал, что вечно так продолжаться не может и что нагрянет когда-нибудь Высшая Наиответственнейшая Инспекция и скажет свое последнее слово.

Поэтому, узнав, что за околицей, возле дома Нюры Беляшовой, приземлился самолет, Голубев ничуть не удивился. Он понял, что час расплаты настал, и приготовился встретить его мужественно и достойно.

Счетоводу Волкову он приказал собрать членов правления, а сам, пожевав чаю, чтобы хоть чуть-чуть убить запах, сел в двуколку и поехал к месту посадки самолета. Поехал навстречу своей судьбе.

При его появлении толпа расступилась, образовав между ним и летчиком живой коридор. По этому коридору председатель довольно твердой походкой прошел к летчику и издалека протянул ему руку.

– Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза,— четко назвал он себя, стараясь дышать на всякий случай в сторону.

– Лейтенант Мелешко,— представился летчик.

Председателя несколько смутило, что представитель Высшей Инспекции такой молодой и в таком скромном чине, но он виду не подал и сказал:

– Очень приятно. Чем могу служить?

– Да я и сам не знаю,— сказал летчик.— У меня маслопровод лопнул и мотор заклинило. Пришлось вот сесть на вынужденную.

– По заданию?— уточнил председатель.

– Какое задание?— сказал летчик.— Я вам говорю — на вынужденную. Мотор заклинило.

«Давай, давай заливай больше»,— подумал про себя Иван Тимофеевич, а вслух сказал:

– Если чего с мотором, так это можно помочь. Степан,— обратился он к Лукову, ты бы пошуровал, чего там такое. Он у нас на тракторе работает, — объяснил он летчику. Любую машину разберет и опять соберет.

– Ломать не строить, — подтвердил Луков и, достав из бокового кармана своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к самолету.

– Э-э, не надо,— поспешно остановил его летчик.— Это не трактор, а летательный аппарат.

– Разницы нет,— все еще надеялся Луков.— Что там гайки, что здесь. В одну сторону крутишь закручиваешь, в другую сторону крутишь — откручиваешь.

– Вам надо было не здесь садиться,— сказал председатель,— а возле Старо-Клюквина. Там и МТС, и МТМ — враз бы все починили.

– Когда садишься на вынужденную,— терпеливо объяснил летчик,— выбирать не приходится. Увидел поле не засеяно, прижался.

– Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно,— сказал председатель, оправдываясь. Может, хотите осмотреть поля или проверить документацию? Прошу в контору.

– Да зачем мне ваша контора!— рассердился летчик, видя, что председатель к чему-то клонит, а к чему, непонятно. Хотя подождите. В конторе телефон есть? Мне позвонить надо.

– Чего ж сразу звонить?— обиделся Голубев.— Вы бы сперва посмотрели, что к чему, с народом бы поговорили.

– Послушайте,— взмолился летчик,— что вы мне голову морочите? Зачем мне говорить с народом? Мне с начальством поговорить надо.

«Во какой разговор пошел,— отметил про себя Голубев. — на «Вы» и без матюгов. И с народом говорить не хочет, а прямо с начальством».

– Дело ваше,— сказал он обреченно.— Только я думаю, с народом поговорить никогда не мешает. Народ, он все видит и все знает. Кто сюда приезжал, и кто чего говорил, и кто кулаком стучал по столу. А чего там говорить! Он махнул рукой и пригласил к себе в двуколку. Садитесь, отвезу.

Звоните сколько хотите.

Колхозники снова расступились. Голубев услужливо подсадил летчика в двуколку, потом взгромоздился сам. При этом рессора с его стороны до отказа прогнулась.

<…>

15

Чтобы читателю были понятны в дальнейшем отношения между селекционером и его женой, надо остановиться, хотя бы вкратце на поучительной истории этого неравного брака.

Гладышев женился на Афродите года за два до описываемого здесь периода, когда ему было уже сильно под сорок. Пять лет до этого (после смерти матери) жил в одиночестве, справедливо полагая, что семейная жизнь мало способствует научному творчеству. Ну, а к сорока годам (то ли природа стала брать свое, то ли одиночество утомило) решил он все же жениться, хотя это оказалось делом нелегким, при всем том, что невест в деревне было в избытке. Его разговоры насчет замечательного гибрида невесты еще терпели и соглашались даже на то, чтобы вдвоем, рука об руку нести сквозь жизнь бремя научного подвига, надеясь, впрочем, что дурь эта у Гладышева со временем пройдет сама по себе. Но, когда дело было уже на мази и невеста перешагивала порог будущего своего дома, редкая выдерживала хотя бы четверть часа. Одна, говорят, бухнулась в обморок уже на второй минуте. И вот почему. Удобрения для своих селекционных опытов Гладышев держал на дому в специальных горшочках. Это были и торфоперегнойные горшочки, и горшочки с коровьим и конским навозом, и горшочки с куриным пометом. А удобрениям Гладышев придавал большое значение. Он их смешивал в разных пропорциях, выдерживал на печке, на подоконнике, при определенной температуре, давал перебродить. И не только летом, но и зимой при закрытыхто окнах!

И лишь будущая Афродита, которая никаких иллюзий насчет своих чар не имела, вынесла все до конца. Очень хотелось замуж.

Гладышев, когда понял, что у него другого выбора нет, решил было навсегда оставить мечту о женитьбе, но потом рассудил иначе. Насчет Ефросиньи было у него такое соображение, что, если он ее, никому не нужную, подберет, уж она потом за такое его благородство заплатит полной преданностью и ему, и его науке.

Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Ефросинья сперва и правда платила, но, родивши Геракла, стала вести с этими горшочками войну под предлогом вредности для ребенка. Сначала намеками и уговорами, потом скандалами. Выносила горшки в сени. Гладышев вносил их обратно. Пробовала бить эти горшки, Гладышев бил ее, хотя вообще насилия не одобрял. Несколько раз уходила она с ребенком к родителям, жившим на другом конце деревни, но каждый раз мать прогоняла ее обратно.

В конце концов смирилась она со всем, на все махнула рукой и за собой перестала следить. И раньше красавицей не слыла, а сейчас и вовсе бог знает на что стала походить. Вот, собственно, и вся эта история вкратце.

А теперь вернемся к тому, с чего начали мы свой рассказ.

Итак, Чонкин стоял возле своего самолета, Гладышев копался на огороде, а Афродита с ребенком на руках сидела на крыльце и смотрела на мужа с нескрываемым отвращением.

– Слышь, сосед, здорово!— закричал Чонкин Гладышеву.

Тот разогнулся над очередным кустом пукса, двумя пальцами приподнял шляпу и чинно ответил:

– Желаю здравствовать.

Чонкин, прислонив винтовку к самолету, оставил ее и подошел к забору, разделявшему два огорода.

– Что-то ты, сосед, я гляжу, возишься на этом огороде, возишься. Не надоело?

– Да ведь как сказать, со сдержанным достоинством ответил Гладышев.— Я ведь не для себя, не в виде личной наживы, а ради научного интереса. А ты никак сегодня под эропланом ночевал?

– А нам, татарам, один черт, где ночевать, — пошутил Чонкин.— Сейчас время теплое, не зима.

– А я утром вышел, гляжу: чьи-то ноги из-под эроплана торчат. Неужто, думаю, Ваня нынче на улице ночевал? Еще и Афродите говорю: «Погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под эроплана торчат». Слышь, Афродита! закричал он жене, призывая ее в свидетели.— Помнишь, утром я тебе говорил: «Погляди, мол, кажись, Ванины ноги из-под эроплана торчат».

Афродита смотрела на него все с тем же выражением лица, не меняя его и никак не реагируя на обращенные к ней слова.

Чонкин посмотрел на Гладышева, вздохнул и неожиданно для самого себя вдруг сказал:

– А я, слышь, с бабой своей поругался, ушел я от ней, понял? Потому на улице нынче и ночевал.

– А что так? — обеспокоился Гладышев.

– Да так, слышь, — уклонился от прямого ответа Иван.— Я ей, слышь, одно, она мне, слышь, другое, словом по слову, носом по столу, так все и пошло. Я, слышь, плюнул, взял шинелку, винтовку, мешок, а что у меня еще?— и на двор.

– Вон оно как повернулось, — удивленно покачал головой Гладышев.— То-то я сегодня утром вышел и гляжу, уж не твои ли ноги из-под эроплана торчат. Значит, ты с ней поругался?

– Да вот поругался, — погрустнел еще больше Иван.

– А может, и правильно сделал, — предположил Гладышев. Он с опаской поглядел на жену и перешел на шепот: Если хочешь знать, я тебе вот что скажу: не связывайся ты, Ваня, с этими бабами. Беги от них, пока молодой. Ведь они… Ты посмотри хотя б на мою. Вон она сидит, змея гремучая, у ней язык, Ваня, ты когда поближе разговаривать будешь, обрати внимание, раздвоенный. Ну, чисто змеиное жало. А сколько я от нее, Ваня, горя натерпелся, это ни в сказке сказать, ни пером описать. Да разве ж только я? Все мужчины от ихнего пола страдают неимоверно, возьми хоть современную эпоху развития, хоть факты из исторического прошлого. Покосившись на жену, он зашептал еще тише, словно сообщал сверхсекретную новость: Когда царь Николай Первый сослал декабристов у Сибирь, черт-те куда, так ихни жены на этом не успокоились, а свои шмотки собрали и поперли туды за ими, несмотря, что железной дороги в те поры не было. И лошадей позагоняли, и ямщиков перемучили, и сами чуть не подохли, а все же добрались, вот ведь какое дело. Я, Ваня, про Нюрку худого ничего не скажу, она женщина образованная и с понятием, а все же беги ты от ней, покуда не поздно.

– Я бы побег,— сказал Чонкин,— да этот вот драндулет не пущает.— Он кивнул в сторону самолета и, подумав, добавил печально: Да и исть охота. Кишка кишке бьет по башке.

– Исть хочешь?— удивился Гладышев.— Господи, да чего ж ты раньше не сказал? Да пошли ко мне. Сейчас примус разожгем, яишню с салом сготовим. Самогоночки маленько, он подмигнул Чонкину,— есть. Пошли. Поглядишь заодно, как живу.

Чонкин не заставил себя долго упрашивать, спрятал винтовку под сено, перелез через забор и, осторожно ступая меж грядок, пошел за хозяином, который независимой походкой шагал впереди. Взошли на крыльцо. Афродита болезненно поморщилась и отвернулась.

– Хочь бы клеенку под дите подстелила, — проворчал на ходу Гладышев,— а то ведь напрудит, весь подол провоняет.

Афродита равнодушно подняла глаза, равнодушно сказала:

– Ты лучше в избе понюхай. И дай гостю понюхать.

Сказала и отвернулась.

Гладышев открыл дверь, пропустил Чонкина в сени.

– Слыхал, как она со мной разговаривает?— сказал он Ивану.— И вот так каждый день. Дура грязная. У меня-то вонища с научной целью, а у нее в виде неряшества.

За сенями было темно. Гладышев зажег спичку, осветившую узкий коридор и дверь, обитую изодранной мешковиной.

Гладышев растворил эту дверь, и оттуда сразу шибануло таким запахом, что Чонкина зашатало от неожиданности, так что если бы он сразу не зажал нос двумя пальцами, то, может быть, и упал бы. С зажатым носом он вошел в избу вслед за хозяином. Тот обернулся к нему и сказал одобряюще:

– Спервоначалу оно, конечно, малость шибает, а я вот уже привык, и мне ничего. Ты одну ноздрю приоткрой, а когда пообвыкнешь, принюхаешься, открой и вторую. Запах как будто противный, а на самом деле здоровый и для организма пользительный, имеет различные ценные свойства. К примеру, французская фирма «Коти» из дерьма изготовляет духи тончайшего аромата. Ну, ты тут пока погляди, как живу, а я мигом сварганю яишню, и мы с тобой подзакусим, а то я что-то тоже исть захотел.

И пока он в горнице накачивал и разжигал примус, гость его остался в передней и, привыкая к запаху, открывал по совету хозяина то одну ноздрю, то другую и разглядывал комнату, в которой было на что поглядеть.

Первое — это сами горшочки. Их было великое множество, и стояли они не только на печке и подоконнике, но и на лавке возле окна и под лавкой, за спинкой железной кровати с неубранной постелью и разбросанными как попало подушками.

Над кроватью, как положено, висели стеклянные рамочки с цветочками и голубями по уголкам, в рамочки были вделаны фотографии хозяина дома с младенческих лет до последнего времени, фотографии жены его, Афродиты, и многочисленных ближайших родственников с обеих сторон. Над этим иконостасом был укреплен общий портрет супругов Гладышевых, выполненный на заказ из разных карточек и так старательно раскрашенный неизвестным исполнителем, что лица, изображенные на портрете, не имели решительно никакого сходства с оригиналами.

Другая стена, против окна, была музейная. На ней в таких же стеклянных рамочках были помещены уже упоминавшиеся нами печатные отклики на науч-

ные изыскания Гладышева, и в отдельной рамочке хранилось то самое письмо от известного сельхозакадемика, о котором мы также упоминали.

На стене между окнами висело одноствольное ружье шестнадцатого калибра, которое, как догадывается, конечно, читатель, должно когда-нибудь выстрелить, впрочем, еще неизвестно, выстрелит оно или даст осечку, это будет видно по обстоятельствам.

Чонкин еще не успел как следует рассмотреть все, что было в этой комнате, как яичница была готова и Гладышев позвал его к столу.

Здесь было тоже не ахти как убрано, но все же почище, чем в передней. Здесь стояла горка с посудой, была подвешена к потолку люлька — ложе Геракла, и стоял старый сундук без крышки, заваленный растрепанными книгами, преимущественно научного содержания (как, например, «Мифы Древней Греции» или популярная брошюра «Муха — активный разносчик заразы»), а также неполной подшивкой журнала «Нива» за 1912 год. Сундук этот был основным источником, из которого Гладышев черпал свою эрудицию.

На большом столе, покрытом клеенкой с коричневыми кругами от горячей посуды, шипела в сковородке яичница с салом, и, как Чонкина ни мутило от запаха (хотя он к нему и правда немного привык), а от голода мутило сильнее, он не заставил повторять приглашение, а без лишних церемоний уселся за стол.

Гладышев достал из ящика стола две вилки, вытер об майку; одну положил перед гостем, а другую, со сломанным зубом, взял себе. Чонкин хотел сразу ткнуть вилкой в яичницу, но хозяин его остановил:

– Погоди.

Достал с горки два пропыленных стакана, посмотрел на свет, поплевал в них, протер тоже майкой, поставил на стол. Сбегал в сени, принес неполную бутылку, заткнутую скрученной в жгут газетой, налил полстакана гостю и полстакана себе.

– Вот, Ваня,— сказал он, придвинув к себе табуретку и продолжая начатый разговор,— мы привыкли относиться к дерьму с этакой брезгливостью, как будто это что-то плохое. А ведь, если разобраться, так это, может быть, самое ценное на земле вещество, потому что вся наша жизнь происходит из дерьма и в дерьмо опять же уходит.

– Это в каком же смысле? — вежливо спросил Чонкин, поглядывая голодными глазами на остывающую яичницу, но не решаясь приступить к ней раньше хозяина.

– А в каком хошь, развивал свою мысль Гладышев, не замечая нетерпения гостя.— Посуди сам. Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и все прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо. Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин? Для начала, конечно, поправился он, заметив, что Чонкина передернуло, можно удалить естественный запах, а потом, когда человек привыкнет, оставить все, как есть. Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки. И я предлагаю, Ваня,

выпить за успехи нашей науки, за нашу Советскую власть и лично за гения в мировом масштабе товарища Сталина.

– Со встречей,— поспешно поддержал его Чонкин. Ударилось стекло о стекло. Иван опрокинул содержимое своего стакана и чуть не свалился со стула. У него сразу отшибло дыхание, словно кто-то двинул под ложечку кулаком. Ничего не видя перед собой, он ткнул вилкой наугад в сковородку, оторвал кусок яичницы и, помогая другой рукой, запихал ее в рот, проглотил, обжигаясь, Гладышев, опорожнивший свой стакан без труда, смотрел на Ивана с лукавой усмешкой.

– Ну как, Ваня, самогоночка?

– Первачок что надо,— похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы.— Аж дух зашибает.

Гладышев все с той же усмешкой придвинул к себе плоскую консервную банку, бывшую у него вместо пепельницы, плеснул в нее самогон и зажег спичку. Самогон вспыхнул синим неярким пламенем.

– Видал?

– Из хлеба или из свеклы?— поинтересовался Чонкин.

– Из дерьма, Ваня, — со сдержанной гордостью сказал Гладышев.

Иван поперхнулся.

– Это как же? — Спросил он, отодвигаясь от стола.

– Рецепт, Ваня, очень простой,— охотно пояснил Гладышев.— Берешь на кило дерьма кило сахару…

Опрокинув табуретку, Чонкин бросился к выходу. На крыльце он едва не сшиб Афродиту с ребенком и в двух шагах от крыльца уперся лбом в бревенчатую стену избы. Его рвало и выворачивало наизнанку.

Следом за ним выбежал растерянный хозяин. Громко топая сапогами, сбежал он с крыльца.

– Ваня, ты что? — Участливо спросил он, трогая Чонкина за плечо.— Это ж чистый самогон, Ваня. Ты же сам видел, как он горит.

Иван что-то хотел ответить, но при упоминании о самогоне новые спазмы схватили желудок, и он едва успел расставить ноги пошире, чтобы не забрызгать ботинки.

– О господи! — С беспросветной тоской высказалась вдруг Афродита.— Еще одного дерьмом напоил, ирод проклятый, погибели на тебя нету. Тьфу на тебя! она смачно плюнула в сторону мужа.

Он не обиделся.

– Ты, чем плеваться, яблочка моченого из погреба принесла бы. Плохо, вишь, человеку.

– Да какие там яблочки! — Застонала Афродита.— Те яблочки тоже насквозь пропахли дерьмом. По всей избе одно сплошное дерьмо, идиот несчастный. Уйду я от тебя, идола, побираться буду с дитем, чем в дерьме погибать.

И, не откладывая дела в долгий ящик, она подхватилась с Гераклом и кинулась вон за калитку. Гладышев, оставив Чонкина, побежал за женой.

– Куды ты бежишь, Афродита!— закричал он ей вслед.— Вернись, тебе говорят. Не выставляй перед народом и себя, и меня на позорище. Эй, Афродита!

Афродита остановилась, обернулась и зло закричала ему в лицо:

– Да какая ж я тебе Афродита? Фроська я, понял, обормот вислоухий, Фроська!

Повернулась и, высоко держа на на растопыренных руках перепуганного насмерть ребенка, побежала по деревне дальше, подпрыгивая и спотыкаясь.

– Фроська я, слышите, люди, я Фроська!— выкрикивала она с таким остервенелым наслаждением, как будто после долгой немоты вновь обрела вдруг дар речи.

<...>

Источник: библиотека М. Мошкова (http://lib.ru).



П О Э З И Я

Юрий Айхенвальд

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 19)

* * *

Ах, стать бы мне китайцем,
Сшить синие штаны,
Со всеми объясняться
«Сю-сю» или «хны-хны», —
И стать совсем таким же,
Как и любой другой
Под Китежем, на Ижме
И над Москвой-рекой!
А то ведь нет покоя.
Пора глухой тоски.
Тревога без отбоя.
Сжимаются тиски.
Сдвигаются, сжимаются, —
Кто выскользнет из них,
Летит и ушибается
О камни стран чужих.
А мы проводим времечко,
Имеем интерес
Весь вечер лускать семечки
Про обыск и арест.
И все давно рассказано,
И ясно — что куда,
А петля не развязана.
И новая беда.
А друг-китаец сетует,
Советует, жует.
Про все перебеседует
И всех переживет.
Дай, Боже, сил не сделаться
Китайцем средних лет
И помоги надеяться,
Пока надежды нет!

1972

* * *

Хочет Даниил-Заточник,
Чтобы стали дни короче,
Чтобы день прошел скорей
От решеток до дверей...
Почему же я тоскую,
Умышляю наперед,

Словно день прошел впустую,
А ведь он еще идет!
День, приговоренный к казни,
Оцененный ни во что,
Отчего же он не праздник,
Где в нем солнце не взошло?
Вон оно, проходит мимо,
Солнце лета моего.
Ветви сосен черным нимбом
Сомкнуты вокруг него.
А кругом морской, небесный,
Луговой, лесной простор.
Меж собою им не тесно
С тех времен и до сих пор.
Отчего же эта жажда
Видеть завтра поскорей,
Словно день отмерен каждый
От решетки до дверей?

1971

ЭМИГРАНТ

Я-то думал: эмигрант —
Одиночество такое,
Твердое, как адамант,
И чего-нибудь да стоит
Байроновский плащ и взгляд!
Эмигрант — исконный гранд.
Пусть он нищ и неприкаян,
Но живет в нем честь гвардейца,
Он — как драгоценный камень,
Не желающий владельца!
Но недавно довелось мне
Видеть это в старике.
Убедившись в благородстве
Белой кости,
Я заметил: он обкатан,
Словно камушек в реке —
И ни байроновской гордости,
Ни злости!
Был он сдержан и любезен.
Так сдающийся внаем
Дом
Открыт чужим несчастьям и успехам.
Все же грани эмигранта

Под конец сверкнули в нем:
– Уезжаю, как и в двадцать лет уехал.
Я хотел его спросить...
А он ответил на вопрос:
– Часто встреча продолжает расставанье.
Я хотел ему сказать...
Он на это произнес:
– Мне пора. Спокойной ночи. До свиданья.
Унесла его машина
Прочь, в гостиницу «Россия»,
А другая уведет за облака
И, как бабочка-капустница,
Куда-нибудь опустится...
Пошлю ему привет издалека!

1972

Источник: Русская виртуальная библиотека (http://www.rbv.ru).

Дмитрий Бобышев

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 43)

* * *

Евгению Рейну

Крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов, сидящих
в такой же точно позе на другом
конце моста и на него глядящих
такими же глазами.

Львиный пост.

Любой из них другого, а не мост
удерживает третью существа,
а на две трети сам уже собрался,
и, может быть, сейчас у края рва
он это оживающее братство
покинет.

Но попарно изо рта
железо напряженного прута
у каждого из них в цепную нить
настолько натянуло звенья,
что, кажется, уже не расцепить
скрепившиеся память и забвенье,
порыв и неподвижность, верх и низ,
не разорвав чугунный организм
противоборцев.
Только нежный сор
по воздуху несет какой-то вздор.

И эта подворотенная муть,
не в силах замутить оригинала,
желая за поверхность занырнуть,
подергивает зеркало канала
нечистым отражением.

Над рвом
крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов напротив:
в их неподвижно гневном развороте,

крылатость ненавидя и любя,
он видит повторенного себя.

Март— апрель 1964

ВОЗМОЖНОСТИ

Всей безобразной, грубою листвой,
средь остальных кустарников изгнанник,
лишенный и ровесников, и нянек,
всерьез никем не принятый, ольшаник
якшается с картофельной ботвой.

При этом каждый лист изнанкой ржавой
уж не стыдится сходства с той канавой,
в которой грязнет, глохнет каждый ствол.

И гасится матерчатой листвой
звук топора, которым огородник
старательно пропалывает свой
участок от культур неблагородных,
остерегая весь окружной лес
селиться на его делянках, здесь.

И валится ольха. Но не на отдых,
а сорняком и плевлом от древес.

Из этих веток, в стройке непригодных,
хозяин настилает пол на сходнях,
чтоб выбирал он грязь из низких мест.

И к небесам взывает красный срез.

А новые растут из торфа, глины,
и у провисших в озеро небес
нет дерева прекраснее ольшины,
когда она свой век до половины
догонит, не изведав топора:
и лист по счету, и узор вершины,
и чернь ствола, и черные морщины,
и в кружевных лишайниках кора,
протертая на швах до серебра, —

приметы так отточенно-старинны,
что дерево красавицей низины,
казалось бы, назвать давно пора,

и впереди ветвистого семейства
она по праву заняла бы место;

в ней всё — и шишек прихотливый строй,
тушь веток и законченность их жеста,
и поза над озерной полосой,
и стать, посеребренная росой, —
всё поражает позднею красой.
Но есть в ней отчужденность совершенства.

13— 14 сент. 1965

* * *

Как топор без топорища
медленно по звездам рыща,
выйдет месяц за ущерб
над гниющею деревней.
В тишине, без ударений
он навалит нежных щеп.

Без усилия, дремотно
даст он видимость ремонта, —
полуночный доброхот, —
стешет преющую слегу,
вставит, вынув из высот,
в безобразную телегу
шкворень лунного стекла.

Боже! Сколько в мире зла,
залитого свежей ложью,
где бездействуют дела
и откуда жизнь ушла
в города по бездорожью.

1967

ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Вянет листва,
и калитки могли бы расплющивать пули —
так замкнули
казенные хозяева
свою дрёму с обеда на стуле...

Пыль по реке
из Череповца тянется вместе с жарою.

Бороду брею —
смыть приходится мыльную кровь на щеке
той же водою...

Та же река
предо мной запирает бетонные шлюзы,
и сухогрузы
издалека,
и заборы поближе похоже сверяют бока...

Узко пока
заходить — широко выйдешь после в просторы!
Красные створы
путь укажут, где вечная будет весна.

Это Шексна
мертвый паводок так чудотворно разлила,
будто весна,
будто время, как в шлюзах, стотонная сила
остановила,
а сама — на подводные крылья, и — словно блесна...

Мчит Метеор,
а вокруг-то ни граю, ни птичьего гвалту,
по Волго-Балту,
вешний простор
по Волго-Балту, который уж год, до сих пор,
по Волго-Балту.

Март 1968

ДНИ

Сестр*ы*, от всех болезней панацею,
беру я край одежды и целую,
его отводит крупное дыханье,
но братом я себя не назову.

Бывали дни большой просторной жизни...
А может, у святого Себастьяна
под ребрами торчат чужие взоры?
Но оставайся ты моей сестрой.

1968

ТРАУРНЫЕ ОКТАВЫ

Голос

Забылось, но не все перемололось...
Огромно-голубиный и грудной
в разлуке с собственной гортанью голос
от новой муки стонет под иглой.
Не горло, но безжизненная полость
сейчас, теперь вот ловит миг былой,
и звуковой бороздки рвется волос,
но только тень от голоса со мной.

1971

Воспоминание

Здесь время так и валит даровое...
Куда его прикажете девать,
сегодняшнее? Как добыть опять
из памяти мгновение живое?
Тогдашний и теперешний — нас двое,
и — горькая, двойная благодать —
я вижу Вас, и я вплываю вспять
сквозь этих слез в рыдание былое.

1971

Источник: сайт Vavilon.ru и Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru).

Иосиф Бродский

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 47)

РЕЧЬ О ПРОЛИТОМ МОЛОКЕ

I.

1
Я пришел к Рождеству с пустым карманом.
Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражен Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости
ни к приятелю, у которого плачут детки,
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.
Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.

2
Ах, проклятое ремесло поэта.
Телефон молчит, впереди диета.
Можно в месткоме занять, но это —
все равно, что занять у бабы.
Потерять независимость много хуже,
чем потерять невинность. Вчуже
полагаю, приятно мечтать о муже,
приятно произносить «пора бы».

3
Зная мой статус, моя невеста
пятый год за меня ни с места;
и где она нынче, мне неизвестно:
правды сам черт из нее не выбьет.
Она говорит: «Не горюй напрасно.
Главное — чувства! Единогласно?»
И это с ее стороны прекрасно.
Но сама она, видимо, там, где выпьет.

4
Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.
Оскорбляю кухню желудком лишним.
В довершенье всего досаждаю личным
взглядом на роль человека в жизни.
Они считают меня бандитом,
издеваются над моим аппетитом.
Я не пользуюсь у них кредитом.
«Наливайте ему пожиже!»

5
Я вижу в стекле себя холостого.
Я факта в толк не возьму простого,
как дожил до от Рождества Христова
Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.
Двадцать шесть лет непрерывной тряски,
рытья по карманам, судейской таски,
ученья строить Закону глазки,
изображать немого.

6
Жизнь вокруг идет как по маслу.
(Подразумеваю, конечно, массу.)
Маркс оправдывается. Но по Марксу
давно пора бы меня зарезать.
Я не знаю, в чью пользу сальдо.
Мое существование парадоксально.
Я делаю из эпохи сальто.
Извините меня за резвость!

7
То есть, все основания быть спокойным.
Никто уже не кричит «По коням!».
Дворяне выведены под корень.
Ни тебе Пугача, ни Стеньки.
Зимний взят, если верить байке.
Джугашвили хранится в консервной банке.
Молчит орудие на полубаке.
В голове моей — только деньги.

8
Деньги прячутся в сейфах, в банках,
в полу, в чулках, в потолочных балках,
в несгораемых кассах, в почтовых бланках.
Наводняют собой Природу!
Шумят пачки новеньких ассигнаций,
словно вершины берез, акаций.
Я весь во власти галлюцинаций.
Дайте мне кислороду!

9
Ночь. Шуршание снегопада.
Мостовую тихо скребет лопата.
В окне напротив горит лампада.
Я торчу на стальной пружине.
Вижу только лампаду. Зато икону

я не вижу. Я подхожу к балкону.
Снег на крыши кладет попону,
и дома стоят, как чужие.

II.

10
Равенство, брат, исключает братство.
В этом следует разобраться.
Рабство всегда порождает рабство.
Даже с помощью революций.
Капиталист развел коммунистов.
Коммунисты превратились в министров.
Последние плодят морфинистов.
Почитайте, что пишет Луций.

11
К нам не плывет золотая рыбка.
Маркс в производстве не вяжет лыка.
Труд не является товаром рынка.
Так говорить — оскорблять рабочих.
Труд — это цель бытия и форма.
Деньги — как бы его платформа.
Нечто помимо путей прокорма.
Размотаем клубочек.

12
Вещи больше, чем их оценки.
Сейчас экономика просто в центре.
Объединяет нас вместо церкви,
объясняет наши поступки.
В общем, каждая единица
по своему существу — девица.
Она желает объединиться.
Брюки просятся к юбке.

13
Шарик обычно стремится в лузу.
(Я, вероятно, терзаю Музу.)
Не Конкуренции, но Союзу
принадлежит прекрасное завтра.
(Я отнюдь не стремлюсь в пророки.
Очень возможно, что эти строки
сократят ожиданья сроки:
«Год засчитывать за два».)

14
Пробил час и пора настала
для брачных уз Труда — Капитала.
Блеск презираемого металла
(дальше — изображенье в лицах)
приятней, чем пустота карманов,
проще, чем чехарда тиранов,
лучше цивилизации наркоманов,
общества, выросшего на шприцах.

15
Грех первородства — не суть сиротства.
Многим, бесспорно, любезней скотство.
Проще различье найти, чем сходство:
«У Труда с Капиталом контактов нету».
Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе,
хватит трепаться о пополаме.
Есть влечение между полами.
Полюса создают планету.

16
Как холостяк я грущу о браке.
Не жду, разумеется, чуда в раке.
В семье есть ямы и буераки.
Но супруги — единственный тип владельцев
того, что они создают в усладе.
Им не требуется «не укради».
Иначе все пойдет Христа ради.
Поберегите своих младенцев!

17
Мне, как поэту, все это чуждо.
Больше: я знаю, что «коемуждо...».
Пишу и вздрагиваю: вот чушь-то,
неужто я против законной власти?
Время спасет, коль они неправы.
Мне хватает скандальной славы.
<...>

26
Либо нас перережут цветные.
Либо мы их сошлем в иные
миры. Вернемся в свои пивные.
Но то и другое — не Христианство.
Православные! это не дело.

Что вы смотрите обалдело?!
Мы бы предали Божье Тело,
расчищая себе пространство.

27
Я не воспитывался на софистах.
Есть что-то дамское в пацифистах.
Но чистых отделять от нечистых —
не наше право, поверьте.
Я не указываю на скрижали.
Цветные нас, бесспорно, прижали.
Но не мы их на свет рожали,
не нам предавать их смерти.

28
Важно многим создать удобства.
(Это можно найти у Гоббса.)
Я сижу на стуле, считаю до ста.
Чистка — грязная процедура.
Не принято плясать на могиле.
Создать изобилие в тесном мире —
это по-христиански. Или:
в этом и состоит Культура.

29
Нынче поклонники оборота
«Религия — опиум для народа»
поняли, что им дана свобода,
дожили до золотого века.
Но в таком реестре (издержки слога)
свобода не выбрать — весьма убога.
Обычно тот, кто плюет на Бога,
плюет сначала на человека.

30
«Бога нет. А земля в ухабах».
«Да, не видать. Отключусь на бабах».
Творец, творящий в таких масштабах,
делает слишком большие рейды
между объектами. Так что то, что
там Его царствие — это точно.
Оно от мира сего заочно.
Сядьте на свои табуреты!

31
Ночь. Переулок. Мороз блокады.
Вдоль тротуаров лежат карпаты.
Планеты раскачиваются, как лампады,
которые Бог возжег в небосводе
в благоговенья Своем великом
перед непознанным нами ликом
(поэзия делает смотр уликам),
как в огромном кивоте.

III.

32
В Новогоднюю ночь я сижу на стуле.
Ярким блеском горят кастрюли.
Я прикладываюсь к микстуре.
Нерв разошелся, как черт в сосуде.
Ощущаю легкий пожар в затылке.
Вспоминаю выпитые бутылки,
вологодскую стражу, Кресты, Бутырки.
Не хочу возражать по сути.

33
Я сижу на стуле в большой квартире.
Ниагара клокочет в пустом сортире.
Я себя ощущаю мишенью в тире,
вздрагиваю при малейшем стуке.
Я закрыл парадное на засов, но
ночь в меня целит рогами Овна,
словно Амур из лука, словно
Сталин в XVII съезд из «тулки».

34
Я включаю газ, согреваю кости.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.
Не желаю искать жемчуга в компосте!
Я беру на себя эту смелость!
Пусть изучает навоз, кто хочет.
Патриот, господа, не крыловский кочет.
Пусть КГБ на меня не дрочит.
Не бренчи ты в подкладке, мелочь!

35
Я дышу серебром и харкаю медью!
Меня ловят багром и дырявой сетью.
Я дразню гусей и иду к бессмертью,

дайте мне хворостину!
Я беснуюсь, как мышь в пустоте сусека!
Выносите святых и портрет Генсека!
Раздается в лесу топор дровосека!
Поваляюсь в сугробе, авось, остыну.

36
Ничего не остыну! Вообще забудьте!
Я помышляю почти о бунте!
Не присягал я косому Будде,
за червонец помчусь за зайцем!
Пусть закроется — где стамеска! —
яснополянская хлеборезка!
Непротивленье, панове, мерзко.
Это мне — как серпом по яйцам!

37
Как Аристотель на дне колодца,
откуда не ведаю. что берется.
Зло существует, чтоб с ним бороться,
а не взвешивать в коромысле.
Всех, скорбящих по индивиду,
всех, подверженных конъюнктивиту,
— всех к той матери по алфавиту:
демократия в полном смысле!

38
Я люблю родные поля, лощины,
реки, озера, холмов морщины.
Все хорошо. Но дерьмо мужчины.
В теле, а духом слабы.
Это я верный закон накнокал.
Все утирается ясный сокол.
Господа, разбейте хоть пару стекол!
Как только терпят бабы?

39
Грустная ночь у меня сегодня.
Смотрит с обоев былая сотня.
Можно поехать в бордель и сводня —
нумизматка — будет согласна.
Лень отклеивать, суетиться.
Остается тихо сидеть, поститься
да напротив в окно креститься,
пока оно не погасло.

40
«Зелень лета, эх, зелень лета!
Что мне шепчет куст бересклета?
Хорошо пройтись без жилета!
Зелень лета вернется.
Ходит девочка, эх, в платочке.
Ходит по полю, рвет цветочки.
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется».

1967, январь

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Потому что искусство поэзии требует слов,
я — один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, —
не желая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпиграф — победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, —
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто, туалеты невест — белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей —
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их
немота вынуждает нас как бы к созданью своих
этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом.
Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,

свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.
Кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
чересчур далека. То ли некая добрая фея
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.
Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —
да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,
то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом.
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,
паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда:
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
колесо паровоза.

Что же пишут в газетах в разделе «Из зала суда»?
Приговор приведен в исполненье. Взглянувши сюда,
обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,
как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены;
но не спит. Ибо брезговать кумполом сны
продырявленным вправе.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
времена, неспособные в общей своей слепоте
отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чудь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить — динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.

Декабрь 1969

1972 ГОД

Виктору Голышеву

Птица уже не влетает в форточку.
Девица, как зверь, защищает кофточку.
Поскользнувшись о вишневую косточку,
я не падаю: сила трения
возрастает с паденьем скорости.
Сердце скачет, как белка, в хворосте
ребер. И горло поет о возрасте.
Это — уже старение.

Старение! Здравствуй, мое старение,
Крови медленное струение.
Некогда стройное ног строение
мучает зрение. Я заранее
область своих ощущений пятую,
обувь скидая, спасаю ватою.
Всякий, кто мимо идет с лопатою,
ныне объект внимания.

Правильно! Тело в страстях раскаялось.
Зря оно пело, рыдало, скалилось.
В полости рта не уступит кариес
Греции Древней, по меньшей мере.
Смрадно дыша и треща суставами,
пачкаю зеркало. Речь о саване
еще не идет. Но уже те самые,
кто тебя вынесет, входят в двери.

Здравствуй, младое и незнакомое
племя! Жужжащее, как насекомое,
время нашло наконец искомое
лакомство в твердом моем затылке.
В мыслях разброд и разгром на темени.
Точно царица — Ивана в тереме,
чую дыхание смертной темени
фибрами всеми и жмусь к подстилке.

Боязно! То-то и есть, что боязно.
Даже когда все колеса поезда
прокатятся с грохотом ниже пояса,
не замирает полет фантазии.
Точно рассеянный взор отличника,
не отличая очки от лифчика,

боль близорука, и смерть расплывчата,
как очертанья Азии.

Все, что я мог потерять, утрачено
начисто. Но и достиг я начерно
все, чего было достичь назначено.
Даже кукушки в ночи звучание
трогает мало — пусть жизнь оболгана
или оправдана им надолго, но
старение есть отрастанье органа
слуха, рассчитанного на молчание.

Старение! В теле все больше смертного.
То есть ненужного жизни. С медного
лба исчезает сиянье местного
света. И черный прожектор в полдень
мне заливает глазные впадины.
Силы из мышц у меня украдены.
Но не ищу себе перекладины:
совестно браться за труд Господень.

Впрочем, дело, должно быть, в трусости.
В страхе. В технической акта трудности.
Это — влиянье грядущей трупности:
всякий распад начинается с воли,
минимум коей — основа статики.
Так я учил, сидя в школьном садике.
Ой, отойдите, друзья-касатики!
Дайте выйти во чисто поле!

Я был как все. То есть жил похожею
жизнью. С цветами входил в прихожую.
Пил. Валял дурака под кожею.
Брал, что давали. Душа не зарилась
на не свое. Обладал опорою,
строил рычаг. И пространству впору я
звук извлекал, дуя в дудку полую.
Что бы такое сказать под занавес?!

Слушай, дружина, враги и братие!
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За каковое раченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)

чаши лишившись в пиру Отечества,
нынче стою в незнакомой местности.

Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.
Полночь швыряет листву и ветви на
кровлю. Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
черпая кепкой, что шлемом суздальским,
из океана волну, чтоб сузился,
хрупая рыбу, пускай сырая.

Старение! Возраст успеха. Знания
правды. Изнанки ее. Изгнания.
Боли. Ни против нее, ни за нее
я ничего не имею. Коли ж
переборщит — возоплю: нелепица
сдерживать чувства. Покамест — терпится.
Ежели что-то во мне и теплится,
это не разум, а кровь всего лишь.

Данная песня — не вопль отчаянья.
Это — следствие одичания.
Это — точней — первый крик молчания,
царствие чье представляю суммою
звуков, исторгнутых прежде мокрою,
затвердевающей ныне в мертвую
как бы натуру, гортанью твердою.
Это и к лучшему. Так я думаю.

Вот оно — то, о чем я глаголаю:
о превращении тела в голую
вещь! Ни горе не гляжу, ни долу я,
но в пустоту — чем ее ни высветли.
Это и к лучшему. Чувство ужаса
вещи не свойственно. Так что лужица
подле вещи не обнаружится,
даже если вещица при смерти.

Точно Тезей из пещеры Миноса,
выйдя на воздух и шкуру вынеся,
не горизонт вижу я — знак минуса
к прожитой жизни. Острей, чем меч его,
лезвие это, и им отрезана
лучшая часть. Так вино от трезвого
прочь убирают и соль — от пресного.

Хочется плакать. Но плакать нечего.
Бей в барабан о своем доверии
к ножницам, в коих судьба материи
скрыта. Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
(Это суждение стоит галочки
даже в виду обнаженной парочки.)
Бей в барабан, пока держишь палочки,
с тенью своей маршируя в ногу!

18 декабря 1972

Источник: Бродский И. Холмы: Большие стихотворения и поэмы. СПб.: ЛП ВТПО «Киноцентр».

Владимир Высоцкий

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 86)

ОХОТА НА ВОЛКОВ

Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
Но сегодня — опять как вчера:
Обложили меня, обложили —
Гонят весело на номера!

Из-за елей хлопочут двустволки —
Там охотники прячутся в тень, —
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря — но не дрогнет рука, —
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.

Волк не может нарушить традиций, —
Видно, в детстве — слепые щенки —
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки!

Идет — охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

Наши ноги и челюсти быстры, —
Почему же, вожак, — дай ответ —
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем — через запрет?!

Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое:
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся — и поднял ружье.

Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

Я из повиновения вышел:
За флажки — жажда жизни сильней!
Только сзади я с радостью слышал
Удивленные крики людей.

Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера:
Обложили меня, обложили —
Но остались ни с чем егеря!

Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

О ФАТАЛЬНЫХ ДАТАХ И ЦИФРАХ

Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт,
А если в точный срок, так — в полной мере:
На цифре 26 один шагнул под пистолет,
Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

А 33 Христу — он был поэт, он говорил:
«Да не убий!» Убьешь — везде найду, мол.
Но — гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы меньше думал.

С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.
Вот и сейчас — как холодом подуло:
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
И Маяковский лег виском на дуло.

Задержимся на цифре 37! Коварен Бог —
Ребром вопрос поставил: или — или!
На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
А нынешние — как-то проскочили.

Дуэль не состоялась или — перенесена,
А в 33 распяли, но — не сильно,

А в 37 не кровь, — да что там кровь! — и седина
Испачкала виски не так обильно.

«Слабо стреляться?! В пятки, мол, давно ушла душа!»
Терпенье, психопаты и кликуши!
Поэты ходят пятками по лезвию ножа —
И режут в кровь свои босые души!

На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е», —
Укоротить поэта! — вывод ясен,
И нож в него — но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен!

Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —
Томитесь, как наложницы в гареме!
Срок жизни увеличился — и, может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время!

Я НЕ ЛЮБЛЮ

Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда — наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или — когда все время против шерсти,
Или — когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, что слово «честь» забыто
И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,
Обидно мне, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более – когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю.
Пусть впереди большие перемены –
Я это никогда не полюблю!

ПЕСНЯ МИКРОФОНА

Я оглох от ударов ладоней,
Я ослеп от улыбок певиц, –
Сколько лет я страдал от симфоний,
Потакал подражателям птиц!

Сквозь меня многократно просеясь,
Чистый звук в ваши души летел.
Стоп! Вот – тот, на кого я надеюсь.
Для кого я все муки стерпел.

Сколько раз в меня шептали про луну,
Кто-то весело орал про тишину,
На пиле один играл – шею спиливал, –
А я усиливал,
усиливал,
усиливал...

На «низах» его голос утробен,
На «верхах» он подобен ножу, –
Он покажет, на что он способен, –
Но и я кое-что покажу!

Он поет задыхаясь, с натугой –
Он устал, как солдат на плацу, –
Я тянусь своей шеей упругой
К золотому от пота лицу.

Сколько раз в меня шептали про луну,
Кто-то весело орал про тишину,
На пиле один играл — шею спиливал, —
А я усиливал,
усиливал,
усиливал...

Только вдруг: «Человече, опомнись, —
Что поешь?! Отдохни — ты устал.
Это — патока, сладкая помесь!
Зал, скажи, чтобы он перестал!..»

Все напрасно — чудес не бывает, —
Я качаюсь, я еле стою, —
Он бальзамом мне горечь вливает
В микрофонную глотку мою.

Сколько раз в меня шептали про луну,
Кто-то весело орал про тишину,
На пиле один играл — шею спиливал, —
А я усиливал,
усиливал,
усиливал...

В чем угодно меня обвините —
Только против себя не пойдешь:
По профессии я — усилитель,
Я страдал — но усиливал ложь.

Застонал я — динамики взвыли, —
Он сдавил мое горло рукой...
Отвернули меня, умертвили —
Заменили меня на другой.

Тот, другой, — он все стерпит и примет, —
Он навинчен на шею мою.
Нас всегда заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.

...Мы в чехле очень тесно лежали —
Я, штатив и другой микрофон, —
И они мне, смеясь, рассказали,
Как он рад был, что я заменен.

Источник: Народная библиотека В. Высоцкого (http://www.vysotsky.zvuki.ru).

Александр Галич

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 90)

О ТОМ, КАК КЛИМ ПЕТРОВИЧ ДОБИВАЛСЯ, ЧТОБ ЕГО ЦЕХУ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ «ЦЕХА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»

...Все смеются на бюро:
«Ты ж, как витязь –
И жилплощадь, и получка по-царски!»
Ну, а я им:
«Извините, подвиньтесь!
Я ж за правду хлопочу, не за цацки!
Как хотите – на доске ль, на бумаге ль,
Цельным цехом отмечайте, не лично.
Мы ж работаем на весь наш соцлагерь,
Мы ж продукцию даем на отлично!
И совсем мне, – говорю, – не до смеху,
Это чье ж, – говорю, – указанье,
Чтоб такому выдающемуся цеху
Не присваивать почетное званье?!»

А мне говорят,
(Все друзья говорят –
И Фрол, и Пахомов с Тонькою)
– «Никак, – говорят, – нельзя, – говорят –
Уж больно тут дело тонкое!»
«А я, говорю (матком говорю!),
Пойду, – говорю, – в обком, – говорю!»
А в обкоме мне все то же:
«– Не суйся!
Не долдонь, как пономарь, поминанье.
Ты ж партейный человек, а не зюзя,
Должен, все ж таки, иметь пониманье!
Мало, что ли, пресса ихняя треплет
Все, что делается в нашенском доме?
Скажешь – дремлет Пентагон?
Нет, не дремлет!
Он не дремлет, мать его, он на стреме!»

Как завелся я тут с пол-оборота:
«– Так и будем сачковать?!
Так и будем?!
Мы же в счет восьмидесятого года
Выдаем свою продукцию людям!»

А мне говорят:
«– Ты чего, – говорят, –
Орешь, как пастух на выпасе?!
Давай, – говорят, – молчи, – говорят,
Сиди, – говорят, – и не рыпайся!»

А я говорю, в тоске говорю:
«– Продолжим наш спор в Москве», – говорю!
...Проживаюсь я в Москве, как собака.
Отсылает референт к референту:

«– Ты и прав, – говорят, – но, однако,
Не подходит это дело к моменту.
Ну, а вздумается вашему цеху,
Скажем – встать на юбилейную вахту?
Представляешь сам, какую оценку
Би-Би-Си дадут подобному факту?!»

Ну, потом – про ордена, про жилплощадь,
А прощаясь, говорят на прощанье:
«– Было б в мире положенье попроще,
Мы б охотно вам присвоили званье».
«А так, – говорят, – ну, ты прав, – говорят, –
И продукция ваша лучшая!
Но все ж, – говорят, – не д р а п , – говорят, –
А проволока колючая!..

«– Ну, что ж, – говорю,
– Отбой! – говорю.
– Пойду, – говорю, –
В запой», – говорю!

Взял – и запил.

1968-1970

ПАМЯТИ ПАСТЕРНАКА

Разобрали венки на веники,
На полчасика погрустнели,
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!

И терзали Шопена лабухи,
И торжественно шло прощанье...

Он не мылил петли в Елабуге,
И с ума не сходил в Сучане!

Даже киевские «письмэнники»
На поминки его поспели!..
Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!

И не то чтобы с чем-то за-сорок,
Ровно семьдесят — возраст смертный,
И не просто какой-то пасынок,
Член Литфонда — усопший сметный!

Ах, осыпались лапы елочьи,
Отзвенели его метели...
До чего ж мы гордимся, сволочи,
Что он умер в своей постели!

«Мело, мело, по всей земле, во все пределы
Свеча горела на столе, свеча горела...»

Нет, никакая не свеча,
Горела люстра!
Очки на морде палача
Сверкали шустро!
А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму, и не в Сучан,
Не к «высшей мере»!
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу,
Голосованьем!
И кто-то, спьяну, вопрошал:
«За что? Кого там?»
И кто-то жрал, и кто-то ржал
Над анекдотом...
Мы не забудем этот смех,
И эту скуку!
Мы поименно вспомним всех,
Кто поднял руку!

«Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку...»

Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародеры,
И несут почетный караул... Ка-ра-ул!

1966

ПОЭМА О СТАЛИНЕ

Впереди Исус Христос
А. Блок

Глава 1
Рождество

Все шло по плану, но немножко наспех.
Спускался вечер, спал младенец в яслях,
Статисты робко заняли места,
И Матерь Божья наблюдала немо,
Как в каменное небо Вифлеема
Всходила Благовещенья звезда.
Но тут в вертеп ворвались два подпаска,
И крикнули, что вышла неувязка,
Что праздник отменяется, увы,
Что римляне не понимают шуток,
И загремели на пятнадцать суток
Поддавшие не вовремя Волхвы.

Стало тихо, тихо, тихо,
В крике замерли уста.
Зашипела, как шутиха,
И погасла та звезда.
Стало зябко, зябко, зябко,
И в предчувствии конца
Закудахтала козявка,
Вол заблеял, как овца...
Все завыли, захрипели,
Но не внемля той возне,
Спал младенец в колыбели,
И причмокивал во сне.

Уже светало, розовело небо,
Когда раздались гулко у вертепа
Намеренно тяжелые шаги,
И Матерь Божья замерла в тревоге,
Когда открылась дверь и на пороге

Кавказские явились сапоги.
И разом потерявшие значенье
Столетья, лихолетья и мгновенья
Сомкнулись в безначальное кольцо,
А Он вошел, и поклонился еле,
И обратил неспешно к колыбели
Забрызганное оспою лицо:

«Значит, вот он — этот самый
Жалкий пасынок земной,
Что и кровью, и осанной
Потягается со мной...
Неужели, неужели
Столько лет и столько дней
Ты, сопящий в колыбели,
Будешь мукою моей?!
И меня с тобою, пешка,
Время бросит на весы?»
И недобрая усмешка
Чуть раздвинула усы.

А три Волхва томились в карантине.
Их быстро в карантине укротили.
Лупили и под вздох, и по челу,
И римский опер, жаждая награды,
Им говорил: «Сперва колитесь, гады!
А после разберемся, что к чему».
И понимая, чем грозит опала,
Пошли волхвы молоть, что ни попало,
Припоминали даты, имена,
И полетели головы. И это
Была вполне весомая примета,
Что НОВЫЕ НАСТАЛИ ВРЕМЕНА!

Глава 2
Клятва Вождя

Потные, мордастые евреи,
Банда проходимцев и ворья,
Всякие Иоанны и Матфеи,
Наплетут с три короба вранья!
Сколько их посыпят раны солью,
Лишь бы им взобраться на Синай.
Ладно, ладно, я не прекословлю, -
Ты был первый, Ты и начинай,

Встань – и в путь по городам и весям,
Чудеса и мудрости твори.
Отчего ж Ты, Господи, невесел?
Где они, соратники твои?
Бражничали, ели, гостевали,

А пришла пора – и след простыл.
Нет, не зря Ты ночью в Гефсимане
Струсил и пардону запросил.
Где твоих приспешников орава
В смертный твой, последний час
земной?
И смеется над тобой Варавва -
Он бы посмеялся надо мной!
Был Ты просто-напросто предтечей,
Не творцом, а жертвою стихий!
Ты не Божий сын, а человечий,
Если смог воскликнуть: «Не убий»!

Душ ловец, Ты вышел на рассвете
С жалкой сетью из расхожих слов,
На исходе двух тысячелетий
Покажи, богат ли твой улов?
Слаб душою, и умом не шибок,
верил Ты и Богу, и царю...
Я не повторю Твоих ошибок,
Ни одной из них не повторю!
В мире не найдется святотатца,
Чтобы поднял на меня копье,
Если ж я умру, – что может статься, -
Вечным будет царствие мое!

Глава 3
Подмосковная ночь

Он один, а ему не можется,
И уходит окно во мглу,
Он считает шаги, и множится
Счет шагов от угла к углу.
От угла до угла потерянно
Он шагает, как заводной.
Сто постелей ему постелено:
Не уснуть ему ни в одной!
По паркетному полу голому
Шаг и отдых, и снова шаг,

Ломит голову, ломит голову,
И противно гудит в ушах!
Будто кто-то струну басовую
Тронул пальцем и канул прочь,
Что ж не спится ему в бессонную,
В одинокую эту ночь?

Вином упиться? Позвать врача?
Но врач — убийца, вино — моча...
На целом свете лишь сон и смех,
А Он в ответе один за всех!

И как будто сдирая оспины,
Вытирает он пот со лба.
Почему, почему, о, Господи,
Так жестока к нему судьба?

То предательством, то потерею
Оглушает всю жизнь его.
«Что стоишь ты там, за портьерою?
Ты не бойся меня, Серго!
Эту комнату неказистую
Пусть твое озарит лицо!
Ты напой мне, Серго, грузинскую,
Ту, любимую мной, кацо,
Ту, что деды певали исстари,
Отправляясь в далекий путь,
Спой, Серго, и забудь о выстреле,
Хоть на десять минут забудь!
Но полно, полно, молчи, не пой!
Предал, подло — и пес с тобой!
И пес со всеми — повзводно в тлен!
И все их семьи до ста колен!»
Повсюду злоба! Везде враги!
Ледком озноба — шаги, шаги...

Над столицами поседевшими
Ночь и темень, хоть глаз коли,
Президенты спят с президентшами,
Спят министры и короли...
Мир, гремевший во славу маршами,
Спит в снегу с головы до пят,
Спят министры его и маршалы...
Он не знал, что они не спят,
Что, притихшие, сводки утренней
В страхе ждут и с надеждой ждут,

А ему все хужей, все муторней,
Сапоги почему-то жмут!

Не приказанный, неположенный
За окном колокольный звон!
И, припав на колени, «Боже Мой!» –
Произносит бессвязно он, -

«Молю, Всевышний, Тебя, Творца!
На помощь вышли скорей гонца!
О дай мне, дай же – не кровь, вино...
Забыл, как дальше... Но все равно,
Не ставь отточий
Конца пути,
Прости мне, Отче,
Спаси... Прости!..»

Глава 4
Ночной разговор в вагоне — ресторане

Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...
Дай-ка, братец, мне трески
И водочки немного.
Бассан-бассан-бассана,
Бассаната-бассаната...
Что с вином, что без вина -
Мне на сердце косовато.
Я седой не по годам,
И с ногою высохшей.
Ты слыхал про Магадан?
Не слыхал?! Так выслушай.
А случилось дело так:
Как-то ночью странною
Заявился к нам в барак
«Кум» со всей охраною.
Я подумал, что конец,
Распрощался матерно...
Малосольный огурец
Кум жевал внимательно.
Скажет слово и поест,
Морда вся в апатии,
«Был, – сказал он, – говны, съезд
Славной нашей партии.
Про Китай и про Лаос
Говорились прения,

Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения».
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою...»
Полный, братцы, ататуй!
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять со станции.
...Так представь — метет метель,
Темень, стужа адская,
А на нем одна шинель
Грубая, солдатская,
И стоит он напролом,
И летит, как конница,
Я сапог его кайлом,
А сапог не колется.
Помню, глуп я был и мал,
Слышал от родителя,
Как родитель мой ломал
Храм Христа Спасителя.
Бассан-бассан-бассана,
Черт гуляет с опером,
Храм — и мне бы — ни хрена,
Опиум, как опиум,
А это ж Гений всех времен,
Лучший друг на веки!
Все стоим ревмя ревем,
И вохровцы, и зэки.
Но тут шарахнули запал,
Применили санкции,-
Я упал, и Он упал,
Завалил полстанции...
Ну, скостили нам срока,
Приписали в органы,
Я живой еще пока,
Но, как видишь, дерганный...
Бассан-бассан-бассана,
Бассаната-бассаната!
Лезут в поезд из окна
Бесенята, бесенята...
Отвяжитесь, мертвяки!
К черту, ради Бога...
Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога...

Глава, написанная в сильном подпитии и являющаяся авторским отступлением

То-то радости пустомелям,
Темноты своей не стыжусь,
Не могу я быть Птолемеем,
Даже в Энгельсы не гожусь.
Но от вечного бегства в мыле,
Не устройством своим томим,
Вижу — что-то неладно в мире,
Хорошо бы заняться им,
Только век меня держит цепко,
С ходу гасит любой порыв,
И от горести нет рецепта,
Все, что были, — сданы в архив.
И все-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дураком, паяцем,
И ночью, и днем твержу об одном —
Не надо, люди, бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!»

И, рассыпавшись мелким бесом,
И поклявшись вам всем в любви,
Он пройдет по земле железом
И затопит ее в крови.
И наврет он такие враки,
И такой наплетет рассказ,
Что не раз тот рассказ в бараке
Вы помянете в горький час.
Слезы крови не солонее,
Дорогой товар, даровой!
Прет история — Саломея
С Иоанновой головой.

Земля — зола и вода — смола,
И некуда, вроде, податься,
Неисповедимы дороги зла,
Но не надо, люди, бояться!
Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,

А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Всем, кто пойдет за мной,
Рай на земле — награда».

Потолкавшись в отделе винном,
Подойду к друзьям-алкашам,
При участии половинном
Побеседуем по душам,
Алкаши наблюдают строго,
Чтоб ни капли не пролилось.
«Не встречали — смеются — Бога?»
«Ей же Богу, не привелось».
Пусть пивнуха не лучший случай
Толковать о добре и зле,
Но видали мы этот «лучший»
В белых тапочках, на столе.

Кому «сучок», а кому коньячок,
К начальству — на кой паяться?!
А я все твержу им, ну, как дурачок:
Не надо, братцы, бояться!
И это бред, что проезда нет,
И нельзя входить без доклада,
А бояться-то надо только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Гоните его! Не верьте ему!
Он врет! Он не знает — как надо!

Ave Maria!

Дело явно липовое — все как
на ладони,
Но пятую неделю долбят допрос,
Следователь-хмурик с утра на валидоле,
Как Пророк, подследственный бородой
оброс...

А Мадонна шла по Иудее.
В платьице, застиранном до сини,
Шла Она с котомкой за плечами,
С каждым шагом становясь красивей,
С каждым вздохом делаясь печальней.
Шла, платок на голову набросив —
Всех земных страданий средоточье,

И уныло брел за ней Иосиф,
Убежавший славы Божий отчим...
Ave Maria...

Упекли Пророка в респулику Коми,
А он возьми и кинься башкою в лебеду...
А следователь-хмурик получил
в месткоме
Льготную путевку на месяц в Теберду...

А Мадонна шла по Иудее.
Подскользаясь на размокшей глине,
Обдирая платье о терновник,
Шла она и думала о Сыне
И о смертных горестях сыновних.
Ах, как ныли ноги у Мадонны,
Как хотелось всхлипнуть по-ребячьи,
А в ответ Ей ражие долдоны
Отпускали шутки жеребячьи...
Ave Maria...

Грянули в последствии всякие хренации,
Следователь-хмурик на пенсии
в Москве,
А справочку с печатью о реабилитации
Выслали в Калинин Пророковой вдове...

А Мадонна шла по Иудее.
И все легче, тоньше, все худее
С каждым шагом становилось тело...
А вокруг шумела Иудея
И о мертвых помнить не хотела.
Но ложились тени на суглинок,
И роились тени в каждой пяди,
Тени всех бутырок и треблинок,
Всех измен, предательств и распятий...
Ave Maria...

Источник: Александр Галич. Возвращение. Ленинградское предприятие «Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»» и сайт www.bard.ru (http://www.bard.ru/galich/).

Делоне
Вадим Николаевич
(1947–1983)



Поэт.

Родился в Москве. Вырос в среде академической элиты (дед — известный математик, чл.-корр. АН СССР В.Н. Делоне). Поступил на филологический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина. Работал внештатным корреспондентом «Литературной газеты».

Ранние стихи Делоне распространялись в Самиздате, некоторые из них попали за рубеж. Первая зарубежная публикация — в журнале «Грани» №66 (1967 г.). Делоне входил в неформальное объединение СМОГ.*

Участвовал в подготовке и проведении митинга 22 января 1967 г. на Пушкинской площади *(см. т. 2, стр. 426)*. Получил 1 год условно с пятилетним испытательным сроком.

После освобождения уехал в Новосибирск, поступил в Новосибирский университет. Продолжал писать стихи, принимал участие в местных конкурсах молодых поэтов.

В начале 1968 г., после суда над Гинзбургом и Галансковым, направил в «Литературную газету» и «Комсомольскую правду» открытое письмо, адресованное «советской, международной коммунистической и прогрессивной общественности». После этого в местной прессе начались нападки на его поэзию. Вскоре ушел из университета и вернулся в Москву.

Участвовал в демонстрации протеста против ввода войск в Чехословакию 25 августа 1968 г. За участие в демонстрации получил 2 года и 10 месяцев лагерей. Последнее слово Делоне на суде вошло в самиздатский сборник «Четырнадцать последних слов» *(см т. 2, стр. 428)*, составленный Ю. Телесиным.

Срок отбывал в уголовном лагере в Тюменской области. Освобожден в конце июня 1971 г. по отбытии срока.

В ноябре 1975 г. эмигрировал вместе с женой.

Жил в Париже, занимался литературным творчеством. В 1979 г. в парижском журнале «Эхо» была опубликована повесть Делоне о лагере — «Портреты в колючей раме». В 1984 г., уже после его смерти вышел сборник «Стихи. 1965— 1983» и отдельное издание повести.

---

* СМОГ - литературное объединение «Самое Молодое Общество Гениев» (другие возможные варианты расшифрвки: «Сила, Мысль, Образ, Глубина», «Сжатый Миг Отраженной Гиперболы»). Возникло в Москве в январе 1965 г. У истоков движения стоят поэты Леонид Губанов (1946-1983), Владимир Алейников (р. 1946), Владимир Батшев (р. 1947) и Юрий Кублановский (р. 1947). Общество объединяло молодых литераторов и художников, для которых участие в СМОГе было своего рода протестом против соцреализма. Члены СМОГа печатались в самиздатских журналах «Сфинксы», «Чу!», «Авангард» *(см. т. 1, кн. 2, стр. 353—356)*.

Стихи публиковались в «Гранях», в «Континенте». Отдельный сборник вышел в Париже в 1985 г.

Первые публикации на родине: «Огонек», № 38, 1989; «Дружба народов», № 5, 1990; «Юность», № 2, 1991. Стихи; Роман, стихи. — Омск, 1993.

* * *

Колокольни ясные на заборы молятся,
Колобродят ясени — к осени готовятся.
Колымага желтая, где твоя дорога,
Если мало черта мне, привези мне Бога.

Колымага хриплая скуку нааукает,
Если мало крика мне — одарит разлукою.
Если беден-голоден, одарит листвою,
В колыбели-городе ветром успокоит.

Колокольни ясные на заборы молятся,
Колобродят ясени — к осени готовятся.

Москва, 1965

* * *

Леониду Губанову

Пусть каналии рвут камелии,
И в канаве мы переспим.
Наши песенки не допели мы —
Из Лефортова прохрипим.

Хочешь хохмочку — пью до одури,
Пару стопочек мне налей —
Русь в семнадцатом черту продали
За уродливый мавзолей.

Только дудочки, бесы властные,
Нас, юродивых, не возьмешь,
Мы не белые, но не красные —
Нас салютами не собьешь.

С толку, стало быть... Сталин — отче ваш.
Эх, по матери ваших бать.
Старой песенкой бросьте потчевать —
Нас приходится принимать.

Три дороженьки. Дар от Господа
В ноги идолам положи.
Тридцать грошиков вместо Посоха
Пропиваючи, не тужи.

А вторая-то прямо с выбором –
Тут и лагерь есть, и тюрьма,
И психушечка – тоже выгода
На казенные на хлеба.

Ну, а третия... Долей горек тот,
Если в этот путь занесло –
Мы б повесились, только толку-то?
И невесело, и грешно.

Хочешь хохмочку – пью до одури,
Пару стопочек мне налей –
Русь в семнадцатом черту продали
За уродливый мавзолей.

Москва, 1965

Источник: сайт Омского Университета (http://www.univer.omsk.su/).

Наум Коржавин

(Справку см. т. 1, кн. 2, стр. 27)

АПОКАЛИПСИС

Мы испытали всё на свете.
Но есть у нас теперь квартиры —
Как в светлый сон, мы входим в них.
А в Праге, в танках, наши дети...
Но нам плевать на ужас мира -
Пьём в ресторанах на троих.

Мы так давно привыкли к аду,
Что нет у нас ни капли грусти —
Нам даже льстит, что мы страшны.
К тому, что стало нам не надо,
Других мы силой не подпустим, —
Мы, отродясь,- оскорблены.

Судьба считает наши вины,
И всем понятно: что-то будет -
Любой бы каялся сейчас...
Но мы — дорвавшиеся свиньи,
Изголодавшиеся люди,
И нам не внятен Божий глас.

1968

В ЗАЩИТУ ПРОГРЕССА

(западным левым и московским «славянофилам»)

Когда запрягут в колесницу
Тебя, как скота и раба,
И в свисте кнута растворится
Нерайская с детства судьба.

И всё, что терзало, тревожа,
Исчезнет, а как — не понять,
И голову ты и не сможешь
И вряд ли захочешь поднять,

Когда все мечты и загадки,
Порывы к себе и к звезде

Вдруг станут ничем — перед сладкой
Надеждой: поспать в борозде.

Когда твой погонщик, пугаясь,
Что к сроку не кончит урок,
Пинать тебя станет ногами
За то, что ты валишься с ног,

Тогда,- перед тем, как пристрелят
Тебя,- мол, своё отходил! —
Ты вспомни, какие ты трели,
На воле резвясь, выводил.

Как следуя голосу моды,
Ты был вдохновенье само —
Скучал, как дурак, от свободы
И рвался — сквозь пули — в ярмо.

Бунт скуки! Весёлые ночи!
Где знать вам, что в трубы трубя,
Не Дух это мечется — хочет
Бездушье уйти от себя.

Ища не любви, так заботы,
Занятья — страстей не тая...
А Духу хватило б работы
На топких путях бытия.

С движеньем веков не поспоришь,
И всё ж — сквозь асфальт, сквозь века,
Всё время он чувствует, сторож,
Как топь глубока и близка.

Как ею сближаются дали,
Как — пусть хоть вокруг благодать, —
Но люди когда-то пахали
На людях — и могут опять.

И нас от сдирания шкуры
На бойне — хранят, отделив,
Лишь хрупкие стенки культуры,
Приевшейся песни мотив.

...И вот, когда смыслу переча,
Встаёт своеволья волна,

И слышатся дерзкие речи
О том, что свобода тесна,

Что слишком нам равенство тяжко,
Что Дух в мельтешеньи зачах...
Тоска о заветной упряжке
Мне слышится в этих речах.

И снова всплывает, как воля,
Мир прочный, где всё — навсегда:
Вес плуга... Спокойствие поля...
Эпический посвист кнута.

1971

ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА

Баллада об историческом недосыпе
(Жестокий романс по одноименному
произведению В. И. Ленина)

Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда все пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.

А тот со сна, имея нервы слабые,
Стал к топору Россию призывать,—
Чем потревожил крепкий сон Желябова,
А тот Перовской не дал всласть поспать.

И захотелось тут же с кем-то драться им,
Идти в народ и не страшиться дыб.
Так началась в России конспирация:
Большое дело — долгий недосып.

Был царь убит, но мир не зажил заново,
Желябов пал, уснул несладким сном.
Но перед этим разбудил Плеханова,
Чтоб тот пошел совсем другим путем.

Все обойтись могло с теченьем времени.
В порядок мог втянуться русский быт...
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?

На тот вопрос ответа нету точного.
Который год мы ищем зря его...
Три составные части — три источника
Не проясняют здесь нам ничего.

Да он и сам не знал, пожалуй, этого,
Хоть мести в нем запас не иссякал.
Хоть тот вопрос научно он исследовал,—
Лет пятьдесят виновного искал.

То в «Бунде», то в кадетах... Не найдутся ли
Хоть там следы. И неудачи зол,
Он сразу всем устроил революцию,
Чтоб ни один от кары не ушел.

И с песней шли к Голгофам под знаменами
Отцы за ним,— как в сладкое житье...
Пусть нам простятся морды полусонные,
Мы дети тех, кто недоспал свое.

Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.

1972

Источник: Наум Коржавин. Стихи и поэмы. М.: Художественная литература, 1992.

Ян Сатуновский

(Справку см. т. 1, кн.1, стр. 170)

* * *

Бабка подымается бодрая, с давлением,
с рвением
берется за домашние дела,
а намедни
важно поддала.
Вот и дед закашлялся с добрым утром.
Закури-ка, старче,
сигарету с фильтром.

1968

* * *

«Свободу» надо раскавычить.
Россию можно закавычить.

1973

Источник: Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru).

Ким
Юлий Черсанович

(Род. 1935)



Поэт, бард, драматург.

Родился в Москве в 1936 г. Окончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина (1959), преподаватель русского языка, литературы, истории и обществоведения. С 1955-56 гг. пишет песни на свои стихи.

После окончания института несколько лет работал на Камчатке. Поставил со школьниками две песенные программы, в декабре 1964 г. вернулся в Москву, работал в различных школах. В мае 1968 г. под нажимом властей из-за активного участия в правозащитном движении оставил педагогическую деятельность и профессионально занялся сочинением пьес и песен для театра и кино.

Член Союза кинематографистов России (с 1987 г.), Союза писателей (с 1991 г.) и Пен-клуба (с 1997 г.).

ПЕСНЯ СТАРОГО ПИРАТА

На синем океане
Летит мой черный бриг:
Бристоль, Марсель, Кейптаун,
Торонто...
Сто три меридиана
Проткнул его бушприт,
И все без капремонта.

Английской королевы
За мной гонялся флот,
Сидел я и в остроге,
И в яме,
Меня среди Женевы
Ждал личный эшафот, –
И вот я здесь, я с вами!

Припев: Через глаз – повязка,
Через череп – шрам...
Это не жизнь, а сказка,
Доложу я вам!

Добычу при победе
Мы делим пополам,
И только малютку леди,
И только малютку леди,
И только малютку леди
Я выбираю сам!

Пиастры и дублоны
Мне ветер пригонял:
Борт в борт, о шпагу шпага —
И к черту!
Зато в ответ мильоны
Я на ветер швырял,-
Мы с ветром схожи в чем-то.

Купец помрет за деньги,
Попа удушит жир,
Солдат помрет за чью-то
Корону,
А я помру на стеньге
За то, что слишком жил,
И все не по закону!

Припев.

1964

Источник: сайт http://bards.ru.

ГОСПОДА И ДАМЫ

Господа и дамы,
Господа и дамы,
Какое счастье — шмон!
Российские жандармы,
Низкий вам поклон!

В партикулярном платье,
Ни шпор, ни портупей, —
Да здравствуют спасатели
Чистоты моей!

Как вынесли Набокова,
Я громко зарыдал:
Ведь я в какое логово
Маленько не попал!

Накрыли Солженицына
За бабкиным трюмо, —
И до конца проникся я,
Какое я дерьмо!

Как вынули Бердяева
Из папиных штиблет, —
Маленько стал оттаивать,
Наметился просвет.

Как взяли Авторханова
Из детского белья, —
Ну просто начал заново
Дышать и думать я!

С ужасными записками
Я сам отдал тетрадь,
И все им дальше высказал,
Что думал написать...

Спасатели, у дьявола
Вы взяли свой реванш:
Теперь я — rasa tabula,
А вам всегда — carte blanche!..

* rasa tabula (лат.) — чистая доска.
** carte blanche (фр.) — белая карта (в карточной игре: карта без картинки, которой можно по желанию дать любое значение.)

Источник: сайт http://www.stphilaret.ru.

МАРШ ДЕМОКРАТОВ ДЕМАГОГОВ ЭКСТРЕМИСТОВ

Сегодня душа весела,
Гораздо бодрей, чем вчера.
Спросите у нас: как дела?
И мы вам ответим: ура!

Поступью железной,
Дружно, как стена,
Мы шагаем вслед за,
Мы шагаем вслед за,
Не взирая на!
Мы горды своими

И вперед глядя
Отдадим во имя,
Отдадмм во имя
И на благо для!

Я чувствую, друг, как всегда,
Твой локоть, а также плечо!
Сегодня мы – как никогда,
А завтра – гораздо еще!!!

ФАНТАСТИКА-РОМАНТИКА

Негаданно, нечаянно пришла пора дороги дальней.
Давай, дружок, отчаливай, канат отвязывай причальный.
Гудит норд-ост, не видно звезд, угрюмы небеса,
И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса!

Фантастика-романтика, наверно, в этом виновата.
Антарктика, Атлантика зовут, зовут ребят куда-то.
Гудит норд-ост, не видно звезд, угрюмы небеса,
И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса!

Послушай, друг, а может быть, не стоит в море торопиться?
На берегу спокойней жить, чего на месте не сидится?
Смотри, какой гудит прибой, угрюмы небеса.
И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса!

ЖУРАВЛЬ ПО НЕБУ ЛЕТИТ

В.Дашкевичу

Как за меня матушка все просила бога,
Все поклоны била, целовала крест,
А сыночку выпала дальняя дорога,
Хлопоты бубновые пиковый интерес.

Припев: Журавль по небу летит, корабль по морю идет,
А что меня куда влечет по белу свету,
И где награда на меня, и где засада на меня -
Гуляй, солдатик, ищи ответа.
Журавль по небу летит...

Ой, куда мне деться, дайте оглядеться,
Впереди застава, сзади – западня.

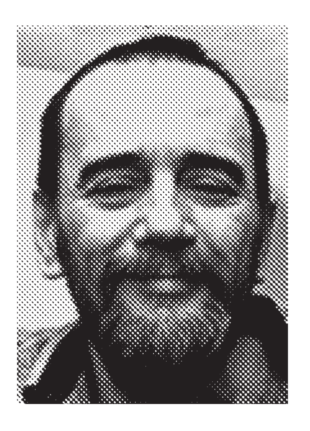
Белые, зеленные, золотопогонные,
А голова у всех одна, как и у меня.

Где я только не был, чего я не отведал,
Березовую кашу, крапиву, лебеду.
Вот только на небе я ни разу не обедал,
Господи, прости меня, я с этим обожду.

Источник: сайт www.kulichki.com

Хвостенко
Алексей Львович

(1940–2004)



Поэт, автор песен, художник.

Родился в Свердловске в 1940 г., затем переехал с семьй в Ленинград. Учился в Ленинградском институте театра, музыки и кино. В 1968 г. переехал в Москву. В конце 1960-х — начале 1970-х годов участвовал в неофициальной культурной жизни, сочинял песни, стихи, которые ходили в Самиздате. Более 100 песен и несколько пьес написал с А. Волохонским под общим псевдонимом А.Х.В. Автор книг «Подозритель (2-й сборник Верпы)», «Поэма эмигрантов», «Страна деталия».

В 1977 г. эмигрировал во Францию, жил в Париже. Вместе с В. Марамзиным издавал журнал «Эхо». С группой «Аукцыон» записал несколько альбомов, в т.ч. на стихи Хлебникова. Перед смертью вернулся в Москву, где и скончался.

В советское время стихи публиковались в эмигрантских изданиях («Континент», «Эхо», «Синтаксис» и др.). В наше время на родине поэта вышли «Новый город» (1995), «Колесо времени: Стихи и песни» (1999).

* * *

Мы всех лучше,
Мы всех краше,
Всех умнее,
И скромнее всех,
Превосходим совершенства
всевозможные хвалы,
наконец-то всем на
радость мы теперь нашли слова такие,
те, что точно отвечают
положению вещей...

ПОДОЗРИТЕЛЬ

1.

Я — дегенерат, имеющий все основания...

2.

Иногда сплю

3.

Святая морда милиционера
Святая жопа продавщицы в булочной
Старушка упала
Вокруг стояла публика

4.

В пивной не хватает места
Для любителей пива

5.

Ах вот как
Ах вот оно что
Ах вот оно как
Ах вот что

6.

Я живу в Измайловском Зверинце

7.

Я

8.

Не хочу
Не могу
Не желаю

9.

Сил моих нет
Лет моих нет
Рыб моих нет
Рук моих нет
Ног моих нет

10.

Люди — канарейки
Я разглядываю их
Перед тем как взять перо

11.

Зимой постоянно горит бумага

12.

Это так удивительно
Это просто необъяснимо

13.

Москва растекается по
        всей России
Ей тесно здесь
        в моем доме

14.

Мыши
Маленькие мыши
Мыши — мыши

15.

Жуки
Маленькие жуки
Жуки — жуки

16.

Верпа всегда умирает

17.

Отважный русский летчик...

18.

Разумеется я здесь
Я присутствую
Я исчезаю
Я у

19.

Сиди рядом
Я при
Ладно не
    вольно

20.

Когда родился
В 1940 году
Когда я родился
....

21.

Когда я живу
....
Когда я живу
....
Когда я живу
....

22.

Что это за фамилия
Иванов
Петров
Стеблин-Каменский

23.

Кто там
Кто там
Кто тут
Кто там

24.

Постараемся вспомнить

25.

Я не Адонис
Я не собака
Я не рытвина

26.

Что это — тюрьма
Что это — дом
Что это — город
Что это — музыка

27.

Целуй меня
Не целуй меня

28.

Мороз
Свинство
Дерьмо

29.

Индия
Япония
Китай
Индонезия
Р-р-р-р

30.

Апатия — самая сильная страсть
31.
История — это болезнь
Фауна — это болезнь
Флора — это безумие

32.

33.

О..!

34.

Грязная подлая куртка

35.

Завтра я уезжаю
Еще раз уезжаю
Со всем этим

36.

Цветы оживают

37.

Совсем другое

38.

Святые умалишенные

39.

Водка
Наркотики
Голод

40.

Счастье

41.

Улица на которую
Выходят мои окна

42.

Курсы массовиков

43.

Трамвайная остановка

44.

Почтовый ящик

45.

Забор

46.

Стихи сжигают
На тарелках
На блюдцах
На полу

47.

Я сжигаю стихи на лестнице

48.

Мои друзья знают меня
Но я не знаю

49.

Кто меня любит

50.

Кто гадит

1966

ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ

Алексей Хвостенко
Анри Волохонский

Я молод был — имел дуду,
Трубил ее как мог,
Тебя же, милая, да-да
Я отыскать нигде не смог
В тот день весенний,
Пасмурный день.

Я пел, как ворох пастуха,
Удой махал коня,
Тебя же, милая, ха-ха,
Не дула прелесть на меня
В тот день весенний,
Пасмурный день.

Я падал, сидя на суку,
Сгубил о пень осла
Тебя же, милая, ку-ку,
Лишь страсть к ослушнику спасла
В тот день весенний,
Пасмурный день.

Я шел с поклажей налегке,
Куя в ноге верблюд,
Тебя же, милая, хе-хе,
Доныне куры не клюют
И в день весенний,
Пасмурный день.

Да-да, да-да совсем ха-ха,
Ку-ку вполне ни-ни,
Тебя же, милая моя,
Увы, не надо тра-ля-ля
И в день весенний
Пасмурный день.

1972

СТРИПТИЗ ВО ВКУСЕ ООН

А ну-ка, приятель, снимай штаны,
Шляпу скорей долой,
Нынче одежды тебе не нужны —
Ты ведь поешь со мной.
Больше одежды тебе не нужны —
Лучше споем со мной.

А ну-ка, дружок, растегни пиджак,
Вынь из него жилет,
Вынь из штанины кальсон наждак
И воротник-манжет.
Стоит пример тебе взять с моржа
И обнажить скелет.

А ну-ка взгляни на себя теперь —
Видишь, стоишь хорош!
Сбрей поскорей с себя пух и перь,
Сдерни остатки кож.
Помнишь, как мамонт античный зверь
Тоже ходил без кож.

Ныне же праздный его костяк
Бьет в барабан-бидон,
Вот и остался тебе пустяк -
Сделай, как делал он.
Пусть твои кости в скелете гремят,
Череп гудит в тромбон.

Каменный пуп одолеет стыд
С низом плясать гавот,
В пляске веселой забудешь ты
Печень, язык, живот.
В пляске безумной полюбишь ты
Музы моей полет.

Плюнь, что утроба ворчит, пуста
Треском облезлых птах.
Этот куплет повтори до ста
Тысячи раз в устах.
Этот куплет говори до ста
Тысячи раз в устах.

Кости берцовые выкинь вон,
Челюсти мне давай,
Самую главную кость в ООН
Ты поскорей отдай.
Главную кость перешли в ООН –
Смело теперь гуляй.
Самую главную кость в ООН
Ты навсегда отдай.

1967

Источник: Pesenki.Ru

Пригов
Дмитрий Александрович

(Род. 1940)



Поэт, художник, эссеист, драматург, прозаик. Работает также в области визуальной поэзии и перформанса.

Родился в Москве в 1940 г. В 1966 г. окончил Высшее художественно-промышленное училище им. Строганова.

В 1966– 1974 гг. работал архитектором в Главном архитектурном управлении Москвы. Живет в Москве, много публикуется.

В советские времена стихи и пьесы публиковались в эмигрантских изданиях («Ковчег» и др.).

* * *

Вечер мучительней, чем мотылек, –
Так праведник терпит в руках уголек.

Так поздняя птица, журавль-отпускник,
Пьет темный, тягучий, колодезный крик.

Родные поля! Обитаемый свет!
Привет вам, как с дальней планеты, привет!

Простите меня, если я не прощен,
И спать положите, как тень под плющем,

Куда-нибудь глубже – под землю, под наст,
Иль в штольню, иль в каменноугольный пласт.

1963

* * *

Воздух прозрачен и недвижим,
Как у последнего входа.
Боже! Дыханьем твоим
Оживает природа.

София горит, как твоя слеза!
Андреевским спуском голым,

Боже! — Киев к небесам
Летит над Подолом.

И проявляется лик в вышине,
Как добиблейский снимок.
О, не рыдайте по мне!
Я царствую с ними.

1964

* * *

Ночь и окно. Окно и ворон. —
Ох, прочь! Прочь!
Зима и кот — хозяин черный —
Ворчит всю ночь.

Да ветер — головой в трубу,
Бочком к коту,
Нашептывает — шорх, шум!
Шу-шу-шу.

В такую ночь так клонит спать!
Не спи в такую ночь!
Мать, стерегись! Не дремли, мать!
Не сглазили бы дочь!

Кот улыбается —
А за ушами темь,
Кот подымается —
А за окном метель.

Кот вытер лапкой мордочку
И с лавочки спрыгнул,
Кот подошел к ребеночку
И лапкою толкнул.

Посмотрит в детской лицо —
И улыбнется вновь.
Уснули крепко мать с отцом,
Не шевельнется бровь.
А за крыльцом, а на крыльцо -
И снег и темь, как кровь!

В такую ночь так клонит спать!
Не спи в такую ночь!

Метель слегла. Проснулась мать —
Не плачет что-то дочь.

А кот сидит себе на печке —
Хвост вниз.
Что это? — Явь? Бесовски речь ль?
Сон ли? Жизнь ль?

1966

* * *

Завешен день водой скользящей,
Как попечением небесным,
И виден каждый малый хрящик,
Что кажется лишь неизвестным.

К дыханью подступают травы,
Набухли, расплетаясь, нервы,
И даже ломота в суставах,
Как чья-то ласковость сверх меры.

1967

Источник: сайт Русская поэзия шестидесятых годов (http://www.ruthenia.ru/60s/).

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА, ДОКУМЕНТЫ, МЕМУАРЫ, ЭССЕ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И СБОРНИКИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

Антология самиздата.
Неподцензурная литература в СССР.
1950-е - 1980-е гг.

Том 2.

Под общей редакцией
Вячеслава Владимировича Игрунова

Автор проекта и составитель
Марк Шиович Барбакадзе

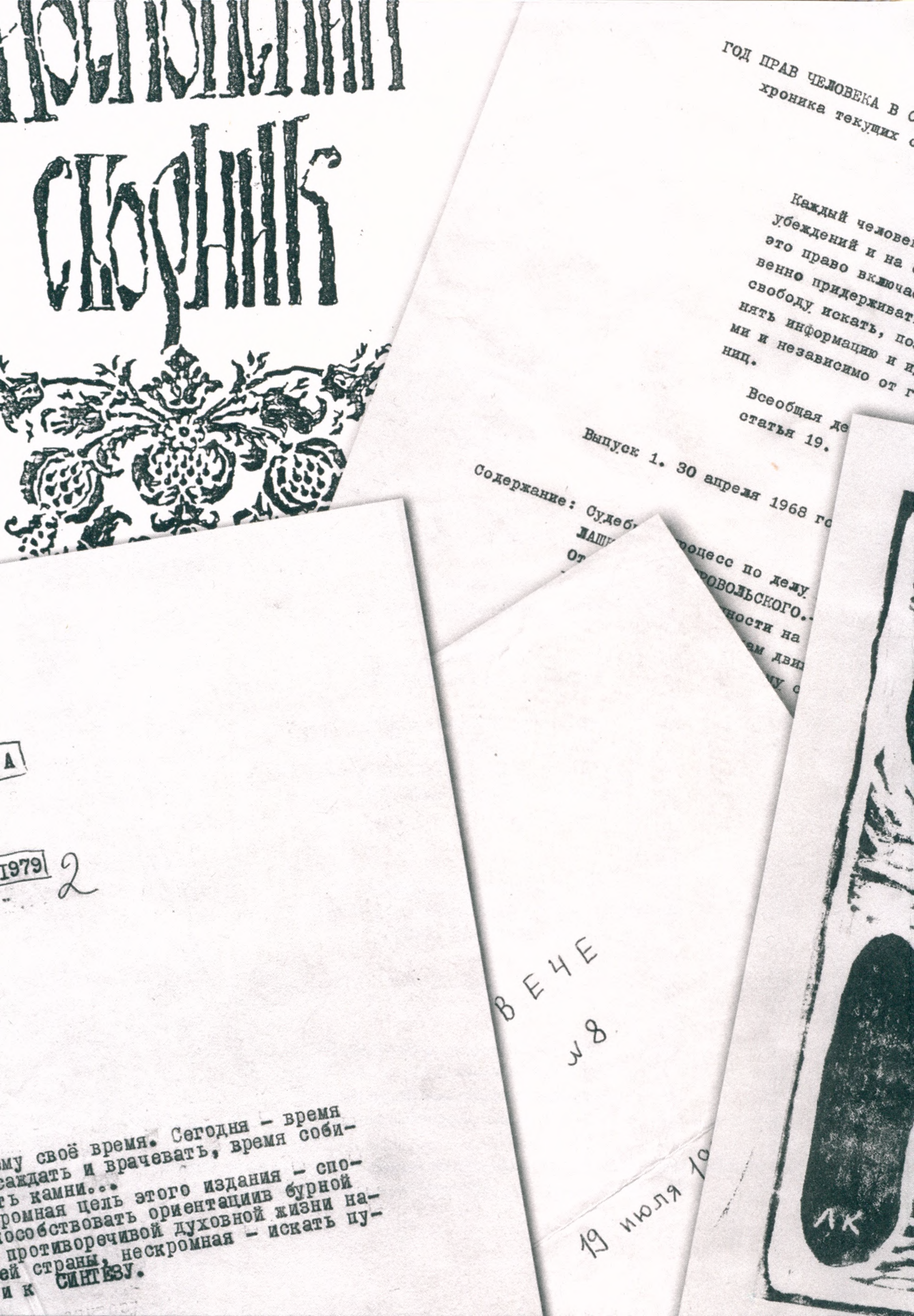
Редактор
Елена Семеновна Шварц

Корректор *Д.А. Шалаева*
Оформление *Е.С. Шварц, Г.В. Игрунов*
Верстка *Е.С. Шварц, Г.В. Игрунов*
Тех. редактор *Г.В. Игрунов*

Международный институт
гуманитарно-политических исследований
Москва, Газетный пер., 5

Подписано в печать 01.03.2005
Усл. печ. л. 62,4. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 4900 экз. Заказ № 2422

Книга отпечатана с готовых диапозитивов в ПФ «Полиграфист»
160001, Россия, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3


ГОД ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
хроника текущих
Каждый челове
убеждений и на
это право включа
венно придерживат
свободу искать,
нять информацию и
ми и независимо от
ниц.
Всеобщая де
статья 19.
Выпуск 1. 30 апреля 1968 г
Содержание: Судеб
процесс по делу
1979
2
му своё время. Сегодня - время
раждать и врачевать, время соби-
ть камни...
ромная цель этого издания - спо-
особствовать ориентациив бурной
противоречивой духовной жизни на-
ей страны, нескромная - искать пу-
и к СИНТЕЗУ.
ВЕЧЕ
№8
19 июля 19
ЛК


КАКОЕ СЛОВО ИМ ХОТЕЛОСЬ
Ф Е Н И К С
Москва, 1961г.
№ I
имеет право на свободу
вободное выражение их;
ет свободу беспрепятст-
ся своих убеждений и
учать и распростра-
еи любыми средства-
СИНТАКСИС
ПИШИТЕ ПРАВДУ,
ЧТОБ ПОД
МЫСЛЬ,
ВДРУГ
№ 1
итературно - художественный
и культурно - просветительс

Хорошо известно, что существует два типа героизма: мужество воина – защитника отечества, спасателя – защитника близких людей. Оно заслуживает всяческого уважения и восхищения. Но есть и другой героизм – мужество гражданское, мужество невооруженного гражданского человека отстаивающего права, свободы, достоинство свое и других людей. Часто ему незнакомых. Отстаивающего их от огромной, превосходящей силы, зачастую силы мощного государства. Это не меньшее мужество. Именно таким мужеством обладала героическая плеяда правозащитников, возвысивших голос против советского тоталитарного произвола. Их лозунг "Уважайте собственную конституцию" стал знаменем сопротивления 60-70 гг. Знаменем демократических преобразований 90-х гг.

Я очень рад тому, что данный сборник позволит молодым читателям приобщиться к бессмертному, поистине историческому достоянию нашей Родины.

Владимир Лукин,
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации

ISBN 5-89793-033-3

